

ЧАРЛЗ
ДИККЕНС

Жизнь и приключения
Мартина Чезлвита



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Annotation



Чарлз Джон Гаффам Диккенс (Charles John Huffam Dickens 7 февраля 1812 г. Лендпорт, Портмунд — 9 июня 1870, Гейдсхилл, Кент, Великобритания) Один из самых знаменитых англоязычных романистов, прославленный создатель ярких комических характеров и социальный критик.

Роман „Жизнь и приключения Мартина Чезлвита“ (The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit) — выходил отдельными выпусками в 1843–1844 годах. В книге отразились впечатления автора от поездки в США в 1842 году, во многом негативные. Роман посвящён знакомой Диккенса — миллионерше-благотворительнице Анджеле Бердетт-Куттс.

- [Чарльз Диккенс](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Глава I,](#)
 - [Глава II,](#)
 - [Глава III,](#)
 - [Глава IV,](#)
 - [Глава V,](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII,](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X,](#)
 - [Глава XI,](#)
 - [Глава XII,](#)

- [Глава XIII](#)
- [Глава XIV,](#)
- [Глава XV,](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII,](#)
- [Глава XXIII](#)
- [Глава XXIV](#)
- [Глава XXV](#)
- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXVIII](#)
- [Глава XXIX,](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV,](#)
- [Глава XXXV](#)
- [Глава XXXVI](#)
- [Глава XXXVII](#)
- [Глава XXXVIII](#)
- [Глава XXXIX](#)
- [Глава XL](#)
- [Глава XLI](#)
- [Глава XLII](#)
- [Глава XLIII](#)
- [Глава XLIV](#)
- [Глава XLV,](#)
- [Глава XLVI,](#)
- [Глава XLVII](#)
- [Глава XLVIII](#)
- [Глава XLIX,](#)
- [Глава L](#)
- [Глава LI](#)

- [Глава LII,](#)
 - [Глава LIII](#)
 - [Глава LIV](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)

- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)

- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)

- [114](#)
 - [115](#)
 - [116](#)
 - [117](#)
 - [118](#)
 - [119](#)
 - [120](#)
 - [121](#)
 - [122](#)
 - [123](#)
 - [124](#)
 - [125](#)
 - [126](#)
 - [127](#)
 - [128](#)
 - [129](#)
 - [130](#)
 - [131](#)
 - [132](#)
 - [133](#)
-

Чарльз Диккенс
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРТИНА
ЧЕЗЛВИТА

Предисловие

Что кажется преувеличением одному разряду умов и мнений, то другим воспринимается как очевидная истина. То, что обычно называют проницательностью, помогает различать множество характерных черт и деталей там, где человек близорукий не увидит ровно ничего. Я иногда задаю себе вопрос: уж не в этом ли разница между некоторыми писателями и некоторыми читателями? Верно ли, что именно писатель берет слишком яркие краски, или же бывает и так, что глаз читателя плохо различает цвета?

Впрочем, по этому вопросу у меня имеются практические наблюдения, представляющие больше интереса, чем только что изложенная теория. А именно: мне ни разу не удавалось взять героя прямо из жизни, без того чтобы один из двойников этого героя не спросил меня недоверчиво: „Нет, правда, неужели вы действительно видели такого, как он?“

Думаю, что все отпрыски семейства Пексниф, обитающие на земле, совершенно согласны в том, что мистер Пексниф есть преувеличение, что такого лица никогда не существовало. Я не собираюсь спорить по этому поводу со столь могущественной и высокопоставленной кликой, скажу лишь несколько слов о характере Джонаса Чезлвита.

Я полагаю, что подлая грубость и жестокость Джонаса Чезлвита была бы неестественной, если бы в его воспитании с самого детства, в правилах и примерах, которыми он всегда руководился, не было всего того, что порождало и поощряло эти отвратительные пороки. Но при таком происхождении и воспитании, когда его с колыбели поощряли во всем, что отталкивает людей, когда его хитрость, вероломство и скупость превозносили и оправдывали, Джонас представляется мне законным потомком отца, на голову которого пали грехи сына. И я смею утверждать, что возмездие, постигшее старика в его позорной старости, есть не только акт поэтического правосудия, но и прямая правда, логически доведенная до конца.

Я считаю нужным дать это пояснение в интересах читателя, который задумается над этой книгой, потому что в жизни мы часто не даем себе труда исследовать причины преступлений и пороков, обсуждаемых всеми. То, что является верным по отношению к отдельным семьям, остается верным и по отношению ко всему человеческому обществу. Что посеешь, то и пожнешь. Пусть читатель войдет в детское отделение любой тюрьмы в

Англии или, прибавлю с сожалением, многих рабочих домов и решит сам, вырожда ли это позорят наши улицы, населяют наши плавучие тюрьмы и исправительные дома и переполняют наши каторжные колонии, или это люди, которых мы сознательно обрекли на нищету и погибель.

Американская часть книги является карикатурой лишь постольку, поскольку она показывает (за исключением мистера Бивена) главным образом то, что достойно осмеяния в американском характере, — ту сторону, которая двадцать четыре года тому назад бросалась в глаза по преимуществу и которую скорее всего должны были разглядеть такие путешественники, как молодой Мартин и Марк Тэпли. А так как я в своих книгах никогда не выказывал склонности смягчать то, что дурно и достойно осмеяния у меня на родине, то я надеялся, что добродушный парод Соединенных Штатов в большинстве своем не осудит меня, если я и для чужого края не отступлю от своего обыкновения. Мне приятно думать, что этот великий народ не обманул моих ожиданий.

Когда эта книга впервые вышла из печати, некоторые авторитетные лица дали мне понять, что Уотертостская ассоциация и ее ораторское красноречие совершенно неправдоподобны. Поэтому я считаю нужным подчеркнуть, что вся эта часть переживаний Мартина Чезлвита есть буквальный пересказ протоколов публичных заседаний в Соединенных Штатах (а особенно протоколов некоей Водочно-винной ассоциации), которые печатались в „Таймсе“ в июне — июле 1843 года, — приблизительно в то время, когда я писал эти главы моей книги, — и которые, вероятно, хранятся в архиве „Таймса“.

Во всех моих писаниях я никогда не упускал случая указать на те антисанитарные условия, в которых живет наша беднота. Двадцать четыре года тому назад миссис Сара Гэмп была типичной сиделкой для неимущих больных. Лондонские больницы считались во многих отношениях почтенными учреждениями, но сколько же там было недостатков! Одним из примеров творившихся в них безобразий служит, я думаю, то, что миссис Бетси Приг была образцовой больничной сиделкой, а также то, что больницы, при наличии специальных средств и фондов, целиком и полностью предоставляли частной инициативе и благотворительности воспитывать и совершенствовать Эту категорию лиц; потом они стали много лучше благодаря стараниям некоторых добрых женщин.

Глава I,

вступительная, где речь идет о родословной семейства Чезлвитов.

Так как ни одна леди и ни один джентльмен из числа хоть сколько-нибудь претендующих на благовоспитанность не удостоят своим вниманием семейство Чезлвитов, не уверившись наперед в глубокой древности их рода, то нам чрезвычайно приятно сообщить, что они несомненно происходят по прямой линии от Адама и Евы и с незапамятных времен имели самое близкое отношение к сельскому хозяйству. Если бы недоброжелатели и завистники вздумали утверждать, что тот или другой Чезлвит того или другого поколения слишком уж занесся и возгордился своим происхождением, то такую слабость со стороны обвиняемого следовало бы не только извинить, но и считать похвальной, принимая во внимание неизмеримое превосходство этой семьи над всем остальным человечеством в отношении древности рода.

Интересно отметить, что если — в древнейшей фамилии, память о которой сохранила нам история, имелись убийца и бродяга^[1], то и в истории других древних фамилий мы неизменно встречаемся с бесчисленными повторениями этих двух человеческих разновидностей. Можно считать общим правилом, что чем длиннее ряд предков, тем больше в семейной истории убийств и грабежей, ибо в старину эти два вида развлечений, сочетавших здоровый моцион с верным средством поправить расстроенное состояние, являлись одновременно и благородным промыслом и полезным отдыхом для знати нашей страны.

А посему весьма утешительно и отрадно вспомнить, что во все периоды нашей истории Чезлвиты принимали деятельное участие в человекоубийственных заговорах и кровопролитных схватках. Имеются также свидетельства о том, что, закованные с головы до ног в надежную стальную броню, они весьма мужественно посылали одетых в кожаные куртки солдат на верную смерть, после чего в самом приятном расположении духа возвращались домой, к родным и знакомым.

Не подлежит никакому сомнению, что по крайней мере один из Чезлвитов пожаловал к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем^[2]. Однако, надо полагать, впоследствии этот монарх не очень-то благоволил к их благородному предку, ибо ни из чего не видно, чтобы семейству Чезлвитов были пожалованы во владение земельные угодья. А между тем хорошо

известно, что, награждая этого рода собственностью своих фаворитов, знаменитый норманн выказывал ту изумительную щедрость и признательность, какими обыкновенно отличаются великие мира сего, когда раздают направо и налево чужое добро.

Быть может, здесь нам следовало бы остановиться и поздравить себя с теми неистощимыми сокровищами храбрости, мудрости, красноречия, доблести, знатности и благородства, какими обогатилась Англия после вторжения норманнов; добродетелями, к которым генеалогия каждого старинного рода прибавляет немалую долю и которые вне всякого сомнения были бы ничуть не меньше и породили бы совершенно такой же длинный ряд благородных отпрысков, кичащихся своим происхождением, даже и в том случае, если бы Вильгельм Завоеватель оказался Вильгельмом Завоеванным: от такой перемены, можно сказать с полной уверенностью, решительно ничего не изменилось бы.

Нет ни малейшего сомнения в том, что один из Чезлвитов участвовал в Пороховом заговоре^[3], а может быть, и сам архипредатель Фокс^[4] был отпрыском их замечательного рода; это весьма возможно, если предположить, что один из Чезлвитов предыдущего поколения эмигрировал в Испанию, где и сочетался браком с испанкой, от которой имел потомство — единственного сына с оливковым цветом лица. Столь вероятное предположение подкрепляется, если не подтверждается безусловно, одним обстоятельством, не лишенным интереса для всех изучающих развитие наследственных склонностей у лиц, коим эти склонности передались без их ведома. Известно, что в наше время многие Чезлвиты, потерпев неудачу на других поприщах, занялись торговлей углем, без всяких на то разумных оснований и без малейшей надежды разбогатеть, и месяц за месяцем угрюмо созерцают свой более чем скромный запас товара, не имея случая даже поторговаться с покупателем. Поразительное сходство между этим занятием и тем, какому предавался великий предок Чезлвитов под сводами парламентских подвалов в Вестминстере, так явно и многозначительно, что не нуждается в комментариях.

Кроме того, устными преданиями семейства Чезлвитов установлено вполне точно, хотя неясно, к какому периоду их семейной истории это относится, что существовала некогда особа такого вспыльчивого характера и до такой степени привыкшая к обращению с огнем, что ее прозвали „выжигой“, каковое прозвище, или кличка, сохранилось за нею и до сего дня в фамильных легендах. Не подлежит, разумеется, никакому сомнению, что это и была испанская сеньора — матушка Чезлвита-Фокса.

Но имеется и еще одно доказательство, прямо говорящее о тесной связи Чезлвитов с этим памятным в английской истории событием, — доказательство, которое не преминет убедить даже умы, устоявшие перед вышеприведенными догадками (если таковые найдутся).

Несколько лет тому назад во владении одного всеми уважаемого и во всех отношениях почтенного и благонамеренного члена семьи Чезлвитов (ибо даже злейший враг не мог бы усомниться в его богатстве) находился потайной фонарь несомненно древнего происхождения, тем более примечательный, что и по виду и по форме он нисколько не отличался от тех, какие употребляются в наше время. Так вот, этот джентльмен, ныне покойный, всегда готов был поклясться и не раз утверждал самым категорическим образом, что его бабушка нередко говаривала, созерцая эту почтенную реликвию: „Да-да-да! Вот этот самый фонарь нес мой правнук пятого ноября, когда был Гаем Фоксом“^[5]. Эти замечательные слова произвели на внука (как и следовало ожидать) сильное впечатление, и у него вошло в привычку повторять их довольно часто. Точный смысл этих слов и вывод, который надлежит из них сделать, в высшей степени убедительны и неотразимы. Старушка, наделенная от природы решительным характером, была тем не менее слаба здоровьем и забывчива; известно, что она нередко все путала или, во всяком случае, заговаривалась, чему бываю́т подвержены старые и болтливые люди. Незначительная очень незначительная обмолвка, которую можно усмотреть в ее словах, очевидна, и ее ничего не стоит исправить: „Да-да-да! — говорила она, и можно заметить, что эти начальные слова не нуждаются ни в каких поправках. — Да-да-да! Этот самый фонарь нес мой прадед, — не правнук, что лишено смысла, а прадед, — пятого ноября. Он-то и был Гай Фоке“. Таким образом, у нас получается связное, естественное и ясное замечание, вполне сообразное с тем, что нам известно об этой старушке. В нем так явно подразумевается именно этот смысл и никакой другой, что едва ли даже стоило бы приводить анекдот в первой редакции, если бы он не доказывал, чего можно добиться не только в исторической прозе, но и в поэтических творениях, когда со стороны комментатора приложено сколько-нибудь сообразительности и труда.

Говорят, будто за последнее время не сыщется ни одного примера, чтобы какой-нибудь Чезлвит был на короткой ноге со знатью. Но и тут глумливые клеветники, чьими злобными мозгами порождены все эти жалкие измышления, немеют, пораженные силой доказательств. Ибо у многих членов семейства Чезлвитов хранятся письма, из коих явствует черным по белому, что некий Диггори Чезлвит имел обыкновение „обедать

с герцогом Гэмфри“^[6]. Он был таким частым гостем за столом этого вельможи, и его милость, должно быть, так навязывался со своим гостеприимством, что Диггори, как видно, стеснялся и неохотно там бывал, ибо писал своим друзьям в том смысле, что ежели они не пришлют с подателем сего письма того-то и того-то, ему ничего другого не останется, как опять „отобедать с герцогом Гэмфри“, причем изъявлял свое пресыщение светской жизнью и аристократическим обществом в самых недвусмысленных и сильных выражениях.

Носились слухи, — и нет надобности говорить, что они происходили из тех же низменных источников, — будто бы один из Чезлвитов, чье рождение, надо сознаться, до некоторой степени облечено тайной, был весьма невысокого и даже темного происхождения. Где же доказательства? Когда сын этого Чезлвита, которому отец, видимо, еще при жизни открыл тайну своего рождения, лежал на смертном одре, ему задали следующий вопрос самым официальным, торжественным и решительным образом:

„Тоби Чезлвит, кто был твой дедушка?“ На что тот, находясь при последнем издыхании, ответил не менее официально, торжественно и решительно: „Черт-те-кто!“, каковой ответ был тут же записан и засвидетельствован шестью лицами, причем каждый из свидетелей проставил полностью свое имя, фамилию и адрес. Можно, разумеется, сказать, — да некоторые и говорили, ибо нет пределов человеческому злословию, — что таких имен нету и что даже среди титулов, которые давно уже сошли со сцены, нельзя найти ни одного сколько-нибудь похожего хотя бы по звуку. Но что же из этого следует? Если отбросить теорию, выдвинутую некоторыми доброжелательными, но заблуждающимися людьми, будто дедушка Тоби Чезлвита, судя по имени, был скорее всего китайский мандарин (что совершенно не выдерживает критики, ибо нет даже намека на то, что его бабушка выезжала когда-нибудь из Англии или что какой-нибудь знатный китаец приезжал в Англию незадолго до рождения его отца, кроме тех китайцев, что выставлены в чайных лавках и уж никоим образом не могут быть приняты в расчет), — если отбросить эту гипотезу, неужели не ясно, что мистер Тоби Чезлвит или недослышал, как зовут его дедушку, или позабыл его имя, или же перепутал, как оно произносится. И что даже в то близкое к нам время, о котором идет речь, Чезлвиты находились в морганатическом родстве, так сказать с левой стороны, с какой-то неизвестной нам, но высокопоставленной и знатной фамилией?

Из документов, до сих пор хранящихся в семейном архиве, легко установить, что еще сравнительно недавно, во времена упомянутого

Диггори Чезлвита, один из членов семейства добился весьма влиятельного положения и разбогател. В тех обрывках его переписки, которых не поточила моль (а моль по праву может быть названа главным архивариусом мира насекомых, — столько она пожирает всяких актов и документов), мы находим постоянные ссылки на какого-то „дядюшку“^[7], от которого он, по-видимому, ожидал большого наследства, ибо всячески добивался его расположения, постоянно поднося ему книги, часы, столовое серебро, золотые кольца и другие ценные предметы. Так, например, он пишет брату насчет какой-то соусной ложки, принадлежавшей этому брату, которую он, Диггори, по-видимому, взял у того на подержание или иным образом присвоил: „Не сердись, у меня ее нет — отнес к „дядюшке“. В другом случае он почти в тех же выражениях говорит о детской серебряной кружечке, которую ему поручили снести в починку. В третьем случае он пишет: „Я перетаскал к любезному „дядюшке“ все, что у меня было“. А что он имел обыкновение подолгу гостить у этого дядюшки и даже совсем к нему переселялся, видно из следующей фразы: „Кроме того, что на мне надето, все мое платье находится сейчас у „дядюшки“. Покровительство и заботы дядюшки простирались, по-видимому, слишком далеко, ибо его племянник пишет: „Уж очень берет большой интерес“, „слишком большой“, „ни с чем несообразный“, и тому подобное. Не заметно, однако же (и это довольно странно), чтобы „дядюшка“ доставил племяннику какую-нибудь выгодную должность при дворе или еще где-нибудь, или же добыл ему какое-нибудь отличие, кроме разве того, которое заключается в лицеизрении столь знатной особы да приглашений на званые вечера, а может быть, и балы, о роскоши и великолепии которых племянник распространяется весьма высокопарно, то и дело поминая какие-то „золотые шары“^[8].

Нет надобности множить доказательства высокого общественного положения и значительности Чезлвитов в разные периоды их истории. Если б имелись какие-нибудь разумные основания предполагать, что понадобятся и еще доказательства, их можно было бы громоздить одно на другое без конца, так что вырос бы целый Монблан свидетельских показаний, которым был бы задавлен и обращен в лепешку даже самый отъявленный скептик. Но так как и без этого набрался порядочный холмик, достойно возвышающийся над семейной могилой, то настоящая глава на этом поставит точку, добавив только, вместо последней лопаты земли, что очень многие Чезлвиты как мужского, так и женского пола, судя по письмам их собственных мамаш, имели точеные носы, очаровательные

подбородки, сложение, достойное резца ваятеля, редкого изящества руки и ноги и чистые лбы с такой необычайно прозрачной кожей, что видны были даже синие жилки, разбегавшиеся во все стороны ручейками нежнейшей лазури. Уже сам по себе этот факт, хотя бы он был единственным, должен окончательно разрешить и уничтожить всякие сомнения на сей счет, ибо известно как нельзя лучше из авторитетных трудов, трактующих эту материю, что все вышеупомянутые приметы, а особенно точеные носы, неизменно сопутствуют персонам самого высокого ранга и бывали подмечены единственно у них.

После того как мы установили, к полному своему удовлетворению (а следовательно, и к совершенному удовольствию читателей), что Чезлвиты действительно были высокого происхождения и пользовались в разное время таким влиянием, какое не может не сделать знакомство с ними лестным и желательным для всякого здравомыслящего человека, нам надлежит приступить к делу вплотную. И, доказав, что Чезлвиты, в силу древности их фамилии, немало потрудились над созданием и приумножением человеческого рода, мы должны будем со временем признать, что те из членов семейства, которые появятся в нашем повествовании, и доньше имеют своих двойников и преемников в окружающем нас мире. Пока же мы удовольствуемся тем, что сделаем несколько замечаний самого общего характера по следующему поводу: во-первых, можно с уверенностью утверждать, нисколько не разделяя учения Монбоддо^[9] насчет того, будто предки человека были когда-то обезьянами, что люди способны подчас выкидывать самые странные и неожиданные штуки; во-вторых (но опять-таки независимо от теории Блюменбаха^[10] о том, будто потомки Адама наделены многими такими качествами, какие из всех божьих созданий наиболее приличествуют свиньям), что некоторые люди отличаются необыкновенной способностью думать только о самих себе.

Глава II,

где читателю представляют некоторых лиц, с коими он может, если угодно, познакомиться ближе.

Стояли последние дни поздней осени, и заходящее солнце, пробившись, наконец, сквозь пелену тумана, застилавшую его с самого утра, ярко засияло над маленьким вильтширским селением, лежащим на расстоянии хорошей прогулки от славного старого города Солсбери^[11].

Подобно неожиданному проблеску памяти или чувства, озаряющему душу старика, оно залило светом окрестные луга, воскресив их былую свежесть и юность. Мокрая трава засверкала в его лучах; уцелевшие местами остатки зелени на живых изгородях, там, где последние листья еще держались, храбро сопротивляясь натиску резких ветров и ранних морозов, ожили и посветлели; ручей, весь день угрюмый и тусклый, просиял веселой улыбкой; лежковерные птицы защебетали и зачирикали среди голых ветвей, словно надеясь на то, что зиме пришел конец и весна уже наступила. Флюгер на остроконечном шпиле старинной церкви заблестел на своем высоком посту, сочувствуя общей радости, а из осененных плющом окон устремились к полыхающим небесам такие потоки огня, словно в этих мирных домишках год за годом накапливались все тепло и все румяные краски лета.

Даже те осенние приметы, которые особенно настойчиво твердили о близком приходе зимы, не омрачали общей картины и в этот час не бросали печальной тени. Опавшие листья, которыми была устлана земля, пахли приятно и навевали чувство покоя, смягчая дальний грохот колес и топот копыт и гармонически сливаясь с плавными движениями пахаря, бросавшего зерно в борозды, и с бесшумным ходом плуга, который, подымая пласты жирной, черной земли, укладывал их красивым узором по щетинистому жнивью. Кое-где на неподвижных ветвях деревьев гроздями кораллов краснели осенние ягоды, словно в сказочном саду, где вместо плодов растут самоцветы; одни деревья уже сбросили свой наряд, и каждое из них стояло посреди вороха ярко-красных листьев, глядя, как эти листья постепенно истлевают; другие еще сохраняли свой летний убор, но вся листва покоробилась и свернулась, как от огня; вокруг одних деревьев румяными грудями были сложены яблоки, созревшие этим летом; другие, вечнозеленые крепыши, при всем своем здоровье смотрели мрачно и

сурово, словно свидетельствуя о том, что долговечность дается природой отнюдь не самым нежным и ветреным ее любимцам. Но и здесь, в их темных ветвях, косые лучи пролегли дорожками красноватого золота, а сияние заката, пронизывая густую чащу ветвей, казалось еще ярче и только усиливало блеск угасающего дня.

Еще минута, и его сияние померкло. Солнце село за темными длинными грядами невысоких холмов и туч, возводивших на западе облачный город — стена за стеной и башня за башней; свет угас, сверкающая церковь потемнела и остыла; ручей уже не сиял улыбкой; птицы умолкли, и все вокруг стало по-зимнему мрачно.

Поднялся к тому же ночной ветер, и верхние ветви деревьев заметались и заплясали под его стонущий напев, стуча друг о дружку, словно кости скелета. Опавшие листья уже не лежали на земле, а кружились, гонимые ветром, ища, куда бы укрыться от его холодного дыхания; пахарь выпряг лошадей и, склонив голову, проворно зашагал домой рядом с ними; в окнах домишек замигали огоньки, переглядываясь с темнеющими полями.

Тут-то и выступила деревенская кузница во всем своем блеске. Дюжие мехи ревели „хо-хо!“, раздувая яркий огонь, а тот в свою очередь ревел, приглашая блестящие искорки на веселую пляску под радостный стук молотов о наковальню. Раскаленное докрасна железо тоже искрилось наперегонки с ними, щедро рассыпая во все стороны золотые брызги. Силач кузнец со своими подручными ковал так лихо, что развеселилась даже печальница-ночь и посветлел ее темный лик, заглядывавший с любопытством то в окна, то в двери через плечи десятка зрителей. А эти праздные зеваки стояли словно околдованные и, изредка оглядываясь назад, в темноту, только расставляли поудобнее на подоконнике ленивые локти да наклонялись чуть побольше вперед, словно прилипли к месту, словно они для того только и родились, чтобы толпиться вокруг пылающего очага, в подражание сверчкам.

Как только не совестно было ветру сердиться! Он уже не вздыхал, а бушевал вокруг веселой кузницы, хлопал дверью, ворчал в трубе, словно выговаривая работягам-мехам за то, что они пляшут под чужую дудку. И какой же он оказался пустой болтун; сколько ни шумел, ничего не мог поделывать с двумя охрипшими друзьями, разве что от его воркотни они запели еще громче и веселей, и оттого огонь в горне запылал еще ярче, а искры заплясали еще бойчее; под конец они закружились так бешено, что злюке-ветру стало неважно; он с воем кинулся прочь и так хватил по дороге старую вывеску перед дверью трактира, что Синий Дракон

окончательно взвился на дыбы и еще до наступления рождества совсем вылетел прочь из своей покривившейся рамки.

Что за мелочное тиранство со стороны почтенного ветра вымещать свою злобу на таких слабых, ни в чем не повинных созданиях, как осенние листья; однако этот самый ветер, уже сорвав мимоходом сердце на Драконе и разобидев его, подхватил с земли целую охапку листьев и так расшвырял и рассеял их, что они полетели очертя голову кто куда, перекатываясь друг через дружку, и то становились на ребро, крутясь без устали, то в страхе взлетали на воздух и с отчаяния выкидывали всякие необыкновенные антраша. Но и этого было мало разбушевавшемуся ветру: не довольствуясь тем, что сорвал их с места, он накидывался на маленькие стайки листьев, загонял их под пилу, под доски и бревна на лесопилке и, развеяв опилки по воздуху, искал, нет ли под ними листьев, а если находил — фью-у-у! — и гонялся-же он за ними, ну просто преследовал по пятам!

Перепуганные листья от всего этого только летели быстрее, и гонка была бешеная; они попадали в такие места, откуда было не выбраться и где тиран-ветер крутил и вертел их сколько его душе было угодно; они забивались под застрехи, нетопырями распластывались по стогам сена, залетали в открытые окна, прятались под живые изгороди — словом, были готовы забраться куда угодно, лишь бы спастись. Но самую отчаянную штуку они выкинули, воспользовавшись тем, что неожиданно открылась парадная дверь в доме мистера Пекснифа; они ворвались в сени, куда проник за ними и ветер; а он, едва обнаружив, что дверь с черного хода тоже открыта, взял да и задул свечу в руке мисс Пекспиф и с такой силой хлопнул парадной дверью навстречу входящему мистеру Пекснифу, что сшиб его с ног, и тот во мгновение ока очутился на спине перед собственным крыльцом. Зятем, наскучив вздорными шалостями, разбойник-ветер торжествующе умчался прочь, посвистывая над болотами и лугами, над холмами и равнинами, пока не долетел до моря, где повстречался с другими ветрами такого же буйного поведения и прогулял с ними всю ночь напролет.

Тем временем мистер Пексниф, получив от предпоследней ступеньки крыльца такую затрещину, от каких пострадавший обыкновенно видит огни несуществующей иллюминации, лежал неподвижно, уставясь на собственную парадную дверь. Надо полагать, что вид этой двери особенно наводил на размышления, не в пример прочим парадным дверям, ибо мистер Пексниф лежал что-то уж очень долго, по-видимому не испытывая никакого желания удостовериться, расшибся он или нет; даже когда мисс Пексниф спросила через замочную скважину: „Кто там?“ — таким

пронзительным голосом, каким мог бы говорить сорванец-ветер, — мистер Пексниф не ответил ей ни слова; даже когда мисс Пексниф опять открыла дверь и, загородив свечу рукой, стала смотреть везде — и вокруг мистера Пекснифа, и около него, и поверх него, и куда угодно, только не на него, — он не издал ни звука и ни малейшим намеком не выразил желания, чтобы его подобрали.

— Вижу, все вижу! — кричала мисс Пексниф воображаемому озорнику, прятавшемуся за углом. — Вы у меня получите, сударь!

И все-таки мистер Пексниф не произнес ни слова, может быть потому, что уже получил.

— Ага, опомнился теперь? — кричала мисс Пексниф. Она крикнула это наудачу, но ее слова пришлись как нельзя более кстати, ибо мистер Пексниф, перед которым один за другим быстро гасли огни вышеупомянутой иллюминации и число медных ручек на двери (вертевшихся перед его глазами совершенно немыслимым образом) сократилось с четырех или пяти сот до каких-нибудь двух десятков, теперь действительно приходил в себя, и даже можно было сказать, что опомнился.

Прокричав визгливым голосом предупреждение насчет тюрьмы и полиции, а также насчет колодок и виселицы, мисс Пексниф собиралась уже запереть дверь, когда мистер Пексниф, все еще лежавший перед крыльцом, приподнялся на локте и чихнул.

— Это его голос! — воскликнула мисс Пексниф. — Это он, это наш папаша!

Услышав ее восклицание, вторая мисс Пексниф выскочила из гостиной, и обе они, выкрикивая что-то бессвязное, совместными усилиями поставили мистера Пекснифа на ноги.

— Папа! — кричали они в один голос. — Папа! Скажите же хоть что-нибудь! Ах, какой у вас ужасный вид, бедный папа!

Но поскольку внешний вид джентльмена, особенно в таких обстоятельствах, отнюдь не находится в его власти, мистер Пексниф продолжал смотреть на них, выпучив глаза и разинув рот, наподобие деревянного щелкунчика с отвисшей нижней челюстью; и так как шляпа с него слетела, лицо было покрыто бледностью, волосы встали дыбом, а платье все извалялось в грязи, то зрелище, которое он собой являл, было настолько плачевно, что обе мисс Пексниф не могли удержаться от невольного крика.

— Ну, будет, будет, — произнес мистер Пексниф. — Мне уже лучше.

— Он очнулся! — вскрикнула младшая мисс Пексниф.

— Он заговорил! — возопила старшая.

С этими радостными словами они расцеловали мистера Пекснифа в обе щеки и повели его в комнаты. Сейчас же после этого младшая мисс Пексниф опять выбежала из дома, подобрала отцовскую шляпу, сверток в коричневой бумаге, зонтик, перчатки и остальные мелочи, после чего двери были заперты и обе девицы, удалившись в малую гостиную, приступили к врачеванию ран мистера Пекснифа.

Увечья были не слишком серьезного характера: всего-навсего ссадины на тех частях тела, которые старшая мисс Пексниф называла „мослаками“, то есть на локтях и коленях, — да на затылке у него появился новый орган, доселе неизвестный френологам. Уврачевав эти повреждения извне компрессами из оберточной бумаги, намоченной в уксусе, а самого мистера Пекснифа изнутри стаканчиком бренди, слегка разбавленного водой, старшая мисс Пексниф уселась разливать чай за накрытым уже столом. Тем временем младшая мисс Пексниф принесла из кухни дымящуюся яичницу с ветчиной и, поставив ее перед своим папашей, примостилась на низенькой скамеечке у его ног, так что ее глаза приходились вровень с чайным столом.

На основании этой смиренной позиции отнюдь не следует делать вывод, будто младшая мисс Пексниф была так юна, что ей в силу необходимости приходилось сидеть на скамеечке — оттого, что у нее были коротенькие ножки. Мисс Пексниф сидела на скамеечке потому, что была простодушна и невинна в высшей степени, в самой высшей. Мисс Пексниф сидела на скамеечке оттого, что она была вся резвость и девическая живость, оттого, что она была и шаловлива, и своевольна, и игрива, как котенок. Она была самое лукавое и в то же время самое бесхитростное существо, какое только можно себе представить, — вот что такое была младшая мисс Пексниф. В этом и заключалась ее прелесть. Она была слишком невинна и проста, слишком полна чисто детской живости, чтобы носить гребенки в волосах, или зачесывать их кверху, или завивать их, или заплетать в косы. Она носила волосы распущенными, так что кудри падали ей на плечи, располагаясь рядами, и этих рядов было столько, что на самый верх приходилась всего одна кудряшка. Фигурка у нее была полненькая и очень женственная, и тем не менее иногда — не каждый день, конечно, — она надевала детский фартучек, и до чего это ей шло! Да, действительно эта младшая мисс Пексниф была „прелестное создание“ (как справедливо выразился некий молодой джентльмен в „Поэтическом уголке“ одной провинциальной газеты).

Мистер Пексниф был человек добродетельный, серьезный человек,

человек с возвышенными чувствами и возвышенной речью, а потому он окрестил ее Мерси. Сострадание! Ах, какое прелестное имя для такого непорочного существа, каким была младшая мисс Пексниф! Ее сестру Звали Чарити. Чудесно, просто чудесно! Мерси и Чарити! Сострадание и Милосердие! И Чарити, с ее трезвым умом и тихим, кротким, отнюдь не сварливым характером, тоже была окрещена удачно и не менее удачно оттеняла и дополняла свою младшую сестру! Как приятно было смотреть на них обеих, настолько несхожих между собой, видеть, как они любят и понимают друг дружку, как преданы друг дружке и совершенно не могут обойтись одна без другой, и как одна дополняет и исправляет другую, служа, так сказать, противоядием. Каждая из девиц, несмотря на взаимную любовь и восхищение, вела коммерцию на свой собственный страх и риск и на совершенно иных основаниях, нежели ее сестрица, объявляя, что не имеет ничего общего с конкурирующей фирмой, а если качество товаров в соседней лавочке вас не удовлетворит, почтительнейше просим осчастливить нас своим посещением! И весь очаровательный прейскурانت увенчивало то обстоятельство, что оба прелестных создания ничего этого совершенно не подозревали. Не имели об этом ни малейшего понятия. Им это и в голову не приходило, даже и во сне не снилось, точно так же, как и мистеру Пекснифу. Сама природа позаботилась о том, чтобы они оттеняли друг друга, а девицы Пексниф были тут совершенно ни при чем.

Как мы уже имели случай заметить, мистер Пексниф был человек добродетельный. Вот именно. Быть может, никогда еще не было на свете человека более добродетельного, чем мистер Пексниф, особенно на словах и в переписке. Один бесхитростный почитатель как-то выразился про мистера Пекснифа, что это целый клад добродетелей, в некотором роде Фортунатова сума^[12]. В этом отношении он был похож на сказочную принцессу, у которой сыпались изо рта настоящие бриллианты, с той только разницей, что у него это были прекрасно отшлифованные, ослепительного блеска стекляшки. Это был человек самого примерного поведения, набитый правилами добродетели не хуже любой прописи. Некоторые знакомые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывает всем дорогу, а сам никуда не идет, — но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света, вот и все. Даже его шея выглядела добродетельной. Эта шея была у всех на виду. Заглядывая за низенькую ограду белого галстука (узел которого оставался тайной для публики, ибо мистер Пексниф завязывал его сзади), вы видели светлую долину, незатененную бакенами и простиравшуюся между двумя высокими выступами воротничка. Эта шея как будто говорила, предстательствуя за

мистера Пекснифа: „Никакого обмана тут нет, леди и джентльмены, здесь все исполнено мира и священного спокойствия“. То же говорили и волосы, слегка седеющие, со стальным отливом, зачесанные со лба назад и торчащие либо прямо кверху, либо слегка нависающие над глазами, так же как и тяжелые веки мистера Пекснифа. То же говорили и его манеры, мягкие и вкрадчивые. Словом, даже его строгий черный костюм, даже его вдовство, даже болтающийся на ленте двойной лорнет — все устремлялось к одной и той же цели и громко вопияло: „Воззрите на добродетельного мистера Пекснифа!“

На медной дверной дощечке (а она не могла лгать, ибо принадлежала мистеру Пекснифу) было начертано: „Пексниф, архитектор“, к чему мистер Пексниф на своих визитных карточках добавлял: „и землемер“. В одном смысле, и только в этом единственном, его можно было назвать землемером с довольно обширным полем деятельности: перед его домом простиралась обширная полоса земли, которую он мог измерять взглядом. Насчет его архитектурных занятий не было известно ничего определенного, кроме того, что он никогда ничего не проектировал и не строил; но вообще подразумевалось, что глубина его познаний в этой области поистине неизмерима.

Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились главным образом к тому, что он держал учеников, ибо получение доходов, коим изредка разнообразились, отдохновения ради, его более серьезные труды, строго говоря, едва ли входит в обязанности архитектора. Все его таланты состояли в том, что он умел расставлять сети родителям и опекунам и класть в карман плату за обучение. Как только денежки за молодого человека бывали уплачены и молодой человек переселялся в дом мистера Пекснифа, мистер Пексниф брал у него взаймы чертежные инструменты (оправленные в серебро или представлявшие ценность в другом отношении) и просил его с этой минуты считать себя своим человеком в доме; затем, весьма лестно отозвавшись о его родителях или опекунах, смотря по обстоятельствам, предоставлял ему полную свободу действий в просторной комнате на третьем этаже, где, в обществе нескольких чертежных досок, рейсшин, циркулей с весьма неподатливыми ножками и двух или трех сверстников, он совершенствовался в науках года три, а то и больше, соответственно условиям контракта, производя съемку содсберийского собора со всех возможных точек зрения, а также строя в воздухе множество замков, парламентов и других общественных зданий. Быть может, нигде на земном шаре не возводилось столько пышных построек этого рода, сколько здесь, под присмотром мистера Пекснифа, и

если бы хоть одна двадцатая доля тех церквей, какие строились в этой самой комнате (с одной из девиц Пексниф в роли невесты и юным архитектором в роли жениха), была действительно принята парламентской комиссией, то по крайней мере в течение пяти столетий не понадобилось бы больше строить церквей.

— Даже и в земных благах, которыми мы сейчас насладились, — произнес мистер Пексниф, покончив с едой и обводя взглядом стол, — даже в сливках, сахаре, чае, хлебе, яичнице...

— С ветчиной, — подсказала негромко Чарити.

— Да, с ветчиной, — подхватил мистер Пексниф, — даже и в них заключается своя мораль. Смотрите, как быстро они исчезают! Всякое удовольствие преходяще. Даже еде мы не можем предаваться слишком долго. Если мы пьем много чая — нам грозит водянка, если пьем много виски — мы пьяны. Какая это утешительная мысль!

— Не говорите, что мы пьяны, папа, — остановила его старшая мисс Пексниф.

— Когда я говорю мы, душа моя, — возразил ей отец, — я подразумеваю человечество вообще, род человеческий, взятый в целом, а не кого-либо в отдельности. Мораль не знает намеков на личности, душа моя. Даже вот такая штука, — продолжал мистер Пексниф, приставив указательный палец левой руки к макушке, залепленной оберточной бумагой, — хотя это только небольшая плешь случайного происхождения, — напоминает нам, что мы всего-навсего... — он хотел было сказать „черви“, но, вспомнив, что черви не отличаются густотой волос, закончил: — ...бренная плоть.

— И это, — воскликнул мистер Пексниф после паузы, во время которой он, по-видимому без особого успеха, искал новой темы для поучения, — и это также весьма утешительно. Мерси, дорогая моя, помешай в камине и wygrеби золу.

Младшая мисс Пексниф послушно принялась мешать в камине, потом снова уселась на скамеечку и, положив на отцовское колено руку, прильнула к ней румяной щекой. Мисс Чарити придвинула стул поближе к огню, готовясь к беседе, и устремила взор на отца.

— Да, — произнес мистер Пексниф после краткого молчания, во время которого он, безмолвно улыбаясь и покачивая головой, глядел в камин, — мне опять посчастливилось достигнуть своей цели. У нас в доме в самом скором времени появится новый жилец.

— Молодой человек, папа? — спросила Чарити.

— Да, молодой, — ответил мистер Пексниф. — Ему представляется

редкая возможность соединить все преимущества наилучшего для архитектора практического образования с семейным уютом и постоянным общением с лицами, которые, как бы ни были ограничены их способности и скромна их сфера, тем не менее вполне сознают свою моральную ответственность.

— Ах, папа! — воскликнула Мерси, лукаво грозя ему пальчиком. — Точь-в-точь объявление!

— Веселая... веселая певунья! — сказал мистер Пексниф.

Тут кстати будет заметить по поводу того, что мистер Пексниф назвал свою дочку „певуньей“, что у нее совсем не было голоса, но что мистер Пексниф имел привычку ввертывать в разговор любое слово, какое только попадалось на язык, не особенно заботясь о его значении, лишь бы оно было звучно и хорошо закругляло фразу. И делал он это так уверенно и с таким внушительным видом, что своим красноречием нередко ставил в тупик первейших умников, так что те только глазами хлопали.

Враги мистера Пекснифа утверждали, кстати сказать, будто он во всем полагался на силу пустопорожних фраз и форм и что в этом заключалась сущность его характера.

— Он хорош собой, папа? — спросила младшая дочь.

— Глупышка Мерри! — сказала старшая: — „Мерри“ употреблялось ласкательно вместо „Мерси“. — Скажите лучше, сколько он будет платить?

— Ах, боже мой, Черри! — воскликнула мисс Мерси, всплескивая руками и самым обворожительным образом хихикая. — Какая же ты корыстная! Хитрая, расчетливая, гадкая девчонка!

Совершенно очаровательная сцена во вкусе века пасторалей: обе мисс Пексниф сначала слегка отшлепали друг друга, а после того бросились обниматься, проявив при этом всю противоположность своих натур.

— Он, кажется, недурен собой, — произнес мистер Пексниф с расстановкой и очень внятно, — довольно-таки недурен. Не могу сказать, чтобы я ожидал от него немедленной уплаты денег.

Хотя обе сестры были совсем разные, но при этих словах они одинаково широко раскрыли глаза и посмотрели на папашу таким удивленным взглядом, будто они в самом деле только и думали, что о презренной пользе.

— Ну, и что же из этого! — говорил мистер Пексниф, по-прежнему улыбаясь огню в камине. — Надеюсь, есть еще на свете бескорыстие? Не все же мы в разных лагерях — одни обидчики, а другие обиженные. Есть среди нас и такие, которые оказываются посередине, подают помощь тем, кому она нужна, и не примыкают ни к одной из сторон. А — гм?

В этой филантропической окрошке скрывался все же некий смысл, успокоивший сестер. Они обменялись взглядами и повеселели.

— Ну, к чему постоянно рассчитывать, строить какие-то планы, заглядывать в будущее, — говорил мистер Пексниф, улыбаясь все шире и глядя на огонь с таким выражением, словно это с ним он вел шутливую беседу. — Мне противны все эти хитрости. Если мы склонны быть добрыми и великодушными, смело дадим себе волю, хотя бы это принесло нам убыток вместо прибыли. А, Чарити?

Впервые подняв глаза после того, как он начал размышлять вслух, и увидев, что обе дочери улыбаются ему, мистер Пексниф подарил их таким игривым взглядом, что младшая, получив это поощрение, тут же перепорхнула к нему на колени, обняла его за шею своими прелестными ручками и поцеловала раз двадцать подряд. Во все время этой трогательной сцены она смеялась так заразительно, что к ее необузданной веселости присоединилась даже степенная и благоразумная Черри.

— Ну, будет, будет, — сказал мистер Пексниф и, слегка отстранив младшую дочь, пригладил пальцами волосы и снова принял достойное выражение лица. — Что за безрассудство! Остережемся смеяться без причины, чтобы после нам не плакать. Какие у нас дома новости со вчерашнего дня? Надеюсь, Джон Уэстлок уехал?

— В том-то и дело, что нет, — сказала Чарити.

— Почему же нет? — спросил отец. — Срок ему вышел еще вчера. И вещи его уложены, я знаю; я сам видел утром, что его сундук стоит в прихожей.

— Вчера он ночевал в „Драконе“, — отвечала молодая девушка, — и пригласил мистера Пинча отобедать с ним. Вечер они провели вместе, и мистер Пинч до самой поздней ночи не являлся домой.

— А когда я встретила его утром на лестнице, папа, — вмешалась Мерси с обычной своей живостью, — господи, до чего он был страшный! Цвет лица просто необыкновенный какой-то, глаза тусклые, как у вареного судака, голова, должно быть, трещит ужасно, я это сразу заметила, а от самого несет бог знает как, ну просто до невозможности, — тут молодая особа содрогнулась, — пуншем и табаком.

— Мне кажется, — произнес мистер Пексниф с привычной для него мягкостью, но в то же время с видом жертвы, безропотно сносящей обиду, — мне кажется, мистер Пинч напрасно выбрал себе в товарищи такого человека, который в завершение долголетнего знакомства пытался, как ему известно, оскорбить мои чувства. Я не вполне уверен, что это любезно со стороны мистера Пинча. Я не вполне уверен, что это тактично

со стороны мистера Пинча.

Я пойду дальше и скажу, что не вполне уверен, есть ли тут самая обыкновенная благодарность со стороны мистера Пинча.

— Но чего же можно ожидать от мистера Пинча^[13], — воскликнула Чарити, делая такое сильное и презрительное ударение на фамилии, что, казалось, она с величайшим наслаждением ущипнула бы прямо за ляжку этого джентльмена, если бы разыгрывала шараду.

— Да, да, — возразил ее отец, кротко поднимая руку. — легко нам говорить „чего мы можем ожидать от мистера Пинча“, но ведь мистер Пинч наш ближний, душа моя; это единица в общем итоге человечества, душа моя, и наше право, даже наш долг, — ожидать от мистера Пинча некоторого развития тех лучших свойств характера, коими мы по справедливости гордимся. Нет, — продолжал мистер Пексниф, — нет! Боже меня сохрани, чтобы я стал говорить, будто ничего хорошего нельзя ожидать от мистера Пинча, или чтобы я стал говорить, будто ничего хорошего нельзя ожидать от какого бы то ни было человека (даже самого развращенного, каким нельзя считать мистера Пинча, отнюдь нет); но мистер Пинч разочаровал меня; он меня огорчил; поэтому несколько изменилось к худшему мое мнение о мистере Пинче, но не о человеческой природе! Нет, о нет!

— Тише! — сказала мисс Чарити, подняв кверху палец, так как в это время кто-то осторожно постучался в парадную дверь. — Явилось наше сокровище! Попомните мои слова, это он вернулся вместе с Джоном Уэстлоком за его вещами и намерен помочь ему донести сундук до остановки дилижанса. Попомните мои слова, вот что у него на уме!

Должно быть, в то самое время как она это говорила, сундук выносили из дома, но после кратких переговоров шепотом его снова поставили на пол, и кто-то постучался в дверь гостиной.

— Войдите! — воскликнул мистер Пексниф, — сурово, но добродетельно. — Войдите!

Этим разрешением не преминул воспользоваться человек мешковатый, неловкий в движениях, крайне близорукий и преждевременно облысевший, но, заметив, что мистер Пексниф сидит к нему спиной, глядя на огонь, он нерешительно остановился, держась за дверную ручку. Он был далеко не красавец, и его фигуру облакал табачного цвета костюм, который и снову был скроен неладно, а теперь от долгой носки весь съежился и сморщился, потеряв всякий покрой; однако, несмотря на костюм и нескладную фигуру, которую отнюдь не красила сильная сутуловатость и смешная привычка вытягивать голову вперед, никому не пришло бы в голову считать его дурным человеком, разве только полагаясь на слова мистера Пекснифа. Ему

было, вероятно, лет около тридцати, а с виду можно было дать сколько угодно, от шестнадцати до шестидесяти: он принадлежал к тем странным людям, которые никогда не становятся вполне дряхлыми, но выглядят стариками уже в ранней юности, а после того становятся все моложе.

По-прежнему держась за ручку двери, он несколько раз переводил глаза с мистера Пекснифа на Мерси, с Мерси на Чарити, с Чарити опять на мистера Пекснифа; но так как обе дочери глядели в огонь с тем же упорством, что и папаша, и никто из них троих не обращал на него ни малейшего внимания, он вынужден был, наконец, сказать:

— Извините меня, мистер Пексниф: я, кажется, помешал вам...

— Нет, вы не помешали, мистер Пинч, — возразил тот очень кротко, но не оглядываясь на него. — Садитесь, пожалуйста, мистер Пинч. И будьте так любезны закрыть дверь, мистер Пинч, прошу вас, если вам нетрудно.

— Да, сэр, конечно, — сказал Пинч, не закрывая, однако, дверей, а, наоборот, открывая их еще шире и боязливо кивая головой кому-то стоявшему за порогом. — Мистер Уэстлок, сэр, узнав, что вы уже вернулись домой...

— Мистер Пинч, мистер Пинч! — произнес Пексниф, поворачиваясь кругом вместе со стулом, и глядя на Пинча с выражением глубочайшей скорби: — Я не ожидал этого с вашей стороны. Я не заслужил этого с вашей стороны!

— Но, право же, сэр... — настаивал Пинч.

— Чем меньше будет вами сказано, мистер Пинч, — остановил его Пексниф, — тем будет лучше. Я не жалуюсь ни на что. Не оправдывайтесь, пожалуйста.

Нет, позвольте, сэр, — воскликнул Пинч с большим жаром, — прошу вас! Мистер Уэстлок, сэр, уезжая из этих мест навсегда, желает расстаться с вами по-дружески. У вас с мистером Уэстлоком, сэр, вышло на днях маленькое недоразумение; у вас и прежде бывали маленькие недоразумения...

— Маленькие недоразумения! — воскликнула Чарити.

— Маленькие недоразумения! — эхом отозвалась Мерси.

— Дорогие мои! — сказал мистер Пексниф, все с тем же возвышенным смирением простирая руку к небесам. — Милые! — Выдержав торжественную паузу, он кротко кивнул мистеру Пинчу, как бы говоря: „Продолжайте“, — но мистер Пинч до того растерялся, не зная, что говорить дальше, и так беспомощно глядел на обеих девиц, что разговор, вероятно, и закончился бы на этом, если бы красивый юноша, едва

достигший возмужалости, не переступил в эту минуту порога и не подхватил нить беседы на том самом месте, где она оборвалась.

— Послушайте, мистер Пексниф! — сказал он, улыбаясь, — пусть между нами не останется никакого враждебного чувства, прошу вас. Я очень сожалею о том, что мы с вами не ладили, и сожалею как нельзя более, если я вас чем-нибудь оскорбил. Не поминайте меня лихом, сэр.

— Я ни одному человеку на свете не желаю зла, — кротко отвечал мистер Пексниф.

— Я же вам говорил, — громким шепотом вмешался мистер Пинч, — я так и знал! Я это от него всегда слышал.

— Так вы подадите мне руку, сэр? — воскликнул Джон Уэстлок, делая вперед шага два и взглядом приглашая мистера Пинча внимательно следить за происходящим.

— Гм! — произнес мистер Пексниф самым кротким голосом.

— Вы подадите мне руку, сэр?

— Нет, Джон, — отвечал мистер Пексниф с почти неземным спокойствием, — нет, я не подам вам руки. Я простил вас. Я давно уже простил вас, еще в то время, когда вы корили меня и издевались надо мной. Я примирился с вами во Христе, а это гораздо лучше, нежели подавать вам руку.

— Пинч, — сказал юноша, уже не скрывая своего презрения к бывшему наставнику, — что я вам говорил?

Бедняга Пинч, совершенно потерявшись, взглянул было на мистера Пекснифа, который с самого начала беседы не сводил с него глаз, но так и не найдя, что ответить, перевел взгляд на потолок.

— Что касается вашего прощения, мистер Пексниф, — сказал юноша, — то на таких условиях я его не приму. Я не желаю, чтобы меня прощали.

— Не желаете, Джон? — отвечал мистер Пексниф с улыбкой. — Но вам придется его принять. Вы не можете этому противиться. Прощение есть дар небес, оно есть самая возвышенная добродетель; оно вне вашей сферы и не подвластно вам, Джон. Я все-таки прощу вас. Вы не заставите меня помнить зло, которое вы мне причинили, Джон.

— Зло! — воскликнул тот со всем жаром юности. — Хорош голубчик! Зло! Я ему делал зло! Он и думать забыл про пятьсот фунтов, которые выманил у меня под всякими предлогами, и про семьдесят фунтов в год за стол и квартиру, когда за них много было бы и семнадцати! Нечего сказать, мученик!

— Деньги, Джон, — сказал мистер Пексниф, — это корень всякого зла.

Прискорбно видеть, что вы уже поддались их пагубному влиянию. А я не хочу даже помнить, что они существуют на свете. Не хочу помнить и о поведении того заблудшего, — здесь мистер Пексниф, до сих пор изъяснявшийся со всей кротостью миротворца, возвысил голос, словно желая сказать: „Я тебя, негодяя, насквозь вижу“, — того заблудшего, который привел вас сюда, пытаюсь нарушить (к счастью, тщетно) покой и душевный мир человека, которому не жаль было бы отдать за него последнюю каплю крови.

Тут голос мистера Пекснифа задрожал, в ответ послышались глухие рыдания его дочерей. Более того, в воздухе реяли и звучали два незримых голоса, — один восклицал: „Скотина!“, другой: „Свинья!“

— Способность прощать, — произнес мистер Пексниф, — прощать вполне и до конца, бывает иногда совместима и с сердечными ранами: быть может, если сердце ранено, тем больше в этом чести. Душа моя все еще содрогается и глубоко скорбит о неблагодарности этого человека, но я испытываю гордость и радость, говоря, что прощаю ему. Нет! Прошу этого человека, — возвысил голос мистер Пексниф, видя, что Пинч собирается заговорить, — прошу его не перебивать меня замечаниями; он премного меня обяжет, если не произнесет сейчас ни слова. Я не уверен, что у меня найдутся силы перенести это испытание. Через самое короткое время, надеюсь, я найду в себе достаточно твердости, чтобы продолжать беседу с ним так, как если бы ничего этого не произошло. Но не сейчас, — закончил мистер Пексниф, снова поворачиваясь к огню и махая рукой по направлению к дверям, — не сейчас!

— О! — воскликнул Джон Уэстлок со всем презрением и негодованием, какие могло выразить это односложное восклицание. — Всего наилучшего, барышни! Идем, Пинч, не стоит над этим задумываться. Я был прав, а вы ошибались. Это не так важно, в другой раз будете умнее.

С этими словами он похлопал по плечу своего приунывшего товарища, повернулся на каблуках и вышел в коридор, куда, нерешительно потоптавшись сначала в гостиной, последовал за ним и бедный мистер Пинч, с выражением глубочайшей подавленности и печали на лице. Затем они вдвоем подхватили сундук и отправились навстречу дилижансу.

Этот быстроходный экипаж проезжал каждый вечер мимо перекрестка на углу, куда оба они и направились теперь. Несколько минут они шли по улице молча, пока, наконец, молодой Уэстлок не расхохотался громко. Потом он замолчал, потом опять расхохотался, и так несколько раз подряд. Однако его спутник ни разу не отозвался тем же.

— Вот что я скажу вам, Пинч! — начал вдруг Уэстлок после новой

продолжительной паузы. — В вас мало злости. Какое там мало! Ни капли нет!

— Ну что ж! — сказал Пинч со вздохом. — Не знаю, право. Это, может быть, даже лестно. Может, еще тем лучше, что во мне ее нет.

— Тем лучше! — передразнил его спутник. — Тем хуже, хотите вы сказать.

— И все-таки, — продолжал Пинч, занятый собственными мыслями и не слыша этих последних слов своего друга, — во мне, должно быть, немало того, что вы называете злостью; иначе как бы я мог до такой степени огорчить Пекснифа? Мне бы очень не хотелось его обижать — не смейтесь, пожалуйста! — не хотелось бы ни за какие деньги; а, видит бог, они мне крайне были бы нужны, Джон. Как он огорчился!

— Он огорчился! — возразил его друг.

— Разве вы не заметили, что у него навернулись слезы! — воскликнул Пинч. — Боже ты мой, Джон, ведь это далеко не пустяки — видеть человека до такой степени взволнованным и знать, что ты этому виной! А слышали вы, как он сказал, что ему не жаль было бы отдать за меня последнюю каплю крови?

— А вам нужна эта последняя капля? — довольно резко возразил Джон. — Вот если бы он не жалел для вас того, что вам действительно нужно, — тогда другое дело. А то ведь ему жаль для вас порядочной работы, жаль карманных денег, жаль обучить вас хоть чему-нибудь! Ему жаль для вас даже баранины в сообразной пропорции с картошкой и овощами!

— Боюсь, — сказал Пинч, снова вздыхая, — что я очень много ем! Не могу же я не видеть, что очень много ем. И вы это знаете, Джон.

— Вы много едите? — переспросил его спутник с не меньшим возмущением, чем прежде. — Откуда вам это может быть известно?

По-видимому, этот вопрос заключал в себе большую убедительную силу, так как мистер Пинч только повторил полупшепотом, что питает сильное подозрение на этот счет и очень боится, что так оно и есть.

— Впрочем, так оно или не так, — прибавил он, — это к делу не относится, важно то, что мистер Пексниф считает меня неблагодарным. Джон, на мой взгляд, нет на свете преступления более вопиющего, чем неблагодарность, и если он упрекает меня в неблагодарности и думает, что я действительно заслужил такой упрек, для меня это — просто нож острый!

— А по-вашему, он этого не знает? — отвечал тот пренебрежительно. — Ну вот что, Пинч, не буду я с вами спорить, но только вы сами отдайте себе отчет, какие у вас резоны быть ему

благодарным, хорошо? Сначала переменяю руки, а то сундук тяжелый. Ну, вот так. А теперь говорите.

— Во-первых, — начал Пинч, — он принял меня в ученики и взял с меня гораздо меньше, чем просил сначала.

— Положим, — ответил его друг, ничуть не тронувшись таким великодушием. — А что во-вторых?

— Как что во-вторых? — воскликнул Пинч с некоторым даже вызовом. — Да все решительно! Моя бедная бабушка умерла счастливой, успокоенная мыслью, что поместила меня к такому превосходному человеку. Я вырос у него в доме, я теперь его доверенное лицо, его помощник, он назначил мне жалованье; а когда дела пойдут лучше — и мои перспективы тоже изменятся к лучшему. Вот это все и есть во-вторых, и многое другое тоже! А в качестве пролога и предисловия и к во-первых и к во-вторых, Джон, вы должны принять во внимание, что я родился для более простой и бедной жизни, что в его профессии я смыслю мало и таланта к ней у меня нет, да, в сущности, нет способностей и ни к чему другому, кроме разных пустяковых дел, которые никому не могут быть особенно нужны и полезны.

Он говорил все это с такой искренностью и с таким чувством, что его спутник невольно переменял тон и, усевшись на сундук (к этому времени они успели дойти до придорожного столба на перекрестке), жестом пригласил его сесть рядом и положил руку ему на плечо.

— Том Пинч, — сказал он, — я думаю, что лучше вас едва ли найдется человек на свете.

— Да нет, что вы, — ответил Том. — Если бы вы только знали Пекснифа так, как я его знаю, вы и про него сказали бы то же самое, и, право, не ошиблись бы.

— Я скажу о нем все, что вам будет угодно, — возразил тот, — и ничего не скажу ему в поношение.

— Так это ради меня, а не ради него, — сказал Том, грустно качая головой.

— Ради кого хотите, Том, лишь бы вам это пришлось по сердцу. Да! Замечательный человек! Он ведь не зацапал и не загреб в свою мошну последние трудовые гроши вашей бедной старухи бабки, — она, кажется, была экономкой, Том?

— Да, — сказал мистер Пинч, обняв свое костлявое колено и кивая головой, — она была экономкой в помещичьем доме.

— Он не зацапал и не загреб в свою мошну ее последние трудовые гроши, вскружив ей голову блестящей перспективой ваших будущих

успехов и счастья, хотя отлично знал (лучше всякого другого!), что этому никогда не бывать! Он не вымогал у нее денег, играя на ее слабой струнке, зная, что она гордится вами, что она воспитала вас, что она мечтает сделать из вас джентльмена! Он тут ни при чем!

— Ну да, — сказал Том Пинч, заглядывая в глаза своему другу и как будто сомневаясь в значении его слов, — разумеется, он тут ни при чем.

— Вот и я то же говорю, — ответил юноша, — разумеется, нет. Он взял с вас несколько не меньше, чем просил, потому что у старухи это было все, что она имела; и это было гораздо больше, чем он ожидал. Он тут ни при чем! Он держит вас в помощниках не потому, что вы ему полезны; не потому, что ваша удивительная вера в его мнимые добродетели служит ему хорошую службу во всех его проделках; не потому, что вашу честность приписывают ему; не потому, что слухи о ваших прогулках на досуге с книжками на древних и новых языках дошли даже до Солсбери и сделали из вашего наставника Пекснифа особу великой учености и чрезвычайного веса. Еще бы, Том, — разумеется, ему от вас мало пользы!

— Да, разумеется, немного, — отвечал Пинч, глядя на своего друга в совершенном смущении. — Какая может быть Пекснифу польза от меня! Что вы!

— А разве я не говорю, — возразил тот, — что смешно даже думать об этом?

— Это просто сумасшествие, — сказал Том.

— Сумасшествие! — подхватил молодой Уэстлок. — Еще бы не сумасшествие! Только сумасшедший подумает, будто Пекснифу приятно слышать, что любитель, который играет по воскресеньям на органе и музицирует иногда в летние сумерки, это тот молодой человек, что служит у мистера Пекснифа, — а, Том? Только сумасшедший подумает, что такой человек пустится на мелкие хитрости — припишет себе те сотни пустяковых дел, которые выполняете вы (и которым, разумеется, он научил вас), — а, Том? Только сумасшедший подумает, что это вы создаете ему известность, и создаете гораздо более верным и дешевым способом, чем если бы его имя печаталось в афишах, — а, Том? Но с таким же успехом можно подумать и обратное: что он далеко не всегда с нами откровенен, что и жалованье он вам назначил не слишком большое и не слишком щедрое, и, как это ни дико и ни невероятно, но можно подумать, — говоря это, он при каждом слове постукивал Тома по груди, — что Пексниф строит свои расчеты на вашем характере, а по характеру вы робки и склонны доверять не себе, а другим, и более всего тому, кто меньше всех достоин доверия. Да это ли не сумасшествие, Том!

Мистер Пинч выслушал его слова с растерянным видом, который объяснялся отчасти их содержанием, отчасти же их стремительностью и горячностью. Когда же Джон замолчал, мистер Пинч глубоко вздохнул и с грустью заглянул другу в глаза, словно не в состоянии решить, что именно они выражают. Казалось, он надеялся, несмотря на темноту, найти ключ к истинному смыслу его слов и уже собирался было ему ответить, как вдруг почтовый рожок весело зазвучал в их ушах, положив конец разговору, по-видимому к великому облегчению младшего из собеседников, который живо вскочил с сундука и протянул руку мистеру Пинчу.

— Обе ваши руки, Том! Я буду писать вам из Лондона, не забывайте меня!

— Да, — сказал Том. — Да. Пишите, пожалуйста. Прощайте. Прощайте же. Как-то не верится, что вы уезжаете. Кажется, будто вы приехали только вчера. Прощайте, дорогой мой друг!

Джон Уэстлок ответил на его прощальные слова не менее сердечно, затем взобрался на империал. И вскачь понеслась карета по темной дороге; ярко блестели фонари, и почтовый рожок будил эхо, далеко разносившееся вокруг.

— Ступай своей дорогой, — произнес Пинч вдогонку дилижансу. — Мне трудно поверить, что ты не живое существо, не какое-нибудь гигантское чудовище, которое время от времени наведывается в наши места, унося моих друзей в далекий мир. Сегодня же, как мне кажется, ты больше обычного торжествуешь и буйствуешь. Да и стоит трубить над такой добычей, потому что Джон чудесный малый, простая душа, и, насколько мне известно, у него только один недостаток: сам того не желая, он чудовищно несправедлив к Пекснифу.

Глава III,

где мы знакомимся с некоторыми другими лицами на тех же условиях, что и в предыдущей главе.

Выше уже упоминался — и не раз — некий дракон, с жалобным скрипом качавшийся перед дверью деревенской гостиницы. Это был облезлый и дряхлый дракон; от частых зимних бурь с дождем, снегом, изморозью и градом он стал из ярко-синего грязно-серым, самого тусклого оттенка. Однако он все висел да висел, с идиотским видом встав на дыбы, и день ото дня становился все тусклее и расплывчатое, так что, если глядеть на него с лица вывески, казалось — будто он просочился насквозь и проступил на обороте.

Это был весьма учтивый и обязательный дракон, то есть был в те далекие времена, когда он еще не расплылся окончательно, ибо даже теперь, едва держась на ногах, он подносил одну переднюю лапу к носу, будто говоря:

„Не бойтесь, это я только так, шучу!“, а другую простирает вперед любезным и гостеприимным жестом. Право, нельзя не согласиться, что в наши дни все драконово племя в целом сделало большой шаг вперед в отношении цивилизованности и смягчения нравов. Драконы уже не требуют ежедневно по красавице на завтрак, с педантичностью тихого старого холостяка, привыкшего получать каждый день поутру горячую булку: в наше время они больше известны тем, что чуждаются прекрасного пола и не поощряют дамских визитов (особенно в субботу вечером) и уже не навязывают свое общество дамам, не спросясь наперед, придется ли оно по вкусу, как это за ними водилось в старину.

Эта похвала цивилизованным драконам отнюдь не заводит нас так далеко в дебри естествознания, как может показаться с первого взгляда, ибо сейчас мы должны заняться драконом, логово которого находилось по соседству с домом мистера Пекснифа, и, поскольку это благовоспитанное чудовище уже выведено на арену, ничто не мешает нам приступить к делу.

В течение многих лет дракон этот покачивался, громыхая и скрипя на ветру, перед окнами парадной спальни гостеприимного заведения, которому присвоено было его имя, но за все те годы, что он покачивался, громыхал и скрипел, никогда еще не бывало такой возни и суматохи в его грязноватых владеньях, как в тот вечер, который последовал за событиями,

весьма подробно описанными в предыдущей главе; никогда еще не бывало такой беготни вверх и вниз по лестницам, такого множества огней, такого шушуканья, такого дыма и треска от дров, разгорающихся в отсыревшем камине; никогда так старательно не просушивались простыни, никогда так не пахло на весь дом раскаленными грелками, никогда не бывало таких хлопот по хозяйству; короче говоря, ничего подобного еще не доводилось видеть ни дракону, ни грифону, ни единорогу^[14] и никому из всего их племени с тех самых пор, как они начали интересоваться домашним хозяйством.

Пожилой джентльмен и молодая леди, ехавшие вдвоем, без спутников, на почтовых, в облупленной старой карете и направлявшиеся неизвестно откуда и неизвестно куда, вдруг свернули с большой дороги и остановились перед „Синим Драконом“. И теперь этот самый джентльмен, который неожиданно расхворался в дороге и только поэтому отважился заехать в такой трактир, мучился от ужасных колик и спазм, но, невзирая на свои страдания, ни за что не позволял пригласить к себе доктора и не желал принимать никаких лекарств, кроме тех, что достала из дорожной аптечки молодая леди, да и вообще ничего не желал, а только доводил хозяйку до полной потери чувств, наотрез отказываясь решительно, от всего, что бы она ему ни предлагала.

Из всех пятисот средств, какие могли облегчить его страдания и были предложены этой доброй женщиной менее чем за полчаса, он согласился только на одно. А именно — лечь в постель. И как раз из-за того, что ему стелили постель и прибирали в спальне, и поднялась вся возня в той комнате, перед окнами которой висел дракон.

Джентльмен был без сомнения очень болен и страдал невыносимо, хотя с виду это был очень крепкий и выносливый старик, с характером твердым как железо и голосом звучным как медь. Однако ни опасения за собственную жизнь, которые он выражал неоднократно, ни сильнейшие боли, терзавшие его, нимало не повлияли на его решение. Он так-таки не желал ни за кем посылать. Чем хуже больной себя чувствовал, тем тверже и непреклоннее становилась его решимость. Если пошлют за кем бы то ни было для оказания ему помощи, он ни минуты больше не останется в этом доме (так он и выразился), хотя бы ему пришлось уйти пешком и даже умереть на пороге.

Так как в деревне не было практикующего врача, а проживал только замухрышка-аптекарь, который торговал также бакалеей и мелочным товаром, то хозяйка на свой страх послала за ним в первую же минуту, как только стряслась беда. И само собой разумеется, именно потому, что он

понадобился, его не оказалось дома. Он уехал куда-то за несколько миль, и его ожидали домой разве только поздно ночью, а потому хозяйка, которая к этому времени совершенно потеряла голову, поскорей отправила того же посыльного за мистером Пекснифом, который, как человек образованный, конечно сумеет распорядиться и взять на себя ответственность, а как человек добродетельный — сумеет преподать утешение страждущей душе. Что ее постоялец нуждается в чьей-нибудь энергичной помощи по этой части, достаточно явствовало из беспокойных восклицаний, которые то и дело у него вырывались, свидетельствуя о том, что он тревожится скорее о земном, чем о небесном.

Человек, посланный с этим секретным поручением, имел не больше успеха, чем в первый раз: мистера Пекснифа тоже не оказалось дома. Тем не менее больного уложили в постель и без мистера Пекснифа, и часа через два ему стало значительно лучше, так как приступы колик становились все реже. Мало-помалу они совсем прекратились, хотя временами больной чувствовал такую слабость, что это внушало не меньше опасений, чем самые припадки.

В один из таких светлых промежутков молодая девушка и хозяйка гостиницы сидели вдвоем перед камином в комнате больного, как вдруг старик, осторожно озираясь по сторонам, приподнялся в своем пуховом гнезде и со странным выражением скрытности и недоверия принялся писать, воспользовавшись пером и бумагой, которые были положены по его приказанию на стол рядом с кроватью.

Хозяйка „Синего Дракона“ была по внешности именно такова, какова должна быть хозяйка гостиницы: полная, здоровая, добродушная, миловидная, с очень белым и румяным лицом, по веселому выражению которого сразу было видно, что она и сама с удовольствием прикладывает ко всем яствам и питьям в кладовой и погребе и что они идут ей на пользу. Она была вдова, но, уже давно перестав сохнуть по мужу, успела снова расцвести и до сих пор была в полном цвету. Она и сейчас цвела как роза: розы были на ее пышных юбках, розы на груди, розы на щеках, розы на чепце — да и на губах тоже розы, и притом такие, которые очень стоило сорвать. У нее и сейчас еще были живые черные глаза и черные как смоль волосы, и вообще она была еще очень недурна — аппетитная, полненькая и крепкая, как крыжовник, — и хоть, как говорится, не первой молодости, а все же вы могли бы поклясться, даже под присягой, даже перед любым судьей или мэром, что немного найдется на свете девушек (господь с ними со всеми!), которые вам так понравились бы и так пришлись по душе, как веселая хозяйка „Синего Дракона“!

Сидя перед огнем, прелестная вдовушка по временам с законной гордостью собственницы оглядывала комнату — просторное помещение, какие нередко встречаются в деревенских домах, с низким потолком и осевшим полом, покатым от дверей вглубь, и двумя ступеньками в таком совершенно неожиданном месте, что, входя в комнату, новый человек нырял головой вперед, как в бассейн, невзирая на все предупреждения. Это была не какая-нибудь легкомысленная и возмутительно светлая спальня из нынешних, где человеку, который мыслит и чувствует в какой-то мере последовательно, просто невозможно уснуть, до того она не соответствует своему назначению; наоборот, это было отличное, навевающее скуку и сон помещение, где каждый предмет напоминал вам, что вы пришли сюда именно затем, чтобы спать, и ничего другого от вас не ждут. Тут не было беспокойных отблесков огня, как в этих ваших модных спальнях, которые даже в самые темные ночи бьют в глаза своим французским лаком; мебель старинного красного дерева лишь время от времени подмигивала огню, как сонная кошка или собака, — только и всего. Самые размеры, формы и безнадежная неподвижность кровати, гардероба и даже стульев и столов навевали сон: они были явно апоплексического сложения и не прочь всхрапнуть. Со стен не таращились портреты, укоряя вас за леность, на пологе кровати не сидели круглоглазые, отвратительно бессонные и нестерпимо назойливые птицы. Плотные темные занавеси, глухие ставни и тяжелая груда одеял — все предназначалось для того, чтобы удерживать сон, не допуская извне света и движения. Даже старое чучело лисицы на шкафу утратило последние остатки зоркости, потому что единственный стеклянный глаз у него выпал, и оно дремало стоя.

Рассеянное внимание хозяйки „Синего Дракона“ блуждало среди этих предметов, задерживаясь на каждом не больше чем на мгновение. Вскоре, однако, оно отвлеклось от мебели и даже от кровати с ее новым бременем ради юного создания, которое сидело рядом с нею, погрузившись в задумчивое молчание и не отрывая глаз от огня.

Девушка была еще очень молода, по-видимому не старше семнадцати лет, держалась застенчиво и робко, однако самообладанием и умением скрывать свои чувства она была наделена в большей степени, чем женщины даже более солидного возраста. Это она только что доказала как нельзя лучше, ухаживая за больным джентльменом. Она была невысокого роста и худенькая, как и пристало в ее годы, но вся прелесть юности и девичества украшала ее милую головку. Ее лицо было очень бледно — отчасти, надо полагать, от недавнего волнения. По той же причине слегка растрепались темно-каштановые волосы и, выбившись из прически,

небрежно падали на шею, за что ни один свидетель мужского пола не решился бы ее осудить.

Она была одета как девушка из общества, но крайне просто, и даже когда сидела неподвижно, как теперь, во всем ее облике было что-то милое, вполне совпадавшее со свойственной ей скромной и непритязательной манерой одеваться. Сначала она время от времени тревожно поглядывала на кровать, но потом, убедившись, что больной успокоился и занялся писанием, тихо передвинула свой стул ближе к огню — по-видимому, инстинктивно чувствуя, что свидетели ему нежелательны; отчасти же для того, чтобы незаметно для больного дать волю своим чувствам, которые она до того сдерживала.

Все это, и даже гораздо больше, румяная хозяйка „Синего Дракона“ успела заметить и понять вполне, как только женщина умеет понять женщину. Наконец она сказала, нарочно понизив голос, чтобы не слышно было больному:

— Приходилось ли вам видеть у него такие приступы раньше, мисс? Часто это с ним бывает?

— Мне приходилось видеть его больным, но никогда еще ему не бывало так плохо, как сегодня.

— Какое счастье, мисс, — сказала хозяйка „Дракона“, — что все рецепты и лекарства были с вами!

— Они и предназначены для таких случаев. Мы никогда без них не путешествуем.

„Ах, вот как! — подумала хозяйка. — Эй, да вы привыкли путешествовать, да еще путешествовать вместе“.

Она до такой степени боялась, как бы эта мысль не отразилась у нее на лице, что, встретившись взглядом с гостьей и будучи честной женщиной, несколько смутилась.

— Этот джентльмен... ваш дедушка... — начала она опять после короткой паузы, — он совсем не хочет никакой помощи, так что вы, должно быть, очень за него боитесь, мисс?

— Сегодня я сильно тревожилась... Он... он мне не дедушка.

— Я хотела сказать „отец“, — возразила хозяйка, чувствуя, что сделала досадный промах.

— И не отец, — отвечала молодая девушка. — И не дядя, — прибавила она с улыбкой, предупреждая всякие дальнейшие догадки. — Мы с ним не родня.

— Ах ты господи! — отвечала хозяйка, смешавшись еще больше прежнего. — Как же это я могла так ошибиться, когда знаю не хуже всякого

другого, что больные всегда кажутся гораздо старше своих лет! Да еще зову вас „мисс“! — Дойдя до этих слов, она невольно взглянула на левую руку девушки и опять запнулась, так как обручального кольца на среднем пальце не было.

— Когда я сказала, что мы чужие друг другу, — отвечала та кротко и также не без смущения, — это значило — совсем чужие, а стало быть, и не муж и жена. Вы звали меня, Мартин?

— Звал вас? — откликнулся старик, быстро взглянув на нее и поспешно пряча под одеяло бумагу, на которой писал. — Нет, не звал.

Она уже сделала шага два к кровати, но сразу остановилась и замерла на месте.

— Нет, не звал, — повторил он с раздражением. — Почему вы спрашиваете? Если я вас звал, то какая была бы надобность в этом вопросе?

— По-моему, сударь, это скрипела вывеска за окном, — заметила хозяйка; предположение, кстати сказать, отнюдь не лестное для голоса старого джентльмена, как она и сама почувствовала в ту же минуту.

— Не важно, что именно это было, сударыня, — возразил старик, — только не я. Ну, что же вы там стали, Мэри, как будто у меня чума! Все меня боятся! — прибавил он, бессильно откидываясь на подушку, — все, даже она! Это проклятие какое-то! Чего же еще ждать!

— Нет, нет, что вы. Конечно, нет, — сказала добродушная хозяйка, вставая и подходя к нему. — Приободритесь, сударь. Это только болезненные фантазии.

— Какие там еще болезненные фантазии? — вскинулся на нее старик. — Что вы смыслите в фантазиях? Откуда вы слышали про фантазию? Все то же! Фантазии!

— Ну вот, смотрите, вы же мне пикнуть не даете, — отвечала хозяйка „Синего Дракона“ с невозмутимым добродушием. — Господи ты мой боже, ничего плохого в этом слове нет, хоть оно и старое. И у здоровых людей тоже бывают свои причуды, да еще какие странные сплошь и рядом.

Как ни была безобидна ее речь, она подействовала на недоверчивого старика, словно масло на огонь. Он поднял голову с подушки, устремил на хозяйку темные глаза, сверкание которых усиливалось бледностью впалых щек, в свою очередь казавшихся еще бледнее от черной бархатной ермолки, и впился в ее лицо пристальным взглядом.

— А не рано ли вы начинаете! — произнес он таким тихим голосом, что, казалось, скорее думал вслух, чем обращался к ней. — Однако вы не теряете времени. Вы делаете то, что вам поручено, чтобы заслужить

награду? Ну-с, так кто же подослал вас?

Хозяйка в изумлении посмотрела на ту, кого он называл „Мэри“, и, не найдя ответа на ее поникшем лице, опять взглянула на старика. Сначала она даже испугалась, думая, что он повредился в рассудке; однако неторопливая сдержанность его речи и твердая решимость, которая сказывалась в выражении его резко очерченной физиономии, а главное в крепко сжатых губах, убедили ее в противном.

— Ну же, — продолжал старик, — отвечайте мне, кто он такой? Впрочем, раз мы находимся здесь, мне нетрудно догадаться, можете быть уверены.

— Мартин, — вмешалась молодая девушка, кладя руку ему на плечо, — подумайте, как недолго мы пробыли в этом доме, даже имя ваше тут неизвестно.

— Если только вы... — начал он. Ему, как видно, очень хотелось высказать подозрение, что она злоупотребила его доверием, открывшись хозяйке; но, вспомнив нежные заботы девушки или растрогавшись выражением ее лица, он сдержался и, улегшись поудобнее на кровати, замолчал.

— Ну, вот! — сказала миссис Льюпин, ибо только от ее имени „Синему Дракону“ разрешалось удовлетворять нужды людей и животных. — Вот теперь вы успокойтесь, сударь. Вы просто позабыли на минуту, что вас окружают одни друзья.

— Ох, — простонал старик с раздражением, беспокойно водя рукой по одеялу, — к чему вы говорите мне о друзьях? Неужели я без вас не знаю, кто мне друзья и кто — враги?

— По крайней мере, — кротко настаивала миссис Льюпин, — эта молодая леди вам друг, я уверена.

— У нее нет оснований быть врагом, — отозвался старик голосом человека, окончательно потерявшего надежду и доверие к людям. — Думаю, что друг! Бог ее знает. Ну, вот что: дайте-ка мне уснуть. Свечу оставьте на месте.

Как только обе они отошли от кровати, старик вытащил бумагу, над которой трудился так долго, и сжег ее на свече дотла. Покончив с этим, он погасил свечу и, отвернувшись с тяжелым вздохом к стене, натянул одеяло на голову и затих.

Уничтожение бумаги, так странно не вязавшееся с затраченным на нее трудом и к тому же грозившее пожаром „Синему Дракону“, привело миссис Льюпин в немалое замешательство. Но молодая девушка, не выказав ни удивления, ни любопытства или тревоги, шепнула ей на ухо, что побудет с

больным еще немного, и, поблагодарив ее за внимание и помощь, просила не сидеть с нею, так как она привыкла быть одна и скоротает время за чтением.

Миссис Льюпин полностью, и даже с процентами, унаследовала ту законную долю любопытства, какая полагается прекрасному полу, и во всякое другое время, вероятно, было бы не так-то легко заставить ее понять этот намек. Но сейчас, растерявшись от изумления перед всеми этими загадками, она немедленно покинула комнату и отправилась, нигде не задерживаясь, вниз, в свою маленькую гостиную, где и уселась в кресло с неестественным для нее спокойствием. Как раз в эту критическую минуту послышались шаги в коридоре и мистер Пексниф, умильно улыбаясь, заглянул через невысокий прилавок на открывавшуюся глазам перспективу уюта и комфорта и прошептал:

— Добрый вечер, миссис Льюпин!

— Боже мой, сэр! — воскликнула она, вставая ему навстречу. — Как я рада, что вы пришли!

— И я тоже очень рад, что пришел, — отвечал мистер Пексниф, — если могу быть полезным. Я очень рад, что пришел. В чем дело, миссис Льюпин?

— Один джентльмен заболел в дороге и остановился у меня, он лежит наверху и очень плох, — отвечала сквозь слезы хозяйка.

— Один джентльмен заболел в дороге, лежит наверху и очень плох, вот как? — повторил мистер Пексниф. — Ну-ну!

В этом замечании не было решительно ничего такого, что можно было бы назвать оригинальным, нельзя также сказать, чтобы в нем содержалась какая-нибудь особенная мудрость, дотоле неизвестная человечеству, или чтобы оно открывало какой-нибудь неведомый источник утешения. Но мистер Пексниф смотрел так благосклонно и кивал головой так успокоительно, и во всей его обходительной манере сквозило такое чувство собственного превосходства, что и всякий на месте миссис Льюпин утешился бы от одного присутствия и звука голоса такого человека; и хотя бы он сказал всего-навсего, что „глагол должен согласоваться в роде и числе с существительным, любезный мой друг“, или что „восемью восемь шестьдесят четыре, почтеннейший“, — все же слушатель был бы глубоко благодарен мистеру Пекснифу за его мудрость и человеколюбие.

— А сейчас как он себя чувствует? — спросил мистер Пексниф, стаскивая перчатки и грея руки перед огнем с таким сострадательным видом, как будто это были чьи-то чужие руки, а не его собственные.

— Ему легче, он успокоился, — отвечала миссис Льюпин.

— Ему легче, и он успокоился, — произнес мистер Пексниф. — Хорошо, оч-чень хорошо!

И тут опять, хотя это утверждение принадлежало миссис Льюпин, а не мистеру Пекснифу, мистер Пексниф присвоил его себе и утешил им миссис Льюпин. В устах миссис Льюпин это было не бог весть что, а в устах мистера Пекснифа — целое откровение. „Я замечаю, — казалось, говорил он, — а через мое посредство и все нравственное человечество в целом усматривает, что ему легче и он успокоился“.

— А все-таки что-то, должно быть, тяготит его совесть, — сказала хозяйка, покачивая головой, — потому что разговор у него, сударь, до того чудной, что вы такого и не слыхивали. Видно, на душе у него очень нелегко и он нуждается в совете такого человека, который по добродетели своей мог бы ему помочь.

— Тогда, — заметил мистер Пексниф, — я самый подходящий для этого человек. — Он сказал это как нельзя более ясно, хотя не произнес ни слова. Он только покачал головой, как бы не доверяя собственным силам.

— Я опасаюсь, сэр, — продолжала хозяйка, сперва оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, не слышит ли их кто-нибудь, а потом опустив глаза в землю, — очень опасаюсь, сэр, что совесть его не совсем спокойна оттого, что он не родственник... и... и даже не муж... Этой молоденькой леди...

— Миссис Льюпин! — произнес мистер Пексниф, воздевая руку кверху с выражением настолько близким к суровости, насколько это было совместимо с кротостью его характера. — Особе! Молодой особе?

— Очень молодой особе, сэр, — поправилась миссис Льюпин и присела, краснея, — извините меня, сэр, я сама не знаю, что говорю, так я нынче расстроена, — которая и сейчас при нем.

— Которая и сейчас при нем, — размышлял вслух мистер Пексниф, грея себе спину точно так же, как он грел себе руки: будто это была вдовья спина, или сиротская спина, или спина его врага, или вообще чья-то чужая спина, которую менее добродетельный человек преспокойно оставил бы зябнуть. — О боже мой, боже мой!

— А в то же время я должна сказать, и говорю по чистой совести, — заметила серьезно хозяйка, — что по виду и манерам она не внушает подозрений.

— Ваши подозрения, миссис Льюпин, — важно сказал мистер Пексниф, — вполне естественны.

Что касается этого замечания, то да будет здесь отмечено в укор врагам достойного человека, что они всегда утверждали не краснея, будто мистер

Пексниф находил все дурное вполне естественным и, поступая таким образом, невольно разоблачал самого себя.

— Ваши подозрения, миссис Льюпин, — повторил он, — вполне естественны и, я не сомневаюсь, весьма основательны. Я зайду к этим вашим постояльцам.

С этими словами он снял пальто и, проведя пальцами по волосам, скромно заложил руку за жилет и слегка кивнул головой хозяйке, чтобы она шла вперед.

— Постучаться сначала? — спросила миссис Льюпин, останавливаясь у дверей спальни.

— Нет, — ответил мистер Пексниф, — войдите так, пожалуйста.

Они вошли на цыпочках, — вернее, хозяйка приняла эту предосторожность, ибо мистер Пексниф всегда ходил бесшумно. Пожилой джентльмен все еще спал, а его молоденькая спутница все еще сидела с книжкой перед камином.

— Боюсь, — сказал мистер Пексниф, останавливаясь в дверях и сообщая своей голове меланхолический наклон, — боюсь, что это выглядит не совсем естественно. Боюсь, миссис Льюпин, что тут какая-то хитрость.

Прошептав эти слова, он выступил вперед, заслоня хозяйку; и в ту же минуту, услышав шаги, молодая девушка поднялась с места. Мистер Пексниф бросил быстрый взгляд на книгу, которую она держала в руках, и снова шепнул миссис Льюпин, с еще большим прискорбием:

— Да, сударыня, книга душеспасительная. Я заранее опасался этого. Я так и предчувствовал, что перед нами весьма хитрая особа!

— Кто этот джентльмен? — спросил предмет его добродетельных сомнений.

— Т-с-с! Не беспокойтесь, сударыня, — остановил мистер Пексниф хозяйку, которая собиралась что-то ответить. — Эта молодая... — он все же не решился произнести слово „особа“ и заменил его другим, — эта молодая незнакомка, миссис Льюпин, извинит меня, если я отвечу кратко, что живу в этой деревне, быть может пользуюсь здесь некоторым влиянием, хотя и незаслуженно, и что я пришел сюда по вашему зову. Я пришел сюда, как обычно, из сочувствия к больным и страждущим.

С этими внушительными словами мистер Пексниф приблизился к постели больного и, торжественно похлопав раза два по одеялу, как будто этим способом достигалось полное проникновение в сущность болезни, уселся в мягкое кресло, где стал дожидаться пробуждения пациента в некоторой задумчивости и со всеми удобствами. Какие бы возражения ни услышала миссис Льюпин от молодой девушки, дальше нее это не пошло,

ибо мистеру Пекснифу ничего не было сказано и сам мистер Пексниф больше никому не сказал ни слова.

Прошло целых полчаса, прежде чем старик пошевелился, но, наконец, он заворочался на кровати и, хотя еще не совсем проснулся, по некоторым признакам видно было, что сон его близок к концу. Одеяло постепенно сползло с его головы, и он повернулся в ту сторону, где сидел мистер Пексниф. Через некоторое время его глаза открылись, и он лежал несколько секунд, сонно глядя на своего гостя, не отдавая себе ясного отчета в его присутствии.

В этом пробуждении не было ничего замечательного, если не считать впечатления, произведенного им на мистера Пекснифа: он наблюдал его, как наблюдают какое-нибудь чудо природы. Его руки все сильнее и сильнее сжимали подлокотники кресла, глаза округлились от изумления, рот раскрылся, волосы надо лбом встопорщились более обыкновенного, и, наконец, когда старик сел на кровати и уставился на Пекснифа, не менее его ошеломленный, все колебания этого добродетельного человека исчезли, и он громко воскликнул:

— Это Мартин Чезлвит!

И тут же замер в изумлении, настолько неподдельном, что старик, как ни был он расположен считать это изумление притворным, должен был убедиться в его искренности.

— Да, я Мартин Чезлвит, — ответил он ворчливо, — я Мартин Чезлвит, и желаю, чтобы вас повесили, а то ходите тут и не даете мне спать. Он даже приснился мне, этот молодчик, — сказал он, опять ложась и отворачиваясь к стене, — а ведь я еще и знать не знал, что он сидит тут, рядом со мной.

— Любезный кузен... — произнес мистер Пексниф.

— Ну вот! С самых первых слов! — заворчал старик, беспокойно повертывая седую голову то вправо, то влево и вскидывая руки кверху. — С самых первых слов он уже навязывается мне в родню! Так я и знал, все они на один лад! Близкие или дальние, кровная родня или седьмая вода на киселе, — всегда одно и то же. Уф! А ведь стоит моим родственникам слово сказать, и какой длинный развертывается список обманов, подвохов и интриг.

— Прошу вас, не судите обо мне опрометчиво, мистер Чезлвит, — сказал Пексниф тоном как нельзя более сострадательным и в то же время как нельзя более беспристрастным, ибо он уже успел прийти в чувство и вполне овладел собой и всеми своими добродетелями. — Вы пожалеете о своей опрометчивости, я уверен.

— Он уверен! — презрительно заметил Мартин.

— Да, — отвечал мистер Пексниф. — Именно, именно, мистер Чезлвит! И напрасно вы думаете, сэр, что я собираюсь вам льстить или заискивать перед вами, — я как нельзя более далек от этого. Вам нечего опасаться, сэр, что я повторю то неприятное слово, которое вас так задело. Да и к чему бы это? Разве я жду от вас чего-нибудь или мне что-нибудь нужно? Насколько мне известно, вы не обладаете ничем таким, что давало бы вам счастье и чему я мог бы позавидовать.

— Это, пожалуй, верно, — проворчал старик.

— Помимо этих соображений, — продолжал мистер Пексниф, зорко наблюдая за действием своих слов, — вам должно быть достаточно ясно, что, если бы я хотел втереться к вам в доверие, я бы прежде всего остерегся обращаться к вам как к родственнику, зная ваши взгляды и будучи убежден наперед, что хуже этого я не мог бы представить рекомендации.

Мартин не удостоил его ответом, но так ясно дал понять одним движением ноги под одеялом, что это резонно и что спорить с этим он не намерен, как если бы выразил свое мнение в самой обстоятельной речи.

— Нет, — сказал мистер Пексниф, закладывая руку за жилет и словно готовясь предъявить свое сердце Мартину Чезлвиту по первому его требованию, — я пришел сюда с тем, чтобы предложить свои услуги незнакомцу. Я не предлагаю их вам, ибо знаю, что вы отнеслись бы ко мне с недоверием. Но пока вы прикованы к этой кровати, сэр, я смотрю на вас, как на постороннего человека, и интересуюсь вами совершенно так же, как интересовался бы посторонним при тех же обстоятельствах. Помимо же этого — вы мне безразличны, мистер Чезлвит, так же, как я вам.

Сказав это, мистер Пексниф откинулся на спинку кресла, сияя таким чистосердечным простодушием, что миссис Льюпин удивилась, почему вокруг его головы нет сияния, как у святых.

Последовало долгое молчание. Старик с возрастающим беспокойством ворочался на кровати с боку на бок. Миссис Льюпин и молодая девушка молча смотрели на одеяло. Мистер Пексниф рассеянно поигрывал лорнетом, закрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться.

— Что? — неожиданно произнес он, открывая глаза и устремляя их на больного. — Прошу прощения. Мне показалось, что вы заговорили. Миссис Льюпин, — продолжал он, неторопливо поднимаясь с места, — не думаю, чтобы я мог быть чем-нибудь здесь полезен. Джентльмену теперь легче, а другой такой сиделки, как вы, ему не найти. Что?

Это последнее восклицание относилось к старику, который опять переменил положение и теперь повернулся лицом к мистеру Пекснифу, в

первый раз за все время разговора.

— Если вы желаете что-нибудь сказать мне, сэр, прежде чем я уйду, — продолжал мистер Пексниф после новой паузы, — можете располагать моим временем, но при условии, что вы будете разговаривать со мной как с посторонним, — только как с посторонним.

Если мистер Пексниф понял по какому-нибудь движению Мартина Чезлвита, что тот желает с ним говорить, то судить об этом он мог, лишь исходя из правил, на которых обычно строится мелодрама и в силу которых старик фермер и его сын простак всегда понимают, что хочет сказать немая девушка, когда, выбежав к ним в сад, она повествует о своих злоключениях в совершенно невразумительной пантомиме. Однако Мартин Чезлвит не спрашивал ни о чем и только сделал своей молодой спутнице знак удалиться, после чего она немедленно вышла из комнаты вместе с хозяйкой, оставив его наедине с мистером Пекснифом. Некоторое время они молча глядели друг на друга, или скорее старик глядел на мистера Пекснифа, ибо мистер Пексниф опять закрыл глаза и, отвергшись от предметов материального мира, устремил духовный взор в недра собственной души. Что это занятие щедро вознаграждало его за труды и раскрывало перед ним завлекательную и восхитительную перспективу, было видно по выражению его лица.

— Вы желаете, чтобы я разговаривал с вами, как с совершенно посторонним лицом, — начал старик, — не так ли?

Мистер Пексниф легким пожатием плеч и едва заметным движением век дал понять, не открывая глаз, что он по-прежнему вынужден на этом настаивать.

— Пусть будет по-вашему, — сказал Мартин. — Сэр, я человек богатый. Не настолько богатый, как полагают некоторые, но все же состоятельный. Я не скряга, сэр, хотя, как я слышал, меня обвиняют и в этом, и многие этому верят. Я не вижу никакой радости в том, чтобы владеть деньгами. Дьявол, именуемый богатством, не может принести мне ничего, кроме несчастья.

Вряд ли было бы правильно, говоря о скромности манер мистера Пекснифа, сослаться на распространенную поговорку и сказать, что с виду он и воды не замутит или что во рту у него даже масло не тает. Наоборот, с виду казалось, что из мистера Пекснифа можно наделать уйму масла, сбивая млеко гуманности и благожелательности, бывшее фонтаном из его сердца.

— Но именно по той же причине, почему я не коплю денег, — продолжал старик, — я и не швыряю их зря. Иные находят отраду в том,

чтобы копить их, другие — в том, чтобы тратить; меня же это не прельщает. Кроме забот и огорчений, деньги мне ничего принести не могут. Я ненавижу их. Они, словно призрак, маячат передо мной повсюду и отравляют всякое удовольствие общения с людьми.

Очевидно, в голове мистера Пекснифа мелькнула некая мысль, которая в ту же минуту отразилась и на его физиономии, иначе Мартин Чезлвит не закончил бы свою речь так отрывисто и так сурово:

— Вы, конечно, посоветовали бы мне, ради моего душевного спокойствия, расстаться с этим источником всех зол и передать деньги другому, кому они не были бы в тягость. Даже вы, быть может, согласились бы взять на себя бремя, которое гнетет меня так тяжело. Однако, любезный незнакомец и добрый христианин, — продолжал старик, и лицо его потемнело при этих словах, — в этом-то и заключается главное мое горе. Мне известно, что деньги немало приносят и добра; мне известно, что они не раз помогали торжествовать победу, в них справедливо видят магический ключ, отмыкающий врата, преграждающие путь к мирским почестям, радостям и счастьем. Какому же человеку, какому достойному, честному, неподкупному существу могу я доверить подобный талисман теперь или после моей смерти? Знаете ли вы такое лицо? Ваши добродетели, конечно, неоценимы, но можете ли вы указать мне другое человеческое существо, которое безнаказанно выдержало бы общение со мной?

— Общение с вами, сэр? — эхом отозвался мистер Пексниф.

— Да, — повторил старик, — выдержало бы общение со мной — со мной! Вы слышали о несчастном, который, во исполнение собственной неразумной просьбы, превращал в золото все, к чему прикасался? Проклятие моей жизни в том, что исполнилось и мое безрассудное желание, и я осужден испытывать людей золотом и находить в них фальшь и пустоту.

Мистер Пексниф покачал головой и сказал:

— Вам так кажется.

— О нет, не кажется! — воскликнул старик. — Да и в ваших словах „вам так кажется“ я слышу подлинный звон металла, из которого вы отлиты. Поймите, любезнейший, — добавил он еще более горько, — что мне, ныне богатому человеку, пришлось на своем веку иметь дело со всякими людьми: с родней, чужими и знакомыми; с людьми, которым я доверял, будучи беден, и доверял справедливо, ибо тогда они еще не обманывали меня и не чернили друг друга. Но ни разу не довелось мне, одинокому богачу, столкнуться с человеком — нет, нет, ни разу, — в

котором я не обнаружил бы скрытой гнили, до времени затаившейся и ждущей только случая, чтобы выйти наружу. Предательство, обман, низкие происки, ненависть к действительным или воображаемым соперникам, добивающимся моих милостей, корысть, ложь, низость и раболепство или, — и тут он зорко посмотрел в глаза своему родственнику, — притворная честность и независимость, что едва ли не хуже, — вот те прелести, какие вывело на чистую воду мое богатство. Брат против брата, сын против отца, друзья, попирающие ногами друзей, — вот общество, в котором я провел всю свою жизнь. Существуют рассказы, — не знаю, сказка они или быль, — о богачах, переодетых нищими, которые разыскивают добродетель и, найдя, вознаграждают ее. Глупцы и простаки, сколько труда они затратили понапрасну! Им следовало бы пускаться на такие поиски в своем собственном обличье. То-то была бы достойная цель для всяких низких и грабительских происков, для интриг и обольщений со стороны своры мошенников, которые с радостью стали бы плевать на гроб одураченной жертвы; тогда эти поиски добродетели окончились бы тем же, чем окончились мои; и искатели пришли бы к тому же, к чему пришел теперь я.

Мистер Пексниф решительно не знал, что на это ответить; во время последовавшей короткой паузы он всеми силами старался показать, будто бы собирается изречь нечто достойное оракула, будучи твердо уверен, что старик прервет его на полуслове. И он не ошибся; Мартин Чезлвит, переведя дыхание, продолжал:

— Выслушайте меня до конца; посудите сами, какой выгоды можете вы добиться повторениями этого визита. и оставьте меня в покое. Я до такой степени развратил и испортил натуру каждого, кто соприкасался со мной, сея вокруг себя корыстные помыслы и надежды; я породил столько раздоров и свар, даже в пределах собственной семьи, в мирном кругу родных; я, словно пылающий факел, столько раз воспламенял взрывчатые газы и пары домашней атмосферы, которые без меня остались бы непотревоженными, — что в конце концов я попросту бежал от всех, кто меня знает, и, скрываясь в безвестных убежищах, все последнее время жил жизнью изгнанника. Молодая девушка, которую вы только что видели... Ага! Ваши глаза загорелись, не успел я заговорить о ней! Вы уже ненавидите ее, вот как!

— Даю вам честное слово, сэр... — сказал мистер Пексниф, прикладывая руку к сердцу и опуская глаза.

— Я забыл, — воскликнул старик, глядя на мистера Пекснифа таким проницательным взором, что тот его почувствовал, хотя и не поднимал глаз

и не мог его видеть, — прошу прощения. Я забыл, что вы мне совсем чужой. На минуту вы мне напомнили некоего Пекснифа, моего родственника. Как я уже говорил вам, молодая девушка, которую вы только что видели, — это сиротка, которую я взрастил и воспитал, или удочерил, если вам больше нравится это слово, с совершенно особой целью. Уже с год или более того она моя постоянная спутница, а с недавних пор и единственная. Она знает, что я дал торжественную клятву не оставлять ей по завещанию ни гроша; но пока я жив, она получает годовое содержание, не слишком щедрое и не слишком скарредное. Мы уговорились избегать ласковых и льстивых обращений, она всегда будет звать меня по имени, так же как и я ее. Пока я жив, она связана со мной узами выгоды, а так как моя смерть не сулит ей напрасных надежд, — напротив, она все потеряет, — то, быть может, она и станет меня оплакивать, хотя я об этом мало тревожусь. Это единственный друг, какого я могу иметь теперь или в будущем. Судите же сами, много ли выгод принесет вам час, проведенный со мною, и оставьте меня, чтобы не возвращаться больше.

С этими словами старик медленно опустился на подушки. Мистер Пексниф так же медленно поднялся с места и, предварительно кашлянув, начал:

— Мистер Чезлвит!

— Ну вот! Уходите! — прервал его старик. — Довольно с меня. Вы мне надоели.

— Меня это огорчает, сэр, — возразил мистер Пексниф, — потому что я должен исполнить долг, от которого не отступлю, можете быть уверены. Да, сэр, не отступлю ни за что.

Как это ни прискорбно, но когда мистер Пексниф стал перед кроватью, выпрямившись во весь рост и адресуясь к старику во всем величии добродетели, тот бросил яростный взгляд на подсвечник, словно испытывая сильнейшее желание запустить им в голову своего кузена. Однако он сдержался и показал гостю пальцем на дверь, словно давая понять, что именно туда ему следует выйти.

— Благодарю вас, — сказал мистер Пексниф. — Я сам это знаю и сейчас уйду. Но сперва я просил бы, чтобы вы позволили мне высказаться; мало того, мистер Чезлвит, вы должны — да, да, я повторяю! — должны меня выслушать. То, что вы сообщили мне сегодня, нисколько не удивило меня, сэр. Все это естественно, вполне естественно, и по большей части было известно мне и раньше. Не стану говорить, — продолжал мистер Пексниф, извлекая носовой платок и мигая обоими глазами сразу, как бы против воли, — не стану говорить, что вы во мне ошиблись. Пока вы

находитесь в таком настроении, я ни за что этого не скажу. Право, я хотел бы, чтобы у меня был другой характер и чтобы я мог подавить даже вот это невольное признание в слабости, которую я не в силах скрыть от вас, но которую считаю унижительной и которую вы по доброте своей простите мне. Если вам угодно, — прибавил мистер Пексниф со слезой в голосе, — мы припишем это простуде, или понюшке табаку, или нюхательным солям, или луку — чему угодно, только не истинной причине.

Тут он помолчал с минуту и спрятал лицо в платок. Потом улыбнулся как бы через силу и, ухватившись одной рукой за столбик кровати, продолжал: — Но, мистер Чезлвит, хотя я готов забыть о себе, тем не менее должен сказать вам ради себя самого, ради своей репутации — да, сэр, у меня есть репутация, которую, как высшее достояние, я оставлю в наследство своим двум дочерям, — я должен сказать вам, не в своих интересах, но в интересах другого, что ваше поведение дурно, противоестественно, чудовищно, что ему нет никакого оправдания. И еще скажу вам, сэр, — продолжал далее мистер Пексниф, паря на цыпочках между занавесями кровати и как бы воочию возносясь над корыстными расчетами мира, так что, казалось, не держись он крепко за столбик, почтенный джентльмен ракетой взвился бы к небесам, — скажу без страха и пристрастия, что вам не подобает забывать вашего внука, молодого Мартина, который имеет на вас все права самого близкого родственника. Это не годится, сэр, — повторил мистер Пексниф, качая головой. — Вы, может быть, думаете, что годится, — но это не годится. Вы, конечно, позаботитесь о молодом человеке: вы должны позаботиться о нем, и это вам известно. Я уверен, — продолжал мистер Пексниф, бросая взгляд на перо и чернила, — что вы и сами уже обо всем подумали. Благослови вас господь за это. За то, что вы поступили как должно. За то, что вы ненавидите меня. И спокойной вам ночи!

Свою речь мистер Пексниф закончил торжественным мановением правой руки, после чего снова заложил эту руку за борт жилета и удалился. По всему видно было, что он взволнован, но походка его оставалась твердой. Не чуждый человеческим слабостям, он находил опору в сознании, что совесть его чиста.

Мартин Чезлвит некоторое время лежал молча, и лицо его выражало немое изумление, которое пересиливало гнев; наконец он пробормотал едва слышно:

— Что это значит? Неужели вероломный мальчишка избрал своим орудием наглеца, который только что вышел отсюда? Почему же нет? Ведь он тоже в заговоре против меня, как и все прочие: оба они одного поля

ягоды. Опять козни, опять козни! О эгоизм, эгоизм! Куда ни повернись, ничего кроме эгоизма!

Некоторое время он молчал и только перебирал пальцами сожженную бумагу на подсвечнике. Он перебирал ее в полном рассеянии, затем и мысли его обратились к этой бумаге.

— Еще одно завещание составлено и уничтожено, — пробормотал он, — ничего не решено, ничего не сделано, а ведь я... мог умереть сегодня! Вижу ясно, каким гнусным целям послужат в конце концов эти деньги, — восклицал он, чуть ли не корчась в постели. — Всю мою жизнь я не знал ничего, кроме забот и горя из-за этих денег, да и после моей смерти они будут возбуждать только раздор и вражду. Так всегда бывает. Какие тяжбы произрастают повседневно на могилах богачей! Сколько сеется лжи, ненависти, раздоров среди близких родных, там, где нет места ничему, кроме любви. Горе нам, ибо за многое нам придется ответить! О эгоизм, эгоизм! Каждый за себя, а за меня — никто!

Вездесущий эгоизм! Но разве не было какой-то доли эгоизма и в этих размышлениях; да и во всей истории Мартина Чезлвита, по собственному его свидетельству?

Глава IV,

из которой следует, что если в единении сила и родственные чувства приятно видеть, то род Чезлвитов надо считать самым сильным и самым приятным на свете.

Итак, сей достойнейший муж, мистер Пексниф, распрощавшись со своим кузеном в торжественных выражениях, запечатленных в предыдущей главе, отправился к себе домой, где и просидел целых три дня, не отваживаясь даже на прогулку за пределами собственного сада, из боязни, как бы его в это время не вызвали спешно к одру провинившегося и кающегося родственника, которого мистер Пексниф, по своему великому милосердию, решил простить без всяких оговорок и любить на каких угодно условиях. Но таковы были упрямство и озлобление сурового старика, что покаянного зова не последовало, и четвертый день ожидания застал мистера Пекснифа гораздо дальше от его благочестивой цели, чем первый.

В продолжение всего этого времени он забегал в „Дракон“ в любой час дня и ночи и, платя добром за зло, справлялся о здоровье закоснелого упрямца, проявляя величайшее внимание к нему, так что миссис Льюпин, видя такую бескорыстную заботу, совсем расчувствовалась, — ибо в разговорах с ней он неукоснительно подчеркивал, что сделал бы то же самое и для чужого человека, даже для нищего, если б тот находился в таком положении, — и пролила немало умиленных и восторженных слез.

Тем временем старый Мартин Чезлвит сидел у себя запершись, не видясь ни с кем, кроме своей юной спутницы да еще хозяйки „Синего Дракона“, которую допускали к нему в иных случаях. Однако, как только она входила в комнату, Мартин притворялся, будто спит, и до тех пор не отвечал ни слова даже на самый простой вопрос, пока его не оставляли наедине с молодой девушкой, хотя мистеру Пекснифу, который усердно подслушивал у дверей, удалось-таки установить, что с ней старик бывал довольно разговорчив.

Вечером четвертого дня случилось так, что мистер Пексниф, войдя, по обыкновению, в общую залу „Дракона“ и не застав там миссис Льюпин, прошел прямо наверх, намереваясь, в пылу христианского усердия, приложить ухо к замочной скважине и, душевного спокойствия ради, удостовериться в том, что жестокосердый пациент чувствует себя хорошо.

Случилось так, что мистер Пексниф, тихонько войдя в темный коридор, куда сквозь упомянутую замочную скважину обычно падал косой луч света, к своему изумлению не увидел этого луча; а далее случилось так, что мистер Пексниф, найдя ощупью дорогу к дверям спальни и нагнувшись второпях, чтобы удостовериться путем личного осмотра, не велел ли старик, по своей подозрительности, заткнуть скважину изнутри, — так сильно столкнулся головой с кем-то другим, что не мог не испустить довольно громкого восклицания „ой!“, исторгнутого у него чувством страха. И, наконец, случилось так, что мистер Пексниф немедленно вслед за этим был схвачен за шиворот неведомой силой, которая издавала смешанный запах мокрых зонтиков, пивной бочки, горячего грога и насквозь прокуренного трактирного помещения, и без всяких околичностей отведен вниз, в ту самую залу, откуда только что пришел и где он теперь очутился лицом к лицу с совершенно незнакомым ему джентльменом престранной наружности, который одной рукой держал мистера Пекснифа за шиворот, а другой, свободной, изо всех сил растирал себе голову, глядя на него довольно свирепо.

По наружности незнакомца можно было отнести к тому разряду людей, который принято именовать „благородной бедностью“, хотя, судя по одежде, нельзя было сказать, что он находится в стесненных обстоятельствах: наоборот, пальцы у него свободно вылезали из перчаток, а подошвы сапог существовали почти самостоятельно, отделившись от головок. Его невыразимые были голубовато-серого цвета — когда-то очень яркого, а теперь потускневшего от времени и грязи, — и так туго натянуты, в силу противодействия подтяжек и штрипок, что, казалось, готовы были в любую минуту лопнуть на коленках. Его синяя венгерка военного покроя, со шнурами, была застегнута на все пуговицы до самого подбородка, а шейный платок цветом и узором напоминал те салфетки, какими парикмахеры обычно подвязывают своих клиентов, совершая над ними профессиональное таинство. Его шляпа дошла до такого состояния, что весьма затруднительно было бы решить, какого цвета она была вначале — белая или черная. При всем том он носил усы — и даже очень щетинистые усы, не то чтобы мягкие и снисходительные, но довольно свирепого и надменного фасона, поистине дьявольские усы, а сверх того целую копну нечесаных волос. Он был очень грязен и очень нахален, очень дерзок и очень угодлив, — словом, это был человек, который мог бы добиться в жизни чего-то лучшего и несомненно заслуживал гораздо худшего.

— Вы подслушивали у дверей, негодяй вы этакий! — сказал незнакомец.

Но мистер Пексниф пренебрег им, как, вероятно, Георгий Победоносец пренебрег драконом, когда это чудовище находилось при последнем издыхании; не удостоив его ответом, он сказал:

— Где миссис Льюпин, хотел бы я знать? Неужели этой доброй женщине неизвестно, что здесь находится человек, который...

— Постойте! — воскликнул джентльмен. — Одну минуту! А если ей известно? Что тогда?

— Что тогда? — воскликнул мистер Пексниф. — Что тогда? Знаете ли вы, сэр, что я друг и родственник этого больного джентльмена? Что я его защитник, его покровитель, его...

— Но все-таки не муж его племянницы, — прервал незнакомец, — это уж наверняка, потому что он побывал здесь раньше вас.

— То есть как это? — удивленно и негодуя спросил мистер Пексниф. — Что вы мне рассказываете, сэр?

— Одну минутку! — воскликнул тот. — Может быть, вы кузен? Тот, что живет в здешних местах?

— Да, я кузен, который живет в здешних местах, — отвечал достойный человек.

— Ваша фамилия Пексниф? — спросил незнакомец.

— Да, это моя фамилия.

— Честь имею представиться и прошу вашего прощения, сэр, — сказал незнакомец, дотрагиваясь до шляпы, а затем ныряя под шейный платок в поисках воротничка, который, однако, ему не удалось извлечь на поверхность. — Вы видите перед собой человека, который тоже интересуется тем джентльменом, что наверху. Одну минуту.

Сказав это, он приставил палец к кончику своего римского носа, в знак того, что собирается посвятить мистера Пекснифа в какую-то тайну, потом, сняв шляпу, начал рыться в тулье, где было много измятых бумажонок и каких-то мелких клочков, похожих на сигарные обертки, и, наконец, выбрал среди них конверт от старого письма, порядком засаленный и насквозь пропахший табаком.

— Прочтите вот это, — сказал он, подавая конверт мистеру Пекснифу.

— Адресовано эсквайру Чиви Слайму, — возразил Пексниф.

— Я думаю, вы знаете эсквайра Чиви Слайма? — спросил незнакомец. Мистер Пексниф пожал плечами, как бы говоря:

„Я знаю, что есть такое лицо, — к моему величайшему прискорбию“.

— Очень хорошо, — заметил джентльмен. — Это и привело меня сюда, это меня и интересует. — Тут он опять нырнул за воротничком и вытащил какую-то веревочку.

— Весьма огорчительно, друг мой, — сказал мистер Пексниф, покачивая головой и безмятежно улыбаясь, — весьма огорчительно, но я вынужден сказать вам, что вы не то лицо, за которое себя выдаете. Я знаю мистера Слайма, друг мой, и, право, зря вы это, совсем ни к чему: самая лучшая политика — честность.

— Пойдите! — воскликнул джентльмен, простирая вперед руку в таком узком и тесном рукаве, что она походила на суконную колбасу. — Одну минуту!

Он замолчал и, не теряя времени, расположился поудобнее перед огнем, став к нему спиной. Затем, забрав полы венгерки в левую руку и поглаживая усы большим и указательным пальцами правой, руки, продолжал:

— Я понимаю вашу ошибку и не обижаюсь. Почему? Потому что она мне льстит. Вы полагаете, что я выдаю себя за Чиви Слайма. Сэр, если есть на свете человек, на которого лестно и почетно быть похожим всякому джентльмену, то этот человек мой друг Слайм. Потому что это самый великодушный, самый независимый, самый оригинальный, самый образованный, самый даровитый, самый возвышенный ум и самый шекспировский, если не мильтоновский, характер, какой мне известен, и в то же время — это самый распоследний неудачник, заслуг которого, к сожалению, не признают. Нет, сэр, я не настолько тщеславен, чтобы выдавать себя за Слайма. Ни одному человеку на свете я не уступлю ни в чем; но Слайм, признаюсь откровенно, человек много выше меня. И, следовательно, вы не правы.

— Я судил на основании этого, — сказал мистер Пексниф, протягивая ему конверт.

— Не сомневаюсь, — отвечал джентльмен. — Видите ли, мистер Пексниф, все дело здесь в особенностях, свойственных гению. У всякого истинного гения свои особенности. Сэр, особенность моего друга Слайма в том, что он всегда ко всему готов и пребывает в ожидании. Пребывать в ожидании — свойственно ему, сэр. Он и сейчас пребывает в ожидании, тут, за дверью. Вот это и есть, — заключил незнакомец, потрясая указательным пальцем у себя перед носом, расставляя ноги пошире и в то же время не сводя внимательного взгляда с мистера Пекснифа, — это и есть самая замечательная и любопытная черта характера мистера Слайма; и когда будут описывать жизнь мистера Слайма, биографу придется как следует развить эту черту, иначе общество будет разочаровано. Заметьте, общество будет разочаровано. Мистер Пексниф кашлянул.

— Биограф Слайма, сэр, кто бы он ни был, — продолжал

джентльмен, — должен обратиться ко мне или, если я удалюсь в этот самый, как его, откуда нет возврата, пускай адресуется к моим душеприказчикам за разрешением порываться в моих бумагах. Этой слабой рукой я сделал кое-какие записи о некоторых делах мистера Слайма — моего названного брата, — они изумят вас, сэр. Не далее как пятнадцатого числа прошлого месяца, не будучи в состоянии уплатить по маленькому счету, он употребил одно выражение, сэр, которое было бы вполне уместно в воззваниях Наполеона Бонапарта к французской армии.

— А скажите, пожалуйста, — спросил мистер Пексниф, видимо чувствуя себя не совсем ловко, — какие, смею спросить, у мистера Слайма могут быть здесь дела? Хотя, ради моей репутации, мне бы не следовало интересоваться его делами.

— Во-первых, — отвечал джентльмен, — разрешите мне сказать, что я против этого замечания и отвергаю его безусловно, отвергаю с негодованием, от лица моего друга Слайма. Во-вторых, позвольте представиться. Моя фамилия — Тигг. Имя Монтегю Тигг, быть может, знакомо вам, сэр, в связи со славными событиями испанской войны^[15]?

Мистер Пексниф нерешительно покачал головой.

— Не беда, — сказал джентльмен. — Это был мой отец и я ношу его имя. И потому я горд, горд, как Люцифер. Извините меня, одну минуту. Мне хотелось бы, чтобы мой друг Слайм присутствовал при окончании нашей беседы.

Сделав это заявление, он побежал к выходу и в самом скором времени вернулся с приятелем, несколько ниже его ростом, облаченным в синий камлотовый плащ на полинялой красной подкладке. От долгого ожидания на холоде его резкие черты сильно заострились и осунулись, растрепанные рыжие бакенбарды и нечесанные волосы взлохматились еще больше, — словом, неказистого и неряшливого в нем было гораздо больше, чем шекспировского или мильтоновского.

— Так вот, — сказал мистер Тигг, похлопывая своего симпатичного друга по плечу одной рукой, а другой призывая мистера Пекснифа к вниманию, — вы с ним родня, а родственники никогда не ладили между собой и не будут ладить, в чем я вижу мудрое предопределение и естественную необходимость, иначе все вращались бы только в семейном кругу и надоели бы друг другу до смерти. Будь вы с ним в ладах, мне бы это показалось адски подозрительным, но по тому, как дело обстоит между вами сейчас, я вижу, что оба вы чертовски разумные ребята и с вами можно столкнуться о чем угодно.

Тут мистер Чиви Слайм, великие таланты которого, по-видимому,

находились по ту сторону морали и заключались в подлости, украдкой толкнул своего приятеля в бок и что-то шепнул ему на ухо.

— Чив, — отвечал мистер Тигг тоном человека, не терпящего вмешательства в свои дела, — сейчас дойду и до этого. Или я сам за все отвечаю, или вовсе ни за что не берусь. Я совершенно уверен, что мистер Пексниф не откажется одолжить человеку ваших дарований такую ничтожную сумму, как пять шиллингов. — Однако, заметив по выражению лица мистера Пекснифа, что тот отнюдь не разделяет этой уверенности, мистер Тигг опять приставил палец к носу, специально и единственно для этого почтенного джентльмена, как бы приглашая его обратить внимание на то, что потребность в небольших займах есть еще одна из особенностей гения, присущих его другу Слайму, к которой он, Тигг, откосится снисходительно, ибо такие слабости представляют значительный метафизический интерес; что же касается его личного ходатайства насчет небольшого аванса, то он только соображался с желаниями своего друга, нисколько не считаясь со своими собственными нуждами или выгодами.

— О Чив, Чив! — прибавил мистер Тигг по окончании этой пантомимы, взирая на своего названного брата с выражением глубокой задумчивости. — Клянусь жизнью, вы являете собою удивительный пример могучего духа, подверженного мелким слабостям. Если бы не было на свете телескопа, я из своих наблюдений над вами мог бы убедиться, что на солнце есть пятна! Станный это мир, клянусь богом, и мы обречены в нем на жалкое прозябание, неизвестно для чего и почему, мистер Пексниф! Ну, да что там! Как ни рассуждай, а мир не переделаешь! Вспомните слова Гамлета: сколько бы Геркулес ни размахивал палицей во всех направлениях, разве он в силах помешать котам поднимать отчаянную возню на крышах или собакам погибать от пули^[16], когда они в знойную погоду бегают по улице без намордника? Жизнь есть загадка, и разгадать ее дьявольски трудно, мистер Пексниф. Мое мнение таково, что разгадки вовсе нет, как в знаменитой головоломке: „Почему человек в тюрьме похож на человека вне тюрьмы?“ Клянусь душой и телом, все это в высшей степени странно, а впрочем, что толку разговаривать. Ха-ха!

Сделав такой утешительный вывод из своих мрачных раздумий, мистер Тигг воспрянул духом и продолжал с прежней живостью:

— Вот что я вам скажу. Я по характеру человек мягкосердечный, можно сказать — даже слишком, и не могу стоять и смотреть, как вы друг другу собираетесь перегрызть горло, когда этим все равно ничего не выгадаешь. Мистер Пексниф, вы кузен нашего уважаемого завещателя, а мы его племянники, то есть я хочу сказать: Чив его племянник. Если

разобраться по существу, то, может, вы более близкая родня, чем мы. Очень хорошо, не возражаю. Но вас к нему не допустят, и нас тоже. Даю вам самое что ни на есть честное слово, сэр, я смотрю в эту замочную скважину с девяти утра, с небольшими перерывами для отдыха, дожидаясь ответа на самую умеренную и благородную просьбу о небольшом временном пособии, какую только можно себе представить, — всего пятнадцать фунтов, сэр, и под мое поручительство. И все это время, сэр, он сидит взаперти с совершенно посторонней особой и оказывает ей неограниченное доверие. Так вот, я и утверждаю категорически, говоря о создавшемся положении, что это не годится, это не пройдет, этого терпеть нельзя, и совершенно невозможно позволить, чтобы это продолжалось.

— Каждый человек, — отвечал мистер Пексниф, — имеет право, несомненное право (которого я, например, ни за что на свете не берусь оспаривать) руководиться в своих поступках собственными симпатиями и антипатиями, — если, разумеется, в них нет ничего противного нравственности и религии. Возможно, я и сам чувствую, что мистер Чезлвит не относится ко мне, например, — предположим, что ко мне, — с той христианской любовью, какую нам следовало бы питать друг к другу; возможно, что я огорчен этим обстоятельством и скорблю о нем; однако я остерегусь сделать из этого вывод, будто холодность мистера Чезлвита к своим близким вообще лишена всяких оснований. Боже сохрани! Кроме того, мистер Тигг, — продолжал Пексниф еще более веско и внушительно, — как же можно воспрепятствовать мистеру Чезлвиту оказывать кое-кому то весьма странное и удивительное доверие, о котором вы говорите и существование которого я не могу отрицать, а могу только оплакивать в интересах самого мистера Чезлвита? Подумайте, любезный сэр, — заключил мистер Пексниф, взирая на него с грустью, — как же можно говорить так опрометчиво?

— Я с вами согласен, — отвечал Тигг, — вопрос действительно трудный.

— Без сомнения, трудный вопрос, — отвечал мистер Пексниф. Произнося эти слова, он несколько отодвинулся в сторону, как будто вспомнив вдруг о моральной пропасти, лежащей между ним и человеком, к которому он адресовался. — Без сомнения, трудный вопрос. И я отнюдь не уверен, что это такой вопрос, который имеет право обсуждать каждый. Всего хорошего!

— Вам, я думаю, неизвестно, что супруги Спотлтоу уже здесь? — сказал мистер Тигг.

— Что вы говорите, сэр? Какие Спотлтоу? — спросил мистер

Пексниф, круто останавливаясь на полдороге к дверям.

— Мистер и миссис Спотлтоу, — возвестил эсквайр Чиви Слайм, в первый раз за все время заговорив громким голосом и очень недовольным тоном и переступая при этом с ноги на ногу. — Ведь Спотлтоу женился на моей двоюродной сестре, так? А миссис Спотлтоу — родная племянница Чезлвита, так? Была когда-то его любимицей. И вы еще спрашиваете, какие Спотлтоу.

— Нет, клянусь всем святым! — воскликнул мистер

Пексниф, возводя глаза к небу. — Это ужасно! Корыстолюбие этих людей просто отвратительно!

— И не один только Спотлтоу, Тигг, — продолжал Слайм, глядя на мистера Тигга, но обращая свою речь к мистеру Пекснифу. — Энтони Чезлвит с сыном тоже что-то пронюхали и явились сюда нынче после обеда. Я видел их только что, когда стоял за дверью, и пяти минут не прошло.

— О маммона, маммона! — возопил мистер Пексниф, ударяя себя по лбу.

— Стало быть, — продолжал Слайм, не обращая внимания на то, что его перебили, — и брат, и еще один племянник тоже здесь, к вашему сведению.

— Вот в этом-то и все дело, сэр, — сказал мистер Тигг, — в этом-то и существо вопроса, к которому я собирался приступить, когда мой друг Слайм в двух словах изложил всю суть. Мистер Пексниф, уж если ваш кузен (а наш дядюшка) появился так кстати, то надо принять какие-то меры, чтобы он опять не скрылся; и по возможности бороться с тем влиянием, которое на него оказывает эта самая интриганка и фаворитка. Все заинтересованные лица чувствуют это, сэр. Все родственники валом валят сюда, сэр. Настало такое время, когда всякая зависть, все личные интересы должны быть забыты, сэр, когда надо объединить наши силы против общего неприятеля. Вот разобьем неприятеля, тогда каждый и будет стоять сам за себя; каждая леди и каждый джентльмен, участвующие в игре, начнут запускать шары в ворота завещателя уже за свой собственный страх и риск, и никому в итоге это не принесет убытка. Подумайте хорошенько. Сейчас вы можете себя ничем не связывать. Нас вы застанете в „Семи Звездах и Полумесяце“ во всякое время, мы всегда готовы принять любое подходящее предложение. Гм! Чив, дорогой мой, не сходите ли вы взглянуть, какая на дворе погода?

Мистер Слайм исчез, не теряя времени, и, как надо полагать, отправился пребывать в ожидании. Мистер Тигг, расставив ноги настолько

широко, насколько это допускает самый сангвинический темперамент, кивнул мистеру Пекснифу и улыбнулся ему.

— Мы не должны, — сказал он, — относиться слишком строго к маленьким странностям нашего друга Слайма. Вы видели, как он шептал мне на ухо? Мистер Пексниф это видел.

— Вы слышали мой ответ, я думаю? Мистер Пексниф слышал.

— Пять шиллингов, а? — проникновенно заметил мистер Тигг. — Ах, какой это необыкновенный человек! И какая скромность!

Мистер Пексниф промолчал.

— Пять шиллингов! — в раздумье продолжал мистер Тигг. — И с уплатой ровно через неделю, вот что всего приятней. Вы это слышали?

Мистер Пексниф этого не слышал.

— Нет? Вы меня удивляете! — воскликнул Тигг. — Ведь это же и есть самое замечательное. Я не знаю случая, чтобы этот человек не сдержал своего слова. Вам, может быть, надо разменять деньги?

— Нет, — сказал мистер Пексниф, — благодарю вас. Не беспокойтесь.

— Ах, вот как, — возразил мистер Тигг. — А то, если нужно, я вам разменяю, — и он принялся что-то насвистывать; но не прошло и десяти секунд, как вдруг оборвал свист и, озабоченно взглянув на мистера Пекснифа, сказал:

— А может быть, вы не желаете одолжить Слайму пять шиллингов?

— Да, это не совсем желательно, — отвечал мистер Пексниф.

— Черт возьми! — воскликнул Тигг, решительно кивнув, как будто ему только сию минуту пришло в голову, что на это могут и не согласиться. — Очень возможно, что вы правы. Может быть, вы и мне не согласитесь одолжить пять шиллингов?

— Да, действительно, этого я тоже не могу, — сказал мистер Пексниф.

— Даже, может быть, и полукроны?

— Даже и полукроны.

— Ну, тогда мы дойдем, — продолжал мистер Тигг, — до смехотворно маленькой суммы, до полутора шиллингов. Ха-ха!

— И это тоже будет в равной мере нежелательно, — отвечал мистер Пексниф.

Выслушав этот ответ, мистер Тигг с чувством пожал мистеру Пекснифу обе руки, уверяя его весьма настойчиво, что он один из самых последовательных и замечательных людей, с какими ему, мистеру Тиггу, приходилось встречаться. Кроме того, он пояснил, что в характере его друга Слайма много таких черточек, которых он, как человек чести и строгих правил, отнюдь не одобряет, — но что он готов простить ему все

эти мелкие недостатки, и даже гораздо больше, за то наслаждение, которое доставила ему сегодняшняя беседа с мистером Пекснифом; наслаждение неизмеримо более высокое и полноценное, чем то, какое мог бы принести успех переговоров о небольшом займе в пользу его друга Слайма. А теперь, когда он все это высказал, он позволит себе почтительно пожелать мистеру Пекснифу доброго вечера, закончил мистер Тигг. И с этими словами он ретировался, нимало не смущаясь своей неудачей, так что всякий мог бы позавидовать его самообладанию.

В тот вечер размышления мистера Пекснифа в общей зале „Дракона“, а несколько позже и у себя дома, были весьма серьезного и важного характера, тем более что сведения насчет прибытия остальных родственников, полученные им от гг. Тигга и Слайма, подтвердились полностью по наведению справок. Ибо супруги Спотлтоу действительно прибыли прямо в „Дракон“, где расположились на постой и немедленно выставили караул и где их появление произвело такую сенсацию, что миссис Льюпин, которая проникла в их намерения, не успели они и получаса пробыть у нее в доме, лично отправилась с докладом прямо к мистеру Пекснифу, по возможности стараясь сохранить тайну; правда, эта излишняя предосторожность и заставила ее упустить мистера Пекснифа, который входил в „Дракон“ с улицы как раз в то время, когда миссис Льюпин выходила со двора. Кроме того, прибыл мистер Энтони Чезлвит со своим сыном Джонасом и устроился весьма экономно в „Семи Звездах и Полумесяце“, самой захудалой здешней пивной; а со следующим дилижансом явилось на место действия такое множество любящих родственников (которые во все время пути ссорились друг с другом и внутри кареты и снаружи, доводя кучера до полного умопомрачения), что менее чем через двадцать четыре часа немногочисленные трактирные номера были нарасхват и цена на частные помещения, — а их набралось во всей деревне целых четыре кровати и диван, — поднялась на сто процентов.

Словом, дошло до того, что чуть ли не все семейство Чезлвитов расположилось под стенами „Синего Дракона“ и форменным образом обложило его, так что Мартин Чезлвит находился как бы в осаде. Однако он стойко сопротивлялся, отказываясь принимать какие бы то ни было письма, учтивые предложения и пакеты и упрямо отклоняя всякие переговоры с кем бы то ни было, — словом, не подавал решительно никаких надежд на капитуляцию. Тем временем вооруженные отряды родственников беспрестанно назначали друг другу встречи в разных местах поблизости; но так как никто не запомнит случая, чтобы хоть одна ветвь

фамильного древа Чезлвитов была когда-нибудь согласна с другой, то тут пошла в ход такая грызня, закипели такие свары и стычки, и в прямом и в переносном смысле слова, посыпались такие колкости и любезности, началось такое задиранье носов и фырканье, такое окончательное погребение всяких добрых чувств и выкапывание всяких старых счетов, какого никогда не знала эта тихая деревушка, с самых первых дней своего цивилизованного существования.

Наконец, придя в совершенное отчаяние и потеряв всякую надежду, некоторые из воителей, обращаясь друг к другу, стали пользоваться только самой умеренной бранью, и почти все держались в границах благопристойности, адресуясь к мистеру Пекснифу, из уважения к его незапятнанной репутации и влиятельному положению. Таким образом, упрямство Мартина Чезлвита мало-помалу заставило их найти общий язык и напоследок согласиться — если можно употребить такое слово, говоря о Чезлвитах, — что необходимо созвать генеральный совет и собраться всем в доме мистера Пекснифа такого-то числа ровно в полдень; на каковой совет и были немедленно и торжественно приглашены все члены семейства, оказавшиеся поблизости и доступные зову.

Если у мистера Пекснифа был когда-нибудь апостольский лик, то именно в этот достопамятный день. Если его безмятежная улыбка когда-либо провозглашала без слов:

„Я вестник мира!“, то именно так надо было ее понимать теперь. Если когда-либо человек сочетал в себе всю кротость ягненка с немалой долей голубиных свойств, в то же время нисколько не напоминая крокодила и ни капельки не походя на змею, то этот человек был мистер Пексниф. Ах, а обе мисс Пексниф! О, безоблачное выражение лица мисс Черри, как бы говорившее: „Я знаю, что вся моя родня оскорбляла меня так, что о прощении не может быть и речи, но я все-таки прощаю им, потому что это мой долг!“ Ах, а простодушная веселость мисс Мерри, такая очаровательная, невинная и младенческая, что если бы она пошла гулять без провожатых и дело было бы пораньше осенью, то малиновка, даже не спросясь, наверное, прикрыла бы ее листьями, приняв ее за невинное дитя, которое забрело в лес, надеясь, в простоте сердечной, набрать там ежевики. Какими словами можно изобразить семейство Пексниф в этот трудный час? Ах, никакими: ибо слова возвращаются порой в дурном обществе, а Пекснифы — это сплошная добродетель.

А когда начали собираться гости! Вот это была картина. Когда мистер Пексниф, поднявшись со своего места во главе стола и взяв обеих дочерей под руки, встречал гостей в парадной гостиной и приглашал садиться, глаза

его так увлажнились и физиономия так вспотела от избытка чувств, что весь он, можно сказать, размок до совершенной мягкости! А гости! Завистливые, жестокосердые, недоверчивые гости, которые замкнулись в себе, никого не слушали, ничему не желали верить и ни за что не позволили бы этим Пекснифам смягчить и усыпить их подозрительность, словно все они были из породы ежей и дикобразов!

Во-первых, тут был мистер Спотлтоу, до такой степени плешивый и с такими густыми бакенбардами, что казалось, будто ему удалось каким-то чудодейственным средством удержать свои волосы в самый миг выпадения и навсегда прикрепить их к щекам. Тут была миссис Спотлтоу, худощавая не по возрасту и весьма поэтически настроенная дама, имевшая привычку говорить своим близким приятельницам, что эти самые бакенбарды были „путеводной звездой ее жизни“; впрочем, теперь, от сильнейшей любви к дядюшке Чезлвиту и от испытанного ею потрясения, после того как ее заподозрили в посягательстве на дядюшкино наследство, она не могла делать ничего другого, как только плакать или, по меньшей мере, стенать. Тут был и Энтони Чезлвит со своим сыном Джоном; старик так хитрил и изворачивался всю свою жизнь, что лицо его стало острым, как бритва, и без труда прокладывало ему дорогу в переполненной народом гостиной, когда он протискивался боком за самыми дальними стульями; а сын так хороню воспользовался наставлениями и примером отца, что выглядел года на три старше его, когда оба они стояли рядом и потихоньку перешептывались, моргая красными глазами. Тут была и вдова покойного брата мистера Мартина Чезлвита, удивительно неприятная женщина с унылой физиономией, костлявой фигурой и мужским голосом, которая в силу всех этих качеств была, что называется, решительной особой: дай ей только волю, она утвердилась бы в правах на это звание и проявила бы себя в моральном смысле истинным Самсоном^[17], засадив своего деверя в сумасшедший дом, пока он не доказал бы, что находится в здравом уме и твердой памяти, полюбив ее от всей души. Рядом с ней сидели ее незамужние дочери, числом три, весьма церемонные и мужеподобные особы, до того заморившие себя узкими корсетами, что характеры, как и талии, сделались у них совершенно осиные, а тугая шнуровка сказывалась даже на кончиках носов. Тут был и молодой человек, внучатный племянник мистера Мартина Чезлвита, очень смуглый и очень волосатый, по-видимому родившийся на свет только для того, чтобы в зеркале отражалось нечто расплывчатое. Так сказать первый набросок физиономии, не доведенный до конца. Тут была и незамужняя кузина, не замечательная ничем, кроме того, что была глуховата, жила совсем одна и вечно страдала

зубной болью. Тут был и кузен Джордж Чезлвит, веселый холостяк, с претензиями на молодость, которая давно миновала, склонный к тучности и любивший покушать, до такой даже степени, что глаза у него были постоянно выпучены, словно от изумления, и настолько предрасположенный к угрям, что крапинки на шейном платке, горошки на жилете и даже блестящие брелоки, казалось, проступили на нем, как сыпь, а не появились на свет безболезненно. И наконец — тут был мистер Чиви Слайм со своим приятелем Тиггом. Не мешает заметить, что хотя каждый из присутствующих терпеть не мог всех остальных за то, что он или она тоже принадлежали к семейству Чезлвитов, все они дружно ненавидели мистера Тигга только за то, что он был посторонний.

Таков был милый семейный кружок, собравшийся в парадной гостиной мистера Пекснифа с приятным намерением отделать на все корки любого, будь то мистер Пексниф или кто другой, если б он вздумал обратиться к ним с речью на ту или другую — неважно, какую именно — тему.

— Это хорошо, — сказал мистер Пексниф, поднимаясь с места и обводя присутствующих взглядом, — я рад. Мои дочери тоже рады. Мы благодарим вас за то, что вы собрались сюда. Мы признательны вам от всего сердца. Вы нам оказали большую честь, и поверьте, — невозможно себе представить, как он улыбнулся тут, — мы не скоро об этом забудем.

— Мне очень жаль прерывать вас, Пексниф, — заметил мистер Спотлтоу, весьма грозно топорща бакенбарды, — но вы слишком уж много на себя берете, сэр. Что это вы вообразили, кому это надо оказывать вам честь, сэр?

Все присутствующие отозвались на этот вопрос одобрительным ропотом.

— Если вы собираетесь продолжать в том же духе, как начали, сэр, — с большим жаром продолжал мистер Спотлтоу, сильно стуча по столу костяшками пальцев, — то, чем скорее вы это оставите и наше собрание разойдется, тем будет лучше. Мне неизвестно ваше возмутительное желание считаться главой семьи, но я вам скажу, сэр...

Ах, вот как! Действительно! Он скажет! Он! Еще чего! Он, что ли, глава семьи! Все, начиная с решительной особы, в ту же минуту набросились на мистера Спотлтоу, который, после тщетной попытки добиться общего молчания и высказаться, был вынужден снова сесть на место; сложив руки на груди и сердито помахивая головой, он мимикой дал понять своей супруге, что этот каналья Пексниф может продолжать свою речь, — он все равно сию минуту опять вмешается в разговор и тогда уж

совершенно доконает мерзавца.

— Я ничуть не жалею, — сказал мистер Пексниф, продолжая свою речь, — я, право, ничуть не жалею, что произошел этот маленький инцидент. Полезно чувствовать, что все мы встречаемся здесь без маски. Полезно знать, что мы ничего не скрываем друг от друга, но каждый выступает свободно в своем собственном обличье.

Тут старшая дочь решительной особы, слегка привстав со стула и вся дрожа с головы до ног, скорее от сильного волнения, чем от робости, выразила общую надежду на то, что некоторые люди наконец-то выступят в своем собственном обличье, по крайней мере это была бы для них совершенная новость; но когда им (то есть некоторым людям) вздумается позлословить о родственниках, то пусть хорошенько смотрят, кто тут присутствует, — а иначе до этих самых родственников их слова могут дойти стороной и совсем некстати; что же касается красных носов (заметила она), то еще неизвестно, такой ли это позор иметь красный нос, поскольку люди не сами делают себе носы и не ответственны за выбор их цвета; хотя и на этот счет она еще очень сомневается, — правда ли, будто у одних носы краснее, чем у других; может, у других они еще красней. Так как это заявление сопровождалось визгливым хихиканьем двух сестер говорившей, то мисс Чарити Пексниф осведомилась весьма учтиво, уж не ей ли предназначены все эти вульгарные колкости, и, не получив никакого удовлетворительного ответа, кроме того, который содержится в пословице: „На воре и шапка горит“, немедленно перешла на личности, а сестрица Мерси, вторя ее словам, залилась веселым смехом, гораздо более веселым, чем естественным. И так как совершенно невозможно, чтобы в каких бы то ни было разногласиях между двумя дамами не приняли деятельного участия все остальные дамы, находящиеся налицо, то и решительная особа, и обе ее дочери, и миссис Спотлтоу, и глухая кузина (которой полное незнакомство с сутью дела нисколько не помешало участвовать в диспуте) тут же ввязались в ссору.

Поскольку обе мисс Пексниф оказались достойными противницами трех девиц Чезлвит и у всех этих пяти молодых особ, выражаясь современным языком, накопилось очень много паров, то пререкания затянулись бы надолго, если бы не высокая доблесть и отвага решительной особы, которая, по праву пользуясь репутацией сущей язвы, так обработала и измолотила миссис Спотлтоу, осыпав ее колкостями, что не прошло и двух минут с начала состязания, как бедняжка ударилась в слезы. Она проливала их в таком изобилии и так разволновала и разогорчила этим мистера Спотлтоу, что сей джентльмен сначала поднес крепко стиснутый

кулак к самому носу мистера Пекснифа, словно от созерцания такого занимательного явления природы тот мог получить какое-нибудь удовольствие или пользу, затем предложил (по мотивам, неизвестным собранию) съездить по физиономии мистера Джорджа Чезлвита за ничтожную мзду в полшиллинга и, наконец, подхватил жену под руку и в негодовании удалился. Эта выходка отвлекла в сторону внимание сражающихся, чем и положила конец ссоре, которая возобновлялась еще несколько раз лишь в виде коротких и постепенно затухающих вспышек и угасла, наконец, при всеобщем молчании.

Именно в эту минуту мистер Пексниф и поднялся во второй раз со стула. Именно в эту минуту обе мисс Пексниф приняли такой вид, как будто бы трех мисс Чезлвит вовсе не было, — не то что здесь в комнате, а вообще на свете, — а три мисс Чезлвит равным образом перестали замечать существование обеих мисс Пексниф.

— Следует пожалеть, — сказал мистер Пексниф, вспоминая кулак мистера Споттлоу и мысленно прощая обидчику, — что наш друг так поспешил удалиться, хотя даже и тут мы можем себя поздравить, поскольку это дает нам лишнюю уверенность, что он полагается на нас во всем, что бы мы ни сказали и ни сделали в его отсутствие. А ведь это весьма утешительно, не правда ли?

— Пексниф, — произнес Энтони, который с самого начала так и ел глазами все общество, — не будьте лицемером.

— Чем, уважаемый сэр? — переспросил мистер Пексниф.

— Лицемером.

— Чарити, душа моя, — сказал мистер Пексниф, — не забудь напомнить мне нынче, когда я буду брать свечу на ночь, чтобы я особенно усердно помолился за мистера Энтони Чезлвита, который был несправедлив ко мне.

Эти слова были сказаны самым кротким голосом и в сторону, как будто они предназначались только для ушей его старшей дочери. Затем он продолжал безмятежным топом человека, который черпает бодрость в сознании, что совесть у него чиста:

— Так как все наши мысли сосредоточены на нашем любезном, но недобром родственнике, и так как он, можно сказать, недоступен для нас, то мы собрались сегодня поистине как бы на похороны, с той лишь разницей, к счастью, что в доме нет покойника.

Решительная особа отнюдь не была уверена, что это уж такое счастье. Напротив.

— Не смею спорить, сударыня! — отвечал мистер Пексниф. — Но как

бы то ни было, мы все собрались; а собравшись, нам необходимо подумать: возможно ли какими-нибудь дозволительными средствами...

— Ну, вы не хуже моего знаете, — прервала его решительная особа, — что все средства дозволительны в таких случаях, не правда ли?

— Прекрасно, сударыня, прекрасно, — возможно ли какими бы то ни было средствами — я повторяю: какими бы то ни было средствами — открыть глаза нашему высокочтимому родственнику на заблуждение, в котором он находится? Возможно ли ознакомить его какими бы то ни было средствами с истинным характером и целями молодой особы, чьи странные, весьма странные отношения к нему, — тут мистер Пексниф понизил голос до внушительного шепота, — поистине бросают тень позора и стыда на всю нашу семью и которая, как мы знаем, — тут он снова повысил голос, — иначе для чего же она стала его спутницей? — таит в душе самые низкие замыслы, рассчитывая на его слабость и на его имущество.

По этому пункту все родственники, не соглашавшиеся ни в чем другом, выразили единодушное согласие. Боже правый, можно ли допустить, чтобы она покушалась на имущество дядюшки! Решительная особа высказалась за то, чтобы отравить ее; все три дочери за то, чтобы посадить ее в исправительный дом на хлеб и на воду; кузина с зубной болью предлагала каторгу; обе мисс Пексниф советовали розги. И только один мистер Тигг, который, не смущаясь своей крайней обтрепанностью, чувствовал себя здесь в некотором роде на положении дамского кавалера, вследствие украшения на верхней губе и шнуров на венгерке, усомнился в дозволительности всех этих мер; но и он только подмигнул всем трем девицам Чезлвит с нескрываемым восхищением, в котором проскальзывала чуть заметная ирония, словно говоря:

„Вы что-то уж слишком к ней придираетесь, милые мои барышни! Честное слово, слишком!“

— Так вот, — продолжал мистер Пексниф, скрестив оба указательных пальца особенным манером, одновременно и умиротворяющим и убедительным: — Я не хочу, с одной стороны, заходить слишком далеко, утверждая, будто она заслуживает, чтобы к ней применили все те меры, которые тут были предложены с такой настойчивостью и игривостью (одна из его витиеватых фраз); с другой стороны, я ни в коем случае не намерен подвергать сомнению наличие у меня обыкновенного здравого смысла, утверждая, будто она их не заслужила. Я хотел бы только заметить, что, по моему, могут быть приняты некоторые практические меры, для того чтобы заставить нашего уважаемого... позволено ли мне будет сказать —

высокочитимого родственника?..

— Нет! — зычным голосом прервала его решительная особа.

— В таком случае я этого не скажу, — заключил мистер Пексниф. — Вы совершенно правы, сударыня, — и я весьма ценю и благодарен вам за ваше тонкое возражение, — для того чтобы склонить нашего уважаемого родственника к тому, чтобы он прислушался к голосу природы... а не...

— Ну что же вы, папа! — крикнула Мерси.

— Гм, сказать по правде, душа моя, — произнес мистер Пексниф, посылая улыбку всем собравшимся родичам, — я никак не могу вспомнить это слово. У меня совершенно выскользнуло из памяти, как назывались легендарные животные (языческие, к сожалению), которые пели в воде.

Мистер Джордж Чезлвит подсказал:

— Лебеди.

— Нет, — сказал мистер Пексниф, — не лебеди, хотя что-то очень похожее на лебедей. Благодарю вас.

Племянник с неопределенной физиономией, который открыл рот по этому случаю в первый и последний раз, предположил:

— Не устрицы ли?

— Нет, — отвечал мистер Пексниф со свойственной ему учтивостью, — и не устрицы. Но во всяком случае что-то весьма близкое к устрицам. Прекрасная мысль, благодарю вас, уважаемый сэр, весьма и весьма. Впрочем, погодите! Сирены!.. Боже мой! Разумеется, сирены. Я хочу сказать, что, как мне кажется, можно было бы принять меры к тому, чтобы наш уважаемый родственник внял голосу природы, не поддаваясь на коварные обольщения сирен. Так вот, мы не должны упускать из виду, что у нашего уважаемого друга имеется внук, к которому он был до последнего времени весьма привязан и которого я очень желал бы видеть сегодня здесь, ибо питаю к нему глубокую и искреннюю симпатию. Достойный юноша, весьма достойный юноша! И вот, судите сами, не представляется ли здесь удобный случай устранить недоверие мистера Чезлвита по отношению к нам и доказать свое бескорыстие?..

— Если мистер Джордж Чезлвит собирается что-то сказать мне, — сурово прервала его решительная особа, — то пусть и скажет по-человечески, а не смотрит на меня и на моих дочерей так, будто съесть нас хочет.

— Ну, насчет того, чтобы смотреть, миссис Нэд, — сердито возразил мистер Джордж. — то я слыхивал, будто даже кошке не возбраняется глядеть на короля; поэтому я надеюсь, что имею некоторое право, будучи от рождения членом этой семьи, глядеть на особу, которая породнилась с нами

только в браке. А насчет того, чтобы вас съесть, то смею вас уверить, как бы вы ни были ослеплены завистью и несбывшимися надеждами, что я не людоед, сударыня!

— Ну, это еще неизвестно! — отвечала решительная особа.

— Но, если б даже я был людоедом, — сказал мистер Джордж Чезлвит, еще пуще распалясь от этого замечания, — то, наверно, сообразил бы, что дама, которая пережила трех мужей и так легко перенесла их утрату, должна отличаться необыкновенной жесткостью.

Решительная особа немедленно поднялась с места.

— А еще я прибавлю, — продолжал мистер Джордж, энергично кивая головой на каждом втором слоге, — не называя имен и, значит, не обижая никого, кроме тех, у кого совесть нечиста, что было бы гораздо приличнее и благопристойнее, если бы известные особы, которые всякими правдами и неправдами втерлись в нашу семью и которые еще до свадьбы кругом обошли некоторых ее членов, сыграв на их слабых струнах, а потом свели их в могилу тем, что пилили и пилили без конца, так что они даже рады были умереть, — чтобы эти особы остереглись разыгрывать коршунов по отношению к другим членам семьи, которые пока еще живы. По-моему, было бы во всех отношениях лучше, если бы эти особы сидели дома, довольствуясь тем, что у них уже имеется (на их счастье), вместо того чтобы пристраиваться к чужому семейному пирогу, запах которого они чувствуют, находясь даже за пятьдесят миль.

— Так я и знала! — воскликнула решительная особа; пообеда всех взглядом и презрительно улыбнувшись, она направилась к дверям в сопровождении всех трех дочерей. — Да, так я и знала и с первой же минуты была совершенно к этому готова. Чего же еще можно было ожидать в такой обстановке!

— Пожалуйста, сударыня, не смотрите на меня взглядом офицера на половинном жалованье, — вмешалась мисс Чарити, — я этого не потерплю.

Это был язвительный намек на пенсию, которую получала решительная особа во время своего второго вдовства, до вступления в третий брак. Намек не в бровь, а в глаз.

— Я утратила всякие права на благодарность нации, когда вошла в вашу семью, дерзкая вы девчонка, — отвечала миссис Нэд. — Вот теперь я действительно понимаю, чего тогда не понимала: что так мне и надо и что, унизившись до такой степени, я потеряла все права на Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Ну, мои милые, если вы совсем готовы и достаточно наслушались этих двух воспитанных барышень, я

думаю, нам пора домой. Мистер Пексниф, вот уж действительно одолжили, право! Мы думали здесь немножко развлечься, но вы превзошли наши самые смелые ожидания, до того вы всех насмешили. Благодарю вас. Всего хорошего!

Этими прощальными словами решительная особа заставила все семейство Пексниф замолчать, после чего она торжественно выплыла из гостиной, а затем и из дома, в сопровождении дочерей, которые все как одна вздернули носы и презрительно захихикали. Проходя по улице мимо окон гостиной, они все три в совершенстве изобразили беспредельный восторг и, нанеся этот последний удар, довершивший поражение всех в доме, окончательно скрылись из виду.

Но прежде чем мистер Пексниф или кто-либо из оставшихся гостей успел сказать хоть слово, мимо окон мелькнула еще одна фигура, бежавшая с большой поспешностью в противоположном направлении; и немедленно вслед за этим в гостиную ворвался мистер Спотлтоу. Сравнительно с его теперешним разгоряченным состоянием, он уходил отсюда сущей ледяной статуей или снежным болваном. Его лысина источала столько елея на бакенбарды, что они были сплошь умащены и даже слиплись; все лицо горело огнем, руки и ноги дрожали; он пыхтел и задыхался.

— Уважаемый сэр! — воскликнул мистер Пексниф.

— О да! — возразил тот. — О да, конечно! Уф-ф, разумеется! Уф-ф, вот именно! Вы слышали его? Вы слышали его? Вы слышали?

— Что случилось? — отозвалось несколько голосов.

— Уф-ф, ничего! — воскликнул Спотлтоу, с трудом переводя дыхание. — Ничего решительно! Ровно ничего! Спросите вот его! Он вам скажет!

— Я не понимаю нашего друга, — сказал мистер Пексниф, оглядываясь по сторонам в совершенном изумлении. — Уверю вас, его слова для меня решительно непостижимы.

— Непостижимы, сэр! — воскликнул тот. — Недостижимы! Уж не хотите ли вы сказать, сэр, что вам ничего не известно? Что не вы заманили нас сюда и не вы составили заговор против нас? Неужели вы посмеете сказать, будто не знали, что мистер Чезлвит уезжает, сэр? Будто вы не знаете, что он уже уехал, сэр?

— Уехал! — раздался общий крик.

— Уехал! — отозвался мистер Спотлтоу. — Уехал, пока мы тут сидели. Уехал! И никто не знает, куда он уехал. Уф-ф, конечно нет! И никто не знал, что он уезжает. Уф-ф, разумеется нет! Хозяйка до последней минуты думала, будто они просто поехали прокатиться, она так-таки ничего не

подозревала. Уф-ф, вот именно нет! Она ведь не раба вот этого, как его! Уф-ф, разумеется нет!

Присоединив к этим возгласам нечто вроде иронического мычания и еще раз обведя взором притихших гостей, раздраженный джентльмен снова умчался с той же невероятной прытью, и больше его не видели.

Напрасно мистер Пексниф уверял своих родственников, что это неожиданное и несвоевременное бегство было для него таким же ударом и сюрпризом, как и для прочих членов семейства. Из всех нападков и обвинений, когда-либо достававшихся на долю ни в чем не повинного человека, ни одно не могло сравниться по силе и убежденности с теми, какие пришлось выслушать мистеру Пекснифу от каждого из родственников при расставании.

Мистер Тигг в роли оскорбленной добродетели являл собой поистине потрясающее зрелище, а глухая кузина, раздражение которой усугублялось тем, что хоть она и видела все происходящее, но понимала только, что разразилась катастрофа, соскребла с башмаков грязь о скребок, а потом наследила по всему крыльцу — в знак того, что отрясает прах от своих ног, перед тем как покинуть эту обитель лицемерия и коварства.

Короче говоря, мистеру Пекснифу оставалось утешаться только одним: а именно мыслью, что все эти родственники и друзья и раньше ненавидели его точно так же и что он, со своей стороны, подарил им не больше любви, чем мог отдать, не жалея, из того обширного запаса, которым располагал по этой части. Такой взгляд на собственные дела доставил ему большое утешение; и это обстоятельство не мешает здесь отметить, поскольку оно показывает, как легко утешиться добродетельному человеку, даже потерпев неудачу и разочарование.

Глава V,

содержащая полный отчет о водворении нового ученика в доме семейства Пексниф. С описанием всех, торжеств, состоявшихся по этому случаю, и великой радости мистера Пинча.

Лучший из архитекторов и землемеров держал лошадь, в которой его враги, уже не раз упоминавшиеся на этих страницах, усматривали фантастическое сходство с хозяином. Не по внешности, ибо это была костлявая, заезженная кляча, получавшая гораздо меньше корма, чем мистер Пексниф, — но по нравственным качествам; ибо, как говорили, она много обещала и ровно ничего не делала. Она, так сказать, все собиралась пуститься вскачь, и никак не могла собраться. Бывало, еле-еле тащась по дороге, она вдруг начинала так высоко вскидывать ногами и проявлять такую дьявольскую прыть, что прямо не верилось, как это она делает меньше четырнадцати миль в час; и этой иллюзии было тем труднее противиться, что сама кляча вполне удовлетворялась собственной скоростью, и даже очная ставка с самыми ретивыми скакунами ее не смущала. Это была такого рода скотина, которая внушала живейшую надежду людям, мало с ней знакомым, и приводила в отчаяние всех, кто ее хорошо знал. В каком отношении, при означенных чертах характера, она могла бы, по справедливости, уподобиться своему хозяину, было ведомо одним только клеветникам этого добродетельного человека. Однако в том и заключается горькая истина, а также печальный пример людского недоброжелательства, что клеветники все же сравнивали лошадь с хозяином.

На этой-то лошади и на крытом экипаже, в который ее обычно впрягали, — какое бы название ему ни присвоить, он больше смахивал на пузатую двуколку, — и сосредоточились все помыслы и надежды мистера Пинча в одно ясное, морозное утро, ибо в этом щегольском экипаже он собирался ехать в Солсбери, с тем чтобы встретить там нового ученика и торжественно препроводить его в дом мистера Пекснифа.

Благословенно будь твое простое сердце, Томас Пинч! С какой гордостью ты застегиваешь подбитое ветром пальто, которое у тебя столько лет, по грустному недоразумению, называется „теплым“; как твердо ты веруешь, когда с неизменяющей тебе веселостью заклинаешь конюха Сэма „немножко попридержать лошадь“, что это четвероногое сорвется с места и

понесется вскачь, если его отпустить! Кто мог бы воздержаться от улыбки — сочувственной, Томас Пинч, а не обидной, — ибо, видит бог, ты и без того достаточно обижен судьбой, — наблюдая, с каким оживлением, радуясь предстоящему празднику, ты ставишь, едва отхлебнув, на кухонный подоконник белую кружку (приготовленную тобой еще с вечера, чтобы не задерживаться с завтраком) и кладешь на сиденье рядом с собой черствую корку, намереваясь съесть ее по дороге, после того как твое радостное волнение немного утихнет! Кто не воскликнул бы, глядя, — как ты выезжаешь из ворот, весь сияя, и с благодарностью и любовью кланяешься ночному колпаку Пекснифа, смутно виднеющемуся в окне его спальни: „Помоги тебе боже, Том, и пошли тебе тихий приют, где бы ты мог поселиться и жить мирно и где никакое горе не коснется тебя!“

Нет лучшей поры для прогулки по свежему воздуху пешком, верхом или в экипаже, чем ясное, морозное утро, когда надежда быстро гонит по жилам горячую кровь и щекочет все тело от головы до пяток! Как весело начинался бодрящий зимний день, который мог бы вогнать в краску томительное лето (особенно, когда оно прошло) и пристыдить весну за то, что она никогда не бывает по-настоящему холодна. Овечьи колокольчики позванивали так бодро в морозном воздухе, словно могли чувствовать на себе его живительное влияние; деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль, — Тому он казался ничуть не хуже бриллиантов. Из деревенских труб струей высоко-высоко поднимался дым, — словно земля, блистая белизной, уже не терпела ничего грязного и стремилась освободиться от темного дыма. Ледяная корка на ручье, еще недавно подернутом рябью, была так прозрачна и тонка, будто живая струя остановилась по собственной воле, — так казалось Тому в его радости, — чтобы полюбоваться чудесным утром. А для того чтобы солнце не нарушило этого очарования слишком быстро, между ним и землей стлался тонкий туман, похожий на тот, что застилает луну летними вечерами, — на взгляд Тома, это был тот же самый туман, — и, казалось, молил солнце сжаться и не гнать его прочь.

Том Пинч ехал не быстро, зато с таким чувством, будто летит во весь опор, — что было совершенно одно и то же: и все, что он видел по дороге, как бы сговорилось о том, чтобы развеселить его еще больше. Например, как только он завидел издали шлагбаум — очень еще издали! — жена сторожа, которая в это время пропускала какую-то подводку, бросилась опростелить обратно в сторожку сказать мужу, что едет мистер Пинч! И в самом деле, когда Том подъехал ближе, из домика гурьбой высыпали дети сторожа, крича тонкими голосами: „Мистер Пинч!“ — к великой радости

Тома. Сторож, неприветливый, в общем, человек, которого все порядком побаивались, вышел сам, чтобы получить с него дорожный сбор^[18], и угрюмо пожелал ему доброго утра; и все это вместе взятое, а также вид всего семейства, завтракавшего перед огнем за круглым столиком, придало черствой корке Тома Пинча совсем особенный вкус, как будто ее отрезали от волшебной ковриги.

Но этого еще мало. Не одни только женатые люди и дети здоровались с мистером Пинчем по дороге. Нет, нет. Блестящие глаза и белоснежные шейки тоже подбегали к окнам верхних этажей, слышав стук его экипажа, и отвечали на его поклон не скупясь, полной мерой. Все они были веселы. Все улыбались. А самые шаловливые даже посылали Тому воздушные поцелуи, когда он оборачивался. Потому что кто же принимал всерьез мистера Пинча? Он, бедняжка, и мухи не обидит.

А утро между тем так прояснилось, и все кругом глядело так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: „Дай посмотрю, что там такое творится“, — Том нимало не сомневался, что оно так и сказала, — взошло над землей во всем своем лучезарном величии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь; и когда он рассеялся, горы, холмы и отдаленные пастбища, полные степенных овец и крикливых ворон, развернулись ярко, словно новые, нарочно созданные для этого случая. Стремясь приветствовать их появление, ручей уже не стоял неподвижно, а заторопился дальше, неся эту новость на мельницу, за три мили отсюда.

Мистер Пинч трясся по дороге, полный приятных мыслей и в самом радужном настроении, как вдруг увидел на тропинке впереди себя пешехода, который быстрой и легкой походкой шагал в том же направлении что и мистер Пинч, распевая на ходу, пожалуй, чересчур громким, но зато не лишенным музыкальности голосом. Это был малый лет двадцати пяти или шести, в куртке нараспашку, надетой так свободно и небрежно, что длинные концы красного шарфа то развевались по ветру у него за спиной, то перекидывались на грудь, а пучок красных зимних ягод в петлице его бархатной куртки был виден мистеру Пинчу не хуже, чем если бы эта куртка была надета задом наперед. Он шел не умолкая и с таким увлечением, что не слышал стука колес до тех пор, пока двуколка не поравнялась с ним; только тогда он оглянулся, и мистер Пинч увидел его чудаковатое лицо с очень веселыми голубыми глазами.

— Как, это вы, Марк? — останавливаясь, сказал мистер Пинч. — Вот уж не думал увидеть вас здесь! Ну-ну, удивительное дело!

Веселость Марка сразу пошла на убыль, и, дотронувшись до шляпы,

он ответил, что направляется в Солсбери.

— Да каким же вы франтом! — сказал мистер Пинч, разглядывая его с большим удовольствием. — Право, не думал, что вы так любите щеголять, Марк!

— Спасибо, мистер Пинч! Это за мною водится, верно. Но я, знаете ли, не виноват. А насчет франтовства, сэр, так вот в этом-то, понимаете, и все дело. — И тут он стал особенно мрачен.

— В чем же? — спросил мистер Пинч.

— В этом-то и вся заковыка. Легко быть веселым и приветливым, когда хорошо одет. Чем же тут хвалиться? Вот если бы я был весь в лохмотьях, да веселый, — тогда это кое-что бы значило, мистер Пинч.

— Так вы для того и пели сейчас, чтобы не расстраиваться из-за хорошей одежды, да, Марк? — спросил Пинч.

— Вы всегда скажете, сударь, будто в книжку поглядели, — весело ухмыльнулся Марк. — Как раз угадали.

— Ну, Марк! — воскликнул мистер Пинч. — Такого чудака, как вы, я, право, первый раз в жизни вижу. Мне всегда так казалось, а теперь я окончательно убедился. Я тоже еду в Солсбери. Хотите, подвезу. Буду очень рад вашему обществу.

Молодой человек поблагодарил его и тут же принял предложение; сядя в экипаж, он пристроился на самом краешке сиденья, совсем на весу, давая этим понять, что он тут только по любезности мистера Пинча. Дорогой они продолжали разговаривать.

— А я, видя вас таким франтом, — сказал мистер Пинч, — чуть было не решил, что вы собираетесь жениться, Марк.

— Да что ж, сэр, я и сам об этом думал, — отвечал Марк. — Пожалуй, не так-то легко быть веселым, когда есть жена, да еще дети хворают корью, а она к тому же сварливая баба. Только боюсь и пробовать. Не знаю, что из этого получится.

— Может быть, вам никто особенно не нравится? — спросил Пинч.

— Особенно, пожалуй, что и нет, сударь.

— А знаете ли, Марк, с вашими взглядами вам именно следовало бы жениться на такой особе, чтобы не нравилась и была неприятного характера.

— Оно и следовало бы, сэр, только это уж значит хватить через край. Верно?

— Пожалуй, что верно, — сказал мистер Пинч. И оба они весело рассмеялись.

— Господь с вами, сэр, — сказал Марк. — Плохо же вы меня знаете,

как я погляжу. Не думаю, чтобы нашелся, кроме меня, человек, который при случае мог бы показать, чего он стоит, в таких условиях, когда всякий другой был бы просто несчастен. Только вот случая нет. Я так думаю, никто даже и не узнает, на что я способен, разве только подвернется что-нибудь из ряда вон выходящее. А ничего такого не предвидится. Я уйду из „Дракона“, сэр!

— Уходите из „Дракона“! — воскликнул мистер Пинч, глядя на него в величайшем изумлении. — Да что вы, Марк! Я просто опомниться не могу, так вы меня удивили!

— Да, сэр, — отвечал Марк, смотря прямо перед собой куда-то вдаль, как смотрят иной раз, глубоко задумавшись. — Что толку оставаться в „Драконе“? Для меня там вовсе не место. Когда я приехал из Лондона (я ведь родом из Кента) и поступил на эту должность, я думал, что в таком глухом углу скучища должна быть зверская, что другой такой дыры нигде в Англии не сыскать, а значит, и быть веселым здесь не очень легко; есть чем похвалиться. А какая же в „Драконе“ скука, где там! Кегли, крикет, лапта, городки, хоровое пение, комические куплеты; зимой каждый божий вечер собирается у очага целая компания, — кто угодно будет веселым в „Драконе“. Чем тут особенно хвалиться!

— Однако, если верить молве, Марк, — а я думаю, на этот раз ей можно верить, потому что и сам видел кое-что, — сказал мистер Пинч, — без вас там не было бы такого веселья; вы первый всему зачинщик и коновод.

— Может, это и так, сэр, — ответил Марк. — Только это все же не утешение.

— Да!.. — сказал мистер Пинч после короткого молчания, и его обыкновенно тихий голос прозвучал еще тише. — У меня все не идет из головы то, что вы сказали. Как же так? Что же теперь будет с миссис Льюпин?

Марк, глядя куда-то еще дальше и еще сосредоточеннее, ответил, что для нее, надо думать, это большой разницы не составит. Найдется сколько угодно бойких молодых парней, которые только рады будут занять его место. Он и сам знает таких не меньше десятка.

— Вполне возможно, — сказал мистер Пинч, — но я отнюдь не уверен, что миссис Льюпин им будет рада. А ведь я всегда думал, что вы с миссис Льюпин поженитесь, Марк, да и все так думали, насколько мне известно.

— Я ей ничего такого не говорил, — отвечал Марк, несколько смутившись, — что прямо походило бы на объяснение, и от нее ничего

такого не слышал, да ведь как знать, мало ли что мне взбредет в голову на досуге, да и она мало ли что может ответить. Нет, сэр. Это мне не подойдет.

— Не подойдет быть хозяином „Драконе“, Марк? — воскликнул мистер Пинч.

— Нет, сэр, ни в коем случае не подойдет, — возразил Марк, отводя взгляд от горизонта и обращая его на своего спутника. — Это сущая погибель для такого человека, как я. Да я там преспокойно просижу всю жизнь, и никто никогда не узнает, на что я гожусь. Что тут особенного, если хозяин в „Драконе“ веселый? Он не может не быть веселым, сколько ни старайся.

— А миссис Льюпин знает, что вы намерены ее покинуть? — осведомился мистер Пинч.

— Я еще ей не говорил, сэр, а сказать придется. Нынче утром я собираюсь поискать что-нибудь другое, более подходящее, — сказал он, кивая в сторону Солсбери.

— Что же именно? — спросил мистер Пинч.

— Я подумывал, — отвечал Марк, — насчет какой-нибудь должности вроде могильщика.

— Господь с вами, Марк! — воскликнул мистер Пинч.

— Отличная должность, сударь, в смысле сырости и червей, — сказал Марк, убежденно кивая головой, — и быть веселым при таком занятии — дело нелегкое; одно только меня пугает, что могильщики, как на грех, ребята веселые. Не знаете ли вы, сэр, отчего это так бывает?

— Нет, — сказал мистер Пинч, — право, не знаю. Никогда над этим не задумывался.

— На случай, ежели с этим ничего не выйдет, — продолжал Марк размышлять вслух, — имеются, знаете ли, и другие занятия. Гробовщика хотя бы. Невеселая штука. Тогда еще было бы чем похвалиться. Служить у закладчика в бедном квартале, пожалуй, тоже недурно. Тюремщик видит немало горя. Лакей у доктора тоже — у него на глазах постоянно людей морят. У судебного пристава тоже не очень-то веселая должность. Даже и сборщику налогов бывает тошно глядеть на чужое горе. Да мало ли еще что может подвернуться подходящее, думается мне.

Мистер Пинч был до того огорошен этими соображениями, что у него пропала всякая охота разговаривать, и он только время от времени ронял слово или два о чем-нибудь маловажном, искоса поглядывая на жизнерадостное лицо своего чудака приятеля, по-видимому совершенно не замечавшего, что за ним наблюдают. Так продолжалось, пока они не доехали до поворота дороги, почти на окраине города; здесь Марк сказал,

что хотел бы сойти, с позволения мистера Пинча.

— Господи помилуй, Марк, — сказал мистер Пинч, который во время своих наблюдений успел сделать открытие, что куртка у его спутника распахнута, словно среди лета, и под рубашку то и дело забирается ветер, — почему вы не носите жилета?

— А какая от него польза, сэр? — спросил Марк.

— Какая польза? — сказал мистер Пинч. — Такая, что грудь в тепле.

— Господь с вами, сэр, — воскликнул Марк, — не знаете вы меня, вот что! Зачем это мне нужно держать грудь в тепле? А если даже нужно, так что со мной может случиться без жилета? Ну, схвачу воспаление легких. Что ж, тем больше мне чести, ежели при воспалении легких я буду веселый.

Так как мистер Пинч не мог найти на это подходящего ответа и только тяжело вздыхал, округлив глаза и усиленно кивая головой, Марк поблагодарил за одолжение и соскочил на ходу, чтобы не затруднять мистера Пинча остановкой. И легко, словно танцуя, он зашагал по тропе, в куртке нараспашку, в развевающемся красном шарфе, изредка оборачиваясь, чтобы кивнуть мистеру Пинчу, — самый беззаботный, добродушный и чудаковатый малый из всех, какие водятся на свете. Его недавний спутник, сильно призадумавшись, продолжал свой путь в Солсбери.

Мистер Пинч подозревал в душе, что Солсбери одно из самых зланных мест во всей Англии, что это разгульный и развращенный город, а потому, поставив лошадь в конюшню и дав конюху понять, что зайдет часика через два взглянуть, вдоволь ли у нее овса, он отправился прогуляться по улицам со смутной и довольно приятной мыслью, что там должно быть полным-полно всяких тайн и соблазнов. Этому маленькому заблуждению способствовало то обстоятельство, что день был базарный и переулки вокруг площади были сплошь заставлены подводами, лошадьми, осликами, корзинками, тележками, завалены овощами, говядиной, требухой, пирогами, птицей и лотками с товаром всех возможных сортов и видов. Кроме того, тут были молодые крестьяне и старые крестьяне — в блузах, коричневых куртках, серых куртках, красных вязаных шарфах, гамашах, шляпах невиданных фасонов, с арапниками и самодельными дубинками в руках, — которые стояли кучками, или громко разговаривали на трактирном крыльце, или получали и отсчитывали целые пачки засаленных бумажек из таких толстых бумажников, что вытаскивать их из кармана грозило апоплексией, а запихивать обратно — спазмами в желудке. Кроме того, тут были крестьянки в касторовых капорах и красных накидках,

правившие лохматыми лошадами, чуждыми всяким земным страстям, которые преспокойно везли своих хозяек куда угодно, не интересуясь, зачем это нужно, и в случае надобности могли бы стоять как вкопанные в посудной давке, с полным обеденным сервизом возле каждого копыта, а также великое множество собак, весьма заинтересованных состоянием рынка и сделками своих хозяев; и великое смешение двух языков — скотского и человеческого.

Мистер Пинч глядел на все выставленное для продажи с большим удовольствием, особенно же на лоток бродячего ножовщика, настолько его прельстивший, что им тут же был приобретен карманный ножичек с семью лезвиями, из которых ни одно не резало, как мистер Пинч обнаружил впоследствии. Осмотрев базарную площадь и удостоверившись, что фермеры сели обедать, он вернулся приглядеть за своей лошадию. Убедившись, что она наелась до отвала, Том опять вышел побродить по городу и полюбоваться окнами лавок; сначала он нагляделся досыта на банк и погадал, где именно под землей находятся те подвалы, в которых хранят золотую монету; потом обернулся и посмотрел вслед двум-трем повстречавшимся ему молодым людям, которые, как ему было известно, находились в обучении у городских нотариусов и внушали ему известное уважение, смешанное со страхом, так как вели весьма рассеянный образ жизни и были, что называется, развеселые ребята.

А самые лавки! Прежде всего тут были ювелирные лавки со всеми сокровищами мира, выставленными в окне; и такие большие серебряные часы висели там за каждым окном, что если ход у них и был неважный, то уж, конечно, не оттого, что для механизма не хватило места. По правде сказать, они казались достаточно велики и достаточно безобразны, для того чтобы быть самыми образцовыми механизмами на свете. На взгляд мистера Пинча, однако, они были миниатюрнее швейцарских часов; а когда он увидел, что одни часы луковицей рекомендуются как часы с репетицией, наделенные редкой способностью вызванивать каждую четверть часа в кармане их счастливого обладателя, ему даже захотелось быть настолько богатым, чтобы купить их.

Но что были золото и серебро, драгоценности и хронометры по сравнению с книжными лавками, откуда шел приятный запах свежей печатной бумаги, мгновенно будя воспоминание о какой-нибудь новой грамматике, по которой он когда-то, давным-давно, учился в школе, — с надписью „Томас Пинч, пансион Гров-Хаус“, выведенной отличнейшим почерком на заглавном листе! А этот легкий запах сафьяна, а все эти ряды томов, аккуратно выстроенные один над другим, — какую радость они

сулили! В окне были выставлены, радуя глаз, последние лондонские издания, раскрытые на заглавном листе, а иногда даже и на первой странице первой главы, что подстрекало неосмотрительных людей начать чтение, а потом, из-за невозможности перевернуть страницу, ринуться внутрь и купить книжку! Тут были изящные фронтисписы и тонкие виньетки, указывающие, подобно придорожным столбам на окраинах больших городов, на богатую событиями жизнь, которая скрывается за ними; и книги с благообразными портретами авторов, имена которых, хорошо известные мистеру Пинчу, были освящены временем, — много он отдал бы за то, чтобы иметь их труды, в каком угодно издании, на узенькой полочке рядом со своей кроватью, в доме мистера Пекснифа. Просто мучение, а не лавка!

Была тут еще и другая лавка — не то, что первая, но все же завидное место, — где продавались детские книги и где бедняга Робинзон стоял одиноко во всем своем величии, с топором и собакой, в шапке из козьей шкуры и с ружьем, и спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей вокруг него^[19], призывая мистера Пинча в свидетели, что только он один из всей этой толпы оставил на песках мальчишеской памяти свой след, который бессильна стереть поступь новых поколений. Были тут и персидские сказки о летающих сундуках и волшебниках, многие годы корпящих в пещерах над колдовскими книгами; был тут и купец Абдалла, и страшная старуха, выскочившая из сундука в его спальне; и могучий талисман — несравненные сказки „Тысячи и одной ночи“, с Касим-бабой, разделенным на четыре части и подвешенным к потолку разбойничьей пещеры, словно призрак головоломной арифметической задачи. Все эти бесценные сокровища, мгновенно завладев мистером Пинчем, так оттерли и отчистили волшебную лампу в его душе, что, когда он опять повернулся лицом к шумной улице, к его услугам был уже целый хоровод видений, и он снова радостно переживал счастливые дни допекснифовских времен.

Он проявил гораздо меньше интереса к лавкам аптекарей с большими, горящими, как жар, бутылками (весь блеск которых собран в пробках), где медицина не без приятности сочеталась с парфюмерией в изготовлении ароматических леденцов и девичьей кожи. Не выказал он также ни малейшего внимания (что и всегда за ним водилось) к портновским лавкам, где вывешены были новейшие фасоны столичных жилетов, которые, в силу какой-то странной метаморфозы, в лавке всегда выглядели отлично, а на заказчиках делались ни на что не похожи. Зато он остановился у театра прочесть афишу и поглядел на вход с известного рода трепетом, который отнюдь не уменьшился, когда из дверей вышел джентльмен с восковым

лицом и длинными волосами и велел какому-то мальчишке сбегать к нему на квартиру за палашом. Услышав это, мистер Пинч замер в восхищении и простоял бы так до темноты, если бы колокол старинного собора не зазвонил к вечерне, после чего мистеру Пинчу удалось сдвинуться с места.

Помощник органиста дружил с Томасом Пинчем — и очень кстати, ибо он тоже был смирный малый и в школе тоже вел себя, как мальчик из хрестоматии, хотя даже озорники его любили. К счастью, случилось так (Том всегда говорил, что ему везет), что помощник органиста в этот день работал один и на пыльных хорах с ним не было никого, кроме Тома; так что Том помогал ему переводить регистр, пока он играл, а потом, когда служба кончилась, и сам уселся за орган. Вечерело, и к желтому свету, струившемуся сквозь старинные окна на хорах, примешивался зловещий тускло-красный оттенок. Когда величавые аккорды огласили церковь, мистеру Пинчу почудилось, будто на них отзывается эхом каждая из древних гробниц, так же как и сокровенная глубина его собственного сердца. Мысли и надежды волной хлынули в его душу, когда стройные звуки музыки сотрясли воздух, и среди них, исполненные нового, важного смысла и значения, но в существе своем те же самые, — были все впечатления этого дня, вплоть до смутных воспоминаний детства. Чувство, которое пробуждали эти звуки в краткий миг своего существования, казалось, обнимало всю его жизнь, всю его душу; и по мере того как окружающая действительность из камня, стекла и дерева расплывалась и пропадала во мраке, эти видения становились все ярче, и Том совсем позабыл бы про нового ученика и ожидающего их обоих наставника и просидел бы так до полуночи, изливая благодарное сердце, если бы не дряхлый грубиян причетник, который непременно желал запереть церковь, не медля ни минуты. И мистер Пинч распрощался со своим приятелем, рассыпавшись в благодарностях, ошупью выбрался из темноты на уже освещенные фонарями улицы и поспешил в гостиницу обедать.

К этому времени все крестьяне разъехались по домам, и никого уже не было в усыпанной песком зале той гостиницы, где мистер Пинч на конюшне оставил свою лошадь; поэтому он попросил придвинуть маленький столик поближе к огню и с аппетитом принялся за отлично поджаренный бифштекс с дымящимся горячим картофелем, радуясь его превосходным качествам и вообще наслаждаясь жизнью вовсю. Рядом с тарелкой стояла кружка бесподобного вильтширского пива; и все это вместе взятое было так чудесно, что мистер Пинч вынужден был время от времени класть нож и вилку на скатерть и потирать руки в глубоком умилении. Когда подали сыр с сельдереем, мистер Пинч вытащил книжку

из кармана и доканчивал обед уже не торопясь — то покушает немножко, то выпьет пива, то почитает, то остановится, раздумывая, каким человеком окажется новый ученик. Покончив с этим предметом размышления, он погрузился в книжку, как вдруг дверь отворилась, и вошел посетитель, напустив при этом такого холода, что сначала положительно казалось, будто он совсем загасил огонь в камине.

— Очень сильный мороз нынче, сэр, — сказал новый гость, учтиво выражая признательность мистеру Пинчу, который отодвинулся со своим столиком, уступая место пришельцу. — Не беспокойтесь, пожалуйста, прошу вас.

Проявив этим должное внимание к удобствам мистера Пинча, он тем не менее пододвинул большое кожаное кресло к самому очагу, и уселся прямо перед огнем, поставив ноги на решетку.

— Ноги у меня совсем окоченели. Да, мороз жестокий!

— Вы, должно быть, долго пробыли на холоде? — спросил мистер Пинч.

— Весь день. Да еще на козлах кареты.

„Оттого-то он и в комнату напустил такого холода, — подумал мистер Пинч. — Бедняга! То-то, должно быть, промерз до костей“.

Незнакомец тоже задумался и молча просидел минут пять или десять перед огнем. Наконец он встал с места и освободился от шали и пальто, очень теплого и толстого (по сравнению с верхней одеждой мистера Пинча). Однако, сняв пальто, он ничуть не стал разговорчивее, ибо снова уселся на то же место и в той же позе и, откинувшись на спинку стула, принялся грызть ногти. Он был молод — лет двадцати, быть может, — и красив, с быстрыми умными глазами и живостью взгляда и движений, которая заставила Тома еще сильнее почувствовать собственную мешковатость и сделаться еще застенчивее обыкновенного.

В комнате были часы, на которые незнакомец то и дело поглядывал. Том тоже нередко с ними справлялся, отчасти из сочувствия к своему молчаливому товарищу, отчасти же потому, что новый ученик должен был зайти за ним в половине седьмого, а стрелки уже подвигались к этому часу. Всякий раз как незнакомец перехватывал его взгляд, устремленный на часы. Томом овладевало какое-то замешательство, точно его поймали врасплох на чем-то нехорошем; и молодой человек, быть может заметив его тревогу, сказал с улыбкой:

— Как видно, мы с вами оба очень интересуемся временем. Дело в том, что я должен встретиться тут с одним джентльменом.

— И я тоже, — сказал мистер Пинч.

— В половине седьмого, — сказал незнакомец.

— В половине седьмого, — сказал Том одновременно с ним, на что молодой человек ответил изумленным взглядом.

— Молодой джентльмен, которого я ожидаю, — робко заметил Том, — должен был спросить в половине седьмого человека по фамилии Пинч.

— Боже мой! — воскликнул тот, вскакивая с места. — А я еще все время загораживал от вас огонь! Я понятия не имел, что вы и есть мистер Пинч. Я тот самый мистер Мартин, которого вы ждете. Пожалуйста, извините меня. Придвигайтесь ближе, прошу вас!

— Благодарю, — сказал Том, — благодарю вас. Мне вовсе не холодно, а вы озябли; нам же еще предстоит ехать по морозу. Хотя, что ж, если вам угодно, я придвинусь. Я... я очень рад, — сказал Том с особенной, свойственной ему, открытой и смущенной улыбкой, которая так ясно говорила о том, что он сознает все свои недостатки и просит снисхождения у собеседника, как будто он попросту написал все это на бумаге, — очень рад, что вы и есть тот человек, которого я дожидался. Я только что подумал, минуту тому назад, как хорошо было бы, если бы он был похож на вас.

— Мне приятно это слышать, — отвечал Мартин, опять пожимая ему руку, — уверяю вас, я и сам думал, какое это было бы счастье, если бы мистер Пинч оказался похож на вас.

— Нет, в самом деле? — откликнулся Том, очень довольный. — Вы не шутите?

— Честное слово, нет, — отвечал его новый знакомец. — Мы с вами отлично сойдемся, я уж знаю; и это для меня немалое облегчение. Сказать вам по правде, я вовсе не такой человек, чтобы мог сходиться со всяким, и на этот счет у меня были большие сомнения. Но теперь они рассеялись. Будьте так любезны, позвоните, пожалуйста.

Мистер Пинч вскочил с места и бросился выполнять эту просьбу с величайшей живостью (звонок был над самой головой у Мартина, который продолжал греться), с улыбкой слушая то, что говорил его новый друг.

— Если вы любите пунш, позвольте мне заказать для нас по стакану самого горячего, чтобы как следует ознаменовать начало нашей дружбы. Сказать вам по секрету, мистер Пинч, я никогда еще не нуждался так в чем-нибудь горячительном и подкрепляющем; но, не зная, что вы за человек, я не хотел пить при вас, потому что первое впечатление, видите ли, очень много значит, и сглаживается оно не скоро.

Мистер Пинч позволил, и пунш был заказан. В свое время он появился на столе, горячий и крепкий. Выпив этот дымящийся напиток за здоровье

друг друга, они пустились в откровенности.

— Я до некоторой степени родня Пекснифу, знаете ли, — сказал молодой человек.

— Неужели? — воскликнул мистер Пинч.

— Да. Мой дедушка приходится ему двоюродным братом, так что мы с ним какие-то там родственники, если вы в этом можете разобраться. Я не в состоянии.

— Значит, вас зовут Мартином? — в раздумье спросил мистер Пинч. — О!

— Разумеется, Мартином, — отвечал его друг. — А лучше бы „Мартин“ была моя фамилия, потому что она у меня не из благозвучных и подписывать ее очень долго. Моя фамилия Чезлвит.

— Боже мой! — воскликнул мистер Пинч, невольно подскочив.

— Неужели вас удивляет, что у меня есть и имя и фамилия? — отозвался Мартин, поднося стакан к губам. — Это не редкость!

— Нет, нет. — сказал мистер Пинч, — ничуть. О боже мой, насколько! — И припомнив, что мистер Пексниф под большим секретом просил его ничего не говорить о пожилом джентльмене с той же фамилией, остановившемся в „Дракон“, напротив, воздержаться от всяких упоминаний о нем, он не нашел другого способа скрыть свое смущение, как тоже поднести стакан ко рту. Некоторое время они глядели друг на друга поверх своих стаканов и, допив их до дна, поставили на стол.

— Я велел там, на конюшне, запрягать к этому времени, — сказал мистер Пинч, опять взглядывая на часы. — Поедемте?

— Если вам угодно, — отвечал тот.

— Может быть, вы хотите править? — спросил мистер Пинч и просиял, сознавая всю заманчивость такого предложения. — А то правьте, если вам хочется.

— Ну, это зависит от того, какая у вас лошадь, — отвечал Мартин, улыбаясь. — Потому что если она плохая, так я лучше засуну руки в карманы, чтобы они не мерзли.

Он, видимо, был очень доволен своей шуткой, и поэтому мистеру Пинчу она тоже весьма понравилась. Он тоже засмеялся и тогда уже совершенно уверился в том, что шутка отличная. После того он уплатил по счету, а мистер Чезлвит заплатил за пунш, и, закутавшись потеплее, каждый как мог, они направились к выходу, где подвижность мистера Пекснифа загораживала им дорогу.

— Нет, спасибо, я не буду править, — сказал Мартин, усаживаясь на место седока. — Кстати, тут у меня сундучок. Нельзя ли его как-нибудь

пристроить?

— О, разумеется! — сказал Том. — Дик, поставь его куда-нибудь.

Сундук был не таких удобных размеров, чтобы его можно было сунуть куда угодно, но конюх Дик все же впихнул его кое-как с помощью мистера Чезлвита. Сундук оказался под ногами у мистера Пинча, и мистер Чезлвит выразил опасение, не будет ли это беспокоить мистера Пинча, на что Том ответил: „Нисколько“, хотя ему из-за этого приходилось сидеть в весьма неудобной позе, мешавшей ему видеть что-либо, кроме собственных колен. Однако плох тот ветер, который никому не приносит добра; справедливость этой пословицы подтвердилась в ту же минуту, ибо морозный ветер задувал со стороны Тома и сундук вместе с Томом образовал такую плотную стену между ветром и новым учеником, что Мартин был как нельзя лучше защищен от стужи, и это было весьма утешительно.

Вечер был ясный, и ярко светила луна. Все кругом серебрилось от инея и лунного света, и местность казалась необыкновенно красивой. Сначала, под влиянием мира и безмятежной тишины, разлитой в природе, молодые люди молчали; но спустя немного, от пунша и бодрящего воздуха, они сделались необыкновенно разговорчивы и болтали без умолку. Когда путники остановились на полдороге напоить лошадей, Мартин (который не жалел своих денег) заказал еще один стакан пунша, и они выпили его пополам, отчего сделались еще разговорчивее. Главным предметом беседы был, натурально, мистер Пексниф и его семейство; и Том со слезами на глазах говорил о своих благодетелях в таких выражениях, что каждый человек, не лишенный сердца, должен был преклониться перед семейством Пексниф, чего мистер Пексниф, разумеется, не мог предвидеть и о чем решительно не подозревал, иначе он (по свойственной ему скромности) никогда не послал бы мистера Пинча за новым учеником. Так ехали они путем-дорогой, как говорится в сказках, пока, наконец, не замелькали перед ними огоньки селения и длинная тень колокольни не легла на кладбищенскую траву, словно на циферблат часов (увы, самых верных на свете!); покорная движению светил, отмечает она быстротекущие дни, недели и годы вечно меняющейся тенью на этой священной земле.

— Церковь недурна! — сказал Мартин, видя, что его спутник замедлил и без того медленный бег лошади, когда они подъехали ближе.

— Не правда ли? — отозвался Том с большой гордостью. — И орган в ней небольшой, но очень приятного тона. Я на нем играю.

— Вот как! — сказал Мартин. — Сдается мне, что это едва ли стоит труда. И много вы получаете?

— Ничего ровно, — ответил Том.

— Ну, знаете ли, — возразил его друг, — вы, я вижу, большой чудак. Последовало краткое молчание.

— Когда я сказал „ничего“, — заметил мистер Пинч жизнерадостно, — я ошибся и сказал совсем не то, что думал, потому что это доставляет мне огромное удовольствие и возможность провести несколько счастливых часов. А на днях мне выпало на долю и еще кое-что... только вы, я думаю, вряд ли захотите слушать.

— Нет, отчего же. А что это было?

— Я видел, — сказал Том, понизив голос, — самое милое и самое красивое лицо, какое вы только можете себе представить.

— Уж я-то могу представить себе такое лицо, — задумчиво сказал его друг, — если у меня не вовсе отшибло память.

— Она пришла в первый раз, — сказал Том, кладя руку ему на плечо, — очень рано утром, когда еще только светало; и когда я обернулся и увидел, что она стоит в дверях, то весь даже похолодел: мне сначала показалось, что это видение. Через минуту я, конечно, опомнился; и слава богу, что так скоро, — я даже не перестал играть.

— Почему же „слава богу“?

— Почему? Потому что она стояла и слушала. Я был в очках и видел ее из-за занавеса так же ясно, как вижу вас; это была красавица. Немного погодя она исчезла, а я играл, пока она могла слышать.

— Для чего же вы это делали?

— Неужели вы не понимаете? — отвечал Том. — Она могла подумать, что я ее не видал, и прийти еще раз.

— И она пришла?

— Конечно. И на следующее утро и вечером тоже; и все в такое время, когда никого не было, и всегда одна. Я вставал раньше и сидел в церкви дольше, чтобы двери были отперты, когда она придет, и орган играл, иначе она огорчилась бы. Несколько дней подряд она приходила в церковь и всегда оставалась послушать. Но теперь она уехала; и из самого невероятного на этом свете всего невероятнее, что я еще когда-нибудь увижу ее.

— Вы ничего больше о ней не знаете?

— Нет.

— И вы ни разу за ней не пошли?

— Зачем я стал бы ее беспокоить? — сказал Том Пинч. — Разве она нуждалась в моем обществе? Она приходила слушать орган, а не видеться со мной; так ради чего я спугнул бы ее с места, которое так ей понравилось? Нет, господь ее храни! — воскликнул Том. — Чтобы доставить ей хоть

минутную радость, я играл бы на органе каждый день до самой старости; я был бы счастлив, если бы, вспоминая о музыке, она вспоминала заодно и беднягу музыканта, и вознагражден сверх меры, если бы она когда-нибудь подумала и обо мне, вспоминая о том, что ей так мило.

Новый ученик был, видимо, изумлен таким малодушием мистера Пинча и, вероятно, сказал бы ему об этом и, пожалуй, дал бы хороший совет, но в эту минуту они подкатили к дому мистера Пекснифа — к парадным дверям на этот раз, ибо случай был торжественный и радостный. Лошадь принял тот самый конюх, которого мистер Пинч заклинал нынче утром придержать ретивое животное; поручив его заботам это четвероногое и шепотом попросив мистера Чезлвита никогда, ни единым звуком не обмолвиться о том, что было ему доверено в избытке чувств, Томас Пинч повел нового ученика в дом, для безотлагательного представления мистеру Пекснифу.

Мистер Пексниф явно не ожидал их так скоро: он был окружен раскрытыми книгами и, держа во рту карандаш, а в руке компас, заглядывал то в один, то в другой том с великим множеством математических чертежей, таких замысловатых с виду, что их можно было принять за схематическое изображение фейерверка. Мисс Черри тоже не ожидала их и потому, сидя перед объемистой плетеной корзинкой, занималась шитьем каких-то немыслимых ночных колпаков для бедных. Мисс Мерри тоже не ожидала их и, примостившись на своей скамеечке, примеряла — о боже милостивый! — юбку большой кукле, которую она наряжала для соседской девочки; да, это была совсем взрослая барышня-кукла, и оттого мисс Мерри сконфузилась еще больше; а кукольную шляпку она прицепила на ленте к одному из своих белокурых локонов, чтобы эта шляпка не потерялась или кто-нибудь на нее не сел. Было бы весьма затруднительно и даже просто невозможно представить себе семейство, застигнутое врасплох до такой степени, как семейство Пексниф на этот раз.

— Боже мой! — воскликнул мистер Пексниф, поднимая глаза и меняя рассеянное выражение лица на радостно-удивленное. — Уже здесь! Мартин, дорогой мой мальчик, я в восторге, что вижу вас в моем скромном жилище.

С этим любезным приветствием мистер Пексниф принял Мартина в свои объятия и несколько раз похлопал его по спине правой рукой, будто не в силах был выразить своих чувств словами.

— А вот и мои дочери, Мартин, — сказал он, придя в себя, — мои две единственные дочери, которых вы не видели — ах, эти прискорбные

семейные разногласия! — с тех самых пор, как еще детьми играли вместе. Нет, нет, мои милые, к чему краснеть, когда вас застают за повседневными вашими занятиями? Мы готовились принять вас как гостя, Мартин, в нашей маленькой парадной гостиной, — говорил мистер Пексниф, улыбаясь, — но так мне больше нравится, так мне гораздо больше нравится!

Где бы ты ни находилась, о благословенная звезда невинности, как ты заблистала в небесах, когда каждая из мисс Пексниф, краснея, подала свою лилейную ручку Мартину! Как ты мерцала, словно трепеща от сочувствия, когда Мерси, вспомнив про кукольную шляпку в своих волосах, отвернулась, пряча прелестное личико, в то время как ее кроткая сестра сдернула шляпку и слегка ударила Мерси по круглому плечу в знак нежного сестринского упрека!

— А как, — спросил мистер Пексниф, оторвавшись от созерцания этого пассажи и дружески взяв мистера Пинча за локоть, — как встретил вас наш друг?

— Очень хорошо, сэр. Мы с ним в самых лучших отношениях, могу вас уверить.

— Старина, Томас Пинч! — сказал мистер Пексниф, глядя на него с нежной грустью. — Ах! Кажется, еще вчера Томас был мальчиком, только что со школьной скамьи. А ведь как подумаешь, сколько лет прошло с тех пор, как мы с Томасом Пинчем встретились на жизненном пути!

Мистер Пинч не мог вымолвить ни слова. Он был слишком взволнован. Он только пожал руку своему патрону в знак благодарности.

— И мы с Томасом Пинчем, — продолжал мистер Пексниф растроганным голосом, — пойдем по этому пути и дальше как верные и неразлучные друзья! И если случится так, что одного из нас переедут на каком-нибудь шумном перекрестке жизни, другой, не теряя надежды, отвезет его в больницу и будет сидеть у его постели, помогая ему щедрой рукой. Ну, ну, ну! — добавил он более жизнерадостным тоном, усиленно пожимая локоть мистера Пинча. — Довольно об этом! Мартин, дорогой мой друг, чтобы вы чувствовали себя как дома в этих стенах, позвольте показать вам, где мы живем! Пойдемте!

С этими словами он взял зажженную свечу и направился к выходу в сопровождении своего молодого родственника. В дверях он остановился:

— Вы составите нам компанию, Томас Пинч?

Да, Том с радостью пошел бы за ним даже на смерть и был бы счастлив отдать свою жизнь за такого человека!

— Вот здесь, — сказал мистер Пексниф, открывая дверь в гостиную

напротив, — та маленькая парадная комната, о которой я вам говорил. Мои девочки гордятся ею, Мартин! Вот здесь, — открывая другую дверь, — тот маленький покой, где были задуманы все мои труды (ничтожные даже в самом лучшем случае). Мой портрет кисти Спиллера. Мой бюст работы Спокера. Считается, что он очень похож. Я и сам усматриваю большое сходство в нижней половине левой ноздри.

Мартин нашел, что бюст очень похож, но что ему не хватает одухотворенности. Мистер Пексниф ответил, что и другие находили в нем тот же недостаток. Замечательно, что и молодому его родственнику это тоже бросилось в глаза. Мистеру Пекснифу было очень отрадно убедиться, что у него такой верный глаз.

— Вы видите тут разные книги, — заметил мистер Пексниф, указывая рукой на стену, — относящиеся к нашей профессии. Я и сам пописываю иногда, хотя до сих пор еще не печатался. Осторожней, тут лестница. — Вот здесь, — открывая третью дверь, — моя спальня. Здесь я занимаюсь, когда мои семейные думают, что я лег отдохнуть. Иногда я этим непозволительно подрываю свое здоровье, и сам это знаю; но искусство долговечно, а жизнь коротка. Вы видите, даже и тут под рукой имеется все нужное, чтобы набросать начерно вдруг явившийся замысел.

В объяснение этих последних слов он указал на маленький круглый столик с лампой, вокруг которой были разложены всех форматов листы бумаги, кусок резинки и готовальня; все это на тот случай, если какой-нибудь архитектурный замысел придет в голову мистеру Пекснифу среди ночи, чтобы он мог немедленно увековечить его, соскочив с кровати.

Мистер Пексниф открыл другую дверь на том же этаже и сразу же опять ее захлопнул, как будто это была комната Синей Бороды. Но прежде чем отойти от двери, он обернулся с улыбкой и сказал:

— А почему бы и нет?

Мартин не мог ответить на этот вопрос, так как не имел понятия в чем дело. Поэтому мистер Пексниф ответил сам, распахнув двери настежь:

— Комната моих дочерей. На наш взгляд, небогатое помещение на втором этаже, а для них — келья. Чистота. Воздух. Растения, как вы видите: гиацинты; книги тоже, ну и пернатые друзья (эти пернатые друзья, кстати сказать, состояли из единственного старого воробья, едва живого, а к тому же и бесхвостого, которого нарочно для этого случая принесли из кухни) — невинные забавы, пустяки, которые нравятся девушкам. Больше ничего. Тот, кто ищет здесь бездушной роскоши, будет искать напрасно.

С этими словами он повел их на третий этаж.

— Вот это, — сказал мистер Пексниф, распахивая настежь двери

пресловутого помещения на третьем этаже, — та комната, где усовершенствовался, я полагаю, не один талант. В этой комнате у меня зародилась идея колокольни, которую я когда-нибудь подарю человечеству. Здесь мы работаем, дорогой Мартин. Не один архитектор вышел из этой комнаты: несколько человек, не правда ли, мистер Пинч?

Том подтвердил это; более того, он вполне этому верил.

— Вы видите здесь, — сказал мистер Пексниф, быстро водя свечой от одного чертежа к другому, — некоторые следы наших занятий. Солсберийский собор с севера. Он же с юга. С востока. С запада. С юго-востока. С северо-запада. Мост. Богадельня. Тюрьма. Церковь. Пороховой склад. Винный погреб. Порттик. Беседка. Ледник. Планы, профили, вертикальные и поперечные разрезы — всё что угодно. А вот это, — прибавил он, входя в большую комнату с четырьмя узенькими кроватями, — ваша комната; и мистер Пинч тоже здесь живет, он человек очень тихий. Южная сторона, очаровательный вид; библиотечка мистера Пинча, как вы видите; очень уютно и удобно. Если бы вы захотели прибавить что-нибудь к этим удобствам, то вам стоит только спросить. Даже для посторонних в этом смысле нет никаких ограничений, а тем более для вас, дорогой Мартин.

Это было совершенно справедливо, и в подтверждение слов мистера Пекснифа следует сказать, что любому ученику разрешалось спрашивать все, что только душе угодно. Некоторые молодые люди целых пять лет подряд спрашивали одно и то же, и никто им не препятствовал.

— Домашние служители, — сказал мистер Пексниф, — спят наверху. Вот, кажется, и все. — После чего, снисходительно выслушивая похвалы, расточаемые его молодым другом всему устройству, мистер Пексниф опять повел его в гостиную.

Тут произошли большие перемены: приготовления к пиршеству в довольно широких размерах были почти закончены, и обе мисс Пексниф с самым радушным видом поджидали их возвращения. На столе стояли две бутылки смородинового вина, красного и белого; тарелка сандвичей (очень длинных и тощих); другая тарелка — с яблоками; третья — с морскими сухарями (как известно, сочное и лакомое яство); блюдечко с мелко нарезанными хрящеватыми апельсинами, посыпанными толченым сахаром, и совершенно окаменелый домашний пирог. У Тома Пинча просто дух захватило от таких грандиозных приготовлений, ибо, хотя новых учеников разочаровывали постепенно, особенно в отношении вина, которое разбавляли водой постепенно, так что иногда молодой джентльмен добрых две недели добирался до колодца, — это был все же настоящий пир; нечто

вроде парадного банкета лорд-мэра в семейной обстановке; нечто такое, что запоминалось надолго и давало пищу для размышлений.

Мистер Пексниф пригласил общество оказать честь этому угощению, которое, помимо всех своих основных достоинств, имело еще одно дополнительное, а именно — находилось в строгом соответствии с погодой, холодной и сухой.

— Мартин, — сказал он, — сядет между вами обеими, дорогие мои, а мистер Пинч рядом со мной. Выпьем за нашего нового друга, чтобы нам жилось счастливо всем вместе! Мартин, дорогой мой друг, за ваше здоровье! Мистер Пинч, если вы будете церемониться с бутылкой, мы с вами поссоримся.

И, стараясь не морщиться от кислого вина, из уважения к чувствам остальных, мистер Пексниф оказал честь угощению и выпил тост, предложенный им самим.

— Вот вещь, — сказал он, намекая не на вино, а на общество, — которая вознаграждает человека за всякие разочарования и неприятности. Давайте же веселиться! — Тут он закусил вино морским сухарем. — Достоин сожаления то сердце, которое никогда не радуется, но наши сердца не таковы. Нет!

Беседуя таким образом, он развлекал и угощал все общество, в то время как мистер Пинч — быть может, желая увериться, что это действительно праздник, а не пленительный сон, — ел все подряд, в особенности налегая на тощие сандвичи. И вино он тоже пил беспрепятственно; мало того, памятуя слова мистера Пекснифа, он так усердно атаковал бутылку, что каждый раз как Том наливал себе в стакан, мисс Чарити, несмотря на всю свою решимость быть любезной, не могла не глядеть на него остановившимися от ужаса глазами, точно на привидение. Мистер Пексниф в такие минуты тоже погружался в раздумье, если не в уныние; возможно, однако, что, зная свойство этого благородного напитка, он просто размышлял о том, что будет завтра с мистером Пинчем, и припоминал самые верные средства против колик.

Мартин и обе мисс Пексниф успели уже подружиться и, к общему удовольствию, оживленно обменивались воспоминаниями о днях своего детства. Мисс Мерри смеялась решительно всему, что бы ни говорили за столом, и время от времени, глядя на сияющее лицо мистера Пинча, вдруг закатывалась так неудержимо, что доходила чуть ли не до истерики. Однако ее более благоразумная сестра выговаривала ей за эти вспышки веселья, замечая сердитым шепотом, что смеяться тут вовсе нечему и что у нее просто терпения не хватает на это глядеть, хотя дело обыкновенно

кончалось тем, что она и сама начинала смеяться, — впрочем, гораздо сдержаннее сестры, — говоря, что это и вправду очень смешно и что невозможно глядеть на это без смеха.

Между тем давно пора было вспомнить пункт первый великой истины, преподанный нам древним философом, — насчет того, как достигается здоровье, богатство и мудрость; непогрешимость какового изречения многократно была доказана трубочистами и другими людьми, которые вставали рано, ложились вовремя и этим наживали огромные состояния. Итак, обе девицы поднялись с места и, простившись с мистером Чезлвитом очень нежно, со своим папашей очень почтительно, а с мистером Пинчем очень снисходительно, удалились к себе в келью. Мистер Пексниф непременно захотел сам проводить своего молодого друга наверх, чтобы лично убедиться, удобно ли ему там будет, и, взяв Мартина под руку, опять повел его в спальню, в сопровождении мистера Пинча, который нес свечу.

— Мистер Пинч, — сказал Пексниф, скрестив руки на груди и присаживаясь на одну из пустых кроватей. — Я не вижу щипцов на подсвечнике. Не сделаете ли вы мне одолжение сойти вниз и спросить там щипцы?

Мистер Пинч, радуясь тому, что может быть полезным, немедленно отправился за щипцами.

— Вы должны извинить Томаса Пинча, ему не хватает лоска. — сказал мистер Пексниф со снисходительной и сожалеющей улыбкой, как только мистер Пинч вышел из комнаты. — Зато намерения у него самые лучшие.

— Он очень хороший человек, сэр.

— О да, — сказал мистер Пексниф. — Да. Намерения у Томаса Пинча самые лучшие. Он помнит добро. Мне никогда еще не приходилось жалеть о том, что я дружески относился к Томасу Пинчу.

— Думаю, что и не придется, сэр.

— Да, — сказал мистер Пексниф. — Да. Надеюсь, что не придется. Бедняга, он всегда старается сделать все, что в его силах. Но ему не хватает способностей. Пользуйтесь его услугами, Мартин, сколько захотите. Он забывается иногда немножко — вот слабость Томаса Пинча. Но его легко поставить на место. Добрая душа! Вы увидите, что с ним нетрудно ладить. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, сэр.

Тут как раз подросел мистер Пинч со щипцами.

— Доброй ночи и вам тоже, мистер Пинч, — сказал Пексниф. — Спокойного сна вам обоим, друзья мои! Благослови вас бог! Благослови вас бог!

С большим жаром призвав это благословение на головы своих молодых друзей, мистер Пексниф удалился к себе в комнату; они же, чувствуя сильную усталость, скоро уснули. Если Мартин и видел что-либо во сне, то ключ к его сновидениям можно будет найти на следующих страницах этого повествования. А Томасу Пинчу снились все какие-то праздники, церковные органы и ангелоподобные Пекснифы. Прошло не менее двух часов, прежде чем Пексниф увидел что-либо во сне или хотя бы коснулся головой подушки, так как все это время он сидел у себя в комнате перед камином, глядя на уголья в глубокой задумчивости. Но в конце концов и он тоже уснул и видел сны. Так, в тихие ночные часы под одной и той же кровлей может гнездиться не меньше бессвязных и противоречивых бредней, чем в голове сумасшедшего.

Глава VI

содержит наряду с прочими важными сообщениями, касающимися мистера Пекснифа и архитектуры, подробное описание успехов мистера Пинча на пути к завоеванию дружбы и доверия нового ученика.

Было утро, и прекрасная Аврора, о которой столько писалось, говорилось и пелось, уже ущипнула розовыми перстами кончик носа мисс Пексниф. Шаловливая богиня усвоила себе обыкновение постоянно шутить таким образом с прелестной Черри; в переводе же на язык презренной прозы сие означает, что кончик носа у этой милой девушки за завтраком всегда бывал очень красен. Сказать по правде, в это время дня ее нос постоянно казался озябшим и блестел, как будто его начистили наждаком; сходное явление наблюдалось и в ее характере, который с утра отдавал чем-то кислым и неприятным, словно в нектар ее настроения, фигурально выражаясь, переложили лимону, чем несколько испортили вкус божественного напитка.

Этот избыток едкости в характере прелестной молодой особы обычно сказывался в том, что она еще обильнее разбавляла водой и без того жидкий чай мистера Пинча, сокращала его порцию масла до микроскопических размеров и прочее тому подобное. Но в это утро, после вступительного банкета, она позволила мистеру Пинчу хозяйничать среди яств и напитков совершенно свободно и беспрепятственно; и это до такой степени изумило и сконфузило мистера Пинча, что он, подобно дряхлому узнику, выпущенному на волю под конец жизни, не знал, как воспользоваться своей свободой, и впал в трепет и сомнение, нуждаясь в доброй душе, которая соскребала бы у него масло с хлеба, урезывала бы сахар до одного куска и вообще оказывала ему те маленькие знаки внимания, к которым он привык. Было, кроме того, нечто устрашающее в самообладании нового ученика, который постоянно „беспокоил“ мистера Пекснифа просьбой передать ему хлеб и весьма хладнокровно накладывал себе с тарелки грудинку, предназначенную единственно для мистера Пекснифа. По-видимому, он думал, что это в порядке вещей, и ждал, что мистер Пинч последует его примеру, так как время от времени обращался к этому молодому человеку с замечанием, что тот „ничего не ест“, — то есть с речами столь предосудительного характера, что мистер Пинч невольно опускал глаза, чувствуя себя злодеем и предателем, обманувшим доверие

мистера Пекснифа. В самом деле, одна уже эта попытка выслушивать перед всем семейством такие нескромные слова сама по себе составляла завтрак и могла вполне насытить мистера Пинча, хотя он никогда еще не бывал так голоден.

Однако девицы, да и сам мистер Пексниф, вопреки этим тяжким испытаниям, оставались в наилучшем расположении духа, хотя чувствовалось, что между ними существует какой-то таинственный сговор. Когда завтрак подходил к концу, мистер Пексниф, улыбаясь, объяснил причину их общего радостного настроения.

— Не часто бывает, дорогой Мартин, — сказал он, — чтобы мои дочери вместе со мной покидали мирный домашний очаг ради суетного вихря светских удовольствий. Но сегодня мы рассчитываем поступить именно так.

— Неужели, сэр! — воскликнул новый ученик.

— Да, — отвечал мистер Пексниф, постукивая по левой руке письмом, которое держал в правой. — У меня здесь приглашение явиться в Лондон — по делу, дорогой Мартин, по делу строго профессионального характера, — а я давно уже обещал дорогим моим девочкам, что, если только представится случай, они поедут вместе со мной. Мы отправимся нынче вечером в дилижансе, — подобно голубю в древности, дорогой мой Мартин, — и возвратимся с оливковой ветвью^[20] не ранее чем через неделю. Под оливковой ветвью, — объяснил мистер Пексниф, — я подразумеваю наш скромный багаж.

— Надеюсь, что барышням понравится в Лондоне. — сказал Мартин.

— О, еще бы не понравилось! — воскликнула Мерри, хлопая в ладоши. — Боже мой! Черри, милочка, ты только подумай — Лондон!

— Пылкое дитя! — произнес мистер Пексниф, мечтательно глядя на свою младшую дочь. — И все же есть какая-то меланхолическая прелесть в этих юных надеждах. Приятно знать, что они никогда не осуществляются. Помню, я и сам думал когда-то, в далекие дни моего детства, что маринованный лук растет на дереве и что все слоны так и рождаются с башенкой на спине. Впоследствии я узнал, что в действительности дело обстоит не так, далеко не так: однако эти мечты успокаивали меня в часы тяжелых жизненных испытаний. Даже когда мне пришлось сделать печальное открытие, что я пригрел на своей груди свинью во образе человека, — даже и в такой тягостный час они утешали меня.

При этом мрачном намеке на Джона Уэстлока мистер Пинч чуть не захлебнулся чаем, ибо не далее как нынче утром получил от него письмо, что было как нельзя лучше известно мистеру Пекснифу.

— Вы позаботитесь, дорогой Мартин, — продолжал мистер Пексниф, возвращаясь к прежней жизнерадостности, — чтобы дом не растащили в наше отсутствие. Мы поручаем его вам. Тут нет никаких секретов — все открыто и доступно. В противоположность тому молодому человеку из восточной сказки, которого называли, если не ошибаюсь, одноглазый календарь... не так ли, мистер Пинч?

— Одноглазый календер^[21], мне кажется, — пролепетал Том.

— Это почти одно и то же, я думаю, — сказал мистер Пексниф, снисходительно улыбаясь, — или так считалось в мое время. В противоположность этому молодому человеку, дорогой Мартин, мы вам не только не запрещаем заглядывать во все уголки дома, но даже просим вас быть везде хозяином. Веселитесь, дорогой мой Мартин, заколите упитанного тельца, если вам захочется!

Не имелось, разумеется, никаких возражений против того, чтобы Мартин заколот и употребил с пользой для себя какого угодно тельца, упитанного или тощего, ежели только он нашелся бы в доме; но ввиду того, что никаких тельцов не паслось в угодьях мистера Пекснифа, его предложение следовало считать скорее знаком простой любезности, чем существенным доказательством гостеприимства. Этим цветком красноречия и завершилась беседа; ибо, высказавшись в таком духе, мистер Пексниф поднялся с места и повел их в оранжерею архитектурных талантов, то есть в известное уже помещение на третьем этаже.

— Позвольте подумать, — произнес он, роясь в бумагах, — чем бы таким вам заняться, пока я буду в отсутствии. Что, если бы вы представили мне проект памятника лондонскому лорд-мэру, или надгробие для шерифа, или коровник в парке какого-нибудь вельможи? А знаете ли, — сказал мистер Пексниф, складывая руки на груди и глядя на своего молодого родственника задумчиво и с интересом, — мне бы очень хотелось видеть, как вы представляете себе коровник.

Однако Мартин отнюдь не пришел в восторг от такого предложения.

— Колодец, — продолжал мистер Пексниф, — тоже воспитывает строгий вкус. По моим наблюдениям, уличный фонарь возвышает душу и дает классическое направление уму. Изящный шлагбаум с орнаментом прекрасно действует на воображение. Не начать ли вам с изящного шлагбаума, что вы на это скажете?

— Если вам угодно, мистер Пексниф, — с сомнением отвечал Мартин.

— Погодите, — отвечал Пексниф. — Ну, вот что, вы честолюбивы и весьма искусно чертите, так попробуйте — ха-ха! — начертить план начальной школы, предусмотренный вот этим циркуляром; разумеется,

сообразно с изложенными здесь требованиями. Честное слово, — игриво продолжал мистер Пексниф, — мне будет очень любопытно посмотреть, что у вас получится из начальной школы. Как знать, может быть молодой человек с вашим вкусом и натолкнется на что-нибудь такое, само по себе неосуществимое и непрактичное, чему я мог бы впоследствии придать форму. Ибо поистине, дорогой мой Мартин, поистине только в последних, завершающих штрихах и сказывается большой опыт и изящный вкус. Ха-ха-ха! Нет, в самом деле, мне доставило бы удовольствие увидеть, — продолжал мистер Пексниф, окончательно развеселившись и хлопая своего юного друга по спине, — что такое у вас получится из начальной школы.

Мартин охотно согласился взять на себя эту работу, и мистер Пексниф немедленно вручил ему все материалы, потребные для ее выполнения, распространяясь тем временем насчет магического действия завершающих штрихов, сделанных рукою мастера; оно было, по мнению многих (все тех же старых его врагов!), и в самом деле весьма удивительно и отзывалось волшебством, ибо известны были случаи, когда какое-нибудь чердачное окошко, или кухонная дверь, или десяток ступеней, или даже водосточная труба, начертанная рукою мастера, превращали проект ученика в собственное произведение мистера Пекснифа и приносили ему значительное денежное вознаграждение. Но такова уж магическая сила гения, который превращает в золото все, к чему бы ни прикоснулся!

— Если вам захочется освежиться и переменить занятие, — сказал мистер Пексниф, — Томас Пинч будет вашим наставником в искусстве съемки, он поможет вам начертить план нашего огорода, определить уклон дороги между нашим домом и придорожным столбом или же найдет для вас еще какое-нибудь полезное и приятное занятие. Во дворе имеется десятка два старых цветочных горшков и около воза кирпичей. Если бы вы, мой дорогой Мартин, смогли возвести из них к моему возвращению некое подобие ну хотя бы собора святого Петра в Риме или мечети святой Софии в Константинополе^[22], то это было бы весьма полезно для вас и приятно для меня. А теперь, — сказал в заключение мистер Пексниф, — оставив на время официальные отношения и возвратившись к нашим частным делам, я буду рад побеседовать с вами у себя в комнате, пока укладываю саквояж.

Мартин последовал за ним, и более часу они беседовали с глазу на глаз, предоставив Тома Пинча самому себе. Выйдя от мистера Пекснифа, молодой человек сделался весьма молчалив и невесел и в этом настроении пребывал весь день; так что Том, попытавшись раза два завести с ним разговор на безразличную тему, почувствовал, что неловко ему навязываться и мешать его мыслям, и больше уже с ним не заговаривал.

Но даже если бы его новый друг был гораздо словоохотливее, едва ли у Тома нашлось бы время много разговаривать: сначала мистер Пексниф позвал его вниз для того, чтобы он стал на саквояж и в позе древней статуи постоял до тех пор, покуда саквояж не запрется; потом мисс Чарити позвала его, чтобы он увязал ей сундук; потом мисс Мерри послала за ним, чтобы он поскорей шел чинить ей чемодан; потом он засел писать самые подробные ярлыки для всего багажа и тут же вызвался снести все это вниз; а после этого взялся приглядеть, чтобы багаж благополучно доставили на двух тачках к остановке дилижанса в конце переулка, и постеречь его до тех пор, пока не появится дилижанс. Словом, за этот день Тому пришлось поработать не меньше любого грузчика; но, по своему беспредельному добродушию, он не считал свои услуги ни во что, и только под конец, усевшись на чемоданы и поджидая появления Пекснифа с дочерьми под охраной нового ученика, Том вздохнул с облегчением, надеясь, что угодил своему благодетелю.

— Я, признаться, боялся, — говорил себе Том, доставая из кармана письмо и утирая пот с лица, так как разгорячился от возни, хотя день был холодный, — что у меня не найдется времени написать ей, а это было бы и сказать нельзя как жалко, потому что посылать отсюда почтой — большой расход для небогатого человека. Она обрадуется, когда увидит мой почерк, бедняжка, и узнает, что Пексниф все такой же добрый. Я бы попросил Джона Уэстлока зайти навестить ее и рассказать про мое житье-бытье на словах, да побоялся, что он станет отзываться дурно о Пекснифе и встревожит ее. Кроме того, у нее там народ щепетильный, и визит такого молодого человека может поставить ее в неловкое положение. Бедная Руфь!

Тому Пинчу немножко взгрустнулось, на полминуты, не больше, но вскоре он утешился и продолжал размышлять далее:

— Хорош же я, нечего сказать (это Джон всегда говорил, что я хороший человек; добрая душа и весельчак, этот Джон; жаль только, что он недолюбливал Пекснифа), — вздумал унывать оттого, что мы с ней живем далеко друг от друга, вместо того чтобы радоваться тому, что мне повезло и я попал сюда. Я, наверно, в рубашке родился, что встретил Пекснифа. А тут еще и с новым учеником удача необыкновенная! Первый раз вижу такого приветливого, великодушного, искреннего человека! Мы с ним как-то сразу подружились, а ведь он родственник Пекснифу; умный, способный юноша, которому все дается без труда. Вот и он, легок на помине, — идет себе по переулку с таким видом, будто и переулок его собственный.

В самом деле, новый ученик, нисколько не смущаясь честью вести под ручку мисс Мерри Пексниф и выслушивать ее прощальные любезности,

появился на тропинке в сопровождении мисс Чарити и ее папаши. В ту же минуту показался дилижанс, и Том, не теряя времени, попросил мистера Пекснифа передать письмо.

— Ага! — сказал мистер Пексниф, взглянув на адрес. — Вашей сестре, Томас. Да, о да, письмо будет передано, мистер Пинч. Можете быть спокойны. Она непременно получит его, мистер Пинч.

Он дал это обещание с таким снисходительным и покровительственным видом, что Том Пинч почувствовал, о каком большом одолжении он просит (до сих пор это ему не приходило в голову), и стал усиленно благодарить мистера Пекснифа. Обе мисс Пексниф, как всегда, покатались со смеху уже при одном упоминании о мисс Пинч. — Ужас какой! Подумать только — мисс Пинч! Господи ты мой боже!

Том был очень доволен, видя их веселье, так как счел его признаком доброжелательности и сердечного расположения. Поэтому он тоже засмеялся, потирая руки, и очень оживленно пожелал им приятно путешествовать и благополучно возвратиться. Даже после того как дилижанс с оливковыми ветвями снаружи и голубями внутри тронулся, Том все еще стоял на месте, махая рукой и раскланиваясь; он был настолько польщен необычайной любезностью девиц, что совсем позабыл про Мартина Чезлвита, который стоял в задумчивости, прислонившись к столбу и не поднимая глаз, с тех самых пор как усадил обеих мисс Пексниф в карету.

Полная тишина, наступившая вслед за суматохой и отъездом дилижанса, и морозный воздух зимнего дня привели их в чувство. Они повернулись и, точно сговорившись, зашагали прочь рука об руку.

— Какой вы невеселый! — сказал Том. — Что с вами случилось?

— Ничего такого, о чем стоило бы разговаривать, — отвечал Мартин. — Немногим больше того, что было вчера, и, надеюсь, гораздо больше, чем будет завтра. Я просто не в духе, Пинч.

— Ну что вы! — воскликнул Том. — А я, знаете ли, к отличном настроении и как нельзя больше расположен беседовать! Не правда ли, очень мило со — стороны вашего предшественника, Джона, что он написал мне?

— Да, конечно, — небрежно ответил Мартин. — Он, должно быть, так веселится, что и времени не видит, — где уж ему помнить о вас!

— Именно так я и сам думал, — возразил Том, — однако нет, он сдержал свое слово и пишет: „Милый Пинч, я часто вас вспоминаю“, ну и так далее, очень внимательно и деликатно, все в том же роде.

— Он, должно быть, и в самом деле добродушный малый, — заметил

Мартин довольно ворчливо, — потому что вряд ли он это думает, знаете ли.

— Так он этого не думает, по-вашему, а? — спросил Том, пристально глядя в лицо своему спутнику. — Вы считаете, он только так говорит, мне в утешение?

— Неужели же возможно, — возразил Мартин более серьезным тоном, — чтобы молодой человек, только что вырвавшись из этой собачьей конуры и получив доступ ко всем лондонским удовольствиям, нашел время или желание вспоминать добром о ком-нибудь или о чем-нибудь, что осталось тут? Скажите сами, Пинч, может ли это быть?

После краткого раздумья мистер Пинч ответил гораздо более пониженным тоном, что, пожалуй, неразумно было бы на это надеяться и что, конечно, Мартину лучше знать.

— Разумеется, мне лучше знать, — заметил Мартин.

— Да, я и сам это чувствую, — мягко сказал мистер Пинч. — Я так и говорю. — После этого краткого ответа наступило полное молчание, которое больше ничем не прерывалось. Они добрались до дома уже в темноте.

Надо сказать, что мисс Чарити Пексниф, находя неудобным забрать с собой в дилижанс объедки вчерашнего пиршества и считая невозможным сохранить их в неиспорченном виде до возвращения всего семейства, собрала все это на две тарелки и оставила на столе. Ввиду такой щедрости молодые люди имели удовольствие найти в гостиной две беспорядочные груды остатков вчерашнего банкета, состоявшие из подсохших ломтиков апельсина, черствых сандвичей, хаотических масс окаменелого пирога и двух-трех уцелевших морских сухарей. А для того чтобы было чем запивать все эти деликатесы, остатки вина из двух бутылок были слиты в одну и заткнуты папильоткой, так что под руками имелось решительно все необходимое для того, чтобы предаваться разгулу целую ночь напролет.

Мартин Чезлвит оглядел остатки пиршества с бесконечным презрением и хорошенько помешав угли в камине, чтобы огонь разгорелся вовсю (нисколько не церемонясь с углем мистера Пекснифа), угрюмо уселся в самое мягкое кресло, какое только нашлось. Стараясь поудобнее втиснуться в тот маленький уголок, который ему оставался, мистер Пинч уселся на скамеечку мисс Мерри и, поставив стакан на коврик перед камином, а тарелку к себе на колени, принялся пировать.

Если бы Диоген воскрес и вкатился со своей бочкой в гостиную мистера Пекснифа, то, увидев мистера Пинча на скамеечке мисс Пексниф, со стаканом и тарелкою на коленях, он бы не выдержал, как бы угрюмо ни был настроен, и улыбнулся бы самой добродушной улыбкой. Совершенное

и полное удовольствие Тома; его особенное одобрение черствым сандвичам, которые рассыпались у него во рту, словно опилки; неопишное наслаждение, с которым он цедил кислое вино, облизывая губы, словно считал грехом упустить хотя бы каплю такого превосходного и благоуханного напитка; тот счастливый вид, с которым он медлил иногда, держа стакан в руке и, вероятно, произнося про себя какой-нибудь тост, и тревожная тень, омрачавшая его довольное лицо всякий раз, как, оглядев комнату и радуясь возможности без помехи наслаждаться уютом, он замечал хмурую физиономию своего товарища, — да ни один циник на свете, будь он сущей ехидной по своему человеконенавистничеству, не мог бы устоять перед добродушием Томаса Пинча.

Немало нашлось бы людей, которые похлопали бы его по спине и выпили бы за его здоровье бокал смородинового вина, хотя это был чистейший уксус, — выпили бы, да еще с каким удовольствием! Другие пожали бы его честную руку и поблагодарили бы за урок, который дала им эта простая душа. Третьи посмеялись бы с ним вместе, а четвертые посмеялись бы над ним; к этому последнему разряду принадлежал и Мартин Чезлвит, который был не в силах удержаться и громко расхохотался.

— Вот это правильно, — сказал Том, одобрително кивая. — Развеселитесь! Это лучше всего!

При таком поощрении Мартин опять рассмеялся, а потом, успокоившись, заметил:

— Первый раз вижу такого чудака, как вы, Пинч.

— Первый раз видите? — сказал Том. — Что ж, очень может быть, что я вам кажусь чудаком, ведь я почти не знаю жизни, а вы ее хорошо знаете, я думаю.

— Неплохо для моих лет, — отвечал Мартин, придвигая кресло еще ближе к огню и ставя обе ноги на каминную решетку. — Черт возьми, мне надо поговорить с кем-нибудь откровенно. Я поговорю откровенно с вами, Пинч.

— Пожалуйста! — сказал Том. — Я сочту это знаком дружеского расположения с вашей стороны.

— Я вам не мешаю? — спросил Мартин, глядя сверху вниз на мистера Пинча, который смотрел на огонь из-за его колена.

— Ничуть! — воскликнул Том.

— Надо вам знать прежде всего, — начал Мартин с некоторым усилием, как будто эта исповедь была ему не совсем приятна, — что меня воспитывали с ранних лет в надежде на большое наследство и приучили

думать, что со временем я буду очень богат. Так оно и было бы, если б не вмешались некоторые причины и обстоятельства, о которых я и собираюсь вам рассказать. Они-то и привели к тому, что меня лишили наследства.

— Ваш отец лишил вас наследства? — спросил мистер Пинч, широко раскрыв глаза.

— Мой дедушка. Родителей у меня давно уже нет, я их едва помню.

— И у меня тоже их нет, — сказал Том, робко дотронувшись до руки молодого человека. — Боже мой!

— Ну, что до этого, то, знаете ли, Пинч, — по свойственной ему манере отрывисто и резко продолжал Мартин, опять мешая в камине, — очень хорошо и похвально любить родителей, если они живы, и не забывать их, если они умерли, когда вы их хоть сколько-нибудь знали. А я своих родителей почти не видел: нечего и ждать от меня особенной чувствительности. Да ее и нет; что правда, то правда.

Мистер Пинч как раз в это время задумчиво смотрел на решетку в камине. Но как только его собеседник умолк, он вздрогнул и сказал:

— О да, разумеется! — и снова притих, готовясь слушать дальше.

— Одним словом, — продолжал Мартин, — всю жизнь меня воспитывал и содержал вот этот самый дедушка, о котором я только что говорил. Ну, у него есть свои хорошие черты, нечего отрицать, я этого от вас и не скрываю, зато у него имеются два крупных недостатка, и в них-то вся беда. Во-первых, это такой упрямец, какого на свете не сыщешь. Во-вторых, он самый отвратительный эгоист.

— Да неужели? — воскликнул Том.

— Эгоизм и упрямство этого человека, — отвечал Мартин, — просто переходят все границы. Я не раз слышал, что наша семья искони отличалась этими недостатками, и думаю, что в этом есть доля правды. Сам я этого знать не могу. Я только могу благодарить бога за то, что эти качества не перешли ко мне, и приложу все старания, чтобы не заразиться ими.

— Да, конечно, — сказал мистер Пинч. — Так и следует.

— Вот видите ли, — заключил Мартин, снова помешав угли в камине и придвинувшись к огню еще ближе, — как эгоист — он очень требователен к людям, а как упрямец — очень настойчив в своих требованиях. Он и от меня всегда требовал очень многого в смысле почтительности и покорности и даже самоотвержения, когда речь шла о его желаниях, ну и так далее. Я со многим мирился, потому что многим ему обязан (если можно говорить об обязательствах перед родным дедушкой) и потому что я его, как-никак, любил; однако мы все-таки довольно часто ссорились: я, видите ли, не всегда мог угодить на него, приспособиться к

его нраву, — то есть не ради себя самого, вы же понимаете... — Тут он запнулся, не зная, как продолжать.

Мистер Пинч, который меньше всего был способен вывести другого из затруднения, не нашелся что ответить.

— Ну, вы меня понимаете, — быстро закончил Мартин, — мне нечего так уж гоняться за нужным словом. Теперь я расскажу вам самую суть, а также по какому именно случаю я очутился здесь. Я влюблен, Пинч.

Мистер Пинч воззрился на него с усиленным интересом.

— Говорю вам, я влюблен. Я влюблен в самую красивую девушку, какая только живет под солнцем. Но она в полной зависимости от моего дедушки; и если только он узнает, что она платит мне взаимностью, она останется без крова и лишится всего, что имеет. Надеюсь, в такой любви нет никакого особенного эгоизма?

— Эгоизма! — воскликнул Том. — Вы вели себя благородно. Любить ее, как вы, я думаю, любите, и, оберегая ее, даже не открыться...

— Что вы там толкуете, Пинч? — прервал его Мартин с раздражением. — Не смешите меня, мой милый. То есть как это не открыться?

— Простите меня, — ответил Том. — Я думал, что вы подразумеваете именно это, а иначе не стали бы говорить.

— Если б я не сказал ей о своей любви, какой был бы смысл влюбляться? — сказал Мартин. — Разве только для того, чтобы тосковать и мучиться?

— Это верно, — заметил Том. — Ну что ж, я догадываюсь, что она вам ответила, — прибавил он, глядя на красивое лицо Мартина.

— Ну, не совсем так, Пинч, — отвечал тот, слегка нахмурившись, — у нее там какие-то девические предрассудки насчет долга и благодарности и прочего тому подобного, что довольно трудно понять; но в основном вы правы: я узнал, что ее сердце принадлежит мне.

— Как раз то, что я предполагал, — сказал Том. — Вполне естественно! — И, очень довольный, он отпил большой глоток из стакана.

— Хотя я держал себя с самого начала крайне осторожно, — продолжал Мартин, — однако мне не удалось повести дело так, чтобы дедушка, очень ревнивый и недоверчивый, не догадался, что я ее люблю. Ей он ничего не сказал, а прямо напал на меня и в беседе с глазу на глаз обвинил меня в том, что я намеренно искушаю верность преданного ему существа (видите, какой эгоист!) — девушки, которую он учил и воспитывал, чтобы она стала ему бескорыстным и верным другом, после того как он меня женит по своему усмотрению. Тут я не вытерпел и сказал,

что как ему будет угодно, но я могу жениться и сам и не желаю, чтобы он или кто-нибудь другой продавал меня с аукциона неизвестно кому.

Мистер Пинч раскрыл глаза еще шире и стал глядеть в огонь еще пристальнее прежнего.

— Можете себе представить, — продолжал Мартин, — он на это обиделся и начал говорить мне далеко не лестные вещи. И пошла беседа за беседой, слово за словом, как это всегда бывает; а клонилось все это к тому, чтобы я от нее отказался, а не то он от меня откажется. А надо вам знать, Пинч, что я не только страстно влюблен в нее (она хотя и не богата, но так красива и умна, что сделает честь кому угодно, какие бы ни были претензии у ее будущего мужа); мало того, главной чертой моего характера является...

— Упрямство, — предположил Том в простоте душевной. Но это предположение было встречено гораздо хуже, чем он ожидал, ибо молодой человек немедленно возразил с некоторой запальчивостью:

— Какой вы чудак, Пинч!

— Прошу извинения, — сказал Том, — я думал, вы ищете нужное слово.

— Это совсем не то слово, — ответил Мартин. — Ведь я же вам говорил, что у меня в характере нет упрямства, не так ли? Я хотел сказать, если бы вы меня не прервали, что главная черта моего характера — это твердость.

— О! — воскликнул Том, поджимая губы и кивая головой. — Да, да, я понимаю.

— И так как я тверд, — продолжал Мартин, — то, разумеется, я не собирался подчиниться ему или уступить хотя бы тысячную долю вершка.

— Да, да, — сказал Том.

— Наоборот, чем больше он настаивал, тем больше я сопротивлялся.

— Разумеется! — сказал Том.

— Ну вот, — заключил Мартин, откинувшись на спинку кресла и беззаботно махнув обеими руками, как будто с этим предметом было совсем покончено и разговаривать о нем больше не стоило, — тем дело и кончилось, вот я и очутился здесь!

Несколько минут мистер Пинч сидел, уставясь на огонь с озадаченным видом, как будто ему предложили труднейшую головоломку, которую он не в силах был разгадать. Наконец он сказал:

— Пекснифа вы, конечно, знали и раньше?

— Только по имени. Видеть его я никогда не видел, потому что дедушка не только сам держался поодаль от родственников, но и меня не

пускал к ним. Мы расстались в одном городе соседнего графства. Оттуда я поехал в Солсбери, увидел там объявление Пекснифа и написал ему, так как у меня есть, кажется, врожденная склонность к занятиям подобного рода и я подумал, что это мне подойдет. Как только я узнал, что объявление дал Пексниф, мне вдвое больше захотелось поехать именно к нему, из-за того, что...

— Что он такой прекрасный человек, — подхватил Том, потирая руки. — Так оно и есть. Вы были совершенно правы.

— Нет, не столько из-за этого, говоря по правде. — возразил Мартин, — сколько потому, что дедушка терпеть его не может; а после того как старик обошелся со мной так круто, мне, естественно, захотелось насолить ему побольше. Ну вот я и очутился здесь, как уже говорил вам. Моя помолвка с той девушкой, о которой я рассказывал, вероятно затянется надолго: виды на будущее у нас с ней не блестящие, а я, конечно, и не подумаю жениться, пока у меня не будет средств. Для меня, видите ли, совсем неподходящее дело обречь себя на убожество и нищету. Любовь в одной комнате, на четвертом этаже и тому подобное...

— Не говоря уже о ней, — тихим голосом заметил Том Пинч.

— Совершенно верно, — ответил Мартин, вставая, чтобы погреть спину, и прислоняясь к каминной доске. — Не говоря уже о ней. Хотя, разумеется, ей не так уж трудно подчиниться необходимости в данном случае: во-первых, она меня очень любит; а во-вторых, я тоже многим пожертвовал ради нее, мне могло бы и больше повезти, знаете ли.

Прошло очень много времени, прежде чем Том сказал: „Да, конечно“, — так много времени, что он мог бы вздремнуть в промежутке, но все же в конце концов он это сказал.

— Так вот, есть еще одно странное совпадение, которое связано с историей моей любви, — сказал Мартин, — и которым эта история заканчивается. Помните, вы мне рассказывали вчера вечером по дороге сюда про вашу хорошенькую незнакомку в церкви?

— Конечно, помню, — сказал Том, вставая со скамеечки и садясь в кресло, с которого только что поднялся Мартин, чтобы лучше видеть его лицо. — Разумеется.

— Это была она.

— Я так и знал, что вы это скажете! — ответил Том очень тихим голосом, пристально глядя на Мартина. — Неужели?

— Это была она, — повторил молодой человек. — После того, что я слышал от Пекснифа, у меня не осталось никаких сомнений, что это она приезжала и уехала вместе с моим дедушкой. Не пейте так много этого

кислого вина, не то как бы вам не сделалось плохо, Пинч.

— Да, пожалуй, это вредно, — сказал Том, ставя на пол пустой стакан, который он долго держал в руках. — Так, значит, это была она?

Мартин утвердительно кивнул головой и, прибавив сердито и недовольно, что, будь это на несколько дней раньше, он бы ее увидел, а теперь она, может быть, за сотни миль от него, прошелся несколько раз по комнате, бросился в кресло и надулся, как избалованный ребенок.

Сердце у Тома Пинча было очень нежное, и он не мог смотреть равнодушно на чужое горе, а тем более на горе человека, к которому он чувствовал симпатию и который был к нему дружески расположен (в действительности или по предположению Тома) и желал ему добра. Каковы бы ни были его мысли несколько минут тому назад, — а судя по его лицу, они были совсем невеселы, — он постарался от них отделаться и преподал своему молодому другу наилучшие советы и утешения, какие только пришли ему в голову.

— Все уладится со временем, — говорил Том, — я не сомневаюсь, и после нынешних испытаний и несчастий вы еще сильнее привяжетесь друг к другу, когда настанут лучшие дни. Я читал, что так всегда бывает, да и чувство говорит мне, что это естественно и справедливо, и так оно и должно быть. Что долго не ладилось, — продолжал Том с улыбкой, которая, невзирая на его некрасивое лицо, была гораздо приятнее улыбки многих надменных красавиц, — что долго не ладилось, вряд ли может измениться так сразу, по нашему желанию; надо принимать жизнь как она есть и переделывать ее понемножку, вооружась терпением и бодростью. Я бессилен что-либо сделать, вы это хорошо знаете, зато намерения у меня самые лучшие, и если бы я мог быть полезен вам хоть чем-нибудь, как бы я был этому рад!

— Спасибо вам, — сказал Мартин, пожимая ему руку. — Вы хороший человек, клянусь честью; спасибо вам на добром слове. Разумеется, — прибавил он после минутной паузы, снова придвигая свой стул к огню, — я бы не постеснялся воспользоваться вашими услугами, если бы вы могли мне помочь. Но только, господи помилуй! — тут он сердито взъерошил волосы и посмотрел на Тома так, словно жалел, что это он, а не кто-нибудь другой, — помощи от вас не больше, чем от этой вилки или сковородки.

— Не считая желания помочь, — кротко заметил Том.

— О да, конечно. Я это и хотел сказать. Если бы желание что-нибудь значило, я бы не нуждался в помощниках. Хотя вот что вы можете сделать, если вам угодно, — и даже сейчас.

— Что именно? — спросил Том.

— Почитайте мне.

— Буду очень рад! — воскликнул Том, в восторге схватив подсвечник. — Извините, я оставлю вас на минутку в темноте, только сбегая за книгой. Что бы вы хотели? Шекспира?

— Ну что ж, — отвечал его друг, зевая и потягиваясь. — И Шекспир годится. Я сегодня устал от новых впечатлений и всей этой сутолоки; а в таких случаях, я думаю, нет удовольствия лучше, как заснуть, слушая чтение. Вы ведь не обидитесь, если я усну?

— Нисколько! — воскликнул Том.

— Тогда начинайте поскорей. И не переставайте читать, если вам покажется, что я задремал (разве только устанете сами); это так приятно — то засыпать, то просыпаться, и опять слышать все те же звуки. Вам не приходилось это испытывать?

— Нет, никогда, — ответил Том.

— Ну что ж, можно попробовать как-нибудь на днях, когда мы оба будем в подходящем настроении. Ничего, оставьте меня в темноте. Только поскорее!

Мистер Пинч побежал, не теряя времени, и минуты через две возвратился с одним из драгоценных томиков, взяв его с полки над кроватью. Мартин тем временем устроился настолько удобно, насколько позволяли обстоятельства; соорудив перед огнем диван из трех стульев, он подложил скамеечку мисс Мерри вместо подушки и улегся, растянувшись во весь рост.

— Только, пожалуйста, не очень громко, — сказал он Пинчу.

— Нет, нет, — отвечал Том.

— А вам не холодно?

— Нисколько! — воскликнул Том.

— Ну, тогда я готов.

Мистер Пинч, перелистав книгу так бережно, как будто это было живое и горячо любимое существо, выбрал пьесу и начал читать. Не успел он прочесть и пятидесяти строк, как его друг уже захрапел.

— Бедняга! — тихо сказал Том, вытягивая шею, чтобы взглянуть на него через спинки стульев. — Он так еще молод, а у него столько горя. И с какой благородной доверчивостью он все рассказал мне. Неужели это была она?

И вдруг, вспомнив про их уговор, он снова принялся читать с того места, где остановился, и читал долго, совсем позабыв, что надо снимать нагар со свечи, так что фитиль стал похож на гриб. Он до того увлекся, что забыл подбрасывать уголь в камин, и вспомнил о своем упущении только

тогда, когда Мартин Чезлвит часа через два проснулся и закричал, вздрагивая от холода:

— Боже мой, огонь совсем потух! То-то мне и снилось, что я замерзаю. Велите принести еще угля. Ну и чудак же вы, Пинч!

Глава VII,

в которой мистер Чиви Слайм провозглашает свою независимость, а „Синий Дракон“ остается без правой руки.

На следующее утро Мартин начал работать над проектом начальной школы с такой быстротой и усердием, что у мистера Пинча появились новые основания восхвалять природную даровитость этого молодого джентельмена и признавать его неизмеримое превосходство над собой. Новый ученик принимал комплименты Тома весьма благосклонно и, уже научившись за эти дни искренне уважать его — правда, на свой лад, — предсказывал, что они навсегда останутся самыми лучшими друзьями и что ни у одного из них (а тем более у Тома) не будет — он уверен — причины жалеть о том дне, когда они познакомились. Мистер Пинч был в восторге от его речей и чувствовал себя до такой степени польщенным этими сердечными уверениями в дружбе и покровительстве, что не находил слов для выражения своей радости. И в самом деле, насчет этой дружбы, какова бы она ни была, следует заметить, что она заключала в себе больше оснований для долговечности, чем иные многообещающие и скрепленные клятвой союзы, ибо до тех пор, пока одной стороне доставляло удовольствие оказывать покровительство, а другой — принимать его (в чем и заключалась сущность их характеров), не было никакого вероятия, чтобы фурии близнецы — Зависть и Гордость — стали между ними. Так, во многих случаях Дружба, или то, что слывет ею, держится скорее на контрасте характеров, чем на сходстве, опровергая старую истину.

Итак, на следующий день после отъезда семейства Пексниф оба они с головой ушли в работу. Мартин был занят своей начальной школой, а Томас — подсчетом сумм, полученных с арендаторов, и комиссионных, причитавшихся мистеру Пекснифу, причем в этом глубокомысленном занятии ему сильно мешала привычка его нового друга громко насвистывать во время работы, как вдруг их потревожило неожиданное вторжение человеческой головы в это святилище таланта, головы, порядком взлохмаченной и не внушавшей особенного доверия, но тем не менее посылавшей им с порога любезные улыбки, в одно и то же время игривые, заискивающие и одобрительные.

— Сам я не отличаюсь трудолюбием, джентльмены, — произнесла голова, — зато умею ценить это качество в других. Пускай я поседею и

подурнею, если оно не является одним из наиболее привлекательных свойств человеческой натуры, равно как и талант. Клянусь честью, я от души благодарен моему другу Пекснифу за то, что он дал мне возможность полюбоваться очаровательной картиной, какую представляете вы оба. Вы напомнили мне Виттингтона, впоследствии трижды лорд-мэра города Лондона^[23]. Даю вам самое честное слово, вы очень напоминаете мне эту историческую личность. Вы оба Виттингтоны, господа, только без кошки, что мне кажется весьма приятным и счастливым исключением из правила, ибо я вовсе не поклонник кошачьей породы. Моя фамилия Тигг; как ваше здоровье?

Мартин посмотрел на мистера Пинча, ища объяснения, а Том, который впервые в жизни видел мистера Тигга, посмотрел на этого джентльмена.

— Чиви Слайм? — вопросительно произнес мистер Тигг, целуя свою левую руку в знак дружеской приязни. — Поймете ли вы меня, если я сообщу вам, что я доверенное лицо Чиви Слайма, так сказать посланник его двора? Ха-ха!

— Как! — вырвалось у Мартина при упоминании знакомой ему фамилии. — А что ему от меня нужно?

— Если ваша фамилия Пинч... — начал мистер Тигг.

— Нет, это не моя фамилия, — сухо отозвался Мартин. — Вот мистер Пинч.

— Если это мистер Пинч, — воскликнул мистер Тигг, снова целуя свою руку и продвигаясь в комнату вслед за своей головой; то он позволит мне высказать, как я почитаю и уважаю его благороднейшие свойства, о которых я слышал столько похвального от моего друга Пекснифа, и как ценю его музыкальный талант, хотя сам я не бренчу, если позволительно употребить такое выражение. Если это мистер Пинч, я осмелюсь выразить надежду, что вижу его в добром здоровье и что он не страдает от восточного ветра?

— Благодарю вас. — ответил Том. — Я совершенно здоров.

— Рад это слышать, — возразил мистер Тигг. — В таком случае, — прибавил он, приставляя ладонь к губам и наклонившись к уху мистера Пинча, — я пришел за письмом.

— За письмом? — повторил Том вслух. — За каким письмом?

— За письмом, — прошептал Тигг с той же осторожностью, что и раньше, — которое мой друг Пексниф адресовал эсквайру Чиви Слайму и оставил у вас.

— Он не оставлял мне никакого письма, — сказал Том.

— Т-с-с! — прервал его тот. — Неважно, хотя я и ожидал от моего

друга Пекснифа большей деликатности; в таком случае я пришел за деньгами.

— За деньгами! — воскликнул Том в перепуге.

— Вот именно. — ответил мистер Тигг. И с этими словами он потрепал Тома по плечу и кивнул раза два или три головой, как бы желая сказать, что они понимают друг друга, что нет никакой надобности посвящать во все это третье лицо и что он сочтет за особое одолжение со стороны Тома, если тот без разговоров сунет деньги ему в руку.

Мистер Пинч, однако, был сильно озадачен этим необъяснимым, на его взгляд, поведением и сразу же объявил во всеуслышание, что тут, должно быть, вышла какая-то ошибка и что ему не поручали ровно ничего имеющего отношение к мистеру Тиггу или его приятелю. Мистер Тигг выслушал это заявление и попросил весьма решительно, не будет ли мистер Пинч так любезен повторить свои слова; и по мере того как Том повторял их фраза за фразой, со всей возможной ясностью и вразумительностью, мистер Тигг торжественно внимал ему, кивая головой после каждой точки. Когда же Том и вторично закончил свои объяснения, мистер Тигг уселся в кресло и обратился к молодым людям со следующей речью:

— Тогда я скажу вам, в чем дело, джентльмены. Здесь, в этом самом поселке, сейчас пребывает истинное созвездие ума и таланта; и вот, по преступной небрежности моего друга Пекснифа — иначе этого не назовешь, — мистер Слайм доведен до такого ужасного положения, какое только мыслимо в девятнадцатом веке и в современном обществе. В эту самую минуту, здесь, в „Синем Драконе“, — заметьте, в трактире, в самом обыкновенном, жалком, низкопробном, насквозь прокуренном трактире для грубой деревенщины, — находится человек, с которым, говоря языком поэта, „сравнения не выдержит никто“ и которого не выпускают из этого заведения за неплатеж по счету. Ха-ха! За неплатеж по счету! Я повторяю: за неплатеж по счету! Слыхали мы, конечно, и про „Жития мучеников“ Фокса^[24], и про Звездную Палату, и про Долговой Суд^[25], но чтобы моего друга Чини Слайма держали заложником из-за какого-то счета, это уж положительно неслыханное дело, и тут я берусь спорить с кем угодно, будь он живой или мертвый.

Мартин и мистер Пинч посмотрели сперва друг на друга, а потом на мистера Тигга, который, скрестив руки на груди, взирал на них и скорбно и укоризненно.

— Не поймите меня превратно, джентльмены, — сказал он, простирая вперед правую руку. — Если б это вышло из-за чего-нибудь другого, а не

из-за счета, я бы еще стерпел и все же не утратил бы уважения к человечеству, но если такого человека, как мой друг Слайм, задерживают из-за счета, который сам по себе ничто и пишется мелом на грифельной доске или даже просто на дверях, — тогда я чувствую, что где-то соскочила такой величины гайка, что расшатались самые основы общества и нельзя более полагаться даже на первопричину всех причин. Короче говоря, джентльмены, — произнес мистер Тигг, сопровождая свои слова красноречивым жестом и встряхивая головой, — если такого человека, как Слайм, задерживают из-за такой мелочи, как грошовый счет, — я отвергаю суеверия веков и ни во что более не верю. Не верю даже в то, что я ни во что не верю, будь я трижды проклят!

— Мне очень жаль, разумеется, — сказал Том после некоторого молчания. — но мистер Пексниф ничего мне не говорил, а без его приказа я бессилён что-либо сделать. Не лучше ли было бы, сэр, если бы вы сами пошли туда... откуда вы пришли... и лично одолжили бы деньги вашему другу?

— Как же это возможно, когда меня и самого задержали по той же причине? — спросил мистер Тигг. — Тем более что из-за возмутительной и, я должен прибавить, преступной небрежности моего друга Пекснифа у меня нет даже денег на дорогу.

Том хотел было напомнить этому джентльмену (который в своем волнении, вероятно, позабыл все на свете), что здесь имеется почтовая контора и если б он написал кому-нибудь из своих друзей или доверенных лиц, чтобы ему выслали денег, то письмо, может быть, и не затерялось бы в дороге; во всяком случае, как ни велика эта опасность, очень и очень стоило бы рискнуть. Однако врожденный такт заставил его воздержаться от намека, и, опять помолчав некоторое время, он спросил:

— Вы говорите, сэр, что вас также задержали?

— Подите сюда, — сказал мистер Тигг, вставая. — Вы ничего не будете иметь против, если я открою на минутку это окно?

— Разумеется, нет, — ответил Том.

— Отлично, — сказал мистер Тигг, поднимая раму. — Видите вы там внизу человека в красном шейном платке и без жилета?

— Конечно, вижу, — воскликнул Том. — Это Марк Тэпли.

— Вот как, Марк Тэпли? — сказал мистер Тигг. — Этот ваш Марк Тэпли был так любезен, что не только проводил меня сюда, но еще и дожидается, чтобы проводить меня обратно. И совершенно напрасно он так любезен, — прибавил мистер Тигг, расправляя усы, — скажу вам, сэр, что лучше было бы для Марка Тэпли еще во младенчестве захлебнуться

материнским молоком, чем дожить до сего дня.

Хотя мистера Пинча и устрасила эта ужасная угроза, однако у него все же хватило духу крикнуть Марку Тэпли, чтобы он вошел в дом и поднялся наверх, и тот повиновался оклику с такой быстротой, что не успели Том и мистер Тигг убрать свои головы из окна и снова закрыть его, как обвиняемый уже предстал перед ними.

— Скажите, Марк! — обратился к нему мистер Пинч. — Боже мой, что такое могло произойти между миссис Льюпин и этим джентльменом?

— Каким джентльменом, сэр? — сказал Марк. — Я здесь не вижу никакого джентльмена, сэр, кроме вас и вновь прибывшего джентльмена, — и он довольно неуклюже поклонился Мартину, — а ведь, насколько мне известно, ничего особенного не произошло между вами обоими и миссис Льюпин.

— Какие пустяки, Марк! — воскликнул Том. — Вы же видите мистера...

— Тигга, — вставил этот джентльмен. — Погодите. Я еще его уничтожу. Всему свое время.

— Ах, этого! — возразил Марк с презрительным задором. — Ну да, его-то я вижу. И видел бы еще лучше, если б он побрился и постригся.

Мистер Тигг свирепо затряс головой и ударил себя кулаком в грудь.

— Нечего, нечего тут, — сказал Марк. — Сколько ни стучите, все равно толку не будет. Меня вы не проведете. Ничего у вас там нет, кроме ваты, да и та грязная.

— Ну, Марк, — вмешался мистер Пинч, предупреждая открытие военных действий, — ответьте же на мой вопрос. Или вы сейчас не в духе?

— Да нет, сэр, с чего же мне быть не в духе? — ответил Марк, ухмыляясь. — Не так-то легко быть веселым, когда по свету разгуливают такие вот молодчики, аки львы рыкающие, если только бывает такая порода — один рев да грива. Что может быть между ним и миссис Льюпин? Что же другое, кроме счета! И я еще думаю, что миссис Льюпин зря им мирволит, надо бы с них брать втридорога за то, что они срамят „Дракон“. По-моему, выходит так. У себя в доме я бы такого мошенника и держать не стал, даже за бешеную цену, какую дерут на ярмарках. От одного его вида может скиснуть пиво в бочках! Да и скисло бы, кабы могло понимать!

— А ведь вы так и не ответили на мой вопрос, Марк, — заметил мистер Пинч.

— Да что ж, сэр, — сказал Марк, — тут особенно и отвечать нечего. Приезжают они с приятелем, останавливаются в „Луне и Звездах“, живут и по счету не платят, потом переезжают к нам, живут и тоже не платят. Что не

платят, это дело обыкновенное, мистер Пинч, мы не против этого, — а не нравится нам, как он себя держит, этот молодчик. Все ему не так, все никуда не годится, все женщины, видите ли, по нем с ума сходят, — только подмигнет, они уже на седьмом небе; все мужчины для того только и созданы, чтобы быть у него на посылках. Это еще с полбеда, а нынче утром он мне говорит, как обыкновенно, медовым голосом: „Мы вечером уезжаем, любезный“. — „Уезжаете, сударь? — говорю. — Не прикажете ли приготовить вам счет?“ — „Нет, любезный, говорит, не трудитесь. Я велю Пекснифу, чтоб он об этом позаботился“. На это „Дракон“ ему отвечает: „Очень вам благодарны, сударь, за такую честь, но только как мы ничего хорошего от вас не видали, а багажа с вами нет (мистер Пексниф уехал, вам это, сударь, может, еще неизвестно?), то мы предпочли бы что-нибудь более существенное“. Вот как обстоит дело. И я сошлюсь на любую даму или джентльмена, не лишенных простого здравого смысла, — заключил мистер Тэпли, указывая шляпой на мистера Тигга, — ну, не противно ли посмотреть на этого молодчика?

— Позвольте спросить, — прервал Мартин эту откровенную речь и предупреждая ответные проклятия мистера Тигга, — как велик весь долг?

— В смысле денег очень невелик, сэр, — отвечал Марк. — Фунта три с чем-нибудь. Да дело-то не в деньгах, а в его...

— Да, да, вы уже говорили, — сказал Мартин. — Пинч, на два слова.

— Что такое? — спросил Том, отходя с ним в угол комнаты.

— Да просто в том — стыдно сказать, что мистер Слайм мой родственник, о котором я никогда ничего хорошего не слыхал, и что мне хочется его выпроводить отсюда; полагаю, три-четыре фунта не жаль за это отдать. У вас, я думаю, не найдется денег заплатить по счету?

Том Пинч замотал головой так энергично, что не оставалось никаких сомнений в его полной искренности.

— Вот беда, у меня тоже ничего нет, и если б вы были при деньгах, я бы у вас занял. А нельзя ли сказать хозяйке, что мы берем долг на себя? Я думаю, это будет все равно.

— Ну, еще бы! — сказал Том. — Она меня знает, слава богу!

— Тогда пойдем сейчас же к ней и так и скажем: чем скорей мы избавимся от его общества, тем будет лучше. До сих пор вы разговаривали с этим джентльменом, так, может быть, вы и сообщите ему, какие у нас намерения, хорошо?

Мистер Пинч согласился и тут же довел это до сведения мистера Тигга, который стал горячо пожимать ему руку, уверяя, что теперь он снова готов уверовать во все высокое и святое. Их помощь, говорил он, дорога

ему не тем, что временно облегчит его удел, но прежде всего тем, что она вновь подтверждает высокий принцип, согласно которому избранные натуры всегда и везде сочувствуют избранным натурам, а истинное величие души находит отзвук в истинном величии души. Это показывает, говорил он, что они тоже умеют ценить талант, — хотя, поскольку дело касается Слайма, в благородном металле заметна лигатура, — и он благодарит их от имени друга так же тепло и сердечно, как если бы благодарил за самого себя. Тут все двинулись к лестнице, и, будучи прерван на середине речи, он, во избежание дальнейшей помехи, уже при выходе на улицу ухватил мистера Пинча за лацкан пальто и занимал его высокопоучительной беседой всю дорогу до самого „Дракона“, куда следом за ними явились и Марк Тэпли с новым учеником.

Румяная хозяйка едва ли нуждалась в поручительстве мистера Пинча, чтобы отпустить на все четыре стороны постояльцев, от которых была рада избавиться любой ценой. И в самом деле, кратковременным лишением свободы они были обязаны прежде всего мистеру Тэпли, который по своему характеру видеть не мог благородных оборванцев, охотников поживиться на чужой счет, и особенно невзлюбил мистера Тигга и его приятеля как образцовых представителей этой породы. Таким образом, без труда уладив дело, мистер Пинч с Мартином ушли бы немедленно, если бы не настойчивые просьбы мистера Тигга оказать ему честь и познакомиться с его другом Слаймом, которым было настолько трудно противиться, что, уступая отчасти этим просьбам, а отчасти собственному любопытству, они согласились, наконец, предстать пред светлые очи этого джентльмена.

Мистер Слайм сидел в мрачном раздумье за графинчиком с остатками вчерашнего коньяка, погруженный в глубокомысленное занятие: мокрой ножкой своей рюмки он отпечатывал на столе кружок за кружком. Мистер Слайм имел жалкий и опустившийся вид, но в свое время, что был отъявленный хвостун, выдававший себя за человека с тонким вкусом и редкими талантами. Для того чтобы прослыть знатоком в области изящного, капитал требуется небольшой и всякому доступный: стоит только задирать нос повыше и презрительно кривить губы, изображая снисходительную усмешку, — и в любом случае этого хватит с избытком. Нелегкая, однако, дернула незадачливого отпрыска семьи Чезлвитов, от природы ленивого и не способного ни к какому усидчивому труду, растратив все свои денежки, объявить себя, пропитания ради, наставником в вопросах изящного вкуса; обнаружив, однако, хотя и слишком поздно, что для этого занятия нужно побольше данных, чем у него имеется, он быстро опустился до своего нынешнего уровня, и уже ничего

не оставалось в нем прежнего, кроме хвастовства и желчи, — вряд ли мог бы он существовать самостоятельно и отдельно от своего приятеля Тигга. И теперь он был так жалок и низок, соединяя плаксивость с нахальством и заносчивость с пресмыкательством, — что даже его друг и приживал, стоявший рядом с ним, по контрасту возвышался до уровня человека.

— Чив, — сказал мистер Тигг, хлопая его по спине, — мистера Пекснифа не было дома, и я уладил наше дельце с мистером Пинчем и его другом. Мистер Пипч с другом — мистер Чиви Слайм! Чив, мистер Пинч с другом!

— Нечего сказать, приятно знакомиться при таких обстоятельствах, — сказал Чиви Слайм, глядя на Тома Пинча налитыми кровью глазами. — Я самый жалкий из смертных, поверьте мне!

Том, видя, в каком он состоянии, попросил его не беспокоиться и после неловкой паузы вышел вместе с Мартином. Но мистер Тигг так усиленно заклинал их кашлем и разными знаками задержаться в темном углу за дверью, что они его послушались.

— Клянусь, — воскликнул мистер Слайм, бессильно стукнув по столу кулаком, а затем подперев голову рукой и утирая пьяные слезы, — я самое несчастное существо, какое известно миру. Общество в заговоре против меня. Образованней меня нет человека на свете; какие сведения, какие просвещенные воззрения на все предметы, а посмотрите, как я живу! Разве сейчас, в эту самую минуту, я не принужден одолжаться двум посторонним лицам из-за трактирного счета!

Мистер Тигг наполнил рюмку своего друга, подал ему и многозначительно кивнул гостям в знак того, что сейчас они его увидят в гораздо более выгодном свете.

— Одолжаться двум посторонним лицам из-за трактирного счета, каково? — повторил мистер Слайм, скорбно прикладываясь к рюмочке. — Очень мило! А тысячи самозванцев тем временем стяжали себе славу! Люди, которые мне и в подметки не... Тигг, призываю тебя в свидетели, что самую последнюю собаку так не травили, как травят меня.

Испустив нечто вроде завывания, живо напомнившего слушателям только что названное животное в крайней степени унижения, мистер Слайм опять поднес рюмку ко рту. Как видно, он почерпнул в этом некоторое утешение, потому что, ставя рюмку на стол, презрительно усмехнулся. Тут мистер Тигг опять начал усиленно и весьма выразительно кивать гостям, давая этим понять, что сейчас они узрят Чива во всем его величии.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся мистер Слайм. — Одолжаться двум посторонним из-за трактирного счета! А ведь, кажется, Тигг, у меня есть

богатый дядюшка, который мог бы купить полсотни чужих дядюшек? Кажется мне это или нет? Ведь я как будто из приличной семьи? Так это или не так? Я ведь не какая-нибудь посредственность без капли дарования. Скажи, да или нет?

— Дорогой Чив, ты среди человечества — американское алоэ, которое цветет всего один раз в столетие! — отвечал мистер Тигг.

— Ха-ха-ха! — опять рассмеялся мистер Слайм. — Одолжаться двум посторонним из-за трактирного счета! И это мне, мне! Одолжаться двум архитектурным ученикам — людям, которые меряют землю железными цепями и строят дома, как простые каменщики! Назовите мне фамилии этих двух учеников. Как они смеют делать мне одолжения!

Мистер Тигг был в совершенном восторге от этой благородной черты в характере своего друга, что и дал понять Тому Пинчу при помощи маленького мимического балета, сочиненного экспромтом для этой цели.

— Они у меня узнают, все узнают, — кричал мистер Слайм, — что я не из тех подлых, низкопоклонных смиренных, с которыми они привыкли иметь дело! У меня независимый характер. У меня пылкое сердце. У меня душа, которая выше всяких низменных расчетов.

— Ах, Чив, Чив, — бормотал мистер Тигг, — какая благородная, какая независимая натура, Чив!

— Ступайте и выполните ваш долг, сэр, — сурово произнес мистер Слайм, — займите денег на дорожные расходы; и у кого бы вы их ни заняли, дайте там понять, что я по натуре горд и независим и адски утонченные фибры души моей не переносят никакого покровительства. Слышите? Скажите там, что я их всех ненавижу и только благодаря этому сохраняю еще уважение к самому себе. Скажите, что ни один человек на свете не уважал так самого себя, как я себя уважаю!

Он мог бы прибавить, что ненавидит два рода людей: всех тех, кто оказывает ему помощь, и всех тех, кто больше преуспел в жизни, ибо и в том и в другом случае их превосходство было оскорблением для человека столь замечательных достоинств. Однако он этого не сказал, и с вышеприведенными заключительными словами мистер Слайм — слишком гордый, чтобы работать, попрошайничать, одолжаться или красть, допускавший, однако, чтобы за него работали, попрошайничали, одолжались и крали другие, слишком заносчивый, чтобы лизать руку, питавшую его в черный день, однако достаточно подлый, чтобы куснуть или рвануть исподтишка, — с этими весьма удачными заключительными словами мистер Слайм повалился головой на стол и заснул пьяным сном.

— Где вы найдете, — воскликнул мистер Тигг, догоняя молодых людей

у порога и осторожно притворяя за собой дверь, — такую независимость духа, как у этого необыкновенного человека? Где вы найдете такого римлянина, как наш друг Чив? Где вы найдете такой чисто классический склад ума, такую простоту характера, достойную тоги? Где вы найдете человека с таким неистощимым красноречием? Я спрашиваю вас, господа, разве он не мог бы сидеть в древности на треножнике и прорицать без конца, лишь бы ему давали побольше джина с водой за общественный счет?

Мистер Пинч с обычной кротостью собирался было что-то возразить на последнее замечание Тигга, но, увидев, что его товарищ уже сошел с лестницы, двинулся за ним.

— Разве вы уже уходите, мистер Пинч? — спросил Тигг.

— Да, благодарю вас, — ответил Том. — Пожалуйста, не провожайте меня.

— А мне, знаете ли, хотелось бы сказать вам два слова наедине, мистер Пинч, — сказал Тигг, не отставая от него. — Одна минутка в кегельбане, проведенная в вашем обществе, весьма облегчила бы мне душу. Смею ли просить вас о таком одолжении?

— Да, разумеется, — ответил Том, — если вы этого желаете. — И он последовал за мистером Тиггом в названное им убежище; добравшись туда, сей джентльмен извлек из своей шляпы что-то похожее на остатки допотопного носового платка и вытер себе глаза.

— Сегодня вы видели меня, — сказал мистер Тигг, — в невыгодном свете.

— Не будем говорить об этом, — сказал Том, — прошу вас.

— Да, да, в невыгодном! — воскликнул мистер Тигг. — Я на этом настаиваю. Если бы вам довелось видеть меня перед моим полком на африканском побережье, во главе атакующего каре, с детьми, женщинами и полковой казной посередине, вы бы меня просто не узнали. Тогда вы почувствовали бы ко мне уважение, сэр.

У Тома Пинча были свои понятия о том, что такое доблесть, и потому эта картина не так его потрясла, как хотелось бы мистеру Тиггу.

— Впрочем, не беда! — воскликнул этот джентльмен. — Один школьник в письме к родителям, описывая чай с молоком, которым его угощают, выразился так: „Это сплошная слабость“. Повторяю эти слова, относя их к самому себе в настоящее время, и прошу у вас извинения. Сэр, вы видели моего друга Слайма?

— Конечно, видел, — сказал мистер Пинч.

— Сэр, мой друг Слайм произвел на вас впечатление?

— Не очень приятное, должен сказать, — ответил Том после некоторого колебания.

— Я огорчен, но не удивляюсь, — воскликнул Тигг, хватая его за оба лацкана, — ибо вы пришли к тому же заключению, что и я. Однако, мистер Пинч, хотя я человек грубый и легкомысленный, я уважаю Разум. Следуя за моим другом, я выражаю уважение к Разуму. К вам, предпочтительно перед всеми людьми, обращаюсь я, мистер Пинч, от лица Разума, который не может отвоевать себе место под солнцем. Итак, сэр, не ради себя, — я не имею к вам притязаний, — но ради моего друга, сокрушенного горем, чувствительного и независимого друга, который их имеет, — я прошу у вас взаймы три полкроны, решительно и не краснея. Прошу, ибо имею на это право. А если я прибавлю, что они будут возвращены вам по почте не далее как на этой же неделе, то я предчувствую, что вы меня даже осудите за эту меркантильную оговорку.

Мистер Пинч достал из кармана старомодный кошелек красной кожи со стальным замочком, вероятно принадлежавший когда-то его покойной бабушке. В нем был один полусовершен и ничего больше. Все богатство Тома до следующей четверти года.

— Одну минуту, — воскликнул мистер Тигг, зорко следивший за этой процедурой. — Я только что хотел сказать, чтобы вы лучше дали эти деньги золотом, для удобства пересылки. Благодарю вас. Адресовать, я думаю, мистеру Пинчу в доме мистера Пекснифа — так дойдет?

— Дойдет, конечно, — сказал Том. — Пожалуйста, не забудьте прибавить „эсквайр“ к фамилии мистера Пекснифа^[26], это будет лучше. На мое имя, знаете ли, в доме Сета Пекснифа эсквайра.

— Сета Пекснифа эсквайра, — повторил мистер Тигг, старательно записывая адрес огрызком карандаша. — Мы, кажется, говорили — на этой неделе?

— Да, но можно и в понедельник, — заметил Том.

— Нет, нет, уж извините. В понедельник никак нельзя, — сказал мистер Тигг. — Если мы условились на этой неделе, значит суббота последний день. Ведь мы условились на этой неделе?

— Ну, если вы уж так хотите, — сказал Том, — пускай будет на этой.

Мистер Тигг приписал эти условия к своей памятке, сурово нахмурившись, прочел про себя запись и, для большей солидности и деловитости, скрепил ее своими инициалами. Покончив с этим, он заверил мистера Пинча, что теперь все в полном порядке, и, пожав ему руку с большим чувством, удалился.

У Тома имелись весьма основательные опасения насчет того, что

Мартин будет вышучивать эти переговоры, и ему хотелось на время избежать его общества. Поэтому он прогулялся несколько раз взад и вперед по кегельбану и вошел в дом только после ухода мистера Тигга с приятелем, как раз в ту минуту, когда Марк с новым учеником смотрели на них в окно.

— Я только что говорил, сэр, что если бы можно было этим прокормиться, — заметил Марк, указывая пальцем вслед недавним гостям, — вот самое подходящее для меня место. Служить таким молодчикам, сэр, это будет почище, чем копать могилы.

— А еще того лучше — оставайтесь здесь, Марк, — отвечал Том. — Послушайтесь моего совета: оставайтесь в тихой пристани.

— Теперь уже поздно слушаться, сэр, — сказал Марк. — Я объявил ей. Уезжаю завтра утром.

— Уезжаете! — воскликнул мистер Пинч. — Куда же?

— В Лондон, сэр.

— Что же вы там будете делать? — спросил мистер Пинч.

— Ну, я еще и сам не знаю, сэр. В тот день, когда я вам открылся, ничего не подвернулось подходящего. О каком занятии ни подумаю, все уж очень легко, — что за честь быть веселым при такой работе. Наняться, что ли, к кому-нибудь в услужение, сэр? Может, какое-нибудь очень строгое семейство пришлось бы мне по плечу, мистер Пинч?

— А может быть, вы, Марк, пришли бы не ко двору в очень строгом семействе?

— Возможное дело, сэр. Ежели бы я попал к каким-нибудь особо придиричивым хозяевам, я бы еще мог показать себя; да ведь как это узнаешь наперед, нельзя же напечатать в газетах, что вот-де молодой человек желает поступить в услужение и не столько гонится за жалованьем, сколько за придиричивыми хозяевами; ведь этого нельзя, сэр?

— Да, пожалуй, — сказал мистер Пинч, — мне тоже кажется, что нельзя.

— Завистливое семейство, — продолжал Марк в раздумье, — или сварливое семейство, или зложелательное семейство, или, на худой конец, очень уж прижимистое семейство, — вот тут я еще мог бы показать себя. Кто бы мне подошел больше всякого другого, так это тот старый джентльмен, что захворал у нас; ну и характерец, честное слово! Да что уж тут, подождем — увидим, авось что и подвернется, буду надеяться на самое худшее, сэр.

— Значит, вы твердо решили уехать? — спросил мистер Пинч.

— Сундук мой уже уехал с фургоном, сэр, а сам я уйду пешком завтра

поутру и сяду в дилижанс, когда он меня нагонит по дороге. Позвольте пожелать вам всего лучшего, мистер Пинч, и вам тоже, сэр, — будьте здоровы и счастливы!

Друзья со смехом пожелали ему того же и отправились домой рука об руку; по дороге мистер Пинч рассказал Мартину о беспокойном и странном нраве Марка Тэпли — все то, что уже известно читателю.

Тем временем Марк, предвидя, что его хозяйка находится в сильном расстройстве чувств и что сам он вряд ли может отвечать за последствия длительной беседы с глазу на глаз, старался, как только мог, не встречаться с нею в продолжение всего дня и вечера. Этой его тактике весьма способствовало большое стечение посетителей в „Синем Драконе“, ибо после того как разнесся слух об отъезде Марка, в распивочной весь вечер толкся народ, и гости усердно пили за его здоровье, то и дело чокаясь кружками. Наконец двери заперли на ночь, и Марк, видя, что теперь ему не отвертеться, собрался с духом и решительной походкой направился к дверям распивочной.

„Стоит мне только взглянуть на нее, — говорил себе Марк, — и я пропал. Чувствую, что тут мне и крышка!“

— Наконец-то явился, — приветствовала его миссис Льюпин.

— Да уж, явился вот, — сказал Марк.

— Значит, вы нас покидаете, Марк? — спросила миссис Льюпин.

— Да ведь что ж, приходится, — отвечал Марк, уставясь в землю.

— А я-то думала, — говорила хозяйка, проявляя самую пленительную застенчивость, — что вы... привязались... к „Дракону“...

— Я и то привязался, — сказал Марк.

— Тогда, — вполне резонно продолжала хозяйка, — Зачем же вы его покидаете?

Но на этот вопрос Марк и вовсе не ответил, даже после того как его повторили, и потому миссис Льюпин, передавая ему жалованье из рук в руки, спросила — не то чтобы неласково, нет, нет, совсем наоборот, — чего бы ему больше хотелось?

Всем известно, что есть вещи, которых живой человек не в силах вытерпеть. Такой вопрос, как этот, заданный таким порядком, в такое время и такой женщиной, следовало отнести именно к этой категории, по крайней мере поскольку дело касалось Марка. Он невольно поднял глаза, а подняв их однажды, уже не мог опустить, ибо сколько ни есть на свете полных, румяных, веселых, ясноглазых хозяек с ямочками на щеках — воплощение всего самого лучшего в них, самый, так сказать, цвет и совершенство среди хозяек стояло сейчас перед Марком.

— Вот что я вам скажу, — начал Марк, мигом сбрасывая с себя всякое замешательство и обнимая хозяйку за талию, отчего она нисколько не встревожилась, зная, какой он славный малый. — Если бы я думал только о том, чего мне хочется, я выбрал бы вас. Если бы я думал о себе, о том, что для меня всего лучше, я выбрал бы вас. Если бы я выбрал то, что с радостью выбрали бы девятнадцать человек из двадцати, не пожалев отдать за это жизнь, я выбрал бы вас. Да, вас! — воскликнул мистер Тэпли, выразительно потрянув головой и, позабывшись на минуту, уставился пристальным взглядом на сочные губки миссис Льюпин. — И ни один мужчина не удивился бы моему выбору!

Миссис Льюпин ответила, что он ее изумляет. Она просто поражается, как он может говорить такие слова. Она никак этого от него не ожидала.

— Да я и сам от себя этого не ожидал, — сказал Марк, поднимая брови с радостно-изумленным выражением. — До сих пор я думал, что нам с вами надо расстаться без всяких объяснений; я и хотел только проститься, для того и пришел сейчас; а это в вас самих есть что-то такое, что заставляет человека говорить и думать по-честному. Давайте поговорим, только, знаете ли, условимся наперед, — это он прибавил уже нисколько не шутя, чтобы ошибиться было решительно невозможно, — ухаживать за вами я не буду, этого вы не бойтесь.

На одну только секунду легкая тень — самая легкая и ни в коем случае не мрачная — промелькнула в ясных глазах хозяйки. Но она сейчас же рассеялась в смехе, идущем от самого сердца.

— Чего уж лучше! — сказала она. — Только если вы не собираетесь за мной ухаживать, так уберите руку прочь.

— Господи, это еще зачем? — спросил Марк. — Ничего плохого тут нет.

— Конечно, нет, — возразила хозяйка, — а не то я бы не позволила.

— Вот и прекрасно, — заметил Марк. — Тогда пускай рука остается на месте.

Это было так резонно, что хозяйка опять засмеялась и, не отводя его руки, велела ему говорить все, что он собирался сказать, но только поскорее. А все-таки он бессовестный малый, прибавила она.

— Ха-ха! Я и сам так думаю, — воскликнул Марк, — а раньше это мне и в голову не приходило. Сегодня я могу сказать все что угодно.

— Ну, коли хочется, так говорите, что вы там собирались сказать, только поживее, — отвечала хозяйка, — а то мне спать пора.

— Вот что, милая вы моя голубушка, — начал Марк, — потому что милее вас никогда еще не было на свете женщины, — пускай кто-нибудь

попробует сказать, что была! — подумайте, что может выйти, если мы с вами...

— Ах, пустяки какие! — перебила его миссис Льюпин. — И не поминайте про это больше.

— Нет, нет, не пустяки, — отвечал Марк, — вы все-таки послушайте. Что может выйти, если мы с вами поженимся? Раз я не могу быть счастлив и доволен теперь, в этом веселом „Драконе“, можно ли ожидать, что я буду доволен тогда? Ни в коем случае. Очень хорошо. А значит вы, даже при вашем ровном характере, будете вечно тосковать и тревожиться, вечно душа у вас будет не на месте, все станете думать, не слишком ли вы постарели на мой взгляд, все вам будет чудиться, что я словно цепью прикован к порогу „Дракона“ и рвусь на свободу. Не знаю, так ли оно будет, или не так, — продолжал Марк, — а только я непоседа, и это мне известно. Люблю перемены. Мне все думается, что при моем крепком здоровье и веселом нраве больше было бы для меня чести веселиться и шутить там, где все наводит на человека грусть. Может, это с моей стороны ошибка, понимаете ли, только уж ее ничем не исправить, разве только испытать на деле, как оно получится. Так не лучше ли мне уехать, особенно после того как вы, не чинясь, помогли мне все это сказать, и мы можем расстаться добрыми друзьями, какими были с того дня, когда я впервые ступил на порог вот этого благородного „Дракона“, которого, — заключил Марк, — я не перестану любить и почитать до самой моей смерти!

Хозяйка притихла ненадолго, но очень скоро встрепелась, взяла Марка за обе руки и ласково их пожала.

— А все дело в том, что вы хороший человек, — сказала она, глядя ему в лицо с улыбкой, которая для нее была, пожалуй, несколько грустна. — И я думаю, что лучшего друга у меня никогда в жизни не было.

— Ну, что до этого, — отвечал Марк, — так это, знаете ли, пустяки. Боже ты мой, господи, — прибавил он, глядя на хозяйку восхищенными глазами, — но если вы и вправду так думаете, какое множество выгодных женихов вы доведете до отчаяния!

При этих лестных словах она опять засмеялась, еще раз пожала ему обе руки, попросив вспомнить о ней, когда ему понадобится друг, и, быстро отвернувшись, побежала вверх по узенькой лестнице.

— И еще напевает на ходу, — сказал Марк, прислушиваясь, — чтобы я, чего доброго, не подумал, будто она огорчена, и не повесил бы носа. Да, оказывается, не легкое это дело быть веселым, прямо скажу.

И с этой утешительной мыслью, высказанной весьма унылым тоном, он отправился спать, в настроении, которое никак нельзя было назвать

веселым.

На другое утро он поднялся спозаранку и вышел из дому с первыми лучами солнца. Однако это не помогло: вся улица встала, чтобы проводить Марка Тэпли; мальчишки, собаки, маленькие дети, старики, занятые люди и бездельники — все были тут, все кричали: „Прощай, Марк!“ — каждый на свой лад, и все жалели, что он уезжает. Неизвестно по какой причине, ему все казалось, что его бывшая хозяйка тоже смотрит украдкой из окна своей спальни, но он никак не мог набраться духу и оглянуться назад.

— Прощай и ты, и все прощайте! — говорил Марк, размахивая надетой на палку шляпой и быстро шагая по узенькой улице. — Отличные ребята эти колесники — ура! А вот и мясникова собака выбегает из палисадника — тубо, дружок! Вон и мистер Пинч пошел играть на органе — прощайте, сэр! И такса из дома напротив тоже тут. — Ну, ну, будет тебе, старуха! И ребятишек видимо-невидимо, хватит для поддержания рода человеческого на веки вечные. — Прощайте, мальчики и девочки! Вот уж это делает мне честь. Наконец-то нашлось хоть что-нибудь мне по плечу. Обыкновенному человеку в таких обстоятельствах пришлось бы куда как плохо, ну, а я человек веселый, хотя и не так весел, как хотелось бы, а все-таки около того. Прощайте, прощайте!

Глава VIII

сопровождает мистера Пекснифа и, его прелестных дочерей в город Лондон и повествует о том, что произошло с ними по дороге.

Когда мистер Пексниф и обе молодые особы сели в дилижанс на перекрестке, он оказался совсем пустым внутри, что было весьма утешительно, в особенности потому, что снаружи все было полно и пассажиры, видимо, порядком промерзли. Ибо, как справедливо заметил мистер Пексниф своим дочерям, зарыв ноги поглубже в солому, закутавшись до самого подбородка и подняв оба окна, в холодную погоду всегда приятно бывает знать, что многим другим людям далеко не так тепло, как нам самим. И это, сказал он, вполне естественно и как нельзя более разумно не только в отношении дилижансов, но также и многих других общественных установлений. — Ибо, — заметил он, — если бы все были сыты и тепло одеты, мы лишились бы удовольствия восхищаться той стойкостью, с которой иные сословия переносят голод и холод. А если бы нам жилось не лучше, чем всем прочим, что стало бы с нашим чувством благодарности, которое, — со слезами на глазах произнес мистер Пексниф, показывая кулак нищему, собиравшемуся прицепиться сзади кареты, — есть одно из самых святых чувств нашей низменной природы.

Дочери слушали эти высоконравственные наставления, исходившие из родительских уст, с подобающим почтением, выражая свое согласие улыбкой. Чтобы лучше поддерживать и лелеять священное пламя благодарности в своей груди, мистер Пексниф обратился к старшей дочери и побеспокоил ее просьбой передать ему бутылку с бренди, хотя путешествие только еще начиналось. И, приложившись к узкому горлышку сосуда, он довольно основательно подкрепился.

— Что мы такое? — спросил мистер Пексниф, — как не дилижансы? Одни из нас еле-еле плетутся...

— Господи, что это вы, папа! — воскликнула Чарити.

— Одни из нас, говорю я, еле-еле плетутся, — повторил ее родитель, одушевляясь все более, — другие, наоборот, мчатся на перекладных. Наши страсти — это лошади, и притом необузданные!

— Ну что вы это, папа! — воскликнули обе дочери в один голос. — Даже слушать неприятно.

— Да, необузданные! — повторил мистер Пексниф так решительно,

что в эту минуту, можно сказать, сам проявил некоторую моральную необузданность. — Добродетель — наш тормоз. Мы отправляемся в путь из „Материнских объятий“ и доезжаем до „Лопаты могильщика“.

Тут силы мистера Пекснифа истощились, и он был вынужден снова подкрепиться. Подкрепившись, он плотно заткнул сосуд пробкой, с таким видом, будто затыкал фонтан красноречия, исчерпав предмет беседы, после чего заснул на целых три перегона.

Люди, засыпая в дилижансе, имеют обыкновение просыпаться не в духе, чувствуя, что ноги у них затекли, а мозоли ноют, как никогда. Мистер Пексниф, не будучи избавлен от общей для всех смертных участи, почувствовал себя после легкой дремоты жертвой этих немощей до такой степени, что не в силах был противиться искушению выместить свои страдания на дочерях, и уж начал было лягаться и производить ногами разные другие неожиданные движения, как вдруг дилижанс остановился, и после некоторой задержки дверца его отворилась.

— Ну, так смотрите же, — произнес в темноте чей-то резкий, пронзительный голос. — Мы с сыном садимся внутрь, потому что на имперiale все полно, но вы согласились взять с нас ту же цену, что и за наружные места. Решено и подписано, мы дороже не заплатим. Так, что ли?

— Ладно, сэр, — ответил кондуктор.

— Внутри кто-нибудь есть? — осведомился тот же голос.

— Трое пассажиров, — сообщил кондуктор.

— Тогда я попрошу этих трех пассажиров засвидетельствовать нашу сделку, если они будут настолько любезны, — сказал тот же голос. — Ну, сынок, а теперь, я думаю, мы можем садиться, ничего не опасаясь.

И в соответствии с этими словами два пассажира заняли места в дилижансе, которому парламентским актом торжественно разрешалось перевозить до шести человек, при условии если они окажутся налицо.

— Вот это повезло! — прошептал старик, когда дилижанс тронулся с места. — Это ты ловко сообразил. Хи-хи-хи! Да мы бы и не могли ехать снаружи. Я бы умер от ревматизма!

Пришло ли в голову почтительному сыну, что он несколько перестарался, заботясь о продлении родительской жизни, или холод испортил ему настроение, неизвестно. Только вместо ответа он угостил своего папашу основательным толчком в бок, отчего добрый старик раскашлялся на целых пять минут без перерыва и довел мистера Пекснифа до такой степени раздражения, что у того вырвалось наконец — и совершенно неожиданно:

— Нет места! В этом дилижансе нет места для джентльмена с такой

простудой!

— Это у меня не простуда, — ответил старик после некоторого молчания, — это у меня грудной кашель, Пексниф.

Голос и манера говорить, невозмутимое спокойствие говорившего, присутствие сына и знакомство с мистером Пекснифом — все это взятое вместе помогло определить личность незнакомца настолько, что никакая ошибка была невозможна.

— Гм! Я думал, что адресуюсь к незнакомцу, — заметил мистер Пексниф, возвращаясь к обычной своей кротости. — А оказывается, я адресуюсь к родственнику. Пусть мистер Энтони Чезлвит и сын его мистер Джонас, — это они, дорогие мои дети, путешествуют с нами, — извинят меня за резкие, по-видимому, слова. В мои намерения не входило оскорблять чувства людей, связанных со мною родственными узами. Я, может быть, и лицемер, — ядовито заметил мистер Пексниф, — но все-таки не скотина.

— Ну-ну! — сказал старик. — Что в этом слове такого особенного, Пексниф? Подумаешь, лицемер! Да мы и все лицемеры. Кто из нас в тот день не лицемерил? Если б я не думал, что мы все стоим друг друга, я бы вас не обозвал этим словом. Да мы бы тогда и не собрались вместе, если бы не были лицемерами. Единственная разница между вами и всеми остальными... — хотите я вам сейчас скажу, — в чем разница между вами и всеми остальными?

— Если вам угодно, уважаемый сэр, если вам угодно.

— Вот ведь что в вас всего досаднее, — продолжал старик, — никогда у вас нет ни союзников, ни товарищей в ваших плутнях; вы всякого проведете, даже и того, кто сам на эти дела мастер, а держитесь так, будто бы вы — хи-хи-хи! — будто бы вы и сами себе верите. Я бы мог держать пари на изрядную сумму, — продолжал старик, — если бы я вообще держал пари, только я этого никогда не делал и не сделаю, — что вы даже перед родными дочерьми ломаете комедию и разыгрываете святого. А я вот, если задумал какое-нибудь дельце, сейчас же все рассказываю Джонасу, и мы вместе его обсуждаем. Вы на меня не обиделись, Пексниф?

— Помилуйте, уважаемый сэр! — воскликнул мистер Пексниф таким тоном, как будто выслушал самый лестный комплимент, какой только можно себе представить.

— В Лондон направляетесь, мистер Пексниф? — спросил сын.

— Да, мистер Джонас, в Лондон. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие всю дорогу ехать в вашем обществе?

— Ну, ей-богу, на этот счет вы уж лучше спросите папашу, — сказал

Джонас. — Я не хочу проговариваться. А то как бы чего не вышло.

Мистера Пекснифа, надо сказать, очень развеселил такой ответ. Когда его веселье несколько приутихло, мистер Джонас дал ему понять, что они с родителем действительно едут к себе домой, в столицу, и что они находятся в этих местах со дня достопамятного семейного собрания, имея в виду некоторое небезвыгодное помещение капитала, ради чего они и прибыли сюда, ибо, как сообщил мистер Джонас, у них с папашей в обычае, ежели есть такая возможность — подшибать одним камнем двух воробьев сразу и бросать кильку в воду только в том случае, если есть надежда поймать на нее кита. Сообщив эти скудные, но содержательные сведения, Джонас сказал, что „если Пекснифу все равно, он пересадит его к папаше, а сам поболтает с барышнями“, и, во исполнение этого учтивого намерения, освободив место рядом с почтенным старичком, устроился в уголке напротив, бок о бок с прелестной мисс Мерси.

Воспитание мистера Джонаса было самое строгое и с колыбели имело в виду главным образом корысть. Первое слово, которое он научился складывать, было „деньги“, а второе (когда он добрался до трехсложных слов) — „нажива“. В этом воспитании не было бы, можно сказать, ничего предосудительного, если бы не два минуса, которых заблаговременно никоим образом не мог предусмотреть его дальновидный родитель. Одним из этих минусов было то, что, выучившись у папаши водить за нос кого угодно, Джонас приобрел склонность водить за нос и самого почтенного наставника. А второй заключался в том, что, еще смолodu привыкнув на все смотреть с точки зрения собственника, он и на своего родителя малопомалу перенес этот взгляд и не без досады усматривал в нем известного рода личное достояние, которое не имеет никакого права разгуливать на свободе, а подлежит заключению в особого рода железный сейф, именуемый в просторечии гробом, и сдаче на хранение за кладбищенскую ограду.

— Ну, сестрица, — сказал мистер Джонас, — ведь мы с вами родня все-таки, хоть и седьмая вода на киселе... Так, значит, вы едете в Лондон?

Мисс Мерси ответила утвердительно и тут же, ущипнув старшую сестру за плечо, принялась хихикать без удержу.

— В Лондоне кавалеров видимо-невидимо, сестрица! — сказал мистер Джонас, слегка прикасаясь к ней локтем.

— Ну и что ж такого! — воскликнула молодая девушка. — Не съедят же они нас, я думаю! — Она произнесла это, сильно жеманясь, и, будучи больше не в силах бороться с душившим ее смехом, уткнулась в сестрину шаль.

— Мерри! — воскликнула эта более рассудительная особа. — Право, мне стыдно за тебя! Что с тобой делается, шальная ты девчонка? — В ответ на что мисс Мерри, конечно, расхохоталась еще сильнее.

— Я еще в тот день заметил, что глаза у нее шальные, — сказал мистер Джонас, обращаясь к Чарити. — Зато вы сидите смирно! И в тот раз примерно себя вели, сестрица!

— Ох, старомодное чучело! — шептала Мерри, давясь от смеха. — Черри, милая, садись-ка лучше ты рядом с ним, право. Если он со мной будет еще разговаривать, я помру тут же, не сходя с места; честное слово, помру!

С этими словами резвое создание соскочило со своего места и тут же, во избежание такого фатального исхода, усадило сестру рядом с кузеном.

— Не бойтесь стеснить меня, — сказал мистер Джонас. — Я даже люблю, когда меня притиснут барышни. Садитесь еще поближе, сестрица.

— Нет, благодарю вас, — сказала Чарити.

— А та, другая, опять смеется, — сказал мистер Джонас, — над моим папашей, должно быть. И, ей-богу, не удивительно. А если он еще наденет свой старый ночной колпак, я уж и не знаю, что с ней сделается! Это не мой папаша храпит, мистер Пексниф?

— Да, мистер Джонас.

— Наступите ему на ногу, будьте так любезны, — попросил молодой джентльмен. — Подагра у него на той ноге, что поближе к вам.

Так как мистер Пексниф не сразу решился оказать старику эту дружескую услугу, мистер Джонас взялся за дело сам, в то же время крикнув отцу в самое ухо:

— Ну, проснись же, папаша, а не то опять вас будет душить во сне; я уж знаю, опять завопите. Вас когда-нибудь душило во сне, сестрица? — понизив голос, спросил он свою соседку с присущей ему галантностью.

— Случается иногда, — ответила Чарити. — Не очень часто.

— А ту, другую? — спросил мистер Джонас, помолчав. — Ее когда-нибудь душит во сне?

— Не знаю, — ответила Чарити. — Спросите у нее лучше сами.

— Она так смеется, — сказал Джонас, — нет никакой возможности с ней разговаривать. Вы только послушайте, как заливается! А вот вы такая благоразумная, сестрица!

— Ах, что вы! — воскликнула Чарити.

— Ну да! Вы и сами это знаете.

— Мерси немножко ветрена, — сказала мисс Чарити. — Но она образумится со временем.

— Времени-то уж очень много на это уйдет, если даже и образумится, — возразил ее кузен. — Придвигайтесь поближе, места хватит.

— Я боюсь вас стеснить, — сказала Чарити. Но все-таки придвинулась поближе, и, перекинувшись двумя-тремя словами насчет того, как медленно ползет дилижанс и как много на пути остановок, они впали в молчание, которое не нарушалось уже никем из собеседников до самого ужина.

Хотя мистер Джонас вел Чарити под ручку в гостиницу и сидел рядом с ней за столом, было совершенно ясно, что он не упускает из виду и „ту, другую“, так как он частенько поглядывал на Мерри, сидевшую напротив, должно быть сравнивая, которая из двух лучше, и отдавал явное предпочтение младшей сестре, как более пухленькой. Однако он не позволил себе тратить много времени на такого рода наблюдения и вплотную занялся ужином, который, как он сообщил на ухо своей прелестной соседке, тоже входил в цену билета, и, значит, чем больше она будет есть, тем дешевле это обойдется. Его отец и мистер Пексниф, действуя, вероятно, на основании того же мудрого правила, уничтожали без остатка все, что только было под рукой, отчего физиономии у них несколько позамаслились и приобрели довольное, чтобы не сказать сытое, выражение, так что смотреть на них было как нельзя более приятно.

Когда мистер Пексниф и мистер Джонас уже не могли больше есть, они заказали себе по две порции горячего бренди с водой — шесть пенсов за порцию, — что второй из джентльменов считал более выгодным, чем заказывать сразу одну порцию за шиллинг, ибо так хозяину легче было ошибиться и налить спиртного больше, чем он налил бы в один стакан. Проглотив свою долю живительной влаги, мистер Пексниф, под предлогом будто идет посмотреть, не готов ли дилижанс, успел потихоньку наведаться в бар и налить доверху собственную бутылочку, чтобы потом незаметно подкрепляться на досуге в темном дилижансе.

Как только со всеми этими приготовлениями было покончено и дилижанс был подан, они сели на свои старые места и затряслись дальше. Но прежде чем задремать, мистер Пексниф произнес нечто вроде послеобеденной молитвы:

— Процесс пищеварения, насколько я слышал от моих друзей-медиков, есть одно из самых изумительных явлений природы. Не знаю, как другим, а мне доставляет большое удовлетворение знать, что, вкушая мою скромную пищу, я привожу в действие прекраснейший из механизмов, какие нам только известны. У меня при этом бывает такое чувство, будто я

оказываю услугу всему обществу. После того как я себя завел, если можно так выразиться, — произнес мистер Пексниф с самой пленительной нежностью в голосе, — и знаю, что механизм действует, — я, постигая назидательный смысл пищеварения, чувствую себя благодетелем человечества.

Так как прибавить к этому было нечего, то все молчали; а мистер Пексниф, надо полагать, радуясь тому, что приносит человечеству моральную пользу, задремал снова.

Вся остальная ночь прошла обычным порядком. Мистер Пексниф и старик Энтони то и дело толкали один другого и просыпались в испуге или, привалившись во сне головой к противоположным углам дилижанса, расписывали свои сонные физиономии самой удивительной татуировкой, бог их знает, каким образом. Дилижанс останавливался и ехал, ехал и останавливался, и так продолжалось без конца. Одни пассажиры входили, другие выходили, свежих лошадей впрягали, выпрягали и опять впрягали, без малейшего перерыва — как казалось тем, кто дремал, и с перерывами чуть ли не во всю ночь — как казалось тем, кто не сомкнул глаз ни на минуту. Наконец дилижанс начал подскакивать и гроыхать по неровному булыжнику, и мистер Пексниф, выглянув в окно, объявил, что наступило утро и они приехали.

Вскоре после этого дилижанс остановился у городской конторы; улица, где она находилась, была уже полна народом, что как нельзя более подтверждало слова мистера Пекснифа насчет того, что наступило утро; хотя, судя по тому, что на небе не было заметно ни малейших проблесков света, вполне могла быть и полночь. Стоял, кроме того, густой туман, — словно это был город в облаках, куда они добрались за ночь по волшебному бобовому стеблю^[27]; а мостовую покрывала толстая корка, похожая на жмыхи, про которую один из пассажиров на империале (без сомнения, сумасшедший) сказал другому (должно быть, сторожу при нем), что это снег.

Наскоро простившись с Энтони и его сыном и оставив весь багаж в конторе, с тем чтобы зайти за ним после, мистер Пексниф, ведя под руки обеих девиц, перебрался через улицу, потом через другую, через третью, потом пустился дальше, сворачивая то направо, то налево, в какие-то странные двери и глухие переулки, ныряя в какие-то подворотни; он то перепрыгивал через канаву, то шарахался от кареты четверней, то терял дорогу, то опять находил ее, то шествовал в высшей степени уверенно, то окончательно падал духом, все время волнуясь так, что прошибала испарина, и, наконец, остановился на мощенной булыжником площадке

вблизи от Монумента^[28]. То есть так сказал мистер Пексниф, а что касается того, чтобы увидеть самый Монумент или хоть что-нибудь кроме домов, стоявших совсем рядом, то девицы видели не больше, чем если бы играли в жмурки у себя в Солсбери.

Мистер Пексниф сначала огляделся по сторонам, а потом постучался в дверь очень грязного дома, выделявшегося даже среди отборной коллекции грязных домов по соседству, на фасаде которого красовалась небольшая овальная вывеска, похожая на чайный поднос, с надписью: „Коммерческий пансион М. Тоджерс“.

По-видимому, у М. Тоджерс никто еще не вставал, потому что мистер Пексниф постучал дважды и позвонил трижды, не производя впечатления ни на кого, кроме собаки на той стороне улицы. В конце концов загремела цепь и засовы отодвинулись с таким ржавым скрипом, словно от холодной погоды охрипли даже запоры, и на пороге, появился маленький мальчик с большой рыжей головкой, таким крошечным носом, что о нем не стоит и говорить, ибо это был не нос, а чистейшее недоразумение, и очень грязным веллингтоновским сапогом^[29], надетым на левую руку; увидев приезжих, он озадаченно потерял вышеупомянутый нос сапожной щеткой и ничего не сказал.

— Еще спят, любезный? — спросил мистер Пексниф.

— Спят! — отвечал мальчик. — Хотел бы я, чтобы они спали. Очень уж сон у них шумный: все разом требуют свои сапоги. Я было подумал, что это газета, и удивился почему ее не просунули, как всегда, в окошечко. Вам чего надо?

Принимая во внимание нежный возраст юнца, можно сказать, что этот вопрос был задан очень строго и даже с некоторым вызовом. Однако мистер Пексниф, несколько не оскорбившись таким поведением мальчика, сунул ему в руку свою визитную карточку и попросил отнести наверх, а их пока проводить в какую-нибудь комнату, где топится камин.

— Хотя, если разведен огонь в столовой, — сказал мистер Пексниф, — я и сам найду дорогу. — И без дальнейших слов он повел дочерей в комнату нижнего этажа, где стол был уже накрыт к завтраку скатертью (довольно узкой и короткой, едва доходившей до краев), и на нем красовалось большое блюдо разваренной докрасна говядины, образчик хлебной ковриги того сорта, который известен хозяйкам под названием „сеяного мягкого четырехфунтового“, и немалое количество чашек и блюдец со всеми обычными дополнениями.

За каминной решеткой лежало пар шесть ботинок и сапог разных

размеров, только что вычищенных и перевернутых подошвой кверху для просушки, и пара коротких черных гетр; на одной из них кто-то из джентльменов — очевидно большой шутник, который нарочно для этого спустился вниз, временно прервав свой туалет, — начертил мелом: „Гордость Джинкинса“; а на другой подошве был нарисован профиль, претендовавший на сходство с самим Джинкинсом.

Коммерческий пансион М. Тоджерс помещался в доме, где, судя по всему, и всегда-то было темно, а в это утро особенно. В коридоре стоял какой-то странный запах, как будто весь аромат обедов, которые варились на кухне со дня построения дома, сгустился на черной лестнице и, подобно призраку монаха в „Дон-Жуане“, „отсель не уходил“. В особенности сильно давала себя знать капуста; да и вообще все овощи, которые здесь варились, принадлежали к разряду вечнозеленых и благоухали с неувядаемой силой. В обшитой панелями гостиной свежий человек инстинктивно — и как бы по наитию свыше догадывался о присутствии крыс и мышей. Лестница была очень мрачная и очень широкая, с такими толстыми и прочными перилами, что они годились бы даже для моста. В темном углу на первой площадке стояли неуклюжие старые часы гигантского роста, увенчанные дурацкой короной из трех медных шариков; этих часов почти никто не замечал, и уж решительно никто не глядел на циферблат, так что если они не прекращали своего глухого тиканья, то только предосторожности ради, — единственно для того, чтобы какой-нибудь рассеянный человек не натолкнулся на них случайно. Так как этот дом с первых дней существования пансиона М. Тоджерс ни разу не перекрашивался и не переклеивался, то лестница сильно почернела, покрылась копотью и осклизла. Вверху, над лестничной клеткой, находился дряхлый, безобразный с виду, еле живой и весь расшатанный стеклянный люк, чиненный и перечиненный на все лады, который подозрительно глядел сверху на все, что происходило внизу, и прикрывал собой пансион, как будто это был особого рода парник, в котором могли произрастать только овощи особого сорта.

Мистер Пексниф со своими прелестными дочками не простоял и десяти минут, греясь перед огнем, как на лестнице послышались шаги, и в комнату вошло верховное божество этого заведения.

М. Тоджерс была дама, и довольно-таки сухопарая дама, с резкими чертами и целым рядом кудряшек на лбу, напоминавших маленькие пивные бочоночки, прикрытые сверху чем-то вроде сетки, которая смахивала не то что на чепец, а скорее на черную паутину. На руке у нее была маленькая плетеная корзиночка со связкой ключей, которые позвякивали на ходу. В

другой руке она держала горящую сальную свечу. Разглядев при ее свете мистера Пекснифа, миссис Тоджерс сейчас же поставила подсвечник на стол, чтобы ничто не мешало ей принять гостя со всей подобающей сердечностью.

— Мистер Пексниф! — воскликнула миссис Тоджерс. — Добро пожаловать в Лондон! Кто бы мог ожидать такого визита после стольких — о боже мое, боже! — после стольких лет! Как же вы поживаете, мистер Пексниф?

— Не хуже, чем всегда, и, как всегда, рад вас видеть, — ответил мистер Пексниф. — Да как же вы помолодели!

— Вот вы так помолодели, по-моему, — сказала миссис Тоджерс. — Ничуть не переменились.

— А что вы скажете вот на это? — воскликнул мистер Пексниф, простирая руку к обеим девицам. — Разве это меня не старит?

— Неужели ваши дочери? — воскликнула миссис Тоджерс, воздевая руки кверху и молитвенно складывая их. — Не может быть, мистер Пексниф! Это, верно, ваша вторая жена со своей подружкой!

Мистер Пексниф снисходительно улыбнулся и, покачав головой, сказал:

— Мои дочери, миссис Тоджерс. Всего только дочери.

— Ах! — вздохнула эта добрая женщина. — Приходится верить вам на слово, потому что вот теперь гляжу и думаю, что узнала бы их где угодно. Милые мои мисс Пексниф, как же обрадовал меня ваш папа!

Она обняла обеих девиц и от избытка чувств, а может быть под влиянием утреннего холода, выдернула из маленькой корзиночки маленький носовой платок и приложила его к лицу.

— Сударыня, — сказал мистер Пексниф, — мне известны правила вашего заведения, а также и то, что вы принимаете только постояльцев-мужчин. Но я подумал, что, может быть, для моих дочерей найдется место в вашем доме, что для них вы, может быть, сделаете исключение.

— Может быть? — с чувством произнесла миссис Тоджерс. — Может быть?

— Ну, тогда я могу сказать, что был в этом почти уверен, — заметил мистер Пексниф. — Я знаю, у вас есть своя маленькая комнатка, там они могли бы очень удобно поместиться и не выходить к общему столу.

— Милые мои девочки! — сказала миссис Тоджерс. — Нет, я должна еще раз позволить себе эту вольность.

Под этим миссис Тоджерс подразумевала, что должна еще раз обнять девиц, каковое намерение и осуществила с большим жаром. Правда же

заклучалась в том, что в доме было занято решительно все, кроме одной кровати, которую теперь следовало отдать мистеру Пекснифу, и потому ей требовалось время на размышление, и такое продолжительное время (ибо решить, куда деваться с гостями, было отнюдь не просто), что, даже выпустив сестер из своих объятий во второй раз, она несколько минут глядела на них молча, причем один ее глаз блистал слезой умиления, а в другом светился трезвый расчет.

— Мне кажется, я придумала, как это устроить, — сказала, наконец, миссис Тоджерс. — Постелить на диване в третьей комнате, рядом с моей гостиной... Ах вы душеньки мои!

После чего она обняла их в третий раз, заметив при этом, что никак не может решить, которая из них больше похожа на покойницу мать (что было весьма правдоподобно, так как миссис Тоджерс ни разу в жизни ее не видела), но думает, что скорее младшая, и тут же прибавила, что джентльмены сейчас придут в столовую, а барышни, верно, устали с дороги, так не лучше ли им сразу же пройти к ней в комнату?

Комната была на том же этаже, окнами во двор, и, по словам миссис Тоджерс, обладала тем преимуществом (для Лондона очень важным), что в нее никто не заглядывает снаружи, в чем они убедятся и сами, когда рассеется туман. И это не было пустым хвастовством; из окон действительно открывался вид на бурую стену с черным баком для воды наверху. Из этой комнаты в спальное помещение, предназначенное для девиц, был ход через очень удобную маленькую дверцу, которая открывалась только в том случае, если на нее наваливались изо всех сил. Отсюда, примерно на том же расстоянии, был виден другой край той же стены и другая сторона бака. „Не самая сырая сторона, — объяснила им миссис Тоджерс. — Та видна от мистера Джинкинса“.

В первом из этих святилищ был на скорую руку разведен огонь все тем же юным прислужником, который в отсутствие миссис Тоджерс позволил себе насвистывать за этим занятием (а кроме того, разрисовал углем собственные плисовые штаны) и, застигнутый хозяйкой врасплох, был выведен из комнаты за ухо. Приготовив собственноручно завтрак для девиц, она удалилась председательствовать за столом в другую комнату, где, насколько можно было слышать, присутствующие довольно громко подшучивали над мистером Джинкинсом.

— Не стану спрашивать вас, дорогие мои, — сказал мистер Пексниф, заглядывая в дверь, — как вам понравился Лондон. Стоит ли спрашивать?

— Не очень-то мы много видели, папа! — воскликнула Мерри.

— Ровно ничего, по-моему, — сказала Черри. (Обе говорили самым

жалобным тоном.)

— Что ж, — заметил мистер Пексниф, — это верно. Но удовольствие, да и дело тоже, у нас еще впереди. Все в свое время. Все в свое время.

Действительно ли дела мистера Пекснифа в Лондоне носили такой строго профессиональный характер, как он намекал своему новому ученику, мы увидим, выражаясь словами этого достойного джентльмена, „в свое время“.

Глава IX

Лондон и „Тоджерс“

Конечно, никогда и ни в каком другом городе, малом или большом, и ни в какой деревушке не было и не могло быть такого странного дома, как пансион М. Тоджерс. И уж конечно Лондон, судя по той его части, которая обступила пансион кругом и теснила и толкала его своими кирпичными штукатуренными локтями, не давая ему вздохнуть и вечно загораживая от него свет, вполне стоил пансиона и вполне мог почитаться состоящим в близком родстве и союзе с тем эксцентрическим семейством, к которому принадлежат сотни и тысячи таких домов, как пансион М. Тоджерс.

По соседству с пансионом нельзя было прогуливаться так, как где-нибудь в другом квартале города. Тут вы целый час могли блуждать по переулкам и закоулкам, дворам и переходам и ни разу не попасть на что-нибудь такое, что можно было бы без натяжки назвать улицей. Какое-то покорное отчаяние овладевало человеком, вступившим в этот извилистый лабиринт, и он, махнув на все рукой, пускался наугад, путался и кружил и, наткнувшись на глухую стену или железную решетку, без ропота поворачивал обратно, с мыслью, что выход на свободу отыщется как-нибудь сам собой и в свое время и что нет никакого смысла спешить и предупреждать события. Бывали случаи, что гости, приглашенные на обед к М. Тоджерс, бродили вокруг да около, видели даже и дымовые трубы на крыше дома, но, убедившись наконец, что добраться до него нет возможности, возвращались восвояси кротко и без жалоб, погрузившись душою в тихую грусть. Не было примера, чтобы кто-нибудь мог найти пансион по устным указаниям, хотя бы он получил эти указания в одной минуте ходьбы от него. Осмотрительным приезжим из Шотландии и Северной Англии, говорят, удавалось иногда благополучно добраться до пансиона, завербовав с этой целью в проводники приютского мальчика, питомца лондонских улиц, или следуя по пятам за почтальоном, — но то были редкие исключения, только подтверждавшие правило, что пансион М. Тоджерс скрывается в лабиринте, секрет которого известен лишь немногим посвященным.

По соседству с пансионом было несколько фруктовых рынков, и одним из первых впечатлений, поражавших свежего человека, был запах апельсинов, порченных апельсинов с зелеными и синими пятнами, гниющих

в ящиках или плесневеющих в подвалах. Целый день по узким переулкам с пристани вереницей тянулись грузчики, каждый с полным ящиком апельсинов на спине, а под воротами питейного дома с утра до вечера грудой лежали кожаные заплечья тех из них, которые отдыхали и угощались внутри помещения. По соседству с пансионом М. Тоджерс еще встречались допотопные колодцы-отшельники, укрывавшиеся в тупиках и водившие компанию с пожарными лестницами. Тут был не один десяток церквей, а при них заброшенные маленькие кладбища, сплошь заросшие той буйной растительностью, которая сама собой появляется везде, где есть сырость, могилы и кучи мусора. Кое-где в этих унылых местах упокоения, столь же походивших на настоящие зеленые кладбища, как горшки с левкоями и резедой в окне походят на деревенский сад, были и деревья, высокие деревья, все еще продолжавшие год за годом выбрасывать новые листья и так же томившиеся воспоминаниями о родном племени, как птицы в клетке, — так думалось, глядя на их чахлые ветви. Тут дряхлые паралитики-сторожа из года в год охраняли по ночам покойников, до тех пор пока и сами не вступали в их молчаливое братство; и если не считать того, что под землей им спалось крепче, чем на земле, и что будка для них сменялась гробом, — их положение едва ли существенно менялось после того, как и они в свою очередь попадали под стражу. Кое-где в узких переулках сохранились еще старинные двери резного дуба, за которыми в былое время раздавались пиршественные клики; теперь же эти хоромы, отведенные под склады, тихи и темны, и так как внутри них хранится шерсть, хлопок и тому подобное — все скучный товар, заглушающий звук и затыкающий глотку шумливому эхо, — от них так и веет тлением, и это в соединении с тишиной и безлюдьем придает им нечто зловещее. Есть в этих местах и мрачные дворы, куда не забредает почти никто, кроме сбившихся с дороги пешеходов, и где объемистые тюки или мешки с товаром, поднимаясь или опускаясь, вечно болтаются между небом и землей, подвешенные к высоким кранам. Ломовых подвод по соседству с пансионом М. Тоджерс, как кажется, гораздо больше, чем может понадобиться во всем городе; и не то чтобы рабочих подвод, а подвод-лодырей, праздно стоящих в узких проулках перед хозяйскими дверьми и загораживающих проезд, так что если случайно свернет сюда какой-нибудь кэб или загромыхает фургон с товаром, то сразу поднимается шум и гам на всю округу, и даже колокола на ближней колокольне, дрогнув, отзываются гудением. В пастях и утробах темных тупиков по соседству с пансионом виноторговцы и бакалейщики-оптовики понастроили целые города; глубоко между фундаментами зданий вся земля здесь изрыта галереями конюшен, и

в тихий воскресный день бывает слышно, как лошади, которых донимают крысы, звякают недоузтками, наподобие того, как в рассказах о привидениях гремят цепями беспокойные духи.

Если рассказать хотя бы о половине курьезных старых харчевен, влачивших дремотную, скрытую от мира жизнь по соседству с пансионом, то получилась бы целая толстая книга, а второй, не менее объемистый том можно было бы посвятить старым чудакам, завсегдатаям этих неприглядных заведений. Это по большей части коренные жители здешних мест, которые тут родились и выросли; они давным-давно обзавелись одышкой и астмой, всегда пыхтят и с трудом переводят дыхание, кроме тех случаев, когда начинают о чем-нибудь повествовать; тогда оказывается, что и дыхание у них еще хоть куда. Эти старозаветные лондонцы в корне отрицают пар и прочие новшества, воздухоплавание считают смертным грехом и оплакивают современный упадок нравов, причем те из членов этих маленьких клубов, в чьи профессиональные обязанности входит хранение ключей соседней церкви, жалуются на распространение ереси и безбожия, тогда как большинство склонно думать, что добродетель вывелась из употребления вместе с пудреными париками и что величие Старой Англии сошло на нет вместе с цирюльниками.

Сам по себе пансион М. Тоджерс, даже если говорить о нем только как о доме, оставляя в стороне его заслуги как пансиона для джентльменов, занимающихся коммерцией, вполне достоин стоять на том месте, где он стоит. Там есть одно окно в боковой стене нижнего этажа, освещающее лестницу, о котором предание рассказывает, будто бы оно не отворялось лет сто, и которое, выходя в грязный до невероятия переулок, до того запачкалось и заросло столетней грязью, что ни одно стекло из него не выпало, хотя каждое из них было в свое время разбито самое меньшее раз двадцать, и все они вдоль и поперек изрезаны трещинами. Но главную тайну пансиона составляет подвал, доступ к которому возможен только через маленькую заднюю дверцу и ржавый решетчатый люк и который, сколько помнят старики, не только никогда не имел никакого отношения к дому, но всегда принадлежал какому-то другому владельцу и, по слухам, был полон добра, хотя какого именно — серебра ли, меди, золота, бочек ли с вином, или бочонков с порохом, — было совершенно неизвестно и мало интересовало пансион и его обитателей.

Крыша дома тоже была достойна внимания. Там имелось что-то вроде площадки, с шестью и обрывками гнилых веревок, когда-то предназначавшихся для сушки белья, и стояло два-три чайных ящика с засохшими растениями, торчащими из них, как палки. Всякий, кто

поднимался на эту обсерваторию, бывал сперва ошеломлен, ударившись головой о маленькую наружную дверцу, а потом на секунду лишился дыхания, невольно заглянув в кухонную трубу; но, одолев эти два препятствия, вы нашли бы много такого, на что любопытно было посмотреть с крыши пансиона. Прежде всего, если день был ясный, вы замечали далеко протянувшуюся по крышам длинную темную дорожку — тень Монумента — и, обернувшись, видели и самый оригинал, совсем рядом — высокий, с волосами, вставшими дыбом на его золотой голове, словно он в ужасе от того, что творится в городе. А дальше толпились шпили, колокольни, башни, сверкающие флюгера и корабельные мачты — целый лес. Островерхие кровли, коньки крыш, слуховые окна — сущее столпотворение. Дыма и шума хватило бы на весь мир.

Со второго взгляда из этой общей сутолоки, помимо воли зрителя и без всякой особой причины, начинали выделяться незначительные как будто предметы и завладевали его вниманием. Так, колпаки-вертушки на трубах домов время от времени поворачивались не спеша один к другому, словно поверяя друг другу шепотом результаты своих наблюдений над тем, что происходит внизу. Другие колпаки, горбатые, казалось никак не хотели выпрямиться назло пансиону и горбились для того только, чтобы загораживать от него вид. Старик, чинивший перо в чердачном окне напротив, приобретал первостепенную важность для всей картины в целом и, скрывшись с горизонта, оставлял пробел, значение которого было до смешного непропорционально его размерам. Скачки и пируэты одного полотнища ткани на шесте красильщика казались гораздо интереснее, чем все приливы и отливы в общем движении толпы. А пока зритель сердился на себя и подыскивал этому объяснение, шум переходил в рев, пестрая картина перед его глазами дробилась и множилась стократ, и, озираясь по сторонам в величайшем испуге, он спешил поскорее спуститься в недра пансиона и в девяти случаях из десяти говорил после того миссис Тоджерс, что если б он задержался наверху хотя бы секундой дольше, то, верно, попал бы на мостовую кратчайшей дорогой, а именно — бросившись головой вниз.

Так говорили и обе мисс Пексниф, покинув наблюдательный пост вместе с миссис Тоджерс и наказав юному привратнику запереть дверцу и спуститься за ними следом; он же, будучи веселого нрава и с восторгом, свойственным его возрасту и полу, приветствуя всякую возможность разбиться вдребезги, несколько замешкался позади, для того чтобы пройти по парапету.

Шел второй день пребывания обеих мисс Пексниф в Лондоне, так что

дело дошло уже до откровенностей, и миссис Тоджерс успела сообщить своим новым подружкам все подробности трех любовных разочарований своей первой молодости, а кроме того, познакомила их в общих чертах с жизнью, поведением и характером мистера Тоджерса, который, как выяснилось, прежде времени нарушил мирное течение супружеской жизни и, противозаконно бежав от семейного счастья, поселился в чужих краях под видом холостяка.

— Ваш папа был одно время очень, очень ко мне внимателен, душеньки мои, — сказала миссис Тоджерс, — но, видно, мне не суждено было такого счастья — сделаться вашей мамой. Вряд ли вы сможете угадать, с кого это нарисовано?

Она обратила внимание девиц на овальную миниатюру вроде небольшого волдыря, которая висела над крюком для чайника и носила некоторое, довольно отдаленное сходство с чертами самой миссис Тоджерс.

— Боже! Вы тут как живая! — воскликнули обе мисс Пексниф.

— Так это и считалось в прежнее время, — заметила миссис Тоджерс, греясь перед огнем совершенно так, как это делают мужчины, — а все же я никак не ожидала, что вы угадаете, чей это портрет, душеньки мои.

Они узнали бы этот портрет где угодно. Если бы они увидели его где-нибудь на улице или в окне магазина, то непременно — закричали бы: „Боже мой! Миссис Тоджерс!“

— Хозяйничать в таком заведении, как мое, очень вредно для здоровья, ужасно портится цвет лица, милые мои мисс Пексниф, — жаловалась миссис Тоджерс. — Одна мясная подливка может состарить лет на двадцать, уверяю вас.

— О господи! — воскликнули обе мисс Пексниф.

— Чего стоит хотя бы только эта забота, милые мои, — продолжала миссис Тоджерс, — из-за нее одной вечно душа не на месте. Нет другой такой страсти в душе человеческой, как страсть к мясной подливке среди джентльменов, занимающихся коммерцией. Не то что с задней ноги, с целого быка не наберешь столько соку, сколько они требуют каждый день за обедом. А что мне пришлось из-за этого вытерпеть! — воскликнула миссис Тоджерс, возводя глаза к небу и тряся головой. — Никто даже не поверит.

— Ни дать ни взять наш мистер Пинч, Мерри, — заметила Чарити. — Мы всегда это за ним замечали, помнишь?

— Еще бы, милая моя, — отвечала Мерри, хихикая, — только мы ему никогда не давали подливки, сама знаешь.

— Вы, мои душечки, имеете дело с учениками вашего папы, которые

не сами себе накладывают кушанье, поэтому вы вольны распоряжаться, как вам угодно, — сказала миссис Тоджерс, — но в коммерческом заведении, где каждый джентльмен может вам сказать в субботу вечером: „Миссис Тоджерс, через неделю нам с вами придется расстаться — из-за сыра“, — не так-то легко сохранять мир и согласие. Ваш папа был так любезен, — прибавила эта добрая дама, — что пригласил меня сегодня покататься с вами и, кажется, упомянул, что вы собираетесь навестить мисс Пинч. Уж не родственница ли она тому джентльмену, о котором вы только что говорили, мисс Пексниф?

— Ради бога, миссис Тоджерс, — перебила бойкая Мерри, — не называйте его джентльменом. Черри, милая моя, Пинч — джентльмен! Подумать только!

— Вот уж насмешница! — воскликнула миссис Тоджерс, в умилении обнимая Мерри. — Сухая заноза, как я погляжу! Милая моя мисс Пексниф, какая это должна быть радость для вас и для вашего папы, что сестрица у вас такая веселая!

— Он пучеглазый и противный-препротивный, каких свет не создавал, — продолжала Мерри, — настоящее чучело, миссис Тоджерс. Самый мерзкий, нескладный и отвратительный урод, какого можно себе представить. А это — его сестра, так что сами можете вообразить, какая она. Да я прямо расхохочусь ей в лицо, это уж непременно, — воскликнула милая девушка, — мне ни за что не удержаться! От одной мысли, что на свете существует мисс Пинч, можно умереть, а уж видеть ее — просто боже сохрани!

Миссис Тоджерс смеялась до слез, слушая душечку Мерри, и объявила, что прямо боится ее, да, боится. Она такая злая.

— Кто это злой? — послышался голос из-за дверей. — В моей семье, надеюсь, не может быть ничего похожего на злость! — И мистер Пексниф, улыбаясь, просунул голову в дверь: — Вы позволите мне войти, миссис Тоджерс?

Миссис Тоджерс чуть не взвизгнула, потому что низенькая дверь между гостиной и внутренним покоем была распахнута настежь и постель, раскинутая на диване, открывалась взорам во всем своем чудовищном неприличии. Однако у миссис Тоджерс достало присутствия духа мгновенно захлопнуть дверь в святая святых, и только после этого она пролепетала в смущении:

— Ах да, мистер Пексниф, вы можете войти, если вам угодно.

— Ну, как мы себя чувствуем сегодня? — игриво начал мистер Пексниф. — И какие у нас планы? И не собираемся ли мы навестить сестру

Тома Пинча? Ха-ха-ха! Бедняга Томас!

— И не собираемся ли мы, — возразила миссис Тоджерс, кивая головой с таинственным и понимающим видом, — ответить согласием на петицию мистера Джинкинса? Вот какой будет первый вопрос, мистер Пексниф.

— Но почему же мистера Джинкинса? — осведомился мистер Пексниф, обнимая одной рукой Мерри, а другой миссис Тоджерс, которую он по рассеянности, должно быть, принял за Черри. — Почему именно Джинкинса?

— Потому что он первый все это затеял, и вообще он во всем первый в этом доме, — игриво отвечала миссис Тоджерс. — Вот почему, сэр.

— Джинкинс — человек с большими дарованиями, — заметил мистер Пексниф. — Я очень уважаю Джинкинса. И то, что Джинкинс пожелал оказать внимание моим дочерям, я считаю новым доказательством дружеского расположения со стороны Джинкинса, миссис Тоджерс.

— Ну что ж, — отвечала эта дама, — если уж начали говорить, так договаривайте, мистер Пексниф: расскажите нашим милым барышням, в чем дело.

С этими словами она деликатно уклонилась от объятий мистера Пекснифа и сама обняла мисс Чарити, но было ли вызвано такое поведение одним только непреодолимым сердечным влечением к этой молодой особе, или же объяснения следовало искать в угрюмом, чтобы не сказать озлобленном выражении, которое приняло лицо мисс Пексниф, так и осталось невыясненным. Как бы то ни было, мистер Пексниф тут же начал излагать дочерям историю и существо вышеупомянутой петиции; вкратце дело сводилось к тому, что джентльмены, составляющие в своей совокупности основу того имени существительного собирательного, которое обозначает множество и называется пансионом М. Тоджерс, просят, чтобы девицы Пексниф оказали им честь обедать за общим столом в течение всего того времени, что они пробудут в Лондоне, а также, чтобы они украсили стол своим присутствием не далее как в воскресенье, которое приходилось на следующий день. Кроме того, прибавил он, так как миссис Тоджерс тоже присоединяется к этому приглашению, то и он, со своей стороны, готов его принять, — засим мистер Пексниф удалился, чтобы приступить к сочинению самого любезного ответа, а дамы тем временем привели себя в боевую готовность, надев самые нарядные шляпки, с целью поразить и даже совершенно уничтожить мисс Пинч.

Сестра Тома Пинча жила в гувернантках в одном семействе, занимавшем весьма высокое общественное положение, — а именно в

семействе богатого владельца медеплавильных и литейных заводов, быть может самого богатого из тех, какие известны человечеству. Это семейство жило в Кемберуэле^[30], в таком большом и неприветливом с виду особняке, что один его фасад, напоминая замок великана-людоеда, поражал ужасом обыкновенных смертных и заставлял содрогаться смельчаков. Там были внушительные ворота с внушительным колоколом, ручка которого, похожая на восклицательный знак, невольно исторгала у зрителя восклицание, и внушительная сторожка для привратника, которая несколько портила общий вид, зато намного усиливала впечатление. У входа бессменно торчал на страже внушительный привратник и, дозволив посетителю войти, ударял во второй колокол, на звон которого в свое время являлся внушительный ливрейный лакей с такими внушительными аксельбантами, что он беспрестанно в них путался, цепляясь за стулья и столы, и вел жизнь до такой степени мучительную, что, будь он даже мухой в мире, полном паутины, ему едва ли пришлось бы хуже.

К этому-то особняку бесстрашно подъехал в одноконном экипаже мистер Пексниф вместе с дочерьми и миссис Тоджерс. После того как все вышеописанные церемонии были проделаны, их пустили в дом, и в конце концов они добрались до небольшой, полной книг комнаты, где сестра мистера Пинча как раз давала урок своей старшей ученице, вернее сказать — скороспелой маленькой женщине тринадцати лет от роду, доведенной до такого совершенства тугой шнуровкой и воспитанием, что в ней уже не оставалось ровно ничего детского, на радость всем ее родным и знакомым.

— Посетители к мисс Пинч! — провозгласил лакей, как видно молодой человек редких дарований, судя по тому, до чего ловко это у него получилось, — не так сдержанно и почтительно, как если бы он докладывал о визитерах к хозяевам, но и без того теплого участия, с оттенком личного интереса, с каким он объявил бы о гостях к кухарке.

— Посетители к мисс Пинч!

Мисс Пинч торопливо поднялась с места со всеми признаками волнения, ясно говорившими о том, что список ее посетителей весьма краток. В то же время маленькая ученица угрожающе выпрямилась, приготавливаясь запомнить все, что при ней будет сказано и сделано. Ибо хозяйка дома была любознательна и, проявляя интерес к жизни и нравам животного, именуемого гувернанткой, поощряла дочерей при всяком удобном случае доносить о ее поведении, что было весьма похвально, а также полезно и приятно для всех участвующих.

Как это ни грустно, однако же нельзя умолчать о том, что сестра мистера Пинча была отнюдь не урод. Совсем напротив, у нее было

приятное лицо, очень кроткое и привлекательное, и хорошенькая фигурка, тоненькая и не очень высокая, зато удивительно стройная. Было что-то, напоминавшее брата, и даже очень напоминавшее, — в мягкости ее манер и в выражении робкой доверчивости; однако она до такой степени не походила на страшилище, или на чумичку, или на пугало, или на что-нибудь еще в том же роде, как предсказывали мисс Пексниф, что обе эти молодые особы смотрели на нее негодуя, ибо рассчитывали увидеть совсем не то и обманулись в своих ожиданиях.

Мисс Мерри, как более жизнерадостная, легче примирилась с этим разочарованием, по крайней мере не проявила его ничем, кроме хихиканья, зато ее сестрица, не желая скрывать своего презрения, откровенно выразила его взглядом. Что же касается миссис Тоджерс, то она опиралась на руку мистера Пекснифа, сохраняя вид благовоспитанной непреклонности, которую можно было толковать как угодно.

— Не пугайтесь, мисс Пинч, — произнес мистер Пексниф, снисходительно забирая руку мисс Пинч в свою правую ладонь и похлопывая сверху левой. — Я приехал к вам с визитом, исполняя обещание, данное вашему брату, Томасу Пинчу. Моя фамилия — успокойтесь, мисс Пинч! — моя фамилия Пексниф.

Доброжелательный человек произнес эти слова с особенным выражением, как бы говоря: „Вы видите во мне, молодая особа, благодетеля всего вашего рода, покровителя вашей семьи, кормильца вашего брата, который ежедневно питается манной с моего стола и ради которого мне многое зачтется на небесах. Но я не горжусь. К чему мне гордиться, когда я могу обойтись и без этого!“

Бедная девушка поверила всему этому как евангельской истине. Брат в простоте души не раз писал ей то же самое. Как только мистер Пексниф замолчал, она опустила голову, и на его руку скатилась слеза.

„Очень хорошо, мисс Пинч! — сообразила понятливая ученица. — Плакать перед посторонними, как будто вам не нравится ваше место!“

— Томас здоров, — сообщил мистер Пексниф, — он посылает вам поклон и вот это письмо. Нельзя ожидать, чтобы он, бедняга, когда-нибудь отличился в нашей профессии, зато он старается быть полезным, а стараться почти то же что мочь, и потому мы должны быть к нему снисходительны. А? Что?

— Я знаю, что он старается, — сказала сестра Тома Пинча, — и знаю, сколько заботы и ласки он видит от вас. Мы не раз писали друг другу, что никогда не сможем вас отблагодарить. И ваших дочерей тоже, — прибавила она, смотря с признательностью на обеих мисс Пексниф, — я знаю, как

много мы им обязаны.

— Дорогие мои, — сказал мистер Пексниф, обращаясь к ним с улыбкой, — послушайте-ка, что говорит сестра Тома; я думаю, вам это будет приятно.

— Мы тут совершенно ни при чем. папа, — воскликнула Черри, в то же время реверансом давая понять сестре Тома Пинча, что она премного их обяжет, если будет держаться на расстоянии. — Тем, что о нем так хорошо заботятся, мистер Пинч обязан только вам одному, нам же очень приятно слышать, что он это ценит, вот и все, что мы можем сказать.

„Очень хорошо, мисс Пинч! — опять заметила про себя ученица. — У вас имеется благодарный братец, который живет на чужой счет!“

— Вы очень добры, — говорила сестра Тома Пинча, простодушно, как Том, и улыбаясь, как Том, — что приехали навестить меня; вы очень, очень добры, хотя вы и сами не подозреваете, как много сделали для меня тем, что дали мне возможность увидеть и поблагодарить вас лично, ведь вы придаете так мало значения своим добрым делам.

— Вот это благодарность, вот это такт, вот это воспитание, — прошептал мистер Пексниф.

— И еще меня радует, — продолжала Руфь Пинч, которая теперь, оправившись от первого потрясения, стала весела и говорлива, от чистого сердца желая видеть во всем самую лучшую сторону, что было как две капли воды похоже на Тома, — меня бесконечно радует, что вы сможете передать ему, как хорошо мне здесь живется, более чем роскошно, и что ему вовсе незачем горевать и жалеть о том, что мне приходится жить своими трудами. О боже мой! Пока я знаю, что он счастлив, и пока он знает то же самое обо мне, — говорила сестра Тома, — мы оба можем вытерпеть без единого слова жалобы, без единой горькой мысли гораздо больше того, что нам приходилось терпеть до сих пор, в этом я твердо уверена. — И если когда-нибудь говорили чистую правду на нашей грешной земле, то, конечно, ее высказала в этих словах сестра Тома.

— Да, да, разумеется! — воскликнул мистер Пексниф, чьи глаза тем временем приковались к воспитаннице. — А как поживаете вы, мое прелестное дитя?

— Очень хорошо, благодарю вас, сэр, — ответила эта замороженная невинность.

— Какое милое личико, дорогие мои, — сказал мистер Пексниф, обращаясь к дочерям. — Очаровательные манеры!

Обе девицы уже с первой минуты начали восторгаться отпрыском благородного семейства (надо полагать, что это был кратчайший путь к

сердцу родителей). Миссис Тоджерс божилась, что никогда в жизни не видела ничего до такой степени ангелоподобного.

— Только крыльев не хватает душечке, а то ни дать ни взять настоящий сиропчик! — говорила добрая женщина, подразумевая, вероятно, серафимчика.

— Если вы передадите вот это вашим почтеннейшим родителям, — сказал мистер Пексниф, доставая визитную карточку, — и скажете, что я и мои дочери...

— И миссис Тоджерс, папа, — подсказала Мерри.

— И миссис Тоджерс из Лондона, — прибавил мистер Пексниф, — что я, мои дочери и миссис Тоджерс из Лондона не решились беспокоить их без приглашения, так как нашей целью было просто справиться о здоровье мисс Пинч, брат которой, молодой человек, служит у меня, и что я, как архитектор, не могу уйти из этого весьма элегантного дома, не воздав должного строгому и изящному вкусу владельца и его умению ценить то высокое искусство, которому я посвятил всю свою жизнь и расцвету и успехам которого пожертвовал... гм... всем состоянием, — то я буду вам весьма признателен.

— Миледи посылает поклон мисс Пинч, — неожиданно появившись, произнес лакей, совершенно тем же тоном, что и раньше, — и желала бы знать, чему барышня сейчас обучается.

— А! Вот и молодой человек, — сказал мистер Пексниф. — Он может передать карточку. Будьте любезны, молодой человек, с поклоном от меня. Дорогие мои, мы препятствуем занятиям. Идемте.

На минуту возникло некоторое замешательство из-за того, что миссис Тоджерс открыла плетеную корзиночку и поспешила вручить „молодому человеку“ одну из своих собственных карточек, на которых, кроме разных подробностей насчет условий оплаты в коммерческом заведении, имелось еще и примечание в том смысле, что М. Т. при сем пользуется случаем принести благодарность джентльменам, которые оказали ей предпочтение, и просит, если они довольны столом, не отказать в любезности порекомендовать ее своим знакомым. Но мистер Пексниф с замечательным присутствием духа перехватил этот документ, спрятал к себе в карман и застегнулся на все пуговицы.

После чего он обратился к мисс Пинч еще снисходительнее и любезнее прежнего, — так как было желательно дать ясно понять лакею, что они вовсе ей не друзья, а покровители:

— Всего лучшего! До свидания! Господь вас благослови! Вы можете рассчитывать на мое постоянное покровительство вашему брату Томасу. Не

беспокойтесь ни о чем, мисс Пинч!

— Благодарю вас, — растроганно сказала сестра Тома, — тысячу раз благодарю!

— Не стоит благодарности, — возразил мистер Пексниф, ласково глядя ее по голове. — Лучше и не поминайте про это. Иначе я рассержусь. Мое милое дитя (к воспитаннице), прощайте! Это волшебное создание, — продолжал мистер Пексниф, мечтательно глядя в упор на лакея, как будто имел в виду именно его, — явившись на моем пути, озарило его таким блеском, что я никогда этого не забуду. Дорогие мои, вы готовы?

Они были еще не совсем готовы, потому что никак не могли расстаться с воспитанницей мисс Пинч. В конце концов они оторвались от нее и, величественно прошелестев юбками мимо бедной мисс Пинч, каждая с надменным кивком и книксеном, задушенном при самом рождении, выплыли в коридор.

Молодому человеку очень не скоро удалось выпроводить их за дверь, потому что мистер Пексниф, восхищаясь убранством дома, поминутно задерживался то здесь, то там (а особенно у дверей в гостиную) и изливал свой восторг очень громко и в самых ученых выражениях. Следуя от кабинета к прихожей, он успел изложить в общих чертах всю архитектурную премудрость, относящуюся к жилым домам, и когда они выбрались в сад, его красноречие было в самом разгаре.

— Посмотрите, — пятясь от крыльца, говорил мистер Пексниф, слегка прищурившись и склонив голову набок, чтобы таким образом лучше оценить пропорции фасада. — посмотрите, дорогие мои, на этот карниз, который поддерживает крышу, и обратите внимание на его воздушность, особенно в том месте, где он огибает южный угол здания, и вы согласитесь со мною, что... Как поживаете, сэр? Надеюсь, вы здоровы?

Прервав свою речь этими словами, он весьма учтиво поклонился пожилому джентльмену в окне верхнего этажа, к которому обратился не потому, что тот мог его слышать (это было совершенно невозможно), а просто в виде аккомпанемента, сопутствующего поклону.

— Не сомневаюсь, дорогие мои, что это и есть владелец, — сказал мистер Пексниф, делая вид, будто указывает на разные другие красоты здания. — Я был бы очень рад с ним познакомиться. Мало ли что из этого может впоследствии. Он смотрит в нашу сторону, Чарити?

— Он открывает окно, па!

— Ага! — негромко воскликнул мистер Пексниф. — Отлично! Он догадался, что я архитектор. Он, верно, слышал меня сейчас, в доме. Не смотрите на него! Что же касается желобчатых колонн портала, дорогие

мои...

— Эй, вы! — крикнул джентльмен.

— Ваш слуга, сэр, — сказал мистер Пексниф, снимая шляпу, — честь имею представиться...

— Сойдете вы с травы или нет! — зарычал джентльмен.

— Прошу прощения, сэр, — сказал мистер Пексниф, не веря своим ушам. — Вы изволили сказать...

— Сойдите с травы! — сердито повторил джентльмен.

— Мы не хотели беспокоить вас, сэр, — начал мистер Пексниф с улыбкой.

— А сами беспокоите, — возразил джентльмен, — да, да, непозволительно беспокоите и лезете на траву. Вы же видите: вот дорожка. Для чего она, по-вашему? Эй, откройте-ка там ворота! Выведите их всех вон!

С этими словами он захлопнул окно и скрылся.

Мистер Пексниф не спеша надел шляпу и в глубоком молчании направился к экипажу, по дороге с большим интересом разглядывая облака. Подсадив в экипаж сначала обеих дочерей, а потом миссис Тоджерс, он некоторое время стоял, глядя на него, как будто был не вполне уверен, коляска это или храм. Решив, наконец, этот вопрос, он уселся на свое место, положил руки на колени и улыбнулся трем своим спутницам.

Однако его дочери, не обладая таким присутствием духа, дали волю своему негодованию. Вот что значит, говорили они, носиться с такими, как эти Пинчи. Вот что значит ставить себя на одну доску с подобными личностями. Вот что значит унижаться до знакомства с такими отвратительными, наглыми, дерзкими, хитрыми девчонками, как эта Пинч. Так они и думали. Так они и предсказывали, не дальше как сегодня утром, — свидетельница миссис Тоджерс. К этому они прибавили, что хозяин дома, который принял их, конечно, за друзей мисс Пинч, поступил совершенно правильно, именно так, как следовало ожидать при создавшихся обстоятельствах. К этому они прибавили еще (не совсем последовательно), что он медведь и грубиян, — и тут уже рекой хлынули слезы, унося с собой все прочие эпитеты.

Впрочем, мисс Пинч вряд ли была столько виновата в этом деле, сколько серафим, который немедленно по отбытии гостей полетел в главный штаб с донесением и во всех подробностях доложил о том, с какой наглостью ему навязывали визитную карточку, которую потом передали через лакея, и это-то преступление, вместе с некоторыми скромными замечаниями мистера Пекснифа насчет архитектуры, возможно, в

известной мере содействовало их изгнанию. Бедной мисс Пинч, однако, пришлось выдержать атаку с обеих сторон: мамаша серафима сделала ей строжайший выговор за то, что у нее такие вульгарные знакомства; и она убежала к себе в комнату, обливаясь слезами, которых долгое время не могли осушить ни свойственная ей жизнерадостность и кротость характера, ни радость свидания с мистером Пекснифом, ни полученное от брата письмо.

А мистер Пексниф, едучи в кабриолете со своими дамами, высказался в том смысле, что всякое доброе дело уже в себе самом заключает награду и что если б ему даже дали пинка по этому случаю, то он только порадовался бы. Но это нисколько не утешило девиц, которые ожесточенно грызли его всю обратную дорогу, а подчас в их словах сквозило и живейшее желание наброситься на преданную миссис Тоджерс, чьей внешности, а главное неприличной визитной карточке и плетеной корзинке, они приписывали неудачу визита.

В пансионе этот вечер проходил весьма оживленно, что объяснялось отчасти разными дополнительными приготовлениями к завтрашнему обеду, отчасти же обычной для этого дома субботней суетой, особенно в те часы, когда белье каждого из джентльменов приносилось от прачки в особом маленьком узелке с приколотым сверху особым счетом. В доме чуть не до полуночи слышалась беготня и топот, во дворе беспрерывно мелькали таинственные огни, усиленно громыхал колодезный насос и без отдыха дребезжала ведерная ручка. Из отдаленной кухни доносились визгливые пререкания неизвестных особ женского пола с миссис Тоджерс, а также звуки, говорившие о том, что в мальчишку швыряют какими-то металлическими предметами небольших размеров. По субботам этот юноша имел обыкновение сновать по всему дому в зеленом байковом фартуке, закатав рукава выше локтей; по субботам же, именно оттого что работы было много, он сравнительно чаще поддавался искушению, отпирая кому-нибудь дверь, выскочить в переулок и поиграть с уличными мальчишками в чехарду и другие игры, пока за ним не отправляли кого-нибудь в погоню и не тащили его домой за волосы или за ухо; таким образом, его присутствие особенно чувствовалось в этот день и заметно способствовало субботнему оживлению в пансионе миссис Тоджерс.

В эту субботу он был особенно деятелен и выказывал обеим мисс Пексниф немало внимания; пробегая мимо комнаты миссис Тоджерс, где девицы сидели вдвоем перед камином и вышивали при свете одинокой свечи, он никак не мог удержаться от того, чтобы не просунуть голову в дверь и не адресоваться к ним с каким-нибудь юмористическим

замечанием, вроде: „А, вот они где!“, или: „Ишь ты, как здорово!“, и тому подобными приветствиями.

— Слушайте-ка, барышни, — сообщил он шепотом, улучив минуту во время беготни взад и вперед, — завтра будет суп. Она сейчас его варит. Думаете, воды подливает? Ну ни капельки, вот хоть бы столечко!

Когда в дверь снова постучались, он побежал на стук и по пути опять просунул к ним голову:

— Слушайте-ка! Завтра куры будут. Думаете, одна кожа да кости? Как бы не так!

Через минуту он сообщил в замочную скважину:

— Завтра будет рыба — только что привезли. Смотрите, не ешьте! — и с этим зловещим предостережением исчез опять.

В скором времени он вернулся накрывать на стол, так как между девицами и миссис Тоджерс было условлено, что они скушают специально для них приготовленные телячьи котлетки в уединении хозяйских апартаментов. При этом мальчишка развлекал девиц, беря в рот зажженную свечку и демонстрируя светящуюся изнутри физиономию, а после этого фокуса приступил к исполнению своих обязанностей, причем, раскладывая ножи, предварительно дышал на лезвие и полировал его о фартук, уже знакомый читателю. Накрыв на стол, он ухмыльнулся сестрам и высказал уверенность в том, что им предстоит „знатное угощение“.

— А долго его еще ждать, Бейли? — спросила Мерри.

— Да нет, — ответил Бейли, — все уже готово. Когда я уходил наверх, она там выковыривала вилкой кусочки помягче и пробовала.

Не успел он произнести эти слова, как уже получил благодарность по затылку, такую полновесную, что отлетел к стене, и увидел перед собой негодующую миссис Тоджерс с блюдом в руке.

— Ах ты негодяй! — воскликнула эта дама. — Ах ты скверный лгунишка!

— Сами-то вы не лучше, — огрызнулся Бейли, оберегая голову по способу, изобретенному знаменитым боксером Томасом Криббом. — А ну-ка, ну-ка, еще! Валяйте, чего стесняться.

— Отвратительный мальчишка, — пожаловалась миссис Тоджерс, ставя тарелку на стол, — я в жизни такого не видывала. Джентльмены его балуют ужасно и учат бог знает чему, так что теперь, пожалуй, одна только виселица его исправит.

— Ну да, — как же! — отозвался Бейли. — А вы зачем подливаете воду в пиво? Я от этого захворать могу.

— Ступай вниз, дрянной мальчишка! — закричала миссис Тоджерс,

распахивая дверь настежь. — Слышишь? Ступай сию минуту!

Ловко увернувшись от нее, он убежал и больше не показывался в тот вечер, кроме одного только раза, когда принес наверх стаканы и горячую воду и очень смутил обеих мисс Пексниф, корча страшные рожи за спиной ничего не подозревавшей миссис Тоджерс. Воздав таким образом должное своим оскорбленным чувствам, он удалился вниз и здесь, в обществе сальной свечи и кишевших кругом тараканов, с завидной энергией принялся за чистку платья и сапог и провозился с этим делом до глубокой ночи.

Предполагалось, что по-настоящему малолетнего слугу зовут Бенджамином, но, кроме этого у него было множество самых разнообразных кличек. Бенджамин очень скоро переделали в дядю Бена, а дядю Бена просто в дядю, а от этой клички было уже недалеко перейти к Варнуэлу — в память некоего дядюшки, убитого в Кемберуэле своим племянником Джорджем Барнурлом во время уединенной прогулки по собственному саду. Постояльцы имели, кроме того, обыкновение, шутки ради, то и дело присваивать ему имя очередной знаменитости — какого-нибудь известного преступника или министра; если же текущие события не представляли ничего интересного, они не брезговали и историей и на ее страницах отыскивали какое-нибудь громкое имя, например: мистер Питт^[31], юный Браунригг^[32], сын убийцы, и тому подобное. В то время, о котором идет речь, он был известен среди джентльменов под именем Бейли-младшего, присвоенным ему, должно быть, в противовес Старому Бейли^[33], а возможно и в память одной злополучной девицы Бейли, которая безвременно погибла, наложив на себя руки, и была увековечена в балладе.

По воскресеньям в пансионе миссис Тоджерс обыкновенно обедали в два часа — самое подходящее время, как нельзя лучше устраивавшее всех — и миссис Тоджерс в отношении булочника и джентльменов в отношении послеобеденных визитов. Но в то воскресенье, когда должно было состояться официальное знакомство девиц Пексниф с пансионом и со всем обществом, обед отложили до пяти, затем чтобы все было на благородную ногу, как того требовали обстоятельства.

Около этого часа Бейли-младший с величайшим восторгом облачился в полный комплект подержанного платья, которое было ему не по росту велико, а самое главное — в чистую рубашку таких необыкновенных размеров, что один из джентльменов (славившийся своим остроумием) немедленно окрестил ее „хомутом“. Без четверти пять в дверь комнаты миссис Тоджерс постучалась депутация, состоявшая из мистера Джинкинса

и еще одного джентльмена, по фамилии Тендер, и оба они, будучи официально представлены обеим девицам Пексниф их папашей, который находился тут же, попросили разрешения сопровождать девиц наверх.

Гостиная в пансионе М. Тоджерс была совсем не похожа на обыкновенную гостиную, до такой степени не похожа, что человеку непосвященному и в голову не пришло бы, что это гостиная; полы были сплошь застланы половиками, потолок, включая даже и толстую балку посередине, был оклеен обоями. Кроме трех небольших окон в глубоких нишах, смотревших на противоположные ворота, имелось еще одно окно, которое заглядывало, ничуть не пытаясь этого скрыть, прямо в спальню мистера Джинкинса. По одной стороне комнаты, под самым потолком, шли в два ряда застекленные окошечки, освещавшие лестницу; тут были расположенные лесенкой стенные шкафчики самого странного устройства, со стеклянными дверцами, придававшими им вид настенных часов; и даже дверь, выкрашенная в черную краску, смотрела на всех двумя круглыми стеклянными глазками с любопытным зеленым зрачком посередине каждого.

Здесь-то и собрались все джентльмены. Как только появился мистер Джинкинс под руку с Чарити, раздались крики: „Идут, идут!“ и „Браво, Джинк!“; но эти крики перешли в восторженный рев, когда за ним показались мистер Тендер, ведущий Мерси, и мистер Пексниф, замыкавший шествие рука об руку с миссис Тоджерс.

Затем джентльмены были представлены дамам. Был тут и джентльмен спортсменской складки, любитель задавать редакторам воскресных газет каверзные вопросы насчет скачек, считавшиеся среди его приятелей настоящими головоломками; и джентльмен актерской складки, в юности серьезно помышлявший о сцене, но благодаря интригам так и просидевший всю жизнь за кулисами; и джентльмен ораторской складки, мастер произносить речи; и джентльмен литературной складки, писавший пасквиль на всех остальных и знавший наперечет все чужие слабости, но только не свои собственные. Был тут и джентльмен музыкальной складки, любитель пения; был и любитель трубки; был и охотник кутнуть; некоторые джентльмены были любители сразиться в вист, и почти все они были большие охотники играть на бильярде и держать пари. Надо думать, что все это были джентльмены деловой складки, так как все они имели занятия по торговой части, а сверх того все они, каждый на свой лад, были большие охотники до развлечений. Мистер Джинкинс был джентльмен светской складки, он почти каждое воскресенье прогуливался в парках и знал по внешнему виду множество карет. Кроме того, он любил намекать

весьма таинственно на каких-то роскошных женщин; подозревали даже, что он скомпрометировал одну графиню. Мистер Тендер был джентльмен юмористической складки, тот самый, который пустил в ход шуточку насчет „хомута“, и это блистательное словцо переходило теперь из уст в уста под названием „последняя острота Тендера“, встречая во всех углах комнаты самый восторженный прием. Не мешает добавить, что мистер Джинкинс, сорокалетний кассир из рыбной лавки, был значительно старше всего остального общества. Он был также старейшим из жильцов и по праву этого двойного старшинства занимал в доме первое место, о чем уже упоминала миссис Тоджерс.

С обедом произошла значительная заминка, и бедная миссис Тоджерс, получив с глазу на глаз выговор от Джинкинса, по меньшей мере раз двадцать выбегала на кухню поторопить и каждый раз возвращалась с беспечным видом, будто у нее и в мыслях не было ничего подобного и она вовсе никуда не выходила. Тем не менее разговор шел без перебоя, ибо один из джентльменов, коммивояжер парфюмерной фирмы, показывал всему обществу интереснейшую штучку — какое-то совсем особенное мыло для бритья, вывезенное им из Германии, а джентльмен литературной складки прочел (по общей просьбе) сатирические стихи, написанные им не так давно по поводу замерзшего во дворе бака с водой. Эти развлечения и происходившие по их поводу разговоры отлично помогли скоротать время до появления обеда, о котором Бейли-младший доложил следующим образом:

— Харч на столе!

После такого сообщения все немедленно спустились вниз, причем некоторые шутники в задних рядах вели под руку других джентльменов, в подражание счастливицам, завладевшим девицами Пексниф.

Мистер Пексниф произнес молитву — краткую и благочестивую молитву, — призывая благословение свыше на аппетит присутствующих и поручая всех тех, кому нечего есть, заботам провидения, которое, как сказано было в молитве, обязано о них печься. После чего приступили к еде не слишком чинно, зато с аппетитом; стол ломился под тяжестью не только тех деликатесов, о которых обе мисс Пексниф были предупреждены заранее, но и от разварной говядины, жареной телятины, грудинки, пирогов, паштетов и изобилия тех неудобоваримых овощей, которые пользуются особым уважением хозяек за их насыщающие свойства. Кроме того, тут были бутылки с портером, бутылки с вином, бутылки с элем и другими крепкими напитками, отечественного и иностранного происхождения.

Все это очень нравилось обеим мисс Пексниф, которые пользовались огромным спросом; сидя во главе стола по правую и левую руку мистера Джинкинса, они ежеминутно получали приглашение чокнуться с каким-нибудь новым поклонником. Вряд ли еще когда-нибудь в жизни они были так приятно настроены и так разговорчивы, особенно Мерси, которая была в необыкновенном ударе и столько наговорила остроумного своим собеседникам, что поразила всех своей живостью и находчивостью, и все на нее смотрели как на чудо. „Словом сказать, — как заметила эта молодая особа, — только теперь мы почувствовали, что действительно находимся в Лондоне, да еще первый раз в жизни“.

Их юный приятель Бейли принимал в обеих девицах живейшее участие, не оставляя, впрочем, покровительственного тона; он поощрял их всеми средствами, какие были в его власти: когда никто другой на него не смотрел, он выказывал им свое одобрение кивками, подмигиванием и тому подобными знаками внимания, а также поминутно прикладывал к носу штопор, намекая на вакхический характер сборища. По правде сказать, даже остроумие обеих мисс Пексниф и неусыпная бдительность миссис Тоджерс, провожавшей глазами каждый кусок, были не так любопытны, как поведение этого замечательного мальчика, который ровно ничем не смущался и ни от чего не терял душевного равновесия. Если что-нибудь из посуды, какое-нибудь блюдо или тарелка, выскальзывало у него из рук (что произошло раза два), он не обращал на это никакого внимания, как и подобает светскому человеку, и не выражал ни малейшего сожаления, чтобы не усугублять тягостных переживаний всего общества. Не докучал он присутствующим и постоянным швырянием взад и вперед, чем грешат ныне хорошо вышколенные слуги; наоборот, сознавая, что услужить такому многочисленному собранию дело совершенно безнадежное, он предоставил джентльменам накладывать себе на тарелки все что им вздумается, а сам почти безотлучно стоял за стулом мистера Джинкинса, широко расставив ноги и засунув руки в карманы, и, явно наслаждаясь беседой, первый смеялся всякой шутке.

Десерт был роскошный. И долго ждать не пришлось. Тарелки из-под пудинга наскоро вымыли в маленькой лоханке за дверью, пока подавали сыр, и, вытертые не досуха и еще теплые от трения, они все же подоспели вовремя, что от них и требовалось. Горы миндаля, десятки апельсинов, целые фунты изюма, пирамиды печеных яблок, полные тарелки орехов! Да, уж у М. Тоджерс сумеют угостить, коли захотят! Зарубите это себе на носу.

На стол подали еще вина, красные вина и белые вина, а кроме того, большую фарфоровую чашу с пуншем, который был сварен одним из

джентльменов, охотником шутить, заклинавшим обеих мисс Пексниф не смущаться скромными размерами чаши, потому что в доме найдется из чего сварить и еще хоть полдюжины таких. Боже ты мой, как девицы смеялись! Как они раскашлялись, отхлебнув самую капельку, — такой крепкий был этот пунш! И как они опять смеялись, когда кто-то стал уверять их, что если бы не цвет, этот пунш можно было бы принять за парное молоко, такого он невинного свойства. Какой крик подняли, джентльмены, когда девицы стали трогательно упрашивать мистера Джинкинса, чтобы он позволил им разбавить пунш горячей водой, и с каким стыдливым румянцем каждая из них допила свой стакан до дна!

Но вот наступает трудная минута. Солнце, по выражению мистера Джинкинса (ловкий кавалер, этот Джинкинс, — никогда не ударит лицом в грязь), готовится покинуть небосклон.

— Мисс Пексниф, — говорит чуть слышно миссис Тоджерс, — не хотите ли вы...

— О нет, что вы, миссис Тоджерс, больше ничего не хочу.

Миссис Тоджерс поднимается с места, обе мисс Пексниф поднимаются с места, все поднимаются с места. Мисс Мерси Пексниф ищет глазами свой шарф на полу. Где же он? Бог ты мой, куда же он девался? Милая девушка, шарф на ней, только не на прелестной шейке, он спустился ниже, на ее пышный стан. Десятки рук тянутся помочь ей. Она — вся смущение. Самый младший из джентльменов жаждет крови мистера Джинкинса. Она одним прыжком догоняет старшую сестру. Та стоит в дверях, одной рукой обнимая за талию миссис Тоджерс. Другой рукой она обнимает сестру. Диана, какое зрелище! Последнее, что видят джентльмены, — это легкий силуэт, затем пируэт — и все кончено!

— Джентльмены, за здоровье дам!

Неописуемый восторг! Встает джентльмен ораторской складки и разражается вдруг потоком красноречия, который не знает решительно никаких преград. Но тут ему подсказали еще один тост — такой тост, к которому, конечно, присоединится все общество. Среди них присутствует некто — именно это лицо имеет в виду оратор, — кому все они обязаны благодарностью. Он повторяет: обязаны благодарностью. Их грубые натуры испытали сегодня смягчающее и возвышающее влияние прелестных женщин. В их обществе находится джентльмен, которого две очаровательные, исполненные совершенств девушки почитают и уважают как виновника своего существования. Да, еще в те дни, когда обе мисс Пексниф лепетали едва внятно, они уже называли этого человека папой! (Взрыв аплодисментов.) Оратор провозглашает тост: „За мистера

Пекснифа, да благословит его бог!“ Все пожимают руку мистеру Пекснифу и пьют его здоровье. Самый младший из джентльменов проделывает эту церемонию с трепетом; ему кажется, что некие таинственные флюиды исходят от человека, который имеет право называть прелестное создание в розовом шарфе своей дочерью.

Что говорит мистер Пексниф в ответной речи? Или лучше поставим вопрос так: что оставляет он невысказанным? Решительно ничего. Требуется еще пунша, пунш приносят, и все пьют. Восторг доходит почти до предела. Каждый из присутствующих проявляет свои склонности свободнее. Джентльмен актерской складки декламирует. Джентльмен-вокалист угощает общество песней. Тендер оставляет далеко за флагом тендера всех предшествующих пиров. Он встает и предлагает тост: „За патриарха нашего пансиона! За нашего общего друга Джинкинса! За старину Джинка, если будет позволено назвать его этим фамильярным и ласкательным именем!“ Самый младший из джентльменов неистово протестует. Он этого не потерпит, он не согласен, он решительно против. Но его глубокое чувство остается непонятым. Думают, что он хватил лишнее, и никто не обращает на него внимания.

Мистер Джинкинс благодарит присутствующих от всего сердца. Это вне всякого сомнения счастливейший день в его ничем не замечательной жизни. Окидывая взглядом собрание, он чувствует, что ему не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Он скажет только одно. Можно, он надеется, считать вполне установленным, что пансион М. Тоджерс всегда постоит за себя и, при случае, не ударит лицом в грязь, не осрамится перед соседями, а, быть может, даже превзойдет их. Под гром рукоплесканий он напоминает джентльменам, что им не раз приходилось слышать о заведении приблизительно того же типа на Кэннон-стрит; приходилось слышать и похвальные отзывы о нем. Он вовсе не желает обидеть кого бы то ни было этим сравнением, он как нельзя более далек от этого, но если заведение на Кэннон-стрит сможет когда-нибудь блеснуть таким сочетанием ума и красоты, какое блистало сегодня у них за столом, или угостить таким обедом, каким их только что угощали, — он первый принесет свои поздравления. А до тех пор, джентльмены, он останется верен пансиону М. Тоджерс.

Опять пунш, опять восторг, опять речи! Пьют за здоровье всех по очереди, кроме самого младшего из джентльменов. Тот сидит в стороне, опершись локтем на спинку свободного стула, и презрительно-злобно косится на Джинкинса. Тендер, распираемый красноречием, предлагает выпить за здоровье Бейли-младшего, слышится икота и звон разбитого

стакана. Мистер Джинкинс чувствует, что пора присоединиться к дамам. Он провозглашает напоследок здоровье миссис Тоджерс. Она достойна того, чтобы ее чествовали особо. Слушайте, слушайте! Вот именно, без сомнения достойна. Обычно все они к ней придираются, но сейчас каждый чувствует, что жизни не пожалел бы ради нее.

Они поднимаются наверх, где их не ждут так скоро: миссис Тоджерс дремлет, мисс Чарити поправляет прическу, а Мерси полулежит в грациозной позе, устроившись на широком подоконнике, как на диване. Она торопится встать, но мистер Джинкинс умоляет ее не шевелиться; она так прелестна, так грациозна, замечает он, что просто грех ее тревожить. Она снисходит к его просьбе, смеясь обмахивается веером, роняет этот веер на пол, и все толпой бросаются поднимать его. Будучи единогласно признана царицей праздника, она становится жестокой и капризной, посылает своих поклонников с поручениями к другим джентльменам и совершенно забывает о них, прежде чем они успевают вернуться с ответом, изобретает для них тысячи пыток, раздирая их сердца в клочки. Бейли разносит чай и кофе. Вокруг Чарити тоже собралась горсточка поклонников — из тех, которые не могут пробиться к ее сестре. Самый младший из джентльменов бледен, но спокоен и по-прежнему сидит в стороне, ибо ум его находит отраду в общении с самим собой и душа его бежит шумной беседы. Его присутствие и его обожание не остаются незамеченными. Он видит это по блеску ее глаз, по взгляду, брошенному украдкой. Берегись, Джинкинс, не доводи до крайности человека, впавшего в отчаяние!

Мистер Пексниф последовал наверх за своими молодыми друзьями и уселся на стул рядом с миссис Тоджерс. Он уже пролил чашку кофе себе на брюки, по-видимому не замечая этого обстоятельства, не видит он и того, что кусок печенья лежит у него на колене.

— Ну, как же они вас чествовали там, внизу? — спросила хозяйка.

— Мне был оказан такой прием, сударыня, — отвечал мистер Пексниф, — что я никогда не смогу вспомнить о нем без слез или думать о нем без волнения. Ах, миссис Тоджерс!

— Силы небесные! — воскликнула эта дама. — Отчего это вы так расстроились, сударь?

— Я человек, сударыня, — произнес мистер Пексниф, обливаясь слезами и еле ворочая языком, — но кроме того, я отец семейства. Кроме того, я вдовец. Мои чувства, миссис Тоджерс, нельзя окончательно задушить подушкой, как малолетних принцев в Тауэре^[34]. Они в полном расцвете, и сколько бы я ни старался подавить их, они все-таки прорвутся!

Тут он вдруг заметил кусок печенья у себя на колене и устоялся на

него, бессмысленно покачивая головой, с таким убитым видом, будто в этом кондитерском изделии таился его злой гений и мистер Пексниф посылал ему кроткий упрек.

— Она была прекрасна, миссис Тоджерс! — сказал он без всяких предисловий, обращая к ней свои осовелые глаза. — У нее было небольшое состояние.

— Так мне говорили, — отозвалась миссис Тоджерс весьма сочувственно.

— Вот это ее дочери, — сказал мистер Пексниф, указывая на девиц и расстраиваясь еще больше. Миссис Тоджерс в этом не сомневалась.

— Мерси и Чарити, — сказал мистер Пексниф. — Милосердие и Сострадание. Надеюсь, в этих именах нет ничего греховного?

— Мистер Пексниф! — воскликнула миссис Тоджерс. — Какая ужасная улыбка! Уж не больны ли вы, сударь?

Он сжал рукой ее плечо и ответил очень торжественно и очень слабым голосом:

— Хроническое.

— Гастрическое? — вскрикнула испуганная миссис Тоджерс.

— Хроническое, — повторил он с некоторым усилием. — Это хроническое. Хроническая болезнь. Я с детства этим страдаю. Она сведет меня в могилу.

— Боже сохрани! — вскрикнула миссис Тоджерс.

— Да, сведет, — повторил мистер Пексниф, в отчаянии махну на все рукой. — И пусть, я даже рад. Вы на нее похожи, миссис Тоджерс.

— Оставьте мое плечо, мистер Пексниф, прошу вас. Как бы не увидел кто из джентльменов.

— Ради нее, — сказал мистер Пексниф. — Позвольте мне — в память покойницы. Ради голоса из-за могилы... Вы так похожи на нее, миссис Тоджерс. В каком мире мы живем!

— Ах! Вот уж, можно сказать, ваша правда! — воскликнула миссис Тоджерс.

— Боюсь, что это легкомысленный и тщеславный мир! — изрек мистер Пексниф, преисполняясь скорби. — Эти молодые люди вокруг нас... Разве они понимают, какая на нас лежит ответственность? Ничуть. Дайте мне другую вашу руку, миссис Тоджерс.

Миссис Тоджерс заколебалась и ответила, что это, пожалуй, ни к чему.

— Разве голос из-за могилы не имеет никакого значения? — сказал мистер Пексниф с нежным укором. — Какое неверие! Чудное создание!

— Тише! — убеждала его миссис Тоджерс. — Ну что вы это, право!

— Это не я, — ответил мистер Пексниф. — Не думайте, что это я. Это голос, ее голос.

Покойная миссис Пексниф обладала, как видно, необыкновенно густым и хриплым для дамы голосом, несколько даже заикающимся голосом и, сказать по правде, довольно-таки пьяным голосом, если он хоть сколько-нибудь был похож на тот, каким говорил мистер Пексниф. Возможно, однако, что он ошибался.

— Это был радостный день для меня, миссис Тоджерс, но это был и мучительный день. Он напомнил мне о моем одиночестве. Что я такое на земле?

— Джентльмен редких качеств, мистер Пексниф, — отвечала миссис Тоджерс.

— Что же, тут есть своего рода утешение, — воскликнул мистер Пексниф. — Но так ли это?

— Лучше вас не найти человека, — сказала миссис Тоджерс. — Я уверена.

Мистер Пексниф улыбнулся сквозь слезы и слегка покачал головой.

— Вы очень добры, — сказал он, — благодарю вас. Для меня всегда большая радость, миссис Тоджерс, осчастливить кого-нибудь из молодого поколения. Счастье моих учеников — это главная цель моей жизни. Я просто души в них не чаю. Они тоже души во мне не чают — иногда.

— Всегда, я думаю, — сказала миссис Тоджерс.

— Когда они говорят, будто ничему не выучились у меня, сударыня, — прошептал мистер Пексниф, глядя на миссис Тоджерс с таинственностью заговорщика и делая знак, чтобы она подставила ухо поближе, — когда они говорят, будто ничему не выучились и будто бы плата слишком высока, — они лгут, сударыня! Мне бы, вполне естественно, не хотелось этого касаться, и вы меня поймете, но я говорю вам по старой дружбе: они лгут!

— Какие, должно быть, дрянные мальчишки! — сказала миссис Тоджерс.

— Сударыня, — произнес мистер Пексниф, — вы правы. Я уважаю вас за это замечание. Позвольте сказать вам на ухо. Родителям и Опекунам! Надеюсь, это останется между нами, миссис Тоджерс?

— О, совершенно между нами, разумеется! — воскликнула эта дама.

— Родителям и Опекунам! — повторил мистер Пексниф. — Ныне вам представляется редкая возможность, соединяющая в себе все преимущества лучшего для архитектора практического образования с семейным уютом и постоянным общением с лицами, которые, как бы ни были ограничены их способности (обратите внимание!) и скромна их

сфера, тем не менее вполне сознают свою моральную ответственность...

Миссис Тоджерс, по-видимому, никак не могла понять, что бы это могло значить, да и недаром, ибо, если читатель припомнит, это был обычный текст объявления о том, что мистеру Пекснифу нужен ученик, а сейчас оно пришлось ни к селу ни к городу. Однако мистер Пексниф поднял палец кверху, предупреждая, чтобы она его не прерывала.

— Не знаете ли вы кого-нибудь из родителей или опекунов, миссис Тоджерс, — спросил мистер Пексниф, — кто желал бы воспользоваться таким случаем для молодого джентльмена? Предпочтение будет оказано сироте.

Не знаете ли вы какого-нибудь сироты с тремя или четырьмя сотнями фунтов дохода?

Миссис Тоджерс призадумалась, потом покачала головой.

— Если вы услышите про сироту с тремя-четырьмя сотнями фунтов годового дохода, — сказал мистер Пексниф, — то пускай друзья этого милого юноши адресуют письмо с оплаченным ответом на почту в Солсбери, для С. П. Нет, нет, мне неизвестно, кто он такой. Не тревожьтесь, миссис Тоджерс, — произнес мистер Пексниф, наваливаясь на нее всей тяжестью, — это хроническое, хроническое! Дайте мне чего-нибудь промочить горло!

— Боже мой, мисс Пексниф! — закричала миссис Тоджерс во весь голос. — Вашему папе очень плохо!

Все опрометью бросились к мистеру Пекснифу, но сей достойный джентльмен, сделав невероятное усилие, выпрямился и, поднявшись на ноги, обвел собрание взглядом, выражавшим неизреченную мудрость. Мало-помалу это выражение уступило место улыбке, слабой, беспомощной, скорбной улыбке, умильной до приторности.

— Не сокрушайтесь обо мне, друзья мои, — ласково сказал мистер Пексниф. — Не рыдайте надо мной. Это хроническое. — И с этими словами, сделав бесплодную попытку стащить с себя башмаки, он повалился головой в камин.

Самый младший из джентльменов во мгновение ока извлек его оттуда. Да, прежде чем успел загореться хотя бы один волосок на голове мистера Пекснифа, он вытащил на предкаминный коврик его, ее отца!

Она была почти вне себя. Ее сестра тоже. Джинкинс утешал обеих. Все их утешали. Каждый нашел, что им сказать, кроме самого младшего из джентльменов, который делал всю черную работу и с благородным самопожертвованием, не замеченный решительно никем, держал голову мистера Пекснифа. Наконец все собрались вокруг мистера Пекснифа и

решили перенести его наверх, в постель. Самый младший из джентльменов получил от Джинкинса выговор за то, что разорвал сюртук мистера Пекснифа. Ха-ха! Но какое это имеет значение.

Они понесли его наверх, толкая на каждом шагу младшего из джентльменов. Спальня была на самом верху, и нести было не близко, однако и конце концов они его донесли. По дороге он все время просил чего-нибудь промочить горло. Как видно, навязчивая идея! Самый младший из джентльменов предложил ему глоток воды, за что мистер Пексниф выбранил его как нельзя обиднее.

Все остальное взяли на себя Джинкипс и Тендер; они уложили его как могли удобнее на кровать, поверх одеяла, и оставили отходящим ко сну. Но не успела еще вся компания спуститься с лестницы, как на верхней площадке, пошатываясь, возник призрак мистера Пекснифа в весьма странном одеянии. Как выяснилось, ему желательно было узнать их воззрения на жизнь человеческую.

— Друзья мои, — воскликнул мистер Пексниф, выглядывая из-за перил, — давайте совершенствовать наш разум путем взаимного обмена мнений! Будем добродетельны. Будем размышлять о жизни. Где Джинкинс?

— Здесь, — отозвался этот джентльмен. — Ложитесь-ка опять в постель.

— Постель! — сказал мистер Пексниф. — В постель! „Это плачется ленивец, громко жалуется он, для чего так рано утром вы нарушили мой сон“. Если есть среди вас юный сирота, который не прочь продекламировать остальные строки этого простенького стихотворения из сборника доктора Уотса^[35], то ныне ему предоставляется редкая возможность.

Никто на это не отважился.

— Весьма утешительно, — произнес мистер Пексниф после некоторого молчания. — Даже до чрезвычайности. Прохладно и освежительно, в особенности для ног. Ноги человека, друзья мои, представляют собою прекраснейшее произведение природы. Сравните их с деревянными ножками и заметьте разницу между анатомией природы и анатомией искусства. А знаете ли, — вдруг возвестил мистер Пексниф, перевешиваясь через перила и ни с того ни с сего переходя на игривый тон, каким он беседовал у себя дома с новыми учениками, — мне было бы весьма интересно, как представляет себе миссис Тоджерс деревянную ногу, если, конечно, она ничего не имеет против?

Так как после этой речи стало совершенно ясно, что ничего хорошего от мистера Пекснифа ждать уже нельзя, то мистер Джинкинс с мистером

Тендером опять поднялись наверх и еще раз уложили его в постель. Но не успели они спуститься и до второго этажа, как он опять выскочил на площадку; и только-только они начали спускаться с лестницы в третий раз, повторив эту операцию, как он выскочил опять. Одним словом, сколько раз его ни уводили в комнату, он каждый раз опять выскакивал на площадку, вооруженный какой-нибудь новой моральной сентенцией, и, свесившись через перила, неизменно повторял ее с таким необычайным воодушевлением и таким неукротимым стремлением учить добру своих ближних, что с ним просто сладу не было.

Ввиду таких обстоятельств, уложив мистера Пекснифа в тридцатый раз или около того, Джинкинс взялся силой удерживать его в лежащем положении, а Тендера отправил вниз, на поиски Бейли-младшего, в сопровождении которого тот вскоре и возвратился. Сей юноша, узнав, какого рода услуга от него требуется, воодушевился как нельзя больше и тотчас принес табурет, свечку и свой ужин, для того чтобы держать вахту перед дверью спальни со всевозможным комфортом.

После того как с приготовлениями было покончено, мистера Пекснифа заперли, оставив ключ снаружи и поручив Бейли-младшему внимательнее прислушиваться, не будет ли каких-нибудь симптомов апоплексического характера, угрожающих жизни пациента, и если таковые окажутся в наличии, звать на помощь немедленно; на это мистер Бейли с достоинством ответил, что он и сам не без понятия и вообще не зря ставит на письмах к друзьям адрес пансиона М. Тоджерс.

Глава X,

где творятся странные вещи, от которых окажутся в зависимости многие события нашего повествования.

Однако мистер Пексниф приехал в город по делу. Неужели он об этом забыл? Неужели он только и знал, что веселился с гостеприимными питомцами миссис Тоджерс, пренебрегая более важными обязанностями, требующими пристального внимания, в чем бы они ни заключались? Нет.

Время и прилив никого не ждут, говорит пословица. Зато каждому приходится ждать времени и прилива. Тот прилив, который, достигнув высшей точки, должен был подхватить Сета Пекснифа и понести навстречу фортуне, уже поднимался, и час его был известен. И не где-нибудь на сухом месте, позабыв о приливах и отливах, топтался нерадивый Пексниф, — нет, именно здесь, у самой воды, замочившей уже его подошвы, стоял этот достойный джентльмен, готовый барахтаться в грязи, лишь бы вместе с ней докатиться до обители своих упований.

Доверие, которым его дарили прелестные дочери, было поистине умирительно. Натуру своего родителя они знали как нельзя лучше, и это позволяло им питать твердую уверенность в том, что он никогда не упустит из виду своей основной цели, чем бы ни занимался. А что этой благородной целью и предметом всех его попечений был он сам и, стало быть, по необходимости, и они обе, девицы тоже знали. Их преданность отцу была беспримерна.

Это дочернее доверие было тем трогательнее, что истинные намерения их родителя в данном случае оставались им совершенно неизвестны. О его делах они знали только то, что каждое утро, после раннего завтрака, он уходил на почту справиться, нет ли писем. По выполнении этой задачи его деловой день бывал закончен, и он снова предавался отдыху, до тех пор пока новый восход солнца не предвещал прибытия новой почты.

Так продолжалось дня три или четыре. Наконец в одно прекрасное утро мистер Пексниф возвратился домой, едва переводя дух от спешки, что было даже странно видеть в нем, обыкновенно медлительном и спокойном, и, пожелав безотлагательно переговорить с дочерьми, заперся с ними на целых два часа для приватной беседы. Изو всего, что произошло за это время, известны только следующие слова, сказанные мистером Пекснифом:

— Нам не стоит задумываться над тем, как это вышло, что он так

изменился (если окажется, что он действительно изменился). Дорогие мои, у меня есть на этот счет свои догадки, но делиться ими я не стану. Довольно, если я скажу, что нам надо смириться духом, все простить и не помнить зла. Ему нужна наша дружба — пожалуйста. Надеюсь, мы знаем свой долг.

Около полудня в тот же день почтенный старик вышел из наемного экипажа у почтовой конторы и, назвав свою фамилию, справился, нет ли на его имя письма, оставленного до востребования. Письмо лежало уже несколько дней. Оно было надписано рукой мистера Пекснифа и запечатано печатью мистера Пекснифа.

Письмо было очень кратко и не содержало, в сущности, ничего, кроме адреса — с почтительнейшим поклоном и (невзирая на все, что произошло) совершеннейшим почтением мистера Пекснифа. Старик оторвал от него адрес, развеяв все остальное по ветру, и дал его кучеру, с наказом подъехать как можно ближе к месту. В соответствии с этим наказом он был подвезен к Монументу, где опять вышел, отпустил экипаж и пешком направился к пансиону М. Тоджерс.

Хотя все в этом Старике — и лицо, и фигура, и походка, и даже непреклонный вид, с каким он опирался на трость, — выражало неумолимую решимость и твердую волю (хорошо или дурно направленную, сейчас не имеет значения), каких в былое время не сломила бы даже пытка и кои в смертной слабости являли жизни силу, однако в нем заметны были следы колебаний, заставивших его пройти мимо дома, который он искал, и некоторое время прохаживаться взад и вперед в полосе солнечного света, пересекавшей соседнее маленькое кладбище. Быть может, в присутствии этих недвижных груд праха рядом с кипучей городской жизнью было нечто такое, что усилило его колебания, но он ходил по кладбищу взад и вперед, будя своими шагами эхо, до тех пор, пока часы на колокольне не начали во второй раз отбивать четверть и не вывели его из задумчивости. Как только в воздухе замер звон колоколов, он стряхнул с себя оцепенение и, подойдя к дому большими шагами, постучался в дверь.

Мистер Пексниф сидел в комнатке хозяйки, и гость застал его — совершенно случайно, мистер Пексниф даже извинился — за чтением серьезнейшего богословского трактата. Рядом, на маленьком столике, стояли вино и печенье — опять-таки случайно, и мистер Пексниф опять-таки извинился. По его словам, он уже перестал ожидать гостя, и когда тот постучался в дверь, собирался разделить это скромное угощение со своими дочерьми.

— Дочери ваши здоровы? — спросил старик, кладя шляпу и трость.

Отвечая на этот вопрос, мистер Пексниф напрасно пытался скрыть свое родительское волнение. Да, они здоровы. Они добрые девушки, сказал он, очень добрые. Он не берет на себя смелость советовать мистеру Чезлвиту сесть в кресло или держаться подальше от сквозняка. Он опасается, что, отважившись на это навлечет на себя самые несправедливые подозрения. Поэтому он ограничится указанием, что в комнате есть кресло и что от двери дует. С этим последним неудобством, если ему будет позволено прибавить еще одно слово, довольно часто приходится встречаться в старых домах.

Старик сел в кресло и после нескольких минут молчания сказал:

— Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за то, что вы так скоро приехали в Лондон по моей просьбе, не спрашивая о причинах, — приехали, разумеется, за мой счет.

— За ваш счет, уважаемый сэр? — воскликнул мистер Пексниф тоном величайшего изумления.

— Не в моих правилах, — продолжал Мартин, нетерпеливо отмахнувшись рукой, — не в моих правилах вводить моих... ну, родственников, что ли, в какие бы то ни было расходы из-за личных капризов.

— Капризов, уважаемый сэр? — воскликнул мистер Пексниф.

— Да, это слово едва ли тут подходит, — сказал старик. — Да, вы правы.

Услышав это, мистер Пексниф в душе очень обрадовался, хотя и неизвестно почему.

— Да, вы правы, — повторил Мартин. — Это не каприз. Это доказано, проверено рассудком и испытано путем беспристрастного сравнения. С капризами так не бывает. Кроме того, я человек не капризный. И никогда не был капризным.

— Вне всякого сомнения, нет, — сказал мистер Пексниф.

— А вы почему знаете? — возразил старик резко. — Вы только теперь начнете со мной знакомиться. Вам предстоит проверить это на деле в самом ближайшем времени. Вы и ваши еще узнаете, что я могу быть тверд, и уж если я что задумал, меня не собьешь с толку. Слышите?

— Как нельзя лучше, — сказал мистер Пексниф.

— Я очень сожалею, — размеренно и не спеша продолжал Мартин, глядя прямо в глаза собеседнику, — я очень сожалею, что в последнюю нашу встречу между нами произошел такой разговор. Я очень сожалею, что был так откровенен с вами. Теперь у меня совершенно другие намерения:

брошенный всеми, кому я доверился, обманутый и обойденный всеми, кто должен был бы оказывать мне помощь и поддержку, я обращаюсь к вам в поисках убежища. Я хочу, чтобы вы стали моим союзником, чтобы вас соединял со мной личный интерес и надежды на будущее, — он с особенным ударением произнес эти слова, хотя мистер Пексниф настойчиво просил его не беспокоиться, — и с вашей помощью последствия самой гнусной низости, лицемерия и коварства обрушатся на головы истинных виновников.

— Достойный сэр! — воскликнул мистер Пексниф, схватывая протянутую ему руку. — Вам ли сожалеть о том, что вы думали обо мне несправедливо! Вам ли, с вашими седыми волосами!

— Сожаления, — сказал Мартин, — неотъемлемый удел седых волос, и хотя бы эта доля человеческого наследия у меня общая со всеми людьми. Но довольно об этом. Я сожалею, что так долго чуждался вас. Если б я узнал вас раньше и раньше начал обращаться с вами, как вы того заслуживаете, я, возможно, был бы счастливее.

Мистер Пексниф воззрился на потолок и сжал в умилении руки.

— Ваши дочери, — сказал Мартин после недолгого молчания. — Я их не знаю. Похожи они на вас?

— В подбородке моей младшей дочери и носу старшей, — отвечал вдовец, — возродился ангел на земле — не я, но их родительница, святая женщина!

— Я говорю не о внешности, — возразил старик. — О духовном сходстве, о духовном!

— Не мне об этом судить, — ответил мистер Пексниф с кроткой улыбкой. — Я сделал все, что мог, сэр.

— Мне бы хотелось их видеть, — сказал Мартин. — Они тут где-нибудь близко?

Да, они были очень близко: по правде сказать, они подслушивали за дверью с самого начала разговора и до последней минуты, но тут поспешно ретировались. Стерев следы родительской слабости со своих глаз и, таким образом, дав дочерям время подняться наверх, мистер Пексниф отворил дверь и ласково крикнул в коридор:

— Дорогие мои девочки, где вы?

— Здесь, милый папа! — ответил издали голос Чарити.

— Прощу тебя, сойди в малую гостиную, душа моя, — сказал мистер Пексниф, — и приведи с собой сестру.

— Хорошо, милый папа! — крикнула в ответ Мерри; и обе сейчас же сошли вниз (воплощенное послушание!), напевая на ходу.

Трудно описать, как удивились обе мисс Пексниф при виде незнакомого гостя, сидевшего вместе с их милым папой. Невозможно изобразить, как обе они замерли в немом изумлении при его словах: „Дети мои, это мистер Чезлвит!“ Когда же мистер Пексниф сказал им, что они теперь друзья с мистером Чезлвитом и что добрые и ласковые речи мистера Чезлвита потрясли его душу и проникли в самое сердце, обе мисс Пексниф воскликнули в один голос: „Слава богу!“ — и бросились на шею старику. И обняв его с таким пылким чувством, которое просто не поддается описанию, они потом не отходили ни на шаг от его кресла, ухаживали за ним и вообще вели себя так, будто никогда не мечтали о другом счастье на земле, кроме возможности предупреждать все его желания, служить ему, излить на закат его жизни всю ту любовь, которая могла бы до краев заполнить их существование с самого детства, если бы только он сам — милый упрямец! — согласился тогда принять эту бесценную жертву.

Старик внимательно переводил глаза с одной на другую, потом взглянул на мистера Пекснифа.

— Как их зовут? — спросил он мистера Пекснифа, случайно поймав его опускающийся взор, до сих пор набожно возведенный горе, с тем выражением, какое стихотворцы исстари приписывают птичке, выпускающей последний вздох при раскатах грома и блеске молнии.

Мистер Пексниф назвал их имена и прибавил торопливо, в надежде, как, вероятно, сказали бы клеветники, что у старика могла появиться мысль о завещании:

— Быть может, дорогие мои, вам лучше написать свои имена. Ваши скромные автографы сами по себе не имеют ценности, но истинная любовь конечно оценит их.

— Истинная любовь, — сказал старик, — обратится на живые оригиналы. Не беспокойтесь, милые мои, я не так скоро вас забуду, Чарити и Мерси, чтобы мне понадобились напоминания. Кузен!

— Сэр? — с готовностью отозвался мистер Пексниф.

— Неужели вы никогда не садитесь?

— Нет, отчего же, сэр, иногда сажусь, — ответил мистер Пексниф, который стоял все это время.

— Не угодно ли вам сесть?

— Как можете вы спрашивать, сэр, — возразил мистер Пексниф, моментально скользнув на стул, — хочу ли я сделать то, чего желаете вы?

— Я вижу, вы доверяетесь мне, — сказал Мартин, — и намерения у вас добрые; однако вам едва ли известно, что такое стариковские причуды. Вы не знаете, каково поддакивать старику во всех его пристрастиях и

предубеждениях, потакать его предрассудкам, слушаться его во всем, терпеть подозрительность и придирки и тем не менее всегда с одинаковым усердием прислуживать ему. Когда я вспоминаю, сколько у меня недостатков, и недостатков поистине исключительных, судя уже по тому, как несправедливо я думал о вас, — мне кажется, я не смею рассчитывать на вашу дружбу.

— Досточтимый сэр, — ответил его родственник, — зачем предаваться таким тягостным размышлениям? Было более чем естественно с вашей стороны сделать одну незначительную ошибку, когда во всех других отношениях вы нисколько не ошибались и оказались безусловно правы, — к сожалению, безусловно и бесспорно правы, — видя всех окружающих вас в самом черном свете!

— Да, правда, — ответил старик. — Вы очень снисходительны ко мне.

— Мои дочери и я, мы всегда говорили, — воскликнул мистер Пексниф еще более подобострастно, — что хотя мы и оплакиваем наше тяжкое несчастье, то есть то, что нас поставили на одну доску с людьми низкими и корыстными, все же мы этому не удивляемся. Дорогие мои, помните, мы об этом говорили?

Еще бы не помнить! Сотни раз!

— Мы не жаловались, — продолжал мистер Пексниф. — Время от времени мы позволяли себе утешаться мыслью, что истина все же победит и добродетель восторжествует, — но не часто. Милые мои, вы помните Это?

Ну конечно! Какие же тут могут быть сомнения, милый папа? Вот странный вопрос!

— А когда я увидел вас, — заключил мистер Пексниф еще более почтительно, — в той маленькой, скромной деревушке, где мы, если позволительно так выразиться, влачим существование, я только позволил себе заметить, что вы во мне несколько ошибаетесь, досточтимый; и это было, мне кажется, все.

— Нет, не все, — ответил Мартин, который сидел, прикрыв лоб рукой, и только теперь взглянул на мистера Пекснифа. — Вы сказали гораздо больше; и это вместе с другими обстоятельствами, которые стали мне известны, открыло мне глаза. Вы вполне бескорыстно замолвили слово за... надо ли говорить, за кого! Вы знаете, о ком я говорю.

Смятение изобразилось на лице мистера Пекснифа, и, крепко сжав трепетные руки, он ответил смиренно:

— Совершенно бескорыстно, сэр, уверяю вас.

— Я это знаю, — сказал старик, спокойно как всегда. — Я уверен в

этом. Я так и сказал. И с тем же бескорыстием вы отвлекли от меня стаю гарпий и сами сделали их жертвой. Другой на вашем месте сначала дал бы им проявить всю их алчность, чтобы по сравнению с ними выиграть в моем мнении. А вы пожалели меня и отвлекли их, за что мне и следует вас поблагодарить. Так что, видите, мне известно все, что произошло за моей спиной, хоть я и уехал отсюда!

— Вы меня удивляете, сэр! — воскликнул мистер Пексниф, что было истинной правдой.

— Но это еще не все, что мне известно о вашем поведении, — продолжал старик. — У вас в доме есть новый жилец.

— Да, сэр, есть, — ответил архитектор.

— Он должен уехать, — сказал старик.

— Куда? К вам? — растерянно и с дрожью в голосе спросил мистер Пексниф.

— Туда, где сможет — найти себе приют, — отвечал старик. — Он обманул вас.

— Надеюсь, что нет, — с жаром сказал мистер Пексниф. — Верю и надеюсь, что нет. Я был в высшей степени расположен к этому молодому человеку. Надеюсь, нельзя будет доказать, что он лишил себя всяких прав на мою поддержку. Обман, обман, уважаемый мистер Чезлвит, — ничего не может быть хуже обмана. Если будет установлено, что он меня обманул, я сочту себя вынужденным немедленно отречься от него.

Старик взглянул на его прелестных союзниц, а особенно на мисс Мерси, которой он посмотрел прямо в лицо с гораздо большим интересом и оживлением, чем обнаруживал до сих пор. Опять встретивши взгляд мистера Пекснифа, он сказал сдержанно:

— Вам, разумеется, известно, что он уже выбрал себе подругу жизни?

— Боже мой! — воскликнул мистер Пексниф, изо всех сил ероша волосы и глядя на дочерей дикими глазами. — Это превосходит всякое вероятие!

— Вам это известно? — повторил Мартин.

— Но ведь не без разрешения и одобрения своего дедушки, достоуважаемый сэр? — воскликнул мистер Пексниф. — Нет, лучше не говорите мне! Из уважения к природе человеческой не говорите мне ничего подобного!

— Я так и думал, что он скрыл это от вас, — сказал старик.

Негодование, которое ощутил мистер Пексниф при этом ужасном открытии, могло сравниться только с пламенным гневом его дочерей. Как! Они допустили к себе в дом, к своему семейному очагу змея,

обручившегося тайно, крокодила, который присватался к кому-то на стороне, нищего самозванца, притворщика, выдающего себя за холостяка и обманом втершегося в их девический мир?! И подумать только, что он позволял себе обманывать кроткого, почтенного старика, имя которого он носит, доброго и нежного опекуна, который заменил ему отца (не говоря уже о матери), — ужасно, просто ужасно! Выгнать его с позором — этого мало. Неужели за такие дела не полагается наказания или штрафа? Возможно ли, чтобы в законах страны это было упущено из виду и за такое преступление не назначено кары? Изверг! Как подло он обманул их!

— Я очень доволен, что вы так горячо меня поддержали, — сказал старик, поднимая руку, чтобы остановить поток их гнева. — Не стану отрицать, меня радует такое ваше рвение. Будем считать, что с этим предметом покончено.

— Нет, достоуважаемый сэр, — воскликнул мистер Пексниф, — не покончено, пока я не очищу свой дом от скверны!

— Все в свое время, — сказал старик. — Будем считать, что это уже сделано вами.

— Вы очень добры, сэр, — ответил мистер Пексниф, пожимая ему руку. — Вы делаете мне честь. Да, вы можете так считать, даю вам мое слово!

— Есть другое дело, — сказал Мартин, — в котором вы мне, надеюсь, поможете. Вы помните Мэри, кузен?

— Это та самая молодая особа, которая произвела на меня такое глубокое впечатление? Дорогие мои, я уже говорил вам, — заметил мистер Пексниф, обращаясь к дочерям. — Простите, что я прервал вас, сэр.

— Я рассказывал вам ее историю, — продолжал старик.

— И об этом я тоже говорил вам, — помните, милые мои? — воскликнул мистер Пексниф. — Такие дурочки, мистер Чезлвит, — они чуть не расплакались, сэр, представьте себе!

— Да что вы! — сказал Мартин, по-видимому очень довольный. — Я боялся, что мне придется убеждать вас, просить, чтобы вы отнеслись к ней доброжелательно ради меня. А вы, оказывается, не завистливы? Что ж, завидовать вам, конечно, нет причины. Она от меня ничего не получит, милые мои, и это ей известно.

Обе мисс Пексниф пролепетали свое одобрение такой мудрой предусмотрительности и сочувственно отозвались об ее интересной жертве.

— Если бы я мог предвидеть то, что произошло сейчас между нами четверыми, — сказал старик в раздумье, — впрочем, теперь уже поздно об

этом думать. Так вы встретите ее приветливо, барышни, и будете к ней добры, если понадобится?

Где та сиротка, которую обе мисс Пексниф не приняли бы с восторгом в свои распростертые сестринские объятия? А уж если эту сиротку поручал их заботам тот, на кого, прорвав, наконец, плотину, хлынули их долго сдерживаемые чувства, — судите сами, какие неисчерпаемые запасы нежности должны были излиться на нее!

Последовала пауза, в продолжение которой мистер Чезлвит сидел в раздумье, уставясь в землю и не говори ни слова; и так как он явно не желал, чтобы его размышления были нарушены, мистер Пексниф и обе его дочери тоже хранили глубокое молчание. Во все время разговора старик подавал свои реплики с какой-то холодной, безжизненной готовностью, словно затвердил их наизусть и устал повторять сотни раз одно и то же. Даже в те минуты, когда его слова были всего теплее и тон всего ласковее, он оставался все таким же, нисколько не смягчаясь. Но вдруг его глаза оживились и заблестели, и голос стал как будто выразительнее, когда он произнес, очнувшись от задумчивости:

— Вы знаете, что об этом скажут? Подумали вы?

— О чем скажут, досточтимый сэр? — спросил мистер Пексниф.

— Об этом новом согласии между нами.

Мистер Пексниф выразил на своем лице мудрую снисходительность, давая понять, что он выше всех низменных кривотолков, а вслух заметил, покачав головой, что без сомнения говорить будут очень многое.

— Очень многое, — подтвердил старик. — Некоторые скажут, что я выжил из ума на старости лет, одряхлел после болезни, ослаб духом и выпадаю в детство. Выдержите ли вы все это?

Мистер Пексниф отвечал, что выдержать это будет необычайно трудно, однако он думает, что выдержит, если приложит все силы.

— Другие скажут — я говорю о разочарованных, озлобленных людях, — что — вы лгали, прислуживались, пресмыкались, стараясь втереться ко мне в доверие, и что таких сделок с совестью, такого криводушия, таких низостей и таких отвратительных подлостей не сможет оплатить ничто — да, ничто, хотя бы вы получили в наследство полмира! Выдержите ли вы это?

Мистер Пексниф ответил, что это тоже нелегко будет выдержать, поскольку здесь в известной мере подвергается сомнению здравый смысл мистера Чезлвита, Однако он питает скромную уверенность, что выдержит даже и эту клевету, опираясь на свою чистую совесть и на дружбу мистера Чезлвита.

— У большинства клеветников, — продолжал старик Мартин, откидываясь на спинку кресла, — сплетня, насколько я догадываюсь, примет такой вид: обо мне скажут, что, желая выразить свое презрение к этому сброду, я выбрал среди них худшего из худших, заставил его плясать по своей дудке, приблизил к себе и осыпал золотом, обойдя всех остальных. Скажут, что после долгих поисков такого наказания, которое больнее всех других поразило бы этих коршунов и было бы для них всего горше, я придумал этот план в то самое время, когда последнее звено цепи, соединявшей меня с моей родней узами любви и долга, было грубо разорвано; грубо — потому что я любил его; грубо — потому что я верил в его привязанность ко мне; грубо — потому что он порвал эту цепь именно тогда, когда я любил его всего сильнее. О боже, боже! Как мог он оставить меня без всякого сожаления, когда я прилепился к нему всем сердцем! Так вот, — продолжал старик, успокаиваясь так же мгновенно, как и поддался этой вспышке чувства, — уверены ли вы, что выдержите и это? Знайте, что вам приходится рассчитывать только на себя, и не надейтесь на мою поддержку!

— Дорогой мой мистер Чезлвит! — в умилении воскликнул мистер Пексниф. — Для такого человека, каким вы себя показали сегодня, для человека, так глубоко оскорбленного и в то же время исполненного гуманных чувств, для человека, который... не знаю, как бы это выразить... и который в то же время так удивительно... просто не нахожу слов... для такого именно человека, думаю, не будет с моей стороны преувеличением сказать, что я и — надеюсь, можно прибавить — обе мои дочери (дорогие мои, у нас, кажется, в этом вопросе полное согласие?) — для такого человека мы вынесли бы решительно все на свете!

— Довольно! — сказал Мартин. — Я не отвечаю за последствия. Когда вы возвращаетесь домой?

— Когда вам будет угодно, сэр. Сегодня же, если вы этого желаете.

— Я не желаю ничего неразумного, — возразил старик. — А такая просьба с моей стороны была бы неразумна. Сможете ли вы вернуться к концу недели?

Именно этот срок мистер Пексниф назвал бы и сам, если бы ему был предоставлен выбор. Что касается его дочерей, то слова: „Давай вернемся в субботу, милый папа“, — уже готовы были сорваться у них с языка.

— Ваши расходы, кузен, — сказал старик, доставая из бумажника сложенную бумажку, — возможно, превышают эту сумму. Если это так, вы сообщите мне, сколько я вам должен, в следующую нашу встречу. Вам нет надобности знать, где я живу сейчас: у меня, в сущности, нет постоянного

адреса. Когда он у меня будет, я извещу вас. Вы и ваши дочери увидите меня в самом скором времени, а до тех пор — незачем и говорить вам — каждому из нас следует хранить эту беседу в тайне. Что именно вам надлежит сделать по возвращении домой, вы уже знаете. Отчета мне не нужно; не нужно вообще никаких напоминаний. Прошу об этом как об одолжении. Я не люблю тратить лишних слов, кузен, и, мне кажется, все, что надо было сказать, уже сказано.

— Рюмку вина, сэр, ломтик вот этого простого кекса? — упрасивал мистер Пексниф, пытаясь удержать гостя. — Дорогие мои! Что же вы?

Обе сестры бросились угощать старика.

— Бедные мои девочки! — сказал мистер Пексниф. — Вы извините их волнение, сэр. Они у меня сама чувствительность. Это неходкий товар, мистер Чезлвит, с ним не проживешь на свете. Моя младшая дочь тоже совсем взрослая женщина, не правда ли, сэр? Почти такая же, как старшая.

— А которая из них моложе? — спросил старик.

— Мерси моложе на пять лет, — ответил мистер Пексниф. — Мы иногда позволяем себе думать, что у нее статная фигура. Мне, как художнику, быть может разрешено будет указать на изящество и правильность ее сложения. Я, естественно, горжусь, — продолжал мистер Пексниф, вытирая руки платком и почти при каждом слове беспокойно поглядывая на кузена, — что у меня есть дочь, которая сложена наподобие лучших образцов скульптуры, если можно так выразиться.

— Она, по-видимому, очень живого нрава? — заметил Мартин.

— Боже мой! — воскликнул мистер Пексниф. — Это поистине замечательно! Вы так верно определили ее характер, досточтимый сэр, будто знаете ее с рождения. Да, она весьма живого нрава. Смею вас уверить, сэр, ее веселость очень оживляет наш незатейливый домашний мирок.

— Не сомневаюсь, — отозвался старик.

— Чарити, с другой стороны, — продолжал мистер Пексниф, — отличается большим здравым смыслом и необыкновенной глубиной чувства, если отцу извинительно такое отцовское пристрастие. На редкость привязаны друг к другу, достоуважаемый сэр! Разрешите мне выпить за ваше здоровье! Желаю вам!

— Еще месяц назад я не мог и думать, — отвечал Мартин, — что буду есть с вами хлеб и пить вино. За ваше здоровье!

Отнюдь не смутившись необычайной сухостью, с какой были сказаны последние слова, мистер Пексниф рассыпался перед ним в благодарностях.

— А теперь позвольте мне уйти, — сказал Мартин, ставя на стол

рюмку, которую он только пригубил. — Всего хорошего, милые мои!

Но такое прохладное прощание показалось недостаточным для нежных, стремительных чувств обеих девиц, которые опять бросились обнимать старика от всей души и уж во всяком случае изо всех сил, чему их новообретенный друг подчинился гораздо более кротко, чем можно было бы ожидать от человека, который всего минуту назад так нелюбезно пил за здоровье их папаши. Как только нежности кончились, старик коротко попрощался с мистером Пекснифом и удалился, сопровождаемый до самой двери отцом и дочерьми, которые стояли в дверях, расточая воздушные поцелуи и ласковые улыбки, пока он не скрылся из виду, — хотя, по правде сказать, едва переступив порог, старик ни разу уже потом не оглянулся. Как только они снова вернулись в дом и остались одни в комнате миссис Тоджерс, обе девицы пришли в необыкновенно веселое настроение, до того даже, что хлопали в ладоши и хохотали, плутовски и задорно поглядывая на своего драгоценного родителя. Это поведение было до такой степени необъяснимо, что мистер Пексниф (будучи сам настроен довольно мрачно) не мог не спросить их, что все это значит, и даже сделал им выговор за такое легкомыслие, впрочем довольно мягкий.

— Если бы для этой веселости имелась какая-либо причина, хотя бы самая отдаленная, — сказал он, — я бы не стал вас упрекать. Но когда причины не может быть решительно никакой... ну право же, никакой ровно!..

Это увещание столь мало подействовало на Мерси, что она была вынуждена приложить платок к своим розовым губкам и откинуться на спинку стула, по всем признакам едва сдерживая смех. Мистер Пексниф был до такой степени оскорблен ее непослушанием, что упрекнул дочь довольно сурово и дал ей родительский совет уединиться и подумать о своем поведении. Но тут его прервал шум спорящих голосов, и поскольку этот шум доносился из соседней комнаты, то содержание спора в самом скором времени достигло их ушей.

— Мне какое дело, миссис Тоджерс! — говорил молодой джентльмен, тот, что был самым молодым из всего общества на обеде. — Никакого мне нет дела до вашего Джинкинса. Даже вот столько я о нем не забочусь, — сказал он, прищелкнув пальцами. — И не думайте, пожалуйста.

— Да я вовсе и не думаю, сэр, — отвечала миссис Тоджерс. — С вашим независимым умом и сильным характером вы никому на свете не уступите. И совершенно правильно. С какой стати вы должны уступать кому бы то ни было из джентльменов? Пускай все так и знают.

— Мне ничего не стоит пристрелить вашего Джинкинса, — говорил

молодой человек отчаянным голосом, — он для меня все равно что любая собака.

Миссис Тоджерс даже и не подумала спросить, зачем ее жильцу понадобилось пристрелить собаку, и не лучше ли оставить эту собаку в покое, пускай живет, сколько ей назначено природой, — она только заломила руки и слегка простонала.

— И пускай держит ухо востро, — говорил молодой человек. — Предупреждаю. Пусть лучше никто не становится мне поперек дороги, когда я жажду отомстить. Я знаю тут одного парня, — в волнении у него сорвалось с языка это вульгарное слово, но он тут же поправился, прибавив: — то есть джентльмена со средствами, который каждый день стреляет в цель из собственных пистолетов, у него же их, кстати, пара. Так вот, в конце концов меня доведут до того, что я займу пистолеты у этого джентльмена и отправлю к Джинкинсу своего секунданта, и тогда во всех газетах будет напечатано об этой трагедии. Вот и все.

Миссис Тоджерс опять простонала.

— Я долго терпел молча, — продолжал младший из джентльменов, — но больше я этого выносить не намерен, вся душа у меня просто кипит. Я ведь даже из дому уехал из-за того, что есть во мне такая черта характера: не захотел быть под башмаком у сестры — и все! Так что же вы думаете, неужели я позволю этому вашему Джинкинсу сесть мне на голову? Никогда.

— Это очень нехорошо со стороны мистера Джинкинса, я думаю, прямо-таки непростительно, если у него такие намерения, — поторопилась вставить миссис Тоджерс.

— А какие же еще? — воскликнул самый младший из джентльменов. — Кто перебивает меня и противоречит мне на каждом шагу? Кто не жалеет усилий, чтобы оттереть меня от предмета моего поклонения, чем бы или кем бы я ни увлекся? Кто делает вид, будто совсем позабыл про меня, каждый раз как наливает всем пиво? Кто постоянно хвастается своими бритвами и делает оскорбительные намеки на людей, которым нет надобности бриться чаще одного раза в неделю? Только уж пусть глядит в оба! Как бы я его не отбрил, вот что я ему скажу.

Молодой человек допустил одну незначительную ошибку в этой последней фразе: он обратился с этой угрозой не к Джинкинсу, а все к той же миссис Тоджерс.

— Впрочем, — поправился он, — все это материя не для дамских ушей. Вам же, миссис Тоджерс, я могу сказать только одно: я от вас съезжаю ровно через неделю после той субботы. Я больше не в состоянии

жить под одной крышей с этим мерзавцем. Если до того времени у нас обойдется без кровопролития — ваше счастье, миссис Тоджерс. Не думаю, однако, чтобы обошлось.

— Боже мой, боже мой! — воскликнула миссис Тоджерс. — Чего бы я только не дала, чтобы этого не было! Потерять вас, сэр, это для моего заведения все равно что потерять правую руку. Вы пользуетесь такой популярностью среди джентльменов, все вас так уважают, так любят! Надеюсь, вы передумаете — если не ради кого-нибудь другого, то хотя бы ради меня.

— У вас остается ваш Джинкинс, — сказал молодой человек мрачно. — Ваш любимчик. Он утешит и вас и всех ваших постояльцев, хотя бы вы потеряли двадцать таких, как я. Меня не понимают в этом доме. И никогда не понимали.

— Не поддавайтесь этой губительной мысли, сэр! — воскликнула миссис Тоджерс тоном самого искреннего протеста. — Не обвиняйте понапрасну наше заведение, прошу вас! Этого просто быть не может, сэр. Говорите что хотите против джентльменов или против меня, только не говорите, что вас не понимают в этом доме.

— Если бы понимали, тогда не обращались бы так, — отвечал молодой человек.

— Вот в этом, вы очень ошибаетесь, — возразила миссис Тоджерс все тем же тоном. — Как не раз говорили и многие из джентльменов, и я сама, вы чересчур впечатлительны. В этом вся суть. Слишком у вас чувствительная натура; таким уж вы родились.

Молодой человек кашлянул.

— А что касается мистера Джинкинса, — продолжала миссис Тоджерс, — то, уж если нам суждено расстаться, я прошу вас понять, что я нисколько не потакаю мистеру Джинкинсу. Вовсе нет. Я бы желала, чтобы мистер Джинкинс не командовал в моем заведении и не становился причиной недоразумений между мной и джентльменами, с которыми мне будет гораздо тяжелее расстаться, чем с мистером Джинкинсом. Мистер Джинкинс вовсе не такой постоялец, — прибавила миссис Тоджерс, — чтобы ради него жертвовать всеми, кого я уважаю и кому сочувствую. Совершенно наоборот, уверяю вас.

Молодой человек настолько смягчился от этих и им подобных слов миссис Тоджерс, что они с ней как-то незаметно обменялись ролями; теперь она была оскорбленной стороной, причем подразумевалось, что он-то и есть оскорбитель, но в самом лестном, отнюдь не обидном смысле, поскольку его жестокое поведение приписывалось исключительно

возвышенности натуры — и ничему больше. В конце концов молодой человек раздумал съезжать и долго уверял миссис Тоджерс в своем неизменном уважении к ней, после чего отправился на службу.

— Боже мой, душеньки мои мисс Пексниф! — воскликнула эта дама, входя в малую гостиную, усаживаясь на стул с корзинкой на коленях и в изнеможении роняя на нее руки. — Какие нужны нервы, чтобы вести такой дом. Вам, я думаю, было слышно, что тут происходит? Ну, видали ли вы что-нибудь подобное?

— Никогда! — отвечали обе мисс Пексниф.

— Видала я на своем веку бестолковых мальчишек, — продолжала миссис Тоджерс, — но такого пустого и вздорного вижу первый раз. Правда, мистер Джинкинс бывает с ним строг, но все же не так, как он того заслуживает. Ставить себя на одну доску с таким джентльменом, как мистер Джинкинс! Это, знаете ли, уж слишком! Да еще хорохорится, господь с ним, как будто они ровня!

Девиц очень позабавило объяснение миссис Тоджерс, а еще больше кое-какие, весьма кстати рассказанные анекдоты, рисующие характер молодого человека. Зато мистер Пексниф сурово и гневно нахмурился и, как только она замолчала, произнес многозначительно:

— Простите, миссис Тоджерс, нельзя ли спросить, сколько именно вкладывает этот молодой человек в хозяйство вашего заведения?

— Ну, много ли там с него приходится, сэр; он платит за все шиллингов восемнадцать в неделю! — сказала миссис Тоджерс.

— Восемнадцать шиллингов в неделю! — повторил мистер Пексниф.

— Неделя на неделю не приходится, но что-то около того, — отвечала миссис Тоджерс.

Мистер Пексниф поднялся со стула, скрестил руки на груди, взглянул на миссис Тоджерс и покачал головой:

— И вы хотите сказать, сударыня, — мыслимо ли это, миссис Тоджерс, — что из-за такого ничтожного вознаграждения, как восемнадцать шиллингов в неделю, женщина с вашим умом способна унизиться до фальши, до двуличия, хотя бы на одну только минуту?

— Ведь должна же я как-то выходить из положения, сэр, — нерешительно пролепетала миссис Тоджерс. — Надо и о том позаботиться, чтобы они не ссорились, и о том, чтобы мне не растерять жильцов. Пользы от них очень мало, мистер Пексниф.

— Польза! — воскликнул мистер Пексниф, делая сильное ударение на этом слове. — Польза, миссис Тоджерс! Вы меня изумляете!

Он был до такой степени беспощаден, что миссис Тоджерс ударилась в

слезы.

— Польза! — повторил мистер Пексниф. — Польза притворства! Поклоняться золотому тельцу, или Ваалу^[36], — ради восемнадцати шиллингов в неделю!

— Не судите меня слишком строго, мистер Пексниф, — всхлипнула миссис Тоджерс, доставая платок из кармана.

— О телец, телец! — скорбно провозгласил мистер Пексниф. — О Ваал, Ваал! О друг мой, миссис Тоджерс! Пресмыкаться перед всякой тварью, променять эту бесценную жемчужину — уважение к себе — на восемнадцать шиллингов в неделю!

Он был так подавлен и расстроен этой мыслью, что тут же снял шляпу с гвоздика в коридоре и вышел прогуляться для успокоения чувств. Каждому, кто встречался с ним на улице, с первого взгляда становилось ясно, что перед ним добродетельный человек: после нравоучения, прочитанного им миссис Тоджерс, вся его фигура дышала сознанием исполненного долга.

Восемнадцать шиллингов в неделю! Справедливо, в высшей степени справедливо твое порицание, о неподкупный Пексниф! Еще если б это было ради какой-нибудь ленты, звезды или подвязки^[37], ради епископской мантии, улыбки значительного лица или места в парламенте; ради удара по плечу королевской шпагой^[38]; ради повышения в должности или приглашения на бал, или ради какой-нибудь большой выгоды — ради восемнадцати тысяч фунтов или хотя бы ради тысячи восьмисот! Но поклоняться золотому тельцу из-за восемнадцати шиллингов в неделю! Печально, весьма печально!

Глава XI,

где один молодой человек выказывает особенное внимание одной девице и где на нас ложится тень многих грядущих событий.

Семейство Пексниф готовилось уже покинуть пансион миссис Тоджерс, и все до одного джентльмены были безутешны и предавались скорби ввиду предстоящей разлуки, когда однажды, в веселый полуденный час, Бейли-младший предстал перед мисс Чарити Пексниф, которая сидела с сестрой в памятной банкетной зале, подрубая полдюжины новых платков для мистера Джинкинса, и, выразив предварительно благочестивую надежду когда-нибудь провалиться в тартарары, дал ей понять, дурачась по привычке, что один джентльмен желает засвидетельствовать ей свое почтение и в настоящее время ждет ее в гостинной. Последнее сообщение доказывало всю простоту и беззаботность натуры Бейли гораздо лучше, чем любая пространная речь, потому что, встретив этого джентльмена в прихожей, мальчик тут же его покинул, намекнув, что тот хорошо сделает, если поднимется вверх, и предоставив ему руководствоваться собственным чутьем. А потому ровно половина шансов была за то, что гость в это время бродит где-нибудь по крыше дома или тщетно пытается выбраться из лабиринта спален, — пансион М. Тоджерс был именно такого рода заведением, где без опытного кормчего новый человек мог оказаться именно там, где его меньше всего ожидали и куда он меньше всего желал попасть.

— Джентльмен ко мне! — воскликнула Чарити, бросая работу. — Что ты, Бейли, господи помилуй!

— Ага! — сказал Бейли. — „Помилуй!“, вот оно как? Никто вас не помилует, и не ждите; я бы ни за что не помиловал на его месте!

Это замечание не отличалось ясностью в силу множества отрицаний, что, быть может, заметил читатель; но в сопровождении весьма выразительной пантомимы, изображающей счастливую парочку, которая шествует под ручку к приходской церкви, обмениваясь нежными взглядами, оно ясно выражало твердую уверенность этого юноши в том, что гость явился с амурными целями. Мисс Чарити сделала вид, что возмущена такой вольностью, но не могла удержаться от улыбки. Ну, не странный ли мальчик? Какую бы глупость он ни сказал, в ней все-таки можно отыскать смысл. Это в нем всего лучше.

— Но я не знаю никакого джентльмена, Бейли, — сказала мисс Пексниф. — По-моему, ты что-то ошибаешься.

Мистер Бейли только ухмыльнулся в ответ на такое нелепое предположение, глядя на сестер с неизменной благосклонностью.

— Дорогая моя Мерри, — сказала Чарити, — кто бы это мог быть? Как странно! Мне что-то не хочется к нему выходить, право. Что-то уж очень странно, знаешь ли.

Младшая сестра, по-видимому, сочла, что старшая слишком уж чванится этим визитом; не рассчитывает ли она взять реванш и отомстить за то, что Мерри покорила решительно всех коммерческих джентльменов? Поэтому она ответила очень ласково и любезно, что это в самом деле очень странно и что она решительно отказывается понять, зачем Черри понадобилась неизвестному чудаку.

— Совершенно невозможно угадать! — сказала Чарити язвительно. — Хотя тебе все-таки не на что сердиться, милая моя!

— Спасибо, — отвечала Мерри, напевая за рукоделием. — Я и сама это прекрасно знаю, душенька моя.

— Боюсь, что тебе совсем вскружили голову, дурочка, — сказала Черри.

— Знаешь, милая, — отвечала Мерри с пленительной откровенностью, — я и сама этого все время боюсь! Столько лести, чести и всего прочего, что закружилась бы голова и покрепче моей. Хорошо тебе, моя милая, что ты можешь быть совершенно спокойна, к тебе не пристают эти противные мужчины. Как ты это делаешь, Черри?

Бесхитростный вопрос мисс Мерри мог бы вызвать целую бурю, если бы не сильнейший восторг, проявленный Бейли-младшим; неожиданный оборот разговора так его воодушевил, что он немедленно пустился в пляс и исполнил чрезвычайно сложный танец, удающийся только в минуту вдохновения и именуемый в просторечии „Матросской пляской“. Это бурное проявление чувств напомнило девицам великое правило добродетели: „Всегда ведите себя прилично“, в котором обе они были воспитаны. Они сразу притихли и в один голос объявили мистеру Бейли, что, если он еще раз посмеет при них упражняться в танцах, они немедленно сообщат об этом миссис Тоджерс и попросят, чтобы она его как следует наказала. Бейли не замедлил выразить свое огорчение и раскаяние, якобы утирая слезы фартуком и делая вид, будто выжимает из него потоки воды, а потом распахнул двери перед мисс Чарити, и эта достойная девица торжественно проследовала наверх, чтобы принять своего таинственного поклонника.

По странному стечению благоприятных обстоятельств он все-таки разыскал гостиную и сидел там в одиночестве.

— А! Сестрица! — сказал он. — Вот я и пришел, видите. А вы небось думали, я совсем пропал. Ну как вы нынче в своем здоровье?

Мисс Чарити ответила, что она совсем здорова, и подала руку мистеру Чезлвиту.

— Вот это правильно, — сказал мистер Джонас, — и после дороги вы тоже, я думаю, успели отдохнуть? Ну, а как та, другая?

— Сестра, кажется, хорошо себя чувствует, — отвечала молодая особа. — Я не слыхала, чтобы она жаловалась на нездоровье. Может быть, вы хотите ее видеть? Подите спросите сами.

— Нет, нет, сестрица! — сказал мистер Джонас, усаживаясь рядом с нею под окном. — Не спешите; это, знаете ли, совершенно ни к чему. Какая вы все-таки злая!

— Об этом не вам судить, злая я или нет, — отпарировала Черри.

— Что ж, может быть и так, — отвечал мистер Джонас. — Послушайте! Вы небось думали, что я пропал, а? Вы так мне и не сказали.

— Я совсем об этом не думала, — объявила Черри.

— Вот как, не думали? — повторил Джонас, размышляя над этим странным ответом. — А та, другая?

— Как это я могу вам сказать, что думала или чего не думала моя сестра? — воскликнула Черри. — Она мне ничего не говорила об этом — ни да, ни нет.

— И даже не смеялась надо мной? — спросил Джонас.

— Нет, даже и не смеялась.

— Вот здорова смеяться, верно? — сказал Джонас, понизив голос.

— Она очень веселая.

— Веселость хорошая вещь, когда не ведет к мотовству. Верно? — спросил мистер Джонас.

— Да, вот именно, — поддакнула Черри со скромностью, которая достаточно ясно свидетельствовала о том, что в ее согласии нет корысти.

— Вот, например, ваша веселость, — заметил мистер Джонас, подтолкнув ее локтем. — Я бы и раньше пришел повидаться с вами, да не знал, где вы живете. Что вы так быстро убежали тогда утром?

— Я должна слушаться того, что папа скажет, — отвечала мисс Чарити.

— Жалко, что мне он ничего не сказал, — возразил ее кузен, — тогда бы я вас разыскал раньше. Да я и сейчас не нашел бы вас, если б не встретил его на улице нынче утром. Ну и хитрец и проныра же он у вас!

Настоящий старый кот, верно?

— Я попрошу вас, мистер Джонас, выражаться почтительнее о моем папе, — сказала Чарити. — Я не могу позволить такого тона даже в шутку.

— Ну вот! Ей-богу, про моего папашу можете говорить все что угодно, я вам позволяю, — сказал мистер Джонас. — Надо полагать, в жилах у него не кровь, а какая-нибудь ядовитая гадость. Как вы думаете, сестрица, сколько лет моему папаше?

— Не мало, конечно, — отвечала мисс Чарити, — но это такой доброй души старичок.

— Доброй души старичок! — повторил Джонас, сердито стукнув кулаком по своей шляпе. — Да, вот именно, пора бы ему о душе подумать! Ведь ему восемьдесят!

— Вот как, неужели? — удивилась молодая особа.

— Ей-богу! — воскликнул Джонас. — Дожил до таких лет, и хоть бы ему что! Этак он до девяноста доживет, — и ничего не поделаешь. Какое там, доживет и до ста! Ведь надо же и совесть иметь; как только не стыдно жить до восьмидесяти лет, а дальше я уж и не говорю! Какой же он после этого верующий, хотел бы я знать, когда в открытую идет против библии? Семьдесят лет — вот предел, и ежели человек имеет совесть и знает, чего от него ждут, он и сам не заживется дольше, чем полагается.

Неужели кого-нибудь удивляет, что мистер Джонас ссылагается на библию в этом случае? Вспомните старую пословицу насчет того, что дьявол (хотя и не будучи духовным лицом) любит цитировать священное писание, толкуя его в свою пользу. Если читатель возьмет на себя труд оглянуться вокруг, то за один-единственный день у него наберется больше подтверждений этому и доказательств, чем за одну минуту можно выпустить пуль из духового ружья.

— Ну, довольно про моего папашу, — сказал Джонас, — не стоит без толку себя расстраивать. Я зашел пригласить вас на прогулку, сестрица, поглядим разные достопримечательности, а после того зайдем к нам перекусить. Пексниф, наверно, заглянет вечером, он так и сказал, и проводит вас домой. Вот, это он пишет, я его заставил давеча утром, на всякий случай, когда он сказал, что не скоро вернется, — а то, может, вы мне не поверите. Письменное доказательство всего лучше, не так ли? Ха-ха! Послушайте, а ту, другую, вы тоже прихватите с собой?

Мисс Чарити бросила взгляд на автограф своего папаша, где было сказано просто: „Ступайте, дети мои, с вашим кузеном. Да пребудет между нами единение, если это возможно“, и, поломавшись ровно столько, сколько надо было, чтобы придать цену своему согласию, пошла сообщить

о прогулке сестре и одеться. Вскоре она вернулась в сопровождении мисс Мерри, которой вовсе не хотелось променять блестящие успехи у Тоджерса на общество мистера Джонаса и его почтенного папаши.

— Ага! — воскликнул Джонас. — Вот и вы! Явились наконец?

— Да, страшилище, — отвечала Мерри, — вот и я, хотя очень была бы рада оказаться подальше от вас.

— Вы этого не думаете, — сказал мистер Джонас. — Нет, нет, знаете ли. Не может этого быть.

— Это уж как вам угодно, страшилище, как хотите, — возразила Мерри. — Я остаюсь при своем мнении, а мое мнение такое, что вы самое неприятное, противное, мерзкое существо. — Тут она громко расхохоталась, по-видимому очень довольная собой.

— О, вы девушка бойкая! — сказал мистер Джонас. — Суцая язва! Верно, сестрица?

Мисс Чарити отвечала, что понятия не имеет, каковы должны быть свойства и наклонности сущей язвы, и даже если б это было ей известно, она ни за что не согласится с тем, что в их семье может быть особа с таким нелестным прозвищем, а уж тем более не позволит обзывать этим именем свою любимую сестру, — „какой бы ни был у нее характер“, — прибавила Черри с сердитым взглядом в сторону Мерри.

— Ну, милая моя, — ответила та, — я могу сказать только одно: если мы не уйдем сейчас же, я снимаю шляпку и остаюсь дома.

Эта угроза подействовала как нельзя лучше, предупредив дальнейшие пререкания, ибо мистер Джонас немедленно объявил, что прения сторон прекращаются, и, получив единогласную поддержку, увел обеих сестер из дома. На крыльце он взял и ту и другую под руки, а Бейли-младший, который наблюдал за ними из чердачного окна, приветствовал эту галантность сильнейшим кашлем, который не затихал до тех пор, пока они не завернули за угол.

Мистер Джонас прежде всего спросил девиц, любят ли они ходить пешком, и, получив ответ, что любят, подверг их способности к пешему хождению весьма строгому экзамену, показав им за одно утро столько достопримечательностей — мостов, церквей, улиц, театральных зданий и прочих бесплатных зрелищ, сколько другим не удастся увидеть и за год. Нетрудно было заметить, что этот джентльмен питал неопишное отвращение к осмотру зданий изнутри и отлично знал истинную цену тем зрелищам, где за вход требовалась плата, ибо все они, по его словам, никуда не годились и совершенно не заслуживали внимания. Он был, по-видимому, глубоко убежден в этом, ибо, когда мисс Чарити сказала, между

прочим, что они были раза два-три в театре с мистером Джинкинсом и другими джентльменами, первым делом спросил, где достали контрамарки, а узнав, что мистер Джинкинс и другие джентльмены платили за билеты, несказанно развеселился, заметив: „Вот, должно быть, олухи“, и не раз в течение прогулки раздражался неудержимым смехом, потешаясь над такой сверхъестественной глупостью и, надо полагать, радуясь своему умственному превосходству.

После того как они походили по улицам несколько часов и порядком устали, начало уже темнеть, и мистер Джонас сообщил девицам, что теперь он покажет им самую что ни на есть смешную штуку. Штука оказалась весьма нехитрой — вся соль заключалась в том, чтобы взять кэб и проехаться за один шиллинг как можно дальше. К счастью, их довезли как раз до того места, где жил мистер Джонас, иначе девицы вряд ли были бы в состоянии оценить ее.

Старинная фирма Энтони Чезлвит и Сын, оптовая торговля манчестерскими сукнами и т. д., помещалась в очень узенькой улочке, неподалеку от почтамта, где все дома даже в ясное летнее утро казались очень хмурыми, где рассыльные в жаркое время поливали мостовую перед домами своих хозяев прихотливыми узорами и где в хорошую погоду в дверях пыльных складов простаивали целые часы франтоватые джентльмены, заложив руки в карманы брюк и созерцая собственные щегольские сапоги, что, казалось, было самой трудной их работой, не считая разве ношения пера за ухом. Темный, грязный, закоптелый, неимоверно облупленный и ветхий был этот дом, но в этом доме, каков бы он ни был, фирма Энтони Чезлвит и Сын вела все свои дела и развлекалась, как умела; ибо ни молодой человек, ни старик не знали другого жилища и других помыслов и забот, кроме тех, которые были ограничены его стенами.

Дело, как легко себе представить, было главной заботой этой фирмы, до такой даже степени, что оно вытолкало за двери всякие житейские удобства и на каждом шагу опрокидывало домашний распорядок. Так, в убогих спальнях висели на стенах пачки изъеденных молью писем, полы были усеяны остатками старых образцов и негодными обрывками товара, а колченогие кровати, умывальники и ветхие коврики жались по углам, как предметы второстепенные, которые не стоят внимания, — ибо они не дают никакой прибыли и только мешают единственно важному в жизни, являясь неприятной необходимостью. Гостиная была в том же роде — хаос ящиков и старых бумаг, да и конторских табуретов в ней было гораздо больше, чем стульев, не говоря уже о громадной уродливой конторке, растопырившейся

посередине комнаты, и о несгораемом шкафе, вделанном в стену над камином. Одинокий столик для трапез и приема гостей по сравнению с конторкой и прочей конторской мебелью значил для хозяев так же мало, как всякие приятности жизни и безобидные удовольствия по сравнению с погоней за наживой, сейчас этот столик был довольно скаречно накрыт к обеду, и сам Энтони, сидевший в кресле перед огнем, поднялся навстречу сыну и двум прелестным сестрицам.

Известная пословица предупреждает нас, чтобы мы не искали старой головы на молодых плечах; к этому можно прибавить, что мы редко встречаемся с таким противоестественным сочетанием, не испытывая желания сшибить эту голову с плеч долой, просто из присущего нам стремления видеть каждую вещь на своем месте. Нет ничего невероятного в том, что многие, отнюдь не обладая холерическим темпераментом, испытывали такое желание, впервые знакомясь с мистером Джонасом; но если бы они узнали его ближе, в его собственном доме, и посидели бы с ним вместе за его столом, то это желание несомненно пересилило бы все другие соображения.

— Ну, скелет! — начал мистер Джонас, как почтительный сын адресуясь с этим прозвищем к родителю. — Обед скоро будет готов?

— Должно быть, скоро, — отвечал старик.

— Что это за ответ? — возразил сын. — „Должно быть, скоро“. Я хочу знать наверно.

— А! Ну, этого я не знаю, — сказал Энтони.

— Этого вы не знаете! — отвечал сын, несколько понизив голос. — Ничего-то вы не знаете как следует, ровно ничего. Дайте-ка сюда свечу, мне она нужна для барышень.

Энтони подал ему облезлый конторский подсвечник, и мистер Джонас проводил девиц в соседнюю спальню, где и оставил их снимать шали и шляпки; после чего, возвратившись в гостиную, принялся откупоривать бутылку с вином и точить большой нож, бормоча комплименты по адресу папаши, чем и занимался до тех пор, пока не подали обед, одновременно с которым появились и девицы. Трапеза состояла из жареной баранины с зеленью и картофелем, которые были принесены какой-то растрепанной старухой, но она тут же ушла, предоставив сотрапезникам наслаждаться сколько угодно.

— Холостяцкое хозяйство, сестрица, — сказал мистер Джонас, обращаясь к Чарити. — Воображаю, как та, другая, будет смеяться над нами, когда вернется домой. Вот, садитесь справа от меня, а ее я посажу слева. Ну, вы, другая, идете сюда, что ли?

— Вы такое страшилище, — отвечала Мерри, — что я в рот ничего не возьму, если сяду рядом с вами; ну да уж нечего делать.

— Вот бойкая какая, верно? — прошептал мистер Джонас, по своей излюбленной привычке толкая старшую сестру локтем.

— Ах, право, не знаю! — обидчиво возразила мисс Пексниф. — Мне надоело отвечать на такие глупые вопросы.

— Что это еще затеял мой драгоценный родитель? — сказал мистер Джонас, видя, что его отец снует взад и вперед по комнате, вместо того чтобы садиться за стол. — Что вы там ищете?

— Я потерял очки, Джонас, — сказал Энтони.

— Садитесь без очков, не можете, что ли? — возразил его сын. — Ведь вы из них, я думаю, не едите и не пьете! А куда девался этот старый соня Чаффи? Ну, вы, разиня! Что вы, имени своего не знаете, что ли?

По-видимому, тот не знал, так как не вышел к столу, пока его не позвал старик Энтони. Дверь маленькой стеклянной каморки медленно открылась, и оттуда выполз маленький подслеповатый старичок, очень дряхлый и совсем сморщенный. Он казался таким же старомодным и пыльным, как и вся обстановка; одет он был в ветхий черный сюртук и в короткие штаны до колен, украшенные сбоку порыжевшими черными бантами, словно отпоротыми со старых туфель; на тонких, как веретено, ногах были заношенные шерстяные чулки того же цвета. Он выглядел так, как будто его лет пятьдесят тому назад убрали в чулан и позабыли там, а теперь кто-то нашел и вытащил.

Еле-еле дотащился он до стола и с трудом уселся на свободный стул, с которого опять поднялся, по-видимому намереваясь отвесить поклон, когда до его смутно брезжившего сознания дошло, что тут присутствуют посторонние и что эти посторонние — дамы. Однако он так и не поклонился и, снова усевшись и подышав на свои морщинистые руки, чтобы отогреть их, уткнулся в тарелку унылым посиневшим носом и уже ни на что больше не глядел и ни на что не откликался. В таком состоянии он был воплощенное ничто — нуль и ничего более.

— Наш конторщик, — представил его мистер Джонас в качестве хозяина и церемониймейстера. — Старик Чаффи.

— Он глухой? — спросила одна из девиц.

— Нет, не сказал бы. Он ведь не глухой, папаша?

— Я не слыхал, чтобы он на это жаловался, — ответил старик.

— Слепой? — спросили девицы.

— Н-нет, не думаю, чтобы он был слепой, — сказал Джонас равнодушно. — Вы ведь не считаете его слепым, папаша?

— Разумеется, нет, — возразил Энтони.

— Так что же с ним такое?

— Пожалуй, я вам скажу, что с ним такое, — прошептал мистер Джонас, обращаясь к девицам: — он зажил на свете, во-первых, и я не вижу причины этому радоваться; думаю, как бы и папаша не пошел по его дорожке. А во-вторых, он чудной старикашка, — добавил он погромче, — и никого решительно не понимает, кроме вот него! — Он ткнул в сторону своего почтенного родителя вилкой, чтобы девицам было понятно, кого он имеет в виду.

— Как это странно! — воскликнули обе сестры.

— Видите ли, — продолжал мистер Джонас, — он всю жизнь корпел над цифрами и счетными книгами, а лет двадцать назад взял да и заболел горячкой. Все время, пока он был не в себе (недели этак три), он считал не переставая и дошел напоследок до миллионов, так что это, я думаю, и сбило его с панталыку. Ну, работы у нас теперь не так много, а конторщик он не плохой.

— Очень хороший, — сказал Энтони.

— Да и недорого обходится, — сказал Джонас, — во всяком случае свой хлеб ест не даром, а мы с него больше и не спрашиваем. Я вам говорил, что он почти никого не понимает, кроме папаши; зато его он всегда понимает и даже в себя приходит, просто удивительно. Он давно служит у папаши и привык к нему. Да вот вам: я видел, как он играет в вист с папашей — роббер за роббером, даже не имея понятия, кто их партнеры.

— Он ничего не ест? — спросила Мерри.

— О да, — ответил Джонас, усердно работая ножом и вилкой. — Он ест, когда его кормят. Только ему все равно, сколько ждать, минуту или час, если папаша сидит тут же; так что когда я голоден, вот как сегодня, я ему даю его порцию после того, как сам немного закушу, знаете ли. Ну, Чаффи, старый разиня, вы готовы, что ли?

Чаффи не пошевелинулся.

— Всегда был упрямый старый пень, — сказал мистер Джонас, хладнокровно кладя себе на тарелку второй кусок. — Спросите его, папаша.

— Вы готовы, Чаффи, можно вам давать обедать? — спросил старик.

— Да, да, — сказал Чаффи, весь просияв и становясь разумным человеческим существом при первом звуке его голоса, так что видеть это было и любопытно и трогательно, — да, да, совсем готов, мистер Чезлвит. Совсем готов, сэр. Готов, готов, готов. — Тут он остановился и стал слушать, не скажет ли старик что-нибудь еще; но так как с ним больше не

говорили, свет мало-помалу угас на его лице, и он снова обратился в ничто, в нуль.

— Смотреть на него не очень приятно, имейте в виду, — сказал Джонас кузинам, передавая отцу тарелку с порцией старика. — Если это не суп, он всегда давится. Вот поглядите! Таращится, как слепая лошадь! Не будь это так смешно, я бы и не посадил его сегодня за стол; только, я думаю, это вас позабавит.

Бедный старик, предмет, этой гуманной речи, к счастью для себя, не понимал ее, как и почти всего, что при нем говорилось. Но так как баранина была жесткая, а зубов у него совсем не осталось, он вскоре оправдал замечание насчет его склонности давиться и до такой степени мучился, пытаясь пообедать, что мистер Джонас ужасно развеселился и объявил, что старик сегодня решительно в ударе, просто лопнуть можно со смеху. Он до того разошелся, что стал уверять сестер, будто Чаффи даже папашу заткнет за пояс, а это, прибавил он многозначительно, не так-то легко сделать.

Казалось странным, что Энтони Чезлвит, сам глубокий старик, находил удовольствие в выходках своего любезного сынка по адресу бедной тени, сидевшей за их столом. Однако он находил в этом удовольствие, хотя, надо отдать ему справедливость, радовался не столько шуткам по адресу престарелого конторщика, сколько остроумию мистера Джонаса. По той же причине грубые намеки молодого человека, метившие даже в него самого, наполняли его ликованием, заставляя потирать руки и хихикать исподтишка, словно он хотел сказать: „Я его учил, я его воспитывал. Это мой наследник, мое произведение! Хитрый, пронырливый, скупой, он не растратит моих денег. Для этого я работал, на это я надеялся, это было целью всей моей жизни“.

Поистине благородная цель, достижением которой стоило восхищаться! Но ведь есть и такие люди, которые, создав себе кумиров по образу и подобию своему, отказываются им поклоняться, обвиняя в их уродливости ни в чем не повинную природу. Энтони, во всяком случае, был лучше этих людей.

Чаффи так долго возился со своей тарелкой, что мистер Джонас, потеряв терпение, отобрал ее и попросил отца сообщить этому почтенному старичку, чтобы он лучше „навалился на хлеб“, что Энтони и сделал.

— Да, да! — воскликнул старик, просияв, как прежде, едва это сообщение было ему передано. — Совершенно верно, совершенно верно. Весь в вас, мистер Чезлвит, ваш родной сын. Господь с ним, острого ума паренек! Господь с ним, господь с ним!

Мистеру Джонасу это показалось таким ребячеством (быть может, не без основания), что он расхохотался еще пуще и сказал кузинам, что в один прекрасный день Чаффи его, верно, уморит. После этого скатерть сняли и поставили на стол бутылку вина, из которой мистер Джонас налил девицам по стакану, прося их не церемониться с вином, так как там, откуда его взяли, найдется и еще. Однако, пошутив таким образом, он поторопился прибавить, что это он сказал только так и уверен, что они не приняли шутку всерьез.

— Я выпью за Пекснифа, — сказал Энтони. — За вашего отца, милые мои! Умный человек, этот Пексниф. Осмотрительный человек! Хотя и лицемер, а? Ведь он лицемер, милые, а? Ха-ха-ха! Да, лицемер. Между нами говоря, лицемер. Он от этого не хуже, хоть иной раз и хватает через край. Во всем можно перестараться, дорогие мои, даже и в лицемерии. Спросите хоть Джонаса!

— Ну, когда бережешь свое здоровье, не бойся перестараться, — заметил многообещающий юноша, набивая себе рот.

— Слышите, милые мои? — воскликнул Энтони в полном восторге. — Умно, умно! Отлично сказано, Джонас! Да, в этом отношении нельзя перестараться.

— Разве только, — шепнул мистер Джонас своей любимой кузине, — если заживешься на свете! Ха-ха! Послушайте, скажите это и той, другой.

— Господи боже! — воскликнула Черри обидчиво. — Неужели вы не можете сказать ей сами, если вам так хочется?

— Уж очень она любит издеваться, — отвечал мистер Джонас.

— Тогда чего же вы о ней беспокоитесь? — спросила Чарити. — По-моему, она не очень-то о вас беспокоится.

— Неужто нет? — спросил Джонас.

— Боже мой, разве вы сами не видите? — возразила молодая особа.

Мистер Джонас ничего не ответил, зато посмотрел на Мерри как-то странно и сказал, что от этого его сердце не разобьется, можете быть уверены. После чего он стал поглядывать на Чарити еще благосклоннее и попросил ее, со свойственной ему любезностью, „придвинуться поближе“.

— А вот еще в чем нельзя перестараться, папаша, — заметил Джонас после краткого молчания.

— В чем это? — спросил отец, заранее ухмыляясь.

— В делах, — ответил сын. — Вот вам правило для всяких сделок. „Жми других, чтобы тебя не прижали“. Вот чем надо руководиться в делах. А все прочее — обман.

Восхищенный отец откликнулся на эту мысль так горячо и до того

обрадовался, что положил немало трудов, пытаясь сообщить ее своему дряхлому конторщику, который потирал руки, кивал трясущейся головой, мигал слезящимися глазами и восклицал тоненьким голосом: „Отлично! Отлично! Ваш родной сын, мистер Чезлвит! Весь в вас!“ — выражая свой восторг всеми доступными ему средствами. Но это ликование старика скрашивалось тем, что было обращено к единственному человеку, с которым его соединяли узы привычки и теперешняя беспомощность. И если бы здесь присутствовал участливый наблюдатель, он сумел бы найти следы так и не развившихся человеческих чувств в мутном осадке на дне ветхого сосуда, именуемого Чаффи.

Однако не нашлось никого, кто принял бы в старике участие, и Чаффи опять удалился в темный уголок возле камина, где всегда проводил вечера; больше его никто уже не видел и не слышал, и только когда ему подали чашку чая, присутствующие могли заметить, как он машинально макает в нее хлеб. Трудно было предположить, что он спит в это время или же видит, слышит, думает, чувствует что-нибудь. Он сидел, словно замороженный, если к нему можно применить такое сильное выражение, и оттаивал только на минуту, когда Энтони с ним заговаривал или прикасался к нему.

Мисс Чарити, разливавшая чай по просьбе мистера Джонаса, вошла в роль хозяйки дома и совсем расчувствовалась, тем более что мистер Джонас сидел рядом и нашептывал ей разные нежности, выражая свое восхищение.

Мисс Мерри, досадуя, что этот вечер и все удовольствия принадлежат несомненно и исключительно им двоим, безмолвно сожалела о коммерческих джентльменах, в эту самую минуту, конечно, тосковавших по ней, и зевала над вчерашней газетой. Что же касается Энтони, он сразу уснул; таким образом, арена была предоставлена Джонасу и Черри на все время, пока им самим будет угодно.

Когда чайный поднос, наконец, убрали, мистер Джонас достал замасленную колоду карт и принялся развлекать сестер разными фокусами, главная суть которых состояла в том, чтобы заставить кого-нибудь держать с вами пари, а потом выиграть пари и прикарманить денежки. Мистер Джонас сообщил девицам, что такие развлечения сейчас в большой моде в самом высшем обществе и что при азартной игре постоянно переходят из рук в руки большие деньги. Следует заметить, что он и сам этому искренне верил; на всякого хитреца довольно простоты, так же как и на всякого простака; и во всех случаях, где доверие основывалось на убеждении в человеческой низости и плутовстве, мистер Джонас оказывался самым

легковерным человеком. Впрочем, читателю не следует также упускать из виду его поразительное невежество.

Этот прекрасный молодой человек имел все качества, чтобы стать записным кутилой, но к полному списку пороков ему недоставало единственного хорошего свойства, отличающего настоящего прожигателя жизни, а именно широты натуры. Ему мешали жадность и скаредность; и как один яд уничтожает действие другого там, где оказываются бессильны лекарства, так и этот порок удерживал его от полной меры зла, что вряд ли удалось бы добродетели.

После того как мистер Джонас показал свое нехитрое искусство, наступил уже поздний вечер; и так как мистер Пексниф все еще не показывался, девицы выразили желание отправиться домой. Но этого мистер Джонас по своей галантности никак не мог допустить, не угостив их сыром и портером, и даже тогда ему ужасно не хотелось с ними расставаться, и он то просил мисс Чарити посидеть еще немножко, то придвинуться поближе, — словом, не скупился на просьбы самого лестного характера, неуклюже играя роль радушного хозяина. Когда все его усилия удержать сестер оказались тщетны, он надел шляпу и пальто, готовясь сопровождать их в пансион, и заметил, что они, конечно, предпочтут идти пешком и что он со своей стороны вполне с ними согласен.

— Спокойной ночи, — сказал Энтони, — спокойной ночи! Кланяйтесь от меня — ха-ха-ха! — Пекснифу! Берегитесь вашего кузена, милые барышни. Бойтесь Джонаса, он опасный человек. Да смотрите не поссорьтесь из-за него.

— Ах он страшилище! — воскликнула Мерри. — Очень нужно из-за него ссориться. Можешь совсем взять его себе, Черри, милочка моя. Дарю тебе свою долю.

— Ага! Зелен виноград! Верно, сестрица? — сказал Джонас.

Этот остроумный ответ насмешил мисс Чарити гораздо больше, чем можно было ожидать, принимая во внимание почтенный возраст и крайнюю незамысловатость остроты. Но, как любящая сестра; она упрекнула мистера, Джонаса за то, что он бьет лежачего, и попросила оставить в покое бедную Мерри, иначе она, Чарити, его просто возненавидит. Мерри, которая не лишена была чувства юмора, только засмеялась на это, и они возвращались домой довольно мирно, без обмена колкостями по дороге. Мистер Джонас, находясь между двумя кузинами и ведя их под руки, иногда прижимал к себе не ту, которую следовало, и так крепко, что она едва терпела; но так как он все время шептался с Чарити и

выказывал ей всяческое внимание, это была, вероятно, простая случайность. Как только они дошли до пансиона и им отперли дверь, Мерри сейчас же вырвалась от них и убежала наверх, а Чарити и Джонас целых пять минут простояли на крыльце, разговаривая; словом, как заметила миссис Тоджерс на следующее утро в беседе с третьим лицом, „было совершенно ясно, что между ними происходит, и она очень этому рада, потому что мисс Пексниф давно пора подумать о себе и пристроиться“.

И вот уже близился день, когда светлое видение, так внезапно явившееся пансиону М. Тоджерс и озарившее солнечным сиянием мрачную душу Джинкинса, готовилось исчезнуть, когда его должны были запихнуть в дилижанс, словно бумажный сверток, или корзину с рыбой, или бочонок устриц, или какого-нибудь толстяка, или еще какую-нибудь скучную прозу жизни, и увезти далеко-далеко от Лондона!

— Никогда еще, дорогие мои мисс Пексниф, — говорила миссис Тоджерс, после того как они удалились на покой в последний день их пребывания в пансионе, — никогда еще мне не приходилось видеть, чтобы какое-нибудь заведение так горевало, как мое теперь. Не думаю, чтобы джентльмены опять сделались прежними джентльменами или стали хоть сколько-нибудь на себя похожи раньше чем через несколько недель, да и то вряд ли. И в этом виноваты вы, вы обе.

Девицы сочувственно ахали и скромно оправдывались, ссылаясь на неумышленность своей вины в этом печальном положении вещей.

— И ваш папа тоже, — продолжала миссис Тоджерс. — Это такая потеря! Милые мои мисс Пексниф, ваш благочестивый папа — вестник мира и любви! Ну, прямо миссионер!

Девицы, однако, приняли этот комплимент довольно холодно, не зная наверное, какого рода любовь подразумевает миссис Тоджерс.

— Если бы я осмелилась, — сказала миссис Тоджерс, заметив это, — нарушить то доверие, которого меня удостоили, и рассказать вам, почему я прошу вас не закрывать нынче вечером дверь между нашими комнатами, я думаю, вы бы услышали нечто весьма для вас интересное. Но я не могу этого сделать, я дала мистеру Джинкинсу честное слово, что буду молчать, как могила.

— Милая миссис Тоджерс! Что вы этим хотите сказать?

— Ну, в таком случае, милые мои мисс Пексниф, — начала хозяйка дома, — душеньки мои, если только вы позволите мне такую фамильярность накануне нашей с вами разлуки: мистер Джинкинс и остальные джентльмены составили по секрету небольшую музыкальную

программу и намерены ровно в полночь задать вам серенаду перед дверью на лестнице. Признаться, я бы предпочла, — продолжала миссис Тоджерс с обычной своей предусмотрительностью, — чтобы они выбрали время часа на два пораньше, потому что, когда джентльмены долго засиживаются, они много пьют, а когда выпьют, то слушать их далеко не так приятно, как трезвых. Но все уже решено, и я знаю, что вы будете очень польщены таким их вниманием, дорогие мои мисс Пексниф.

Девицы сначала так взволновались и так обрадовались этой новости, что решили совсем не ложиться спать, пока не кончится серенада. Но полчаса ожидания охладили их и заставили переменить мнение, и они не только улеглись в постель, но и заснули, да еще мало того — отнюдь не пришли в восторг, когда через некоторое время были разбужены сладкозвучными руладами, нарушившими мирную тишину ночи.

Это было очень трогательно, очень! Более заунывного пения нельзя было пожелать, даже обладая самым придиричивым вкусом. Любитель вокальной музыки был первым факельщиком или главным плакальщиком, Джинкинс пел басом, остальные — кто во что горазд. Самый младший из джентльменов изливал свою меланхолию на флейте. Выливалось у него далеко не все, но это было только к лучшему. Даже если бы обе мисс Пексниф — и миссис Тоджерс вместе с ними — погибли от самовозгорания и серенада была дана их праху, то и тогда вряд ли она могла бы выразить такую безысходную скорбь, какая звучала в хоре „Туда, где слава тебя ожидает!“. Это был реквием, панихида, плач, стон, вопль, жалоба, воплощение всего, что заунывно и невыносимо для слуха! Флейта младшего из джентльменов звучала как-то странно — и неровно. Она то затихала, то слышалась порывами, как ветер. Довольно долго казалось, что флейтист совсем перестал играть; но когда миссис Тоджерс и обе девицы уже решили, что он удалился, в избытке чувств заливаясь слезами, флейта вдруг опять вступила в строй, и при этом на такой визгливой ноте, что сама захлебнулась. Исполнитель он был бесподобный. Никак нельзя было предвидеть, в какую минуту его услышишь; и именно тогда, когда вы думали, что он отдыхает и собирается с силами, тут-то он и проделывал что-нибудь из ряда вон выходящее.

Таких номеров в программе было несколько, и даже, может быть, на два, на три больше, чем нужно, — хотя, как сказала миссис Тоджерс, всегда лучше ошибиться в эту сторону. Но даже и тут, в такую торжественную минуту, когда волнующие звуки должны были проникнуть, так сказать, в самую сокровенную глубину его существа, — если у него вообще имелась эта глубина, — Джинкинс не оставлял в покое младшего из джентльменов.

Перед началом второго номера он попросил его довольно громко, да еще в порядке личного одолжения, — нет, вы заметьте, каков злодей! — не играть. Да, он так и выразился: не играть. Дыхание младшего из джентльменов было слышно даже сквозь замочную скважину. Он и не играл. Разве флейта могла дать выход страстям, бушевавшим в его груди? Тут и тромбон был бы слишком нежен.

Концерт близился к концу. Уже приступали к самому интересному номеру. Джентльмен литературной складки написал кантату на отъезд молодых девиц, приспособив ее к старому мотиву. Пели все, кроме младшего из джентльменов, который, по вышеуказанным причинам, хранил гробовое молчание. Кантата (носившая классический характер) обращалась к оракулу Аполлону и вопрошала, что станет с коммерческим пансионом М. Тоджерс, когда Сострадание и Милосердие его покинут? По обычаю, весьма распространенному среди оракулов, начиная с древнейших времен и до наших дней, оракул воздержался от сколько-нибудь вразумительного ответа. Не получив разъяснений по этому вопросу, кантата бросала его на полпути и переходила к дальнейшему, доказывая, что обе мисс Пексниф состоят в близком родстве с гимном „Правь, Британия“^[39] и что если б Англия не была островом, то обеих мисс Пексниф не было бы на свете. Затем кантата принимала мореходный характер и заканчивалась так:

Плыви, о Пексниф, дай Зевес
Тебе погоды ясной!
Ты архитектор, и артист,
И человек прекрасный!

Предоставив воображению дам дорисовывать картину отплытия, джентльмены неспешным шагом проследовали на покой, чтобы музыка эффектно замирала в отдалении; и когда ее звуки мало-помалу утихли, пансион М. Тоджерс погрузился к сон.

Мистер Бейли приберег свое вокальное подношение до утра; просунув голову в дверь как раз в ту минуту, когда девицы стояли на коленях перед чемоданами и укладывались, он изобразил завывания щенка в ту трудную минуту жизни, когда, по представлению людей, наделенных живой фантазией, это животное, желая облегчить душу, требует пера и чернил.

— Ну, барышни, — сказал этот юноша, — так, значит, вы уезжаете? Не везет же нам.

— Да, Бейли, мы уезжаем, — ответила Мерри.

— И неужели так-таки никому не оставите по локону своих волос? — спросил Бейли. — Они ведь у вас настоящие?

Девицы засмеялись и ответили, что, разумеется, настоящие.

— Ах, разумеется, вот оно как? — сказал Бейли. — Что я вам скажу! У нее-то ведь фальшивые. Сам видел, висели вот на этом гвоздике у окна. А один раз я подкрался к ней сзади, когда обедали, и дернул, а она даже и не почувствовала. Вот что, барышни, я тоже тут не останусь. Только и знает, что ругается; мне это надоело, хватит с меня.

Мисс Мерри осведомилась, какие у него планы на будущее, и мистер Бейли сообщил, что думает поступить или в лакеи, или в армию.

— В армию! — воскликнули девицы со смехом.

— Ну да, — отвечал Бейли, — что ж тут такого? В Тауэре сколько угодно барабанщиков. Я с ними знаком. Скажете, родина ими не дорожит? Как бы не так!

— Тебя застрелят, вот увидишь, — сказала мисс Мерри.

— Ну, и что же из этого? — воскликнул Бейли. — Зато я буду герой, — верно, барышни? Уж лучше пусть убьют из пушки, чем скалкой, а она всегда чем-нибудь таким швыряется, если джентльмены много едят. Ну и что ж, — сказал Бейли, — вспоминая перенесенные обиды, — что ж, если они истребляют провизию. Я, что ли, виноват?

— Никто этого не говорит, конечно, — сказала Мерси.

— Не говорят? — возразил Бейли. — Нет. Да. Ах! Ох! Может, никто и не говорит, да зато некоторые думают. Каждый раз, как провизия вздорожает, я это на своей шее чувствую. Не желаю, чтоб меня колотили до полусмерти из-за того, что на рынке все дорого. Не останусь нипочем. И значит, — прибавил мистер Бейли, распускаясь в улыбку, — если вы что-нибудь собираетесь мне подарить, давайте сейчас, а то, когда вы еще приедете, здесь и духу моего не будет; а если будет другой мальчишка, он того не стоит, чтоб ему давать, — верно говорю.

Девицы поступили согласно этому мудрому совету и, ввиду особо дружеских отношений, так щедро наградили мистера Бейли и от себя и от мистера Пекснифа. что тот не знал, как выразить свою благодарность, и весь день украдкой похлопывал себя по карману и разыгрывал другие веселые пантомимы, чтобы дать хоть какой-нибудь выход своим чувствам. Но и этого ему было мало: успешно раздавив картонку вместе с шляпой, он нанес затем серьезные повреждения саквою мистера Пекснифа, с таким усердием он его перетаскивал с верхнего этажа вниз; короче говоря, Бейли всеми доступными ему средствами проявлял живейшее чувство

благодарности за щедрость, проявленную этим джентльменом и его семейством.

Мистер Пексниф вернулся к обеду под руку с мистером Джинкинсом, который нарочно отпросился со службы пораньше, намного опередив самого младшего из джентльменов, да и всех остальных, чье время, к несчастью, было занято до самого вечера. Мистер Пексниф выставил бутылку вина, и оба они настроились весьма общительно, хотя неизбежная разлука очень их огорчала. Обед был как раз наполовине, когда доложили о приходе старика Энтони с сыном, что весьма удивило мистера Пекснифа и решительно обескуражило Джинкинса.

— Пришли попрощаться, как видите, — сказал Энтони, понизив голос, после того как они с Пекснифом уселись у стола, пока остальные беседовали между собой. — Какой нам интерес ссориться? Порознь мы с вами — как две половинки ножниц, Пексниф, а вместе мы кое-что значим. Ну как?

— Единодушие, уважаемый, — отвечал мистер Пексниф, — всегда приятно видеть.

— Насчет этого не знаю, — сказал старик. — есть такие люди, с которыми я лучше буду ссориться, чем соглашаться. Но вам известно, какого я о вас мнения.

Мистер Пексниф, до сих пор не забывший „лицемера“, только мотнул головой, не то в утвердительном, не то в отрицательном смысле.

— Оно самое лестное, — продолжал Энтони. — Самое лестное, даю вам слово. Даже и в то время это была невольная дань вашим способностям; ведь случай был совсем не такой, чтобы льстить. Но зато в дилижансе мы с вами договорились; мы отлично понимаем друг друга.

— О, вполне! — согласился мистер Пексниф, своим тоном давая почувствовать, что его совершенно не понимают, но что он на это не жалуется.

Энтони посмотрел на сына, сидевшего рядом с мисс Чарити, потом на мистера Пекснифа, потом опять на сына, и так много раз подряд. Взгляды мистера Пекснифа невольно приняли то же направление, но он тут же спохватился и опустил глаза, а потом и совсем закрыл их, словно для того, чтобы старик ничего не мог в них прочесть.

— Джонас неглупый малый, — сказал старик.

— По-видимому, — ответил мистер Пексниф самым невинным тоном, — он очень неглуп.

— Уж он не даст маху, — сказал старик.

— Не сомневаюсь и в этом, — отвечал мистер Пексниф.

— Послушайте! — сказал Энтони ему на ухо. — Мне кажется, он влюблен в вашу дочку.

— Пустяки, уважаемый, — сказал мистер Пексниф, не открывая глаз. — Молодежь, молодежь! И кроме того, родня все-таки. Вот и вся любовь, сэр.

— Ну, какая это любовь, судя по нашему с вами опыту! — возразил Энтони. — А не кажется ли вам, что тут кое-что побольше?

— Ничего не могу сказать, — отвечал мистер Пексниф. — Решительно ничего! Вы меня удивляете.

— Понимаю, — сухо сказал старик. — Может быть, это всерьез — то есть любовь, а не удивление; а может быть, и нет. Если предположить, что всерьез (вы ведь припасли кое-что на черный день, и я тоже), — дело может представить для нас с вами интерес.

Мистер Пексниф, кротко улыбаясь, хотел было заговорить, но Энтони остановил его:

— Знаю, что вы собираетесь сказать. Можете не трудиться. Вы, мол, никогда об этом не думали, ни единой минуты, а в таком деле, где речь идет о счастье вашей любимой дочери, вы, как любящий отец, не можете высказать определенного мнения, ну и так далее. Правильно, совершенно правильно. И очень похоже на вас! Но мне кажется, дорогой мой Пексниф, — прибавил Энтони, кладя руку ему на плечо, — что если мы с вами и дальше будем прикидываться, будто ничего не видим, — как бы одному из нас не остаться в накладе; а так как мне лично очень этого не хочется, то вы уж извините, что я взял на себя такую вольность и с самого начала решил с вами договориться, что мы это видим, и знаем, и принимаем к сведению. Спасибо за внимание. Мы теперь с вами в одинаковом положении, и это, я думаю, нам обоим одинаково приятно.

Он встал и, многозначительно кивнув мистеру Пекснифу, перешел туда, где сидела молодежь, оставив этого добродетельного человека несколько расстроенным и озадаченным после такого прямого натиска и к тому же несвободным от чувства, что он побежден своим же собственным оружием.

Но вечерний дилижанс имел обыкновение отправляться вовремя, и пора было идти к конторе; она находилась так близко, что, предварительно отослав багаж, они сами решили идти пешком. Туда они и направились всей компанией, замешкавшись не более, чем требовалось для завершения туалета обеих мисс Пексниф и миссис Тоджерс. Дилижанс был уже на месте, и лошади впряжены. Там же оказалось подавляющее большинство коммерческих джентльменов, включая и самого младшего, который был,

видимо, взволнован и находился в глубочайшем унынии.

Ничто не могло сравниться с волнением миссис Тоджерс при расставании с девицами, разве только грусть, которую она проявила, прощаясь с мистером Пекснифом. Вероятно, никто и никогда еще не вынимал носовой платок из ридикюля так часто, как миссис Тоджерс; стоя на тротуаре у самой дверцы дилижанса, причем два коммерческих джентльмена справа и слева поддерживали ее под руки, а она при свете фонарей взирала на лицо добродетельного Пекснифа в те редкие и краткие мгновения, когда его не заслоняла спина мистера Джинкинса, ибо Джинкинс, являвший собою камень преткновения на жизненном пути младшего из джентльменов, стоял на подножке, беседуя с девицами. На другой подножке стоял мистер Джонас, занимавший эту позицию по праву родства; а самый младший из джентльменов, который первым прибежал на остановку, прятался в глубине конторы, среди черных с красным плакатов и изображений скорых дилижансов, где его бессовестно толкали носильщики и где ему приходилось поминутно вступать в единоборство с тяжелыми чемоданами. Это ложное положение вместе с расстройством нервов привело к катастрофе, завершившей все его несчастья: в минуту расставания он бросил цветок — оранжерейный цветок, который стоил денег, — намереваясь попасть в лилейную ручку Мерри, а вместо того угодил в кучера, который поблагодарил его и воткнул цветок в петлицу.

Итак, они уехали, и пансион миссис Тоджерс опять осиротел. Обе девицы, каждая в своем углу, были заняты собственными мыслями и сожалениями. Один только мистер Пексниф, презрев эфемерные соблазны светских удовольствий и развлечений, сосредоточил все свои помыслы на единой добродетельной цели, которую он себе поставил, а именно: вышвырнуть за дверь этого неблагодарного, этого обманщика, чье присутствие до сих пор омрачает его домашний очаг и святотатственно оскверняет алтарь.

Глава XII,

которая близко касается мистера Пинча и других, как это видно будет рано или поздно. Мистер Пексниф стоит на страже оскорбленной добродетели. Молодой Мартин принимает безрассудное решение.

Мистер Пинч и Мартин, не помышляя о надвигающейся грозе, чувствовали себя очень уютно в Пекснифовых чертогах и с каждым днем сходились все ближе и ближе. Мартин работал с необыкновенной легкостью, придумывал и осуществлял придуманное, и план начальной школы весьма энергично двигался вперед; Том постоянно твердил, что если бы в человеческих расчетах было сколько-нибудь надежности или в судьях сколько-нибудь беспристрастия, то проект, отличающийся такой новизной и высокими достоинствами, непременно получил бы первую премию на будущем конкурсе. Мартин, хотя и настроенный гораздо более трезво, тоже возлагал много надежд на будущее, и эти надежды позволяли ему работать быстро и с увлечением.

— Если я стану когда-нибудь выдающимся архитектором, — сказал однажды новый ученик, отходя на несколько шагов от своего чертежа и разглядывая его с большим удовольствием, — сказать вам, что я построю в первую очередь?

— Да! — воскликнул Том. — Что именно?

— Вашу судьбу, вот что.

— Не может быть! — сказал Том с такой радостью, как будто это было уже сделано. — Неужели? Как это мило с вашей стороны!

— Я построю вашу судьбу на таком прочном фундаменте, — ответил Мартин, — что вам хватит на всю вашу жизнь, и вашим детям тоже, и внукам. Я буду вашим покровителем, Том. Я возьму вас под свою защиту. Пусть-ка кто-нибудь попробует обойтись пренебрежительно с тем, кого я возьму под свою защиту и покровительство, если мне удастся выйти в люди!

— Ну, честное слово, — сказал Пинч, — не помню, чтобы я когда-нибудь был так доволен. Право, не помню.

— О, ведь я это не для красного словца говорю, — ответил Мартин с таким откровенным снисхождением к собеседнику и даже как бы с сожалением, как будто его уже назначили первым придворным архитектором всех коронованных особ Европы. — Я это сделаю. Я вас

пристрою.

— Боюсь, — сказал Том, качая головой, — что меня будет не так-то легко пристроить.

— Ну, ну, не беспокойтесь, — возразил Мартин. — Если мне вздумается сказать: „Пинч дельный малый, я высоко ценю Пинча“, хотел бы я видеть, кто осмелится мне противоречить. А кроме того, черт возьми, Том, вы мне тоже можете быть полезны во многих отношениях!

— Если я не буду полезен хотя бы в одном, то не по недостатку усердия, — отвечал Том Пинч.

— Например, — продолжал Мартин после краткого размышления, — вы отлично можете ну хотя бы следить за тем, чтобы мои планы выполнялись как следует; наблюдать за ходом работ, пока они не продвинутся настолько, что будут интересны для меня самого; одним словом, вы мне понадобитсяе везде, где нужна черновая работа. Потом вы прекрасно можете показывать посетителям мою мастерскую и беседовать с ними об искусстве, если мне самому будет некогда, ну и так далее, в том же роде. Для моей репутации было бы очень полезно (я говорю совершенно серьезно, даю вам слово) иметь около себя человека с вашим образованием, вместо какого-нибудь заурядного тупицы. Да, я о вас позабочусь. Вы будете мне полезны, не беспокойтесь!

Сказать, что Том никогда не думал играть первую скрипку в оркестре и был вполне доволен, если ему указывали стопятидесятое место в нем, значило бы дать весьма неполное представление о его скромности. Он был очень рад слышать эти слова Мартина.

— К тому времени я, конечно, женюсь на ней, Том. — продолжал Мартин.

Отчего вдруг перехватило дыхание у Тома Пинча, отчего в самом разгаре радости краска залила его честное лицо и раскаяние закралось в его честное сердце, будто он недостоин уважения своего друга?

— К тому времени я женюсь на ней, — продолжал Мартин, улыбаясь и щурясь на свет, — и у нас, я надеюсь, будут дети. Они вас будут очень любить, Том.

Но ни единого слова не вымолвил мистер Пинч. Те слова, которые он хотел произнести, замерли на его устах и ожили в его душе, в самоотверженных мыслях.

— Все дети здесь любят вас, Том, — продолжал Мартин, — и мои тоже, конечно, будут любить вас. Может быть, одного ребенка я назову в вашу честь Томом, а? Не знаю, право. Неплохое имя — Том! Томас Пинч Чезлвит. Т. П. Ч. — на передириках. Вы не возражаете?

Том откашлялся и улыбнулся.

— Ей вы понравитесь, Том, я знаю, — сказал Мартин.

— Да? — отозвался Том слабым голосом.

— Я могу вам сказать совершенно точно, какие она будет питать к вам чувства, — продолжал Мартин, опершись подбородком на руку и глядя в окно так, как будто читал в нем. — Я ее хорошо знаю. Сначала она будет часто улыбаться, глядя на вас, Том, или, разговаривая с вами, — весело улыбаться; но вы на нее не обидитесь, — такой ясной улыбки вы еще не видели.

— Нет, нет, — сказал Том, — я не обижусь.

— Она будет нежна с вами, Том, — продолжал Мартин, — как если бы вы сами были ребенком. Да так оно и есть, в некоторых отношениях вы совсем ребенок, Том, ведь правда?

Мистер Пинч кивнул в знак полного согласия.

— Она всегда будет с вами добра и ласкова и всегда рада вас видеть, — сказал Мартин, — а когда она узнает хорошенько, что вы за человек (что будет очень скоро), она нарочно станет давать вам всякие поручения и просить, чтобы вы оказывали ей маленькие услуги, зная, что вы сами рветесь их оказывать; и, стараясь доставить вам удовольствие, будет делать вид, что это вы ей доставили удовольствие. Она к вам ужасно привяжется, Том, и будет понимать вас гораздо лучше, чем я; и часто будет говорить. Это уж я наверно знаю, какой вы кроткий, безобидный, добрый и ко всем благожелательный человек.

Как притих бедный Том Пипч!

— В память старых времен, — продолжал Мартин, — и в память того, как она слушала вашу игру в этой затхлой маленькой церковке — да еще безвозмездную, — у нас в доме тоже будет орган. Я выстрою концертный зал по собственному плану, и орган будет выглядеть совсем неплохо в глубине зала. И вы будете играть на нем, сколько сами захотите, а так как вам нравится играть в темноте, там будет темно; и летними вечерами мы с ней будем сидеть и слушать вас, Том, вот увидите.

Со стороны Тома Пинча потребовалось, быть может, гораздо больше усилий, чтобы с ясным лицом, выражающим одну только благодарность, подняться со стула и пожать своему другу обе руки от чистого сердца, чем для свершения многих и многих подвигов, к которым призывает нас мощными звуками неверная труба Славы. Потому неверная, что от парения над смертными схватками, в дыму и огне сражений засорились клапаны этого благородного инструмента, и далеко не всегда он звучит верно и стройно.

— Это доказывает только, как добр человек от природы, — сказал Том, со свойственной ему скромностью избегая говорить о себе: — все, кто бы сюда ни приехал, относятся ко мне гораздо лучше и внимательнее, чем я мог бы надеяться — если б был первым оптимистом на свете, или мог бы выразить — если б был первым оратором. Я просто не нахожу слов. Но верьте мне, — сказал Том, — что я вам благодарен, что я этого ввек не забуду и когда-нибудь докажу вам всю правду моих слов, если смогу.

— Все это прекрасно, — заметил Мартин, засунув руки в карманы. Он откинулся на спинку стула и зевнул от скуки. — Неплохо сказано, Том; только я все еще у Пекснифа, сколько помнится, и скорее в тупике, чем на торной дороге славы. Так вы нынче утром опять получили письмо от этого... как его?

— От кого это? — спросил Том, кротко вступаясь за отсутствующего друга.

— Ну, вы знаете. Как его? Зюйдвест, что ли.

— Уэстлок, — отвечал Том несколько громче обыкновенного.

— Да, верно, — сказал Мартин, — Уэстлок. Помню, что фамилия в этом роде, имеет отношение к компасу. Ну, так что же пишет этот Уэстлок?

— О! Его, наконец, ввели в права наследства, — ответил Том, покачивая головой и улыбаясь.

— Повезло же человеку, — сказал Мартин. — Хотел бы я быть на его месте. И это вся тайна, которую вы мне хотели сообщить?

— Нет, не вся, — сказал Том.

— А что же еще? — спросил Мартин.

— В сущности, это и не тайна, — сказал Том, — и для нас это не так важно, но для меня очень приятно. Джон всегда говорил, когда был еще здесь: „Попомните мои слова, Пинч: когда душеприказчики моего папаши раскошелятся...“ — он иногда выражается очень странно, такая у него привычка.

— „Раскошелятся“ отличное выражение, если касается не нас, — заметил Мартин. — Ну? Какой вы мямля, Пинч!

— Да, я знаю, — сказал Том, — только не надо мне этого говорить, не то я собоюсь. Вот уже и сбился немножко, не помню, что хотел сказать.

— „Когда душеприказчики раскошелятся“, — нетерпеливо подсказал Мартин.

— Ах да, верно, — воскликнул Том, — да, да! „Тогда, — сказал Джон, — я угощу вас обедом, Пинч, и нарочно для этого приеду в Солсбери“. Так вот, в письме, которое он прислал на днях, — в то утро, знаете ли, когда уехал Пексниф, — он писал, что его дела устраиваются и

деньги он получит очень скоро, так нельзя ли узнать, когда мы с ним можем встретиться в Солсбери? Я ответил, что в любой день на этой неделе, а кроме того, написал ему, что у нас есть новый ученик, написал так же, какой вы прекрасный человек и как мы с вами подружились. Джон прислал мне в ответ это письмо, — Том показал его, — назначает свидание на завтра, посылает вам поклон и просит вас отобедать вместе с нами. Не там, где мы были прошлый раз, а в самой первой гостинице в городе. Прочтите, что он пишет.

— Очень хорошо, — сказал Мартин со своим обычным хладнокровием. — Премного ему обязан. Буду очень рад.

Тому хотелось бы, чтобы он немножко больше удивился, немножко больше обрадовался, проявил бы несколько больше интереса к такому важному событию. Но Мартин выказал полнейшее самообладание и, прибегнув к обычному своему утешению — свисту, опять принялся за начальную школу, как будто ровно ничего не случилось.

Так как лошадь мистера Пекснифа была в некотором роде священное животное, которым мог править только он сам в качестве верховного жреца или какое-нибудь доверенное лицо, временно возведенное им в этот высокий сан, то молодые люди решили идти в Солсбери пешком; и, когда наступило для этого время, так и сделали, что было, впрочем, гораздо лучше, чем ехать в двуколке, ибо погода стояла очень холодная и ветреная.

Еще бы не лучше! На редкость приятная, здоровая, укрепляющая силы прогулка — добрых четыре мили в час, — неужели это не лучше, чем трястись, подпрыгивать и подскакивать в гроыхающей, скрипучей, жесткой и неудобной старой двуколке? Даже и сравнивать нечего. Было бы оскорблением для прогулки ставить эти вещи рядом. Где это видано, чтобы двуколка ускоряла у человека кровообращение, — разве только грозя опасностью сломать ему шею и вызывая у него звон в ушах и колотье и жар во всем теле, скорее странные, чем приятные. Где это слышано, чтобы двуколка живительно действовала на ум и энергию человека, — разве только если лошадь закусит удила и бешено помчится с косогора прямо вниз, на каменную стену, и такое отчаянное положение заставит единственного уцелевшего седока наскоро придумать новый, неслыханный способ полета на землю с облучка. Лучше чем в двуколке!

Воздух был морозный, Том, это так, нечего и говорить, — но разве в двуколке он стал бы теплее? Огонь в кузнице пылал так ярко и взвивался так высоко, словно стремился согреть кого-нибудь, но разве он казался бы менее заманчивым с ледяных подушек двуколки? Ветер так и рвал, стараясь отморозить нос отважно шагавшему путнику, швыряя ему в глаза

его собственные волосы, если их имелось достаточно, или морозную пыль, если их не было, перехватывая ему дыхание, словно под ледяным душем, стараясь сорвать с него одежду и просвистывая его до костей; но разве в двуколке все это не было бы в тысячу раз хуже? Ничего не стоит ваша двуколка!

Лучше чем в двуколке! Кто видел у седоков в двуколке такие красные щеки, как у этих пешеходов? Когда они бывали так весело и добродушно настроены? Когда седоки так звонко смеялись, отворачиваясь от крепчавших порывов ветра, и, стоило ветру стихнуть, снова бодро шагали, грудью вперед, и оглядывались на проезжающих, блистая таким здоровым румянцем, с которым ничто не могло сравниться, кроме порожденного здоровьем веселого настроения. Лучше чем в двуколке! Да вот их нагоняет человек в двуколке. Взгляните, как он перекладывает хлыст из правой руки в левую и растирает онемевшими пальцами гранитную ногу и стучит холодным, как мрамор, носком по полу. Ха-ха-ха! Кто бы променял быстрый бег крови на этот жалкий застой, хотя бы двуколка и двигалась в двадцать раз быстрее!

Лучше чем в двуколке! Ни один человек в двуколке не мог бы так интересоваться дорожными столбами. Человек в двуколке не мог бы столько видеть, столько чувствовать и думать, сколько эти веселые пешеходы. Посмотрите, как ветер, пролетая по меловым холмам, отмечает свой путь волнистой линией в траве и легкой тенью на косогорах! Оглянитесь еще и еще раз на эту голую, холодную равнину, посмотрите, как хороши тени здесь в ясный зимний день! Увы, их красота мимолетна. Все прекрасное в жизни есть только тень: оно так же быстро приходит и уходит, меняется и исчезает!

Еще одна миля, и начинает падать густой снег, и оттого ворона, которая летит над самой землей, уклоняясь от ветра, кажется чернильным пятном на белом поле. Но хотя снег бьет им прямо в лицо, примерзает к полам одежды и леденеет на ресницах, они вовсе не желают, чтобы он падал реже, — нет, ни снежинкой меньше, хотя бы идти в такую вьюгу пришлось еще двадцать миль! Но вот уже встают вдали башни старого собора, и скоро они добираются до защищенных от ветра улиц, необычайно тихих под толстым белым ковром, а там и до гостиницы, где являют замороженному лакею такие разгоряченные, покрасневшие лица и такую кипучую энергию, что он чувствует себя не в силах им противиться (хотя и закален в огне, всегда пылающем в столовой) и, взятый приступом, сдается на милость победителей.

Славная гостиница! Сущий рай, где все стены увешаны битой дичью и

бараньими окороками, а в углу стоит хорошо знакомый каждому буфет со стеклянными дверцами; сквозь них видны и жареные куры, и сочные ростбифы, и сладкие пироги, в которых малиновое варенье скромно выглядывает из-за решетки сдобного теста, как и подобает такому соблазнительному лакомству. Но посмотрите-ка, наверху, в самой парадной комнате, со спущенными на всех окнах шторами, с пылающим камином, полным дров чуть не до самой трубы, против которого греются тарелки, — в этой комнате зажжены восковые свечи, а за столом, накрытым на троих и заставленным серебром и хрусталем на тридцать человек, сидит Джон Уэстлок! Не тот, прежний Джон, что был у Пекснифа, а настоящий джентльмен, который смотрит совсем по-другому, гораздо внушительнее, — сразу видно, что он сам себе господин и что у него лежат деньги в банке. И все же в некоторых отношениях это все тот же Джон, потому что он схватил Тома Пинча за обе руки, как только его увидел, и чуть не задушил в объятиях, приветствуя от всего сердца.

— А это, — сказал Джон, — мистер Чезлвит? Очень рад его видеть! — У Джона была своя открытая, приветливая манера обращения с людьми; они крепко пожали друг другу руки и в одну минуту подружились.

— Отодвиньтесь-ка немножко, Том! — воскликнул бывший ученик, кладя обе руки на плечи Тому и на всю длину руки отодвигаясь от него. — Дайте мне посмотреть на вас! Все такой же! Ничуть не изменился.

— Да ведь прошло совсем не так много времени в конце концов, — сказал Том.

— А мне кажется, целый век! — воскликнул Джон. — И вам так должно было показаться, бессовестный! — И тут он подтолкнул мистера Пинча к самому удобному креслу и так ласково похлопал его по спине — ну совсем как в прежнее время, в прежней их комнате у Пекснифа, — что Том не знал, плакать ему или смеяться. Смех пересилил, и они все втроем засмеялись.

— Я заказал на обед все, о чем мы с вами, бывало, мечтали, Том, — заметил Джон.

— Не может быть! — сказал Том. — Неужели все?

— Все решительно! Если можете, не смейтесь при лакеях. Я не выдержал и расхохотался, когда заказывал обед. Это как во сне.

Тут он был неправ, потому что никому не снился такой суп, какой в скором времени подали на стол, или такая рыба, или такие соусы, или такой ростбиф, или такая дичь и сладкое — словом, хоть что-нибудь похожее на тот обед, который был подан наяву и стоил по десять шиллингов шесть пенсов с персоны, не считая вина. Что же касается вин, то если кому может

присниться такое замороженное шампанское, такие красные вина, такой портвейн и такой херес, ему лучше лечь в постель и не вставать.

Но, быть может, всего приятнее в этом банкете было то, что сам Джон радовался больше других и беспрестанно заливался веселым смехом, а потом спохватывался и напускал на себя сверхъестественную важность, чтобы лакеи не догадались, насколько это для него ново. Некоторые блюда, подносимые ему лакеями, выглядели так замысловато, что непонятно было, как за них взяться, и это тоже вызывало смех; а когда мистер Пинч, вопреки почтительным советам официанта, настоял на том, чтобы проломить ложкой корку глазированной паштета, а затем и съесть эту корку, Джон забыл о собственном достоинстве до того, что, усевшись во главе стола перед блестящей крышкой с блюда, хохотал так, что его слышно было на кухне. Но он был несколько не прочь посмеяться и сам над собой, что и доказал, когда они уселись втроем вокруг камина. Подали десерт, и старший лакей почтительно и заботливо осведомился, по вкусу ли ему этот легкий белый портвейн и не хочет ли он попробовать другого, более крепкого и с замечательным букетом. На это Джон важно ответил, что находит и этот портвейн неплохим и что, по его мнению, это тоже вполне приличное вино; и лакей, поблагодарив его, удалился. После чего Джон, широко ухмыляясь, сказал своим друзьям, что, кажется, он не наврал, а впрочем, не знает наверно, и залился громким смехом.

В продолжение всего обеда друзья были веселы и полны оживления, но едва ли не всего приятнее было сидеть после обеда у огня, щелкая орехи, попивая вино и оживленно разговаривая. Тому Пинчу понадобилось сказать слова два своему приятелю, помощнику органиста, и он, не откладывая этого в долгий ящик, ушел на несколько минут из своего теплого уголка, оставив молодых людей вдвоем.

Без Тома они, разумеется, выпили за его здоровье, и Джон Уэстлок, воспользовавшись этим случаем, сказал, что они с Пинчем ни разу не сказали друг другу худого слова за все время, что прожили вместе у мистера Пекснифа. От этого он, естественно, перешел к характеру Тома и намекнул, что мистер Пексниф отлично в нем разбирается. Он только намекнул на это, и то очень издалека, зная, что Тому неприятно, когда об этом джентльмене отзываются неодобрительно, и думая, что новому ученику полезнее будет самому кое в чем разобраться.

— Да, — сказал Мартин. — Нельзя относиться к Пинчу лучше, чем я отношусь, иди больше ценить его хорошие качества. Он самый покладистый малый, какого я знаю.

— Даже слишком покладистый, — заметил Джон, отличавшийся

наблюдательностью. — Это в нем доходит до слабости.

— Да, — сказал Мартин. — Совершенно верно. С неделю тому назад у нас был один такой — мистер Тигг, — занял у него все деньги и пообещал отдать через несколько дней. Всего полсоверена, правда; но и хорошо, что не больше, ведь этих денег ему не видать.

— Бедняга! — сказал Джон, очень внимательно выслушав его слова. — Быть может, вы не имели еще случая заметить, что в денежных отношениях Том очень щепетилен?

— Да что вы! Нет, я не замечал. То есть в каком смысле? Он не возьмет займы? Джон Уэстлок кивнул головой.

— Это очень странно, — сказал Мартин, ставя на стол пустую рюмку. — Да, большой чудак.

— А чтобы принять деньги в подарок, — заключил Джон, — так, я думаю, он скорее умрет.

— Он сама простота, — сказал Мартин. — Наливайте себе.

— Не сомневаюсь, однако, — продолжал Джон, наполнив свою рюмку и с любопытством поглядывая на своего собеседника, — что вы, будучи гораздо старше, чем большинство учеников мистера Пекснифа, и, по-видимому, гораздо опытнее, понимаете Тома и видите, как легко его обмануть.

— Конечно, — сказал Мартин, вытягивая ноги и рассматривая свою рюмку с вином на свет. — И мистер Пексниф это знает. И дочери его тоже. А?

Джон Уэстлок улыбнулся, но ничего не ответил.

— Кстати, — сказал Мартин, — это мне напомнило... Какого вы мнения о Пекснифе? Как он с вами обращался? Что вы о нем думаете сейчас? Хладнокровно, знаете ли, когда все уже позади.

— Спросите Пинча, — ответил бывший ученик. — Ему известно, каковы были мои чувства в этом отношении. Они не переменились, уверяю вас.

— Нет, нет, — сказал Мартин. — Я бы хотел услышать это от вас самих.

— Но Пинч говорит, что я несправедлив, — настаивал Джон, улыбаясь.

— Ах, так! Ну, тогда я наперед могу сказать, каковы они, — заметил Мартин, — и вы можете говорить прямо, без церемоний. Меня вам нечего стесняться. Скажу вам откровенно, мне он не нравится. Я живу у него потому, что это меня устраивает ввиду некоторых особенных обстоятельств. У меня как будто есть способности к архитектуре, и если

кто кому останется обязан, то уж скорее он мне, чем я ему. На худой конец мы будем квиты, и значит, ни о каких одолжениях не может быть и речи. Так что можете говорить со мной, как если бы я не имел к нему никакого отношения.

— Если вы непременно хотите знать мое мнение... — начал Джон Уэстлок.

— Да, хочу, — сказал Мартин. — Буду вам очень обязан.

— ...так я бы сказал, что это первейший мерзавец на всем свете, — закончил Джон.

— Ого! — заметил Мартин с неизменным спокойствием. — Довольно сильно сказано.

— Не сильнее, чем он заслуживает, — сказал Джон, — и если б он потребовал, чтобы я высказал свое мнение ему в лицо, я сделал бы это в тех же самых выражениях, нисколько не смягчая. Взять хоть то, как он обращается с Пинчем! А когда я оглядываюсь на те пять лет, что провел в его доме, и вспоминаю лицемерие, подлость, низость, притворство, пустословие этого человека и его манеру прикрывать личиной святошества самые некрасивые дела, когда я вспоминаю, сколько раз мне приходилось видеть все это и как бы принимать участие во всем этом, хотя бы уже в силу того, что я у него жил и он был моим учителем, — даю вам слово, я начинаю презирать самого себя.

Мартин допил свое вино и уставился в огонь.

— Я не хочу сказать, что это так и нужно, — продолжал Джон Уэстлок, — потому что во всем этом не было моей вины; я могу понять вас, например; вы прекрасно знаете, чего он стоит, и все же вынуждены обстоятельствами оставаться у него. Я просто говорю вам то, что чувствую; и даже теперь, когда, как вы говорите, все прошло и я имею удовольствие знать, что он всегда меня ненавидел, и что мы всегда не ладили, и я всегда говорил ему, что думал, — даже теперь мне жаль, что я не поддался искушению, которое часто испытывал еще мальчишкой: убежать от него и махнуть за границу.

— Почему же за границу? — спросил Мартин, обращая взгляд на говорившего.

— В поисках средств к жизни, — отвечал Джон Уэстлок, пожав плечами, — которых я не мог добыть на родине. В этом была бы хоть смелость. Но довольно! Налейте себе вина, и забудем о Пекснифе.

— Чем скорей, тем лучше, если вам угодно, — сказал Мартин. — О себе самом и моих отношениях с ним я могу только повторить то, что уже говорил. До сих пор я у него делал что хотел и дальше буду держаться так

же, и даже в большей мере; потому что (сказать вам по правде) он, видимо, надеется, что я буду за него работать, и вряд ли захочет со мной расстаться. Я так и думал, когда решил к нему ехать. За ваше здоровье!

— Благодарю вас, — ответил молодой Уэстлок. — И за ваше! Дай бог, чтобы новый ученик пришелся вам по душе!

— Какой новый ученик?

— Счастливый юноша, родившийся под благоприятной звездой, — смеясь, отвечал Джон, — чьим родителям или опекунам суждено пойматься на объявление. Как, вы не знали, что он опять напечатал объявление?

— Нет.

— Да, да, еще бы! Я прочел его вот только что, перед обедом, во вчерашней газете. Я знаю, что это его объявление, потому что достаточно знаком с его стилем. Тсс! Вот и Пинч. Странно, не правда ли, что чем больше он предан Пекснифу (а преданность его просто не знает границ), тем больше для нас причин любить Тома. Однако тише, иначе мы испортим ему настроение.

При этих словах вошел Том, сияя улыбкой, и снова уселся в свой теплый уголок, потирая руки скорее от удовольствия, чем от холода (он очень быстро бежал), и радуясь, как умел радоваться только Том Пинч. Никакое другое сравнение не изобразит состояния его души.

— Так вот, — сказал он, после того как долго и с удовольствием глядел на своего друга, — наконец-то вы стали настоящим джентльменом, Джон. Ну да, разумеется.

— Стараюсь, Том, стараюсь! — отвечал тот добродушно. — Хотя еще неизвестно, что из меня получится со временем.

— Думаю, что теперь вы не понесете сами чемодан к остановке, — с улыбкой сказал Том Пинч, — пускай лучше он у вас совсем пропадет!

— Не понесу? — возразил Джон. — Много же вы обо мне знаете, Пинч. Чемодан должен быть непомерной тяжести, чтобы я не ушел с ним от Пекснифа, Том.

— Ну вот! — воскликнул Пинч, обращившись к Мартину. — Что я вам говорил? Его слабое место — это несправедливость к Пекснифу. Не слушайте его, когда он говорит на эту тему. Какое-то невероятное предубеждение.

— Зато у Тома полное отсутствие всяких предубеждений, — сказал Джон Уэстлок, кладя руку на плечо мистера Пинча и смеясь от души, — это просто удивительно. Если когда-нибудь человек глубоко понимал другого, видел его в истинном свете и в натуральную величину, то именно

так наш Том понимает мистера Пекснифа.

— Совершенно верно! — воскликнул Том. — Я это столько раз говорил вам. Если б вы знали его так хорошо, как я, Джон, — а я бы никаких денег для этого не пожалел, — вы бы восхищались им, уважали и почитали его. Невольно уважали бы. Ах, уезжая, вы поразили его в самое сердце!

— Если б я знал, где у него находится сердце, — отвечал молодой Уэстлок, — я бы уж постарался его поразить, Том, можете быть уверены. Но так как нельзя ранить то, чего нет у человека и о чем он не имеет никакого понятия, разве только способен уязвлять в самое сердце других, то я совершенно не заслужил такого комплимента.

Мистер Пинч, не желая затягивать спор, который мог дурно повлиять на Мартина, воздержался и ничего не ответил на эти слова; тем не менее Джон Уэстлок, которого мог унять разве только стальной намордник, если речь шла о достоинствах мистера Пекснифа, продолжал:

— В самое сердце! Да, действительно мягкосердечный человек! Его сердце! Да ведь это сознательный, расчетливый, бессовестный негодяй! Его сердце! Но что с вами, Том?

Мистер Пинч стоял, выпрямившись во весь рост, на предкаминном коврике и весьма энергично застегивал сюртук.

— Я и слушать вас не хочу, — сказал Том, — нет, право, не хочу. Вы должны извинить меня, Джон. У меня к вам чувство большого уважения и дружбы, я очень люблю вас и сегодня был просто вне себя от радости, что вы все такой же и ничуть не переменились, но этого я никак не могу вынести.

— Да ведь это моя старая привычка, Том; а вы сами сейчас радовались, что я ничуть не переменился.

— Только не в этом отношении, — сказал Том Пинч. — Вы должны извинить меня, Джон. Я, право, не могу, да и не хочу здесь оставаться. Вы очень несправедливы, вам следует быть сдержаннее в выражениях. Я с вами был несогласен и тогда, когда мы говорили с глазу на глаз, а при данных обстоятельствах я этого просто не могу вынести. Нет, никак не могу.

— Вы совершенно правы, — воскликнул Джон, переглядываясь с Мартином, — а я не прав, Том! Не знаю, какого черта нам вздумалось разговаривать на эту тему. От всего сердца прошу у вас прощения.

— Характер у вас мужественный и прямой, я знаю, — сказал Пинч, — тем больше меня огорчает, что вы так невеликодушны в единственном случае. Не у меня вам следует просить прощения, Джон.

Мне вы ничего не сделали, кроме добра.

— Что ж, значит у Пекснифа? — сказал молодой Уэстлок. — Все что угодно, Том, и у кого угодно. Буду просить прощение у Пекснифа. Это вас удовлетворит? Так вот! Выпьем за здоровье Пекснифа!

— Благодарю вас! — воскликнул Том, горячо пожимая ему руку и наполняя бокал вином. — Благодарю вас, я от всей души выпью за него. За здоровье мистера Пекснифа, и пожелаем ему успехов!

Джон Уэстлок пожелал мистеру Пекснифу того же, но с небольшой поправкой, ибо, выпив за его здоровье, он посулил ему кой-что еще, но что именно, трудно было расслышать. После того как единодушие было восстановлено, друзья придвинули стулья ближе к камину и разговаривали в полном согласии и веселье до тех пор, пока не отправились ко сну.

Пожалуй, ничто не могло лучше выказать разницу между характерами Джона Уэстлока и Мартина Чезлвита, чем их отношение к Тому Пинчу после только что описанной маленькой размолвки. Правда, оба они глядели на него с улыбкой, но на этом и кончалось сходство. Бывший ученик всеми силами старался показать Тому, как сердечно он к нему относится, и его дружеское уважение стало как будто еще глубже и серьезнее. Новый же, наоборот, только забавлялся, вспоминая крайнюю простоту Тома, и к его улыбке примешивалось что-то оскорбительное и высокомерное, по-видимому говорившее о том, что мистер Пинч слишком прост, чтобы считаться другом положительных и серьезных людей и быть с ними на равной ноге.

Джон Уэстлок, который, по возможности, ничего не делал наполовину, позаботился и о ночлеге для своих гостей, и, проведя вечер очень весело, они, наконец, удалились на покой. Мистер Пинч, сняв галстук и башмаки, сидел на кровати, размышляя о том, как много хорошего в характере его старого друга, когда его размышления прервал стук в дверь и голос самого Джона:

— Вы не спите еще, Том?

— Господь с вами! И не собираюсь. Я думаю о вас, — ответил Том, открывая дверь. — Входите.

— Я не задержу вас, — сказал Джон, — но я весь вечер забывал об одном маленьком поручении, которое взял на себя, и боюсь, как бы опять не забыть, если я не передам его сейчас же. Вы, я думаю, знаете некоего мистера Тигга?

— Мистера Тигга! — воскликнул Том. — Тигг! Это тот джентльмен, который занял у меня деньги?

— Вот именно, — сказал Джон Уэстлок. — Он просил кланяться и с

благодарностью возвращает вам долг. Вот деньги. Надеюсь, монета не фальшивая, но человек он очень подозрительный, Том.

Мистер Пинч взял маленькую монетку с таким сияющим видом, что и золото по сравнению с ним казалось тусклым, и сказал, что нисколько не боялся за свои деньги.

— Я очень рад, — прибавил Том, — что мистер Тигг оказался таким пунктуальным и добросовестным в денежных отношениях.

— Ну, сказать вам по правде, Том, — возразил его друг, — он далеко не всегда таков. Послушайтесь моего совета, держитесь от него подальше, если повстречаетесь с ним снова. И ни в коем случае, Том, — не забывайте этого, пожалуйста, потому что я говорю совершенно серьезно, — ни в коем случае не давайте ему больше взаймы.

— Ну, что вы! — сказал Том, широко раскрыв глаза.

— Это далеко не лестное знакомство, — возразил молодой Уэстлок, — и чем яснее вы дадите ему понять ваше мнение, тем лучше для вас, Том.

— Послушайте, Джон, — произнес мистер Пинч с вытянутой физиономией и горестно качая головой, — надеюсь, вы не попали в дурное общество?

— Нет, нет, — отвечал тот, смеясь. — Не беспокойтесь на этот счет.

— А я все-таки беспокоюсь, — сказал Том Пинч. — И не могу не беспокоиться, когда слышу, что вы так говорите. Если мистер Тигг действительно таков, как вы описываете, то он вам не компания, Джон. Можете смеяться, но это вовсе не шуточное дело, уверяю вас.

— Нет, нет, — отвечал его друг, принимая серьезный вид. — Совершенно верно. Конечно, не шуточное.

— Вы знаете, Джон, — сказал мистер Пинч, — при вашем великодушии и доброте сердечной вы очень беззаботны, а с людьми надо быть как можно осторожнее. Честное слово, для меня было бы просто горем услышать, что вы попали в дурное общество, потому что я знаю, как нелегко порвать с ним. Лучше бы у меня совсем пропали эти деньги, Джон, чем получить их обратно такой ценой.

— Говорю же вам, милый мой старый друг, — воскликнул Джон, раскачивая его взад и вперед обеими руками и улыбаясь ему такой веселой, открытой улыбкой, которая могла бы убедить и гораздо менее доверчивого человека, чем Том, — уверяю вас, что опасности нет никакой.

— Отлично! — воскликнул Том. — Я рад это слышать, не могу вам сказать, до чего рад! Значит — нет, раз вы так прямо это говорите. Вы ведь не обиделись, Джон, на то, что я сейчас сказал?

— Обиделся! — сказал тот, дружески пожимая ему руку. — За кого вы

меня принимаете? Я вовсе не так близко знаком с мистером Тиггом, чтобы вам стоило из-за этого тревожиться, уверяю вас самым серьезным образом. Теперь вы совсем успокоились?

— Совсем, — сказал Том.

— Тогда спокойной ночи еще раз.

— Спокойной ночи! — воскликнул Том. — И таких приятных снов, какие могут сниться только самому лучшему человеку на свете!

— После Пекснифа, — сказал его друг, останавливаясь на минуту в дверях и весело оглядываясь.

— Разумеется, после Пекснифа, — ответил Том очень серьезно.

Так они распрощались на ночь, и Джон Уэстлок лег спать в веселом и беззаботном настроении, а бедняга Том Пинч — совершенно успокоившись; хотя, поворачиваясь в постели на бок, он все-таки пробормотал про себя: „Право, было бы куда лучше, чтоб он совсем не знал с этим мистером Тиггом“.

Они позавтракали все вместе очень рано утром, потому что гостям хотелось вернуться домой засветло, а Джон Уэстлок собирался уехать в Лондон с дневным дилижансом. Так как у него было несколько свободных часов, он провожал их мили три или четыре и расстался с ними, наконец, единственно в силу необходимости. Прощание было самое дружеское, не только с мистером. Пинчем, но также и с Мартином, который обнаружил, что бывший ученик совсем не похож на ту мокрую курицу, какую он рассчитывал встретить.

Отойдя немного, молодой Уэстлок поднялся на пригорок и оглянулся. Они шли быстрым шагом, и Том что-то говорил с большим увлечением. Ветер дул им теперь в спину, так что Мартин снял пальто и нес его на руке. Джон видел, как Том отнял у него пальто, после довольно вялого сопротивления, и, сложив его вместе со своим собственным, взвалил на себя эту двойную ношу. Этот незначительный случай, по-видимому, сильно поразил Джона, потому что он стоял, глядя им вслед, пока они не скрылись из виду, а потом, покачивая головой, словно его тревожили какие-то грустные мысли, в раздумье зашагал по направлению к Солсбери.

Тем временем Мартин с Томом продолжали свой путь и благополучно вернулись в дом мистера Пекснифа, где нашли краткое послание от этого добродетельного джентльмена к мистеру Пинчу, извещавшее о прибытии всего семейства с ночным дилижансом. Так как дилижанс должен был проезжать мимо перекрестка около шести часов утра, мистер Пексниф просил, чтобы к этому времени была выслана двуколка и дожидалась их у придорожного столба вместе с тележкой для багажа. А для того чтобы

оказать ему больше почета, молодые люди решили встать пораньше и встретить его на остановке.

Это был самый невеселый день из тех, что они провели вместе. Мартин был неразговорчив и не в духе; при каждом удобном случае он сравнивал свое положение с положением молодого Уэстлока, и каждый раз к собственной невыгоде. Его дурное настроение угнетало и Тома, и даже воспоминания о сегодняшнем прощании и вчерашнем обеде нисколько его не радовали. Время тянулось без конца, и они были рады пораньше улечься спать.

Они были вовсе не так рады, когда пришлось вставать в половине пятого, дрожа от холода, в потемках зимнего утра, однако поднялись минута в минуту и оказались на остановке за целых полчаса до назначенного времени. Утро ни в коем случае нельзя было назвать веселым, так как небо было хмурое, все в тучах, и лил проливной дождь; но Мартин заметил, что все-таки приятно видеть, как эта скотина (он подразумевал арабского скакуна мистера Пекснифа) промокнет до костей, и оттого он даже рад, что дождик поливает изо всех сил. Отсюда можно заключить, что настроение Мартина нисколько не улучшилось; да так оно и было, судя по тому, что все время, пока они с мистером Пинчем стояли под изгородью, глядя на ливень, на кабриолет, на тележку и промокшего до нитки кучера, он только и делал, что ворчал, и непременно поссорился бы с мистером Пинчем, если бы для ссоры не было обязательно участие обеих сторон.

Наконец в отдалении послышался слабый шум колес, и вскоре показался дилижанс, разбрызгивая грязь и слякоть, с одним несчастным пассажиром снаружи, скрючившимся в мокрой соломе, под мокрым насквозь зонтиком, и с промокшими до костей кучером, кондуктором и лошадьми — его товарищами по несчастью. Как только дилижанс остановился, мистер Пексниф опустил окно и окликнул Тома Пинча:

— Боже мой, мистер Пинч! Вы ли это? Ну, можно ли выходить в такую неблагоприятную погоду!

— Да, сэр, — воскликнул Том, бросаясь к нему, — Это мы с мистером Чезлвитом!

— О! — сказал мистер Пексниф, глядя не столько на Мартина, сколько на то место, где он стоял. — О! В самом деле! Сделайте мне такое одолжение, мистер Пинч, приглядите, пожалуйста, за чемоданами!

Тут мистер Пексниф вышел из дилижанса и помог выйти своим дочерям; однако ни он, ни девицы не обратили ни малейшего внимания на Мартина, который подошел, чтобы предложить свою помощь, но не был

допущен мистером Пекснифом, или, вернее, его спиной, плотно загородившей ему дорогу. Действуя таким же образом и сохраняя нерушимое молчание, мистер Пексниф подсадил своих дочерей в двуколку, а за ними уселся и сам, забрал вожжи в руки и тронулся с места.

Растерявшись от изумления, Мартин стоял, глядя на дилижанс, а после того как дилижанс отъехал — на мистера Пинча и багаж, пока тележка не уехала тоже, и, наконец, сказал Тому:

— Объясните мне, ради бога, что это значит?

— Что?

— Да поведение этого господина, то есть, я хочу сказать, мистера Пекснифа. Вы видели?

— Нет, право, не видел, — ответил Том. — Я был занят багажом.

— Ну, все равно, — сказал Мартин. — Идемте скорей! — И, не говоря больше ни слова, он зашагал так быстро, что Тому стоило большого труда поспевать за ним.

Не разбирая дороги, Мартин шагал как попало по грязи и лужам, глядя прямо перед собой и время от времени улыбаясь какой-то странной улыбкой. Том понимал, что уговаривать его не стоит, так как от этого он только больше заупрямится, и полагался всецело на то, что дома мистер Пексниф сумеет рассеять ложное впечатление, ибо новый ученик был в таком фаворе, что у него не могло быть решительно никаких оснований беспокоиться. Однако, возвратившись домой и войдя в гостиную, где мистер Пексниф сидел перед огнем и пил горячий чай, он и сам немало удивился, обнаружив, что, вместо того чтобы обратить благосклонное внимание на своего родственника, а мистера Пинча оставить в тени, тот поступил как раз наоборот и стал расточать Тому такие любезности, что бедный малый совсем смутился.

— Выпейте чая, мистер Пинч, выпейте чая, — приглашал его Пексниф, помешивая в камине. — Вы, должно быть, очень озябли и промокли. Выпейте, пожалуйста, чая и сядьте, где потеплее, мистер Пинч.

По лицу Мартина Том видел; что тот охотно послал бы мистера Пекснифа в самое жаркое место, однако Мартин молчал и, стоя у стола, как раз против этого джентльмена, не сводил с него глаз.

— Садитесь, мистер Пинч, — сказал Пексниф. — Садитесь, пожалуйста. Как шли дела в наше отсутствие, мистер Пинч?

— Вы... вы будете очень довольны планом начальной школы, сэр, — сказал мистер Пинч. — Он почти закончен.

— Если вы хотите оказать мне любезность, мистер Пинч, — заметил Пексниф, махнув рукой и улыбнувшись, — мы с вами сейчас не будем

касаться ничего такого, что стоит в связи с этим вопросом. Что делали вы, Томас, а?

Том, все время переводивший взгляд с учителя на ученика, а с ученика опять на учителя, до того потерялся и расстроился, что не сразу нашелся что ответить. Во время наступившей неловкой паузы мистер Пексниф (отлично знавший, что Мартин упорно на него смотрит, хотя сам ни разу не взглянул в том направлении) прилежно мешал в камине, а когда мешать стало нечего, принялся за чай.

— Ну, мистер Пексниф, — наконец сказал Мартин, не повышая голоса, — если вы достаточно отдохнули и освежились, я буду очень рад услышать, что означает ваше обращение со мной.

— Так что же, — спросил мистер Пексниф, глядя на Тома еще более кротко и безмятежно, чем прежде, — так что же делали вы, Томас, а?

Повторив этот вопрос, он оглядел стены, словно желая удостовериться, не осталось ли в них случайно старых гвоздей.

Том совершенно потерял голову и, не зная, что сказать, даже сделал движение рукой, словно обращая внимание мистера Пекснифа на того джентльмена, который только что к нему адресовался, когда Мартин избавил его от дальнейших хлопот, заговорив сам.

— Мистер Пексниф! — сказал он, раза два или три негромко стукнув по столу и сделав шаг вперед, так что теперь он мог бы дотронуться до Пекснифа, — вы слышали, что я сказал сейчас. Пожалуйста, потрудитесь мне ответить. Я спрашиваю вас, — тут он слегка повысил голос, — что это значит?

— Я поговорю с вами, сударь, в скором времени, — сурово отвечал мистер Пексниф, в первый раз достаивая Мартина взглядом.

— Вы очень любезны, — возразил Мартин, — в скором времени мне не подходит. Я прошу вас поговорить со мной сейчас.

Мистер Пексниф сделал вид, будто глубоко заинтересован своей записной книжкой, однако руки у него так дрожали, что книжка подсакивала в них.

— Сейчас, — повторил Мартин, снова стуча по столу, — сейчас. „В скором времени“ мне не подходит. Сейчас!

— Вы угрожаете мне, сударь! — воскликнул мистер Пексниф.

Мартин посмотрел на него и ничего не ответил, однако любопытный наблюдатель мог бы заметить, что рот у него злоеюще перекосялся, а правая рука произвольно дернулась по направлению к галстуку мистера Пекснифа.

— Как это ни грустно, я вынужден сказать, сударь, — продолжал

мистер Пексниф, — что угрозы были бы в полном соответствии с вашей репутацией. Вы обманули меня. Вы воспользовались известной вам простотой и доверчивостью моего характера. Вы проникли в этот дом, — продолжал мистер Пексниф, вставая, — обманным образом, под ложным предлогом.

— Продолжайте, — сказал Мартин, презрительно улыбаясь. — Теперь я вас понимаю. Еще что?

— Вот что еще, сударь! — воскликнул мистер Пексниф, дрожа с головы до ног и потирая руки, словно от холода. — Вот что еще, если вы принуждаете меня оглашать ваш позор перед третьим лицом, чего я не желал и не имел намерения делать. Эту скромную обитель, сударь, не должно осквернять присутствие человека, который обманул, и жестоко обманул, почтенного, всеми любимого и уважаемого старца и который умышленно скрыл этот обман от меня, когда искал моего покровительства и защиты, зная, что я, при всем моем смирении, человек честный и стараюсь выполнить свой долг на этой грешной земле, воюя с пороком и вероломством. Я оплакиваю вашу развращенность, сударь, — произнес мистер Пексниф, — я скорблю о вашем падении, я сожалею о вашем добровольном удалении с путей добродетели и мира, усыпанных, цветами, — тут он ударил себя по груди, этому вертограду добродетели, — но я не могу терпеть в своем доме змею и ехидну. Ступайте, молодой человек, — произнес мистер Пексниф, простирая руку, — ступайте! Я отрекаюсь от вас, как и все, кто вас знает!

Трудно сказать, для чего Мартин при этих словах сделал шаг вперед. Довольно нам знать, что Том Пинч удержал его в своих объятиях и что мистер Пексниф так поспешно попятился, что оступился, споткнулся о стул и с размаху сел на пол, где и остался недвижим, не делая попытки подняться и уткнувшись головой в угол, — быть может потому, что считал это место самым безопасным.

— Пустите меня, Пинч! — кричал Мартин, вырываясь. — Для чего вы меня держите! Неужели вы думаете, что от одной оплеухи этому негодяю что-нибудь сделается? Неужели вы думаете, что, если я плюну ему в лицо, это может его хоть сколько-нибудь унижить? Взгляните на него, взгляните на него, Пинч!

Мистер Пинч невольно взглянул. Нельзя сказать, чтобы мистер Пексниф, несколько помятый и весьма непрезентабельный после дороги, сидя, как мы уже говорили, на ковре и упираясь головой в острый угол панели, являл собой образец привлекательности и человеческого достоинства. И все же это был Пексниф; никак нельзя было отнять у него

это единственное и неотразимое, с точки зрения Тома, преимущество. Он ответил Тому взглядом, как бы говоря: „Да, мистер Пинч, взгляните на меня! Вот он я! Вы знаете, что поэт сказал о честном человеке: честный человек есть одно из великих созданий природы, которые можно видеть даром! Взгляните же на меня!“

— Вот он перед вами во всей красе, — продолжал Мартин, — опозоренный, продажный, ни на что больше не годный, тряпка для грязных рук, подстилка для грязных ног, лживый, подлый, виляющий хвостом пес, самый последний, самый гнусный из проходимцев на земле! Попомните мои слова, Пинч! Придет день, — он это знает, это и сейчас видно по его лицу, — когда даже вы его раскусите и поймете, как понимаю я! Он отрекается от меня! Запечатлейте в памяти образ отступника, Пинч, и пусть воспоминание о нем поможет вам прозреть!

При этих словах он указал на Пекснифа с невыразимым презрением и, нахлобучив шляпу на голову, вышел из комнаты, а там и из дому. Он шел так быстро, что уже миновал последние дома в селении, когда услышал, что Том Пинч, задыхаясь, окликает его издали.

— Ну, в чем дело? — спросил Мартин, когда Том подошел ближе.

— Боже мой, боже мой! — воскликнул Том. — Вы уходите?

— Ухожу! — отозвался он эхом. — Ухожу!

— Я не про это, но как же, вы уходите так сразу, в такую погоду, пешком, без вещей, без денег?

— Да, — ответил Мартин непреклонно, — вот так и ухожу.

— Но куда? — воскликнул Том. — Куда вы денетесь?

— Не знаю, — сказал он. — Впрочем, знаю: я уеду в Америку!

— Нет, нет! — воскликнул Том с грустью. — Не уезжайте туда! Пожалуйста! Одумайтесь! Пожалейте себя. Не уезжайте в Америку!

— Я уже решил, — сказал Мартин. — Ваш друг был прав. Я уеду в Америку. Спасибо вам, Пинч!

— Возьмите это! — сказал Том, в сильном волнении протягивая ему книгу. — Мне нужно поскорей домой, и я никак не могу сказать всего, что хотел. Господь с вами! Взгляните на листок, который я загнул. Прощайте же, прощайте!

Простая душа, он со слезами на глазах пожал Мартину руку, и, торопливо попрощавшись, они пошли каждый своей дорогой.

Глава XIII

повествует о том, к чему привело Мартина его безрассудное решение, после того как он покинул дом мистера Пекснифа; с кем он повстречался; какие тревоги пережил и какие новости услышал.

Машинально зажав книгу Тома Пинча под мышкой и даже не застегнув пальто в защиту от проливного дождя. Мартин упрямо шел вперед все тем же быстрым шагом, пока не миновал придорожного столба и не свернул на большую дорогу в Лондон. Но даже и тут он почти не замедлил шага, хотя уже начинал думать и смотреть по сторонам, мало-помалу высвобождаясь из тисков гнева и негодования, до того времени державших его в плену.

Надо сказать, что в эту минуту ничто вокруг не радовало его глаз и не отвлекало от грустных размышлений. День занимался на востоке бледной полосой водянистого света и гнал перед собой мрачные тучи, из которых густой и влажной пеленой падал дождь. Он струился с каждой ветки, с каждой колючки в живой изгороди, прокладывал водостоки на тропе, бороздил дорогу сотнями ручейков, пробивал бесчисленные дырки на поверхности каждого пруда и каждой лужи. Он падал в траву, хлюпая и чмокая, и превращал каждую борозду на вспаханном поле в грязную канаву. Нигде не видно было ни одной живой души. Пейзаж не мог бы казаться более унылым, даже если бы вся одушевленная природа растворилась в воде и снова пролилась дождем на землю.

Перспективы одинокого путника были так же безрадостны, как и окружающие его виды. Без друзей и без денег, взбешенный до последней степени, глубоко уязвленный в своем самолюбии и гордости, он лелеял в душе множество независимых замыслов и терзался сознанием невозможности их осуществить, — поистине, даже самый мстительный враг был бы доволен размерами его несчастий. Вдобавок ко всем остальным бедам, он только теперь почувствовал, что вымок насквозь и продрог до костей.

В этом плачевном положении он вспомнил о книге мистера Пинча, скорее оттого, что ее было не слишком удобно нести, чем в надежде извлечь утешение из этого прощального дара. Он взглянул на полустертые буквы на корешке и, увидев, что это был случайный томик „Бакалавра из Саламанки“^[40] на французском языке, раз двадцать послал к черту Тома

Пинча с его чудачеством. Раздосадованный и сильно не в духе, он уже собирался зашвырнуть книжку подальше, как вдруг припомнил, что Том просил его посмотреть загнутый лист, и, раскрыв книгу на этой странице, для того чтобы иметь еще одну причину подосадовать на Тома за предположение, будто какие-то прокисшие остатки премудрости „Бакалавра“ могут его ободрить в таких обстоятельствах, нашел...

Ну что ж! Немного — но все, что имел Том. Те самые полсоверена. Том наспех завернул деньги в бумажку и приколот к странице. На обороте были нацарапаны карандашом следующие слова: „Мне они, право, не нужны. Я бы не знал, куда их девать“. Бывает такая ложь, Том, которая возносит человека к небесам, словно светлые крылья. И бывает такая правда, холодная, горькая, язвительная правда, до тонкости известная нашим ученым, которая приковывает к земле свинцовыми цепями. Кто не предпочел бы в свой смертный час легчайшее перо лжи, такой, как твоя, Том, всем иглам, вырванным с начала времен из колючего дикобраза горькой правды!

Мартин был очень чувствителен ко всему, что касалось его лично, и это доброе дело Тома сильно его взволновало. Уже через несколько минут у него значительно повысилось настроение, и он вспомнил, что еще не совсем обнищал, так как оставил у Пекснифа порядочный запас платья, а в кармане у него лежат золотые часы с крышкой. Мартин испытывал также немалое удовольствие при мысли о том, какой он, должно быть, обаятельный молодой человек, если произвел такое впечатление на Тома, а также — насколько он выше Тома во всех отношениях и насколько у него больше шансов выйти в люди. Воодушевленный этими мыслями и еще более укрепившись в своем намерении добиться счастья за рубежом, он решил, не теряя времени, отправиться к Лондон, чтобы по возможности собраться со средствами.

В добрых десяти милях от селения, замечательного тем, что в нем обитал мистер Пексниф, он остановился позавтракать в маленькой придорожной харчевне и, усевшись перед очагом на скамью с высокой спинкой, стянул с себя мокрое пальто и повесил его сушиться перед весело пылающим огнем. Эта харчевня была совсем не похожа на ту гостиницу, где он пировал прошлый раз; она не могла похвастаться никакими особенными удобствами, разве только кухней с кирпичным полом; но дух так скоро приспособляется к нуждам тела, что этот бедный постоялый двор, которым Мартин пренебрег бы еще вчера, показался ему теперь лучше всякой гостиницы, а яичницу с салом и кружку пива он отнюдь не счел грубой пищей, вполне соглашаясь с надписью на оконном ставне,

объявлявшей эти яства „Лучшим угощением для путешественников“.

Он отодвинул от себя пустую тарелку и, в то время как вторая кружка пива грелась для него на очаге, глядел, задумавшись, на огонь, пока не заболели глаза. Потом стал рассматривать ярко раскрашенные картинки из священного писания в узеньких, как на дешевых зеркальцах для бритья, черных рамках, где волхвы, похожие друг на друга, как родные братья, поклонялись младенцу в розовых яслях; где блудный сын в красных лохмотьях возвращался к лиловому отцу и уже предвкушал мысленно заклятие зеленого, как морская волна, тельца. Мартин посмотрел в окно на косой дождь, струйками стекавший с вывески на столбе напротив дома, на переполненную колоду для водопоя, а потом снова перевел глаза на огонь, казалось различая среди горящих поленьев отражение далекого Лондона.

Он много раз повторил этот осмотр в одном и том же порядке, как будто это было необходимое дело, когда шум колес за окном привлек его внимание и нарушил этот порядок. Выглянув во двор, он увидел крытый фургон, запряженный четверкой лошадей и груженный, насколько можно было разглядеть, зерном и соломой. Возчик, который приехал один, остановился перед харчевней напоить свою четверку и скоро вошел в общую комнату, топая ногами и стряхивая воду со шляпы и куртки.

Это был краснощекий и дюжий молодой парень, щеголь в своем роде и с добродушной физиономией. Подойдя к огню, он в знак приветствия поднес ко лбу указательный палец жесткой кожаной перчатки и заметил (без особенной надобности), что погода нынче из ряду вон дождливая.

— Да, очень дождливая, — сказал Мартин.

— Что-то я и не запомню такого ливня.

— Мне еще не приходилось под таким мокнуть, — сказал Мартин.

Возчик взглянул на забрызганное грязью платье Мартина, на мокрые рукава его рубашки, на пальто, сохнущее перед огнем, и после некоторого молчания сказал, грея руки:

— Попали под дождик, сэр?

— Да, — коротко ответил Мартин.

— Верхом ехали, должно быть? — спросил возчик.

— Ехал бы, если бы у меня была лошадь, — ответил Мартин.

— Плохо дело, — сказал возчик.

— Бывает и хуже, — сказал Мартин.

Возчик сказал „плохо дело“ не столько потому, что у Мартина не было лошади, сколько потому, что в его ответе слышался бесшабашный вызов своему положению, заставляя предполагать многое. Ответив возчику, Мартин засунул руки в карманы и засвистал, давая этим понять, что он

нисколько не интересуется фортуной и вовсе не желает прикидываться ее любимчиком, когда этого нет в действительности, и что ему нет ровно никакого дела до нее, до возчика и вообще ни до кого на свете.

С минуту возчик глядел на него украдкой, а затем стал греться у огня, время от времени прерывая это занятие свистом. Наконец он спросил, указывая большим пальцем на дорогу:

— Туда или обратно?

— Куда это „туда“? — спросил Мартин.

— В Лондон, разумеется, — сказал возчик.

— Значит, туда, — ответил Мартин. После чего он небрежно кивнул головой, словно говоря: „Теперь вам все известно“, — и, засунув руки глубже в карманы, засвистал громче прежнего, но уже на другой мотив.

— И я туда, — заметил возчик. — В Хаунсло, десять миль не доезжая Лондона.

— Вот как? — отозвался Мартин и, перестав свистать, взглянул на него.

Возчик стряхнул над огнем мокрую шляпу, так что зашипело в очаге, и ответил:

— Ну, разумеется.

— Тогда, — сказал Мартин, — я буду с вами откровенен. Судя по моему платью, вы, может быть, думаете, что у меня много лишних денег. У меня их нет. Я не могу заплатить за проезд больше кроны, потому что их у меня всего две. Если вы можете довезти меня за эту цену да еще за мой жилет или вот этот шелковый платок — пожалуйста. Если нет — не надо.

— Коротко и ясно, — заметил возчик.

— Вы хотите больше? — сказал Мартин. — Ну так больше у меня не найдется, и взять мне неоткуда; значит, разговор кончен. — И тут он опять засвистал.

— Разве я говорил, что мне надо больше? — спросил возчик с некоторым даже возмущением.

— Вы не сказали, что с вас этого довольно, — возразил Мартин.

— Да как же я мог, когда вы не даете слова вымолвить? Насчет жилета, сказать по правде, я его и даром не возьму, а уж господский жилет мне и вовсе не нужен; шелковый платок другое дело: ежели останетесь довольны, когда доедем до Хаунсло, я не откажусь от такого подарка.

— Значит, по рукам? — спросил Мартин.

— По рукам, — отвечал возчик.

— Тогда допейте это пиво, — сказал Мартин, подавая ему кружку и с большой готовностью натягивая пальто, — и давайте поедem как можно

скорей.

Через какие-нибудь две минуты он заплатил по счету — что-то около шиллинга, растянулся во весь рост на охапке соломы на самом верху воза, слегка приподняв брезент впереди, чтобы удобнее было разговаривать с новым приятелем, и покатил в нужном ему направлении так лихо и весело, что это было одно удовольствие.

Возчика звали Вильям Симмонс, как он вскоре сообщил Мартину, а более известен он был под именем Билла, и его щеголеватая наружность объяснялась причастностью к большой конторе дилижансов в Хаунсло, куда он вез солому и зерно с одной фермы в Вильтшире, принадлежавшей этой конторе. По его словам, он часто ездил туда и обратно с такими поручениями, а также приглядывал за больными и сменными лошадьми, и об этих животных у него нашлось что порассказать, причем рассказ отнял довольно много времени. Он мечтал о постоянной должности возчика и надеялся ее получить, как только откроется вакансия. Кроме того, он был любителем музыки и носил в кармане маленький корнет-а-пистон, на котором, как только умолкал разговор, наигрывал начало множества мотивов, непременно сбиваясь в конце.

— Эх! — сказал Билл со вздохом, вытерев губы ладонью и укладывая свой инструмент в карман, после того как отвинтил и прочистил мундштук. — Молодчина Нэд, кондуктор Скорого Солсберийского, вот это так мастер был играть. Вот это был кондуктор. Можно сказать, ангел, а не кондуктор!

— Разве он умер? — спросил Мартин.

— Умер! — пренебрежительно ответил возчик. — Как бы не так! Попробуйте-ка его уморить. Не выйдет. Не так-то он глуп.

— Вы говорили о нем в прошедшем времени, — заметил Мартин, — оттого я и подумал, что его больше нет на свете.

— Его больше нет в Англии, если вы это имеете в виду, — сказал Билл. — Он уехал в Америку.

— В Америку? — спросил Мартин, вдруг заинтересовавшись. — Давно ли?

— Лет пять назад или около того, — сказал Билл. — Он тут завел было трактир, только запутался в долгах и в один прекрасный день взял да и сбежал в Ливерпуль, не сказав никому ни слова, а там отплыл в Америку.

— Ну и что же? — спросил Мартин.

— Ну и что же! А когда он высадился на берег без гроша в кармане, в Соединенных Штатах ему, конечно, очень обрадовались.

— Что вы этим хотите сказать? — с раздражением спросил Мартин.

— Что хочу сказать? — ответил Билл. — Да вот что. В Соединенных Штатах все люди равны, верно? Там, говорят, совсем неважно, есть у человека тысяча фунтов или нет ничего, особенно в Нью-Йорке, куда попал Нэд.

— В Нью-Йорке, да? — спросил Мартин в раздумье.

— Да, — сказал Билл, — в Нью-Йорке. Я потому это знаю, что он писал домой, будто в Нью-Йорке ему все время вспоминается Старый Йорк [41], просто как живой, — оттого, должно быть, что нисколько на него не похож. По какой части Нэд там пристроился, этого я, право, не знаю, только он писал домой, что все время распевает с приятелями „Здравствуй, Колумбия!“ [42] да бранит президента; так что, мне думается, это опять что-нибудь по Трактирной части, а может, клуб какой-нибудь. Как бы там ни было, капитал он нажил.

— Не может быть! — воскликнул Мартин.

— Да, нажил, — сказал Билл. — Я это знаю, потому что он тут же все потерял, когда лопнуло разом двадцать шесть банков. Удостоверившись, что платить по ним ничего не будут, он переписал много бумаг на имя отца и послал домой вместе с почтительным письмом. Их показывали у нас во дворе, когда делали сбор в пользу старика, чтобы ему было на что побаловаться табачком в работном доме.

— Почему же он не берег деньги, пока они были? — сказал Мартин с негодованием.

— Ваша правда, — сказал Билл, — тем более что все они были в бумагах, так что и беречь их ничего не стоило, надо было только сложить помельче.

Мартин ничего ему не ответил, но вскоре после этого задремал и проспал целый час или более того. Проснувшись и увидев, что дождь перестал, он перебрался на козлы к вознице и стал задавать ему разного рода вопросы: сколько времени счастливый кондуктор Скорого Солсберийского дилижанса плыл через Атлантический океан; в какое время года он отправился в плавание; как назывался корабль, на котором он ехал; сколько он заплатил за билет; сильно ли страдал от морской болезни, и так далее. Но обо всех этих обстоятельствах его приятелю не было известно ровно ничего или очень мало, и он отвечал на вопросы либо явно наобум, либо признавался, что ничего на этот счет не слышал или позабыл; и хотя Мартин не раз возвращался к этой теме, он так и не мог добиться толкового ответа насчет всех этих существенных подробностей.

Они тащились целый день и останавливались так часто — то закусить,

то переменить лошадей, то сменить или захватить с собой упряжь, то по одному, то по другому делу, связанному с движением дилижансов по этой дороге, — что была уже полночь, когда они добрались до Хаунсло. Не доезжая конюшни, куда направлялся фургон, Мартин сошел, уплатил крону, заставил своего честного приятеля взять шелковый платок, несмотря на все отговорки, которым явно противоречило жадное выражение его разгоревшихся глаз. После этого они распрощались, и когда фургон въехал во двор и ворота за ним заперли, Мартин остался на темной улице и с особенной силой почувствовал, что он изгнан без возврата и одинок в этом страшном мире.

Однако и в эту минуту уныния и нередко впоследствии воспоминание о мистере Пекснiffe, подобно горькому лекарству, поддерживало его силы, пробуждая в нем негодование, которое действовало очень благотворно, заставляя его упрямо держаться и терпеть. Под влиянием этого жгучего чувства он без дальнейших проволочек отправился в Лондон. Добравшись туда в середине ночи и не зная, где искать еще не запертую харчевню, он вынужден был до самого утра ходить по улицам и площадям.

За час до рассвета он очутился в той части города, близ театра Аделфи^[43], где дома победней, и, обратившись к человеку в меховой шапке, который снимал ставни с окон дрянного трактира, сообщил ему, что он приезжий, и спросил, нельзя ли получить здесь ночлег. На его счастье оказалось, что можно. Постель, хотя и не из роскошных, была довольно чистая, и Мартин, забравшись в нее, радовался теплу, покою и возможности забыться.

Был уже поздний день, когда он проснулся. И пока он умылся, оделся и позавтракал, опять уже начало темнеть. Это вышло даже к лучшему, ибо Мартину было совершенно необходимо расстаться со своими часами, заложив их какому-нибудь услужливому ростовщику. Он все равно стал бы дожидаться наступления темноты, даже если бы это был самый длинный день в году и с утра ему не пришлось бы позавтракать.

Он миновал больше золотых шаров, чем нашлось бы у всех жонглеров Европы вместе взятых, прежде чем решился отдать предпочтение какой-нибудь из ссудных касс, которым эти символические изображения служили вывеской. В конце концов он вернулся к одной из первых лавок, какие видел по дороге, и, войдя через боковую дверь, где три золотых шара вместе с надписью „Денежные ссуды“ отражались туманно и призрачно в тусклом стекле, вошел в один из чуланчиков, или отдельных клеток, отгороженных для удобства более робких и неопытных клиентов. Он юркнул туда, достал из кармана часы и положил их на прилавок.

— Клянусь душой и жизнью, — говорил закладчику в соседнем отделении чей-то негромкий голос, — вам следовало бы дать больше, хоть немножко больше! Право, следовало бы! Не мешало бы скинуть хоть четверть унции с вашего фунта мяса, мой любезный Шейлок^[44], пускай уж будет два шиллинга шесть пенсов.

Мартин невольно отступил назад, сразу узнав этот голос.

— Вы все шутите, — вполне деловым тоном сказал приемщик; он свернул заклад (очень похожий на рубашку) и теперь чинил гусиное перо на прилавке.

— Мне не, до шуток, пока я сюда хожу, — сказал мистер Тигг. — Ха-ха! Недурно сказано! Пусть будет два шиллинга шесть пенсов, дорогой друг, только для этого случая. Полкроны — дивная монета. Два шиллинга шесть! Идет за два шиллинга шесть! В последний раз — за два шиллинга шесть пенсов!

— Последний раз будет, когда совсем износится, — отвечал приемщик. — И так она вся пожелтела на службе.

— Ее хозяин пожелтел на службе, если вы это имели в виду, мой друг, — сказал мистер Тигг, — на службе неблагодарной родине. Так вы дадите два шиллинга шесть?

— Дам, как всегда давал, — возразил приемщик, — два шиллинга. Фамилия, полагаю, все та же?

— Все та же, — сказал мистер Тигг, — моя претензия на титул пэра пока еще не утверждена палатой лордов.

— Адрес прежний?

— Ничего подобного, — сказал мистер Тигг. — Я перенес мою городскую резиденцию из номера тридцать восьмого, Мэйфер, в номер тысяча пятьсот сорок второй, Парк-лейн^[45].

— Ну, знаете ли, этого я записывать не стану, — усмехнувшись, сказал закладчик.

— Можете записать все, что вам угодно, мой друг, — произнес мистер Тигг. — Факт остается фактом. Помещение для второго дворецкого и пятого лакея оказалось до неприличия мизерным и непрезентабельным, и я был вынужден из уважения к их чувствам, которые делают им большую честь, снять на семь лет, на четырнадцать лет или на двадцать один год, с возобновлением аренды по желанию съемщика, элегантный особняк со всеми удобствами, номер тысяча пятьсот сорок два, Парк-лейн. Давайте два шиллинга шесть пенсов и приходите ко мне в гости.

Приемщика так развеселила эта юмористическая выходка, что мистер

Тигг и сам не мог удержаться от выражения некоторого торжества. Оно проявилось отчасти в желании посмотреть, как отнесся к его шутке посетитель в соседнем отделении, для чего он заглянул за перегородку и при свете газового рожка сразу узнал Мартина.

— Помереть мне, — сказал мистер Тигг, вытягивая шею так далеко, что его голова очутилась в клетке Мартина, — если это не самая удивительная встреча во всей древней и новой истории! Как вы поживаете? Какие новости из сельскохозяйственных округов? Как поживают наши друзья Пекснифы? Ха-ха! Дэвид, немедленно окажите особенное внимание этому джентльмену, как моему другу, прошу вас!

— Вот, пожалуйста, дайте мне за эти часы как можно больше, — сказал Мартин, подавая часы приемщику. — Мне очень нужны деньги.

— Ему очень нужны деньги! — весьма сочувственно воскликнул мистер Тигг. — Дэвид, будьте добры сделать все, что только возможно, для моего друга, которому крайне нужны деньги. Отнеситесь к моему другу так же, как ко мне самому. Золотые охотничьи часы, Дэвид, отличной работы, двойная крышка, ход на четырех камнях, с регулятором, горизонтальный завод, с гарантией за верность — могу поручиться собственной честью, так как пристально наблюдал их в течение многих лет при самых неблагоприятных обстоятельствах, — тут он подмигнул Мартину, давая ему понять, что эта рекомендация окажет на закладчика большое влияние. — Так что же вы скажете моему другу, Дэвид? Уж постарайтесь оправдать рекомендацию старого клиента, Дэвид!

— Могу ссудить вам под них три фунта, если хотите, — сказал закладчик Мартину доверительным тоном. — Часы очень старомодные. Больше никак нельзя.

— И то еще очень щедро, — воскликнул мистер Тигг. — Два фунта двенадцать шиллингов шесть пенсов за часы, а семь шиллингов шесть пенсов — из личного уважения ко мне. Я доволен, — может быть, это слабость, но я доволен. Трех фунтов достаточно. Мы берем их. Фамилия моего друга — Смайви, Петух Смайви; Холборн^[46], номер двадцать шесть с половиной, Б, квартирант. — Тут он опять подмигнул Мартину, сообщая ему таким образом, что все церемонии и формальности, предписанные законом, исчерпаны, и теперь остается только получить деньги.

В сущности, так оно и оказалось, ибо Мартин, у которого не было иного выхода, как только взять то, что ему предлагали, изъявил свое согласие кивком головы и скоро вышел из лавки с деньгами в кармане. В дверях к нему присоединился мистер Тигг и, взяв его под руку, последовал вместе с ним на улицу, горячо поздравляя его с успешным

исходом операции.

— О моем участии в ней, — сказал мистер Тигг, — не стоит и говорить. Не благодарите меня, я этого не выношу.

— У меня такого намерения и не было, уверяю вас, — возразил Мартин, высвобождая свою руку и останавливаясь.

— Чрезвычайно вам обязан, — сказал мистер Тигг. — Благодарю вас.

— Вот что, сэр, — заметил Мартин, кусая губы, — Лондон большой город, и нам нетрудно будет разойтись в разные стороны. Если вы мне покажете, в какую сторону идете, я пойду в другую.

Мистер Тигг хотел что-то сказать, но Мартин прервал его:

— После того что вы сейчас видели, едва ли нужно говорить вам, что у меня нет ничего для вашего друга, мистера Слайма. И также нет надобности объяснять вам, что ваше общество для меня нежелательно.

— Пойдите! — воскликнул мистер Тигг, простирая руку. — Погодите! Существует весьма замечательная, прозорливая, убеленная сединами и патриархальная пословица, которая гласит, что человек обязан прежде всего быть справедливым, а потом уже великодушным. Будьте справедливы, великодушные вы можете проявить потом. Не смешивайте меня с этим Слаймом. Не считайте этого Слайма моим другом, ибо ничего подобного нет. Я был вынужден, сэр, расстаться с личностью, которую вы именуете Слаймом. Я ничего не знаю о личности, которую вы именуете Слаймом. Я, сэр, — произнес мистер Тигг, ударяя себя в грудь, — я премированный тюльпан, сэр, и совершенно иначе взращен и воспитан, чем этот капустный кочан Слайм, сэр.

— Мне очень мало дела до того, — холодно сказал Мартин, — решили ли вы бродяжничать в одиночку, за свой страх, или все еще побираетесь от имени мистера Слайма. Я не желаю поддерживать с вами никаких отношений. Черт возьми, любезный, пойдете вы, наконец, в ту или другую сторону? — воскликнул Мартин; несмотря на всю свою досаду, он едва, удерживался от улыбки, глядя на мистера Тигга, который преспокойно приглаживал волосы, прислонившись к оконному ставню.

— Позвольте мне напомнить вам, сэр, — произнес мистер Тигг, вдруг преисполнившись достоинства, — что вы, а не я, — подчеркиваю — вы, — свели нашу сегодняшнюю встречу к холодным и отдаленным деловым отношениям, тогда как я, со своей стороны, был склонен встретиться с вами на дружеской ноге. А так как это деловые отношения, сэр, позволю себе сказать, что я надеюсь на небольшой подарок (он будет истрачен на дела благотворительности) в качестве комиссионных с денежной суммы, при получении которой я оказал вам скромную услугу. После того как вы

обратились ко мне с такими выражениями, сэр, — закончил мистер Тигг, — прошу вас не оскорблять меня, предлагая более полукроны.

Мартин вынул из кармана монету в полкроны и швырнул ее мистеру Тиггу. Мистер Тигг поймал монету на лету, проверил, не фальшивая ли она, подкинул в воздух, как делают пирожники, и спрятал ее в карман. В конце концов он слегка приподнял шляпу, держась по-военному, и, постояв минуту-другую с важным видом, словно решая, в каком направлении пойти и кого из своих друзей, маркизов и графов, осчастливить визитом, засунул руки в карманы и развязно повернул за угол, Мартин избрал противоположное направление; и таким образом они расстались, к его великому удовольствию.

С горьким чувством унижения он снова и снова проклинал свою незадачу — надо же было повстречать этого человека в лавке закладчика. Утешало его только добровольное признание мистера Тигга в том, что он разошелся со Слаймом: таким образом, размышлял Мартин, о его делах по крайней мере не будут знать родственники, при одной мысли о такой возможности он мучился от стыда и оскорбленной гордости. Рассуждая здраво, было гораздо больше оснований считать всякое заявление мистера Тигга вымыслом, чем давать ему хотя бы малейшую веру: однако оно казалось вполне возможным, если припомнить, на чем основывалась близость между этим джентльменом и его закадычным другом, и предположить, что мистер Тигг повел дело самостоятельно, пользуясь кругом знакомых мистера Слайма; во всяком случае, Мартин так надеялся, а это само по себе немало.

Первым его делом было, обзаведясь деньгами на самое необходимое, оставить за собой койку в харчевне, впредь до дальнейшего уведомления, и написать Тому Пинчу официальное письмо (зная, что его будет читать Пексниф) с просьбой переслать его платье в Лондон с дилижансом и оставить в конторе до востребования. Приняв эти меры, остальные три дня, пока не прислали сундук, Мартин навел справки о пароходах, отправляющихся в Америку, заходил в конторы судовых агентов в Сити и подолгу простаивал около доков и верфей, в смутной надежде наняться на отплывающий корабль клерком или судовым кладовщиком — присматривать за чем-нибудь или за кем-нибудь, лишь бы это помогло ему получить бесплатный билет. Однако вскоре он обнаружил, что наняться на такое место нет возможности, и, опасаясь последствий вынужденной задержки, составил краткое объявление и поместил его в самых распространенных газетах. Питая смутную надежду получить на свое объявление не меньше двадцати или тридцати ответов, Мартин тем

временем сократил свой гардероб до самых минимальных размеров, какие допускались приличиями, а остальное снес в разное время к закладчику для превращения в деньги.

И даже самому Мартину было странно, очень странно, как, быстро и незаметно шагая со ступени на ступень, он утратил свою щепетильность и чувство собственного достоинства и стал ходить к закладчику, не терзаясь сомнениями, которые всего несколько дней тому назад жгли его как огнем. Когда он шел к закладчику в первый раз, ему всю дорогу казалось, будто каждый встречный подозревает, куда он идет; а на обратном пути — будто вся толпа, валившая ему навстречу, знает, где он побывал. А теперь пронизательность прохожих нимало его не беспокоила. В начале своих скитаний по унылым улицам он старался подражать твердому шагу человека, у которого есть какая-то цель, но вскоре усвоил себе небрежную и развинченную походку вялой праздности, научился стоять на углу, покусывая соломинку, прохаживаться по одному и тому же месту и с печальным равнодушием глядеть в окна одних и тех же лавок по пятьдесят раз на дню. Сначала он выходил из своего жилища с неприятным чувством, что за ним наблюдают, хотя бы это были случайные прохожие, выходящие поутру из пивной, которых он никогда раньше не видал и, по всей вероятности, никогда больше не увидит; теперь же, уходя или приходя, он не стеснялся постоять в дверях трактира или погреться на солнце, ни о чем не думая, прислонясь к деревянному столбу, усаженному сверху донизу колышками, на которых, словно на ветвях дерева, висели пивные кружки. И всего только за пять недель он спустился на самую нижнюю ступень этой высокой лестницы!

О моралисты, толкующие о счастье и чувстве собственного достоинства, якобы доступных человеку на любой ступени общества и озаряющих каждую песчинку на уготованной для нас господом богом торной дороге, которая так гладка для колес вашей кареты и так неровна для босых ног, — подумайте, глядя на быстрое падение людей, когда-то уважавших себя, что на свете прозябают десятки тысяч неутомимых тружеников, которые в этом смысле никогда не жили и не имели возможности жить! Идите, о вы, что так спокойно полагаетесь на слова псалмопевца, который когда-то был молод и лишь в старости настроил свою арфу, который не видел праведников покинутыми и своих потомков просящими хлеба; идите, о вы, учащие довольствоваться малым и гордиться честностью, в шахты, на фабрики, на заводы, в кишачие всякой скверной бездны невежества, в глубочайшие бездны человеческого унижения и скажите: может ли чье-либо здоровье процвести в воздухе

настолько затхлом, что он гасит яркое пламя души, едва оно возгорится?! О вы, фарисеи христианской науки девятнадцатого столетия, вы громко взываете к человеческой природе, — позаботьтесь же сначала, чтобы она стала человеческой! Берегитесь, как бы она не превратилась в звериную природу, пока вы дремали и целые поколения были погружены в непробудный сон!

Пять недель! Из двадцати или тридцати ответов, которых он ждал, не пришел ни один. Его деньги — даже добавочная сумма, которую он собрал, продав лишнее платье (очень небольшая, ибо платье покупают за дорого, а продают задешево), — быстро таяли. Но что же он мог сделать? По временам это его так мучило, что он выбегал из дома, даже если только что вернулся туда, и снова шел в какое-нибудь место, где уже побывал двадцать раз без успеха. По годам он давно уже не годился в юнги, по совершенному отсутствию опыта его нельзя было принять в простые матросы. Кроме того, его платье и манеры, к несчастью, не позволяли предложить ему такую должность; и все же он домогался ее, ибо если в его расчеты и входило высадиться в Америке совершенно без денег, то у него теперь не хватило бы даже на проезд и на самое скудное питание в пути.

И за все это время — такова уж человеческая натура — он ни разу не усомнился и, напротив, вполне был уверен, что совершит великие подвиги в Новом Свете, стоит только ему туда попасть. Чем более плачевными становились его обстоятельства и чем дальше ускользала возможность уехать в Америку, тем больше он убеждал себя, что это единственное место, где он может достигнуть любой высокой цели, и тем больше его терзала мысль, что другие его опередят и осуществят его заветные помыслы. Он часто думал о Джоне Уэстлоке, и, помимо того, что везде и всегда его искал, он даже ходил три дня по Лондону, только для того чтобы встретить Джона. Однако, хотя ему это не удалось и хотя он не посовестился бы занять у Джона денег и верил, что тот не отказал бы ему, он никак не мог заставить себя написать Пинчу и спросить, где живет его друг. Ибо, хотя, как мы видели, Мартин и любил Тома по-своему, он не допускал и мысли, что может принять от Тома (которого считал неизмеримо ниже себя) какую-либо помощь на пути к успеху; его гордость так возмущалась подобным предположением, что даже и теперь останавливала его.

Тем не менее его гордость сдалась бы, и несомненно сдалась бы очень скоро, если бы не одно очень странное и неожиданное происшествие.

Пять недель подходили уже к концу, и положение Мартина было поистине отчаянное, как вдруг однажды вечером, когда он только что

вернулся к себе на квартиру и зажигал свечу от газового рожка в буфете, перед тем как уныло подняться к себе в комнату, хозяин окликнул его по имени. Мартин немало удивился, так как не сообщал никому своего имени, а, наоборот, старательно скрывал его; и он настолько явно показал свое волнение, что хозяин успокоительно заметил, что это „всего-навсего письмо“.

— Письмо! — воскликнул Мартин.

— Для мистера Мартина Чезлвита, — сказал хозяин, читая надпись на конверте, который держал в руке. — Отправлено в полдень. С главного почтамта. Оплачено.

Мартин взял письмо, поблагодарил и поднялся вверх. Оно было не запечатано, а плотно заклеено, и почерк был ему совершенно незнаком. Он вскрыл письмо и нашел внутри, без приложения какой бы то ни было записки, фамилии или адреса, кредитный билет Английского банка в двадцать фунтов.

Сказать, что он совершенно ошеломлен от изумления и радости, что он долго переводил взгляд с билета на конверт и обратно, что он тут же бросился вниз проверять, не фальшивый ли билет, а потом поспешно поднялся вверх удостовериться в пятидесятый раз, не проглядел ли он какой-нибудь надписи на конверте, что он совсем запутался и сбился, строя всякие предположения, и ничего не мог понять, кроме того, что деньги налицо и он неожиданно разбогател, — значило бы только перегружать наше повествование излишними подробностями. На первый раз дело кончилось тем, что он решил угоститься хорошим, хотя и скромным, обедом у себя в комнате и, приказав затопить камин, немедленно отправился за покупками.

Он купил вареной говядины, ветчины, масла, французскую булку и вернулся домой, порядком нагрузив карманы. Не совсем приятно было найти комнату полной дыма, что объяснялось двумя причинами: во-первых, тем, что труба оказалась неисправна и дымила, а во-вторых, тем, что, растапливая камин, забыли вынуть один-два мешка и еще кое-какую ветошь, которой затыкали трубу от дождя. Впрочем, это упущение уже исправили, окно подняли и подперли связкой щепок, и, если не считать того, что от дыма щипало глаза и першило в горле, в комнате стало совсем хорошо.

Даже если бы беспорядка было еще больше, Мартин не стал бы к этому придирается, особенно после того как на стол поставили сверкающую кружку портера и служанка ушла, получив от Мартина строжайший наказ немедленно принести стакан горячего грога, как только

он позвонит. Вареное мясо было завернуто в афишу, и Мартин расстелил этот документ вместо скатерти на круглом столике, печатной стороной вниз, и разложил на нем закуски. В ногах кровати, которая стояла близко к огню, он устроил буфет и, покончив с приготовлениями, втиснул старое кресло в самый теплый уголок и уселся закусывать.

Он уже начал есть с большим аппетитом, в то же время оглядывая комнату с торжествующим чувством человека, который завтра покинет ее навсегда, когда его внимание привлекли осторожные шаги на лестнице, а потом и стук в дверь, очень тихий сам по себе, однако сообщивший связке щепок такое сотрясение, что она мгновенно вылетела из окна и упала на улицу.

„Должно быть, опять с углем“, — решил Мартин и сказал:

— Войдите!

— Не примите за дерзость, сэр, хотя с виду оно и похоже, — ответил мужской голос. — Ваш слуга, сэр. Надеюсь, что вы в добром здравье, сэр?

Мартин в недоумении смотрел на лицо человека, который кланялся ему с порога; он прекрасно помнил черты и выражение, но совершенно забыл, кому они принадлежат.

— Тэпли, сэр, — сказал его гость. — Тот самый, что раньше служил в „Драконе“, а потом ушел искать чего-нибудь повеселей, сэр.

— Ну конечно! — воскликнул Мартин. — Как же вы сюда попали?

— Прямо по коридору, сэр, а потом вверх по лестнице, — сказал Марк.

— Я хочу сказать, как вы меня разыскали? — спросил Мартин.

— Очень просто, сэр, — сказал Марк, — раза два я встречал вас на улице, если не ошибаюсь, а сейчас я глядел в окно колбасной лавки, вместе с голодным трубочистом, как будто нарочно созданным для того, чтобы развеселить человека, сэр, — а вы покупаете вот это.

Мартин покраснел, когда мистер Тэпли указал кивком на стол, и спросил, несколько заторопившись:

— Ну, а потом?

— А потом, сэр, — ответил Марк, — я взял на себя смелость последовать за вами; и так как я сказал внизу, что вы меня ждете, то меня впустили.

— У вас есть какое-нибудь поручение ко мне, раз вы сказали, что вас ждут? — спросил Мартин.

— Нет, сэр, никакого, — сказал Марк. — Это была, что называется, святая ложь, вот как.

Мартин бросил на него сердитый взгляд, но в жизнерадостном лице Марка и в его манерах было что-то такое, при всей веселости далекое от

навязчивости или фамильярности, что невольно обезоруживало. Кроме того, Мартин пять недель прожил в одиночестве, и ему было приятно слышать этот голос.

— Тэпли, — сказал он. — Я буду с вами откровенен. Насколько я могу судить и насколько я слышал от Пинча, вы не такой человек, чтобы вас могло привести сюда дерзкое любопытство или еще что-либо столь же оскорбительное. Садитесь. Я рад вас видеть.

— Благодарю вас, сэр, — сказал Марк. — Я уж лучше постою.

— Если вы не сядете, — возразил Мартин, — я с вами не стану разговаривать.

— Очень хорошо, сэр, — заметил Марк. — Ваша воля — закон, сэр. Садитесь так садиться. — И с этими словами он уселся на кровать.

— Угощайтесь, — сказал Мартин, подавая ему единственный нож.

— Благодарю вас, сэр, — отвечал Марк, — после вас.

— Возьмите сейчас, а то вам ничего не останется, — сказал Мартин.

— Очень — хорошо, сэр. Если такое ваше желание — пусть будет сейчас. — И с этими словами он степенно принялся за еду. Мартин, некоторое время молча жевавший, вдруг спросил:

— Что вы делаете в Лондоне?

— Ровно ничего, сэр, — ответил Марк.

— Как это так? — спросил Мартин.

— Ищу места... — сказал Марк.

— Мне вас очень жаль, — заметил Мартин.

— ...к одинокому джентльмену, — продолжал Марк. — Более желательно, чтобы к приезжему. Предпочтительно что-нибудь временное. За жалованьем не гонюсь.

Он говорил это так подчеркнуто, что Мартин перестал жевать и сказал:

— Если вы имеете в виду меня...

— Да, вас, сэр, — прервал его Марк.

— Тогда сами можете судить, по моему образу жизни зесь, есть ли у меня средства держать слугу. Кроме того, я на днях уезжаю в Америку.

— Что ж, сэр, — возразил Марк, нисколько не смутившись этим сообщением, — по всему, что я слышал, думается, Америка для меня самое подходящее место, там-то и быть веселым!

Мартин опять посмотрел на него сердито, и опять его гнев невольно смягчился.

— Господь с вами, сэр, какой нам толк ходить вокруг да около, прятаться за углом и увертываться, когда все дело можно решить в двух словах? Последние две недели я следил за вами, не спуская глаз. Я отлично

вижу, что дела ваши не очень-то ладятся. Еще тогда, когда я в первый раз встретил вас в „Драконе“, я понял, что этим кончится, рано или поздно. Так что вот, сэр, я к вашим услугам. Сам я тоже без места, а без жалованья обойдусь хоть целый год, потому что скопил кой-что в „Драконе“ (не собирался копить, да так уж вышло), вот я, весь тут, сэр! Люблю всякие приключения, и вы мне правитесь, сэр, и хочется мне показать себя в таких обстоятельствах, когда всякий другой упал бы духом. Так возьмете вы меня или не возьмете, сэр?

— Как же я могу вас взять? — воскликнул Мартин.

— Когда я говорю „взять“, — ответил Марк, — то это значит — хотите ли вы взять меня с собой, а когда я говорю взять с собой, это значит — позвольте ли вы мне ехать вместе с вами, потому что я все равно поеду, так или иначе. Как только вы сказали „Америка“, я сразу понял, что это самое подходящее для меня место. И потому, если я не куплю себе билета на тот пароход, с которым поедете вы, сэр, то куплю себе билет на другой. И попомните мои слова, сэр: коли я поеду один, то уж — из принципа — только на самом гнилом и трухлявом старом корыте, на каком можно будет получить место даром или за деньги. Так что, ежели я утону по дороге, сэр, на вашей душе будет грех, да еще какой грех, сэр? Поверьте моему слову.

— Это просто глупо, — сказал Мартин.

— Очень хорошо, сэр, — возразил Марк. — Рад это слышать, потому что, раз вы меня с собой не берете, вам будет легче, оттого что вы так думаете. А я с джентльменом не стану спорить. Я только говорю: будь я проклят, коли в таком случае не уеду в Америку на самой дрянной старой посудине, какая выходит из порта!

— Вы сами не верите тому, что говорите, — сказал Мартин.

— Нет, верю! — воскликнул Марк.

— Не спорьте со мной, говорят вам! — возразил Мартин.

— Отлично, сэр, — сказал Марк с тем же выражением полной удовлетворенности. — Пока что пусть будет так, сэр, проживем — увидим. Да, господа твоя воля, я только в том и сомневаюсь, будет ли с моей стороны заслуга ехать с таким джентльменом, как вы: ведь вы так же легко пробьете там себе дорогу, как гвоздь пробивает трухлявое дерево.

Это задевало слабую струну Мартина; перед лестью он не мог устоять. К тому же он невольно подумал о том, какой живой характер у Марка и какую перемену он уже внес в унылую атмосферу этой тесной комнатки.

— Что ж, конечно, Марк, — сказал он, — я надеюсь добиться там успеха, иначе не поехал бы. Может быть, у меня есть качества, нужные для успеха.

— Разумеется есть, сэр, — сказал Марк Тэпли. — Это всем известно.

— Видите ли, — сказал Мартин, опершись подбородком на руку и глядя в огонь, — декоративная архитектура в применении к жилым домам должна пользоваться в Америке большим спросом, потому что люди там постоянно меняют место жительства и переезжают дальше: ясно, что им нужны дома.

— Я бы сказал, сэр, — заметил Марк, — что такое положение вещей открывает для архитектуры на редкость веселую перспективу, просто неслыханное дело!

Мартин быстро взглянул на него, подозревая, что эти слова выражают некоторое сомнение в успехе его замыслов. Но мистер Тэпли уписывал хлеб и говядину с таким простодушным и чистосердечным видом, что Мартин сразу успокоился. Однако не успело это сомнение рассеяться, как другое зародилось в его душе. Он достал пустой конверт, куда прежде была вложена ассигнация, передал его Марку и, пристально глядя на него, спросил:

— А теперь скажите мне правду. Вам известно что-нибудь об этом?

Марк вертел конверт и так и эдак, подносил его к глазам, смотрел издали, вытянув руку во всю длину, поворачивал его надписью то вверх, то вниз и, наконец, покачал головой, так искренне удивляясь вопросу, что Мартин сказал, беря у него конверт:

— Нет, я вижу, что вы ничего не знаете. Да и откуда вам знать? Хотя, право, это было бы не более удивительно, чем то, что конверт вообще попал сюда. Ну, вот что, Тэпли, — прибавил он, подумав с минуту, — я расскажу вам свою историю, как она есть, и тогда вам станет понятно, чему вы себя подвергаете, если поедете со мной.

— Прошу прощения, сэр, — сказал Марк, — но, пока вы еще не начали, возьмете ли вы меня, если я захочу ехать? Неужели вы прогоните меня, Марка Тэпли, который раньше служил в „Синем Драконе“, которого может рекомендовать мистер Пинч и которому нужен хозяин с таким сильным характером, как у вас, на кого можно было бы надеяться? Быть может, сами, поднимаясь все выше и выше, вы позволите мне следовать за вами в почтительном отдалении? Я знаю, сэр, — сказал Марк, — для вас это ровно ничего не значит, но для меня значит очень много; может, вы будете так добры и подумаете об этом?

Если это второе обращение к слабой стороне Мартина было сделано намеренно и основывалось на успехе первого, значит мистер Тэпли был тонкий и проницательный наблюдатель. Так или иначе, а выстрел попал в цель, ибо Мартин, смягчившись еще больше, сказал снисходительным

тоном, который был ему невыразимо приятен после недавнего унижения:

— Посмотрим, Тэпли. Вы скажете мне, в каком расположении проснетесь завтра.

— Если так, сэр, — сказал Марк, потирая руки, — дело сделано. Продолжайте, пожалуйста, сэр. Я весь внимание.

Откинувшись на спинку кресла и только время от времени посматривая на Марка, который в таких случаях глубокомысленно кивал головой, выражая глубокий интерес и внимание, Мартин повторил Марку самые важные события своей истории, почти в тех же выражениях, в каких несколько недель тому назад рассказывал мистеру Пинчу. Однако он приспособил ее к пониманию мистера Тэпли и потому коснулся своей любви лишь вскользь, рассказав о ней по возможности короче, в нескольких словах. Но тут он плохо рассчитал, ибо этой частью повествования Марк заинтересовался всего больше; он буквально засыпал Мартина вопросами, в оправдание своего любопытства ссылаясь на то, что видел молодую леди в „Драконе“.

— И другой такой леди, которой всякий джентльмен мог бы гордиться, на всем свете не сыщется! — с убеждением воскликнул Марк.

— Еще бы! Вы знали ее, когда она была несчастлива, — сказал Мартин, по-прежнему глядя в огонь. — Если б вы знали ее в прежнее время, тогда действительно..

— Что ж, она, конечно, немножко приуныла, сэр, и была гораздо бледнее, чем следовало бы, — сказал Марк, — но нисколько не подурнела от этого. Мне кажется, она поправилась, сэр, после того как приехала в Лондон.

Мартин поднял глаза от огня и, глядя на Марка с таким выражением, словно тот ни с того ни с сего рехнулся, спросил его, что он этим хочет сказать.

— Ничего обидного, сэр, — уверил его Марк. — Я вовсе не хотел сказать, что без вас ей лучше, только мне показалось, что она выглядит лучше, сэр.

— Вы хотите сказать, что она была в Лондоне? — спросил Мартин, вставая и отталкивая второпях стул.

— Ну разумеется, — в изумлении ответил Марк, тоже вставая с кровати.

— Вы хотите сказать, что она и сейчас в Лондоне?

— Очень может быть, сэр. То есть была неделю тому назад.

— И вы знаете где?

— Да! — отозвался Марк. — А вы? Неужели не знаете?

— Милый мой. — воскликнул Мартин, схватив его за плечи, — я ее ни разу не видел с тех пор, как ушел от деда!

— Ну, в таком случае, — сказал Марк, стукнув по столу кулаком с такой силой, что заплясали ломти говядины и ветчины, и от удовольствия так высоко подняв брови, что вся кожа с лица собралась на лбу, — ежели я вам не прирожденный слуга, посланный судьбой, то никакого „Синего Дракона“ не существует в природе! Как же! Гуляю я взад и вперед по старому кладбищу в Сити, стараясь развеселиться, и кого же вижу, как не вашего дедушку! Он тоже топал взад и вперед по кладбищу битый час, никак не меньше. Разве я не видел, как он вошел в коммерческий пансион миссис Тоджерс, как он вышел, разве не проводил его да самой гостиницы и не сказал ему, что давно уже собираюсь поступить к нему на службу — мои услуги, его деньги, — еще до того как ушел из „Дракона“? И разве не сидела с ним тогда молодая леди; еще она начала смеяться так, что смотреть было одно удовольствие. А ваш дедушка сказал: „Приходите на той неделе“, и я пришел, и он сказал, что никому больше не верит и оттого не возьмет меня, зато угостил меня таким вином, что диво! Так велика ли честь, — воскликнул мистер Тэпли, комически мешая радость с унынием, — быть веселым при таких обстоятельствах! Кто же не будет веселым, когда дела так складываются.

Несколько минут Мартин стоял, глядя на него, словно не веря своим глазам и сомневаясь, что это в самом деле Марк Тэпли стоит перед ним. Наконец он спросил, думает ли Марк, что сумеет тайком передать письмо молодой леди, если она еще в городе.

— Думаю ли я? — воскликнул Марк. — Еще бы не думать! Вот, садитесь сюда, сэр! Пишите письмо, сэр!

С этими словами он быстро убрал со стола, стряхнув все, что на нем было, в камин, схватил чернильницу с каминной доски, поставил стул перед столом, усадил на него Мартина, окунул перо в чернила и подал ему.

— Валяйте, сэр! — крикнул Марк. — Пишите поубедительнее, сэр. Чтобы в точку попало, сэр. Думаю ли я? Еще бы не думать! Принимайтесь за письмо, сэр!

Мартин принялся писать с большой быстротой, не заставляя себя долее упрашивать, а мистер Тэпли снял куртку и без дальнейших формальностей приступил к обязанностям камердинера и слуги, наводя порядок в комнате, выгребая золу из камина и все время беседуя шепотом сам с собой.

— Веселенькая квартирка, — говорил Марк, почесывая нос ручкой угольного совка и оглядывая убогую комнату, — хоть это утешение. Да еще

и крыша протекает. Недурно. Кровать едва жива, могу ручаться, и уж, конечно, полным-полна всякими кровопийцами. Ну, мне опять становится веселей. Ночной колпак весь в дырках. Очень хорошая примета. Мы еще проживем! Эй, Джейн, милая моя, — крикнул он с лестницы вниз, — неси-ка моему хозяину стакан горячего грога, что готовили, когда я пришел. Вот это правильно, сэр, — обратился он к Мартину. — Пишите так, чтоб было от души, сэр. И понежней, пожалуйста, сэр. Чтоб вышло как можно убедительней, сэр.

Глава XIV,

где Мартин прощается с дамой сердца и поручает ее покровительству незаметной личности, которую намерен вывести в люди.

После того как письмо было должным образом подписано, запечатано и адресовано, его вручили Марку Тэпли для немедленной передачи, если это окажется возможным. И он так удачно выполнил поручение, что вернулся в тот же вечер, как раз когда запирали трактир, с радостным сообщением, что препроводил письмо наверх молодой леди, вложив его в собственное краткое послание, содержащее просьбу быть принятым на службу к мистеру Чезлвиту, и что она сама сошла вниз и сказала ему, сильно волнуясь и спеша, что встретится с его господином завтра, в восемь часов утра, в Сент-Джеймском парке^[47]. Новый хозяин и новый слуга тут же условились, что Марк будет заблаговременно дожидаться у гостиницы, чтобы проводить молодую леди на место свидания, а после того как они, уговорившись, расстались на ночь, Мартин опять взялся за перо и, прежде чем лечь в постель, написал еще одно письмо, о котором в свое время можно будет узнать больше.

Он поднялся до рассвета и явился в парк вместе с утром, которое было облечено в самый непривлекательный из трехсот шестидесяти пяти туалетов в гардеробе года. Оно было сырое, холодное, темное и хмурое; тучи были такие же грязно-серые, как земля, и укороченная перспектива каждой улицы и переулка замыкалась пеленой тумана, словно грязным занавесом.

— Нечего сказать, хорошенькая погода, — с горечью говорил сам себе Мартин, — для того чтобы расхаживать тут, как вору! Хорошенькая погода для свидания влюбленных под открытым небом, да еще у всех на виду. Нет, надо уезжать из Англии как можно скорее, потому что здесь я уже дошел до последней крайности.

Продолжая размышлять таким образом, он, быть может, додумался бы и до того, что молодой девушке тоже вряд ли годилось бы выходить из дома в такое утро, самое неподходящее во всем году, да еще с такой целью. Однако, если его размышления и клонились к этому, они были прерваны появлением самой девушки, показавшейся невдалеке, и Мартин поспешил ей навстречу. Ее рыцарь, мистер Тэпли, в ту же минуту скромно отступил в сторону и, подняв голову, стал разглядывать туман с выражением

величайшего интереса.

— Мартин, дорогой! — сказала Мэри.

— Дорогая Мэри! — сказал Мартин, и такой странный народ эти влюбленные, что оба они в ту минуту не сказали больше ничего, хотя Мартин обнял ее и взял за руку и они прошлись раз десять взад и вперед по короткой аллее, которая показалась им укромнее других.

— Если вы хоть сколько-нибудь переменились, милая, после нашей разлуки, — сказал Мартин, глядя на нее с гордостью и восхищением, — то только к лучшему!

Если бы она принадлежала к обыкновенной породе влюбленных девиц, она стала бы отрицать это с самыми кокетливыми ужимками; стала бы говорить, что превратилась в собственную тень, или что совсем зачахла от горя и слез, или что тает от тоски, которая сведет ее в раннюю могилу, или еще что-нибудь в таком же утешительном роде, или что ее душевные страдания невыносимы. Она дала бы ему это понять если не словами, так слезами, не жалея ни тех, ни других, и измучила бы его как только возможно. Но она воспитывалась в более суровой школе, чем та, которую проходит большинство девушек; закалив свой характер тяжелой нуждой и лишениями, она вышла из испытаний юности с душой самоотверженной, верной, серьезной и преданной, приобретая — к счастью для себя и для Мартина, или нет, сейчас неважно для нашего рассказа, — то благородство, свойственное кротким сердцам, которое обычно развивается невзгодами и борьбой в зрелые лета или же вынесенными из этих лет уроками. Не избалованная, не изнеженная ни в радости, ни в печали, питая искреннюю, сильную, глубокую привязанность к предмету своей первой любви, она видела в нем человека, который ради нее лишился крова и хлеба, и не думала выражать свою любовь иными словами, кроме радостных и ободряющих, полных упования, благодарности и доверия, так же как не думала отрекаться от нее, поддавшись низким обольщениям света.

— А отчего переменились вы, Мартин, — отвечала она. — ведь это касается меня всего ближе? Вы кажетесь более встревоженным и озабоченным, чем раньше.

— Что до этого, милая, — сказал Мартин, обнимая ее за талию, но прежде оглянувшись по сторонам, нет ли поблизости наблюдателей, и убедившись, что мистер Тэпли созерцает туман еще пристальнее прежнего, — было бы странно, если бы я не переменился: мне жилось очень нелегко, особенно последнее время.

— Я знаю, что вам было тяжело, — ответила она. — Разве я когда-нибудь хоть на минуту забывала о вашей жизни и о вас?

— Надеюсь, не часто, — сказал Мартин. — Уверен, что не часто. Имею некоторое право думать, что не часто, Мэри; ибо я пережил много унижений и горя и, само собой, рассчитываю на эту награду.

— Ничтожная награда, — отвечала она с робкой улыбкой. — Но она ваша, и навсегда останется вашей. Вы заплатили дорогой ценой за это бедное сердце, Мартин, но зато оно ваше и никогда не изменит вам.

— Разумеется, я в этом совершенно уверен, — сказал Мартин, — иначе я не допустил бы себя до такого положения. И не говорите, что оно бедное, Мэри, — я знаю, что это богатое сердце. А теперь я хочу поделиться с вами одним планом, Мэри, который удивит вас сначала, но задуман ради вас. Я уезжаю, — с расстановкой прибавил он, заглядывая в чудесную глубину ее темных блестящих глаз, — за границу.

— За границу, Мартин?

— Только в Америку. Ну вот — вы уже опустили голову!

— Если и опустила, — ответила она, поднимая голову после краткого молчания и снова глядя ему в лицо, — то от горя, при мысли о том, что вы решили вынести ради меня. Я не стану отговаривать вас, Мартин, но ведь это очень, очень далеко, за океаном, который надо переплыть; болезнь и нужда везде тяжелы, но в чужой стране они особенно страшны. Подумали ли вы обо всем этом?

— Подумал ли? — воскликнул Мартин, который даже ради любви к ней, — а он очень ее любил, — не старался обуздать обычную свою горячность. — Что же мне делать? Вам хорошо говорить „подумал ли я“, дорогая; но вы бы уж спросили меня кстати, подумал ли я, каково будет голодать на родине, или каково будет взяться за ремесло носильщика пропитания ради, или день за днем держать под уздцы лошадей на улицах ради куска хлеба? Ну, ну, — прибавил он мягче, — не вешайте головы, дорогая; ведь только ваше милое лицо может дать мне утешение, в котором я так нуждаюсь. Вот хорошо! Теперь вы опять стали храброй.

— Я стараюсь быть храброй, — отвечала она, улыбаясь сквозь слезы.

— Стараться или быть всем, что только есть хорошего, для вас одно и то же. Разве я не знаю этого с давних пор? — весело воскликнул Мартин. — Так! Вот и отлично! Теперь я могу рассказать обо всем, что задумал, с такой же радостью, как если бы вы уже были моей женой, Мэри.

Она крепче прижалась к его плечу и, подняв к нему лицо, попросила его продолжать.

— Вы знаете, — сказал Мартин, играя маленькой ручкой, лежавшей на его руке, — что моим попыткам выдвинуться на родине мешали, не давали хода. Не буду говорить, кто это делал, Мэри, нам обоим это было бы

тяжело. Но это так. Слышали ли вы от него за последнее время об одном нашем родственнике по фамилии Пексниф? Ответьте мне только на этот вопрос, больше ничего.

— Я слышала, к моему удивлению, что он оказался гораздо лучше, чем его считали.

— Я так и думал, — прервал ее Мартин.

— И что, может быть, мы познакомимся с ним и даже будем жить вместе с ним и, кажется, с его дочерьми. У него есть дочери, правда, милый?

— Целых две, — ответил Мартин. — Замечательная парочка! Алмазы чистой воды!

— Ах, вы шутите!

— Бывают шутки, которые очень похожи на правду и заключают в себе немало истинного отвращения, — сказал Мартин. — В таком духе я шучу насчет мистера Пекснифа (у которого в доме я жил как помощник и который меня оскорбил и унизил). Что бы ни случилось, как бы близко вам ни пришлось познакомиться с его семьей, не забывайте, Мэри, и ни на минуту не упускайте из виду того, что я вам скажу, как бы видимость ни противоречила моим словам: Пексниф — негодяй!

— Неужели?!

— Помышлением и делом и во всех других отношениях! Негодяй от головы до пяток! О его дочерях я скажу одно: насколько мне известно, они очень послушные молодые девушки и по всем берут пример с отца. Я уклонился в сторону; однако это подводит меня к тому, что я хотел сказать.

Он остановился, чтобы еще раз заглянуть ей в глаза, и, торопливо осмотревшись по сторонам и уверившись, что поблизости никого нет, а Марк все так же погружен в созерцание тумана, не только посмотрел на ее губы, но и поцеловал их.

— Так вот, я уезжаю в Америку с надеждой преуспеть и очень скоро вернуться на родину, может быть для того, чтобы увезти вас туда на несколько лет, и во всяком случае для того, чтобы предъявить свои права на вас. После стольких испытаний я уже не побоюсь того, что вы сочтете своим долгом остаться с человеком, который пойдет на все (ведь это правда), но не даст мне жить в родной стране. Сколько я пробуду в отсутствии, разумеется, неизвестно, но не очень долго. Положитесь в этом на меня.

— А тем временем, дорогой Мартин...

— Как раз об этом я и собирался говорить. Тем временем вы всегда будете знать обо всем, что я делаю. Вот каким образом.

Он замолчал на минуту, доставая из кармана письмо, написанное ночью, потом продолжал:

— У этого человека служит и в доме этого человека (я подразумеваю мистера Пекснифа) живет некий Пинч — не забудьте фамилии, — бедный и безвестный чудак, Мэри, но по-настоящему честный и искренний друг, усердный и сердечно преданный мне, за что я намерен отплатить ему со временем, так или иначе устроив его судьбу.

— Вы по-старому великодушны, Мартин!

— О, — сказал Мартин, — об этом не стоит говорить, дорогая. Он очень благодарен по натуре и жаждет быть мне полезным, и я более чем вознагражден. Как-то вечером я рассказал этому Пинчу мою историю, рассказал и про нашу помолвку, и могу вас уверить, он проявил большой интерес, так как знает вас! Да, можете удивляться, и чем больше, тем лучше, ведь это вам идет: вы слышали, как он играл на органе в их сельской церкви, а он видел, как вы его слушаете, и вдохновлялся!

— Так это он был органист! — воскликнула Мэри. — Я благодарна ему от всего сердца!

— Да, был и остался, — ответил Мартин, — и — ничего за это не получает. Такого простака днем с огнем не сыщешь. Совершенное дитя! Но очень доброе создание, уверяю вас!

— Я в этом уверена, — сказала Мэри серьезно. — Таким он и должен быть!

— О да, вне всякого сомнения, — отвечал Мартин небрежным, как всегда, тоном. — Он такой и есть. И вот мне пришло в голову... но погодите, я вам прочту то, что написал и собираюсь послать ему с сегодняшней почтой, и все будет ясно само собой. „Дорогой Том Пинч“. Это, может быть, несколько фамильярно, — сказал Мартин, вдруг вспомнив, как гордо он держался, расставаясь с Пинчем, — но я его зову дорогой Том Пинч, потому что он это любит и это ему льстит.

— Какой вы добрый и великодушный, — сказала Мэри.

— Вот именно! — сказал Мартин. — Отчего же и не быть великодушным, когда можно, а как я уже говорил, он отличный мальчик. „Дорогой Том Пинч, я посылаю это письмо на имя миссис Льюпин, в „Синий Дракон“, и в короткой записке прошу ее передать письмо вам, никому об этом не сообщая, и в дальнейшем поступать так же со всеми письмами, какие она получит от меня. Почему я прибегаю к этому, догадаться нетрудно...“ — не знаю, впрочем, поймет ли он, — сказал Мартин, прерывая чтение, — потому что он тугο соображает, бедняга; но со временем поймет, конечно. Причина очень простая: я не хочу, чтобы другие

читали мои письма, а в особенности этот негодяй, которого он считает ангелом.

— Опять мистер Пексниф? — спросила Мэри.

— Он самый, — сказал Мартин, — „...догадаться нетрудно. Мои приготовления к отъезду в Америку закончены, и вы удивитесь, услышав, что меня сопровождает Марк Тэпли, на которого я случайно натолкнулся в Лондоне и который хочет, чтобы я был его покровителем...“ Я имею в виду, дорогая моя, — сказал Мартин, опять прерывая чтение, — нашего друга, который идет за нами.

Она была очень рада это слышать и бросила ласковый взгляд на Марка, который ради такого случая отвел глаза от тумана и встретил ее взгляд с величайшим восторгом. Она сказала вслух, достаточно громко, что он добрая душа и весельчак и, конечно, будет предан Мартину; и мистер Тэпли про себя поклялся заслужить такие похвалы из ее уст, хотя бы ему пришлось умереть ради этого.

— „А теперь, дорогой Пинч, — продолжал Мартин читать письмо, — я хочу оказать вам большое доверие, зная, что я вполне могу положиться на вашу честь и на вашу скромность, а также потому, что мне сейчас не на кого больше положиться“.

— Этого я не стала бы говорить, Мартин.

— Не стали бы? Ну что ж! Я вычеркну. Хотя это совершенная правда.

— Но не слишком лестная для него, быть может.

— О, с Пинчем я не стесняюсь, — возразил Мартин. — Лет никакой надобности с ним церемониться. Но все-таки я это вычеркну, если хотите, и поставлю точку после „скромность“. Очень хорошо! „Я не только...“ — это, понимаете ли, опять письмо.

— Я понимаю.

— „Я не только поручаю вам пересылать мои письма той молодой леди, о которой я вам говорил, когда она потребует, но и самым серьезным образом поручаю ее вашим заботам и попечениям, если вам придется встретиться с ней за время моего отсутствия. У меня есть основания думать, что возможность встречаться — и даже весьма часто — у вас скоро появится; и хотя вы в вашем положении можете сделать очень мало для того, чтобы облегчить ее тревогу, я вполне уверен, что вы сделаете все что можно и таким образом оправдаете доверие, которое я к вам питаю“. Видите ли, дорогая Мэри, — сказал Мартин, — для вас будет большим утешением иметь кого-нибудь, хотя бы и совершеннейшего простака, с кем можно было бы говорить обо мне; а как только вы заговорите с Пинчем, вы сразу же почувствуете, что стесняться его решительно не стоит: все равно

что какой-нибудь старухи.

— Как бы ни было, — возразила она, улыбаясь — он ваш друг, и этого довольно.

— О да, он мой друг, — сказал Мартин, — конечно. В сущности, я так и говорил ему, что мы всегда будем относиться к нему хорошо и оказывать ему покровительство, и он за это очень благодарен, действительно благодарен, это в нем хорошая черта. Я знаю, вам он понравится, милая. Вы подметите много комичного и старомодного в Пинче; не бойтесь посмеяться над ним, он не из обидчивых. Скорее ему это даже придется по вкусу, право!

— Думаю, что я не стану его испытывать, Мартин.

— И не надо, разумеется, — сказал он, — но, по-моему, вам не удастся удержаться от улыбки. Однако это к делу не идет и уж конечно не относится к письму, которое кончается так: „Зная, что мне нет надобности распространяться более о характере поручения, которое я вам доверил, так как оно достаточно запечатлелось в вашей памяти, скажу только, прощаясь с вами и надеясь на скорую встречу, что с этого времени я беру на себя заботу о вашем преуспевании и счастье, как о своих собственных. Можете на это положиться. И верьте мне, дорогой Том Пинч, я остаюсь навсегда вашим верным другом. — Мартин Чезлвит. При сем прилагаю ту сумму, которую вы по доброте вашей...“ Ну, это неважно, — спохватился Мартин, складывая письмо.

В эту критическую минуту его прервал Марк Тэпли, который, извинившись, заметил, что часы на здании Конногвардейского штаба бьют девять.

— Я бы ничего не стал говорить, сэр, — прибавил Марк, — если бы молодая леди сама настоятельно не просила меня.

— Да, я просила. — сказала Мэри. — Благодарю вас. Через минуту я буду готова вернуться. Время не терпит, дорогой Мартин, и хотя мне надо сказать вам очень многое, пусть оно останется недосказанным до будущей счастливой встречи. Дай вам бог удачи и скорого возвращения! Я верю, что так и будет.

— Верите! — воскликнул Мартин. — А кто не верит? Что такое несколько месяцев? Что такое хотя бы и целый год? Когда я вернусь торжествуя, проложив себе дорогу в жизни, — тогда нынешнее наше свидание действительно покажется печальным, если на него оглянуться. Но сейчас! Да я и не желал бы себе более благоприятных обстоятельств для отъезда, даже если б это было возможно: ведь тогда я не захотел бы уезжать и не был бы убежден, что это необходимо.

— Да, да. Я тоже так чувствую. Когда вы уезжаете?

— Сегодня вечером. Сперва в Ливерпуль. Корабль отплывает через три дня, как говорят. Через месяц, самое большее, мы будем на месте. Но что такое месяц! Сколько месяцев прошло со времени нашей последней встречи!

— Много, если оглянуться назад, — сказала Мэри, вторя его жизнерадостному тону, — но время идет незаметно!

— Еще как незаметно! — воскликнул Мартин. — Я увижу другие места, другую природу, других людей, другие нравы, узнаю другие заботы и надежды! Время полетит, как на крыльях! Я могу вынести все, потому что главное для меня — быть в движении, Мэри.

Неужели он думал только о ее любви к нему и преданности, нимало не беспокоясь о том, что принесет разлука на ее долю: о безмолвном, однообразном терпении, о грызущем страхе изо дня в день? Разве не было фальшивой ноты в этой браваре, в этом „я, я, я“, звучащем поминутно, в каком бы возвышенном тоне ни велась речь? Да, но только не для ее ушей! Может, для нее лучше было бы, если б дело обстояло иначе, но такая уж это была натура. Ей слышался в его речах все тот же смелый дух, который ради нее отбросил, словно грязную ветошь, всякую выгоду, всякую корысть, презрел опасности и лишения, чтобы она была спокойна и счастлива! Ничего другого она не слышала. То сердце, которому чужд эгоизм и которое не воздвигает ему алтарей, не сразу узнает его безобразную личину, столкнувшись с ним лицом к лицу. В старину считалось, что только одержимый злым духом видит демонов, таящихся в сердцах других людей; не так ли и ныне родственные пороки всегда узнают друг друга, где бы ни скрывались, в то время как добродетель легковерна и слепа.

— Четверть часа прошло! — воскликнул мистер Тэпли предостерегающе.

— Сейчас, — отвечала Мэри. — Еще одно я должна сказать вам, дорогой Мартин. Несколько минут назад вы просили у меня ответа всего лишь на один вопрос, но вы непременно должны знать — иначе я не буду спокойна, — что со времени нашей разлуки, несчастной виновницей которой была я, он ни разу не назвал вашего имени, ни разу не упомянул его, хотя бы в самом отдаленном намеке, с горечью или гневом, и всегда был одинаково добр ко мне.

— Благодарю его за последнее, — сказал Мартин, — и ни за что больше. Хотя, как подумаешь, я мог бы поблагодарить его и за молчание, тем более что я вовсе не желаю и не жду, чтобы он когда-нибудь упомянул

мое имя. Он, может быть, упомянет его с упреком — в своем завещании! Что ж, пускай, если ему угодно! К тому времени, как его упрек дойдет до меня, сам он будет лежать в могиле воплощенной насмешкой над собственным гневом, помоги ему боже!

— Мартин! Если бы вы хоть иногда, в спокойный час, зимой у камелька или летом на воздухе, слушая тихую музыку или думая о смерти, о родине, о своем детстве... если бы вы в такое время вспомнили хоть раз в месяц, хоть раз в год о том, кто причинил вам зло, вы простили бы его в душе, я знаю!

— Если бы я думал, что это может случиться, Мэри, — возразил он, — я бы решил совсем не вспоминать о нем в такое время, чтобы избавиться от постыдной слабости. Я родился не для того, чтобы стать чьей бы ни было игрушкой, марионеткой, а тем более забавой для человека, в жертву чьим капризам и прихотям была принесена вся моя юность, как бы в уплату за добро, которое он мне сделал. Это было для нас обоих чем-то вроде любовной сделки, не больше; и за мной не осталось долга, мне не надо со слезами умолять о прощении. Я знаю, он запретил вам упоминать мое имя, — прибавил Мартин. — Ну же! Ведь правда?

— Это было давно, — возразила она, — сейчас же после ссоры и перед тем как вы ушли из дома. С тех пор он ничего больше не говорил.

— С тех пор он ничего больше не говорил, потому что не было случая, — сказал Мартин, — но так или иначе, это отнюдь не важно. Пускай отныне между мной и вами будет запрещено всякое упоминание о нем. И потому, дорогая, — он быстро привлек ее к себе, так как пришло время расставаться, — в первом письме, которое вы мне пошлете, адресуя его на почтамт в Нью-Йорке, и во всех остальных, которые вы мне будете пересылать через Пинча, вы не станете писать о нем: помните, что он не существует и все равно что умер для нас. Ну, бог с вами! Здесь не место для такой встречи и такого прощания, как наше, но в следующий раз мы встретимся иначе и лучше, с тем чтобы уж не расставаться до последнего горького прощания.

— Еще один вопрос, Мартин. Есть ли у вас деньги на дорогу?

— Есть ли? — отозвался Мартин, в котором, быть может, говорила гордость, быть может желание успокоить ее. — Есть ли у меня деньги? Да, это вопрос для жены эмигранта! Как же я мог бы без них передвигаться по суше и по морю, дорогая моя?

— Я хочу сказать, довольно ли?

— Довольно ли? Более чем довольно! В двадцать раз больше чем достаточно. Полны карманы! У нас с Марком столько денег на все наши

нужды, как будто Фортунатова сума лежит в нашем багаже!

— Полчаса прошло! — крикнул мистер Тэпли.

— Прощайте, прощайте, тысячу раз прощайте! — сказала Мэри дрожащим голосом.

Но как холодно и малоутешительно слово „прощайте“! Марк Тэпли отлично это понимал. Быть может, он узнал это из книг, быть может по опыту, быть может угадал чутьем — трудно сказать. Однако он понимал это, и понимание подсказало ему самый мудрый образ действий, какой только можно было избрать при существующих — обстоятельствах. Он неудержимо расчихался и потому был вынужден отвернуться в сторону. Таким образом он отгораживал влюбленных, создав для них укромный уголок.

Последовало недолгое молчание. Неизвестно почему, но Марк чувствовал, что все идет так, как нужно. Потом Мэри, опустив вуаль, прошла мимо него быстрой походкой, кивнув ему, чтобы он шел за ней. Она остановилась еще раз, прежде чем завернуть за угол, оглянулась и помахала рукой Мартину. Он рванулся к ней, как будто еще не все сказал на прощание, но Мэри заторопилась, пошла быстрее, и мистер Тэпли провожал ее, как полагается.

Когда он снова вошел в комнату Мартина, тот сидел в угрюмом раздумье перед камином, поставив ноги на пыльную решетку, а локти на колени и не слишком картинно опершись подбородком на руку.

— Ну, Марк?

— Ну, сэр, — сказал Марк, переводя дух, — я благополучно проводил молодую леди домой, и теперь на сердце у меня спокойно. Она шлет вам самые лучшие пожелания, и вот это, — подавая ему кольцо, — на память.

— Бриллианты! — сказал Мартин, целуя кольцо — надо отдать ему справедливость: ради Мэри, а не ради бриллиантов — и надевая его на мизинец. — Прекрасные бриллианты, Марк! Мой дедушка большой чудака. Должно быть, это его подарок.

Марку Тэпли было ясно как день, что Мэри сама купила кольцо, для того чтобы его беспечный собеседник мог взять с собою хоть что-нибудь ценное на случай нужды. Хотя история драгоценности, сверкавшей на пальце Мартина, была известна ему не больше, чем тому же Мартину, однако он был так же твердо уверен, что на эту покупку Мэри потратила все, что скопила, как если бы деньги уплатили при нем монета за монетой. Странная непонятливость ее возлюбленного в этом незначительном случае сразу же навела Марка на мысль об истинных корнях и причине такой непонятливости, и с этой минуты ему стала совершенно ясна единая,

всепоглощающая основа характера Мартина.

— Она достойна всех жертв, которые я принес, — сказал Мартин, скрестив руки и глядя на пепел в очаге, словно подводя итоги своим прерванным размышлениям. — Вполне достойна. Никакие богатства, — тут он потер подбородок и задумался, — не могли бы вознаградить меня за утрату такой девушки. Не говоря уже о том, что, добиваясь ее любви, я следовал собственной склонности и препятствовал эгоистическим планам других, которые не имели на это никаких прав. Она вполне достойна, более чем достойна, всех жертв, которые я принес. Да, достойна. Несомненно!

Эти размышления, может быть, дошли до Марка Тэпли, а может быть, и не дошли, ибо хотя они отнюдь не предназначались для него, все же были произнесены вслух, тихим, но внятным голосом. Во всяком случае, он стоял, глядя на Мартина с неописуемым и весьма сложным выражением лица до тех пор, пока тот не пришел в себя и не взглянул на Марка; тогда Марк отвернулся и поспешно занялся приготовлениями к дороге, молчком, не произнося ни одного членораздельного звука и только улыбаясь особенно мрачной улыбкой. Однако, по тому, как кривилось его лицо и шевелились губы, можно было догадаться, что он облегчил душу своим излюбленным словцом: „Весело!“

Глава XV,

на, мотив „Да здравствует Колумбия!“

Темная, непроглядная ночь; люди укрылись в постелях или жмутся поближе к огню; нищета, не пригретая благотворительностью, мерзнет на углах улиц; колокольни еще гудят от слабого дрожания колокольных языков, отдыхающих после заунывного возгласа „Час!“. Земля одета траурным покровом, словно после вчерашних похорон; группы темных деревьев печально колеблют огромные султаны траурных перьев; все притихло, все молчит, объятые глубоким покоем, кроме быстрых облаков, скользящих мимо луны, да осторожного ветра, который гонится за ними по земле и то замирает, прислушиваясь, то с шорохом бежит дальше, то опять застывает на месте, то крадетесь, как индеец по следу.

Куда же мчатся так быстро облака и ветер? Если, подобно злым духам, они отправляются на сборище темных сил, то среди каких буйных просторов держат совет стихии и куда они устремляются в своем страшном веселье?

Сюда! На волю из тесной тюрьмы, которая зовется Землей, на простор водной пустыни. Здесь они свирепствуют, режут, свистят и воют всю ночь напролет. Гулко доносятся сюда голоса из пещер на побережье того островка, что спит так спокойно за тысячи миль отсюда среди бушующих волн; сюда, навстречу им, рвутся вихри из неведомых пустынь мира. Здесь, не зная удержа, разъярившись на воле, они борются и бушуют до тех пор, пока море не разыграет еще бешенее, и тогда все кругом неистовствует.

Все дальше, дальше, дальше, по бесконечным бушующим пространствам катятся длинные вздымающиеся валы. Горы и пропасти то появляются, то исчезают, и там, где сейчас была гора, разверзлась пропасть, и вдруг все обращается в кипящую громаду стремительно мчащейся воды. Погоня и бегство, и бешеный откат волны за волной, и яростная борьба, и все рассыпается пеной, белеющей в черной тьме. Беспреданно меняя место, и форму, и цвет, непостоянные во всем, кроме вечной борьбы, дальше, дальше, дальше катятся волны; и все темнее становится ночь, и все громче завывание ветра, и все грознее и оглушительнее рев миллиона голосов над океаном, как вдруг среди шума бури раздается яростный вой: „Корабль!“

Он несется вперед, отважно сражаясь со стихиями, и гнутся его

высокие мачты, и дрожит под ударами обшивки; он несется вперед, то возносясь на гребни волн, то падая в провалы между ними, словно прячась на мгновение от ярости моря; и голоса бури в воздухе и на воде вопиют еще громче: „Корабль!“

И все же он стремится далее; и, заслышав этот вопль, разгневанные волны поднимают седые головы и заглядывают через плечо друг другу, чтобы подивиться на его дерзость, и толпятся вокруг корабля, насколько видно во тьме морякам, стоящим на палубе, и топят одна другую, и вновь возникают, привлеченные бог весть откуда грозным любопытством. Высоко над кораблем разбиваются они, и ревут, и бушуют вокруг; и, уступая место другим, исчезают со стоном, в тщетном гневе разлетаясь в прах. И все же он отважно несется вперед. И хотя всю ночь теснятся вокруг него беспокойные орды и рассвет открывает бесконечное пространство бурлящей воды, неутомимо атакующей корабль, — он все идет вперед, и горят на нем тусклые огни, и люди в каютах спят, как будто пагубная стихия не глядит в каждую щель и могила утонувших моряков, прикрытая одною только доской, не разверзла под ногами бездонные глубины.

Среди спящих пассажиров находились Мартин и Марк Тэпли, которые забылись тяжелым сном, утомленные непривычным движением, не чувствуя духоты в каюте и шума волн. Уже совсем рассвело, когда Марк проснулся, смутно припоминая, что видел во сне, будто он лег в кровать с четырьмя колонками, которая за ночь перевернулась вверх ногами. В этом было, однако, больше смысла, чем он полагал, так как первое, что он увидел, проснувшись, были его собственные пятки, глядевшие на него сверху вниз, как он рассказывал впоследствии, и поднятые почти перпендикулярно.

— Ну, — сказал Марк, приняв, наконец, сидячее положение после долгой и малоуспешной борьбы с качкой, — Это первый раз в жизни, что я стоял на голове всю ночь.

— Не надо было ложиться головой в подветренную сторону, — проворчал пассажир на одной из коек.

— Головой куда? — спросил Марк. Пассажир повторил свое замечание.

— Да уж, в другой раз не лягу, — сказал Марк, — посмотрю по карте, где находится эта самая сторона. А пока что могу дать и вам и всем прочим своим друзьям-приятелям совет еще лучше: никогда не ложитесь спать на корабле.

Пассажир недовольно пробурчал что-то в знак согласия, повернулся на другой бок и закрылся с головой одеялом.

— Потому что, — продолжал мистер Тэпли развивать свою мысль уже в монологе и понизив голос, — другой такой безмозглой твари, как море, не сыщешь. Оно никогда не знает, что с собой делать. Занять голову ему нечем, потому там пустота. Все равно как белые медведи в зверинце: они все время мотают головой из стороны в сторону и никак не могут успокоиться, — единственно по своей необыкновенной глупости.

— Это вы, Марк? — спросил слабый голос с другой койки.

— Это все, что от меня осталось, сэр, после двух недель такой тряски. Оттого ли, что я веду мушиный образ жизни с тех пор, как попал на борт, — хожу вверх ногами и вечно хватаюсь за что-нибудь, — от этого ли, сэр, оттого ли, что внутрь принимаешь очень мало, да и того никак не удержать, — от меня почти ничего не осталось. Как вы себя чувствуете нынче утром, сэр?

— Как нельзя хуже, — простонал Мартин раздраженно. — Уф! Такая в самом деле скверность!

— Тем больше чести, — пробормотал Марк, прикладывая руку к больной голове и оглядываясь вокруг с невеселой усмешкой. — Это все-таки утешение. Тем больше чести не падать духом здесь. Добродетель заключает награду в самой себе. И веселость тоже.

Марк был прав в том отношении, что любой пассажир, сохранивший веселость в третьем классе прославленного и быстроходного почтового парохода „Винт“, был всецело обязан этим самому себе и вез с собою хорошее настроение, так же как и провизию, без всякого содействия и помощи со стороны владельцев парохода. Темная, низкая, душная каюта с койками вдоль стен, битком набитая мужчинами, женщинами и детьми в разных стадиях нищеты и болезни, и обычно не представляет собой веселого места; но когда она так переполнена (а в третьем классе пакетбота „Винт“ это бывало каждый раз, когда он шел в Америку), что матрацы и постели навалены прямо на полу, вопреки всяким представлениям об удобстве, опрятности и приличии, — такая каюта отнюдь не способствует смягчению нравов, а скорее развитию эгоизма и грубости. Марк это почувствовал, оглядевшись по сторонам, и его настроение соответственно повысилось.

Тут были англичане, ирландцы, валлийцы и шотландцы, все со своими скудными запасами пищи и узелками поношенного платья, и почти все с детьми. Тут были дети всех возрастов, от грудного ребенка до растрепанной девушки, которая казалась почти такой же увядшей, как её мать. Все виды отечественных бедствий, порожденных нищетой, болезнью, изгнанием, горем и долгим странствием по бурному морю, были втиснуты

в узкую клетку; и все же в этом погибельном ковчеге было несравненно меньше жалоб и свар и несравненно больше взаимной помощи и доброты друг к другу, чем во многих пышных залах.

Марк невесело оглядел каюту, и сейчас же его лицо просветлело. В одном углу старая бабушка пестовала больного младенца, укачивая его на руках, едва ли не более исхудалых, чем его собственные; в другом бедная женщина, держа одного ребенка на коленях, чинила платье другому и успокаивала третьего, который подползал к ней по полу, слезши с убогой подстилки; а там старики неловко возились с мелкими домашними делами и казались бы смешными, если б не их добрые намерения и благая цель. Были тут и смуглые молодцы, настоящие великаны, которые оказывали окружающим небольшие знаки внимания с нежностью, скорее свойственной добрым карликам; и даже идиот, который целыми днями сидел гримасничая в углу, подражал по мере сил тому, что видел вокруг, и щелкал пальцами, забавляя плачущего ребенка.

— А ну-ка, — сказал Марк Тэпли, кивая женщине, которая одевала своих детей неподалеку от него, и улыбаясь все шире и шире, — давайте-ка мне сюда одного малыша, я его умою как полагается.

— Вы бы лучше позаботились о завтраке, Марк, вместо того чтобы возиться с людьми, которые не имеют к вам никакого отношения, — заметил Мартин раздраженно.

— Ничего, — сказал Марк. — Она позаботится, сэр. Это отличное разделение труда, сэр. Я умою мальчишек, а она приготовит нам чай. Я никогда не умел заваривать чай, а умыть мальчишку всякий сумеет.

Женщина, худенькая и болезненная, чувствовала и понимала его доброту, — что было не удивительно, потому что ее каждую ночь укрывало пальто Марка, а сам он спал на голых досках, завернувшись в плед. Но Мартин, который редко вставал с койки и почти не замечал, что делается кругом, пришел в ярость от его безрассудных слов и выразил свое неудовольствие сердитым стоном.

— То-то оно и есть, разумеется, — сказал Марк, причесывая ребенку волосы так невозмутимо, словно родился цирюльником.

— О чем это вы говорите? — спросил Мартин.

— О том, что вы сказали, — отвечал Марк, — или хотели казать, так мрачно выражая свои чувства. Ей приходится очень трудно.

— Почему трудно?

— Быть в дороге одной с этим вот малолетним грузом, ехать к мужу в такую даль и в такое время года! Если вы не желаете, чтобы мыло попало вам в глаза, молодой человек, — заметил мистер Тэпли второму

мальчишке, которого в это время умывал над тазиком, — зажмурьтесь как следует.

— Где же она встретится с мужем? — спросил Мартин, зевая.

— Как вам сказать, я очень боюсь, — заметил мистер Тэпли, понизив голос, — что она и сама этого не знает. Надеюсь, она с ним не разминется. Она послала последнее письмо с оказией, а до тех пор это, кажется, не было точно между ними условлено; и если она не увидит его на берегу с носовым платком в руках, как на картинке в песеннике, — по-моему, она умрет с горя.

— О чем же, черт возьми, эта женщина думала, когда садилась на пароход? — воскликнул Мартин.

Мистер Тэпли с минуту глядел на Мартина, лежавшего в изнеможении на койке, потом очень спокойно сказал:

— Да! В самом деле, о чем? Понять не могу! Он вот уже два года как уехал. На родине она жила в бедности, очень одиноко, и только и ждала, когда снова увидится с мужем. Очень странно, как это она сюда попала! Просто удивительно! Рехнулась немножко, должно быть! Другого объяснения, пожалуй, не подберешь.

Мартин слишком ослабел от морской болезни, чтобы как-нибудь ответить на эти слова или хотя бы прислушаться к ним внимательно. А так как та, о которой они говорили, вошла в эту минуту с горячим чаем, то разговор этот больше не возобновлялся, и мистер Тэпли, подав завтрак и оправив постель Мартина, ушел на палубу мыть посуду, состоявшую из двух жестяных кружек и такого же бритвенного тазика.

Отдавая должное мистеру Тэпли, следует сказать, что он страдал от морской болезни не меньше всякого другого пассажира на борту и к тому же отличался особенным талантом ушибаться обо все что возможно и падать вверх, тормашками от каждого толчка. Однако, решив, как он выражался, „не ударить лицом в грязь“ при самых неблагоприятных обстоятельствах, он был душой общества среди пассажиров третьего класса и нисколько не стеснялся отойти в сторонку, почувствовав себя плохо, а затем как ни в чем не бывало возвращался к прерванному разговору, словно это было в порядке вещей.

Нельзя сказать, чтобы, оправившись от болезни, он стал веселее и добродушнее, потому что к этим его качествам трудно было бы что-нибудь прибавить, но теперь он еще деятельнее помогал самым слабым из пассажиров и занимался этим во всякое время и при всякой погоде. Если луч солнца проглядывал на пасмурном небе, Марк стремглав бросался в каюту и скоро выходил опять с женщиной на руках, или с кучей ребят, или

со стариком, или с матрацем, или с кастрюлькой, или с корзиной — короче, с тем или другим одушевленным или неодушевленным предметом, который, по его мнению, следовало „проветрить“. Если среди дня выдавался час-другой ясной погоды и соблазнял тех, кто почти не выходил из каюты, забраться в шлюпку или полежать на спардеке и съесть что-нибудь, среди них непременно оказывался мистер Тэпли: он то раздавал им солонину с сухарями и грог, то помогал детям, мелко кроша их порции карманным ножиком, то читал вслух какую-нибудь издававшую виды газету или пел для избранного общества веселую старую песню, то писал письма на родину для тех, кто не умел писать, то шутил с матросами, то чуть не падал за борт, то выходил, захлебываясь, из водопада брызг, то помогал, кому-нибудь — словом, всегда делал что-то такое, что развлекало всех. По вечерам, когда на палубе разводили огонь для стряпни и искры стаей летали между снастями и громадой парусов, угрожая кораблю верной гибелью от пожара, на тот случай, если стихиям воздуха и воды не удастся уничтожить его, мистер Тэпли опять был тут как тут и, сняв куртку и закатав рукава до локтей, работал за повара, стряпал самые необыкновенные блюда, давал советы, как признанный авторитет, и помогал всем и каждому довести до конца что-нибудь такое, что без него вовсе не было бы сделано и даже задумано. Короче говоря, еще никогда на борту прославленного и быстроходного пакетбота „Винт“ не бывало такой популярной личности, как Марк Тэпли; и в конце концов общее восхищение зашло так далеко, что он начал серьезно сомневаться, есть ли какая-нибудь заслуга в том, чтобы быть веселым при таких радостных обстоятельствах.

— Если так пойдет и дальше, — изрек однажды мистер Тэпли, — то между „Винтом“ и „Драконом“ не окажется никакой разницы, сколько я могу заметить. В чем же тут заслуга? Я уж начинаю бояться, что судьба решила пустить меня по легкой дороге.

— Ну, Марк, — спросил Мартин, рядом с койкой которого высказывались эти соображения, — когда же все это кончится?

— Говорят, еще неделя, сэр, — сказал Марк, — и мы придем в порт. Пароход сейчас ведет себя неплохо, насколько возможно для парохода, сэр, хотя я не считаю, что это уж такая похвала.

— Я тоже этого не думаю, — простонал Мартин.

— Вам было бы много легче, сэр, если бы вы встали, — заметил Марк.

— И показался бы на палубе дамам и джентльменам, — возразил Мартин, с горечью напирая на каждое слово, — вместе с нищими, которых запрятали в эту гнусную дыру! От этого мне станет много легче, как же!

— Я, слава богу, не могу сказать по опыту, что чувствуют джентльмены, — заметил Марк, — но только, по-моему, сэр, джентльмен должен чувствовать себя гораздо хуже здесь, внизу, чем на свежем воздухе, особенно если дамы и джентльмены в первом классе знают о нем ровно столько же, сколько он о них, и вряд ли станут о нем беспокоиться. То есть я бы так думал.

— Могу сказать вам в таком случае, — возразил Мартин, — что вы ошиблись бы, и сейчас ошибаетесь.

— Очень может быть, сэр, — сказал Марк с невозмутимым благодушием. — Со мной это бывает.

— А лежать здесь! — воскликнул Мартин, приподнимаясь на локте и сердито глядя на своего слугу. — Вы думаете, это такое удовольствие лежать здесь?

— Ни в одном сумасшедшем доме, — сказал мистер Тэпли, — не найдется полоумного, который счел бы это за удовольствие.

— Так зачем же вы вечно меня понукаете и требуете, чтобы я встал? — спросил Мартин. — Я лежу здесь потому, что не желаю, чтобы потом, в лучшие времена, какой-нибудь выскочка-толстосум узнал во мне человека, который ехал вместе с ним третьим классом. Я лежу потому, что желаю скрыть свои обстоятельства и спрятаться сам, чтобы не явиться в Новый Свет с ярлыком последнего нищего. Если бы я мог купить себе билет первого класса, то держал бы голову высоко, наравне с прочими. А так как я этого не могу, то прячусь. Теперь вы поняли?

— Извините меня, сэр, — сказал Марк. — Я не знал, что вы все это принимаете так близко к сердцу.

— Конечно, вы не знали, — возразил его хозяин. — Да и как вы могли знать, если я вам не говорил? Вам нетрудно, Марк, быть всегда довольным и придумывать себе всякие заботы. Это даже естественно для вас в таких обстоятельствах, а для меня — нет. Неужели вы думаете, что на корабле найдется человек, который за это плавание перенес хотя бы половину тех страданий, какие перенес я? Возможно ли это? — спросил он, садясь на своей койке и глядя на Марка с укором.

Марк сильно наморщил лоб и, склонив голову набок, задумался над этим вопросом, видимо не зная, что ответить. Из замешательства его вывел сам Мартин, который сказал, снова укладываясь на спину и берясь за книгу, которую он до того читал:

— Но что толку предлагать вам такой вопрос, когда самая суть моих слов заключается в том, чего вы понять не можете? Налейте мне бренди с водой, похолодней и послабее, и дайте сухарь, да скажите вашей знакомой,

которую я отнюдь не желал бы иметь столь близкой соседкой, чтобы она получше унимала своих детей, а не так как этой ночью; пускай шумят поменьше, — будьте добры.

Мистер Тэпли с большой готовностью отправился выполнять эти приказания; и, надо думать, воспрянул духом, выполняя их, ибо не раз твердил про себя, что „Винт“, без сомнения, имеет гораздо больше преимуществ, чем „Дракон“, так как на пароходе не в пример труднее быть веселым. Чрезвычайно приятно, заметил также про себя мистер Тэпли, что главное преимущество сойдет на берег имеете с ним и будет неизменно сопровождать его повсюду, — но что именно он подразумевал под этими утешительными словами, он так и не объяснил.

Теперь на борту парохода все заметно оживились; высказывались предположения насчет того, в какой именно день и даже в каком именно часу они придут в Нью-Йорк. На палубе толпилось и глядело вдаль несравненно больше народа, чем до сих пор, и разразилась целая эпидемия укладывания вещей, которые потом приходилось распаковывать на ночь. Те, у которых были письма к кому-нибудь или знакомые в Америке, или определенные намерения ехать туда-то и заняться тем-то, сто раз на дню обсуждали свои планы; поскольку этот разряд пассажиров был весьма немногочислен, а таких, у кого не было видов на будущее, оказалось очень много, то слушателей было подавляющее большинство, а ораторов раз-два и обчелся. Пассажиры, хворавшие всю дорогу, теперь выздоровели, и даже здоровые заметно поправились. Американец из каюты первого класса, всю дорогу кутавшийся в меха и клеенку, неожиданно появился в блестящем черном цилиндре с маленьким чемоданчиком светлой кожи, содержащим все его платье, белье, щетки, бритву, книги, запонки и прочие пожитки. Он расхаживал по палубе, глубоко засунув руки в карманы и широко раздувая ноздри, словно уже вдыхал воздух свободы, который несет смерть тиранам и которым (ни при каких обстоятельствах, заслуживающих упоминания) не могут дышать рабы. Англичанин, подозреваемый в том, что он сбежал из банка, захватив с собой, кроме ключей от кассы, еще кое-что посущественней, красноречиво рассуждал о правах человека и все время напевал „Марсельезу“. Словом, сильное волнение охватило весь пароход, — в самом деле, земля Америки была уже близко, так близко, что, наконец, в одну звездную ночь они взяли на борт лоцмана и через несколько часов стали на якорь до утра, в ожидании парового катера, который должен был отвезти пассажиров на берег.

На следующее утро, как только рассвело, катер появился и, простояв около часа, причем на это время даже кочегары на нем сделались

предметом живейшего интереса и любопытства, как если бы это были добрые или злые духи, забрал на борт весь живой груз: среди прочих Марка, который все так же заботился о своей приятельнице с тремя детьми, и Мартина, который на этот раз был одет как следует, но в старом, запачканном плаще поверх обычного костюма — на то время, пока они не расстанутся навсегда со своими недавними спутниками.

Катер — с машиной на палубе, проворно перебиравшей длинными тонкими лапами, словно какое-то допотопное чудовище или увеличенное во много раз насекомое, — быстро шел по красивой бухте; и скоро стали видны возвышенности, острова и длинный плоский, далеко раскинувшийся город.

— Так это и есть земля свободы? — сказал мистер Тэпли, глядя вдаль. — Очень хорошо. Я согласен. Любая земля для меня годится после такой уймы воды!

Глава XVI

Мартин сходит с прославленного и быстроходною пакетбота „Винт“ в порту Нью-Йорк в Соединенных Штатах. Он заводит кое-какие знакомства и обедает в пансионе. Подробности этих первых шагов.

Некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы, ибо накануне был избран член муниципалитета; а так как политические страсти разгорелись особенно сильно по случаю такого радостного события, друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы Непогрешимости Выборов и Свободы Убеждений, переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента сами по себе были не так значительны, чтобы взволновать кого-нибудь по прошествии целой ночи; однако мальчишки-газетчики воскресили их и разнесли по городу; они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на палубы и в каюты парохода, так что он, еще не подойдя к пристани, был взят на abordаж и захвачен legionами этих молодых граждан.

— „Нью-йоркская помойка“! — кричал один. — Утренний выпуск „Нью-йоркского клеветника“! „Нью-йоркский домашний шпион“! „Нью-йоркский добровольный доносчик“! „Нью-йоркский соглядатай“! „Нью-йоркский грабитель“! „Нью-йоркский ябедник“! „Нью-йоркский скандалист“! Все нью-йоркские газеты! Полный отчет о вчерашнем патриотическом выступлении демократов! Виги разбиты наголову! Последнее мошенничество в Алабаме! Интересные подробности дуэли на ножах в Арканзасе! Все новости политической, коммерческой и светской жизни! Вот газеты, вот газеты!

— Вот „Помойка“! — кричал другой. — „Нью-йоркская помойка“! Двенадцатая тысяча экземпляров сегодняшней „Помойки“, все сведения о биржевом курсе и прибытии и отправлении судов, четыре столбца вестей из провинции, полный отчет о вчерашнем бале у миссис Уайт, где присутствовали первые красавицы и весь цвет Нью-Йорка, с интимными подробностями из жизни приглашенных дам. Только в „Помойке“! Вот „Помойка“! Двенадцатая тысяча экземпляров „Нью-йоркской помойки“! Разоблачение „Помойкой“ банды Уолл-стрита! Разоблачение „Помойкой“

вашингтонской банды! Вопиющее мошенничество государственного секретаря, совершенное им в возрасте восьми лет от роду и разоблаченное, за большие деньги, его собственной нянькой! Вот „Помойка“! Вот двенадцатая тысяча „Нью-Йоркской помойки“, целый столбец с изобличениями жителей Нью-Йорка; все фамилии напечатаны полностью! Заметка о судье, который третьего дня судил „Помойку“ за клевету, и благодарность „Помойки“ независимым присяжным, которые ее оправдали, с указанием на то, чего им следовало ожидать, если б они ее осудили!.. Вот „Помойка“, кому „Помойку“! Вот недремлющая „Помойка“, всегда на страже; руководящая газета Соединенных Штатов, двенадцатая тысяча экземпляров, газета продолжает печататься. Покупайте „Нью-Йоркскую помойку“!

— Таковыми просвещенными путями, — сказал чей-то голос в самое ухо Мартину, — выходят наружу бурные страсти моего отечества.

Мартин невольно обернулся и увидел бок о бок с собой худосочного черноволосого джентльмена со впалыми щеками, узенькими моргающими глазками и странным выражением лица, не то хмурым, не то наглым, как могло показаться с первого взгляда. В самом деле, даже при ближайшем знакомстве трудно было бы определить это выражение иначе, как смесь грубой хитрости и высокомерия. Джентльмен нахлобучил на голову широкополую шляпу, чтобы придать себе более ученый вид, и скрестил руки на груди, для большей внушительности. Он был одет довольно плохо — в синий сюртук чуть не до пяток, в короткие широкие штаны того же оттенка и выцветший рыжий жилет, из-под которого вылезала почерневшая плоеная манишка, силясь уравниваться в гражданских нравах с прочими статьями туалета и тоже поддержать Декларацию Независимости.

Он полусидел, полулежал, развалился на фальшборте и небрежно скрестив ноги, отличавшиеся необыкновенными размерами; толстая трость с крепким железным наконечником и большим круглым набалдашником висела у него на шнурке с кисточкой. Облаченный таким образом джентльмен подмигнул правым глазом и правым уголком рта и повторил с видом величайшего глубокомыслия:

— Таковыми просвещенными путями выходят наружу Бурные страсти моего отечества.

Так как он смотрел на Мартина, а поблизости никого больше не было, Мартин наклонил голову и сказал:

— Вы намекаете на...?

— На оплот нашей разумной отечественной свободы, сэр, повергающий в трепет иноземных тиранов, — возразил джентльмен,

указывая тростью на необыкновенно грязного мальчишку-газетчика с одним глазом. — На предмет зависти всего мира, сэр, на авангард цивилизации. Позвольте мне спросить вас, сэр, — прибавил он, стукнув о палубу железным наконечником трости с видом человека, который не потерпит никаких виляний, — как вам нравится мое отечество?

— Не знаю, право, что вам сказать, — сказал Мартин. — Я еще не был на берегу.

— Что ж, я думаю, вы вряд ли ожидали видеть, — заметил джентльмен, — такие доказательства национального процветания, как вот это?

Он указал на суда, стоявшие у причалов, затем сделал широкий взмах тростью, как бы включая в свое замечание воздух и воду.

— Право, не знаю, — ответил Мартин. — Да. Думаю, что ожидал.

Джентльмен взглянул на него с проницательным видом и сказал, что ему нравится такая линия поведения. Она вполне естественна, сказал он; как философ, он любит наблюдать человеческие предрассудки.

— Я вижу, вы привезли с собою, сэр, — заметил он, повернувшись к Мартину и опершись подбородком на набалдашник трости, — обычный груз бедствий, нищеты, невежества и преступлений — в дар великой республике. Что ж, сэр! Пусть их везут целыми партиями из Старой Англии. Говорят, когда корабль готовится затонуть, крысы бегут с него. Я нахожу, что в этой пословице много правды.

— Старый корабль быть может еще продержится год или два, — сказал Мартин с улыбкой, отчасти вызванной словами джентльмена, отчасти же его манерой говорить — довольно странной, так как он произносил с ударением все короткие и односложные слова, оставляя на произвол судьбы все остальные, как будто считая, что слова покрупнее могут обойтись и так, зато мелочь нуждается в постоянном присмотре.

— Надежда, по словам поэта, сэр, — заметил джентльмен, — есть кормилица юного желания.

Мартин подтвердил, что ему случалось слышать, будто этой руководящей добродетели приходится нести такие чисто домашние обязанности.

— Она не выкормит младенца в данном случае, сэр, вот увидите, — заметил джентльмен.

— Время покажет, — сказал Мартин. Джентльмен важно кивнул головой и спросил:

— Ваша фамилия, сэр? Мартин сказал ему.

— Сколько вам лет, сэр? Мартин сказал ему.

— Ваша профессия, сэр? Мартин сказал и это.

— Куда вы направляетесь, сэр? — осведомился джентльмен.

— Право, — сказал Мартин, улыбаясь, — не могу вам сообщить ничего удовлетворительного на этот счет, я и сам еще ничего не знаю.

— Вот как? — заметил джентльмен.

— Да, — сказал Мартин.

Джентльмен сунул трость под мышку и осмотрел Мартина с головы до ног, весьма пристально и внимательно, чего не удосужился сделать до сих пор. Закончив осмотр, он протянул правую руку и, обменявшись с Мартином рукопожатием, сказал:

— Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор „Нью-Йоркского скандалиста“.

Мартин отнесся к его словам настолько почтительно, насколько этого требовал характер такого интересного сообщения.

— „Нью-Йоркский скандалист“, сэр, — продолжал полковник, — как вам, надеюсь, известно, является органом аристократии в этом городе.

— Ах, так здесь есть и аристократия? — сказал Мартин. — Из кого же она состоит?

— Из разума. — ответил полковник, — из разума и добродетели. А также из необходимого к ним дополнения в этой республике — из долларов, сэр.

Мартин был очень рад это слышать и уже не сомневался, что скоро станет большим капиталистом, если разум и добродетель неизбежно приводят к накоплению долларов. Он только что собрался выразить свою радость по этому поводу, как его прервал капитан корабля, который подошел пожать руку полковнику, и увидев на палубе хорошо одетого пассажира (Мартин сбросил свой плащ), пожал руку и ему. Мартин сразу вздохнул свободнее, так как, невзирая на признанный авторитет ума и добродетели в этой счастливой стране, он почувствовал бы себя глубоко униженным, если бы выступил перед полковником Дайвером в жалкой роли трюмного пассажира.

— Ну, капитан! — сказал полковник.

— Ну, полковник! — воскликнул капитан. — У вас замечательно бодрый вид, сэр. Вас прямо не узнать, это факт.

— Как шли, капитан? — осведомился полковник, отводя его в сторону.

— Что ж, шли довольно прилично, сэр, — произнес, или скорее пропел, капитан, истый уроженец Новой Англии^[48], — довольно прилично, принимая во внимание погоду.

— Да? — сказал полковник.

— Да, можно сказать, — ответил капитан. — Я только что послал к вам в редакцию юнгу со списком пассажиров, полковник.

— Может быть, у вас найдется еще один юнга, капитан? — спросил полковник тоном, довольно близким к суровости.

— Хоть десяток, если вам потребуется, полковник, — отвечал капитан.

— Один мальчик средних размеров, может, донес бы дюжину шампанского до редакции, — в раздумье произнес полковник. — Кажется, вы сказали, переход был вполне приличный?

— Да, сказал, — был ответ.

— Это совсем близко, рукой подать, — продолжал полковник. — Я очень рад, что вы шли вполне прилично, капитан. Не беспокойтесь, если у вас не найдется больших бутылок. Мальчик может принести и две дюжины, прогуляется два раза вместо одного. Так переход был первоклассный? Да?

— Самый что ни на есть, — сказал капитан.

— Я в восторге, что вам везет, капитан. Вы могли бы одолжить мне заодно штопор и полдюжины стаканов? Как бы ни вооружались стихии против замечательного пакетбота моей страны „Винт“, сэр, — сказал полковник, оборачиваясь к Мартину и размашисто чертя тростью по палубе, — и туда и обратно он идет с исключительной быстротой!

Капитан, у которого в эту самую минуту в одной каюте роскошно завтракала „Помойка“, а в другой допивался до бесчувствия добродушный „Клеветник“, любезно простился со своим другом полковником и побежал отправлять ему шампанское, отлично зная (как не замедлило выясниться), что если ему не удастся умиловить редактора „Нью-Йоркского скандалиста“, то не пройдет и дня, как этот властитель очернит его с пароходом вместе, — крупным шрифтом, — а быть может, заденет и память его матушки, которая умерла всего двадцать лет тому назад. Полковник, оставшись вдвоем с Мартином, не дал ему уйти и предложил показать город, из уважения к тому, что он англичанин, а также рекомендовать ему, если он пожелает, приличный пансион. Но прежде всего, сказал полковник, он просил бы оказать ему честь: посетить редакцию „Скандалиста“ и распить бутылочку шампанского, лично им привезенную из Европы.

Все это было до такой степени любезно и гостеприимно, что Мартин охотно согласился, хотя было еще раннее утро. И потому, наказав Марку, который хлопотал около своей знакомой и ее троих детей, чтобы он, подавши им помощь и управившись с багажом, приходил за дальнейшими распоряжениями в редакцию „Скандалиста“, Мартин сошел на берег вместе со своим новым знакомым.

Они с трудом пробрались через унылую толпу эмигрантов на пристани, сидевших на своих постелях и сундуках под открытым небом с таким растерянным видом, словно упали с другой планеты, и некоторое время шли по оживленной улице, вдоль которой тянулись с одной стороны набережные и суда, а с другой — длинный ряд ярко-красных кирпичных складов и контор, украшенных таким множеством черных вывесок с белыми буквами и белых вывесок с черными буквами, какого Мартину не приходилось видеть даже там, где места для них было в пятьдесят раз больше. Скоро они свернули в узкую улицу, а потом в другие улицы, еще уже, и, наконец, остановились перед домом, на котором было намалевано крупными буквами:

„НЬЮ-ЙОРКСКИЙ СКАНДАЛИСТ“

Полковник, который всю дорогу шел, заложив руку за борт сюртука, сдвинув шляпу на затылок и время от времени помахивая головой, как подобает человеку, подавленному сознанием собственного величия, повел Мартина по темной и грязной лестнице в такую же темную и грязную комнату, всю заваленную газетами и усеянную измятыми обрывками гранок и рукописей. В этом помещении за обшарпанным письменным столом сидела некая фигура с огрызком пера во рту и большими ножницами резала и кромсала кипу номеров „Нью-йоркского скандалиста“; фигура эта была настолько смехотворна, что Мартину стоило большого труда удержаться от улыбки, хотя он знал, что полковник Дайвер пристально наблюдает за ним.

Субъект, резавший и кромсавший газеты, был молодой человек очень маленького роста, крайне юный по внешности и с болезненно-бледным лицом, что объяснялось отчасти усиленной работой мысли, а отчасти неумеренным употреблением табака, который он усердно жевал в эту минуту. Он носил отложные воротнички и черную ленту вместо галстука: а его прямые, довольно жидкие волосы (вернее то, что от них осталось) были не только прилизаны и зачесаны назад для большей поэтичности, но и кое-где вырваны с корнем, отчего его высокий лоб отличался некоторой прыщеватостью. Нос у него был того фасона, который человечество из зависти окрестило „курносым“, с очень сильно вздернутым кончиком, как бы от высокомерия. На верхней губе молодого человека виднелись зачатки рыжеватого пушка, до такой степени редкого, что несмотря на все его старания, он более походил на следы только что съеденного имбирного пряника, чем на признаки будущих усов; и это сходство еще усиливал его

нежный, по-видимому, возраст. Молодой человек был весь погружен в работу. Каждый раз как он щелкал ножницами, его челюсти тоже производили соответствующее движение, что придавало ему весьма устрашающий вид, Мартин, недолго думая, решил про себя, что это, должно быть, сын полковника Дайвера, надежда семьи и будущая опора газеты. Он уже хотел было сказать полковнику, что очень приятно видеть такого мальчугана играющим в редактора со всей невинностью младенческого возраста, как полковник прервал его, провозгласив с гордостью:

— Мой военный корреспондент, сэр, мистер Джефферсон Брик.

Мартин подскочил при этом неожиданном сообщении, сознавая, какую непоправимую ошибку он едва не совершил.

Мистер Брик был, по-видимому, польщен впечатлением, которое он произвел на незнакомца; он пожал ему руку с покровительственным видом, как бы давая этим понять, что бояться тут нечего и что он, Брик, его не съест.

— Вы, я вижу, слышали о Джефферсоне Брике, сэр, — произнес полковник с улыбкой. — Англия слыхала о Джефферсоне Брике. Европа слыхала о Джефферсоне Брике. Позвольте. Когда вы уехали из Англии?

— Пять недель тому назад, — сказал Мартин.

— Пять недель, — повторил задумчиво полковник, усаживаясь на стол и болтая ногами. — Так позвольте спросить вас, сэр, какая из статей мистера Брика того времени всего ненавистнее парламенту и Сент-Джеймскому дворцу^[49]?

— Честное слово, — сказал Мартин, — я...

— Я имею основания думать, — прервал его полковник, — что аристократические круги вашей родины трепещут перед именем Джефферсона Брика. Мне хотелось бы слышать из ваших уст, сэр, какое из его утверждений нанесло самый тяжкий удар...

— ...стоглавой гидре Коррупции, которая ныне поражена копьем Разума и пресмыкается во, прахе, изрыгая фонтаны крови до самых небес, — произнес мистер Брик, надевая маленькую фуражку синего сукна с лакированным козырьком и цитируя свою последнюю статью.

— Алтарь свободы, Брик... — подсказал полковник.

— ...следует иногда орошать кровью, полковник, — воскликнул Брик. И, произнося слово „кровь“, он резко щелкнул большими ножницами, словно и они тоже произнесли „кровь“, вполне разделяя его мнение.

После этого оба они воззрились на Мартина, ожидая его ответа.

— Честное слово, — сказал Мартин, к которому вернулось его

обычное хладнокровие, — я не могу дать вам нужных сведений; сказать по правде, я...

— Погодите! — воскликнул полковник, сурово глядя на своего военного корреспондента и кивая головой после каждой фразы. — Потому, что вы никогда не слыхали о Джефферсоне Брике, сэр. Потому, что вы никогда не читали Джефферсона Брика, сэр. Потому, что вы никогда не видали „Нью-йоркского скандалиста“, сэр. Потому, что вы не знали о его могущественном влиянии на кабинеты Европы, Да?

— Действительно, как раз это я и собирался сказать, — заметил Мартин.

— Спокойствие, Джефферсон, — важно сказал полковник, — не кипятитесь! О вы, европейцы! А теперь давайте выпьем по бокалу вина! — С этими словами он слез со стола и вынул из корзины, стоявшей за дверью, бутылку шампанского и три стакана.

— Мистер Джефферсон Брик, сэр, провозгласит нам тост, — сказал полковник, наливая по стакану себе и Мартину и передавая бутылку мистеру Брику.

— Что ж, сэр, — произнес военный корреспондент, — я готов. Я провозглашаю тост за „Нью-йоркского скандалиста“, сэр, и, за его собратьев, за кладезь истины, чьи воды черны, ибо состоят из типографской краски, но достаточно прозрачны для того, чтобы в них отразились судьбы моего отечества.

— Слушайте, слушайте! — отозвался полковник с большим удовлетворением. — А ведь речь моего друга составлена довольно цветисто, сэр!

— И очень даже, — сказал Мартин.

— Вот сегодняшний номер „Скандалиста“, сэр, — заметил полковник, подавая ему газету. — Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов.

Полковник опять уселся на стол. Мистер Брик сел рядом с ним; и оба они приналегли на шампанское. Они часто посматривали на Мартина, который читал газету, а потом друг на друга. Когда он положил газету, — что случилось уже после того, как они прикончили вторую бутылку, — полковник спросил, понравилась ли ему газета.

— Как вам сказать, уж очень много намеков на личности, — ответил Мартин.

Полковник был, по-видимому, весьма польщен этим замечанием и высказал надежду, что так оно и есть.

— Мы здесь независимы, сэр, — заметил Джефферсон Брик. — Мы

поступаем, как нам нравится.

— Если судить по этому образцу, — возразил Мартин, — сотни тысяч людей здесь, наоборот, зависимы и поступают так, как им не нравится.

— Что ж, они подчиняются могущественному воздействию Всеобщей Воспитательницы, сэр, — сказал полковник Дайвер. — Случается, что они бунтуют; но вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан и в общественной и в частной жизни, что является одним из облагораживающих установлений нашей страны, так же как и...

— Так же как и рабство негров, — подсказал мистер Брик.

— Совершенно верно, — заметил полковник.

— Простите, — сказал Мартин после некоторого колебания, — нельзя ли спросить по поводу одного случая, о котором я прочел в вашей газете: часто ли Всеобщая Воспитательница занимается — не знаю, как бы это выразить, чтобы не обидеть вас, — подлогами? Например, подделкой писем, — продолжал он, видя, что полковник остается совершенно невозмутим и спокоен, — что не мешает ей утверждать, будто они написаны совсем недавно и живыми людьми?

— Что ж, сэр, — ответил полковник, — занимается время от времени.

— А воспитанники? Как они поступают в таком случае? — спросил Мартин.

— Покупают газеты, — сказал полковник. Мистер Джефферсон Брик сплунул и засмеялся; сплунул обильно и засмеялся одобрительно.

— Покупают их сотнями тысяч, — заключил полковник. — Мы ловкий народ и умеем ценить ловкость.

— Разве подлог значит по-американски „ловкость“? — спросил Мартин.

— Ну, — ответил полковник, — я думаю, по-американски „ловкость“ значит очень многое, что у вас называется по-другому. Зато у вас в Европе руки связаны. А у нас нет.

„И вы этим пользуетесь, — подумал Мартин. — Да еще как бесцеремонно!“

— Во всяком случае, какое бы название мы ни употребили, — продолжал полковник, нагибаясь, чтобы закатить в угол третью пустую бутылку вслед за двумя первыми, — я полагаю, искусство подлога изобрели не здесь, сэр?

— Я тоже так полагаю, — ответил Мартин.

— И другие виды ловкости тоже?

— Изобрели? Нет, думаю, что не здесь!

— Ну, — сказал полковник, — значит, мы все это получили из Старого

Света, Старый Свет и виноват, а не Новый. И дело с концом. А теперь, если вы с мистером Джефферсоном Бриком будете любезны пройти вперед, я выйду последним и запру дверь.

Правильно истолковав эти слова как сигнал к отбытию, Мартин спустился с лестницы вслед за военным корреспондентом, который весьма величественно предшествовал ему. Полковник догнал их, и они вышли из редакции „Нью-йоркского скандалиста“ на улицу; причем Мартин никак не мог решить, дать ли полковнику в зубы за то, что тот осмелился с ним так разговаривать, или же принять на веру его слова — что он и его газета являются одним из прославленных учреждений этой новой страны.

Было ясно, что полковник Дайвер, будучи уверен в прочности своего положения и в совершенстве зная своего читателя, очень мало беспокоился о том, что думает о нем Мартин или кто бы то ни было. Его остро приправленный товар предназначался для продажи и раскупался бойко; тысячи читателей так же мало могли винить его за то, что они рады валяться в грязи, как обжора — повара за свою скотскую неумеренность. Полковника только порадовало бы, если бы ему сказали, что нигде в другой стране такой человек, как он, не мог бы расхаживать по улицам, наслаждаясь своим успехом: это было бы для него лишним подтверждением того, что его труды угодили господствующим вкусам и что сам он законное и характерное порождение национальных нравов.

Они прошли целую милю или больше того по красивой улице, которая, по словам полковника, называлась Бродвеем, а по словам мистера Джефферсона Брика — „утерла нос всему миру“. Свернув, наконец, в одну из множества боковых улиц, ответвлявшихся от главной, они остановились перед довольно невзрачным домом. Мартин увидел жалюзи на окнах, крыльцо перед зеленой входной дверью, блестящие белые шишки на столбиках по обе стороны крыльца, похожие на отполированный окаменевший ананас, продолговатую дощечку из того же материала над дверным молотком с выгравированной на ней фамилией „Паукинс“ и четырех случайно забредших сюда свиней, заглядывавших в подвальный этаж.

Полковник постучался в дверь с видом человека, который живет в доме, и девушка-ирландка высунулась из окна в верхнем этаже — посмотреть, кто стучит. Пока она успела сойти вниз, к четырем свиньям присоединились еще две-три приятельницы с соседней улицы, и они всей компанией благодушно разлеглись в канаве.

— Майор дома? — осведомился полковник, входя в дверь.

— Вы это про хозяина, сэр? — спросила девушка с

нерешительностью, наводившей на мысль, что у них в заведении сколько угодно майоров.

— Хозяин! — сказал полковник Дайвер, останавливаясь на месте, и оглядываясь на своего военного корреспондента.

— О, как унизительны нравы этой Британской империи, полковник! — сказал Джефферсон Брик. — Хозяин!

— Чем же плохо это слово? — спросил Мартин.

— Надеюсь, что его никогда не слыхали в нашей стране, сэр, вот и все, — сказал Джефферсон Брик, — за исключением тех случаев, когда его произносит какая-нибудь невежественная служанка, незнакомая с благами нашего строя, так же как вот эта. Здесь у нас нет хозяев.

— Все „владельцы“, не так ли? — сказал Мартин.

Мистер Джефферсон Брик проследовал за редактором „Нью-йоркского скандалиста“, ничего не ответив. Мартин шел за ними, думая тем временем, что свободные и независимые граждане, признавшие полковника Дайвера своим „воспитателем“, оказали бы гораздо больше уважения богине Свободы, если бы видели ее только во сне, лежа на печи как русские крепостные.

Полковник повел их в комнату на первом этаже в глубине дома, светлую и большую, но на редкость неуютную, где были только голые стены и потолок, плохонький ковер, длинный обеденный стол, уныло простирившийся от одного конца комнаты, до другого, и невероятное количество стульев с плетеными сиденьями. В глубине этой пиршественной залы стояла печка, с обеих сторон которой красовалось по большой медной плевательнице и которая имела вид трех чугунных бочонков, поставленных стоямя на решетку и соединенных между собою наподобие сиамских близнецов. Перед печкой, покачиваясь в качалке, сидел внушительных размеров джентльмен в шляпе; он развлекался тем, что плевал попеременно то в плевательницу налево от печки, то в плевательницу направо от печки, и снова в том же порядке. Подросток-негр в грязной белой куртке раскладывал на столе двумя длинными рядами ножи и вилки, перемежая их время от времени кувшинами с водой, и, обходя стол с одной стороны, то и дело поправлял грязными руками еще более грязную скатерть, которая вся перекосилась и, как видно, не снималась после завтрака. Воздух в комнате был чрезвычайно жаркий и удушливый; а так как в нем носились тошнотворные пары супа из кухни и исходившие из вышеупомянутых медных сосудов миазмы, отдаленно напоминавшие табачную вонь, — непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать.

Джентльмен в качалке, сидевший к ним спиной и весь поглощенный своим интеллектуальным занятием, не замечал их до тех пор, пока полковник, подойдя к печке, не отправил свою лепту в левую плевательницу, как раз в ту минуту, когда майор — это и был майор — нацелился плюнуть туда же. Майор Паукинс приостановил огонь и, подняв глаза, произнес с особенным выражением тихой усталости, как у человека, не спавшего всю ночь, которое Мартин уже подметил и у полковника и у мистера Джефферсона Брика:

— Ну, полковник?

— Вот джентльмен из Англии, майор, — отвечал полковник, — он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему.

— Очень рад вас видеть, сэр, — заметил майор, пожимая руку Мартину, причем на его лице не дрогнул ни единый мускул. — Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

— Очень хорошо, — сказал Мартин.

— Вряд ли вам будет где-нибудь лучше, — возразил майор, — Здесь вы узнаете, что такое свет солнца.

— Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит. — сказал Мартин, улыбаясь.

— Не думаю, — ответил майор. Он произнес это, разумеется, со стоическим равнодушием, но твердым тоном, не допускавшим никаких пререканий. Разрешив таким образом этот вопрос, он слегка сдвинул шляпу набок, чтобы удобнее было почесать голову, и ленивым кивком приветствовал мистера Джефферсона Брика.

Майор Паукинс, родом из Пенсильвании, отличался весьма тяжеловесным черепом и объемистым желтым лбом, в силу каковых достоинств в барах и прочих увеселительных заведениях распространено было мнение, будто майор человек обширного ума. Кроме того, он отличался осовелым взглядом и вялыми, медлительными движениями, а также тем, что ему требовался большой простор, чтобы развернуться. Однако, пуская свою мудрость в оборот, он неизменно применял правила — выставлять на витрину весь товар, какой у него имеется (и даже больше), и это сильно действовало на его приверженцев. Очевидно, это внушало уважение и мистеру Джефферсону Брику, который не упустил случая шепнуть на ухо Мартину:

— Один из самых замечательных людей нашей страны, сэр!

Не следует полагать, однако, что майор только тем и завоевал общие симпатии и уважение, что постоянно выставлял на продажу или отдавал напрокат весь свой наличный запас товаров. Он был большой политик.

Единственный его девиз по части тех обязанностей гражданина, от которых зависит честь и доброе имя его отечества, гласил: „Обмакнув перо, зачеркнуть все начисто и начать снова“. Поэтому он считался патриотом. В коммерческих делах он был отважным прожектером. Проще говоря, он умел весьма ловко мошенничать и мог открыть банк, организовать заем, основать компанию для спекуляции земельными участками (неся разорение, гибель и смерть сотням семейств) не хуже всякой другой изворотливой бестии в Соединенных Штатах. Поэтому он считался замечательным дельцом. Он мог околачиваться в баре, разглагольствуя о государственных делах по двенадцати часов подряд, и при этом ухитрялся нагнать на всех больше скуки, изжевать и выкурить больше табаку и выпить больше ромового пунша, мятного грога, джина и разных смесей, чем любое частное лицо из его знакомых. Поэтому он считался оратором и другом народа. Словом, майор шел в гору, приобретал популярность, и немало шансов было за то, что его изберут в палату представителей штата Нью-Йорк, а не то пошлют и в самый Вашингтон. Но так как личное благосостояние человека не всегда идет в ногу с его патриотической преданностью общественным делам и так как жульнические махинации иногда удаются, а иногда и нет, то майору Паукинсу временами не везло. Как раз поэтому миссис Паукинс содержала теперь меблированные комнаты, а майор Паукинс больше лодырничал, чем занимался делом.

— Вы посетили нашу страну, сэр, во время большого застоя в делах, — сказал майор.

— Внушающего тревогу, — сказал полковник.

— В период невиданного кризиса, — сказал мистер Джефферсон Брик.

— Очень жаль это слышать, — сказал Мартин. — Надеюсь, это не надолго?

Мартин ровно ничего не знал об Америке, иначе ему было бы известно, что, если верить каждому из ее граждан в отдельности, она всегда находится в состоянии кризиса, и всегда в состоянии застоя, и всегда это внушает тревогу, и никогда это не бывало иначе; хотя те же граждане все скопом готовы поклясться на евангелии, что это самая процветающая и благополучная страна из всех стран на земном шаре.

— Надеюсь, это не надолго? — повторил Мартин.

— Ну, — сказал полковник, — я думаю, мы как-нибудь справимся с этим, и все кончится благополучно.

— Мы гибкая страна, — сказал „Нью-йоркский скандалист“.

— Мы молодые львы, — сказал мистер Джефферсон Брик.

— В нас заложена способность к непрестанному возрождению, —

заметил майор. — Не выпить ли нам горькой перед обедом, полковник?

Полковник с величайшей готовностью откликнулся на это приглашение, и майор Паукинс предложил им отправиться в ближайший бар, который, по его словам, находился „в двух шагах отсюда“. Затем он попросил Мартина адресоваться к миссис Паукинс за всеми подробностями относительно платы за стол и квартиру, сообщив, что эту даму можно видеть за обедом, который скоро подадут, так как обедают в два, а до этого времени осталось всего четверть часа. Тут майор вспомнил, что если они вообще собираются выпить по рюмке горькой, то времени терять нечего, и вышел, не тратя больше слов и предоставив остальным следовать за ним, если им угодно.

Когда майор поднялся с качалки перед печкой, всколыхнув жаркий воздух и носившиеся в нем благоуханные испарения супа, запах табачного перегара настолько усилился, что уже не оставалось никакого сомнения в том, что он шел главным образом от одежды этого джентльмена. В самом деле, идя позади него в бар, Мартин никак не мог отделаться от мысли, что большой и коренастый майор своей вялостью и безжизненностью очень походит на сохнувшее растение табака и что его следовало бы выдернуть, как плевел, к большой выгоде других, полезных растений в общественном саду и выбросить на подобающее ему место — в навозную кучу.

В баре они встретили другие плевелы, которые погибали от жажды, так же как и от грязи, и были очень вялы в одном отношении и очень свежи в другом. Среди них находился джентльмен, который, как понял Мартин из разговора, завязавшегося за выпивкой, уезжал сегодня на Дальний Запад по делам на целые полгода и у которого все снаряжение и оборудование состояло из точно такого же блестящего цилиндра и точно такого же чемоданчика светлой кожи, какие составляли весь багаж джентльмена, ехавшего из Англии на пакетботе „Винт“.

Они возвращались ничуть не торопясь — Мартин шел рука об руку с мистером Джефферсоном Бриком, следом за майором и полковником, — как вдруг, не доходя одного или двух домов до резиденции майора, они услышали громкий звон колокола. Как только этот звон донесся до их ушей, полковник и майор бросились вперед, взлетели по ступенькам и, как сумасшедшие, ворвались в дверь, которая была открыта настежь, и мистер Джефферсон Брик, вырвав свою руку у Мартина, поспешно ринулся в том же направлении и тоже исчез за дверью.

„Боже мой, — подумал Мартин, — в доме пожар! Это наверно, набат!“

Но нигде не было видно ни дыму, ни пламени, и нельзя было заметить никаких признаков пожара. Пока Мартин стоял в нерешимости на тротуаре,

еще трое джентльменов, на лицах которых были написаны ужас и волнение, стремительно выскочили из-за угла, взлетели на крыльцо, толкая друг друга на ступеньках, секунду побарахтались в дверях и ввалились в дом всей кучей, из которой торчали руки и ноги. Не в силах выносить неизвестность дольше, Мартин ринулся вслед за ними. Как ни быстро он бежал, его настигли, оттолкнули в сторону и обогнали еще два джентльмена, по-видимому окончательно рехнувшиеся от сильного волнения.

— Где это? — задыхаясь, крикнул Мартин негру, который повстречался ему в коридоре.

— В столовой, сэр. Полковник, сэр, оставил вам место рядом с собой, сэр.

— Место? — воскликнул Мартин.

— За обеденным столом, сэр.

Мартин озадаченно смотрел на него с минуту и вдруг от души рассмеялся, на что негр, движимый природным добродушием и желанием угодить, отвечал так искренне, что его зубы блеснули лучом света.

— Вы самый приятный человек, какого я тут видел, — сказал Мартин, хлопая его по спине, — и разговаривать с вами полезней для аппетита, чем рюмка горькой.

С этими словами Мартин вошел в столовую и сел рядом с полковником, уже кончавшим обедать; он оставил стул для Мартина, прислонив его спинкой к столу.

Общество собралось большое, человек восемнадцать — двадцать. Среди них было пять или шесть дам, сидевших за столом отдельной маленькой фалангой. Все ножи и вилки работали с устрашающей быстротой; разговоров почти не было слышно; каждый ел так, как будто от этого зависело спасение его жизни и как будто не позже завтрашнего утра должен был наступить повальный голод, так что следовало спешить изо всех сил, чтобы выполнить первый закон природы. Птица, составлявшая едва ли не основное блюдо на пиршестве, — ибо во главе стола имелась индейка, в конце — пара уток и посередине — две курицы, — исчезала с такой быстротой, как будто каждое из этих пернатых в отчаянии летело на собственных крыльях прямо в рот обедающим. Устрицы, тушеные и маринованные, соскакивали с больших блюд и десятками скользили в глотку обедающих. Самые острые пикули, целые огурцы проглатывались, как конфетки, и никто даже не морщился. Груды неудобоваримых яств таяли, как лед на солнце. Это было торжественное и устрашающее зрелище. Страдавшие несварением желудка глотали пищу не разжевывая,

комками, питая не себя, а целый выводок кошмаров, который всегда следовал за ними по пятам. Сухопарые люди с худыми, втянутыми щеками выходили из-за стола, не насытившись тяжелым блюдами, и пожирали пристальными взглядами пирожное. Что переживала миссис Паукинс каждый день за обедом, недоступно человеческому разумению. Но одно утешение у нее было — он кончался скоро.

Как только полковник расправился с обедом, что произошло, когда Мартин еще и не приступал к нему, а только дожидался, пока ему подадут порцию индейки, он спросил Мартина, что тот думает о столующихся, которые собрались в Нью-Йорк со всех концов Соединенных Штатов, и не пожелает ли он узнать о них какие-нибудь подробности.

— Скажите, пожалуйста, — спросил Мартин, — кто эта болезненная девочка с круглыми глазами навывкате? Я не вижу тут особы, которая походила бы на ее мать или гувернантку.

— Вы имеете в виду даму в синем, сэр? — значительным тоном спросил полковник. — Это миссис Джефферсон Брик, сэр.

— Нет, нет, — сказал Мартин, — я говорю про девочку, похожую на куклу, — как раз напротив.

— Ну да, сэр, — воскликнул полковник, — это и есть миссис Джефферсон Брик!

Мартин посмотрел в глаза полковнику, но тот был совершенно серьезен.

— Боже мой! Так, значит, скоро можно ожидать и появления молодого Брика? — сказал Мартин.

— Два молодых Брика уже налицо, сэр, — возразил полковник.

Почтенная матрона и сама была так необыкновенно похожа на младенца, что Мартин не мог не высказать этого.

— Да, сэр, — заметил полковник, — некоторые установления развивают человеческую природу, зато другие задерживают ее развитие. Джефферсон Брик, — немного помолчав, заметил он в похвалу своему военному корреспонденту, — один из самых замечательных людей в нашей стране, сэр!

Эти слова он произнес почти шепотом, ибо выдающаяся личность, о которой шла речь, сидела по другую руку Мартина.

— Скажите, пожалуйста, мистер Брик, — начал Мартин, обратившись к нему и задавая вопрос больше для того, чтобы поддержать разговор, чем из интереса к предмету, — кто этот, — он хотел было сказать „молодой“, но счел более удобным не употреблять этого слова, — кто этот очень маленький джентльмен вон там, с красным носом?

— Это профессор Муллит, сэр, — отвечал Джефферсон.

— Можно спросить, профессор чего именно?

— Педагогики, сэр, — сказал Джефферсон Брик.

— Что-нибудь вроде школьного учителя, быть может? — отважился заметить Мартин.

— Это человек высоких нравственных правил, сэр, и необыкновенных дарований, — ответил военный корреспондент. — Во время последних выборов президента он считал необходимым разоблачить своего отца, который голосовал за противную сторону, и отречься от него. После этого он написал несколько потрясающей силы памфлетов — за подписью „Турб“, то есть Брут задом наперед. Это один из самых замечательных людей в нашей стране, сэр.

„Их, кажется, тут видимо-невидимо“, — подумал Мартин.

Продолжая расспросы, Мартин узнал, что здесь присутствует не менее четырех майоров, два полковника, один генерал и один капитан, так что он невольно подумал, как, должно быть, силен офицерский состав в американском ополчении, и любопытствовал про себя, командуют ли офицеры друг другом, а если нет, то откуда же берутся рядовые. По-видимому, тут не было ни одного человека без титула, ибо те, которые не имели военного чина, были или доктора, или профессора, или их преподобия. Три очень суровых и неприятных джентльмена прибыли с дипломатическими поручениями из соседних штатов — один по финансовым, один по политическим и один по церковным делам. Среди дам тут была миссис Паукинс, очень прямая, костлявая и неразговорчивая, и одна сухая старая девица, весьма убежденная сторонница эмансипации женщин, которая пропагандировала свои взгляды, читая лекции; зато все остальные дамы были совершенно лишены индивидуальных черт до такой степени, что любая из них могла бы стать на место другой, и никто этого не заметил бы. Кстати сказать, из всего общества только одни дамы не принадлежали, по-видимому, к самым замечательным людям страны.

Некоторые из джентльменов, проглотив последний кусок, вставали и выходили один за другим, задерживаясь лишь на минуту возле печки, чтобы освежиться у плевательниц. Другие, более усидчивые по характеру, оставались за столом целых четверть часа, пока не встали дамы, после чего все поднялись со своих мест.

— Куда они идут? — спросил Мартин на ухо у Джефферсона Брика.

— В свои спальни, сэр.

— Разве после обеда не бывает десерта или каких-нибудь разговоров? — спросил Мартин, которому хотелось развлечься после

долгого путешествия.

— Мы деловой народ, сэр, и у нас нет на это времени, — был ответ.

Итак, дамы вышли из столовой гуськом, причем мистер Джефферсон Брик и другие женатые джентльмены, еще остававшиеся в комнате, удостоили на прощание своих дражайших половин кивком головы — чем дело и ограничилось. Мартин подумал, что это не совсем приятный обычай, но пока что оставил свое мнение при себе, любопытствуя послушать поучительный разговор деловых людей, которые теперь отдыхали у печки, по-видимому чувствуя большое облегчение оттого, что удалился прекрасный пол, и усиленно пользовались плевательницами и зубочистками.

Разговор, по правде сказать, не отличался занимательностью и большую часть его можно было свести к одному слову — доллары! Все их заботы, надежды, радости, привязанности, добродетели и дружеские связи, казалось, были переплавлены в доллары. Что бы ни попадало в медленно кипевший котел их беседы, они усердно подсыпали в эту кашу доллары. Людей ценили на доллары, мерили долларами; жизнь продавалась с аукциона, оценивалась и шла с молотка за доллары. После долларов больше всего уважались всякие дела, помогающие их нажить. Чем больше выбросит человек за борт чести и совести — этого ненужного балласта — с корабля своего Доброго Имени и Благих Намерений, тем больше у него останется места для долларов. Превратите коммерцию в сплошную ложь и повальное воровство, топчите знамя нации, как негодную тряпку, оскверните его звезда за звездой, сорвите с него полосу за полосой, как срывают погоны с разжалованного солдата, — все что угодно ради долларов! Что такое знамя по сравнению с долларами!

Охотник, который гонится за лисицей, рискуя сломать себе шею, всегда скачет очертя голову. Так было и с этими господами. Тот считался у них добрым патриотом, кто громче орал и плевать хотел на всякую порядочность. Тот был у них первым, кто в азартной погоне за корыстью сам не останавливался ни перед чем и потому не клеймил их подлые плутни. Так, за пять минут отрывочного разговора у печки Мартин узнал, что ходить в законодательное собрание с пистолетами, шпагами в тростях и другими невинными игрушками, хватать противников — за горло, подобно собакам и крысам, грозить, запугивать и подавлять грубой силой — все это были славные подвиги; не удары в сердце Свободы, разящие глубже, чем ятаганы турецких янычар, — а благовонный фимиам на ее алтарях, приятно щекотавший ноздри патриотов и поднимавшийся клубами до седьмого неба Славы^[50].

Один или два раза, воспользовавшись паузой, Мартин задал вопросы, естественно пришедшие ему в голову, как чужестранцу: о национальных поэтах, театре, литературе и искусстве. Но те сведения по этой части, какие могли сообщить ему его собеседники, не шли дальше вдохновенных творений таких великих умов современности, как полковник Дайвер, мистер Джефферсон Брик и другие, которые прославились, по-видимому, тем, что довели до совершенства газетную брань в так называемых „забористых статьях“.

— Мы деловой народ, сэр, — сказал один капитан, родом с Запада — и у нас нет времени читать всякие пустяки. Мы ничего не имеем против, если они попадают в газеты вместе с чем-нибудь другим поинтереснее, но уж книги ваши — ну их к черту!

Тут генерал, который, казалось, готов был упасть в обморок при мысли о чтении чего-либо, не относящегося ни к торговле, ни к политике и не напечатанного в газете, осведомился, „не пожелает ли кто-нибудь из джентльменов выпить?“ Большинство джентльменов сочли эту мысль весьма здравой и своевременной и не спеша отправились один за другим в бар по соседству. Оттуда они, вероятно, пойдут в свои лавки и конторы, а оттуда опять в бар, чтобы еще раз — поговорить о долларах и просветить свой ум чтением и обсуждением забористых статей; а потом каждый отправится к себе домой и завалится на боковую.

„По-видимому, это единственное развлечение, которому они предаются сообща“, — заключил Мартин, следуя течению собственных мыслей. И тут он опять принялся размышлять о долларах, демагогах и барах, гадая про себя: так ли заняты люди этого сорта, как говорят, или они просто не любят общественных и семейных развлечений?

Решить этот вопрос было нелегко; но уже одно то, что всё виденное и слышанное им до сих пор неизменно наводило его на эту мысль, было мало утешительно. Мартин сел за опустевший стол и, все больше и больше приходя в уныние при мысли о трудностях и превратностях своей судьбы, тяжело вздохнул.

За обеденным столом вместе, с ними сидел темноглазый загорелый человек средних лет, который обратил на себя внимание Мартина необыкновенно привлекательным и честным выражением лица; однако Мартину не удалось ничего узнать о нем от своих соседей, по-видимому считавших ниже своего достоинства замечать его. Он не принимал никакого участия в разговорах у печки и не ушел вместе с другими; теперь же, услышав, как Мартин вздохнул в третий и в четвертый раз, прервал его мысли каким-то случайным замечанием, словно желал, не напрашиваясь на

внимание, рассеять его приятным разговором. Мотивы его поведения были настолько ясны и выражены настолько деликатно, что Мартин действительно был ему благодарен и постарался это высказать в своем ответе.

— Я не стану спрашивать, — сказал этот джентльмен, приветливо улыбаясь Мартину и подсаживаясь к нему поближе, — как вам понравилось мое отечество, ибо могу предвидеть, что вы мне на это скажете. Но так как я американец и поэтому должен начать с вопроса, то спрошу вас, как вам понравился полковник?

— Вы так откровенны, — отвечал Мартин, — что я без всякого колебания отвечу вам: он мне совсем не понравился. Хотя надо сказать, что я ему обязан за любезность: он привел меня сюда и устроил — на довольно выгодных условиях, кстати говоря, — прибавил он, вспомнив, что полковник шепнул ему нечто в этом смысле перед уходом.

— Не так уже обязаны, — сухо сказал незнакомец. — Полковник, как мне говорили, частенько заглядывает на почтовые пароходы, собирая последние новости для своей газеты, и иногда приводит сюда новых постояльцев — кажется, ради небольшого процента, который взимает за эту любезность и который хозяйка пансиона вычитает из его недельного счета. Вы не обиделись, надеюсь? — прибавил он, заметив, что Мартин покраснел.

— Дорогой сэр, — возразил Мартин, пожимая ему руку, — возможно ли это? Сказать вам по правде, я...

— Да? — произнес джентльмен, садясь с ним рядом.

— Если уж пошло на откровенность, — сказал Мартин после минутного колебания, — я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили?

— Да нет, били раза два, — спокойно заметил джентльмен. — Это один из тех людей, о которых наш Франклин^[51] писал еще за десять лет до конца прошлого столетия, предвидя, что они навлекут на нас опасность и позор. Быть может, вам неизвестно, что Франклин в очень суровых выражениях высказал в печати мнение, что люди, оклеветанные такими личностями, как этот полковник, не находя достаточной поддержки ни у правосудия, ни со стороны справедливого и разумного общественного мнения, вправе исправлять такое зло крепкой дубиной.

— Я этого не знал, — сказал Мартин, — но очень рад узнать, и думаю, что это вполне достойно памяти Франклина, особенно потому, — тут он опять замялся.

— Продолжайте, — сказал его собеседник с улыбкой, словно

догадываясь, чего не договаривает Мартин.

— Особенно потому, — продолжал Мартин, — что, как я теперь понимаю, даже и в его время требовалось большое мужество, чтобы писать независимо о каком-нибудь вопросе, не примыкая ни к одной из клик в этой свободной стране.

— Без сомнения, тогда нужно было мужество, — отвечал его новый знакомый, — А теперь, вы думаете, оно не нужно?

— Думаю, что нужно, и немалое, — сказал Мартин.

— Вы правы. Настолько правы, что, я полагаю, ни один сатирик, не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй Ювенал или Свифт^[52], его затравили бы. Если вы хоть сколько-нибудь знаете нашу литературу и можете назвать мне фамилию какого-нибудь писателя, подлинного американца, который вскрыл бы наши недостатки как нации, а не как той или другой партии, и при этом не навлек на себя самой грязной и грубой клеветы, самой закоренелой ненависти и фанатических гонений, то эта фамилия будет мне незнакома. В некоторых известных мне случаях, когда американский писатель отваживался дать безобидную и добродушную картину наших пороков и недостатков, приходилось объявлять, что во втором издании этот абзац выброшен, или заменен, или разъяснен, или переключен в славословие.

— Но как же это происходит? — в унынии спросил Мартин.

— Подумайте о том, что вы видели и слышали сегодня, начиная с полковника, — сказал его собеседник, — и вы поймете сами. Откуда произошли они — другой вопрос. Это далеко не образцы разума и добродетели в нашей стране, боже избави; но они на поверхности, их слишком много, и они слишком часто играют роль разума и добродетели. Не хотите ли пройтись?

В его речах слышалась сердечная искренность и неотразимая уверенность в том, что ею не злоупотребят; он сам был честен и простодушно верил в честность незнакомого ему человека, чего Мартин до сих пор ни в ком еще не встречал. Он с готовностью взял американца под руку и вместе с ним вышел на улицу.

Быть может, именно к таким людям, как этот его новый знакомый, обращался путешественник с прославленным именем, который, вступив на эти берега около сорока лет тому назад, неожиданно прозрел, как и многие другие после него, и рядом с крикливыми претензиями разглядел пятна и пороки, которых не замечал издали, в своих радужных мечтах:

О, если бы не вы, Колумбии не жить,^[53]

И плод бы там не вызрел ни единый:
С зеленой кожурой, с гнилою сердцевинкой,
До времени погибли бы плоды.

Глава XVII

Мартин расширяет круг своих знакомств и увеличивает запас познаний; ему представляется прекрасный случай сравнить свой опыт с опытом молодчины Нэда со Скорого Солсберийского, известным ему со слов его друга, мистера Вильяма Симмонса.

Для Мартина характерно, что весь этот день он или совершенно забывал о Марке Тэпли, как будто того и на свете не было, или, если фигура этого джентльмена возникала на минуту перед его умственным взором, отмахивался от нее, как от чего-то такого, что вовсе не к спеху, чем можно будет заняться со временем и что может подождать, пока у него выберется досуг. Но теперь, когда он снова очутился на улице, ему пришло в голову как нечто вполне возможное, что мистеру Тэпли, пожалуй, в конце концов надоест ждать на пороге редакции „Нью-Йоркского скандалиста“; поэтому он сказал своему новому знакомому, что если ему безразлично, в каком направлении идти, он был бы очень рад развязаться с этим делом.

— Кстати, говоря о делах, — добавил Мартин, — позвольте мне тоже задать вопрос, чтобы не отстать от американцев: у вас в городе постоянные дела или вы приезжий, так же как и я?

— Приезжий, — отвечал его знакомый. — Я родился в штате Массачусетс и постоянно живу там. Моя родина — тихий провинциальный городок. Я не часто бываю в деловых центрах, и близкое знакомство не расположило меня в их пользу, уверяю вас.

— Вы бывали за границей? — спросил Мартин.

— О да.

— И, как большинство путешественников, еще больше полюбили родные места и родную страну? — сказал Мартин, глядя на него с любопытством.

— Родные места — да, — ответил его знакомый, — родную страну, как отечество, — тоже да.

— Вы подразумеваете какую-то оговорку, — сказал Мартин.

— Ну что ж, — ответил его новый знакомый, — если вы спрашиваете, вернулся ли я с большим пристрастием к недостаткам моей родины; с большей любовью к тем людям, которые (за столько-то долларов в день) хотят прослыть ее друзьями; с большей терпимостью к распространению среди нас тех принципов в общественных и частных делах, защита

которых, вне гнусной обстановки уголовного процесса, опозорила бы даже ваших английских крючкотворов из Олд-Бейли, — в таком случае я отвечу прямо: нет!

— Нет?.. — отозвался Мартин совершенно тем же тоном, прозвучавшим, как эхо.

— Если вы спрашиваете, — продолжал его спутник, — доволен ли я порядком, который резко делит общество на два лагеря, примем один, составляющий огромное большинство, кичится мнимой независимостью, весь жалкий смысл которой заключается в позорном пренебрежении к общепризнанным условностям, смягчающим нравы и общественные обычаи, так что чем грубее человек, тем больше эта независимость ему по вкусу, в то время как другой, недовольный низким уровнем, установившимся во всем, ищет утешения в изящной и утонченной частной жизни, предоставив судьбы общественного блага превратностям и шуму общей свалки, — я опять-таки отвечу: нет!

И опять Мартин повторил: „Нет?..“ все тем же странным тоном, встревоженный и расстроенный, говоря по правде, не столько общественным неустройством, сколько из-за того, что померкли радужные перспективы в области строительства жилых домов.

— Словом, — продолжал его собеседник, — я ни из чего не усматриваю, а следовательно и не верю и не допускаю мысли, что мы образец мудрости, пример всему миру, вершина человеческого разума и многое другое в том же духе, о чем вам будут твердить двадцать раз на дню, — когда все дело в том, что мы начали политическую жизнь, имея за собой два неопценимых преимущества.

— Какие же это? — спросил Мартин.

— Во-первых, наша история началась так поздно, что миновала века кровопролитий и жестокости, через которые прошли все другие народы, и, таким образом, получила весь свет их опыта без сопутствовавшего ему мрака. Во-вторых, у нас обширная территория и пока еще не так много людей. Принимая все это в соображение, я думаю, что мы сделали очень мало.

— А образование? — нерешительно спросил Мартин.

— Кое-что сделано, — сказал его собеседник, пожав плечами, — но все же хвастаться нечем, потому что и в Старом Свете и даже в деспотических государствах сделали не меньше, если не больше, — и не поднимали такого шума. Конечно, мы затмили Англию, но Англия — это уже крайний случай. Вы же сами похвалили меня за откровенность, — прибавил он, смеясь.

— Я нисколько не удивляюсь, что вы говорите с такой прямоотой о моей стране, — ответил Мартин. — Но ваша откровенность по отношению к вашей родине изумляет меня.

— Вы увидите, что это здесь не такое редкое качество, смею вас уверить, только не среди полковников Дайверов, Джефферсонов Бриков и майоров Паукинсов, хотя и лучшие из нас похожи на слугу из комедии Голдсмита^[54], который никому, кроме себя, не позволял ругать своего барина. Давайте поговорим о чем-нибудь другом, — прибавил он. — Вы приехали сюда, вероятно, затем, чтобы поправить свои средства, и мне бы не хотелось вас разочаровывать. Кроме того, я на несколько лет старше и, быть может, кое в чем мог бы подать вам совет.

Ни малейшего любопытства, ни назойливости не было в этом предложении — чистосердечном, непритязательном и добродушном. Невозможно было не почувствовать доверия, видя такую доброту и располагающие манеры, и Мартин откровенно рассказал, что привело его в эти края, признался даже в своей бедности, как ни трудно это было. Он не сказал, до какой степени беден (уклонившись от полного признания), а повернул дело так, что можно было предположить, будто денег у него хватит на полгода, когда их не было и на полтора месяца; все же он сказал, что беден и что будет рад любому совету, какой его новый друг захочет ему дать.

Нетрудно было заметить, — а особенно легко это было Мартину, восприимчивость которого обострилась в силу всего пережитого им, — что лицо незнакомца сильно вытянулось, едва он услышал о будущем строительстве жилых домов. И хотя он старался ободрить Мартина насколько возможно, он все же не удержался и невольно покачал головой, что в переводе на простой язык значило: „Ничего не выйдет!“ Однако, не теряя бодрого тона, он сказал Мартину, что, хотя в этом городе не найдется ничего подходящего, он немедленно возьмется за дело и наведет справки, где может скорее всего понадобится архитектор; а затем назвал Мартину свою фамилию — Бивен, и свою профессию — он был медик, но почти не занимался практикой; он также рассказал ему о себе и о своей семье, что заняло все время, пока они шли в редакцию „Нью-йоркского скандалиста“.

Мистер Тэпли, очевидно, уселся отдыхать на площадке второго этажа, ибо, еще не поравнявшись с домом, они услышали звуки британского гимна, который насвистывал во всю мочь расположившийся там джентльмен. Поднявшись туда, откуда доносилась эта музыка, они увидели мистера Тэпли, который, сидя на бастionaх из багажа, исполнял национальный гимн, как видно ради увеселения седовласого негра,

восседавшего на одном из бастионов (то есть на чемодане) и не сводившего глаз с Марка; а тот, подперев голову рукой, отвечал ему таким же задумчивым взглядом и свистел без умолку. Он, должно быть, только что пообедал, потому что нож, фляжка и какие-то объедки в носовом платке валялись рядом. Некоторую часть своего досуга он употребил на украшение редакционной двери, изобразив на ней свои инициалы буквами в полфута вышиной и месяц и число несколько помельче, причем все это было обведено затейливой каемкой и сразу бросалось в глаза.

— Я уж начал бояться, как бы вы не пропали, сэр! — воскликнул Марк, вскочив на ноги и бросив насвистывать на том самом месте, где англичане обычно заявляют (впрочем, это дело темное, когда мотив насвистывают), что они никогда, никогда, никогда...

— Надеюсь, ничего не случилось, сэр?

— Ничего, Марк. Где ваша приятельница?

— Эта сумасшедшая, сэр? — спросил Марк. — О! У нее все слава богу, сэр.

— Нашла она своего мужа?

— Да, сэр. По крайней мере нашла то, что от него осталось, — прибавил Марк для большей точности.

— Он не умер, надеюсь?

— Не совсем умер, сэр, — ответил Марк, — но перенес больше лихорадок и горячек, чем полагается живому человеку. Когда жена увидела, что его нет на пристани, я думал, она и сама умрет, честное слово!

— Так разве его не было?

— Его не было. Была какая-то еле живая тень, которая насилу приползла, так же мало похожая на него, как ваша тень, вытянутая во всю длину, похожа на вас. Но это было все, что от него осталось, сомневаться не приходится. Она обрадовалась, бедная, как будто заполучила его целого и невредимого.

— Он купил землю? — спросил мистер Бивен.

— Да, купил, — сказал Марк, покачивая головой, — и даже заплатил за нее. Агенты говорили, что там имеются всякие природные богатства; и одно действительно оказалось в неограниченном количестве: воды хоть отбавляй!

— Без воды он не мог бы обойтись, я думаю, — раздраженно заметил Мартин.

— Конечно не мог, сэр. В воде там отказа нет — пользуйся вовсю, и платы за нее не берут. Кроме трех-четырех болотистых рек поблизости, на самой ферме всегда от четырех до шести футов воды в сухую погоду. Какая

глубина бывает во время дождя, он не мог сказать, — у него не было под руками шеста такой длины, чтобы смерить.

— Это правда? — спросил Мартин своего спутника.

— Очень возможно, — ответил он. — Какой-нибудь участок на Миссисипи или Миссури, я полагаю.

— Тем не менее, — продолжал Марк, — он приехал бог знает откуда сюда, в Нью-Йорк, чтобы встретить жену и детей; и все они сегодня уехали на пароходе обратно, такие счастливые, оттого что собрались все вместе, как будто отправлялись прямо в рай. Да, я думаю, так оно и есть, судя по виду этого бедняги.

— А нельзя ли спросить, — сказал Мартин, переводя взгляд с Марка Тэпли на негра, но без всякого неудовольствия, — кто этот джентльмен? Тоже ваш приятель?

— Как же, сэр, — отвечал Марк, отведя его в сторону и говоря ему на ухо по секрету, — ведь он черный, сэр.

— Вы, должно быть, принимаете меня за слепого, — с некоторым раздражением заметил Мартин, — к чему это говорить, когда черней его лица нигде не встретишь?

— Нет, нет, — отвечал Марк, — я хочу сказать, что он из тех, кого изображают на картинках, — ну, вы знаете, сэр, — наш младший брат, — и мистер Тэпли очень похоже представил фигуру, так часто изображаемую в душеспасительных книжечках и на дешевых литографиях.

— Раб! — воскликнул Мартин шепотом.

— Да! — отозвался Марк также шепотом. — Вот именно — раб. Как же, когда он был еще молодой, — не глядите на него, пока я рассказываю, — ему прострелили ногу, рассекли руку, надрезали ему спину, как живой рыбе, прежде чем жарить, надели железный ошейник, который натирал ему шею, и железные кольца на руки и на ноги. Шрамы у него остались и по сей час. Когда я только что здесь обедал, он снял куртку, чем и отбил у меня всякий аппетит.

— И это правда? — спросил Мартин у своего друга, стоявшего рядом.

— Не имею оснований в этом сомневаться, — ответил тот, качая головой. — Такие вещи у нас не редкость.

— Господь с вами, — сказал Марк, — я же знаю, что это правда, ведь я слышал всю его историю. Первый хозяин умер, и второй хозяин тоже умер, потому что раб раскроил ему голову топором, а после того пошел и утопился; потом у моего приятеля был хозяин получше. Много лет подряд он копил деньги и выкупился на волю, которая в конце концов досталась ему дешево, потому что он к тому времени окончательно состарился и

лишился сил. После этого он приехал сюда. А теперь опять копит деньги, чтобы порадовать себя перед смертью еще одной покупочкой: пустяки, не о чем говорить — всего-навсего его родная дочь, не больше того! — воскликнул мистер Тэпли, приходя в раж. — Да здравствует свобода! Ура! Да здравствует Колумбия!

— Тише! — крикнул Мартин, зажимая ему рот рукой. — Не валяйте дурака. Что он тут делает?

— Дождается, чтобы отвезти наш багаж на тачке, — сказал Марк. — Он мог бы прийти и после, но я нанял его по сходной цене (за свой собственный счет), чтобы он сидел со мной и развлекал меня, и теперь я весел; а будь я богат, подрядил бы его заходить ко мне каждый день; глядел бы на него и только б и знал, что веселился.

Хотя это может навести на серьезные сомнения в правдивости Марка, однако следует признать, что в данную минуту выражение его лица и весь его тон противоречили тому, что он так азартно утверждал о своем настроении.

— Господь с вами, сэр, — прибавил он, — в этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее, и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот отчего это все и происходит.

— Очень хорошо, — сказал Мартин, желая переменить тему. — Если вы уже пришли к такому выводу, Марк, может быть вы меня выслушаете? На этой карточке напечатано, куда надо отвезти багаж, — в пансион миссис Паукинс.

— В пансион миссис Паукинс, — повторил Марк. — Ну, Цицерон!

— Его так зовут? — спросил Мартин.

— Вот именно, — ответил Марк. И негр, ухмыляясь в знак согласия из-под кожаного чемодана, более светлого, чем его лицо, заковылял вниз по лестнице, неся свою долю багажа, так как Марк Тэпли уже спускался вниз со своей долей.

Мартин и его друг последовали за ними к выходу и готовы были продолжать прогулку, как вдруг мистер Бивен остановился и спросил нерешительно, можно ли положиться на этого молодого человека.

— На Марка? Разумеется, в чем угодно.

— Вы меня не понимаете. Я думаю, что ему лучше идти с нами. Он честный малый и слишком откровенно высказывает свое мнение.

— Дело в том, — сказал Мартин, улыбаясь, — что он еще не жил в свободной республике и привык высказываться откровенно.

— Я думаю, что ему лучше идти с нами, — отвечал его спутник. —

Иначе он может попасть в беду. Это не рабовладельческий штат, но, к стыду моему, я должен сознаться, что живой дух терпимости не слишком распространен в этих широтах; здесь больше чтут мертвую букву. Мы не отличаемся сдержанностью по отношению друг к другу, когда расходимся в мнениях, а с чужим человеком... Нет, право, я думаю, что ему лучше идти с нами.

Мартин тут же пригласил Марка присоединиться к ним, и Цицерон с тележкой пошел в одну сторону, а они в другую.

Часа два или три они ходили по городу, осматривая его с самых лучших точек зрения и останавливаясь на главных улицах перед общественными зданиями, которые им указывал мистер Бивен. Надвигалась темнота, и Мартин предложил отправиться в пансион миссис Паукинс выпить кофе; но это предложение было отвергнуто его новым знакомым, которому, по-видимому, во что бы то ни стало хотелось привести Мартина, хотя бы на часок, к своим друзьям, жившим поблизости. Чувствуя, что было бы очень нелюбезно отговариваться тем, что он с ними не знаком, когда его великодушный друг выразил полную готовность его представить, Мартин первый раз в жизни — надо отдать ему должное — пожертвовал своим удовольствием, сделав так, как желает другой, и согласился без дальних слов. Очевидно, путешествие уже принесло ему кое-какую пользу.

Мистер Бивен постучался в дверь небольшого уютного особняка, из окон которого на темную уже улицу лился яркий свет. Им тут же отворил человек с таким истинно ирландским лицом, что странно было видеть его не в лохмотьях; казалось, откуда только у него берется смелость улыбаться всем, напялив на себя совершенно крепкий костюм.

Оставив Марка на попечение этого феномена — ибо, на взгляд Мартина, он был именно феноменом, — мистер Бивен повел молодого человека в ту комнату, откуда лился наружу такой веселый свет, где и представил его хозяевам как англичанина, с которым он имел удовольствие недавно познакомиться. Они приняли Мартина чрезвычайно учтиво и вежливо, и не прошло и пяти минут, как он сидел у камина и, чувствуя себя вполне непринужденно, обстоятельно знакомился со всей семьей.

Тут были две молодые девушки, одна лет восемнадцати, другая двадцати, — обе очень тоненькие и очень хорошенькие; их мать, которая, как показалось Мартину, выглядела гораздо более пожилой и более увядшей, чем следовало в ее годы; бабушка — маленькая живая старушка с быстрыми глазами, которая, по-видимому, благополучно пережила критический возраст и опять помолодела. Кроме них, тут был и отец

молодых девушек, и брат молодых девушек: первый занимался коммерцией, второй учился в колледже; и тот и другой отличались приветливостью, так же как и новый друг Мартина, и несколько походили на него лицом. Это было не удивительно, ибо скоро выяснилось, что он им близкий родственник. Мартин невольно проследил родословную семьи, начиная с обеих молодых девушек, так как они больше других занимали его мысли и не только потому что были, как уже сказано, очень недурны, но и потому, что носили удивительно маленькие башмачки и невероятно тоненькие шелковые чулочки и, качаясь на качалках, выставляли их напоказ самым соблазнительным образом.

Конечно, было чрезвычайно приятно сидеть в уютной, хорошо обставленной комнате, согреваемой веселым огнем и полной самых изящных украшений, включая сюда и четыре маленьких башмачка и четыре шелковых чулочка вместе — почему же и нет? — с облеченными в них ножками. И конечно. Мартин был склонен воспринимать все эти обстоятельства именно так, особенно после недавних переживаний на пароходе и в пансионе миссис Паукинс. Он сделался очень любезен и, к тому времени как подали чай и кофе (за которыми последовали варенья и отлично приготовленные пирожные), пришел в самое веселое настроение и успел завоевать симпатии всей семьи.

Другое приятное обстоятельство выяснилось еще до того, как была выпита первая чашка чаю. Все семейство побывало в Англии. Вот это было приятно! Но Мартин не слишком обрадовался, узнав, что они близко знакомы с великими герцогами, лордами, виконтами, маркизами, герцогинями и баронетами и чрезвычайно интересуются всем, что их касается, вплоть до самых мельчайших подробностей. Тем не менее, когда они спрашивали о каком-нибудь носителе графской короны, „хорошо ли он себя чувствует?“ — Мартин отвечал: „Да, о да, — как нельзя лучше“; а если спрашивали: „Сильно ли переменилась герцогиня, матушка его светлости?“, он говорил: „О, ничуть, вы бы узнали ее с первого взгляда“, и таким образом беседа ладилась. Когда молодые девушки расспрашивали Мартина, все так же ли много рыбок в аквариуме, украшающем оранжерею такого-то вельможи, он задумывался и серьезно докладывал, что их стало по крайней мере вдвое больше; а про экзотические растения говорил: „Невозможно рассказать; это надо видеть собственными глазами, иначе не поверишь“. Такое блестящее положение дел напоминало всему семейству великолепный праздник (где присутствовало все сословие пэров и двор в полном составе), на который они были специально приглашены и который давали в их честь; и тут довольно много времени заняли воспоминания о

том, что сказал мистер Норрис-отец маркизу, и что сказала миссис Норрис-мать маркизе, и как маркиз с маркизой оба говорили, что им, право, очень хотелось бы, чтобы и мистер Норрис-отец, и миссис Норрис-мать, и обе мисс Норрис-дочки, и мистер Норрис-сын переселились на постоянное жительство в Англию и позволили бы им наслаждаться вечной дружбой всего семейства Норрис.

Мартину казалось довольно странным и до некоторой степени непоследовательным, что во все время этих рассказов и в разгаре увлечения ими и мистер Норрис-отец и мистер Норрис-сын (который вел переписку с четырьмя английскими пэрами) усиленно распространялись о том, каким неоценимым преимуществом является отсутствие всяких условных различий в этой просвещенной стране, где нет иного благородства, кроме природного, и где общество зиждется на едином фундаменте братской любви и естественного равенства. Мистер Норрис-отец пустился ораторствовать на эту благодарную тему, нагоняя на всех скуку, но тут мистер Бивен отвлек его мысли в другую сторону, задав какой-то случайный вопрос о жильцах соседнего дома, в ответ на что мистер Норрис заметил, что „не одобряет религиозных убеждений этих людей и потому не имеет чести быть с ними знакомым“. Миссис Норрис-мать не замедлила поддержать супруга, сказав, в сущности, то же самое, но иными словами, а именно, что это, как ей кажется, неплохие по-своему люди, но они не принадлежат к обществу.

Еще одна черточка невольно запомнилась Мартину. Мистер Бивен рассказал им про Марка Тэпли и негра, и тут выяснилось, что все семейство Норрисов аболиционисты. Слышать это было весьма утешительно, и Мартин настолько приободрился, находясь в таком обществе, что выразил сочувствие угнетенным и несчастным неграм. Одну из девиц — более изящную и хорошенькую — очень рассмешила его серьезность, и когда он попросил ее сказать, в чем дело, она так смеялась, что долго не могла выговорить ни слова. Успокоившись, она сказала, что негры такой забавный народ, до такой степени смешные по манерам и внешности, что для всякого, кто хорошо их знает, совершенно невозможно относиться к ним серьезно. Мистер Норрис-отец, и миссис Норрис-мать, и мисс Норрис-сестра, и мистер Норрис-брат, и даже миссис Норрис-бабушка были того же мнения и поддержали ее весьма решительно, — хотя страдания и рабство сами по себе настолько страшны, что заставляют относиться серьезно к любому человеческому существу, будь оно по внешности забавно, как самая забавная обезьяна, а по нравственным качествам — как самый незадачливый республиканский Немврод^[55],

охотящийся за аристократами.

— Одним словом, — сказал мистер Норрис-отец, решая вопрос самым утешительным образом, — между черной и белой расами существует естественная антипатия.

— Доходящая до самых жестоких истязаний, — тихим голосом сказал друг Мартина, — и до торговли еще не родившимися поколениями.

Мистер Норрис-сын ничего не сказал, он только поморщился и вытер пальцы, как делает Гамлет, бросая череп Йорика^[56], — словно он дотронулся до негра и к рукам у него пристало черное.

Мартин переменил разговор, живо чувствуя, что этой темы лучше было бы не касаться при любых обстоятельствах, даже самых благоприятных, и опять обратился к девицам. Заметив, что они пышно разодеты в шелка нежнейших оттенков и что все статьи их туалета такие же дорогие, как маленькие башмачки и тоненькие шелковые чулочки, Мартин подумал, что они должны знать толк в французских модах, как и оказалось на самом деле; ибо хотя их сведения не отличались новизной, зато были весьма разносторонни; в особенности у старшей, которая занималась и метафизикой, и гидравликой, и правами человека и умела сочетать все эти премудрости на новый лад и пользоваться ими в разговоре на любую тему — от косметики до космоса, причем с таким успехом, что иностранцы, поговорив с ней пять минут, доходили чуть не до помешательства.

Чувствуя, что его рассудок колеблется, Мартин ради собственного спасения попросил вторую сестру спеть что-нибудь. Она охотно согласилась; начался бравурный концерт, исполненный исключительно силами обеих мисс Норрис. Они пели на всех языках, кроме своего родного. По-немецки, по-французски, по-итальянски, по-испански, по-португальски и даже по-швейцарски — лишь бы не было ничего отечественного, ничего низменного. Ибо языки похожи на многих путешественников — они заурядны и вульгарны у себя на родине, зато приобретают необыкновенное благородство за границей.

Возможно, что со временем обе мисс Норрис добрались бы и до древнееврейского языка, если бы их не прервал слуга ирландец, который, распахнув дверь настежь, громко доложил:

— Генерал Флэддок!

— Боже мой! — воскликнули сестры, прерывая пение. — Генерал вернулся!

При этом восклицании генерал, облаченный по-бальному, в парадную форму, ворвался в комнату так стремительно, что задел сапогом за ковер, споткнулся о свою шпагу и растянулся во весь рост, показав удивленному

обществу курьезную маленькую плешь на макушке. И это было бы еще ничего, но, будучи несколько дороден и весьма туго затянут в мундир, он никак не мог подняться и лежал, корчась и выделявая сапогами такие штуки, каким нет примеров в военной истории.

Разумеется, все немедленно бросились на помощь и быстро подняли генерала. Но его мундир был так удивительно сшит, что генерал поднялся, не сгибаясь в пояснице, словно деревянный клоун, и не владел ни единым мускулом, пока его не поставили на ноги; после чего он ожил, словно чудом, и, двигаясь бочком, чтобы занимать поменьше места и не задеть за что-нибудь золотыми шнурами эполетов, с улыбкой устремился приветствовать хозяйку дома.

Вряд ли возможно было выразить более чистую радость и восторг, чем выразило все семейство при неожиданном появлении генерала Флэддока! Его приняли так тепло, как если бы Нью-Йорк был осажден неприятелем и другого генерала нельзя было достать ни за какие деньги. Он три раза подряд обошел всех Норрисов, пожимая им руки, затем осмотрел их с некоторого расстояния, как подобает доблестному командиру, драпируя правое плечо широким плащом и выставляя вперед мужественную грудь.

— Итак, — воскликнул генерал, — я снова вижу избранные умы моей родины!

— Да, — сказал мистер Норрис-отец. — Мы все здесь, генерал. — Тут Норрисы столпились вокруг генерала, расспрашивая его, где он побывал после своего последнего письма, что поделывал в чужих краях, и самое главное — с кем познакомился из великих герцогов, лордов, виконтов, маркизов, герцогинь и баронетов, которыми так восхищаются жители этих непросвещенных стран.

— Лучше не спрашивайте, — сказал генерал, поднимая руку. — Я вращался среди них все время, и в чемодане у меня лежат газеты, где мое имя, — тут он понизил голос и произнес очень внушительно, — напечатано в светской хронике. Но сколько условностей в этой удивительной Европе!

— Ах! — воскликнул Норрис-отец, грустно качая головой и глядя на Мартина, словно желая сказать: „Не могу отрицать этого, сэр. Желал бы, но не могу“.

— А как слабо там развито нравственное чувство! — воскликнул генерал. — Чувство собственного достоинства у них совершенно отсутствует!

— Ах! — вздохнули все Норрисы, совершенно подавленные горем.

— Я бы не мог себе этого представить, — продолжал генерал, — если бы не видел своими глазами. Вы, Норрис, наделены сильным

воображением, но и вы не могли бы себе этого представить, если б не видели сами.

— Никогда! — сказал мистер Норрис.

— Эта замкнутость, чопорность, эта надменность, эта церемонность! — восклицал генерал, с каждым повторением все сильнее напирая на словечко „эта“, — все какие-то искусственные преграды между людьми; человечество делится на фигурные и простые карты всех мастей — на бубны, пики, трефы, на все что угодно, кроме червей! То есть кроме сердец!

— Ах! — воскликнуло все семейство, — Как это верно, генерал!

— Погодите! — сказал Норрис-отец, беря генерала за плечо. — Ведь вы приехали на пакетботе „Винт“?

— Да, конечно, — ответил генерал.

— Может ли быть! — воскликнули барышни. — Подумать только!

Генерал, казалось, не мог понять, почему его прибытие на пакетботе „Винт“ вызвало такую сенсацию; не стало ему дело яснее и после того, как мистер Норрис, познакомив его с Мартином, сказал:

— Ваш спутник, кажется?

— Мой спутник? — переспросил генерал. — Нет!

Он ни разу не видел Мартина, но Мартин его видел, и теперь, когда они встретились лицом к лицу, узнал в нем джентльмена, который в конце путешествия разгуливал по палубе, засунув руки в карманы и широко раздувая ноздри.

Все смотрели на Мартина. Делать было нечего. Правду нельзя было утаить.

— Я приехал на том же пакетботе, что и генерал, — сказал Мартин, — но не в одном классе. Мне надо было соблюдать строгую экономию, и я ехал третьим классом.

Если бы генерала подвели к заряженной пушке и приказали немедленно выпалить из нее, он не мог бы растеряться больше, чем при этих словах. Чтобы он — Флэддок, Флэддок в парадной форме американского ополчения, генерал Флэддок, Флэддок, любимец иностранной знати — стал знакомиться с субъектом, который ехал на почтовом пароходе третьим классом за четыре фунта десять шиллингов! Да еще встретить это ничтожество в самом святилище нью-йоркского света, принятым в лоно нью-йоркской аристократии! Генерал чуть не схватился за шпагу.

Среди Норрисов воцарилось мертвое молчание. Если слух об этом распространится, они будут навеки опозорены из-за неосмотрительности

своего провинциального родственника. Их семейство было созвездием исключительной яркости в высшей сфере Нью-Йорка. Были там и другие элегантные сферы еще выше, были сферы и ниже, и ни одна звезда в любой из этих сфер не имела ничего общего со звездами других сфер. Но теперь во всех этих сферах узнают, что Норрисы, введенные в заблуждение приличными манерами и внешностью, пали так низко, что „принимали“ у себя никому не известную личность без единого доллара в кармане. О орел, [57] хранитель непорочной республики, неужели они дожили до этого!

— Разрешите мне откланяться, — сказал Мартин после неловкой паузы. — Я чувствую, что вызвал здесь такое же замешательство, в каком нахожусь и сам. Но прежде чем уйти, я должен сказать несколько слов в оправдание вашего родственника, который, вводя меня в общество, не знал, что я недостойн этой чести, могу вас уверить.

Он поклонился Норрисам и вышел, очень спокойный с виду и весь кипя внутри.

— Ну, что же, — сказал Норрис-отец, бледнея и обводя взглядом собравшихся, после того как Мартин закрыл за собой дверь, — молодой человек наблюдал сегодня вечером утонченность светских манер и изящную простоту высшего общества, которых никогда не видал у себя на родине. Будем надеяться, что это пробудит в нем нравственное чувство.

Если „нравственное чувство“, этот исключительно заокеанский товар, — ибо, по утверждению доморощенных деятелей, ораторов и памфлетистов, оно является монополией Америки, — если нравственное чувство включает благожелательность и любовь к человечеству, то его действительно не мешало бы пробудить в Мартине. Он шагал по улице в сопровождении Марка, и все безнравственные чувства бушевали в нем, подстрекая к довольно кровожадным замечаниям, которых, к счастью для его репутации, никто не слышал. Однако скоро он настолько остыл, что стал даже подсмеиваться над этим событием, и вдруг услышал позади себя чьи-то шаги и, обернувшись, увидел своего друга Бивена, который догонял его, совершенно запыхавшись.

Он взял Мартина под руку и, попросив идти медленнее, несколько минут молчал. Наконец он сказал:

— Надеюсь, вы оправдаете меня и в другом смысле?

— В каком? — спросил Мартин.

— Надеюсь, вы не думаете, что я предвидел финал нашего визита? Впрочем, вряд ли нужно вас об этом спрашивать.

— Да, это верно, — сказал Мартин. — Я тем более благодарен вам за вашу любезность, что узнал цену здешним почтенным гражданам.

— По-моему, — возразил его друг, — таким, как они, везде одна цена, только наши не хотят этого признавать и становятся на ходули.

— Честное слово, это верно, — сказал Мартин.

— Я думаю, — продолжал его друг, — что если бы вы видели такую сцену в английской комедии, то не нашли бы ее невероятной и неестественной?

— Да, конечно!

— Без сомнения, здесь это смешнее, чем где бы то ни было, — продолжал его спутник, — но тут уж виноваты наши актеры. О себе лично могу только сказать, что я с самого начала знал, в каком классе вы ехали; я видел список пассажиров первого класса, и вас в нем не было.

— Тем больше я вам обязан, — сказал Мартин.

— Норисс очень хороший человек, в своем роде, — заметил мистер Бивен.

— Вот как? — сухо сказал Мартин.

— О да! В нем много хороших свойств. Если бы вы или кто другой обратились к нему, как к существу высшего порядка, в качестве просителя на бедность — он был бы весь доброта и внимание.

— Мне незачем было уезжать за три тысячи миль, чтобы встретиться с таким типом, — сказал Мартин.

Ни он, ни его друг больше не разговаривали дорогой, каждый был, по-видимому, достаточно занят собственными мыслями.

Чай или ужин, как бы ни называлась здесь вечерняя трапеза, уже кончился, когда они вернулись к майору, но скатерть, разукрашенную несколькими добавочными мазками и пятнами, все еще не убрали со стола. На одном его конце пили чай миссис Джефферсон Брик и две другие дамы, по-видимому не в урочное время, так как все они были в шляпках и шалях и, должно быть, только что вернулись домой. При свете трех коптящих свечей неравной длины и в разного фасона подсвечниках комната казалась такой же неприглядной, как и днем.

Все три дамы громко беседовали, когда вошел Мартин со своим другом, но, увидев джентльменов, сразу замолчали, приняв весьма достойный, чтобы не сказать замороженный, вид. Пока они переговаривались шепотом, даже вода в чайнике стала холоднее градусов на двадцать, до такой степени от них веяло холодом.

— Вы были на молитвенном собрании, миссис Брик? — спросил спутник Мартина с плутовской искоркой в глазах.

— На лекции, сэр.

— Простите, я забыл. Вы, кажется, не ходите на собрания?

Тут дама справа от миссис Брик благочестиво кашлянула, как будто говоря: „Я хожу!“ И в самом деле, она туда ходила чуть ли не каждый день.

— Хорошая была проповедь, сударыня? — спросил мистер Бивен, адресуясь к этой даме.

Дама благочестиво подняла глаза и ответила: „Да“. Ее весьма подкрепила добротная, крепкая, энергичная проповедь, которая как нельзя лучше разделялась со всеми ее приятельницами и знакомыми, бесповоротно решая их судьбу. Кроме того, ее шляпка затмила шляпки всех остальных прихожанок, так что эта дама во всех отношениях обрела душевный покой.

— Какой же курс лекций вы теперь слушаете, сударыня? — сказал друг Мартина, снова обращаясь к миссис Брик.

— Философию духа, по средам.

— А по понедельникам?

— Философию преступления.

— А по пятницам?

— Философию растений.

— Вы забыли „Философию управления“ по четвергам, дорогая моя, — заметила третья дама.

— Нет, — сказала миссис Брик, — это по вторникам.

— Совершенно верно! — воскликнула дама. — По четвергам „Философия материи“, разумеется.

— Вы видите, мистер Чезлвит, наши дамы очень заняты.

— В самом деле, у вас есть основание так говорить. — ответил Мартин. — Сколько нужно энергии, чтобы совместить эти в высшей степени важные занятия вне дома с семейными обязанностями.

Тут Мартин остановился, увидев, что дамы смотрят на него весьма неблагосклонно, хотя никак не мог понять, что он сделал такого, чтобы заслужить презрительное выражение на их лицах. Но после того как дамы удалились наверх, к себе в спальни, что произошло очень скоро, мистер Бивен объяснил ему, что домашняя работа неизмеримо ниже достоинства этих философствующих дам и что (в девяноста девяти случаях из ста) ни одна из них не сумела бы выполнить самую легкую работу по хозяйству или сшить что-нибудь простенькое из платья для своих детей.

— Другой вопрос, не лучше ли им было бы вооружиться обыкновенными вязальными спицами, чем таким острым оружием, — сказал он. — Но я могу поручиться за одно: не так часто бывает, чтобы они этим оружием порезались. Проповеди и лекции — это наши балы и концерты. Они ходят туда, чтобы развлечься, посмотреть на туалеты других

дам и снова вернуться домой.

— Когда вы говорите „домой“, вы имеете в виду такой дом, как вот этот?

— Да. Но я вижу, что вы смертельно устали, и пожелаю вам спокойной ночи. Мы поговорим о ваших планах завтра утром. Вы уже и сейчас, должно быть, чувствуете, что оставаться здесь — значит попусту терять время. Надо ехать дальше.

— Где будет хуже? — спросил Мартин, вспомнив старую поговорку.

— Надеюсь, что нет. Но на сегодня довольно. Спокойной ночи!

Они дружески пожали друг другу руки и разошлись. Как только Мартин остался один, возбуждение от новизны и смены впечатлений, которое поддерживало его весь этот утомительный день, исчезло, и он почувствовал себя таким разбитым и усталым, что у него не было сил даже добраться до постели.

Какая перемена произошла в нем за эти двенадцать или пятнадцать часов! Куда делись его надежды и жизнерадостные планы! Сколь ни чужда была ему земля, на которой он стоял, и воздух, которым он дышал, — припоминая все, что ему пришлось пережить за один этот день, он не мог не почувствовать, что его затея обречена на гибель. Как бы опрометчива и необдуманна ни казалась она подчас на борту парохода, чего никогда не бывало прежде, на берегу, — теперь она представилась ему в таком черном свете, что Мартин испугался. Мысли, которые он призывал себе на помощь, принимали такой унылый, мрачный характер, что не приносили ему облегчения. Даже бриллианты на его пальце сверкали, как капли слез, и ни одного луча надежды не было в их ярком блеске.

В мрачной задумчивости продолжал он сидеть у печки, не обращая внимания на постояльцев, которые являлись один за другим из своих лавок, контор и соседних баров и, хлебнув воды из белого кувшина, стоявшего на буфете, и повертевшись около медных плевательниц, к которым их влекла магическая сила, тяжелой поступью отправлялись ко сну; он сидел до тех пор, пока Марк Тэпли не подошел и не потряс его за плечо, думая, что он спит.

— Марк! — воскликнул он, вздрогнув.

— Все в порядке, сэр, — отвечал жизнерадостный слуга, снимая пальцами нагар со свечки, которую нес в руке. — Кровать у вас не так-то широка, сэр; и человек, которого не слишком мучит жажда, перед завтраком мог бы выпить без труда всю воду, которую вам принесли для умыванья, а после того — закусить полотенцем. Зато вы нынче будете спать без качки, сэр.

— Мне кажется, что дом как будто плывет по волнам, — сказал Мартин, вставая и пошатываясь, — и я чувствую себя совершенно несчастным.

— Зато я весел, как жаворонок, сэр, — сказал Марк. — Да ведь, слава богу, и есть отчего! Мне бы надо было здесь родиться, я так думаю. Шагайте осторожнее, — они поднимались по лестнице. — Вы помните джентльмена на пароходе, сэр, того самого, с очень маленьким сундучком?

— С чемоданчиком? Да.

— Ну, сэр, нынче вечером принесли от прачки чистое белье и положили перед дверями спален. Ежели вы обратите внимание, когда пойдем мимо, на то, как мало у него рубашек и много манишек, вам станет понятно, каким образом он укладывался и почему у него так мало багажа.

Но Мартин был слишком утомлен и угнетен, чтобы обращать, внимание на пустяки, и не заинтересовался этим открытием. Мистер Тэпли, несколько не обескураженный его равнодушием, проводил его наверх, в приготовленную для него спальню — очень маленькую, узкую комнату с половиной окна, кроватью, похожей на сундук без крышки, двумя стульями, ковриком — вроде тех, на каких в Англии примеряют башмаки в обувных лавках, маленьким зеркальцем на стене и умывальным столиком с кувшином и тазом, которые можно было принять за молочник и полоскательницу.

— У них тут, должно быть, наводят лоск сухим полотенцем, — сказал Марк. — Верно, страдают водобоязнью, сэр.

— Не снимете ли вы с меня сапоги, — сказал Мартин, падая на стул. — Я совсем разбит, никуда не гожусь, Марк.

— Вы этого не скажете завтра утром, сэр, — возразил мистер Тэпли, — и даже нынче вечером, сэр, после того как попробуете вот это. — Тут он достал большой стакан, наполненный до краев маленькими кубиками чистого, прозрачного льда, сквозь который манили из глубины, восхищая умиленного зрителя, один-два ломтика лимона и золотистая жидкость обольстительного вида.

— Как это называется? — спросил Мартин.

Но мистер Тэпли, не отвечая ничего, погрузил в эту смесь соломинку, приятно зашуршавшую среди кусочков льда, и дал понять выразительным жестом, что восхищенному потребителю полагается тянуть через соломинку.

Мартин взял стакан, удивленно посмотрел на него, потянул через — соломинку и сейчас же возвел глаза кверху в полном восторге. Больше он уже не останавливался до тех пор, пока не осушил стакан до последней

капли.

— Ну вот, сэр! — сказал Марк с торжествующим видом, принимая у него стакан. — Если вы еще когда-нибудь устанете до смерти, а меня не случится под рукой, вам нужно только попросить кого-нибудь, чтобы сходили за коблером^[58].

— Чтобы сходили за коблером? — повторил Мартин.

— Это удивительное изобретение, сэр, — сказал Марк, нежно поглаживая пустой стакан, — называется коблер; шерри-коблер — ежели называть полностью, и коблер — сокращенно. Теперь, сэр, вам уже не захочется лечь в сапогах, и вообще вы теперь совсем другой человек во всех отношениях.

После этого торжественного предисловия он принес машинку для снятия сапог.

— Не думайте, я не собираюсь опять впасть в отчаяние, Марк, — сказал Мартин, — но что, если, боже избави, мы застрянем где-нибудь в необитаемой местности, без товаров и без денег!

— Ну что ж, сэр, — отвечал невозмутимый Тэпли, — судя по тому, что мы уже видели, в необитаемой местности нам было бы не хуже, чем в обитаемой.

— О Том Пинч, Том Пинч! — сказал Мартин задумчиво. — Чего бы я не отдал, лишь бы быть рядом с тобой и слышать твой голос, хотя бы и в старой спальне у Пекснифа!

— О „Дракон“, „Дракон“! — отозвался Марк жизнерадостно. — Если бы между нами не было моря, да не стыдно было бы возвращаться, и я, может быть, сказал бы то же самое. Только я тут, в Нью-Йорке, в Америке; а ты, „Дракон“, в Вилтшире, в Европе; и нам предстоит добывать богатство, „Дракон“, для одной молоденькой леди; а уж если ты собрался осмотреть Монумент, „Дракон“, нельзя отступать с первых шагов, не то никогда не доберешься доверху!

— Умно сказано, Марк! — воскликнул Мартин. — Нам не следует оглядываться.

— Во всех сказках, какие я читал, сэр, люди, которые оглядываются назад, превращаются в камень, — ответил Марк, — и я всегда был того мнения, что они сами себя до этого довели, — значит, так им и надо. Желаю вам спокойной ночи, сэр, и приятных снов!

— Тогда пускай мне приснится родина, — сказал Мартин, ложась в постель.

— И мне тоже, — прошептал Марк, очутившись у себя в комнате, где его никто не мог слышать, — потому что, если в самом ближайшем

будущем не придет такое время, когда быть веселым станет не так-то легко, пропади я пропадом в этой Америке!

Пусть колеблются перед ними и смешиваются тени далеких предметов, принимая фантастические очертания в неверном свете ничем не стесненной мысли, и пусть наше бледное повествование — сон во сне — так же быстро переменит место действия и перенесется на берега Англии.

Глава XVIII

имеет дело с фирмой Энтони Чезлвит и Сын, которая неожиданно теряет одного из компаньонов.

Перемена рождает перемену. Ничто другое не множится с такой быстротой. Когда человек, привыкший к узкому кругу забот и удовольствий, из которого редко выходит, удаляется хотя бы на короткий срок за его пределы, то этот уход со сцены, где он был видным актером, немедленно подает знак к началу беспорядка: как будто в оставленную им пустоту загнан по самую головку клин перемены, расколовший прочное целое на куски; и то, что срасталось и держалось вместе многие годы, рассыпается на части за столько же недель. Мина, которую не спеша подводило время, взорвалась в одно мгновение; и то, что было недавно твердой скалой, превратилось в пыль и прах.

Это бывает почти со всеми — в разное время и в разной степени. В какой мере естественный закон перемены сказался в той ограниченной жизненной сфере, которую покинул Мартин, будет правдиво изложено на следующих страницах нашего повествования.

— До чего же эта весна холодная! — хныкал старик Энтони, придвигаясь поближе к огню; наступил вечер, и камин опять затопили. — В мое время она была гораздо теплее!

— Теплее или холоднее, а прожигать платье до дыр все-таки незачем, — заметил любезный сын, отрывая глаза от вчерашней газеты. — Сукно не так-то дешево, коли уж на то пошло.

— Добрый сын! — воскликнул отец, дыша на свои холодные руки и с усилием потирая их одна о другую. — Благоразумный сын! Он никогда не занимался такими пустяками, как наряды. Нет, нет!

— Не знаю, может и занимался бы, если б это не стоило денег, — сказал сын, опять принимаясь за газету.

— Ага! — засмеялся старик. — Вот именно — если бы! А все-таки, до чего же холодно!

— Оставьте огонь в покое! — воскликнул мистер Джонас, останавливая руку почтенного родителя, ухватившуюся за кочергу. — Неужели вы хотите разориться на старости лет, что не бережете добро?

— Теперь я уже не успею, Джонас, — отвечал старик.

— Чего не успеете? — прорычал его наследник.

— Не успею разориться. А жаль, что не успею.

— Всегда был эгоист, каких мало, старый хрыч, — пробормотал Джонас так тихо, чтобы Энтони не слышал, и, взглянув на отца, сердито нахмурился. — И тут верен себе. Ему жалко, что он не успеет разориться, вот как! Еще бы! А что его собственная плоть и кровь разорится, до этого ему дела нет, пускай! Ах ты старый кремень!

После этой почтительной речи он взял в руки чашку, ибо происходило чаепитие, в котором участвовали отец с сыном и Чаффи, а затем, пристально глядя на отца и время от времени останавливаясь, чтобы поднести к губам чайную ложку, продолжал в том же духе:

— Разориться, еще чего! Хорош старик, нашел о чем говорить в такие годы. Разориться захотелось, вот как? Ну, скажу я вам! Не успеет? Да, надеюсь, что нет. Если бы мог, он бы и двести лет прожил, и все ему мало. Знаю я его!

Старик вздохнул; он по-прежнему сидел, съежившись перед огнем. Мистер Джонас погрозил ему чайной ложкой из британского металла и, воспарив ввысь, подверг этот вопрос рассмотрению с самых высоконравственных позиций.

— Если уж припала ему такая охота, — ворчал он, — то почему бы не передать свой капитал при жизни? Купил бы себе ренту подешевле, чтобы жить не зря, а с пользой для себя и других. Так нет же, это ему не подходит; это значит относиться к родному сыну как полагается, а он любит делать все наоборот, только бы лишить сына его прав. Да я бы на его месте, не знал, куда деваться от стыда, рад был бы спрятаться в это самое, как там оно называется.

Быть может, это неопределенное выражение означало могилу, или склеп, или усыпальницу, или кладбище, или мавзолей, или еще какое-нибудь слово, которое не позволяла мистеру Джонасу выговорить его нежная сыновья любовь. Он не стал развивать эту тему дальше, ибо Чаффи, случайно заметив из своего уголка возле камина, что Энтони, по-видимому, слушает, а Джонас говорит, вдруг воскликнул, словно одержимый:

— Он ваш родной сын, мистер Чезлвит, ваш родной сын!

Чаффи и не подозревал, сколь уместны были эти слова и сколь глубоко могли бы они затронуть душу старика, если бы тот догадывался, какое пожелание готово было сорваться с губ его сына и что было у него на уме. Но голос Чаффи прервал течение мыслей Энтони и вернул его к жизни.

— Да, да, Чаффи, Джонас весь в отца. Только его отец очень состарился, Чаффи, — сказал старик с выражением какого-то странного

беспокойства.

— Здорово состарился, — согласился Джонас.

— Нет, нет, нет, — отозвался Чаффи, — нет, мистер Чезлвит, нисколько не состарились, сэр.

— Ну, чем дальше, тем хуже! — воскликнул Джонас в совершенном негодовании. — Честное слово, папаша, с ним сладу нет! Придержите-ка язык, слышите?

— Он говорит, что вы ошибаетесь! — крикнул Энтони старому клерку.

— Что вы, что вы! — был ответ Чаффи. — Кому же и знать, как не мне! Это он ошибается. Он ошибается. Он еще мальчик, вот что он такое. Да и вы, мистер Чезлвит, тоже вроде мальчика. Ха-ха-ха! Вы еще мальчик по сравнению со многими, кого я знал; и против меня вы мальчик; против многих из нас вы мальчик. Не слушайте его!

Произнеся такую удивительную речь, — ибо для Чаффи это был небывалый взрыв красноречия, — бедная дряхлая тень притянула к себе руку хозяина своей дрожащей рукой и придержала ее, словно защищая.

— Я глохну с каждым днем, Чаффи, — сказал Энтони со всей мягкостью, на какую только был способен, или, говоря точнее, без обычной своей черствости.

— Нет, нет, — отозвался Чаффи, — вы не глохнете! Да и что тут такого? Я вот уже двадцать лет как глухой.

— Я и слепну тоже, — сказал старик, качая головой.

— Это хороший знак! — воскликнул Чаффи. — Ха-ха! Лучше быть не может! Вы слишком хорошо видели раньше.

Он похлопал Энтони по руке, как делают, утешая ребенка, и, продев его руку еще дальше под свою, помахал дрожащими пальцами в ту сторону, где сидел Джонас, точно желая отмахнуться от него. Но Энтони сидел все так же молча и неподвижно, и Чаффи мало-помалу выпустил его руку и забился в обычный свой закоулок и только время от времени протягивал пальцы и тихонько трогал сюртук своего старого хозяина, словно желая увериться, что он все еще тут, рядом.

Мистер Джонас был до такой степени поражен всем этим, что только глазел на обоих стариков, пока Чаффи не впал в обычное свое состояние, а Энтони не задремал, и лишь тогда он дал выход своим чувствам, подойдя вплотную к первому из них и приготовившись, как говорится в просторечии, дать ему по затылку.

„У них эта игра ведется, — угрюмо подумал Джонас, — вот уже недели две или три. Я никогда не видел, чтобы папаша так с ним носился, как в последнее время. Вот оно что! Охотитесь за наследством, мистер

Чаффи? А?“

Но Чаффи так же мало догадывался об этих мыслях Джонаса, как и о близости кулака, любовно нависшего над самым его ухом. Джонас глядел на Чаффи грозным взглядом и, наглядевшись досыта, взял со стола свечу, прошел в застекленную комнатку и достал из кармана связку ключей. Одним из этих ключей он открыл секретный ящик бюро, то и дело оглядываясь, чтобы удостовериться, сидят ли оба старика по-прежнему перед огнем.

— Все по-старому, как следует, — сказал Джонас, придерживая лбом открытую крышку бюро и развертывая какую-то бумагу. — Вот завещание, мистер Чаффи. Тридцать фунтов в год на ваше содержание, старина, а все остальное — единственному сыну — моему Джонасу. Незачем вам так уж лезть из кожи, доказывая свою любовь; ровно ничего вы за это не получите. Что это такое?

Это действительно могло испугать: чье-то лицо из-за стеклянной перегородки с любопытством заглянуло внутрь, и не на Джонаса, а на бумагу в его руке. Чьи-то глаза были внимательно устремлены на завещание и оторвались от него, только когда Джонас вскрикнул. Тут они встретились с глазами мистера Джонаса, и оказалось, что они как нельзя более похожи на глаза мистера Пекснифа. Выпустив из рук крышку бюро, упавшую с грохотом, однако же не позабыв запереть его на ключ, Джонас глядел на привидение, весь бледный и едва дыша. Привидение шагнуло вперед, открыло дверь и вошло.

— В чем дело? — воскликнул Джонас, отступая назад. — Кто это? Откуда вы явились? Что вам нужно?

— Что нужно? — откликнулся голос мистера Пекснифа, и сам мистер Пексниф любезно улыбнулся Джонасу. — Нужно, мистер Джонас?

— Что вы тут вынюхиваете и высматриваете? — сердито сказал Джонас. — Для чего это вы ни с того ни с сего являетесь в город и застааете человека врасплох? Неужто человек не может читать... газету у себя в конторе, без того чтоб его не напугали до полусмерти, ворвавшись без предупреждения? Почему вы не постучались в дверь?

— Я стучался, мистер Джонас, — ответил Пексниф, — но никто меня не услышал. Мне любопытно было знать, — мягко прибавил он, кладя руку на плечо Джонасу, — что именно в газете так заинтересовало вас, но стекло слишком мутное и пыльное.

Джонас поторопился взглянуть на стеклянную перегородку. Да, стекло было довольно мутное. Как будто бы не врет покуда.

— Может быть, это были стихи? — спросил мистер Пексниф,

добродушно-шутливо потрясая указательным перстом. — Или политика? Или биржевые цены? Везде расчет, везде материальный расчет, мистер Джонас, как я подозреваю.

— Вы почти угадали, — отвечал Джонас, придя в себя и снимая нагар со свечи. — Но за каким чертом вас опять принесло в Лондон? Ей-богу, есть от чего остолбенеть, когда человек должен быть миль за семьдесят, а оказывается тут как тут и глядит на вас во все глаза.

— Совершенно верно, — сказал мистер Пексниф. — Несомненно, дорогой мистер Джонас. Покуда ум человеческий устроен так...

— А ну его совсем, ум человеческий, — нетерпеливо прервал его Джонас, — скажите лучше, зачем вы приехали?

— По одному маленькому дельцу, — сказал мистер Пексниф, — которое подвернулось совершенно неожиданно.

— О, только и всего? — воскликнул Джонас. — Ну, вот что, папаша тут, в соседней комнате. Эй, папаша, Пексниф здесь! Со дня на день все больше дуреет, — проворчал Джонас, энергично встряхивая своего почтенного родителя. — Говорят вам, Пексниф здесь, бестолочь вы этакая!

Встряска в соединении с этим ласковым увещанием оказала свое действие и разбудила старика, который приветствовал мистера Пекснифа посмеиваясь — отчасти потому, что действительно был рад его видеть, отчасти же движимый немеркнущим воспоминанием о том, как он обозвал сего джентльмена лицемером. Так как мистер Пексниф еще не пил чая (он и в самом деле прибыл в Лондон всего час назад), то ему тут же были поданы в качестве угощения остатки недавней трапезы с добавлением ломтика грудинки. Мистер Джонас, у которого было деловое свидание на соседней улице, отправился туда, пообещав вернуться, прежде чем его уважаемый родственник кончит закусывать.

— А теперь, многоуважаемый, — сказал мистер Пексниф старику, — пока мы с вами одни, скажите мне, чем я могу быть вам полезен? Я говорю „одни“, потому что наш дорогой друг, мистер Чаффи, представляет собой, так сказать, манекен в метафизическом смысле, — заключил мистер Пексниф со сладчайшей улыбкой и склонив голову набок.

— Он нас не слышит и не видит, — ответил Энтони.

— В таком случае, — сказал мистер Пексниф, — я беру на себя смелость утверждать, при всем сочувствии к его недугам и при всем восхищении теми прекрасными качествами, которые делают равную честь как его уму, так и сердцу, что он именно манекен или болван, выражаясь юмористически. Вы хотели заметить, многоуважаемый...

— Насколько мне известно, никаких замечаний я делать не

собирался, — отвечал старик.

— Зато я собирался, — кротко сказал мистер Пексниф.

— Ах, вы собирались? Что же именно?

— Что никогда в жизни, — сказал мистер Пексниф, предварительно встав и убедившись, что дверь закрыта, а после того переставив свой стул так, чтобы сразу увидеть, как только дверь приоткроется хоть немного, — что никогда в жизни я не был так удивлен, как получивши вчера ваше письмо. Уже то, что вы пожелали оказать мне честь просить моего совета по какому бы то ни было делу, было мне удивительно; но то, что вы пожелали при этом действовать без ведома мистера Джонаса, доказывает степень вашего доверия к человеку, которому вы нанесли словесное оскорбление — только словесное — и которое вы впоследствии постарались загладить, — вот этим я был польщен и даже тронут, это сразило меня.

Мистер Пексниф всегда говорил гладко, но эту коротенькую речь произнес особенно гладко, положив немало труда на ее сочинение еще в дилижансе.

Хотя он ожидал ответа и не солгал, сказав, что приехал по просьбе Энтони, старик глядел на него в совершенном молчании, с ничего не выражающим лицом. По-видимому, он не имел ни малейшего желания продолжать разговор, хотя мистер Пексниф поглядывал на дверь и вытаскивал часы и другими способами намекал на то, что времени у них в обрез и Джонас скоро вернется, если сдержит слово. Но самым странным в этом странном поведении было то, что вдруг, в одно мгновение, так быстро, что невозможно было проследить или подметить какую-нибудь перемену, черты Энтони приняли прежнее выражение, и он воскликнул, яростно ударив кулаком по столу, как будто бы совсем не было никакой паузы:

— Да замолчите же, сэр, и дайте мне говорить!

Мистер Пексниф смиренно склонил голову и заметил про себя: „Я сразу увидел, что рука у него переменялась и почерк нетвердый. Я так и сказал вчера. Гм! Боже ты мой!“

— Джонас равнодушен к вашей дочке, Пексниф, — сказал старик своим обыкновенным тоном.

— Если припомните, сэр, мы говорили об этом у миссис Тоджерс, — возразил учтивый архитектор.

— Вам не для чего кричать так громко, — отвечал старик. — Я вовсе не до такой степени глух.

Мистер Пексниф и в самом деле сильно возвысил голос: не столько потому, что считал Энтони глухим, сколько будучи убежден, что его

умственные способности порядком притупились; но этот быстрый отпор его деликатному приступу весьма смутил мистера Пекснифа, и, не зная, чего теперь держаться, он опять склонил голову, еще более смиренно, чем прежде.

— Я сказал, — повторил старик, — что Джонас равнодушен к вашей дочери.

— Прелестная девушка, сэр, — пробормотал мистер Пексниф, видя, что старик ждет ответа. — Милая девушка, мистер Чезлвит, хотя мне и не следовало было этого говорить.

— Опять притворство? — воскликнул старик, вытягивая вперед свою сморщенную шею и подсакивая в кресле. — Вы лжете! Не можете вы без лицемерия, такой уж вы человек!

— Многоуважаемый... — начал мистер Пексниф.

— Не зовите меня многоуважаемым, — возразил Энтони, — и сами не претендуйте на это звание. Если б ваша дочь была такова, как вы меня уверяете, она не годилась бы для Джонаса. Но такая, какая есть, она ему подойдет, я думаю. Он может ошибиться в выборе — возьмет такую жену, которая начнет вольничать, наделает долгов, пустит по ветру его имущество. Так вот, когда я умру...

Его лицо так страшно изменилось при этих словах, что мистер Пексниф невольно отвел взгляд в сторону.

— Мне тяжелее будет узнавать про такие дела, чем при жизни; терпеть мучения за то, что копил и приобретал, в то время как накопленное выбрасывается за окно, было бы невыносимой пыткой. Нет, — хриплым голосом произнес старик, — сберечь хоть это, хоть что-нибудь удержать и спасти, после того как загубил так много.

— Дорогой мой мистер Чезлвит, — сказал Пексниф, — это болезненные фантазии, совершенно излишние, сэр, и, конечно, совершенно неосновательные. Дело в том, многоуважаемый, что вы не совсем здоровы!

— Однако не умираю еще! — вскричал старик, ощерившись, как дикий зверь. — Нет! Жизни во мне хватит еще на годы! Да вот, взгляните на него, — указал он на своего дряхлого клерка. — Может ли смерть пройти мимо него и скосить меня?

Мистер Пексниф так боялся старика и до такой степени был поражен тем состоянием, в котором его застал, что совсем растерялся и не мог даже припомнить ни одного обрывка из того большого запаса нравственных поучений, который хранился в его памяти. И потому он пробормотал, что, конечно, гораздо справедливее и приличнее было бы мистеру Чаффи умереть первым, — впрочем, по всему, что он слышал о мистере Чаффи, и

по всему, что знает о нем из личного знакомства, он глубоко убежден, что этот джентльмен и сам поймет, насколько приличнее для него будет умереть, по возможности не мешкая.

— Подите сюда! — сказал старик, кивком подзывая его ближе. — Джонас будет моим наследником, Джонас будет богачом и выгодной партией для вас. Вы знаете, Джонас равнодушен к вашей дочке.

„Это я тоже знаю, — подумал мистер Пексниф, — потому что частенько слышал это от тебя“.

— Он мог бы получить больше денег, чем вы дадите за ней, — продолжал старик, — зато она поможет ему сберечь то, что у них будет. Она не слишком молода и не ветрена, из крепкой, дельной, прижимистой семьи. Только не финтите слишком. Она его держит на ниточке, и если очень туго натянуть (я знаю его характер), то ниточка оборвется. Вяжите его, пока он поддается, Пексниф, вяжите его. Вы слишком хитры. Уж очень издалека вы его завлекаете. Ах вы хитрец! Неужели я с самого начала не видел, как вы закидывали удочку?

„Хотел бы я знать, — думал мистер Пексниф, глядя на него с удрученным видом, — все ли это, что он хочет сказать?“

Старик потер руки и что-то пробормотал про себя; пожаловался, что ему холодно; придвинул кресло поближе к огню и, усевшись спиной к мистеру Пекснифу и опустив голову на грудь, через какую-нибудь минуту перестал обращать внимание на своего гостя или же вовсе позабыл о его присутствии.

Как ни бестолково и малоудовлетворительно было это краткое свидание, оно все же дало мистеру Пекснифу намек, который вполне вознаградил его за путешествие туда и обратно, даже если бы ничего больше не было ему сообщено. Ибо достойный джентльмен еще не имел случая проникнуть в глубину натуры мистера Джонаса, и любой рецепт, как заполучить такого зятя (а тем более рецепт за подписью родного отца), был тут очень кстати. Для того чтобы не упустить случая воспользоваться такой прекрасной возможностью и не дать Энтони заснуть перед огнем, прежде чем он выскажется до конца, мистер Пексниф, расправляясь с угощением, стоявшим на столе, — работа, к которой он приступил теперь вплотную, — пускался на всякого рода хитроумные уловки, чтобы привлечь его внимание; чихал, стучал чашками, точил ножи, ронял хлеб и т. д. Но все это напрасно, ибо Джонас вернулся, а старик так и не сказал ничего больше.

— Как! Папаша опять спит? — воскликнул Джонас, вешая свою шляпу и бросая взгляд на отца. — А! Еще и храпит. Послушайте только!

— Он очень сильно храпит, — сказал мистер Пексниф.

— Сильно храпит! — повторил мистер Джонас. — Да, это по его части. Он всегда способен храпеть за шестерых.

— Знаете ли, мистер Джонас, — сказал Пексниф, — мне кажется, ваш отец — только не тревожьтесь — угасает.

— Ну, что вы? — отвечал Джонас, тряхнув головой, в знак того, что это замечание отнюдь не застает его врасплох. — Ей-богу, вы не знаете, какой он крепкий. И не собирается даже.

— Меня поразило, как сильно он изменился и по внешности и по обхождению.

— Ничего вы не знаете, — возразил Джонас, усаживаясь на место с меланхолическим видом. — Он никогда не чувствовал себя лучше. Ну, как там у вас дома? Как Чарити?

— Цветет, мистер Джонас, цветет.

— А та, другая, — она как?

— Ветреная шалунья! — произнес мистер Пексниф с задумчивой нежностью. — Она здорова, она здорова. Летает, как пчелка, из гостиной в спальню, мистер Джонас, порхает, как бабочка, туда и сюда, окунает свой носик в смородиновое вино, как колибри! Ах, если б она была немножко менее ветрена и обладала бы солидными достоинствами Черри, молодой мой друг!

— Разве она такая уж ветреная? — спросил Джонас.

— Ну, ну! — сказал мистер Пексниф с большим чувством. — Не буду слишком суров к моей родной дочери. Но по сравнению со своей сестрой Чарити она кажется ветреной. Какой странный шум, мистер Джонас!

— Что-нибудь в часах испортилось, должно быть, — сказал Джонас, взглянув на часы. — Значит, не та, другая, ваша любимица — так, что ли?

Любящий отец собирался что-то ответить и уже придал своему лицу самое чувствительное выражение, когда услышанный им звук повторился.

— Честное слово, мистер Джонас, это какие-то необыкновенные часы, — сказал Пексниф.

Они и вправду были бы необыкновенные, если бы производили этот странный шум, но завод кончался в другого рода часах, и звук исходил от них. Крик Чаффи, казавшийся во сто крат громче и страшнее по сравнению с обычной его молчаливостью, огласил весь дом от чердака до подвала; и, оглянувшись, они увидели Энтони Чезлвита, распростертого на полу, а старого клерка на коленях рядом с ним.

Энтони упал с кресла в судорогах и лежал, борясь за каждый глоток воздуха; и все старческие вены и сухожилия на его шее и руках

обозначились с особенной резкостью, словно свидетельствуя о его возрасте и, в тяжбе с природой, беспощадно требуя ему смерти. Страшно было видеть, как жизненное начало, заключенное в его дряхлом теле, рвется вон, словно нечистый дух, просясь на свободу и ломая свою темницу. Тяжело было бы смотреть и на молодого человека в расцвете лет, если бы он бился с такой отчаянной силой; но старое, дряхлое, истощенное тело, наделенное сверхъестественной мощью и каждым движением противоречащее своему видимому бессилию, представляло поистине страшное зрелище.

Они подняли его и со всей поспешностью послали за врачом, чтобы тот пустил больному кровь и дал лекарство; но припадок длился так долго, что только после полуночи его уложили в постель, притихшего, но без сознания и измученного.

— Не уезжайте, — прошептал Джонас, наклоняясь через кровать и приближая землистые губы к уху мистера Пекснифа. — Счастье еще, что вы были тут. Кто-нибудь может сказать, что это моих рук дело.

— Ваших рук дело? — воскликнул мистер Пексниф.

— Кто его знает, а вдруг скажут, — отвечал Джонас, вытирая пот с бледного лица. — Бывает ведь, что говорят. Как он теперь выглядит?

Мистер Пексниф покачал головой.

— Я иногда шутил, знаете ли, — сказал Джонас, — но я... я никогда не желал ему смерти. Как вы думаете, он очень плох?

— Доктор сказал, что плох. Вы же слышали, — ответил мистер Пексниф.

— А! Но это он мог сказать для того, чтобы содрать с нас побольше, в случае если больной поправится, — сказал Джонас. — Не уезжайте, Пексниф. Раз до этого дошло, я теперь и за тысячу фунтов не останусь без свидетелей.

Чаффи не сказал ни слова и не слышал ни слова. Он опустился на стул возле кровати и больше уже не вставал — разве только иногда наклонял голову к подушке и словно прислушивался. Так он и сидел неподвижно, хотя однажды в эту унылую ночь мистер Пексниф очнулся от дремоты со смутным впечатлением, что слышит искаженные слова молитвы, к которым странным образом примешиваются какие-то вычисления.

Джонас тоже просидел с ними всю ночь; однако не там, где отец мог бы увидеть его, придя в сознание, но как бы прячась за его спиной и только по глазам мистера Пекснифа угадывая его состояние. Он, грубый деспот, который так долго командовал всем домом, — боялся пошевелинуться, как трусливый пес, и дрожал так, что колебалась самая тень его на стене!

Был уже ясный солнечный шумный день, когда они сошли к завтраку,

оставив старого клерка возле больного. Люди сновали взад и вперед по улицам, открывались окна и двери, воры и нищие выходили на промысел, рабочие принимались за дело, торговцы отпирали лавки, полисмены и констебли стояли на страже; все люди, кто бы они ни были, по-своему боролись за жизнь, но не более упорно, чем один этот больной старик, воевавший за каждую песчинку в быстро пустеющих часах с таким ожесточением, словно это была целая империя.

— Если что-нибудь случится, Пексниф, — сказал Джонас, — обещайте мне остаться здесь до конца. Вы увидите, я сделаю все как полагается.

— Я знаю, что вы сделаете все как полагается, мистер Джонас.

— Да, да, я не желаю, чтобы меня подозревали. Ни у кого не будет возможности сказать против меня хотя бы слово, — возразил тот. — Я знаю, люди будут болтать... Как будто он не стар и я каким-то чудом мог сохранить ему жизнь.

Мистер Пексниф пообещал, что останется, если, на взгляд его уважаемого друга, обстоятельства потребуют этого. Они молча доканчивали завтрак, когда перед ними предстало видение, такое страшное, что Джонас громко вскрикнул и оба они отшатнулись в ужасе.

Старый Энтони, одетый в обычное платье, стоял в комнате возле стола. Он опирался на плечо своего единственного друга, и на его мертвенном лице, на окоченевших руках, в его тусклых глазах, начертанное перстом вечности даже в капельках пота на его лбу, стояло одно слово — смерть!

Он заговорил с ними — голосом, похожим на обычный, но неживым и резким, как черты мертвеца. Одному богу известно, что он хотел сказать. Он как будто произносил слова, но такие, каких никогда не слышал человек. И это было страшнее всего — видеть, как он стоит, бормоча что-то на нечеловеческом языке.

— Ему лучше, — сказал Чаффи, — ему лучше. Посадите его по-старому в кресло, и он опять будет здоров. Я говорил ему, чтоб он не обращал внимания. Еще вчера говорил.

Они посадили его в кресло и подкатили поближе к окну; потом, распахнув дверь настежь, дали вольному утреннему воздуху овевать его. Но ни весь воздух, какой только есть на свете, ни все ветры, какие веют между небом и землей, не могли бы вдохнуть в него новую жизнь.

Хотя бы его зарыли по самое горло в золотые монеты, его окостеневшим пальцам не удержать более ни одной.

Глава XIX

Читатель заводит знакомство с некоторыми лицами свободных профессий и проливает слезы над сыновней преданностью доброго мистера Джонаса.

Мистер Пексниф разъезжал по городу в наемном кабриолете, ибо Джонас Чезлвит велел ему „не стесняться в расходах“. Люди склонны думать дурно о своем ближнем и подозревать его в самых низменных побуждениях, а потому Джонас решил не подавать к этому ни малейшего повода. Пускай никто не посмеет обвинять его в том, что он пожалел денег на отцовские похороны. Вот почему впредь до окончания траурной церемонии Джонас избрал своим девизом: „Денег не жалеть!“

Мистер Пексниф уже побывал у гробовщика и теперь был на пути к другому должностному лицу по той же части, но на этот раз женского пола — сиделке, няньке и исполнительнице разных безыменных услуг при покойниках, рекомендованной тем же гробовщиком. Ее фамилия, как установил мистер Пексниф по клочку бумаги, который держал в руке, была Гэмп, местожительство — Кингсгейт-стрит, Верхний Холборн. И потому мистер Пексниф трясся в наемном экипаже по булыжникам Холборна, разыскивая миссис Гэмп.

Она снимала квартиру у продавца птиц, через один дом от лавочки, которая славилась пирожками с бараниной, и как раз напротив кошачьей мясной. Репутация этих двух заведений поддерживалась на должной высоте соответствующими вывесками. Домик был маленький, но тем более удобный, потому что миссис Гэмп, которая была сиделкой по своему высокому призванию, или, как смело утверждала ее вывеска, „повивальной бабкой“, жила во втором этаже, окнами на улицу, и ее нетрудно было разбудить во всякое время ночи, бросая в окно камешки или черепки разбитой трубки, или же стуча в него тростью; все это действовало гораздо лучше, чем дверной молоток, который был устроен так, что будил всю улицу и даже поднимал по всему Холборну пожарную тревогу, не производя ни малейшего впечатления в том доме, к которому имел прямое отношение.

На этот раз случилось так, что миссис Гэмп не ложилась спать всю ночь, присутствуя при той церемонии, которую кумушки называют одним словом, всего лишь в двух слогах выражающим проклятие, тяготеющее над

сынами Адама. Случилось так, что миссис Гэмп была нанята не на все время, а приглашена в качестве знаменитости в самую критическую минуту, на помощь другой даме той же специальности; оттого и вышло, что, как только все самое интересное кончилось, миссис Гэмп вернулась домой и снова улеглась в постель. Так что когда мистер Пексниф подъехал к дому в кабриолете, оконные занавески у миссис Гэмп были задернуты, а за ними крепко спала сама миссис Гэмп.

Если бы продавец птиц был дома, как полагалось, беда была бы еще не так велика; но он куда-то ушел, и лавчонка его была заперта. Ставни, конечно, были открыты, и за каждым оконным стеклом по крайней мере одна малюсенькая птичка в малюсенькой клеточке щебетала и прыгала, исполняя коротенький балет отчаяния, и билась головой о потолок; да один несчастный щегол, живущий на свежем воздухе перед красной виллой с его именем на входных дверях, качал воду себе на питье, без слов умоляя какого-нибудь доброго человека бросить ему в корытце на фартинг отравы. Однако дверь дома была заперта. Мистер Пексниф подергал щеколду, потолкал дверь, причем надтреснутый колокольчик издал самый унылый звон; и все же никто не явился. Продавец птиц был также и брадобрей, а также и модный парикмахер; может быть, за ним специально прислали из аристократической части города и он ушел брить какого-нибудь лорда или завивать и причесывать какую-нибудь леди; так или иначе, здесь, в собственной резиденции, его не было, не оставалось даже никаких ощутимых следов его присутствия, которые могли бы помочь воображению посетителя, кроме одной профессионального содержания гравюры, или эмблемы его призвания, излюбленной среди его коллег, которая изображала весьма развязного парикмахера, завивающего даму в весьма изысканном туалете перед большим открытым фортепьяно.

Сообразив все эти обстоятельства, мистер Пексниф в простоте души взялся было за дверной молоток, но при первом же двойном ударе из каждого окна по всей улице высунулась женская голова; и не успел мистер Пексниф постучаться еще раз, как целые полчища матрон (из которых многие и сами должны были в скором времени побеспокоить миссис Гэмп) сбежались к крыльцу, крича в один голос и с необычайным воодушевлением:

— В окно стучите, сударь, стучите в окно! Господь с вами, не теряйте вы даром времени, постучите в окно!

Действуя согласно этому совету и позаимствовав для такого случая кнут у извозчика, мистер Пексниф в ту же минуту произвел погром среди цветочных горшков на подоконнике второго этажа и разбудил миссис Гэмп,

которая откликнулась к величайшему удовольствию всех присутствующих матрон: „Иду, иду!“

— Бледный, как мучная булка, — заметила одна из дам, намекая на мистера Пекснифа.

— Ну, а как же иначе? Должен чувствовать, если он человек, — отозвалась другая.

Третья дама, скрестив руки на груди, заметила, что он пришел за миссис Гэмп совсем не вовремя, ну да уж у нее всегда так получается.

Мистер Пексниф почувствовал себя весьма неловко, когда понял из этих замечаний, что цель его визита была связана, как предполагалось, не с уходом из жизни, а как раз наоборот — со вступлением в нее. Сама миссис Гэмп была, по-видимому, того же мнения, ибо, открыв окно и торопливо облачаясь, крикнула из-за занавески:

— Это не от миссис Перкинс?

— Нет! — сухо отозвался мистер Пексниф. — Совсем не в том дело.

— Как, значит это мистер Уилкс! — воскликнула миссис Гэмп. — Лучше и не говорите, что это вы, мистер Уилкс, ведь у бедняжки миссис Уилкс хоть бы подушечка для булавок была готова. Лучше и не говорите, что это вы!

— Это не мистер Уилкс, — отвечал Пексниф. — Я его даже не знаю. Совсем не в том дело. Умер один джентльмен, и так как нужно было позвать кого-нибудь в дом, то мистер Моулд, гробовщик, и посоветовал обратиться к вам.

Будучи уже в состоянии показаться публике, миссис Гэмп, у которой на каждый случай было особое выражение лица, выглянула в окно с похоронной физиономией и сообщила, что сию минуту спустится вниз. Однако матроны весьма оскорбились тем, что миссия мистера Пекснифа оказалась такой неинтересной, и дама со скрещенными на груди руками отчитала его в самых сильных выражениях, заметив при этом, что ей хотелось бы знать, чего ради он пугает слабого здоровья женщин „своими покойниками“, и выразила мнение, что такой образине, как он, не мешало бы быть умнее. Прочие дамы тоже не ударили в грязь лицом, изъявляя свои чувства, а мальчишки, которых собралось теперь до полусотни, отчаянно улюлюкали и дразнили мистера Пекснифа. Так что, когда в дверях появилась миссис Гэмп, растерявшийся джентльмен был рад-радехонек впихнуть ее без особых церемоний в кабриолет и двинулся в путь, совершенно подавленный такими проявлениями народного гнева.

Миссис Гэмп взяла с собой большой узел, пару деревянных башмаков и невероятных размеров зонтик; этот зонтик был весь цвета увядших

листьев, кроме верхушки, на которую очень искусно была положена круглая ярко-голубая заплата. Миссис Гэмп совсем запыхалась, собираясь наспех, и, вероятно, плохо представляла себе, что такое кабриолет, путая его с почтовой каретой или дилижансом, потому что вначале она все пыталась просунуть свой узел в маленькое окошечко впереди, требуя, чтобы кучер положил вещи „в багажный ящик“. Расставшись, наконец, с этой мыслью, она всем существом предалась заботам о своих деревянных башмаках, беспрестанно тыча их в ноги мистеру Пекснифу. И только когда они уже подъезжали к дому скорби, миссис Гэмп достаточно успокоилась, чтобы заметить:

— Так, значит, старичок-то помер! Ах ты жалость какая! — Она не знала даже, как его зовут. — Ну, что ж, все мы там будем. От этого не уйдешь — что умереть, что родиться; только тут уж никак не высчитаешь, когда оно придется. Ах он бедненький!

Миссис Гэмп была толстая старуха с хриплым голосом и слезящимися глазами, которые она умела закатывать самым невероятным образом, так что виднелись одни только белки. Шея у нее была очень короткая, и потому ей стоило немалых трудов глядеть выше себя, если можно так выразиться, то есть на тех, с кем она разговаривала. Она носила сильно порывевшее черное платье, порядком запачканное нюхательным табаком, а также шаль и чепец под стать этому платью. Миссис Гэмп давным-давно взяла себе за правило облачаться в этот изрядно заношенный туалет для таких okazji, как нынешняя: этим она в одно и то же время выказывала уважение к покойнику, в меру своих возможностей, и намекала его родным на то, что не мешало бы подарить ей новое черное платье: и призыв этот почти никогда не оставался без ответа, так что двойников миссис Гэмп в полном облачении, включая чепец и все остальное, можно было видеть в любое время дня чуть ли не в десятке лавчонок Холборна, торгующих старьем. Лицо миссис Гэмп, в особенности нос, отличалось некоторой краснотой и припухлостью, и, беседуя с ней, трудно было не почувствовать, что от нее пахнет спиртным. Как и многие знаменитости, достигшие высоких степеней в своей профессии, она очень любила свое дело, до того даже, что, вопреки естественному, казалось бы, для женщины пристрастию, с одинаковым удовольствием и усердием обмывала покойников и принимала младенцев.

— Ах ты жалость какая! — повторила миссис Гэмп, по опыту зная, что в таких прискорбных случаях самое лучшее — ахать. — Ах, боже ты мой! Еще когда мой Гэмп приказал долго жить, помню, как увидела я его в больнице, с медной монеткой на каждом глазу, с деревянной ногой под

мышкой, — ну, думаю, сейчас упаду в обморок. А ведь вот не упала же.

Если можно было хоть сколько-нибудь верить слухам, ходившим по Кингсгейт-стрит, миссис Гэмп и в самом деле держалась тогда с похвальной твердостью и проявила такую необычайную силу духа, что даже пожертвовала останки мистера Гэмпа для пользы науки. Справедливости ради следует добавить, что все это произошло лет двадцать тому назад, а супруги Гэмп расстались еще того раньше — по причине полного несходства характеров в пьяном виде.

— С тех пор, я думаю, вы утешились? — заметил мистер Пексниф. — Привычка — вторая натура, миссис Гэмп.

— Хорошо вам говорить вторая натура, сэр, — возразила она. — Спервоначалу вот как трудно приходится, да и потом бывает не легче. Если бы я не подкреплялась иной раз глоточком спиртного (я ведь только пробую, не больше того), мне бы никогда в жизни не выдержать. „Миссис Гаррис, — говорю я, это в последний раз что я была на практике; она совсем еще молоденькая женщина, — миссис Гаррис, говорю я, оставьте бутылку на камине и не угощайте меня, не надо, пускай лучше я сама промочу горло, когда мне захочется, тогда уж я все сделаю, за что взялась, уж постараюсь для вас, приложу все силы“. — „Миссис Гэмп, — говорит она мне, — если только можно найти трезвого поведения женщину за восемнадцать пенсов в день для простонародья и за три шиллинга шесть пенсов для господ — за ночное дежурство плата особая, — тут миссис Гэмп несколько возвысила голос, — то вы и есть эта неоцененная особа!“ — „Миссис Гаррис, — говорю я ей, — и не заикайтесь насчет платы; кабы я была богатая, я бы всех своих ближних обмывала даром, и даже с радостью, — так я их люблю. Одно только я всегда говорю тому, кто в доме распоряжается, все равно мужчина это или женщина, — тут она покосилась одним глазом на мистера Пекснифа, — лучше и не просите меня выпить, и не угощайте, не надо, лучше оставьте бутылку на камине, а я уж сама пригублю капельку, когда захочу“.

Заключение этой прочувствованной речи пришлось уже возле самого дома. В коридоре их встретил гробовщик, мистер Моулд, коротенький лысый человечек пожилых лет, в черном костюме, с записной книжкой в руках, с толстой золотой цепочкой, распушенной по жилету, и с несколько странным выражением лица, на котором попытка выразить печаль боролась с довольной улыбкой, отчего он походил на человека, который, смакуя превосходное старое вино, делает вид, будто пьет горькое лекарство.

— Ну-с, миссис Гэмп, как ваше здоровье, моя дорогая? — спросил джентльмен тихим голосом, таким же вкрадчивым, как и его походка.

— Ничего себе, благодарю вас, сэр, — отвечала она, приседая.

— Вы уж постарайтесь, миссис Гэмп. Это ведь не то что какой-нибудь обыкновенный случай. Чтобы все было как нельзя приличнее и как нельзя утешительнее, миссис Гэмп; так что вы уж, пожалуйста, постарайтесь, — сказал гробовщик, значительно кивая головой.

— Ладно, ладно, сэр, — отвечала миссис Гэмп, снова приседая. — Надеюсь, вы не первый день меня знаете.

— Ну еще бы, как не знать, миссис Гэмп, — отвечал ей гробовщик. Миссис Гэмп еще раз присела. — Это такой выдающийся случай, — продолжал гробовщик, обращаясь к мистеру Пекснифу, — каких я за всю мою практику просто не видывал.

— Вот как, мистер Моулд? — отозвался мистер Пексниф.

— Такой безутешной печали, сэр, я еще ни в ком не замечал. В расходах мне приказано не стесняться, совершенно не стесняться, — говорил он, округляя глаза и приподнимаясь на цыпочки. — Мне приказано, мистер Пексниф, чтобы в процессии участвовали все мои плакальщики, а плакальщики нынче дороги, сэр, не говоря уже о том, сколько они выпьют. Приказано поставить на гроб ручки накладного серебра самые дорогие, с херувимскими головками самых модных фасонов. Приказано, чтобы катафалк утопал в перьях. Короче говоря, сэр, чтобы была роскошь в полном смысле слова.

— Прекрасный человек мистер Джонас! — заметил мистер Пексниф.

— Много я видел на своем веку почтительных сыновей, сэр, — отвечал ему гробовщик, — да и непочтительных тоже. Таков наш удел. Поневоле узнаешь семейные тайны. Но такой почтительности, чтобы она делала честь нашей природе, чтобы душа примирялась с миром, в котором мы живем, мне еще не доводилось видеть. Это только доказывает то, что было так справедливо замечено блаженной памяти автором театральных пьес, — погребенным в Стрэтфорде^[59], сэр, — а именно, что нет худа без добра.

— Весьма приятно слышать это от вас, мистер Моулд, — заметил мистер Пексниф.

— Вы очень любезны, сэр. А какой человек был покойный мистер Чезлвит! Ах, какой человек! Что там все ваши лорд-мэры, — пренебрежительно отмахиваясь, продолжал мистер Моулд, — ваши шерифы, ваши муниципальные советники, что там вся эта мишура! Вы покажите мне в этом городе человека, который был бы достоин надеть сапоги покойного мистера Чезлвита. Нет, нет! — воскликнул Моулд с горькой иронией. — Повесьте эти сапоги, повесьте на гвоздик, почините

их, подкиньте новые подметки и подбейте каблуки, чтобы его сын мог надеть их, когда войдет в лета; но не примеряйте их сами, они вам не годятся. Мы его знали, — продолжал Моулд все тем же тоном, пряча в карман записную книжку, — мы его знали, и нас на мякине не проведешь. Мистер Пексниф, позвольте пожелать вам всего лучшего, сэр.

Мистер Пексниф ответил ему тем же, и Моулд, гордясь, что не ударил в грязь лицом, направился было к выходу, приятно улыбаясь, но тут же спохватился, к счастью, что обстоятельствами требуется совершенно иное. Мгновенно возвратившись к унынию, он горестно вздохнул, заглянул в тулью своей шляпы, словно ища там утешения, и, не найдя ровно ничего, с достоинством удалился.

Миссис Гэмп с мистером Пекснифом поднялись наверх по лестнице, и, после того как он проводил ее в спальню, где лежали накрытые простыней останки Энтони Чезлвита, которого оплакивало одно только любящее сердце, да и в том едва теплилась жизнь, — мистер Пексниф, наконец, освободился и мог войти в полутемную комнату к мистеру Джонасу, которого он покинул часа два тому назад.

Он застал этот образец всех осиротевших сыновей и идеал всех гробовщиков за конторкой, в размышлениях над клочком писчей бумаги, на котором тот царапал какие-то цифры. Кресло старика, его шляпа и трость были вынесены вон, убраны с глаз долой; занавеси, желтые, как ноябрьский туман, плотно закрывали окна до низа; сам Джонас так притих, что и голоса его не было слышно, видно было только, как он ходит взад и вперед по комнате.

— Пексниф, — произнес он шепотом, — смотрите же, вы распоряжаетесь всем! Потом можете говорить каждому, кто только спросит, что все было как полагается, по всем правилам. Нет ли у вас кого-нибудь, кого вы хотели бы пригласить на похороны, а?

— Нет, мистер Джонас, кажется, у меня никого нет.

— Потому что если у вас есть кто-нибудь, — говорил Джонас, — то вы уж лучше пригласите. Мы не желаем делать из этого тайну.

— Нет, — повторил мистер Пексниф, подумав немного. — Тем не менее очень вам обязан, мистер Джонас, За ваше великодушное гостеприимство, но, право же, у меня никого нет.

— Ну хорошо, — сказал Джонас, — тогда мы с вами, Чаффи и доктором как раз усядемся в одну карету. Мы пригласим доктора, Пексниф, потому что он знает, что именно случилось со стариком и что тут ничего нельзя было поделать.

— А где же наш дорогой друг, мистер Чаффи? — спросил Пексниф,

моргая обоими глазами зараз, как бы не в силах справиться с приливом чувств.

Но тут его прервала миссис Гэмп, которая вошла в комнату уже без шали и чепца, жеманясь и пыжась, и довольно резким тоном потребовала, чтобы мистер Пексниф на минутку вышел с ней в коридор.

— Вы можете сказать и здесь все, что вам угодно, миссис Гэмп, — отвечал он, меланхолически покачивая головой.

— Что уж тут много разговаривать, не до разговоров, когда человек помер, а другие по нем горюют, — возразила миссис Гэмп, — только уж если я что-нибудь скажу, оно будет к месту и к делу, а не для того, чтобы кого-нибудь обидеть, так что и обижаться на меня нечего. Я на своем веку во многих домах побывала, — можно надеяться, знаю свое дело, и как за него браться — тоже знаю; а конечно, если б не знала, то было бы довольно странно и даже некрасиво со стороны такого джентльмена, как мистер Моулд, — ведь он хоронил самые знатные семейства в Англии, и все оставались очень довольны, — рекомендовать меня с самой лучшей стороны. Я ведь на своем веку тоже видела немало горя, — продолжала миссис Гэмп, все возвышая и возвышая голос, — и всякому могу посочувствовать, кому бог послал испытание, но только я не потерплю, чтобы ко мне приставляли шпионов.

Прежде чем можно было что-либо ответить, миссис Гэмп перевела дух и продолжала, вся побагровев:

— Нелегко, джентльмены, прожить на свете, когда ты осталась вдовой; особенно, ежели по доброте своей разжалобишься иной раз и согласишься работать себе в убыток, а потом ищи-свищи. Чем бы человек ни зарабатывал себе на хлеб, у всякого могут быть свои правила, так для чего же от них отступаться!

— Насколько я понимаю эту добрую женщину, — сказал мистер Пексниф, обращаясь к Джонасу, — ей мешает мистер Чаффи. Не сходить ли мне за ним?

— Сходите, — сказал Джонас. — Когда она вошла, я только что собирался сказать вам, что он наверху. Я бы и сам за ним сходил и привел его сюда, да только... пожалуй, лучше вам пойти, если вы ничего не имеете против.

Мистер Пексниф немедленно отправился наверх в сопровождении миссис Гэмп, которая заметно смягчилась, увидев, что он захватил из буфета бутылку и стакан и несет их с собой.

— Конечно, — продолжала она свою речь, — ежели бы я не хотела ему добра, я бы и внимания не обратила на бедного старичка, все равно как

на муху. Только на тех, кто к этому делу непривычен, оно уж очень действует, для них же лучше, когда не потакают ихним капризам. Даже если и побранишь их немножко, — закончила миссис Гэмп, очевидно вспомнив те цветы красноречия, которыми она уже успела осыпать мистера Чаффи, — так разве для того только, чтобы пришли в чувство.

Какими бы эпитетами ни наделила миссис Гэмп старика, они не привели его в чувство. Он сидел рядом с кроватью, на том же самом стуле, с которого не вставал всю ночь, сложив перед собой руки, склонив голову, и даже не взглянул на вошедших, не проявил ни проблеска сознания, и только когда мистер Пексниф дотронулся до его плеча, он покорно встал с места.

— Семь десятков, — сказал Чаффи, — ноль и семь в уме. Бывают же люди такого крепкого здоровья, что доживают до восьмидесяти... четырежды ноль — ноль, четырежды два — восемь, восемьдесят... Ах, зачем, зачем, зачем он не дожил до четырежды ноль — ноль, четырежды два — восемь, — до восьмидесяти?

— Да, вот уж, по правде сказать, юдоль! — воскликнула миссис Гэмп, завладевая бутылкой и стаканом.

— Зачем он умер раньше своего старого, выжившего из ума слуги! — говорил Чаффи, сжимая руки и глядя перед собой скорбным взглядом. — Отнимите его у меня, что же останется?

— Мистер Джонас, — подсказал ему Пексниф, — мистер Джонас, мой добрый друг.

— Я любил его, — говорил старик, всхлипывая. — Он был ко мне добр. Мы вместе учили про утечку и усушку в школе. Один раз я обогнал его по арифметике на шесть мест. Помилуй меня, господи! Как это я посмел обогнать его!

— Идемте, мистер Чаффи, — сказал Пексниф, — идемте. Соберитесь с силами, мистер Чаффи.

— Да, да, — отвечал старый конторщик. — Да. Я соберусь... В семи семь содержится один раз, семью семь — сорок девять. О Чезлвит и Сын! Ваш родной сын, мистер Чезлвит, ваш родной сын, сэр!

Бормоча эти привычные для него слова, мистер Чаффи подчинился ведущей его руке и позволил себя увести. Миссис Гэмп, с бутылкой на одном колене и стаканом на другом, долго сидела на табуретке, покачивая головой, потом, словно забывшись на минуту, налила себе капельку в стакан и поднесла его к губам. За первым глотком последовал второй, за вторым третий, а после третьего она так закатила глаза — не то от печальных размышлений о жизни и смерти, не то от удовольствия, — что их совсем не стало видно. Тем не менее головой она качала по-прежнему.

Беднягу Чаффи отвели в его привычный уголок, где он сидел молча и неподвижно и только иногда срывался с места и начинал расхаживать по комнате; ломая руки или выкрикивая что-то непонятное и бессвязное. Целую неделю они втроем просидели так около очага, не выходя из дома. Мистер Пексниф с удовольствием пошел бы пройтись вечерком, но Джонас никак не соглашался расстаться с ним хотя бы на минуту, так что он оставил эту мысль, и с утра до ночи они все втроем томились в полутемной комнате, без отдыха и без дела.

Бремя того, что лежало, вытянувшись и зачоченев, в страшной спальне верхнего этажа, так давило и угнетало Джонаса, что он совсем согнулся под этой тяжестью. В продолжение долгих семи дней и ночей его неотступно преследовало и не давало покоя леденящее чувство, что кто-то страшный присутствует в доме. Стоило скрипнуть двери, как он уже обращал к ней помертвевшее лицо и глядел испуганно, словно был совершенно уверен в том, что ручку трогали костлявые пальцы. Стоило огню в очаге вспыхнуть немного ярче, оттого что потянуло сквозняком, и Джонас оглядывался через плечо, словно боясь увидеть фигуру в саване, раздувающую огонь полами своего одеяния. Малейший шум пугал его, а однажды ночью, заслышав наверху шаги, он закричал, что это покойник ходит, топает — топ, топ, топ — вокруг своего гроба.

Ночью он спал на полу в гостиной, потому что в его спальне поместилась миссис Гэмп, и мистеру Пекснифу тоже стелили на полу, рядом с ним. Вой собаки во дворе вселял в Джонаса страх, которого он не в силах был скрыть. Он старался не смотреть на отражение горевшего наверху света в окнах дома напротив, словно это был чей-то разгневанный глаз. Спал он тревожно, часто просыпался по ночам и томился тоской, ожидая рассвета; распорядиться и следить за всем, даже заказывать обед он предоставил мистеру Пекснифу. Достойный джентльмен, полагая, что предаваться скорби надо со всеми удобствами и что хорошая кормежка будет в высшей степени благотворна для убитого горем сына, так удачно воспользовался этими обстоятельствами, что в течение всей траурной недели у них был самый изысканный стол; каждый вечер к ужину готовили сладкое мясо, тушеные почки, устрицы и тому подобные легкие блюда, и, запивая их горячим пуншем, мистер Пексниф подавал духовное утешение и читал высоко нравственные проповеди, какие могли бы обратить даже язычника, в особенности если бы тот плохо понимал английский язык.

Однако не один мистер Пексниф пользовался жизненными благами в это печальное время. Миссис Гэмп оказалась тоже весьма разборчива в еде и с презрением отвергала рубленую баранину. Насчет напитков она также

была очень строга и даже привередлива, требуя пинту слабого портера к завтраку, пинту к обеду, полпинты для подкрепления и поддержки сил между обедом и чаем и пинту знаменитого крепкого эля, старого брайтонского пьяного пива, к ужину, не считая бутылки на камине да приглашений выпить иногда рюмочку вина, к каким гостеприимство обязывало ее хозяев. Люди мистера Моулда тоже считали нужным топить свое горе в вине, как топят новорожденного котенка, и по этой причине напивались, прежде чем за что-нибудь взяться, чтобы горе не взяло верх и не одолело их. Короче говоря, всю эту необыкновенную неделю у них шла круговая мрачных веселостей и зловещих развлечений; и все, кроме бедняги Чаффи, обретавшегося в тени гроба Энтони Чезлвита, справляли тризну, как вампиры.

Настал в конце концов и день похорон, этого благочестивого и нелицемерного обряда. Мистер Моулд, с золотыми часами в свободной руке, рассматривая на свет рюмку старого портвейна, стоял, прислонившись к конторке, и беседовал с миссис Гэмп; двое плакальщиков дежурили перед дверями дома, имея вид настолько похоронный, насколько можно ожидать от людей, дела которых идут как нельзя лучше; весь штат мистера Моулда был на своем посту — либо в доме, либо на улице; колыхались перья, фыркали лошади, развевались шелка и бархаты; словом, как сказал торжественно мистер Моулд: „Все, что только можно сделать за деньги, было сделано“.

— А что еще можно было сделать, миссис Гэмп? — воскликнул гробовщик, опрокидывая рюмку в рот и причмокивая губами.

— Решительно ничего, сэр.

— Решительно ничего, — повторил мистер Моулд. — Вы правы, миссис Гэмп. Почему люди тратят больше денег, — тут он налил себе еще одну рюмку, — на похороны, миссис Гэмп, чем на крестины? Ну-ка, ведь это по вашей части, вы должны знать. Как вы это себе объясняете, ну-ка?

— Может, потому, что гробовщик обходится дороже, чем сиделка, сэр, — отвечала миссис Гэмп, посмеиваясь и разглаживая руками складки нового черного платья.

— Ха-ха! — расхохотался мистер Моулд. — Вы, я вижу, позавтракали сегодня на чужой счет, миссис Гэмп. — Однако, заметив в маленьком зеркальце для бритья, висевшем напротив, что вид у него слишком уж веселый, он мигом успокоился и придал своей физиономии скорбное выражение.

— Не первый раз мне доводится завтракать на чужой счет по вашей любезной рекомендации, сэр, не в последний, надеюсь, — сказала миссис

Гэмп, угодливо приседая.

— Что ж, — отвечал мистер Моулд, — если провидению угодно, пускай и дальше так будет. Нет, миссис Гэмп, я вам скажу, почему это происходит. Потому что трата денег в хорошо поставленном заведении, где дело ведется на широкую ногу, исцеляет разбитое сердце и проливает бальзам на страждущий дух. Сердца нуждаются в исцелении, а дух в бальзаме тогда, когда люди умирают, а не тогда, когда они рождаются. Взгляните хотя бы на хозяина дома, взгляните на него.

— Щедрый джентльмен! — восторженно воскликнула миссис Гэмп.

— Нет, нет, — отвечал гробовщик, — вообще говоря, он вовсе не такой щедрый, ни в коем случае, вы о нем неверно судите; но убитый горем джентльмен, любящий джентльмен, который знает, что могут сделать деньги, для того чтобы облегчить его горе и засвидетельствовать его любовь и уважение к почившему. Они могут дать ему, — говорил мистер Моулд, медленно вращая свою часовую цепочку, так что она завершала полный круг в конце каждой фразы, — они могут дать ему сколько угодно карет четверней; они могут дать ему бархатные попоны; они могут дать ему страусовые перья; они могут дать ему сколько угодно пеших плакальщиков, одетых по последнему слову похоронной моды и несущих жезлы с бронзовыми набалдашниками; они могут дать ему великолепный памятник; они могут доставить ему место даже в Вестминстерском аббатстве^[60], если средства позволят. Нет, не будем говорить, что деньги — просто грязь, когда на них можно все это приобрести, миссис Гэмп.

— И как еще надо бога благодарить, сэр, — сказала миссис Гэмп, — что есть такие люди, как вы, потому что у вас все это можно купить или взять напрокат.

— Да, миссис Гэмп, вы правы, — отвечал гробовщик. — Наша профессия должна считаться почетной. Мы творим добро втайне и краснеем, когда ставим его в счет. Взять хоть меня: сколько ближних своих я утешил с помощью моей четверки долгогривых скакунов, а ведь я никогда не запрягал их дешевле чем за десять фунтов десять шиллингов!

Миссис Гэмп только что приготовилась ответить ему в соответствующем духе, как ей помешало появление одного из помощников мистера Моулда, то есть старшего факельщика, тучного человека в жилете, который спускался гораздо ближе к коленам, чем это допускается установившимися понятиями об изяществе, с таким носом, какие обыкновенно принято сравнивать со сливой, и с лицом, сплошь усеянным угрями. Когда-то он был хрупким созданием, но, постоянно дыша сытным воздухом похорон, огрубел и раздался вширь.

— Ну, Тэкер, — спросил мистер Моулд, — внизу все готово?

— Прекрасное зрелище, сэр, — отвечал Тэкер. — Лошади так и рвутся, на месте не постоят и так вскидывают голову, как будто знают, почем нынче страусовые перья. Раз, два, три, четыре, — отсчитывал мистер Тэкер, перебрасывая четыре черных плаща через левую руку.

— Томас уже там с вином и кексом? — спросил мистер Моулд.

— Готов появиться в любую минуту, сэр, — ответил Тэкер.

— Тогда, — отвечал мистер Моулд, пряча свои часы и глядя в зеркальце, чтобы проверить, такое ли у него выражение лица, какое нужно. — Тогда мы, я думаю, можем приступить к делу. Дайте мне коробку с перчатками, Тэкер. Ах, какой это был человек! Ах, Тэкер, Тэкер! Какой это был человек!

Мистер Тэкер, который, обладая большим опытом по похоронной части, мог бы быть превосходным мимическим актером, подмигнул миссис Гэмп, несколько не нарушив этим серьезного выражения своей физиономии, и вышел вслед за своим хозяином в другую комнату.

Мистер Моулд был крайне щепетилен в вопросах профессионального такта, а потому он не подал и виду, что знаком с доктором, хотя на самом деле они были близкие соседи и нередко работали вместе, как и в данном случае. И потому, направляясь к доктору, чтобы предложить ему черные лайковые перчатки, он притворился, будто видит его первый раз в жизни, а доктор со своей стороны смотрел на него таким холодным и незнающим взглядом, как будто ему приходилось слышать и читать про гробовщиков, случалось даже проходить мимо их лавок, но никогда еще не доводилось иметь с ними дело.

— Что, перчатки? — сказал доктор. — После вас, мистер Пексниф.

— Ни в коем случае, — возразил мистер Пексниф.

— Вы очень любезны, — сказал доктор, беря пару перчаток. — Так вот, сэр, как я уже говорил, меня вызвали к больному в половине второго ночи... Что, кекс и вино? В котором графине портвейн? Благодарю вас.

Мистер Пексниф тоже выпил портвейна.

— Около половины второго утра, сэр, — продолжал доктор, — меня позвали к больному. При первом же звонке ночного колокольчика я вскочил, распахнул окно и высунул голову... Что, плащ? Не завязывайте слишком туго. Вот так, хорошо.

После того как мистер Пексниф облачился в подобное же одеяние, доктор продолжал:

— И высунул голову... Что, шляпа? Любезный друг, Это не моя. Мистер Пексниф, прошу прощения, мы с вами, кажется, нечаянно

обменялись. Благодарю вас. Так вот, сэр, я хотел рассказать вам...

— Мы совсем готовы, — прервал его мистер Моулд тихим голосом.

— Что, готовы? — сказал доктор. — Очень хорошо. Мистер Пексниф, если разрешите, я доскажу вам остальное в карете. Это довольно любопытно. Что, все готовы? Дождя нет, надеюсь?

— Погода ясная, сэр, — отвечал мистер Моулд.

— Я боялся, что земля нынче будет сырая, — сказал доктор, — барометр вчера упал. Можем себя поздравить, что нам так повезло. — Однако, заметив, что мистер Джопас и Чаффи уже выходят из дверей, он закрыл лицо белым носовым платком, словно в приливе сильнейшего горя, и сошел вниз бок о бок с мистером Пекснифом.

Мистер Моулд и его помощники нисколько не преувеличили пышности приготовлений. Все было великолепно, а в особенности четверка лошадей, запряженная в катафалк, — вставала на дыбы, приплясывала и рвалась вперед, словно зная, что человек умер, и торжествуя по этому поводу. „Они нас объезжают, запрягают, ездят на нас верхом; бьют, морят голодом и калечат ради собственного удовольствия, — но зато они умирают, ура, они умирают!“

И вот по узким городским улицам и извилистым дорогам повлеклась похоронная процессия Энтони Чезлвита; мистер Джонас то и дело выглядывал украдкой из окна кареты, наблюдая, какое впечатление похороны производят на прохожих; мистер Моулд, шагая по мостовой, с затаенной гордостью прислушивался к восклицаниям зевак; доктор шепотом рассказывал мистеру Пекснифу случай из практики и никак не мог добраться до конца, а бедняга Чаффи рыдал в уголке кареты, незамечаемый никем. Однако еще в начале церемонии он сильно шокировал мистера Моулда тем, что держал платок в шляпе, самым неподобающим образом, а глаза вытирал просто кулаком. И как сразу же сказал мистер Моулд, его поведение было неприлично и недостойно такого торжественного дня; его просто не следовало брать с собой.

Однако он присутствовал тут, и на кладбище тоже, где опять-таки вел себя самым неподобающим образом, ведомый под руку Тэкером, который сказал ему напрямик, что он никуда не годится, разве только сопровождать похороны самого последнего разряда. Но Чаффи, помилуй его боже, ничего не слышал, кроме отзвуков навеки умолкнувшего голоса, которые еще жили в его сердце.

— Я любил его, — плакал старик, бросаясь на могилу, после того как все уже было кончено. — Он был очень добр ко мне. О мой дорогой старый друг и хозяин!

— Ну, ну, мистер Чаффи, — сказал доктор, — это не годится, почва тут сырая и глинистая, мистер Чаффи! Нельзя же так, право.

— Если бы похороны были по самому последнему разряду, джентльмены, и мистер Чаффи просто помогал бы нести гроб, то и тогда бы он не мог вести себя хуже, — сказал Моулд, бросая кругом умоляющие взгляды и помогая мистеру Чаффи подняться с земли.

— Ведите себя по-человечески, мистер Чаффи, — заметил Пексниф.

— Ведите себя как подобает джентльмену, мистер Чаффи, — сказал мистер Моулд.

— Честное слово, любезный друг, — пробурчал доктор тоном величественной укоризны, подходя ближе к старику, — это уже не просто слабость. Это дурно, эгоистично и очень нехорошо с вашей стороны, сударь вы мой. Вы забываете, что вы не связаны с нашим покойным другом узами крови и что у него имеется близкий, преданный родственник, мистер Чаффи.

— Да, родной сын! — воскликнул старик, сжимая руки с поразительной силой чувства. — Его родной, родной и единственный сын!

— У него не все дома, знаете ли, — едва выговорил Джонас, бледнея. — Не обращайтесь внимания, что бы он там ни говорил. Я бы не удивился, если б он понес даже бог знает какую чушь. Вы не обращайтесь на него внимания, никто не обращайтесь. Я не обращаю. Мне отец велел о нем заботиться — и довольно. Что бы он там ни говорил и ни делал — я о нем буду заботиться.

Ропот восхищения пронесся среди провожающих (включая в это число мистера Моулда и его весельчаков) при этом новом доказательстве великодушия и добрых чувств со стороны Джонаса. Но Чаффи более не подвергал эти чувства испытанию. Он совсем притих и, как только его оставили ненадолго в покое, забрался снова в карету.

Выше уже упоминалось, что мистер Джонас побледнел, когда поведение старого клерка привлекло к себе общее внимание. Однако его испуг был кратковременным, и он скоро пришел в себя. Но не эту единственную перемену можно было в нем наблюдать в тот день. Любопытные глаза мистера Пекснифа подметили, что ему стало легче, как только они выехали из дома, направляясь в скорбный путь, и что по мере того как церемония подвигалась к концу, Джонас мало-помалу возвращался к прежнему своему состоянию и внешнему виду, к прежней милой манере держать себя, ко всем приятным особенностям разговора и обхождения, — словом, он вновь обрел самого себя. Уже когда они сидели в карете, по дороге домой, а еще более, когда они туда возвратились и увидели, что окна

открыты, в комнаты впущен свет и воздух и удалены все следы недавно совершившегося события, мистер Пексниф убедился, что имеет дело с тем же Джономасом, которого он знал неделю тому назад, а не с Джономасом последних дней, и добровольно расстался с только что приобретенной в доме властью, не сделав ни малейшей попытки удержать ее и сразу же отступив на прежние позиции покладистого и почтительного гостя.

Миссис Гэмп возвратилась домой к торговцу птицами, и в ту же ночь ее подняли с постели принимать двойню; мистер Моулд отлично пообедал в кругу своего семейства, а вечером отправился развлекаться в клуб; катафалк, простояв довольно долго перед дверью развеселого кабака, потащился к конюшне; все перья были убраны внутрь, а на крыше сидели двенадцать красноносых факельщиков, и каждый держался за грязный колышек, на котором в торжественных случаях развевались страусовые перья; траурные бархаты и шелка были заботливо уложены в шкафы — для будущего нанимателя; горячие кони успокоились и притихли в своих стойлах; доктор, подвыпив на свадебном обеде, позабыл уже и середину истории, так и недосказанной им до конца, — церемония, происходившая всего несколько коротких часов назад, нигде не оставила по себе такого заметного следа, как в книгах гробовщика.

Даже на кладбище? Даже и там. Ворота были заперты, ночь выдалась темная и сырая, и дождик тихо падал на гниющий чертополох и крапиву. Вырос еще один новый холмик, которого не было здесь прошлой ночью. Время, роясь как крот под землей, отметило свой путь, выбросив наверх еще одну кучку земли. И это было все.

Глава XX

есть глава о любви.

— Пексниф, — сказал Джонас и, сняв шляпу, посмотрел, не завернулась ли на ней полоска черного крепа, а потом, успокоившись на этот счет, снова надел ее, — сколько вы намерены дать за вашими дочерьми, если они выйдут замуж?

— Дорогой мой мистер Джонас, — воскликнул любящий родитель, простодушно улыбаясь, — это единственный в своем роде вопрос!

— Ну, нечего там разбираться, единственный или множественный, — возразил Джонас, не слишком благосклонно глядя на мистера Пекснифа, — отвечайте или оставим этот разговор. Одно из двух.

— Гм! Этот вопрос, дорогой мой друг, — сказал мистер Пексниф, ласково кладя руку на колено своему родственнику, — осложняется разными соображениями. Что я за ними дам? А?

— Да, что вы за ними дадите? — повторил Джонас.

— Само собой, это будет зависеть в значительной степени от того, каких мужей они себе выберут, дорогой мой юный друг, — сказал мистер Пексниф.

Мистер Джонас был явно разочарован и не нашелся, что еще сказать. Ответ был удачный и с виду казался весьма глубокомысленным, но такова уж премудрость простоты!

— Уровень требований, предъявляемых мною к будущему зятю, — сказал мистер Пексниф, помолчав немного, — весьма высок. Простите меня, дорогой кой мистер Джонас, — прибавил он с большим чувством, — но я должен сказать вам, что вы сами тому виной, если требования мои прихотливы, капризны и, так сказать, играют всеми цветами радуги.

— Вы что этим хотите сказать? — пробурчал Джонас, поглядывая на него все более и более неодобрительно.

— Поистине, дорогой мой друг, — отвечал мистер Пексниф, — вы имеете право задать такой вопрос. Сердце не всегда похоже на монетный двор, где хитроумные машины превращают металл в ходячую монету. Иногда оно выбрасывает слитки необыкновенной формы, какие трудно даже признать за монету. Однако золото в них — чистой пробы. По крайней мере этого достоинства не отнимешь. В них золото чистой пробы.

— Вот как? — проворчал Джонас, с сомнением качая головой.

— Да, — произнес мистер Пексниф, все более вдохновляясь своей темой, — золото чистой пробы. Уж если быть вполне откровенным с вами, дорогой мистер Джонас, я бы хотел найти двух таких зятьев, каким вы станете со временем по отношению к какому-нибудь достойному человеку, способному оценить такую натуру, как ваша, и тогда — не думая о себе самом — я назначил бы моим дочерям приданое, какое только позволят мне мои средства.

Это было сказано решительно и как нельзя более серьезно. Но кто станет удивляться тому, что мистер Пексниф, после всего что он видел и слышал о мистере Джонасе, говорил серьезно на такую тему: на тему, которая способна тронуть медом красноречия даже суетные уста гробовщика!

Мистер Джонас молчал и, погружившись в размышления, любовался видами. Оба джентльмена сидели на наружных местах и ехали по направлению к Солсбери. Мистер Джонас сопровождал мистера Пекснифа домой, чтобы на несколько дней переменить обстановку после перенесенных им испытаний.

— Ладно, — сказал он, наконец, с подкупающей прямоотой, — предположим, вам достанется такой зять, как я, что же дальше? Мистер Пексниф сначала взглянул на него с неописуемым удивлением, которое затем мало-помалу сменилось грустной игривостью.

— Тогда я знаю, чей это был бы муж! — сказал он.

— Чей? — сухо спросил Джонас.

— Моей старшей дочери, мистер Джонас, — отвечал Пексниф, прослезившись. — Моя дорогая Черри — это моя опора, мой посох, моя сума, мое сокровище, мистер Джонас. Тяжело с ней расставаться, но это в природе вещей! Когда-нибудь я должен буду расстаться с ней и отдать ее мужу. Я это знаю, мой дорогой друг. Я приготовился к этому.

— Давненько приготовились, надо думать, — сказал Джонас.

— Многие пытались разлучить ее со мной, — сказал мистер Пексниф. — Но никому это не удалось. „Я не отдам своей руки, папа, — таковы были ее слова, — если мое сердце не будет покорено“. Последнее время она что-то не так весела, как бывала раньше. Не знаю почему.

Мистер Джонас опять стал смотреть на окрестности, потом на кучера, потом на багаж, наконец взглянул и на мистера Пекснифа.

— Полагаю, что и с той, с другой, вам тоже придется когда-нибудь расстаться? — заметил он, перехватив взгляд этого джентльмена.

— Вероятно, — отвечал ее родитель. — Годы укротят своевольный характер моей глупенькой пташки, и тогда ее можно будет посадить в

клетку. Но Черри, мистер Джонас, Черри...

— Ну да! — перебил его Джонас. — Эту-то годы укротили, ничего не скажешь. Никто в этом не сомневается. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Вы, конечно, не обязаны отвечать, если не хотите. Дело ваше.

В его манере говорить звучала предостерегающе-недовольная нота, как бы дававшая понять мистеру Пекснифу, что с его дорогим другом шутки плохи и водить его за нос никак нельзя, — нужно или откровенно ответить на вопрос, или прямо сказать, что он не желает объясняться на эту тему. Помня совет, данный ему стариком Энтони чуть ли не при последнем дыхании, мистер Пексниф решил высказаться откровенно и потому сообщил мистеру Джонасу (истолковывая свою откровенность как доказательство привязанности и величайшего доверия), что в том случае, о котором он говорил, а именно, если такой человек, как Джонас, будет искать руки его дочери, он выделит ей в приданое четыре тысячи фунтов.

— Мне придется сильно стеснить и ограничить себя во всем, — таков был родительский комментарий, — но это мой долг, и совесть вознаградит меня. Моя совесть — вот мой банк. Я вложил туда кое-что, сущую безделицу, мистер Джонас, но я ее ценю высоко и почитаю богатым вкладом, уверяю вас.

Враги этого превосходного человека разделились бы в данном случае на два лагеря. Одни стали бы утверждать самым бесцеремонным образом, что если совесть была для мистера Пекснифа банком, где у него имелся текущий счет, то он, конечно, перебрал столько лишнего, что не хватило бы никаких средств расплатиться. Другие стали бы утверждать, что этот текущий счет одна проформа — совершенно чистая книжка или такая, в которой записи делаются только особого рода невидимыми чернилами, так что еще неизвестно, когда можно будет их прочитать, и что сам мистер Пексниф никогда в нее не заглядывает.

— Мне придется весьма и весьма стеснить себя и ограничить, — повторил мистер Пексниф, — но провидение, или, если мне будет позволено так выразиться, особые заботы провидения благословили мои труды, и я могу ручаться, что в состоянии принести эту жертву.

Здесь возникает чисто умозрительный вопрос, имел или не имел мистер Пексниф право говорить, что он во всех своих начинаниях пользуется особым покровительством провидения. Всю свою жизнь он избирал окольные пути и закоулки и, не брезгая ничем, старался пополнить свою мощну. А так как без ведома провидения нельзя даже подшибить воробья, то из этого следует (так рассуждал мистер Пексниф и другие превосходные люди его склада), что провидение направляет и камень, и

палку, и прочие предметы, брошенные в воробья. Но камень мистера Пекснифа, не брезговавшего ничем, без промаха сшибал воробья, так что мистер Пексниф мог считать охоту на воробьев своей монополией, а себя законным владельцем всех подшибленных им птиц. Что многие начинания, как национальные так и частные, особенно первые, находятся под покровительством провидения, должно быть ясно каждому, — ведь это единственное, чем можно объяснить их благополучный исход. И значит, мистер Пексниф говорил, имея на то все основания, говорил не как-нибудь наобум, самонадеянно или тщеславно, а в духе высокой честности и глубочайшей мудрости.

Мистер Джонас, не имея привычки обременять свой ум теориями подобного рода, не выразил никакого мнения по этому поводу. Он не отозвался на сообщение своего спутника ни единым словом, утвердительным, отрицательным иди безразличным. Он хранил молчание по меньшей мере минут пятнадцать и, по-видимому, в течение всего этого времени прилежно занимался тем, что производил в уме всевозможные операции с некоей данной суммой, пользуясь всеми правилами арифметики, а именно: складывал, вычитал, умножал, делил всеми известными способами, применяя тройное правило, простое и сложное, а также все правила учета векселей, простых процентов, сложных процентов и других способов вычисления. По-видимому, результат этих трудов был удовлетворительный, ибо когда он нарушил молчание, то сделал это с видом человека, пришедшего к определенным выводам и освободившегося от состояния томительной неуверенности.

— Ну-ка, старина Пексниф! — с таким игривым обращением он хлопнул этого джентльмена по спине, когда они подъезжали к станции. — Давайте выпьем чего-нибудь!

— С величайшим удовольствием, — отозвался мистер Пексниф.

— И поднесем кучеру! — воскликнул Джонас.

— Если вы думаете, что это ему не повредит и не вызовет в нем недовольства своим положением, тогда конечно, — промямлил в ответ мистер Пексниф.

Джонас только засмеялся и с большой живостью соскочил на дорогу, выкинув при этом довольно неуклюжее антраша. После чего он вошел в придорожный трактир и заказал горячительные напитки в таком количестве, что мистер Пексниф усомнился было, в своем ли он уме, но Джонас положил конец его сомнениям, сказав, когда дилижанс уже собирался тронуться в путь:

— Я вам выставял угощение целую неделю и даже больше —

позволял заказывать всякие там деликатесы. А теперь будете платить вы, Пексниф. — Это была вовсе не шутка, как предположил сначала мистер Пексийф, ибо Джонас, нисколько не церемонясь, уселся опять в карету, предоставив своей почтенной жертве расплачиваться по счету.

Но мистер Пексниф отличался кротостью и долготерпением, а Джонас был его другом. Более того, его благосклонность к этому джентльмену основывалась, как мы знаем, на чистейшем уважении и на знании превосходных качеств его характера. Он вышел из трактира, сияя улыбкой, и даже повторил всю церемонию с угощением, хотя и не на такую широкую ногу, в ближайшей пивной. Настроение у мистера Джонаса было самое зазорное (что редко с ним случалось), и от такого времяпровождения он не только не унялся, но, наоборот, во весь остальной путь проявлял необычайную шумливость, можно даже сказать буйство, так что мистер Пексниф не без труда поспевал за ним.

Дома их не ждали. О боже мой, вовсе нет! Мистер Пексниф еще в Лондоне предложил сделать своим дочерям сюрприз и сказал, что не станет предупреждать их ни единым словом; тогда они с мистером Джонасом захватят девиц врасплох и посмотрят, что они делают одни, когда думают, что их дорогой папочка находится далеко от дома. Вследствие этой игривой затеи никто их не встретил у придорожного столба, но это не имело особенного значения, потому что они приехали с дневным дилижансом и у мистера Пекснифа был с собой один только ковровый саквояж, а у Джонаса чемодан. Они подхватили вдвоем чемодан, поставив на него саквояж, и, не мешкая ни минуты, пошли по дороге к дому: мистер Пексниф уже и тут шел на цыпочках, как будто без этой предосторожности его почтительные дочери, находясь от него мили за две или около того, могли почувствовать любящим сердцем его приближение.

Был тихий вечер, один из тех, какие выпадают только весенней порой, и в мягкой тишине сумерек вся природа дышала красотой и покоем. День был очень ясный и теплый, но с приближением ночи воздух сделался прохладным, и в туманной дали дым из труб тихо поднимался к небу. В воздухе носился аромат молодых листьев и свежих почек; кукушка весь день куковала и примолкла только теперь; запах свежевзрытой земли — первое дыхание надежды для пахаря, после того как осенью облетел его сад, — доносился с вечерним ветерком. Это была пора, когда люди принимают благие решения, скорбят о бесплодно прошедшей юности и, глядя на густеющие тени, думают о том вечере, который придет для каждого из нас, и о том утре, которое будет для нас последним.

— Экая скучища! — сказал мистер Джонас, озираясь по сторонам. —

Да тут с тоски рехнуться можно.

— Скоро мы придем к свету и теплу, — заметил мистер Пексниф.

— Они будут не лишние, когда мы туда доберемся, — сказал Джонас. — Какого черта вы не разговариваете? О чем это вы задумались?

— Сказать вам по правде, мистер Джонас, — произнес Пексниф очень торжественно, — мои мысли в эту минуту обратились к нашему дорогому другу, вашему покойному батюшке.

Мистер Джонас немедленно выпустил из рук свою ношу и пригрозил Пекснифу кулаком:

— Вы это лучше бросьте, Пексниф!

Мистер Пексниф, не зная хорошенько, к чему отнести намек, к разговору или к чемодану, воззрился на Джонаса в неподдельном изумлении.

— Бросьте, вам говорят! — злобно крикнул Джонас. — Слышите, что ли? Бросьте это раз и навсегда. Лучше бросьте, предупреждаю вас!

— Это вышло совершенно ненамеренно, — в сильном испуге оправдывался мистер Пексниф, — хотя, сознаюсь, я допустил ошибку. Я мог бы знать, что для вас это уязвимое место.

— Не говорите вы мне насчет уязвимых мест, — отвечал ему Джонас. — Я вам не позволю над собой измываться из-за того только, что мертвецы мне не по нутру.

Мистер Пексниф едва успел выдавить из себя слова: „Измываться над вами, мистер Джонас?“ — как молодой человек, сердито насупившись, снова резко оборвал его.

— Помните. — сказал он, — я этого не потерплю. Советую вам не возвращаться к этому разговору ни со мной и ни с кем другим. Вы можете понимать намеки не хуже всякого другого, если захотите. Ну, вот и довольно. Идем.

С этими словами он взялся за чемодан и зашагал вперед так быстро, что мистер Пексниф, который держался за чемодан с другого конца, потащился за ним самым неудобным и неграциозным манером, немилосердно стучаясь коленками о металлические застёжки и жесткую кожу чемодана, явно в ущерб тому, что изящные джентльмены называют „шкурой“. Спустя несколько минут, однако, мистер Джонас замедлил шаг и даже допустил, чтобы его спутник поравнялся с ним и привел чемодан в относительно нормальное положение.

Было совершенно ясно, что он жалеет о недавней своей вспышке и не может решить, какое впечатление она произвела на мистера Пекснифа, ибо каждый раз как последний взглядывал на мистера Джонаса, оказывалось,

что и мистер Джонас смотрит на него, — и это служило причиной нового замешательства. Однако оно продолжалось недолго: мистер Джонас довольно скоро начал насвистывать, а мистер Пексниф, последовав примеру своего друга, тоже стал напевать какой-то игривый мотивчик.

— Скоро дойдем, что ли? — спросил Джонас спустя некоторое время.

— Уже близко, добрый мой друг, — отвечал мистер Пексниф.

— Что они делают, как вы полагаете? — спросил Джонас.

— Трудно сказать! — воскликнул мистер Пексниф. — Легкомысленные вертушки! Их, может быть, и совсем дома нет. Я хотел — хе-хе-хе! — я хотел вам предложить: а что, если мы войдем с черного хода и нагрянем на них, как гром с ясного неба, мистер Джонас?

Затруднительно было бы решить, в каком отношении и какими именно из многих своих разнородных качеств мистер Джонас, мистер Пексниф, ковровый саквояж и чемодан могли сравниться с ударом грома. Тем не менее мистер Джонас выразил согласие, и оба они, обойдя кругом через задний двор, тихонько подкрались к кухонному окну, откуда лился в вечерние сумерки смешанный свет свечи и очага.

Поистине мистер Пексниф был благословен в дочерях своих, в одной из них по крайней мере. Благоразумная Черри — опора, посох, сума и сокровище ее любящего родителя — вот она сидит перед кухонным очагом, за маленьким столиком, белым как свежавыпавший снег, и записывает расходы! Поглядите, как эта скромная девушка, обратив вычисляющий взор к потолку, с пером в руках и связкой ключей в корзиночке у пояса проверяет хозяйственные расходы! Утюг, крышка для блюд, грелка, котелок и чайник, медная подставка, начищенная графитом печка весело подмигивают ей и радуются на нее. Даже луковицы, подвешенные гирляндой к потолочной балке, сияют и рдеют, как щеки херувимов. Влияние этой овощи до некоторой степени сказалось на мистере Пекснифе. Он прослезился.

Минутная слабость, но он скрывает ее от зорких глаз своего друга, очень старательно, при помощи каких-то сложных манипуляций с носовым платком, ибо не желает, чтобы его малодушие было замечено.

— Приятно, — бормотал он, — очень приятно для родительских чувств! Милая моя девочка! Что ж, дадим ей знать, что мы тут, мистер Джонас?

— Конечно, не собираетесь же вы ночевать на конюшне или в каретном сарае? — возразил тот.

— Это, право, совсем не такого рода гостеприимство, какое я хотел бы оказать вам, мой друг, — отвечал мистер Пексниф, пожимая ему руку.

Затем он набрал в грудь воздуху и, постучавшись в окно, крикнул громогласно и ласково:

— Бу-у!

Черри выронила перо и вскрикнула. Однако невинность всегда смела или должна обладать смелостью. Как только они отворили дверь, отважная девушка воскликнула твердым голосом, показав, что даже в эту трудную минуту присутствие духа не изменило ей:

— Кто вы? Что вам нужно? Говорите! А не то я позову папашу.

Мистер Пексниф протянул к ней руки. Она сразу его узнала и бросилась в его любящие объятия.

— Это было очень неосторожно с нашей стороны, мистер Джонас, очень неосторожно! — говорил Пексниф, глядя дочь по голове. — Душа моя, разве ты не видишь, что я не один?

Нет, она не видела. До сих пор она ничего не видела, кроме своего папаша. Зато теперь она заметила мистера Джонаса, покраснела и опустила глаза, приветствуя его.

Но где же Мерри? Мистер Пексниф задал этот вопрос не с упреком, но самым кротким голосом, с примесью легкой грусти. Она наверху, читает в гостиной на диване. Ах! Ее-то уж несколько не пленяют мелочи домашней жизни.

— Все-таки позови ее вниз, — сказал мистер Пексниф тоном кроткой покорности судьбе. — Позови ее вниз, душа моя.

Ее позвали, и она пришла, вся покрасневшая и растрепанная от лежания на диване, но это ее вовсе не портило. Нет, несколько. Скорее наоборот, если хотите знать.

— О боже ты мой! — воскликнула лукавая девушка, расцеловав отца в обе щеки и по шаловливости своей наделив его дополнительным поцелуем в самый кончик носа, а затем, оборотившись к кузену: — Вы здесь, страшилище? Ну, я очень рада, что меня-то уж вы оставите в покое!

— Ну, а вы все такая же непоседа? — сказал Джонас. — Ох, и злючка же вы!

— Вот еще, убирайтесь подальше! — отвечала Мерри, отпихивая его. — Я прямо не знаю, что сделаю, если мне придется часто вас видеть. Убирайтесь вы подальше, ради бога!

Так как в разговор вмешался мистер Пексниф и попросил мистера Джонаса немедленно пожаловать наверх, то Джонас в известной мере повиновался приказанию молодой особы — убраться прочь. Однако, ведя под ручку прелестную Черри, он все же не мог не оглядываться поминутно на ее сестрицу и не обмениваться с ней репликами того же задорного

характера, пока они все вчетвером поднимались наверх в гостиную, где в это время — девицы, по счастливой случайности, несколько запоздали с чаем — накрывали для чаепития стол.

Мистера Пинча не было дома, остались одни свои, и потому все чувствовали себя очень уютно и непринужденно; Джонас сидел между обеими сестрами и был пленительно галантен на особый лад, свойственный только ему одному. Не хочется покидать такое приятное маленькое общество, сказал мистер Пексниф, после того как чай был выпит и посуда убрана, но так как ему нужно просмотреть кое-какие важные бумаги у себя в кабинете, то он просит извинить его на минуту. С этими словами он удалился, беззаботно напевая какую-то песенку. Не прошло и пяти минут после его ухода, как Мерри, сидевшая в оконной нише, поодаль от Джонаса и старшей сестры, прыснула со смеху и бросилась к двери.

— Эй! — крикнул Джонас. — Не уходите!

— Ну да, еще чего! — оглянувшись на него, возразила Мерри. — Будто бы уж вам так хочется, чтобы я осталась, страшилище?

— Да, хочется, — сказал Джонас. — Честное слово, хочется. Мне надо с вами поговорить. — И когда она все-таки выбежала из комнаты, он бросился за ней и привел ее обратно, после короткой борьбы в коридоре, весьма шокировавшей мисс Черри.

— Право, Мерри, — выговаривала ей эта молодая особа. — Я тебе удивляюсь. Всему есть граница, даже глупости, милая моя.

— Спасибо, душечка, — отвечала Мерри, надувая розовые губки. — Очень благодарна за совет. Ах, оставьте вы меня в покое, чудовище, сделайте милость! — Эта просьба была вызвана новой атакой со стороны Джонаса, который усадил ее, еще совсем запыхавшуюся, рядом с собой на диван, в то время как по другую сторону от него сидела Черри.

— Ну, — сказал Джонас, обнимая обеих сестер за талию, — теперь у меня обе руки заняты, верно?

— Одна рука будет вся синяя завтра, если вы меня не отпустите, — вскрикнула шалунья Мерри.

— Зато против ваших щипков я ничего не имею, — ухмыльнулся Джонас, — ровно ничего.

— Ущипни его за меня, Черри, пожалуйста, — сказала Мерри. — Ненавижу это чудовище, как никого на свете, вот что!

— Да будет вам, бросьте, — урезонивал ее Джонас, — и не щипайтесь, потому что мне надо серьезно с вами поговорить. Послушайте, кузина Чарити!

— Ну что? — отвечала та недовольно.

— Я хочу поговорить с вами обеими как следует, — сказал Джонас. — Чтобы не было никаких ошибок, знаете ли, чтобы все у нас обошлось по хорошему. Оно и желательно и так уж полагается — верно, что ли?

Ни та, ни другая сестра не промолвили ни слова. Мистер Джонас помолчал, потом откашлялся, чтобы прочистить пересохшее горло.

— Она моим словам не поверит, ведь правда, сестрица? — обратился он к Чарити, неуверенно прижимая ее к себе.

— Право, мистер Джонас, как я могу это знать, пока не услышу, в чем дело? Совершенно невозможно сказать!

— Ну вот, видите ли, — сказал Джонас, — есть у нее такая манера — издеваться над людьми; я знаю, она станет смеяться или сделает вид, будто смеется. А вы, сестрица, можете ей сказать, что я не шучу, ведь правда, можете? Вы же не отопретесь, что вам все известно? Ведь вы-то уж меня не подведете, я знаю, — настойчиво убеждал он.

Ответа не было. В горле у него пересыхало все больше и больше, и справляться с этим становилось все труднее.

— Видите ли, кузина Чарити, — продолжал Джонас, — никто, кроме вас, не может сказать ей, каких трудов мне стоило познакомиться с ней поближе, когда вы обе жили в городе, в пансионе; ведь никто не знает этого так хорошо, как вы. Никто другой не может рассказать ей, как я старался познакомиться с вами получше для того, чтобы и с ней тоже познакомиться, как будто невзначай, — ведь правда, никто? Я всегда спрашивал у вас про нее, куда она ушла да когда придет, говорил, какая она непоседа, ну и другое там. Верно, кузина? Я знаю, вы ей все это скажете, если уже не говорили и... и... по-моему, вы уже говорили, не станете же вы меня подводить, верно?

По-прежнему ни слова в ответ. Правая рука мистера Джонаса — старшая сестра сидела справа от него — могла ощутить бурное биение очень близко от себя; ни из чего другого он не мог заключить, что его слова произвели хотя бы малейшее впечатление.

— Даже если вы и не передавали ей ничего, — продолжал Джонас, — беда невелика, зато вы можете сейчас все это честно засвидетельствовать, правда? Мы же с вами с самого начала подружились, правда? И в будущем мы тоже будем дружить, поэтому я нисколько не стесняюсь объясняться при вас. Кузина Мерси, вы же слышите, что я говорю. Она вам все это подтвердит, все от слова до слова, обязательно подтвердит. Хотите выйти за меня замуж? А?

Джонас отпустил Чарити, для того чтобы предложить свой вопрос с большим эффектом. Но тут она вскочила и бегом бросилась к себе в

комнату, оставив за собою такой вихрь бессвязных и гневных восклицаний, каких нельзя услышать ни от кого, кроме оскорбленной женщины, дошедшей до белого каления.

— Оставьте меня! Пустите меня к ней, — кричала Мерри, отталкивая его и отвечая ему, если говорить всю правду, не одну оплеуху, благо он подставил свою физиономию.

— Не пущу, пока не скажете „да“. Вы еще не сказали. Хотите выйти за меня замуж?

— Нет, не хочу! Я вас видеть не могу. Сто раз вам повторять! Вы страшилище! Кроме того, я всегда думала, что сестра вам нравится больше. Все мы так думали.

— Ну, в этом-то уж я не виноват, — сказал Джонас.

— Нет, виноваты, сами знаете, что виноваты.

— В любви все хитрости дозволены, — сказал Джонас. — Может, она и думала, что нравится мне, да вы-то этого не думали.

— Нет, думала!

— Нет, не думали. И не могли думать, что она мне нравится больше, когда вы были рядом.

— О вкусах не спорят, — сказала Мерри, — то есть я не то хотела сказать... Сама не знаю, что говорю. Пустите меня к ней.

— Скажите „да“, тогда пущу.

— Если бы я даже и согласилась когда-нибудь, то только для того, чтобы ненавидеть и изводить вас всю жизнь.

— Это все равно, что прямо согласиться, — сказал Джонас. — Значит, по рукам, кузина! Мы с вами два сапога пара, лучше не подберешь.

Эта галантная речь сопровождалась смешанными звуками поцелуев и оплеух; затем прелестная, но сильно растрепанная Мерри вырвалась и убежала вслед за сестрой.

Подслушивал ли мистер Пексниф, что для человека его репутации представляется невыносимым, или действовал по наитию, что для человека столь проникательного гораздо вероятнее, или так уж вышло по счастливой случайности, что он оказался на месте в самое нужное время, — и это тоже вполне возможно, если вспомнить, что он пользовался особым покровительством провидения, — достоверно только одно, что как раз в ту минуту, когда сестры встретились в своей комнате, мистер Пексниф появился на пороге их спальни. И какой это был поразительный контраст! Они обе такие разгоряченные, шумные, неистовые; он такой спокойный, сдержанный, невозмутимый и полный мира, что ни один волосок на его голове не сдвинулся с места.

— Дети! — произнес мистер Пексниф, в изумлении простирая к ним руки, однако не прежде чем закрыл дверь и прислонился к ней спиной. — Девочки! Дочери мои! Что это такое?

— Негодяй, изменник, фальшивый, низкий, дрянной человек! У меня под самым носом сделал предложение Мерси! — был ответ его старшей дочери.

— Кто сделал предложение Мерси? — спросил мистер Пексниф.

— Он сделал. Эта скотина Джонас!

— Джонас сделал предложение Мерси? — переспросил мистер Пексниф. — Да, да, да! Вот как!

— Разве вам нечего больше сказать? — воскликнула Чарити. — С ума вы меня свести хотите, папа! Он сделал предложение Мерси, а не мне.

— Ну, как тебе не стыдно! — произнес мистер Пексниф назидательным тоном. — Как тебе не стыдно! Неужели торжество сестры могло довести тебя до такой сцены, дитя мое? Нет, право, это слишком грустно! Мне очень жаль это видеть; ты меня удивила и огорчила. Мерси, дорогая моя девочка, господь с тобой! Пригляди за нею. Ах, зависть, зависть, какое это ужасное чувство!

Произнеся эти слова голосом, полным скорби и сокрушения, мистер Пексниф вышел из комнаты (не позабыв плотно закрыть за собою дверь) и спустился вниз в гостиную. Там он застал своего будущего зятя и схватил его за обе руки.

— Джонас! — воскликнул мистер Пексниф. — Джонас! Осуществилось живейшее желание моего сердца!

— Очень хорошо, рад это слышать, — сказал Джонас. — Ну и довольно. Вот что! Раз эта не та, которую вы так любите, придется вам выложить еще одну тысячу, Пексниф. Пускай уж будет ровно пять. Оно того стоит, знаете ли, потому что ваше сокровище остается при вас. И то вы еще дешево отделались, да и жертву не придется приносить.

Эти слова сопровождались усмешкой, которая до такой степени выгодно осветила привлекательные черты Джонаса, что даже мистер Пексниф на мгновение утратил присутствие духа и посмотрел на молодого человека так, как будто совершенно потерялся от изумления и восторга. Но он быстро пришел в себя и уже собрался переменить предмет разговора, когда за дверью послышались торопливые шаги и Том Пинч в сильнейшем волнении ворвался в комнату.

Увидев постороннего человека, по-видимому занятого частным разговором с мистером Пекснифом, Том очень смутился, хотя все же смотрел так, будто хочет сообщить нечто настолько важное, что этим

достаточно оправдывается его вторжение.

— Мистер Пинч, — сказал Пексниф, — это едва ли прилично. Вы меня извините, но я должен сказать вам, что ваше поведение вряд ли может считаться приличным, мистер Пинч.

— Прошу прощения, сэр, что не постучался, — отвечал Том.

— Просите прощения вот у этого джентльмена, мистер Пинч, — сказал Пексниф. — Я вас знаю, а он не знает. Мой помощник, мистер Джонас.

Будущий зять слегка кивнул головой, но не слишком презрительно или свысока, потому что был в хорошем настроении.

— Можно вас на два слова, сэр, будьте так добры, — сказал Том. — Дело довольно спешное.

— Оно должно быть очень спешным, чтобы оправдать ваше странное поведение, мистер Пинч, — возразил его патрон. — Извините меня на минутку, дорогой мой друг. Ну-с, какова причина вашего неделикатного вторжения?

— Мне, конечно, крайне жаль, сэр, — сказал Том, стоя навтыяжку перед своим патроном, со шляпою в руках, — я знаю, что это должно было показаться очень невежливым...

— Это и показалось очень невежливым, мистер Пинч.

— Да, я это чувствую, сэр; но, сказать по правде, я так изумился, увидев их, и подумал, что вы тоже изумитесь, и побежал домой без оглядки, и до того растерялся, что едва ли понимал как следует, что делаю. Я сейчас был в церкви, сэр, немножко играл на органе для собственного развлечения, и вдруг, нечаянно обернувшись, заметил, что в приделе стоят джентльмен с дамой и слушают. Мне показалось, что это приезжие, сэр, насколько я мог рассмотреть в темноте, и я подумал, что не знаю их; тогда я перестал играть и спросил, не хотят ли они пройти на хоры или посидеть на скамье? Они сказали, что нет, не хотят, и поблагодарили меня за игру на органе. Право, они даже сказали, — заметил Том, краснея: „Прекрасная музыка“; то есть она сказала, и конечно же, это мне доставило гораздо больше удовольствия и чести, чем какие угодно комплименты. Я... я прошу извинения, сэр, — он весь дрожал и уже раза два уронил шляпу, — я что-то запыхался, сэр, и боюсь, что несколько уклоняюсь в сторону.

— Если вы перестанете уклоняться, Томас, — произнес мистер Пексниф, сопровождая свои слова ледяным взглядом, — я буду вам весьма обязан.

— Ну, конечно, сэр, разумеется, — отвечал Том. — Они приехали в почтовой карете, сэр, и остановились перед церковью послушать орган. А

потом они спросили, то есть это она спросила: „Вы, кажется, живете у мистера Пекснифа, сэр?“ Я ответил, что имею эту честь, и взял на себя смелость сказать, сэр, — прибавил Том, поднимая глаза на своего благодетеля, — как и всегда буду говорить, и должен говорить, с вашего разрешения, — что я вам весьма многим обязан и никогда не буду в силах выразить все мои чувства по этому поводу.

— Это было очень, очень дурно, — сказал мистер Пексниф. — Не торопитесь, мистер Пинч.

— Благодарю вас, сэр, — воскликнул Том. — Тогда они спросили меня: „Нет ли пешеходной тропинки к дому мистера Пекснифа...“

Мистер Пексниф вдруг преисполнился внимания.

— „...так, чтобы не проходить мимо „Дракона“?“ Когда я сказал, что есть и что я буду очень рад проводить их, они отослали карету вперед и пошли со мной лугом. Я оставил их у калитки, а сам побежал вперед — предупредить вас, что они идут и будут здесь... я бы сказал через... через какую-нибудь минуту, сэр, — прибавил мистер Пинч, с трудом переводя дух.

— Так кто же, — сказал мистер Пексниф, размышляя вслух, — кто бы могли быть эти люди?

— Господи помилуй, сэр! — воскликнул Том. — Я хотел сказать с самого начала и даже думал, что сказал. Я сразу же узнал их, то есть ее, я хочу сказать. Тот джентльмен, что прошлую зиму лежал больной в „Драконе“, сэр, и молодая леди, что ухаживала за ним.

У Тома подкосились ноги, и он просто зашатался от изумления при виде того, какое действие произвели на мистера Пекснифа эти простые слова. Страх потерять благосклонность старика чуть ли не в ту самую минуту, как они примирились, из-за того только, что Джонас гостит у него в доме; сознание, что он не может выгнать Джонаса, запереть его или связать по рукам и по ногам и спрятать в погреб для угля, не разобидев его непоправимо; ужасный раздор, воцарившийся в его доме, и невозможность привести свое семейство к благопристойному согласию, поскольку Чарити находилась в сильнейшей истерике, Мерси — в полном расстройстве чувств, Джонас в гостинной, а Мартин Чезлвит со своей молоденькой воспитанницей у самого порога; отсутствие всякой надежды как-нибудь скрыть или правдоподобно объяснить такую суматоху; внезапное нагромождение неразрешимых трудностей и неминуемых бед над его обреченной гибели головой — ибо он рассчитывал выпутаться, полагаясь на время, удачу, случай и собственные происки, — до такой степени привели в ужас застигнутого врасплох архитектора, что если бы Том был

Горгоной^[61], взиравшей на мистера Пекснифа, а мистер Пексниф Горгоной, взиравшей на Тома, они едва ли могли бы испугать друг друга более.

— Боже, боже! — воскликнул Том. — Что я наделал? А я-то надеялся, что это будет для вас приятный сюрприз. Думал, вы обрадуетесь.

И в эту самую минуту послышался громкий стук в дверь.

Глава XXI

Опять Америка. Мартин берет себе компаньона и делает покупку. Нечто об Эдеме, каким он представляется на бумаге. А также о британском льве. А также о том, какого рода чувства высказывала и питала Объединенная Ассоциация Уотертостских Сочувствующих.

Стук в дверь мистера Пекснифа, хотя и довольно громкий, несколько не был похож на шум американского поезда на полном ходу. Может быть, лучше прямо начать главу с этого откровенного признания, чтобы читатель не вообразил, будто оглушительный шум, который сейчас ворвался в наш рассказ, имеет какое-либо отношение к дверному молотку мистера Пекснифа или к тому сильному волнению, в которое бесцеремонность этого молотка повергла в равной мере и мистера Пинча и его достойного патрона.

Дом мистера Пекснифа находится более чем за тысячу миль от нас, и высокими спутниками нашего счастливого повествования снова становятся Свобода и Нравственность. Снова мы дышим благодатным воздухом независимости, снова созерцаем с благоговейным трепетом ту высокую нравственность, которая отнюдь не намерена воздавать кесарю кесарево; снова вдыхаем священную атмосферу, воспитавшую того благородного патриота — о, сколько нашлось у него подражателей! — который мечтал о свободе в объятиях рабыни, а наутро продавал с публичного торго ее и своих детей^[62].

Как стучат и лязгают колеса, как дрожат рельсы, когда поезд несется вперед! Но вот завыл паровоз, словно его бьют и терзают, как живого раба, и он корчится в муках. Пустая фантазия! Сталь и железо ценятся в этой республике гораздо выше плоти и крови. Если это хитроумное создание рук человеческих заставить работать сверх сил, оно в самом себе найдет средства для мщенья; а несчастный механизм, созданный божественной рукой, не обладает такими опасными свойствами — его можно гнуть, ломать и калечить сколько угодно надсмотрщику! Взгляните на этот паровоз! Удовлетворяя оскорбленный закон, налагающий взыскания и штрафы, человек заплатит гораздо дороже, если в разрушительном буйстве искорежит эту бесчувственную массу металла, чем если убьет двадцать себе подобных.

Машинист того поезда, шум которого привлек наше внимание в начале

главы, не смущался такими размышлениями; маловероятно, чтобы его вообще тревожили какие-нибудь мысли. Сидя в равнодушной позе, скрестив руки и положив ногу на ногу, он курил, прислонившись к стенке; и кроме тех случаев, когда он выражал коротким, как его трубка, ворчаньем одобрение кочегару, который от нечего делать швырял дровами в коров, забредавших на рельсы, он сохранял невозмутимое спокойствие, как если бы паровоз интересовал его не больше какого-нибудь поросенка. Несмотря на полную неподвижность этого должностного лица и его душевное равновесие, поезд шел полным ходом, и так как рельсы были уложены очень небрежно, его потряхивало и подталкивало на ходу довольно часто и довольно ощутительно.

Паровоз тащил за собой три длинных крытых вагона: вагон для дам, вагон для мужчин и вагон для негров — последний из уважения к его пассажирам был выкрашен в черную краску. Мартин с Марком Тэпли ехали в первом вагоне, самом удобном; он был далеко не полон, а потому в него пускали также и джентльменов, лишенных, как и они, удовольствия ехать со своими дамами. Оба они сидели рядом и были заняты серьезным разговором.

— Значит, Марк, — говорил Мартин, озабоченно глядя на своего спутника, — вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком?

— Да, сэр, — сказал Марк, — я рад. Очень даже рад!

— Разве вам там не было „весело“? — спросил Мартин.

— Наоборот, сэр, — ответил Марк. — Самой веселой неделей в моей жизни была как раз эта неделя у Паукинсов.

— Что вы думаете о нашем будущем? — спросил Мартин с таким выражением, которое ясно говорило, что он долго не решался задать этот вопрос.

— Чего уж лучше, сэр, — ответил Марк. — Невозможно подобрать для города название удачнее, чем Долина Эдема. Лучше и не придумаешь места, где поселиться, как в Долине Эдема. А еще говорят, — прибавил Марк, помолчав, — там уйма змей, — значит, все, как полагается, на своем месте.

Лицо Марка несколько не омрачилось при этом радостном сообщении, наоборот — так просияло, что посторонний человек мог бы предположить, будто он всю жизнь стремился попасть в общество змей и теперь с восторгом приветствует исполнение своих заветных желаний.

— Кто это вам сказал? — сурово спросил Мартин.

— Один военный, офицер.

— Подите вы к черту, только насмешили! — воскликнул Мартин,

невольно расхохотавшись. — Какой офицер? Вы же знаете, что их тут видимо-невидимо.

— Как огородных пугал в Англии, сэр, — подхватил Марк, — те тоже военные, вроде здешнего ополчения: мундир, жилет, а внутри палка. Ха-ха! Не обращайтесь внимания, сэр, это со мной бывает. Не могу не смеяться. Ну как же! Один из этих захватчиков-победителей у Паукинсов говорит мне: „Верно ли, я слышал, — говорит, и не то чтобы гнусит, а так, будто у него в носу сидит пробка где-то очень глубоко, — верно ли, что вы едете в Долину Эдема?“ — „Я тоже слышал что-то в этом роде“, — говорю я. „О! — говорит он. — Так если вам случится там лечь в кровать, а это может случиться, говорит, со временем цивилизация все совершенствуется, так не забудьте захватить с собой топор“. Я гляжу на него во все глаза. „Блохи?“ — спрашиваю. „Хуже“, — говорит он. „Вампиры?“ — спрашиваю. „Хуже“, — говорит он. „Так что же еще?“ — спрашиваю. „А еще змеи, — говорит он, — гремучие змеи. До некоторой степени вы правы, незнакомец. Всякая мелочь там тоже водится, разные кусачие кровопийцы, которые любят пастись на человеческой шкуре, только на них обращать внимания нечего, с ними даже веселей. А вот змеи, говорит, против них вы будете возражать; как проснетесь и увидите, что она стоит торчком на вашей постели, вроде штопора без ручки, так прямо и рубите ее сплеча, она ядовитая“.

— Почему вы мне раньше этого не сказали? — воскликнул Мартин с таким выражением лица, которое являло полную противоположность жизнерадостной улыбке Марка.

— Как-то не догадался, сэр, — сказал Марк. — В одно ухо влетело, в другое вылетело. А впрочем, господь с ним, он, наверно, из другой земельной компании и выдумал всю эту историю, чтобы мы ехали к нему в Эдем, а не к его конкурентам.

— Это, пожалуй, возможно, — заметил Мартин. — Сказать по чести, я на это сильно надеюсь.

— Я в этом уверен, сэр, — возразил Марк, который как необычайно воодушевился под влиянием своего анекдота, что на минуту позабыл, как это может подействовать на его хозяина, — ведь нам все-таки надо жить, знаете ли.

— Жить! — воскликнул Мартин. — Да, легко сказать! А если мы не проснемся, когда змеи начнут извиваться штопором у нас на кровати?

— А между тем это факт, — сказал чей-то голос так близко от его уха, что ему стало щекотно. — Это прискорбная истина.

Мартин оглянулся и увидел, что незнакомец, сидевший на задней

скамейке, просунул голову между ним и Марком и прислушивается к их разговору, опершись подбородком на спинку скамьи. По внешности он был такой же вялый и безжизненный, как и большинство встречавшихся им здесь джентльменов; щеки у него были такие втянутые, как будто он все время их всасывал, да и цвет лица не стал от загара здоровее, а сделался каким-то грязно-желтым. Его блестящие черные глаза были полузакрыты, и глядел он как-то искоса, словно говоря: „Вам меня не пережитрить: и хочется, да не выйдет“. Наклонившись вперед, незнакомец небрежно упирался руками в колени; в левой руке он держал плитку табаку, как английские фермеры держат кусок сыра, а в правой перочинный ножик. Он так бесцеремонно вмешался в разговор, как будто его давным-давно пригласили принять в нем участие, выслушать обе стороны и осчастливить их, изложив свое мнение; видно, ему и в голову не приходило, что с ним, быть может, вовсе не желают знакомиться и посвящать его в свои личные дела; это его так же мало тревожило, как какого-нибудь медведя или бизона.

— Да, это прискорбная истина, — повторил он, снисходительно кивая Мартину, как совершенному варвару и чужестранцу. — Там до черта всяких гадов.

Мартин невольно нахмурился в первую минуту, как бы давая понять, что незнакомец тоже входит в их число. Однако, вспомнив, что благоразумие велит с волками выть по-волчьи, он улыбнулся с самым любезным выражением, какое можно было принять за такое короткое время.

Впрочем, незнакомец не сказал ничего больше; он тихонько насвистывал, отрезая себе новую порцию жвачки от плитки табаку. Обкромсав ее по своему вкусу, он вынул изо рта старую жвачку и положил на спинку скамьи между Марком и Мартином, а новую сунул за щеку, где она оттопыривалась, как крупный орех или небольшое яблоко. Найдя ее вполне удовлетворительной, он воткнул кончик ножа в старую жвачку и, показав ее своим спутникам, заметил с видом человека, который недаром провел время, что она здорово изжевана. Потом выбросил жвачку в окно, сунул нож в один карман, а табак в другой, снова оперся подбородком на спинку скамьи и, одобрительно глядя на узорчатый жилет Мартина, протянул руку, чтобы пощупать материю.

— Как это по-вашему называется? — спросил он.

— Честное слово, не знаю, — сказал Мартин.

— Должно быть, платили доллар за ярд, а то и больше?

— Право, не знаю.

— У нас в Америке, — сказал незнакомец, — мы знаем, сколько стоят наши изделия.

Наступило молчание, так как Мартин не стал обсуждать этот вопрос.

— Ну, — продолжал новый знакомый, пристально глядевший на них все время, пока они молчали, — как поживает зловредная старуха?

Мистер Тэпли, усмотрев в этом вопросе новую версию непочтительного английского вопроса: „Как поживает наша мамаша?“ — собирался уже обидеться, но Мартин быстро вмешался:

— Вы спрашиваете про Англию? — сказал он.

— Да! — был ответ. — Как она? Все пятится назад, я полагаю? Все по-старому? Ну, а как королева Виктория^[63]?

— Кажется, в добром здоровье, — сказал Мартин.

— У королевы Виктории не дрожат ее королевские поджилки при мысли о завтрашнем дне? — заметил незнакомец. — Нет?

— Насколько мне известно, не дрожат. Да и с какой стати?

— Ее не затрясет лихорадка, когда она узнает, что тут у нас делается? — спросил незнакомец. — Нет?

— Нет, — сказал Мартин. — Думаю, что могу в этом поклясться.

Незнакомец поглядел на него, словно сожалея о его невежестве и предрассудках, и сказал:

— Ну, сэр, вот что я вам скажу: во всех благословенных богом и свободных Штатах не найдется ни одной машины со взорванным котлом, которая была бы так расшатана и разбита, как будет потрясено и разбито это юное создание в роскошных чертогах лондонского Тауэра^[64], когда прочтет следующий экстренный выпуск нашей „Уотертостской газеты“.

Во время этого диалога некоторые из пассажиров встали со своих мест и подошли к беседующим. Все они были в восторге от речи своего соотечественника. Один сухопарый джентльмен в плохо завязанном измятом белом галстуке, длинном белом жилете и черном пальто, по-видимому пользовавшийся авторитетом, счел нужным выразить их чувства.

— Гм! Мистер Лафайет Кеттл! — сказал он, снимая шляпу.

Послышался почтительный шепот: „Тише!“

— Мистер Лафайет Кеттл! Сэр!

Мистер Кеттл поклонился.

— От имени всех собравшихся, сэр, от имени нашего общего отечества и от имени святого дела, сочувствие к которому нас всех объединяет, благодарю вас. Благодарю вас, сэр, от имени Уотертостской Ассоциации Сочувствующих, благодарю вас, сэр, от имени „Уотертостской

газеты“, благодарю вас, сэр, от звездного знамени великих Соединенных Штатов за ваше красноречивое и решительное выступление. И если бы, сэр, — продолжал оратор, тыча в Мартина ручкой зонтика, так как тот прислушивался к словам Марка, шептавшего ему что-то на ухо, — если бы я мог, в данное время и при данных обстоятельствах, заключить свою речь пожеланием, весьма близко относящимся к затронутому предмету, я бы сказал, сэр: пусть благородный клюв Американского Орла вырвет когти Британскому Льву и научит его извлекать из Ирландской Арфы и Шотландской Скрипки те звуки, какие издает каждая пустая раковина на зеленых берегах Колумбии!

Под восторженный ропот слушателей долговязый джентльмен снова уселся на место; все приняли чрезвычайно важный вид.

— Генерал Чок, — сказал мистер Лафайет Кеттл, — вы согрели мне сердце, сэр, вы согрели мне сердце. Но Британский Лев имеет здесь своего представителя; сэр, и мне хотелось бы слышать, что он на это ответит.

— Право, — сказал Мартин, смеясь, — раз уж вы делаете мне честь и считаете меня представителем Британского Льва, то могу сказать, что я никогда не слыхал, чтобы королева Виктория читала эту вашу газету — как ее? — это вряд ли возможно.

Генерал Чок улыбнулся остальным и разъяснил терпеливо и благосклонно:

— Газету ей посылают, сэр. Посылают. По почте.

— Но если ее посылают в лондонский Тауэр, она вряд ли доходит по адресу, — возразил Мартин, — королева там не живет.

— Английская королева, джентльмены, — заметил мистер Тэпли с невозмутимым лицом, разыгрывая величайшую вежливость, — английская королева обыкновенно живет на Монетном дворе, чтобы присматривать за деньгами. А по должности у нее имеется квартира в доме у лорд-мэра, только она не часто ее занимает, оттого что камин в гостиной дымит.

— Марк, — сказал Мартин, — вы очень меня обяжете, если будете так добры не вмешиваться со своими дурацкими замечаниями, как бы остроумны они вам ни казались. Я хотел только сказать, джентльмены, — хотя это вовсе не так важно, — что английская королева не живет в лондонском Тауэре.

— Генерал! — воскликнул мистер Лафайет Кеттл. — Вы слышите?

— Генерал! — подхватили другие. — Генерал!

— Тс-с! Попрошу тише! — поднимая руку, сказал генерал Чок таким терпеливым и снисходительным тоном, что приятно было слышать. — Я всегда считал чрезвычайно странным то обстоятельство (я приписываю его

характеру британских учреждений и их наклонности подавлять любознательность народа, столь широко распространенную даже в самых глухих углах нашего материка), что познания англичан в этих предметах не могут сравниться с теми, какими обладают просвещенные и деятельные граждане нашей страны. То, что вы говорите, весьма любопытно и подтверждает мои наблюдения. Когда вы заявляете, сэр, — продолжал он, обращаясь к Мартину, — что ваша королева не живет в лондонском Тауэре, вы впадаете в заблуждение, нередко свойственное вашим соотечественникам, даже в тех случаях, когда их умственные и нравственные достоинства не вызывают никаких сомнений. Но вы ошибаетесь, сэр. Она живет там...

— Когда бывает в Сент-Джеймском дворце, — вмешался Кеттл.

— Когда бывает в Сент-Джеймском дворце, разумеется, — повторил генерал все так же благосклонно, — потому что, когда она живет в Виндзоре, она не может находиться в Лондоне. Ваш лондонский Тауэр, — продолжал генерал, кротко улыбаясь, в сознании собственной просвещенности, — естественно является резиденцией ваших королей. Расположенный в непосредственном соседстве с вашими парками, вашими аллеями, вашими триумфальными арками, вашей Оперой и вашими залами Олмэка^[65], он представляет собой самую подходящую резиденцию для блистательного и легкомысленного двора. И следовательно, — заключил генерал, — двор находится там.

— Вы бывали в Англии? — спросил Мартин.

— Мысленно бывал, сэр, — сказал генерал, — но не иначе. Мы здесь много читаем, сэр. Вы встретите среди нас такую осведомленность, сэр, что просто изумитесь.

— Я в этом несколько не сомневаюсь, — ответил Мартин. Но тут его прервал мистер Лафайет Кеттл, шепнув ему на ухо:

— Вы знаете генерала Чока?

— Нет, — ответил Мартин также шепотом.

— А знаете, кто он такой?

— Один из самых замечательных людей в стране? — сказал Мартин наудачу.

— Совершенно верно, — подтвердил Кеттл. — Я так и знал, что вы о нем слышали!

— Кажется, — сказал Мартин, снова обращаясь к генералу, — у меня есть рекомендательное письмо к вам, сэр; имею честь вручить его. От мистера Бивена, из Массачусетса, — прибавил он, подавая письмо.

Генерал взял его и внимательно прочел, время от времени

останавливаясь, чтобы взглянуть на двух незнакомцев. Прочитав записку, он подошел к Мартину, сел рядом с ним и пожал ему руку.

— Ну-с, — сказал он, — так вы думаете поселиться в Эдеме?

— Спросив вашего мнения и посоветовавшись с агентом, — отвечал Мартин. — Мне говорили, что в старых городах нам нечего будет делать.

— Могу познакомить вас с агентом, сэр, — сказал генерал. — Я его знаю. В сущности, я и сам состою в Эдемской земельной компании.

Это была важная новость, так как друг Мартина придавал большое значение тому, что генерал не имеет отношения ни к одной земельной компании и, следовательно, может дать ему беспристрастный совет. Генерал объяснил, что он вступил в общество всего несколько недель назад и за это время не имел известий от мистера Бивена.

— Мы вкладываем очень немного, — озабоченно сказал Мартин, — всего несколько фунтов, но это все, что у нас есть. Как вы думаете, обещает ли эта спекуляция хоть какой-нибудь успех человеку моей профессии?

— Что ж, — важно заметил генерал, — если бы эта спекуляция не обещала никаких выгод, в нее не были бы вложены мои доллары, я так думаю.

— Я имею в виду не продавцов, — сказал Мартин, — а покупателей, покупателей!

— Покупателей, сэр? — отозвался генерал в высшей степени внушительно. — Вы приехали из Старого Света, сэр, из страны, сэр, которая возвела себе башни не ниже Вавилонской^[66] и поклонялась золотому тельцу целые века. Мы — молодая страна, сэр; человек здесь ближе к природе; мы не можем оправдываться тем, что с течением времени впали в развращенность; у нас нет кумиров; человек здесь, сэр, не потерял своего человеческого достоинства. Мы сражались за это, и ни за что другое. Вот я, сэр, — сказал генерал, выдвигая вперед зонтик, который должен был изображать его (и дрянной же это был зонтик; никуда не годная замена для такой полноценной монеты, как генеральская благосклонность!), — вот я, сэр, человек немолодой и благонамеренный. Так неужели же я, с моими правилами, вложил бы средства в эту спекуляцию, если бы думал, что она не принесет успеха моему ближнему?

Мартин постарался сделать вид, что верит, но вспомнил Нью-Йорк и не смог.

— Для чего существуют великие Соединенные Штаты, сэр, — продолжал генерал, — как не для возрождения человека? Но с вашей стороны вполне естественно задавать такие вопросы, ведь вы приехали из Англии и не знаете моей родины.

— Так вы думаете, — сказал Мартин, — что, невзирая на известные лишения, которые мы готовы терпеть, все же можно — видит бог, мы не ждем многого, — можно рассчитывать хоть на какой-нибудь заработок в Эдеме?

— Какой-нибудь заработок в Эдеме? Но повидайтесь с агентом, повидайтесь с агентом; посмотрите карты и планы, сэр, и решайте, ехать вам или не ехать, сообразившись с характером поселения. Эдему пока еще нет нужды просить милостыню, сэр, — заметил генерал.

— Очень красивое место, вот именно! И очень здоровое к тому же, — сказал мистер Кеттл, который, разумеется, участвовал в разговоре, словно это так и полагалось.

Мартин чувствовал, что оспаривать такое утверждение, не имея на это других причин, кроме собственных тайных опасений, было бы неприлично и не по-джентльменски. Поэтому он поблагодарил генерала за обещание познакомить его с агентом и условился зайти к этому важному лицу завтра утром. Он попросил генерала объяснить ему, что такое Уотертостская Ассоциация Сочувствующих, о которой тот упомянул, обращаясь с речью к мистеру Лафайету Кеттлу, и чему она, собственно, сочувствует. На это генерал ответил очень важно, что он может вполне просветиться на этот счет завтра в том городе, куда они едут, посетив общее собрание Ассоциации, „на котором, сэр, мои сограждане просили меня быть председателем“.

Они прибыли к месту своего назначения поздно вечером. Рядом с железной дорогой высилось огромное белое здание, похожее на безобразную больницу, с вывеской: „Национальный отель“. По его фасаду тянулась деревянная галерея, или веранда, являвшая довольно странный вид, ибо, когда поезд остановился, на ней можно было заметить торчавшие кверху сапоги и ботинки, а также клубы сигарного дыма — и никаких других следов человеческого присутствия. Постепенно, однако, показались головы и плечи, принадлежавшие сапогам и ботинкам, и тогда обнаружилось, что некоторые постояльцы наслаждаются таким образом вечерней прохладой, оригинальности ради задрав пятки туда, где полагалось бы быть голове, если бы дело происходило в другой стране.

В отеле оказался большой бар и большая общая зала, где уже накрывали общий стол к ужину. Тут имелись бесконечные выбеленные известкой лестницы, длинные выбеленные коридоры и внизу и наверху десятки маленьких выбеленных спален на всех этажах и веранда, которая шла вокруг всего дома; самый же дом представлял собой большой прямоугольник с уютным двориком посередине. Зевавшие джентльмены

расхаживали взад и вперед, засунув руки в карманы; но и внутри дома, и перед домом, и везде, где только ни собиралось вместе человек десять, все они своим видом, костюмом, нравами, привычками, умом и разговором повторяли мистера Джефферсона Брика, полковника Дайвера, майора Паукинса, генерала Чока и мистера Лафайета Кеттла, — повторяли без конца. Все они делали одно и то же, говорили одно и то же, судили обо всем одинаково и подходили ко всему с одной и той же меркой. Наблюдая, как они живут и как вращаются в очаровательном обществе друг друга, Мартин начал понимать, почему из них вышли такие общительные, жизнерадостные, привлекательные и покладистые люди.

Под заунывные звуки гонга это приятное общество сошлось со всех концов дома в общую залу; из соседних лавок явились толпы постояльцев, ибо в „Национальном отеле“ жило полгорода, и семейные и одинокие. Чай, кофе, копченое мясо, языки, ветчина, пикули, печенье, гренки, варенье, консервы и хлеб с маслом уничтожались с обычной быстротой, после чего, как водится, общество разошлось — кто в контору, кто на склад, а кто и в бар. У дам была своя столовая, поменьше, куда, по желанию, допускались мужья и братья; а время они проводили совершенно так же, как у Паукинсов.

— Ну, милый мой Марк, — сказал Мартин, закрывая дверь своей маленькой комнатки, — надо нам с вами серьезно посоветоваться, потому что завтра решается наша судьба. Вы твердо намерены присоединить ваши сбережения к общему капиталу?

— Если бы я не был намерен рискнуть, сэр, — отвечал мистер Тэпли, — я бы сюда и не поехал.

— Сколько тут, вы говорили? — спросил Мартин, показывая ему маленький мешочек.

— Тридцать семь фунтов десять шиллингов и шесть пенсов. По крайней мере так мне сказали в сберегательной кассе, сам я не считал. Они там уж знают, что вы! — сказал Марк, кивнув головой в знак безграничного доверия к мудрости и счетным талантам этого учреждения.

— Из тех денег, что мы привезли с собой, — сказал Мартин, — осталось восемь фунтов без нескольких шиллингов.

Мистер Тэпли улыбнулся, всеми силами стараясь показать, что он этому не придает никакого значения.

— За кольцо — ее кольцо, Марк... — сказал Мартин, с грустью глядя на свой палец без кольца.

— Да! — вздохнул мистер Тэпли. — Извините меня, сэр.

— ...мы получили четырнадцать фунтов, считая на английские деньги.

Так что даже с этим, как видите, ваша доля капитала гораздо больше, чем моя. Ну, Марк, — сказал Мартин совсем по-старому, как он, бывало, говорил с Томом Пинчем, — я придумал, чем отплатить вам за это, и не только отплатить, но, надеюсь, изменить к лучшему ваши виды на будущее.

— Давайте не будем об этом говорить, сэр, — возразил Марк. — Мне ничего не надо. Я всем доволен, сэр, право, доволен.

— Нет, выслушайте меня, — сказал Мартин, — это очень важно для вас, и мне будет очень приятно. Марк, я вас сделаю своим компаньоном, на равных правах со мной. В добавление к капиталу я вкладываю свои профессиональные знания и способности и уступаю вам половину годовой прибыли, пока мы ведем дело вместе.

Бедный Мартин! Он вечно строил воздушные замки. В своем эгоизме он вечно забывал обо всем, кроме своих радужных надежд и оптимистических планов. Даже в эту минуту он воображал, будто покровительствует Марку и щедро вознаграждает его, и гордился этим.

— Не знаю, сэр, что и сказать вам в благодарность, — возразил Марк далеко не так весело, как обыкновенно, хотя и совсем по другой причине, чем думал Мартин. — По мере сил буду служить вам, сэр, до самого конца. Вот и все.

— Мы с вами во всем согласны, мой милый, — сказал Мартин, становясь еще самодовольнее и снисходительнее. — Мы больше не господин и слуга, а друзья и компаньоны, к обоюдной выгоде. Если мы решим ехать в Эдем, то, как только туда приедем, начнем дело под фирмой, — Мартин всегда ковал железо, пока оно горячо, — Чезлвит и Тэпли.

— Господь с вами, сэр, — воскликнул Марк, — зачем вам мое имя? Я и дела-то не знаю. Пускай я буду „и К^о“, согласен. Мне часто приходило в голову, как бы узнать, что это за „и К^о“ такая. Вот уж не думал, что сам туда попаду.

— Пусть будет по-вашему, Марк.

— Благодарю вас, сэр. Если какому-нибудь тамошнему помещику понадобится устроить кегельбан для трактира или для себя лично, я бы справился с этим делом, сэр.

— Не хуже любого архитектора в Штатах, — сказал Мартин. — Принесите-ка два шерри-коблера, мы с вами выпьем за успехи фирмы.

Он или забыл уже (как и потом частенько забывал), что они больше не хозяин и слуга, или считал такого рода услуги входящими в обязанности „и К^о“. Марк повиновался приказу с обычной своей живостью; и, прежде чем

разойтись на ночь, они условились, что завтра утром вместе пойдут к агенту, но что Мартин один будет решать вопрос об Эдеме, по своему усмотрению. И Марк не ставил себе этой уступки в заслугу, хотя бы наедине с самим собой или во имя пущей веселости. Он отлично знал, что дело так или иначе кончится этим.

На следующий день генерал появился за общим столом и после завтрака предложил им не теряя времени отправиться к агенту. Оба компаньона, не желая ничего лучшего, согласились; и все они втроем тут же отправились в контору эдемской компании, которая находилась на расстоянии ружейного выстрела от „Национального отеля“.

Она была очень невелика — что-то вроде будки при шлагбауме. Но если большой участок земли может уместиться в стаканчике для игральные костей, то почему же нельзя торговать целой территорией в сарае? К тому же помещение было временное; эдемцы собирались выстроить великолепное здание для торговли участками и даже присмотрели место, а в Америке это уже половина дела. Дверь конторы была распахнута настежь, и в дверях они увидели самого агента; без сомнения, это был ловкач по своей части, ибо все дела, как видно, были у него уже сделаны, и он качался в качалке, упираясь одной ногой в притолоку, а другую подложив под себя, словно высиживал ее, как курица яйца.

Это был костлявый человек в громадной соломенной шляпе и зеленом сюртуке. По случаю жаркой погоды он был без галстука и с расстегнутым воротничком рубашки, так что когда он говорил, видно было, как в горле у него что-то дергается и подскакивает, будто молоточки в клавишках. Быть может, истина пыталась пробиться к его устам? Если так, это ей не удалось.

Два серых глаза прятались глубоко в глазницах агента, но один из них ничего не видел и был совершенно неподвижен. Одна сторона лица у него как будто прислушивалась к тому, что делает другая. Таким образом, каждая сторона профиля имела свое выражение, и когда подвижная сторона была всего оживленней — неподвижная хладнокровно наблюдала. Это было все равно что вывернуть человека в самом лучезарном настроении наизнанку и увидеть, какое холодное и расчетливое у него лицо изнутри.

Каждый длинный черный волос на его голове висел прямо, как нитка отвеса, зато над глазами вместо бровей были какие-то взъерошенные кустики, словно гусь, чьи лапки глубоко отпечатались по углам его глаз, исщипал и выклевал их, признав в нем хищную птицу.

Таков был человек, к которому они подходили и которого генерал, здороваясь, назвал Скэддером.

— Ну, генерал, — отвечал тот, — как поживаете?

— Бодр и деятелен; тружусь на пользу отечеству и для общего блага. Два джентльмена к вам, мистер Скэддер.

Скэддер пожал руку и тому и другому (в Америке ничего не делается без рукопожатия) и продолжал раскачиваться в качалке.

— Кажется, я знаю, по какому делу пришли сюда эти незнакомцы, не так ли, генерал?

— Да, сэр, думаю, что знаете.

— У вас длинный язык, генерал. Много болтаете, вот что, — сказал Скэддер. — Вы отлично выступаете на общественных собраниях, но только в частных разговорах надо быть поосмотрительнее. Вот что!

— Ничего ровно не понимаю, хоть повесьте! — ответил генерал, подумав.

— Вы же знаете, что мы не собирались продавать участки первому встречному, — сказал Скэддер, — а решили приберечь их для природных аристократов. Да!

— Так ведь вот же они, сэр! — с жаром воскликнул генерал. — Вот они, сэр.

— Ну и ладно, когда так, — укоризненным тоном ответил Скэддер. — Нечего вам на меня злиться, генерал.

Генерал шепнул Мартину, что Скэддер честнейший малый и что он даже за десять тысяч долларов не решился бы его обидеть.

— Я выполняю свой долг, охраняю интересы моих ближних, а они же на меня и злятся, — негромко сказал Скэддер, глядя на дорогу и по-прежнему раскачиваясь в качалке. — Они сердятся, что я мешаю им распродавать Эдем по дешевке. Вот вам человеческая природа! Да!

— Мистер Скэддер, — произнес генерал, принимая позу оратора. — Сэр! Вот вам моя рука, и вот вам мое сердце. Я уважаю вас, сэр, и прошу вашего прощения. Эти джентльмены мои друзья, сэр, иначе я не привел бы их сюда, хорошо зная, что участки теперь продаются слишком дешево. Но это друзья, сэр, мои близкие друзья.

Мистер Скэддер был так доволен этим объяснением, что горячо пожал генералу руку и даже встал для этого с качалки. После чего он пригласил „близких друзей“ генерала войти в контору. Сам же генерал заметил с обычной своей благожелательностью, что не хочет мешаться в их дела, поскольку состоит в земельной компании, и, усевшись в качалку, стал смотреть на дорогу, подобно доброму самаритянину, поджидающему путника^[67].

— Ого! — воскликнул Мартин, заметив большой план, занимавший всю стену конторы. Впрочем, в конторе, кроме этого плана, не было почти

ничего, если не считать ботанических и геологических образцов, двух-трех засаленных конторских книг да некрашеной конторки и стула. — Ого! Это что такое?

— Это Эдем, — сказал Скэддер, ковыряя в зубах чем-то вроде микроскопического штыка, выскочившего из перочинного ножика при нажатии пружинки.

— Я понятия не имел, что это целый город!

— Не имели? Да, это целый город.

И цветущий город! Застроенный город! Тут были банки, церкви, соборы, фабрики, рынки, гостиницы, магазины, особняки, пристани, биржа, театр, общественные здания всякого рода, вплоть до редакции ежедневной газеты „Эдемский скорпион“, — все это было очень точно нанесено на план.

— Боже мой! Да ведь это в самом деле большой город! — воскликнул Мартин, оборачиваясь.

— Да, очень большой, — заметил агент.

— Боюсь только, — сказал Мартин, опять разглядывая общественные здания, — что мне там нечего будет делать.

— Ну, он не весь отстроен, — возразил агент. — Не совсем еще.

Мартин вздохнул свободнее.

— Например, вот этот рынок? — спросил Мартин. — Он построен?

— Вот этот? — сказал агент, тыча зубочисткой во флюгер на крыше. — Позвольте-ка! Нет, этот еще не построен.

— Недурно было бы начать с него. А, Марк? — прошептал Мартин, толкая своего компаньона локтем.

Марк, который с самым невозмутимым видом, поглядывая то на агента, то на план, ответил только:

— Еще бы!

Наступила мертвая тишина; мистер Скэддер, по временам давая отдых зубочистке, насвистывал „Янки Дудл“^[68] и сдувал пыль с крыши театра.

— Я думаю, — сказал Мартин, делая вид, что пристально разглядывает план, но с дрожью в голосе, которая показывала, с какой тревогой он ожидает ответа, — я думаю, там... уже есть архитекторы?

— Ни единого, — сказал Скэддер.

— Марк, — прошептал Мартин, дергая его за рукав, — вы слышите? Но кто же тогда строил все это? — спросил он вслух.

— Земля там очень плодородная, так постройки, может, сами из нее лезут? — предположил Марк.

Он стоял рядом с агентом, с незрячей его стороны, но Скэддер

мгновенно повернулся и устремил на него свой зрячий глаз.

— Пощупайте мои руки, молодой человек, — сказал он.

— Зачем? — спросил Марк, отклоняя это предложение.

— Грязны они или чисты, сэр? — протягивая руки, спросил Скэддер.

В прямом смысле слова они были решительно грязны. Но было очевидно, что мистер Скэддер предлагал исследовать их в переносном смысле, в качестве символов его нравственности, и потому Мартин поторопился объявить, что они чище только что выпавшего снега.

— Прошу вас, Марк, — сказал он с раздражением, — не вмешиваться с такими замечаниями; хотя они и безобидны, однако совершенно неуместны и вряд ли интересны для посторонних. Я вам удивляюсь.

„Вот „и К⁰“ и села в лужу, — подумал Марк. — Видно, придется „и К⁰“ быть без голоса, все равно как болвану в картах“.

Мистер Скэддер ничего не ответил, но прислонился спиной к плану и раз двадцать подряд ткнул зубочисткой в конторку, глядя на Марка, словно он его пронзал этим оружием.

— Вы не сказали, кто все это строил? — отважился, наконец, заметить Мартин кротким, примирительным тоном.

— Ладно, кто бы ни выстроил! — недовольно сказал агент. — Вам-то какое дело? Может, он укатил с целой кучей долларов, а может, не заработал ни цента. Может, он был лодырь, а может, и делец, каких мало. Да!

— Это все вы наделали, Марк! — сказал Мартин.

— Может, — продолжал агент, — эти растения вовсе не из Эдема. Да! Может, эта конторка и стул не из эдемского леса. Да! Может, туда не поехала целая орда поселенцев. Может, и совсем нет такого города в великих Соединенных Штатах! Все может быть!

— Надеюсь, вы довольны успехом вашей шутки, Марк? — сказал Мартин.

Но тут, как раз вовремя, вмешался генерал. Он с порога крикнул Скэддеру, чтобы тот дал его друзьям подробные сведения о небольшом участке в пятьдесят акров с домом, который раньше принадлежал компании и теперь снова вернулся в ее руки.

— Вы уж слишком расщедрились, генерал, — ответил агент. — На этот участок надо бы повысить цену. Да, да!

Тем не менее он, ворча, раскрыл свои книги и, все время повертываясь к Мартину зрячей половиной лица, каких трудов это ему ни стоило, показал ему одну страницу. Мартин прочел ее с жадностью и спросил:

— А где же это место на плане?
— На плане? — переспросил Скэддер.
— Да.

Агент повернулся к плану и с минуту раздумывал, как будто, задетый за живое, он решил быть точным до микроскопической доли волоска. Наконец, медленно описав зубочисткой несколько кругов в воздухе, словно только что выпущенный почтовый голубь, он вдруг ткнул зубочисткой в чертеж, пронзив посредине главную пристань.

— Вот! — произнес он, оставляя в стене дрожащий ножик. — Вот это где!

Мартин оглянулся на своего компаньона сияющими глазами, и тот понял, что дело кончено.

Заклучить сделку оказалось, однако, не так легко, как можно было ожидать, потому что Скэддер был не в духе, ко всему придирался и то и дело ставил им палки в колеса: то просил еще подумать и зайти опять через неделю-другую; то предсказывал, что участок им не понравится; то предлагал им отступить и уйти и, не стесняясь в выражениях, отчитывал генерала за безрассудство. Но в конце концов удивительно скромная сумма, которую просили за участок, всего сто пятьдесят долларов, или немногим больше тридцати английских фунтов, внесенных „и К^о“ в архитектурную фирму, были уплачены; Мартин сразу вырос от сознания, что владеет землей в цветущем городе Эдеме, и голова его стала дюйма на два ближе к деревянному потолку маленькой конторы.

— Если участок вам не подойдет, — сказал Скэддер, получив деньги и вручая Мартину все нужные документы, — на меня не обижайтесь.

— Нет, нет, — отвечал тот весело, — мы на вас обижаться не будем. Генерал, вы идете?

— Я к вашим услугам, сэр, и поздравляю вас с покупкой, — сказал генерал, снисходительно и важно подавая Мартину руку. — Теперь, сэр, вы гражданин самой могущественной и высокопросвещенной страны, какая украшает мир; страны, сэр, где человека связывают с человеком всеобъемлющие узы любви и справедливости. Будьте же достойны вашего нового отечества, сэр!

Мартин поблагодарил его и простился с мистером Скэддером, который занял свой пост в качалке, не успел генерал с нее слезть, и опять раскачивался с таким видом, как будто его и не беспокоили. Марк несколько раз оглядывался на него, пока они шли к „Национальному отелю“, но теперь к ним обращена была поврежденная сторона профиля, не выражавшая ничего, кроме сосредоточенного внимания. Удивительный

контраст с другой стороной! Агент был не смешлив и никогда не смеялся открыто, но каждая черточка гусиных лапок и каждая жилка на поврежденной стороне морщилась от смеха. Половинки двойной фигуры „Смерть и красавица“ на заставке к старой балладе не разделены более резко и не отличаются так страшно друг от друга, как отличались две стороны профиля Зефании Скэддера.

Генерал очень спешил, так как время подходило к двенадцати, а ровно в двенадцать должно было состояться большое собрание Уотертостской Ассоциации Сочувствующих в общей зале „Национального отеля“. Мартин не отставал от генерала, любопытствуя побывать на собрании и узнать, в чем же, собственно, дело, и, когда они вошли в залу, пробрался вслед за ним на маленькую платформу из сдвинутых вместе столов, где для генерала было поставлено кресло и где мистер Лафайет Кеттл, в качестве секретаря, торжественно раскладывал на столе какие-то документы, должно быть из категории „Забористых статей“.

— Ну, сэр, — сказал он, пожимая Мартину руку, — надеюсь, вы сейчас увидите такое зрелище, после которого британскому льву останется только поджать хвост и завывать от страха!

Мартин и сам думал, что британскому льву пришлось бы очень не по себе в таком ковчеге, но, разумеется, не высказал этой мысли. Чахлый юноша типа Джефферсона Брика предложил выбрать генерала председателем, а после того произнес весьма зажигательную речь, в которой много говорилось о домашнем очаге и об уничтожении цепей тирании.

Досталось-таки британскому льву, здорово досталось! Негодование пылкого гражданина Колумбии было беспредельно. Если бы он был собственным прадедом, говорил он, уж и задал бы он этому льву, проучил бы его, как укротитель, стальным бичом, так что тот долго не забыл бы урока. — Лев! — восклицал молодой колумбиец. — Где этот лев? Кто он и что он? Покажите мне этого льва! Подайте его сюда! Сюда! — восклицал он, становясь в позу борца. — На священный алтарь, — кричал молодой колумбиец, возводя в этот высокий ранг простой обеденный стол, — на прах наших предков, орошенный их доблестной кровью, которая лилась как вода на родных полях Чикабиддилика! Подайте мне этого льва! — говорил молодой колумбиец. — Я вызываю его один на один! Я смеюсь над ним! Я вперед говорю ему, что как только рука Свободы коснется гривы этого льва, он падет передо мною бездыханный и орлы нашей великой республики посмеются над ним! Ха-ха-ха!

Когда оказалось, что лев не явился, уклонившись от вызова, и что

молодой колумбиец, скрестив руки на груди, стоит один в сиянии славы, и орлы, надо полагать, бешено хохочут на горных вершинах, начались такие рукоплескания, что едва не дрогнули стрелки на часах Конногвардейского штаба в Лондоне^[69], изменив среднее время в столице Англии.

— Кто это такой? — телеграфировал Мартин Лафайету.

Секретарь с важным видом написал что-то на клочке бумаги, свернул записку и пустил по рукам, чтобы ее передали Мартину. Это был вариант известного изречения: „Быть может, один из самых замечательных людей нашей страны“.

Первого колумбийца сменил второй, нисколько не менее красноречивый, чем тот, который вызвал такую бурю рукоплесканий. Но оба замечательных молодых человека настолько увлеклись, что позабыли сказать (ибо истинная поэзия не унижается до мелочей), чему и кому сочувствует их Ассоциация, а также, в чем и каким образом выражается ее сочувствие. Поэтому Мартин довольно долго оставался во мраке неведения, пока, наконец, секретарь не пролил свет на этот вопрос, читая протоколы прежних заседаний, и таким образом дело несколько разъяснилось. Мартин узнал, что члены Ассоциации сочувствуют одному общественному деятелю Ирландии, который вел борьбу с Англией по некоторым вопросам; и что они ему сочувствуют потому только, что ненавидят Англию, а вовсе не потому, что любят Ирландию; наоборот, к ирландцам они относились крайне недоверчиво и подозрительно и терпели их только за то, что они усердные работники, полезные этой республике „простецов“, где труд презирают больше, чем в какой бы то ни было другой стране. Мартину любопытно было услышать, чем объяснит Ассоциация свое сочувствие, и ждать ему пришлось недолго, ибо генерал поднялся с места и прочел письмо этому общественному деятелю, написанное им собственноручно.

— Друзья мои и сограждане, — провозгласил генерал, — вот это письмо:

„Сэр,

Я обращаюсь к вам от имени Уотертостской Ассоциации Сочувствующих. Она основана, сэр, в нашей великой американской республике! Ныне она, затаив дыхание и вся обратившись в слух, следит с напряженным вниманием и горячим сочувствием за вашей борьбой во имя Свободы“.

При слове „Свобода“ и при каждом повторении этого слова все

сочувствующие громко провозглашали „ура“ девятью девять раз и еще девять раз подряд.

— „Во имя Свободы, сэр, священной Свободы, обращаюсь к вам и я. Во имя Свободы посылаю вам вклад в фонды вашего общества. Во имя Свободы, сэр, я с негодованием и отвращением упоминаю о том ненавистном животном, чья морда обагрена кровью, чья жгучая злоба и неистовая алчность всегда были бичом и язвой для всего света. Нагие посетители острова Крузо, сэр, летающие жены Питера Вилкинса^[70], младенцы в лесу и даже великаны, когда-то водившиеся в горных районах Корнуэлса, — все они одинаково свидетельствуют о свирепости его натуры. Где Синие Бороды, маркизы Карабасы, знаменитые людоеды, память о которых живет в истории? Все они, все до одного истреблены его беспощадной лапой!

Я намекаю, сэр, на Британского Льва.

Преданные Свободе душой и телом, сэр, Свободе, которая радуется и утешает улитку на дверях погреба, устрицу на ее перламутровом ложе, тихого клеща в его родном сыре и даже вашего английского слизняка в его раковине, — от ее незапятнанного имени мы выражаем вам свое сочувствие. О сэр, в нашей возлюбленной и счастливой стране пламя Свободы горит ярко и чисто, не давая дыма; как только оно загорится и у вас, лев будет изжарен целиком.

Во имя Свободы, сэр, остаюсь вашим преданным другом, неизменно сочувствующий вам

Сайрес Чок,

генерал ополчения США“.

Как раз в ту минуту, когда генерал начал читать свое письмо, пришел поезд, доставивший последнюю почту из Англии; секретарю подали пакет, и он распечатал его во время чтения, под неумолкаемые крики „ура“ в честь Свободы. Содержание письма, по-видимому, сильно встревожило секретаря, и как только генерал уселся на место, он поспешил передать ему письмо и несколько вырезок из английских газет, очень волнуясь и настаивая, чтобы он тут же прочел их.

Генерал, сильно разгоряченный собственным успехом, был именно в таком состоянии, когда ничего не стоит воспламениться; как только он ознакомился с этими документами, лицо его изменилось и выразило такой

гнев и озлобление, что шумное собрание в одну минуту притихло, пораженное его видом.

— Друзья мои! — крикнул генерал, вскакивая с места. — Друзья мои и сограждане, мы ошиблись в этом человеке!

— В каком человеке? — закричали все.

— Вот в этом, — прохрипел генерал, показывая письмо, которое читал вслух несколько минут тому назад. — Я узнал, что он всегда был и остается сторонником — и самым упорным — освобождения негров!

Если бы этот человек был сейчас среди них, то — уж будьте покойны! — сыны свободы застрелили бы его, закололи, убили бы его своими трусливыми руками в кроважадной злобе. Даже самый легковверный из их соотечественников не решился бы держать за него пари, не дал бы гнилой соломинки за жизнь человека, попавшего в такую переделку. Они разорвали письмо в клочки, швыряли их в воздух, топтали ногами и выли, ревели и свистели до полной потери голоса.

— Я предлагаю, — объявил генерал, как только ему удалось перекричать шум, — немедленно распустить Ассоциацию Сочувствующих!

— Долой ее! Не нужно! И слышать о ней не желаем! Сжечь все протоколы! Разнести зал собраний, чтобы камня на камне не осталось!

— Но, друзья мои и соотечественники!.. — сказал генерал. — А взносы? У нас есть деньги. Что с ними делать?

Впопыхах решили преподнести серебряный сервиз одному судье, который со своего судейского места проповедовал благородный принцип, что всякое собрание белых имеет законное право убить негра; а второй сервиз, в ту же цену, поднести известному патриоту, заявившему с высоты законодательной трибуны, что он и его друзья повесят без суда всякого аболициониста, который вздумает сделать им визит. Остаток решено было пожертвовать на поддержку и проведение в жизнь тех законов о свободе и равенстве, которые считают более опасным и преступным обучить негра грамоте, чем сжечь его живьем посреди города. После того как разрешили эти вопросы, собрание разошлось в большом беспорядке, чем и кончилось сочувствие Уотертостской Ассоциации.

Поднимаясь к себе в спальню, Мартин заметил республиканский флаг, водруженный на крыше дома в честь такого события и реявший перед окном, мимо которого он проходил.

— Ну да! — сказал он. — Издали ты хорош. А если подойти поближе да посмотреть на свет, то окажется, что это всего-навсего дрянная тряпка, жалкая бутафория!

Глава XXII,

Из которой явствует, что Мартин и сам сделался львом. А также — почему сделался.

Как только среди постояльцев „Национального отеля“ распространилось известие, что молодой англичанин мистер Чезлвит приобрел владение в долине Эдема и намерен с первым пароходом отправиться в этот земной рай, он сделался знаменитостью. Почему так случилось или каким образом произошло, Мартин знал не больше, чем миссис Гэмп у себя на Кингсгейт-стрит в Верхнем Холборне; но что на какое-то время он сделался местным львом по общему выбору — и что его общества слишком часто искали, в этом не могло быть ни малейшего сомнения.

Первым вестником такой перемены в его положения было следующее послание на листке бумаги с синими линейками, написанное тонким беглым почерком, с нажимом то тут, то там для усиления общего эффекта:

„Национальный отель, понедельник утром.

Дорогой сэр!

Третьего дня, когда я имел честь ехать в вашем обществе по железной дороге, вы высказали несколько замечаний о лондонском Тауэре, которые мне и всем моим согражданам было бы желательно выслушать еще раз в вашем публичном выступлении.

В качестве секретаря Ассоциации Уотертостских Молодых Людей я уполномочен сообщить вам, сэр, что наша Ассоциация сочтет за честь, если вы согласитесь прочитать публичную лекцию о лондонском Тауэре завтра вечером, в семь часов, в зале Ассоциации; а так как мы надеемся распространить большое число входных билетов ценою в четверть доллара, вы чрезвычайно обяжете нас, ответив согласием через подателя этого письма. С искренним уважением

Лафайет Кеттл.

Многоуважаемому мистеру Чезлвиту

P.S. Ассоциация не настаивает на том, чтобы вы ограничились лондонским Тауэром. Позвольте подсказать вам,

что несколько замечаний об основах геологии или (еще того лучше) о произведениях вашего талантливого и остроумного соотечественника, мистера Миллера, были бы весьма желательны“.

В ужасе от этого приглашения, Мартин уселся сочинять вежливый отказ; но не успел он написать его, как принесли второе письмо:

„(В собственные руки) Бункерхилл-стрит 47, понедельник утром.

Сэр!

Я воспитывался среди беспредельных пустынь, где Миссисипи (Отец Вод) величаво катит свои могучие волны.

Я молод и пылок. Ибо и в дикости пустынь есть своя поэзия, и каждый аллигатор, нежащийся в тине, сам по себе представляет уже целую поэму. Я стремлюсь к славе. Это мое упование, моя мечта.

Не знаете ли вы, сэр, какого-нибудь члена конгресса в Англии^[71], который оплатил бы мой проезд туда и по приезде содержал бы меня в течение полугода?

Что-то внушает мне твердую уверенность в том, что этот просвещенный покровитель не потратит денег даром. В литературе или в искусстве, в суде, на кафедре проповедника или на сцене, не там, так здесь, а может быть и везде, — я знаю, что добьюсь успеха.

Если вы слишком заняты и не можете написать сами, прошу сообщить мне фамилии трех-четырех лиц, на которых скорее всего можно рассчитывать, и я пошлю им письма по почте. Соболаговолите также сообщить мне все критические замечания, какие когда-либо представлялись вашим мыслительным способностям по поводу „Каина“, мистерии почтенного лорда Байрона.

Остаюсь, сэр, ваш (простите, если прибавлю воспаряющий ввысь)

Пэтнем Смиф.

Ответ адресуйте; „Сыну Америки, мануфактурный магазин гг. Хэнкок и Флоби“, далее — как сказано выше“.

Оба эти письма вместе с ответом Мартина, согласно похвальному

обычаю, способствующему воспитанию джентльменских чувств и взаимного доверия, были напечатаны в следующем номере местной газеты.

Не успел Мартин разделаться с корреспонденцией; как хозяин отеля, капитан Кеджик, поднялся к нему и любезно справился, как он себя чувствует. Прежде чем приступить к беседе, капитан уселся на кровать и, найдя ее довольно жесткой, передвинулся на подушку.

— Ну, сэр, — сказал капитан, сдвигая набок шляпу, которая была ему тесновата, — вы, я вижу, стали популярной личностью.

— Кажется, да, — отвечал Мартин; он очень устал.

— Мои сограждане, сэр, — продолжал капитан, — желают засвидетельствовать вам свое почтение. Придется вам назначить им что-нибудь вроде аудиенции, пока вы тут.

— Боже мой! — воскликнул Мартин. — Не могу я этого сделать, уважаемый!

— Не можете, значит — должны, — сказал капитан.

— „Должны“ не особенно приятное слово, капитан, — возразил Мартин.

— Ну, не я выдумывал язык, не мне его переделывать, — хладнокровно ответил капитан, — а не то я бы сказал что-нибудь более приятное. Вы должны принимать посетителей. Только и всего.

— Но для чего же мне принимать людей, которым до меня так же нет дела, как и мне до них? — спросил Мартин.

— Для того, что я уже вывесил афишу в буфете.

— Что вывесили?

— Афишу.

Мартин в отчаянии посмотрел на Марка, который объяснил ему, что капитан имеет в виду объявление о том, что мистер Чезлвит будет принимать сегодня всех желающих, начиная с двух часов дня; оно в самом деле висит внизу на стенке, и Марк сам его видел.

— Не захотите же вы, чтоб вас невзлюбили, — сказал капитан, подравнивая себе ногти. — Нашим горожанам недолго взбелениться, да и газета начнет вас травить, как бешеную собаку, могу сказать наперед.

Мартин чуть не вышел из себя, но вовремя спохватился:

— Да пусть их приходят, ради бога.

— Придут, не беспокойтесь, — ответил капитан. — Уже приготовили большую залу, своими глазами видел.

— Но скажите по крайней мере, — спросил Мартин, заметив, что капитан собирается уходить, — для чего я им понадобился? Что я такое сделал? И с чего это они вдруг заинтересовались мной?

Капитан Кеджик, отставив мизинцы, прихватил обеими руками поля своей шляпы, слегка приподнял ее и опять осторожно надел; провел рукой по лицу ото лба до самого подбородка, посмотрел на Мартина, потом на Марка, потом опять на Мартина, подмигнул им и вышел из комнаты.

— Ну, честное слово, — воскликнул Мартин, крепко стукнув рукой по столу, — совершенно непонятный человек, первый раз такого встречаю! Марк, что вы на это скажете?

— Да что ж, сэр, — возразил его компаньон, — мое мнение такое, что мы теперь добрались до самого замечательного человека во всей стране. Есть же предел и этой породе, сэр.

Хотя Мартин и рассмеялся, однако это не отменило аудиенции, назначенной на два часа. Как только пробило два, явился капитан Кеджик, чтобы проводить Мартина в тронную залу; благополучно доставив его на место, он сейчас же заорал с лестницы своим согражданам, стоявшим внизу, что мистер Чезлвит „принимает“.

Все полезли наверх. Лезли до тех пор, пока не набились в комнату битком, а между тем в открытую дверь видна была угрожающая перспектива поднимавшихся по лестнице новых и новых гостей. Один за другим, десяток за десятком, сотня за сотней, они лезли еще и еще — и все пожимали руку Мартину. Каких только не было рук — толстых, тонких, коротких, длинных, жирных, худых, грубых, изящных; какая разница в температуре — горячие, холодные, сухие, влажные, липкие; какие разные рукопожатия — крепкое, слабое, краткое, долгое. Гости все шли, шли и шли; и время от времени сверху слышался голос капитана:

— Внизу ждут другие! Джентльмены, кто уже представился мистеру Чезлвиту, проходите, не задерживайтесь! Проходите! Будьте любезны, проходите, джентльмены, дайте место другим!

Невзирая на окрики капитана, они вовсе не собирались уходить, а стояли как вкопанные и глазели. Два джентльмена, имевшие отношение к редакции „Уотертостской газеты“, пришли специально за материалом для статьи о Мартине. Они договорились о разделении труда: один из них изучал свой предмет, начиная от жилета книзу, другой — от жилета кверху. Каждый из них стал прямо перед натурой и, слегка наклонив голову набок, внимательно изучал свою область. Если Мартин переступал с ноги на ногу, специалист по нижней половине тут же ловил его на этом; если почесывал прыщик на носу, специалист по верхней половине сейчас же записывал это в книжечку. Мартин открывал рот, собираясь заговорить, и тот же джентльмен, опустившись на одно колено, заглядывал ему в зубы с придиричивым вниманием дантиста. У физиономистов и френологов-

любителей, которые толкались вокруг него, горели глаза и чесались руки; иногда кто-нибудь из них, посмелее прочих, налетал сзади, и наспех ощупав затылок Мартина, скрывался в толпе. Они рассматривали его со всех сторон — спереди, в профиль, в три четверти, сзади. Не специалисты и не ученые вслух обменивались замечаниями насчет его наружности. Его нос рассматривали в совершенно новом свете. Высказывались самые противоречивые мнения насчет его волос. И время от времени сквозь общий шум все еще слышался голос капитана, но от скопления народа так глухо, словно он кричал из-под перины:

— Джентльмены, кто уже представился мистеру Чезлвиту, проходите, не задерживайтесь!

Но даже и после того, как некоторые ушли, не сделалось легче; ибо тут явилась целая процессия джентльменов, причем каждый из них вел под ручку двух дам (точь-в-точь, как хористы перед исполнением английского национального гимна, когда в театре присутствует король), — и каждая новая тройка являлась с непочатым запасом наглости и с намерением оставаться в зале до последней минуты. Если они заговаривали с Мартином, что случалось довольно редко, то неизменно задавали одни и те же вопросы, одним и тем же тоном, без всякого стеснения, или деликатности, или уважения, точно он был каменный истукан, купленный, оплаченный наличными и выставленный в зале ради их развлечения. Но после того как мало-помалу разошлись и эти посетители, стало не лучше, если не хуже; тут уж осмелели мальчишки и, ворвавшись целой кучей, повторили все, что делали взрослые. Появились, кроме того, какие-то бестолковые личности, которые, попав в комнату, слонялись из угла в угол, как тени, и не знали, как оттуда выйти, — до того даже, что один молчаливый джентльмен с тусклыми рыбьими глазами и одной единственной пуговицей на жилете (металлической, очень большой и очень блестящей) стал за дверью и стоял там, как часы, после того как все остальные разошлись.

Мартин так устал от жары и беспокойства, что с удовольствием упал бы на пол и не вставал, если бы только над ним сжалились и оставили его в покое. Но так как письма и записки с угрозами разоблачить его перед всем обществом, если он не примет авторов, сыпались на Мартина градом, и так как все новые посетители являлись к нему, пока он пил кофе у себя в номере, и даже преданный Марк не в силах был их выпроводить, Мартин решил улечься в постели. Не потому, чтобы он считал постель надежной защитой, но чтобы испытовать все средства до последнего.

Он сообщил о своем намерении Марку и уже собирался улизнуть, как

вдруг дверь быстро распахнулась и вошел пожилой джентльмен под руку с дамой, которую никак нельзя было назвать молодой, — насчет этого не могло быть сомнений — и трудно было бы назвать красивой — но это уже дело вкуса. Она была очень высокого роста, держалась прямо, и ни в лице ее, ни в фигуре нельзя было заметить ни малейшего намека на мягкость. На голове у нее была большая шляпа из соломки с такой же отделкой, похожая на соломенную кровлю работы неопытного мастера; в руке она держала громадный веер.

— Мистер Чезлвит, если не ошибаюсь? — осведомился джентльмен.

— Да, это моя фамилия.

— Сэр, — сказал джентльмен, — я тороплюсь, времени у меня мало.

„Слава богу!“ — подумал Мартин.

— Я возвращаюсь к себе домой, сэр, — продолжал джентльмен, — с обратным поездом, который отправляется сию минуту. Слово „отправляется“ неизвестно в вашей стране, сэр!

— Ну как же, известно, — сказал Мартин.

— Вы ошибаетесь, сэр, — возразил джентльмен весьма сурово. — Но оставим эту тему, чтобы не задеть ваших предрассудков. Миссис Хомини, сэр!

Мартин поклонился.

— Миссис Хомини, сэр, — супруга майора Хомини, одного из лучших умов нашей страны, и принадлежит к цвету нашей аристократии. Вы, наверное, знакомы, сэр, с сочинениями миссис Хомини?

Мартин не мог этого сказать.

— Вам предстоит многое узнать и многим насладиться, сэр, — сказал джентльмен. — Миссис Хомини едет погостить до конца осени к своей замужней дочери в Новые Фермопилы, в трех днях пути от Эдема. Майор и все наши сограждане будут очень благодарны вам за внимание, оказанное в дороге миссис Хомини. Миссис Хомини, позвольте пожелать вам спокойной ночи и приятного путешествия, сударыня!

Мартин не верил своим ушам; но джентльмен ушел, а миссис Хомини уселась пить молоко.

— Совсем замучилась, скажу вам! — объявила она. — В вагоне трясет так, будто под рельсами полно коряг и колод.

— Коряг и колод, сударыня? — повторил Мартин.

— Ну, вы, кажется, не понимаете, что я говорю, сэр? — сказала миссис Хомини. — Боже мой! Подумать только! Неужели!

Надо полагать, что эти выражения, как будто действительно требовавшие ответа, несколько не нуждались в нем: ибо миссис Хомини,

развязав ленты шляпы, объявила, что пойдет на минуту снять ее и сейчас же вернется.

— Марк! — сказал Мартин. — Ущипните меня! Сплю я или нет?

— Зато миссис Хомини не спит, сэр! Как раз такая женщина, сэр, которая не смыкает глаз ни днем, ни ночью, все думает о благе отечества.

Больше им поговорить не удалось, ибо миссис Хомини опять всплыла в комнату, держась очень прямо, в доказательство своего аристократического происхождения, и сжимая в руках красный бумажный платок, быть может прощальный дар майора Хомини, этого лучшего из умов страны. Она сняла шляпу и теперь явилась в чепце высокоаристократического фасона, завязанном под подбородком, — этот головной убор так дивно шел к ее физиономии, что даже покойный Гримальди^[72] не мог бы произвести такого эффекта, появившись в чепце миссис Сиддонс^[73].

Мартин подал ей стул. Он хотел вернуться на место, но при первых же ее словах прирос к полу.

— Скажите, пожалуйста, сэр, — начала миссис Хомини. — Из каких вы?

— Боюсь, что я очень устал и плохо соображаю, — отвечал Мартин, — но, честное слово, я не понимаю вас.

Миссис Хомини покачала головой с грустной улыбкой, говорившей очень ясно: „Даже язык искалечили в этой старой Англии!“, и прибавила, снисходя к его низкому умственному уровню:

— Где вы воспитывались?

— О, — сказал Мартин, — я родился в Кенте.

— А как вам нравится наша страна, сэр? — спросила миссис Хомини.

— Очень нравится, — отвечал полусонный Мартин. — То есть... по крайней мере... да, ничего себе, нравится, сударыня.

— Большинство иностранцев, а особенно англичан, очень удивляются тому, что видят в Соединенных Штатах, — заметила миссис Хомини.

— У них на это есть весьма основательные причины, сударыня, — сказал Мартин. — Я сам никогда в жизни так не удивлялся.

— Наши учреждения развивают ловкость в наших согражданах, — заметила миссис Хомини.

— Увы, это голая истина, которая видна даже самому близоручному человеку, — сказал Мартин.

Миссис Хомини как философ и писательница могла переварить все что угодно, но эта грубая, неприличная фраза оказалась даже и для нее слишком сильной. Разве можно джентльмену, сидящему наедине с дамой,

хотя бы и при открытых дверях, говорить о голой истине!

Хоть миссис Хомини и была женщина высокого ума и ни в чем не уступала мужчине, однако она не скоро собралась с духом для продолжения разговора. Но миссис Хомини много путешествовала. Миссис Хомини писала обозрения и критические разборы. Миссис Хомини постоянно печатала в одной популярной газете письма из-за границы с обращением: „Моя дорогая Х.“ и за подписью: „Мать Современных Гракхов“^[74] (разумея под Гракхами свою дочку, замужнюю мисс Хомини), где негодование изображалось прописными буквами, а сарказм курсивом. Миссис Хомини смотрела на Европу глазами яркой республиканки, только что выпущенной из образцовой американской печи, и могла целыми часами говорить и писать на эту тему. Поэтому миссис Хомини, собравшись с силами, всей тяжестью обрушилась на Мартина и, пользуясь тем, что он крепко уснул, измывалась над ним как хотела, к полному своему удовольствию.

Не так важно, что именно говорила миссис Хомини, важно то, что она была ходячим рупором целой группы своих соотечественников, которые на каждом шагу обнаруживают такое же полное непонимание великих принципов, создавших Америку, как любой дикарь и невежда в ее законодательных собраниях. Доведя свою родину до того, что ее презирают все честные люди, они посягают на права еще не родившихся наций, более того — на самый прогресс, но даже не понимают этого! А если и понимают, то сокрушаются об этом столько же, сколько свиньи, которые валяются в грязи на их улицах. Они думают, что кричать другим народам, коснеющим в беззаконии: „Мы не хуже вас!“ (не хуже!) — достаточная защита и оправдание для республики, только вчера пустившейся в свой славный путь, а сегодня уже до того искалеченной, до того изъеденной язвами и болячками, оскорбительными для глаз и не поддающимися исцелению, что лучшие друзья с презрением отворачиваются от мерзкой твари. Они думают, что если их предки провозгласили и завоевали независимость, не пожелав преклониться перед порочным и гнилым общественным строем, не пожелав отречься от правды, то им можно творить зло, отойдя от добра; или самодовольно почивать на лаврах, глумливо твердя, что и у других храмы тоже из стекла и в них также можно бросать камнями, одним этим доказывая, что они недостойны своих предков, — и доказывая так красноречиво, как если бы все грязные плутни их штатов — не уступавших монархиям по развращенности нравов — были собраны воедино, чтобы обличить их.

Мало-помалу Мартин очнулся настолько, что почувствовал какую-то страшную тяжесть на душе, — ему смутно грезилось, будто он убил своего

близкого друга и не знает, куда девать труп. Он открыл глаза, но и наяву было не лучше. Ужасная Хомини, гнусавя нараспев, продолжала изрекать великие истины и так развернула свои многочисленные дарования, что злейший враг майора Хомини, послушав ее, простил бы ему от всего сердца. Мартин наверно выкинул бы что-нибудь отчаянное, если бы не зазвучал гонг к ужину, что произошло весьма кстати; и, усадив миссис Хомини на верхнем конце стола, он спрятался от нее на нижнем конце, а потом, наскоро поужинав, улепетнул к себе, пользуясь тем, что она занялась копченой говядиной и целым блюдцем пикулей.

Было бы трудно дать полное представление о том, как свежа была миссис Хомини на следующее утро и с какой алчностью она набросилась на нравственную философию за завтраком. Выражение лица у нее было, пожалуй, несколько кислее обыкновенного, но это объяснялось вполне естественным действием пикулей. Весь этот день она не отставала от Мартина. Она сидела рядом с ним, пока он принимал посетителей (состоялся второй прием, еще более многочисленный, чем первый), развивала свои теории и отвечала воображаемым оппонентам, так что Мартину без всяких шуток начинало казаться, будто он бредит и разговаривает за двоих; приводила длиннейшие цитаты из собственных статей; сморкалась в платок, подаренный майором, как будто гнусавость была та же простуда, от которой она решила избавиться так или иначе; словом — показала себя замечательным собеседником, и Мартин решил по чистой совести, что во всяком благоустроенном поселении таких особ совершенно необходимо убивать ради общего блага и спокойствия.

Тем временем Марк трудился с раннего утра до позднего вечера, перетаскивая на пароход провизию, инструменты и другие необходимые вещи, какие им посоветовали захватить с собой. Покупка всего этого и уплата по счету в „Национальном отеле“ настолько истощила их финансы, что если бы капитан задержался с отправкой парохода еще немного, они оказались бы почти в таком же бедственном положении, как и несчастные бедняки эмигранты, которые жили на нижней палубе уже целую неделю, завлеченные на борт парохода бессовестной рекламой, и доедали свои жалкие запасы, еще не пустившись в путь. Так они и сидели, сбившись в кучу около машины и топок: фермеры, в глаза не выдавшие плуга, лесорубы, не бравшие в руки топора, строители, которые не сумели бы сколотить и ящика; выброшенные из своей страны, не находя ни у кого поддержки, они пришли в незнакомый им мир беспомощные, как дети, но с нуждами взрослых, с малыми детьми на руках, не зная, что ждет их — жизнь или смерть!

Наступило утро, и отъезд отложили до полудня. Наступил полдень, отъезд отложили до вечера. Но всему на свете бывает конец, даже и возне американских капитанов, — к вечеру все было готово.

Расстроенный и усталый до крайности, но популярный, как никогда (весь день он только и делал, что отвечал на письма незнакомых ему людей — половина писала о пустяках, другая половина просила займы, и все требовали немедленного ответа), Мартин пробрался к пристани сквозь толпу народа и, ведя под руку миссис Хомини, взошел на пароход. Но Марк решил непременно разгадать загадку его популярности и побежал опять в гостиницу, не без риска отстать от парохода.

Капитан Кеджик сидел на веранде со стаканом джулепа на колене и с сигарой во рту. Увидев Марка, он спросил:

— За каким дьяволом вы вернулись?

— Скажу вам прямо, капитан, — ответил Марк, — я хочу задать вам один вопрос.

— Задать вопрос, разумеется, можно, — возразил Кеджик, ясно давая понять, что на вопрос, разумеется, можно и не ответить.

— Чего они так носились с ним, а? — вкрадчиво спросил Марк. — Скажите-ка!

— У нас любят необыкновенно сильные ощущения, — отвечал Кеджик, посасывая сигару.

— Что же в нем необыкновенного? — спросил Марк. Капитан посмотрел на него с таким видом, как будто собирался отпустить самую остроумную шутку.

— Вы уезжаете? — спросил он.

— А то как же! — воскликнул Марк. — У меня каждая минута на счету!

— У нас любят сильные ощущения, — повторил капитан, понизив голос. — Он не похож на прочих эмигрантов, вот потому с ним так и носились, — он подмигнул и засмеялся сдавленным смехом, — именно потому. Скэддер известный ловкач, ну а... а из Эдема еще никто живым не возвращался!

Пристань была близко, и в эту минуту Марк услышал, что выкрикивают его имя; услышал даже, что Мартин зовет его, прося поторопиться, чтобы пароход не ушел без него. Поправить дело было уже нельзя, оставалось только покориться. Послав капитану прощальное благословение, он помчался к пристани, как скаковая лошадь.

— Марк! Марк! — кричал Мартин.

— Я здесь, сэр! — вдруг заорал Марк с пристани и одним прыжком

перемахнул на пароход. — Никогда еще я так не веселился, сэр! Все в порядке. Отчаливай! Поехали!

Искры столбом повалили к небу из обеих труб, как будто весь пароход был один огромный фейерверк, и он с шумом двинулся, рассекая темную воду.

Глава XXIII

Мартин со своим — компаньоном вступает во владение участком. По этому радостному случаю сообщаются новые подробности насчет Эдема.

На пароходе оказалось несколько пассажиров того же склада, что и нью-йоркский друг Мартина, мистер Бивен, и в их обществе Мартин оживился и стал веселей. Насколько возможно, они избавляли его от интеллектуальных сетей миссис Хомини, и во всем, что они говорили и делали, проявлялось столько здравого смысла и душевного благородства, что он не мог не привязаться к ним.

— Если бы в этой республике ценили разум и истинные достоинства, — говорил Мартин, — а не хамство и надувательство, она не знала бы нужды в рычагах, приводящих ее в движение.

— Видно, плотники тут неважные, — возразил мистер Тэпли, — если, имея хороший инструмент, орудуют плохим; не так ли, сэр?

Мартин кивнул.

— Похоже, что работа неизмеримо превосходит их силы и потребности, Марк, потому они и выполняют ее кое-как.

— А всего милей, — сказал Марк, — что если им случается сделать что-нибудь неплохо, хотя бы так, как хороший работник, не имея таких возможностей, делает каждый день, нисколько этим не хвастаясь, — они начинают трубить вовсю. Попомните мои слова, сэр. Если когда-нибудь здешние злостные банкроты и заплатят свои долги, ради того только, что не платить невыгодно в коммерческом отношении, да и последствия бывают не совсем приятные, — они поднимут такой шум и начнут так этим хвастаться, будто, с тех пор как свет стоит, никто никогда не платил долгов. Так-то вот они и надувают друг дружку, сэр. Знаю я их, господь с ними! Попомните мои слова, вот что!

— Вы становитесь что-то уж очень дальновидны! — смеясь, сказал Мартин.

„Уж не оттого ли это, что я еще на один день пути ближе к Эдему, — подумал Марк, — и перед смертью у меня начинается просветление. Может, к тому времени, как доберемся туда, я и пророком стану“.

Он не высказывал этих мыслей вслух, но Мартину довольно бывало той бодрости и оживления, которыми всегда сияло его лицо. Хотя Мартин иногда подсмеивался над неистощимой жизнерадостностью своего

компаньона, а иногда и выговаривал ему за неуместные шутки, как в случае с Зефанией Скэддером, на него все же действовал пример Марка, пробуждая в нем мужество и надежду. И даже если он бывал не в духе и не желал поддаваться веселому настроению, это ничего не значило. Веселье Марка было так заразительно, что оно невольно сообщалось и Мартину.

В начале пути пароход раза два в день высаживал на берег кучку пассажиров и на их место брал других. Но мало-помалу города стали попадаться реже, и в течение долгих часов они не видели другого жилья, кроме шалашей дровосеков, у которых пароход набирал дрова. Небо, лес и вода весь долгий день, и такая жара, что все покрывалось от нее пузырями.

Они плыли все дальше и дальше по реке, глухими, безлюдными местами, между берегов, поросших густым и частым лесом, где затонувшие стволы деревьев воздевали из речных глубин свои корявые руки или, рухнув в воду и цепляясь корнями за берег, зеленели и гнили в мутной воде. Они плыли томительным днем и тоскливой ночью, плыли сквозь вечерние туманы и мглу, все дальше и дальше, пока обратный путь не стал казаться невозможным, а возврат на родину — несбыточной мечтой.

Теперь на борту оставалось очень немного народа, да и эти немногие были так же скучны, вялы и тусклы, как утомляющая глаз растительность по берегам реки. От них нельзя было услышать веселого живого слова; они не коротали времени в интересных беседах, не боролись с угнетающей скукой пейзажа. Если бы в известные часы они не кормились сообща из одного корыта, можно было бы подумать, что это челн старика Харона^[75], переправляющего унылые тени в загробный мир.

Наконец они прибыли в Новые Фермопилы, где миссис Хомини должна была сойти на берег. Когда она сказала это Мартину, луч утешения закрался в его сердце. Марк не нуждался в утешении, но и он был доволен.

Было почти совсем темно, когда они подошли к пристани — крутой берег, над обрывом гостиница, похожая на амбар, одна-две бревенчатых лавчонки, несколько разбросанных бараков.

— Вы, я думаю, переночуете здесь, а утром поедете дальше, сударыня? — спросил Мартин.

— Куда это дальше? — воскликнула мать Современных Гракхов.

— В Новые Фермопилы.

— А разве я не в Новых Фермопилах? — сказала миссис Хомини.

Мартин стал искать их, оглядывая темнеющие берега, но так и не нашел, в чем и принужден был сознаться.

— Да вот же они! — воскликнула миссис Хомини, указывая на бараки.

— Вот это? — спросил Мартин.

— Да, вот это. И что там ни говори, а Эдему до них далеко, — сказала миссис Хомини, весьма выразительно кивнув головой.

Замужняя мисс Хомини, которая поднялась на пароход вместе с мужем, весьма решительно это подтвердила. Мартин с благодарностью отклонил приглашение зайти к ним закусить на те полчаса, пока пароход стоит у пристани, и, благополучно переправив миссис Хомини на берег вместе с ее красным платком (все еще служившим свою службу), в раздумье вернулся на пароход и стал наблюдать, как эмигранты перетаскивают свои узлы на пристань.

Марк, стоя рядом, время от времени тревожно заглядывал ему в лицо; он старался угадать, какое впечатление произвел на его спутника этот разговор, от души желая, чтобы надежды Мартина поблекли еще в пути и удар, готовый на него обрушиться, поразил его не с такой силой. Но Мартин только бегло обвел взглядом жалкие постройки на обрыве и ничем не показал того, что творилось у него на душе, пока они не тронулись снова.

— Марк, — сказал он тогда, — неужели на этом пароходе никто, кроме нас, не едет в Эдем?

— Решительно никто, сэр. Почти все, как вы знаете, уже высадились, а остальные едут дальше. Что за беда? Нам же будет просторнее.

— Да, конечно! — сказал Мартин. — Только я думал... — и он замялся.

— Что думали, сэр? — спросил Марк.

— Как это странно, что люди едут искать счастья в такую жалкую дыру, как Новые Фермопилы, когда тут же поблизости есть место гораздо лучше и, можно сказать, совсем другого рода!

Он говорил тоном, настолько не похожим на обычную его самоуверенность, и так явно боялся услышать ответ Марка, что доброму малому стало его жаль.

— Знаете ли, сэр, — сказал Марк, стараясь как можно осторожнее намекнуть ему на истинное положение дел, — нам нельзя ни на что надеяться. Да и не стоит: Мы же с вами решили, что будем мириться с тем, что есть; все равно хуже не будет. Ведь правда, сэр?

Мартин только взглянул на него и ничего не ответил.

— Ведь и Эдем, как вы знаете, еще не совсем отстроен, — сказал Марк.

— Черт вас возьми, Марк, — сердито закричал Мартин, — как вы можете ставить Эдем на одну доску с этой трущобой? Рехнулись вы, что

ли? Ну, не обижайтесь на меня, я погорячился!

Он отошел в сторону и целых два часа расхаживал по палубе взад и вперед. Больше он не разговаривал с Марком, только пожелал ему спокойной ночи; и даже на другой день не касался этой темы, а говорил о других, совсем посторонних вещах.

Чем дальше они продвигались вперед, подходя все ближе и ближе к концу пути, тем однообразнее и печальнее становилась природа, — настолько печальнее, что они, казалось, еще живыми вступали в мрачные владения великана Отчаяние^[76]. Плоское болото, заваленное буреломом, трясина, где погибла и сгнила вся цветущая растительность земли, для того чтобы из ее праха возникла ядовитая, гнусная поросль; где даже деревья походили на гигантские плевелы, порожденные из ила горячим солнцем, которое сжигало их; откуда по ночам поднимались вместе с туманами смертельные болезни, ища себе жертв, и расползались над водой, охотясь за ними до рассвета; где даже благословенное солнце, сиявшее с высоты на эту стихию разложения и заразы, казалось страшным, — таково было царство Надежды, по которому проходил их путь.

Наконец они остановились — это был Эдем. Воды всемирного потопа, казалось, схлынули с него всего какую-нибудь неделю тому назад — так затащило илом и перепутанной травой отвратительное болото, носившее это имя.

У берега оказалось слишком мелко, и потому они переправились к пристани на лодке, уложив рядом с собой все свое добро. Среди темных деревьев виднелись бревенчатые домишки, в лучшем случае похожие на коровники или плохонькие конюшни. Но где же набережные, рынки, общественные здания?

— Вот идет эдемец, — сказал Марк, — он нам поможет перенести вещи. Эй, сюда!

В густеющем мраке к ним очень медленно подходил человек, опираясь на палку. Когда он подошел ближе, они заметили, что он бледен и худ и что его беспокойные глаза глубоко ввалились. Одежда из синей крашенины висела на нем клочьями. Он был без шапки и босиком. На полдороге он остановился, сел на пень и сделал им знак подойти ближе. Они послушались, и он, схватившись за бок, словно от боли, долго смотрел на них изумленными глазами, с трудом переводя дыхание.

— Приезжие! — воскликнул он, как только собрался с силами.

— Они самые, — сказал Марк. — Как ваше здоровье, сударь?

— Только что переболел горячкой, — отвечал тот слабым голосом. — Сколько недель валялся без ног. А это, должно быть, ваши вещи? —

спросил он, указывая на их имущество.

— Да, это наши вещи, — сказал Марк. — Не можете ли вы рекомендовать нам кого-нибудь, кто помог бы донести их до города?

— Мой старший сын донес бы, если б мог, — отвечал Эдемед, — только сегодня у него приступ лихорадки, он завернулся в одеяло и лег. А младший у меня умер на той неделе.

— Сочувствую вам, уважаемый, от всей души, — сказал Марк, пожимая ему руку. — Не беспокойтесь о нас. Идемте со мной, я вас поддержу. Вещам ничего не сделается, сэр, — сказал он Мартину, — не так уж тут много народу, чтобы их украли. Все-таки утешение!

— Да! — воскликнул старик. — Людей ищите или здесь, — он стукнул палкой в землю, — или вон там, в зарослях, дальше к северу. Почти всех мы похоронили. Остальные сбежали. А кто еще остался жив, не выходит по вечерам.

— Значит, ночной воздух тут вреден? — спросил Марк.

— Смертельный яд, — ответил поселенец.

Марк, ничуть не встревожившись, словно этот воздух восхваляли ему, как амброзию, повел старика под руку и по дороге рассказал ему, какой участок они купили, и спросил, где он находится. Совсем близко от его бревенчатого домика, ответил тот, так близко, что он хранит там кукурузу; сегодня вечером пускай уж они его извинят, а завтра он постарается все оттуда убрать. После этого он преподнес им образчик местных новостей, рассказав, что собственными руками похоронил последнего хозяина участка, — но и эту новость Марк выслушал невозмутимо, ни на волос не выйдя из равновесия.

Эдемец привел их к убогой лачуге, кое-как сложенной из неотесанных бревен, без двери, которая давным-давно слетела с петель или была унесена кем-нибудь, так что в дом свободно заглядывали лесная глушь и ночной мрак. Кроме ссыпанного в кучу запаса кукурузы, о котором говорил поселенец, в нем не было ровно ничего, никакой мебели; но на пристани у них оставался сундук, а вместо свечи сосед дал им простой факел. Это приобретение Марк воткнул в золу очага и, объявив, что теперь их жилье „выглядит очень уютно“, стал торопить Мартина на пристань. И всю дорогу на пристань и обратно Марк говорил без умолку, словно желая вдохнуть в своего компаньона хоть сколько-нибудь веры в то, что их приезд совершился в самых счастливых и благоприятных обстоятельствах.

Однако многим людям, способным перенести разорение своего гнезда, когда их поддерживает гнев и жажда мести, не хватает твердости характера, чтобы выдержать крушение созданных ими воздушных замков.

Войдя в лачугу второй раз, Мартин повалился на пол и громко зарыдал.

— Что вы, сэр! — воскликнул мистер Тэпли в ужасе. — Не надо, ради бога, не надо, сэр! Все что угодно, только не это! Слезы еще никому не помогли одолеть хоть самое маленькое препятствие. Мало того, что вам не станет легче, у меня тоже испортится настроение, просто хоть ложись да помирай. Я этого слышать не могу. Все что хотите, только не это!

Нельзя было сомневаться в искренности его слов, судя по той необыкновенной тревоге, с какой он глядел на Мартина, стоя на коленях перед сундуком и собираясь его отпереть.

— Тысячу раз прошу у вас прощения, дорогой мой, — сказал Мартин. — Я бы не мог удержаться даже под страхом смертной казни.

— Он просит у меня прощения! — воскликнул Марк обычным своим жизнерадостным тоном, продолжая распаковывать сундук. — Глава фирмы просит прощения у компаньона, каково! Значит, в делах фирмы что-нибудь не ладно, если до этого дошло. Надо мне срочно проверить счета и просмотреть книги. Начнем! Все на своем месте. Вот соленая свинина. Вот сухари. Вот виски, — пахнет замечательно! Вот оловянный котелок. Один этот котелок уже сам по себе целое богатство! Вот одеяла. Вот топор. Кто скажет, что снаряжение у нас не первый сорт? Я теперь будто бы младший сын, которого послали в Индию, а мой почтенный родитель — председатель в совете директоров. Ну, а сейчас только принести воды из ручья перед домом да смешать грог, — воскликнул Марк и тут же сбегал за водой по поговорке: сказано — сделано, — и ужин у нас на столе, со всеми новинками сезона! Вот, сэр, все готово. За все, что нам ниспослано, и так далее! Господи помилуй, сэр, да это похоже на пикник!

Невозможно было не воспрянуть духом в обществе такого человека. Мартин уселся на землю перед сундуком, достал нож и поужинал с аппетитом.

— Вот, посмотрите, — сказал Марк, когда они поели досыта, — вашим ножом и моим я укреплю одеяло над дверью, или на том месте, где в условиях высокой цивилизации должна быть дверь. Получается очень неплохо. А дыру внизу я заставлю сундуком. Тоже получается неплохо. Это вот ваше одеяло, сэр. А то мое. Что же нам мешает выспаться как следует?

Несмотря на эти веселые слова, сам он заснул очень не скоро. Он завернулся в одеяло и лег у порога, положив возле себя топор, но не мог сомкнуть глаз от волнения и тревоги. Новизна их печального положения, боязнь хищников, двуногих или четвероногих, ужасная неуверенность в завтрашнем дне, страх смерти, громадность расстояния и непреодолимые препятствия, лежащие между ними и Англией, — все это было

неисчерпаемым источником тревоги и волновало его в глубокой тишине ночи. Хотя Мартин притворялся, будто спит, Марк чувствовал, что он тоже бодрствует и терзается теми же мыслями. Это было едва ли не хуже всего: если он начнет горевать о своих несчастьях, вместо того чтобы бороться с ними, — нечего и сомневаться, что такое душевное состояние только поможет губительному действию климата. Никогда еще Марк не радовался так дневному свету, как в это утро, когда, очнувшись от беспокойной дремоты, он увидел пробивающееся сквозь одеяло сияние дня.

Он вышел потихоньку, чтобы не будить своего компаньона, и, освежившись умываньем в ручье, протекавшем перед самой дверью, наскоро обошел поселок. В нем было всего десятка два домов, не больше; некоторые из них казались необитаемыми, и все они сгнили и были готовы рассыпаться в труху. Самая неприглядная, ветхая и заброшенная из этих лачуг называлась как нельзя более кстати: „Банк и контора национального кредита“. Она кое-как держалась на подпорках, но глубоко осела в болото.

Кое-где видны были попытки расчистить болото, и намечалось даже что-то вроде поля, где между обгорелых пней и груд золы поднимались жалкие всходы маиса. Местами начаты были засеки, или так называемые виргинские изгороди, но ни одна изгородь не была доведена до конца, и поваленные стволы лежали и гнили, наполовину уйдя в болото. Три-четыре тощих собаки, исхудалые и злые от голода; тонконогие свиньи, бродившие по лесу в поисках пищи; полуголые дети, глядевшие на Марка из хижин, — вот и все живое, что он здесь увидел. Зловонные испарения, горячие и одуряющие, словно из печки, поднимались от земли и стояли в воздухе; ноги глубоко увязали в топкой почве, а следы сейчас же затягивало вязкой черной грязью.

На их участке был сплошной лес. Деревья росли так часто и так густо, что вытесняли друг друга, и самые слабые болезненно искривились и захирели, как калеки. Даже более крепкие росли плохо от тесноты и скученности; вокруг их стволов высоко поднялись тонкие стебли трав, ядовитые плевелы и буйные кустарники. Неразличимые по породам, они тесно сплелись в глухие, непроходимые заросли, ушедшие корнями не в землю и не в воду, но в вязкую тину, образовавшуюся из отбросов земли и воды, а также из продуктов их разложения.

Марк дошел до пристани, где они накануне оставили свое имущество, и застал там человек пять поселенцев, бледных и жалких с виду, но готовых ему помочь; вместе с ними он донес вещи до дому. Говоря о поселке, они только качали головой и не могли сообщить Марку ничего утешительного. Те, у кого были деньги на дорогу, давно сбежали. Те, кто

остался, потеряли здесь жен, детей, друзей и братьев и сами терпели лишения. Многие болели; все изменилось так, что стали на себя не похожи. Они от чистого сердца предлагали ему свою помощь и советы; а потом, оставив его на время, уныло разбрелись по своим делам.

Тем временем проснулся Мартин; заметно было, что за эту одну ночь он сильно изменился. Он был бледен и вял, жаловался на боль и слабость во всем теле, на то, что он плохо видит и что ему трудно говорить. Чем безнадежнее становилось их положение, тем больше оживлялся Марк. Он притащил дверь из какого-то брошенного дома и навесил ее у себя; потом ушел опять за грубой скамьей, которую где-то видел, и, торжествуя, вернулся вместе с ней; поставив ее перед домом, он разместил на ней знаменитый оловянный котелок и прочую подвижность, устроив, таким образом, что-то вроде кухонного стола. Очень этим довольный, он вкатил в дом бочонок с мукой и поставил его стоймя в углу, вместо буфета. Для обеденного стола как нельзя лучше подошел сундук, который и был торжественно предназначен Марком для этой полезной цели. Одежда, одежду и другие вещи он развесил на кольшках и гвоздях. И, наконец, вытащив большую вывеску с надписью „Чезлвит и К^о, архитекторы и землемеры“, произведение самого Мартина, в припадке радости заготовленное еще в „Национальном отеле“, он прибил ее на самом видном месте, и сделал это так серьезно, как будто преуспевающий город Эдем существовал в действительности и скоро их должны были завалить работой.

— Вот эти штучки, — сказал Марк, вынося готовальню Мартина и втыкая циркули прямо в пень перед домом, — надо выставить напоказ: все увидят, что мы не с пустыми руками приехали. А теперь, если кому-нибудь нужно построить дом, давайте только заказ поскорее, пока мы не обещали другим.

Марк неплохо поработал в это утро, если принять во внимание сильную жару; однако, не отдохнув ни; минуты, хотя пот катил с него ручьями, он опять скрылся в доме и скоро вышел оттуда с топором, намереваясь совершить с его помощью новый подвиг.

— Тут на самой дороге торчит какая-то старая уродина, сэр, — заметил он, — гораздо лучше ее срубить. Печку можно будет сложить после обеда. А глины в Эдеме везде сколько угодно. Это все-таки большое удобство.

Но Мартин не отвечал. Он сидел, подперев голову руками, и не отрываясь глядел на быстро текущий ручей, быть может думая о том, как скоро он вольется в открытое море — эту торную дорогу на далекую

родину, которой им больше никогда не видать.

Даже сильные удары топора, которым орудовал Марк, не вывели Мартина из мрачного раздумья. Видя, что все попытки расшевелить его бесполезны, Марк бросил работать и подошел к нему.

— Не падайте духом, сэр, — сказал мистер Тэпли.

— О Марк, — отвечал его друг, — чем я заслужил такую нелегкую судьбу, что я такого сделал?

— Ну, сэр, — возразил Марк, — в сущности, каждый здесь может сказать то же самое про себя; а у многих, пожалуй, даже больше прав на это, чем у нас с вами. Крепитесь, сэр. Делайте что-нибудь. Может быть, вам стало бы легче, если бы вы отвели душу в откровенном письме к Скэддеру?

— Нет, — ответил Мартин, грустно покачав головою, — мне это уже не поможет.

— Если это уже не поможет, — возразил Марк, — значит, вы заболели и вам надо лечиться.

— Не думайте обо мне, — сказал Мартин. — Делайте, что возможно, для себя. Скоро вам придется заботиться только о себе. Помогите вам бог добраться домой, и простите меня за то, что я завез вас сюда! Мне суждено умереть здесь. Я это понял, как только ступил на берег. Во сне или наяву, Марк, я всю ночь только это и видел.

— Говорил я вам, что вы больны, — повторил Марк ласково, — а теперь я в этом уверен. Схватили на реке лихорадку или простуду, только и всего. Так это же пустяки, господь с вами! Это вроде прививки; мы, как и все, должны закалиться, так или иначе. Это уж, знаете ли, сам бог велел.

Мартин только вздохнул и покачал головой.

— Погодите минутку, — весело сказал Марк, — я сбегая к соседям, спрошу, что лучше принимать, и займу у них лекарства; и завтра же вы будете опять здоровы. Я сию минуту вернусь. Как-нибудь крепитесь, сэр, пока меня не будет, что бы ни случилось!

Бросив топор, он пустился бегом, но, отойдя немного, остановился, оглянулся и побежал опять.

— Ну, мистер Тэпли, — сказал Марк, с размаху стукнув себя в грудь подбадрения ради, — послушайте-ка, что я вам скажу. Дело, кажется, плохо, молодой человек: так плохо, что дальше некуда. Другого такого случая испытать ваш веселый характер у вас не будет, любезный. А потому, мистер Тэпли, теперь-то и следует вам развернуться вовсю — теперь или никогда!

Глава XXIV

докладывает о том, как обстоит дело с несложными, вопросами любви, ненависти, ревности и мести.

— Эй, Пексниф! — крикнул мистер Джонас из гостиной. — Что ж, откроет кто-нибудь, наконец, эту вашу дурацкую дверь?

— Сию минуту, мистер Джонас, сию минуту!

— Черт возьми, — проворчал сирота, — не очень-то вы спешите. Не знаю, кто это, но стучались уже три раза, и каждый раз так громко, что проснулись бы даже... — ему было так неприятно думать о пробуждении мертвых, что слово застряло у него на языке, и вместо того он произнес: „семеро спящих“^[77].

— Сию минуту, мистер Джонас, сию минуту, — повторил Пексниф. — Томас Пинч, — он был до такой степени взволнован, что никак не мог решить, назвать ли ему Тома своим дорогим другом или, наоборот, негодяем, и на всякий случай погрозил ему кулаком, — подите к моим дочерям и скажите им, кто у нас. Да тише, тише! Вы слышали меня, сэр?

— Иду, иду, сэр! — отозвался Том и, не зная, что и думать, отправился выполнять поручение.

— Вы — хе-хе-хе! — вы извините меня, мистер Джонас, если я прикрою дверь на минутку? — сказал Пексниф. — Это, может быть, деловой визит. Я даже почти уверен, что так оно и есть. Благодарю вас. — Затем мистер Пексниф, негромко напевая какой-то простенький мотивчик, надел садовую шляпу, схватил лопату и отворил парадную дверь, появившись на пороге с таким безмятежным видом, словно он в вертограде своем слышал чей-то робкий стук, но не был вполне уверен, так ли это.

Увидев перед собой джентльмена и леди, он отступил назад, выказав при этом ровно столько замешательства, сколько полагалось выказать добродетельному человеку с кристально-чистой совестью, — единственно от удивления. Но уже в следующую минуту память вернулась к нему, и он воскликнул:

— Мистер Чезлвит! Смею ли я верить своим глазам! Дорогой мой, досточтимый! Счастливый час! Поистине, радостный час! Прошу вас, дорогой мой, входите же. Вы застаете меня в рабочем платье. Я знаю, вы извините меня. Старинное занятие — садоводство: простое, без всяких затей, ибо, если я не ошибаюсь, Адам был первым садовником, первым

нашим коллегой. Моей Евы, как это ни грустно, нет более на свете, но... — тут он указал на лопату и покачал головой, как будто веселый тон давался ему не без труда, — но я еще немножко занимаюсь Адамовым ремеслом.

Разговаривая так, он довел их до парадной гостиной, где находились портрет кисти Спиллера и бюст работы Спокера.

— Мои дочери, — продолжал мистер Пексниф, — будут вне себя от радости. Если бы меня могла утомить эта тема разговора, я бы давным-давно утомился, дорогой мой, потому что они постоянно предвкушали это счастье, то и дело вспоминая о нашей встрече с вами в пансионе миссис Тоджерс. А их прелестная юная подруга, — разливался мистер Пексниф, — которую они так хотят узнать и полюбить, — ибо действительно, узнать ее — значит полюбить, — надеюсь, что вижу ее в добром здоровье? Надеюсь, что, сказав: „Добро пожаловать под мою скромную кровлю“, я найду отклик в ее сердце. Весьма привлекательное выражение лица, досточтимый мистер Чезлвит, весьма и весьма!

— Мэри, — сказал старик, — мистер Пексниф льстит нам. Но лезть от него стоит выслушать. Она не продажная и идет от сердца. Мы думали, что мистер...

— Пинч, — подсказала Мэри.

— Что мистер Пинч придет раньше нас.

— Он и пришел раньше вас, достоуважаемый, — отвечал Пексниф, возвысив голос в назидание Тому, который стоял на лестнице, — и, должно быть, собирався сказать мне о вашем приходе, но я попросил его сначала постучаться к моим дочерям и справиться, как себя чувствует Чарити, милое мое дитя, она что-то не так здорова, как мне хотелось бы. Да, — сказал мистер Пексниф, отвечая на их взгляды, — к сожалению, она не совсем здорова. Это просто нервы, и ничего более. Я не беспокоюсь. Мистер Пинч! Томас! — воскликнул мистер Пексниф самым ласковым голосом. — Войдите, прошу вас. Вы здесь не чужой. Томас — мой друг, и даже старинный друг, надо вам сказать, мистер Чезлвит.

— Благодарю вас, сэр, — сказал Том. — Вы так любезно представляете меня и говорите обо мне в таких выражениях, что я должен этим гордиться.

— Старина Томас! — шутливо воскликнул его хозяин. — Господь с вами!

Том доложил мистеру Пекснифу, что девицы скоро выйдут и все самое лучшее, что только есть в доме, будет сейчас же подано на стол под их общим наблюдением. Он говорил, а гость зорко смотрел на него, хотя и не таким жестким взглядом, как обычно; не ускользнуло от старика и

обоюдное смущение Тома и молодой девушки, чему бы он его ни приписывал.

— Пексниф, — сказал старый Мартин после некоторого молчания, вставая и отводя мистера Пекснифа в сторону, поближе к окну, — меня глубоко потрясла весть о смерти брата. Много лет мы были с ним как чужие. Единственное мое утешение в том, что он, возможно, стал лучше и жил счастливее, оттого что не связывал со мной никаких надежд и планов. Мир праху его! В детстве мы играли с ним вместе, и для нас обоих было бы лучше, если бы мы оба тогда умерли.

Увидев, что он настроен так кротко, мистер Пексниф сразу понял, что можно выйти из затруднительного положения и не выбрасывая Джонаса за борт.

— Чтобы кто-то мог стать счастливее, не зная вас, — в этом вы позвольте мне усомниться, досточтимый, — возразил он. — Но что мистер Энтони на склоне лет обрел счастье в привязанности своего превосходного сына — примерный сын, досточтимый сэр, примерный сын! — и в заботах одного дальнего родственника, который всеми силами старался услужить ему — это я могу сказать вам, сэр.

— Как же так? — спросил старик. — Ведь вы не наследник.

— Вы еще не совсем поняли мой характер, я вижу, — сказал мистер Пексниф, с грустью пожимая ему руку. — Нет, сэр, я не наследник. И горжусь тем, что я не наследник. И горжусь тем, что обе мои дочери тоже не наследницы. Однако, сэр, я находился при нем по его собственной просьбе. Он понимал меня несколько лучше, сэр. Он написал мне: „Я болен. Я умираю. Приезжайте“. Я поехал к нему. Я сидел возле его постели, я стоял над его могилой. Даже рискуя огорчить вас, я это сделал, сэр. И пусть это признание приведет к немедленной разлуке с вами, к разрыву тех нежных уз, которые соединили нас так недавно, все же я не могу молчать, сэр. Но я не наследник, — повторил мистер Пексниф, безмятежно улыбаясь, — и никогда не надеялся стать наследником. Я знал, что не буду наследником.

— Его сын — примерный сын? — воскликнул старик. — Что вы говорите? Мой брат нашел в своем богатстве всегдашнюю казнь богатых, корень их несчастий: где бы он ни был, он приносил с собой развращающее влияние денег и сеял вокруг заразу, даже у собственного очага. Его родного сына деньги сделали алчным наследником, который ежедневно и ежечасно измерял все сокращающееся расстояние между своим отцом и могилой и проклинал его за то, что он замешкался на этом страшном пути.

— Нет! — храбро воскликнул мистер Пексниф. — Отнюдь нет, сэр!

— Но когда в последний раз мы виделись с ним, я заметил эту тень в его доме, — сказал Мартин Чезлвит, — и даже предупредил его. Как мне не узнать эту тень, когда я вижу ее? Мне, которому она сопутствует столько лет!

— Я это отрицаю, — с жаром отвечал мистер Пексниф, — Решительно отрицаю. Осиротевший юноша находится сейчас здесь, в этом доме, стремясь обрести в перемене обстановки утраченный душевный покой. Неужели я не воздам должного этому молодому человеку, когда даже гробовщики и могильщики были тронуты его поведением? Когда даже бессловесные плакальщики во всеуслышание воздавали ему хвалу и сам доктор не знал, как успокоить свои взволнованные чувства? Есть и еще одна особа, по фамилии Гэмп, сэр, миссис Гэмп, — спросите у нее. Она видела мистера Джонаса в это трудное время. Спросите у нее, сэр. Она почтенная, но вовсе не сентиментальная женщина, и подтвердит вам мои слова. Одна строка, адресованная миссис Гэмп, — у торговца птицами, Кингсгейт-стрит, Верхний Холборн, Лондон, — встретит самое внимательное отношение, не сомневаюсь в этом. Пусть ее расспросят, сэр. Бей, но выслушай! Прыгайте, мистер Чезлвит, но осмотритесь сначала! Простите, дорогой мой, что я так разгорячился, — сказал мистер Пексниф, беря старика за обе руки, — но я честен, и мой долг — засвидетельствовать правду!

В подтверждение данной самому себе характеристики мистер Пексниф дозволил слезам честности навернуться на глаза.

Около минуты старик не спускал с него удивленного взгляда, повторяя про себя: „Здесь! В этом доме!“ Однако он справился со своим удивлением и сказал, помолчав немного:

— Я хотел бы повидаться с ним!

— Как друг, я надеюсь? — спросил мистер Пексниф. — Простите меня, сэр, но он пользуется моим скромным гостеприимством.

— Я сказал, что хочу его видеть, — повторил старик. — Если б я был намерен относиться к нему иначе, чем дружески, я бы сказал: не давайте нам встречаться.

— Разумеется, дорогой мой сэр, вы так и сказали бы. Вы — сама искренность, я это знаю. Я постараюсь осторожно сообщить ему о такой радости, если вы извините меня на минутку, — сказал мистер Пексниф, выходя из комнаты.

Он так осторожно подготовлял мистера Джонаса к этому сообщению, что прошло не менее четверти часа, прежде чем они вернулись. Тем временем успели появиться обе молодые девушки, а вместе с ними

появилось и угощение для приезжих.

Как ни старался мистер Пексниф, по свойственной ему добродетели, научить Джонаса почтительно относиться к дяде и как ни старался Джонас, по свойственной ему хитрости, затвердить этот урок, — поведение молодого человека при встрече с дядей никак нельзя было назвать достойным или обворожительным. Быть может, никогда еще не выражало человеческое лицо такой смеси наглости и подобострастия, страха и задора, угрюмого упрямства и рабской угодливости, какие можно было прочесть на лице Джонаса, когда он то вскидывал потупленные глаза на Мартина, то снова опускал их и беспрестанно сжимал и разжимал руки и переминался с ноги на ногу, в ожидании, пока с ним заговорят.

— Племянник, — сказал Мартин, — вы, как я слышу, были почтительным сыном.

— Мне кажется, таким же почтительным, как и все вообще сыновья, — возразил Джонас, поднимая и снова опуская глаза. — Я не стану хвастаться, что был хоть сколько-нибудь лучше других сыновей, но думаю, что был и не хуже.

— Примерный сын, как я слышал, — сказал старик, взглянув на мистера Пекснифа.

— Ну да! — сказал Джонас, мотнув головой и опять поднимая глаза на мгновение. — Я был таким же хорошим сыном, как вы — братом. Коли уж на то пошло, горшку перед котлом нечем хвалиться.

— Вы говорите с горечью, которая свойственна сильной печали, — сказал Мартин, помолчав немного. — Дайте мне вашу руку.

Джонас подал ему руку и почувствовал себя почти свободно.

— Пексниф, — шепнул он, когда они усаживались за стол, — я ему тоже отлил пулю — не хуже, чем он мне. Мне думается, лучше бы он на себя оглянулся, чем кивать на других.

Мистер Пексниф ответил ему единственно толчком в бок, который можно было истолковать и как негодующий протест и как сердечное согласие, но который, во всяком случае, был настойчивым увещаньем по адресу нареченного зятя — замолчать. Затем он возвратился к исполнению обязанностей хозяина дома с обычной для него непринужденностью и любезностью.

Но даже бесхитростная веселость мистера Пекснифа не могла оживить общество или привести к согласию все противоречивые и враждебные элементы. Не легко было удерживать в границах затаенную ревность и зависть, которые недавнее объяснение заронило в грудь Чарити, и не один раз они готовы были вспыхнуть с такой силой, что казалось, неизбежно

должно было последовать разоблачение всего, что произошло. Да и прекрасная Мерри во всей славе своей новой победы так растравляла и колола сердечные раны сестры своим капризным поведением и сотней маленьких испытаний покорности мистера Джонаса, что довела ее чуть ли не до помешательства и заставила выскочить из-за стола в припадке ярости, который вряд ли уступал по силе недавнему приступу злобы. Присутствие Мэри Грейм (под этим именем старый Мартин ввел ее в круг семьи), сильно стеснявшее всех, отнюдь не улучшало положения вещей, несмотря на то, что Мэри держалась тихо и спокойно. Но самые сильные испытания выпали на долю мистера Пекснифа: не говоря уже о необходимости неустанно поддерживать мир между обеими дочерьми, показывать вид, будто все его семейство живет дружно и согласно, обуздывать все возрастающую веселость и развязность Джонаса, которые проявлялись в мелких дерзостях по отношению к мистеру Пинчу и в какой-то не поддающейся определению грубости по отношению к Мэри Грейм (так как оба они были лица зависимые), ему все время приходилось быть начеку и умасливать богатого родственника, сглаживать и объяснять тысячи вещей, имевших подозрительный вид, тысячи всяких подозрительных совпадений, которыми так изобилдовал этот злополучный вечер. Легко себе представить, что вследствие всего этого и многого другого, чему трудно даже подвести итог, к радости мистера Пекснифа примешивалась порция дегтя, гораздо больше той, какая примешивается обычно ко всем человеческим радостям. Быть может, никогда в жизни он не чувствовал такого облегчения, как в ту минуту, когда старик Мартин, взглянув на часы, объявил, что им пора домой.

— Пока что мы остановились в „Драконе“, — сказал старик. — Мне что-то захотелось немного пройтись. Вечера стоят темные — быть может, мистер Пинч не откажется посветить нам дорогой?

— Досточтимый! — воскликнул Пексниф. — Я с удовольствием! Мерри, дитя мое, скорее фонарь!

— Фонарь, это как вам будет угодно, моя милая, — сказал Мартин, — но я не позволю себе увести вашего отца из дому так поздно вечером; об этом и речи быть не может.

Мистер Пексниф уже взял шляпу в руку, но это было сказано так твердо, что он остановился.

— Я возьму мистера Пинча или пойду один, — сказал старик. — Что лучше?

— Возьмите Томаса, сэр, — воскликнул мистер Пексниф, — если вы уж так решили, Томас, друг мой, будьте как можно осторожнее,

пожалуйста.

Это напоминание оказалось далеко не лишним, ибо Том Пинч так волновался и так дрожал, что ему было трудно удержать в руках фонарь. Но насколько же ему стало труднее, когда, повинаясь слову старика, Мэри взяла под руку его, Тома Пинча!

— Итак, мистер Пинч, — сказал Мартин дорогой, — вам здесь живется очень хорошо, не правда ли?

Том отвечал еще более, чем обычно, восторженным тоном, что он бесконечно обязан мистеру Пекснифу и, даже посвятив ему всю жизнь, едва ли сможет отплатить за такую доброту.

— Давно ли вы знаете моего племянника? — спросил Мартин.

— Вашего племянника, сэр? — запинаясь, выговорил Том.

— Мистера Джонаса Чезлвита, — сказала Мэри.

— Ах, боже мой, да! — воскликнул Том с большим облегчением, потому что он думал в эту минуту о молодом Мартине. — Да, конечно! Я ни разу не говорил с ним до сегодняшнего вечера, сэр.

— Быть может, полжизни все-таки хватит, чтобы воздать ему должное за его доброту? — заметил старик. Том почувствовал в этих словах упрек себе и не мог не понять, что удар косвенно направлен в его патрона. Поэтому он молчал. Мэри догадывалась, что мистер Пинч не отличается особенной находчивостью и что чем меньше он скажет, тем будет лучше при данных обстоятельствах. Поэтому она молчала тоже. Старик, негодуя на то, что он, по своей подозрительности, принял за бесстыдное и грубое восхваление мистера Пекснифа, которое вменялось в обязанность Тому и в котором он хватил через край, сразу же записал его в фальшивые, раболепные, низкие приживальщичьи. Поэтому он тоже молчал. И хотя всем троим было очень неловко, справедливость требует сказать, что старик чувствовал себя, быть может, хуже остальных, потому что сначала был расположен к Тому и заинтересовался его явным простодушием.

„И ты такой же, как все другие, — думал он, глядя на ничего не подозревавшего Тома. — Вы почти успели провести меня, мистер Пинч, но все же ваши труды пропали даром. Вы слишком усердный льстец, и этим выдаете себя с головой“.

За всю остальную дорогу не было сказано ни единого слова. Первая встреча, о которой Том мечтал с бьющимся сердцем, не принесла ему ничего, кроме неловкости и смущения. Они расстались перед дверью „Дракона“, и Том, со вздохом погасив свечу в фонаре, побрел обратной дорогой через сумрачные поля.

Когда он подходил к изгороди, уединенному месту, где в тени сосновой

рощицы мрак казался особенно густым, какой-то человек проскользнул мимо и обогнал его. Дойдя до перелаза, он остановился и уселся на верхней ступеньке. Том был несколько удивлен и на мгновение тоже остановился, но тут же опять двинулся вперед и подошел вплотную к поджидавшему его человеку.

Это был Джонас; посасывая набалдашник трости и болтая ногами, он насмешливо глядел на Тома.

— Господи помилуй! — воскликнул Том. — Кто бы мог подумать, что это вы? Вы, значит, шли за нами?

— А вам какое дело? — сказал Джонас. — Подите вы к черту!

— Вы не слишком вежливы, мне кажется, — заметил Том.

— Для вас достаточно вежлив, — сказал Джонас. — Кто вы такой?

— Человек, который имеет такое же право на общее уважение, как и всякий другой, — мягко ответил Том.

— Врете вы все, — сказал Джонас. — Не имеете вы никакого права ни на чье уважение. Ни на что вы не имеете права. Хорош голубчик! Туда же еще, о правах разговаривает, ей-богу! Ха-ха! Право, вот еще тоже!

— Если вы будете продолжать в том же духе, — возразил Том, краснея, — то мне придется заговорить другим языком. Надеюсь, однако, вы бросите эти шутки.

— Вот и всегда вы так, щенки трусливые, — сказал Джонас, — знаете, что человек говорит серьезно, а делаете вид, будто он шутит, лишь бы отвильнуть. Только со мной это не выйдет. Стара штука. Теперь послушайте-ка меня, мистер Пич, Вич, Стич, как вас там зовут.

— Моя фамилия Пинч, — ответил Том. — Будьте любезны так меня и звать.

— Вот как! Даже и назвать вас нельзя как-нибудь по-другому! — воскликнул Джонас. — Я вижу, нищие подмастерья начинают задирать нос. Черт возьми! У нас в Лондоне мы их в струне держим.

— Мне неинтересно, как поступают у вас в Лондоне, — ответил Том. — Что именно вы хотели мне сказать?

— Вот что, мистер Пинч, — отвечал Джонас, подставляя свое лицо так близко, что Тому пришлось отступить на один шаг, — советую вам побольше молчать, поменьше сплетничать и не лезть туда, куда вас не просят. Я кое-что слышал о вас, любезный, и о ваших тихоньких повадках тоже; советую вам забыть про них, пока я не женился на дочке Пекснифа, и не заискивать перед моей родней, а убираться прочь с дороги. Знаете, если щенок путается под ногами, его бьют хлыстом, так что я вам добром советую. Поняли? А? Да кто вы такой, черт возьми, — еще более

оскорбительным тоном крикнул Джонас, — чтобы, провожая их домой, идти рядом, а не позади, как полагается всякому слуге, в ливрее он или без ливреи!

— Ну, — сказал Том, — слезайте-ка и пропустите меня. Дайте мне дорогу, пожалуйста!

— И не подумаю! — отвечал Джонас, еще шире рассаживаясь на ступеньке. — Не слезу, пока не захочу. А сейчас я не хочу. Что? Испугались, как бы я вас не заставил выложить все ваши секреты, проныра?

— Меня не так легко испугать, — сказал Том, — и уж вас-то я, во всяком случае, не испугаюсь, что бы вы ни делали. Я не сплетник и презираю всякую низость. Вы сильно ошиблись во мне. Ах! — негодуя воскликнул Том. — Хорошо ли это — человеку вашего положения так вести себя? Пожалуйста, позвольте мне пройти. Чем меньше я скажу, тем будет лучше.

— Чем меньше вы скажете! — передразнил Джонас, еще сильнее болтая ногами и не обращая никакого внимания на просьбу Тома. — Ну конечно, ведь вы ничего лишнего не говорили! Черт возьми, хотел бы я знать, что у вас за дела с этим бродягой, моим родственником? Тоже скажете никаких нет, я думаю!

— Я не знаю никакого бродяги, вашего родственника, — решительно отвечал Том.

— Нет, знаете! — сказал Джонас.

— Нет, не знаю, — отвечал Том. — Тезка вашего дяди, если вы говорите о нем, вовсе не бродяга. Всякое сравнение с ним для вас не выгодно ни в коей мере, — Том даже прищелкнул пальцами, с такой силой разгорался в нем гнев.

— Ах, вот как! — издевался Джонас. — А что вы скажете насчет его милашки, насчет нищенских объедков, а, мистер Пинч?

— Я не скажу больше ни слова и не намерен здесь оставаться ни минуты больше, — отвечал Том.

— Ведь я говорил вам и раньше, что вы врете, — нагло сказал Джонас, — вы останетесь здесь, пока я вам не позволю уйти. Ну, стойте на месте, слышите, что ли?

Он взмахнул палкой над головой Тома, но в ту же минуту палка полетела в воздух, а сам Джонас растянулся на дне канавы. Во время короткой борьбы за палку Том сильно хватил его по лбу своего противника, и кровь хлынула струей из глубокого пореза на виске. Том понял это, увидев, как Джонас прижимает к ране носовой платок и с трудом

поднимается на ноги, оглушенный ударом.

— Вам больно? — спросил его Том. — Мне очень жаль, если так. Обопритесь на меня. Нет нужды, что вы меня не простили и все еще питаете злобу ко мне. Хотя я не знаю почему; я ведь ничем вас не оскорбил, пока мы не встретились здесь.

Джонас ничего не ответил; казалось, сначала он даже не сознавал, что ранен, хотя несколько раз отнимал платок от виска и бессмысленным взглядом смотрел на кровь. Наконец он взглянул на Тома, и на лице у него мелькнуло выражение, показывавшее, что он понимает, что произошло, и никогда этого не забудет.

Оба они возвращались домой в полном молчании. Джонас шел немного впереди, а мистер Пинч, повесив голову, плелся сзади, думая о том, как огорчится его добрый благодетель, узнав об этой ссоре. Когда Джонас постучался в дверь, сердце Тома сильно забилося; еще сильнее оно забилося, когда мисс Мерри отворила им и громко вскрикнула, увидев раненого поклонника; еще сильнее оно забилося, когда он вошел вслед за ними обоими в маленькую гостиную, и всего сильнее, когда заговорил Джонас.

— Не поднимайте шума, — сказал он. — Это сущие пустяки. Дороги я не знаю, вечер темный, я как раз поравнялся с мистером Пинчем, — он обратил к Тому лицо, но не глаза, — и налетел на дерево. Это всего только ссадина.

— Холодной воды, Мерри, дитя мое! — крикнул мистер Пексниф. — Оберточной бумаги! Ножницы! Полотняных тряпок! Чарити, душа моя, сделай ему перевязку! Боже мой, мистер Джонас!

— О, подите вы с вашими глупостями! — отвечал ему любезный зять. — Будьте хоть чем-нибудь полезны, если можете. А не можете, так убирайтесь!

Мисс Чарити, хотя ее и приглашали подать первую помощь, сидела, выпрямившись, в углу, с улыбкой на устах, и даже не двинулась с места. В то время как Мерри сама промывала рану, а мистер Пексниф держал голову пациента обеими руками, как будто без этого она непременно раскололась бы пополам; в то время как Том Пинч, угнетенный сознанием своей вины, так долго тряс пузырек с датскими каплями, что все они без остатка превратились в английскую пену, а в другой руке держал страшных размеров нож, который надо было только приложить к опухоли, хотя со стороны могло показаться, что им собираются нанести вторую рану, перевязав первую, — Чарити не оказала ни малейшей помощи, не произнесла ни единого слова. Но после того как мистеру Джонасу

забинтовали голову, и он улегся в постель, и в доме все утихло, мистер Пинч, печально сидевший на кровати и размышлявший о событиях, услышал тихий стук в дверь и, открыв ее, увидел, к великому своему удивлению, мисс Чарити, которая стояла перед ним, приложив палец к губам.

— Мистер Пинч, — прошептала она, — милый мистер Пинч! Скажите мне правду! Ведь это сделали вы? Между вами вышла ссора, и вы его ударили? Так я и думала!

В первый раз за все те годы, что они прожили под одной крышей, она говорила с Томом ласково. Он остоленел от изумления.

— Верно это или нет? — настойчиво спрашивала она.

— Меня на это вызвали, — сказал Том.

— Значит, верно? — воскликнула Чарити, сверкая глазами.

— Д-да. Мы поссорились из-за дороги, — сказал Том. — Но я не хотел ударить его так сильно.

— Так сильно! — повторила она, стискивая кулаки и топая ногами, к великому удивлению Тома. — Не говорите этого. Вы поступили храбро. Я уважаю вас. Если вам придется еще когда-нибудь поссориться, не щадите его ни за что на свете, повалите на землю и наступите на него ногой. Но никому ни слова об этом. — Милый мистер Пинч, с этого вечера — я ваш друг. Я теперь навсегда ваш друг.

Она подняла к Тому покрасневшее лицо, возбужденное выражение которого подтверждало ее слова, схватила правую руку Тома, прижала ее к груди и поцеловала. И в этом не было ничего личного, ничего такого, что вызывало бы неловкость, ибо даже Том, отнюдь не отличавшийся наблюдательностью, понимал, что она стала бы ласкать чью угодно руку, как бы ни была эта рука запачкана грязью и кровью, лишь бы она проломила голову Джонаса Чезлвита.

Том вернулся в свою комнату и лег в постель, полный самых тревожных мыслей. Что в семье Пекснифа (по той или иной причине) мог произойти столь страшный раскол, в силу которого Чарити Пексниф стала его другом; что Джонас, напавший на него с необычайной наглостью, мог проявить великодушие, сохранив в тайне их ссору, и что Том Пинч мог оскорбить действием человека, называющего себя другом мистера Пекснифа, — все это были предметы для таких глубоких и тягостных размышлений, что Том долго не мог сомкнуть глаз. Собственное буйное поведение так угнетало великодушного мистера Пинча, что, припоминая все прежние случаи, когда ему доводилось причинять мистеру Пекснифу заботу и беспокойство (случаи, о которых сей джентльмен частенько

напоминал ему), он начал думать, что обречен неисповедимой судьбой играть роль злого гения или же ангела-мстителя по отношению к своему патрону. Но в конце концов он заснул и видел во сне — и это послужило для него источником новых сокрушений, — будто бы он обманул доверие своего хозяина и бежал с Мэри Грейм.

Надо сознаться, что и во сне и наяву Тома сильно сокрушало его отношение к этой молодой особе. Чем больше он ее видел, тем больше восхищался ее красотой, умом, всеми прекрасными качествами характера, которые повлияли благотворно даже на расколовшуюся семью Пекснифа, в несколько дней восстановив хотя бы видимость согласия и любви между враждующими сестрами. Когда она говорила, Том слушал ее затаив дыхание; когда она пела, он сидел как замороженный. Она коснулась органа в церкви, и с этой светлой минуты даже он, старый товарищ его счастливейших часов, не подвластный как будто никаким переменам, начал новую жизнь, преображенную присутствием божества.

Да благословит бог твое терпение, Томас Пинч! Тот, кто видел тебя в течение этих трех летних недель склоненным до полуночи над разбитым вконец остовом клавикордов в малой гостиной, не мог не постигнуть тайны твоего сердца; но была ли она ясна тебе самому? Кто из видевших румянец на твоих щеках в те минуты, когда ты после долгих часов работы наклонялся, прислушиваясь к дребезжанию расстроенной струны, и находил, что она обрела, наконец, голос и издает что-то очень похожее на ту ноту, которая от нее требуется, — кто не понял бы, что эти клавикорды предназначены не для простых рук, но для тех, которые касаются сокровенных струн твоей души легким, почти ангельским прикосновением! И если бы дружеский взгляд — хотя бы такой же бесхитростный, как твой, милый Том, — следил за тобой в тот вечер, когда она впервые пела, усевшись за исправленные клавикорды, слегка приглушенным голосом, полным грусти, нежности и надежды, и удивлялась той перемене, какая произошла с инструментом; а ты, сидя в стороне, у открытого окна, хранил молчание, и сердце твое наполнилось радостью, — он конечно распознал бы зарю того чувства, Том, которому лучше было бы не зарождаться!

Положение Тома Пинча не сделалось менее опасным и затруднительным оттого, что ни одного слова о молодом Мартине не было сказано между ними. Помня о своем обещании, Том старался предоставить Мэри все возможности для этого. И утром и вечером он бывал в церкви и там, где она любила гулять, — и в деревне, и в саду, и на лугах, — словом, везде, где он мог бы говорить с ней без помехи. Так нет же: она все время старалась избегать его или не встречаться с ним без свидетелей. Не то

чтобы она не доверяла ему или он ей не нравился, ибо из тысячи мелочей, не заметных ни для кого, кроме самого Тома, видно было, что она даже выделяла его среди других и была по отношению к нему сама доброта. Возможно ли, чтобы она порвала с Мартином или не отвечала на его любовь, что все это было только в смелом и разгоряченном воображении юноши? Щеки Тома горели от угрызений совести, и он отгонял от себя эту мысль.

Все это время старик Мартин, по свойственной ему странной манере, то приходил, то уходил, то сидел вместе со всеми, погруженный в свои мысли, и почти ни с кем не разговаривал. При всей своей неразговорчивости, он вовсе не казался стеснителем, угрюм или надоедлив; всего больше он любил, когда его предоставляли самому себе и продолжали веселиться при нем без церемоний. Трудно было разобрать, кем из присутствующих он интересуется, да и интересуется ли вообще кем бы то ни было. Если с ним не заговаривали прямо, он ничем не показывал, что слышит и видит то, что делается вокруг.

В один прекрасный день бойкая Мерри, сидя с опущенными долу глазами под тенистым деревом на кладбище, куда она удалилась, устав дразнить и испытывать мелкими придирками привязанность мистера Джонаса, вдруг почувствовала, что новая тень легла между нею и солнцем. Подняв глаза и думая увидеть своего нареченного, она немало удивилась, узрев вместо него старика Мартина. Ее удивление отнюдь не уменьшилось, когда он уселся на дерн рядом с нею и начал разговор так:

— Когда же ваша свадьба?

— Ах, боже ты мой, мистер Чезлвит! Почему же я знаю? Еще не скоро, надеюсь.

— Надеетесь? — спросил старик.

Это было сказано очень серьезно, но она приняла его слова в шутку и захихикала.

— Будет вам! — сказал старик с необычной для него мягкостью. — Вы молоды, красивы и, как мне кажется, добродушны! Вы легкомысленны, и вам без сомнения нравится быть такой; но должно же у вас все-таки быть сердце.

— Я не целиком его отдала, могу вас уверить, — сказала Мерри, лукаво качая головой и теребя пальцами траву.

— А часть все-таки отдали?

Она отбросила траву в сторону и отвернулась, но ничего не сказала.

Мартин повторил свой вопрос.

— Господи, мистер Чезлвит, ну в самом деле, что я вам отвечу? Какой

же вы чудак!

— Если странно, что я хочу знать, любите ли вы молодого человека, за которого, сколько я понимаю, собираетесь замуж, то я действительно чудак, — сказал Мартин. — Потому что я действительно хочу это знать.

— Он такое чудище, вы сами видите, — ответила Мерри, надувая губки.

— Значит, вы его не любите? — возразил старик. — Это ли смысл ваших слов?

— Ну как же, мистер Чезлвит, я сто раз на дню ему повторяю, что терпеть его не могу. Вы, наверно, и сами слышали.

— Очень часто, — сказал Мартин.

— Оно так и есть, — воскликнула Мерри, — положительно не выношу!

— А в то же время обручены с ним, — заметил старик.

— О да, — ответила Мерри. — Но я уже говорила этому противному человеку, дорогой мой мистер Чезлвит, я уже говорила ему, когда он делал предложение, что если я и выйду за него замуж, так только для того, чтобы ненавидеть и мучить его всю жизнь.

Она подозревала, что старик вряд ли относится к Джонасу благосклонно, и рассчитывала, что эти слова совершенно его очаруют. Однако он рассматривал их, по-видимому, совсем не в том свете, ибо когда заговорил с нею снова, то уже довольно строго.

— Посмотрите вокруг, — сказал он, указывая на могилы, — и не забудьте, что с того самого часа, как вы пойдете под венец, и до того дня, когда вас упокоят на таком вот ложе, глубоко под землей, вам некому будет жаловаться на вашего избранника. Думайте, говорите и поступайте как разумное существо хотя бы в этом единственном случае. Вас принуждают к этому браку? Кто-нибудь вам советует или искушает вас вступить в этот брак? Я не хочу спрашивать, кто именно: но кто-нибудь?

— Нет, — ответила Мерри, пожимая плечами. — Не могу сказать, чтобы меня принуждали.

— Не можете сказать? Нет?

— Нет, — отвечала Мерри. — Никто мне не говорил ни слова. Если б меня заставляли за него выйти, я бы и вовсе не вышла.

— Я слышал, что его считали поклонником вашей сестры, — сказал Мартин.

— О боже мой, мистер Чезлвит! Хоть он и чудовище, но все-таки не может же он отвечать за тщеславие других людей. А бедняжка Черри такая тщеславная.

— Так это была ее ошибка?

— Надеюсь, что да, — воскликнула Мерри, — но только бедняжка ужасно завидует, и ревнует, и так злится, что ей просто невозможно угодить, даю вам честное слово, не стоит даже и пробовать.

— Не принуждают силой, не уговаривают и не заставляют, — в раздумье сказал Мартин. — И я вижу, что это правда. Остается еще одна возможность. Вы, быть может, обручились с ним просто по легкомыслию, по ветрености? Это, быть может, необдуманный поступок легкомысленной девушки? Так ли это?

— Дорогой мистер Чезлвит, — жеманно улыбнулась Мерри, — что до легкомыслия, то голова у меня совсем пустая. Сказать по правде, настоящий воздушный шар!

Он спокойно дал ей договорить до конца, а затем сказал настойчиво и не торопясь, но гораздо мягче, как бы склоняя девушку довериться ему:

— Нет ли у вас желания — или не внушает ли вам внутренний голос, когда у вас находится время подумать, — освободиться от данного вами слова?

Мерри опять надула губки и, опустив глаза, опять принялась рвать траву и пожимать плечами. Нет. Она этого не может сказать. Пожалуй, у нее нет такого желания. Даже наверное нет. Она „ничего не имеет против“.

— Неужели вам никогда не приходило в голову, — сказал Мартин, — что замужество может испортить вам жизнь, озлобить вас, сделать глубоко несчастной?

Мерри опять опустила глаза; теперь она вырывала траву с корнями.

— Дорогой мистер Чезлвит, какие ужасные слова! Конечно, я буду с ним ссориться, я бы стала ссориться с каким угодно мужем. Жены, по моему, всегда ссорятся с мужьями. Ну, а чтобы испортить мне жизнь или озлобить меня, то я думаю, до всех этих ужасов дело не дойдет, разве если муж станет мной командовать; а я сама думаю им командовать. Я уже и теперь командую, — воскликнула Мерри, качая головой и усиленно хихикая, — он у меня прямо-таки в рабстве.

— Пусть будет так! — сказал Мартин, вставая. — Пусть будет так! Я хотел узнать ваши мысли, моя милая, и вы мне их открыли. Желаю вам счастья. Счастья! — повторил он, глядя на Мерри в упор и показывая на калитку, в которую тем временем входил Джонас. И, не дожидаясь, пока подойдет племянник, он вышел в другие ворота.

— Ах ты злой старикашка! — воскликнула шутница Мерри. — Такое отвратительное страшилище — шляется по кладбищам среди бела дня и пугает людей до полусмерти! Не ходите сюда, чучело, не то я сейчас же

убегу!

„Чучело“ был мистер Джонас. Он сел на траву рядом с Мерри. не слушая этого предостережения, и угрюмо спросил:

— О чем говорил тут мой дядя?

— О вас, — отвечала Мерри. — Он говорит, что вы для меня недостаточно хороши.

— Ну да, еще бы! Это всем известно. Надеюсь, он собирается подарить вам что-нибудь стоящее? Он не намекал на что-нибудь в этом роде?

— Нет, не намекал! — отрезала Мерри самым решительным тоном.

— Старый скряга, вот он кто такой! — сказал Джонас. — Ну?

— Чучело! — воскликнула Мерри в притворном изумлении. — Что это такое вы делаете, чучело?

— Обнимаю вас, только и всего, — ответил обескураженный Джонас. — Ничего плохого в этом нет, я полагаю.

— Наоборот, это очень плохо, раз мне не нравится, — возразила его кузина. — Да отстанете ли вы наконец? Мне и без вас жарко.

Мистер Джонас убрал руку и с минуту смотрел на Мерси скорее глазами убийцы, чем глазами поклонника. Но постепенно морщины у него на лбу разошлись, и, наконец он нарушил молчание, сказав:

— Послушайте, Мэл!

— Что вы мне хотите сказать, грубое вы существо, дикарь вы этакий? — воскликнула его прелестная нареченная.

— Когда же это будет? Не могу же я болтаться тут всю жизнь, сами понимаете, да и Пексниф тоже говорит — это ничего, что отец недавно умер; мы можем обвенчаться и здесь, без всякого шума; а раз я остался совсем один, то и соседи поймут, что надо было поскорее взять жену в дом, особенно такую, которую отец знал. А старый хрыч (то есть мой дядюшка) не будет вставлять палки в колеса, на чем бы мы ни порешили, он еще нынче утром говорил Пекснифу, что если вам это по душе, то он не против. Так что, Мэл, — спросил Джонас, снова отваживаясь ее обнять, — когда же это будет?

— Ну вот еще, надоело! — воскликнула Мерри.

— Вам надоело, а мне нет, — сказал Джонас. — Что вы скажете насчет будущей недели?

— Насчет будущей недели! Если б вы сказали через три месяца, я бы и то подивилась вашему нахальству.

— А я и не говорил через три месяца, — возразил Джонас. — Я сказал через неделю.

— В таком случае я говорю нет, — воскликнула мисс Мерри, отталкивая его и вставая, — только не на будущей неделе. Этого не будет до тех пор, пока я сама не захочу, а я еще, может быть, целый год не захочу. Вот вам!

Он поднял глаза и посмотрел на нее так же мрачно, как смотрел на Тома Пинча, но сдержался и не ответил.

— Никакое чучело с пластырем на глазу не может мне приказывать и решать за меня, — сказала Мерри. — Вот вам!

И все-таки мистер Джонас сдержался и не ответил.

— В будущем месяце, это уж самое раннее; назначать день я подожду еще до завтра; а если вам не нравится, то и никогда этого не будет, — сказала Мерри, — а если вы не перестанете ходить за мной по пятам и не оставите меня в покое, то и совсем этого не будет. Вот вам! И если вы не будете слушаться и делать все, что я вам велю, то и совсем никогда этого не будет. Так что не ходите за мной по пятам. Вот вам, чучело!

С этими словами она ускользнула от него и скрылась за деревьями.

— Ей-богу, сударыня, — сказал Джонас, глядя ей вслед и раскусывая соломинку с такой силой, что она вся рассыпалась в прах, — я вам это припомню, когда вы будете замужем! Сейчас еще ладно, как-нибудь потерпим пока что, и вы это тоже понимаете, а потом я вам отплачу с лихвой. Ну и скучища же адская сидеть тут одному. Я всегда терпеть не мог старых, заброшенных кладбищ.

Как только он свернул в аллею, мисс Мерри, которая уже ушла далеко вперед, вдруг оглянулась.

— Ага! — сказал Джонас с мрачной улыбкой и кивком головы, которые предназначались не ей. — Пользуйтесь временем, пока оно не ушло. Убирайте сено, пока солнце светит. Поступайте по-своему, покуда это еще в вашей власти, сударыня!

Глава XXV

отчасти профессиональная; сообщает читателю ценные сведения относительно того, как надо ухаживать за больными.

Мистера Моулда окружали его домашние божества. Он наслаждался отдыхом в лоне своего семейства и взирал на всех спокойно и благожелательно. День стоял душный, окно было открыто, и потому ноги мистера Моулда покоились на подоконнике, а спина опиралась на ставень. На блестящую лысину мистера Моулда был накинута платок, в защиту от мух. Комната благоухала пуншем, и на маленьком столике под руками у мистера Моулда стоял бокал этого усладительного напитка, смешанный так искусно, что глаз мистера Моулда, заглядывая в холодный прозрачный пунш, встречался с другим глазом, который спокойно взирал на него из-за сочной лимонной корочки, мерцая, как звезда.

В самой глубине Сити, в районе Чипсайда^[78], стояло заведение мистера Моулда. Его гарем — иначе говоря, жилая комната, она же гостиная миссис Моулд — был расположен над маленькой конторой, примыкавшей к мастерской, и выходил окнами на небольшое тенистое кладбище. В этом внутреннем покое и сидел теперь мистер Моулд, безмятежно глядя на свой пунш и на своих домашних. А если на какую-нибудь минуту он отрывался от всех этих приятностей для более широкой перспективы, чтобы потом вернуться к ним с новым интересом, его влажный взор, подобно солнечному лучу, проникал сквозь идиллическую завесу турецких бобов, которые вились перед окном по веревочкам, — и тогда он созерцал могилы оком художника.

Общество мистера Моулда составляли подруга его жизни и обе дочери. Каждая мисс Моулд была жирна, как перепелка, а миссис Моулд была жирнее обеих мисс вместе взятых. Так округлы и пухлы были их завидные пропорции, что могли бы принадлежать херувимам из мастерской в нижнем этаже, но только во взрослом состоянии и с другими головками, более приличными для смертных. Их персиковые щеки были круглы и надуты так, как будто бы они постоянно трубили в небесные трубы. Бестелесные херувимы в мастерской, которые были изображены вечно трубящими в эти трубы, не имея легких, надо думать, полагались главным образом на слух.

Мистер Моулд с любовью взирал на миссис Моулд, которая сидела

рядом и содействовала ему в пунше-питии, как и во всех других делах. Обеих своих ангелоподобных дочек мистер Моулд тоже одарял благосклонными взглядами, и они тоже улыбались ему в ответ. Столько имущества было у мистера Моулда и столь велик был запас его товара, что даже здесь, в семейном святилище, стоял объемистый шкаф, хранивший в своем палисандровом чреве саваны, покровы и прочие похоронные принадлежности. Хотя обе мисс Моулд выросли, так сказать, на глазах у этого шкафа, однако его тень не омрачила их застенчивого детства и цветущей юности. С колыбели резвясь и забавляясь за кулисами смерти и похорон, обе мисс Моулд весьма здраво смотрели на вещи. В траурных повязках для шляп они видели лишь столько-то ярдов шелка или крепа, в могильном саване — лишь столько-то полотна. Девицы Моулд могли идеализировать плащ актера, шлейф придворной дамы и даже парламентский акт. Но гробовые покровы не могли ввести их в заблуждение: они сами их сшивали иногда.

Владения мистера Моулда почти не слышали оглушительного грохота широких, больших улиц и ютились в тихом уголке, куда городской шум доходил только сонным гулом, который то ослабевал, то усиливался, то совсем умолкал, заставляя пытливым ум предполагать затор где-нибудь на Чипсайде. Солнце играло среди турецких бобов, как будто кладбище подмигивало мистеру Моулду, говоря: „Мы отлично понимаем друг друга“, а из мастерской, где сколачивали гробы, доносился приятный мерный стук молотков, и негромкое, мелодическое рат-тат-тат равно способствовало дремоте и пищеварению.

— Точь-в-точь будто пчелы гудят, — сказал мистер Моулд, закрывая глаза в совершенном удовольствии. — По звуку напоминает одушевленную природу где-нибудь в сельской местности. Как будто дятел стучит.

— И дятел стучит по дуплистому вязу, — заметила миссис Моулд, вставляя в популярную песенку название того дерева, которое обычно употребляется в ремесле мистера Моулда.

— Ха-ха! — засмеялся мистер Моулд. — Очень неплохо сказано, милая. Не придумаете ли еще чего-нибудь, миссис Моулд? По дуплистому вязу, а? Ха-ха! Право, очень недурно. В воскресных газетах читаешь иной раз и хуже этого, душа моя.

Миссис Моулд, получив такое поощрение, отхлебнула еще немного пунша и передала кружку дочерям, которые послушно последовали примеру своей матушки.

— По дуплистому вязу, а? — повторил мистер Моулд, в восторге от этой шутки слегка притопывая ногами.

А в песне ведь — бук. По вязу, а? Правильно. Честное слово, лучше этого я ничего не слышал! — Шутка до такой степени раззадорила его, что он никак не мог успокоиться и двадцать раз повторял: — Так по вязу, а? Правильно. Конечно, по вязу. Ха-ха-ха! А знаешь ли, это надо куда-нибудь послать, пускай бы напечатали. Редко бывает, чтобы удалось так остроумно сказать. По дуплистому вязу, а? Правильно. Очень даже дуплистому. Ха-ха-ха!

Тут кто-то постучался в дверь.

— Это Тэкер, — сказала миссис Моулд, — его сразу можно узнать по одышке. Кто бы мог подумать, что он был раньше первый весельчак! Войдите, Тэкер.

— Прошу прощения, сударыня, — сказал Тэкер, осторожно заглядывая в щелку. — Я думал, что хозяин здесь.

— Ну да, он тут и есть! — воскликнул Моулд.

— А я вас и не заметил сразу, — сказал Тэкер, просовывая голову немного дальше. — Вы ведь не согласитесь взять заказ на похороны без катафалка? Гроб из некрашеного дерева, с жестяной дощечкой?

— Конечно, нет, — отвечал мистер Моулд, — уж очень по-бедному. Что тут интересного.

— Я им говорил, что очень дешево, — заметил мистер Тэкер.

— Пускай идут к кому-нибудь другому. Мы такого рода делами не занимаемся, — сказал мистер Моулд. — Хватает же наглости соваться. Кто это?

— Вот в том-то и дело, понимаете ли, — ответил Тэкер, помолчав. — Это зять приходского надзирателя.

— Зять приходского надзирателя? — сказал Моулд. — Ну, что ж! Я возьмусь, если приходский надзиратель пойдет за гробом в треуголке, но не иначе. Мы можем принять заказ, если это будет иметь официальный вид, и то будет очень по-бедному. Так в треуголке, не забудьте!

— Постараюсь, сэр, — ответил Тэкер. — Да! Миссис Гэмп внизу и желает поговорить с вами.

— Попросите миссис Гэмп подняться наверх, — сказал Моулд. — Ну, миссис Гэмп, что у вас новенького?

Миссис Гэмп была уже в дверях и приседала перед миссис Моулд. В то же самое время по комнате ветерком пронеслось особое благоухание, словно какая-нибудь фея икнула, пролетая мимо, по дороге из винного погребка.

Миссис Гэмп не ответила на вопрос, но еще раз присела перед миссис Моулд, закатывая глаза и воздевая руки к небу, словно благодаря бога за то,

что видит ее в таком добром здоровье. Миссис Гэмп была одета опрятно, но без всякой пышности — в то самое траурное платье, которое было на ней, когда мистер Пексниф имел удовольствие с ней познакомиться, разве только нюхательного табаку на нем чуть прибавилось.

— Бывают же такие счастливицы, — заметила миссис Гэмп, — что год от году молодеют, миссис Моулд! Вот и вы такая, время с вами ничего поделать не может, сколько ни старается: все равно вы молодая, молодой и останетесь. Вот я и говорю на этих днях миссис Гаррис, как раз в позапрошлый понедельник вечером: „Это уж верно, и что жизнь наша есть сущая юдоль и странствие полугрима — тоже верно“. Она мне говорит: „Годы да заботы, миссис Грин, хоть кого состарят“. А я ей говорю: „Вот уж неправда, миссис Гаррис, и не повторяйте вы этого, не то у нас с вами вся дружба врозь. Взять хоть бы миссис Моулд, — говорю я, — признаться, взяла на себя такую вольность, помянула ваше имя (тут она опять присела), — по ней одной видно, что все врет эта ваша поговорка; и пока я жива, миссис Гаррис, я этого так не оставлю, за своих всегда заступлюсь, и не думайте даже“. — „Ну извините, сударыня, — говорит миссис Гаррис, — будьте так любезны, я ведь и сама отлично знаю, если есть на свете такая женщина, что кого угодно до обморока доведет, лишь бы услужить своим друзьям, то одна только и найдется, и зовут эту женщину Сара Гэмп“.

Тут ей поневоле пришлось перевести дыхание. Воспользовавшись этим обстоятельством, следует заметить, что даму, носившую фамилию Гаррис, окружала глубокая тайна; по крайней мере никто из обширного круга знакомых миссис Гэмп ее и в глаза не видел; ни одна душа не знала также, где она живет, хотя миссис Гэмп, судя по ее собственным словам, частенько с ней встречалась. На этот предмет ходило много противоречивых слухов; однако преобладало мнение, что эта госпожа существует только в воображении миссис Гэмп и вымышлена ею, как господа Доу и Роу^[79] вымышлены юристами, — специально для того, чтобы вести с миссис Гэмп воображаемые разговоры, независимо от темы неизменно завершавшиеся похвалой ее высоким добродетелям.

— И как это приятно, — говорила миссис Гэмп, посылая умильную улыбку дочерям мистера Моулда, — повидать обеих ваших молодых барышень. Ведь я их с каких пор знаю, когда у них еще ни одного зуба во рту не прорезалось; и сколько раз видела — ах вы, миленькие мои! — как они играли в похороны: возьмут, бывало, книгу заказов, да и несут ее хоронить в денежный сундук! Только все это было и быльем поросло, мистер Моулд, — и тут, строго соблюдая раз навсегда заведенный ею

порядок, она повернулась к мистеру Моулду, игриво качая головой. — Было и быльем поросло, сэр, как вы скажете?

— Перемены, миссис Гэмп, перемены! — отвечал гробовщик.

— И еще будут перемены, кроме этих, большие перемены, сэр, — сказала миссис Гэмп игривее прежнего. — Молодым барышням, при такой их красоте, найдется о чем подумать, кроме похорон. Как по-вашему, сэр?

— Уж, право, не знаю, миссис Гэмп, — отвечал Моулд, посмеиваясь. — А ведь неплохо сказано, милая?

— Ну как же вы не знаете, сэр, — продолжала миссис Гэмп, — и ваша супруга тоже знает, такая красавица, сэр, и я тоже знаю, хоть мне и не суждено было порадоваться на своих дочек; а если б была у нас дочка, мой Гэмп с нее последние башмачки снял бы и пропил, как с нашего дорогого сыночка; пропил, а потом послал мальчика продавать свою деревянную ногу на спички, всю как есть, оптом, сколько дадут, и велел ему купить на все деньги водки; а мальчишка не будь глуп — не по годам даже, право, — все до последнего пенни проиграл в орлянку да проел на пирогах с почками; а потом пришел домой и, глазом не моргнув, рассказал все как есть, а ежели папаше с мамашей это не нравится, говорит, то могу и утопиться. Да нет, сами знаете, сэр, — продолжала миссис Гэмп, утирая слезящийся глаз шалью и возвращаясь к прежней теме. — В газетах печатают не про одни только рождения да смерти, как вы скажете, мистер Моулд?

Мистер Моулд подмигнул миссис Моулд, которую он посадил к себе на колени, и заметил:

— Само собой. Мало ли еще про что, миссис Гэмп. А ведь очень неплохо сказано, душенька, честное слово!

— И про свадьбы тоже, ведь правда, сэр? — сказала миссис Гэмп, причем обе дочери покраснели и захихикали. — Господь с ними, они и сами это отлично знают! Да и вы это отлично знали в их годы, и миссис Моулд тоже! На мой взгляд, вы все теперь одних лет. А когда у вас с вашей супругой будут внуки, сударь...

— Ну-ну, что это вы! Пустяки, миссис Гэмп, — возразил гробовщик. — А ведь здорово сказано! За-ме-ча-тельно! — это он произнес шепотом. — Душенька, — это опять вслух, — миссис Гэмп, я думаю, выпьет стаканчик рома. Садитесь, миссис Гэмп, садитесь же.

Миссис Гэмп уселась на стул поближе к двери и, возведя глаза к потолку, приняла вид совершенного равнодушия к тому, что ей наливают стаканчик рома, пока одна из девиц не подала ей этот стаканчик в руки, чему миссис Гэмп крайне удивилась.

— Вот уж это мне редко приходится, миссис Моулд, — заметила она, — разве только если я не так здорова и когда мои полпинты портера давят на желудок. Миссис Гаррис частенько говорит мне: „Сара Гэмп, говорит, вы, право, меня удивляете!“ — „Миссис Гаррис, — говорю я, — чем же это? Объясните, пожалуйста!“ — „Сказать по правде, сударыня, — говорит миссис Гаррис, — оконфузили вы его, — не стоит называть кого именно, — я никак не думала, пока с вами не познакомилась, чтобы можно было женщине ходить за больными, и помесечно тоже, и не пить почти ничего“. — „Миссис Гаррис, — говорю я ей, — никто из нас не знает, на что способен, пока не попробует; я и сама так думала, пока мы с Гэмпом жили своим домом. А теперь, — говорю я, — полпинты портера мне за глаза довольно, лишь бы его приносили вовремя и не очень крепкий. Поденно или помесечно, сударыня, а я свой долг при больном выполняю, только я женщина бедная, и кусок хлеба мне достается нелегко; вот потому я и требую, прямо скажу, чтобы портер мне приносили вовремя и не очень крепкий“.

Прямую связь между этими замечаниями и стаканом рома установить было трудно, потому что миссис Гэмп, пожелав „всем всего наилучшего!“, выпила свою порцию с видом знатока, ничего не прибавив более.

— Так что же у вас новенького, миссис Гэмп? — опять спросил мистер Моулд, после того как она, вытерев губы шалью, откусила кусочек сухого печеья, которое, по-видимому, носила в кармане про запас, предвидя возможность выпивки. — Как здоровье мистера Чаффи?

— Здоровье мистера Чаффи все по-старому, сэр; ему не хуже, да и не лучше. Я так думаю: правильно сделал тот джентльмен, что написал вам: „Пускай миссис Гэмп ходит за больным, пока я не вернусь“; ну, все как есть считают, что он доброе дело сделал, поступил по-христиански. Побольше бы таких, как он. Тогда бы мы и без церквей обошлись.

— О чем вы хотели поговорить со мной, миссис Гэмп? — спросил мистер Моулд, приступая к делу.

— Вот о чем, сэр, — отвечала миссис Гэмп, — и спасибо вам, что спросили. Есть один постоялец в трактире „Бык“ в Холборне, сэр; вы подумайте, приехал туда, заболел и теперь лежит при смерти. Дневная сиделка у них уже есть, сэр, прислали из Варфоломеевского^[80], и я ее отлично знаю, ее зовут миссис Приг. Очень хорошая женщина, только ночью она занята в другом месте, и им нужно кого-нибудь на ночь; потому она им и сказала — ведь мы с ней уже лет двадцать вот как дружим: „Если вам нужна самого трезвого поведения женщина, сущее утешение для больного, так лучше миссис Гэмп никого не найти. Пошлите, говорит,

мальчика на Кингсгейт-стрит и перехватите ее за любую цену, потому что миссис Гэмп, говорит, стоит столько, сколько она весит, хоть бы и золотыми гинеями“. Мой квартирный хозяин прибежал ко мне и говорит: „Должность у вас теперь легкая, а это место, надо полагать, будет выгодное; может, вы договоритесь и тут и там?“ — „Нет, сударь, — отвечаю ему, — без ведома мистера Моулда и не подумаю даже. Если желаете, говорю, я могу сходить к мистеру Моулду, спросить его“.

Тут она покосилась на гробовщика и замолчала.

— Ночное дежурство, значит? — спросил мистер Моулд, потирая подбородок.

— С восьми до восьми, сэр, не хочу вас обманывать, — отвечала миссис Гэмп.

— А потом, значит, домой? — спросил мистер Моулд.

— Потом совсем свободна, сударь, и могу ходить за мистером Чаффи. Он ведь такой тихий, ложится рано, сэр, и почти все это время, надо полагать, спать будет. Я, конечно, ничего не говорю, — продолжала миссис Гэмп с кротостью, — женщина я бедная и от лишних денег никогда не откажусь, только что же вам с этим считаться, мистер Моулд? Легче богатому кататься на верблюде, чем увидеть что-нибудь сквозь игольное ушко.^[81] Это я помню, только этим и утешаюсь.

— Ну что ж, миссис Гэмп, — заметил мистер Моулд, — я не вижу никаких причин, почему бы вам при таких обстоятельствах не заработать честно на кусок хлеба. Только я бы об этом помалкивал, миссис Гэмп. Например, не стал бы рассказывать мистеру Чезлвиту без особой надобности, разве уж только он спросит прямо, когда вернется.

— Вот эти самые слова и у меня были на языке, сэр, — отвечала миссис Гэмп. — А в случае ежели больной помрет — может, вы не обидитесь, сударь, если я позволю себе сказать, что знаю кое-кого по похоронной части?

— Разумеется, нет, миссис Гэмп, — сказал Моулд весьма снисходительно. — Можете кстати упомянуть при удобном случае, что мы стараемся делать свое дело так, чтобы никого не беспокоить и угодить на самые разные вкусы, и по возможности щадить чувства наследников, — это вам всякий скажет. Только полегче, не навязывайтесь. Полегче, полегче! Душенька, ты могла бы дать миссис Гэмп одну-две карточки, если хочешь.

Миссис Гэмп взяла карточки и, чувствуя, что в воздухе больше не пахнет ромом (бутылку убрали в шкаф), поднялась со стула, собираясь прощаться.

— Позвольте от души пожелать всего наилучшего вашему счастливому

семейству, — сказала миссис Гэмп. — До свидания, миссис Моулд! На месте вашего мужа я бы вас ревновала, сударыня, а будь я на вашем месте, уж конечно ревновала бы мистера Моулда.

— Ну, ну, что это вы! Будет вам, миссис Гэмп! — отвечал очень довольный гробовщик.

— А уж молодые барышни, — говорила миссис Гэмп, приседая, — при такой их красоте, как это они умудрились так вырасти — господь их благослови! — когда родители у них совсем еще молодые, никак в толк не возьму, это уж не моего ума дело.

— Пустяки, пустяки! Подите вы, миссис Гэмп! — воскликнул Моулд. Однако он был польщен до такой степени, что даже ущипнул миссис Моулд при этих словах.

— Вот что я тебе скажу, милая, — заметил он, когда миссис Гэмп ушла наконец, — это оч-чень неглупая женщина. Эта женщина гораздо умней, чем ей полагается быть по ее званию. Эта женщина все замечает и сообразительна просто необыкновенно. Таковую женщину, — закончил мистер Моулд, снова накрывая голову шелковым платком и располагаясь на отдых, — просто даже хочется похоронить даром, и как можно приличнее.

Миссис Моулд и обе ее дочери вполне разделяли это мнение; а та, к которой оно относилось, успела за это время выйти на улицу, где от воздуха ей стало что-то совсем нехорошо и пришлось даже немножко постоять под воротами, чтобы прийти в себя. Но и после этой предосторожности походка у нее была настолько неуверенная, что привлекла к себе сочувственное внимание мальчишек, которые по доброте сердечной приняли в ней живейшее участие и в простоте душевной упрашивали ее держаться, потому что она „всего только на первом взводе“.

Что бы с ней ни было и как бы ни называлась ее болезнь на языке медицинской науки, миссис Гэмп превосходно знала обратную дорогу и, достигнув дома Энтони Чезлвита и Сына, прилегла отдохнуть. Отдыхала она до семи часов вечера, после чего, уговорив бедного старика Чаффи лечь в постель, отправилась на свое новое место. Но прежде всего она зашла к себе на квартиру на Кинг-сгейт-стрит, где захватила узел с одеждой и шальями, какие могли понадобиться по ночному времени, а после того отправилась к „Быку“ в Холборн, куда и прибыла в ту самую минуту, когда часы били восемь.

Войдя во двор, она остановилась, ибо и хозяин, и хозяйка, и старшая горничная — все вместе стояли в дверях и серьезно разговаривали с молодым человеком, который, по-видимому, или только что пришел, или собирался уходить. Первые слова, поразившие слух миссис Гэмп, явно

относились к ее будущему пациенту; и так как всякой хорошей сиделке не мешает знать как можно больше о больном, на котором она собирается пробовать свое искусство, миссис Гэмп стала слушать просто из чувства долга.

— Так, значит, ему не лучше? — спросил молодой человек.

— Хуже! — сказал хозяин.

— Много хуже, — прибавила хозяйка.

— Ох, куда хуже! — откликнулась стоявшая позади горничная, делая большие глаза и покачивая головой.

— Бедняга! — сказал джентльмен. — Очень жаль это слышать. К несчастью, я совсем не знаю, есть ли у него друзья и родные и где они живут; знаю только, что не в Лондоне.

Хозяин поглядел на хозяйку; хозяйка поглядела на хозяина, а горничная заметила истерически, что „сколько она ни слыхала непонятных распоряжений и разных адресов (мало ли что бывает в гостинице), а такое непонятное слышит в первый раз“.

— Дело в том, видите ли, я уже говорил вам это вчера, когда вы послали за мной, что я очень мало о нём знаю, — продолжал джентльмен. — Мы учились вместе, а после того я виделся с ним всего два раза. Оба раза я приезжал в Лондон на каникулы (всего на какую-нибудь неделю, из Вильтшира), а после того опять терял его из виду. Письмо с моей фамилией и адресом, которое вы нашли у него на столе и которое помогло вам разыскать меня, это, как вы сами увидите, мой ответ на его просьбу прийти к нему, посланную отсюда в первый же день болезни. Вот его письмо, можете посмотреть, если хотите.

Хозяин стал читать письмо, хозяйка глядела через его плечо. Горничная, стоя позади, разобрала издали кое-что и выдумала остальное, твердо уверовав во все это вместе, как в непреложную истину.

— Багажа у него очень мало, вы говорите? — заметил джентльмен, который был не кто иной, как наш старый приятель Джон Уэстлок.

— Один чемодан, — сказал хозяин, — да и в том почти ничего нет.

— Но все-таки несколько фунтов в кошельке найдется?

— Да. Кошелек запечатан и лежит в кассе. Я записал, сколько там; вы можете посмотреть, если желаете.

— Ну, вот что, — сказал Джон Уэстлок, — если, по словам доктора, болезнь должна идти своим порядком и сейчас ничего нельзя сделать, как только давать ему вовремя питье и ухаживать за ним возможно лучше, то больше, мне кажется, и говорить не о чем, пока он сам не сможет дать каких-нибудь указаний. Или, по-вашему, есть еще что-нибудь?

— Да н-нет, — отвечал хозяин, — разве только...
— Разве только — кто будет платить, верно? — сказал Джон.
— Что ж, — нерешительно начал хозяин, — это тоже было бы кстати.
— Само собой, кстати, — подхватила хозяйка.
— И прислугу тоже надо бы не забывать, — деликатным шепотом прибавила горничная.

— Это вполне резонно, я с этим согласен, — сказал Джон Уэстлок. — Во всяком случае, на первое время у вас есть кое-что наличными; а я с удовольствием берусь платить доктору и сиделкам.

— Ах! — воскликнула миссис Гэмп. — Сразу видно настоящего джентльмена!

Она выразила свое восхищение таким громким стоном, что все обернулись. Миссис Гэмп сочла нужным выступить вперед, с узлом в руках, и представиться.

— Ночная сиделка, — отрекомендовалась она, — с Кингсгейт-стрит; знакомая дневной сиделки, миссис Приг, тоже очень хорошей женщины. Как чувствует себя нынче вечером наш больной, бедняжка? А ежели ему все еще не лучше, то и этого надо было ожидать и ко всему приготовиться. Нам не в первый раз. Вот уже сколько лет, сударыня, — продолжала миссис Гэмп, приседая перед хозяйкой, — мы вдвоем с миссис Приг ходим за больными по очереди — одна ночью, другая днем. Мы уже приладились одна к другой; бывает, что и выходим больного, когда другие отказываются. И берем совсем недорого, сударь, — тут миссис Гэмп обратилась к Джону, — ежели принять в расчет, какая наша должность трудная. А была бы она легкая, то вы бы и платили сущие пустяки.

Считая свою тронную речь на этом законченной, миссис Гэмп присела перед каждым по очереди и выразила желание, чтобы ее проводили к месту службы. Горничная повела ее наверх по разным ходам и переходам и, наконец, указав на единственную дверь в конце галереи, сообщила, что это и есть та комната, где лежит больной. Сделав это, она поторопилась уйти со всей быстротой, на какую была способна.

Миссис Гэмп, вся запыхавшись оттого, что ей пришлось тащиться с большим узлом по множеству лестниц, пересекла галерею и постучалась в дверь, которую немедленно открыла миссис Приг, в чепце и шали, — ей явно не терпелось поскорей уйти. Миссис Приг была того же склада, что и миссис Гэмп, только не так толста; и голос у нее был погуще, скорее мужской. Кроме того, у нее росла борода.

— А я уж было думала, что вы совсем не придете! — заметила миссис Приг с некоторым неудовольствием.

— Завтра вечером приду пораньше, — сказала миссис Гэмп, — честное слово! Надо же мне было за вещами сходить. — Она начала уже справляться знаками, как чувствует себя больной и не может ли он их подслушать (перед дверью стояли ширмы), когда миссис Приг сразу разрешила ее недоумения.

— О! — сказала она вслух, — он тихий, не соображает ничего. При нем что хочешь говори.

— Может, вам надо что-нибудь сказать мне перед уходом? — спросила миссис Гэмп, втаскивая узел в комнату и умильно глядя на свою товарку.

— Маринованная лососина очень хороша, — отвечала миссис Приг. — Могу особенно рекомендовать. Вот холодную говядину похвалить нельзя — отзывается конюшней. Напитки все ничего себе.

Миссис Гэмп выразила по этому поводу свое полное удовольствие.

— Лекарства и все остальное на комодке и на полке над камином, — отрывисто сообщила миссис Приг. — Последний раз он принял лекарство в семь часов. Кресло жестковато. Придется вам взять у него подушку.

Миссис Гэмп поблагодарила ее за эти сведения и, дружески пожелав ей спокойной ночи, распахнула дверь и держала ее открытой настежь все время, пока миссис Приг не скрылась из виду. Исполнив таким образом долг гостеприимства и благополучно проводив товарку, она закрыла дверь, заперла ее изнутри, подхватила узел и, обойдя ширмы кругом, вступила во владение комнатой больного.

— Не очень-то весело, но бывает и хуже, — заметила про себя миссис Гэмп. — Хорошо, что тут перила есть на случай пожара — вон сколько крыш с трубами, есть куда вылезти.

Из этих замечаний явствует, что миссис Гэмп смотрела в окно. Досыта налюбовавшись видом, она попробовала кресло и объявила с негодованием, что „кирпичи — и то мягче“. После чего продолжала осматривать пузырьки с лекарством, стаканы, кружки и чашки и, удовлетворив свое любопытство на этот счет, развязала ленты чепца и, наконец, подошла к кровати взглянуть на больного.

Молодой человек, смуглый, недурной наружности, с длинными черными волосами, которые казались еще чернее от белизны простынь. Его глаза были не совсем закрыты, и он неустанно перекатывал голову по подушке из стороны в сторону, причем тело его оставалось почти неподвижным. Он не говорил ни, слова, но время от времени вскрикивал то с раздражением, то устало, то удивленно, и его голова — о тяжкие часы испытания! — лихорадочно металась по подушке, не зная ни минуты покоя.

Миссис Гэмп, угостившись понюшкой табаку, долго стояла и смотрела на больного, наклонив голову немножко набок, словно знаток, созерцающий сомнительное произведение искусства. Ей все неотвязнее вспоминалась одна страшная отрасль ее ремесла, и, наконец, не в силах справиться с привычным воспоминанием, она нагнулась и прижала к бокам больного его беспокойные руки, любопытствуя, как-то он будет выглядеть на смертном одре. Ей не терпелось придать его телу эту последнюю позу мраморного изваяния.

— Ах, — сказала миссис Гэмп, отходя на несколько шагов от кровати, — и хорош будет покойничек!

После этого она развязала свой узел, зажгла свечу от огнива на комод, налила воды в маленький чайник, намереваясь подкреплять свои силы чаем во время ночного дежурства; развела с этой же человеколюбивой целью то, что у нее называлось „маленький огонек“, а также выдвинула и накрыла небольшой чайный столик, чтобы уж ни в чем не иметь недостатка и расположиться с полным удобством. На эти приготовления ушло столько времени, что пора было подумать и об ужине; поэтому она позвонила и заказала ужин.

— Я, моя милая, — расслабленным голосом говорила миссис Гэмп младшей горничной, — съела бы, пожалуй, маленький кусочек маринованной лосося с хорошенькой веточкой укропа, чуть-чуть посыпанный белым перцем. Хлеба мне подайте самого мягкого, моя милая, а к нему немножко свежего масла и кусочек сыра. В случае ежели в доме найдется огурец, то, будьте так любезны, принесите мне огурец, я до них охотница, да и у больного в комнате их очень полезно держать. Ежели у вас тут есть брайтонский крепкий эль, милая, то на ночь я только его и пью: доктора советуют, чтобы сон разгоняло. А когда я вам позвоню во второй раз, то вы, милая, ни под каким видом не приносите джина с горячей водой больше чем на шиллинг; это уж моя всегдашняя порция, больше у меня душа не принимает!

Перечислив эти умеренные требования, миссис Гэмп добавила, что постоит в дверях, пока горничная не вернется с заказом, чтобы не беспокоить больного, открывая дверь во второй раз; а потому она попросила девушку быть „попроворнее“.

Как только принесли поднос со всем, что было заказано, включая и свежий огурец, миссис Гэмп, ни минуты не медля, уселась за еду и питье в наилучшем расположении духа. Сколько она потребляла при этом уксуса и как прихлебывала его прямо с ножа, положительно не поддается описанию.

— Ах! — вздохнула миссис Гэмп, впадая в раздумье над порцией

горячего напитка стоимостью в шиллинг, — как это приятно, когда ты всем доволен, — кругом-то ведь юдоль! Как это приятно ухаживать за больными, лишь бы им было хорошо, а о себе даже и не думать, пока ты в силах оказать услугу! Ничего лучше этого огурца просто быть не может! Никогда в жизни такого не едала.

Она рассуждала в том же духе, пока стакан не опустел, после чего дала пациенту капли самым простым способом, а именно, сдавила ему горло так, что он захрипел и раскрыл рот, и в ту же минуту влила туда лекарство.

— Подушку-то я чуть не забыла, право! — спохватилась миссис Гэмп, вытаскивая ее из-под головы больного. — Ну вот! Теперь он у меня устроен как нельзя лучше. Надо и мне самой тоже как-нибудь устроиться.

Для этой цели она принялась сооружать на кресле временную постель, приставив для ног второе кресло. Наладив себе самое удобное ложе, какое позволяли обстоятельства, она достала из своего узла ночной чепец невероятных размеров, по форме напоминавший капустный кочан, и очень долго и заботливо прилаживала и завязывала этот головной убор, предварительно сняв облезлые фальшивые локоны, которые никого не могли ввести в обман и потому вряд ли даже заслуживали названия фальшивых. Из того же узла она вытащила ночную кофту, в которую и облачилась. Наконец она извлекла оттуда шинель караульного, завязала рукава вокруг шеи — и стало похоже, что это два человека; а если смотреть сзади — казалось, будто ее обнимает какой-то служивый старых времен.

Покончив со всеми этими приготовлениями, она зажгла тростниковую свечу, улеглась на своем ложе и уснула. Мрачно и темно стало в комнате, отовсюду поползли зловещие тени. Отдаленный шум на улицах постепенно умолк; в доме стало тихо, как в гробу; мертвое молчание ночи притаилось в стенах города.

О тяжкий, тяжкий час! О измученная душа, блуждающая в потемках прошлого, неспособная оторваться от горестного настоящего; душа, что влачит тяжелую цепь забот сквозь мрачное великолепие пиров и празднеств, ища хотя бы минуты забвения в давно покинутых местах детских игр и вчерашнего веселья и повсюду находя лишь смутные видения, вселяющие страх! О тяжкий, тяжкий час! Что в сравнении с этим все странствования Каина!

И все время, не зная ни минуты покоя, горячая голова металась взад и вперед. И время от времени усталость, злоба, страдание и удивление прорывались очень явственно среди этих мук, но никогда — словами. И, наконец, в торжественный час полуночи, больной начал разговаривать, словно незримые спутники окружали его ложе; он то в страхе дожидался

ответа, то спрашивал кого-то, то отвечал сам.

Миссис Гэмп проснулась и села в кресле, причем на стену легла огромная тень ночного сторожа, борющегося со своим пленником.

— Ну! Придержите язык! — воскликнула она сурово и укоризненно. — Нечего тут шум поднимать.

Лицо больного не изменилось, голова его все так же металась, он продолжал бормотать все так же бессвязно.

— Так я и знала, что это ненадолго, уж очень сладко я уснула, — говорила миссис Гэмп, слезая с кресла и сердито вздрагивая. — Черт разгулялся, должно быть, до чего ночь холодная!

— Не пейте так много! — закричал больной. — Вы нас всех погубите. Разве вы не видите, как убывает фонтан? Смотрите, здесь только что сверкала вода!

— Сверкала вода, как бы не так! — сказала миссис Гэмп. — А вот у меня, пожалуй, сейчас засверкает чашечка чаю. Ну, нечего так шуметь!

Больной разразился хохотом и смеялся долго, пока смех не перешел в жалобный стон. Резко оборвав стон, он с болезненной непоследовательностью начал считать — и очень быстро:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

— „Раз, два — кружева, — отозвалась миссис Гэмп, которая разводила огонь, стоя на коленях, — три, четыре, — прищепили“... Хотя бы вы язык себе прищепили, молодой человек... „пять, шесть — дров не счесть“. Мне бы сюда два-три поленца, чайник и закипел бы.

В ожидании этого желанного результата, она уселась так близко к каминной решетке (которая была очень высока), что упиралась в нее лбом, и некоторое время разгоняла дремоту, водя носом взад и вперед по медному верху решетки. При этом она все время сопровождала беглыми комментариями бред больного, метавшегося в кровати.

— Всего пятьсот двадцать один человек, одеты одинаково, с одинаково искаженными лицами, вошли в окно, а вышли в двери! — кричал больной тревожно. — Смотрите! Пятьсот двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Видите вы их?

— Еще бы! Как же не видеть, — сказала миссис Гэмп, — всех вижу, вон они, с номерами, как на кэбах — так, что ли?

— Ущипните меня! Чтобы я знал, что мне не кажется! Ущипните меня!

— Вот закипит чайник, буду нам давать лекарство, — невозмутимо отвечала миссис Гэмп, — тогда и ущипну. Да еще как ущипну, если не успокоитесь.

— Пятьсот двадцать восемь, пятьсот двадцать девять, пятьсот

тридцать... Смотрите!

— Ну, что там еще? — спросила миссис Гэмп.

— Идут по четверо в ряд, каждый взял под руку соседа, а другому соседу положил руку на плечо. Что это у них на флаге и на рукавах?

— Пауки, может? — сказала миссис Гэмп.

— Креп! Черный креп! Боже мой, зачем они носят его на виду?

— А как же еще носить черный креп? Не прятать же, — возразила миссис Гэмп. — Помолчите-ка лучше, успокойтесь.

Огонь к этому времени начал распространять благотворное тепло, и миссис Гэмп притихла; она все медленнее и медленнее водила носом по каминной решетке и, наконец, впала в глубокую дремоту. Она проснулась оттого, что (как ей показалось) на всю комнату прозвучало знакомое ей имя:

— Чезлвит!

Крик был такой громкий, такой явственный, и в нем звучала такая мольба и мука, что миссис Гэмп вскочила и в испуге бросилась к двери. Ей представилось, будто в коридоре полно народу, будто прибежали сказать ей, что в доме Чезлвитов пожар. Но все было пусто, нигде ни души. Она открыла окно и выглянула наружу: лишь темные, тусклые, нагоняющие тоску крыши домов. Возвращаясь на свое место, она мимоходом взглянула на больного. Все то же, только примолк. Миссис Гэмп стало так жарко, что она сбросила шинель и обмахнулась платком.

— Кажется, даже пузырьки с лекарством зазвенели, — сказала она. — И что такое мне приснилось? Не иначе, как этот проклятый Чаффи.

Догадка была близка к правде. Во всяком случае, понюшка табаку и пение закипающего чайника вполне восстановили душевное равновесие миссис Гэмп, которая отнюдь не отличалась слабостью нервов. Она заварила чай, поджарила гренки с маслом и уселась за чайный столик, лицом к огню.

И вдруг опять, еще страшнее, чем сквозь сон, прозвучал в ее ушах пронзительный крик:

— Чезлвит! Джонас! Нет!

Миссис Гэмп выронила чашку, которую собиралась поднести к губам, и обернулась, вздрогнув так, что подскочил чайный столик. Крик прозвучал с постели.

Было ясное утро и весело всходило солнце, когда миссис Гэмп опять выглянула в окно. Все больше и больше светлело небо и оживлялись улицы; высоко поднимался в летнем воздухе дым только что затопленных печей, и, наконец, совсем разгулялся шумный день.

Миссис Приг пунктуально сменила свою товарку, отлично выпавшись за ночь у другого пациента. Мистер Уэстлок пришел в это же время, но его не впустили, так как болезнь была заразная. Пришел и доктор и покачал головой. Это было все, что он мог сделать при существующих обстоятельствах, но зато он делал это очень внушительно.

— Как прошла ночь, сиделка?

— Беспокойно, сэр, — сказала миссис Гэмп.

— Много говорил?

— Не очень, сэр.

— И все бессмыслицу, я думаю?

— Господь с вами, сэр! Конечно, вздор один.

— Отлично! — сказал доктор. — Наше дело успокаивать больного, проветривать комнату, аккуратно давать лекарство и ухаживать за ним как можно лучше. Вот и все.

— И пока мы с миссис Приг ходим за ним, ничего такого не бойтесь, сэр, — подхватила миссис Гэмп.

— Новостей, должно быть, никаких? — заметила миссис Приг, после того как они, приседая, выпроводили доктора за дверь.

— Ровно никаких, моя милая, — сказала миссис Гэмп. — Поминает только всякие имена, слушать даже надоело, а так нечего вам на него обращать внимание.

— И не собираюсь, — возразила миссис Приг. — Найдется о чем подумать и кроме него.

— Нынче вечером я с вами расквитаюсь, милая, приду пораньше, — сказала миссис Гэмп. — Вот что, Бетси Приг, — заключила она с большим чувством, кладя руку ей на плечо, — попробуйте-ка вы огурцы, во славу божию!

Глава XXVI

Неожиданная встреча и многообещающие перспективы.

Законы родственной симпатии между волосами и перьями, а также скрытые первопричины этого явления, нередко побуждающие брадобреев торговать птицами, подлежат всестороннему рассмотрению и обсуждению в ученых обществах, тем более что такое рассмотрение не приведет, вероятно, ни к какому определенному выводу. Читателю же достаточно знать, что маэстро, на долю которого выпала честь сдавать миссис Гэмп второй этаж своего дома, умудрялся объединять в своем лице две профессии — брадобрея и продавца птиц, а также, что эта мысль пришла в голову не ему первому, — наоборот, у него была целая орда соперников, рассеянных по глухим переулкам и пригородам Лондона.

Имя этого домохозяина было Поль Свидлпайп. Но почти все соседи и знакомые звали его женским именем Полли, а многие даже думали, что это имя получено им при крещении.

Если не считать лестницы и частных апартаментов, занимаемых миссис Гэмп, весь дом Полли Свидлпайпа представлял собой одно большое птичье гнездо. Бойцовые петухи жили на кухне; фазаны усыпали чердак яркими золотистыми перьями; бентамки сидели в погребе на насесте; совы завладели спальней; а в циркульне щебетала и чирикала всякая мелюзга птичьей породы. Лестница была отведена под кроликов. Там, в клетках всех видов, сортов и размеров, сколоченных из чайных ящиков, комодных ящиков, старых упаковочных ящиков, они размножались с поразительной быстротой и вносили свою долю в тот сложный аромат, который совершенно беспристрастно, невзирая на лица, ударял в нос всякому вступавшему в общедоступную циркульню Свидлпайпа.

Однако, несмотря на все это, к нему заглядывали очень многие, особенно в воскресенье утром, перед церковной службой. Даже архиепископы бреются, или, вернее, их бреют, по воскресеньям; но щетина не перестает расти после субботней полуночи и на подбородках простых ремесленников, которые, не имея средств нанимать камердинеров помесечно, нанимают их сдельно и платят им — о нечестивая медь! — грязными пенсами. Полли Свидлпайп, по грехам своим, брил кого угодно за один пенни и стриг желающих за два пенса с головы, и в качестве одинокого холостяка, имеющего кое-какие доходы по птичьей части,

довольно удачно сводил концы с концами.

Это был тщедушный человечек средних лет, с холодной и липкой правой рукой, вечно пахнувшей мылом для бритья, — даже кролики и птицы не могли отбить этого запаха. В повадках Полли было что-то птичье, но не соколиное или орлиное, а более сродное воробью, который вьет гнезда в печных трубах и любит общество человека. Однако он не отличался задором, как воробей, а был, наоборот, смирен, как голубь. Походка у него была с развальцей, и этим он тоже слегка напоминал голубя, как и некоторой монотонностью речи, похожей на голубиное воркование. Полли был очень любопытен, и когда он стоял вечером в дверях своей цирюльни и наблюдал за соседями, склонив голову набок и лукаво прищулив один глаз, то чуть-чуть смахивал на ворона. Однако злости в нем было не больше, чем в зяблике. К счастью, все эти орнитологические свойства, не доходя до крайности, умерялись, смягчались, растворялись и прикрывались ремеслом цирюльника, так же как его лысая голова, похожая на голову бритой сороки, прикрывалась черным кудрявым париком, разделенным сбоку пробором и обнажавшим лоб почти до самой маковки, что должно было бы указывать на колоссальные умственные способности.

У Полли был очень слабенький, жиденький, тоненький голосок, и это давало повод кингсгейтским шутникам настаивать на том, что ему приличнее было бы родиться женщиной. И сердце у него было мягкое, ибо, получив выгодный заказ на полсотни или даже сотню воробьев для состязания в стрельбе, он обычно замечал сострадательным тоном: как это странно, что воробьи созданы только для того, чтоб их стрелять. Однако вопрос, не созданы ли люди только для того, чтобы стрелять воробьев, никогда не приходил ему в голову.

В качестве спортсмена, Полли носил вельветовую куртку, длиннейшие синие чулки, шейный платок какого-нибудь яркого цвета и очень высокий цилиндр. Занимаясь более спокойным ремеслом брадоброя, он обычно надевал фартук, не блиставший чистотой, фланелевую куртку и плисовые короткие штаны. В этом самом костюме, только подоткнув повыше фартук — в знак того, что цирюльня уже закрыта на ночь, — он запер двери однажды вечером, спустя несколько недель после событий, описанных в предыдущей главе, и остановился на крыльце, дожидаясь, пока не перестанет звонить маленький надтреснутый колокольчик. Ибо, пока он звонил — так рассуждал мистер Свидлпайп, — все казалось, что в доме кто-то есть.

— Маленький, а раззвонится — никак не уймешь, — сказал Поль. — Наконец-то успокоился.

С этими словами он подоткнул фартук еще выше и торопливо зашагал по улице. Сворачивая к Холборну, он наткнулся на молодого джентльмена в ливрее. Юнец, хотя и маленького роста, оказался бойким и немедленно накинулся на него, весьма живо выражая свое неудовольствие.

— Эй, ты, олух! — воскликнул молодой джентльмен. — Не видишь, куда идешь, что ли? Не смотришь себе под ноги, что ли? Глаза у тебя зря приделаны, что ли? Эх ты! Да ну тебя, право!

Молодой джентльмен произнес последние слова очень громко и таким тоном, как будто в них-то и заключалась самая оскорбительная суть. Но вслед за этим его гнев сразу перешел в удивление, и он закричал уже более мирным тоном:

— Как! Полли!

— Быть не может! — ответил Полли. — Неужели это ты?

— Нет, не я, — отвечал юнец, — это мой сын, самый старший. Делает честь своему папаше! Верно, Полли? — И, слегка подшутив таким образом, он остановился посреди тротуара и завертелся волчком, чтобы лучше показать себя со всех сторон, сильно мешая прохожим, которые были настроены далеко не так жизнерадостно.

— Просто не верится, — сказал Поль. — Как? Значит, ты ушел со старого места? Неужели правда?

— А то как же! — отвечал его юный приятель, засовывая руки в карманы белых плисовых штанов и важно выступая рядом с цирюльником. — Если можешь отличить хорошие сапоги от плохих, так взгляни на эти!

— За-ме-чательно! — воскликнул мистер Свидлпайп.

— А в шикарных пуговицах ты что-нибудь смыслишь? — спросил юнец. — Если не знаешь толку, лучше и не гляди на мои пуговицы, — эти львиные головы сделаны для людей со вкусом, а не для каких-нибудь выскочек.

— За-ме-чательно! — опять воскликнул цирюльник. — Да еще зеленый фрак с золотым галуном! И кокарда на шляпе!

— Ну, а то как же, — отвечал юнец. — Да ну ее, эту кокарду. Похожа как две капли воды на вентилятор в кухонном окне у мамыши Тоджерс, только что не вертится. Ты не видал, старуху не пропечатали еще в „Газете“^[82]?

— Нет, — ответил цирюльник. — А разве она обанкротилась?

— Не обанкротилась, так обанкротится, — возразил Бейли. — Без меня у нее дело не пойдет. Ну, а как твое здоровье?

— Да недурно, — сказал Полли. — Ты живешь в этом конце города

или просто шел ко мне повидаться? Какие у тебя дела в Холборне?

— Никаких дел у меня в Холборне нету, — отвечал Бейли с некоторым неудовольствием. — Все мои дела в Вест-Энде^[83]. Хозяин у меня теперь первый сорт! Какое у него лицо, не разберешь из-за бакенбард, а какие бакенбарды — не разберешь из-за краски. Вот это настоящий джентльмен! Верно? Может, хочешь прокатиться? Только как бы тебе не повредило. Увидишь, как я легкой рысью выезжаю из-за угла, — пожалуй, еще в обморок упадешь.

Чтобы дать некоторое понятие об этом эффектном появлении, мистер Бейли сам изобразил бегущего рысью коня, и так высоко закинул голову, пятясь к колодцу, что с нее свалилась шляпа.

— Ведь он у нас дядя Козерогу, — сказал Бейли, — и родной брат Каприфолию. Два раза въехал в посудную лавку, после того как мы его купили, а продали его за то, что он убил свою хозяйку. Вот это конь так конь! Верно?

— Да! Теперь ты уж не захочешь больше покупать коноплянок, — заметил Поль, с грустью глядя на своего молодого друга. — Теперь ты уж не станешь больше покупать коноплянок и вешать в клетке над кухонной раковиной, да?

— Само собой не стану, — отвечал Бейли. — Что верно то верно. Ниже павлина я теперь ни с какой птицей дела не имею, да и то для меня дешевка. Ну, так как же ты поживаешь?

— Да недурно, — сказал Поль. Он опять ответил на этот вопрос, потому что мистер Бейли опять его задал, а мистер Бейли задал вопрос потому, что это очень шло к высоким сапогам, широко расставленным ногам в плисовых штанах и слегка согнутым коленам, — для спортсмена и лошадника развязный тон был самым подходящим.

— Так куда же ты собрался, старик? — спросил мистер Бейли с той же светской непринужденностью. В их беседе он играл роль опытного светского человека, а брадобрей — младенца.

— Как же, надо проводить мою жилицу домой, — сказал Поль.

— Женщину! — воскликнул мистер Бейли. — Ставлю двадцать фунтов, что дело нечисто!

Маленький брадобрей поспешил объяснить, что она вовсе не красавица и даже не молодая женщина, а просто сиделка, которая вот уже несколько недель ведет хозяйство у одного джентльмена, а нынче уходит с места, потому что на смену ей должна приехать другая, законная хозяйка, а именно — молодая жена этого джентльмена.

— Он только что женился и нынче привезет новобрачную домой, —

сказал цирюльник. — Вот я и собираюсь зайти за моей жилицей в дом мистера Чезлвита — тут, сейчас же за почтамтом — и донести ей сундук.

— К Джонасу Чезлвиту? — спросил Бейли.

— Да, фамилия эта самая, — отвечал Поль, — правильно. А ты его разве знаешь?

— Где уж нам! — воскликнул мистер Бейли. — Откуда мне его знать. Да и ее то же самое. Чего уж! Ведь они и познакомились-то через меня.

— Да что ты? — сказал Поль.

— Вот тебе и что ты! — подмигнул ему мистер Бейли. — И собой недурна, скажу я тебе. Только ее сестра лучше. Та веселая такая. В старое время мы с ней, бывало, вот как шутили!

Мистер Бейли говорил так, как будто бы он давным-давно уже стоит одной ногой в могиле и будто дело происходило лет двадцать или тридцать тому назад. Смиренного Поля Свидлпайпа до такой степени ошарашила самоуверенность скороспелого юнца, его покровительственная манера, а также его сапоги, кокарда и ливрея, что перед глазами у него плавал туман и он видел не всем известного юнца Бейли из Коммерческого пансиона миссис Тоджерс, с которым водил знакомство уже около года, продавая ему время от времени певчих птиц по два пенса за штуку, но воплощенный идеал всех лондонских лошадишников, ходячий свод всей конюшенной премудрости своего времени, некий сгусток светского образа жизни и многостороннего опыта. И действительно, хотя и в мгlistой атмосфере пансиона миссис Тоджерс таланты мистера Бейли блистали достаточно ярко, теперь они затмевали пространство и время, доводили зрителей до помрачения чувств, опровергая у них на глазах все законы природы. Он шел по самым настоящим, осязаемым булыжникам Холборна, обыкновенный мальчишка-подросток, а все его подмигивания, все мысли, все поступки, все слова были стариковские. Суть в нем была старая, а обличье молодое. Это делало его загадочным существом, сфинксом в сапогах и плисовых брюках. Цирюльнику не оставалось ничего другого, как только самому расстаться с разумом или уж не сомневаться в Бейли; он мудро выбрал последнее.

Мистер Бейли был так любезен, что сопровождал его всю остальную дорогу, развлекая непринужденной беседой на различные спортивные темы, главным образом о сравнительных достоинствах лошадей в белых чулках и без оных. Относительно фасона хвоста у мистера Бейли тоже было свое мнение, которое он изложил, прося, однако, своего друга не принимать его на веру, так как тут он, к сожалению, расходится с некоторыми признанными авторитетами. Он угостил мистера Свидлпайпа

стаканчиком смеси, составленной по его собственным указаниям и изобретенной, по его словам, одним из членов жокей-клуба^[84]; и так как они уже приближались к месту своего назначения, мистер Бейли заметил, что хотел бы быть представленным миссис Гэмп, раз у него выбрался свободный часок, тем более что с ее хозяевами он давно знаком.

Поль постучался к Джонасу Чезлвиту и, как только миссис Гэмп открыла дверь, познакомил друг с другом эти две выдающиеся личности. Счастливой чертой двойственного ремесла миссис Гэмп было то, что оно заставляло ее интересоваться молодостью так же, как и старостью. Она приняла мистера Бейли весьма любезно.

— Очень хорошо, конечно, что вы пришли, — сказала она своему домохозяину, — и привели с собой такого приятного знакомого. Только придется вас попросить, — будьте так добры, войдите в дом, потому что молодые еще не приехали.

— Опаздывают как будто? — спросил ее домохозяин, после того как она проводила их вниз, на кухню.

— Как сказать, сударь, пожалуй что и опаздывают, на крыльях любви оно можно бы и пораньше.

Мистер Бейли осведомился, не брали ли „Крылья Любви“ призов на скачках и стоит ли на них поставить, и, узнав, что „крылья любви“ не лошадь, а всего-навсего поэтическое и фигуральное выражение, был очень недоволен. Миссис Гэмп была так поражена его светскими манерами и свободой обращения, что уже собиралась задать мистеру Свидлпайпу шепотом вопрос: мальчишка это или взрослый, когда тот, предвидя ее намерение, своевременно отвлек ее внимание в сторону.

— Он знает миссис Чезлвит, — сказал цирюльник довольно громко.

— Он все на свете знает, как я погляжу, — заметила миссис Гэмп. — Прошел огонь, воду и медные трубы.

Мистер Бейли принял это за комплимент и сказал, поправляя галстук:

— Вот именно.

— А ежели вы знаете миссис Чезлвит, то, может, знаете, как ее зовут? — спросила миссис Гэмп.

— Чарити, — сказал Бейли.

— Вот уж нет! — вскричала миссис Гэмп.

— Значит, Черри, — сказал Бейли. — Черри — для краткости. Это все равно.

— И начинается-то вовсе не с буквы Ч, — возразила миссис Гэмп, качая головой. — Начинается с буквы М.

— Фью! — присвистнул мистер Бейли, выбивая целое облако

трубочной глины из своих штанов. — Значит, он взял да и женился на той, веселой!

Так как эти слова были не совсем понятны, то миссис Гэмп попросила объяснения, и мистер Бейли приступил к делу, а она жадно слушала все, что он говорил. Он был еще на середине рассказа, когда грохот колес и двойной стук дверного молотка возвестили о прибытии четы новобрачных. Попросив Бейли приберечь конец рассказа на то время, когда он будет провожать ее домой, миссис Гэмп взяла свечу и побежала встречать и приветствовать молодую хозяйку дома.

— Желаю вам счастья и всякой радости от всего сердца, — сказала, приседая, миссис Гэмп, как только молодые вошли в прихожую, — и вам тоже, сударь. Супруга ваша как будто немножко устала с дороги, мистер Чезлвит? Этакая милочка!

— Да уж она давно об этом стонет, — проворчал мистер Чезлвит. — Посветите-ка нам лучше, вот что!

— Сюда пожалуйста, сударыня, — говорила миссис Гэмп, поднимаясь перед ними по лестнице. — Прибрали тут все как только можно было, ну да вы и сами много чего перемените, когда освоитесь немножко. „Не похоже, однако, чтобы она была веселая, как я погляжу“, — прибавила миссис Гэмп уже про себя.

И точно, молодая жена смотрела невесело. Смерть, побывавшая здесь перед свадебным пиром, казалось набросила свою тень на весь дом. Воздух был душный и тяжелый, в комнатах стояла какая-то мгла, глубокий мрак заполнял каждую щель и каждый угол. У очага, подобно зловещему призраку, сидел престарелый клерк, глядя на обгорелые поленья. Он поднялся с места и посмотрел на нее.

— Так вы еще здесь, мистер Чафф? — небрежно сказал Джонас, смахивая пыль с сапогов. — Все еще на этом свете, а?

— Все еще тут, сэр, — подхватила миссис Гэмп. — И за это мистер Чаффи должен вас благодарить, сколько раз я ему говорила.

Мистер Джонас был, как видно, сильно не в духе, потому что сказал коротко, оглянувшись на нее:

— Миссис Гэмп, вы нам больше не нужны.

— Сию минуту ухожу, сэр, — отвечала сиделка, — если вам ничего больше не потребуется, сударыня. А может, надо, — говорила миссис Гэмп самым сладким голосом, роясь тем временем в кармане, — может, надо что-нибудь для вас сделать, птичка моя?

— Нет, — отвечала Мерри, чуть не плача, — лучше уходите, пожалуйста.

Со слащавой и хитрой улыбочкой, косясь одним глазом на мужа, а другим на жену, с чисто профессиональным плутовским выражением, свойственным только ее ремеслу, миссис Гэмп опять порылась в кармане и извлекла оттуда печатную карточку того же содержания, что и ее вывеска.

— Уж будьте так добры, дорогая моя дамочка, положите вот это где-нибудь на виду, голубушка, чтобы не забыть потом, — заметила миссис Гэмп, понизив голос. — Многие дамы очень хорошо меня знают, а это вот — моя карточка. Фамилия у меня простая, и сама я человек простой. Живу я тут близехонько и уж позволю себе забежать к вам кое-когда, справиться, как ваше здоровье, как вы себя чувствуете, цыпленочек мой дорогой!

И, сопровождая свои слова бесчисленными подмигиваниями, покашливаниями, кивками, улыбочками и приседаниями, направленными к тому, чтобы установить некое таинственное понимание между собой и новобрачной, миссис Гэмп призвала благословение божие на весь их дом и, подмигивая, покашливая, кивая, улыбаясь и приседая, выплыла из комнаты.

— Одно я только скажу, хоть на костре меня жгите, как Марфумученицу, все равно скажу, — шепотом заметила миссис Гэмп, сойдя вниз, — что-то не очень похоже сейчас, чтобы она была раньше веселая.

— А вы погодите, пока она засмеется! — сказал Бейли.

— Что ж! — произнесла миссис Гэмп плачущим голосом. — И погожу, мой милый!

Больше в доме они не разговаривали. Миссис Гэмп надела чепец, мистер Свидлпайп взял ее сундук, и мистер Бейли провожал их до Кингсгейт-стрит, по дороге рассказывая о своем знакомстве с миссис Чезлвит и ее сестрицей. Забавный пример скороспелости этого юноши: он вообразил, будто миссис Гэмп питает к нему нежные чувства, и очень потешался над этой безнадежной страстью.

Как только дверь тяжело захлопнулась за ними, миссис Чезлвит опустилась на стул и, оглядывая комнату, почувствовала, что ее охватывает странная дрожь. Комната была почти такая же, как и прежде, только стала более мрачной. А ей казалось, что здесь должно было стать светлее ради ее приезда.

— Что, не нравится тебе тут? — сказал Джонас, наблюдая за выражением ее лица.

— Да, здесь невесело, — сказала Мерри, стараясь справиться с собой.

— А скоро будет еще хуже, — отвечал Джонас, — если не перестанешь кривляться. Тоже хороша! Не успела приехать домой, как надулась! Ведь хватало же у тебя живости раньше изводить меня. Девчонка там, внизу. Позвони-ка, чтобы несла ужин, пока я снимаю сапоги!

Она проводила его взглядом и, когда он вышел из комнаты, встала, чтобы выполнить его приказание, но тут старик Чаффи тихонько тронул ее за руку.

— Неужели вы за него вышли замуж? — спрашивал он настойчиво. — Неужели вышли?

— Да, вышла. Месяц тому назад. Боже мой, что случилось?

Он ответил, что ничего не случилось, и отвел глаза. Но, обернувшись к нему в страхе и удивлении, она увидела, как он поднял руки над головой, и услышала его слова:

— О горе, горе, горе этой несчастной семье! Вот чем встретили ее по приезде домой.

Глава XXVII

показывает, что старые друзья могут являться не только в новом обличье, но и под чужой личиной, и что люди склонны ловить других на удочку, и при этом иногда ловятся сами.

Мистер Бейли-младший — ибо этот любитель спорта, бывший мальчик на побегушках в пансионе миссис Тоджерс, теперь окончательно присвоил себе это имя, не позаботившись получить разрешение в форме частного билля^[85], проведение которого, совершенно неизвестно почему, обходится несравненно дороже всякого другого парламентского билля, — мистер Бейли-младший, выросший как раз настолько, что его мог заметить любознательный наблюдатель, разъезжал взад и вперед по Пэлл-Мэллу^[86] около полудня, дожидаясь своего хозяина и лениво поглядывая на публику из-за фартука коляски. Конь благородного происхождения, родной брат Каприфолия и дядя Козерога, показывая, что он вполне достоин своих знатных родственников, грыз удила так, что вся грудь у него была в пене, и становился на дыбы, уподобляясь геральдическому коню; лакированная упряжь с серебряным набором сверкала на солнце; пешеходы восхищались; но мистер Бейли поглядывал на них благосклонно и невозмутимо. Он, казалось, говорил: „Телега, добрые люди, простая телега! Разве так мы могли бы блеснуть, если б захотели!“ — и величественно проезжал мимо, растопырив коротенькие зеленые ручки над фартуком, словно пристегнутым у него под мышками.

Мистер Бейли был наилучшего мнения о дяде Козерога и высоко ценил его способности. Однако он никогда ему этого не говорил. Напротив, у него была привычка адресоваться к этому животному с самыми непочтительными выражениями, если не прямо с бранью, как, например: „А, опять за свое!“, „Ишь что выдумал!“, „Куда лезешь?“, „Ну нет, мой милый, погоди!“, а также и с другими отрывочными замечаниями. Так как они обычно сопровождались подергиванием вожжей и щелканьем кнута, то это нередко приводило к состязаниям в силе и к спорам о том, кто кого одолеет, — спорам, которые частенько заканчивались в посудной лавке и других малоподходящих местах, как мистер Бейли уже намекал своему другу Полю Свидлпайпу.

В данном случае мистер Бейли, будучи не в духе, особенно придирался к своему питомцу, вследствие чего этому пылкому животному приходилось

показывать свою прыть почти исключительно на задних ногах и в таких позициях относительно кабриолета, что прохожие только дивились. Но мистер Бейли нисколько этим не смущался и по-прежнему осыпал целым градом шуток всякого, кто загораживал ему дорогу, — например, крича великовозрастному детине, застрявшему с подводой угля посреди мостовой: „Эй, малыш, кто это доверил тебе подводу?“, осведомляясь у старушек, которые, собравшись перейти улицу, в испуге поворачивали обратно: „Почему бы вам не зайти в работный дом^[87] за разрешением на похороны?“, дружески приглашая мальчишек прицепиться сзади, а потом сгоняя их и перемежая эти юмористические выходы бешеной скачкой вокруг Сент-Джеймс-сквера, после чего он въезжал на Пэлл-Мэлл с противоположного конца так степенно, словно все это время еле тащился шагом.

Когда все эти упражнения были повторены по несколько раз и лоток с яблоками на углу, только чудом избежавший катастрофы, уже казался неуязвимым, мистеру Бейли подали знак с подъезда одного дома и он, повинувшись зову, круто осадил и соскочил на тротуар. Однако ему пришлось держать лошадь под уздцы еще несколько минут (в течение которых он валился с ног всякий раз, как дядя Козерога вздергивал голову или шевелил ноздрями), прежде чем в экипаж сели два джентльмена, один из которых взял вожжи и сразу тронул с места. Мистеру Бейли пришлось пробежать за ними сотни три ярдов, пока он, наконец, ухитрился попасть коротенькой ногой на подножку, а потом стать обеими ногами на запятки. Вот теперь на него действительно стоило посмотреть: с головы до пят настоящий жокей из Нью-Маркета^[88], он становился то на одну ногу, то на другую, выглядывал то с одной стороны, то с другой, или же пытался смотреть вверх кабриолета, мчавшегося стрелой между подвод и экипажей.

Наружность хозяина мистера Бейли, правившего кабриолетом, полностью оправдывала описание, сделанное этим восторженным юношей изумленному Свидлпайпу. Масса черных как смоль волос курчавилась у него на голове, на щеках, на подбородке, над верхней губой. Костюм, сшитый по последней моде и из самой дорогой материи, сидел на нем как вылитый. Его жилет был усеян цветочками — золотистыми с синим и зелеными с ярко-красным; драгоценные цепочки с брелками блистали на его груди; пальцы, отягощенные сверкающими перстнями, шевелились с трудом, будто летние мухи, только что вытащенные из горшка с медом. Дневной свет отражался в его блестящей шляпе и сапогах, как в зеркале. И все же, несмотря на то, что изменилось его имя, изменилась и самая

внешность, — это был Тигг. Вывернутый наизнанку и поставленный на голову, что, как известно, случается иногда с великими людьми, он был уже не Монтегю Тиггом, но Тиггом Монтегю, — и все же это был Тигг, все тот же демонический, галантный Тигг с повадками отставного военного. Грязь поскребли, покрыли лаком, придали ей новую форму, — и тем не менее это была все та же грязь — подлинный материал, из которого лепят Тиггов.

Рядом с ним сидел улыбающийся джентльмен, более скромно одетый, по всему видно — делец, которого Тигг называл Дэвидом. Неужели тот самый Дэвид из — как бы это выразиться? — из триумвирата золотых шаров?

Неужели Дэвид, оценщик из ссудной кассы? Да, он самый!

— Жалованья секретарю, Дэвид, — говорил мистер Монтегю, — поскольку контора уже открыта, полагается восемьсот фунтов в год, квартира, уголь и свечи бесплатно. Свои двадцать пять акций он получает, разумеется. Довольно этого?

Дэвид улыбнулся, кивнул и кашлянул, прячась за маленький портфель с таким выражением, которое ясно говорило, что он и есть тот секретарь, о котором идет речь.

— Если довольно, — сказал Монтегю, — то я, как председатель, сегодня же поставлю этот вопрос на обсуждение.

Секретарь опять улыбнулся, даже рассмеялся на этот раз, и сказал, лукаво почесывая нос уголком портфеля:

— Превосходная была идея, не правда ли?

— Что именно вы считаете превосходной идеей, Дэвид? — осведомился мистер Монтегю.

— Англо-Бенгальскую, — сквозь смех ответил секретарь.

— Англо-Бенгальская компания беспроцентных ссуд и страхования жизни действительно превосходное учреждение, Дэвид, — сказал Монтегю.

— В самом деле превосходное, — воскликнул секретарь, опять рассмеявшись, — но только в известном смысле!

— В единственно важном, Дэвид! — заметил председатель.

— А каков будет, — спросил секретарь, снова разражаясь смехом, — каков будет основной капитал согласно последнему проспекту?

— Цифра два со столькими нулями, сколько наборщик может уместить на одной строчке, — ответил его друг. — Ха-ха-ха!

Тут оба они расхохотались, секретарь — так неудержимо, что, брыкая ногами, сорвал фартук и чуть не загнал брата Каприфолия в устричный погребок; не говоря уж о том, что мистер Бейли, получив неожиданный

толчок, целую минуту парил в воздухе наподобие юной Славы, держась на одном ремне.

— Ну и молодчина же вы! — восхищенно сказал Дэвид, когда эта маленькая тревога улеглась.

— Скажите — гений, Дэвид, гений!

— Честное слово! Ну конечно вы гений! — сказал Дэвид. — Я и раньше знал, что вы бойки на язык, но все-таки и понятия не имел, на что вы способны. Да и откуда же мне было знать?

— Я всегда на высоте положения. Это само по себе — черта гениальная, — сказал Тигг. — Если бы вы проиграли мне сию минуту пари в сто фунтов, Дэвид, и заплатили деньги (что совершенно невероятно), я бы и тут не растерялся и оказался бы на высоте положения.

Следует отдать должное мистеру Тиггу: начав присваивать чужие деньги в более обширных размерах, он и в самом деле поднялся на высоту и стал важным лицом.

— Ха-ха! — засмеялся секретарь, фамильярно похлопывая председателя по плечу. — Как погляжу на вас и вспомню про ваши владения в Бенгалии... Ха-ха-ха!

Эта незаконченная мысль показалась мистеру Тиггу такой же смешной, как и его приятелю, и он тоже расхохотался.

— ...что они, — продолжал Дэвид, — что ваши владения в Бенгалии служат обеспечением для всех возможных претензий к обществу! Как погляжу на вас да вспомню про это, такой смех разбирает, что меня просто пальцем свалить можно. Честное слово, можно!

— Прекрасное имение, черт возьми, — ответил Тигг Монтегю, — для того чтобы удовлетворить всех, имеющих претензии. Один тигровый заповедник составит целый капитал.

Дэвид мог отвечать только в промежутках между взрывами смеха: „Ну и молодчина же вы!“ — и довольно долго не говорил ничего другого, а только хохотал, держась за бока и утирая слезы.

— Так превосходная идея? — спросил Тигг, опять возвращаясь к первому замечанию своего спутника. — Еще бы не превосходная! Ведь это была моя идея.

— Нет, нет, это была моя идея, — сказал Дэвид. — Оставьте же и мне хоть какую-нибудь заслугу, черт возьми! Разве я не говорил вам, что у меня скоплено несколько фунтов...

— Вы говорили! А разве я не говорил вам, — прервал его Тигг, — что мне удалось сорвать в одном месте несколько фунтов?

— Конечно, говорили, — отозвался Дэвид, — но это же не то. А кто

сказал, что, если б нам сложиться, мы могли бы обставить контору и пустить публике пыль в глаза?

— А кто сказал, — возразил мистер Тигг, — что если поставить дело на широкую ногу, то можно бы завести контору и пустить пыль в глаза даже и без денег? Будьте рассудительны и справедливы, успокойтесь и скажите мне, чья это была идея?

— Ну, да, — принужден был сознаться Дэвид, — в этом вы меня превзошли. Да ведь я и не ставлю себя на одну доску с вами, мне хочется только, чтобы и мои заслуги были признаны.

— Все ваши заслуги признаны, сколько их есть, — ответил Тигг. — Все, что попроще, Дэвид, — подсчеты, книги, циркуляры, объявления, перья, чернила и бумага, сургуч и облатки — все это вы отлично наладили. Прислуживаться вы мастер, я с этим не спорю. Но часть поэтическая, Дэвид, где требуется выдумка, полет воображенья...

— Всецело предоставляется вам, — сказал его приятель, — о чем тут толковать. Но при таком щегольском выезде, при всей той роскоши, какой вы себя окружили, и при вашем образе жизни, — мне кажется, что это довольно-таки завидная часть.

— Однако цель этим достигнута? Англо-Бенгальская компания учреждена? — спросил Тигг.

— Да, — ответил Дэвид.

— Вы бы могли вести ее сами? — настаивал Тигг.

— Нет, — ответил Дэвид.

— Ха-ха! — засмеялся Тигг. — Тогда будьте довольны вашим положением и вашими прибылями, любезный мой Дэвид, и благословляйте тот день, когда мы с вами познакомились через прилавок нашего общего дядюшки, потому что для вас это был счастливый день!

Из разговора двух почтенных джентльменов можно вывести заключение, что они затеяли предприятие довольно широкого размаха и обращались к публике с неуязвимой позиции: они ничего не теряли, зато многое могли выиграть, и дела их, основанные на этом великом принципе, шли как нельзя лучше.

Англо-Бенгальская компания беспроцентных ссуд и страхования жизни возникла из небытия в одно прекрасное утро не желторотой фирмой, но вполне солидным предприятием на полном ходу, заключавшим сделки направо и налево, с „отделением“ в Вест-Энде — во втором этаже, над мастерской портного, — и главной конторой на одной из новых улиц Сити — в верхнем этаже поместительного дома, блиставшем зеркальными стеклами и лепными украшениями, с проволочными сетками на всех окнах

и узорной надписью „Англо-Бенгальская“ на каждой из них. На дверном косяке опять-таки красовалось крупными буквами: „Контора Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни“, а на дверях была большая медная доска с той же надписью; всегда ярко начищенная, она поневоле бросалась в глаза, вводя в соблазн весь город — после занятий в будние дни и с утра до вечера по воскресеньям, — и казалась надежнее Английского банка^[89]. Внутри контора была заново оштукатурена, заново окрашена, оклеена новыми обоями, устлана новыми коврами, обставлена новыми столами и новыми стульями — вообще во всех смыслах оборудована заново самыми солидными и дорогими вещами, рассчитанными (так же как и компания) на долгие годы. Деловитость! Взгляните на зеленые конторские книги с красными корешками, похожие на расплюснутые крикетные шары, на адрес-календари, справочники, журналы, на просто календари, почтовые ящики, весы для писем, ряды пожарных ведер, готовых затушить первую искру пожара и спасти огромные богатства в ценных бумагах, принадлежащие Компании; взгляните на денежные сундуки, на часы, на конторскую печать — таких размеров, что она одна сама по себе может гарантировать что угодно. Солидность! Взгляните на массивные глыбы мрамора, украшающие камин, на великолепный парпет на крыше дома. Реклама! Даже на угольных ящиках красуется надпись: „Англо-Бенгальская компания беспроцентных ссуд и страхования жизни“. Она повторяется на каждом шагу, так что начинает рябить в глазах и кружиться голова. Она отштампована на каждом бланке для письма, вьется лентой вокруг печати, блестит на пуговицах швейцара и повторяется по двадцати раз в каждом циркуляре и извещении, где некий Дэвид Кримпл, эсквайр, управляющий делами и секретарь, позволяет себе обратить внимание публики на преимущества, предлагаемые Англо-Бенгальской компанией беспроцентных ссуд и страхования жизни, и убедительно доказывает, что, завязав дела с этой фирмой, вы будете круглый год получать нечто вроде рождественских подарков и непрерывно растущие дивиденды, причем такая сделка не представляет риска ни для кого, кроме самой компании, которая, по своей беспримерной щедрости, наверняка останется в убытке. Последнее же, как почтительно указывает вам Дэвид Кримпл, эсквайр (и, вероятно, вы ему поверите), есть лучшая гарантия надежности и солидности компании, какую может вам предложить правление.

Фамилия этого джентльмена, кстати сказать, была раньше Кримп, что значит „вербовщик“, но так как она могла быть дурно понята и подать повод к неудобным толкованиям, то он изменил ее на Кримпл.

Чтобы ни у кого не возникло подозрений насчет Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни, вопреки всем этим утверждениям и увещаниям; чтобы никто не усомнился в тиграх, экипаже и личности самого Тигга Монтегю, эсквайра (адрес: Пэлл-Мэлл и Бенгалия), или еще в ком-нибудь из мнимого списка директоров, у компании имелся швейцар, удивительное существо в необъятном красном жилете и кургузой темно-серой ливрее, которое вселяло больше уверенности в умы скептиков, чем все остальное вместе взятое. Между ним и правлением не замечалось никакой короткости; никто не знал, где он служил прежде; он не предъявил никаких рекомендаций и справок, — да их и не требовали. Ни та, ни другая сторона ни о чем не спрашивала. Это загадочное существо, полагаясь единственно на свою представительность, пришло наниматься на должность швейцара и было принято на предложенных им условиях. Цена была высокая, но он отлично знал, что ни у кого другого не может быть такого необъятного жилета, и понимал, что для такого учреждения его услуги совершенно незаменимы. Когда он сидел на табурете, воздвигнутом для него в углу конторы, и лакированная шляпа висела на гвозде у него над головой, невозможно было сомневаться в солидности и респектабельности предприятия. С каждым квадратным дюймом жилета его респектабельность все умножалась и умножалась, так что итог в конце концов получался колоссальный, как в известной задаче о гвоздях в конской подкове^[90]. Бывали случаи, когда люди приходили застраховать свою жизнь в одну тысячу фунтов, но, посмотрев на швейцара, просили, прежде чем бланк был заполнен, увеличить эту сумму до двух тысяч. А ведь это был вовсе не великан. И ливрея у него была скорее узковата, чем широка. Вся сила заключалась в его жилете. Респектабельность, солидность, владения в Бенгалии и в других местах, готовность Компании нести ответственность в размерах какой угодно суммы — все выражалось в этом одном одеянии.

Конкуренты пытались переманить его; сама Ломберд-стрит^[91] делала ему авансы; богатые компании нашептывали: „Идите к нам!“, но он по-прежнему оставался верен Англо-Бенгальской. Трудно было разобрать, что он такое — хитрый плут или величественный простофиля, но, по-видимому, он веровал в Англо-Бенгальскую компанию. Он держался важно, обремененный воображаемыми служебными заботами, и хотя дела у него не было решительно никакого, а забот и того меньше, смотрел так серьезно и глубокомысленно, словно его удручали многочисленные обязанности и страх за сокровища, хранившиеся в денежных сундуках Компании.

Как только кабриолет подкатил к дверям, это должностное лицо сошло на тротуар с непокрытой головой, громко взывая: „Дорогу председателю, дорогу председателю, прошу вас!“ — к немалому восторгу прохожих, внимание которых таким образом было привлечено к Англо-Бенгальской компании. Мистер Тигг грациозно выпрыгнул из экипажа, сопровождаемый управляющим делами (который теперь держался очень почтительно), и поднялся по лестнице, предшествуемый швейцаром, который выкликал на ходу: „Позвольте, господа, позвольте! Председатель правления, джентльмены!“ Таким же образом, только крича еще более зычно, он провел председателя через контору, где несколько скромных клиентов наводили справки, в величественный чертог под названием „зал совещаний“, причем дверь этого святилища немедленно затворилась, сокрыв великого капиталиста от глаз непосвященной черни.

В зале совещаний был турецкий ковер, сервант и портрет Тигга Монтегю, эсквайра, в роли председателя, весьма внушительное председательское кресло с молотком слоновой кости и ручным колокольчиком и, кроме того, длинный стол с бумагой, чистыми перьями и чернильницами на равном расстоянии одна от другой. Председатель весьма торжественно занял свое место, секретарь сел по правую руку от него, а швейцар стал навтыжку позади них, образуя своим жилетом весьма колоритный задний план. Это и было правление, а все прочее представляло собой лишь забавную выдумку.

— Буллами! — произнес мистер Тигг.

— Сэр? — отозвался швейцар.

— Передайте медицинскому советнику, с поклоном от меня, что я желаю его видеть.

Буллами откашлялся и побежал в контору, выкрикивая:

— Председатель правления желает видеть медицинского советника! Позвольте, господа! Позвольте, позвольте!

Вскоре он возвратился с этим джентльменом, и оба раза, когда отворялась дверь в зал совещаний, пропуская швейцара туда и обратно, клиенты попроще становились на цыпочки и вытягивали шеи, стремясь хотя бы мельком, хоть одним глазком заглянуть в эту таинственную комнату.

— Джоблинг, дорогой мой, — сказал мистер Тигг, — как вы поживаете? Буллами, стойте за дверью. Кримпл, не оставляйте нас. Джоблинг, мой любезный друг, я очень рад вас видеть.

— А как поживаете вы, мистер Монтегю? — спросил медицинский советник, с наслаждением растянувшись в кресле (в зале совещаний были

только кресла) и доставая из кармана черного атласного жилета красивую золотую табакерку. — Как ваше здоровье? Немножко утомлены делами, гм? В таком случае отдохните. Немножко возбуждены вином, а? В таком случае пейте воду. Ничего такого не чувствуете и вполне здоровы? Тогда позавтракайте. Весьма полезно в это время дня усилить выделение желудочного сока приемом пищи, мистер Монтегю.

Медицинский советник (это был тот самый медицинский советник, который провожал старика Энтони Чезлвита до могилы и навещал пациента миссис Гэмп в гостинице „Бык“) улыбнулся, говоря это, и как бы невзначай прибавил, стряхивая нюхательный табак со своего жабо:

— Я и сам всегда завтракаю в это время.

— Буллами! — позвал председатель, звоня в колокольчик.

— Сэр?

— Подайте завтрак!

— Не для меня, надеюсь? — сказал доктор. — Вы очень любезны, благодарю вас. Мне просто совестно. Ха-ха! Если бы я был корыстным врачом, я и этот свой совет поставил бы в счет; можете быть уверены, уважаемый, что если вы не будете регулярно завтракать, то очень скоро попадете ко мне в руки. Позвольте привести пример. В ноге мистера Кримпла...

Управляющий делами невольно вздрогнул, ибо доктор для пущей наглядности схватил его ногу и положил ее себе на колени, словно собираясь тут же отнять ее.

— В ноге мистера Кримпла, как вы можете заметить, — продолжал доктор, засучив рукава и тиская ногу обеими руками в коленном суставе, — вот здесь, то есть между костью и коленной чашечкой, — содержится некоторое количество животной смазки.

— Зачем вам именно моя нога? — спросил мистер Кримпл, глядя на свою ногу с заметным беспокойством. — Ведь и у всех других то же самое, не так ли?

— Не все ли вам равно, уважаемый, — возразил доктор, — то же ли самое у всех других, или не то же самое?

— Нет, мне не все равно, — сказал Дэвид.

— Я беру частный случай, мистер Монтегю, — ответил доктор, — в пояснение моей мысли, как вы можете заметить. В этом суставе мистера Кримпла, сэр, содержится некоторое количество животной смазки. В каждой из суставов мистера Кримпла, сэр, она содержится в большем или меньшем количестве. Очень хорошо. Представьте, что мистер Кримпл ест не вовремя или отдыхает меньше, чем следует, тогда эта смазка убывает и

даже совсем истощается. Каковы же последствия? Кости мистера Кримпла глубже входят в суставы, сэр, и мистер Кримпл сохнет, становится слабым и хилым субъектом!

Доктор вдруг отбросил ногу мистера Кримпла, словно тот уже достиг такого приятного состояния, опять отвернул обшлага и торжествующе взглянул на председателя.

— Людям нашей профессии известны кое-какие тайны природы, сэр, — продолжал доктор, — вот именно, известны. Для этого мы учимся, для этого поступаем в колледж, этому мы обязаны нашим положением в обществе. Удивительно, до чего мало у нас знают об этих вещах. Как вы полагаете, — тут доктор, улыбаясь, прищурил один глаз, откинулся на спинку кресла и сложил руки треугольником, основанием которого были оба больших пальца, — как вы полагаете, где находится желудок у мистера Кримпла?

Мистер Кримпл, забеспокоившись еще пуще, хлопнул себя рукой чуть пониже жилета.

— Отнюдь нет, — воскликнул доктор, — отнюдь нет. Весьма распространенная ошибка! Уважаемый, вы решительно заблуждаетесь.

— Когда желудок у меня не в порядке, я чувствую здесь боль, вот и все, что я знаю, — сказал Кримпл.

— Вам так кажется, — ответил доктор, — но наука судит иначе. У меня был когда-то пациент (дотрагиваясь до одного из множества траурных колец на пальцах и слегка склоняя голову), джентльмен, который сделал мне честь упомянуть меня в своем завещании, и весьма щедро; как он выразился: „В воздаяние за неослабное усердие, талант и внимание моего друга и домашнего врача Джона Джоблинга, эсквайра, Ч.К.М.О.^[92], — так вот, он был потрясен тем, что всю жизнь заблуждался насчет местонахождения этого важного органа, и когда я поручился моей профессиональной репутацией, что он ошибается, он залился слезами, протянул мне руку и сказал: „Спасибо, Джоблинг!“ Сразу же после этого у него отнялся язык, а впоследствии его похоронили в Брикстоне^[93].

— Позвольте, господа, позвольте, — взывал Буллами за дверью, — позвольте! Завтрак для правления!

— Ага! — жизнерадостно произнес доктор, потирая руки и придвигая кресло поближе к столу. — Вот истинное страхование жизни, мистер Монтегю! Вот лучший страховой полис на свете, уважаемый! Нам следует беречь себя — и есть и пить, когда только можно. А, мистер Кримпл?

Управляющий делами согласился с ним довольно мрачно, словно

предстоявшее ему удовольствие уменьшилось оттого, что желудок находится вовсе не там, где полагал мистер Кримпл. Однако появление швейцара и его подручного с подносом, накрытым белоснежной салфеткой, под которой оказались две жареные курицы, обставленные с флангов разными соленьями и паштетами, быстро вернуло ему хорошее настроение. Оно стало еще лучше, когда появилась бутылка превосходной мадеры и другая бутылка — с шампанским, так что мистер Кримпл приступил к завтраку с аппетитом, почти не уступавшим аппетиту медицинского советника.

Завтрак был подан богато, сервировка изобиловала серебром, хрусталем, тонким фарфором — обстоятельство, с очевидностью указывавшее на то, что есть и пить на широкую ногу составляло довольно важную статью для правления Англо-Бенгальской компании. Медицинский советник становился все веселее и веселее, и его лицо краснело все больше и больше; казалось, с каждым съеденным куском и с каждым глотком вина его глаза блестели ярче, а нос и лоб пылали сильнее.

В некоторых кварталах Сити и по соседству с ним мистер Джоблинг пользовался, как мы уже видели, большой популярностью. У него был необыкновенно внушительный подбородок, зычный голос с жирной хрипотцой на низких нотах, доходивший прямо до сердца, словно луч света, пронизывающий темно-красную влагу старого бургундского. Его шейный платок и жабо всегда были отменной белизны; платье самого черного цвета, с отменным лоском; отменно тяжелая золотая цепочка, с отменно крупными печатками. Сапоги, всегда начищенные до самого яркого блеска, скрипели на ходу. Он умел потирать руки, покачивать головой и греться перед огнем внушительнее кого бы то ни было, умел как-то особенно причмокивать губами и приговаривать: „А!“, в то время как пациент перечислял ему свои симптомы, что внушало глубокое доверие. Он, казалось, говорил: „Я лучше вашего знаю все, что вы мне скажете, но продолжайте, продолжайте“. Так как он отличался неудержимой разговорчивостью, независимо от того, было ему что сказать или нет, то все единодушно находили, что „у него огромный опыт“, а его практика и доход с нее — по той же причине — считались превосходящими всякое описание. Пациентки не могли им нахвалиться, и даже самые сдержанные его поклонники всегда говорили о нем друзьям: „Не знаю, какой он врач, этот Джоблинг (хотя репутация его говорит сама за себя, отрицать не приходится), но это самый приятный человек, с каким я только встречался“.

По многим причинам, далеко не последней из которых была его

обширная практика среди купцов и их семейных, Джоблинг был именно таким человеком, какой требовался Англо-Бенгальской компании в качестве медицинского советника. Но Джоблинг был слишком дальновиден, чтобы сойтись с Компанией ближе, чем полагается должностному лицу на жалованье (и на очень хорошем жалованье), или допустить, чтобы его отношения с Компанией были истолкованы превратно. Поэтому любопытствующим пациентам он всегда разъяснял положение таким образом:

— Видите ли, уважаемый, относительно Англо-Бенгальской компании мои сведения очень ограничены, очень ограничены. Я их медицинский советник, на определенном помесечном жалованье. Достоин работник платы своей — „Bis dat qui cito dat“^[94] („Знает классиков, этот Джоблинг, — думает пациент, — образованный человек!“), — и я регулярно ее получаю. Вот почему я обязан, в пределах того, что мне известно, отзываться хорошо об этом учреждении. („В высшей степени порядочно с его стороны“, — думает пациент, который сам только что заплатил ему по счету.) Если бы вы спросили у меня, уважаемый друг, — говорит доктор, — что-либо относительно капитала или надежности Компании, я бы затруднился вам ответить; в цифрах я разбираюсь плохо и, не будучи акционером, считаю не совсем удобным любопытствовать на этот счет. Врач должен отличаться тактом, в чем, без сомнения, согласится со мною и ваша любезная супруга. („Можно ли быть тоньше и благовоспитаннее Джоблинга“, — думает пациент.) Так вот, уважаемый, каким образом обстоит дело. Вы не знакомы с мистером Монтегю? Очень жаль. Весьма представительный мужчина и джентльмен в полном смысле слова. Поместья в Индии, как говорят. Дом и все обзаведение у него выше всякой похвалы. Все убранство и мебель самые роскошные. А картины — даже с анатомической точки зрения — просто совершенство! В случае, если вы надумаете за чем-нибудь обратиться к Компании, за мной задержки не будет, можете быть уверены. Я могу по чистой совести дать заключение, что вы человек здоровый. Если я разбираюсь в чем-нибудь организме, то именно в вашем; а это маленькое нездоровье принесло ему больше пользы, сударыня, — говорит доктор, обращаясь к жене пациента, — чем если бы он проглотил половину дурацких лекарств из моей аптеки. Все эти лекарства сущая чепуха; сказать по правде, половина из них сущие пустяки сравнительно с таким здоровьем, как у него! („Джоблинг милейший человек, первый раз вижу такого, — размышляет пациент, — и, честное слово, об этом деле стоит подумать“.)

— Вам нынче следуют комиссионные, доктор, за четыре новых полиса

и одну ссуду, да? — спросил Кримпл после завтрака, проглядывая бумаги, принесенные швейцаром. — Хорошо поработали!

— Джоблинг, мой любезный друг, — сказал Тигг, — желаю вам долго здравствовать!

— Нет, нет, пустяки. Какое же я имею право получать комиссионные, — отнекивался доктор, — решительно никакого. Это значило бы обирать вас. Я же никого сюда не рекомендую. Говорю только то, что знаю. Пациенты спрашивают меня, а я говорю им, что знаю, — больше ничего. Осторожность всегда была моей слабой стороной, это правда. Всегда, с раннего детства: то есть, — пояснил доктор, наливая себе вина, — осторожность в интересах других. Доверился ли бы я сам Компании, если бы вот уже много лет не вносил деньги в другое учреждение, — это совершенно иной вопрос.

Он постарался придать своему голосу самые задушевные интонации, но, почувствовав, что это у него выходит не совсем удачно, переменял тему и стал хвалить вино.

— Кстати, о вине, — сказал доктор, — оно мне напомнило, какой замечательный старый портвейн я пил однажды, дело было на похоронах. Вы еще не видели этого... этого господина, мистер Монтегю? — спросил он, передавая ему карточку.

— Его не похоронили, надеюсь? — сказал Тигг, взглянув на нее. — Если похоронили, то нам его общество неинтересно.

— Ха-ха! — засмеялся доктор. — Нет, еще не совсем. Хотя он имеет самое близкое и благородное касательство к упомянутому мною случаю.

— Да, я припоминаю, — сказал Тигг, поглаживая усы. — Нет, здесь он еще не был.

Он не успел произнести этих слов, как вошел швейцар и подал медицинскому советнику визитную карточку.

— Стоит только помянуть нечистого... — заметил доктор, вставая.

— И он уже тут как тут, а? — сказал Тигг.

— Да нет же, мистер Монтегю, нет, — возразил доктор. — К нему это не подходит, наш посетитель нисколько на него не похож.

— Тем лучше, — ответил Тигг, — тем приятнее для Англо-Бенгальской компании. Буллами, уберите со стола и вынесите посуду другим ходом. Мистер Кримпл, к делу!

— Представить его вам? — спросил Джоблинг.

— Буду бесконечно рад, — отвечал Тигг с обворожительной улыбкой, посылая ему воздушный поцелуй.

Доктор вышел в контору и немедленно возвратился с Джонасом

Чезлвитом.

— Мистер Монтегю, — сказал Джоблинг, — позвольте мне. Мой друг мистер Чезлвит! Дорогой друг — наш председатель! Вот вам, — прибавил он, очень ловко спохватываясь и обводя всех взглядом, — поистине оригинальное действие силы примера. Вот поистине замечательное действие силы примера. Я говорю — „наш председатель“. Но почему я говорю „наш председатель“? Ведь он же не мой председатель. Я не имею никакого отношения к Компании, кроме того, что даю им — за известный гонорар — мое скромное заключение и качестве медицинского советника, совершенно так же, как даю его каждый день Джеку Ноксу или Тому Стайлсу. Так почему же я говорю „наш председатель“? Да просто потому, что все вокруг меня постоянно повторяют эти слова. Такого подражательное свойство ума у этого в высшей степени несамостоятельного двуногого — человека. Мистер Кримпл, вы, кажется, не нюхаете табак? Напрасно. Вам следовало бы.

Пока доктор высказывал все это, угостившись в заключение весьма продолжительной и звучной понюшкой, Джонас присел к столу — такой неуклюжий и растерянный, каким мы еще никогда его не видели. Всем нам, а в особенности мелким душам, свойственно испытывать благоговейный трепет перед хорошим платьем и хорошей обстановкой. Они и на Джонаса оказали подавляющее действие.

— Я знаю, вам обоим надо поговорить о деле, — сказал доктор, — и вы дорожите временем. Я тоже: в соседней комнате меня ожидают несколько человек страхующихся, а затем мне еще нужно обойти своих пациентов. Я уже имел удовольствие представить вас друг другу и теперь могу уйти по своим делам. Всего хорошего! Однако позвольте мне, мистер Монтегю, прежде чем я уйду, сказать следующее о моем друге, которого вы видите перед собой: этот джентльмен больше всякого другого человека, сэр, — произнес он, торжественно постукивая пальцами по табакерке, — живого или мертвого — способствовал тому, чтобы примирить меня с человечеством. До свидания!

С этими словами Джоблинг вышел из комнаты и направился к себе в кабинет внушать страхующимся, как добросовестно он выполняет свои обязанности и как трудно застраховаться в Англо-Бенгальской компании. Он щупал им пульс, заставлял показывать язык, прикладывал ухо к ребрам, постукивал по груди и так далее; хотя, если бы он не знал заранее, что в Англо-Бенгальской компании никому нет отказа и что здесь меньше всего интересуются здоровьем клиентов, он был бы не тем Джоблингом, каким его знали друзья, не подлинным Джоблингом, а всего лишь жалкой

подделкой.

Мистер Кримпл также отправился заниматься текущими делами, и Джонас Чезлвит с Тиггом остались одни.

— Я слышал от нашего друга, — сказал Тигг, придвигая свое кресло к Джонасу с пленительной непринужденностью, — что вы подумываете...

— Вот, ей-богу! Какое же он имеет право так говорить? — прервал его Джонас. — Я ему не рассказывал, о чем думаю. Если он забрал себе в голову, будто я сюда пришел с определенной целью, это уж его дело. Меня это ни к чему не обязывает.

Джонас сказал это довольно грубо, потому что, кроме обычной недоверчивости, в нем действовало свойственное его натуре желание выместить на другом то смущение, в которое его приводили хорошо сшитое платье и хорошая обстановка; чем меньше Джонас мог противиться этому влиянию, тем больше он злобствовал и негодовал.

— Если я пришел сюда задать вопрос-другой и взять один-два проспекта для просмотра, то это меня еще ни к чему не обязывает. Давайте договоримся на этот счет.

— Дорогой мой! — воскликнул Тигг, хлопая его по плечу. — Мне нравится наша искренность. Если такие люди, как мы с вами, с самого начала выскажутся напрямик, то никаких недоразумений в дальнейшем быть не может. Для чего я стану скрывать от вас то, что вам хорошо известно, а непосвященным и не снилось? Все компании одинаковы, все мы хищные птицы — просто хищные птицы! Вопрос только в том, можем ли мы, соблюдая свои интересы, соблюсти и ваши; устлая свое гнездо пухом — устлать ваше хотя бы пером. О, вы разгадали нашу тайну, вы проникли за кулисы. Что ж, мы готовы вести с вами дело начистоту, если уж иначе никак нельзя.

Когда мистер Джонас был впервые представлен читателю, мы высказали мысль, что существует простодушие хитрецов, так же как и простодушие людей наивных, и что во всех случаях, где надо было поверить в плутовство, он был самым легковерным человеком. Если бы мистер Тигг притязал на звание честного дельца, Джонас заподозрил бы его во лжи, хотя бы тот был образцом благородства; но так как он высказывал обо всем и обо всех точно те же мысли, что и сам Джонас, то Джонас начал думать, что это приятный человек, с которым можно разговаривать не стесняясь.

Он переменил позу на более развязную, если не менее неуклюжую, и, улыбаясь в своей жалкой самонадеянности, ответил:

— Вы неплохой делец, мистер Монтегю. Могу сказать, вы знаете, с

какого конца надо браться за дело.

— Ну, ну, — сказал Тигг, с видом заговорщика кивая головой и показывая белые зубы, — ведь мы с вами не дети, мистер Чезлвит, мы взрослые люди.

Джонас согласился с ним и после недолгого молчания, вытянув сначала ноги и уперев руку в бок, в доказательство того, что он несколько не стесняется, начал:

— Сказать правду...

— Не говорите правды, — прервал его Тигг, опять ослабившись, — она очень похожа на обман. Совершенно очарованный, Джонас начал снова:

— Короче говоря, суть в том...

— Лучше, — пробормотал Тигг, — много лучше!

— ...что две или три старые компании, когда я имел с ними дело, то есть я хочу сказать — раньше имел, доставили мне много неприятностей. Они выдумывали всякие возражения, для чего не было оснований, и задавали вопросы, каких не вправе были задавать, и вообще слишком важничали, на мой взгляд.

Делая это замечание, он опустил глаза и с любопытством посмотрел на ковер. Мистер Тигг с любопытством посмотрел на него. Он так долго молчал, что Монтегю пришел ему на выручку и сказал самым любезным своим тоном:

— Выпейте стакан вина.

— Нет, нет, — возразил Джонас, хитро покачивая головой, — ни в коем случае, спасибо. Ни капли вина за делом. Для вас это очень хорошо, а для меня не годится.

— Какой вы опытный человек, мистер Чезлвит! — сказал Тигг, откинувшись на спинку кресла и поглядывая на него полузакрытыми глазами.

Джонас опять покачал головой, словно говоря: „Ваша правда“, и продолжал игриво:

— Не такой уж опытный все-таки, потому что взял да и женился. Вы скажете, что тут я дал маху. Может быть! Тем более что она совсем молодая. Но ведь никогда не знаешь, что может случиться с этими женщинами, вот я и подумываю, не застраховать ли ее жизнь. Это, знаете ли, просто справедливо, чтобы человек запасся утешением на случай такой потери.

— Если только что-нибудь может утешить в таких печальных обстоятельствах, — пробормотал Тигг, все так же полузакрыв глаза.

— Совершенно верно, — ответил Джонас, — если только что-нибудь может утешить. Так вот, предположим, что я это сделаю у вас, — так, чтобы было недорого и без хлопот и чтобы не беспокоить ее; мне бы этого очень не хотелось, а то у женщин есть такое обыкновение: только заговори с ней на этот счет, она сейчас вообразит, что тут же ей и помереть.

— Вот именно, — отозвался Тигг, целуя кончики пальцев в честь женского пола. — Вы совершенно правы. Милые, непостоянные, невинные простушки!

— Ну вот, поэтому, знаете ли, — продолжал Джонас, — и потому что меня обидели в других местах, я был бы не прочь поддержать вашу Компанию. Но я хочу знать, какое обеспечение вы можете предоставить. Говоря по...

— Только не по правде! — воскликнул Тигг, поднимая блистающую перстнями руку. — Не употребляйте таких выражений, прошу вас, они хороши для воскресной школы!

— Короче говоря, — поправился Джонас, — короче говоря, какое имеется обеспечение?

— Основной капитал, уважаемый, — ответил Тигг, листая бумаги на столе, — в настоящее время составляет...

— Ну, по части основного капитала я, знаете ли, собаку съел, — прервал его Джонас.

— Вот как? — сказал Тигг, вдруг останавливаясь.

— Ну еще бы.

Тигг отложил бумаги в сторону и, придвинувшись поближе к Джонасу, сказал ему на ухо:

— Я знаю, все знаю. Взгляните на меня!

Не в привычках Джонаса было глядеть прямо на кого бы то ни было, но, исполняя эту просьбу, он постарался взглянуть как следует в черты председателя. Председатель отодвинулся немного назад, чтобы Джонасу было удобнее его разглядывать.

— Узнаете? — спросил Тигг, поднимая брови. — Припоминаете? Вы видели меня прежде?

— Как же, мне показалось, когда я вошел, будто я помню ваше лицо, — сказал Джонас, пристально глядя на него, — только вот не могу сообразить, где я вас видел. Нет, даже и теперь не могу. Не на улице?

— Не в гостиной ли у Пекснифа? — сказал Тигг.

— В гостиной у Пекснифа! — эхом откликнулся Джонас, с трудом переводя дыхание. — Уж не тогда ли...

— Вот именно, — подтвердил Тигг, — когда там было такое

прелестное и очаровательное семейное собрание, на котором присутствовали и вы с вашим уважаемым батюшкой.

— Ну, его вы оставьте, — сказал Джонас. — Он умер, и дело с концом.

— Умер, неужели? — воскликнул Тигг. — Почтенный старик! Так он умер? Вы очень на него похожи.

Джонас принял этот комплимент отнюдь не благосклонно; быть может оттого, что был далеко не лестного мнения о наружности своего покойного родителя; быть может оттого, что не находил причины радоваться, узнав о тождестве Монтегю и Тигга. Монтегю это заметил и, фамильярно похлопав его по рукаву, подозвал к окну. С этой минуты жизнерадостность и веселость мистера Монтегю стали поистине замечательными.

— Как вы находите, переменился я сколько-нибудь с тех пор? — спросил он. — Скажите откровенно.

Джонас посмотрел пристально на его жилет и перстни и ответил:

— Порядком, знаете ли!

— Ходил я тогда в отрепьях? — спросил Монтегю. — И еще в каких! — ответил Джонас. Мистер Монтегю указал на улицу, где Бейли дожидался его с кабриолетом.

— Богатый выезд, можно сказать шикарный. А знаете вы, чей он?

— Нет.

— Мой. Нравится вам эта обстановка?

— Она, должно быть, стоила уйму денег, — заметил Джонас.

— Вы правы. Тоже моя. Почему бы вам, — он прошептал это слегка подтолкнув его локтем, — почему бы вам не получать страховые взносы, вместо того чтобы платить их? Такому человеку, как вы, это было бы в самый раз. — Идите к нам!

Джонас воззрился на него в изумлении.

— Правда, людная улица? — спросил Монтегю, обращая его внимание на уличную толпу.

— Очень, — сказал Джонас, бросив на нее быстрый взгляд и снова воззвись на Тигга.

— Существует печатная статистика, — продолжал его собеседник, — которая скажет вам совершенно точно, сколько людей проходит за день по этой улице. А я могу вам сказать, сколько из них зайдет сюда только потому, что контора случайно попала им на глаза, хотя они знают о ней ровно столько же, сколько о египетских пирамидах. Ха-ха! Идите к нам. Мы с вас недорого возьмем.

Джонас смотрел на него все пристальнее и пристальнее.

— Я могу вам сказать, — шепнул Тигг ему на ухо, — сколько из них

купят пожизненную ренту, сколько застрахуются, понесут нам свои деньги, на сотни ладов будут навязывать их нам, верить нам, как Монетному двору, зная о нас не больше, чем вы знаете о метельщике на углу, — даже и того меньше. Ха-ха!

Лицо Джонаса медленно расплылось в улыбку.

— Да, — сказал Монтегю, игриво толкнув его в грудь, — нам вас не провести, хитрец вы этакий, иначе я не стал бы вам ничего говорить. Приходите завтра обедать ко мне на Пэлл-Мэлл!

— Ну что ж, — сказал Джонас.

— Отлично! — воскликнул Монтегю. — Погодите минутку. Возьмите с собой эти бумаги и просмотрите их. Вот видите, — продолжал он, захватывая со стола какие-то печатные бланки, — господин Б., мелкий торговец, конторщик, пастор, актер, литератор — что хотите, словом, самая заурядная личность.

— Да, — сказал Джонас, жадно заглядывая ему через плечо. — Ну?

— Б. ищет занять, скажем, пятьдесят или сто фунтов, может быть больше — неважно. Б. предлагает двух поручителей. Б. дают в долг. Поручители подписывают обязательство. Б. страхует свою жизнь на сумму вдвое большую, чем сумма его долга, и приводит страховать двух приятелей — в виде благодарности обществу. Ха-ха-ха! Ведь неплохая мысль?

— Ей-богу, превосходная! — отозвался Джонас. — А он так и сделает, это верно?

— Сделает! — повторил председатель. — Б. приходится туго, любезный, он сделает все что угодно. Как же вы не видите? Это и есть моя мысль.

— Она оказывает вам честь; провалиться мне, если не так! — сказал Джонас.

— Я тоже так думаю, — отвечал председатель, — и горжусь тем, что вы это находите. Б. платит самый высокий процент, какой полагается по закону...

— Ну, это немного, — прервал его Джонас.

— Верно, совершенно верно! — ответил Тигг. — И со стороны закона адски жестоко прижимать нас, когда сама казна берет такой хороший процент со своих клиентов. Но закон не про них писан, а с нас они взыскивают. Ну и, поскольку закон нас прижимает, мы тоже не очень мирволим этому несчастному Б.; кроме того, что мы берем с него обычные проценты, мы еще получаем с Б. страховые взносы, и с его приятелей тоже, и, дадим мы ему ссуду или нет, берем с него за „справки“ (для справок мы

взяли специального человека, платим ему фунт в неделю), берем с Б. немножко и за услуги секретаря; словом, дорогой мой, мы сдираем с этого Б. семь шкур и наживаем на нем хорошенький капиталец. Ха-ха-ха! В сущности говоря, я на нем выезжаю, — сказал Тигг, указывая на кабриолет, — и он отлично везет. Ха-ха-ха! Джонасу очень понравилась эта шутка. Она была совершенно в его вкусе.

— Потом, — продолжал Тигг Монтегю, — мы предлагаем клиентам пожизненную ренту на самых выгодных условиях, какие только существуют на денежном рынке и провинциальные старушки и старички покупают ее. Ха-ха-ха! И мы ее, может быть, и выплатим. Может быть! Ха-ха-ха!

— Но за это придется отвечать, — сказал Джонас, глядя на него с сомнением.

— Всю ответственность я беру на себя, — сказал Тигг Монтегю. — Здесь я отвечаю за все; я единственное ответственное лицо во всей компании! Ха-ха-ха! Потом у нас, есть страхование жизни без займов — обыкновенные полисы. Очень выгодно, очень удобно. Деньги вносятся наличными, знаете ли, и так из года в год; презабавная штука!

— Но как же быть, когда наступит срок уплаты, — заметил Джонас. — Все это очень хорошо, пока общество только начинает работать; но как быть, когда придется платить по полисам, — вот о чем я думаю.

— Чтобы показать вам, насколько вы правильно судите, я приведу пример, — ответил Монтегю. — У нас было вначале два несчастных случая, которые довели нас до — пианино.

— До чего довели? — переспросил Джонас.

— Даю вам самое честное слово, — сказал Тигг Монтегю, — что все прочее имущество я обратил в деньги, и на руках у меня осталось только пианино. Пусть бы еще рояль, а то пианино, так что даже сидеть на нем было нельзя. Но, дорогой мой, мы справились и с этим. На той же неделе мы выдали много новых полисов, — кстати сказать, мы выплачиваем довольно крупные комиссионные нашим агентам, — и быстро с этим справились. А если придется уж очень много платить, что, как вы изволили справедливо заметить, в один прекрасный день может случиться, что же — тогда надо... — он закончил фразу так тихо, что можно было разобрать всего одно слово, и то с трудом. Но оно было похоже на „удирать“.

— Ну, совести у вас ни на грош! — сказал Джонас к совершенном восхищении.

— Для чего же человеку этот грош, любезнейший, если его можно обменять на золото! — воскликнул председатель, весь трясаясь от смеха. —

Придете ко мне завтра обедать?

— В какое время? — спросил Джонас.

— В семь часов. Вот моя карточка. Возьмите же бумаги. Я вижу, мы сталкиваемся.

— Этого я пока не знаю. — сказал Джонас. — Сначала надо еще посмотреть.

— Смотрите сколько угодно и на что угодно, — отвечал Монтегю, хлопая его по спине. — Но мы сталкиваемся, я убежден. Мы созданы друг для друга. Буллами!

Жилет явился по зову хозяина и настольного колокольчика. Получив приказ проводить Джонаса, он пошел вперед, между тем как голос, исходивший из недр жилета, по-прежнему бойко выкрикивал:

— Позвольте, господа, позвольте! Дайте пройти джентльмену из зала совещаний!

Мистер Монтегю, оставшись один, погрузился в минутное размышление, а потом спросил, повысив голос:

— Неджет в конторе?

— Он здесь, сэр. — И Неджет быстро вошел, закрыв за собою дверь так тщательно, словно речь между ними должна была пойти по меньшей мере об убийстве.

Это был тот самый человек, который наводил справки, получая за свои услуги фунт в неделю. Не было ничего удивительного или же похвального со стороны Неджета в том, что он держал дела Англо-Бенгальской компании в строжайшем секрете и вел их в глубочайшей тайне, ибо таинственность от самого рождения была его стихией. Это был коротенький, высохший, сморщенный старичок, который, казалось, даже кровь свою хранил в секрете, ибо никак нельзя было поверить, чтобы во всем его теле набралось ее хоть шесть унций. Как он живет — было тайной, где он живет — было тайной, и даже что он такое — оставалось тайной. В его ветхом бумажнике хранились самые противоречивые визитные карточки: в одной он называл себя поставщиком угля, в другой — виноторговцем, в третьей — комиссионером, в четвертой — инспектором, как будто тайна его профессии была неясна ему самому. Он вечно назначал кому-то свидания в Сити — человеку, который, по-видимому, никогда не держал слова. Он просиживал часами на бирже, разглядывая всех входящих и выходящих, а также у Гарравея^[95] и в других кофейнях биржевиков, где иногда можно было видеть, как он сушит перед огнем насквозь мокрый носовой платок, поглядывая через плечо — не пришел ли тот человек. Весь он словно заплесневел, износился, истерся; спина и

панталоны у него были всегда в пуху, а белье он держал в таком секрете, застегиваясь доверху и старательно запахиваясь, что его как будто и совсем не было, — а может быть, и действительно не было. Он всегда носил с собой одну запачканную пуховую перчатку, держа ее за указательный палец, но где была пара к ней — оставалось тайной. Одни говорили, что он банкрот; другие — что он с младенчества замешан в тяжбу о наследстве, которая до сих пор еще не решена судом лорд-канцлера^[96], — но все это оставалось тайной. Он носил с собой в кармане кусочки сургуча и старую медную печатку с какими-то иероглифами и нередко сочинял таинственные письма, уединившись в укромном углу в одном из этих мест свидания, но так и не отправлял их никому, а прятал в потайной карман сюртука и спустя несколько недель извлекал их оттуда, к великому своему удивлению, совершенно пожелтевшими. Это был человек такого рода, что если б он умер, оставив миллион, или умер, оставив два с половиной пенса, то все знавшие его нисколько не удивились бы и сказали бы, что ожидали именно этого. А между тем он был представителем целой человеческой разновидности, совершенно особой породы людей, встречающихся только в Сити, которые являются такой же неразрешимой тайной друг для друга, как и для всего остального человечества.

— Мистер Неджет, — сказал Монтегю, списывая на бумажку адрес Джонаса Чезлвита с визитной карточки, все еще валявшейся на столе, — я буду рад всяким сведениям относительно этого имени. Безразлично, каковы бы они ни были. Приносите мне все, что удастся собрать. Приносите лично мне, мистер Неджет.

Неджет надел очки и внимательно прочел фамилию, потом взглянул на председателя поверх очков и поклонился, потом снял их и положил в футляр, потом убрал футляр в карман. Пролодав это, он посмотрел, уже без очков, на лежавшую перед ним бумажку, в то же время доставая бумажник откуда-то из-за спины. Несмотря на то, что он был битком набит всякими бумагами, Неджет нашел в нем место и для этой записки и, старательно застегнув его, торжественно проделал тот же фокус, отправив бумажник на прежнее место.

Он повернулся, не говоря ни слова, отвесил еще поклон, приотворил дверь ровно настолько, чтобы едва можно было пролезть, и тщательно закрыл ее за собой. Председатель употребил остаток утра на скрепление своей собственноручной подписью новых страховых полисов и пожизненных рент. Дела общества шли все лучше и лучше, и от клиентов просто отбоя не было.

Глава XXVIII

Мистер Монтегю у себя дома. И мистер Джонас Чезлвит у себя дома.

Много было весьма основательных причин для того, чтобы Джонас Чезлвит расположился в пользу плана, так смело развернутого его великим инициатором, но три причины перевешивали все остальное. Во-первых, ему представлялась возможность нажить большие деньги. Во-вторых, эти деньги были особенно соблазнительны тем, что их выманивали хитростью у других людей. В-третьих, на этом поприще его ждали уважение и почет, поскольку совет Англо-Бенгальской компании был в своем роде важное учреждение, а его директор — влиятельное лицо. „Получать громадную прибыль, командовать целой армией подчиненных и попасть в хорошее общество — и все это разом и без всякого труда — будет совсем неплохо“, — думал Джонас. Последние соображения уступали только его алчности; ибо, сознавая, что ни его личность, ни поведение, ни характер, ни таланты не могли внушить к себе никакого уважения, Джонас тянулся к власти и в душе был таким же деспотом, как любой увенчанный лаврами победитель, известный нам из истории.

Однако он решил держаться настороже и хорошенько присмотреться к частной жизни высокоаристократического мистера Монтегю. Мелкому плуту не приходило в голову, что Монтегю только этого и ждет, иначе он вряд ли пригласил бы Джонаса, пока тот ни на что еще не решился, и мысль, что этот гений, Монтегю, способен перехитрить его, Джонаса, не могла прошибить броню его самонадеянности. Монтегю сказал еще в самом начале, что Джонас для него слишком хитер; и Джонас, который был достаточно хитер для того, чтобы не доверять ему во всем остальном, невзирая на торжественные клятвы, — в этом поверил ему сразу.

Робеющей рукой, однако не без попытки напустить на себя дурацкую важность, постучался он в дверь своего нового друга на Пэлл-Мэлле, когда настал назначенный час. Мистер Бейли живо явился на стук. Он ничуть не возгордился и готов был оказать внимание Джонасу, но тот его не узнал.

— Мистер Монтегю дома?

— Еще бы он был не дома, когда собирается обедать, — ответил Бейли с развязностью старого знакомого. — Шляпу возьмете с собой или тут оставите?

Мистер Джонас предпочел оставить ее тут.

— Фамилия все та же, я полагаю? — ухмыляясь, спросил Бейли.

Джонас воззрился на него в немом негодовании.

— Что ж вы, не помните разве пансион мамыши Тоджерс? — сказал мистер Бейли, по своей любимой привычке стучая коленкой о коленку. — Не помните разве, как я докладывал о вас барышням, когда вы приходили с ними любезничать? Вот уж где все мохом заросло, верно? Теперь нас рукой не достанешь! Слушайте, а вы здорово выросли!

Не дожидаясь ответа на свой комплимент, он проводил гостя наверх, доложил о нем и, подмигнув ему исподтишка, удалился.

Нижний этаж дома занимал богатый торговец, но у мистера Монтегю оставался весь верх — и великолепная это была квартира! Комната, в которой он принял Джонаса, была просторная и изящная, убранная с необычайной роскошью, — ее украшали картины, гипсовые и мраморные копии с антиков, китайские вазы, высокие зеркала, малиновые занавеси тяжелого шелка, резьба и позолота, мягчайшие диваны, сверкающие хрусталем шкафчики с инкрустацией из драгоценного дерева, дорогие безделушки, небрежно разбросанные повсюду. Единственными гостями, кроме Джонаса, были доктор, управляющий делами и еще два джентльмена, которых Монтегю представил по всем правилам этикета.

— Дорогой друг, я счастлив вас видеть. С Джоблингом вы знакомы, кажется?

— Я полагаю, — любезно ответил доктор, выступая из круга, чтобы пожать руку Джонасу. — Думаю, что удостоился этой чести. Надеюсь — что да. Уважаемый, вы здоровы? Вполне здоровы? Отлично!

— Мистер Вольф, — сказал Монтегю, как только доктор дал ему возможность представить двух других, — мистер Чезлвит. Мистер Пип, мистер Чезлвит.

Оба джентльмена были чрезвычайно рады такой чести — познакомиться с мистером Чезлвитом. Доктор отвел Джонаса в сторону и шепнул ему, прикрыв рот ладонью:

— Светские люди, уважаемый, светские люди! Гм! Мистер Вольф — деятель литературы, только говорить об этом не надо, — замечательно интересная еженедельная газета! О, замечательно интересная! Мистер Пип — деятель театра, превосходный собеседник — о, превосходный!

— Ну, — сказал Вольф, скрестив руки и продолжая разговор, прерванный появлением Джонаса, — так что же сказал на это лорд Нобли?

— Да просто не знал что сказать, — ответил Пип, загнув крепкое словцо. — Черт возьми, сэр, так и молчал, как пень. Но вы же знаете, какой отличный малый этот Нобли!

— Лучше и быть не может! — отозвался Вольф. — Не дальше как на прошлой неделе Нобли мне сказал: „Ей-богу, Вольф, если б у меня был в распоряжении богатый приход да если б еще вы воспитывались в университете — лопни глаза мои, я бы сделал вас пастором!“

— На него похоже, — сказал Пип и опять загнул словцо. — И сделал бы!

— Нечего и сомневаться, — сказал Вольф. — Но вы хотели рассказать нам...

— Ах, да! — воскликнул Пип. — Верно, хотел. Сначала он совсем онемел, лишился языка, ну просто обмер, а потом говорит герцогу: „Здесь Пип. Спросите Пипа. Пип наш общий друг. Он знает“. — „Черт возьми! — говорит герцог. — В таком случае я обращаюсь к Пипу. Ну, Пип, кривоногая она или нет? Скажите нам!“ — „Кривоногая, ваша светлость, клянусь князем тьмы!“ — говорю я. „Ха-ха! — смеется герцог. — Конечно, кривоногая. Браво, Пип! Хорошо сказали, Пип. Вы молодчина, Пип, провалиться мне, коли не так! Если у вас будет собираться светское общество, рассчитывайте на меня, когда я в городе“. И с тех пор я постоянно его приглашаю.

Конец анекдота доставил всем огромное удовольствие, которое отнюдь не уменьшилось от доклада, что обед подан. Джонас отправился в столовую вместе с хозяином и занял место между ним и своим приятелем доктором. — Остальные разместились за столом, как люди, давно освоившиеся в доме, и все одинаково отдали честь обеду.

Обед был отличный, самый лучший, какой только можно достать за деньги или в кредит (что в сущности все равно). Блюда, вина и фрукты были самые отборные. Сервировка отличалась элегантностью. Серебро было великолепное. Мистер Джонас занялся подсчетом, во что может обойтись одна эта статья, когда хозяин потревожил его:

— Стакан вина?

— О! — сказал Джонас, который уже выпил несколько стаканов. — Этого сколько вам угодно. Слишком оно хорошо, чтобы отказываться.

— Прекрасно сказано, мистер Чезлвит! — крикнул Вольф.

— Ловко, честное слово! — сказал Пип.

— Положительно, знаете ли, это... ха-ха-ха, — заметил доктор, кладя вилку с ножом на стол, а потом снова принимаясь за еду, — это положительно эпиграмма, ну совершенно!

— Вы не скучаете, я надеюсь? — спросил Тигг Джонаса, наклонившись к нему.

— О, вы напрасно беспокоитесь на мой счет, — ответил тот. — Мне

отлично!

— Я подумал, что лучше обойтись без званого обеда, — сказал Тигг. — Вы обратили внимание?

— Ну, а как же это, по-вашему, называется? — возразил Джонас. — Не хотите же вы сказать, что у вас так бывает каждый день?

— Дорогой мой, — сказал Тигг, пожимая плечами, — решительно каждый день, когда я обедаю дома. У меня так уж принято. Не стоило затевать для вас что-нибудь необыкновенное, — вы бы это сразу заметили. „Будете устраивать званый обед?“ — спрашивает Кримпл. „Нет, не буду, — говорю я. — мы его примем запросто“.

— А получилось роскошно, ей-богу, — сказал Джонас, оглядывая стол. — Ведь это стоит недешево.

— И очень даже, если говорить прямо, — отвечал Тигг. — Это моя страсть. Вот на что уходят мои деньги. Джонас прищурил один глаз и сказал.

— Ой ли?

— А разве вы не будете тратить на то же свою долю прибылей, когда присоединитесь к нам? — спросил Тигг.

— Ну, уж нет, — отрезал Джонас.

— Что ж, вы правы, — сказал Тигг с дружеской прямоотой. — Вам и не нужно. В этом нет необходимости. Кто-нибудь один должен этим заниматься, чтоб не растерять клиентов, но пускай уж это будет по моей части, раз доставляет мне удовольствие. Вы, я думаю, не откажетесь хорошо пообедать на чужой счет?

— Нет, конечно, — сказал Джонас.

— Так, я надеюсь, вы будете часто обедать у меня?

— Не откажусь, — сказал Джонас. — Напротив.

— И клянусь нам, я никогда не буду говорить с вами о делах за стаканом вина, — сказал Тигг. — О, это было очень, очень, очень хитро с вашей стороны нынче утром. Надо им рассказать. Они как раз такой народ, что могут это оценить. Пип, любезный, я должен вам рассказать замечательную штуку про моего приятеля Чезлвита... Это величайший хитрец, какого я знаю. Даю вам самое священное честное слово, Пип, что другого такого хитреца я не знаю!

Пип ответил, что он в этом уверен, прибавив особенно крепкое словцо, и рассказанный анекдот был встречен громкими рукоплесканиями, как бесспорное доказательство хитрости мистера Джонаса. Пип, движимый естественным стремлением превзойти его, сообщил кое-какие примеры собственной хитрости, а Вольф, чтобы не остаться в долгу, выбрал и

прочел самую соль из двух-трех очень остроумных статей, подготовленных им для печати. Эти словоизлияния, по его словам „весьма хлесткие“, встретили горячее одобрение, и все общество согласилось, что они бьют не в бровь, а прямо в глаз.

— Светские люди, уважаемый! — шепнул Джоблинг на ухо Джонасу. — Настоящие светские люди! Для человека моей профессии просто освежительно побывать в таком обществе. Не только приятно — хотя ничего не может быть приятнее, — но полезно в философическом отношении. Ведь это оригиналы, уважаемый, оригиналы!

Очень приятно знать, что истинные заслуги ценятся на любой ступени общественной лестницы, и дружескому слиянию всех собравшихся немало содействовало то обстоятельство, что оба светских льва пользовались, как выяснилось, большим уважением в высших классах общества и у доблестных защитников отечества — представителей армии и флота, особенно армии. В каждом самом коротеньком анекдоте фигурировал по меньшей мере один полковник; лорды встречались не реже, чем крепкие словца; и даже царственная кровь струилась в мутной воде их личных воспоминаний.

— Боюсь, что мистер Чезлвит с ним не знаком, — сказал Вольф об одном лице высокого происхождения, о котором только что вспоминали.

— Нет, — сказал Тигг. — Но мы должны его познакомить с этими людьми.

— Он большой поклонник литературы, — заметил Вольф.

— Неужели? — сказал Тигг.

— Ну как же; он из года в год подписывается на мою газету. А знаете, ему случалось иногда говорить очень остроумные вещи. Как-то он спросил одного виконта, моего приятеля, — вот Пип его знает: „Как же фамилия этого журналиста, как его фамилия?“ — „Вольф“. — „Вольф? То есть волк? Зубастый зверь, волк! Как говорится: не пускайте волка в овчарню“. Очень удачно. И лестно к тому же, так что я это напечатал.

— А этот виконт молодчина! — воскликнул Пип. — Он придумал новое бранное словцо и теперь начинает с него каждую реплику. Право, молодчина! Заходит он однажды к нам в театр, чтобы проводить свою пассиву домой, немножко навеселе, но не очень, — и говорит: „Где Пип? Я желаю видеть Пипа. Подайте его сюда!“ — „Что за шум, милорд?“ — „Ваш Шекспир просто чепуха, Пип! Что в нем хорошего, в Шекспире? Я его никогда не читаю. Какого черта он там нагородил, Пип? У него в стихах все стопы, а ног ни в одной шекспировской пьесе не показывают. Верно, Пип? Джульетта, Дездемона, леди Макбет и все прочие, как их там зовут, могут

быть и совсем безногие, насколько публике известно, Пип. Для публики они все равно что безногая мисс Биффин^[97]. Я вам скажу, в чем тут суть. То, что называется драматической поэзией, есть просто собрание проповедей. А разве я затем хожу в театр, чтобы слушать проповеди? Нет, Пип. На это есть церковь. Что должна изображать драма, Пип? Человеческую натуру. А что такое ноги? Человеческая натура. Так почаще показывайте нам ноги, мой милый, и я вас поддержу!“ И я горжусь тем, — прибавил Пип, — что он действительно меня поддержал, и очень щедро!

Так как разговор стал общим, то спросили мнение мистера Джонаса; и поскольку он вполне согласился с мистером Пипом, этот джентльмен был чрезвычайно польщен. В самом деле, и у него и у Вольфа оказалось так много общего с Джонасом, что они совсем подружились, и под воздействием их дружеского обращения и винных паров Джонас стал разговорчивее.

Не следует думать, что чем разговорчивее становится такой человек, тем он делается приятнее. Напротив, его достоинства, быть может, всего виднее, когда он молчит. Не имея, как он думал, других средств сравняться с остальными, кроме той самой хитрости и колкости, за какие его только что хвалили, Джонас старался проявить эти свойства во всем объеме, и так хитрил и острил, что совсем запутался в собственных хитростях и переколол себе все пальцы собственными колкостями.

И таковы уж были особенности и свойства его характера, что он выставлял себя в выгодном свете, прохаживаясь насчет хозяина. Запивая искрящимся вином его роскошное угощение, он высмеивал расточительность, которая поставила перед ним эти дорогие яства. Даже за таким вольным столом, в такой более чем сомнительной компании это могло бы привести к не совсем приятным результатам, если бы Тигг с Кримплом, желая изучить хорошенько свою жертву, не потакали ему решительно во всем, зная, что чем больше он себе позволит, тем скорее они достигнут цели. И пока этот запутавшийся мошенник (простофиля, несмотря на всю свою хитрость) воображал, будто он свернулся, как еж, оцетинившись навстречу им всеми своими колючками, они смотрели в оба и успели разглядеть все его слабые места.

Хозяин ли задавал тон обоим джентльменам, столь приумножившим философические познания доктора (кстати сказать, доктор потихоньку скрылся, выпив свою обычную бутылку вина), или же они руководствовались тем, что видели и слышали, но оба они очень хорошо сыграли свою роль. Они просили у Джонаса разрешения продолжать с ним знакомство, выражали надежду, что будут иметь удовольствие ввести его в

тот высший свет, где он должен блистать, имея для этого все данные, и заверяли его, в самом дружеском тоне, что рады служить ему чем только могут, каждый в своей области. Словом, они говорили: „Будьте одним из нас!“ А Джонас отвечал, что он им чрезвычайно обязан и не преминет воспользоваться их любезностью; про себя же думал, что ежели они „выставят угощение“, то он ничего больше и не просит.

После кофе, поданного в гостиную, беседа, которую вели главным образом Пип и Вольф, перешла на весьма пикантные и в некотором роде скабрёзные темы. Когда эта материя истощилась, разговор поддержал Джонас; он с большим юмором оценивал мебель в комнате и спрашивал, заплачено ли за такой-то предмет, какая ему настоящая цена и тому подобное. Словом, он явно решил доконать беднягу Монтегю и удивить все общество своим блестящим остроумием.

Пунш из шампанского снова внес некоторое оживление, хотя и ненадолго. Поднялся шум, в котором ничего нельзя было разобрать, после чего оба светских джентльмена неверной походкой отправились восвояси, а мистер Джонас уснул на одном из диванов.

Так как ему решительно нельзя было втолковать, где он находится, то мистеру Бейли приказано было нанять карету и отвезти его домой, для чего этому молодому человеку пришлось около трех часов утра прервать свой беспокойный сон в прихожей.

— Попался на удочку, как вы думаете? — шепнул Кримпл своему компаньону, глядя вместе с ним на спящего Джонаса с другого конца гостиной.

— Да! — также шепотом ответил Тигг. — И, кажется, уж не сорвется. Неджет был здесь сегодня?

— Да, я выходил к нему. Узнав, что у вас гости, он ушел.

— Почему же?

— Он сказал, что зайдет пораньше утром, прежде чем вы встанете.

— Распорядитесь, чтоб его непременно впустили ко мне в спальню. Тише! Вот и мальчик! Ну, мистер Бейли, везите этого джентльмена домой, да смотрите, доставьте в целости. Эй, послушайте! Чезлвит, проснитесь!

Они не без труда подняли его на ноги, свели вниз, нахлобучили ему шляпу на голову и впихнули в карету. Мистер Бейли, захлопнув за ним дверцы, уселся на козлы рядом с кучером и закурил сигару с особенным удовольствием, ибо дело, которое ему поручили, носило характер развлечения, что было ему вполне по вкусу.

Подъехав в положенное время к дому в Сити, мистер Бейли соскочил с козел и проявил живость своей натуры таким стуком в дверь, какого здесь

не слыхивали со времени большого лондонского пожара^[98]. Выйдя на дорогу полюбоваться эффектом этого подвига, он заметил, что тусклый свет, видневшийся раньше в окне верхнего этажа, передвинулся и спускается в нижний этаж. Чтоб узнать, кто несет свечу, мистер Бейли подбежал к двери и заглянул в замочную скважину.

Это была она сама, веселая. Но совсем, совсем не та! Такая озабоченная и угнетенная, такая неуверенная в себе и боязливая, такая унылая, смирившаяся и убитая, что менее поразительно было бы видеть ее лежащей в гробу.

Она поставила свечу на кронштейн в прихожей и приложила руку к сердцу, к глазам, к пылающей голове. Потом пошла к двери, но такой неровной торопливой походкой, что мистер Бейли совсем растерялся и, даже после того как она отперла дверь, продолжал глядеть туда, где надлежало быть замочной скважине.

— Ага! — сказал, наконец, мистер Бейли, сделав над собой усилие. — Вот вы где, да? Что такое с вами? Болеете, что ли?

Она удивилась, узнав его, наконец, в другом платье, и на лице ее появилась улыбка, настолько похожая на прежнюю, что Бейли обрадовался. Но в следующую минуту он опять огорчился, увидев слезы на ее потускневших глазах.

— Не пугайтесь, — сказал Бейли. — Ничего такого не случилось. Я привез мистера Чезлвита домой. Он не болен. Только подвыпил немножко, знаете ли. — Мистер Бейли зашатался, изображая пьяного.

— Вы приехали от миссис Тоджерс? — спросила Мерри, вся дрожа.

— От миссис Тоджерс, господь с вами! Что вы! — воскликнул мистер Бейли. — Я ничего общего с миссис Тоджерс не имею. Давно с ней развязался. Это он обедал у моего хозяина в Вест-Энде. Вы разве не знали, что он к нам поехал?

— Нет, — сказала она слабым голосом.

— Ну, как же. Мы ведь сливки общества, я вам говорю. Не выходите на холод, а то еще простудитесь. Я сам его разбужу! — И мистер Бейли, выражая всей своей повадкой полную уверенность в том, что он, если понадобится, свободно донесет мистера Джонаса, отворил дверцу, спустил подножку и, встряхнув Джонаса, крикнул:

— Домой приехали, мой цветочек! Вылезайте!

Джонас настолько пришел в себя, что в состоянии был отозваться, и вывалился, как мешок, из кареты, не без опасности для жизни мистера Бейли. Когда он очутился на тротуаре, мистер Бейли сперва боднул его головой спереди, потом ловко подпихнул сзади и, приведя таким образом в

равновесие, помог ему войти в дом.

— Ступайте вперед со светом, — сказал Бейли миссис Джонас, — а мы за вами. Не дрожите так. Он вас не тронет. Я сам, когда выпью лишнее, бываю добрый-предобрый.

Мерри пошла вперед, а ее супруг и мистер Бейли, толкая и пихая друг друга, добрались в конце концов до комнаты наверху, где Джонас повалился в кресло.

— Ну вот! — сказал мистер Бейли. — Теперь он в порядке. И о чем тут плакать, господь с вами! Он же здоров, как бык!

Отвратительный скот, в измятом платье, с тупым лицом и растрепанными волосами, долго сидел съежившись, клюя носом и бессмысленно вращая глазами; но, наконец, мало-помалу придя в сознание, он узнал жену и погрозил ей кулаком.

— Ага! — воскликнул мистер Бейли, вдруг заволновавшись и расправляя плечи. — Как, вы еще злитесь? Это еще что? Вы это лучше оставьте!

— Пожалуйста, уйдите! — сказала Мерри. — Бейли, хороший мой мальчик, идите домой. Джонас! — начала она робко, положив руку ему на плечо и наклонившись к нему. — Джонас!

— Полюбуйтесь на нее! — крикнул Джонас, отталкивая жену. — Полюбуйтесь! Полюбуйтесь на нее! Вот сокровище для мужа!

— Милый Джонас!

— Милый дьявол! — ответил он злобно, замахнувшись. — Навязали такую обузу человеку на всю жизнь: только и знай хнычет, плакса! Убирайся с глаз моих долой!

— Я знаю, ты этого не думаешь, Джонас. Трезвый ты не сказал бы этого.

С притворной веселостью она дала Бейли монету и опять попросила его уйти. Она умоляла так настойчиво, что у мальчика не хватило духа остаться. Но, сойдя с лестницы, он остановился и прислушался.

— Трезвый я бы этого не сказал? — возразил Джонас. — Кому и знать, как не тебе. Разве я не говорил того же и трезвый?

— Да, очень часто! — ответила она сквозь слезы.

— Слушай, ты! — крикнул Джонас, топнув ногой. — Было время, ты заставляла меня терпеть твои причуды, а теперь, ей-богу, я тебя заставляю терпеть мои. Я себе дал слово, что заставляю. Для того я и женился на тебе. Узнаешь, кто тут хозяин, а кто слуга!

— Бог видит, я и так слушаюсь! — рыдая, ответила бедняжка. — Я никогда не думала, что мне придется так слушаться!

Джонас, торжествуя, захохотал пьяным смехом.

— Что? Начинаешь понимать наконец? Потерпи, со временем поймешь как следует! У страшилищ бывают когти, милая. За каждую обиду, которую ты мне нанесла, за каждую шутку, которую ты со мной сыграла, за каждую твою дерзость я тебе отплачу сторицей! А то для чего ж я на тебе женился? Эх, ты! — сказал он грубо и презрительно.

Он смягчился бы, право смягчился бы, если б услышал, как она напевает песенку, которая ему когда-то нравилась, от всего сердца стараясь вернуть его любовь.

— Ого! — сказал он. — Оглохла ты, что ли? Не слышишь, а? Тем лучше. Терпеть тебя не могу. И себя ненавижу за то, что был дураком, взвалил себе на спину такую обузу ради удовольствия втоптать ее в грязь, когда вздумается! А теперь дела у меня пошли так, что я мог бы жениться на ком угодно. И то не хочу, лучше быть холостяком. Мне бы и надо остаться холостяком, и приятели у меня такие! А вместо того я прикован к тебе, как к колоде. Ну! Чего ты суешься со своей постной рожей, когда я прихожу домой? Неужто мне и забыть про тебя нельзя?

— Как поздно! — сказала она веселым тоном, отворяя ставни после некоторого молчания. — Белый день на дворе, Джонас!

— Белый день или черная ночь, какое мне дело? — был любезный ответ.

— И как эта ночь прошла быстро! Я вовсе не устала дожидаться, ничуть.

— Попробуй еще раз меня дожидаться, посмей только! — проворчал Джонас.

— Я читала всю ночь, — продолжала она. — Начала, когда ты ушел, и читала, пока ты не вернулся. Очень странная история, Джонас! И правдивая, так говорится в книге. Я расскажу тебе завтра.

— Правдивая, да? — злобно сказал Джонас.

— Так говорится в книге.

— А было там что-нибудь про человека, который решил укротить свою жену, сокрушить ее дух, обуздать ее прав, раздавить все ее капризы, как орехи... может, и убить, почему я знаю? — допытывался Джонас.

— Нет, ни слова, — быстро ответила она.

— Ага! — возразил он. — Вот это так будет правдивая история, и очень скоро, хоть в книге ничего на этот счет не говорится! Врет твоя книга, я вижу. Подходящая книга для такой лгуни. Но ты ведь глуха. Я и забыл.

Опять наступило молчание, и мальчик стал уже уходить, крадучись,

когда услышал ее шаги наверху и остановился. Она подошла к Джонасу, заговорила с ним ласково, сказала, что полагается на него во всем, будет всегда спрашивать его и делать, как он захочет, и что они еще могли бы быть очень счастливы, если б только он был с ней поласковее. Он ответил проклятием и...

Неужели ударом? Да. Пусть суровая правда свидетельствует против подлого негодяя — ударом!

Ни сердитых криков, ни громких упреков. Даже ее плач и рыдания звучали приглушенно, так как она прижалась к нему. Она только твердила в сердечной муке — как он мог, как он... мог! — а остальное заглушили слезы.

О женщина, возлюбленная дочь господня! Лучшим из нас следует быть снисходительным к твоим ошибкам, хотя бы ради той пытки, какую придется тебе терпеть, свидетельствуя против нас в день Страшного суда!

Глава XXIX,

в которой одни держат себя развязно, другие деловито, третьи загадочно — каждый на свой собственный лад.

Быть может, тревожное воспоминание о виденном и слышанном, а быть может, не слишком глубокомысленное открытие; что ему решительно нечего делать, заставило мистера Бейли на следующий день почувствовать особенное тяготение к приятному обществу и побудило его нанести визит своему приятелю Полю Свидлпайпу.

Как только маленький колокольчик шумно возвестил о прибытии гостя (ибо мистер Бейли при входе сильно толкнул дверь, стараясь извлечь из колокольчика возможно больше звона), Поль Свидлпайп оторвался от созерцания любимой совы и сердечно приветствовал своего молодого приятеля.

— Ну, днем ты выглядишь еще нарядней, чем при свечах! — заметил Поль. — Первый раз вижу такого франта и ловкача.

— Вот именно, Полли. Как поживает наша прелестная Сара?

— Да ничего себе, — сказал Поль. — Она дома.

— А ведь и сейчас видать, что была недурна, — заметил мистер Бейли небрежным тоном светского человека.

„Ого! — подумал Поль. — Да он старик! Дряхлый старик, совсем дряхлый“.

— Уж очень расползлась, знаешь ли, — продолжал Бейли, — очень жиру много. Но в ее годы бывает и хуже.

„Даже сова и та глаза вытаращила! — подумал про себя Поль. — И не удивительно, это птица серьезная“.

Он как раз правил бритвы, которые были разложены в ряд, а со стены свешивался гигантский ремень. Глядя на эти приготовления, мистер Бейли погладил подбородок и, как видно, придумал что-то новенькое.

— Полли, — сказал он, — у меня на щеках как будто не совсем чисто. Раз я все равно здесь, не мешало бы побриться, так сказать, навести красоту.

Брадобрей разинул рот, но мистер Бейли, сняв шейный платок, уже уселся в кресло для клиентов с величайшим достоинством и самоуверенностью, перед которыми невозможно было устоять. Что бы ни казалось на глаз и на ощупь, это не шло в счет. Подбородок у Бейли был

гладкий, как свежеснесенное яичко или скобленный голландский сыр, однако Поль Свидлпайп даже под присягой не рискнул бы отрицать, что он бородат, как еврейский раввин.

— Пройдись хорошенько по всей физиономии, Полли, только не против волоса, — сказал мистер Бейли, зажмурившись в ожидании мыльной пены. — С бакенбардами делай что хочешь, мне на них наплевать!

Кроткий маленький брадобрей в комичной нерешительности застыл на месте с тазиком и кисточкой в руках, без конца взбивая мыло, словно околдованный, не в состоянии приступить к делу. Наконец он мазнул кистью по щеке мистера Бейли. Потом снова застыл на месте, словно призрак бороды исчез при этом прикосновении; однако, выслушав ласковое поощрение мистера Бейли в форме афоризма: „Валяй, не стесняйся“, щедро его намылил. Мистер Бейли, очень довольный, улыбался сквозь мыльную пену.

— Полегче на поворотах, Полли. Там, где угри, пройдись на цыпочках.

Поль Свидлпайп повиновался и с особенным старанием соскреб пену. Мистер Бейли, скосясь, следил за каждым новым клочком пены, ложившимся на салфетку на левом его плече; по-видимому, он, словно под микроскопом, различил в мыле два-три волоска, так как повторил несколько раз: „Гораздо рыжей, чем хотелось бы, Полли“. Закончив операцию, Поль отступил немного назад и опять воззрился на мистера Бейли, а тот заметил, вытирая лицо общим полотенцем, что „после бессонной ночи ничто так не освежает мужчину, как бритье“.

Он как раз завязывал галстук, стоя без фрака перед зеркалом, а Поль только что вытер бритву и стал готовиться к приходу следующего клиента, когда миссис Гэмп, спускавшаяся вниз, заглянула в дверь цирюльни, чтобы по-соседски поздороваться с брадобреем. Сочувствуя печальному положению миссис Гэмп, возымевшей к нему симпатию, но, естественно, будучи не в состоянии ответить ей взаимностью, мистер Бейли поспешил утешить ее ласковыми словами.

— Здорово, Сара! — сказал он. — Нечего и спрашивать, как вы поживаете, потому что вы прямо цветете. Цветет, растет, красуется! Верно, Полли?

— Ах ты, прах тебя побери, до чего нахальный мальчишка! — воскликнула миссис Гэмп, впрочем несколько не сердясь. — Этаким бесстыжий воробей! Не хотела бы я быть его мамашей даже и за пятьдесят фунтов!

Мистер Бейли истолковал эти слова как деликатное признание в

нежной страсти и намеков на то, что никакие деньги не вознаградят ее за это безнадежное чувство. Он был польщен. Бескорыстная привязанность всегда кажется лестной.

— О господи! — простонала миссис Гэмп, падая в кресло для клиентов. — Этот самый „Бык“, мистер Свидлпайп, просто на все идет, чтобы уморить меня. Много я видала капризных больных в нашей юдоли, а этот всех переплюнет.

В обычае миссис Гэмп и ее товарок по профессии было отзываться так о самых покладистых больных, потому что этим они отваживали своих конкуренток, зарившихся на то же место, а заодно и объясняли, почему сиделкам так необходим хороший стол.

— Вот и толкуйте насчет здоровья, — продолжала миссис Гэмп. — Просто надо быть железной, чтобы все, что вынести. Миссис Гаррис верно мне говорила, вот только что, на днях: „Ах, Сара Гэмп, говорит, и как только вы это можете!“ — „Миссис Гаррис, — говорю я ей, — сударыня, мы сами на себя нисколько не надеемся, а все больше на бога; это и есть наша вера, она нам и помогает“. — „Да, Сара, — говорит миссис Гаррис, — жизнь наша такая. Как ни верти, а все идет к одному, и никуда от этого не денешься“.

Брадобрей издал сочувственное мычание, как бы говоря, что слова миссис Гаррис, хотя, быть может, и не столь вразумительные, сколь следовало ожидать от такого авторитета, делают, однако, большую честь ее уму и сердцу.

— А тут, — продолжала миссис Гэмп, — а тут приходится мне тащиться в такую даль, за целых двадцать миль, да и больной-то уж очень ненадежный; думаю, вряд ли кому приходилось ухаживать за таким помесечно. Вот миссис Гаррис мне и говорит — ведь она женщина и мать, так что чувствовать тоже может, — вот она и говорит мне: „Вы не поедете, Сара, господь с вами!“ — „Почему же, говорю, мне не ехать, миссис Гаррис? Миссис Гилл, говорю, с шестерыми ни разу не промахнулась, так может ли быть, сударыня, — спрашиваю у вас как у матери, — чтобы она теперь нас подвела? Сколько раз я от него слыхала, — говорю я миссис Гаррис, — то есть, от мистера Гилла, что насчет дня и часа он своей жене больше верит, чем календарю Мура^[99], и готов даже поставить девять пенсов с фартингом. Так может ли быть, сударыня, — говорю я, — чтобы она на этот раз проштрафилась?“ — „Нет, — говорит миссис Гаррис, — нет, сударыня, это уж будет против естества. Только, — говорит, а у самой слезы на глазах, — вы и сами лучше моего знаете, с вашим-то опытом, какие пустяки нас могут подвести. Какой-нибудь там полушинель, говорит,

или трубочист, или сенбернар, или пьяный выскочит из-за угла, вот вам и готово“. Все может быть, мистер Свидлпайп, слов нет, — продолжала миссис Гэмп, — я ничего не говорю, и хоть по моей записной книжке я еще целую неделю свободна, а все-таки сердце у меня не на месте, могу вас уверить, сударь.

— Уж очень вы стараетесь, знаете ли! — сказал Поль. — Убиваетесь уж очень.

— Убиваюсь! — воскликнула миссис Гэмп, воздевая руки кверху и закатывая глаза. — Вот уж ваша правда, сударь, лучше не скажешь, хоть говори до второго пришествия. Я за других болею пуще, чем за себя самое, хотя никто этого, может, и не видит. Кабы истинные заслуги ценились, не мешало бы меня помянуть добрым словом; сколько я младенцев на своем веку приняла — и за неделю не окрестить в соборе святого Павла!^[100]

— Куда этот ваш больной едет? — спросил Свидлпайп.

— В Хартфордшир, там у него родные места. Только ему уж ничего не поможет, — заметила миссис Гэмп, — ни родные, ни чужие.

— Неужто ему так плохо? — любопытствовал брадобрей.

Миссис Гэмп загадочно покачала головой и поджала губы.

— Бывает и в мозгах воспаление, — сказала она, — все равно как в легких. Сколько ни пей противных микстур, от этого не вылечишься, хоть бы тебя всего расперло и на воздух подняло.

— Ах ты господи! — сказал брадобрей, округляя глаза и становясь похожим на ворона. — Боже мой!

— Да. Все равно хоть бы ты стал легче воздушного шара, — сказала миссис Гэмп. — А вот болтать во сне о некоторых вещах, когда в голове у тебя неладно, от этого никому не поздоровится.

— О каких же это некоторых вещах? — спросил Полли, от любопытства жадно грызя ногти. — О привидениях, что ли?

Миссис Гэмп, которая зашла, быть может, гораздо дальше, чем намеревалась, подстегиваемая настойчивым любопытством брадобрея, необыкновенно многозначительно фыркнула и сказала, что это совершенно не важно.

— Я уезжаю с моим пациентом в дилижансе нынче после обеда, — продолжала она, — пробуду с ним денек-другой, пока найдется для него деревенская сиделка (провалиться этим деревенским сиделкам, много такие растрепы смыслят в нашем деле!), а потом вернусь, — вот из-за этого я и беспокоюсь, мистер Свидлпайп. Думаю все-таки, что без меня ничего особенного не случится, а уж там, как говорит миссис Гаррис, миссис Гилл может выбрать какое угодно время; мне совершенно все равно, — что днем,

что ночью.

Пока длился этот монолог, который миссис Гэмп адресовала исключительно брадобрею, мистер Бейли завязывал галстук, надевал фрак и корчил самому себе рожи, глядясь в зеркало. Но теперь миссис Гэмп обратилась к нему, что заставило его повернуться и принять участие в разговоре.

— Я думаю, вы не были в Сити, сударь, то есть у мистера Чезлвита, — спросила миссис Гэмп, — после того как мы с вами там повстречались?

— Как же, был, Сара. Нынче ночью.

— Нынче ночью! — воскликнул брадобрей.

— Да, Полли, вот именно. Можешь даже сказать — нынче утром, если тебе охота придирается к слову. Он у нас обедал.

— У кого это „у нас“, озорник? — спросила миссис Гэмп весьма сердито напирая на эти слова.

— У нас с хозяином, Сара. Он обедал у нас в доме. Подвыпили мы здорово, Сара. До того даже, что пришлось мне везти его домой в наемной карете в три часа утра. — Язык у Бейли чесался рассказать все, что за этим последовало, но, зная, что это легко могло дойти до ушей его хозяина, а также памятуя неоднократные наказания мистера Кримпла „не болтать“, он воздержался, прибавив только: — Она так и не ложилась, все ждала его.

— А ведь ежели сообразить как следует, — сердито заметила миссис Гэмп, — так она должна бы знать, что ей ничего подобного делать нельзя, к чему же она себя переутомляет? Ну как они, милый, ласковы друг с другом?

— Да ничего, — ответил Бейли, — довольно-таки ласковы.

— Приятно слышать, — сказала миссис Гэмп, опять многозначительно фыркая.

— Они еще не так давно женаты, — заметил Поль, потирая руки, — с чего же им не быть ласковыми пока что.

— Само собой, — произнесла миссис Гэмп, в третий раз подавая многозначительный сигнал.

— Особенно, — продолжал брадобрей, — ежели у джентльмена такой характер, как вы говорите, миссис Гэмп.

— Я говорю, что вижу, мистер Свидлпайп, — сказала миссис Гэмп. — Боже сохрани, чтобы оно было иначе! Только ведь чужая душа потемки; кабы там были стеклянные окна, пришлось бы некоторым из нас держать ставни закрытыми, смею вас уверить!

— Но ведь вы не хотите сказать... — начал Поль Свидлпайп.

— Нет, не хочу, — резко оборвала его миссис Гэмп. — И не думаю

даже. И никакая инквизиция, никакие там испанские сапоги ^[101] не заставят меня сознаться, будто я думала. Я только одно скажу, — прибавила добрая женщина, вставая и закутываясь в шаль, — что в „Быке“ меня ждут, так нечего терять драгоценное время.

Маленький брадобрей, в своем неудержимом любопытстве возымевший сильное желание увидеть пациента миссис Гэмп, предложил мистеру Бейли проводить ее до гостиницы и дожидаться там отправления дилижанса. Молодой джентльмен выразил на это свое согласие, и они отправились все вместе.

Дойдя до гостиницы, миссис Гэмп, которая была облачена для дороги в последнее по счету траурное платье, предоставила своим друзьям развлекаться во дворе, а сама поднялась в комнату больного, где ее товарка по профессии, миссис Приг, уже одевала пациента.

Он был так истощен, что, казалось, стоит только ему двинуться с места, и кости загремят друг о дружку. Щеки у него ввалились, глаза были неестественно велики. Он лежал, откинувшись на спинку кресла, больше похожий на мертвеца, чем на живого человека, и при появлении миссис Гэмп обратил к двери свои томные глаза с таким усилием, как будто одно это движение стоило ему невероятного труда.

— Ну, как мы себя нынче чувствуем? — спросила миссис Гэмп. — Выглядим-то мы просто чудесно.

— Выглядим чудесно, а чувствуем себя неважно, — отвечала миссис Приг довольно сердито. — Встали, должно быть, с левой ноги, вот теперь и злимся на всех. Первый раз такого больного вижу. И умыться-то не стал бы ни за что, будь его воля.

— Она мне мыла в рот напихала. — сказал несчастный пациент слабым голосом.

— А вы чего ж не закрываете рот? — отвечала миссис Приг. — Кто же это станет вам умыть сначала одно, потом другое? Охота была глаза себе портить, возиться со всякой мелочью за полкроны в день! Хотите, чтоб с вами нянчились, так платили бы как следует.

— О боже мой! — простонал пациент. — Боже мой, боже мой!

— Ну вот, — сказала миссис Приг, — вот так он себя и ведет все время, с тех пор как я его подняла с постели, можете мне поверить.

— Это вместо благодарности за все наши заботы, — отозвалась миссис Гэмп. — Постыдились бы, сударь, право, постыдились бы!

Тут миссис Приг схватила пациента за подбородок и принялась драть щеткой его злополучную голову.

— Небось вам и это не понравится! — заметила миссис Приг,

останавливаясь, чтобы поглядеть на больного.

Очень возможно, что ему это действительно не понравилось, потому что щетка была так жестка, как только может быть жестко произведение современной техники, и даже веки у больного покраснели от трения. Миссис Приг была очень довольна, что ее предположение оправдалось, и заметила, что она „так и думала“.

Причесав волосы так, чтобы они по возможности больше лезли больному в глаза, миссис Приг и миссис Гэмп надели ему шейный платок, пристроив воротнички таким образом, чтобы накрахмаленные углы тоже лезли в глаза, угрожая им воспалением. После этого на пациента надели жилет и сюртук, и так как пуговицы были застегнуты не на те петли, а башмаки надеты не на ту ногу, он, в общем, производил довольно грустное впечатление.

— По-моему, что-то не ладно, — сказал несчастный, совсем обессилив. — Я чувствую себя так, словно на мне чужое платье. Меня скривило на сторону, и одна нога как будто короче другой. А в кармане у меня бутылка. Зачем вы посадили меня на бутылку?

— Черт бы его взял! — воскликнула миссис Гэмп, вытаскивая бутылку. — Бутылка-то моя ведь оказалась у него. Я себе устроила вроде как бы шкафчик из его сюртука, когда он висел за дверью, да и позабыла совсем. Бетси, в другом кармане у него вы найдете пару луковиц, чай и сахар. Будьте так добры, выньте все оттуда.

Бетси достала вышеупомянутую собственность и еще кое-что из бакалеи, и миссис Гэмп переложила все это к себе в карман, представлявший собою нечто вроде нанковой сумки для провизии. Тут им принесли подкрепление в виде отбивных котлет и крепкого эля для дам и чашки мясного бульона для пациента, и не успели они управиться с едой, как явился Джон Уэстлок.

— Вы уже встали и оделись! — воскликнул Джон, садясь рядом с больным. — Вот это молодец! Как вы себя чувствуете?

— Гораздо лучше. Но еще очень слаб.

— Оно и не удивительно. Вам пришлось выдержать чрезвычайно тяжелый приступ болезни. Деревенский воздух и перемена места, — сказал Джон, — сделают вас совсем другим человеком. Ну, миссис Гэмп, — с улыбкой прибавил он, заботливо поправляя костюм больного, — странные же у вас понятия о том, как одеваются джентльмены.

— Мистер Льюсом не такой джентльмен, чтобы его было легко одеть, сударь, — с достоинством ответила миссис Гэмп, — это мы с Бетси Приг можем засвидетельствовать хоть перед лорд-мэром и перед всем светом,

ежели понадобится!

В эту минуту Джон, подойдя к больному, старался избавить его от вышеописанной пытки воротничками, и, воспользовавшись этим, тот произнес шепотом:

— Мистер Уэстлок! Я не хочу, чтобы меня подслушали. Мне нужно сказать вам нечто очень важное, что немало вас поразит; то, что лежало страшной тяжестью на моей душе всю эту долгую болезнь!

Быстрый во всех своих движениях, Джон уже обернулся к сиделкам, чтобы попросить их выйти из комнаты, но тут больной удержал его за рукав:

— Не теперь. У меня не хватит сил. У меня не хватит мужества. Можно ли мне сказать это тогда, когда я окрепну? Можно ли написать вам? Для меня это удобнее и легче.

— Можно ли? — воскликнул Джон. — Да что же это такое, Льюсом?

— Не спрашивайте меня ни о чем. Это бесчеловечное, жестокое дело. Страшно думать о нем. Страшно говорить. Страшно о нем знать. Страшно вспоминать, что помогал ему. Дайте мне поцеловать вашу руку за всю вашу доброту ко мне. Будьте еще добрее и не спрашивайте ни о чем.

Сначала Джон только смотрел на больного в величайшем изумлении, но, вспомнив, как сильно тот ослабел и как совсем еще недавно голова у него горела огнем от лихорадки, решил, что он находится во власти воображаемых страхов и болезненной фантазии. Чтобы разузнать об этом получше, он отвел миссис Гэмп в сторону, воспользовавшись удобным случаем, куда Бетси Приг закутывала больного в плащи и шали, и спросил, вполне ли он в здравом уме.

— Господь с вами, нет! — отвечала миссис Гэмп. — И посейчас терпеть не может своих сиделок. Больные и всегда так, сэр. Это самая верная примета. Слышали бы вы, как он придирался к нам с Бетси всего полчаса тому назад, сами подивились бы, как это мы до сих пор еще живы.

Это почти подтвердило подозрения Джона; он не придавал словам больного серьезного значения и, вернувшись к обычной своей жизнерадостности, с помощью миссис Гэмп и Бетси Приг повел больного вниз по лестнице к дилижансу, который был уже готов тронуться в путь.

Поль Свидлпайп стоял в дверях, крепко сжав скрещенные на груди руки и вытаращив глаза, и с большим интересом глядел на больного, который, еле двигаясь, садился в карету. Его исхудалые руки и изможденное лицо произвели сильное впечатление на Поля, и он сообщил мистеру Бейли, что ни за фунт стерлингов не пропустил бы этого зрелища. Мистер Бейли, будучи человеком совершенно иного темперамента,

заметил, что и за пять шиллингов остался бы дома.

Пристроить багаж миссис Гэмп таким образом, чтобы она была довольна, оказалось весьма хлопотливым делом. ибо каждый узел, принадлежавший этой особе, обладал очень неприятным свойством, а именно: требовал, чтобы его укладывали в ящик отдельно от всякого другого багажа, иначе миссис Гэмп грозилась подать в суд и взыскать убытки с владельцев дилижанса. Особенно трудно было пристроить зонтик с круглой заплаткой, и его помятый медный наконечник не раз высовывался из разных углов и щелей, приводя в ужас всех остальных пассажиров. И в самом деле, миссис Гэмп за эти пять минут так часто перекладывала зонтик с одного места на другое, усиленно хлопоча найти для него уголок, что казалось, будто это не один зонтик, а целых пятьдесят. В конце концов он потерялся, или ей так почудилось, и на целые пять минут она сцепилась с кучером, как тот ни увертывался, требуя, чтобы он „возместил ей убытки“, а не то она и до палаты общин дойдет.

Наконец ее узел, ее деревянные башмаки, ее корзина и все прочее имущество были уложены, и она дружески простилась с Полем и мистером Бейли, присела Джону Уэстлоку, а с Бетси Приг рассталась, как с любимой сестрой по ремеслу.

— Желаю вам побольше болезней, дорогая вы моя, — говорила миссис Гэмп, — и хороших мест! Авось и оглянуться не успеем, как будем опять работать вместе; приятно было бы нам с вами встретиться в какой-нибудь большой семье, чтобы все заражались один от другого и болели по очереди, да не как-нибудь, а всерьез.

— Мне не к спеху, все равно когда это будет, — сказала миссис Приг, — и сколько протянется.

Миссис Гэмп, собираясь ответить ей в том же духе, пятилась к дилижансу, как вдруг наткнулась на джентльмена и леди, проходивших по тротуару.

— Осторожней, осторожней! — воскликнул джентльмен. — Здравствуйте! Душенька! Ведь это миссис Грэмп!

— Как, мистер Моулд! — воскликнула сиделка. — И миссис Моулд тоже! Кто бы мог подумать, что мы с вами здесь встретимся, вот уж, право!

— Уезжаете за город, миссис Гэмп? — спросил мистер Моулд. — Редкий случай, не правда ли?

— Редкий-то редкий, сэр, — сказала миссис Гэмп. — Да только всего на день, на два, не больше. Тот самый джентльмен, что я вам говорила, — шепнула она.

— Как, в этой карете?! — воскликнул Моулд. — Тот самый, которого

вы хотели рекомендовать! Удивительное дело. Милая, это тебе будет интересно. Миссис Гэмп думала, что этот джентльмен подойдет для нас, вот он, сидит в карете, душа моя.

Миссис Моулд очень заинтересовалась.

— Да, дорогая моя. Можешь стать на эту ступеньку, — говорил Моулд, — и взглянуть на него. Ага! Вот он. Где мои очки? Так! Все в порядке, нашел. Видишь ты его, милая?

— Как на ладони, — сказала миссис Моулд.

— Ну, знаешь ли, клянусь жизнью, это совсем особый случай, — говорил Моулд в полном восторге. — Это такого рода случай, душа моя, что я ни за что не хотел бы упустить его. Очень приятно. Очень интересно. Вроде как в театре, знаешь ли. Ага! Вот он. Ну да. Плохо выглядит, миссис Моулд, не правда ли?

Миссис Моулд согласилась с ним.

— А может, он еще от нас не уйдет в конце концов? — сказал Моулд. — Почему знать. Право, мне кажется, я должен оказать ему внимание. Он мне как будто не совсем чужой. Мне очень хочется снять шляпу, душа моя.

— Он смотрит в нашу сторону, — сказала миссис Моулд.

— Тогда я сниму! — воскликнул Моулд. — Как поживаете, сэр? Позвольте пожелать вам всего лучшего, Ага! Он тоже кланяется. Очень порядочный человек. Карточки у миссис Гэмп в кармане, наверное. Совсем особый случай, душа моя, и очень приятный. Я не суеверен, но, право, кажется, будто нам суждено оказать ему те грустные знаки внимания, какие полагается оказывать по нашей специальности. Не может быть никаких возражений, если ты пошлешь ему воздушный поцелуй, душа моя.

Миссис Моулд послала ему воздушный поцелуй. — Ага! — сказал мистер Моулд. — Видно, что он доволен. Бедняга! Я очень рад, что ты это сделала, душенька. Прощайте, миссис Гэмп! — помахал он рукой. — Вон он покатил, вон покатил!

Он действительно покатил, так как дилижанс тронулся в эту минуту. Мистер и миссис Моулд в самом лучшем расположении духа продолжали свою прогулку. Мистер Бейли при первой возможности удалился вместе с Полем Свидлпайпом; однако ему не сразу удалось увести приятеля, благодаря сильному впечатлению, произведенному на брадобрея почтенной миссис Приг, которую он, в восторге от ее бороды, назвал бесподобной женщиной.

Когда легкое облачко суеты, окружавшее карету, постепенно рассеялось, в самом темном углу кофейни стал виден Неджет, задумчиво

поглядывавший на часы, как будто человек, который никогда не держал слова, опять немного запаздывал.

Глава XXX

доказывает, что водить друг друга за нос принято в самых порядочных семействах и что мистер Пексниф был великий мастер играть в кошки-мышки.

Как хирургу после операции надлежит первым делом позаботиться о том, чтобы соединить артерии, рассеченные острым скальпелем, так и этому повествованию, безжалостно отсекающему от древа Пекснифов его лучшую ветвь — Мерри, надлежит вернуться к родительскому стволу и посмотреть, как обходятся без нее остальные ветви этого древа.

Прежде всего следует сказать о мистере Пекснифе, что, подыскав своей младшей дочери неоценимое сокровище в лице снисходительного и любящего мужа и осуществив таким счастливым устройством ее жизни самое заветное желание родительского сердца, он возродился к юности, расправил крылья своей непорочной души и почувствовал, что способен лететь куда угодно. У отцов на театральных подмостках имеется обыкновение, выдав дочь за избранника ее сердца, поздравлять себя с тем, что им больше ничего не остается делать, как только поскорее умереть, хотя редко приходится видеть, чтобы они с этим спешили. Мистер Пексниф, будучи отцом более разумного и практического склада, наоборот, полагал, что ему надо пользоваться жизнью и, лишив себя одного утешения, заменить его другими.

Но как бы игриво и весело ни был настроен добродетельный Пексниф, как бы ни был он расположен играть, веселиться и, так сказать, резвиться, наподобие котенка, в садах архитектурной фантазии, он постоянно натывался на одно препятствие. Кроткая Черри, глубоко оскорбленная и уязвленная обидой, которая отнюдь не смягчилась и не забылась со временем, а наоборот, все пуще растравляла и терзала ей сердце, — кроткая Черри открыто восстала против мистера Пекснифа. Она всю воевала со своим милым папой и устроила ему то, что, за отсутствием лучшей метафоры, называется собачьей жизнью. Но ни одной собаке в конуре, на конюшне или в доме не жилось до такой степени скверно, как мистеру Пекснифу с его кроткой дочерью.

Отец с дочерью сидели за завтраком. Том Пинч уже ушел, и они остались вдвоем. Мистер Пексниф сначала все хмурился, но потом, разгладив морщины на лбу, украдкой покосился на дочь. Нос у нее сильно

покраснел и вздернулся кверху в знак полной готовности к войне.

— Черри, — взмолился мистер Пексниф, — что такое произошло между нами? Дитя мое, для чего нам чуждаться друг друга?

Ответ мисс Пексниф отнюдь не вязался с таким чувствительным вопросом, потому что она сказала всего-навсего:

— Да отстаньте вы, папа!

— Отстаньте? — повторил мистер Пексниф с болью в голосе.

— Да, теперь уже поздно со мной так разговаривать, — равнодушно отвечала ему дочь. — Я знаю, что это значит и чего это стоит.

— Тяжело! — воскликнул мистер Пексниф, обращаясь к своей чайной чашке. — Это очень тяжело! Она — мое дитя. Я качал ее на руках, когда она еще носила мягкие вязанные башмачки, можно даже сказать рукавички, много лет тому назад!

— Нечего надо мной насмехаться, — отвечала Черри, глядя на него со злостью. — Я вовсе не настолько старше сестры, хотя она и успела выскочить замуж за вашего приятеля!

— Ах, человеческая натура, человеческая натура! Злосчастная человеческая натура! — произнес мистер Пексниф, укоризненно качая головой по адресу человечества, будто сам не имел к нему никакого отношения. — Подумать только, что все эти нелады начались по такому поводу! О боже мой, боже мой!

— Да, вот именно, по такому! — закричала Черри. — Скажите настоящую причину, папа, а не то я сама скажу! Смотрите, скажу!

Быть может, энергия, с какой она это произнесла, подействовала заразительно. Как бы то ни было, мистер Пексниф изменил тон разговора и выражение лица на гневное, если не прямо яростное, и ответил:

— Скажешь! Ты уже сказала. Не дальше как вчера. Да и каждый день то же самое. Ты не умеешь сдерживаться; ты не скрываешь своего дурного нрава; ты сотни раз выдавала себя перед мистером Чезлвитом!

— Себя! — воскликнула Черри, злобно усмехаясь. — Действительно! Мне-то какое дело!

— Ну, и меня тоже! — сказал мистер Пексниф. Дочь ответила ему презрительным смехом.

— И если уж у нас дошло до объяснения, Чарити, — произнес мистер Пексниф, грозно качая головой, — разреши мне сказать, что я этого не допущу. Оставьте ваши капризы, сударыня! Я этого больше не позволю.

— Я буду делать что хочу, — ответила Чарити, раскачиваясь на стуле взад и вперед и повышая голос до пронзительного визга, — буду делать что хочу и что всегда делала. Я не потерплю, чтобы мной помыкали, можете

быть уверены. Со мной так обращались, как никогда и ни с кем на свете, — тут она ударилась в слезы, — а от вас, пожалуй, дождешься обращения и похуже, я знаю. Только мне это все равно. Да, все равно!

Мистер Пексниф пришел в такую ярость от ее громкого крика, что, растерянно оглядевшись по сторонам в поисках какого-нибудь средства унять дочь, вскочил с места и начал трясти ее так, что декоративное сооружение из волос у нее на макушке заколыхалось, как страусовое перо. Она была настолько ошеломлена этим нападением, что сразу утихла, и желаемый результат был достигнут.

— Ты у меня дождешься! — восклицал мистер Пексниф, снова садясь на место и переводя дыхание. — Посмей только разговаривать громко! Кто это с тобой плохо обращается, что ты этим хочешь сказать? Если мистер Чезлвит предпочел тебе твою сестру, то кто же тут виноват, хотел бы я знать? Что я тут мог поделаться?

— А разве я не была ширмой? Разве моими чувствами не играли? Разве он не за мной ухаживал сначала? — рыдала Черри, сжимая руки. — А теперь вот я дожила до того, что меня трясут. Господи, господи!

— И опять будут трясти, — пригрозил ее родитель, — если ты заставишь меня этим способом соблюдать приличия в моем скромном жилище. Но ты меня удивляешь. Мне странно, что у тебя оказалось так мало характера. Если мистер Джонас не питал к тебе никаких чувств, зачем он тебе понадобился?

— Он мне понадобился! — воскликнула Черри. — Он мне понадобился! Что вы, папа, в самом деле?

— Так из-за чего весь этот крик, — возразил отец, — если он тебе не нужен?

— Из-за того, что он вел себя двулично, — сказала Черри, — из-за того, что моя родная сестра и мой родной отец сговорились против меня. Я на нее не сержусь, — продолжала Черри, по-видимому рассердясь пуще прежнего. — Я ее жалею. Мне за нее больно. Я знаю, какая судьба ее ждет с этим негодяем.

— Ну, я думаю, мистер Джонас как-нибудь стерпит, что ты зовешь его негодяем, — сказал мистер Пексниф, возвращаясь к прежней кротости, — а впрочем, зови его как хочешь, только положи этому конец.

— Нет, не конец, папа, — отвечала Чарити. — Нет, не конец! Мы ведь не только в этом одном не согласны. Я ни за что не покорюсь. Так и знайте. Лучше вам наперед это знать. Нет, нет, нет, ни за что не покорюсь! Я не круглая дура и не слепая. Одно могу вам сказать: я не покорюсь, вот и все!

Что бы ни подразумевалось под этим, теперь дочь потрясла мистера

Пекспифа, ибо, несмотря на все попытки казаться спокойным, вид у него был весьма плачевный. Гнев он сменил на кротость и заговорил мягким, заискивающим тоном.

— Душа моя, — сказал он, — если, выйдя из себя в сердитую минуту, я и прибегнул к непозволительному средству, чтобы подавить маленькую вспышку, которая была оскорбительна для тебя не меньше, чем для меня. — возможно, что я это сделал, вполне возможно, — то я прошу у тебя прощения. Отец просит прощения у своего дитяти! — воскликнул мистер Пексниф. — Я полагаю, такое зрелище может смягчить самое ожесточенное сердце.

Однако оно несколько не смягчило мисс Пексниф, — Быть может потому, что ее сердце было недостаточно ожесточено. Наоборот, она стояла на своем и твердила без конца, что она не круглая дура, и не слепая, и не покорится ни за что!

— Это какое-то недоразумение, дитя мое, — сказал мистер Пексниф, — но я не стану тебя спрашивать, в чем оно заключается; я не желаю, этого знать. Нет, нет, прошу тебя! — добавил он, простирая руку вперед и краснея. — Не будем касаться этой темы, душа моя, какова бы она ни была!

— Так и надо, нам ее не стоит касаться, — отвечала Черри. — Только я желаю, чтобы она меня совершенно не касалась, а потому, прошу вас, найдите мне другой дом.

Мистер Пексниф обвел глазами комнату и воскликнул:

— Другой дом, дитя мое?

— Да, другой дом, папа, — сказала Чарити с величием королевы. — Поместите меня у миссис Тоджерс или еще где-нибудь, чтобы я жила независимо, а здесь я ни за что не останусь, если уж до того дошло.

Возможно, что пансион миссис Тоджерс рисовался воображению Чарити толпой восторженных поклонников, стремящихся пасть к ее ногам. Возможно, что мистер Пексниф, только что возвратившийся к юности, видел в том же заведении легчайшее средство свалить с себя обузу, неприятную как дурным характером, так и склонностью вечно подсматривать. Бесспорно, однако, что в настороженных ушах мистера Пекспифа это предложение прозвучало отнюдь не похоронным звоном для всех его надежд.

Но это был человек мягкосердечный и чувствительный, а потому он прижал платок к глазам обеими руками, как всегда делают такие люди, особенно если за ними наблюдают.

— Одна из моих пташек, — произнес он, — оставила меня и

приютилась на груди чужого, а другая хочет лететь к миссис Тоджерс! Да что я такое? Вот именно, я не знаю, что я такое! Ну и пусть!

Но даже и это замечание, хотя оно вышло еще чувствительнее, оттого что он всхлипнул на середине фразы, нисколько не подействовало на Чарити. Она оставалась по-прежнему сурова, мрачна и непреклонна.

— Однако я всегда, — продолжал мистер Пексниф, — жертвовал счастьем моих детей ради моего счастья, то есть наоборот: моим счастьем ради счастья моих детей, — и сейчас не изменю своим правилам. Если тебе будет лучше в доме миссис Тоджерс, чем в доме твоего отца, душа моя, поезжай к миссис Тоджерс! Не думай обо мне, — моя девочка! — произнес мистер Пексниф с чувством. — Я, конечно, проживу как-нибудь и без тебя. Мисс Чарити, которая знала, что он втайне радуется предполагаемой перемене, скрыла свою собственную радость и сразу же начала торговаться из-за условий. Сначала ее родитель был до такой степени далек от щедрости, что едва не возникло еще одно разногласие, возможно грозившее новой встряской; однако оба они все-таки столковались, хоть и не сразу, и гроза пронеслась мимо. И в самом деле, план мисс Чарити был так удобен для них обоих, что странно было не прийти к полюбовному соглашению. Отец и дочь довольно скоро уговорились испробовать этот план на практике, не откладывая в долгий ящик. Уговорились также, что Чарити по слабости здоровья нуждается в перемене обстановки и желает быть поближе к сестре, — эти доводы должны были послужить оправданием ее отъезда в глазах Мэри и мистера Чезлвита, которым она последнее время упорно жаловалась на нездоровье. Условившись на этот счет, мистер Пексниф преподал дочери свое благословение со всем достоинством человеколюбца, который только что принес большую жертву и утешается мыслью, что добродетель заключает награду в самой себе. Таким образом, они примирились впервые после того злосчастного вечера, когда мистер Джонас отверг старшую сестру, признавшись, что питает страсть к младшей, а мистер Пексниф содействовал ему из высоконравственных побуждений.

Но, во имя всех семи чудес света, как же это случилось, каковы бы они ни были и в чем бы ни заключались, и во имя этого нового прибавления к их семейству, — как же случилось, что мистер Пексниф и его старшая дочь решились расстаться? Как же случилось, что их взаимные отношения изменились до такой степени? Зачем понадобилось мисс Пексниф объяснять с таким криком, что она не слепая и не дура и что она этого не потерпит? Быть того не может, чтобы мистер Пексниф задумал жениться снова и чтобы дочь разгадала его тайные намерения со всей

проницательностью старой девы.

Давайте посмотрим, в чем дело.

Мистер Пексниф, как человек незапятнанной репутации, с которого дыхание клеветы сходило бесследно, как обыкновенное дыхание сходит с зеркала, мог позволить себе то, чего простые смертные себе позволить не могут. Он знал чистоту собственных побуждений, и поэтому, если у него являлось какое-нибудь намерение, он добивался своей цели настойчиво, как это может делать только самый добродетельный (или самый безнравственный) человек. Имелись ли у него какие-нибудь основательные и солидные побуждения взять вторую жену? Да, имелись, и не одно или два, а целый ворох всяких побуждений.

Со старым Мартином Чезлвитом постепенно произошла значительная перемена. Еще в тот вечер, когда он так не вовремя явился в дом мистера Пекснифа, он держал себя сравнительно покорно и уступчиво. Мистер Пексниф приписал тогда эту перемену влиянию, которое оказала на старика смерть брата. Но с того самого часа его характер, казалось, продолжал постепенно и непрерывно меняться, и с некоторых пор в нем стало заметно какое-то вялое равнодушие почти ко всем, кроме мистера Пекснифа. С виду старик был тот же, что и всегда, но духовно он изменился до неузнаваемости. Не то чтобы та или другая страсть в нем вспыхнула ярче или потускнела, но весь человек словно поблек. Исчезала одна какая-нибудь черта, но другая не являлась занять ее место. И чувства его тоже притупились. Он стал хуже видеть, по временам страдал глухотой, почти не замечал того, что происходит вокруг, а иногда погружался на целые дни в глубокое молчание. Перемена в нем происходила так незаметно, что совершилась прежде, чем на нее успели обратить внимание. Однако мистер Пексниф подметил ее первым, и так как образ Энтони Чезлвита был еще свеж в его памяти, то и в брате его Мартине он видел то же старческое одряхление.

Джентльмену с чувствительностью мистера Пекснифа такое зрелище представлялось весьма печальным. Он не мог не предвидеть возможности, что его уважаемый родственник станет жертвой интриганов, а все его богатства попадут в недостойные руки. Ему это было до такой степени прискорбно, что он решил закрепить будущее наследство за собой, держать недостойных претендентов на почтительном расстоянии и не подпускать к старику никого, оставив его, так сказать, для собственного употребления. Понемножку он стал нащупывать, есть ли какая-нибудь возможность сделать мистера Чезлвита своим послушным орудием, и, обнаружив, что такая возможность имеется и что его ловкие руки действительно могут

лепить из старика все что угодно, он — добрая душа! — поставил себе целью упрочить свою власть над ним; а так как каждая небольшая проверка по этой части сопровождалась успехом превыше ожиданий, то мистеру Пекснифу начинало уже казаться, что денежки старика Мартина позвякивают в его собственных добродетельных карманах.

Но всякий раз, как мистер Пексниф размышлял об этом предмете (а размышлял он, по своему усердию, довольно часто) и вспоминал, умиляясь сердцем, о том стечении обстоятельств, которое выдало старика ему в руки и привело к посрамлению порока и торжеству добродетели, он всегда чувствовал, что Мэри Грейм стоит ему поперек дороги. Что бы ни говорил старик, мистер Пексниф отлично видел, как сильно он к ней привязан. Он видел, что это чувство проявляется в тысяче пустяков, что старик не любит отпускать от себя Мэри и беспокоится, если она уходит надолго. Чтобы он действительно дал клятву не оставлять ей ничего по завещанию, в этом мистер Пексниф сильно сомневался. Даже если он и дал такую клятву, мистеру Пекснифу было известно, что много существует путей обойти это обстоятельство и успокоить свою совесть. Что непристроенность Мэри лежала тяжким бременем на душе старого Чезлвита, он тоже знал, ибо тот, не скрываясь, говорил ему об этом. „А что, если б я на ней женился, — загадывал мистер Пексниф, — если бы, — повторял он, ероша волосы и поглядывая на свой бюст работы Спокера, — если бы, уверившись наперед, что он это одобряет, — ведь бедняга совсем выжил из ума, — я бы взял да и женился на ней!“

Мистер Пексниф весьма живо чувствовал красоту, особенно в женщинах. Его манера обращаться с прекрасным полом была замечательна своей вкрадчивостью. В другой главе этого романа рассказано, как он по малейшему поводу норовил обнять миссис Тоджерс; такая уж была у него привычка, она, конечно, составляла одну из сторон его мягкого и деликатного характера. Еще до того, как мысль о супружестве зародилась в его уме, он стал оказывать Мэри маленькие знаки платонического внимания. Их принимали с негодованием, но это его не смущало. Правда, едва только эта мысль укрепилась в нем, знаки внимания стали слишком пылкими, чтобы ускользнуть от зорких глаз Чарити, которая сразу разгадала замысел своего папаши, однако он и раньше не оставался равнодушен к очарованию Мэри. Так Выгода и Склонность, впрягшись парой в колесницу мистера Пекснифа, влекли его к намеченной цели.

Никто не мог заподозрить мистера Пекснифа в том, что он намерен отомстить молодому Мартину за его дерзкие слова при расставанье или отнять у него всякую надежду на примирение с дедом, ибо для этого

мистер Пексниф был слишком мягок и незлопамятен. Что касается возможного отказа со стороны Мэри, мистер Пексниф, зная ее положение, был вполне уверен, что ей не устоять, если они с мистером Чезлвитом примутся за нее вдвоем. Что же касается того, чтобы справиться наперед с ее сердечными склонностями, то в моральном кодексе мистера Пекснифа такой статьи вообще не значилось, ибо ему было известно, что он прекрасный человек и может осчастливить любую девушку. И так как теперь благодаря Чарити лед между отцом и дочерью был сломан и никаких тайн друг от друга у них больше не было, мистеру Пекснифу оставалось только добиваться своей цели, пустив в ход всю свою ловкость и хитрые приемы.

— Ну, дорогой мой сэр, — сказал мистер Пексниф, встретившись с Мартином в той аллее, которую старик облюбовал для своих прогулок, — как чувствует себя мой дорогой друг в это восхитительное утро? — Вы это про меня? — спросил мистер Чезлвит. — Ага! — заметил мистер Пексниф. — Нынче он опять плохо слышит, я вижу. Про кого же другого, дорогой мой сэр? — Вы могли спросить про Мэри, — сказал старик.

— Да, действительно. Совершенно верно. Надеюсь, я мог бы спросить о ней, как о самом дорогом друге? — заметил мистер Пексниф.

— Надеюсь, что так, — отвечал старый Мартин. — Я думаю, она этого заслуживает.

— Думаете! — воскликнул Пексниф. — Думаете, мистер Чезлвит!

— Вы что-то говорите, — ответил Мартин, — но я не разбираю слов. Нельзя ли погромче!

— Становится глух, как пень, — сказал Пексниф. — Я говорил, мой дорогой сэр, что боюсь, как бы мне не пришлось расстаться с Черри.

— А что она такого сделала? — спросил старик.

— Спрашивает какие-то глупости, — пробормотал мистер Пексниф. — Совсем нынче впал в детство. — После чего он деликатно проревел: — Она ничего решительно не сделала, мой дорогой друг!

— Так зачем же вам с ней расставаться? — спросил Мартин.

— Здоровье у нее стало уже не то, совсем не то, — сказал мистер Пексниф. — Она скучает по сестре, мой дорогой сэр; ведь они с колыбели обожают друг друга. Вот я и хочу, чтобы она погостила в Лондоне для перемены обстановки. И подольше погостила, сэр, если ей захочется.

— Вы совершенно правы! — воскликнул Мартин. — Это весьма благоразумно.

— Я очень рад это слышать от вас. Надеюсь, вы составите мне компанию в нашем глухом углу, когда она уедет?

— Я пока не намерен уезжать отсюда, — был ответ Мартина.

— Тогда почему бы, — сказал мистер Пексниф, беря старика под руку и медленно прохаживаясь по аллее имеете с ним, — почему бы, мой дорогой сэр, вам не погостить у меня? Как ни скромна моя хижина, я уверен, что у меня вам будет гораздо удобнее, чем в сельской харчевне. И, простите меня, мистер Чезлвит, простите, если я скажу, что такое место, как „Дракон“, едва ли годится для мисс Грейм, хотя оно и пользуется доброй славой (миссис Льюпин одна из достойнейших женщин в наших местах).

Мартин раздумывал с минуту, а потом сказал, пожав ему руку:

— Да. Вы совершенно правы, не годится.

— Один вид кеглей, — красноречиво продолжал мистер Пексниф, — может подействовать неблагоприятно на чувствительную душу.

— Это, разумеется, забава черни, — сказал старый Мартин.

— Самой низкой черни, — отвечал мистер Пексниф. — Так почему же не перевезти мисс Грейм сюда, сэр? Чем это не дом для вас? И я в нем один, потому что Томаса Пинча я не считаю за человека. Наш прелестный друг займет спальню моей дочери, вы сами выберете для себя комнату; мы с вами не поссоримся, надеюсь!

— Вряд ли возможно, чтобы мы поссорились, — сказал Мартин.

Мистер Пексниф сжал его руку.

— Я вижу, мы понимаем друг друга, дорогой мой сэр! „Я его вокруг пальца могу обвести!“ — подумал он торжествующе.

— Вопрос о вознаграждении вы, конечно, предоставите мне? — спросил старик, помолчав с минуту.

— Ах, не будем говорить о вознаграждении! — воскликнул Пексниф.

— Слушайте, — повторил Мартин, с проблеском прежнего упрямства, — предоставьте вопрос о вознаграждении мне. Согласны?

— Если вы этого желаете, мой дорогой сэр.

— Я всегда этого желаю, — сказал старик. — Вы знаете, что я всегда этого желаю. Я желаю платить наличными, даже если покупаю у вас. И все же я ваш должник, Пексниф, — настанет день, и вы получите все сполна.

Архитектор был так взволнован, что не мог говорить. Он попытался уронить слезу на руку своего покровителя, но не мог выжать ни единой капли из пересохшего источника.

— Пусть этот день придет как можно позже! — благочестиво воскликнул он. — Ах, сэр! Не могу выразить, как глубоко я сочувствую вам и всем вашим! Я намекаю на нашего прелестного юного друга.

— Это верно, — отвечал старик. — Это верно. Она нуждается в

сочувствии. Я неправильно ее воспитывал и этим принес ей вред. Хотя она и сирота, она могла бы найти себе защитника, которого и полюбила бы. Когда она была девочкой, я льстил себя мыслью, что, потворствуя своему капризу и ставя Мэри между собой и вероломными плутами, делаю ей добро. Теперь, когда она выросла, у меня нет такого утешения. Ей не на кого надеяться, кроме себя самой. Я поставил ее в такие отношения с миром, что любая собака может лаять на нее или ластиться к ней, если вздумает. Она действительно нуждается в добром отношении. Да, действительно нуждается.

— Нельзя ли изменить ее положение на более определенное? — намекнул мистер Пексниф.

— Как же это устроить? Не сделать же мне из нее швею или гувернантку!

— Боже сохрани! — сказал мистер Пексниф. — Дорогой мой сэр, имеются другие пути. Да, имеются. Но я сейчас очень взволнован и смущен, мне не хотелось бы продолжать этот разговор. Я сам не знаю, что говорю. Позвольте мне возобновить его как-нибудь в другой раз.

— Вы не заболели? — встревожился Мартин.

— Нет, нет! — воскликнул Пексниф. — Я совершенно здоров. Позвольте мне возобновить этот разговор как-нибудь в другой раз. Я пройдусь немножко. Благослови вас господь!

Старый Мартин тоже благословил его в ответ и пожал ему руку. Когда он повернулся и медленно побрел к дому, мистер Пексниф долго глядел ему вслед, совершенно оправившись от недавнего волнения, которое во всяком другом человеке можно было бы принять за притворное, за хитрость, пущенную в ход для того, чтобы нащупать почву. Происшедшая в старике перемена так мало отразилась на его осанке, что мистер Пексниф, глядя ему вслед, не мог не сказать себе: „И мне ничего не стоит обвести его вокруг пальца! Подумать только!“

Тут Мартин как раз оглянулся и ласково кивнул ему головой. Мистер Пексниф ответил тем же.

„А ведь было время, — продолжал мистер Пексниф, — и совсем еще недавно, что он и смотреть на меня не хотел! Утешительная перемена. Такова нежнейшая ткань человеческого сердца, таким весьма сложным путем оно смягчается! По внешности он кажется все таким же, а я могу обвести его вокруг пальца. Подумать только!“

И в самом деле, не было, по-видимому, ничего такого, на что мистер Пексниф не мог бы отважиться с Мартином Чезлвитом, ибо, что бы ни сделал и ни сказал мистер Пексниф, он всегда оказывался правым, и что бы

он ни посоветовал, его всегда слушались. Мартин столько раз избегал ловушек, расставленных охотниками до чужих денег, и столько лет прятался в скорлупу недоверия и подозрительности — лишь для того, чтобы стать орудием и игрушкой в руках добродетельного Пекснифа. Вполне убежденный в этом, с сияющим от счастья лицом, архитектор отправился на утреннюю прогулку.

Лето царило в природе точно так же, как и в груди мистера Пекснифа. По тенистым аллеям, где ветви зеленым сводом сходились над головой, открывая в перспективе солнечные прогалины, через заросли росистых папоротников, откуда выскакивали испуганные зайцы и мчались прочь при его приближении, мимо затянутых ряской прудов и поваленных деревьев, спускаясь в овраги, шурша прошлогодней листвой, аромат которой будил воспоминания о былом, — шествовал кротчайший Пексниф. Мимо лугов и живых изгородей, источавших аромат шиповника, мимо крытых соломою хижин, обитатели которых смиренно кланялись ему как добродетельному и мудрому человеку, — спокойно размышляя, шествовал почтенный Пексниф. Пчела пролетела мимо, жужжа о предстоящих ей трудах; праздные мошки толклись столбом, то сужая, то расширяя круг, но неизменно сопутствуя мистеру Пекснифу и весело выплясывая перед ним; высокая трава то отсвечивала на солнце, то темнела, когда на нее ложилась легкая тень облаков, плывущих в высоте; птицы, безгрешные, как совесть мистера Пекснифа, весело распевали на каждой ветке, — точно так же и мистер Пексниф оказывал честь летнему дню, обдумывая во время прогулки свои планы.

Споткнувшись в рассеянности о торчащий корень старого дерева, он поднял благочестивый взор, обозревая окрестности, и восторженно воскликнул, ибо совсем недалеко впереди себя завидел предмет своих размышлений. Мэри, сама Мэри! И совсем одна. Сначала мистер Пексниф остановился, как будто намереваясь уклониться от встречи с ней; однако тут же передумал и быстрым шагом двинулся вперед, напевая на ходу так безмятежно и с такой невинностью души, что ему не хватало только перьев и крыльев, чтобы сделаться пташкой.

Заслышав позади себя звуки, исходившие отнюдь не от лесных певцов, Мэри оглянулась. Мистер Пексниф послал ей воздушный поцелуй и немедленно нагнал ее.

— Общаетесь с природой? — сказал он. — Я тоже.

Утро было такое прекрасное, ответила Мэри, что она зашла гораздо дальше, чем хотела, и теперь намерена вернуться. Мистер Пексниф сказал, что и с ним произошло совершенно то же самое, и потому он вернется

вместе с ней.

— Обопритесь на мою руку, милая девушка, — сказал мистер Пексниф.

Мэри отклонила это предложение и пошла так быстро, что он запротестовал.

— Вы шли медленно, когда я нагнал вас, — сказал мистер Пексниф. — Зачем же такая жестокость, зачем так торопиться? Ведь вы же не избегаете меня, правда?

— Да, избегаю, — ответила она и обернулась к нему, пылая негодующим румянцем, — и вы это знаете. Оставьте меня, мистер Пексниф. Ваше прикосновение мне неприятно.

Его прикосновение. Патриархальное, целомудренное прикосновение, которое миссис Тоджерс — такая добродетельная дама — терпела не только без жалоб, но даже с видимым удовольствием! Это решительно какое-то недоразумение. Мистеру Пекснифу было очень прискорбно это слышать.

— Если вы не заметили, что это так, — сказала Мэри, — пожалуйста, поверьте моим словам и, если вы джентльмен, перестаньте оскорблять меня.

— Так, так! — сказал мистер Пексниф кротко. — Пожалуй, я бы счел такие слова весьма уместными со стороны своей родной дочери, так с какой стати мне возражать, когда я слышу их от такой красавицы! Это очень тяжело. Это меня обижает до глубины души, — сказал мистер Пексниф, — но я не могу с вами ссориться, Мэри.

Она хотела сказать, что ей очень грустно это слышать, но не могла, и расплакалась. Тогда мистер Пексниф повторил ту же комедию, что и с миссис Тоджерс, но уже под флагом утешения: обстоятельно, не торопясь и, по-видимому, намереваясь протянуть комедию подольше, он захватил свободной рукой руку Мэри и, перебирая ее пальцы в своих и время от времени целуя их, продолжал разговаривать в таком духе:

— Я рад, что мы с вами встретились. Я очень, очень рад. Теперь я могу облегчить душу, поговорив с вами откровенно. Мэри! — лепетал мистер Пексниф самым нежным голосом, до того нежным, что он звучал почти как писк. — Душа моя! Я люблю вас!

Невероятно, до чего доходит девическое жеманство! Мэри как будто вздрогнула.

— Я люблю вас, — говорил мистер Пексниф, — я люблю вас, жизнь моя, я к вам привязан так сильно, что даже сам этому удивляюсь. Я полагал, что это чувство похоронено в безгласной могиле той, которая уступала одной только вам по душевным и телесным достоинствам, но

оказалось, что я ошибался.

Она попробовала вырвать руку, но с таким же успехом она могла бы вырваться из объятий влюбленного удава, если только позволительно сравнивать мистера Пекснифа с такой мерзкой тварью.

— Хотя я и вдовец, — говорил мистер Пексниф, разглядывая кольца на ее руках и проводя толстым большим пальцем вдоль нежной голубой жилки на запястье, — вдовец с двумя дочерьми, однако могу считать себя бездетным, душа моя. Одна дочь, как вам известно, замужем. Другая, по собственному почину, но также, имея в виду, — должен сознаться, а почему бы и нет! — имея в виду мое желание переменить образ жизни, собирается покинуть отцовский дом. Моя репутация вам известна, я надеюсь. Людям доставляет удовольствие отзываться обо мне хорошо. По внешности и манерам я не совсем урод, смею думать. Ах, проказница ручка! — воскликнул мистер Пексниф, обращаясь к сопротивляющейся добыче, — зачем ты взяла меня в плен? Вот тебе, вот!

Он слегка шлепнул ручку, чтобы наказать ее, но потом смягчился и приголубил снова, засунув себе за жилет.

— Мы будем счастливы друг с другом в обществе нашего почтенного родственника, душа моя, — говорил мистер Пексниф, — мы будем жить счастливо. Когда он вознесется на небеса и упокоится в тихой обители, мы будем утешать друг друга. Что вы скажете на это, моя прелестная фиалка?

— Возможно, я должна чувствовать благодарность к вам за ваше доверие, — отвечала Мэри торопливо. — Не могу сказать, чтобы я ее чувствовала, но я готова согласиться, что вы заслужили мою благодарность. Примите же ее и оставьте меня, мистер Пексниф, прошу вас.

Добрый Пексниф улыбнулся елейной улыбкой и привлек Мэри ближе к себе.

— Мистер Пексниф, оставьте меня, пожалуйста. Я не могу вас слушать. Я не могу принять ваше предложение. Многие, вероятно, были бы рады принять его, но только не я. Хотя бы из сострадания, хотя бы из жалости — оставьте меня!

Мистер Пексниф шествовал дальше, обняв Мэри за талию и держа ее за руку с таким довольным видом, как будто они были всем друг для друга и их соединяли узы самой нежной любви.

— Хотя вы и заставили меня силой, — говорила Мэри, которая, увидев, что добрым словом с ним ничего сделать нельзя, уже не старалась скрыть свое негодование, — хотя вы и заставили меня силой идти вместе с вами домой и выслушивать по дороге ваши дерзости, вы не запретите мне говорить то, что я думаю. Вы мне глубоко ненавистны. Я знаю ваш

истинный характер и презираю вас.

— Нет, нет! — кротко возразил мистер Пексниф. — Нет, нет, нет!

— Мне неизвестно, какой хитростью или по какой несчастной случайности вы приобрели влияние на мистера Чезлвита, — продолжала Мэри, — оно, быть может, достаточно сильно, чтобы оправдать даже теперешнее ваше поведение, но мистер Чезлвит узнает о нем, можете быть уверены, сэр.

Мистер Пексниф чуть приподнял свои тяжелые веки и потом снова опустил их, словно говоря с совершенным хладнокровием: „Вот как! В самом деле!“

— Мало того, — говорила Мэри, — что вы оказали самое дурное, самое пагубное влияние на его характер, воспользовались его предубеждениями для своих целей и ожесточили сердце, доброе от природы, скрывая от него правду и не допуская к нему ничего, кроме лжи; мало того, что это в вашей власти и что вы ею пользуетесь, неужели вам надо еще вести себя так грубо, так низко, так жестоко со мной?

Но мистер Пексниф по-прежнему спокойно вел ее вперед и глядел невинней барашка, пасущегося на лугу.

— Неужели вас ничто не трогает, сэр? — воскликнула Мэри.

— Душа моя, — заметил мистер Пексниф, преспокойно, строя ей глазки, — привычка к самоанализу и постоянное упражнение... можно ли сказать в добродетели?..

— В лицемерии, — поправила она.

— Нет, нет, в добродетели, — продолжал мистер Пексниф, с укором поглаживая плененную ручку, — в добродетели... настолько приучили меня сдерживать свои порывы, что меня действительно трудно рассердить. Любопытный факт, но это, знаете ли, в самом деле трудно, кто бы за это ни взялся. Неужели она думала, — говорил мистер Пексниф, как бы в шутку все крепче сжимая руку Мэри, — что может меня рассердить? Плохо же она меня знает!

В самом деле плохо! У нее был такой странный характер, что она предпочла бы ласки жабы, ехидны или змеи — нет, даже объятия медведя — заигрываниям мистера Пекснифа.

— Ну, ну, — сказал мистер Пексниф, — одно-два слова уладят это дело, и мы с вами отлично пойдем друг друга. Я не сержусь, душа моя.

— Вы не сердитесь!

— Да, не сержусь, — сказал мистер Пексниф. — Я это утверждаю. И вы тоже не сердитесь.

Сердце, сильно бившееся под его рукой, говорило совсем другое.

— Я уверен, что вы не сердитесь, — повторил мистер Пексниф, — и сейчас скажу вам почему. Есть два Мартина Чезлвита, моя прелесть, и то, что вы расскажете в гневе одному, может — кто знает! — очень дурно отразиться на другом. А ведь вы не хотите повредить ему, не так ли?

Мэри сильно вздрогнула и посмотрела на него с таким горделивым презрением, что он отвел глаза в сторону — без сомнения, для того, чтобы не обидеться на нее, вопреки лучшим сторонам своей натуры.

— Не забывайте, моя прелесть, что простое несогласие может перейти в ссору. Было бы очень грустно еще больше испортить будущее молодого человека, когда оно и без того испорчено. Но как легко это сделать! Ах, как легко! Имею я влияние на нашего почтенного друга, как вы думаете? Что ж, пожалуй, имею. Пожалуй — имею.

Он заглянул ей в глаза и кивнул головой с очаровательной игривостью.

— Так-то, — продолжал он глубокомысленно. — В общем, моя прелесть, будь я на вашем месте, я бы не стал разглашать своих секретов. Я не уверен, отнюдь не уверен, что это хоть сколько-нибудь удивит нашего друга, потому что мы имели с ним беседу не дальше как нынче утром, и он весьма и весьма озабочен тем, чтобы устроить вас и дать вам более определенное положение. Однако удивится он или нет, разговор этот приведет только к одному: Мартин-младший может серьезно пострадать. Я бы, знаете ли, пожалел Мартина-младшего, — говорил мистер Пексниф, вкрадчиво улыбаясь. — Да, да. Он этого не заслуживает, но я его пожалел бы.

Она заплакала так горько, с таким отчаянием, что мистер Пексниф счел уже неудобным обнимать ее за талию и только держал за руку.

— Нет, что касается нашего с вами участия в этой маленькой тайне, — продолжал мистер Пексниф, — то мы никому ничего не скажем, а хорошенько обо всем потолкуем, и вы измените свое решение. Вы согласитесь, душа моя, вы согласитесь, я знаю. Что бы вы ни думали, вы согласитесь. Мне помнится, я слышал где-то, не знаю, право, от кого, — прибавил он с обворожительной прямоотой, — что вы с Мартином-младшим в детстве питали привязанность друг к другу. Когда мы с вами поженимся, вам будет приятно думать, что это чувство оказалось недолговечным и не погубило его, а прошло... к его же пользе; мы тогда посмотрим с вами, нельзя ли будет немножко помочь чем-нибудь Мартину-младшему. Имею я какое-нибудь влияние на нашего почтенного друга? Что ж! Пожалуй, что да. Пожалуй, что имею.

Опушка леса, где происходила эта нежная сцена, находилась недалеко от дома мистера Пекснифа. Они подошли теперь так близко к дому, что

мистер Пексниф остановился и, поднеся к губам мизинец Мэри, игриво пошутил на прощание:

— Не укусить ли мне этот пальчик?

Не получив ответа, он вместо этого поцеловал мизинчик, потом нагнулся и, приблизив к ее лицу свои отвислые щеки — у него были отвислые щеки, несмотря на все его добродетели, — дал ей свое благословение, которое, исходя из подобного источника, должно было облегчить ей жизненный путь и обеспечить благоденствие отныне и навеки, — после чего в конце концов позволил ей уйти.

Предполагается, что истинная галантность облагораживает и возвышает человека; известно, что любовь благотворно влияла на многих и многих. Однако мистер Пексниф — быть может потому, что для такой возвышенной натуры все это было слишком грубо, — решительно ничего не выиграл, судя по внешнему виду. Напротив, оставшись в одиночестве, он как будто весь съежился и усох; казалось, он рад был бы спрятаться, уйти в себя и, будучи не в силах это сделать, чувствовал себя весьма неважно. Его башмаки казались слишком велики, рукава слишком длинны, волосы слишком прилизаны, шляпа слишком мала, черты лица слишком незначительны, обнаженная шея как будто просила веревки. Минуту или две он краснел, бледнел, злился, робел, прятался и, следовательно, совсем не походил на Пекснифа. Однако он скоро пришел в себя и вернулся домой с таким благожелательным видом, как будто чувствовал себя верховным жрецом благодатного лета.

— Я решила ехать завтра, папа, — сказала ему Чарити.

— Так скоро, дитя мое?

— Чем раньше, тем лучше в таких обстоятельствах, — ответила Чарити. — Я написала миссис Тоджерс письмо с предложением условий и попросила ее на всякий случай встретить меня у остановки дилижанса. Уж теперь-то вы будете сами себе господин, мистер Пинч!

Мистер Пексниф только что вышел из комнаты, а Том только что вошел.

— Сам себе господин? — повторил Том.

— Да, теперь вам никто препятствовать не будет, — сказала Чарити. — По крайней мере я так надеюсь. Гм! Все на свете меняется.

— Как! Вы тоже выходите замуж, мисс Пексниф? — спросил Том и величайшем изумлении.

— Не совсем, — смущенно пролепетала Черри. — Я еще не решила, выходить мне или нет. Но думаю, что выйду, коли захочу, мистер Пинч.

— Конечно выйдете! — сказал Том, и сказал вполне убежденно. Он

верил этому от всего сердца.

— Нет, — сказала Черри. — Я еще не выхожу замуж. И никто не выходит, насколько мне известно. Гм! Но я расстаюсь с папой. У меня есть на то свои причины, пока не могу сказать какие. Я всегда буду к вам как нельзя более расположена, за то что вы так смело себя вели в тот вечер. Мы с вами, мистер Пипч, расстаемся самыми лучшими друзьями!

Том поблагодарил ее за доверие и дружбу, однако за этим доверием скрывалась тайна, перед которой он решительно становился в тупик. В своей чудаческой преданности всему семейству Пекснифов он чувствовал утрату Мерри больше, чем остальные, как это ни странно показалось бы тому, кто не знал, что во всех унижениях, какие ему приходилось терпеть, Том винил только самого себя и собственные недостатки. Едва он успел примириться с этой потерей, как и Чарити собралась покинуть родительский дом. Она выросла на глазах у Тома, если можно так выразиться, и он не представлял обеих сестер отдельно от Пекснифа и от самого себя; они были неразрывно связаны с добродетелями Пекснифа и с преданностью Тома. Не в силах перенести эту потерю, он за всю ночь не спал и двух часов, ворочаясь с боку на бок и обдумывая эти сокрушительные перемены.

Когда забрезжило утро, он подумал, что ему, должно быть, только приснилась эта сомнительная новость; однако нет: сойдя вниз, он увидел, как там увязывают чемоданы и укладывают сундуки, снаряжая в дорогу мисс Чарити, что продолжалось весь день. Задолго до отправления вечернего дилижанса мисс Чарити торжественно положила на стол в гостиной свои ключи, милостиво распрощалась со всеми домочадцами и покинула родительский кров, — за что, по наблюдениям некоторых нечестивцев, служанка мистера Пекснифа в следующее воскресенье усиленно благодарила в церкви бога.

Глава XXXI

Мистера Пинча освобождают от его обязанностей, а мистер Пексниф выполняет свою обязанность перед обществом.

Заключительные слова последней главы, естественно, ведут к началу этой, ее преемницы, ибо она тоже имеет отношение к церкви. К той самой церкви, которая нередко упоминалась на страницах нашего повествования и где Том Пинч безвозмездно играл на органе.

В один знойный день, спустя неделю после отъезда мисс Чарити в Лондон, мистеру Пекснифу, который прогуливался в одиночестве, случилось забрести на кладбище. Как раз в то время когда он прохаживался между надгробными плитами, подыскивая среди эпитафий какое-нибудь подходящее изречение — ибо он никогда не упускал возможности пополнить запас поучительных сентенций, с тем чтобы преподнести их кому-нибудь при случае, — Том Пинч начал играть на органе. Том забегал в церковь, как только находилось свободное время, ибо орган был маленький, несложного устройства, мехи его приводились в действие ногами органиста, и никаких помощников при этом не требовалось. Хотя, если бы понадобилось помогать Тому, ни один мужчина или мальчишка во всей деревне, включая и сторожа при шлагбауме, не отказался бы помочь и раздувал бы мехи до полного изнеможения.

Мистер Пексниф не возражал против музыки, не возражал ни в малейшей степени. Он ко всему относился терпимо и часто сам об этом говорил. Вообще же он считал музыку забавой для бездельников, как раз по плечу Тому. Но к игре Тома на церковном органе он относился в высшей степени снисходительно, прямо-таки покровительственно; ибо, когда Том играл на нем по воскресеньям, мистеру Пекснифу, по беспредельной его отзывчивости, чудилось, будто это он сам играет, оказывая благодеяние прихожанам. Так что если не предвиделось другой возможности выжать из Тома что-нибудь за его жалованье, мистер Пексниф милостиво разрешал ему по-упражняться на органе. За такое внимание Том был ему очень благодарен.

День был необыкновенно жаркий, а мистер Пексниф совершил далекую прогулку. Он не обладал тем, что называется музыкальным слухом, однако знал, какая музыка успокоительно действует на его душу: именно такая, какую он слышал теперь, напоминавшая ему мелодичный

храп. Он подошел к церкви и за косым переплетом окна при входе увидел Тома, игравшего на органе очень выразительно и с чувством.

Церковь показалась ему заманчиво прохладной. Приятно было глядеть на старый дубовый потолок с поперечными балками, на древние стены, на мемориальные доски и на растрескавшиеся плиты пола. Листья плюща легонько постукивали в окна на противоположной стороне, и солнце заглядывало только в одно из них, оставляя всю церковь в соблазнительной тени. Но самым приятным местом во всем храме была скамья с красными занавесями и мягкими подушками, где сельские сановники (первым и главным из которых был мистер Пексниф) восседали по воскресеньям. Место мистера Пекснифа было в уголке, замечательно удобном уголке, где лежал его большой молитвенник, величественно раскинувшись на пюпитре во всю ширину своего ин-квартио^[102]. Мистер Пексниф решил войти и отдохнуть.

Вошел он совсем тихо — отчасти потому, что это был храм, отчасти потому, что он и всегда ходил тихо, отчасти потому, что мистер Пинч играл торжественную мелодию, отчасти же потому, что он хотел появиться перед ним неожиданно, когда Том перестанет играть. Открыв дверцы почетной скамьи, окруженной высоким барьером, мистер Пексниф проскользнул внутрь, запер их за собой, уселся на обычное место, протянул ноги на скамеечку и приготовился слушать.

Трудно объяснить, почему мистеру Пекснифу захотелось спать именно здесь, где одной силы ассоциаций, казалось, было достаточно, чтобы не дать ему уснуть; тем не менее он задремал. Он не пробыл и пяти минут в этом уютном уголке, как уже начал кивать головой. Потом очнулся, но не прошло и минуты, как голова его опять склонилась на грудь. Не успевал он сонно раскрыть глаза, как снова погружался в дремоту. Так он то засыпал, то снова просыпался, пока, наконец, не затих совсем и не сделался недвижим, как сама церковь.

Сквозь сон он долго еще слышал звуки органа, хотя скоро утратил всякое представление о том, что это орган, и не мог бы отличить его от мычания быка. Спустя некоторое время ему начали, также сквозь сон, слышаться какие-то голоса, и, почувствовав праздное любопытство к разговору, он открыл глаза.

Мистер Пексниф был так скован дремотой, что, обведя взглядом подушки и скамью, собирался уже снова погрузиться в сон, как вдруг понял, что в церкви действительно звучат голоса, тихие голоса, оживленно беседующие где-то рядом, и эхо что-то шепчет им в ответ. Он встряхнулся и прислушался.

Не прошло и десяти секунд, как весь сон с него слетел и он сделался так бодр, как никогда в жизни. Широко открыв глаза и рот и наставив уши, он с величайшей осторожностью слегка подался вперед и, придерживая занавес рукой, выглянул наружу.

Том Пинч и Мэри! Ну, конечно. Он узнал их голоса и сразу понял, о чем они разговаривают. Высунув голову до подбородка, так что она напоминала голову гильотинированного, и готовый тотчас же спрятаться, если кто-нибудь из них обернется, он стал прислушиваться. Он прислушивался — с таким напряженным вниманием, что даже волосы и углы воротничка у него встопорщились, словно помогая ему.

— Нет, — восклицал Том. — Никаких писем я не получал, кроме одного, из Нью-Йорка. Но не тревожьтесь, очень возможно, что они уехали куда-нибудь далеко, откуда почта ходит редко и нерегулярно. Он писал в том же письме, что это вполне возможно даже и там, куда они собирались поехать, — в Эдеме, вы же знаете.

— На душе у меня так тяжело, — сказала Мэри.

— Не надо этому поддаваться, — утешал ее Том. — Есть верная поговорка, что дурные вести доходят скорее всего, и если б что-нибудь случилось с Мартином, вы бы давно об этом услышали. Как часто мне хотелось сказать вам это, — продолжал Том в смущении, которое очень к нему шло, — только вы ни разу не дали мне возможности.

— Я иногда боялась, — сказала Мэри, — как бы вы не подумали, что я не решаюсь вам довериться, мистер Пинч.

— Нет, — запнулся Том, — я... кажется, эта мысль никогда не приходила мне в голову. И конечно, если бы пришла, я сейчас же отогнал бы ее, как несправедливую по отношению к вам. Я понимаю, насколько вам трудно, если вам приходится доверяться мне, — сказал Том, — но я не пожалел бы жизни, чтобы вы хоть один день прожили спокойно, право не пожалел бы!

Бедный Том!

— Я опасался иногда рассердить вас, — продолжал он, — тем, что иной раз брал на себя смелость предупреждать ваши желания. В другое время мне казалось, что вы по своей доброте стараетесь держаться подальше от меня.

— Что вы!

— Думать так было очень глупо, очень самонадеянно и смешно, — продолжал Том, — но я боялся, вдруг вы предположите, будто я... будто я настолько восхищаюсь вами, что это угрожает моему спокойствию, и оттого не позволяете себе пользоваться даже самой незначительной

помощью с моей стороны. Если такая мысль когда-нибудь возникнет у вас — пожалуйста, прогоните ее. Мне немного нужно для счастья, и я буду жить здесь, довольный своей судьбой, и после того, как вы с Мартином меня забудете. Я беден, робок, неловок, совсем не светский человек; думайте обо мне так, как вы стали бы думать о каком-нибудь старом монахе!

Если бы монахи обладали таким сердцем, как твое, Том, пускай бы множились на свете монахи, хотя такого правила нет в их суровой арифметике.

— Дорогой мистер Пинч! — ответила Мэри, протягивая ему руку. — Не могу сказать вам, как ваша доброта меня трогает. Я ни разу не оскорбила вас ни малейшим сомнением и ни на минуту не переставала чувствовать, что вы именно такой, каким рисовал вас Мартин, и даже много лучше. Без вашей молчаливой заботы и дружбы моя жизнь здесь была бы несчастливой. Но вы стали моим добрым ангелом и пробудили в моем сердце благодарность, надежду и мужество.

— Боюсь, что я так же мало похож на ангела, — возразил Том, качая головой, — как эти каменные херувимы на могильных плитах; не думаю, чтобы много нашлось ангелов такого образца. Но мне хотелось бы знать (если только это можно), почему вы так долго молчали о Мартине?

— Потому что боялась повредить вам, — сказала Мэри.

— Повредить мне! — воскликнул Том.

— Поссорить вас с вашим хозяином.

Джентльмен, о котором шла речь, нырнул за барьер.

— С Пекснифом? — удивился Том, преисполненный доверия. — Боже мой, да он никогда ничего дурного о нас не подумает! Это лучший из людей. Чем спокойней вы будете, тем ему приятнее. Боже мой, вам нечего бояться Пекснифа. Он не какой-нибудь соглядатай.

Многие на месте Пекснифа, если б имели возможность провалиться сквозь пол почетной скамьи и вынырнуть где-нибудь в Калькутте или в какой-нибудь необитаемой стране на другой стороне земного шара, провалились бы немедленно. А мистер Пексниф присел на скамеечку и, насторожив уши пуще прежнего, улыбнулся.

Тем временем Мэри, по-видимому, выразила свое несогласие со словами Тома, так как он продолжал горячо и убежденно:

— Право, не знаю почему, но с кем бы я ни заговорил на эту тему, всегда оказывается, что мои собеседники все как один несправедливы к Пекснифу. Это самое удивительное совпадение, какое мне только известно, и все же это так. Вот хотя бы Джон Уэстлок, бывший его ученик,

добрейший юноша, какой только есть на свете, — я уверен, что Джон, если бы мог, приказал бы отхлестать Пекснифа плетью. И Джон не единственный, — все ученики, которые перебивали тут за мое время, уходили от нас, возненавидев Пекснифа до глубины души. Вот и Марк Тэпли тоже, человек совсем другого звания, — продолжал Том, — как он подсмеивался над Пекснимом, когда служил в „Драконе“, просто неловко вспомнить. Мартин тоже, Мартин даже больше других. Впрочем, что я говорю! Это он, конечно, научил вас не любить Пекснифа, мисс Грейм. Вы приехали с предубеждением против него, мисс Грейм, и не можете судить о нем беспристрастно.

Том радовался, сделав такое открытие, и удовлетворенно потирал руки.

— Мистер Пинч, — сказала Мэри, — вы заблуждаетесь.

— Нет, нет! — воскликнул Том. — Это вы заблуждаетесь. Но в чем же дело, — прибавил он совсем другим тоном, — мисс Грейм, в чем дело?

Мистер Пексним постепенно приподнял над барьером сначала волосы, потом лоб, потом брови, потом глаза. Она сидела на скамейке у двери, закрыв лицо руками, а Том наклонился над ней.

— В чем дело? — восклицал Том. — Разве я сказал что-нибудь обидное для вас? Или кто-нибудь другой нас обидел? Не плачьте. Скажите мне, пожалуйста, что случилось? Я не могу видеть вас в таком отчаянии. Господи помилуй, никогда в жизни я не был так удивлен и огорчен!

Мистер Пексним глядел на них, не сводя глаз. Ничем, кроме шила или раскаленной докрасна проволоки, нельзя было бы заставить его отвести глаза.

— Я бы не стала говорить вам, мистер Пинч, — сказала Мэри, — если б было можно. Но я вижу, как велико ваше заблуждение, а нам надо остерегаться, чтобы не скомпрометировать вас. Вместе с тем вы должны знать, кто меня преследует, — вот почему мне не остается другого выхода, как все рассказать вам. Я пришла сюда нарочно для этого, но думаю, что у меня не хватило бы духу, если б вы сами не подвели меня к цели.

Том пристально смотрел на нее, как будто спрашивая: „Что же дальше“, но не произнес ни слова.

— Этот человек, которого вы считаете лучшим из людей... — произнесла Мэри дрожащими губами, подняв на него сверкающие глаза.

— Господи помилуй! — едва выговорил Том, отшатнувшись от нее. — Погодите минуту. Этот человек, которого я считаю лучшим из людей! Вы имеете в виду, конечно, Пекснифа. Да, я вижу, что Пекснифа. Боже милостивый, не говорите так, если не имеете оснований! Что он сделал?

Если он не лучший из людей, то кто же он?

— Худший из людей. Самый лживый, самый хитрый, самый низкий, самый жестокий, самый подлый, самый бесстыдный, — сказала девушка, вся дрожа от негодования.

Том сел на скамью и стиснул руки.

— Что же это за человек, — продолжала Мэри, — если, приняв меня в дом как гостью, гостью поневоле, зная мою историю, зная, как я беззащитна и одинока, он смеет на глазах у своих дочерей оскорблять меня так, что, будь у меня брат, хотя бы совсем мальчик, он невольно бросился бы защищать меня.

— Он негодяй! — воскликнул Том. — Кто бы он ни был, это негодяй!

Мистер Пексииф опять нырнул.

— Что же это за человек, — говорила Мэри, — тот, кто унижался перед моим единственным другом, любящим и добрым другом, и кого этот друг, когда был в полном разуме, разгадал и выгнал, как собаку, но, по своему христианскому смирению, простил ему все обиды, — а теперь, когда здоровье этого друга пошатнулось, вкрался к нему в доверие и пользуется завоеванным низостью влиянием для низких и презренных целей — среди них нет ни одной, ни одной благородной и доброй.

— Я говорю, что он негодяй! — ответил Том.

— Но что же он такое, мистер Пинч, что он такое, если, думая скорее добиться своей цели, когда я буду его женой, он преследует меня недостойными речами, обещая, что, если я выйду за него замуж, Мартин, которому я принесла столько несчастий, будет восстановлен в своих правах, а не выйду — упадет еще глубже в бездну гибели? Что он такое, если обращает даже мою верность человеку, которого я люблю всем сердцем, в мучение для меня и обиду для него, если он хочет превратить меня, как бы я ни противилась, в орудие пытки для того, кого я хотела бы осыпать благодеяниями? Что он такое, если, опутав меня предательскими сетями, он еще смеет лживым языком и с лживой улыбкой объяснять мне при свете дня, для чего они расставлены, если он смеет обнимать меня и подносить к губам вот эту руку, — продолжала взволнованная девушка, показывая руку, — которую я отрубила бы, если б этим избавилась от стыда и унижения?

— Я говорю, — воскликнул Том в сильном волнении, — что он негодяй, что он злодей! Кто бы он ни был, я говорю, что он закоренелый злодей, которого нельзя терпеть!

Опять закрыв руками лицо, словно горе и стыд пересилили негодование, которое поддерживало ее во время этой речи, Мэри дала волю

слезам.

Всякое проявление печали, конечно, тронуло бы сердце Тома, но печаль Мэри в особенности. Ее слезы и рыдания раздирали ему сердце. Пытаясь утешить ее, он сел с нею рядом и заговорил о Мартине, вселяя в нее бодрость и надежду. Да, хотя он любил ее от всей души такой самоотверженной любовью, какая редко достается на долю женщины, он говорил только о Мартине. Никакие сокровища обеих Индий не заставили бы Тома хоть раз покривить душой и не упомянуть имени ее возлюбленного.

Когда Мэри несколько успокоилась, она заставила Тома понять, что человек, о котором она говорила, и есть Пексниф в его истинном виде, и слово за словом и фраза за фразой передала ему, насколько помнила, все, что произошло между ними в лесу, и этим, без сомнения, доставила большое удовольствие самому мистеру Пекснифу, который, желая все видеть и боясь быть увиденным, то нырял за барьер, то выскакивал обратно, словно плутоватый хозяин Панча^[103] из-за ширмы, старающийся увернуться от ударов дубинкой по голове. В заключение Мэри попросила Тома держаться от нее подальше и ничем себя не выдавать, после чего она поблагодарила его, и они простились, заслышав чьи-то шаги на кладбище. Том снова остался в церкви один.

Только теперь волнение и горе охватили Тома с полной силой. Звезда всей его жизни в одно мгновение превратилась в гнилой туман. Не в том было дело, что Пексниф, его Пексниф, перестал существовать, а в — том, что его никогда и не было. Если бы Пексниф умер, Том утешался бы, вспоминая, каким он был; после же этого открытия оставалась только жгучая боль воспоминаний о том, что Пексниф никогда другим и не был. Ибо, если его слепота была полной и безусловной, то таким же было и вернувшееся к нему зрение. Его Пексниф никогда не сделал бы той подлости, о которой он только что слышал, но всякий другой Пексниф был на нее способен; а тот Пексниф, который был способен на такую подлость, был способен на что угодно и, без сомнения, всю свою жизнь поступал как угодно, только не по справедливости. С недостижимой высоты, куда был вознесен кумир Тома, он свалился вниз головою, и вся королевская конница и вся королевская рать^[104] не могли бы собрать мистера Пекснифа воедино. Легион титанов не мог бы вытащить его из грязи, и туда ему и дорога! Но страдал от этого не он, страдал Томас Пинч. Компас его разбился, карта разорвана, часы остановились, мачты рухнули за борт, а якорь унесло течением за много тысяч миль.

Мистер Пексниф наблюдал за Томом с живейшим интересом, так как угадывал направление его мыслей, и любопытствовал, как он будет вести себя дальше. Том бродил взад и вперед по церкви, словно помешанный, время от времени останавливаясь и облокачиваясь в раздумье на какую-нибудь скамью; он то заглядывался на старый памятник, украшенный орнаментом из черепов и перекрещенных костей, как будто это было выдающееся произведение искусства, хотя обычно вовсе не замечал его, то садился, то снова начинал ходить взад и вперед, и, наконец, побрел вверх на хоры и коснулся клавишей органа. Но их музыка звучала теперь иначе, гармония исчезла, и, взяв один долгий, печальный аккорд, Том опустил голову на руки и бросил играть.

— Я бы не оскорбился, — произнес Том Пинч, вставая с табурета и окидывая взглядом церковь, словно он был пастор, — я бы не оскорбился, что бы он ни сделал мне, потому что я часто испытывал его терпение, и жил у него из милости, и никогда не был ему таким помощником, каким следовало быть. Я бы не обиделся, Пексниф, — продолжал Том, несколько не беспокоясь, слушают его или нет, — если бы вы сделали зло мне; этому я нашел бы оправдание, и хотя огорчился бы, все же уважал бы вас по-прежнему. Но зачем же вы так низко пали в моих глазах! О Пексниф, Пексниф! Я ничего не пожалел бы для того, чтобы вы были достойны моего уважения по-старому, — ничего!

Мистер Пексниф, сидя на низенькой скамеечке, поправлял воротнички, в то время как Том, взволнованный до глубины души, обращался к нему с этой речью. После наступившей затем паузы он услышал, что Том спускается по лестнице, позвякивая церковными ключами, и, опять выглянув из-за барьера, увидел, как он медленно вышел из церкви и запер за собой дверь.

Мистер Пексниф не смел покинуть место своего заключения, ибо в церковные окна видел, как Том переходил от могилы к могиле, иногда останавливаясь и облокачиваясь на памятник, словно оплакивая потерянного друга. Даже после того как Том ушел с кладбища, мистер Пексниф все еще оставался взаперти, опасаясь, как бы растревоженный Том не забрел обратно в церковь. Наконец он отворил дверцу и с самым приятным выражением лица направился в ризницу, где, как он знал, окно было невысоко над землей, и ему стоило сделать один шаг, чтобы очутиться на свободе.

Мистер Пексниф находился в довольно странном настроении и несколько не спешил уйти, скорее наоборот — был склонен оттягивать время, поэтому он открыл шкаф в ризнице и посмотрелся в маленькое

зеркальце пастора, висевшее за дверью. Заметив, что волосы у него растрепались, он позволил себе воспользоваться пасторской щеткой и пригладил их. Он также позволил себе открыть другой шкаф, но быстро захлопнул его, неприятно пораженный видом двух стихарей, черного и белого, висевших рядом и очень похожих на двух викариев, повесившихся вместе. Вспомнив, что в первом шкафу он видел бутылку портвейна и печенье, мистер Пексниф опять заглянул туда и без церемонии налил себе вина, все время сохраняя вид человека, погруженного в какие-то глубокие и очень важные размышления и не думающего о том, что делает.

Однако вскоре он принял решение, если вообще находился в нерешимости, и, поставив на место бутылку и печенье, открыл окно. Выбравшись на кладбище без всякого труда, он притворил оконную раму и отправился прямо домой.

— Мистер Пинч вернулся? — спросил мистер Пексниф у своей служанки.

— Только что пришел, сэр.

— Только что пришел, да? — жизнерадостно повторил мистер Пексниф. — И, я думаю, поднялся наверх?

— Да, сэр. Поднялся наверх. Позвать его, сэр?

— Нет, — сказал мистер Пексниф, — нет. Не трудитесь звать его, Джейн. Благодарю вас, Джейн. Как поживают ваши родные, Джейн?

— Ничего, спасибо, сэр.

— Очень рад это слышать. Передайте им, что я о них справлялся, Джейн. Мистер Чезлвит где-нибудь здесь, Джейн?

— Да, сэр. Он в гостиной, читает.

— Ах вот как, он в гостиной, читает, Джейн? — сказал мистер Пексниф. — Очень хорошо. Так я, пожалуй, пойду к нему, Джейн.

Никогда еще домашние не видели мистера Пекснифа в более приятном настроении.

Однако, войдя в гостиную, где старик читал, как и говорила Джейн, имея под руками чернила, перо и бумагу (ибо мистер Пексниф весьма заботился о том, чтобы письменные принадлежности были у него всегда в изобилии), он стал менее жизнерадостен. Его снедал не гнев, не мстительная ярость, не раздражение, не досада, но уныние, глубокое уныние. Когда он уселся рядом со стариком, две слезы — не те слезы, коими ангелы смывают записи со своих скрижалей, но иные, столь драгоценные, что небожители пишут ими вместо чернил, — скатились по достойным щекам мистера Пекснифа.

— Что случилось? — спросил старый Мартин. — Пексниф, что вас

беспокоит, любезный?

— Я сожалею, что помешал вам, дорогой мой сэр, и еще более сожалею о причине этого. Мой добрый, мой почтенный друг, я обманут!

— Вы обмануты!

— Да! — скорбно воскликнул мистер Пексниф. — Обманут в нежнейших моих чувствах. Жестоко обманут тем, сэр, кому я оказывал самое безграничное доверие. Обманут Томасом Пинчем, мистер Чезлвит.

— Плохо, плохо, плохо! — сказал Мартин, кладя книгу на стол. — Очень плохо! Надеюсь, что это не так — уверены ли вы?

— Уверен ли, уважаемый сэр! Свидетели тому мои глаза и уши. Иначе я бы не поверил. Я бы не поверил, мистер Чезлвит, если б огненный змий возвестил мне это с колокольни солсберийского собора! Я бы поклялся, — восклицал мистер Пексниф, — что змий лжет. Такова была моя вера в Томаса Пинча, что я упрекнул бы змия во лжи и прижал бы Томаса Пинча к моему сердцу. Но я не змий, к моему прискорбию, и у меня не остается больше никаких сомнений и надежд.

Мартин очень встревожился, увидев мистера Пекснифа в таком волнении и услышав такие неожиданные новости. Он попросил его успокоиться и пожелал узнать, в чем именно состоит вероломство мистера Пинча.

— Вот это-то и хуже всего, сэр, что дело близко касается вас. О, мало того, — произнес мистер Пексниф, возводя глаза к небу, — что эти удары сыплются на меня, они еще поражают моих друзей!

— Вы пугаете меня! — воскликнул старик, меняясь в лице. — Силы у меня уже не прежние. Вы пугаете меня, Пексниф!

— Мужайтесь, мой благородный друг, — сказал мистер Пексниф, набираясь храбрости, — и мы с вами поступим, как должно. Вы узнаете все, сэр, и получите полное удовлетворение. Но прежде всего извините меня, сэр, извините меня. У меня есть обязанности перед обществом.

Он позвонил в колокольчик, и явилась Джейн.

— Пошлите сюда мистера Пинча, Джейн, будьте любезны!

Том пришел. Не зная, как себя держать, угнетенный и расстроенный и как нельзя более смущенный, он избегал смотреть в лицо Пекснифу.

Этот честный человек метнул в сторону мистера Чезлвита взгляд, как бы говоря: „Вы видите!“ — и обратился к Тому со следующими словами:

— Мистер Пинч, я оставил окно ризницы незапертым. Сделайте одолжение, пойдите и закройте его, а потом принесите мне ключи от священного здания.

— Окно ризницы, сэр? — воскликнул Том.

— Вы, я думаю, меня понимаете, мистер Пинч, — возразил его патрон. — Да, мистер Пинч, окно ризницы. Должен, к сожалению, сказать, что, задремав на церковной скамье после утомительной прогулки, я невольно подслушал отрывки, — он подчеркнул это слово, — из разговора двух особ, и так как одна из них по уходе заперла за собой церковь, мне пришлось выйти через окно ризницы. Сделайте мне одолжение запереть это окно, мистер Пинч, а потом вернитесь сюда.

Ни один физиономист на свете не в силах был бы истолковать выражение лица Тома, после того как он услышал эти слова. И удивление было в нем, и мягкий упрек, но уж конечно не раскаяние и не страх, хотя множество сильных чувств боролось в его душе. Он поклонился и, не сказав ни слова, худого или доброго, вышел из комнаты.

— Пексниф, — воскликнул Мартин, весь дрожа, — что все это значит? Надеюсь, вы не совершите ничего такого, о чем будете потом жалеть?

— Нет, мой добрый сэр, — твердо сказал мистер Пексниф. — Нет. Но у меня есть долг перед обществом, который я обязан выполнить; и он будет выполнен, мой друг, любой ценой!

О, неоплаченный, часто забываемый, крикливый, хвастливый долг, который редко платят иной монетой, кроме наказания и гнева, — когда же человечество вспомнит о тебе! Когда же люди признают тебя в твоей заброшенной колыбели и в искаленной юности, а не в греховной зрелости и жалкой старости! О судья в горностаевой мантии, чей долг перед обществом ныне состоит в том, чтобы осуждать бродягу в лохмотьях на кару и смерть, неужели ты не знал, что истинный твой долг — захлопнуть сотню открытых ворот, ведущих на скамью подсудимых, и распахнуть настежь врата, ведущие к достойной жизни! О прелат, прелат, чей долг перед обществом — оплакивать в скорбных речах печальный упадок своего времени, неужели ничего не было важнее твоего восшествия на почетное место, откуда ты теперь проповедуешь другим охотникам до почестей, которые, как и ты, меньше всего думают о своем долге перед обществом! О вы, деревенские власти, вы, добрые помещики и честные дворяне, неужели у вас не было долга перед обществом, пока не запылали скирды и не взбунтовалась чернь! Или он возник из земли во всеоружии, в виде конного отряда йоменов^[105]?

Долг мистера Пекснифа перед обществом не мог быть выполнен до возвращения Тома Пинча. Тем временем мистер Пексниф усиленно совещался со своим другом, так что, когда Том вернулся, оба они были вполне готовы принять его. Мэри сидела в своей комнате наверху, где мистер Пексниф, как всегда осмотрительный, посоветовал ей, через

старика Мартина, задержаться еще полчаса, дабы чувства ее не были оскорблены.

Когда Том вернулся, он застал старого Мартина сидящим у окна, а мистера Пекснифа — у стола, в величественной позе. С одной стороны подле него лежал носовой платок, а с другой — маленькая кучка (очень маленькая) золота и серебра и в придачу несколько медяков. Том с одного взгляда понял, что это его собственное жалованье за текущую четверть года.

— Заперли вы окно ризницы, мистер Пинч? — спросил Пексниф.

— Да, сэр.

— Благодарю вас. Положите, пожалуйста, ключи на стол, мистер Пинч.

Том положил. Он держал всю связку за ключ от органа, хотя этот ключ был один из самых маленьких, и пристально смотрел на него, кладя связку на стол. Это был старый, старый друг Тома, добрый товарищ многих и многих его дней!

— Мистер Пинч! — сказал Пексниф, качая головой. — О мистер Пинч! Я удивляюсь, как вы можете смотреть мне в глаза!

Однако Том смотрел ему в глаза; и хотя он обычно сутулился, сейчас он стоял и держался как нельзя более прямо.

— Мистер Пинч, — сказал Пексниф и схватился за платок, словно предчувствуя, что он ему скоро понадобится, — я не буду останавливаться на прошлом. Я избавлю вас и самого себя по крайней мере от этого.

Глаза у Тома были не очень живые, но они заблестели весьма выразительно в ту минуту, когда он взглянул на мистера Пекснифа и сказал:

— Благодарю вас, сэр. Я очень рад, что вы не будете касаться прошлого.

— Довольно и настоящего, — сказал мистер Пексниф, бросая на стол пенни, — и чем скорее мы с ним покончим, тем будет лучше. Мистер Пинч, я не уволю вас, не объяснившись. Хотя такое мое поведение было бы вполне оправдано при существующих обстоятельствах, но могло бы показаться, что я поторопился, а я этого не хочу, ибо я, — сказал мистер Пексниф, отшвырнув еще одну монетку, — действую вполне обдуманно. И потому я скажу вам то же, что уже говорил мистеру Чезлвиту.

Том взглянул на старого джентльмена, который время от времени кивал головой, словно одобряя слова и чувства мистера Пекснифа, но более никак не вмешивался в их беседу.

— Из отрывков разговора между вами и мисс Грейм, который я только что слышал в церкви, мистер Пинч, — сказал Пексниф, — я говорю „из

отрывков“, потому что я дремал в углу, довольно далеко от вас, когда меня разбудили ваши голоса, — а также из виденного мною я убедился (и много дал бы, чтобы разубедиться, мистер Пинч), что вы, забыв о долге и чести, сэр, пренебрегая священными законами гостеприимства, которыми вы связаны как обитатель этого дома, осмелились обратиться к мисс Грейм с непрошенными изъявлениями привязанности и объяснениями в любви.

Том пристально смотрел на него.

— Вы это отрицаете, сэр? — спросил мистер Пексниф, рассыпая по столу один фунт два шиллинга и четыре пенса, а потом снова собирая их в кучку.

— Нет, сэр, — ответил Том. — Не отрицаю.

— Не отрицаете, — сказал мистер Пексниф, бросая взгляд на старого джентльмена. — Сделайте мне одолжение пересчитать эти деньги, мистер Пинч, и поставить ваше имя на расписке. Вы не отрицаете?

Нет, Том не отрицал. Он был выше этого. Он видел, что мистер Пексниф, подслушав разговор о своем позорном поведении, ничуть не боится упасть еще ниже в его глазах. Он видел, что мистер Пексниф воспользовался этой выдумкой, как наилучшим средством немедленно отделаться от своего помощника, и что этим непременно должно было кончиться. Он видел, что мистер Пексниф так и рассчитывал, что Том не будет этого отрицать, ибо всякие объяснения только еще больше восстановили бы старика против Мартина и против Мэри, а сам Пексниф оказался бы виновен лишь в неверной передаче „отрывков“. Отрицать? Ни в коем случае!

— Вы находите сумму правильной, мистер Пинч? — спросил Пексниф.

— Совершенно правильной, — ответил Том.

— Человек дожидается на кухне, — сказал мистер Пексниф, — чтобы отнести ваш багаж, куда вам будет угодно. Мы немедленно расстанемся, мистер Пинч, и с этой минуты мы чужие друг другу.

Чувство, которому трудно было бы подобрать название: сострадание, печаль, былая привязанность и ложно понятая благодарность, наконец привычка, — ни одно из этих чувств в отдельности и все они вместе взятые овладели при расставании кротким сердцем Тома. В теле Пекснифа не было живой души; но даже если бы разоблачения Тома не представляли опасности для его любимых друзей, Том постарался бы пощадить и пустую оболочку этого человека. Даже и сейчас.

— Не стану говорить, — воскликнул мистер Пексниф, проливая слезы, — какой это удар! Не стану говорить, как это тяжело для меня, как

это подействовало на мой организм, как это оскорбило мои чувства. Не это меня беспокоит. Я согласен терпеть, как терпят другие. Но я должен надеяться, и вы должны надеяться, мистер Пинч (иначе на вас ложится слишком большая ответственность), что это разочарование не пошатнет мою веру в человечество, что оно не подорвет моих сил, что оно, если можно так выразиться, не подрежет мне крыльев. Надеюсь, что не подрежет, не думаю, чтобы подрезало. Это может послужить вам утешением, если не теперь, то когда-нибудь в будущем, — знать, что я не разочаруюсь в моих близких из-за того, что произошло между нами. Прощайте.

Том хотел было избавить его от одного легкого укола, что было в его власти, но, услышав последние слова, передумал и сказал:

— Кажется, вы кое-что забыли в церкви, сэр?

— Благодарю вас, мистер Пинч, — сказал Пексниф. — Не знаю, что бы это могло быть.

— Ваш двойной лорнет.

— О! — воскликнул Пексниф, несколько смутившись. — Очень вам обязан. Положите его на стол, пожалуйста.

— Я нашел его, — с расстановкой произнес Том, — когда ходил запирать окно в ризнице, на скамье.

Так оно и было. Нырять вверх и вниз, мистер Пексниф снял лорнет, чтобы он не стукнулся о деревянный барьер, и забыл про него. Вернувшись в церковь с мыслью, что за ним следили, и занятый догадками, откуда именно, Том заметил отворенную настежь дверцу почетной скамьи. Заглянув туда, он нашел лорнет. Таким образом он узнал и, вернув лорнет, дал понять мистеру Пекснифу, что знает, где сидел свидетель их разговора, а также и то, что вместо отрывков он имел удовольствие слышать все до последнего слова.

— Я очень рад, что он ушел, — сказал Мартин, глубоко вздохнув, после того как Том вышел из комнаты.

— Да, это облегчение, — согласился мистер Пексниф. — Это большое облегчение. Но, выполнив — надеюсь, с достаточной твердостью — свой долг перед обществом, я хочу теперь, дорогой мой сэр, удалиться в сад за домом и пролить там слезу уже как смиренное частное лицо.

Том поднялся наверх, собрал книги с полки, уложил их в сундук вместе с нотами и старой скрипкой, достал свою одежду (ее было не так много, чтобы это его очень затруднило), положил ее поверх книг и пошел в чертежную за готовальней. Там был облезлый старый табурет, из которого во все стороны торчал конский волос, наподобие парика, настоящее

страшилище в своем роде: на этом табурете он сидел каждый день, год за годом, в продолжение всей своей службы. Оба они постарели и износились. Ученики отбывали свой срок, времена года сменяли друг друга, а Том и старый табурет неизменно оставались на месте. Эта часть комнаты называлась по традиции „уголком Тома“. Ее отвели Тому с самого начала, оттого что она находилась на сильнейшем сквозняке и очень далеко от камина, и с тех пор Том бессменно занимал этот угол. На стене были нарисованы его портреты, где все смешные черты Тома были преувеличены до безобразия. Чуждые его характеру демонические чувства были представлены в виде пухлых воздушных шаров, выходивших из его рта. Каждый ученик прибавлял что-нибудь от себя; здесь были даже фантастические портреты его папаши с одним глазом и мамыши с невероятных размеров носом, а чаще всего сестры; но то, что ее изображали писаной красавицей, вполне искупало в глазах Тома все шутки и насмешки. При других, не столь экстренных обстоятельствах Тому было бы очень грустно расставаться со всем этим и думать, что он это видит в последний раз, но теперь он думал о другом. Пекснифа более не существовало, никогда не было никакого Пекснифа — и это одно поглотило все остальные его огорчения.

Вернувшись в спальню, он закрыл сундук и чемодан, надел гетры, пальто и шляпу и, взяв палку в руки, в последний раз обвел комнату взглядом. Ранним летним утром и зимней ночью при свете огарка, купленного на свои деньги, он слепил глаза над книгой в этой самой комнате. В этой самой комнате он пытался играть на скрипке, забравшись под одеяло, и, только уступая протестам других учеников, неохотно оставил это намерение. Во всякое другое время ему было бы больно расставаться с этой комнатой, при мысли обо всем, чему он тут научился, о многих часах, которые он тут провел, о мечтах, волновавших его здесь. Но Пекснифа более не существовало, да и никогда не было никакого Пекснифа, и нереальность Пекснифа простиралась и на комнату, где, сидя на этой самой кровати, тот, кого он считал великим совершенством, нередко проповедовал с таким успехом, что Том Пинч чувствовал слезы на глазах, с затаенным дыханием ловя его речи.

Человек, которого наняли нести сундук, — это был работник из „Дракона“, хорошо известный Тому, — сильно топая, поднялся по лестнице и неловко отвесил поклон. В обычное время он ограничился бы усмешкой и кивком, — теперь же он явно давал понять Тому, что ему известно о случившемся, но что для него такая перемена ничего не значит. Сделано это было достаточно неуклюже; ведь это был простой конюх, поивший

лошадей, но Тома его участие растрогало больше, чем предстоящий отъезд.

Том помог бы ему нести сундук, но хотя груз был порядочный, для конюха он был не тяжелее, чем башенка для слона; взвалив сундук себе на спину, он побежал вниз по лестнице, как будто ему, увальню от природы, гораздо удобнее было идти с сундуком, чем налегке. Том взял чемодан и сошел вниз вместе с носильщиком. У парадной двери стояла Джейн, заливаясь слезами, а на крыльце миссис Льюпин, горько рыдая, протянула Тому руку для пожатия.

— Вы остановитесь в „Драконе“, мистер Пинч?

— Нет, — сказал Том, — нет. Я сегодня же ухожу в Солсбери. Я не мог бы остаться здесь. Ради бога, не расстраивайте меня еще больше, миссис Льюпин.

— Но вы же зайдете в „Дракон“, мистер Пинч? Хотя бы только на сегодня. Как гость, а не как постоялец.

— Господи помилуй! — сказал Том, вытирая глаза. — Все такие добрые, что просто сердце разрывается. Я хочу сегодня же идти в Солсбери, милая моя, славная женщина. Если вы побережете мой сундук, пока я вам не напишу, я сочту это величайшим одолжением для себя.

— Пускай будет хоть двадцать сундуков, мистер Пинч, — воскликнула миссис Льюпин, — я вам все сберегу.

— Благодарю, — сказал Том. — Это на вас похоже. Прощайте же. Прощайте!

Вокруг крыльца толпились люди, молодые и старые, и одни из них плакали вместе с миссис Льюпин, другие старались держаться бодро, как Том, третьи вслух восхищались мистером Пекснифом, человеком, которому, можно сказать, ничего не стоило построить церковь: посмотрит на лист бумаги — и готово; четвертые колебались между этим восхищением и сочувствием к Тому. Мистер Пексниф появился на крыльце в одно время со своим бывшим учеником и, пока Том разговаривал с миссис Льюпин, простер руку вперед, как бы говоря: „Ступайте прочь!“ Когда Том сошел с крыльца и завернул за угол, мистер Пексниф покачал головой, закрыл глаза и, глубоко вздохнув, захлопнул дверь. После чего самые стойкие из приверженцев Тома стали говорить, что он, должно быть, сделал что-то из ряда вон выходящее, иначе такой человек, как мистер Пексниф, держался бы по-другому. Будь это простая ссора (замечали они), он бы сказал хоть что-нибудь; а раз он ничего не говорит, значит мистер Пинч нанес ему ужасный удар.

Том уже не мог слышать их здравых суждений и шагал вперед со всем возможным усердием, пока не завидел шлагбаума, откуда семейство

сторожа приветствовало его криками „мистер Пинч!“ в то морозное утро, когда он ехал встречать молодого Мартина. Он прошел через всю деревню, и этот шлагбаум был последним испытанием; но когда малолетние сборщики дорожной пошлины с воплями выскочили ему навстречу, он чуть было не бросился бежать, чуть не кинулся опрометью в сторону от дороги.

— Ах, боже ты мой, мистер Пинч! Ах, как же это, сударь! — воскликнула жена сторожа. — Как же это вы в такое время идете в ту сторону, да еще с чемоданом?

— Я иду в Солсбери, — сказал Том.

— Да как же это, господи, а где же бричка? — воскликнула жена сторожа, глядя на дорогу, словно думала, что Том мог вывалиться из экипажа, сам того не заметив.

— Брички нет, — сказал Том. — Я... — ему нельзя было не ответить; она поймала бы его на втором вопросе, если бы он избежал первого. — Я ушел от мистера Пекснифа.

Сторож, человек угрюмый, всегда сидевший со своей трубкой в виндзорском кресле^[106], поставленном между двумя окошками, глядевшими на дорогу в обоих направлениях, так что при виде подъезжающих к деревне он мог радоваться, что ему предстоит получить сбор, а при виде отъезжающих — поздравлять себя с тем, что сбор уже получен, — сторож в одно мгновение выбежал из сторожки.

— Ушли от мистера Пекснифа? — воскликнул он.

— Да, — сказал Том, — ушел от него.

Сторож поглядел на жену, не зная, спросить ли, что она об этом думает, или отослать ее к детям. От изумления он сделался еще мрачней и прогнал ее в сторожку, наперед пробрав хорошенько.

— Вы ушли от мистера Пекснифа! — воскликнул сторож, складывая руки на груди и расставляя ноги. — Я думал, он скорее с головой своей расстанется.

— Да, — сказал Том, — я тоже так думал еще вчера. Всего хорошего!

Если бы в эту самую минуту не гнали мимо большого гурта волов, сторож отправился бы прямо в деревню узнать, что случилось. Так как дело приняло иной оборот, он выкурил еще одну трубочку и доверил свои соображения жене. Но и соединенными силами они никак не могли в этом разобраться и легли спать, образно выражаясь, в потемках. И несколько раз в эту ночь, когда проезжала мимо подвода или другой экипаж и возчик спрашивал у сторожа: „Что новенького?“ — тот, сначала разглядев собеседника при свете фонаря, чтобы удостовериться, есть ли у него интерес к такому предмету разговора, говорил, запахивая вокруг ног полы

своей теплой шинели:

— Вы знаете мистера Пекснифа, что живет вон там?

— Ну, еще бы!

— А может, знаете и его помощника, мистера Пинча?

— Ну?

— Так они разошлись.

Каждый раз после такого сообщения он опять нырял в сторожку и больше не показывался, а его собеседник ехал дальше в величайшем изумлении.

Но это было уже много времени спустя, после того как Том улегся в постель, а пока что Том направлялся в Солсбери, стремясь попасть туда как можно скорее. Сначала вечер был прекрасный, но к заходу солнца стало пасмурно, набежали тучи, и скоро полил сильный дождь. Целых десять миль Том прошагал, вымокши до нитки, пока, наконец, не показались огоньки и он вошел в долгожданные пределы города.

Он отправился в гостиницу, где когда-то ждал Мартина, и, коротко ответив на расспросы о мистере Пекснифе, велел приготовить постель. Он не захотел ни чая, ни ужина и вообще не хотел ни пить, ни есть и сидел перед пустым столом в общей зале, пока ему стелили постель, перебирая в уме все, что произошло за этот богатый событиями день, и раздумывая, как ему быть и что делать дальше. Он почувствовал большое облегчение, когда пришла горничная сказать, что постель готова.

Это была низенькая кровать с четырьмя колонками по углам, с углублением посередине вроде корыта, и вся комната была заставлена ненужными столиками и рассохшимися комодами, полными сырого белья. Живописное изображение необыкновенно жирного быка над камином и портрет бывшего хозяина гостиницы над кроватью (он мог быть родным братом быку, так велико было сходство) пристально глядели друг на друга. Множество странных запахов в комнате до некоторой степени заглушало преобладающий аромат затхлой лаванды, а окно не открывали так давно, что оно, в силу установившегося с давних времен обычая, совсем не открывалось.

Все это были пустяки сами по себе, но они усиливали впечатление непривычности места и не позволяли Тому забыться. Пексниф исчез с лица земли, его никогда не существовало, и самое большее, на что Том был способен без него, — это прочесть молитву. После молитвы ему стало легче, он заснул и видел во сне того, кого никогда не существовало.

Глава XXXII

трактует опять о пансионе миссис Тоджерс и еще об одном засохшем цветке, кроме тех, что были на крыше.

Ранним утром на следующий день, после того как мисс Пексниф простилась с обителью своей юности и колыбелью своего детства, она, благополучно прибыв на остановку дилижансов в Лондоне, была встречена миссис Тоджерс и препровождена ею в мирное жилище под сенью Монумента. Миссис Тоджерс выглядела немного утомленной заботами о подливке и другими хлопотами, связанными с ее заведением, однако проявила обычную теплоту чувств и солидность манер.

— А как, милая моя мисс Пексниф, — спросила она, — как поживает ваш чудный папа?

Мисс Пексниф сообщила ей (по секрету), что он подумывает обзавестись чудной мамой, и повторила с негодованием, что она не слепая и вовсе не дура и этого терпеть не намерена.

Миссис Тоджерс была поражена этим сообщением, более чем кто-либо мог ожидать. Она вконец разогорчилась. Она сказала, что от мужчины правды не жди и что чем горячее они выражают свои чувства, тем, вообще говоря, оказываются лживее и вероломнее. Она предвидела с изумительной ясностью, что избранница мистера Пекснифа окажется дрянной и низкой интриганкой, и, получив от Чарити полное подтверждение этих слов, объявила со слезами на глазах, что любит мисс Пексниф, как сестру, и болеет за ее обиды, как за свои собственные.

— Вашу родную сестрицу я видела всего один раз после ее замужества, — сказала миссис Тоджерс, — и тогда мне показалось, что она очень плохо выглядит. Дорогая моя мисс Пексниф, я всегда думала, что это вы за него выйдете.

— О боже мой, нет! — воскликнула Черри, мотнув головой. — О нет, миссис Тоджерс! Благодарю вас. Нет! Ни за какие блага, что бы он там ни обещал.

— Пожалуй, вы правы, — сказала миссис Тоджерс со вздохом. — Я этого все время боялась. Но мы-то сколько натерпелись из-за этого брака вот тут, у меня в доме, дорогая моя мисс Пексниф, никто этому даже не поверит.

— Боже мой, миссис Тоджерс!

— Ужас, ужас! — повторила миссис Тоджерс весьма выразительно. — Вы помните младшего из джентльменов, дорогая моя?

— Конечно, помню, — сказала Черри.

— Вы, может быть, заметили, — сказала миссис Тоджерс, — что он глаз не спускал с вашей сестры и что на него словно столбняк находил, когда за ней ухаживали другие?

— Я никогда ничего подобного не замечала, — сказала Черри, надувшись. — Какие глупости, миссис Тоджерс!

— Дорогая моя, — возразила миссис Тоджерс трагическим голосом, — сколько раз я видела за обедом, как он сидит над своей порцией пудинга, засунув ложку в рот, и смотрит на вашу сестру. Я видела, как он стоит в углу гостиной и глаз с нее не сводит, такой одинокий, печальный, вот-вот польются слезы, прямо артезианский колодец, а не человек.

— Я никогда этого не видела, — воскликнула Черри, — вот и все, что я могу сказать!

— А после свадьбы, — продолжала рассказывать миссис Тоджерс, — когда объявление было напечатано в газетах и его прочли тут у нас за завтраком, я так и думала, что он совсем рехнулся, право. Буйное поведение этого молодого человека, дорогая моя мисс Пексниф, всякие страшные слова, какие он тут говорил насчет самоубийства, все что он проделывал со своим чаем, как он кусал хлеб с маслом, вонзаясь в него зубами, как задирали мистера Джинкинса, — все это вместе взятое составляет такую картину, которой вовеки не забудешь.

— Жаль, что он не покончил с собой, — заметила мисс Пексниф.

— Как бы не так! — сказала миссис Тоджерс. — К вечеру это уже обернулось по-иному. Он уж на других стал бросаться. Вечером наши, что называется, балагурили — надеюсь, вы не считаете это слово вульгарным, мисс Пексниф, оно у наших джентльменов с языка не сходит, — балагурили в своей компании, дорогая моя, все это добродушно... как вдруг он вскочил с пеной у рта, и если б его не держали втроем, он убил бы мистера Джинкинса на месте сапожной колодкой.

Лицо мисс Пексниф выражало полное безразличие.

— Зато теперь, — продолжала миссис Тоджерс, — теперь он совсем присмирел. Чуть поглядишь на него, он уже готов удариться в слезы. По воскресеньям сидит со мной целый день и так жалостно разговаривает, что у меня потом едва хватает сил что-нибудь делать для жильцов. Для него единственное утешение — в женском обществе. Он водит меня в театр на дешевые места, и до того часто, что я боюсь, как бы он не разорился; и во все время спектакля я вижу слезы у него на глазах, особенно если играют

что-нибудь смешное. Что со мной только делалось, — продолжала миссис Тоджерс, приложив руку к сердцу, — когда служанка уронила коврик из окна его комнаты, вы не можете себе представить. Я так и думала, что это он — взял да и выбросился наконец!

Пренебрежение, с которым мисс Чарити выслушала рассказ о том, до чего дошел младший из джентльменов, мало говорило о ее способности сочувствовать этому несчастному. Она отнеслась к нему свысока и продолжала расспрашивать, какие перемены произошли в пансионе.

Мистер Бейли ушел, и его заменила (так преходяще человеческое величие!) какая-то старуха, которую будто бы звали Темеру — вещь совершенно невозможная. В самом деле, с течением времени выяснилось, что пансионские шутники позаимствовали это слово из какой-то старинной баллады, где оно должно было выражать горячий и смелый характер некоего кучера; а преемницу мистера Бейли окрестили этим именем как раз потому, что в ней не было решительно ничего горячего, если не считать редких приступов болезни, именуемой антоновым огнем. Эта древность была нанята миссис Тоджерс во исполнение данного ею обета, что ни один мальчишка не переступит больше порога ее заведения, и отличалась она главным образом отсутствием здравого смысла во всех решительно отношениях. Это была суцая могила для всякого рода мелких поручений и посылок, а когда ее отправляли на почту с письмами, то нередко ловили на том, что она пытается засунуть письмо в первую попавшуюся щель в чужой двери, воображая, будто любое отверстие в дверях годится для этой цели. Это была маленькая старушонка, постоянно ходившая в плотном фартуке с нагрудником спереди и лямкой сзади, с вечно перевязанными запястьями, отчего казалось, будто у нее хроническое растяжение связок. Она всегда очень неохотно отпирала входную дверь и ревностно стремилась запереть ее снова; за столом она прислуживала в капоре.

Это была единственная крупная перемена, кроме той, которая произошла с младшим из джентльменов. Что до него, то он более чем оправдывал рассказ миссис Тоджерс, ибо даже ей не удалось описать всей глубины его чувств. Между прочим, он возымел самые устрашающие понятия о человеческой судьбе и много говорил о том, что кому суждено, как видно черпая сведения из недоступных другим источников; так, он, оказывается, знал наперед, что бедной Мерри суждено было погубить его на заре жизни. Он стал неуравновешен и слезлив, и, будучи уверен, что пастуху предназначено сзывать свирелью стада, боцману — свистать всех наверх, одному — быть музыкантом, а другому — платить за музыку, он забрал себе в голову, что ему лично судьба предназначила лить слезы. Чем

и занимался постоянно.

Он часто сообщал миссис Тоджерс, что солнце для него закатилось, что волны поглотили его, что колесница Джагернаута раздавила его, а также что смертоносное дерево упас отравило его своим тлетворным дыханием^[107]. Его фамилия была Модль.

С этим злополучным Модлем мисс Пексниф держалась сначала холодно и высокомерно, не имея склонности выслушивать панихиды в честь своей замужней сестры. Это окончательно доконало несчастного молодого человека, и он, беседуя с миссис Тоджерс, пожаловался ей.

— Даже она отвернулась от меня, миссис Тоджерс, — плакался Модль.

— Тогда почему же вы не постараетесь быть немножко повеселей, сударь? — возразила миссис Тоджерс.

— Повеселей, миссис Тоджерс, повеселей, — воскликнул младший из джентльменов, — но ведь она напоминает мне дни, которые миновали безвозвратно, миссис Тоджерс!

— Если так, вам лучше некоторое время избегать ее, — сказала миссис Тоджерс, — а потом снова познакомиться мало-помалу. Вот мой совет.

— Но я не могу избегать ее, — начал Модль. — У меня неостанет душевных сил. О миссис Тоджерс, если б вы знали, какое утешение для меня ее нос!

— Ее нос, сэр?! — воскликнула миссис Тоджерс.

— Вообще говоря, ее профиль, — объяснил младший из джентльменов, — а в частности — ее нос. Он так похож, — тут он дал волю своему горю, — он так похож на нос той, которая принадлежит другому, миссис Тоджерс!

Обязательная хозяйка пансиона не замедлила передать этот разговор Чарити, которая сначала посмеялась, но в тот же вечер выказала мистеру Модлю гораздо больше внимания и как можно чаще поворачивалась к нему в профиль. Мистер Модль был настроен не менее сентиментально, чем всегда, даже, может быть, более, однако не сводил с мисс Черри увлажненных глаз и, по-видимому, был ей благодарен.

— Ну, сэр! — сказала на следующий день миссис Тоджерс. — Вчера вечером вы держались отлично. По-моему, вы начинаете приходить в себя.

— Только потому, что она похожа на ту, которая принадлежит другому, — возразил юноша. — Когда она говорит или улыбается, мне кажется, будто я опять вижу ее черты.

Это тоже было передано Чарити, которая на следующий вечер разговаривала и улыбалась самым обольстительным образом и, подшучивая над угнетенным состоянием мистера Модля, пригласила его

сыграть партию в криббедж^[108]. Мистер Модль принял вызов, и они сыграли несколько партий по шесть пенсов, причем выигрывала всегда Чарити. Отчасти это можно было приписать галантности младшего из джентльменов, но, конечно, объяснялось также и состоянием его чувств, — ибо глаза его то и дело затуманивались слезами, и тузы он принимал за десятки, а валетов за дам, отчего временами несколько путался в игре.

На седьмой вечер игры в криббедж, когда миссис Тоджерс, сидевшая рядом, предложила им, вместо того чтобы играть на деньги, сыграть просто так, из любви к искусству, замечено было, что мистер Модль переменялся в лице, услышав слово „любовь“. На четырнадцатый вечер он поцеловал в коридоре подсвечник мисс Пексниф, которая шла наверх, собираясь ко сну: он намеревался поцеловать ей руку, но промахнулся.

Словом, мистер Модль начал осваиваться с мыслью, что мисс Пексниф предназначено судьбой утешать его, а мисс Пексниф начала размышлять о возможности сделаться в конце концов миссис Модль. Он был молодой человек (мисс Пексниф была уже не очень молодая девица) с видами на будущее и средствами, которых почти хватало на жизнь. Ну что ж, это было бы не так плохо.

Кроме того — кроме того, мистер Модль считался поклонником Мерри. Мерри потешалась над ним, а один раз, говоря с сестрой, отозвалась о нем как о своей победе. По наружности, по характеру, по манерам — во всех отношениях он был гораздо лучше Джонаса. С ним легко будет поладить, легко заставить считаться с капризами своей нареченной, его можно будет водить везде, как ягненка, тогда как Джонас был медведь. Вот в чем суть!

Тем временем игра в криббедж продолжалась, а миссис Тоджерс была заброшена, ибо младший из джентльменов стал пренебрегать ее обществом и водить в театр мисс Пексниф. Он начал также, по словам миссис Тоджерс, забегать домой в обеденный перерыв и уходить из конторы в непоказанное время; и дважды, как он сам сообщил миссис Тоджерс, на его имя приходили анонимные письма со вложением карточек от поставщиков мебели — явное дело, выходка этого невоспитанного грубияна Джинкинса; только у Модля не довольно было улик, чтобы вызвать его на дуэль. Все это вместе взятое, как говорила миссис Тоджерс душеньке мисс Пексниф, было яснее ясного.

— Дорогая моя мисс Пексниф, можете быть уверены, он просто горит желанием сделать предложение.

— Боже мой, так почему же он его не делает! — воскликнула Черри.

— Мужчины гораздо застенчивее, чем мы их считаем, дорогая моя, —

возразила миссис Тоджерс. — Они всегда упираются. Я видела, что мистер Тоджерс собирается сделать мне предложение за много, много месяцев до того, как он заговорил.

Мисс Пексниф высказала мнение, что мистер Тоджерс не может служить образцом для всех.

— Ну, что вы! Господь с вами, дорогая моя! Я в то время была очень разборчива, уверяю вас, — сказала миссис Тоджерс, приосанившись. — Нет, нет! Вы должны выказать мистеру Модлю поощрение, мисс Пексниф, если хотите, чтобы он заговорил; а тогда его и не остановишь, будьте уверены.

— Право, не знаю, какого еще поощрения ему нужно, — возразила Чарити. — Он гуляет со мной, мы с ним играем в карты и сидим наедине.

— Так и нужно, — сказала миссис Тоджерс. — Без этого нельзя, дорогая моя.

— Он садится совсем рядом.

— Тоже правильно, — сказала миссис Тоджерс.

— И смотрит на меня.

— Ну еще бы не смотреть! — сказала миссис Тоджерс.

— И кладет руку на спинку стула, или дивана, или там чего-нибудь за моей спиной, знаете ли.

— Как не знать, — сказала миссис Тоджерс.

— А потом начинает плакать!

Миссис Тоджерс согласилась, что он мог бы обойтись и без этого и уж конечно мог бы кстати припомнить наказ о неуклонном выполнении долга, данный лордом Нельсоном перед Трафальгарской битвой^[109]. Все-таки, сказала она, авось он еще одумается, а нет — так можно и заставить, попросту говоря; пускай мисс Пексниф держится твердо и даст ему ясно понять, что он должен сделать предложение.

Вознамерившись изменить свое поведение сообразно с этим советом, молодая особа при первом же удобном случае приняла мистера Модля весьма чопорно и в конце концов заставила его спросить унылым тоном, почему она так переменилась. Она призналась ему, что считает необходимым сделать решительный шаг для общего их спокойствия и счастья. За последнее время, заметила мисс Пексниф, они очень часто бывали вместе, очень часто, и вкусили сладость искренней, взаимной симпатии. Она никогда его не забудет, никогда не перестанет думать о нем с чувством живейшей дружбы; но люди уже начали болтать, обратили на них внимание, и теперь надо, чтобы они стали друг для друга только тем, чем обычно бывают в обществе джентльмены и леди, не больше. Она рада, что

у нее достало мужества высказать это, прежде чем ее чувство зашло слишком далеко; оно и так зашло далеко, надо сознаться; но, несмотря на всю свою слабость и простодушие, она все же надеется, что скоро справится с этим.

Модль, который расчувствовался до крайности и теперь обливался слезами, сделал из признания вывод, что ему суждено приносить другим то несчастье, от которого он пострадал сам, а так как он является в некотором роде вампиром поневоле, то мисс Пексниф предназначена ему судьбой в качестве жертвы номер первый. Мисс Пексниф отвергла это мнение, как греховное, после чего Модля заставили спросить, не может ли она удовольствоваться разбитым сердцем; и когда из дальнейшего выяснилось, что может, он дал ей обет быть верным до гроба, и этот обет был принят и возвращен.

Мистер Модль отнесся к своему счастью в высшей степени сдержанно. Вместо того чтобы торжествовать, он пролил больше слез, чем когда бы то ни было, и воскликнул, рыдая:

— О, какой это был день! Я не могу сегодня вернуться в контору. О, какой это был тяжелый день! Боже милосердный!

Глава XXXIII

Дальнейшие происшествия в Эдеме, а также исход из него. Мартин делает довольно важное открытие.

От мистера Модля легко и естественно перейти к Эдему. Мистер Модль, окруженный атмосферой любви мисс Пексниф, жил в земном раю, хоть и не подозревал этого. Процветающий город Эдем тоже был земным раем, по свидетельству его владельцев. Прелестную мисс Пексниф можно было бы описать поэтически как нечто такое, чего падший человек недостоин по грехам своим. Совершенно в том же роде был и процветающий город Эдем, поэтически восхваляемый Зефанией Скэддером, полковником Чоком и другими достойнейшими людьми — плотью от плоти и костью от костей великого американского орла, который вечно парит в чистейшем эфире и никогда — о нет, никогда — не спускается вниз и не влачит крыльев по грязи.

После того как Марк Тэпли, оставив Мартина в строительной и землемерной конторе и предавшись созерцанию их общих несчастий, решительно воспрянул и укрепился духом, он отправился далее искать помощи, поздравляя себя с завидным положением, которого, наконец, добился.

— Я, бывало, думал, — рассуждал мистер Тэпли, — что мне больше подойдет необитаемый остров, но там я заботился бы только о себе, а на меня угодить нетрудно, — значит, и заслуга была бы невелика. Здесь же мне придется ухаживать за моим компаньоном, а он такой человек, что и нарочно лучше не придумаешь. Мне нужен человек, который то и дело валится с ног, когда надо держаться покрепче. Мне нужен человек, который только что поступил в школу жизни, всю тетрадь исписал задачками и ни одной решить не может. Мне нужен человек, который сам себе зеркало и вечно любит себя. И он у меня есть, — сказал мистер Тэпли, помолчав с минуту. — Вот повезло!

Он огляделся по сторонам, не зная, в которую из лачуг направиться.

— Ну, какую тут выбрать, — заметил он, — вот незадача! Все одинаково заманчиво снаружи и, надо полагать, одинаково уютно внутри, со всеми удобствами, какие могут понадобиться аллигатору в диком состоянии. Позвольте-ка! Вчерашний поселенец живет чуть ли не под водой, в собачьей конуре за углом направо. Мне его, беднягу, не хочется

беспокоить, невеселый он человек — как есть поселенец, откуда ни посмотри. Вон домишко с окном, только там, наверно, хозяева гордецы. Не знаю, может и двери тут у одних только аристократов? Ну, да уж ладно, загляну в первый попавшийся!

Он подошел к ближайшему домику и постучался. Получив приглашение войти, он открыл дверь.

— Соседи, — сказал Марк, — ведь я ваш сосед, хоть мы и незнакомы, — я пришел к вам с просьбой. Боже ты мой! Никак я сплю и во сне вижу!

Он не мог удержаться от этого восклицания, когда его назвали по имени и, бросившись к нему, ухватили за фалды два отлично знакомых ему мальчугана, которым он часто умывал рожицы и варил ужин на борту прославленного и быстроходного пакетбота „Винт“.

— Глазам своим не верю! — говорил Марк. — Не может быть! Неужто это моя попутчица сидит там и кормит свою дочку? Вижу, девочка все такая же слабенькая. Неужто это ее муж, что приезжал за ней в Нью-Йорк? А это, — прибавил он, глядя на мальчиков, — неужто те самые озорники, мои старые приятели? Что-то уж очень на них похожи, признаться!

Женщина заплакала, глядя на него; ее муж пожимал ему руки и никак не хотел их выпустить; мальчики обнимали ему колени; больная девочка на руках у матери тянула к нему горячие пальчики и лепетала сухими от жара губами хорошо знакомое имя.

Это была та самая семья, несомненно; очень изменившаяся в целительном воздухе Эдема, но все же та самая.

— Вот это так утренний визит в новом вкусе! — сказал Марк, протяжно вздыхая. — Пожалуй, и на ногах не устоишь! Погодите немножко! Дайте опомниться. Ну, вот и ладно. А это кто такие? Тоже в гости к вам ходят?

Вопрос относился к двум поджарым свиньям, которые забрели в дом вслед за Мартином и весьма заинтересовались помоями. Свиньи оказались чужие, и мальчики их тут же выгнали.

— Я человек без предрассудков насчет жаб, — сказал Марк, оглядывая комнату, — но если б вы, друзья мои, уговорили этих двух или трех выйти из комнаты, на свежем воздухе им было бы гораздо лучше, я так думаю. Не то, чтобы я имел что-нибудь против. Жаба очень красивая скотинка, — продолжал мистер Тэпли, садясь на табурет, — этакая пестренькая, очень похожая на брыластого старого джентльмена, очень глазастая, очень холодная и очень скользкая. Только, пожалуй, на улице она все-таки выглядит красивей.

Стараясь показать таким разговором, что он чувствует себя превосходно и так же спокоен и беззаботен, как всегда, Марк Тэпли между тем зорко подмечал все, что его окружало. Бледные и худые лица детей, изменившаяся наружность матери, больная девочка у нее на руках, на всем отпечаток безнадежности и уныния — всё это было ясно без слов и произвело на него тяжелое впечатление. Это было так же понятно ему, как и грубые полки на колышках, вбитых между бревен, из которых был выстроен дом, бочонок с мукой в углу, служивший здесь столом, одеяла, лопаты и другие вещи, развешанные по стенам, пропитанный сыростью пол и поросль плесени и грибов в каждой трещине.

— Как вы сюда попали? — спросил хозяин, когда общее волнение несколько улеглось.

— Да приехали на пароходе вчера вечером, — ответил Марк. — Мы намерены разбогатеть наверняка и поскорей уехать со своими денежками, как только заработаем их. А вы как поживаете? Вид у вас отличный.

— Сейчас нам всем нездоровится, — отвечала бедная женщина, наклоняясь над ребенком. — Но потом мы поправимся, когда привыкнем к новому месту.

„Есть и такие среди вас, — подумал Марк, — которым никогда не привыкнуть“.

Но он сказал весело:

— Поправитесь! Еще бы! Все мы тут поправимся. Нам надо только не терять бодрости и жить дружно. В конце концов все обойдется, не бойтесь! Кстати сказать, мой компаньон что-то расклеился, я ведь и зашел-то из-за этого. Хотелось бы, чтобы вы посмотрели на него и сказали, что с ним такое, хозяин.

Только самую несуразную просьбу Марка Тэпли не бросились бы исполнять эти люди, благодарные ему за его услуги на пароходе. Муж немедленно поднялся, чтобы идти вместе с ним. Перед уходом Марк взял больную девочку на руки, желая утешить мать, однако он видел, что дыхание смерти уже коснулось ребенка.

Когда они вошли в лачугу, Мартин лежал на полу, завернувшись в одеяло. По всему было видно, что он не на шутку болен; его сильно знобило, он весь дрожал, но не так, как дрожат от холода, а сотрясаясь всем телом в страшных судорогах. Знакомый Марка объявил, что это опасная форма лихорадки, сопровождающейся ознобом, очень распространенная в этих местах, что завтра ему будет еще хуже и что болезнь затянется надолго. Он сам болел перемежающейся лихорадкой почти два года, и хорошо еще, что остался жив, потому что на его глазах многие умерли от

этой болезни.

„Жив-то жив, да в чем только душа держится! — подумал Марк, глядя на его болезненную худобу. — Да здравствует Эдем!“

У них в сундуке были кое-какие лекарства, и поселенец, наученный горьким опытом, сказал Марку, когда что давать и как ухаживать за Мартином. Этим не ограничились его заботы; он то и дело прибегал к соседям и помогал Марку во всех его энергичных попытках устроиться более сносно. Ни утешать его, ни обнадеживать он не мог. Время года было опасное для здоровья, самый поселок — суцая могила. Его девочка умерла в ту же ночь, и утром Марк, утаив это от Мартина, помог отцу похоронить ее под деревом.

Как ни трудно было ухаживать за Мартином, который тем больше капризничал, чем хуже себя чувствовал, Марк все-таки старался обработать свой участок и трудился с утра до вечера, в чем ему помогал его приятель с другими поселенцами. Не потому, чтобы он надеялся на что-нибудь или задавался какой-нибудь целью, а просто по живости характера и удивительной способности применяться ко всяким условиям; в душе он считал свое положение совершенно безнадежным и решил „показать себя“, как он выражался.

— Показать себя так, как бы мне хотелось, сэр, — исповедовался он Мартину однажды вечером на досуге, то есть стирая белье фирмы после целого дня тяжелой работы, — об этом я и думать бросил. Такого счастья мне никогда не будет, я уже вижу!

— Где же еще себя показывать? Неужели вы хотите, чтоб было еще хуже? — со стоном отвечал Мартин из-под одеяла.

— Как же, сэр, конечно могло бы быть хуже, — сказал Марк, — если бы не мое необыкновенное счастье, которое так за мной и гоняется, так по пятам и ходит. В тот вечер, как мы сюда приехали, я, правда, подумал, что хуже быть не может. Не стану врать, я подумал, что хуже не бывает.

— А теперь как, по-вашему?

— Да! — сказал Марк, — Да, конечно, вот в том-то и вопрос. Как обстоит дело теперь? В первое же утро, не успел я выйти из дому, и что же? Натыкаюсь на знакомых, и с тех пор они мне все время и во всем решительно помогают! Это, знаете ли, не годится; этого я никак не ожидал. Вот если б я наткнулся на змею и был бы ужален, или на примерного патриота и получил бы удар ножом, или на толпу сочувствующих в воротничках наизнанку и был произведен в знаменитости, — тут бы я еще мог показать себя, это все-таки была бы заслуга. А сейчас самое главное, для чего я ехал, пошло прахом! И везде так будет, куда бы я ни сунулся. Как

вы себя чувствуете, сэр?

— Как нельзя хуже, — отвечал бедняга Мартин.

— Это уже кое-что, — возразил Марк, — но этого мало. Вот если я сам тяжело заболею и до конца не потеряю веселости, тут еще будет чем похвалиться, а все остальное пустяки.

— Ради бога, не надо, не говорите этого! — сказал Мартин, содрогаясь от страха. — Что мне тогда делать, если вы заболеете, Марк?

Настроение мистера Тэпли заметно повысилось после этих слов, хотя другой на его месте скорее обиделся бы. Он гораздо веселее взялся за стирку и заметил, что „барометр поднимается“.

— Одно только здесь хорошо, сэр, — продолжал мистер Тэпли, с силой намыливая белье, — и настраивает меня на веселый лад — это, что Эдем настоящие Соединенные Штаты в малом виде. В поселке осталось всего каких-нибудь два-три американца, но они и тут дерут нос, сэр, как будто это самое здоровое и красивое место на свете. Они ведут себя, как петух, который, даже спрятавшись, не мог молчать, и выдал себя тем, что закукарекал. Они не могут не горланить, для этого они и родились, и будут орать, хоть убей!

Подняв глаза и случайно выглянув за дверь, он увидел тощего субъекта в синем балахоне и соломенной шляпе, с коротенькой черной трубкой во рту и шишковатой ореховой дубиной в руках; куря трубку и жуя табак, он приближался к ним, ежеминутно сплевывая и усеивая свой путь табачной жвачкой.

— Вот один уж тут как тут, — воскликнул Марк, — Ганнибал Чоллоп.

— Не пускайте его, — слабым голосом взмолился Мартин.

— Он и спрашиваться не станет, сэр, — возразил Марк, — сам войдет.

Это оказалось совершенной правдой: он вошел. Лицо у него было почти такое же жесткое и шишковатое, как его дубинка; такие же были и руки. Голова походила на старую щетку. Он уселся на сундук, не снимая шляпы, положил ногу на ногу и, взглянув на Марка, сказал, не вынимая трубки изо рта:

— Ну, мистер К^о, как поживаете, сэр? Надо заметить кстати, что мистер Тэпли без всяких шуток представлялся под этим именем новым знакомым.

— Очень недурно, сэр, очень недурно, — сказал Марк.

— А это, должно быть, мистер Чезлвит! — воскликнул посетитель. — Как вы поживаете, сэр?

Мартин покачал головой и невольно нырнул под одеяло; он чувствовал, что Ганнибал собирается плюнуть и „свой взор устремил на

него“, как поется в песне.

— Не беспокойтесь обо мне, сэр, — снисходительно заметил мистер Чоллоп. — Меня ни горячка, ни лихорадка не берет.

— Я думал больше о себе, — сказал Мартин, опять выглядывая из-под одеяла. — Мне показалось, что вы собираетесь...

— Я могу рассчитать расстояние с точностью до одного дюйма, — возразил мистер Чоллоп.

И он немедленно доказал Мартину, что обладает этой завидной способностью.

— Мне требуется, сэр, — сказал Чоллоп, — всего два фута в окружности, этого вполне достаточно. Мне случалось плевать и на десять футов по кругу, но это было на пари.

— Надеюсь, вы выиграли, сэр? — спросил Марк.

— Как же, сэр, ведь я поставил деньги, — сказал Чоллоп. — Выиграл, конечно.

Некоторое время он молчал энергично описывая плевками магическую черту вокруг сундука, на котором сидел. Очертив круг, он возобновил разговор.

— Как вам нравится наша страна, сэр? — осведомился он, глядя на Мартина.

— Совсем не нравится, — ответил больной;

Чоллоп продолжал молча курить, ничем не проявляя возмущения, пока ему опять не пришла охота разговаривать. Тогда он вынул трубку изо рта и заговорил:

— Меня это ничуть не удивляет. Тут требуется умственное развитие и подготовка. Ум человека должен быть подготовлен к свободе, мистер К^о.

Он обращался к Марку, потому что Мартин, доведенный до изнеможения лихорадкой и гнусавым голосом этого нового пугала, закрыл глаза, не желая его видеть, и отвернулся к стене.

— Телу тоже не помешает подготовка, не так ли, сэр, — сказал Марк, — особенно на таком благодатном болоте, как это.

— Вы считаете это болотом, сэр? — важно осведомился Чоллоп.

— А как же иначе, сэр, — отвечал Марк. — Ничуть в этом не сомневаюсь.

— Мнение вполне европейское, — сказал Чоллоп, — да оно и не удивительно. А что бы сказали ваши миллионы англичан, увидев такое болото в Англии, сэр?

— Сказали бы, что болото самое гнусное, — ответил Марк, — и что они предпочли бы привить себе лихорадку каким-нибудь другим способом.

— Европейское мнение, — заметил Чоллоп с ироническим сожалением, — вполне европейское!

И продолжал сидеть, дымя, как фабричная труба, молча и невозмутимо, точно у себя дома.

Мистер Чоллоп был, разумеется, тоже один из самых замечательных людей в стране; но он и вправду был человек известный. Его друзья в южных и западных штатах обычно называли его „великолепным образчиком нашего отечественного сырья“ и очень уважали за преданность разумной свободе. Чтобы с большим успехом ее проповедовать, он всегда носил в кармане два семиствольных револьвера. Кроме прочих побрякушек, он носил также трость со стилетом внутри, которую называл „щекотуньей“, и длинный нож, который он, будучи от природы шутником, называл „потрошителем“, намекая на то, что этим ножом всякому выпустит кишки, если дойдет до драки. Он не раз применял это оружие с успехом, своевременно отмеченным на столбцах газет, и заслужил общие симпатии тем, что весьма доблестно высадил глаз джентльмену, который стучался к нему в дверь.

Мистер Чоллоп отличался склонностью к перемене мест и в менее передовом обществе, вероятно, считался бы злостным бродягой. Однако он, можно сказать, родился под счастливой звездой, что не всегда бывает с людьми, опередившими свой век, ибо его замечательные достоинства отлично понимали и ценили в тех местах, с которыми связывала его судьба и где он нашел столько родных душ, способных ему сочувствовать. Предпочитая, из-за склонности к щекотанию и потрошению, жить на задворках общества, в более отдаленных городах и поселениях, он вечно переезжал с места на место, везде затеывая какое-нибудь новое дело, — обычно газету, которую тут же и продавал, в большинстве случаев завершая сделку вызовом нового редактора на дуэль, а то и просто приканчивал его пулей, ударом ножа или дубинки, прежде чем тот успевал вступить во владение.

В Эдем он приехал для подобной же спекуляции, но передумал и собирался уезжать. Перед незнакомыми людьми он любил выступать в роли защитника свободы, а на деле был убежденный сторонник линчевания и рабства негров и неизменно рекомендовал и в печати и устно „смолу и перья“ для всякой непопулярной личности, расходившейся с ним во взглядах. Он называл это „насаждать цивилизацию в диких лесах моей родины“.

Не может быть сомнения, что Чоллоп водрузил бы свое знамя и в Эдеме, наказав Марка за его вольные речи (ибо истинная свобода нема,

когда не хвастается), если бы в поселке не царило такое крайнее уныние и упадок и если б сам он не собирался уезжать. Он только показал Марку один из своих револьверов и спросил, что он думает об этом оружии.

— Не так давно, сэр, я застрелил из него человека в штате Иллинойс, — заметил при этом Чоллоп.

— Неужели застрелили? — без малейшего волнения сказал Марк. — Что ж, вы поступили... очень свободно и очень независимо.

— Я застрелил его, сэр, — продолжал Чоллоп, — за то, что он утверждал в трехнедельной газете „Спартанский портик“, будто бы древние афиняне раньше нас выдумали демократическую программу.

— А что это такое? — спросил Марк.

— Только европейцы этого не знают, — ответил Чоллоп, мирно покуривая трубку, — одни только европейцы. Посвятив некоторое время восстановлению магического круга, Чоллоп возобновил разговор, заметив: — Вы все еще не чувствуете себя в Эдеме как дома?

— Нет, не чувствую, — ответил Марк.

— Вам не хватает налогов вашей родины. Быть может, налогов на дома? — заметил Чоллоп.

— И самих домов, пожалуй, — сказал Марк.

— Здесь нет налогов на окна^[110], — заметил Чоллоп.

— Да ведь и окон тоже нет, — сказал, Марк.

— Нет ни решеток, ни тюрем, ни плах, ни дыбы, ни эшафотов, ни пыток, ни позорных столбов! — сказал Чоллоп.

— Ничего, кроме револьверов и ножей, — возразил Марк. — А что это такое? Мелочь, не стоит и разговаривать.

В это время к дому подошел, с трудом волоча ноги, человек, которого они встретили в первый вечер на пристани, и заглянул в дверь.

— Ну, сэр, — спросил Чоллоп, — как вы поживаете? Поселенцу было трудно даже двигаться, и он так и ответил.

— Мы тут поспорили немножко с мистером К^о, — заметил Чоллоп. — Я думаю, не мешало бы его как следует проучить, чтобы не равнял Старый Свет с Новым!

— Да, действительно, — отвечала несчастная тень.

— Я только заметил, сэр, — сказал Марк, обращаясь к этому новому посетителю, — что место, где мы с вами имеем честь жить, кажется мне болотистым. А как ваше мнение?

— Иногда здесь бывает сыровато, по-моему, — отвечал поселенец.

— Но не так сыро, как в Англии? — свирепо глядя на него, спросил

Чоллоп.

— Нет, конечно, не так сыро, как в Англии, — не говоря уже об ее учреждениях.

— Надеюсь, любое болото в Америке утрет нос этому дрянному острову, — резко возразил Чоллоп. Вы начисто, решительно и окончательно расплатились со Скэддером, сэр? — обратился он к Марку.

Тот ответил утвердительно. Мистер Чоллоп подмигнул своему соотечественнику:

— Ловкач этот Скэддер, а? Идет в гору, сэр! Такой человек куда угодно влезет, а?

Мистер Чоллоп опять подмигнул своему соотечественнику.

— Будь моя воля, он залез бы очень высоко, — сказал Марк, — пожалуй, на самую верхушку хорошей, высокой виселицы.

Мистера Чоллопа так обрадовала ловкость его достойного соотечественника, который сумел надуть англичанина, и так насмешило недовольство последнего, что он разразился громким восторженным хохотом. Но еще более дико было видеть проявление того же злорадства в другом человеке; замученная болезнью, разбитая, жалкая тень так веселилась, что, казалось, забыла о своей беде и, захлебываясь от смеха, твердила, что этот „Скэддер ловкач, он вытянул таким порядком немало денег у англичан, что верно, то верно“.

Досыта посмеявшись этой шутке, мистер Ганнибал Чоллоп опять принялся за трубку и за восстановление магического круга плевков, очевидно не собираясь ни разговаривать, ни прощаться; судя по всему, он разделял достаточно распространенное заблуждение, что если свободный и просвещенный гражданин Соединенных Штатов вздумает обратить чужой дом в плевательницу часа на два, на три, то этим только выразит утонченный такт, внимание и вежливость и очень обяжет хозяев. Наконец он поднялся с места.

— Ну, я пошел, — заметил он.

Марк попросил его особенно беречь свое здоровье.

— На прощанье, — возразил мистер Чоллоп строго, — мне надо вам сказать одно словечко. У вас, знаете ли, чертовски длинный язык.

Марк поблагодарил его за комплимент.

— С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят в вас.

— За что же это? — спросил Марк.

— Нас надо уважать, сэр, — угрожающим тоном ответил Чоллоп. — Вы тут не в деспотической стране. Мы пример для всего земного шара, и

потому нас надо уважать, предупреждаю.

— Как, разве я был непочтителен? — воскликнул Марк.

— Я и не за то всаживал пулю и убивал на месте, — отвечал Чоллоп, нахмурившись. — И не таким еще храбрецам приходилось бежать без оглядки — а все из-за этого самого. И не за такое дело наш просвещенный народ линчевал людей, в порошок их стирал. Мы — разум и добродетель земли, сливки человечества, лучший цвет его. Нам ничего не стоит ошечиниться. Нас надо уважать, а не то мы ошечинимся и зарычим. И зубы покажем, вперед говорю. Так что уважайте нас, вот что!

Сделав такое предупреждение, мистер Чоллоп удалился с потрошителем, щекотуньей и револьверами, всегда готовыми к услугам по малейшему поводу.

— Вылезайте из-под одеяла, сэр, — сказал Марк, — он ушел. Что же это такое? — прибавил он тихонько, становясь на колени, чтобы взглянуть в лицо своему компаньону, и беря его горячую руку. — До чего довела человека эта болтовня и хвастовство! Он бредит и не узнает меня!

Мартин и в самом деле был опасно болен, даже близок к смерти. Он много дней пролежал в таком состоянии; и все это время бедные друзья Марка самозабвенно ухаживали за ним. Изнемогая душой и телом, работая весь день и дежуря около больного ночью, изнуренный непривычным трудом и тяжкими лишениями, Марк никогда не жаловался и нимало не поддавался унынию. Если он прежде и думал, что Мартин эгоист, что он невнимателен к другим, способен работать лишь порывами, легко падает духом, то теперь он все забыл. Он помнил только лучшие свойства своего товарища по скитаниям и был ему предан душой и телом.

Прошло много недель, прежде чем Мартин начал ходить, опираясь на палку и на руку Марка; но и после того выздоровление тянулось очень медленно — без хорошего питания и здорового воздуха. Он был еще совсем слаб и худ, когда их поразило несчастье, которого он так боялся. Заболел Марк.

Марк боролся с болезнью, но болезнь оказалась сильнее, и все его усилия были напрасны.

— Похоже, что и меня свалило, сэр, — сказал он однажды утром, пытаюсь встать с постели и опять ложась, — но я весел!

Свалило в самом деле — и надолго свалило! — как мог бы заранее предвидеть всякий, кроме Мартина.

Если друзья Марка были добры к Мартину (а они были очень добры), то к самому Марку они были в двадцать раз добрей; теперь пришел черед Мартина взяться за работу и ухаживать за больным, сидеть возле него

долгими-долгими ночами, ловя каждый звук в этой угрюмой пустыне, и слушать, как бредит бедный Марк Тэпли: играет в кегли в „Драконе“, любезничает с миссис Льюпин, привыкает к морской качке на борту парохода, странствует с Томом Пинчем по дорогам Англии, корчует пни в Эдеме — и все это в одно и то же время.

Но когда Мартин ухаживал за ним, подавая ему воду или лекарство, или возвращался домой после тяжелой работы на участке, терпеливый мистер Тэпли улыбался ему и восклицал:

— Я весел, сэр, я весел!

Глядя на больного Марка, который ни разу не упрекнул его, не возроптал и ни разу не пожалел о прошлом, но всегда старался быть мужественным и стойким, Мартин невольно задумывался о том, почему этот человек, которого жизнь никогда не баловала, оказался настолько лучше его, который всегда был баловнем счастья? А так как уход за больным, особенно за таким больным, которого мы знали деятельным и полным сил, наводит на размышления, Мартин начал спрашивать себя: в чем же разница между ним и Марком?

Сделать вывод ему помогло постоянное присутствие в доме знакомой Марка, их спутницы на пароходе, — оно навело его на мысль, что, пожалуй, они с Марком отнеслись к ней очень по-разному, когда ей нужна была помощь. Почему-то он тут же подумал о Томе Пинче; ему казалось, что Том, оказавшись в таком же положении, вероятно, тоже завел бы знакомство с нею; и тогда Мартин задал себе вопрос: чем же эти очень разные люди похожи друг на друга и не похожи на него? На первый взгляд в этих размышлениях не было ничего печального, и все же они глубоко опечалили Мартина.

Натура у Мартина была прямая и благородная, но он воспитывался в доме своего деда, а в семье нередко бывает, что низкие страсти порождают сходные пороки и ведут к раздорам. В особенности это относится к эгоизму, а также к подозрительности, скрытности, хитрости и скупости. Еще ребенком Мартин бессознательно рассуждал: „Мой опекун так занят собой, что мне не на кого надеяться, разве только на самого себя“. И он стал эгоистом.

Но сам он этого не признавал. Услышав такой упрек, он с негодованием отверг бы обвинение и счел бы, что его оклеветали незаслуженно. Он так и не познал бы самого себя, если бы ему не пришлось, только что оправившись после тяжелой болезни, ухаживать за таким же тяжелобольным; только тогда он понял, как близко от могилы было его драгоценное „я“ и как оно зависимо и ничтожно.

Разумеется, он часто думал — на это у него были целые месяцы — о своем избавлении от смерти и о том, что она грозит Марку. Невольно напрашивался вопрос, кому из них следовало бы остаться в живых и почему? Тогда-то край завесы стал медленно приподниматься, разоблачая эгоизм, эгоизм, эгоизм...

Мало того, боясь потерять Марка, он спрашивал себя (как каждый спросил бы себя на его месте), исполнил ли он свой долг по отношению к товарищу, заслужил ли такую верность и усердие и отплатил ли за них как следует? Нет. Как ни кратковременна была их дружба, Мартин сознавал, что часто, очень часто был виноват перед Марком а когда он стал доискиваться — почему, завеса приподнялась еще немного, — и эгоизм, эгоизм, эгоизм заполнил собой всю сцену.

Прошло немало времени, прежде чем он познал самого себя настолько, что правда стала ему ясна; но в страшном безлюдье этого страшного места, где надежда покинула его, честолюбие угасло и где смерть гремела костями, стучась в двери, как в зараженном чумой городе, им овладело раздумье; и тогда Мартин стал размышлять и понял, в чем его слабость и каким безобразным пятном она чернит его жизнь.

Эдем оказался суровой школой, и урок был тоже суровым; кстати, здесь нашлись и учителя — болота, лесные дебри, отравленный воздух, которые по-своему будили и направляли мысль.

Мартин торжественно поклялся, что, когда силы вернутся к нему, он не станет спорить и опровергать эту установленную истину, но признает, что в душе его живет эгоизм и что надо вырвать его с корнем. Он так сомневался (и справедливо) в твердости своего характера, что решил не говорить Марку ни слова о своем запоздалом раскаянии и добрых намерениях, но исправляться постепенно и только собственными силами; в этом решении не было ни капли гордости, ничего, кроме смирения и мужества, — и лучшего оружия он не мог бы выбрать. Вот, как безжалостно Эдем развенчал его. И вот на какую высоту он его вознес.

После долгой и затяжной болезни (в самое трудное время, когда Марк не мог даже говорить, он писал на доске дрожащей рукой: „Я весел!“) стали заметны первые признаки выздоровления. Они то появлялись, то исчезали, не устанавливаясь; но в конце концов Марк начал бесспорно поправляться, с каждым днем ему становилось все лучше и лучше.

Когда он поправился настолько, что мог говорить не утомляясь, Мартин посоветовался с ним относительно одного плана, который задумал давно; несколько месяцев назад он привел бы его в исполнение сам, не спрашивая ни у кого совета.

— Наше положение отчаянное, — сказал Мартин, — Это ясно. Все отсюда бегут; должно быть везде известно, что место здесь гиблое, и, стало быть, продать участок, хотя бы задешево, нам не удастся, даже если бы позволила совесть. Покинуть родину было сумасбродной затеей, и кончилась она провалом. Нам осталась одна надежда, одна цель, к которой мы должны стремиться: оставить Эдем навсегда и вернуться в Англию. Во что бы то ни стало! Любыми средствами! Только бы вернуться, Марк!

— Больше ничего, сэр, — подтвердил мистер Тэпли, многозначительно подчеркивая каждое слово, — только бы вернуться!

— Так вот, по эту сторону океана, — сказал Мартин, — у нас есть один друг, который может нам помочь, — это мистер Бивен.

— Я думал о нем, когда вы заболели, — сказал Марк.

— Нам нельзя терять времени, не то я написал бы деду, — продолжал Мартин, — и попросил бы у него денег, лишь бы освободиться из западни, в которую нас так подло заманили. Не написать ли сначала мистеру Бивену?

— По-моему, он очень приятный джентльмен, — сказал Марк.

— То небольшое, что мы привезли с собой и на что потратили наши деньги, можно было бы продать, — продолжал Мартин, — и мы сейчас же ему вернули бы все, что выручили. Но здесь ничего не продашь.

— Здесь некому покупать, кроме покойников и свиней, — сказал мистер Тэпли, невесело покачав головой.

— Может быть, рассказать ему все это и попросить ровно столько денег, сколько надо на дорогу до Нью-Йорка или до любого порта, откуда мы сможем добраться домой, нанявшись на какую-нибудь работу, и кстати объяснить, что у меня есть родные и что я постараюсь уплатить ему, как только вернусь в Англию, хотя бы взяв деньги у деда?

— Что ж, правильно, — сказал Марк, — он может только отказать, а может и согласиться. Попробуйте, сэр, если вы не против...

— Не против! — воскликнул Мартин. — Я виноват, что мы попали сюда, и я готов сделать все, лишь бы уехать. Мне горько думать о прошлом. Конечно, если бы я спросил вашего мнения раньше, Марк, нас бы здесь не было.

Мистер Тэпли был очень удивлен этим признанием, однако же возразил с большим жаром, что они все равно очутились бы здесь и что он твердо решил ехать в Эдем в ту же минуту, как услышал о нем.

После этого Мартин прочел ему письмо к мистеру Бивену, которое было уже готово. В нем он откровенно, ни о чем не умалчивая, описывал их положение; рассказывал о перенесенных бедствиях и скромно, без всяких

уверток, излагал свою просьбу. Марк очень одобрил это письмо, и они решили отправить его с первым же пароходом, который пойдет в ту сторону и остановится набрать дров в Эдеме, где чего другого, а дров было сколько угодно. Не зная адреса мистера Бивена, Мартин направил его достопамятному мистеру Норрису в Нью-Йорк, приписав на конверте просьбу немедленно переслать письмо по назначению.

Прошло больше недели, прежде чем показался пароход; и, наконец, ранним утром их разбудило энергичное пыхтение „Исава Слоджа“, названного в честь одного из самых замечательных людей в стране, который где-то там чем-то отличился. Они побежали к пристани, благополучно сдали письмо и, мешая другим пройти по сходням, все ждали, пока пароход отойдет. Наконец капитан „Исава“ выразил пожелание, чтобы его „смололи в муку и настругали из него стружек, если он не спихнет их сию минуту в это пойло“, — что в переносном смысле означало намерение сбросить их в реку.

Ответ они могли получить не раньше как через полтора-два месяца. Тем временем Марк и Мартин из последних сил старались устроить свой участок, расчищая его и готовя для посева. Как ни плохо они хозяйничали, все же дело у них шло лучше, чем у соседей, потому что Марк кое-что смыслил в земледелии, а Мартин учился у него; другие же поселенцы, еще остававшиеся на этом гнилом болоте (какая-то горсточка людей, изнуренных болезнями), по-видимому, явились сюда в убеждении, что искусство пахать землю — это природный дар, которым владеет всякий. Поселенцы помогали друг другу в этой работе, как и во всем остальном, но работали угрюмо, без всякой надежды, словно партия арестантов.

По вечерам, когда Марк с Мартином оставались одни, они часто говорили перед сном о родине, о знакомых местах, домах, дорогах и людях, которых они прежде знали: иногда с живой надеждой увидеть их вновь, иногда — с тихой грустью, словно эта надежда погибла. Во время этих разговоров Марк, к великому своему изумлению, стал замечать в Мартине странную перемену.

„Не знаю, что и думать, — рассуждал Марк про себя однажды вечером, — он совсем не то, что я полагал. Гораздо меньше занят собой. Ну-ка, попробую еще“.

— Спите, сэр?

— Нет, Марк.

— Думаете о родине, сэр?

— Да, Марк.

— Вот и я тоже, сэр. Я думал, сэр: что-то поделывают теперь мистер

Пинч и мистер Пексниф.

— Бедняга Том! — произнес Мартин задумчиво.

— Недальнего ума человек, сэр — заметил мистер Тэпли. — На органе играет задаром. О себе не умеет позаботиться!

— Да, хотелось бы, чтобы он немножко больше о себе думал, — сказал Мартин. — Хотя, может быть, я вздор говорю. Пожалуй, мы бы тогда не так его любили.

— Все им помыкают, — намекнул Марк.

— Да, — сказал Мартин, помолчав немного. — Я это знаю, Марк.

В голосе Мартина звучало такое сожаление, что его компаньон оставил этот разговор и перешел на другое.

— Ах, сэр! — вздохнул Марк. — Боже ты мой! Многим же вы рискнули из любви к молодой леди!

— Знаете, что я вам скажу, Марк, я в этом не уверен, — ответил Мартин быстро и решительно, он даже приподнялся и сел в постели. — Я начинаю сомневаться; мне это далеко не так ясно, как раньше. Вот она так в самом деле очень несчастна. Ведь она жертвует душевным спокойствием, жертвует кровными интересами, она не может убежать оттуда, где ей завидуют и мешают жить, как убежал я. Она должна терпеть, Марк, терпеть со связанными руками, бедная девушка! Я начинаю думать, что ей приходится выносить гораздо больше, чем мне, честное слово!

Мистер Тэпли широко раскрыл глаза в темноте, но слушал, не перебивая.

— Скажу вам по секрету, Марк, — продолжал Мартин, — раз мы уже заговорили об этом. Кольцо...

— Какое кольцо, сэр? — спросил Марк, раскрывая глаза еще шире.

— То кольцо, что она подарила мне на прощанье, Марк. Она купила его; купила, зная, что я беден и горд (помоги мне, боже! горд!) и нуждаюсь в деньгах.

— Кто это вам сказал, сэр? — спросил Марк.

— Я это говорю. Я знаю. Я думал об этом сотни раз, мой милый, когда вы лежали больны. А я, как бессмысленное животное, снял кольцо у нее с руки, надел себе на палец и больше не думал о нем, даже в ту минуту, когда расставался с ним и должен был бы заподозрить правду! Но уже поздно, — сказал Мартин, спохватываясь. — Вы еще слабы и устали, я знаю. Вы говорите со мной только для того, чтобы подбодрить меня. Спокойной ночи! Благослови вас боже, Марк!

— Господь с вами, сэр!

„Меня решительно провели, — с улыбкой думал мистер Тэпли,

поворачиваясь на бок. — Это надувательство! Я не затем поступал в услужение. Невелика честь быть веселым у такого хозяина“.

Время шло, и немало обратных пароходов приставало к берегу набрать дров, а ответа на письмо все не было. И по-прежнему поселенцев изводили дожди, жара, болотная гниль и вредные испарения, порождавшие болезни и всякую нечисть. Земля, воздух, растительность, даже вода, которую они пили, — все дышало гибелью. Их бывшая спутница давно уже потеряла двоих детей и теперь схоронила последнего. Все это самое обыкновенное дело, такие вещи никого не тревожат, и никто не желает их знать. Именитые ловкачи богатеют, а безродные бедняки умирают в забвении. Вот и все.

Наконец к пристани пыхтя подошел пароход. Марк дожидался его у дровяного склада, и с борта парохода ему передали письмо. Он понес его Мартину. Оба они переглянулись в волнении.

— Тяжелое, — едва выговорил Мартин. И когда он вскрыл конверт, из него выпала небольшая пачка долларов.

Что оба они говорили, делали и чувствовали в первую минуту, никто из них не помнил. Марк знал только одно, что он бегом бросился на пристань, пока не ушел пароход, спросить, когда он пойдет обратно и остановится в Эдеме.

Ответ был — дней через десять или двенадцать; однако они в тот же вечер начали укладывать и увязывать вещи. Как только первое волнение прошло, каждый из них подумал (в этом они признались друг другу позже), что не доживет до возвращения парохода.

Однако оба они остались живы, и пароход пришел через три долгие, бесконечно тянувшиеся недели. В один осенний день, с восходом солнца, они уже стояли на палубе.

— Мужайтесь! Мы еще встретимся с вами в Старом Свете! — кричал Мартин, махая рукой двум исхудалым фигурам, стоявшим на берегу.

— Или на том свете, — прибавил Марк, понизив голос. — А они так спокойно стоят рядышком — вот что всего тяжелей видеть.

Пароход тронулся, и они посмотрели друг на друга, потом оглянулись назад, на то место, откуда он так быстро уносил их. Бревенчатый домик с открытой настежь дверью и наклонившимися над ним деревьями; стоячий утренний туман, и тускло проглядывающее сквозь него красное солнце; испарения, поднимающиеся от земли и воды; полноводная река, рядом с которой ненавистные берега кажутся еще более унылыми и плоскими, — сколько раз все это повторялось потом во сне! Какое счастье было просыпаться, зная, что это только тени, которые исчезли навсегда!

Глава XXXIV,

где путешественники направляются домой и по дороге знакомятся с некоторыми выдающимися личностями.

Среди пассажиров на пароходе внимание Мартина сразу привлек один хилый джентльмен, который сидел на низком складном стуле, задрав ноги на высокую бочку с мукой, словно любовался на пейзаж пятками.

Прямые черные волосы, разделенные посередине пробором, свисали у него на воротник, коротенькая бахромка волос торчала на подбородке; он был без галстука, в белой шляпе и черном костюме с очень длинными рукавами и очень короткими брюками, в грязных коричневых чулках и башмаках со шнурками. Цвет его лица, от природы грязный, казался еще грязней оттого, что он строго экономил воду и мыло; то же можно было сказать и о подлежащих стирке частях его туалета, которые ему не мешало бы переменить, себе на пользу и всем своим знакомым на утешение. Ему было лет тридцать пять; весь съездившись и согнувшись пополам, он прятался под большим зеленым зонтиком и жевал табачную жвачку, как корова.

Он не был, разумеется, исключением; остальные пассажиры на пароходе, по-видимому, тоже не ладили с прачкой и бросили умываться еще в ранней юности.

Остальные пассажиры были тоже накрепко закупорены табачной жвачкой и казались совершенно развинченными в суставах. Но этот пассажир, отличавшийся особенно пронизательным и глубокомысленным видом, показался Мартину значительной особой, что не замедлило подтвердиться.

— Как вы поживаете, сэр? — раздался чей-то голос над самым ухом Мартина.

— Как вы поживаете, сэр? — отозвался Мартин.

С ним говорил высокий худой пассажир в драповой фуражке и длинном просторном пальто из зеленого фриза, с черными бархатными отворотами на карманах.

— Вы из Европы, сэр?

— Да, из Европы, — отвечал Мартин.

— Вам повезло, сэр.

Мартин тоже так думал; но вскоре оказалось, что они понимают это

замечание совершенно по-разному.

— Вам повезло, сэр: не всякому удастся видеть Илайджу Погрэма.

— Илайджупогрэма? — переспросил Мартин, думая, что это одно слово и что так называется какое-нибудь здание.

— Да, сэр.

Мартин сделал вид, что понимает, хотя не понял ровно ничего.

— Да, сэр, — повторил джентльмен. — Наш Илайджа Погрэм, сэр, собственной персоной сидит сейчас возле парового котла.

Джентльмен под зонтиком приставил указательный палец к виску, как бы обдумывая государственные проблемы.

— Это и есть Илайджа Погрэм? — спросил Мартин.

— Да, сэр, — отвечал пассажир. — Это Илайджа Погрэм.

— Боже мой! — сказал Мартин. — Я поражен. — Однако он не имел ни малейшего представления, кто такой Илайджа Погрэм, ибо первый раз в жизни услышал эту фамилию.

— Если бы паровый котел лопнул, сэр, — сказал его новый знакомый, — и лопнул сию минуту, это был бы праздничный день в календаре деспотизма, почти равный, сэр, по своему значению для человечества, нашему славному четвертому июля^[111]. Да, сэр, это почтенный Илайджа Погрэм, член конгресса; один из великих умов нашей страны, сэр. Какой у него лоб, сэр!

— Лоб замечательный, — сказал Мартин.

— Да, сэр. Говорят, наш бессмертный Чигл, сэр, создавая из мрамора знаменитую статую Погрэма, которая так взволновала умы в Европе и породила столько споров, заметил, что это лоб не простого смертного. Это было еще перед вызовом Погрэма и, значит, может считаться предсказанием, да еще каким удачным.

— А что такое „Вызов Погрэма“? — спросил Мартин, думая, что это, быть может, трактирная вывеска.

— Ораторское выступление, сэр, — отвечал его собеседник.

— Ах, да, конечно, — воскликнул Мартин. — О чем я только думал! Оно бросило вызов...

— Оно бросило вызов всему свету, — важно ответил незнакомец. — Бросило вызов всему свету помериться силами с нашей страной в чем угодно; мы, мол, достаточно богаты внутренними ресурсами, чтобы объявить войну всему свету. Хотите, я познакомлю вас с Илайджей Погрэмом, сэр?

— Будьте так добры, — сказал Мартин.

— Мистер Погрэм, — сказал незнакомец, хотя мистер Погрэм слышал

каждое слово их разговора, — это джентльмен из Европы, сэр, из Англии, сэр. Но великодушные враги могут встречаться на нейтральной почве частной жизни, мне так кажется, сэр.

Томный мистер Погрэм пожал Мартину руку с вялостью автомата, у которого кончается завод. Зато табак он жевал с энергией только что заведенного автомата.

— Мистер Погрэм — общественный деятель, сэр, — сказал церемониймейстер. — Когда конгресс разъезжается на каникулы, мистер Погрэм знакомится со свободными Соединенными Штатами, даровитым сыном которых он является.

Мартину пришло в голову, что если бы почтенный мистер Погрэм остался дома, а путешествовать отправил свои башмаки, то цель все равно была бы достигнута, ибо в данное время одни его башмаки могли что-нибудь видеть.

Однако немного погодя мистер Погрэм встал и, освободившись от остатков жвачки, мешавших членораздельной речи, перешел в другое место, где было к чему прислониться, и, не выпуская из рук зеленого зонтика, завел разговор с Марином.

Так как он начал словами „Как вам нравится...“, то Мартин перебил его:

— ...ваша страна, я полагаю?

— Да, сэр, — сказал Илайджа Погрэм. Кучка пассажиров собралась послушать, что будет дальше, и Мартину было слышно, как его знакомый шепнул своему знакомому, потирая руки: — Сейчас Погрэм разнесет его вдребезги, вот увидите!

— Как вам сказать, — начал Мартин после минутного колебания, — я по опыту знаю, что, задавая этот вопрос, вы пользуетесь преимуществом своего положения. Вы желаете, чтобы на него отвечали в одном и том же духе. А я не хочу отвечать в этом духе, по совести не могу, а потому лучше совсем ничего не отвечу.

Но мистер Погрэм собирался выступить на следующей сессии с большой речью о внешней политике, он собирался также написать ряд громовых статей по этому вопросу; и, вполне одобряя свободный и независимый обычай (весьма безобидный и приятный) выуживать в частной беседе всякого рода сведения, а потом перевирать их в печати как вздумается, он решил во что бы то ни стало узнать мнение Мартина. Ибо, если бы ему не удалось ничего добиться, пришлось бы выдумывать все самому, а это хлопотливое дело. Заметив про себя слова Мартина, Погрэм снова принялся за свое:

— Вы только что из Эдема, сэр? Как вам понравился Эдем?

Мартин в довольно сильных выражениях изложил свое мнение насчет Эдема.

— Удивительно, — сказал Погрэм, обводя взором слушателей, — какая ненависть к нашей стране и к нашим учреждениям! Эта национальная антипатия глубоко укоренилась в душе британца!

— Боже правый, сэр! — воскликнул Мартин. — Да разве эдемская земельная корпорация с мистером Скэддером во главе и всеми несчастьями, которые она породила, есть американское учреждение? И при чем тут та или иная форма правления?

— Я полагаю, что причина этого, — продолжал Погрэм с того самого места, на котором Мартин прервал его, — коренится отчасти в зависти и предрассудках, отчасти же в прирожденной неспособности англичан оценить возвышенные установления нашего отечества. Во время вашего пребывания в Эдеме вы, верно, встречались, — сказал он, опять обращаясь к Мартину, — с джентльменом по имени Чоллоп?

— Да, — ответил Мартин, — но я был тогда очень болен, и мой друг лучше сумеет вам ответить. Марк, этот джентльмен спрашивает про мистера Чоллопа.

— О да, сэр. Да. Я его видел, — заметил Марк.

— Великолепный образчик нашего отечественного сырья? — вопросительно произнес Погрэм.

— Еще бы, сэр! — воскликнул Марк.

Почтенный Илайджа Погрэм взглянул на своих сторонников, как бы говоря: „Замечайте! Смотрите, что сейчас будет!“ И они отдали дань таланту Погрэма одобрительным ропотом.

— Наш соотечественник — образец человека, только что вышедшего из мастерской природы! — с энтузиазмом воскликнул Погрэм. — Он истинное дитя нашего свободного полушария, свеж, как горы нашей страны, светел и чист, как наши минеральные источники, не испорчен иссушающими условностями, как широкие и беспредельные наши прерии! Быть может, он груб — таковы наши медведи. Быть может, он дик — таковы наши бизоны. Зато он дитя природы, дитя Свободы, и его горделивый ответ деспоту и тирану заключается в том, что он родился на западе.

Эта речь не столько относилась к Чоллопу, сколько к одному почтмейстеру из западных штатов, который не так давно перед этим растратил казенные деньги (явление отнюдь не редкое в Америке) и был смещен с должности; защищая его в конгрессе, мистер Погрэм

(почтмейстер голосовал за него) бросил в лицо непопулярному президенту эту громовую фразу. Она и сейчас оказала свое действие, слушатели пришли в восторг, и один из них сказал Мартину, что „теперь, надо думать, он понял, что такое американское красноречие, и признает себя побежденным“.

Мистер Погрэм подождал, пока его слушатели успокоились, и спросил Мартина:

— Вы, кажется, другого мнения, сэр?

— Да, — сказал Мартин, — мне он не очень понравился, должен сознаться. По-моему, он скандалист, и я вовсе не в восторге от его привычки носить с собою смертоносные орудия убеждения и с такой легкостью пускать их в ход.

— Странно! — сказал Погрэм, приподнимая зонтик и выглядывая из-под него. — Удивительно! Заметьте, какую упорную оппозицию нашим учреждениям оказывает дух британца!

— Какие вы непонятливые люди! — воскликнул Мартин. — Разве мистер Чоллоп и другие господа его сорта являются здесь учреждением? Разве револьверы, трости с кинжалами, ножи и прочее — ваши учреждения, которыми вы гордитесь? Разве кровавые дуэли, зверские драки, грубые оскорбления, убийства и резня на улицах — ваши учреждения? Пожалуй, вы скажете мне, что бесчестье и обман тоже учреждения великой республики?

Как только Мартин замолчал, почтенный Илайджа Погрэм опять обвел взглядом слушателей.

— Такая болезненная ненависть к нашим учреждениям, — заметил он, — достойна внимания психологов. Это он намекает на аннулирование государственного долга!

— О, вы можете считать учреждением все, что вам угодно, — усмехнувшись, сказал Мартин, — и тут мне трудно с вами спорить, ибо и это, несомненно, одно из созданных вами учреждений. Но почти всем этим у нас ведает одно учреждение, именуемое Олд-Бейли!

В эту минуту зазвонил обеденный колокол, и все бросились в рубку, причем почтенный Илайджа Погрэм проявил самую невероятную прыть, совсем позабыв про раскрытый зонтик, который так прочно застрял в дверях рубки, что нельзя было ни вытащить его, ни закрыть.

Этот несчастный случай произвел настоящий бунт среди голодных пассажиров, столпившихся позади; они пришли в исступление, видя кушанья, слыша стук ножей и вилок и отлично понимая, чем кончится дело, если они не попадут к столу вовремя; а между тем добродетельные

граждане за столом, подвергая себя смертельной опасности, делали сверхъестественные усилия, стараясь уничтожить все съестное, прежде чем явятся остальные.

Однако запоздавшие пассажиры взяли зонтик штурмом и ворвались в брешь. Достопочтенный Илайджа Погрэм и Мартин после ожесточенной борьбы оказались рядом, как это могло бы случиться в партере лондонского театра, и целых четыре минуты Погрэм глотал большими кусками все, что ни попадалось под руку, жадно, как ворон. Покончив с необычайно затянувшимся на сей раз обедом, он обратился к Мартину и попросил его нимало не стесняться и говорить с ним совершенно свободно, ибо он спокоен, как подобает философу. Мартин был весьма рад это слышать, ибо он уже начал задумываться, не принадлежит ли мистер Погрэм к другой школе республиканской философии, благородные афоризмы которой вырезаются ножом на теле учеников и пишутся не пером и чернилами, а смолой и перьями.

— Что вы думаете о моих соотечественниках, которые здесь присутствуют? — спросил Илайджа Погрэм.

— Очень приятные люди, — сказал Мартин.

Общество и в самом деле было приятное. Ни один из обедающих еще не произнес ни слова; каждый, как и всегда, старался поскорей набить себе желудок, и большинство решительно не умело вести себя за столом.

Достопочтенный Илайджа Погрэм посмотрел на Мартина, как бы говоря: „Вы этого не думаете, я знаю!“ — и вскоре его мнение подтвердилось.

Напротив сидел один в высшей степени протабаченный джентльмен, у которого из остатков табака засыхавших вокруг рта и на подбородке, составила даже целая борода — украшение, настолько распространенное здесь, что Мартин не обратил бы на него внимания, если б этот почтенный гражданин, стремясь уравнять себя в правах с новоприбывшими, не обсосал хорошенько свой нож и не воткнул его в масло как раз в ту минуту, когда Мартин брал себе от того же куска. Все это было проделано так неаппетитно, что стошнило бы даже мусорщика.

Когда Илайджа Погрэм, для которого это было самым обыкновенным делом, увидел, что Мартин отставил тарелку, так и не взяв себе масла, он обрадовался и сказал:

— Ну, знаете ли, изумительно, до чего вы, англичане, ненавидите учреждения нашей страны!

— Честное слово, — воскликнул Мартин в свою очередь, — вы самая непонятная страна, какая существует на свете! Человек ведет себя

положительно как свинья, — и это у вас называется „учреждением“!

— У нас нет времени приобретать манеры, — сказал Погрэм.

— Приобретать! — воскликнул Мартин. — Но речь идет не о том, чтобы непременно приобретать. Речь идет о том, чтобы не утратить врожденную вежливость дикаря и ту инстинктивную воспитанность, которая заставляет человека остерегаться, как бы не оскорбить другого и не внушить ему отвращения. Неужели этот человек не сумел бы вести себя лучше, если бы не считал, что очень хорошо и независимо быть скотом в мелочах, — как вы думаете?

— Он уроженец нашей страны и, конечно, сметлив и боек от природы, — сказал мистер Погрэм.

— Так вот, заметьте, к чему это приводит, мистер Погрэм, — продолжал Мартин. — Большинство ваших соотечественников начинает с того, что упрямо пренебрегает мелкими правилами общежития, которые не имеют ничего общего с такими установлениями, как сословные традиции, нравы, обычаи, и не связаны с формой правления или особенностями страны, но требуются простой, естественной среди людей учтивостью. Вы поощряете их в этом, возмущаясь нападками на их невежливость, словно это лучшая черта национального характера. От несоблюдения мелких условностей они переходят к пренебрежению крупными обязательствами и отказываются платить долги. Что они могут делать в дальнейшем или от чего еще отрекутся, я не знаю; но всякий может видеть, если захочет, что это естественно должно последовать, что это неизбежный процесс развития, порочного в самом корне.

Мистер Погрэм был слишком большим философом, для того чтобы это понять, и они опять вышли на палубу, где мистер Погрэм занял свой прежний пост и жевал табак до тех пор, пока не впал в летаргическое состояние, граничившее с полной бесчувственностью.

После нескольких дней утомительного путешествия они снова подошли к той самой пристани, где Марк чуть было не остался в тот вечер, когда они уезжали в Эдем. Хозяин гостиницы, капитан Кеджик, стоял на пристани и очень удивился, увидев своих старых знакомцев.

— Что за черт! — воскликнул капитан. — Ну, я просто удивляюсь!

— Нельзя ли нам остановиться у вас до завтра, капитан? — спросил Мартин.

— Живите хоть целый год, если вздумается, — сухо ответил капитан. — Только нашим не очень-то понравится, что вы вернулись.

— Не понравится, капитан? — переспросил Мартин.

— Они думали, что вы там останетесь, — отвечал Кеджик, качая

головой. — А вы их надули, не отрицайте этого!

— Что вы хотите сказать этим? — воскликнул Мартин.

— Не надо было вам никого принимать, — сказал капитан. — Да, не надо бы!

— Любезный друг, — возразил Мартин, — разве я хотел кого-нибудь принимать? Разве это была моя затея? Не вы ли сами говорили, что меня начнут травить, как бешеную собаку, и угрожали мне всеми видами мести, если я их не приму?

— Этого я не знаю, — возразил капитан. — Но если наши вломятся в амбицию, то их ничем не уймешь, могу вам сказать!

И капитан пошел вместе с Марком позади Мартина и мистера Погрэма, которые отправились в „Национальный отель“.

— Видите, мы все-таки вернулись живыми! — сказал Марк.

— Это совсем не то, чего я ожидал, — проворчал капитан. — Человек не имеет права на популярность, если не оправдывает ожиданий. Лучшие люди нашего общества не пошли бы к нему на прием, если бы знали это.

Ничто не могло смягчить упорства капитана, который обиделся на то, что оба они не умерли в Эдеме. Постояльцы в „Национальном отеле“ были тоже оскорблены в своих лучших чувствах, но, к счастью, им некогда было особенно огорчаться, так как все вдруг решили наброситься на почтенного Погрэма и немедленно устроить ему прием.

Ужин в гостинице кончился до прибытия парохода, и потому Мартин, Марк и мистер Погрэм закусывали и пили чай втроем, когда явилась депутация, в составе шестерых постояльцев и одного крикливого юнца, чтобы объявить об этой чести.

— Сэр! — начал оратор депутации.

— Мистер Погрэм! — завопил крикливый юнец. Оратор, только тут вспомнив о присутствии крикливого мальчика, представил его:

— Доктор Джинери Данкл, сэр, джентльмен с большим поэтическим дарованием. Он здесь недавно, сэр, могу вас уверить, и является для нас приобретением, сэр. Да, сэр. Мистер Джод, сэр. Мистер Иззард, сэр. Мистер Джулиус Биб, сэр.

— Джулиус Вашингтон Мерривезер Биб, — пробурчал джентльмен себе под нос.

— Прошу прощения, сэр. Извините меня. Мистер Джулиус Вашингтон Мерривезер Биб, сэр, по лесной части, сэр, пользуется большим уважением. Полковник Гропер, сэр. Профессор Пайпер, сэр. Меня самого, сэр, зовут Оскар Баффем.

Каждый из них сделал шаг вперед, боднул головой почтенного

Илайджу Погрэма, пожал ему руку и отступил назад. После того как представления закончились, оратор продолжал:

— Сэр!

— Мистер Погрэм! — возопил крикливый юнец.

— Может быть, — сказал оратор, бросив на него безнадежный взгляд, — вы будете так добры, доктор Джинери Данкл, и возьмете на себя выполнение нашей небольшой миссии, сэр?

Крикливый юнец только того и ждал и потому немедленно выступил вперед.

— Мистер Погрэм, сэр! Группа ваших сограждан, узнав о вашем прибытии в „Национальный отель“ и сознавая патриотический характер услуг, оказанных вами обществу, желает иметь удовольствие, сэр, видеть вас и общаться с вами, сэр, а также отдохнуть в вашем обществе, сэр, в эти минуты...

— ...которые, — подсказал Баффем.

— ...которые выпали так кстати на долю нашей великой и счастливой страны, сэр.

— Слушайте! — громким голосом воскликнул полковник Гропер. — Отлично! Слушайте его! Отлично!

— И потому, сэр, в знак уважения к вам, — продолжал доктор Джинери Данкл, — они просят оказать им честь и присутствовать на небольшом приеме, сэр, в дамской столовой, в восемь часов вечера, сэр.

Мистер Погрэм поклонился и сказал:

— Друзья и соотечественники!

— Отлично! — воскликнул полковник. — Слушайте его! Отлично!

Мистер Погрэм поклонился полковнику особо, затем продолжал:

— Ваше одобрение моим трудам во имя общего дела трогает меня. Во всякое время и на всяком месте, в дамской столовой, друзья мои, и на поле брани...

— Хорошо, очень хорошо. Слушайте, слушайте! — сказал полковник.

— ...имя Погрэма с гордостью присоединится к вашим именам. И да будет написано на моей могиле, друзья мои: „Он был членом конгресса нашего общего отечества и самоотверженно выполнял свой долг“.

— Комитет, сэр, — провозгласил крикливый юнец, — явится к вам без пяти минут восемь. Позвольте проститься с вами, сэр!

Мистер Погрэм еще раз пожал руку ему и всем остальным; но и после, явившись к нему без пяти восемь, они снова жали ему руку и печально произносили один за другим: „Как вы поживаете, сэр?“, словно он пробыл в отсутствии целый год и теперь встретился с ними на похоронах.

К этому времени мистер Погрэм успел освежиться и привести лицо и прическу в полное соответствие со статуей Погрэма, так что всякий, едва взглянув на него, мог бы воскликнуть: „Это он! Именно таков он был, бросая Вызов!“ Члены комитета тоже принарядились, и когда все они в полном составе вошли в дамскую столовую, то многие дамы и джентльмены захлопали в ладоши под возгласы: „Погрэм! Погрэм!“, а некоторые даже становились на стулья, чтобы разглядеть его.

Предмет общего восхищения, проходя по комнате, обвел ее взглядом и улыбнулся, заметив крикливому юнцу, что он и раньше знал о красоте дочерей их общего отечества, но никогда еще не видел их в таком блеске и совершенстве как в эту минуту; на следующий день крикливый юнец напечатал это в газете, к немалому удивлению Илайджи Погрэма.

— Сделайте одолжение, сэр, — сказал Баффем, хватаясь за плечо мистера Погрэма, как будто собирался снимать с него мерку, — станьте, пожалуйста, спиной к стене в самом дальнем углу, чтобы для ваших сограждан было больше места. Если бы вы прислонились вплотную к этому крюку для занавески, сэр, а левую ногу постарались держать за печкой, нам было бы вполне удобно.

Мистер Погрэм сделал, как его просили, и втиснулся в такой маленький уголок, что статуя Погрэма не узнала бы его.

Затем начался вечерний прием. Джентльмены подводили к нему дам, подходили сами и подводили друг друга, спрашивали Илайджу Погрэма, что он думает о таком-то и таком-то политическом вопросе, глядели и на него и друг на друга, и вид у них был самый несчастный. Дамы, усевшись на стульях, рассматривали мистера Погрэма в лорнет и восклицали довольно громко: „Мне хотелось бы, чтобы он заговорил! Почему он не говорит? Ах, попросите его говорить!“ А мистер Погрэм глядел то на дам, то в сторону, изрекая свое сенаторское мнение, когда его спрашивали. Но главной целью и предметом собрания было, по-видимому, ни в коем случае не выпускать мистера Погрэма из угла; там его и держали, не ослабляя надзора.

В середине вечера у дверей началось сущее столпотворение, знаменующее прибытие именитой особы, и немедленно вслед за этим какой-то пожилой джентльмен очертя голову бросился в толпу, с боем прокладывая себе дорогу к достопочтенному Илайдже Погрэму. Мартину, который нашел удобное для наблюдения место в дальнем углу и стоял там рядом с Марком (он уже не так часто забывал о нем, как раньше, хотя все-таки забывал иногда), Мартину показалось, будто он знает этого джентльмена, но окончательно он перестал сомневаться в этом после того,

как джентльмен, вытаращив глаза, провозгласил очень громко:

— Миссис Хомини, сэр!

— Черт бы взял эту женщину, Марк! Опять она тут!

— Вот она идет, сэр, — ответил мистер Тэпли. — И Погрэм ее знает. Известная деятельница! Всегда нянчится со своим отечеством, глаз с него не спускает! Если муж этой дамы держится тех же взглядов, что и я, то-то должен быть веселый старичок!

Толпа расступилась, и миссис Хомини аристократической поступью медленно проплыла по проходу — в своем классическом чепце, со сложенными руками и красным носовым платком, одна составляя процессию. Мистер Погрэм, завидев ее, выразил восхищение, и все кругом притихли, — ибо известно, что, когда такая женщина, как миссис Хомини, встречается с таким человеком, как мистер Погрэм, всегда бывает сказано что-нибудь интересное.

Обмен первыми приветствиями произошел слишком тихо, чтобы его могла расслышать нетерпеливая толпа; но скоро они повысили голос, ибо миссис Хомини, как всегда, знала, чего от нее хотят, и чувствовала себя на высоте положения.

Сначала миссис Хомини обошлась с Погрэмом сурово и учинила ему строгий разнос за некстати поданный им голос по вопросу, против которого она, как мать современных Гракхов, в свое время опубликовала в печати протест, специально набранный курсивом. Однако мистер Погрэм уклонился от разноса, своевременно намекнув на Звездное Знамя^[112], по-видимому обладавшее замечательным свойством всегда поворачиваться именно в ту сторону, куда дует ветер, и тогда она его простила. После этого они с большим успехом обсудили некоторые вопросы тарифов, торговых соглашений, таможенных пошлин, ввоза и вывоза; причем миссис Хомини, по пословице, не только говорила, как книга, но слово в слово повторяла свои собственные книги.

— Господи! Это что такое? — воскликнула миссис Хомини, развертывая маленькую записочку, которую она взяла из рук своего взволнованного кавалера. — Скажите пожалуйста! Ну-ну, подумать только!

И она прочла вслух:

— „Две литературные дамы свидетельствуют свое почтение матери современных Гракхов и просят талантливую соотечественницу оказать им любезность, представив их достопочтенному (и знаменитому) Илайдже Погрэму, черты которого обе л. д. часто созерцали в красноречивом мраморе покоряющего душу Чигла. Получив от матери современных Гракхов словесное заверение, что — она согласна исполнить просьбу двух

л. д., они немедленно и с удовольствием присоединятся к блестящему обществу, собравшемуся, чтобы отметить патриотические заслуги Погрэма. Быть может, упоминание о том, что обе л. д. — поклонницы трансцендентальной философии^[113], послужит новым связующим звеном между ними и матерью с. Гр.“.

Миссис Хомини немедленно встала и проследовала к двери, откуда вернулась через минуту вместе с обеими литературными дамами, которых и подвела по проходу в толпе к великому Илайдже Погрэму с тем достоинством и величием манер, которые так ее отличали. — Это была прямо-таки последняя сцена из „Кориолана“^[114], как объявил в восторге крикливый юноша.

На одной из л. д. был каштановый парик невиданных размеров. На лбу другой держалась, непонятно каким образом, массивная камья с видом вашингтонского капитолия, по величине и форме очень похожая на пирожок с малиной, какие обыкновенно продают за пенни.

— Мисс Топит и мисс Коджер! — сказала миссис Хомини.

— Коджер — это, по-моему, та самая, которую часто поминают в английских газетах, сэр, — шепнул Марк, — старейшая из жителей, та, что ровно ничего не помнит.

— Быть представленным такому человеку, как Погрэм, — сказала мисс Коджер, — такой женщиной, как Хомини, есть действительно волнующий момент, который производит сильное впечатление на то, что мы называем нашими чувствами. Но почему мы их так называем, и что производит на них впечатление, и откуда берутся вообще впечатления, и существуем ли мы в действительности, и существует ли — страшно вымолвить! — в действительности некий Погрэм, или некая Хомини, или же некое деятельное начало, которому мы даем эти имена, — это тема для взыскующего духа, слишком обширная и ответственная, чтобы рассматривать ее в такую непредвиденную и критическую минуту.

— Дух и материя, — сказала дама в парике, — быстро скользят в водовороте бесконечности. Возвышенное стонет, и тихо дремлет безмятежный Идеал в шепчущих покоях Воображения. Внимать ему сладко. Но строгий философ насмешливо обращается к Фантазии: „Эй! Остановите мне эту Силу! Ступайте, приведите ее сюда!“ И видение исчезает.

После чего обе дамы взяли руку мистера Погрэма и поцеловали ее, как руку патриота. Когда эта честь была воздана, мать современных Гракхов потребовала, чтобы принесли стулья, и тут все три литературные дамы

вплотную взялись за Погрэма и начали его обрабатывать, чтобы он показал себя во всем блеске.

Не стоит заносить на скрижали истории, как Погрэм сразу же сбил с толку и понес околесицу, не говоря уже о трех литературных дамах, которым и сбиваться было не с чего. Достаточно сказать, что, потеряв под ногами почву, все четверо барахтались в волнах собственного красноречия, брызгая словами во все стороны. По общему приговору, такого жестокого словесного турнира в „Национальном отеле“ еще не бывало. На глазах крикливого юноши несколько раз выступали слезы, и присутствующие говорили, что голова у них разболелась от напряжения, как и следовало ожидать.

Когда, наконец, настало время выпустить мистера Погрэма из угла и члены комитета благополучно препроводили его в соседнюю комнату, все горячо выразили ему свое восхищение.

— Которое, — сказал мистер Баффем, — должно найти выход, иначе произойдет взрыв. Вам, мистер Погрэм, приношу я благодарность. К вам, сэр, я питаю возвышенное благоговение и глубокое чувство. Мысль, которую я намереваюсь выразить, сэр, такова: „Будьте всегда так же тверды, как ваша мраморная статуя! И пусть она вечно наводит такой же страх на ваших врагов, как и вы сами!“

Есть основания предполагать, что она скорее наводила страх на друзей, чем на врагов, будучи произведением демонической школы и изображая достопочтенного Илайджу Погрэма с волосами, вставшими дыбом, словно на сильном ветру, и широко раздутыми ноздрями. Тем не менее мистер Погрэм поблагодарил своего друга и соотечественника за выраженную им надежду; и комитет после нового торжественного обмена рукопожатиями отошел ко сну, за исключением доктора, который немедленно отправился в редакцию газеты и там, вдохновившись событиями этого вечера, написал коротенькое стихотворение, начинавшееся четырнадцатью звездочками и озаглавленное: „Фрагмент. Наваян созерцанием достопочтенного Погрэма во время философского спора с тремя прелестнейшими дочерьми Колумбии. Сочинение доктора Джинери Данкла, из Трои“.

Если Погрэм чувствовал такую же радость, добравшись до постели, как и Мартин, он получил достойную награду за свои труды. На следующий день они снова тронулись в дорогу (причем Марк и Мартин сначала продали за бесценок свои запасы тем же лавочникам, у которых покупали их) и оказались попутчиками Погрэма почти до самого Нью-Йорка. Перед тем как расстаться с ними, Погрэм впал в задумчивость и

после довольно продолжительных размышлений отвел Мартина в сторону.

— Мы с вами расстаемся, сэр, — сказал Погрэм.

— Не огорчайтесь, прошу вас, — ответил Мартин, — мы должны это перенести.

— Не в том дело, сэр, — возразил Погрэм, — совсем не в том. Я хочу подарить вам экземпляр моей речи.

— Благодарю вас, — сказал Мартин, — вы очень добры. Буду в восторге.

— Опять-таки не в том дело, сэр, — продолжал Погрэм. — Достанет ли у вас смелости ввезти один экземпляр к себе на родину?

— Разумеется, достанет, — сказал Мартин. — Почему же нет?

— Она составлена в очень сильных выражениях, — мрачно намекнул Погрэм.

— Это все равно, — сказал Мартин. — Я возьму хоть дюжину, если хотите.

— Нет, сэр, — возразил Погрэм, — зачем же дюжину. Столько не понадобится. Если вы согласны подвергнуться риску, сэр, — вот вам один экземпляр для вашего лорд-канцлера, — он вручил экземпляр, — и вот другой — для первого государственного секретаря. Я хочу, чтобы они познакомились с ней, сэр, — ибо в ней выражены мои убеждения, — и не могли впредь отговариваться незнанием. Но не подвергайтесь опасности из-за меня, сэр!

— Опасности нет ни малейшей, уверяю вас, — сказал Мартин. Итак, он положил брошюры в карман, и они расстались.

Мистер Бивен писал в своем письме, что в такое-то время, которое весьма счастливо совпадало с их приездом, он остановится в такой-то гостинице и будет с нетерпением ожидать их. Туда они и отправились, не мешкая ни минуты. К счастью, они застали дома своего доброго друга и были им приняты с обычной теплотой и сердечностью.

— Простите меня. Мне поистине стыдно, что пришлось просить у вас денег, — сказал Мартин. — Но посмотрите, на что мы похожи, и судите сами, до чего мы дошли!

— Я не только далек от мысли, что оказал вам услугу, — отвечал тот, — но упрекаю себя в том, что невольно стал первой причиной ваших несчастий. Я не предполагал, что вы поедете в Эдем или что вы вопреки всякой очевидности, не захотите отказаться от мысли, будто здесь легко нажать состояние; я так же не предполагал этого, как не собирался сам ехать в Эдем.

— Я решился на это безрассудно и самоуверенно, — сказал

Мартин, — и чем меньше будет сказано по этому вопросу, тем лучше для меня. Марк не имел голоса в этом деле.

— Ну, он, кажется, не имел голоса и в других делах, не так ли? — возразил мистер Бивен с улыбкой, которая показывала, что он понимает и Марка и Мартина.

— Боюсь, что голос он имел отнюдь не решающий, — сказал Мартин, краснея. — Но век живи, век учись, мистер Бивен! Хоть умри, да научись, — тем скорее научишься.

— А теперь, — сказал их друг, — поговорим о ваших планах. Вы хотите вернуться на родину?

— Да, непременно, — поспешно ответил Мартин, бледнея при мысли о каком-нибудь другом предложении. — Надеюсь, и вы того же мнения?

— Конечно. Я вообще не знаю, зачем вы сюда приехали, хотя, к сожалению, это вовсе не такой редкий случай, чтобы нам стоило обсуждать его. Вы, верно, не знаете, что пароход, на котором вы прибыли вместе с нашим другом генералом Флэддоком, стоит в порту?

— Да, и объявлено, что он отправляется завтра.

Новость была приятная, но вместе с тем и мучительная, ибо Мартин знал, что нет никакой надежды получить какую-либо работу на этом пароходе. Денег у него вряд ли хватило бы даже на уплату четвертой части долга; но если бы их и достало на билет, он едва ли решился бы на такую трату. Он объяснил это мистеру Бивену и рассказал, какой у них план.

— Ну, это так же безрассудно, как поездка в Эдем, — возразил его друг. — Вы должны ехать по-человечески — до крайней мере настолько по-человечески, насколько это возможно для пассажира первого класса, — и занять у меня несколькими долларами больше, чем вы хотели. Пусть Марк побывает на пароходе и посмотрит, какие там пассажиры, и если только вы рискнете поехать, не боясь задохнуться в этом обществе, мой совет — поезжайте! Мы с вами тем временем побываем в городе (к Норрисам заходить не станем, разве только вы сами вздумаете), а в конце дня пообедаем все вместе.

Мартину оставалось только выразить благодарность, и, таким образом, все было устроено. Он вышел из комнаты вслед за Марком и посоветовал ему взять билеты на пароход, хотя бы им пришлось спать на голой палубе, что мистер Тэпли, не нуждавшийся в подобных просьбах, охотно обещал.

Когда они с Мартином встретились снова, и без свидетелей, Марк был очень оживлен и, по-видимому, имел сообщить нечто такое, чем немало гордился.

— Я провел мистера Бивена! — сказал Марк.

— Провел мистера Бивена? — повторил Мартин.

— Кок на нашем пароходе взял да и женился вчера, — сообщил мистер Тэпли.

Мартин смотрел на него, дожидаясь объяснения.

— И как только я взошел на пароход и разнесся слух, что я тут, — продолжал Марк, — является ко мне старший помощник и спрашивает, не соглашусь ли я занять место этого самого повара на время обратного рейса. „Ведь для вас это дело привычное, — говорит он, — вы всегда что-нибудь стряпали для других, когда ехали в Америку“. Да так оно и было, — прибавил Марк, — хотя раньше мне никогда не приходилось готовить, ей-богу.

— Что же вы ему сказали? — спросил Мартин.

— Что сказал! — воскликнул Марк. — Сказал, что возьму, сколько дадут: „Ежели так, — говорит помощник, — принесите стаканчик рому“, — и ром принесли, как полагается. А мое жалованье, — продолжал Марк, ликуя, — пойдет в уплату за ваш проезд; я уже занял койку для вас (верхнюю в углу), положил на нее скалку; так что: „Правь, Британия!“, а британцы по домам!

— Какой вы хороший малый! Другого такого не сыщешь! — воскликнул Мартин, пожимая ему руку. — Но каким же образом вы провели мистера Бивена?

— Как, разве вы не понимаете? — сказал Марк. — Мы ничего ему не скажем. Возьмем у него деньги, но тратить их не станем, и у себя не оставим. Мы вот что сделаем: напишем ему записочку, объясним, как устроились, завернем в нее, деньги и оставим в баре, чтобы ему передали после нашего отъезда. Понимаете?

Мартин обрадовался этому предложению ничуть не меньше Марка. Все было сделано так, как предполагал Марк. Они весело провели вечер, переночевали в гостинице, оставили письмо, как было условлено, и рано утром отправились на пароход с легким сердцем, сбросив с себя весь груз несчастий и тревог.

— Благослови вас бог, тысячу раз благослови! — говорил Мартин своему другу Бивену. — Как я отплачу за всю вашу доброту? Как отблагодарить вас за нее?

— Если вы станете богачом или влиятельным человеком, — отвечал мистер Бивен, — вы постараетесь, чтобы ваше правительство больше заботилось о своих подданных, когда они переселяются за море. Расскажите правительству все, что вы знаете об эмиграции по собственному опыту, и объясните, как много страданий можно

предотвратить, приложив хоть сколько-нибудь труда.

Дружно, ребята, дружно! Якорь поднят. Корабль идет на всех парусах. Его крепкий бугшприт смотрит прямо на Англию. Америка позади кажется облаком на море.

— Ну, кок, о чем вы так глубоко задумались? — спросил Мартин.

— Я думал, сэр, — отвечал Марк, — что если б я был художником и меня попросили нарисовать американского орла, то как бы я за это взялся.

— Наверно, постарались бы нарисовать его как можно больше похожим на орла?

— Нет, — сказал Марк, — это, по-моему, не годится. Я нарисовал бы его слепым, как летучая мышь; хвастливым, как петух; вороватым, как сорока; тщеславным, как павлин; трусливым, как страус, который прячет голову в грязь и думает, что никто его не видит...

— И, как феникс, способным возрождаться из пепла своих ошибок и пороков и снова воспарять в небо! — сказал Мартин. — Что ж, Марк, будем надеяться.

Глава XXXV

По прибытии в Англию Мартин становится свидетелем церемонии, которая приводит его к радостному выводу, что он не забыт на родине.

Был полдень, и вода стояла высоко в том английском порту, куда направлялся „Винт“, когда, любовно подхваченный нарастающим приливом, он вошел в реку и бросил якорь.

Как ни весело было все вокруг — свежо и полно движения, воздуха, простора и блеска, — это было ничто по сравнению с радостью, которая вспыхнула в груди двух путников при виде старых церквей, кровель и почерневших дымовых труб родины. Отдаленный шум, глухо доносившийся с оживленных улиц, звучал музыкой в их ушах; люди на пристани, глазевшие на пароход, представлялись им любимыми друзьями; пелена дыма, нависшая над городом, казалась им светлей и нарядней, чем если бы самые богатые шелка Персии развевались в воздухе. И хотя вода, стремясь по своему блистающему пути, то и дело расступалась, плясала и искрилась, поднимая и покачивая на волнах большие корабли, срывалась с концов весел ливнем алмазных брызг, заигрывала с ленивыми лодками и в шутилой погоне быстро проскакивала в угрюмые чугунные кольца, глубоко ввинченные в каменную облицовку набережных, — но даже и вода не была так полна радости и тревоги, как трепетные сердца путников, стремившихся почувствовать под ногами родную землю.

Прошел ровно год с тех пор, как эти колокольни и кровли скрылись из их глаз. А казалось, что прошло лет десять. Они замечали там и сям незначительные перемены и удивлялись, что их так мало и они так ничтожны. Здоровьем, счастьем, силами и надеждами они стали теперь беднее, чем когда уезжали. Но это была родина! И хотя родина есть только имя, только слово, — оно сильно, сильнее самых могущественных заклинаний волшебника, которым повинуются духи!

Сойдя на берег с очень небольшими деньгами в кармане и без определенного плана действий в голове, они отыскивали дешевую харчевню, где их угостили дымящимся бифштексом и пенистым пивом, которыми они наслаждались, как только можно наслаждаться после долгого плавания в море изысканными яствами земли. Напировавшись, как два добродушных великана, они помешали угли в камине, отдернули яркую занавеску на окне и, устроив себе нечто вроде дивана из больших неуклюжих кресел, стали,

блаженствуя, глядеть на улицу.

Даже эта улица сквозь пары бифштекса и крепкого, выдержанного английского пива казалась им сказочной улицей. Ибо на оконных стеклах осел такой туман, что мистер Тэпли был вынужден встать и вытереть их платком, для того чтобы прохожие походили на обыкновенных смертных. Но и после того два облачка вились спиралью над их стаканами с горячим грогом, почти скрывая Мартина и Марка друг от друга.

Это была одна из тех ни на что не похожих маленьких комнаток, какие можно увидеть только в тавернах; да и там они встречаются лишь потому, что архитектору, трудящемуся над их сооружением, чрезвычайно легко напиться пьяным. В ней было больше закоулков, чем извилин в мозгу упрямца; множество странных шкафчиков, куда нельзя было поставить ничего, кроме вещей, специально придуманных для этого; везде какие-то загадочные полочки и переборки и потолок, спускавшийся ступеньками; кроме того, в ней имелся колокольчик, который звонил тут же в комнате, в двух шагах от шнурка, и никак не сообщался со всем остальным заведением. Комната была немного ниже уровня тротуара и выходила окнами на улицу, так что прохожие задевали за стекла рукавами и шаркали по ним корзинами, и надоедливые мальчишки, неожиданно загораживая свет задумавшемуся гостю, дразнились, показывая ему язык, словно доктору, или прижимали побелевшую кнопку носа к стеклу и исчезали внезапно, как привидения.

— Нам надо, разумеется, повидать мисс Мэри, — сказал Марк.

— Разумеется, — сказал Мартин. — Но я не знаю, где она. Ведь я не решался писать ей в нашем печальном положении — вы и сами думали, что молчание более уместно, — а стало быть, и от нее не получал писем со времени нашего первого отъезда из Нью-Йорка. Почему же мне знать, где она, мой милый?

— Мое мнение такое, сэр, — отвечал Марк, — что нам надо отправиться прямо в „Дракон“. Вам незачем заходить туда, где вас знают, если не хотите. Вы можете остановиться в десяти милях оттуда. А я пойду дальше. Миссис Льюпин доложит мне все новости. От мистера Пинча я узнаю все, что нам требуется знать, и мистер Пинч с радостью мне это расскажет. Вот мое предложение: отправиться пешком нынче после обеда; делать остановки, когда устанем; просить, чтобы подвезли, — если это будет можно; идти пешком — если нельзя, и пуститься в дорогу, не теряя времени и по возможности экономя деньги.

— Если не экономить, мы далеко не уйдем, — сказал Мартин, доставая их общие капиталы и пересчитывая на ладони.

— Тем больше причин не терять времени, сэр, — ответил Марк. — После того как мы повидаемся с молодой леди и узнаем, в каком расположении духа находится старый джентльмен, а также все прочее, нам станет ясно, что делать.

— Без сомнения, — сказал Мартин, — вы совершенно правы.

Они подносили стаканы ко рту, как вдруг остановились на полдороге, увидев фигуру, которая в эту минуту медленно, очень медленно и задумчиво проходила мимо окна.

Мистер Пексниф, безмятежный, спокойный, но гордый Пексниф, откровенно гордый и одетый особенно тщательно, улыбающийся особенно кротко; мистер Пексниф, углубленный в размышления о красотах своего искусства и кротко воспаряющий над всяческой суетой, тихо проплыл мимо окна, словно фигура в волшебном фонаре.

Прохожий, шедший навстречу мистеру Пекснифу, остановился и посмотрел ему вслед с большим интересом и уважением, почти благоговейно, а хозяин харчевни, выскочив из дома, словно и он завидел мистера Пекснифа, подошел к прохожему, заговорил с ним, важно кивая головой, и тоже стал смотреть вслед мистеру Пекснифу.

Мартин с Марком глядели друг на друга, не веря самим себе; однако хозяин с прохожим все еще стояли на тротуаре. Несмотря на возмущение, вызванное в нем появлением мистера Пекснифа, Мартин не мог не расхохотаться. Марк тоже.

— Надо узнать, в чем дело! — сказал Мартин. — Попросите сюда хозяина, Марк.

Мистер Тэпли вышел и немедленно возвратился, ведя под конвоем головастого хозяина.

— Скажите, пожалуйста, — начал Мартин, — кто этот джентльмен, который только что прошел мимо и которому вы смотрели вслед?

Хозяин помешал кочергой в камине, по-видимому не считаясь даже с ценой угля в своем желании ответить как можно внушительнее, и, засунув руки в карманы, сказал, надувшись, чтобы придать своим словам еще больше веса:

— Это, джентльмены, великий мистер Пексниф! Знаменитый архитектор, джентльмены!

Говоря это, он переводил глаза с одного на другого, словно готовясь оказать помощь первому, кого собьет с ног это сообщение.

— Великий мистер Пексниф, знаменитый архитектор, господа, — продолжал хозяин, — прибыл в Лондон, чтобы присутствовать при закладке нового и великолепного общественного здания.

— Оно будет строиться по его плану? — спросил Мартин.

— Великий мистер Пексниф, знаменитый архитектор, господа, — ответил хозяин, которому, очевидно, доставляло невыразимое удовольствие повторять эти слова, — получил первую премию и сам будет строить это Здание.

— Кто будет закладывать первый камень? — спросил Мартин.

— Член парламента от нашего округа прибыл нарочно для этого, — отвечал хозяин. — Для такого дела не годятся какие-нибудь ничтожества. Директора желали, чтоб был кто-нибудь не ниже нашего члена палаты общин, представляющего интересы джентльменов. — Какие же это интересы? — спросил Мартин.

— Как! Разве вы не знаете? — возразил хозяин.

Было совершенно ясно, что и хозяин этого не знал. Во время выборов ему всегда твердили, что надо голосовать в интересах джентльменов, и он немедленно натягивал сапоги и отправлялся подавать голос.

— Когда же состоится торжество? — спросил Мартин.

— Сегодня, — ответил хозяин. И, вытащив часы, прибавил внушительно: — Даже сию минуту.

Мартин поспешно осведомился, есть ли какая-нибудь возможность увидеть эту церемонию; и, узнав, что пускают беспрепятственно всех приличных людей, лишь бы нашлось свободное место, побежал туда вместе с Марком, насколько хватало прыти.

Им повезло, и они протиснулись в славный уголок, откуда могли видеть все, что происходит, не боясь быть замеченными в свою очередь мистером Пекснифом. Приятели попали как раз вовремя; ибо не успели они поздравить друг друга с удачей, как в отдалении послышался сильный шум, и все обратили свои взоры к воротам. Некоторые дамы уже приготовились махать носовыми платками; но оказалось, что криками „ура“ по ошибке встретили отставшего учителя приютской школы, которого за это как следует обругали.

— Может быть, он взял с собой и Тома Пинча? — шепнул Мартин мистеру Тэпли.

— Не к чему его так баловать! Верно, сэр? — прошептал в ответ мистер Тэпли.

Обсуждать этот вопрос было уже некогда, потому что тем временем в воротах показались приютские дети в чистых холщовых костюмчиках, они шествовали попарно и так разбередили чувствительность всех присутствующих, которые не пожертвовали на них ни копейки, что многие начали проливать слезы. Затем вошло множество джентльменов с жезлами

в руках и бантами на груди, роль которых в церемонии была не совсем ясна и которые наступали друг другу на ноги и довольно долго загоразивали проход. За ними следовал мэр с олдерменами, окружавшими представителя джентльменских интересов, который шествовал, имея по правую руку великого мистера Пекснифа, знаменитого архитектора, и беседуя с ним запросто. Тут дамы замахали платками, джентльмены — шляпами, приютские дети запищали, а представитель джентльменских интересов раскланялся.

Когда тишина восстановилась, представитель джентльменских интересов потер руки, помотал головой и с приятностью огляделся по сторонам; впрочем, что бы ни сделал этот джентльмен, всегда находилась какая-нибудь дама, которая начинала восторженно махать платком. Когда он посмотрел на камень, дамы умилились: „Как грациозно!“; когда он заглянул в яму, они сказали: „С каким достоинством!“; когда он болтал с мэром, они твердили: „Как непринужденно!“; когда он сложил руки на груди, они воскликнули единогласно: „Как это пристало государственному деятелю!“

На мистера Пекснифа тоже смотрели во все глаза. Когда он беседовал с мэром, дамы восхищались: „Ах, право, какой учтивый человек!“, а когда он положил руку на плечо каменщика, давая ему указания: „Как любезно он держится с низшими классами, — с таким человеком им, бедняжкам, и работа одно удовольствие!“

Но тут принесли серебряную лопаточку; и когда представитель джентльменских интересов, завернув рукава, проделал маленький фокус с известковым раствором, воздух сотрясся, так громко ему рукоплескали. Изумительно, с каким мастерством он это проделал. Никто не мог понять, где такой благовоспитанный джентльмен мог этому научиться.

После того как он замесил пирожок из грязи под руководством каменщика, принесли маленькую вазу с монетами, которыми представитель джентльменских интересов побренчал, словно собираясь колдовать. Причем дамы пришли в восторг: „Как это забавно, как весело, какой он жизнерадостный!“ Как только вазу поставили на место, престарелый ученый прочел надпись на латинском языке, — не на английском же читать, кому это нужно? Чтение доставило слушателям большое удовольствие; особенно когда попадалось хорошее, длинное существительное третьего склонения в творительном падеже с соответственными прилагательными, аудитория умилялась и впадала в чувствительность.

Но вот камень положили на место при громких криках всех

собравшихся. После того как он был крепко вмазан, представитель джентльменских интересов трижды стукнул по нему ручкой лопатки, словно спрашивая не без юмора: есть ли кто-нибудь дома. Тут мистер Пексниф развернул свои планы (изумительные планы), и публика вокруг глядела и восхищалась.

Мартин, который во все время церемонии выходил из себя — без всякой надобности, как думал Марк, — не мог сдержать нетерпения и, подойдя ближе вместе с другими, заглянул в развернутые чертежи и планы через плечо ничего не подозревавшего мистера Пекснифа. Он вернулся к Марку, весь кипя от ярости.

— Что такое, в чем дело, сэр? — воскликнул Марк?

— В чем дело! Это мой план.

— Ваш план, сэр? — спросил Марк.

— Моя начальная школа. Я ее придумал, я все сделал. Он только пририсовал четыре окна, негодяй, и испортил чертеж!

Сначала Марк не поверил своим ушам, затем, убедившись в том, что это действительно так, просто схватил Мартина, чтобы тот не вмешался необдуманно, еще не остыв от раздражения. Тем временем член парламента обратился к собравшимся с речью о поучительном подвиге, который он только что совершил.

Он сказал, что с тех пор, как заседает в парламенте, представляя интересы джентльменов этого города, а также, как он надеется, интересы дам (носовые платки), его приятной обязанностью было иногда появляться среди них, а также возвышать голос, защищая их интересы в другом месте (платки и смех). Но никогда еще он не являлся среди них и не возвышал свой голос с такой чистой, такой глубокой, такой безоблачной радостью, как сейчас. — Настоящее событие, — сказал он, — останется навсегда в моей памяти, не только по причинам, уже названным мною, но и потому, что оно доставило мне случай познакомиться лично с джентльменом...

Тут, указав лопаткой на мистера Пекснифа, которого приветствовали громогласными кликами, он приложил руку к сердцу.

— ...с джентльменом, который, как я счастлив думать, стяжает на этом поприще и почести и богатство; чья слава давно дошла до меня — да и кто о нем не слышал! — но чей одухотворенный облик был мне до сих пор незнаком и чьей высокопоучительной беседой я не имел удовольствия наслаждаться.

Все, как видно, были этому рады и аплодировали пуще прежнего.

— Но я надеюсь, что мой досточтимый друг, — сказал представитель джентльменов и, разумеется, добавил, — если он разрешит мне называть

его так, — и, разумеется, мистер Пексниф поклонился, — даст мне возможность поддерживать с ним знакомство и доставит мне впоследствии особенное удовольствие думать, что в этот день я заложил первые камни двух зданий, которые не распадутся до конца моей жизни!

Опять громкие клики. Все это время Мартин проклинал мистера Пекснифа на чем свет стоит.

— Друзья мои, — отвечивал мистер Пексниф, — моя обязанность строить, а не говорить; действовать, а не болтать; иметь дело с мрамором, камнем и кирпичом, а не со словами. Я очень тронут. Бог да благословит вас!

Эта речь, по-видимому почерпнутая мистером Пекснифом из самого сердца, довела восторженное настроение до высшей точки. Носовые платки опять зареяли в воздухе; приютских мальчиков заклинали вырасти Пекснифами, всех до единого; муниципалитет, джентльмены с жезлами, представитель джентльменских интересов — все кричали „ура“ в честь мистера Пекснифа. Трижды „ура“ в честь мистера Пекснифа! Еще три раза — в честь мистера Пекснифа! Еще три раза — в честь мистера Пекснифа, джентльмены, прошу вас! Еще раз, джентльмены, в честь мистера Пекснифа, и погромче напоследок!

Словом, мистер Пексниф, как видно, завершил великий труд и был за него вознагражден тепло, учтиво и щедро. Когда процессия двинулась в обратный путь, оставив Мартина и Марка почти в полном одиночестве, заслуги мистера Пекснифа и желание воздать им должное составляли преобладающую тему разговоров. С ним мог поспорить только представитель джентльменских интересов.

— Сравните-ка его теперешнее положение с нашим! — горько заметил Мартин.

— Господь с вами, сэр! — воскликнул Марк. — Что толку сравнивать! Одни архитекторы горазды закладывать фундамент, а другие горазды строить по готовым чертежам. Но в конце концов все получают по заслугам, сэр; все получают по заслугам!

— А тем временем, — начал Мартин.

— Тем временем, как вы говорите, сэр, нам предстоит много дела и дальний путь. Так что живо и весело — вот наш девиз!

— Вы самый лучший учитель на свете, Марк, — сказал Мартин. — Я постараюсь быть вам хорошим учеником, это мое твердое решение! Так идемте же! Сделаем все что можем, старина!

Глава XXXVI

Том Пинч отправляется на поиски счастья. Что он находит вначале.

О, насколько иным городом показался Солсбери Тому Пинчу, когда незыблемый Пексниф его сердца растаял, обратившись в пустую мечту! Том по-прежнему верил в чудесные лавки, по-прежнему преувеличивал таинственность и безнравственность города, по-прежнему восхищался его богатством, многолюдством и блеском, — однако этот город был уже не тот старый город и даже нимало не походил на него. Том прошелся по рынку, пока для него готовили завтрак; и хотя это был все тот же рынок, что и встарь, с теми же продавцами и покупателями, кипевший все той же деловитой суетой, шумный от смешения языков и кудахтанья кур в клетках, радовавший глаз все тем же изобилием свежесбитого масла в полотняных салфетках ослепительной белизны; по-прежнему зеленевший ворохами только что сорванных, мокрых от росы овощей; все с теми же лотками разносчиков, блестящими множеством маленьких зеркалец для бритвы, кружев, галунов, позумента, подтяжек, штрипок и скобяного товара; по-прежнему дразнивший аппетит изобилием вкусных свиных ножек и паштетов, драгоценных тем, что их начиняли мясом тех самых свиней, которые когда-то бегали на этих ножках, — однако этот рынок странным образом изменился для Тома. Ибо в центре рыночной площади ему недоставало статуи, которую он там воздвиг, как и во всех местах, где ему приходилось бывать; и площадь казалась ему холодной и голой без этого украшения.

Перемена не шла дальше, поскольку Том был не слишком умудрен опытом и не знал, что, разочаровавшись в одном человеке, было бы только разумно и правильно выместить свое разочарование на человечестве вообще, перестав доверять кому бы то ни было. В самом деле, хотя этот акт правосудия и находит поддержку в авторитетном мнении некоторых глубокомудрых поэтов и почтенных людей, он более напоминает правосудие того доброго визиря из „Тысячи и одной ночи“, который приказал казнить всех багдадских носильщиков за провинности одного из этих несчастных, чем разумное человеческое, а тем более христианское поведение в наши дни.

Том до того привык примешивать Пекснифа своей мечты к чаю, и намазывать его на хлеб, и закусывать им пиво, что в первый день после

своего изгнания позавтракал очень плохо. Не слишком разыгрался у него аппетит и к обеду, после того как он серьезно задумался о собственных делах и посоветовался на этот счет со своим приятелем, помощником органиста.

Помощник органиста решительно высказался в том смысле, что Тому во всяком случае надо ехать в Лондон, потому что другого такого города нет на свете. Что, в общем, может быть, и было верно, однако вряд ли являлось достаточным основанием для того, чтобы Том туда ехал.

Но Том и раньше думал о Лондоне, соединяя с ним мысли о своей сестре и о своем старом друге, Джоне Уэстлоке, у которого ему, естественно, хотелось попросить совета, раз такой важный перелом совершился в его судьбе. Поэтому он решил ехать в Лондон и немедленно отправился в контору дилижансов заказывать себе билет. Все места в дилижансе были уже заняты, и ему пришлось отложить отъезд до следующего вечера, но даже и это имело свою светлую сторону, наравне с темной, ибо, угрожая его тощему кошельку непредвиденными расходами, доставляло ему случай написать письмо миссис Льюпин о том, чтобы сундук своевременно доставили все к тому же придорожному столбу, а это давало ему возможность забрать свое сокровище с собой в столицу, избежав расходов на пересылку.

„Таким образом, — утешал себя Том, — получается почти одно и то же“.

И нельзя отрицать, что, придя к такому решению, он ощутил непривычное чувство свободы — смутное и неопределенное впечатление праздника, — доньше неведомую ему роскошь. У него были минуты уныния и тревоги, и, по очень основательной причине, таких минут насчитывалось довольно много; и все же он черпал удивительную отраду в мыслях о том, что отныне он сам себе хозяин и может строить планы на будущее, ни от кого не завися. Это было поразительно, чудесно, почти непонятно, от этого захватывало дух и приводило в трепет; это была изумительная правда, вызывавшая чувство ответственности и требовательности к себе; однако, невзирая на все заботы, она придавала особый вкус кушаньям в гостинице и заволакивала будущее радужной пеленой, волшебным образом изменяя его к лучшему.

С такими мыслями и чувствами Том еще раз улегся на низкую кровать с четырьмя колонками, к великому изумлению портретов прежнего хозяина и жирного быка, и в том же расположении духа провел весь следующий день. Когда, наконец, подошел дилижанс с золотыми буквами „Лондон“ на багажном ящике, это так потрясло Тома, что ему чуть ли не захотелось

убежать. Однако он не убежал; он занял свое место на козлах, и здесь, глядя вниз, на четверку серых коней, чувствовал себя так, как будто он был пятым конем или по меньшей мере какой-то частью упряжки, причем сильно смущался новизной и великолепием своего положения.

И в самом деле, усевшись на козлах рядом с таким кучером, смутился бы даже и не такой скромный человек, как Том Пинч; ибо этот щеголь был поистине король над всеми щеголями, когда-либо щелкавшими кнутом по долгу службы. Он обращался со своими перчатками не так, как все люди, но, надевая их, даже когда стоял на тротуаре, совершенно независимо от дилижанса, давал понять, неизвестно каким образом, что вся четверка серых у него в руках и он знает ее как свои пять пальцев. То же было и с его шляпой. Со шляпой он проделывал такие фокусы, в которых нельзя было приобрести сноровку, не зная лошадей наизусть и не изучив дороги в совершенстве. Ему вручали ценные маленькие посылки с особыми наставлениями, а он засовывал их в эту самую шляпу и опять надевал ее так небрежно, как будто законы тяготения не могли сыграть с ним скверной шутки, будто шляпу не могло сорвать ветром, — да и мало ли что еще могло с ней случиться. А кондуктор! „Верных семьдесят миль в день“ — было написано даже на его бакенбардах. В его манерах сказывался галоп, в разговоре — крупная рысь. Это был точь-в-точь курьерский дилижанс, несущийся под гору, — воплощенная скорость! Даже фургон не мог бы двигаться медленно, когда такой кондуктор сидел со своим рожком на крыше.

„Все это уже предвещает Лондон“, — думал Том, сидя на козлах и глядя по сторонам. Ни такого возницы, ни такого кондуктора не могло быть нигде между Солсбери и каким бы то ни было другим городом. Самый дилижанс был не какая-нибудь тяжелая на подъем деревенщина, но настоящий лондонский дилижанс, гуляка и щеголь, ведущий рассеянный образ жизни: в движении всю ночь, — на отдыхе весь день. На Солсбери этот дилижанс смотрел сверху вниз, все равно что на простую деревушку. Он с грохотом прокатил по главной улице, не обратив никакого внимания на собор; лихо огибая самые опасные углы, он врезался в толпу и заставлял всех и вся шарахаться с дороги и, наконец, помчался по просторному шоссе, задорно трубя в рожок на прощанье.

Вечер был чудесный, тихий и ясный. Даже с тяжестью на душе, со страхом, который внушал ему огромный, неведомый Лондон, Том не мог не поддаться пленительному ощущению быстрой езды на чистом воздухе. Четверка серых летела вперед, словно им это доставляло такое же удовольствие, как и Тому; рожок веселился не меньше серых; кучер по

временам вторил ему басом; колеса тоже подпевали в тон; вся медь на сбруе звенела, как целый оркестр маленьких бубенчиков; и так, плавно несясь вперед, со звоном, звяканьем и тарахтеньем, все сооружение, от пряжек на уздечке коренника до ручки на багажнике сзади, являло собой один большой музыкальный инструмент.

Эй, пошел! — мимо зеленых изгородей, мимо ворот и деревьев, мимо домиков и сараев, мимо людей, идущих с работы. Эй, пошел! — мимо тележек, запряженных осликами и сдвинутых с дороги, мимо порожних подвод с бьющимися лошадьми, которых с трудом сдерживают возчики, пока дилижанс не минует узкий перекресток. Пошел! Пошел! — мимо церквей, которые жмутся к сторонке, окруженные сельскими кладбищами, где зеленеют могилы и в вечернем сумраке дремлют маргаритки на груди у мертвецов. Пошел! — мимо речек, где стоят стада в прохладной воде и растут тростники; мимо огороженных выгонов, усадеб и гумен; мимо прошлогодних стогов, которые тают слой за слоем и в убывающем вечернем свете кажутся темными и древними, похожими на развалившиеся островерхие кровли. Эй, пошел! — вниз по крупной гальке откоса, через весело журчащий брод, и снова галопом по ровной дороге. Пошел! Пошел!

Был ли сундук на месте, когда они подъехали к старому придорожному столбу? Сундук! А сама миссис Льюпин? Разве она не выехала, как полагается хозяйке, во всем великолепии, на собственном шарабане? И разве не красовалась она на сиденье красного дерева, правя собственной лошадью по прозвищу Дракон (хотя ей больше подошло бы прозвище Шарик)? Разве дилижанс не проехал мимо шарабана так близко, что едва не задел колесо? И разве кондуктор, приняв от работника сундук, не огласил всю окрестность звуками рожка так, что эхо долетело даже до отдаленных владений Пекснифа, словно и дилижанс радовался избавлению Тома Пинча?

— Какая вы добрая, право! — сказал Том, наклоняясь, чтобы пожать ей руку. — Я не хотел доставлять вам столько хлопот!

— Хлопот, мистер Пинч! — воскликнула хозяйка „Дракона“.

— Ну да, для вас это удовольствие, я знаю, — сказал Том, сердечно пожимая ей руку. — Есть какие-нибудь новости?

Хозяйка покачала головой.

— Передайте, что вы меня видели, — сказал Том, — и что я очень бодр и весел и нисколько не упал духом, и что я прошу ее о том же, потому что все, конечно, уладится в конце концов. Прощайте!

— Вы напишете, когда устроитесь, мистер Пинч? — спросила миссис Льюпин.

— Когда устраюсь? — воскликнул Том, невольно поднимая брови. — Да, конечно, напишу, когда устраюсь. Может быть, лучше будет написать до этого, потому что я, должно быть, устраюсь не так скоро, — денег у меня не много, и друг всего-навсего один. Я передам ваш поклон моему другу. Вы же всегда были очень хороши с мистером Уэстлоком. Прощайте!

— Прощайте! — ответила миссис Льюпин, торопливо доставая корзину, откуда торчала длинногорлая бутылка. — Возьмите это. Прощайте!

— Вы хотите, чтобы я отвез ее в Лондон? — крикнул Том. Миссис Льюпин уже повернула шарабан.

— Нет, нет, — ответила миссис Льюпин. — Это так, немножко закусить в дороге. Сиди смирно, Джек. Поезжайте, сэр. Все в порядке. Прощайте!

Она уже успела отъехать на четверть мили, прежде чем мистер Пинч собрался с мыслями, и только тогда он энергично замахал рукой; она отвечала ему тем же.

„И это в последнем раз я вижу старый придорожный столб, — подумал Том, напрягая глаза, — где я стоял так часто, глядя, как проезжает мимо этот самый дилижанс, и где я расстался со столькими друзьями! Когда-то я сравнивал этот дилижанс со сказочным чудовищем, которое является время от времени и уносит моих друзей в далекий мир. А теперь оно уносит меня самого на поиски счастья бог знает куда!“

Том загрустил, вспомнив, как ходил, бывало, по тропинке к столбу и обратно к дому мистера Пекснифа; а загрустив, посмотрел на корзинку у себя на коленях, о которой позабыл на время.

„Она самая добрая и самая внимательная женщина на свете, — подумал Том. — Она нарочно не велела своему работнику оборачиваться, чтобы я не мог бросить ему шиллинг! Я все время держал монету наготове. Но он так ни разу и не взглянул на меня, а ведь обыкновенно только и делает, что глазает и ухмыляется. Честное слово, меня прямо трогает такая доброта!“

Тут он встретился глазами с кучером. Тот подмигнул.

— Замечательно видная женщина для своих лет, — сказал он.

— Совершенно с вами согласен, — ответил Том. — В самом деле, видная женщина.

— Я хочу сказать, красивей многих молоденьких, — заметил кучер. — А?

— Да, красивей, — согласился Том.

— Я сам не охотник до очень молоденьких, — заметил кучер.

Думая, что это дело вкуса, Том не нашел нужным вдаваться в дальнейшее обсуждение.

— Редко, знаете ли, бывает, чтобы женщины разбирались как следует в еде, когда они еще очень молоды, — сказал кучер. — Женщина должна дожить до зрелых лет, тогда только сообразит приехать вот с такой корзинкой.

— Может быть, вам хочется узнать, что в ней лежит? — с улыбкой спросил Том.

Кучер только засмеялся, и так как Тому самому было любопытно, он распаковал корзину и выложил всю провизию, одно за другим, на подножку: холодную жареную курицу, сверток с ветчиной, нарезанной ломтями, румяную ковригу, кусок сыра, пакет с печеньем, полдюжины яблок, ножик, масло, немножко соли и бутылку старого хереса. Кроме того, там было письмо, которое Том сунул в карман.

Кучер так настойчиво расхваливал хозяйственность миссис Льюпин и так горячо поздравлял Тома с удачей, что Том счел необходимым, ради доброго имени миссис Льюпин, объяснить, что корзина эта чисто платоническая и подарена ему просто в знак дружбы. Сообщив это с совершенной серьезностью, ибо считал своим долгом вывести из заблуждения разбойника кучера, Том дал понять, что будет рад поделиться с ним дарами и предложил ему взяться за корзину, по-товарищески, в любое время ночи, какое он сочтет более удобным по своему кучерскому опыту и знанию дороги. После этого между ними завязался самый приятный разговор, и хотя Том несравненно больше смыслил в единорогах, чем в лошадях, кучер все же сообщил своему приятелю кондуктору на следующей же станции, что „этот, на козлах смотрит чудак, а в рассуждении разговора хоть куда! Так что лучше и не требуется“.

Эй, пошел! — в надвигающемся сумраке, не обращая внимания на длинные тени деревьев, но одинаково летя во весь опор как при свете, так и во мраке, словно лондонских огней, в пятидесяти милях впереди, за глаза и даже с избытком довольно для путешествия. Эй, пошел! — мимо деревенского выгона, где еще медлят игроки в крикет и где каждая маленькая вмятина в свежей траве, оставленная битой, мячом или ногой игрока, источает благоухание в ночном воздухе. И дальше — на четверке свежих лошадей от „Лысого Оленя“, где гуляки, любясь конями, толпятся в дверях, а старая четверка, волоча постромки, вскачь пускается к пруду, пока никто не спохватился, а тогда добровольцы мальчишки бегут вдогонку, под громкие крики десятка глоток. Дальше — по старому каменному мосту, стуча копытами и выбивая огненные искры, и опять по тенистой дороге, в

открытые ворота, и дальше, дальше по пустынному нагорью. Эй, пошел!

Эй, там сзади! Перестань дудеть в рожок хоть на минуту! Перебирайся наперед по крыше дилижанса, кондуктор, и угощайся из корзины. Не то чтобы мы стали придерживать из-за этого коней, напротив — мы пустим их во весь опор в честь этой пирушки. Ах, давно уже аромат такого старого вина не смешивался с мягким дыханием ночи, и отличное это вино для того, чтобы промочить горло трубачу. Попробуйте только. Не бойся приложиться к бутылке, Билл, еще глоточек! Теперь вздохни поглубже, Билл, и берись за рожок. Вот это музыка! Вот это звук! „Через горы, далеко“, в самом деле. Эй, пошел! Проказница кобылка нынче так и играет. Эй, пошел! Пошел! Взгляните на ясный месяц! Мы не успели моргнуть глазом, как он уже поднялся высоко, — и земля, подобно воде, отражает все, что ни есть у ней на груди. Изгороди, деревья, низенькие домики, колокольни, гнилые пни и свежая молодая поросль — все вдруг гордо подняло голову и намерено до утра любоваться на свою прекрасную тень. Вон там трепещут тополя, для того чтобы их дрожащие листья могли видеть себя на земле. Не таков дуб: ему не к лицу трепетать, и он смотрит на свой крепкий и коренастый образ, не шевеля ни единой веткой. Поросшая мхом калитка, едва держась на скрипучих петлях, вертится взад и вперед, вся покосившись от старости, словно капризная старая вдова перед зеркалом; а наша собственная тень бежит через канавы и кусты, по вспаханным полям и ровной земле, по крутым косогорам и отвесным стенам, словно призрачный охотник.

А облака! А туман над долиной! Не плотный, скучный туман, который прячет ее, но легкий, воздушный как вуаль, который, на наш взгляд скромных созерцателей, придает новую прелесть всему, что прикрывает как настоящая вуаль, кто бы против этого ни возражал, — и так всегда было и будет. Эй, пошел! Теперь мы плывем, как сама луна. То прячемся на минуту в роще, то в облаке тумана; то появляемся опять на широкой светлой дороге, то скрываемся, — но всегда мчимся вперед, и наш бег на земле повторяет бег луны в небе. Эй, пошел! У нас состязание с луной!

Красоту ночи перестаешь ощущать, когда быстро приближается день. Эй, пошел! Еще два перегона, и сельская дорога превратилась в сплошную улицу. Эй, пошел! — мимо летят огороды, ряды домов, дачи, аллеи, площади и бульвары; мимо фургоны, дилижансы, подводы; мимо спозаранку поднявшиеся рабочие, запоздавшие прохожие, пьяные гуляки и трезвые грузчики; мимо кирпич и известка во всех видах; и вот мы въезжаем в город по тряской мостовой, и теперь нам не так-то легко сохранить небрежную позу, сидя на козлах дилижанса! Эй, пошел! — мимо

бесчисленных поворотов, по бесконечному лабиринту извилистых улиц, а вот, наконец, и старая гостиница, и Том Пинч, сойдя с козел, растерянный и оглушенный, оказывается в Лондоне!

— Да еще на пять минут раньше времени, — сказал кучер, получив с Тома на чай.

— Честное слово, — сказал Том, — я бы не очень огорчился, если бы мы приехали на пять часов позже; в такой ранний час я не знаю, куда идти и что с собой делать.

— Разве они вас не ждут? — спросил кучер.

— Кто?

— Да они! — возразил кучер.

Он так явно расположен был думать, будто Том приехал в Лондон повидаться с обширным кругом заботливых друзей и знакомых, что было бы довольно трудно разубедить его. Том и не пытался. Он с радостью уклонился от этой темы и, войдя в гостиницу, вскоре крепко уснул перед огнем в одной из общих комнат окнами во двор. Когда он проснулся, все в доме уже поднялись, и он умылся и переоделся, что очень его освежило после дороги; и так как было уже восемь часов, он тут же отправился повидаться со своим другом Джоном.

Джон Уэстлок жил в Фэрнивелс-Инне^[115], Верхний Холборн, в четверти часа ходьбы от гостиницы Тома, однако ему показалось, что это очень далеко, потому что он сделал крюк мили в две, надеясь сократить дорогу. Очутившись, наконец, перед дверью Джона на третьем этаже, он остановился в нерешимости, положив руку на дверной молоток и дрожа от головы до пяток: его волновала мысль, что нужно будет рассказать обо всём, что произошло между ним и Пекснифом, и он боялся, что Джона страшно обрадует эта новость.

„Но сказать придется рано или поздно, — подумал Том, — и уж лучше сразу пройти через это“.

Тук-тук!

„Боюсь, что в Лондоне так не стучат, — подумал Том. — Уж очень несмело. Может, оттого никто не отворяет дверь?“

В самом деле, никто не отворял, и Том стоял, глядя на дверной молоток и ломая голову над тем, где же тут по соседству живет джентльмен, который кричит кому-то во все горло: „Войдите!“

„Господи помилуй! — сообразил Том, наконец, — может быть, этот человек живет здесь и кричит именно мне. А я и не подумал. Не знаю, удастся ли мне открыть дверь снаружи? Кажется, да“.

Конечно, это ему удалось, стоило только повернуть ручку; и конечно,

повернув ее, он услышал все тот же голос, повторявший необыкновенно громко: „Что же вы не входите?“

Том шагнул из маленького коридорчика в комнату, откуда доносились эти крики, и едва успел разглядеть джентльмена в халате и туфлях (сапоги стояли рядом наготове), сидевшего за завтраком с газетой в руках, как этот самый джентльмен, рискуя опрокинуть чайный столик, бросился к Тому и обнял его.

— Да ведь это вы, Том, дружище? — закричал джентльмен. — Том!

— Как я рад вас видеть, мистер Уэстлок! — сказал Том Пинч, пожимая ему руки и дрожа сильнее прежнего. — Как вы добры.

— Мистер Уэстлок? — повторил Джон. — Что это значит, Пинч? Надеюсь, вы не забыли, как меня, зовут?

— Нет, Джон, нет; я не забыл, — сказал Том Пинч. — Боже ты мой, как вы добры!

— В жизни не видывал такого человека! — воскликнул Джон. — Что вы твердите все одно и то же? Чего же вы от меня ждали, хотел бы я знать? Вот, садитесь сюда, Том, и ведите себя разумно. Как вы поживаете, мой милый? Я страшно рад вас видеть!

— А я страшно рад видеть вас, — сказал Том.

— Это взаимно, разумеется, — возразил Джон. — И всегда так было, надеюсь. Если бы я знал, что вы приедете, Том, я бы заказал что-нибудь к завтраку. Для меня лично такой сюрприз лучше всякого завтрака, но вы — дело другое, не сомневаюсь, что вы проголодались, как на охоте. Придется вам обойтись тем, что есть, а за обедом мы себя вознаградим. Вам с сахаром, я знаю; помните сахар у Пекснифа? Ха-ха-ха! Как поживает Пексниф? Когда вы приехали в город? Да начните же с чего-нибудь, Том! Вот здесь только остатки, но это совсем не плохо. Копченая кабанья голова — попробуйте, Том. Начните хотя бы. Какой вы чудак! Я страшно рад вас видеть!

Говоря все это в большом волнении, Джон все время перебегал от стола к буфету, доставая разные копчености в банках, выгребая из чайницы невероятное количество чая, роняя французские булки в сапоги, поливая масло кипятком, делая много других промахов в том же роде и нисколько этим не огорчаясь.

— Ну вот! — сказал Джон, присаживаясь в пятидесятый раз и немедленно вскакивая, чтобы сделать еще добавление к завтраку. — С этим мы как-нибудь обойдемся до обеда. А теперь рассказывайте, Том. Во-первых, как поживает Пексниф?

— Не знаю, как он поживает, — нахмурившись, ответил Том.

Джон Уэстлок поставил чайник и в изумлении воззрился на Тома.

— Не знаю, как он поживает, — сказал Томас Пинч, — и не интересуюсь этим, хоть и не желаю ему зла. Я ушел от него, Джон. Совсем ушел.

— Сами, по доброй воле?!

— Ну нет, он меня прогнал. Но я еще до этого понял, что ошибался в нем и не мог бы оставаться у него ни при каких обстоятельствах. К моему прискорбию, Джон, вы верно о нем судили. Может быть, это смешная слабость, Джон, но, поверьте, мне было очень тяжело и горько узнать это.

Тому не было нужды так умоляюще глядеть на своего друга, безмолвно и кротко прося его не смеяться над этими словами. Джон Уэстлок был так же далек от этой мысли, как и от того, чтобы свалить его на пол ударом кулака.

— Все это была моя мечта, — сказал Том, — но с нею теперь кончено. Когда-нибудь в другой раз я вам расскажу, что случилось. Примиритесь с моей причудой, Джон, сейчас мне не хочется ни думать, ни говорить об этом.

— Клянусь вам, Том, — очень серьезно отвечал его друг, помолчав несколько времени, — теперь, когда я понял, как много это для вас значит, я и сам не знаю, радоваться или печалиться, что вы, наконец, сделали такое открытие. Я упрекаю себя за то, что когда-то шутил над вами.

— Дорогой друг, — сказал Том, протягивая руку, — очень великодушно и благородно с вашей стороны так отнестись ко мне и к моему открытию. Мне совестно думать, что я колебался хоть минуту, идя сюда. Вы не знаете, какая тяжесть снята с моей души, — продолжал Том жизнерадостно, снова берясь за нож и вилку. — Сейчас я нанесу порядочный урон кабаньей голове.

Хозяин, которому эти слова напомнили о его обязанностях, немедленно принялся накладывать на тарелку приятеля всякого рода яства, несовместимые друг с другом, так что Том позавтракал весьма основательно и почувствовал себя значительно лучше.

— Ну, вот и хорошо, — сказал Джон, с неописуемым удовольствием следивший за каждым движением Тома. — А теперь насчет ваших планов. Вы, конечно, остановитесь у меня. Где ваш сундук?

— В гостинице, — сказал Том. — Я и не думал...

— Неважно, о чем вы не думали, — прервал его Джон Уэстлок. — Поговорим лучше о том, что вы хотели делать. Вы хотели, приехав сюда, посоветоваться со мной — не так ли, Том?

— Разумеется.

— И послушаться моего совета, если я его дам?

— Да, — сказал Том с улыбкой, — если ваш совет будет хорош, в чем я не сомневаюсь, раз он ваш.

— Отлично. Тогда прежде всего не будьте упрямым старым чудаком, не то я закрою лавочку и не отпущу вам столь ценный товар. Вы у меня в гостях, Том. Жаль, что здесь нет для вас органа.

— Не сомневаюсь, что нижние и верхние жилы тоже об этом жалеют, — ответил Том.

— Позвольте. Во-первых, вы захотите нынче же утром повидаться с вашей сестрой, — продолжал его друг, — и, разумеется, пойдете к ней один. Я немного провожу вас, потом мне нужно будет зайти по одному делу, а днем мы встретимся. Положите вот это в карман. Это всего только ключ от двери. Если вы вернетесь домой первым, он вам понадобится.

— Право, — сказал Том, — вселиться к приятелю таким образом...

— Да ведь у меня два ключа, — прервал его Джон Уэстлок. — Не могу же я отпирать дверь двумя ключами сразу, не правда ли? Какой вы, право, смешной, Том! Не хотите ли вы заказать чего-нибудь к обеду?

— О боже мой, нет! — сказал Том.

— Хорошо, тогда можете предоставить все это мне. Хотите выпить рюмку вишневой наливки?

— Ни единой капли! Какая замечательная у вас квартира! — сказал Пинч. — В ней есть решительно все.

— Господь с вами, Том! Ничего особенного, кроме маленьких холостяцких ухищрений; всякие приспособления на скорую, руку, какие мог бы придумать Робинзон Крузо или Филипп Кворл, вот и все. Ну, как вы решили? Идем?

— Разумеется! — воскликнул Том. — Когда вам угодно.

Дав Тому газету, Джон вытряхнул из сапогов французские булки, натянул сапоги и переоделся. Когда он вернулся, одетый для прогулки, Том сидел, невесело задумавшись, с газетой в руках.

— Мечтаете, Том?

— Нет, — сказал мистер Пинч, — нет, не мечтаю. Я просматривал объявления, думая, что, может быть, найдется что-нибудь подходящее. Но, как я часто замечал, самое удивительное то, что там ни для кого нет ничего подходящего. Тут и всякого рода хозяева, которым нужны всякого рода слуги, и всякого рода слуги, которым нужны всякого рода хозяева, но они, по-видимому, никогда не встречаются. Тут и джентльмен, состоящий на службе и временно стесненный в средствах, ищет занять пятьсот фунтов; а в следующем объявлении другой джентльмен желает кому-нибудь

одолжить именно эту сумму. Но они так и не сговорятся, Джон, поверьте! Тут и дама с небольшим капиталом, которая желает поселиться в тихом и приятном семействе, а рядом семейство, которое рекомендует себя именно этими словами, что оно „тихое и приятное“ и желает поселить у себя именно такую даму. Но она никогда к ним не попадет! И точно так же никто из одиноких джентльменов, желающих снять просторную светлую спальню, с правом пользоваться гостиной, никогда не договорится с домохозяевами, живущими в сельской местности, славящейся живительным воздухом, в пяти минутах ходьбы от Лондонской биржи. И даже те буквы алфавита, которые вечно убегают от своих друзей и которых умоляют возвратиться на самом верху столбца, по-видимому никогда не возвращаются, если судить по тому, сколько раз их об этом просят. Право, кажется, — сказал Том, со вздохом откладывая газету, — будто людям доставляет такое же удовольствие жаловаться в печати, как и изливаться кому-нибудь устно; как будто им станет легче и спокойнее на душе оттого, что они заявят: „Мне нужна такая-то и такая-то вещь, но я не могу ее добиться; и думаю, что не добьюсь никогда!“

Джон Уэстлок засмеялся, и они вышли на улицу вместе. Так много лет прошло с тех пор, как Том был последний раз в Лондоне, и он так мало знал город, что теперь проявлял чрезвычайное любопытство ко всему, что видел. Он особенно хлопотал о том, чтобы среди прочих достопримечательностей ему непременно показали те улицы, где специально грабят приезжих, и был вконец разочарован тем, что в течение получаса никто не залез к нему в карман. Но после того как Джон Уэстлок изобрел ему в утешение карманника, обвинив в принадлежности к этой братии одного весьма почтенного незнакомца, Том пришел в восторг.

Друг проводил его почти до самого Кемберуэла и, уверившись, что он без ошибки найдет дом богатого заводчика, расстался с ним и пошел по своим делам. Остановившись перед большой ручкой от звонка, Том осторожно потянул за нее. Явился привратник.

— Скажите, пожалуйста, живет здесь мисс Пинч? — спросил Том.

— Мисс Пинч здесь гувернантка, — ответил, привратник.

В то же время он оглядел Тома с головы до ног, как бы говоря: „И ты тоже хорош; откуда изволил явиться?“

— Это она и есть, — сказал Том. — Совершенно верно. Она дома?

— Почему же мне знать, — отвечал привратник.

— Не будете ли вы так добры справиться? — сказал Том. Он очень робко и деликатно намекнул на такую возможность, ибо она, по-видимому, не приходила привратнику в голову.

Суть была в том, что привратник, отворив на звонок калитку, сейчас же позвонил в дом (ибо, если жить, подражая баронам, то надо делать все так, как у них полагается), и на этом его служебные обязанности закончились. Будучи нанят для того, чтобы отпирать и запираť ворота, а не для того, чтобы объясняться с посторонними, он предоставил разбираться в этом маленьком инциденте ливрейному лакею с аксельбантами, который как раз в это время крикнул с порога:

— Эй, вы, там, вам чего надо? Сюда идите, молодой человек!

— О, — сказал Том, — я и не заметил, что тут есть кто-нибудь еще. Скажите, пожалуйста, мисс Пинч дома?

— Она никуда не уходила, — возразил лакей, как бы желая этим сказать Тому: „Но если вы вообразили, что она у себя дома и что этот дом ее собственный, то лучше вам эту идею бросить“.

— Я бы хотел ее видеть, если можно, — сказал Том.

Лакей, будучи молодым человеком живого характера, как раз засмотрелся на пролетавшего голубя и настолько увлекся, что не отрывал взгляда до тех пор, пока голубь не скрылся из виду. После чего он пригласил Тома войти и проводил его в гостиную.

— Фамилия? — спросил молодой человек, с томным видом останавливаясь в дверях.

Это он придумал удачно; ибо такой вопрос, не доставляя посетителю, если б он оказался вспыльчивого характера, достаточного повода закатить молодому человеку оплеуху, давал вместе с тем понять, какое мнение составил молодой человек о госте, и освобождал его от гнетущей необходимости только про себя считать гостя ничтожеством и темной личностью.

— Передайте, пожалуйста, что это ее брат, — сказал Том.

— Мать? — томно проблеял лакей.

— Брат, — повторил Том, слегка повысив голос. — И если вы скажете сначала, что это один джентльмен, а потом, что это ее брат, я буду очень вам обязан, потому что она меня не ждет и не знает, что я в Лондоне, а мне не хотелось бы пугать ее.

Молодой человек давным-давно потерял всякий интерес к словам Тома, однако он сделал ему любезность и дал договорить, после чего удалился, закрыв за собой дверь.

„Боже мой! — подумал Том. — Можно ли вести себя так неуважительно и невежливо. Надеюсь, что это новые слуги и что с Руфью обращаются совсем по-другому“.

Его размышления были прерваны голосами, доносившимися из

соседней комнаты. Там, по-видимому, о чем-то громко пререкались или негодующе упрекали провинившегося, и спор, становясь все громче и громче, разразился, наконец, целой бурей. Во время этой бури, как показалось Тому, лакей и доложил о нем, потому что сразу воцарилась неестественная тишина, а потом и мертвое молчание. Том стоял у окна, гадая, какая семейная ссора могла породить такой шум, и надеясь, что Руфь не имеет никакого отношения к ней, как вдруг дверь отворилась и сестра бросилась ему на шею.

— Господи помилуй! — сказал Том, глядя на нее с гордостью, после того как они нежно обняли друг друга. — Как ты изменилась, Руфь! Право, я вряд ли узнал бы тебя, милая, если бы увидел еще где-нибудь! Ты очень похорошела, — сказал Том с невыразимой радостью, — стала такая женственная, такая, право, знаешь ли, — красивая!

— Если тебе это кажется, Том...

— Нет, это не только мне кажется, — сказал Том, ласково глядя ее волосы. — Это не только мое мнение, а в самом деле так. Но что с тобой? — спросил Том, вглядываясь в нее пристальнее. — Ты вся покраснелась! Да ты плакала!

— Нет, я не плакала, Том.

— Пустяки, — твердо сказал ее брат, — это неправда. Меня не проведешь! Не спорь со мной. В чем дело, милая? Я ведь теперь не у мистера Пекснифа. Я собираюсь устроиться в Лондоне, и если тебе здесь нехорошо (а я очень боюсь, что нехорошо, и начинаю думать, что ты меня обманывала, хотя и с самыми лучшими намерениями), ты здесь не должна оставаться.

Ого! Том вышел из себя — подумать только! Быть может, тут повлияла кабанья голова, и уж наверняка повлиял лакей. А также и встреча с милой сестрой — она значила очень много. Том Пинч мог стерпеть что угодно сам, но он гордился своей сестрой, — а гордость щепетильна. У него явилась мысль: „Быть может, Пекснифов много на свете?“ — и, весь разгоревшись от негодования, он сразу почувствовал колотье во всем теле.

— Мы поговорим еще, Том, — сказала Руфь, целуя брата в щеку, чтобы его успокоить. — Боюсь, что мне нельзя здесь оставаться.

— Нельзя? — сказал Том. — Ну что ж, тогда и не надо, дорогая. Слава богу! Ты не из милости здесь живешь. Честное слово!

Восклицания Тома были прерваны лакеем, который явился с поручением от своего барина и сообщил, что тот желает поговорить с Томом до его ухода, а также и с мисс Пинч.

— Проводите меня, — сказал Том. — Я сейчас же иду к нему.

Они прошли в комнату рядом, откуда раньше слышны были пререкания, и застали там пожилых лет господина с напыщенной речью и напыщенными манерами, а также пожилую даму, лицо которой, если можно так выразиться, подлежало акцизному сбору, ибо состояло по преимуществу из крахмала и уксуса. Кроме того, здесь присутствовала старшая воспитанница мисс Пинч, та самая, которую миссис Тоджерс в свое время окрестила „сиропчиком“ и которая теперь плакала и рыдала от злости.

— Мой брат, сэр, — робко сказала Руфь, представляя Тома.

— О! — воскликнул джентльмен, внимательно озирая Тома. — Вы действительно брат мисс Пинч? Извините, что я спрашиваю. Я не вижу никакого сходства.

— У мисс Пинч имеется брат, я знаю, — заметила дама.

— Мисс Пинч всегда говорит про своего брата, вместо того чтобы заниматься моим образованием, — прорыдала воспитанница.

— Молчать, София! — заметил джентльмен. — Садитесь, пожалуйста, — обратился он к Тому.

Том сел, переводя взгляд с одного лица на другое в немом изумлении.

— Оставайтесь здесь, пожалуйста, мисс Пинч, — продолжал джентльмен, оглядываясь через плечо.

Том прервал его, поднявшись с места, и подал стул своей сестре. После чего опять сел.

— Я очень рад, что вы случайно зашли навестить вашу сестру именно сегодня, — продолжал владелец латунно- и меднолитейных заводов, — ибо, хотя в принципе я не одобряю, что молодая особа, служащая у меня в доме в качестве гувернантки, принимает посетителей, в данном случае это произошло весьма кстати. К сожалению, должен вам сказать, что мы вовсе не так довольны вашей сестрой.

— Мы очень недовольны ею! — заметила дама.

— Я ни за что не буду больше отвечать уроки мисс Пинч, хоть бы меня избили до полусмерти! — прорыдала воспитанница.

— София! — прикрикнул на нее отец. — Замолчи!

— Вы позволите осведомиться, какие у вас основания быть недовольным? — спросил Том.

— Да, — сказал джентльмен, — позволю. Я не считаю, что вы имеете на это право, но все-таки позволю. Ваша сестра от природы лишена способности внушать уважение. Это и было постоянным источником несогласий между нами. Хотя она живет в этой семье уже давно и хотя присутствующая здесь молодая особа выросла, можно сказать, под ее

руководством, эта молодая особа не питает к ней уважения. Мисс Пинч оказалась совершенно неспособна внушить уважение моей дочери или завоевать ее доверие. Так вот, — сказал джентльмен, и его ладонь с силой шлепнулась о стол, — такое положение вещей совершенно недопустимо! Вы, как брат, может быть, склонны отрицать это...

— Простите, сэр! — сказал Том. — Я вовсе не склонен отрицать это. Такое положение вещей не только недопустимо, оно просто чудовищно.

— Боже милостивый! — воскликнул джентльмен, с достоинством озирая комнату. — К чему же это привело в данном случае? Какие последствия проистекают из слабости характера, проявленной мисс Пинч? Что я должен был почувствовать как отец, когда, после того как я неоднократно выражал желание (чего, думаю, она не станет отрицать), чтобы моя дочь отличалась изяществом выражений, благородством манер, подобающим ее положению в обществе, и сдержанной учтивостью с нижестоящими, я узнаю, что она, не далее как сегодня утром, назвала самое мисс Пинч нищенкой!

— Нищей дрянью, — поправила его дама.

— Что еще хуже, — с торжеством заметил джентльмен, — что еще хуже! Нищая дрянь! Низкое, грубое, неуважительное выражение!

— В высшей степени неуважительное! — воскликнул Том. — Я очень рад, что оно нашло здесь верную оценку.

— Настолько верную, сэр, — произнес джентльмен, понизив голос для пущей внушительности, — настолько верную, что, если б я не знал мисс Пинч как сироту и одинокую молодую особу, не имеющую друзей, я бы порвал всякие отношения с ней сию же минуту и навсегда, в чем я и уверял мисс Пинч только что, ссылаясь на известную ей прямоthu моего характера и мою репутацию.

— Ну, знаете ли, сэр! — крикнул Том, вскочив со стула; он уже не в силах был сдерживаться более. — Пожалуйста, не останавливайтесь из-за таких соображений. Ничего этого нет, сэр. Она не одинока, она может уйти хоть сию минуту. Руфь, милая моя, надевай шляпку!

— Ну и семейка! — воскликнула дама. — Конечно, он ей брат! Какое может быть сомнение!

— Никакого сомнения, сударыня, — сказал Том, — так же как и в том, что эта молодая девица воспитана вами, а не моей сестрой. Руфь, милая моя, надевай шляпку!

— Когда вы говорите, молодой человек, — высокомерно прервал его владелец латунно- и меднолитейных заводов, — со свойственной вам дерзостью, которой я в дальнейшем не намерен замечать, что эта молодая

особа, моя старшая дочь, воспитана не мисс Пинч, а кем-то другим, вы... мне нет надобности продолжать. Вы вполне меня понимаете. Не сомневаюсь, что для вас это не ново.

— Сэр! — воскликнул Том, после того как некоторое время глядел на него в молчании. — Если вы не понимаете, что я хочу сказать, я готов объяснить вам. Но если вы понимаете, я попрошу вас осторожнее выбирать выражения. Я хотел сказать, что ни один человек не может ожидать от своих детей уважения к тому, кого он сам унижает.

— Ха-ха-ха! — расхохотался джентльмен. — Притворство! Обычное притворство!

— Обычная история, сэр! — сказал Том. — Обычная для людей с низкой душой. Разумеется, ваша гувернантка не может завоевать доверие и уважение ваших детей! Но пусть она сначала добьется этого от вас, и посмотрим, что тогда будет.

— Мисс Пинч надевает шляпку, я полагаю? — сказал джентльмен, обращаясь к жене.

— Полагаю, что надевает, — сказал Том, предупреждая ответ. — Не сомневаюсь, что надевает. А тем временем я хочу поговорить с вами, сэр, Вы сообщили мне ваше мнение — вы желали видеть меня с этой целью, — и я имею право ответить. Я не кричу и не буйствую, — сказал Том, что было совершенно верно, — хотя вряд ли могу сказать то же о вас, о вашей манере обращаться ко мне. И я бы желал, в интересах моей сестры, установить только правду.

— Вы можете устанавливать все что вам угодно, молодой человек, — возразил джентльмен, притворно зевая. — Дорогая моя, деньги мисс Пинч.

— Если вы мне говорите, — продолжал Том, в каждом слове которого, несмотря на всю его сдержанность, кипело негодование, — если вы мне говорите, что моя сестра неспособна внушить уважение вашим детям, то я должен вам сказать, что это не так и что у нее есть эта способность. Она так же хорошо воспитана, так же хорошо образована, так же наделена от природы способностью внушать уважение, как любой известный вам наниматель гувернанток. Но раз вы обращаетесь с ней хуже, чем с любой горничной в вашем доме, то как же вы не понимаете, если наделены здравым смыслом, что ваши дочери будут с ней обращаться в десять раз хуже?

— Недурно! Честное слово, недурно! — воскликнул джентльмен.

— Это очень дурно, сэр, — сказал Том. — Это очень дурно, и низко, и несправедливо, и жестоко! Уважение! Я полагаю, дети достаточно сообразительны, чтобы подмечать за взрослыми и подражать им; каким

образом и с какой стати им уважать того, кого никто не уважает и оскорбляют все? И действительно, как им полюбить науки, когда они видят, до чего успехи в этих самых науках довели их гувернантку! Уважение! Поставьте самого уважаемого человека в такие условия, в какие вы поставили мою сестру, и вы унизите его точно так же, кто бы он ни был.

— Ваши слова чрезвычайно дерзки, молодой человек, — заметил джентльмен.

— Я говорю без злобы, но с величайшим негодованием и презрением ко всем тем, кто ведет себя подобным образом, — сказал Том. — Да как же вы можете, если вы честный человек, выражать неудовольствие или удивляться тому, что ваша дочь назвала мою сестру нищенкой, если вы сами вечно твердите ей то же на сто ладов, ясно и откровенно, хотя и не словами, и если ваши привратник и лакей с той же деликатностью говорят это первому встречному? Что же касается ваших подозрений и недоверия к ней, чуть ли не к каждому ее слову, — если она их заслужила, зачем же вы ее у себя держите? Вы не имеете на это права.

— Не имею права! — воскликнул владелец латунно- и меднолитейных заводов.

— Решительно никакого, — ответил Том. — Если вы воображаете, что уплата определенной суммы в год дает вам это право, вы страшно преувеличиваете ценность и власть денег. Ваши деньги тут самое последнее дело. Вы можете платить их секунда в секунду по часам, и все же оказаться банкротом. Мне нечего больше сказать вам, — заключил Том, сильно разгоряченный и взволнованный, — разве только попросить у вас разрешения подождать в саду, пока сестра будет готова.

И, не дожидаясь разрешения, Том вышел из комнаты.

Он еще не успел сколько-нибудь остыть, как сестра присоединилась к нему. Она плакала, и Том не мог вынести мысли, что кто-нибудь в доме увидит ее слезы.

— Подумают, что тебе жаль уходить отсюда, — сказал Том. — Ведь тебе не жаль?

— Нет, Том, нет! Мне давно уже хотелось уйти.

— Ну и отлично в таком случае! Не плачь! — сказал Том.

— Я так огорчилась за тебя, милый, — сквозь слезы сказала сестра Тома.

— Это вместо того, чтобы радоваться за меня! С тобой я стану вдвое счастливее. Держи голову выше — вот так! Теперь мы уйдем как следует — без шума, но твердо и уверенно.

Мысль, что Том с сестрой могли бы при каких бы то ни было

обстоятельствах поднять шум, была совершенной нелепостью. Но Том в своем волнении вовсе этого не чувствовал и вышел из ворот с таким строгим и решительным выражением лица, что привратник едва узнал его.

И только после того как они отошли немного и Том успел до некоторой степени остыть и собраться с мыслями, его окончательно привел в себя вопрос сестры, которая сказала своим приятным, тихим голосом:

— Куда же мы идем с тобой, Том?

— Боже мой! — сказал Том, останавливаясь. — Я не знаю!

— Ведь ты... ведь ты живешь где-нибудь, милый? — спросила Руфь, печально заглядывая ему в лицо.

— Нет, — сказал Том. — Не то чтобы... пока еще не живу. Я только сегодня утром приехал. Нам нужно найти квартиру.

Он не сказал ей, что собирался остановиться у своего приятеля Джона и что никак не может навязать ему двух жильцов, из которых один — молодая девушка; он знал, что это ее встревожит и даст ей повод считать себя обузой для брата. Не хотелось ему также оставлять ее где-нибудь, пока он зайдет к Джону, чтобы сообщить ему о перемене своих планов; ибо, зная деликатность своего друга, он не хотел злоупотреблять ею. Поэтому он опять сказал:

— Нам, разумеется, нужно найти квартиру, — и сказал это так твердо, как будто сам был полным справочником и путеводителем по лондонским квартирам. — Где же нам ее искать? Как ты думаешь?

Сестра знала немногим больше Тома. Она сунула свой маленький кошелек ему в карман, потом положила одну ручку на другую, продетую под руку Тома, и ничего не сказала.

— Где-нибудь в дешевой местности, — сказал Том, — и недалеко от Лондона. Дай подумать. Как, по-твоему, Излингтон^[116] хорошее место?

— Мне кажется, это прекрасное место, Том.

— Он когда-то назывался „Веселый Излингтон“, — сказал Том. — Может быть, он и теперь веселый; что ж, тем лучше. А? — сказала сестра

— Если только там не очень дорого, Тома.

— Конечно, если там не очень дорого, — согласился Том. — Ну, так где же это Излингтон? Нам, я думаю, лучше всего туда отправиться. Идем.

Сестра Тома пошла бы с ним куда угодно; и они отправились в путь, взявшись под руку, как нельзя более довольные. Разузнав, наконец, что Излингтон совсем не в той стороне, Том стал наводить справки, как туда проехать, и скоро узнал и это. По дороге в Излингтон они говорили не умолкая. Том рассказывал сестре, что случилось с ним, а сестра рассказывала, что случилось с нею, и обоим надо было сказать так много,

что не хватило времени; и когда они доехали до места, им казалось, что они едва начали разговаривать, по сравнению с тем, сколько осталось еще несказанным.

— Ну, — сказал Том, — нам надо сначала поискать где-нибудь улицу поскромней, а потом смотреть, где есть билетики на окнах.

И они опять пошли пешком, такие веселые, будто только что вышли из собственного уютного домика искать квартиру для кого-нибудь другого. Простодушие Тома, видит бог, нисколько не уменьшилось с годами, но теперь, зная, что ему есть о ком заботиться, он стал больше надеяться на себя и сделался, по его собственному мнению, способен решительно на все.

После того как они несколько часов ходили по улицам взад и вперед и пересмотрели десятки квартир, им это начало казаться довольно утомительным, особенно потому, что они не видели ничего сколько-нибудь для себя подходящего. Наконец в одном особенно старомодном домике, в конце тупика, они разыскали две маленьких спальни и треугольную гостиную, которые показались им подходящими. То, что они пожелали занять квартиру немедленно, было довольно подозрительным обстоятельством, но даже и это препятствие удалось преодолеть, уплатив тут же за неделю вперед, а также сославшись на Джона Уэстлока, эсквайра, Фэрнивелс-Инн, Верхний Холборн.

Ах, до чего же приятно было видеть, как Том с сестрой, разрешив этот важный вопрос, бегают по лавкам — к булочнику, к мяснику, к бакалейщику — и с каким радостным страхом перед непривычными хозяйственными заботами потихоньку советуются друг с другом, покупая какую-нибудь мелочь, и как их сбивает с толку каждый вопрос лавочника! Как, вернувшись в треугольную гостиную, сестра Тома суетится и хлопочет о тысяче милых пустяков, время от времени останавливаясь, чтобы поцеловать старину Тома или улыбнуться ему, а Том потирает руки с таким видом, будто он владелец всего Излингтона.

Однако дело шло уже к вечеру, Тому давно пора было встретиться со своим другом, как они условились. Уговорившись с сестрой, что они позволят тебе роскошь поужинать котлетами в девять часов, в награду за то, что оба они остались без обеда, он ушел, чтобы рассказать Джону обо всех этих удивительных событиях.

„Вот я и стал настоящим семейным человеком, — думал Том. — Если б только достать работу, как бы хорошо было нам с Руфью! Ах, это „если“! Но что толку унывать. Это еще успеется, когда я перепробую все и везде потерплю неудачу, да и тогда оно мало поможет. Честное слово, — думал Том, ускоряя шаг, — Джон, верно, ломает голову, что такое со мной

случилось. Он, должно быть, уже беспокоится, не забрел ли я на те улицы, где режут приезжих провинциалов, и не наделали ли из меня мясных пирожков; да и мало ли какие ужасы в том же роде приходят ему в голову“.

Глава XXXVII

Том Пинч, сбившись с дороги, узнает, что не он один находится в затруднительном положении. Он сводит счеты, с поверженным врагом.

Злой гений Тома не завел его в логово фабриканта, изготовителя тех каннибальских лакомств, какими весьма бойко торгует столица, если верить ходячим среди провинциалов басням; не сделал он его и жертвой фокусников, зазывал, обманщиков, фальшивомонетчиков и других жуликов, обходящихся без кровопролития, но зато куда лучше известных полиции. Тому не пришлось также завести знакомство с одним из тех субъектов, которые обычно заманивают свою жертву в трактир, а там знакомят его еще с одним человечком, который клянется, что денег у него в кармане куда больше, чем у любого джентльмена, причем вскоре оказывается, что это так и есть, потому что он этого джентльмена тут же ухитрился обобрать. Словом, он не попал ни в одну из ловушек, которые незаметным образом расставлены повсюду в общественных местах столицы. Зато он сбился с дороги и, стараясь ее отыскать, отклонялся в сторону все больше и больше.

Надо сказать, что Том в своем простодушном недоверии к Лондону принял необычайно мудрое решение — по возможности не расспрашивать о дороге, разве только если он окажется по соседству с Монетным двором или же с Английским банком; в таком случае можно будет, пожалуй, войти и вежливо задать вопрос-другой, полагаясь на совершенную респектабельность учреждения. И потому он шел все дальше и дальше, заглядывая во все улицы по дороге и завертывая в каждую вторую из них; и, таким образом, отклонившись в сторону от Госуэл-стрит, заплутавшись в Олдерменбери, сделав крюк по Барбикену и упорно придерживаясь неверного направления на Лондонском валу, он забрел неизвестно каким образом на Темз-стрит и, руководимый инстинктом, силе которого надо было бы просто удивляться, если бы Том имел хоть малейшее желание или надобность туда попасть, очутился в конце концов поблизости от Монумента. Человек при Монументе был для Тома таким же загадочным существом, как человек на луне. Тому пришло в голову, что одинокий обитатель этих мест, державшийся, подобно какому-нибудь столпнику древности, в стороне от мирской суеты, и есть то самое лицо, у которого ему следует спросить дорогу. Быть может, он окажется холоден, проявит,

быть может, мало сочувствия к мирским страстям — Монумент казался слишком высок для сочувствия, — но если истина не обитает в цоколе Монумента, вопреки начертанному на нем двустистию Попа ^[117], то где же в Лондоне (думал Том) можно ее отыскать?

Подойдя вплотную к колонне, Том испытал большое облегчение, заметив, что человек при Монументе не утратил простых вкусов; что, хотя его резиденция была сооружением искусственным и гранитным, он все же сохранил некоторые сельские привычки — любил цветы, держал птиц в клетках, не отказывал себе в свежем салате и выращивал молоденькие деревца в кадках. Сам человек при Монументе сидел тут же перед дверью, перед собственной дверью, которая была дверью Монумента, — какая возвышенная мысль! — и в данную минуту зевал, словно и не было никакого Монумента для того чтобы пресечь эту зевоту и наполнить его жизнь глубоким смыслом.

Итак, Том хотел уже подойти к этому замечательному существу и спросить у него дорогу в Фэрнивелс-Инн, но тут явилось двое желающих осмотреть Монумент. Это были джентльмен с дамой, и джентльмен спросил:

— Почем с каждого?

Человек при Монументе ответил:

— По полмонеты.

Применительно к Монументу такое выражение показалось Тому недостаточно возвышенным.

Джентльмен сунул шиллинг человеку при Монументе, и тот открыл перед ними темную маленькую дверцу. После того как джентльмен с дамой скрылись из виду, он опять закрыл дверцу и вернулся к своему стулу.

Усевшись, он засмеялся.

— Не знают они, сколько там ступенек, — сказал он. — Вдвое больше заплатишь, лишь бы не лазить туда. Ох, умора!

Человек при Монументе был циник и притом не чуждался мирской суеты! Том не стал спрашивать у него дорогу. Он уже не решался верить ни единому его слову.

— Боже мой! — воскликнул очень знакомый голос за спиной мистера Пинча. — Ну да, конечно это он!

В ту же минуту его ткнули в спину зонтиком. Обернувшись, чтобы узнать, что значит такое приветствие, Том узрел старшую дочь своего бывшего патрона.

— Мисс Пексниф! — произнес Том.

— Ах, боже праведный, мистер Пинч! — воскликнула Черри. — Что

вы тут делаете?

— Я немножко сбился с дороги, — сказал Том. — Я...

— Надеюсь, что вы сбежали, — сказала Чарити. — Это было бы вполне уместно и кстати, раз папа до такой степени забылся.

— Я от него ушел, — сказал Том, — но это было по обоюдному согласию. Я не убежал тайком.

— Он женился? — спросила Чарити, судорожно вздергивая подбородок.

— Нет, еще не женился, — сказал Том, краснея. — И вряд ли женится, я думаю, если... если предмет его страсти мисс Грейм.

— Подите вы, мистер Пинч! — негодуя воскликнула Чарити. — Вас очень легко обмануть! Вы не знаете, на какие фокусы способны эти твари. Ах, какой это безнравственный мир!

— Вы не замужем? — намекнул Том, чтобы перевести разговор на другое.

— Н-нет! — сказала Черри, обводя концом зонтика плиту на тротуаре. — Я... но, право, это совершенно невозможно объяснить. Вы не зайдете к нам?

— Так, значит, вы живете здесь? — спросил Том.

— Да, — ответила мисс Пексниф, указывая зонтиком на пансион миссис Тоджерс, — пока я живу у этой дамы.

Сильное ударение на слове „пока“ дало Тому понять, что от него ждут какого-нибудь замечания по этому поводу, и оттого он сказал:

— Только пока? Вы скоро уезжаете домой?

— Нет, мистер Пинч, — возразила Чарити. — Нет, покорно благодарю! Нет! Мачеха, которая моложе, то есть я хочу сказать... почти одних со мной лет, мне вовсе не подходит. Во-все не подходит! — повторила Чарити, задрожав от злости.

— Я потому так подумал, что вы сказали „пока“, — заметил Том.

— Ну, право, честное слово! Вот уж не думала, что вы ко мне так пристанете с этим, мистер Пинч, — сказала Чарити, краснея, — не то я не сделала бы такой глупости, не намекнула бы на... нет, право... может быть, все-таки зайдете?

Том упомянул, уклоняясь от приглашения, что у него есть дело в Фэрнивелс-Инне и что по дороге из Излингтона он несколько раз ошибся поворотом и попал вместо того к Монументу. Мисс Пексниф долго жеманилась, когда он спросил, не знает ли она, как пройти в Фэрнивелс-Инн, и в конце концов набралась смелости ответить:

— Один джентльмен, с которым мы друзья, то есть не то чтобы он был

мне друг, а так, один знакомый... Ах, право, я сама не знаю, что говорю, мистер Пинч! Не думайте, пожалуйста, что мы помолвлены, а если даже и помолвлены, то это пока еще вовсе не решено. Так вот, он идет сейчас в Фэрнивелс-Инн по одному небольшому делу, и я уверена, будет очень рад проводить вас, чтобы вы опять не заблудились. Самое лучшее, зайдите к нам. Вы, верно, еще застанете здесь сестру Мерри, — сказала она, как-то особенно вздернув нос и улыбаясь не слишком приятно.

— Тогда уж лучше я попробую как-нибудь сам найти дорогу, — сказал Том, — я боюсь, что она не очень рада будет меня видеть. Это несчастное происшествие, которое дало повод к нашей дружеской беседе с глазу на глаз, вряд ли могло внушить ей добрые чувства ко мне. Хотя, в сущности, я был не виноват.

— Она об этом и не слыхала, можете быть уверены, — сказала Чарити, поджимая губы и кивая Тому. — Да если бы даже и услышала — не думаю, чтобы она очень рассердилась на вас.

— Что вы говорите? — воскликнул Том, не на шутку огорчившись этим намеком.

— Я ничего не говорю, — отвечала Чарити. — Если бы я не знала, как гадки сами по себе предательство и обман, то, наверно, убедилась бы теперь, видя, как они вознаграждаются... да, как они вознаграждаются! — Тут она улыбнулась, все так же криво. — Но я ровно ничего не говорю. Наоборот, пренебрегаю этим. Вам лучше всего зайти.

В этих словах чувствовалось нечто затаенное, что заинтересовало Тома и встревожило его жалостливое сердце. Когда он в нерешительности взглянул на Чарити, то не мог не заметить на ее лице борьбы между чувством торжества и чувством стыда; не мог он также не видеть, что, встретившись глазами даже с ним, которого она ни во что не ставила, мисс Пексниф отвернулась, хотя все ее существо дышало желчным вызовом.

Тому пришла в голову тревожная мысль, смутная догадка, что перемена в его отношениях с Пекснифом каким-то образом сказалась и на его отношении к другим людям, дав ему возможность понимать то, чего он раньше и не подозревал. И все же он не постигал истинного смысла маневров Чарити. Он, разумеется, и понятия не имел о том, что, поскольку он был свидетелем и очевидцем ее унижения, она с радостью ухватилась за этот случай уязвить свою сестру, сделав Тома свидетелем ее гораздо более глубокого унижения; он ничего об этом не знал, и сестра эта представлялась ему все тем же легкомысленным, беспечным, заурядным созданием, каким была всегда, все с тем же пренебрежительным отношением к Тому Пинчу, чего она даже не трудилась скрывать. Словом, у

него осталось только смутное впечатление, что мисс Пексниф злится и ведет себя не по-сестрински; и, любопытствуя, в чем дело, он пошел за ней по ее приглашению.

Дверь отворили, и Черри, попросив Тома следовать за ней, подвела его к дверям гостиной.

— Ах, Мерри, — сказала она, заглядывая в комнату, — до чего я рада, что ты еще не ушла домой. Как ты думаешь, кого я встретила на улице и привела повидаться с тобой? Мистера Пинча! Вот он! Представляю себе, как ты удивлена.

Она была не более удивлена, чем Том, увидев ее, — далеко не так; гораздо меньше.

— Мистер Пинч ушел от папы, дорогая моя, — продолжала Черри, — и у него самые блестящие виды на будущее. Я пообещала, что Огастес проводит его, ему это по дороге. Огастес, дитя мое, где вы?

С этими словами мисс Пексниф выпорхнула из гостиной, визгливо призывая мистера Модля, и оставила Тома Пинча наедине с сестрой.

Если бы она всегда была ему самым добрым другом; если бы во времена его рабства она обращалась с ним с тем уважением, в каком везде и всюду отказано честным труженикам, если бы она старалась облегчить ему каждую минуту этих трудных лет; если б она постоянно щадила и никогда не оскорбляла его, — то и тогда его честное сердце не могло бы проникнуться более глубокой жалостью к ней, не могло бы так начисто освободиться от всех неприятных воспоминаний, как теперь.

— Боже мой! Из всех людей на свете я меньше всего, разумеется, ожидала увидеть вас!

Тому грустно было слышать, что она разговаривает все так же, по старой своей привычке. Этого он не ожидал. Он не замечал противоречия и в том, что ему грустно видеть ее настолько непохожей на прежнюю Мерри, и вместе с тем грустно слышать, что она разговаривает совсем по-старому. И то и другое равным образом огорчало его.

— Не знаю, какое вам удовольствие видаться со мной. Не могу понять, что это вам вздумалось? Я никогда особенно не искала вашего общества. Мы с вами, кажется, всегда недолгоблюдали друг друга, мистер Пинч. Ее шляпка лежала рядом на диване, и, говоря, она все время теребила ленты, очевидно не сознавая, чем заняты ее руки.

— Мы никогда не ссорились, — сказал Том. Он был прав: ибо нельзя ссориться в одиночку, как нельзя без противника играть в шахматы или драться на дуэли. — Я надеялся, что вы будете рады пожать руку старому другу. Не станем вспоминать прошлое, — сказал Том. — Если я когда-

нибудь обидел вас, простите меня.

Она взглянула на него, потом выронила шляпку из рук, закрыла ими изменившееся лицо и залилась слезами. — О мистер Пинч! — сказала она. — Хотя я всегда обращалась с вами плохо, а все же верила, что вы умеете прощать. Я не думала, что вы можете быть так жестоки.

То, что она говорила, было настолько непохоже на прежнюю Мерри, насколько этого мог пожелать Том. Однако она, по-видимому, укоряла его в чем-то, и он ее не понимал.

— Я редко это показывала, никогда, я знаю; но я так доверяла вам, что если бы мне предложили назвать человека, который менее всего способен ответить на обиду обидой, я бы не колеблясь назвала вас.

— Вы бы назвали меня? — повторил Том.

— Да, — сказала она с ударением, — я часто об этом думала.

После минутного размышления Том сел на стул рядом с ней.

— Неужели вам кажется, — сказал Том, — неужели вы можете думать, что мои слова имели какой-нибудь другой смысл, кроме самого простого и ясного? Я сказал только то, что думал, не поймите меня превратно. Если я вас обидел когда-нибудь, простите меня; это могло случиться. Вы никогда не оскорбляли и не обижали меня. За что же я стал бы мстить вам, даже если бы я был настолько злопамятен, чтобы желать этого?

Она поблагодарила его сквозь слезы и рыдания, сказав, что еще ни разу ей не было так грустно и так хорошо, с тех пор как она уехала из дому. И все же она горько плакала; а Тому Пинчу тем больнее было глядеть на ее слезы, что именно в эту минуту она особенно нуждалась в сочувствии и утешении.

— Ну будет, перестаньте! — сказал Том. — Ведь вы всегда были веселая.

— Да, была! — воскликнула она таким голосом, что у Тома сжалось сердце.

— И опять будете, — сказал Том.

— Нет, никогда не буду! Никогда, никогда больше не буду! Если вам придется когда-нибудь говорить со старым мистером Чезлвитом, — прибавила она, на мгновение подняв глаза, — мне казалось, что вы ему нравитесь, только он это скрывает, — обещайте передать ему, что вы видели меня здесь и что я помню все, о чем мы с ним говорили на кладбище.

Том пообещал, что расскажет.

— Часто, когда я жалела, что меня не отнесли на кладбище задолго до того дня, я вспоминала его слова. Я хочу, чтобы он знал, как верны они

оказались, хотя я никогда в этом никому не признавалась и не признаюсь.

Том обещал и это однако умолчав кое о чем. Боясь расстроить ее еще больше, он не сказал ей, как мало вероятия, что он еще раз повстречает старика.

— Если у вас будет такой разговор с ним, дорогой мистер Пинч, — продолжала Мерри, — скажите ему, что я просила передать это не ради себя самой, но для того, чтобы он был более снисходителен, и более терпелив, и более доверчив, если он снова встретится с такой, как я, в трудную для нее минуту. Скажите ему, что если б он знал, как колебалось мое сердце, словно на весах, в тот день, и как немного нужно было, чтобы правда перевесила, — его собственное сердце облилось бы кровью от жалости ко мне.

— Да, да, — отвечал Том, — я ему скажу.

— Когда я казалась ему особенно недостойной его помощи, я была — я это знаю, потому что часто, часто думала об этом после, — я была всего ближе к тому, чтобы послушаться его слов. О, если бы он отнесся ко мне еще мягче; если бы он побыл со мной еще четверть часа; если бы он простер свое сострадание к пустой, легкомысленной, несчастной девушке немного дальше, он мог бы спасти ее, и я думаю, спас бы! Скажите, что я его не осуждаю и благодарна ему за ту попытку, которую он сделал; но попросите его, из любви к богу и к юности и из сочувствия к той борьбе, какую переживает неразумная, еще не знающая себя натура, скрывая силу, которую она считает слабостью, — попросите его никогда, никогда не забывать об этом, если он снова встретится с такой девушкой, как я!

Хотя Том и не мог уловить всего значения ее слов, он почти угадал его. Живо тронутый, он взял ее за руку и сказал, или хотел сказать, несколько слов ей в утешение. Она почувствовала и поняла их, несмотря на то, что они остались несказанными. Впоследствии Том никак не мог вспомнить, было это или не было, что она хотела в порыве благодарности броситься перед ним на колени.

Когда она ушла, он заметил, что не один в комнате. Миссис Тоджерс стояла тут же, покачивая головой. — Нечего и говорить, что Том никогда не видел миссис Тоджерс, однако он понял, что это хозяйка дома; и в ее глазах он подметил искреннее сострадание, которое расположило его в ее пользу.

— Ах, сэр! Вы, я вижу, старый друг, — сказала миссис Тоджерс.

— Да, — сказал Том.

— И все-таки, я уверена, — произнесла миссис Тоджерс, — она вам не рассказала, в чем ее горе.

Тома поразили ее слова, потому что это была истинная правда.

— Да, действительно не рассказала, — ответил он.

— И никогда не расскажет, — подхватила миссис Тоджерс, — хотя бы вы виделись каждый день. Она мне никогда ни на что не жалуется, от нее не услышишь ни упрёка, ни объяснения. Но я-то понимаю, — сказала миссис Тоджерс со вздохом, — я понимаю!

Том печально кивнул:

— И я тоже.

— Я твердо уверена, — произнесла миссис Тоджерс, доставая платок из плоского ридикюля, — что никто не знает и половины всего, что приходится выносить этой бедняжке, такой молоденькой. Но хотя она постоянно приходит сюда потихоньку, чтобы отвести душу, я никогда не слыхала от нее жалоб; скажет только: „Миссис Тоджерс, мне сегодня очень плохо, я думаю, что скоро умру“, и сидит, плачет в моей комнате, пока ей не станет легче. Вот и все. А ведь я уверена, — продолжала миссис Тоджерс, опять пряча платок, — что она меня считает близким другом.

Миссис Тоджерс могла бы сказать — лучшим другом. Джентльмены, занимающиеся коммерцией, и мясная подливка испортили характер миссис Тоджерс; корысть, такая ничтожная в данном случае, что поневоле приходилось смотреть в оба, как бы не упустить ее, — поглощала все внимание миссис Тоджерс. Но в каком-то закоулке сердца миссис Тоджерс, куда надо было взбираться по витой лестнице, и в таком темном углу, что ее легко было просмотреть, имелась потайная дверь с надписью „Женщина“; при первом прикосновении Мерси она раскрывалась и впускала ее.

Когда счета пансиона будут сверены со всеми другими книгами и ангел-летописец подведет окончательный итог и положит свое перо, — быть может, в его книгах отыщется такая запись в твою пользу, костлявая миссис Тоджерс, что ты покажешься красавицей!

Она быстро становилась красавицей в глазах Тома, — ибо он видел, что она небогата и что, вопреки мелочным расчетам и дрызгам, в ней сохранилось доброе сердце, — еще минута, и она стала бы в его глазах прямо Венерой, если бы мисс Пексниф не вошла в комнату вместе со своим другом.

— Мистер Томас Пинч! — сказала Чарити, с явной гордостью выполняя церемонию представления. — Мистер Модль. А где же моя сестра?

— Ушла, мисс Пексниф, — ответила миссис Тоджерс. — Она обещала быть дома.

— Ах! — сказала Чарити, глядя на Тома. — Ах, боже мой!

— Она очень изменилась, с тех пор как принадлежит друг... после

того как вышла замуж, миссис Тоджерс, — заметил мистер Модль.

— Милый мой Огастес! — произнесла мисс Пексниф, понизив голос. — Мне, право, кажется, что я это слышала пятьдесят тысяч раз. Какой вы скучный!

Засим последовало несколько маленьких любовных пассажей, вдохновительницей которых явно была мисс Пексниф. По крайней мере мистер Модль отвечал ей куда более вяло, чем отвечают обыкновенно молодые влюбленные, и проявлял такой упадок духа, что просто тяжело было смотреть.

Он ничуть не повеселел, когда они с Томом вышли на улицу, наоборот, совсем приуныл и своими вздохами нагонял тоску на мистера Пинча. Чтобы хоть немного ободрить молодого человека, Том поздравил его и пожелал ему счастья.

— Счастья! — воскликнул мистер Модль. — Ха-ха! „Какой странный молодой человек!“ — подумал Том.

— Демон презрения еще не отметил вас своей печатью. Вам не все равно, что с вами будет?

Том сознался, что интересуется этой темой до известной степени.

— А я нет, — сказал Модль. — Стихии могут поглотить меня, когда им угодно. Я готов!

Из этого и некоторых других выражений в том же роде Том заключил, что мистер Модль ревнует. А потому и предоставил его течению собственных мыслей, которые были настолько мрачны, что с души у Тома свалилась большая тяжесть, когда они, наконец, расстались у ворот Фэрнивелс-Инна.

Прошло уже два часа с того времени, когда Джон Уэстлок обыкновенно обедал, и теперь он расхаживал взад и вперед по комнате, сильно беспокоясь за своего друга. Стол был накрыт, вина заботливо разлиты по графинам, кушанье чудесно пахло.

— Что же вы, Том, старина, где вы пропадали? Снимайте скорее сапоги и садитесь за стол!

— Мне очень жаль, что я не могу остаться, Джон, — ответил Том Пинч, который еще задыхался после быстрого бега по лестнице.

— Не можете остаться?

— Начинайте обедать, — сказал Том, — а я тем временем расскажу вам, в чем дело. Сам я есть не могу, а не то потеряю аппетит к котлетам.

— Котлет сегодня не будет, мой милый.

— Здесь нет, а в Излингтоне будут, — сказал Том.

Джон Уэстлок был совершенно сбит с толку этим ответом и поклялся,

что не возьмет в рот ни кусочка, пока Том не объяснится как следует. Том уселся, рассказал ему все, и Джон выслушал его с величайшим интересом.

Джон слишком хорошо знал Тома и слишком уважал его деликатность, чтобы спрашивать, почему он поспешил с этим решением, не посоветовавшись с ним. Он был совершенно согласен, что Тому надо как можно скорее вернуться к сестре, раз он ее оставил одну в малознакомом месте, и любезно предложил проводить его туда в кэбе, чтобы кстати перевезти и сундук. От предложения поужинать вместе с Томом и его сестрой он отказался наотрез, но согласился прийти к ним завтра.

— А теперь, Том, — сказал он, когда они ехали в кэбе, — я хочу задать вам один вопрос, на который, надеюсь, вы ответите прямо и мужественно. Нужны вам деньги? Я совершенно уверен, что нужны.

— Нет, право, не нужны, — сказал Том.

— Мне кажется, вы меня обманываете.

— Нет. Очень вам благодарен, но я говорю совершенно серьезно, — ответил Том. — У сестры есть деньги, и у меня тоже. И если бы даже я все истратил, Джон, у меня есть еще пять фунтов от этой доброй женщины, миссис Льюпин из „Драконе“, которые она передала мне на остановке дилижанса в письме, с просьбой взять их взаймы, а потом поскорей уехала.

— Будь благословенна каждая ямочка на ее милом лице, вот что! — воскликнул Джон. — Хотя, право, не знаю, почему вы оказали ей предпочтение. Ну, ничего. Я подожду, Том.

— И надеюсь, вам порядком придется ждать, — возразил Том весело, — потому что я и так кругом у вас в долгу и никогда не смогу с вами расплатиться.

Они попрощались у дверей новой резиденции Пинчей. Джон Уэстлок остался в кэбе; увидев мельком цветущую и оживленную девушку небольшого роста, которая, выбежав на крыльцо, поцеловала Тома и помогла ему внести сундук, он подумал, что не прочь был бы поменяться с Томом местами.

Что ж, она и вправду была жизнерадостное создание, и в ней чувствовались какая-то особенная ясность и тишина, что очень привлекало. Конечно, она была самой лучшей приправой к котлетам, какую только можно придумать. Картофель, казалось, с радостью воссылал к ней приятно пахнущий пар; пена в кружке портера шипела, стараясь привлечь ее внимание. Но все это было напрасно. Она не видела ничего, кроме Тома. В нем заключался для нее весь мир.

И в то время как она сидела за ужином против брата, выстукивая пальчиками по скатерти его любимый мотив, он был счастлив, как никогда

В ЖИЗНИ.

Глава XXXVIII

Секретная служба.

Шествуя из Сити вместе со своим чувствительным знакомым, Том Пинч столкнулся носом к носу с мистером Неджетом, тайным агентом Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни, и даже слегка задел его потертый рукав. Естественно, что мистер Неджет, едва скрывшись из глаз, в ту же минуту исчез из памяти Тома, потому что Том не знал его и никогда не слышал его имени.

Если в обширной столице Англии существует несметное множество людей, которые, встав поутру, не ведают, где они преклонят голову вечером, то немало в ней и таких людей, которые, пуская наугад свои стрелы ради дневного промысла, не знают, кого они поразят. Мистер Неджет мог десять тысяч раз пройти мимо Тома Пинча, мог даже изучить его наружность, знать его имя, занятия и склонности — и все же ему не пришло бы в голову, что Тому есть какое-нибудь дело до его действий или секретов. Точно то же, разумеется, было и с Томом по отношению к мистеру Неджету. А между тем из всех людей, живущих на свете, их занимало в это время одно и то же лицо; оно было теснейшим образом, хотя и по-разному, связано для них обоих с событиями этого дня и в эту минуту, когда они повстречались на улице, всецело поглощало их мысли.

Почему Джонас Чезлвит занимал мысли Тома, не нуждается в объяснениях. Почему Джонас Чезлвит должен был занимать мысли мистера Неджета — дело совершенно иного рода.

Так или иначе, но этот достойный и любезный сирота стал частью загадочного существования мистера Неджета. Мистер Неджет интересовался даже самыми незначительными его действиями, интересовался неослабно и настойчиво. Он следил за ним в страховой конторе, директором которой Джонас теперь числился официально; он крался за ним по улицам; он подслушивал каждое его слово; он сидел в кофейнях, снова и снова внося его фамилию в большую записную книжку; он постоянно писал записки о нем самому себе; и, найдя их у себя в кармане, бросал в огонь с такими предосторожностями и так опасливо, что нагибался и следил даже за пеплом, улетающим в трубу, словно опасаясь, что заключенная в них тайна выйдет наружу вместе с дымом.

Однако все это оставалось пока в секрете. Мистер Неджет хранил его

— про себя, и хранил весьма строго. Джонас был так же далек от мысли, что мистер Неджет не сводит с него глаз, как и от мысли, что за ним ежедневно следит и доносит о нем весь орден иезуитов. В самом деле, глаза мистера Неджета редко были устремлены на что-нибудь, кроме паркета, часов и огня в камине; но видел он столько, словно все пуговицы на его пальто были глазами.

Вся его таинственная повадка усыпляла подозрения, наводя на мысль, что не он за кем-то следит, а наоборот, за ним следит кто-то, кого он опасается. Он ходил крадучись и держался до такой степени замкнуто, словно вся цель его жизни заключалась в том, чтобы остаться незамеченным и сохранить свою тайну. Джонас иногда видел на улице, или в передней конторы, или у дверей, как Неджет поджидает человека, который все не шел, или пробирается куда-то с опущенной головой и неподвижным лицом, помахивая перед собой теплой перчаткой; но Джонасу скорее могло прийти в голову, что крест на соборе св. Павла следит за каждым его шагом или осторожно расставляет ему сети, чем то, что Неджет может заниматься чем-нибудь подобным.

Приблизительно в это время в загадочной жизни мистера Неджета произошла некая загадочная перемена: до сих пор его видели каждое утро на Корнхилле^[118] до такой степени похожим на вчерашнего Неджета, что это даже породило поверье, будто он никогда не ложится спать и не раздевается; теперь же его впервые увидели в Холборне, сворачивающим с Кингстейт-стрит; и вскоре обнаружилось, что он в самом деле ходит туда каждое утро к цирюльнику бриться и что фамилия этого цирюльника Свидлпайп. Мистер Неджет, по-видимому, назначал здесь свидания какому-то человеку, никогда не державшему слова, потому что он подолгу просиживал в цирюльне, спрашивал перо и чернила, доставал записную книжку и углублялся в нее на целый час времени. Миссис Гэмп с мистером Свидлпайпом не раз беседовали о загадочном посетителе, но обычно приходили к выводу, что он, должно быть, прогорел на бирже и теперь сторонится людей.

Он, как видно, назначал свидания человеку, никогда не державшему слова, и еще в одном новом месте; как-то слуга в „Лошади и Катафалке“, бирже гробовщиков из Сити, в первый раз обратил внимание на то, что посетитель все выводит чубуком трубки какие-то цифры на свежем песке плевательницы и не желает ничего заказывать, под тем предлогом, что джентльмен, которого он ждет, еще не пришел. Так как джентльмен этот оказался настолько непорядочным, что не сдержал своего слова, мистер Неджет явился и на следующий день, с таким разбухшим бумажником, что

в буфете его сочли человеком весьма состоятельным. После того он повторял свои визиты ежедневно, и при этом столько писал, что ему ничего не стоило опорожнить в один-два присеста довольно объемистую чернильницу. Хотя он никогда не разговаривал много, однако, постоянно находясь среди завсегдатаев, перезнакомился со всеми, а по прошествии времени весьма близко сошелся с мистером Тэкером, помощником мистера Моулда, и даже с самим мистером Моулдом, который говорил ему в глаза, что он старый воробей, сухарь, продувная бестия, наглец, грубиян, и осыпал его многими другими, не менее лестными похвалами.

В то же самое время мистер Неджет стал говорить служащим страховой компании — таинственно, по своему обыкновению, — что у него что-то такое творится с печенью (весьма загадочное, конечно) и что ему, пожалуй, придется обратиться к доктору. После такого сообщения его препроводили к Джоблингу, и хотя Джоблинг не мог понять, что такое у него с печенью, мистер Неджет твердил, что печень у него не в порядке, и замечал, что ему лучше знать, поскольку это его печень. Вскоре он стал постоянным пациентом мистера Джоблинга и раз двадцать на дню заходил к нему, чтобы, по обыкновению, таинственно и обстоятельно рассказать о симптомах своей болезни.

Так как он занимался всеми этими делами разом, одинаково упорно и одинаково таинственно, и не ослаблял бдительного наблюдения за всем, что говорил и делал мистер Джонас, а также за всем, что он собирался сказать и сделать, — нет ничего невероятного в том, что все это входило тайным образом в какой-то грандиозный замысел мистера Неджета.

Утром того самого дня, когда с мистером Пинчем произошло столько событий, Неджет неожиданно появился перед домом мистера Монтегю на Пэлл-Мэлле — он всегда появлялся неожиданно, будто выскочив из люка, — как раз в ту минуту, когда часы били девять. Он позвонил в колокольчик украдкой, озираясь, словно это был предательский поступок, и проскользнул в дверь как раз в то самое мгновение, когда она открылась настолько, чтобы пропустить его. После чего он сразу затворил дверь.

Мистер Бейли, доложив о нем без промедленья, возвратился и проводил его в спальню своего хозяина. Председатель Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни одевался в это время и принял Неджета, как принимают доверенное лицо, которому в интересах дела дано право приходить и уходить в любое время.

— Ну, мистер Неджет?

Мистер Неджет поставил шляпу на пол и кашлянул. Как только мальчик вышел и закрыл за собой дверь, он тихонько подошел к ней,

потрогал ручку и, возвратившись, остановился в двух шагах от стула, на котором сидел мистер Монтегю.

— Есть новости, мистер Неджет?

— Думаю, что, наконец, есть кое-какие новости, сэр.

— Рад это слышать. Я начал уже опасаться, что вы сбились со следа, мистер Неджет.

— Нет, сэр. Время от времени след теряется. Это бывает. Без этого нельзя.

— Вы сами истина, мистер Неджет. Так вы хотите доложить о большом успехе?

— Это зависит от того, как вам покажется и как вы решите, — ответил тот, надевая очки.

— Что думаете вы сами? Вы довольны? Мистер Неджет медленно потер руки, погладил подбородок, обвел взглядом комнату и сказал:

— Да, да, мне кажется, ошибки нет. Я склонен так думать. Хотите приступить сейчас же?

— Пожалуйста.

Мистер Неджет, нацелившись, выбрал себе стул и, облюбовав для него место, установил его так старательно, как будто собирался через него прыгать, затем поставил против него другой стул, но так, чтобы было куда девать ноги. После этого он уселся на стул номер два и очень осторожно положил записную книжку на стул номер один. Затем развязал записную книжку и повесил тесемочку на спинку стула номер один. Затем придвинул оба стула немного ближе к мистеру Монтегю и, раскрыв записную книжку, разложил на стуле номер один ее содержимое. Наконец он выбрал одну записку среди всего прочего и протянул ее своему патрону, который во время всей предварительной церемонии едва сдерживал нетерпение.

— Хотелось бы, чтобы вы поменьше возились с записками, мой любезный друг, — сказал Тигг Монтегю с кривой улыбкой. — Хотелось бы, чтобы вы докладывали мне устно.

— Я не одобряю устных докладов, — степенно ответил мистер Неджет. — Никогда не знаешь, кто тебя подслушивает.

Мистер Монтегю собирался что-то возразить, но тут Неджет передал ему бумажку и сказал с тихим ликованием в голосе:

— Мы начнем с самого начала и посмотрим сперва вот это, сэр, если вам угодно.

Председатель взглянул на записку холодно, с улыбкой, явно не одобрявшей медлительную и методическую повадку своего соглядатая. Но не прочел он и десятка строчек, как выражение его лица начало изменяться,

и по мере того как он читал ее, оно становилось все более сосредоточенным и серьезным.

— Номер два, — сказал мистер Неджет, подавая ему вторую записку и отбирая первую. — Прочтите номер два, сэр, будьте любезны. Чем дальше, тем оно становится любопытнее.

Тигг Монтегю откинулся на спинку стула и устремил на своего агента взгляд, полный такого остолбенелого изумления, смешанного с испугом, что мистер Неджет счел нужным еще раз повторить свою просьбу, уже высказанную дважды, для того чтобы привлечь его внимание. Намек подействовал, и мистер Монтегю прочел записку номер два, а потом и номер три, и номер четыре, и номер пять, и так далее, по порядку.

Все эти записки были написаны почерком мистера Неджета и, по-видимому, продолжали одна другую, набросанные кое-как на изнанке старых конвертов, да и вообще на любом клочке бумаги, какой подвертывался под руку. Это были крупные, небрежные каракули, малопривлекательные по внешнему виду, зато содержание их было весьма важно, насколько можно было судить по лицу председателя.

Тайное удовлетворение мистера Неджета все возрастало, по мере того как увеличивалось волнение Монтегю. Сначала мистер Неджет сидел, низко опустив очки на нос, и, глядя поверх очков на своего патрона, тревожно потирал руки. Немного погодя он изменил свою позу на более свободную и на досуге спокойно читал следующий документ, держа его наготове, словно теперь ему достаточно было лишь время от времени поглядывать на своего патрона и не оставалось больше никаких причин тревожиться и сомневаться. И, наконец, он встал и подошел к окну, где и стоял с торжествующим видом, пока Тигг Монтегю не кончил чтения.

— И это последняя, мистер Неджет?

— Да, сэр, это последняя.

— Вы удивительный человек, мистер Неджет!

— Я думаю, что ошибки тут быть не может, — возразил тот, собирая свои бумажки. — Это стоило хлопот, сэр.

— Хлопоты будут как следует вознаграждены, мистер Неджет. — Неджет поклонился. — Пахнет паленым гораздо больше, чем я ожидал, мистер Неджет. Могу поздравить себя с тем, что вы такой ловкач по части всяких тайн.

— О, без тайны мне никакое дело не интересно, — ответил Неджет, завязывая тесемкой записную книжку и пряча ее в карман. — У меня пропадает почти всякое удовольствие, когда я открываю тайну даже вам.

— Неоценимая черта характера, — возразил Тигг. — Великий дар для

джентльмена вашей профессии, мистер Неджет. Гораздо лучше, нежели осторожность, хотя и этим качеством вы обладаете в выдающейся степени. Мне кажется, я слышал стук. Будьте любезны, выгляните в окно и скажите мне, не стоит ли кто-нибудь у дверей?

Мистер Неджет тихонько поднял окно и осторожно выглянул на улицу, словно оттуда в любую минуту можно было ожидать сильного ружейного залпа. Убрав голову из окна с такими же предосторожностями, он сообщил, не меняя ни голоса, ни манеры:

— Мистер Джонас Чезлвит!

— Я так и полагал, — отозвался Тигг.

— Мне уйти?

— Я думаю, что это будто лучше. Хотя погодите! Нет, оставайтесь, пожалуйста, здесь, мистер Неджет.

Удивительно, как Монтегю Тигг побледнел и встревожился в одно мгновение. Неизвестно, чему следовало это приписать. Его взгляд задержался на бритве, — но при чем тут бритва?

Доложили о мистере Чезлвите.

— Впустите его сейчас же, Неджет. Не оставляйте меня наедине с ним — смотрите, не оставляйте! Клянусь богом! — прибавил он про себя, понизив голос. — Почем знать, что может случиться?

С этими словами он поспешно схватил головные щетки и начал приглаживать себе волосы, как будто его туалет и не прерывался. Мистер Неджет удалился к камину, где разведен был небольшой огонь для нагревания щипцов, и, воспользовавшись удобным случаем просушить носовой платок, не теряя времени, вытащил его из кармана. Так он и стоял в течение всего разговора, держа платок перед огнем и только изредка оглядываясь через плечо.

— Дорогой мой Чезлвит! — воскликнул Монтегю при появлении Джонаса. — Вы поднимаетесь с жаворонками. Хотя вы ложитесь в постель с соловьями, зато поднимаетесь с жаворонками. У вас сверхчеловеческая энергия, дорогой Чезлвит!

— Ей-богу, — с угрюмым и скучающим видом ответил Джонас, усаживаясь на стул, — я бы рад был не подниматься с жаворонками. Но у меня чуткий сон, и уж лучше рано встать, чем валяться в постели, считая, как заунывно бьют часы на колокольнях.

— Чуткий сон? — воскликнул его друг. — Ну, а что такое чуткий сон? Я часто слышал это выражение, но, честное слово, не имею ни малейшего понятия, что это такое.

— Эй! — сказал Джонас. — Это еще кто? А, этот — как его там, — и

вид у него такой же, как всегда, будто ему хочется заползти в щель.

— Ха-ха! Не сомневаюсь, что так оно и есть.

— Ну, я полагаю, он здесь не нужен, — сказал Джонас. — Он может уйти, верно?

— Пусть его останется, пусть останется! — сказал Тигг. — Это все равно что стол или стул. Он только что пришел с докладом и теперь дожидается приказаний. Ему велено, — сказал Тигг, повышая голос, — не терять из виду некоторых наших друзей и ни в коем случае не думать, что он с ними разделался. Он знает свое дело.

— Надо полагать, — ответил Джонас, — потому что по внешности это такое старое чучело, что хуже я просто нигде ни видывал. Боится меня, что ли?

— Мне тоже кажется, — сказал Тигг, — что он вас боится, как отравы. Неджет, дайте-ка мне это полотенце!

В полотенце ему так же не было надобности, как Джонасу не было надобности вздрагивать. Однако Неджет быстро подал полотенце и, помедлив немного, ретировался на свой прежний пост перед камином.

— Видите ли, дорогой мой, — продолжал Тигг, — вы слишком... но что с вашими губами? Как они побелели!

— Это от уксуса, — сказал Джонас. — На завтрак у меня были устрицы. Где же они побелели? — прибавил он, бормоча проклятия и оттирая губы платком. — Не думаю, чтобы они побелели.

— Как погляжу теперь, они не побелели, — ответил его друг. — Теперь они опять такие же.

— Говорите, что вы собирались сказать, — сердито крикнул Джонас, — и оставьте меня в покое! Пока я могу показать зубы, когда потребуется, — а я это отлично могу, — цвет моих губ ровно ничего не значит.

— Совершенная правда, — сказал Тигг. — Я хотел только заметить, что вы слишком проворны и ловки для нашего приятеля. Он робок, где ему справиться с таким человеком, как вы, но свои обязанности он выполняет неплохо. Совсем неплохо! Но что же это значит, когда человек спит чутко?

— Да подите вы с ним к черту! — раздраженно воскликнул Джонас.

— Нет, нет, — прервал его Тигг. — Нет. Зачем такие крайности.

— Спит чутко — это, значит, спит некрепко, — объяснил Джонас угрюмым тоном, — спит мало, и сон у него плохой, нездоровый сон.

— И видит кошмары, — сказал Тигг, — и кричит так, что слушать страшно, а когда свеча догорает ночью, мучится от страха, и прочее в том же роде. Понимаю.

Они помолчали немного. Потом заговорил Джонас:

— Теперь, когда мы покончили с бабьей болтовней, мне надо сказать вам два слова, до того как мы с вами встретимся там. Я недоволен положением дел.

— Недовольны! — воскликнул Тигг. — Деньги поступают хорошо.

— Деньги поступают неплохо, — возразил Джонас, — а вот получить их довольно трудно. Добраться до них довольно трудно. Я не имею никакой власти: все в ваших руках. Ей-богу! То у вас одно постановление, то другое постановление, то вы голосуете в качестве акционера, то в качестве директора, то у вас права по должности, то ваши личные права, то права других лиц, которых представляете опять-таки вы, а у меня и прав никаких не осталось. Все эти чужие права — мне кровная обида. Какой толк иметь голос, если тебе не дают слова сказать? Будь я немой, и то было бы не так обидно. Так вот, я этого терпеть не намерен, знаете ли.

— Да? — сказал Тигг вкрадчивым тоном.

— Да! — возразил Джонас. — Вот именно, не намерен. Если вы будете водить меня за нос по-прежнему, я вам покажу, где раки зимуют: будете рады откупиться от меня за хорошие деньги.

— Клянусь вам честью... — начал Монтегю.

— О, подите вы с вашей честью! — оборвал его Джонас, который становился тем грубее и заносчивее, чем больше ему возражали, — что, может быть, и входило в намерения мистера Монтегю. — Я хочу распоряжаться своими деньгами. Вся честь остается вам, если угодно, за это я вас к ответу не потяну. Но терпеть такое положение дел, как сейчас, я не намерен. Если вам взбредет в голову улизнуть с деньгами за границу, не знаю, как я смогу вам помешать. Нет, этак не годится. Обеды здесь были хороши, но только уж очень дорого они мне обошлись. Никуда не годится.

— Я в отчаянии, что вы так дурно настроены, — сказал Тигг с замечательной в своем роде улыбкой, — потому что я собирался предложить вам — для вашей же пользы, единственно для вашей собственной пользы — рискнуть еще немножко вместе с нами.

— Собирались, вот как? — спросил Джонас, сухо засмеявшись.

— Да. И намекнуть, — продолжал Монтегю, — ведь у вас, конечно, имеются друзья — я знаю, что имеются, — которые отлично подойдут нам и которых мы примем с радостью.

— Как вы любезны! Примете их с радостью, неужели? — сказал Джонас, поддразнивая его.

— Даю вам самое святое честное слово, мы будем в восторге! Потому что они ваши друзья, заметьте!

— Вот именно, — сказал Джонас, — потому что они мои друзья, конечно. Вы будете очень рады их заполучить, не сомневаюсь. И все это будет мне на пользу, верно?

— Весьма и весьма вам на пользу, — ответил Монтегю, держа по щетке в каждой руке и пристально глядя на Джонаса, — Весьма и весьма вам на пользу, уверяю вас.

— А каким же это образом? — спросил Джонас. — Не скажете ли вы мне?

— Сказать вам, каким образом? — отозвался тот.

— Да, уж лучше скажите. В страховом деле и раньше творились довольно странные вещи некоторыми довольно подозрительными людьми, так что я намерен смотреть в оба.

— Чезлвит! — ответил Монтегю и, наклонившись вперед и опираясь локтями на колени, посмотрел ему прямо в глаза, — странные вещи творились и творятся каждый день не только в нашем деле, но и во многих других, и не вызывают ни у кого подозрений. Но наше дело, как вы сами говорите, любезный друг, довольно странное, и нам случается иногда странным образом узнавать о весьма странных происшествиях.

Он кивнул Джонасу, чтобы тот придвинул свой стул поближе, и, оглянувшись через плечо, словно для того, чтобы напомнить о присутствии Неджета, стал шептать ему на ухо.

От красного к белому, от белого опять к красному, потом к тусклому, мертвенно-синему, орошенному потом, — столько перемен произошло с лицом Джонаса Чезлвита под влиянием нескольких шепотом сказанных слов; и когда, наконец, он закрыл рукой шепчущий рот, чтобы ни один звук не достиг ушей третьего присутствующего, она была так же бескровна и безжизненна, как рука Смерти.

Он отодвинул свой стул и сидел, являя собою олицетворенный страх, унижение и ярость. Он боялся заговорить, взглянуть, двинуться, боялся оставаться неподвижным. Малодушный, пришибленный и жалкий, он более унижал собою образ человека, чем если бы весь, с головы до пят, был покрыт отвратительными язвами.

Его собеседник не торопясь продолжал свой туалет, время от времени с улыбкой поглядывая на Джонаса и любуясь произведенной им метаморфозой, но не говоря ни слова.

— Так вы не против того, — сказал он, закончив свой туалет, — чтобы рисковать вместе с нами и далее, друг мой Чезлвит?

Его бледные губы едва выговорили:

— Нет.

— Хорошо сказано! Это на вас похоже. Вы знаете, я вчера думал о том, что ваш тесть, полагаясь на ваш совет, как человека весьма опытного в денежных делах, мог бы вступить в наше общество, если объяснить ему все как следует. Есть у него деньги?

— Да, у него есть деньги.

— Предоставить мистера Пекснифа вам? Возьметесь вы за мистера Пекснифа?

— Я постараюсь. Сделаю что могу.

— Тысячу благодарностей! — ответил Тигг, похлопывая его по плечу. — Не сойти ли нам вниз? Мистер Неджет, идите за нами, пожалуйста.

Таким порядком они и отправились. Что бы ни чувствовал Джонас по отношению к Монтегю; как бы он ни признавал, что пойман, загнан в угол, в капкан, что падает в бездну и что ему грозит неминуемая гибель; какие бы мысли ни роились в его голове уже теперь, в самом начале, о единственной, ужасной возможности спасения, единственном багровом проблеске в непроглядно черном небе, — ему так же мало приходило в голову, что фигура, крадущаяся за ним по лестнице и отстающая ступенек на десять, и есть преследующий его рок, как и то, что другая фигура, рядом с ним — его ангел-хранитель.

Глава XXXIX

сообщает дальнейшие подробности о домашнем хозяйстве Пинчей; а также странные известия из Сити, близко касающиеся Тома.

Милая крошка Руфь! Веселая, домовитая, хлопотливая, тихая крошка Руфь! Ни один кукольный домик не доставлял своей юной хозяйке такого удовольствия, какое доставляло Руфи владычество над треугольной гостиной и двумя тесными спальнями.

Быть хозяйкой у Тома — какое почетное звание! Ведение хозяйства и в обыкновенных условиях сопряжено с высокой ответственностью всякого рода и вида; но хозяйничать для Тома означало целую бездну самых серьезных дел и необыкновенно важных забот. Недаром забрала она к себе ключи от маленькой шифоньерки, где хранились чай и сахар, и от двух сырых шкафчиков возле камина, где плесневели даже черные тараканы, так что спинки у них переставали блестеть, и, надев на кольцо, забренчала ими перед Томом, когда он вышел к завтраку! Недаром она, звонко смеясь, спрятала их с горделивой радостью в этот свой милый карманчик. Ведь для нее было так ново — стать хозяйкой, что если б она была самой безжалостной тиранкой из всех маленьких хозяек, то ей стоило бы только сослаться на это в свое оправдание, и с нее тотчас же сняли бы всякую вину.

Однако она вовсе не была тиранкой и разливала чай с такой милой застенчивостью, что Том просто не мог на нее наглядеться. А когда она спросила, чего он хотел бы на обед, и нерешительно предложила „котлеты“, как блюдо достаточно зарекомендовавшее себя во время вчерашнего очень удачного ужина, Том совсем развеселился и начал над ней без церемонии подшучивать.

— Я не знаю, Том, — сказала его сестра, краснея, — я не совсем уверена, но думаю, что могу приготовить мясной пудинг, если хорошенько постараюсь, Том.

— Во всей поваренной книге не найдется ничего такого, что мне было бы по вкусу больше мясного пудинга! — воскликнул Том, хлопая себя по ноге для пущей убедительности.

— Да, милый, очень хорошо! Но если он не совсем удастся для первого раза, — нерешительно сказала его сестра, — если он выйдет похож не на пудинг, а скорее на тушеное мясо, на суп или еще на что-нибудь, тебя

— это не очень огорчит, Том, ведь нет?

То, как серьезно она глядела на брата, и то, как он глядел на нее, и то, как она мало-помалу начала весело смеяться сама над собой, — совершенно очаровало бы вас.

— Что ж, — сказал Том, — прекрасно. Это придаст обеду новый и небывалый интерес. Мы берем лотерейный билет на мясной пудинг, а выиграем... даже трудно сказать что именно. Быть может, мы сделаем какое-нибудь изумительное открытие и приготовим блюдо, какого никто до сих пор не пробовал.

— Я ничуть не удивлюсь, если приготовим, — ответила его сестра, все так же весело смеясь, — или если у нас получится такое блюдо, какого мы больше и пробовать не захотим; но ведь что-нибудь у нас получится, во всяком случае. Мясо есть мясо, и никуда оно не денется, — это большое утешение. Если ты не боишься рискнуть, я готова.

— Нисколько не сомневаюсь, — возразил Том, — что пудинг получится отличный; и уж мне он, во всяком случае, понравится. У тебя как-то само собой все выходит так ловко и живо, Руфь, что, если бы ты сказала, будто сумеешь сварить миску превосходного черепахового супа, я бы тебе поверил.

И Том был прав. Это была именно такая девушка. Никто не мог бы устоять против ее тихого обаяния, да и незачем было пробовать. А она будто даже и не знала, как она мила, вот что было лучше всего.

Итак, она перемыла чайные чашки после завтрака, болтая без умолку и рассказывая Тому разные истории про владельца латунно- и меднолитейных заводов, убрала все на место, привела комнату в такой же порядок, как и самое себя, — не думайте, однако, что комната была так же изящна, как она, или хоть сколько-нибудь на нее похожа, — и, завладев старой шляпой Тома, чистила ее до тех пор, пока та не залоснилась, как мистер Пексниф. После того она мгновенно обнаружила, что воротничок Тома обтрепался по краям, и, сбегав наверх за иголкой и ниткой, примчалась обратно с наперстком на пальце и удивительно ловко починила воротничок, ни разу не уколов брату щеку иголкой, хотя все время напевала его любимый мотив и выбивала такт пальчиками левой руки по его шейному платку. Не успела она покончить с этим, как опять куда-то исчезла и тут же воротилась, веселая и хлопотливая, как пчелка, завязывая на ходу под маленьким круглым подбородком ленты такой же круглой шляпки: она собиралась сию минуту идти к мяснику и приглашала Тома пойти вместе с ней и посмотреть своими глазами, как будут резать мясо. Что касается Тома, он был готов идти куда угодно; и они быстро побежали, рука об руку,

так проворно, как только можно вообразить, говоря друг другу, до чего приятно жить на такой тихой улице, и до чего дешево, и какой тут чистый воздух.

Увидеть, как мясник похлопал по куску мяса, прежде чем положить его на колоду, и как он поточил нож, — значило тут же забыть о недавнем завтраке. Приятно было также — в самом деле приятно — наблюдать, как он режет филей, такими ровными сочными ломтями. Ничего грубого и дикарского в этом не было, хотя нож был большой и острый. Это было искусство, высокое искусство; нежное туше, чистота тона, искусная разработка темы, богатство оттенков. Это было торжество духа над материей в полном смысле слова.

Прежде чем вручить мясо Тому, его завернули в капустный лист, быть может самый зеленый из всех, какие только растут на огороде. Да, мясник тонко знал свое дело и понимал, как облагородить его. Увидев, что Том неловко засовывает капустный лист в карман, он попросил разрешения помочь ему: „Потому что с мясом, — сказал он не без волнения, — надо обращаться деликатно, а не тискать его“.

Они вернулись домой, купив яиц и муки и еще кое-какую мелочь; и Том степенно уселся писать в гостиной на одном конце стола, а Руфь принялась стряпать пудинг на другом конце. В доме больше не было никого, кроме одной старухи (хозяин был загадочная личность, он уходил из дому рано утром, и его никто никогда не видел), и, помимо самой черной домашней работы, они все делали сами.

— Что ты пишешь, Том? — спросила Руфь, кладя ему руку на плечо.

— Видишь ли, моя милая, — ответил Том, откинувшись на спинку стула и глядя ей в лицо, — мне, разумеется, очень хочется получить какую-нибудь работу; и пока не пришел мистер Уэстлок, я, пожалуй, успею вкратце записать самые необходимые сведения о себе, чтобы он мог показать при случае кому-нибудь из знакомых.

— Напиши и для меня такую же записку, Том, — сказала его сестра, потупившись. — Мне очень хотелось бы всегда хозяйничать у тебя и заботиться о тебе, Том, но мы не так богаты.

— Мы не богаты, конечно, — ответил Том, — и можем стать еще беднее. Но мы не расстанемся, если только будет можно. Нет, нет, мы так и решим с тобой, Руфь, отныне бороться вместе, разве только окажется на наше несчастье, что тебе без меня лучше, чем со мной, и я буду совершенно в этом убежден. Мне сдается, что мы будем счастливее, если станем жить и бороться вместе. Разве ты этого не думаешь?

— И ты еще спрашиваешь, Том!

— Ну, полно, полно! — ласково прервал ее Том. — Не надо плакать.

— Нет, нет, я не плачу, Том. Но тебе же это не по средствам, милый; право, не по средствам.

— Этого мы не знаем, — сказал Том. — Откуда же нам знать, пока мы еще не пробовали? Да боже ты мой! — Энергия Тома приобрела неожиданный размах. — Почем знать, что еще может выйти, если мы приложим все усилия. И я уверен, что мы вполне проживем с самыми маленькими средствами, если только я их добуду.

— Да, я тоже уверена, Том.

— Ну так вот, — сказал Том, — надо постараться. Мой друг Джон Уэстлок прекрасный человек, к тому же очень дельный и умный. Я с ним посоветуюсь. Мы с ним поговорим на этот счет — оба поговорим. Тебе Джон очень понравится, когда ты с ним ближе познакомишься. Не плачь же, не плачь. Где тебе приготовить мясной пудинг, действительно! — сказал Том, слегка подталкивая сестру. — Да у тебя смелости неостанет и на клетки!

— Ты все-таки называешь это пудингом, Том! Смотри! Я тебя предупреждала!

— И буду называть, пока не окажется, что вышло что-то другое, — сказал Том. — Эй, да ты всерьез принялась за работу, вот как?

Да, да! Она принялась. И такая это была милая серьезность, что Том поминутно отвлекался от своего писания. Прежде всего она сбегала вниз на кухню за мукой, потом за пирожной доской, потом за яйцами, потом за маслом, потом за кувшином с водой, потом за скалкой, потом за формой для пудинга, потом за перцем, потом за солью — отправляясь за каждым предметом отдельно и при этом смеясь каждый раз. Когда все было принесено, она ужаснулась, заметив, что на ней нет фартука, и полетела — за ним, для разнообразия, вверх. Она не надела его наверху, но, пританцовывая, сбежала по лестнице с фартуком в руках и, будучи одной из тех маленьких женщин, для которых фартук служит украшением, надевала его бесконечно долго: надо было как следует расправить складки — ах, какой упрямый нагрудник! — и собрать его в мелкие сборки на тесемку, прежде чем завязывать, и похлопать укоризненно и ласково по карманам, чтобы сидел как следует. Наконец все уладилось, а когда уладилось... — но ничего, ничего, мы молчим, это ведь трезвая летопись событий. А потом надо было отвернуть рукавички, чтобы не запачкались в муке, и стянуть с пальца колечко, а оно не стягивалось (такое упрямое колечко). И во время этих приготовлений она то и дело озабоченно поглядывала на Тома из-под темных ресниц, как будто все это было

совершенно необходимо для пудинга и без этого решительно нельзя было обойтись.

Как ни бился Том над своей запиской, дело у него никак не подвигалось дальше, чем: „Солидный молодой человек, тридцати пяти лет от роду...“; и это несмотря на то, что Руфь делала вид, будто изо всех сил старается вести себя тихо, и ходила на цыпочках, чтобы не беспокоить Тома, что еще больше отвлекало его внимание и заставляло следить за ней.

— Том, — ликуя, сказала она наконец, — Том!

— Что такое? — спросил Том, повторяя про себя: „...тридцати пяти лет от роду“.

— Взгляни сюда на минутку, пожалуйста! Как будто бы он не глядел на нее все время!

— Том, я сейчас начинаю. Ты не удивляешься, для чего я обмазала форму маслом? — спросила его хлопотливая маленькая сестра.

— Не больше твоего, я думаю, — смеясь, ответил Том, — мне кажется, ты ничего в этом не смыслишь.

— Какой ты Фома неверный^[119]! А как же ты думаешь, тесто без этого отстанет от стенок, когда будет готово? Как можно строителю и землемеру не знать этого! Бог с тобой, Том!

О дальнейшем писании не могло быть и речи. Том зачеркнул „солидного молодого человека, тридцати пяти лет от роду“ и сидел, глядя на нее, с пером в руках, улыбаясь самой любящей улыбкой, какую только можно себе представить.

Что за милая хлопотунья эта Руфь! Сколько в ней важности, как она старается изо всех сил не улыбаться и не показывать, что она хоть в чем-нибудь не уверена! Для Тома было истинным удовольствием глядеть, как она хмурит брови и как поджимает губы, когда месит тесто, раскатывает его скалкой, разрезает на полоски, устилает ими форму, аккуратно равняет их по краям, мелко рубит мясо, обильно посыпает его перцем и солью, укладывает в форму, доливают холодной водой, для подливки, и боится хотя бы раз поглядеть в его сторону, чтобы не рассмеяться. Наконец, когда форма была полна и недоставало только одной верхней корки, Руфь взглянула на Тома, и захлопала в ладоши, и рассмеялась таким очаровательно торжествующим смехом, что пудингу не нужно было никакой другой приправы для того, чтобы он пришелся по вкусу любому мужчине, не лишенному рассудка.

— Где же пудинг? — спросил Том. Он ведь тоже иногда любил подшутить.

— Где? — отвечала она, высоко поднимая форму обеими руками. —

Гляди, вот он!

— Да разве это пудинг? — сказал Том.

— Будет пудинг, глупый, когда прикроется коркой, — отвечала сестра. Так как Том все еще прикидывался, будто не верит, она слегка стукнула его по голове скалкой и, весело смеясь, начала заделывать верхнюю корку, как вдруг вздрогнула и сильно покраснела. Том вздрогнул тоже и, следуя за ее взглядом, увидел, что в комнате стоит Джон Уэстлок.

— Боже мой, Джон! Как же вы вошли?

— Прошу извинения, — сказал Джон, — а особенно извинения вашей сестры; я встретил какую-то старушку у двери, и она попросила меня пройти сюда; а так как вы не слышали стука и дверь была не заперта, я решился войти. Я, право, не знаю, — сказал Джон с улыбкой, — стоит ли нам всем смущаться, оттого что я нечаянно застал вас за таким приятным домашним делом, тем более что с ним управляют так искусно и ловко; однако надо сознаться, что я смущен. Том, не придете ли вы ко мне на помощь?

— Мистер Джон Уэстлок, — сказал Том, — моя сестра.

— Надеюсь, что как сестра такого старого друга, — с улыбкой сказал Джон, — вы не станете судить обо мне по моему неудачному появлению?

— Руфь, может быть, хочет просить вас о том же, — возразил Том.

Джон ответил, разумеется, что это совершенно не нужно, потому что он и так сражен, и протянул руку мисс Пинч, которой та, однако, не могла принять, оттого что ее рука была вся в муке и тесте. Это могло бы, по-видимому, еще усилить общее замешательство и окончательно испортить дело, однако произвело самое лучшее действие, потому что оба они невольно расхохотались и сразу почувствовали себя легко в обществе друг друга.

— Я очень рад вас видеть, — сказал Том. — Садитесь.

— Я могу сесть только с одним условием, — ответил его друг, — если ваша сестра по-прежнему займется пудингом, как будто тут никого, кроме вас, нет.

— Конечно, она займется им, — сказал Том, — но с другим условием: чтобы вы остались и помогли нам его съесть.

Такая ужасная неосмотрительность со стороны Тома привела бедняжку Руфь в сердечный трепет: ведь если пудинг не удастся, она никогда больше не посмеет взглянуть в глаза Джону Уэстлоку. Ничего не подозревая о таком ее душевном состоянии, Джон Уэстлок принял приглашение со всей готовностью, какую только можно себе представить, и после того как он сказал еще несколько шуточных слов по поводу пудинга

и тех больших надежд, которые будто бы внушал ему этот пудинг, она, краснея, снова принялась за стряпню, а он уселся на стул.

— Я пришел гораздо раньше, чем предполагал, Том; но я скажу вам, что меня привело, и, думаю, вы будете этому рады. Вы хотели мне показать вот это?

— О боже мой, нет! — воскликнул Том, который без напоминания Джона совсем позабыл бы про смятый клочок бумаги в своей руке. — „Солидный молодой человек, тридцати пяти лет от роду“ — это я начал писать о себе, вот и все.

— Не думаю, что вам придется заканчивать это описание, Том. Но почему вы мне никогда не говорили, что у вас есть друзья в Лондоне?

Том во все глаза смотрел на сестру, и, разумеется, сестра во все глаза смотрела на Тома.

— Друзья в Лондоне? — эхом откликнулся Том.

— Да, разумеется, — сказал Уэстлок.

— Может быть, у тебя есть друзья в Лондоне, Руфь, дорогая моя?

— Нет, Том.

— Я очень рад слышать, что они есть, — сказал Том, — но для меня это новость. Я этого не знал. Они, должно быть, отлично умеют держать язык за зубами, Джон.

— Можете судить сами, — ответил тот. — Без шуток, Том, я вам просто расскажу, как было дело. Сегодня утром, когда я сидел за завтраком, послышался стук в дверь.

— И вы крикнули очень громко: „Войдите!“ — подсказал Том.

— Да. И так как стучавший не был солидным молодым человеком тридцати пяти лет, приехавшим из провинции, то вошел сейчас же, как только его пригласили, вместо того чтобы стоять на лестнице и глазеть по сторонам. Так вот, когда он вошел, оказалось, что это незнакомый мне человек: серьезный, спокойный, по-видимому деловой. „Мистер Уэстлок?“ — спросил он. „Это моя фамилия“, — ответил я. „Разрешите сказать вам несколько слов?“ — спросил он. „Садитесь, пожалуйста“, — ответил я.

Тут Джон остановился на минуту и взглянул туда, где сестра Тома, внимательно слушая, все еще возились с пудингом, который теперь приобрел весьма внушительный вид. Потом он продолжал:

— После того как пудинг сел...

— Что? — воскликнул Том.

— Сел на стул.

— Вы сказали „пудинг“?

— Нет, нет, — возразил Джон, слегка краснея, — я этого не говорил.

Неужели незнакомый человек в половине девятого утра станет есть у меня пудинг! Усевшись на стул, Том, — на стул, — он удивил меня, начав разговор так: „Мне кажется, сэр, вы знакомы с мистером Томасом Пинчем?“

— Не может быть! — воскликнул Том.

— Подлинные его слова, уверяю вас. Я сказал ему, что знаком. Знаю ли я, где вы сейчас живете? Да. В Лондоне? Да. До него дошли окольным путем слухи, что вы оставили ваше место у мистера Пекснифа. Это верно? Да, верно. Нужно ли вам другое место? Да, нужно.

— Разумеется, — сказал Том, кивнув головой.

— Точно так же и я ему сказал. Можете быть уверены, что я не проявил никаких колебаний в этом вопросе и дал ему понять, что в этом он может не сомневаться. Очень хорошо. „В таком случае, — сказал он, — я думаю, что могу предоставить ему место“. Сестра Тома затаила дыхание.

— Господи помилуй! — воскликнул Том. — Руфь, милая моя! „Думаю, что могу предоставить ему место!“

— Конечно, я попросил его продолжать, — рассказывал Джон далее, поглядывая на Руфь, которая проявляла не меньше интереса к рассказу, чем ее брат, — и сказал, что сейчас же повидаясь с вами. Он ответил, что разговор будет самый короткий, потому что он не охотник до разговоров, но то, что он скажет, будет касаться дела. И действительно, так оно и вышло: он тут же сообщил мне, что один его знакомый нуждается в секретаре и библиотекаре, и хотя жалованье невелико, всего сто фунтов в год, без стола и квартиры, однако работа не трудная и место имеется — оно свободно и дожидается вас.

— Боже милостивый! — воскликнул Том. — Сто фунтов в год! Дорогой Джон! Руфь, милочка моя! Сто фунтов в год!

— Но самое странное в этой истории, — заключил Джон Уэстлок, кладя руку на плечо Тома, чтобы привлечь его внимание и несколько умерить его восторги, — самое странное, мисс Пинч, вот что: я этого человека совершенно не знаю, и он совершенно не знает Тома.

— И не может знать, — сказал Том в полном замешательстве, — если он лондонец. Я ни с кем в Лондоне не знаком.

— А на мое замечание, — продолжал Джон, все еще держа руку на плече Тома, — что он, конечно, извинит меня за нескромность, если я спрошу, кто направил его ко мне, как он узнал о перемене в положении моего друга и каким образом ему стало известно, что мой друг способен занять эту должность, он сухо ответил, что не уполномочен входить ни в какие объяснения.

— Не уполномочен входить ни в какие объяснения! — повторил Том с глубоким вздохом.

— „Я прекрасно знаю, — сказал он, — что всякому, кто бывал в тех местах, где живет мистер Пексниф, — мистер Томас Пинч и его дарования известны так же хорошо, как церковная колокольня или „Синий Дракон“.

— „Синий Дракон“! — повторил Том, глядя попеременно то на своего друга, то на сестру.

— Да, подумайте! Даю вам слово, он говорил о „Синем Драконе“ так фамильярно, словно сам Марк Тэпли. Должен вам сказать, я глядел на него во все глаза, но не мог все же припомнить, где я его видел прежде, хотя он сказал с улыбкой: „Вы знаете „Синий Дракон“, мистер Уэстлок, вы не раз заглядывали туда“. Заглядывали? Ну да, заглядывал! Помните, Том?

Том многозначительно кивнул и, теряясь еще более, заметил, что это самое странное и необъяснимое происшествие, о каком ему доводилось слышать.

— Необъяснимое? — повторил его друг. — Я испугался этого человека. Хотя это было среди дня, при свете солнца, я положительно испугался его. Скажу даже, что я стал подозревать в нем потустороннее видение, а не обыкновенного смертного, пока он не вынул самый прозаический бумажник и не подал мне вот эту карточку.

— Мистер Фипс, — произнес Том, читая вслух. — Остин-Фрайерс. Остин-Фрайерс звучит довольно мрачно. [\[120\]](#)

— Зато Фипс, по-моему, нет, — ответил Джон. — Однако он там живет и будет ждать вас сегодня утром. А теперь вы знаете об этом странном случае столько же, сколько и я, честное слово.

Лицо Тома, который и радовался ста фунтам в год и удивлялся рассказу, можно было сравнить только с лицом его сестры, выразившим такое совершенное изумление, какое от души пожелал бы увидеть любой художник. Что случилось бы с пудингом, если бы он не был к этому времени готов, вряд ли могли бы предсказать даже астрологи.

— Том, — сказала Руфь после некоторого колебания, — быть может, мистер Уэстлок, по дружбе к тебе, не говорит всего, что знает?

— Нет, что вы! — горячо воскликнул Джон. — Это не так, уверяю вас. К моему великому сожалению, я никак не могу приписать себе эту честь, мисс Пинч. Все, что я знаю и, насколько можно судить, буду знать, я ему сказал.

— А не могли бы вы узнать больше, если бы сочли нужным? — спросила Руфь, усиленно отскребая пирожную доску.

— Нет, — возразил Джон. — Право, нет. Очень невеликодушно с

вашей стороны относиться ко мне так подозрительно, когда я вам безгранично верю. Я вполне полагаюсь на ваш пудинг, мисс Пинч.

Руфь засмеялась, но скоро они перестали шутить и начали обсуждать этот вопрос с глубокой серьезностью. Как бы ни было темно все остальное в этом деле, одно оставалось ясным: что Тому предлагают сто фунтов жалованья в год; но ведь в конце концов это было самое главное, и в окружающей тьме оно только становилось виднее.

Том, находясь в сильном волнении, пожелал немедленно отправиться в Остин-Фрайерс; однако, по совету Джона, они подождали еще около часа. Том перед уходом принарядился насколько возможно, и Джон Уэстлок в полуоткрытую дверь гостиной видел мельком, как прелестная маленькая сестричка чистит в коридоре воротник его пальто, зашивает распоровшиеся по шву перчатки и легко порхает вокруг Тома, усердно поправляя его костюм то тут, то там с милой старомодной аккуратностью; и он невольно вспомнил ее фантастические портреты на стенах чертежной у Пекснифа и решил с негодованием, что все они грубейшая клевета и недостаточно красивы, хотя, как уже упоминалось в свое время, художники всегда рисовали ее красавицей, да он и сам сделал не меньше десятка таких набросков.

— Том, — сказал он, шагая с ним рядом по улице, — я начинаю думать, что вы чей-то сын.

— Да, я тоже так думаю, — отвечал Том спокойно, как всегда.

— Я хочу сказать — какого-нибудь значительного лица.

— Господь, с вами, — ответил Том, — мой бедный отец был вовсе не значительное лицо, и моя мать также.

— Значит, вы хорошо их помните?

— Помню ли? Ну еще бы, конечно! Моя бедная мать умерла вслед за отцом. Руфь была тогда еще совсем крошка; с тех пор мы и оказались на попечении доброй бабушки, о которой я вам рассказывал. Помните? О, в нашей истории нет ничего романтического, Джон.

— Очень хорошо, — сказал Джон, приходя в отчаяние. — Тогда ничем нельзя объяснить появление моего сегодняшнего гостя, Том; не будем и пытаться.

Они пытались, однако, и не оставляли этого занятия, пока не дошли до Остин-Фрайерс, где, в очень темном коридоре пристройки на втором этаже, странно прилепившейся к задней стороне дома, они нашли в углу мутную стеклянную дверцу с намалеванной на ней надписью: „Мистер Фипс“, которая тщила быть прозрачной. Тут же рядом, в темном углу, прятался дрянной буфет, стоявший здесь специально для того, чтобы наносить

повреждения ребрам посетителей, и старый половик, весь истертый до нитки, который, будучи бесполезен в качестве половика, даже если бы его кто-нибудь заметил, с давних пор направил свою деятельность по другой линии и заставлял спотыкаться всех клиентов мистера Фипса.

Мистер Фипс, слышав, что чья-то шляпа безуспешно толкается в дверь его конторы, заключил из этого обычного сигнала, что кто-то явился к нему с визитом, и, впустив этого кого-то, заметил, что „тут довольно темно“.

— Действительно темно! — шепнул Джон на ухо Тому Пинчу. — Самое, по-моему, подходящее место, чтобы разделаться с провинциалом, Том.

Том уже прикидывал в уме, возможно ли, что их заманили сюда с тем, чтобы раздобыть начинку для пирожков, но вид мистера Фипса, маленького худенького старичка самой мирной наружности, который носил коротенькие черные штаны и пудрил волосы, рассеял его сомнения.

— Войдите, — сказал мистер Фипс. Они вошли. И контора у мистера Фипса оказалась тоже маленькая, потемневшая, как от желтухи, с большим черным расползшимся во все стороны пятном на полу, словно какой-нибудь старый клерк перерезал тут себе горло и истек чернилами вместо крови.

— Я привел моего друга мистера Пинча, сэр, — сказал Джон Уэстлок.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал мистер Фипс. Они уселись на стулья, а мистер Фипс — на конторский табурет, из обивки которого он вытащил невероятной длины конский волос и тут же с большим аппетитом отправил его в рот.

Он глядел на Тома Пинча внимательно, но совершенно спокойно, без всякого выражения, которое можно было бы принять за излишнее любопытство. После краткого молчания, во время которого мистер Фипс держал себя весьма непринужденно, явно давая этим понять, что заговорил бы и раньше, если бы ему вздумалось, он спросил, передал ли мистер Уэстлок его предложение мистеру Пинчу со всеми подробностями.

Джон ответил утвердительно.

— И вы согласны его принять? — спросил у Тома мистер Фипс.

— Я думаю, что мне очень повезло, сэр, — сказал Том. — Я чрезвычайно вам обязан за предложение.

— Не мне, — сказал мистер Фипс. — Я действую согласно данным мне инструкциям.

— В таком случае, сэр, вашему знакомому, — сказал Том, — джентльмену, для которого я буду работать и чье доверие я постараюсь заслужить. Узнав меня лучше, сэр, он, надеюсь, не утратит хорошего

мнения обо мне. Он найдет, что я аккуратен и исполнительен и стараюсь работать как следует. За это, мне кажется, я могу ручаться, и мистер Уэстлок также, — прибавил он, взглянув на Джона.

— Без всякого сомнения, — сказал Джон.

Мистер Фипс, по-видимому, затруднялся продолжать разговор. Чтобы несколько помочь себе, он взял печатку и принялся отпечатывать заглавное Ф на колене.

— Дело в том, — сказал мистер Фипс, — что моего знакомого в настоящее время нет в городе.

Физиономия Тома вытянулась, он решил, что не произвел благоприятного впечатления и что Фипсу придется искать кого-нибудь другого.

— Как вы полагаете, когда он будет в городе? — спросил Том.

— Не могу сказать, очень трудно предвидеть. Я, право, не имею понятия. Однако, — сказал Фипс, глубоко вдавливая печатку в икру левой ноги, — я не думаю, чтобы это было так важно.

Бедняга Том почтительно наклонил голову, но, казалось, сомневался в этом.

— Я говорю, — повторил мистер Фипс, — что не знаю, так ли это важно. Вы можете обо всем договориться со мной, мистер Пинч. Что касается ваших обязанностей, я могу ввести вас в дело; что касается вашего жалованья, я буду выплачивать его еженедельно, — добавил мистер Фипс, кладя на место печатку и глядя поочередно то на Джона Уэстлока, то на Тома Пинча. После чего мистер Фипс вытянул губы, как бы готовясь засвистеть. Однако не засвистел.

— Вы очень добры, — сказал Том, чья физиономия просияла от удовольствия, — и ничего не может быть приятнее и яснее. Мне придется работать...

— С половины десятого и часов до четырех, я полагаю, — прервал его мистер Фипс. — Около того.

— Я имел в виду не часы работы, — возразил Том, — они, конечно, необременительны, но место.

— Ах, место! Место в Тэмпле. [\[121\]](#)

Том пришел в восторг.

— Быть может, — сказал мистер Фипс, — вы желали бы видеть это место?

— О боже! — воскликнул Том. — Я буду слишком счастлив, если вы разрешите считать, что я принят; независимо от того, где мне придется работать.

— Во всяком случае, считайте, что вы приняты, — сказал мистер Фипс. — Не могли бы вы встретиться со мной у ворот Тэмпла, на Флит-стрит^[122], приблизительно через час?

Разумеется, да.

— Хорошо, — сказал мистер Фипс, вставая. — Тогда я покажу вам место, а работать вы начнете завтра утром. Итак, через час мы с вами увидимся? И с вами также, мистер Уэстлок? Очень хорошо. Идите осторожно: тут довольно темно.

С таким напутствием, по-видимому излишним, он распахнул перед ними дверь на лестницу, и они ошупью выбрались снова на улицу. Это свидание так мало рассеяло тайну, которой было облечено новое занятие Тома, и, наоборот, так сильно ее сгустило, что каждый из друзей мог только улыбнуться изумленному виду другого. Они согласились однако, что введение Тома в должность и знакомство с сослуживцами должно пролить свет на это дело, и потому отложили дальнейшее его обсуждение до нового свидания с мистером Фипсом.

Заглянув по дороге на квартиру Джона Уэстлока и уделив несколько свободных минут кабаньей голове, они отправились на место свидания. Назначенное время еще не наступило, но мистер Фипс стоял уже у ворот Тэмпла и выразил свое удовольствие по поводу их точности.

Он повел их разными переулками и дворами во двор, более тихий и мрачный, чем остальные, и, отыскав нужный дом, поднялся по общей лестнице, доставая на ходу из кармана связку ржавых ключей. Остановившись перед дверью в верхнем этаже, на которой не было ничего, кроме пятна желтой краски там, где обычно полагается быть фамилии жильца, он начал неторопливо выколачивать пыль из ключа о широкие перила лестничной площадки.

— Вам лучше всего будет сделать маленькую затычку, — сказал он, пронзительно свистнув в ключ и оглядываясь на Тома, — это единственное средство, чтобы они не засорялись. Замок, я думаю, тоже будет лучше действовать, если его смазать немножко маслом.

Том поблагодарил его, но весьма кратко, так как был слишком занят собственными мыслями и переглядыванием с Джоном Уэстлоком. Тем временем мистер Фипс отпер дверь, которая подалась очень неохотно и с резким скрипом. После этого он вынул ключ и передал его Тому.

— Да, да! — сказал мистер Фипс, входя в комнату. — Пыли здесь, однако, порядочно.

Да, в самом деле. Мистер Фипс мог бы даже сказать, что пыли здесь очень много. Она накопилась повсюду, густым слоем лежала на всем, а в

одной части комнаты, где луч солнца, проникнув в щель ставня, падал на противоположную стену, она крутилась, словно в огромном беличьем колесе.

Пыль была единственное, что сколько-нибудь двигалось здесь. Когда их спутник, открыв ставни и подняв тяжелую оконную раму, впустил в комнату свет и теплый летний воздух, стало возможно разглядеть ветхую мебель, почерневшие панели и потолок, ржавую печку, золу на очаге — словом, картину полной заброшенности; возле дверей стоял подсвечник с гасильником на нем, — словно, покидая комнату, последний из тех, кто сюда входил, остановился на пороге, чтобы бросить прощальный взгляд на оставленное им запустение, и, погасив и свет и жизнь, затворил квартиру, словно склеп.

На этом этаже было две комнаты, и в первой, или передней из них, узкая лестница, ведущая в два верхних покоя. Прежде там помещались спальни. Ни здесь, ни внизу не было недостатка в удобной мебели, хотя вся она была старого фасона, но долгие годы запустения и заброшенности, казалось, сделали ее ни на что не годной и придали ей призрачный, пугающий вид.

Домашние вещи всякого рода были разбросаны повсюду, без малейшего порядка, вперемежку с ящиками, корзинами и всяким хламом. Всюду на полу лежали груды книг, быть может несколько тысяч томов; одни пачками, другие как были куплены, в бумаге, третьи валялись поодиночке или кучами, — на полках, идущих вдоль стен, не было ни одной. На эти книги мистер Фипс и обратил внимание Тома.

— Прежде чем приниматься за что-нибудь другое, надо привести книги в порядок, составить каталог и разместить по полкам, мистер Пинч. Для начала, я думаю, этого хватит, сэр.

Том потер руки, в приятном предвкушении такой интересной для него работы и сказал:

— Дело для меня очень интересное, могу вас уверить. Это меня займет, быть может, пока мистер...

— Пока мистер?.. — повторил Фипс, словно спрашивая Тома, почему он остановился.

— Я позабыл, что вы не назвали имени джентльмена, — сказал Том.

— Ах, разве не назвал? — воскликнул мистер Фипс, натягивая перчатки. — Да, впрочем, кажется, действительно не назвал. Ну, я думаю, он скоро приедет. Вы отлично с ним поладите, не сомневаюсь. Желаю вам успеха, разумеется. Вы не забудете закрыть за собой дверь? Она сама запрется, надо только ее захлопнуть. С половины десятого, теперь вы

знаете. Скажем, с половины десятого и до четырех или до половины пятого; один день, быть может, немного раньше, другой, быть может, немного позже, — в зависимости от того, как вы будете настроены и как распределите вашу работу. Мистер Фипс, Остин-Фрайерс, — вы, надеюсь, запомнили? И, пожалуйста, не забудьте захлопнуть за собой дверь.

Он говорил так приветливо и непринужденно, что Том только потирал руки, кивая головой, и улыбался в знак согласия, что и продолжал делать даже после того, как мистер Фипс преспокойно удалился.

— Как, он ушел? — воскликнул Том.

— И, что еще лучше, Том, — сказал, Джон, усаживаясь на груды книг и глядя на своего изумленного друга, — он, очевидно, не вернется обратно! Значит, вы водворились на место. При довольно странных обстоятельствах, Том!

Все это было так забавно с начала и до конца, и Том, стоявший среди книг, со шляпой в одной руке и ключом в другой, казался до такой степени растерянным, что его друг не мог не рассмеяться от души. Глядя на веселье своего друга, Тому и самому стало смешно при мысли, как неожиданно и в самом разгаре была прервана его учтивая беседа с мистером Фипсом; так что в конце концов рассмеялся и Том, и, глядя один на другого, они хохотали все громче.

Нахохотавшись вдоволь, для чего потребовалось довольно много времени, потому что Джону достаточно было малейшего повода, чтобы развеселиться надолго, такой это был жизнерадостный, добродушный юноша, — они осмотрелись несколько внимательнее, ища, не подвернется ли среди хлама что-нибудь проливающее свет на все дело. Но нигде не нашлось ни намек на какие бы то ни было сведения. Книги были помечены фамилиями прежних владельцев, будучи, без сомнения, куплены на аукционе и свезены сюда в разное время; но принадлежала ли одна из этих фамилий нанимателю Тома и какая именно, у них не было возможности определить. Джону пришла в голову, по-видимому, блестящая мысль, справиться в домовый конторе, кому принадлежит эта квартира или кто ее нанимает; но он вернулся, не узнав ничего нового, — ответ был: „Мистер Фипс, из Остин-Фрайерс“.

— В конце концов, Том, я начинаю думать, что все объясняется очень просто. Фипс большой чудак; он до известной степени знает Пекснифа; презирает его, конечно; слышал о вас достаточно, чтобы понять, что вы именно такой человек, какой ему нужен, и нанимает вас на свой собственный эксцентрический лад.

— Но к чему же все эти причуды? — спросил Том.

— А почему вообще у людей бывают причуды? Почему мистер Фипс носит короткие штаны и пудрит волосы, а сосед мистера Фипса ходит в сапогах и парике?

Том, находясь в таком состоянии духа, когда человек хватается за любое объяснение, с готовностью успокоился на этом, так как оно было приемлемо не хуже всякого другого, и сказал, что совершенно с этим согласен. Его доверие не поколебало и то обстоятельство, что ведь и каждую предыдущую догадку своего друга он встречал точно теми же словами и, в сущности, был готов повторить их, если б тот придумал еще что-нибудь новое.

Не услышав более ничего, Том опустил оконную раму, закрыл ставень, и они вышли. Он крепко захлопнул дверь, как просил его мистер Фипс, попробовал ее, убедился, что она заперлась, и положил ключ в карман.

Друзья сделали большой крюк, возвращаясь в Излингтон, так как у них было много свободного времени, и Том глядел по сторонам с неослабным любопытством. Хорошо еще, что его спутником был Джон Уэстлок, ибо всякому другому надоели бы его вечные остановки перед окнами лавок и стремительные попытки с опасностью для жизни броситься на мостовую в гущу движения, чтобы лучше разглядеть какую-нибудь колокольню или другое общественное здание. Но Джон был в восторге от такой любознательности, и каждый раз, как Том возвращался с сияющим лицом чуть ли не из-под колес фургонов и кэбов, вовсе не слыша тех комплиментов, которые посылали ему вдогонку кучера, Джон, казалось, смотрел на него еще добродушнее прежнего.

Когда Руфь встретила их в треугольной гостиной, на ее руках уже не было муки, зато лицо сияло ласковыми улыбками, и привет светился в каждой такой улыбке и сверкал в ясных глазах. Кстати сказать, до чего же они были ясные! Стоило заглянуть ей в глаза на мгновение, когда вы брали ее за руку, и вы видели в каждом из них свой миниатюрный портрет, превосходный портрет, изображающий вас таким беспокойным, сверкающим, живым, блестящим маленьким человечком...

Ах, если б можно было вечно видеть в них собственный миниатюрный портрет! Но эти быстрые глаза были слишком уж беспристрастны — стоило кому-нибудь другому стать перед ними, и он сейчас же начинал плясать и сверкать в них так же весело, как и вы!

Стол был уже накрыт к обеду; правда, на нем не было ничего особенного, ни хрусталя, ни тонкого полотна, а только ножи с зелеными ручками и двузубые вилки, похожие на гимнастов, которые словно пробовали, насколько им можно расставить зубцы, не превратившись в

двойное число железных зубочисток; но этому столу и не нужно было ни камчатных скатертей, ни серебра, ни золота, ни фарфора и никакого другого убранства. Он был на своем месте; а раз он был на месте, то ничего другого и не требовалось.

Успех этого опыта — первого шага Руфи на поприще кулинарии — был настолько полным, блистательным и совершенным, что Джон Уэстлок вместе с Томом решили, будто она давно уже изучает втихомолку это искусство, и требовали от нее чистосердечного признания. Они очень веселились и наговорили много остроумного по поводу своей выдумки, однако Джон повел себя не так честно, как можно было бы ожидать, и после того как он сам довольно долго подзадоривал Тома Пинча, вдруг вероломно передался на сторону врага и стал поддакивать всему, что бы ни говорила сестра Тома. Но все это, как заметил Том в тот вечер перед отходом ко сну, все это было в шутку — Джон всегда славился своей учтивостью с дамами, даже когда был совсем юнцом. Руфь сказала на это: „Ах, вот как!“ И больше уже ничего не говорила.

Удивительно, каких только тем не найдется для беседы, если люди собрались втроем! Они разговаривали почти не умолкая. И не одна только веселая болтовня занимала их: когда Том рассказывал, как он виделся с дочерьми мистера Пекснифа и как переменилась младшая, все трое стали очень серьезны.

Джон Уэстлок чрезвычайно заинтересовался судьбой Мерси и долго расспрашивал Тома про ее замужество, спросил даже, кто такой ее муж, не тот ли джентльмен, который обедал с ними в Солсбери, и как они приходятся друг другу, если речь идет о разных людях; словом, проявил живейшее участие к этой теме. Тогда Том принялся рассказывать со всеми подробностями. Он рассказал, как Мартин уехал в Америку и уже давно не подает о себе вестей; как Марк из „Дракона“ стал его спутником; как мистер Пексниф прибрал к рукам дряхлого, выжившего из ума старика и как бесчестно он добивался руки Мэри Грейм. Но ни слова не промолвил он о том, что было скрыто в глубине его сердца — его любящего, верного сердца, исполненного благородства, готового откликнуться на все великодушное и бескорыстное! Ни единого слова!

Том, Том! Придет час, и человек, как нельзя более уверенный в своей проницательности и прозорливости, человек, который похвастается своим презрением к другим людям и доказывает свою правоту, ссылаясь на нажитое золото и серебро, усердный поклонник мудрого учения „Каждый за себя, а бог за всех“ (ну, разве это не высокая мудрость считать, что всевышний на небесах, покровительствует корысти и эгоизму!), — придет

час, и человек этот узнает, что вся его мудрость — безумие идиота, по сравнению с чистым и простым сердцем!

Да, да, Том Пинч, но нельзя же быть таким простаком, хотя это простота совсем другого рода, — стремиться в театр, о котором Джон сказал после чая, будто он там свой человек и может водить туда кого угодно, не заплатив ни гроша; и даже не заподозрить, что Джон купил билеты, когда вошел туда сначала один! Наивно также, милый Том, смеяться и плакать так искренне, глядя на жалкую пьесу, разыгранную из рук вон плохо; наивно ликовать и смеяться, возвращаясь домой вместе с Руфью; наивно удивляться, найдя утром забавный подарок — поваренную книгу, ожидающую Руфь в гостиной, с загнутой на мясных пудингах страницей. Вот! Пускай это так и останется! Свойство твоей души — простота, Том Пинч, а простота — что ни говори — не пользуется уважением!

Глава XL

Пинчи заводят новое знакомство, и им опять представляется случай недоумевать и изумляться.

Необитаемую квартиру в Тэмпле и каждую мелочь, относившуюся к занятиям Тома, окружала таинственность, сообщавшая им странное очарование. Каждое утро, закрывая за собой дверь в Излингтоне и обращаясь лицом к лондонскому дыму, Том шел навстречу неизъяснимо пленительной атмосфере тайны, и с этой минуты она целый день сгущалась вокруг него все сильнее и сильнее, пока не наставало время опять идти домой, оставляя ее позади, словно неподвижное облако.

Тому всегда казалось, что он приближается к этому призрачному туману и входит в него постепенно, самым незаметным образом, поднимаясь со ступени на ступень. Переход от грохота и шума улиц к тихим дворам Тэмпла был первой такой ступенью. Каждое эхо его шагов, как ему казалось, исходило от древних стен и каменных плит мостовой, которым не хватало языка, чтобы рассказать историю этих темных и угрюмых комнат, поведать о том, сколько пропавших документов истлевают в забытых углах запертых наглухо подвалов, из решетчатых окон которых до него доносились такие затхлые вздохи; чтобы бормотать о потемневших бочках драгоценного старого вина, замурованных в погребах, под старыми фундаментами Тэмпла; чтобы лепетать едва слышно мрачные легенды о рыцарях со скрещенными ногами, чьи мраморные изваяния покоятся в церквях. Как только он ставил ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей к его пыльной конторе, эти тайны начинали множиться и, наконец, поднявшись вместе с Томом по лестнице, расцветали полным цветом во время его уединенных дневных трудов.

Каждый день вновь приносил с собою все ту же неистощимую тему для размышлений. Его наниматель — придет ли он сегодня? И что это за человек? Воображение Тома никак не мирилось с мистером Фипсом. Он вполне поверил мистеру Фипсу, что тот действует по поручению другого, и догадки о том, что за человек этот другой, цвели пышным цветом в саду фантазии Тома, цвели не увядая, не тронутые ничьей рукой.

Одно время он воображал, что мистер Пексниф, раскаявшись в своем вероломстве, придумал этот способ найти ему занятие, для чего и воспользовался своим влиянием на кого-то третьего. Эта мысль показалась

ему настолько невыносимой, после всего что произошло между ним и этим добродетельным человеком, что он в тот же день доверился Джону Уэстлоку и сообщил ему, что он скорее наймется в грузчики, нежели упадет так низко в собственных глазах, приняв хотя бы малейшее одолжение от мистера Пекснифа. Но Джон Уэстлок убедил Тома, что он еще не вполне отдает должное мистеру Пекснифу, если полагает, что этот джентльмен способен на какой-либо великодушный поступок; и что он может совершенно не беспокоиться на этот счет, пока не увидит, что солнце позеленело, а луна почернела, и в то же время различит невооруженным глазом и совершенно ясно двенадцать комет первой величины, бешено вращающихся вокруг этих светил. Вот если дело примет столь необычайный оборот, сказал он, тогда не будет, быть может, решительным безумием подозревать мистера Пекснифа в таком сверхъестественном великодушии. Словом, он беспощадно высмеял эту мысль, и Том, расставшись с нею, опять почувствовал себя сбитым с толку и опять терялся в догадках.

Тем временем Том каждый день ходил на занятия и довольно много успел сделать: книги были уже приведены в относительный порядок и производили самое лучшее впечатление в каллиграфически переписанном каталоге. В часы занятий он иногда позволял себе удовольствие читать урывками — что нередко бывало необходимо для дела, — и так как он, набравшись смелости, обычно уносил один из этих волшебных томиков с собою на ночь (причем утром всегда ставил книгу на место, на тот случай, если его необыкновенный наниматель появится и спросит, куда она девалась), то жизнь его текла счастливо, спокойно и деятельно и была вполне ему по сердцу.

Никогда еще книги не казались Тому так интересны и полны новизны, и все же они не настолько приковывали его внимание, чтобы он не слышал хотя бы даже самого тихого звука в этой таинственной квартире. Каждый отголосок шагов во дворе заставлял его настороженно прислушиваться, и когда эти шаги заворачивали в дом и поднимались все выше, выше и выше по лестнице, он всегда думал с бьющимся сердцем: „Наконец-то я встречу с ним лицом к лицу!“ Но ничьи шаги не поднимались на самый верх, все останавливались этажом ниже — все, кроме его собственных.

Это уединение и таинственность порождали в мозгу Тома фантазии, всю неразумность которых легко угадывал его здравый смысл, однако прогнать их он был не в силах, потому что здравый смысл у нас в этих случаях похож на старую французскую полицию: он быстро раскрывает преступление, но не в силах предупредить его. Подозрения,

неопределенные, нелепые, необъяснимые, что кто-то прячется во внутренней комнате, бесшумно ходит над головой, подсматривает в дверную щель, тайно делает что-то там, куда не проникает взгляд Тома, — находили на него по сто раз в день, так что он рад был поднять оконную раму и развлечься хотя бы в обществе воробьев, которые вили гнезда под кровлей и в водосточных желобах и целый день щебетали под окнами.

Он постоянно сидел с распахнутой настежь дверью, чтобы слышать шаги входивших в дом и заворачивавших в квартиры нижних этажей. При виде прохожих на улице у него появлялись странные мысли, и иногда он говорил себе, глядя на человека, обратившего на себя его внимание какой-нибудь особенной чертой в одежде или внешности: „Я бы не удивился, если б это был он!“ Но этого не случалось. И хотя Том в самом деле поворачивал обратно и шел следом за привлекшим его внимание незнакомцем, в странной уверенности, что тот идет в дом, откуда сам он только что вышел, это всегда кончалось одинаково: Том лишний раз убеждался, что ошибся.

Мистер Фипс скорее сгущал, чем рассеивал окружавший его мрак, ибо в первый же раз, когда Том зашел к нему получить, жалованье за неделю, он заметил:

— Да, между прочим, мистер Пинч, вам незачем об этом рассказывать, будьте так любезны!

Том подумал, что он собирается ему сообщить какую-то тайну, и потому стал уверять, что он ни в коем случае не проговорится и мистер Фипс может всецело положиться на него. Но так как мистер Фипс ответил только: „Очень хорошо“ — и ничего больше, Том решил добиться от него объяснения.

— Совершенно незачем, — согласился Том. Мистер Фипс повторил:

— Очень хорошо.

— Вы хотели сказать... — намекнул Том.

— О боже мой, нет! — воскликнул Фипс. — Ровно ничего не хотел.

Однако, видя смущение Тома, он прибавил:

— Я хотел только пояснить, что вам незачем рассказывать кому-нибудь подробно о том, где вы работаете. Лучше не рассказывать.

— Я еще не имел удовольствия видеть своего патрона, — заметил Том, кладя в карман жалованье за неделю.

— Разве не видели? — сказал Фипс. — Да, впрочем, я полагаю, что не видели.

— Мне хотелось бы поблагодарить его и спросить, доволен ли он тем, что я уже сделал, — нерешительно выговорил Том.

— Совершенно правильно, — сказал Фипс, зевая. — Чрезвычайно похвально. Так и следует.

Том попробовал подойти к нему с другой стороны.

— Я скоро закончу работу с книгами, — сказал он. — Надеюсь, моя служба не ограничится этим, или я больше не понадобится?

— О боже мой, что вы! — возразил Фипс. — Работы много, работы очень много! Идите осторожней: тут довольно темно.

И это было самое большее, чего Том сумел от него добиться. Так что тут было темно во всех смыслах, и если мистер Фипс говорил и в прямом и в переносном смысле, значит у него были на то основания.

Но тут подвернулось такое обстоятельство, что мысли Тома отвлеклись даже и от этой тайны, вернее разделились между нею и новым руслом, которое уже само по себе представляло целый Нил.

Произошло это вот каким образом. Привыкнув с давних пор вставать рано и не имея теперь органа под руками, чтобы по утрам предаваться любимому занятию, он завел обыкновение совершать долгие прогулки перед тем, как идти в Тэмпл; и так как его в качестве провинциала, естественно, более привлекали те части города, где постоянно царили жизнь и движение, он стал постоянным посетителем рынков, набережных, мостов и особенно — паромных пристаней: было так весело и приятно смотреть на людей, бегущих по делам или в поисках рассеяния, и Тома радовала мысль, что в скучном однообразии городской жизни можно найти столько свободы и всяких впечатлений.

Руфь обычно сопровождала его в этих утренних прогулках. Так как владелец дома, где они жили, вставал очень рано и уходил по своим делам (что это были за дела, никто, по-видимому, не знал), то привычки домохозяев совпадали с их собственными. Таким образом, нередко бывало, что к семи часам они уже кончали завтракать и выходили на свежий воздух. После двухчасовой прогулки они расставались где-нибудь на перекрестке, и Том отправлялся на службу, а его сестра возвращалась домой, так чинно и аккуратно, как только можно было пожелать.

Много, много приятных прогулок совершили они на Ковент-Гарденский рынок^[123], дыша ароматом цветов и фруктов, дивясь великолепию ананасов и дынь; заглядывая в боковые переулки, где старухи сидели рядами на перевернутых корзинках и лутили горох; любясь на толстые пучки спаржи, которыми, словно брустверами, были укреплены зеленные лавки; с удовольствием вдыхая у дверей семенных лавок запахи, напоминавшие о сыром телячьем фарше, смешанные с благоуханием каперсов, оберточной бумаги и семян; кое-где можно было даже увидеть

жирных улиток и вертлявых молодых пиявок.

Много, много приятных прогулок совершили они на Птичий Рынок, где куры и утки с неестественно длинными шеями лежали, связанные попарно, совсем готовые для жаренья, где были выставлены крапчатые яйца в убранных мхом корзинах и белые деревенские колбасы, не внушавшие никаких подозрений еще не истребленным кошкам и собакам, лошадям и ослам; молодые сыры всех сортов и видов; живая птица в корзинках и клетках, казавшаяся очень крупной, оттого что клетки были очень малы; и несметное множество кроликов, живых и битых. Много приятных прогулок совершили они по рыбным рядам, освежающим, прохладным, блестящим серебром, где все, кроме вечно румяных омаров, словно было залито лунным светом; много приятных прогулок среди возов душистого сена, под которыми крепко спали собаки и усталые возчики, позабыв о пирожнике и распивочной. Но ни одна из этих прогулок не была и вполтину так хороша, как прогулка на пароходную пристань в ясное летнее утро.

Пароходы стояли один возле другого, казалось прикованные навеки, однако каждый из них норовил улизнуть и явно не терял уверенности, что ему это удастся; и, в надежде на это, толпы пассажиров и груды багажа спешно переправлялись на борт. Маленькие пароходики непрерывно сновали вверх и вниз по реке. Ряды за рядами судов, целые рощи мачт, паутина снастей, празднично повисшие паруса, плещущие весла, проворные лодки, тяжеловесные барки, вбитые в речное дно сваи, в ослизлых щелях которых ютится множество водяных крыс, церковные колокольни, склады, крыши домов, арки, мосты, мужчины и женщины, дети, бочки, краны, ящики, лошади, кареты, зеваки и чернорабочие — все это можно было видеть каждое летнее утро перемешанным в таком беспорядке, что Том не в силах был во всем этом разобраться.

Надо всей этой суматохой без умолку ревели пароходные гудки, что вполне выражало напряженное волнение сцены. Все пароходы, казалось, обливались потом и сутились совершенно так же, как и пассажиры; они волновались и беспокоились на свой собственный хриплый лад, не умолкая ни на миг, и нет-нет раздражались тревожными криками, не соблюдая знаков препинания: „Скорей торопитесь я волнуюсь скорей ох боже мой опоздаем что же вы не спешите я уйду!“

Даже снявшись с якоря и благополучно выбравшись на середину течения, они опять принимались за то же, пользуясь малейшим предлогом; минутная остановка, вызванная затором на реке, — и самый храбрый из пакетботов немедленно начинал пыхтеть и беспокоиться снова: „Ох

задержка что случилось пустите скорей я спешу это вы нарочно да что же вы ах боже мой да пустите же скорей!“ — и так, волнуясь чуть не до сумасшествия, он снова пускался в путь и медленно уплывал сквозь туман навстречу летнему дню, красившему его в розовый цвет.

Однако пароход Тома — вернее, тот почтовый пароход, которым они с сестрой особенно заинтересовались в данном случае, — и не думал еще уходить, и здесь суeta была в самом разгаре. Наплыв пассажиров был очень велик: с обеих сторон парохода стояло по катеру; сходни были переполнены; растерянные женщины, явно направляющиеся в Грейвзэнд^[124], но глухие ко всем увещаниям насчет того, что этот пароход отходит в Антверпен, упрямо совали корзинки с провизией под скамейки, за переборки и за бочки с водой, и вообще суматоха была невероятная.

Это было так любопытно, что Том, держа Руфь под руку, глядел на пароход, совершенно не замечая за своей спиной пожилой дамы, которая явилась на пристань с большим зонтиком и теперь не знала, куда его девать. Это страшное орудие с крючковой ручкой прежде всего дало знать о себе тем, что очень больно сдавило Тому дыхательное горло, случайно зацепив его за шею. Высвободившись довольно добродушно, он тут же почувствовал железный наконечник зонтика на своей спине, и немедленно вслед за этим крюк зацепил его за ноги; потом зонтик прогулялся по его шляпе, хлопая наподобие крыльев большой птицы, и, наконец, угостил его тычком под ребра так больно, что это заставило Тома обернуться и слегка попенять на такую бесцеремонность.

Обернувшись назад, он увидел владелицу зонтика, которая привстала на цыпочки, чтобы лучше разглядеть пароходы; судя по ее разъяренной физиономии, Том решил, что она напала на него с умыслом, как на своего природного врага, стоящего в первых рядах толпы.

— Какой у вас, должно быть, дурной характер! — сказал Том.

Дама неистово завопила: „Где тут полиция?“ — и продолжала вопить, угрожая Тому зонтиком, что ежели бы только не то, что этих молодчиков никогда нет поблизости, когда они нужны, она бы его велела арестовать, велела бы непременно.

— Поменьше бы помадили усы да побольше бы думали о своих обязанностях, чем даром получать такие деньги, — кричала она, — незачем было бы людям с ума сходить в этой толкучке!

Ее в самом деле ужасно затолкали и даже капор на ней смяли так, что он превратился в треуголку. Дама была маленькая и толстая, она сильно запыхалась и разгорячилась. Поэтому, вместо того чтобы продолжать пререкания, Том вежливо спросил у нее, на какой пароход ей нужно

садиться.

— Конечно, — возразила дама, — это вам только можно просто так глядеть на пароход, а другим обязательно садиться надо, как же! Дурак!

— На какой же пароход вы хотите смотреть? — спросил Том. — Мы посторонимся, если нужно. Не выходите из себя.

— Скольким милым особам я помогала в трудное время, — возразила она, несколько смягчившись, — всех не перечтешь, и ни одна меня в этом не обвиняла, разве в чем другом, потому что характер у меня ровный и мягкий, это всем известно. Я всегда говорю: перечьте мне сколько хотите, милая, если вам от этого легче; вы же знаете, что Сара вам и словечка не скажет, можете на нее положиться. А что нынче я в большом расстройстве и огорчении, отрицать не стану, боже сохрани, и причин для этого достаточно.

Тем временем миссис Гэмп (это был не кто иной, как наша опытная лекарка) с помощью Тома протиснулась в маленький уголок между Руфью и перилами, где, после кратковременного пыхтения и нескольких опасных маневров с зонтиком, она ухитрилась, наконец, устроиться довольно удобно.

— А которое же из этих страшилищ будет антверпенский пароход, хотела бы я знать? Дыму-то, боже мой! — воскликнула миссис Гэмп.

— Какой пароход вам нужен? — спросила Руфь.

— Антверпенский, — ответила миссис Гэмп. — Не стану вас обманывать, милочка, к чему бы мне это?

— Вон антверпенский пароход, в середине, — сказала Руфь.

— По мне, лучше б он был у Ионы в чреве^[125], — воскликнула миссис Гэмп, как видно путая пророка с китом в этом более чем странном пожелании.

Руфь ничего не ответила, но так как миссис Гэмп, положив подбородок на холодный чугун перил, не сводила глаз с антверпенского парохода и время от времени испускала негромкие стоны, она спросила, не уезжает ли сегодня за границу кто-нибудь из ее детей? Или, может быть, ее муж? — прибавила она ласково.

— Оно и видно, — сказала миссис Гэмп, закатывая глаза, — как мало вы еще в этой юдоли прожили, милая моя барышня! Одна моя хорошая приятельница частенько мне говаривала, милочка моя, а зовут ее Гаррис, миссис Гаррис, через площадь и подняться по лестнице, поворотя за табачную лавочку: „Ох, Сара, Сара, мало же мы знаем насчет того, что нам суждено!“ — „Миссис Гаррис, сударыня, — говорю я, — это верно, что немного, а все же больше, чем вы думаете. Наши расчеты, сударыня, —

говорю я, — сколько будет в семействе детей, иной раз сходятся точка в точку, и гораздо чаще, чем вы полагаете“. — „Сара, — говорит миссис Гаррис, ужасно расстроившись, — скажите мне, сколько же у меня их будет?“ — „Нет уж, миссис Гаррис, — говорю ей, — извините, пожалуйста. У меня самой, говорю, дети падали с третьего этажа во двор, да и сырость на лестнице им тоже действовала на легкие, а один так и помер в кровати; никто даже не заметил, а он лежит себе, улыбается. Вот потому, сударыня, — говорю я, — старайтесь не роптать, а принимайте все с покорностью. Бог дал, бог и взял“. Мои-то все померли, милая моя деточка, — продолжала миссис Гэмп, — а насчет мужа, так у него была деревянная нога, и она тоже упокоилась своим порядком, а то, бывало, все по винным погребкам — никак оттуда не вытащишь, разве только силой, так что насчет этой слабости деревяшка была все равно что живая плоть и кровь, если не хуже.

Произнеся это надгробное слово, миссис Гэмп снова оперлась подбородком на холодный чугун и, пристально глядя на антверпенский пакетбот, качнула головой и застонала.

— Не хотела бы я, — заметила миссис Гэмп, — не хотела бы я быть мужчиной и иметь такое на совести. Да ведь и то сказать, порядочный мужчина никогда так не сделает.

Том с сестрой переглянулись, и Руфь после минутного колебания спросила миссис Гэмп, что ее так волнует.

— Милая моя, — спросила та, понизив голос, — вы ведь не замужем, правда?

Руфь засмеялась, покраснела и сказала:

— Нет.

— Тем хуже, — продолжала миссис Гэмп, — для всех присутствующих. Зато другие замужем и в таком положении, как следует замужним; и одна милая молоденькая дамочка должна была сесть нынче утром на этот самый пароход, когда ей совсем не годится быть в море!

Она замолчала, глядя на палубу парохода, о котором шла речь, на ведущую вниз лестницу и на сходни. Уверившись, по-видимому, что предмет ее соболезнований еще не прибыл, она постепенно возвела глаза на самую верхушку трубы и негодующе обратилась к пароходу.

— О, чтоб тебя! — выбранилась миссис Гэмп, грозя ему зонтиком. — Ну твое ли дело возить деликатных молоденьких пассажиров, когда такому чуду только бы грохотать да плевать? Мало ли ты наделал вреда по нашей части своим стуком, и ревом, и шипеньем, и коптеньем, скотина ты такая! Эти проклятые паровики, — говорила миссис Гэмп, опять грозя

зонтиком, — побольше всякого пугала наделали бед — и нас без работы оставляют, и мало ли что из-за них случается раньше времени, когда никто этого не ждет (особенно на железной дороге, те всего страшней воют). Я слыхала про одного молодого человека, кондуктора на железной дороге, всего три года как она открыта, миссис Гаррис хорошо его знает, он ей даже родней приходится по сестре, что вышла замуж за пильщика, так он за это время окрестил двадцать шесть невинных ангельских душек, и все неожиданно, и назвали всех по именам паровозов, из-за которых оно раньше времени приключилось. Уф! — заключила миссис Гэмп свое обращение, — сразу видно, что ты дело рук человеческих, потому что нисколько не жалеешь нашу слабую натуру, — да еще как видно-то, скотина ты этакая!

Было бы вполне естественно предположить, особенно по началу причитаний миссис Гэмп, что она держит контору дилижансов или почтовых лошадей. Сама же она не могла судить о том, какое впечатление произвели на молоденькую собеседницу ее последние слова, ибо вдруг прервала свою речь и воскликнула:

— А вот и она, самолично! Бедняжечка, такая молоденькая, а идет, словно агнец на заклание! Ну, ежели только стрясется какая беда, после того как пароход выйдет в море, — пророчески провозгласила миссис Гэмп, — то это прямо убийство, и я буду свидетельницей со стороны обвинения.

Она так значительно произнесла это, что сестра Тома добрая, как и он сам; не могла не отозваться хоть несколькими словами.

— Скажите, пожалуйста, где та дама, — спросила она, — которой вы интересуетесь?

— Вон там! — простонала миссис Гэмп. — Вон она, переходит сейчас деревянный мостик. Поскользнулась на апельсиновую корку, — тут миссис Гэмп крепко стиснула зонтик. — Меня всю так и перевернуло!

— Вы говорите про ту даму, которую ведет мужчина, с ног до головы закутанный в широкий плащ, так что почти все лицо закрыто?

— И пускай закроется хорошенько! — отвечала миссис Гэмп. — Как ему только не стыдно. Видели вы, как он дернул ее за руку?

— Он действительно очень ее торопит, кажется.

— Теперь он ведет ее вниз, в душную каюту, — сердито говорила миссис Гэмп. — Что это он затеял? Бес в него вселился, что ли? Почему он не может оставить ее на свежем воздухе?

Какие бы ни были у него причины, однако он ее не оставил на свежем воздухе, а быстро увел вниз и сам тоже скрылся; он даже не откинул плаща

и не задержался на переполненной народом палубе ни на секунду дольше, чем было нужно, чтобы пройти сквозь толпу.

Том не слышал этого краткого диалога, потому что его внимание было неожиданным образом отвлечено. Рука, ухватившая его за локоть, заставила Тома обернуться как раз в ту минуту, когда миссис Грмп заканчивала свое воззвание к паровой машине, и тут, справа от себя — слева была Руфь, — он увидел своего домохозяина и очень удивился.

Тома не столько изумило присутствие здесь хозяина, как то, что он сумел подобраться к нему так бесшумно и незаметно: только что, за секунду до этого, рядом с Томом стоял совсем другой человек, и Том так и не почувствовал никакого движения или давки в той кучке людей, где он стоял. Они с Руфью часто говорили, как бесшумно появляется и исчезает из дому их хозяин; однако от этого Том удивился не меньше, столкнувшись с ним сейчас носом к носу.

— Прошу прощения, мистер Пинч, — сказал он ему на ухо. — Я человек больной и страдаю одышкой, да и глаза у меня видят плохо. Годы мои уже не те, сэр. Не видите ли вы вон там джентльмена в длинном плаще под руку с дамой — дама под вуалью и в черной шали, — видите или нет?

Если он плохо видел, странно — как же это он нашел среди всей этой толпы тех самых людей, которых только что описывал своему жильцу? И теперь он быстро переводил глаза с них на Тома, словно ему не терпелось направить на них его блуждающий взгляд.

— Джентльмен в длинном плаще и дама в черной шали? — сказал Том. — Сейчас посмотрю!

— Да, да! — отвечал тот с явным нетерпением. — Джентльмен, закутанный с головы до ног, — странно кутаться в такое утро, как будто он болен, а может быть, он даже прикрывает лицо рукой. Нет, нет, нет! Не там, — прибавил он, следуя за взглядом Тома, — в другой стороне, вон в том направлении, вон там!

И, не выдержав, он показал пальцем как раз туда, где в эту минуту толпа задержала интересующую его пару.

— Тут столько народа, и такая толкотня, и так много всего, — сказал Том, — что, по-моему, довольно трудно... нет, право, я не вижу господина в длинном плаще и дамы в черной шали. Вон там стоит дама в красной шали!

— Нет, нет, нет! — нетерпеливо воскликнул его хозяин, опять показывая куда-то пальцем. — Не там. Совсем в другой стороне, в другой стороне. Возле трапа, слева. Они должны быть возле трапа, ведущего в каюту. Видите вы трап? Вот уж и колокол звонит! Да видите ли вы трап?

— Погодите! — сказал Том. — Верно. Вон они идут. Вы ведь говорите про джентльмена, что сейчас спускается вниз и складки плаща волочатся за ним по ступенькам?

— Про этого самого, — отвечал тот, глядя, впрочем, не туда, куда показывая Том, а в глаза ему. — Не окажете ли вы мне любезность, сэр, большую любезность? Не передадите ли вы письмо ему из рук в руки? Только передать, он ждет его, сэр. Мне это поручили мои хозяева, но я опоздал, и так как я уже не молод, мне ни за что не успеть подняться на борт и сойти вовремя. Не извините ли вы такую вольность с моей стороны и не окажете ли мне эту любезность?

Его руки дрожали, и на лице было написано сильнейшее волнение; он совал письмо в руки Тому и указывал, кому его передать, словно искуситель на мрачной старой гравюре.

Не в обычае Тома было колебаться там, где взывали к его добродушию или состраданию. Он взял письмо, шепнул Руфи, что вернется сию минуту и чтоб она его подождала, и сбегал по лестнице со всей быстротой, на какую был способен. Столько людей спускалось, столько поднималось, столько переправляли тяжелых тюков туда и обратно, так громко звонили, так сильно шипел пар и такой стоял крик, что Тому нелегко было проложить себе дорогу, и он чуть не позабыл, на какой пароход ему нужно. Однако он успешно добрался куда следует, не теряя времени спустился в каюту и увидел, что предмет его поисков стоит в салоне, спиной к нему, и читает какое-то объявление на стене. Когда Том подошел, чтобы передать ему письмо, он вздрогнул, слышав шаги, и обернулся.

Каково же было удивление Тома, когда он узнал в нем того человека, с которым однажды имел столкновение в поле, — мужа бедняжки Мерси, Джонаса!

Насколько понял Том, Джонас пробормотал, какого черта ему тут надо; однако догадаться было нелегко, так невнятно он говорил.

— Мне самому ничего от вас не надо, — сказал Том, — минуту назад меня попросили передать вам это письмо. Мне указали, где вы, но я не узнал вас в этом одеянии. Возьмите же!

Джонас взял письмо, распечатал и прочел то, что было в нем написано. Содержание оказалось, по-видимому, очень кратким — не более одной строчки, — но оно поразило его, словно камень из пращи.

Волнение Джонаса было так странно, что Том, никогда не видевший ничего подобного, невольно остановился. Как ни кратковременны были колебания Джонаса, колокол перестал звонить, пока он стоял в нерешительности, и хриплый голос сверху осведомился, кто здесь

возвращается на берег.

— Да, — крикнул Джонас, — я, я схожу. Дайте мне сойти. Где эта женщина? Идем обратно, идем сейчас же!

Он распахнул дверь в каюту и скорее потащил, чем повел Мерри за руку. Она была бледна и испугана и очень удивилась, увидев старого знакомого, но не успела с ним заговорить, потому что наверху поднялся шум и движение и Джонас быстро потащил ее на палубу.

— Куда мы идем? Что случилось?

— Мы идем обратно, — сказал Джонас. — Я передумал. Я не могу ехать. Не спрашивай меня, не то дело плохо кончится для тебя или для кого-нибудь другого. Погодите же, погодите! Нам надо на берег, слышите? На берег!

Он обернулся, невзирая на все безумие этой спешки, и, злобно нахмурившись, погрозил Тому кулаком. Немного найдется человеческих лиц, способных выразить такую ненависть, какая выражалась в его чертах!

Он тащил Мерри наверх, а Том следовал за ними. Он яростно тащил ее по палубе, через борт, по зыбкой доске и вверх по ступеням, не устаивая ее ни единым взглядом и все время пристально рассматривая лица стоящих на пристани. И вдруг обернулся и крикнул Тому с ужасным проклятием:

— Где он?

Прежде чем Том, негодуя и возмущаясь, успел ответить на вопрос, которого он вовсе не понял, какой-то человек подошел к ним сзади и окликнул Джонаса Чезлвита по имени. Он был похож на иностранца, с черными усами и бакенбардами, и его учтивое спокойствие странно противоречило поведению Джонаса, изобличавшему отчаяние и тревогу.

— Чезлвит, дорогой мой, — сказал этот джентльмен, приподнимая шляпу в знак внимания к миссис Чезлвит, — двадцать тысяч раз прошу у вас извинения. Мне в высшей степени неприятно расстраивать семейную прогулку такого рода (я знаю, как это всегда очаровательно и освежающе действует, хотя сам и не имею счастья быть семейным человеком, что составляет величайшую трагедию моего существования), но дела, дорогой мой друг, дела... Вы не представите меня?

— Это мистер Монтегю, — сказал Джонас, по-видимому давясь словами.

— Самый несчастный из смертных, миссис Чезлвит, — подхватил Монтегю, — и более всех сокрушающийся о том, что эта маленькая прогулка не состоялась; но, как я уже говорил моему другу, дела, наши общие дела... Вы, я вижу, задумали небольшую поездку на континент?

Джонас хранил упорное молчание.

— Хоть убейте, — воскликнул Монтегю, — но я потрясен! Честное слово, я потрясен! А все эти проклятые дела, наш улей в Сити! Все остальное не считается, когда надо собирать мед, и в этом мое лучшее оправдание. Тут, справа от меня, все время приседает какая-то странная особа, — сказал Монтегю, прерывая свою речь и глядя на миссис Гэмп, — с которой я не знаком. Кто-нибудь ее знает?

— Ах, еще бы они меня не знали, господь с ними! — начала миссис Гэмп. — И ваша веселая женушка тоже, сударь, дай бог ей подольше быть веселой! Позвольте пожелать, чтобы все (она произнесла это, как произносят тост или поздравление) так же радовались и цвели красотой, как один будущий папаша, которого я называть не стану, чтобы никому не было обиды, боже сохрани! Дорогая моя дамочка, — тут она сразу перестала улыбаться, а до тех пор делала вид, будто страх как весела, — что-то вы уж очень бледны!

— И вы тоже тут, никак? — проворчал Джонас. — Ей-богу, а не слишком ли вас много?

— Надеюсь, сударь, — возразила миссис Гэмп, с возмущением приседая, — никому от этого вреда не будет, что мы с миссис Гаррис гуляли по пристани в общественном месте. Она так и сказала мне, этими самыми словами (хоть режьте меня, вот так и сказала): „Сара, говорит, пристань — это общественное место?“ — „Миссис Гаррис, — говорю я, — как вы можете в этом сомневаться? Вы меня знаете вот уже тридцать восемь лет, сударыня, когда же это вы видели, чтобы я пошла или пожелала пойти туда, куда меня не просят, скажите сами“. — „Нет, Сара, — говорит миссис Гаррис, — как раз наоборот“. И еще бы ей этого не знать! Я женщина бедная, но за мной люди гоняются, сударь, хоть вы, может, этого и не думаете. Ко мне всю ночь стучатся, каждый час; сколько раз хозяева делали предупреждение, а то все соседи ругаются, думают, что пожар. Я бьюсь из-за куска хлеба, правда, зато никому ничем не обязана и, с вашего позволения, думаю так и до смерти дожить. Я женщина чувствительная, сударь, и сама была матерью, но попробуйте троньте хоть глиняный горшок, ежели он мой, или оговорите меня хоть единым словом насчет еды или питья, — и будь вы самая любимая служанка в доме, этакая какая-нибудь молоденькая вертихвостка, все равно, — либо вы уйдете с места, либо я уйду. Зарботки мои невелики, сударь, но на ногу себе наступить я никому не позволю. Сохранить ребенка и спасти мать — вот мой сервис, сударь; и разрешу себе к этому прибавить: не оговаривайте сиделку, она этого не потерпит!

В заключение миссис Гэмп обеими руками крепко стянула на себе

шаль и, как обычно, сослалась на миссис Гаррис в подтверждение справедливости своих слов. При взгляде на нее можно было уже заметить то дрожание головы, которое у дам с таким горячим характером следует считать верным признаком приближающейся новой вспышки, но Джонас вмешался весьма своевременно:

— Раз вы уже тут, — сказал он, — так лучше позаботьтесь о ней и проводите ее домой. У меня есть другое дело. — Он не сказал ничего больше, но поглядел на Монтегю, словно давая ему понять, что готов сопровождать его.

— Мне очень жаль уводить вас, — сказал Монтегю. Джонас бросил на него мрачный взгляд, который надолго остался в памяти Тома.

— Жаль, клянусь жизнью! — сказал Монтегю. — Не надо было меня до этого доводить!

С тем же мрачным взглядом, что и прежде, Джонас ответил после минутного молчания:

— Никто вас не доводил, это все ваших рук дело.

Больше он ничего не сказал. Даже и это он говорил словно по принуждению, словно он был во власти другого, но не мог противиться сидевшему в нем угрюмому и загнанному бесу. Самая его походка, когда они шли вместе, казалась походкой человека, закованного в кандалы; но стиснутые кулаки, нахмуренные брови и крепко сжатые губы показывали, что в нем сидит все тот же бес, стремящийся вырваться на свободу.

Они сели в дожидавшийся их красивый кабриолет и уехали.

Вся эта необыкновенная сцена произошла так быстро и незаметно среди окружающей суеты, что показалась Тому похожей на сон, хотя сам он был одним из главных действующих лиц. Но после того как они сошли с пакетбота, никто не обращал на него внимания. Он стоял позади Джонаса и так близко от него, что слышал все от слова до слова. Он стоял, держа сестру под руку и дожидаясь случая объяснить свою странную роль в этом более чем странном деле. Но Джонас ни разу не поднял глаз от земли; остальные даже не взглянули на Тома, и, прежде чем он решил, как ему действовать, все они ушли.

Том осмотрелся, ища своего хозяина. Он все время искал его глазами, но того нигде не было видно. Все еще продолжая высматривать его в толпе, Том заметил, что кто-то машет ему рукой из кэба, и, бросившись туда, увидел, что это Мерри. Она торопливо заговорила, наклонившись к нему из окна, чтобы не могла подслушать ее спутница, миссис Гэмп.

— Что это такое? — сказала она. — Боже милосердный, что это такое? Почему он велел мне ночью готовиться к долгому путешествию и почему

вы вернули нас как преступников? Дорогой мистер Пинч! — Она в отчаянии ломала руки. — Сжальтесь над нами. В чем бы ни заключалась эта ужасная тайна, сжальтесь над нами, и бог благословит вас!

— Если б это было в моей власти, — воскликнул Том, — вам не пришлось бы просить напрасно, верьте мне! Но я знаю гораздо меньше вашего и могу сделать еще меньше, чем вы.

Она скрылась в карете, и на одно мгновение он увидел махавшую ему руку, но махала ли она с упреком, с недоверием, в знак горя, скорби или грустного расставания, он не мог разобрать в такой спешке. Однако она уехала, и ему с Руфью оставалось только уйти в полном недоумении.

Не назначил ли мистер Неджет в это утро свидание на Лондонском мосту человеку, который никогда не держал слово? Он несомненно глядел в эту минуту через перила на пароходную пристань. Едва ли ради развлечения; он никогда не гонялся за развлечениями. Нет, надо полагать, что у него было там какое-то дело.

Глава XLI

Мистер Джонас и его друг, придя к общему согласию, начинают, одно предприятие.

Так как контора Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни находилась поблизости и мистер Монтегю повез Джонаса прямо туда, то ехать им пришлось недолго. Однако дорога могла бы продолжаться и несколько часов в том же нерушимом молчании: было ясно, что Джонас не намерен беседовать и что его любезный друг покамест не собирается вовлекать его в разговор.

Он сбросил свой плащ, не имея более нужды скрываться, и, скомкав это одеяние у себя на коленях, сидел, отодвинувшись подальше от своего спутника, насколько позволяла теснота экипажа. Во всей его повадке произошла разительная перемена, сравнительно с тем, как он держал себя несколько минут назад, когда Том встретил его так неожиданно на пароходе или когда он так страшно изменился в спальне у мистера Монтегю. У него был вид человека, которого разоблачили и приперли к стене, человека, сбитого с толку, загнанного и пойманного; но теперь на его лице все явственнее проступало выражение решимости, сильно его менявшее. Мрачное, подозрительное, хмурое, бледное от злобы и унижения, оно было все так же подло, жалко, трусливо и презренно; но чем бы ни кончилась эта внутренняя борьба, твердая решимость противостояла теперь каждому движению его души и подавляла их все, как только они возникали.

По внешности он не располагал к себе даже и в самые лучшие времена, поэтому легко себе представить, что и сейчас он был непривлекателен. Глубокие следы зубов остались на его нижней губе, и эти знаки недавно пережитого волнения так же мало его красили, как и изрытый морщинами лоб. Но он овладел собой — стал даже неестественно спокоен, что бывает и с малодушными людьми, когда они доведены до крайности; и как только экипаж остановился, Джонас, не дожидаясь приглашения, отважно выпрыгнул на мостовую и побежал вверх по лестнице.

Председатель компании последовал за ним и, когда они вошли, закрыл дверь зала совещаний и бросился на диван. Джонас стоял у окна и глядел на улицу, облокотясь на подоконник и подперев голову руками.

— Это некрасиво, Чезлвит, — сказал, наконец, Монтегю, — некрасиво,

клянусь честью!

— Чего же вы от меня хотели? — ответил тот, круто оборачиваясь. — Чего вы ждали?

— Доверия, милейший, самого обыкновенного доверия! — сказал Монтегю оскорбленным тоном.

— Ей-богу! То-то вы мне очень доверяете! — возразил Джонас.

— Разве нет? — произнес его компаньон, поднимая голову и глядя на него, но Джонас опять отвернулся. — Разве нет? Разве я не посвятил вас в выгодную комбинацию, придуманную мною для нашей общей пользы, — для нашей, заметьте, не для моей только, — и чем же вы мне отплатили? Попыткой улизнуть!

— Откуда вы это знаете? Кто вам сказал, что я собираюсь улизнуть?

— Кто сказал? Будет уж, будет! Иностраннный пароход, ранний час, закутанная фигура! Кто сказал? Если вы не собирались меня обмануть, зачем же вас понесло туда? Если вы не собирались меня обмануть, зачем же вы вернулись?

— Я вернулся, — сказал Джонас, — чтобы избежать шума.

— Вы поступили мудро, — возразил его друг. Джонас не промолвил ни слова; он все так же глядел на улицу, подперев голову руками.

— Так вот, Чезлвит, — сказал Монтегю, — невзирая на то, что произошло, я буду с вами откровенен. Вы слушаете меня? Я вижу только вашу спину.

— Слышу. Дальше!

— Я говорю: невзирая на то, что произошло, я буду с вами откровенен.

— Вы это уже говорили. И я вам уже сказал, что слышу. Дальше!

— Вы несколько раздражены, и не удивительно; сам я, к счастью, настроен как нельзя лучше. Так вот, давайте посмотрим, как обстоят дела. День или два назад я намекнул вам, любезный друг, что мне как будто бы удалось сделать открытие.

— Да замолчите ли вы? — крикнул Джонас, яростно оборачиваясь и бросая взгляд на дверь.

— Так, так! — сказал Монтегю. — Весьма здраво! Совершенно правильно! Если мое открытие получит огласку, с ним станет то же, что и с многими открытиями в этом честном мире, — мне уже не будет от него никакой пользы. Вы видите, Чезлвит, как я бесхитростен и прост: я показываю вам самое слабое место своей позиции! Но вернемся к прежнему. Я сделал, или думаю, что сделал, одно открытие и при первом удобном случае сообщил вам об этом по секрету, в том духе доверия, которое, как я поистине надеялся, существует между нами. Быть может, тут

есть что-нибудь; быть может, и нет. У меня на этот счет имеется свое мнение, у вас — свое. Не станем об этом спорить. Но вы, любезный друг, проявили слабость: я именно хочу указать вам на то, что вы проявили слабость. Возможно, я желаю воспользоваться этим незначительным случаем к своей выгоде (а я именно этого желаю, не стану отрицать), но моя выгода заключается не в том, чтобы расследовать этот случай или обратить его против вас.

— Как это обратить против меня? — спросил Джонас, который стоял в той же позе.

— О, в это мы входить не будем, — сказал Монтегю с улыбкой.

— То есть превратить меня в нищего? Вы это имели в виду?

— Нет.

— Как это нет? — злобно проворчал Джонас. — А то в чем же ваша выгода заключается? Ведь это вы правду сказали.

— Я, конечно, хотел бы, чтобы вы еще немножко рискнули вместе с нами (риск тут самый небольшой) и не поднимали бы шума, — сказал Монтегю. — Вы обещали, и должны исполнить обещанное. Я говорю вам прямо, Чезлвит: должны. Рассудите сами. Если вы не сдержите слова, моя тайна теряет всякую цену для меня; в таком случае, пускай она становится общим достоянием — это даже лучше, потому что такая огласка сделает мне некоторую честь. Я хочу, кроме того, чтобы в одном случае, о котором я вам уже говорил, вы сыграли роль приманки. Я знаю, это вам ничего не стоит. До того человека вам дела нет (вам вообще ни до кого дела нет, вы слишком умны, — надеюсь, и я не глупей), и вы перенесете чужие потери с благочестивой твердостью. Ха-ха-ха! Вы начали с того, что попробовали улизнуть. Улизнуть вам не удастся, уверяю вас. Это я вам доказал сегодня. Я, как вы знаете, не слишком щепетилен. Меня нимало не трогает, что бы вы там ни сделали, какую бы маленькую неосторожность ни совершили; но я желаю воспользоваться этим, если можно, — и такому умному человеку, как вы, признаюсь в этом откровенно. Не один я грешен. Каждый пользуется оплошностью своего соседа, и больше других — люди с самой лучшей репутацией. К чему же вы мне доставляете столько хлопот? Все это должно кончиться дружеским соглашением или полным разрывом. Иначе и быть не может. В первом случае вы пострадаете очень мало. Во втором — ну, вам самому лучше знать, что тогда может случиться.

Джонас отвернулся от окна и подошел совсем близко к мистеру Монтегю. Он не смотрел ему в лицо — это было не в его привычках, — он только обратил глаза в его сторону и, глядя куда-то ему в грудь или в живот, заговорил с видимым усилием, медленно и отдельно, как пьяный, еще не

потерявший сознания.

— Что толку врать! — сказал он. — Я хотел уехать сегодня утром и договориться с вами оттуда.

— Ну разумеется! Разумеется! — ответил Монтегю. — Ничего не может быть естественнее. Я это предвидел и принял свои меры. Но я, кажется, прервал вас.

— За коим чертом, — продолжал Джонас, видимо через силу, — вас угораздило выбрать такого посыльного? Где вы его разыскали, я вас не спрашиваю, а только он не первый раз подставляет мне ножку. Если вам действительно ни до кого дела нет, как вы только что говорили, вам должно быть все равно, что станется с этим куцым дворнягой, и вы предоставите мне рассчитаться с ним по-своему.

Если бы Джонас поднял глаза на своего компаньона, он увидел бы, что тот явно его не понимает. Но так как он стоял перед Монтегю, избегая глядеть ему в лицо и прерывая свою речь только для того, чтобы смочить языком пересохшие губы, то он этого не видел. Внимательный наблюдатель заметил бы, что пристальный и неподвижный взгляд Джонаса тоже говорил о совершившейся в нем перемене. Этот взгляд был прикован к одному месту, хотя мысли его блуждали далеко: так фокусник, идущий по канату или по проволоке к своей опасной цели, для сохранения равновесия смотрит на какой-нибудь предмет и не сводит с него глаз, чтобы не оступиться.

Монтегю быстро нашелся: он сказал наобум, что между ним и его другом нет ни малейшего разногласия по этому вопросу, ни малейшего.

— Ваше великое открытие, — продолжал Джонас с исступленной усмешкой, от которой не в силах был удержаться, — может быть, верно, а может быть, и неверно. В чем бы оно ни заключалось — мне думается, что я не хуже других.

— Нисколько, — сказал Тигг, — нисколько. Мы все одинаковы, или почти одинаковы.

— Я хочу знать вот что, — продолжал Джонас, — это открытие вы сделали сами или нет? Вы не удивляйтесь, что я задаю такой вопрос.

— Да, я сам, — подтвердил Монтегю.

— Да? — возразил тот резко. — А кому-нибудь еще оно известно? Ну же. Отвечайте, не мямлите!

— Нет, — сказал Монтегю без малейшего колебания. — Как вы думаете, чего бы оно стоило, если бы я не хранил его про себя?

Тут Джонас в первый раз посмотрел на него. После недолгого молчания он протянул руку и засмеялся.

— Ну что ж, не очень меня донимайте, и я буду ваш. Не знаю, может этак я больше выгадаю, чем если бы уехал сегодня утром. Но уж раз я остался, то дело кончено, можете дать присягу!

Он говорил хриплым голосом и, откашлявшись, прибавил уже менее напряженно:

— Ехать мне к Пекснифу? Когда? Скажите только!

— Немедленно! — воскликнул Монтегю. — Его надо привлечь как можно скорей.

— Ей-богу, — с диким смехом ответил Джонас, — а ведь забавно будет поймать этого старого лицемера! Я его терпеть не могу. Может, мне поехать нынче ночью?

— Да! Вот это похоже на дело! — восторженно отозвался Монтегю. — Теперь мы понимаем друг друга. Нынче ночью, любезный друг, разумеется.

— Поедьте вместе, — предложил Джонас. — Нам надо огорошить его: приехать в карете, захватить с собою документы, потому что это продувная бестия и ловить его надо умеючи, а то он не пойдет на удочку, я его знаю. Вашу квартиру и ваши обеды я туда повезти не могу — значит, надо везти вас самого. Можете вы ехать нынче ночью?

Его друг колебался; по-видимому, он не ждал этого предложения и не слишком ему радовался.

— Мы сговоримся насчет наших планов по дороге, — сказал Джонас. — Поедем к нему не прямо, а свернем из какого-нибудь другого города, будто бы повидаться с ним. Может быть, и не понадобится вас знакомить, но вы должны быть под рукой. Говорю вам, я его знаю.

— А что, если он меня узнает? — спросил Монтегю, пожав плечами.

— Он узнает! — воскликнул Джонас. — Да разве вы не рискуете этим пятьдесят раз на дню? А разве ваш отец вас узнает? Разве я узнал вас? Что ни говорите, вы были совсем другой, когда я впервые вас увидел. Ха-ха-ха! Как сейчас вижу дыры и заплаты! Ни парика, ни крашенных бакенов! В те времена вы были совсем другого рода фигура, да, да! Вы даже говорили по-другому. С тех пор вы так усердно разыгрывали джентльмена, что и сами себе поверили. А если даже он вас вспомнит, что за беда! Такая перемена доказывает ваш успех. Вы это сами понимаете, иначе не открылись бы мне. Так поедете?

— Любезный друг, — сказал Монтегю, все еще колеблясь, — я полагаюсь и на вас одного.

— Полагаетесь! Еще бы, теперь можете полагаться на меня сколько вам угодно. Больше я уж никуда не убегу — никуда! — Он замолчал и прибавил более спокойно: — Но только без вас у меня ничего не выйдет.

Поедете?

— Поеду, — сказал Монтегю, — если вы так думаете. — И они пожали друг другу руки.

Взбодораженность, охватившая Джонаса при этом разговоре, особенно после того как он посмотрел в глаза своему почтенному другу, не покидала его ни на миг. Совершенно несвойственная ему и в обычное время совершенно не вязавшаяся ни с его нравом, ни с темпераментом и особенно неестественная для человека в таком положении, она не покидала его ни на миг. Ее нельзя было приписать действию вина; потому что он говорил вполне связно. Она даже сделала его нечувствительным к обычному влиянию горячительных напитков, и, хотя в тот день он много пил, забыв умеренность и осторожность, это нисколько не сказывалось на его настроении, и он оставался совершенно тем же.

Решив, после некоторого спора, пуститься в путь ночью, для того чтобы не нарушать течения делового дня, они стали совещаться о том, как им лучше ехать. Так как мистер Монтегю был того мнения, что надо взять четверку лошадей, на первый перегон во всяком случае, для того чтобы во всех смыслах пустить людям пыль в глаза, то к девяти часам была заказана четверка. Джонас не пошел домой, заметив, что такой спешный отъезд по делам будет прекрасным объяснением того, почему ему пришлось так неожиданно вернуться нынче утром. Он написал записку насчет чемодана и послал с ней посыльного, который вскоре вернулся с вещами и запиской от другой его движимости — жены, выразившей желание, чтобы ей позволили прийти повидаться с ним на минуту. На эту просьбу он ответил: „Пусть попробует!“; и поскольку это лаконическое утверждение выражало отрицание, хотя и вопреки всем правилам грамматики, — она не посмела прийти.

Мистер Монтегю был очень занят в течение дня, и потому Джонас ошастливил своим обществом доктора, с которым завтракал в собственном кабинете этого должностного лица. Встретив мистера Неджета в конторе, он подшутил над тем, что этот осторожный джентльмен всегда как будто старается избегать его, и осведомился, не боится ли он его. Мистер Неджет уклончиво ответил, — нет, очевидно это у него такая манера, потому что его не раз обвиняли в том же.

Мистер Монтегю услышал, или, чтобы выразиться изящнее, подслушал этот разговор. Как только Джонас вышел, он поманил к себе Неджета концом пера и шепнул ему на ухо:

— Кто передал ему нынче утром письмо?

— Мой жилец, сэр, — отвечал Неджет, прикрыв рот ладонью.

— Как же это случилось?

— Я встретил его на пристани, сэр. Надо же было что-нибудь делать, раз вы не приехали, а медлить было никак нельзя. Мне, к счастью, пришло в голову, что если я сам его передам, то в дальнейшем буду уже бесполезен. Я бы выдал себя.

— Мистер Неджет, вы поистине сокровище, — сказал Монтегю, похлопывая его по спине. — Как зовут вашего жильца?

— Пинч, сэр. Мистер Томас Пинч.

Монтегю подумал немного, потом спросил:

— Из провинции, вы не знаете?

— Из Вильтшира, сэр, он мне говорил.

Они расстались, не сказав более ни слова. Видя, как мистер Неджет кланяется мистеру Монтегю при новой встрече и как Монтегю отвечает ему на поклон, всякий мог бы поклясться, что эти люди никогда в жизни не разговаривали друг с другом по секрету.

Тем временем мистер Джонас и доктор весьма удобно устроились наверху, за бутылкой старой мадеры и бутербродами, ибо доктор, приглашенный отобедать внизу в шесть часов, предпочел вместо завтрака слегка закусить. Это представлялось целесообразным с двух точек зрения, пояснил он: во-первых, было само по себе очень здорово, а во-вторых, прекрасно подготавливало к обеду.

— А вы обязаны ради всех нас особенно заботиться о вашем пищеварении, мистер Чезлвит, дорогой мой, — сказал доктор, выпив стакан вина и причмокивая губами, — поверьте, о нем стоит позаботиться. Оно должно быть в прекрасном состоянии, сэр, работать совершенно как хронометр, иначе ваше настроение не будет таким превосходным: „Живительные силы меня как будто носят по земле, — я радостен и весел целый день“^[126], — как говорит в пьесе этот, как его там... Я бы желал, между прочим, чтобы эта пьеса оказывала хоть сколько-нибудь справедливости нашей профессии. В ней выведен аптекарь, сэр, а ведь это низкий сюжет, сэр, вульгарный сюжет, решительно не соответствующий натуре!

Мистер Джоблинг оправил плоеную манишку тонкого полотна, как будто хотел сказать: „Вот что я называю натурой в медицине, сэр!“ — и поглядел на Джонаса, дожидаясь ответа.

Джонас, не чувствуя склонности поддерживать разговор на эту тему, взял ящик с ланцетами, стоявший на столе, и открыл его.

— А! — сказал доктор, — откидываясь на спинку стула. — Я всегда вынимаю их из кармана перед едой. Карманы у меня довольно тесны. Ха-

ха-ха!

Джонас взял один из блестящих маленьких инструментов и уставился на него таким же острым и холодным взглядом, как и его сверкающее лезвие.

— Хорошая сталь, доктор, хорошая сталь. А?

— М-да, — ответил доктор сдержанно и скромно, как подобает законному владельцу. — Этим можно довольно ловко вскрыть вену, мистер Чезлвит.

— Он, должно быть, вскрыл много вен в свое время? — сказал Джонас, глядя на ланцет с возрастающим интересом.

— Немало, уважаемый, немало. Он применялся... можно сказать, порядком применялся на практике, — ответил доктор, покашливая, вероятно оттого, что материя была слишком суха и специальна. — Порядком применялся на практике, — повторил доктор, поднося к губам второй стакан вина.

— А можно перерезать человеку горло такой штукой? — спросил Джонас.

— О, разумеется, разумеется, если точно наметить место, — ответил доктор. — Все зависит от этого.

— Там, где сейчас ваша рука, да? — воскликнул Джонас, нагибаясь посмотреть.

— Да, — сказал доктор, — это яремная вена.

Джонас, в своем оживлении, неожиданно сделал взмах рукой так близко от яремной вены доктора, что тот даже весь побагровел. После чего Джонас, все так же неестественно оживленный, разразился громким, неприятным смехом.

— Нет, нет, — сказал доктор, качая головой, — это игра с огнем; с режущими орудиями не шутят! Кстати, мне вспомнился пример весьма искусного применения режущих орудий. Один случай убийства. Боюсь, что это убийство совершил человек нашей профессии, такое он проявил искусство.

— Ну? — сказал Джонас. — Как же это было?

— Да вот, сэр, — отвечал Джоблинг, — все это можно рассказать в двух словах. Одного джентльмена нашли утром на какой-то малолюдной улице лежащим в дверях — скорее даже не лежащим, а сидящим на пороге и, следовательно, подпирающим двери. На его жилете оказалась всего одна-единственная капля крови. Он умер и уже остыл, и, по-видимому, был убит, сэр.

— Всего одна капля крови! — повторил Джонас.

— Сэр, этого человека, — ответил доктор, — убили ударом в сердце. Ударом в сердце. И так искусно, сэр, что смерть произошла мгновенно и сопровождалась внутренним кровоизлиянием. Предполагают, что некий знакомый ему медик (на которого пало подозрение) вовлек его в разговор под каким-то предлогом, очень возможно, взял его за пуговицу, как это бывает в разговоре, другой рукой потихоньку исследовал пациента, точно наметил место и, совсем приготовившись, извлек инструмент...

— И проделал эту штуку, — подсказал Джонас.

— Совершенно верно, — ответил доктор. — Это была в своем роде операция, и превосходная! Знакомый медик так и не отыскался, и, как я уже говорил вам, это дело приписали ему. Он убил или не он, не могу вам сказать. Но так как я имел честь быть приглашенным на вскрытие вместе с двумя или тремя собратьями по профессии и присутствовал при самом тщательном исследовании раны, то скажу не колеблясь, что она сделала бы честь любому хирургу; а если это был профан, то ее надо считать или произведением высокого искусства, или результатом необычайно счастливого и благоприятного стечения обстоятельств.

Его слушатель был так заинтересован этим случаем, что доктор продолжал объяснять дальше, водя большим и указательным пальцами по своему жилету, а также взял на себя труд отойти в угол комнаты и изобразить сначала убитого, потом убийцу, что он и проделал с большим успехом. После того как бутылка была выпита и история рассказана, Джонас был все в таком же приподнятом настроении и так же непохож на себя, как и тогда, когда садились за стол. Если, как рассуждал Джоблинг, причиной тому было хорошее пищеварение, он, должно быть, не уступал в этом отношении страусу.

Но и за обедом его настроение несколько не изменилось, и после обеда также, хотя вино пили в изобилии и ели всякие пряные кушанья. И в девять часов вечера оно оставалось совершенно таким же. В карете был зажжен фонарь, и Джонас, поклявшись, что возьмет с собой карты и бутылку вина, спрятал их под плащом и направился к двери.

— Прочь с дороги, мальчик с пальчик, ложись спать!

С этим приветствием он обратился к мистеру Бейли, который, также в сапогах и в плаще, стоял у подножки, чтобы помочь ему сесть в карету.

— Спать, сэр? Я тоже еду, — сказал Бейли.

Джонас быстро соскочил на землю и, схватив мистера Бейли за шиворот, потащил его обратно в прихожую, где Монтегю закуривал сигару.

— Вы ведь не собираетесь брать с собой эту обезьяну?

— Собираюсь, — сказал Монтегю. Джонас встряхнул мальчика и

грубо отшвырнул его в сторону. Это движение больше напоминало прежнего Джонаса, чем все его поведение сегодня; однако он тут же рассмеялся и, ткнув доктора пальцем, в подражание знакомому медику, которого тот изображал, снова вышел и сел в карету. Его спутник немедленно последовал за ним. Мистер Бейли вскарабкался на запятки.

— Ночь будет бурная! — воскликнул доктор, когда они тронулись с места.

Глава XLII

продолжает рассказ о предприятии мистера Джонаса и его друга.

Предсказание доктора насчет погоды не замедлило оправдаться. Хотя погода и не была его пациенткой и никакое третье лицо не просило его поставить диагноз, это быстрое подтверждение слов доктора как нельзя лучше свидетельствовало о его профессиональном такте: если бы ночь не грозила бурей так ясно и бесспорно, мистер Джоблинг, дороживший своей репутацией, не стал бы высказывать никакого мнения по этому вопросу. Он слишком успешно применял данное правило в медицине, чтобы забывать о нем в обыкновенных житейских делах.

Была одна из тех тихих, душных ночей, когда люди сидят у окон, настороженно прислушиваясь, в ожидании, что вот-вот грянет гром; когда они припоминают страшные рассказы об ураганах и землетрясениях, об одиноких путниках на открытой равнине, об одиноких кораблях среди моря, пораженных молнией. Уже и сейчас молния вспыхивала и трепетала на черном горизонте; и глухое рокотанье доносилось вместе с ветром, словно он дул оттуда, где гремел гром, и был насыщен его слабыми отголосками. Но гроза, хотя и быстро надвигалась, еще не подошла близко, и разлитая повсюду тишина казалась еще торжественнее от носившегося в воздухе тяжкого предвестия приближающейся бури и грома.

Было очень темно, но громады туч в нахмурившемся небе светились зловещим светом, словно гигантские груды меди, которые накалились в горне, а теперь остывали. До сих пор они надвигались неуклонно и медленно, но теперь казались неподвижными или почти неподвижными. С грохотом огибая углы улиц, карета проезжала мимо людей, выбежавших из дому без шляп посмотреть на ту сторону неба, откуда надвигалась гроза. Но вот начали падать редкие крупные капли дождя, и гром загрохотал в отдалении.

Джонас сидел в углу кареты с бутылкой на коленях, так крепко стиснув рукой ее горлышко, словно хотел размолоть его в порошок. Невольно привлеченный картиной ночи, он отложил колоду карт на подушку; и, движимый тем же невольным побуждением, понятным его спутнику и без слов, Монтегю потушил фонарь. Передние окна кареты были опущены, и оба они сидели молча, глядя на мрачное зрелище перед собой.

Они были уже за пределами Лондона, насколько это можно сказать о

путешественниках, едущих по западной дороге и находящихся в одном перегоне от этого огромного города. Время от времени им навстречу попадался пешеход, торопившийся укрыться под ближайшим кровом, или неуклюжий фургон, кативший тяжелой рысью к той же цели. У конюшен и коновязей каждой придорожной гостиницы стояло по несколько таких фургонов, в то время как возницы глядели на грозу из окон и с порогов или закусывали внутри. Повсюду люди тянулись друг к другу, искали общества, лишь бы не сидеть в одиночестве; и чуть ли не из каждого дома, мимо которого они проезжали, множество глаз, казалось, смотрело на ночь и на них.

Может показаться странным, что это тревожило Джонаса и не давало ему покоя, однако дело обстояло именно так. Он все что-то ворчал и не один раз переменял позу, наконец просто-напросто задернул штору со своей стороны и угрюмо повернулся к окну плечом. Он не смотрел на своего компаньона и ни единым словом не нарушал молчания, которое царило между ними.

Гром гремел, молния сверкала, дождь лил так, словно прогневались небеса. Окруженные то невыносимо ярким светом, то непроглядной тьмой, путники все же торопились вперед. Даже прибыв на станцию, они не стали пережидать грозу, но немедленно заказали свежих лошадей, отнюдь не потому, что наступившее пятиминутное затишье предвещало конец грозы. Они продолжали свой путь, как будто их толкала и подгоняла ярость бури. Хотя путешественники не обменялись и десятком слов и отлично могли бы переждать грозу, что-то заставляло их спешить вперед, словно тайный уговор действовал между ними.

Громче и громче рокотал глухой гром, словно раскатываясь по мириадам зал необъятного небесного храма; все сильнее и ярче блистала молния; дождь поливал все пуще и пуще. Лошади (теперь их везла одна пара) вздрагивали и бросались в сторону от живых потоков огня, змеившихся по земле перед ними. Но эти два человека стремились вперед, словно их влекла незримая сила.

Глаз, восприняв быстроту вспыхивающего света, различал при каждой вспышке такое множество предметов, какого не увидел бы ясным полднем и за время в пятьдесят раз большее. Колокола на колокольне, с веревкой и движущим их колесом; растрепанные птичьи гнезда на крышах и карнизах; растерянные лица под навесами фургонов, мчавшихся мимо во весь опор; перепуганные лошади, тревожное ржание которых заглушалось громом; бороны и плуги, брошенные посреди поля; мили и мили равнин, разделенных живыми изгородями, дальняя опушка леса, различаемая так

же ясно, как и пугало на бобовом поле, совсем рядом, — все становится видно как на ладони в одно ослепительное, мерцающее мгновение. Все заливают красный свет, переходящий в желтый, а потом в синий; потом вспыхивает такой яркий блеск, что ничего не видно, кроме света, — а после — глубочайшая, непроницаемая тьма.

Быть может, ослепительные и прихотливые зигзаги молнии создали или усилили любопытный оптический обман, который внезапно представился изумленным глазам Монтегю и так же быстро исчез. Ему показалось, будто он видит Джонаса с поднятой рукой и стиснутой в ней наподобие молотка бутылкой, которую тот занес над его головой. Он успел также заметить (или ему почудилось) выражение его лица — смесь взбудораженности, не оставлявшей Джонаса весь день, с дикой ненавистью и страхом, — даже волк показался бы более приятным спутником по сравнению с ним.

Монтегю невольно ахнул и окликнул кучера, который поспешно остановил лошадей.

Вряд ли могло быть так, как ему показалось, потому что, хотя он не сводил с Джонаса глаз и не видел, чтобы тот шевелился, его спутник по-прежнему сидел неподвижно в своем углу кареты.

— В чем дело? — спросил Джонас. — Это вы всегда так просыпаетесь?

— Я мог бы поклясться, — возразил Монтегю, — что ни на минуту не сомкнул глаз.

— Раз вы уже поклялись, — сухо ответил Джонас, — значит можно ехать дальше, если вы останавливались только для этого.

Он откупорил бутылку зубами и, поднеся ее к губам, сделал большой глоток.

— Лучше бы нам было совсем не выезжать. Не такая сегодня ночь, чтобы быть в дороге, — сказал Монтегю голосом, выдававшим волнение, невольно отодвигаясь подальше.

— Ей-богу, ваша правда, — возразил Джонас, — мы и не были бы в дороге, если б не вы. Не копались бы целый день, так мы сейчас были бы в Солсбери и крепко спали в теплых постелях. Для чего это мы останавливаемся?

Его спутник, на минуту высунувшись в окно, заметил (словно это было причиной его беспокойства), что мальчик промок до костей.

— Так ему и надо! — сказал Джонас. — Я очень рад. За каким же чертом мы останавливаемся? Вы собираетесь его развесить для просушки?

— Я думал, не взять ли его в карету, — заметил Монтегю не совсем

твердым голосом.

— Нет, спасибо! — сказал Джонас. — Не надо нам здесь никаких мокрых мальчишек, а уж особенно такого чертенка, как этот. Пусть остается там, где сидит. Я думаю, он не побоится грома и молнии, не то что другие. Пошел, кучер! Может, нам и его тоже взять в карету, — проворчал он засмеявшись, — и лошадей кстати?

— Не спешите, — крикнул Монтегю кучеру, — и поезжайте осторожнее! Вы чуть не угодили в канаву, когда я вас окликнул.

Это была неправда, и Джонас так и сказал напрямик, когда карета тронулась снова. Монтегю не обратил внимания на его слова, но все повторял, что в такую ночь не годится быть в дороге; казалось, он был необыкновенно встревожен и никак не мог успокоиться.

После этого к Джонасу вернулось прежнее беспечное расположение духа, если можно так назвать состояние, в каком он выехал из города. Он часто прикладывался к бутылке, распевал обрывки песен, нисколько не заботясь ни о такте, ни о мотиве, ни о стройности, лишь бы выходило погромче, и понуждал своего молчаливого приятеля веселиться вместе с ним.

— Вы самый лучший собеседник на свете, мой любезный друг, — с видимым усилием сказал Монтегю, — и вообще говоря, неотразимы; но в такую ночь... вы же слышите?..

— Ей-богу, и слышу и вижу! — воскликнул Джонас, на минуту зажмурившись от молнии, которая сверкала не в одном направлении, а во всех направлениях сразу.

Но что же из этого? Ни вы, ни я, ни наши дела от этого не пострадают. Припев, припев!

Буря грянет сильней
И отгонит червей
Прочь от виселицы, в землю врытой,
Но кому суждено,
Тот падет все равно
На пути с головою пробитой.

Должно быть, очень старая песня, — прибавил он, выбравшись, и замолчал, словно удивляясь самому себе. — Я ее не слышал с тех пор, как был мальчишкой; и почему она вдруг пришла мне в голову, не знаю, разве только молнией занесло. „Кому суждено!“ Нет, нет! „Тот падет все равно!“

Нет, нет! Нет! Ха-ха-ха!

Его веселость была такого дикого и необычайного свойства, она так странно вторила ночи и в то же время так грубо вторгалась в ее ужасы, что его спутник, никогда не отличавшийся храбростью, отшатнулся от него в диком страхе. Вместо того чтобы Джонасу быть его послушным орудием, они поменялись местами. Но для этого была причина, говорил себе Монтегю; унижение, естественно, внушало такому человеку желание шумно настаивать на своей независимости и в порыве своеволия забывать о своем действительном положении. Будучи довольно изобретателен, когда дело касалось таких предметов, Монтегю утешал себя этим доводом. Но все же он ощущал смутную тревогу и уныние, и ему было не по себе.

Он был уверен, что не спал, но ведь глаза могли и обмануть его, ибо теперь, глядя на Джонаса каждый раз, как наступала тьма, он мог представить себе эту фигуру в любом положении, какое подсказывало ему его душевное состояние. С другой стороны, он прекрасно знал, что у Джонаса нет никаких оснований любить его; но если бы даже та пантомима, которую он наблюдал с таким ужасом, была действительностью, а не плодом фантазии, можно было только сказать, что она вполне гармонировала с дьявольским весельем Джонаса и вместе с тем была бессильным выражением его ненависти. „Если бы желание убивало, — подумал мошенник, — я бы недолго прожил“.

Он решил, что, после того как Джонас станет не нужен, он взнуздает его железной уздой, а до тех пор всего лучше дать ему волю и предоставить развлекаться, как он хочет, на собственный, хотя и не совсем обычный лад. Терпеть его пока что — не так уж трудно. „Когда удастся получить все что можно, — думал Монтегю, — я улизну за море и там посмеюсь над ним — с деньгами в кармане“.

Так размышлял он час за часом, будучи в том душевном состоянии, когда постоянно возвращаются одни и те же мысли, томительно повторяясь, а Джонас тем временем развлекался, как видно отбросив всякие размышления. Они решили, что доедут до Солсбери и отправятся к мистеру Пекснифу утром; и, готовясь обмануть этого достойного человека, его любезный зять веселился и буйствовал еще пуще прежнего.

Ночь проходила, и гром становился тише, но все еще грохотал в отдалении угрюмо и зловеще. Молния, теперь почти безопасная, еще сверкала ярко и часто. Дождь хлестал с такой же силой, как и прежде.

На их несчастье, к тому времени, когда начало светать, на последнем перегоне им попались норовистые лошади. Они еще в конюшне были сильно напуганы грозой, а выйдя на волю в ту мрачную пору между ночью

и утром, когда вспышки молнии еще не умерялись рассветом и все предметы на пути казались больше и неопределеннее, чем ночью, совсем перестали слушаться; и вдруг, испугавшись чего-то на краю дороги, бешено понесли вниз по крутому склону, сбросили кучера, подтащили карету к канаве и, рванувшись вперед, с грохотом перевернули ее у края самой канавы.

Путники открыли дверцу кареты и выпрыгнули или, вернее, выпали из нее на землю. Джонас, шатаясь, первый поднялся на ноги. Он чувствовал слабость и сильное головокружение; кое-как добравшись до изгороди, он ухватился за нее и встал, тупо озираясь по сторонам и чувствуя, что все окружающее плывет у него перед глазами. Однако постепенно он пришел в себя и скоро заметил, что Монтегю лежит без чувств посреди дороги, в нескольких шагах от лошадей.

В одно мгновение — словно какой-то демон вдруг вселился в его ослабевшее тело — он подбежал к лошадям и потянул их под уздцы с такой силою, что они неистово забились, при каждом своем движении грозя раздавить лежащего на дороге человека, — еще полминуты и его мозг брызнул бы на мостовую.

Джонас все тянул и дергал лошадей как одержимый, еще пуще раззадоривая их криком.

— Гей! — кричал он. — Гей! Ну же, еще раз! Еще немножко, еще немножко! Эй вы, дьяволы! Но!

Услышав, что кучер, который успел подняться и спешил к нему, просит его перестать, он как будто совсем потерял голову.

— Пошел! Пошел! — понукал Джонас.

— Ради бога! — кричал ему кучер. — Джентльмен... на дороге... они его убьют!

Вместо ответа Джонас все так же понукал и дергал лошадей. Но кучер, бросившись вперед с опасностью для собственной жизни, спас Монтегю, оттащив его по грязи и лужам в сторону, где опасность уже не грозила ему. После этого он подбежал к Джонасу, ножом они быстро обрезают постромки и, освободив лошадей от разбитой коляски, снова подняли их на ноги, пораненных и окровавленных. Только теперь кучер и Джонас нашли время взглянуть друг на друга, раньше им было не до того.

— Спокойней, спокойней! — вскричал Джонас, дико размахивая руками. — Что бы вы делали без меня?

— Другому джентльмену пришлось бы плохо без меня, — возразил тот, качая головой. — Вам надо было сперва оттащить его. Я уж на нем крест поставил.

— Спокойней, спокойней, нечего каркать! — воскликнул Джонас, громко и резко засмеявшись. — Как вы думаете, не зашибло его?

Оба они повернулись и взглянули на Монтегю. Джонас пробормотал что-то про себя, увидев, что тот сидит под изгородью и бессмысленно водит вокруг глазами.

— Что случилось? — спросил Монтегю. — Кто-нибудь ранен?

— Ей-богу, — сказал Джонас, — как будто нет. Кости целы во всяком случае.

Они подняли Монтегю, и тот попробовал пройтись. Он очень расшибся и сильно дрожал, но, кроме нескольких порезов и синяков, никаких увечий у него не оказалось.

— Порезы, и синяки, да? — сказал Джонас. — У всех у нас они есть. Только порезы и синяки, а?

— Еще пять секунд, и я не дал бы шести пенсов за голову этого джентльмена, а у него только синяки и порезы, — заметил кучер. — Когда вам придется еще раз побывать в такой переделке — чего, я надеюсь, не случится, — не тяните за повод упавшую лошадь, если на дороге лежит человек. Второй раз это так не сойдет — вы задавите его насмерть; тем бы и кончилось, если б я не подошел вовремя, это уж как пить дать.

Вместо ответа Джонас выругался и посоветовал ему придержать язык, а также послал его туда, куда он вряд ли отправился бы по собственной охоте. Но Монтегю, который напряженно вслушивался в каждое слово, вдруг перебил разговор восклицанием:

— А где же мальчик?

— Ей-богу, я и позабыл про эту обезьяну, — сказал Джонас. — Куда он девался?

Очень недолгие поиски разрешили этот вопрос. Злополучного мистера Бейли перебросило через живую изгородь, или через калитку, и теперь он лежал на соседнем поле, по всей видимости мертвый.

— Когда я говорил нынче ночью, что лучше бы нам было никуда не ездить, — воскликнул Монтегю, — я наперед знал, что добром не кончится. Посмотрите на мальчика!

— Только и всего? — проворчал Джонас. — Если это, по-вашему, дурная примета...

— Как, почему дурная примета? — торопливо спросил Монтегю. — Что вы этим хотите сказать?

— Хочу сказать, — ответил Джонас, наклоняясь над мальчиком, — что, как я слышал, вы ему не отец, и у вас нет никаких причин особенно о нем заботиться. Эй, ты! Поднимайся!

Но мальчик не мог подняться и не подавал никаких признаков жизни, кроме слабого и неровного биения сердца. После недолгих переговоров кучер оседлал ту лошадь, которая пострадала меньше, и взял мальчика на руки, а Монтегю и Джонас, ведя на поводу вторую лошадь и неся вдвоем чемодан, пошли рядом с ним по направлению к Солсбери.

— Вы бы доскакали туда в несколько минут и могли бы прислать нам кого-нибудь на помощь, если бы поторопились, — сказал Джонас. — А ну-ка, рысью!

— Нет, нет! — воскликнул Монтегю. — Будем держаться вместе.

— Эх, вы, мокрая курица! Уж не боитесь ли вы, что вас ограбят? — сказал Джонас.

— Я ничего не боюсь, — ответил Монтегю, весь вид и поведение которого доказывали обратное, — но мы будем держаться вместе.

— Минуту назад вы очень беспокоились насчет этого мальчишки, — сказал Джонас. — Вы знаете, я думаю, что он может умереть за это время.

— Да, да, я знаю. Но мы будем держаться вместе. Было ясно, что его не переспоришь, поэтому Джонас не стал настаивать, выразив свое недовольство только кислой миной, и они отправились все вместе. Им предстояло сделать добрых три или четыре мили, а идти с тяжелой ношей по размытой дороге, усталым и разбитым, было нелегко. После довольно долгой и утомительной ходьбы они добрались до гостиницы и, разбудив прислугу (было еще раннее утро), послали людей пригладеть за каретой и багажом и подняли с постели врача, чтобы подать помощь пострадавшему. Все, что следовало сделать, лекарь сделал быстро и искусно, однако высказал предположение, что у мальчика тяжелое сотрясение мозга и что жизнь мистера Бейли близится к концу.

Если бы глубокое волнение Монтегю при этом известии можно было считать хоть сколько-нибудь бескорыстным, оно свидетельствовало бы о том, что его характер не вовсе лишен благородства. Но было нетрудно заметить, что по какой-то тайной, одному ему известной причине он придавал непонятное значение присутствию этого мальчишки, еще ребенка. Уже совсем рассвело и Монтегю, которому врач также оказал помощь, удалился в приготовленную для него спальню, а мысли его были все еще заняты этим происшествием.

— Лучше бы я потерял тысячу фунтов, — говорил он себе, — чем этого мальчишки, а в особенности теперь. Но я вернусь один. Это решено. Чезлвит поедет вперед, а я выеду вслед за ним, когда вздумаю. Больше я этого терпеть не намерен, — прибавил он, вытирая влажный лоб.

Еще двадцать четыре часа таких, и я поседел бы.

Осмотрев свою комнату необыкновенно внимательно, заглянув и под кровать, и в шкафы, и даже за шторы (хотя был, как уже сказано, белый день), он запер двойным поворотом ключа ту дверь, в которую вошел, и улегся отдыхать. Вторая дверь была заперта снаружи, и куда она вела, он не знал.

Был ли то страх, или нечистая совесть, но эта дверь неотступно преследовала его во сне. Ему снилось, что с нею связана какая-то страшная тайна — тайна, которая ему известна и не известна; ибо, хотя он знал, что несет за нее ответственность и посвящен в нее, его даже во сне мучила неуверенность в том, что же она означает. С этим сном бессвязно переплетался другой: ему чудилось, что за дверью прячется враг, призрак, привидение; и единственной его целью стало удержать за дверью это страшное существо и не дать ему вломиться в комнату силой.

Для этого Неджет, и он, и еще кто-то, незнакомый, с кровавым пятном на лбу (который сказал, что он друг его детства, и назвал давно позабытое имя школьного товарища), стали заделывать дверь чугунными плитами, вколачивая в них гвозди. Но сколько они ни бились, все было напрасно: гвозди ломались у них в руках, или превращались в гибкие веточки, или — еще того хуже — в червей; дверь трескалась и крошилась, так что гвозди не держались в дереве, а чугунные плиты свертывались, как береста на огне. Тем временем существо по ту сторону дверей (в образе человека или зверя, он этого не знал и не хотел знать) одолевало их. Но еще страшнее стало ему, когда человек с кровавым пятном на лбу спросил, знает ли он, как зовут это существо, и сказал, что сейчас назовет шепотом его имя. Тогда ему приснилось, что он зажал уши и упал на колени, вся кровь в нем застыла от невыразимого ужаса. Но, глядя на губы говорившего, он понял, что они произносят букву Д, и тут, крича во весь голос, что тайна раскрыта и все они погибли, он проснулся.

Проснулся для того, чтобы увидеть Джонаса стоящим возле его кровати, а ту самую дверь — открытой настежь!

Как только их глаза встретились, Джонас отступил на несколько шагов, а Монтегю соскочил с кровати.

— Ага! — сказал Джонас. — Вы живы и здоровы?

— Жив! — едва выговорил Монтегю, с силой дергая за шнурок от колокольчика. — Как вы сюда попали?

— Это, конечно, ваша комната, — сказал Джонас, — но мне тоже хочется спросить, как вы сюда попали? Моя комната вот за этой дверью. Мне никто не говорил, что ее нельзя отпирать. Я думал, она ведет в коридор, и хотел выйти, чтобы заказать завтрак. В моей комнате... в моей

комнате нет колокольчика.

Тем временем вошел слуга, который принес горячую воду и сапоги; услышав замечание Джонаса, он сказал, что колокольчик есть и в соседней комнате, и не поленился показать ему, что он находится у изголовья кровати.

— Значит, я не нашел его, — сказал Джонас. — Ну, да это все равно. Что ж, заказывать завтрак?

Монтегю ответил утвердительно. Как только Джонас вышел, насвистывая, он открыл дверь, соединяющую их комнаты, чтобы вынуть ключ и запереть ее изнутри. Но ключ был уже вынут. Он заставил дверь столом и сел, чтобы собраться с мыслями, словно его душа все еще не освободилась из-под власти снов.

— Несчастливая поездка, — несколько раз повторил он, — несчастная поездка! Но обратно я поеду один. Я этого больше не потерплю!

Однако предчувствие или суеверное опасение, что эта поездка не кончится добром, отнюдь не помешали ему делать то зло, ради которого она была предпринята. Он оделся тщательнее обыкновенного, чтобы произвести благоприятное впечатление на мистера Пекснифа; и успокоенный собственным видом, красотой утра, блеском мокрых веток за окном и веселым солнечным сиянием, вскоре приободрился достаточно для того, чтобы выругаться как следует и промурлыкать обрывок какой-то песенки.

Но время от времени он все еще бормотал:

— Обратно я поеду один!

Глава XLIII

оказывает решающее влияние на судьбу нескольким людей. Мистер Пексниф представлен во всей полноте власти, которой он пользуется с присущей ему твердостью характера и величием духа.

В ту ночь, когда разразилась гроза, миссис Льюпин, хозяйка „Синего Дракона“, сидела одна в своей маленькой буфетной. Одиночество или дурная погода, или и то и другое вместе, располагали к задумчивости, чтобы не сказать к печали. Опершись подбородком на руку и глядя в низкое решетчатое окно, темное даже в самый ясный день от затенявших его виноградных листьев, миссис Льюпин часто качала головой, приговаривая:

— Боже мой! Ах, боже мой, боже мой!

Это была печальная ночь даже в уютной комнатке „Дракона“. Роскошный простор полей, пастбищ, зеленых косогоров и волнистых лугов со сверкающими ручьями, живыми изгородями и островками кудрявых деревьев лежал теперь унылый и черный от косых стекол решетчатого окна до далекого горизонта, где гром, казалось, раскатывался по холмам. Сильный ливень прибил к земле нежные ветви лоз и жасмина и словно топтал их в своей ярости; при блеске молнии было видно, как плачущие листья дрожат и жмутся к окну и настойчиво стучат в него, словно прося укрыть их от этой страшной ночи.

В знак уважения к молнии миссис Льюпин переставила свечу на каминную доску. Корзина с шитьем стояла, позабытая, рядом с ней; ужин, накрытый на круглом столике, оставался нетронутым, и ножи были убраны подальше из опасения привлечь молнию. Она долго сидела, подперев рукою подбородок и приговаривая время от времени:

— Боже мой! Ах, боже, боже мой!

Она только что собралась произнести это еще раз, как щеколда входной двери (закрытой от дождя) загремела в ржавом затворе, и вошел путник, который, закрыв дверь, подошел прямо к стойке и сказал довольно хриплым голосом:

— Пинту самого лучшего старого пива!

Ему было от чего охрипнуть, — даже просидев целый день под водопадом, нельзя было вымокнуть больше. Он был закутан до самых глаз в грубый синий матросский плащ, и с широких полей клеенчатой шляпы дождевая вода текла струйками ему на грудь, на спину и на плечи. Судя по

выражению его подбородка, — гость так низко надвинул шляпу и так высоко поднял воротник в защиту от непогоды, что был виден только подбородок, да и тот он прикрыл мокрым рукавом лохматой куртки, как только миссис Льюпин взглянула на него, — хозяйка „Дракона“ решила, что он человек добродушный.

— Плохая ночь! — весело заметила она. Путник встряхнулся, как собака-водолаз, и ответил, что ночь в самом деле неважная.

— На кухне разведен огонь, — сказала миссис Льюпин, — и собралось веселое общество. Не лучше ли вам пойти туда обсушиться?

— Нет, спасибо, — сказал гость, бросая взгляд в ту сторону, где была кухня. Он, как видно, знал туда дорогу.

— Так можно простудиться насмерть, — заметила хозяйка.

— Меня не так-то легко уморить, — возразил путник, — а иначе я умер бы давным-давно. Ваше здоровье, сударыня!

Миссис Льюпин поблагодарила его; но, едва поднеся кружку к губам, он, как видно, передумал и опять поставил ее на стол. Выпрямившись, он оглядел комнату, что было не так легко сделать человеку, закутанному до самых глаз и в низко надвинутой шляпе, и сказал:

— Как у вас называется этот дом? Уж не „Дракон“ ли?

Миссис Льюпин любезно ответила:

— Да, „Дракон“.

— Тогда у вас тут должен находиться один мой как бы... родственник, сударыня, — сказал путник, — молодой человек по фамилии Тэпли. Каково! Марк, дружище! — обратился он к стенам. — Неужто я нашел тебя наконец, старина?

Это затронуло больное место миссис Льюпин. Она подошла снять нагар со свечи на каминной полке и сказала, повернувшись спиной к путнику:

— Никому мы не были бы так рады в „Драконе“, как тому человеку, который принес бы весть о Марке. Но уже много, много долгих дней и месяцев прошло с тех пор, как он покинул этот дом и Англию. И жив он, бедный, или умер, знает один только бог на небесах!

Она покачала головой, и ее голос дрогнул; должно быть, дрогнула и рука тоже, потому что нагар со свечи она снимала очень долго.

— Куда же он уехал, сударыня? — спросил путник смягчившимся голосом.

— Он уехал в Америку, — сказала миссис Льюпин еще более грустно. — Сердце у него всегда было мягкое и доброе; и может быть, сейчас он сидит в тюрьме, приговоренный к смертной казни, за то что

пожалел какого-нибудь несчастного негра и помог бедному беглецу. И для чего только он поехал в Америку! Почему он не отправился в какую-нибудь другую страну, где дикари.

Окончательно расчувствовавшись, миссис Льюпин зарыдала и хотела было сесть на стул, чтобы дать полную волю своему отчаянию, как вдруг путник схватил ее в объятия, и она радостно вскрикнула, узнав его.

— Да, непременно! — восклицал Марк. — Еще раз, еще один и еще двадцать раз! Так вы не узнали меня в этой шляпе и плаще? А я думал, вы меня узнаете в любом наряде! Еще десяточек!

— Я бы и узнала вас, если бы разглядела, да разглядывать было некогда, и говорили вы как-то отрывисто. Вот уж не думала, Марк, что вы будете так резко говорить со мной, только что вернувшись.

— Еще пятнадцать! — сказал мистер Тэпли. — Какая вы красавица и как молодо выглядите! Еще шесть! Те полдюжины не считаются, придется начать снова. Господь с вами, какая же радость вас видеть! Еще разок! Ну, никогда еще мне не было так весело. Еще парочку, ведь в этом нет никакой заслуги!

Если мистер Тэпли сделал перерыв в этих арифметических упражнениях, то вовсе не оттого, что устал, а оттого, что понадобилось перевести дыхание. Перерыв напомнил ему о других обязанностях.

— Мистер Мартин Чезлвит дожидается во дворе, — сказал он. — Я оставил его под навесом для подвод и пошел посмотреть, есть ли тут кто-нибудь. Мы нынче не хотим никому показываться, пока не узнаем от вас новостей и не решим, что нам делать.

— В доме нет никого, народ только на кухне, — ответила хозяйка. — Если б они узнали, что вы вернулись, Марк, они бы развели костер на улице, как сейчас ни поздно.

— Но сегодня им не следует этого знать, милая моя душенька, — сказал Марк, — так что запирайте дом и разведите посильней огонь на кухне; а когда все будет готово, поставьте свечу на окно — и мы войдем. Еще один! Хочется послушать про старых друзей. Вы мне расскажете про них, правда? Про мистера Пинча, и про мясникову собаку на углу, и про терьера через дорогу, и про колесника, и про всех остальных. Когда я нынче в первый раз увидел церковь, я думал, что жив не буду, что одна колокольня меня прикончит. Еще один! Не желаете? Ну, хоть самый маленький напоследок!

— Довольно с вас, я думаю, — сказала хозяйка. — Подите вы прочь с вашими иностранными замашками!

— Какие ж они иностранные, господь с вами! — воскликнул Марк. —

Английские, как устрицы, вот именно! Еще один, ведь это наш, английский, в знак уважения к стране, где мы живем! Этот между нами не считается, сами понимаете, — говорил мистер Тэпли. — Я не вас теперь целую, заметьте. Я побывал среди патриотов. Я целую свою родину.

Было бы несправедливо придирается к проявлению патриотизма, которым он сопровождал это объяснение, и находить его холодным или равнодушным. В полной мере выразив свои национальные чувства, он поторопился к Мартину, а миссис Люпин, сильно волнуясь и суетясь, стала готовиться к их приему.

Компания посетителей скоро высыпала в беспорядке из дверей, уверяя друг друга, что часы „Дракона“ спешат на полчаса и что это, должно быть, гром на них так подействовал. Как ни надоело дожидаться Мартину и Марку, как ни промокли они и ни устали, оба приятеля были очень рады видеть эти давно знакомые лица и с любовным вниманием смотрели, как посетители выходят из дома и проходят мимо, совсем рядом с ними.

— Вон старик портной, Марк! — прошептал Мартин.

— Вон он идет, сэр! Ноги у него стали еще кривее прежнего; правда, сэр? Настолько кривей, мне кажется, что теперь у него между ног можно прокатить большой бочонок, а когда мы с вами его знали, проходил только маленький. Вон и Сэм идет, сэр.

— Да, верно! — воскликнул Мартин. — Сэм, конюх. Любопытно было бы знать, жива ли еще та лошадь у Пекснифа?

— И сомневаться нечего, сэр, — возразил Марк. — Это такого рода скотина, сэр, что долго еще будет таскаться по свету одер одром и, наконец, попадет в газеты под заголовком: „Необыкновенный пример живучести в четвероногом“. Как будто она была когда-нибудь жива по-настоящему, так чтоб стоило об этом разговаривать! А вот и пономарь, сэр, как всегда — пьяный вдребезги.

— Вижу! — смеясь, сказал Мартин. — Но, честное слово, как же вы промокли, Марк!

— Я промок? А о себе вы как полагаете, сэр?

— Ну, все же не настолько, — сказал его спутник с озабоченным видом. — Я же вам говорил, Марк, чтобы вы не держались с подветренной стороны, а почаще менялись со мной местами. Дождь все время поливает вас, с тех пор как начался.

— Вы не знаете, до чего мне приятно, сэр, — сказал Марк после недолгого молчания, — не считите это за дерзость, — до чего приятно слышать, что вы говорите так необыкновенно внимательно; я, конечно, не собираюсь вас слушаться ни за что, но с тех пор, как я свалился больной в

Эдеме, вы совсем переменялись.

— Ах, Марк, — вздохнул Мартин, — чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше! Не свечу ли я вижу там?

— Так и есть, свеча! — воскликнул Марк. — Господь с ней, какая же миссис Льюпин проворная! Идемте, сэр.

Неразбавленные вина, хорошие постели и отличная кормежка для людей и животных.

Огонь на кухне пылал ярко и буйно, стол был накрыт, чайник кипел; туфли были на месте, машинка для снятия сапог тоже; ломти ветчины жарились на рашпере; пяток яиц шипел на сковородке; полнокровная бутылка шерри-бренди перемигивалась с кувшином пенистого пива; всякие деликатесы свешивались с балок, так что казалось, стоит раскрыть рот — и что-нибудь отменно сочное и вкусное только обрадуется предлогу в него свалиться.

Миссис Льюпин, которая ради них удалила даже кухарку, верховную жрицу сего храма, готовила им ужин своими собственными искусными ручками.

Невозможно было удержаться — даже бесплотный дух и тот ее обнял бы. А так как в этом отношении люди ведут себя одинаково и у Атлантического океана и у Красного моря, Мартин немедленно ее обнял. Мистер Тэпли очень степенно последовал его примеру (как будто это была совершенная новость, до сих пор не приходившая ему в голову).

— Вот уж никогда не думала! — сказала миссис Льюпин, поправляя чепчик и смеясь от всей души и в то же время смущенно краснея. — Хотя я часто говаривала, что молодые люди мистера Пекснифа — это душа „Дракона“ и что без них было бы скучно здесь жить, все же я никогда не думала, разумеется, что кто-нибудь из них позволит себе такую вольность, как вы, мистер Мартин! А еще того меньше — что я не рассержусь на него, а наоборот, буду рада первой обнять его на родине, после возвращения из Америки вместе с Марком Тэпли...

— В качестве его друга, миссис Льюпин, — вмешался Мартин.

— В качестве его друга, — повторила хозяйка, видимо довольная таким отличием, однако подавая мистеру Тэпли знак вилкой оставаться на почтительном расстоянии. — Вот уж никогда не думала! А еще того меньше, что мне придется рассказывать о таких переменах, о каких я вам расскажу после ужина!

— Боже мой! — воскликнул Мартин, бледнея. — О каких переменах?

— Она, — сказала хозяйка, — совсем здорова и теперь находится у мистера Пекснифа. О ней вам вовсе не нужно тревожиться. Лучше нее вам

на всем свете не найти невесты. К чему ходить вокруг да около или делать из этого тайну, не правда ли? — прибавила миссис Льюпин. — Я все знаю, как видите!

— Доброе мое создание, — ответил Мартин, — вы именно тот человек, которому и следует все знать. Мне в высшей степени приятно думать, что вы знаете все. Но на какие же перемены вы намекаете? Кто-нибудь умер?

— Нет, нет! — сказала хозяйка. — Ничего такого не случилось. Но больше я вам не скажу ни единого слова, пока вы не поужинаете. Задайте хоть сотню вопросов, я ни на один не отвечу.

Она говорила так решительно, что им не оставалось ничего другого, как только поужинать возможно скорее; и так как они прошли много миль и постились с самой середины дня, то им не пришлось особенно приневоливать себя, налегая на съестное. Ужин занял гораздо больше времени, чем можно было ожидать; ибо не раз, когда они думали, что все уже кончено, миссис Льюпин торжествуяще доказывала им ошибочность такого предположения. Однако с течением времени, повинаясь природе, они отступили. Вытянув перед кухонным очагом ноги, обутые в туфли (что было удивительно приятно в такую сырую и холодную ночь), и с невольным восхищением любуясь ямочками на щеках цветущей, жизнерадостной хозяйки и тем, как огонь очага светится в ее глазах и поблескивает на черных как смоль волосах, они притихли и стали ее слушать.

Не однажды изумленные восклицания прерывали ее рассказ о том, как мистер Пексниф расстался со своими дочерьми и как этот добродетельный человек расстался с мистером Пинчем. Но все это было ничто по сравнению с негодующими восклицаниями Мартина, когда она рассказала о том, что стало предметом пересудов во всем околотке: как мистер Пексниф совершенно завладел душой и телом старого мистера Чезлвита и какую высокую честь он предназначал для Мэри. При этом сообщении туфли мгновенно слетели с ног Мартина, и он принялся натягивать мокрые сапоги, охваченный тем неясным стремлением куда-то немедленно бежать и что-то с кем-то сделать, которое является первым предохранительным клапаном у вспыльчивых людей.

— Пексниф! — сказал Мартин. — Этот медоточивый негодяй! Пексниф! Дайте мне второй сапог, Марк!

— Куда это вы собрались, сэр? — осведомился мистер Тэпли, просушивая подошву перед огнем и глядя на нее так невозмутимо, как будто это был ломтик жареного хлеба.

— Куда! — повторил Мартин. — Уж не думаете ли вы, что я останусь тут сидеть? Как по-вашему?

Невозмутимый Марк сознался, что именно так и думает.

— Ах, вот как! — сердито возразил Мартин. — Очень вам обязан. За кого вы меня принимаете?

— Я принимаю вас за того, кто вы есть, сэр, — ответил Марк, — и потому совершенно уверен, что все, что бы вы ни сделали, будет разумно и правильно. Ваш сапог, сэр.

Мартин бросил на него нетерпеливый взгляд и несколько раз прошелся взад и вперед по кухне, ковыляя в одном сапоге и одном носке. Но, памятуя о решении, принятом в Эдеме, — он одержал над собой не одну победу, когда дело касалось Марка, — Мартин и на этот раз решил смириться. Он снял сапог, подобрал туфли, надел их и уселся снова; однако никак не мог удержаться, чтобы не засунуть руки как можно глубже в карманы и не бормотать время от времени: „И Пексниф туда же! Этот мерзавец! Честное слово! Действительно! Еще чего!“ — и так далее; не мог он также не грозить кулаком камину с самым мрачным выражением лица. Но это продолжалось недолго, и он выслушал миссис Льюпин до конца если не спокойно, то во всяком случае молча.

— Что касается мистера Пекснифа, — заметила хозяйка в заключение, расправляя обеими руками складки на платье и усиленно качая головой, — то я даже не знаю, что сказать. Должно быть, его кто-нибудь сглазил или чем-нибудь его испортили. Не могу поверить, чтобы джентльмен, который так благородно выражается, вдруг взял да и сделал что-нибудь дурное!

Благородно выражается! Сколько есть на свете людей, которые будут стоять за своих Пекснифов до конца по этой одной причине; и отвернутся от порядочного человека, стоит Пекснифам взглянуть на него косо!

— Что касается мистера Пинча, — продолжала хозяйка, — то, если есть на свете милый, добрый, приятный, достойный человек, — его фамилия Пинч, и никакая другая. Но почему мы знаем, может быть старый мистер Чезлвит поссорил его с мистером Пекснифом? Никто, кроме них самих, не может этого сказать, потому что мистер Пинч человек гордый, — не смотрите, что он такой тихий; когда он от нас уезжал — и очень жалел, что уезжает, — он никому не сказал ни слова, даже мне ничего не стал рассказывать.

— Бедняга Том! — сказал Мартин голосом, в котором слышалось раскаяние.

— Утешительно знать, — продолжала хозяйка, — что с ним живет теперь сестра и что дела его идут хорошо. Как раз вчера он вернул мне по

почте небольшую... — тут краска выступила у нее на щеках, — пустячную сумму, которую я взяла на себя смелость предложить ему, когда он уезжал; очень благодарит и пишет, что у него хорошая служба и эти деньги ему не понадобились. И билет тот самый: он даже его не разменял. Вот уж никогда не думала, что буду так огорчена, когда мне вернут мои деньги, а ведь я и в самом деле очень огорчилась.

— От души сказано и очень искренне, — заметил Мартин. — Правда, Марк?

— Как и все, что она говорит, — возразил мистер Тэпли, — без этих качеств „Дракон“ так же не мог бы обойтись, как без патента. А теперь, когда мы успокоились и отдохнули, вернемся все к тому же вопросу, сэр: как нам быть? Если гордость вам не мешает пойти на то, о чем мы говорили по дороге, вам следовало бы поступить именно так, раз вы не сумели поладить с вашим дедушкой (а вы не сумели, извините меня за смелость); подите, сэр, и так ему и скажите, обратитесь к его чувствам. Уступите ему, сэр. Он гораздо старше вас; и если он действовал необдуманно, то ведь и вы тоже действовали необдуманно. Уступите, сэр, уступите ему.

Красноречие мистера Тэпли оказало некоторое действие на Мартина, однако он все еще колебался и выразил свои сомнения так:

— Все это очень верно и совершенно справедливо, Марк; будь весь вопрос только в том, чтобы мне смириться перед ним, я бы не стал долго раздумывать. Но разве вы не видите, что дедушка целиком находится во власти этого лицемера, не имея ни собственного мнения, ни своей воли (если то, что мы слышали, — правда), и, значит, я должен буду броситься не к его ногам, а к ногам мистера Пекснифа! А если меня оттолкнут и отвергнут, — сказал Мартин, весь краснея при этой мысли, — то оттолкнет не он — моя родная кровь, восставшая против меня, но Пексниф, Пексниф! Подумайте, Марк!

— Так разве мы не знаем наперед, — возразил политичный мистер Тэпли, — что Пексниф мошенник, разбойник и негодяй?

— Самый зловредный негодяй! — сказал Мартин.

— Самый зловредный негодяй. Мы это знаем наперед, сэр, и, следовательно, нам ничуть не стыдно будет потерпеть поражение от Пекснифа. К черту Пекснифа! — воскликнул мистер Тэпли со всем пылом красноречия. — Кто он такой? Не Пекснифу пристыдить нас, разве только если он согласится с нами или окажет нам услугу; а в случае если он будет настолько дерзок, мы, надеюсь, его сумеем поставить на место. Пексниф! — повторил мистер Тэпли с невыразимым презрением. — Что

такое Пексниф, кто такой Пексниф, где этот Пексниф, чтобы с ним так считаться? Мы стараемся не для себя, — он произнес это последнее слово с самым сильным ударением и взглянул Мартину прямо в лицо, — мы стараемся ради молодой леди, ей тоже приходится несладко; и как ни мало у нас надежды, думаю, этот самый Пексниф не станет нам поперек дороги, Я что-то не слыхал, чтобы этот Пексниф внес в парламент какой-нибудь законопроект. Пексниф! Да я и видеть его не хочу, и слышать о нем не хочу, и знать его не желаю! Я бы еще мог, пожалуй, очистить ноги о скребок на крыльце и назвать эту грязь Пекснифом, но дальше этого, уж извините, не снизойду!

Миссис Льюпин немало изумилась такому пылкому взрыву чувств, да и сам мистер Тэпли тоже. Но Мартин, поглядев задумчиво на огонь, сказал:

— Вы правы, Марк. Правы или не правы, но это нужно. Я так и сделаю.

— Еще одно слово, сэр, — возразил Марк. — Только не забывайте о Пекснифе, чтобы у него не было предлога прицепиться к вам. Не делайте ничего тайно, чтобы он не мог насплетничать, прежде чем вы явитесь с повинной. Вам даже не стоит видеться утром с мисс Мэри, пускай лучше вот этот наш дорогой друг, — тут он наградил миссис Льюпин улыбкой, — подготовит ее к тому, что должно случиться, и передаст маленькое письмецо, если будет можно. Она это сумеет. Ведь правда? — Миссис Льюпин засмеялась и кивнула головой. — Тогда вы войдете свободно и смело, как и подобает джентльмену. „Я ничего не делал исподтишка, — скажете вы. — Я не слонялся вокруг дома, вот он я, — простите меня, прошу вас, и бог вас благословит!“

Мартин улыбнулся; однако, сознавая, что совет хорош, решил ему последовать. Узнав от миссис Льюпин, что мистер Пексниф уже возвратился с торжественной церемонии, на которой они его видели во всей славе, и сговорившись наперед, в каком порядке будут действовать, они отошли ко сну, поглощенные мыслями о завтрашнем дне.

На следующее утро после завтрака мистер Тэпли отправился к мистеру Чезлвиту с письмом от Мартина, где он просил разрешения навестить его; и, отложив до более удобного времени разговоры с многочисленными друзьями, встречавшимися ему по дороге, скоро пришел к дому мистера Пекснифа. Он немедленно постучался в дверь этого джентльмена с таким бесстрашным лицом, что самому проницательному физиономисту было бы почти невозможно определить, о чем он думает, и даже думает ли вообще.

Такой наблюдательный человек, как мистер Тэпли, не мог долго

оставаться нечувствительным к тому, что мистер Пексниф совершенно расплющил нос об окно гостиной, стараясь разглядеть, кто же это стучится в дверь. Мистер Тэпли ответил на это движение со стороны неприятеля, взойдя на самую верхнюю ступеньку, так что из гостиной видна была только тулья его шляпы. Но мистер Пексниф, вероятно, уже увидел его, потому что вскоре послышался скрип его ботинок, и достойный джентльмен собственноручно открыл дверь.

Мистер Пексниф был, как всегда, жизнерадостен и мурлыкал на ходу песенку.

— Как поживаете, сэр? — сказал Марк.

— О! — воскликнул мистер Пексниф. — Тэпли, кажется? Блудный сын вернулся. Пива нам не нужно, мой друг.

— Благодарю вас, сэр, — сказал Марк. — Я бы все равно не мог бы его доставить. Письмо, сэр. Приказано подождать ответа.

— Ко мне? — воскликнул мистер Пексниф. — И нужен ответ, да?

— Кажется, не к вам, сэр, — сказал Марк, указывая пальцем адрес. — Фамилия, кажется, Чезлвит, сэр.

— Ах, так! — ответил мистер Пексниф. — Благодарю вас. Да. От кого же оно, молодой человек?

— Джентльмен, который его посылает, подписал там свою фамилию, сэр, — чрезвычайно вежливо ответил мистер Тэпли. — Я видел, как он подписывался в самом конце письма, пока я ждал.

— И он сказал, что нужен ответ, не так ли? — спросил мистер Пексниф вкрадчиво. Марк ответил утвердительно.

— Ответ он получит непременно, — произнес мистер Пексниф, разрывая письмо на мелкие клочки с такой ласковой миной, как будто это было самое лестное внимание, какого мог ожидать корреспондент. — Будьте так любезны, передайте ему это, с поклоном от меня, пожалуйста. Всего хорошего! — С этими словами он вручил Марку обрывки и удалился, закрыв за собой дверь.

Марк счел благоразумным не выказывать своих личных чувств и вернуться к Мартину в „Дракон“. Они были подготовлены к такому именно приему и, прежде чем сделать вторую попытку, подождали еще час-другой. Когда это время истекло, они вместе направились к дому мистера Пекснифа. На этот раз постучался Мартин, в то время как Марк приготовился просунуть ногу и плечо в приоткрытую дверь и таким образом добиться своего силой. Но эта предосторожность оказалась излишней, потому что девушка-служанка явилась немедленно. Быстро проскользнув мимо нее, как он заранее решил сделать, Мартин, (за которым

по пятам следовал его верный союзник) открыл дверь гостиной, где он рассчитывал скорее всего застать мистера Чезлвита, вошел туда, и неожиданно-негаданно предстал перед своим дедушкой.

Мистер Пексниф и Мэри тоже сидели в этой комнате. В то краткое мгновение, когда оба они узнали друг друга, Мартин увидел, как старик опустил седую голову и закрыл лицо руками.

Это поразило его в самое сердце. Даже в то время, когда он был беззаботным себялюбцем, этого несмелого проблеска былой любви старика, когда-то высившейся подобно горделивой башне, а ныне лежавшей в развалинах, было бы достаточно, чтобы у Мартина защемило сердце. Но теперь, когда он изменился к лучшему и глядел иными глазами на бывшего друга, опекуна своего детства, согбенного и сломленного, все его возмущение, негодование, самонадеянность и гордость словно рукой сняло перед первыми слезами, покотившимися по увядшим щекам. Он не мог их видеть. Он не мог вынести мысли, что эти слезы льются из-за него. Он не мог вынести упреков невозвратимого прошлого, таившихся в этих слезах.

Он поспешил к старику, чтобы сжать его руку в своих руках, но мистер Пексниф вмешался и стал между ними.

— Нет, молодой человек! — произнес мистер Пексниф, ударяя себя в грудь и простирая другую руку к своему гостю и как бы осеняя его крылом. — Нет, сэр, только не это. Разите меня, сэр, меня! Мечите ваши стрелы в меня, сэр, будьте так любезны, не в него!

— Дедушка, — воскликнул Мартин, — выслушайте меня! Умоляю вас, дайте мне высказаться!

— Вот как, сэр? Вот как? — выходил из себя мистер Пексниф, бросаясь то в одну, то в другую сторону, чтобы все время держаться между ними. — Разве вам мало того, сэр, что вы явились в мой дом, как тать в ночи — или, лучше сказать, как тать среди бела дня, ибо мы не можем быть излишне щепетильны, когда речь идет о правде, — и привели с собой ваших беспутных компаньонов для того, чтобы они подпирали спиной дверь гостиной и мешали входить и выходить моим домочадцам, — Марк занял эту позицию и держал ее не сдавая, — разве вам мало этого, и вы намерены поразить почтенную Добродетель? Да? Так знайте, что она не одинока! Я буду ей защитой, молодой человек! Вот моя грудь! Ну, сэр! Разите!

— Пексниф, — сказал старик слабым голосом, — успокойтесь. Не волнуйтесь.

— Я не могу не волноваться, — воскликнул мистер Пексниф, — и

никак не могу успокоиться. Благодетель и друг! Неужели даже под моим кровом вам нельзя приклонить голову, убеленную сединой?

— Отойдите в сторону, — сказал старик, простирая руку, — дайте мне посмотреть на того, кого я когда-то любил так глубоко.

— Да это самое лучшее, посмотрите на него, мой друг, — сказал Пексниф. — Самое правильное, чтобы вы на него посмотрели, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его в истинном обличье. Смотрите на него! Вот он, сэр, вот он!

Мартин, будучи простым смертным, не мог не выразить на своем лице того гнева и презрения, которые внушал ему мистер Пексниф. Но, помимо этого, он ничем не показал, что знает о присутствии или самом существовании мистера Пекснифа. Правда, один раз, и то вначале, он невольно взглянул на этого добродетельного человека с величайшим презрением, но более не обращал на него никакого внимания, словно на его месте не было ничего, кроме пустого воздуха.

Когда мистер Пексниф отодвинулся, уступая выраженному стариком желанию, старый Мартин, взяв Мэри Грейм за руку и ласково прошептал ей что-то, словно говоря, что нет никаких причин тревожиться, тихонько оттолкнул ее за свое кресло и пристально посмотрел на внука.

— И это он, — произнес старик. — Да, это он. Скажи, что ты хочешь сказать, но не подходи ближе.

— Этот человек наделен таким тонким чувством справедливости, — заметил мистер Пексниф, — что выслушает даже его, хотя знает наперед, что из этого ничего не может выйти. Какой блестящий ум! — Мистер Пексниф говорил про себя, не обращая ни к кому в особенности, он как бы взял на себя роль хора в греческой трагедии и высказывал свои мнения в качестве комментария к происходящему.

— Дедушка! — сказал Мартин с глубоким чувством. — После тревог тяжелого пути, после болезни, изведав трудную жизнь, полную лишений и горя, мрака и разочарования, потеряв надежду и отчаявшись, я возвратился к вам.

— Бродяги этого рода, — продолжал мистер Пексниф, выступая в роли хора, — обыкновенно возвращаются, когда увидят, что их мародерские набеги не увенчались тем успехом, на какой они надеялись.

— Если бы не этот вот преданный человек, — продолжал Мартин, повернувшись к Марку, — с которым я познакомился здесь и который добровольно поехал со мной в качестве слуги, но был мне с начала до конца верным и ревностным другом, — если бы не он, я бы умер на чужой стороне, вдали от родины, без помощи и утешения, даже без надежды, что

моя несчастная судьба станет известна кому-нибудь, кто захотел бы о ней узнать... о, если бы вы позволили мне сказать — известна вам!

Старик посмотрел на мистера Пекснифа, мистер Пексниф посмотрел на него.

— Вы что-то сказали, многоуважаемый? — с улыбкой произнес мистер Пексниф. — Старик покачал головой. — Я знаю, что вы подумали, — сказал мистер Пексниф, еще раз улыбнувшись. — Пусть его продолжает, мой друг. Проявления эгоизма в человеке всегда любопытно наблюдать. Пусть его продолжает, мой друг.

— Продолжай! — заметил старик, казалось машинально повинаясь словам мистера Пекснифа.

— Я был так несчастен и так беден, — сказал Мартин, — что мне пришлось обратиться к милосердию чужого человека, в чужой стране, чтобы вернуться сюда. Все это только восстановит вас против меня, я знаю. Я даю вам повод думать, что сюда меня пригнала единственно нужда и что ни любовь, ни раскаяние ни в какой мере не руководили мною. Когда я расставался с вами, дедушка, я заслуживал такого подозрения, — но теперь нет, теперь нет!

Хор заложил руку за жилет и улыбнулся.

— Пусть его продолжает, многоуважаемый, — сказал он. — Я знаю, о чем вы думаете, но не надо этого говорить раньше времени.

Старик поднял глаза на мистера Пекснифа и, по-видимому, опять руководясь его словами и взглядами, сказал еще раз:

— Продолжай!

— Мне остается сказать немного, — возразил Мартин. — И так как я говорю это, уже не рассчитывая ни на что, как бы ни улыбалась мне надежда, когда я входил в эту комнату, — прошу вас об одном: верьте, что это правда, по крайней мере верьте, что это святая правда.

— О прекрасная истина! — возопил хор, возводя очи кверху. — Как оскверняется ныне твое имя служителями порока! Ты обитаешь не в колодце^[127], священный принцип, но на устах лживого человечества. Трудно мириться с человечеством, уважаемый сэр, — обратился он к старшему мистеру Чезлвиту, — но мы постараемся претерпеть и это с кротостью. Это наш долг; так будем же в числе тех немногих, кто не пренебрегает им. Но если — продолжал хор, воспарив духом в горня, — если, как говорит нам поэт, Англия надеется, что каждый исполнит свой долг^[128], то Англия самая лежковерная страна на свете, и ее ждут постоянные разочарования.

— Что касается той причины, — сказал Мартин, спокойно глядя на старика и только на мгновение переводя взор на Мэри, которая закрыла лицо руками и опустила голову на спинку кресла, — той причины, которая посеяла несогласие между нами, в этом отношении мой ум и сердце не способны измениться. Что бы ни произошло со мной после того злополучного времени, все это лишь укрепило, а не ослабило мои чувства. Я не могу ни сожалеть о них, ни стыдиться их, ни проявлять колебаний. Да вы бы и не пожелали этого, я знаю. Но что я мог и в то время положиться на вашу любовь, если бы смело доверился ей; что я без труда склонил бы вас на свою сторону, если бы был уступчивее и внимательнее; что я оставил бы по себе лучшую память, если бы забывал себя и помнил о вас, — всему этому научили меня размышления, одиночество и несчастье. Я пришел с решимостью сказать это и попросить у вас прощения, не столько надеясь на будущее, сколько сожалея о прошлом; и теперь я прошу у вас только одного: чтобы вы протянули мне руку помощи. Помогите мне достать работу, и я буду честно работать. Мое несчастье ставит меня в невыгодное положение: может показаться, что я думаю только о себе, но проверьте, так это или не так. Проверьте, так ли я своеволен, упрям и высокомерен, как был, или меня выправила суровая школа жизни. Пусть голос природы и дружеской привязанности рассудит нас с вами, дедушка; не отвергайте меня окончательно из-за, одного проступка, как бы он ни казался непростителен!

Когда он замолчал, седая голова старика опустилась снова, и он закрыл лицо дрожащими пальцами.

— Досточтимый сэр, — воскликнул мистер Пексниф, склоняясь над ним, — вам не надо бы так поддаваться горю. Ваши чувства вполне естественны и похвальны; но не следует допускать, чтобы бесстыдное поведение человека, от которого вы давно отrekliсь, так волновало вас. Возьмите себя в руки. Подумайте, — сказал мистер Пексниф, — подумайте обо мне, мой друг.

— Я подумаю, — ответил старый Мартин, поднимая голову и глядя ему в глаза. — Вы заставили меня опомниться. Я подумаю.

— Как, что такое случилось, — продолжал мистер Пексниф, усаживаясь в кресло, которое подтащил поближе, и игриво похлопывая старика Чезлвита по плечу, — что такое случилось с моим непреклонным другом, если я могу себе позволить так называть вас? — Неужели мне придется бранить моего наперсника или убеждать в чем-либо такой сильный ум? Я думаю, что нет.

— Нет, нет, в этом нет надобности, — сказал старик. — Минутное

чувство, не более того.

— Негодование, — заметил мистер Пексниф, — вызывает жгучие слезы на глаза честного человека, я знаю, — он старательно вытер глаза. — Но у нас имеются более важные обязанности. Мистер Чезлвит, возьмите себя в руки. Должен ли я выразить ваши мысли, мой друг?

— Да, — сказал старый Мартин, откидываясь на спинку кресла и глядя на Пекснифа в каком-то забытии, словно покоряясь его чарам. — Говорите за меня, Пексниф. Благодарю вас. Вы не изменили мне. Благодарю вас!

— Не смущайте меня, сэр, — сказал мистер Пексниф, — иначе я буду не в силах выполнить свой долг. Моим чувствам противно, досточтимый, обращаться к человеку, который стоит перед нами, ибо, изгнав его из этого дома, после того как я слышал из ваших уст о его противоестественном поведении, я навсегда порвал с ним. Но вы этого желаете, и этого довольно. Молодой человек! Дверь находится непосредственно за спиной того, кто разделяет ваш позор. Краснейте, если можете; если не можете — уходите не краснея!

Мартин все так же пристально смотрел на своего деда, словно в комнате стояла мертвая тишина. Старик не менее пристально смотрел на мистера Пекснифа.

— После того как я приказал вам оставить мой дом, когда вы были изгнаны отсюда с позором, — произнес мистер Пексниф, — после того как, уязвленный и взволнованный до предела вашим бесстыдным обращением с этим необычайно благородным человеком, я воскликнул: „Ступайте прочь!“, я сказал, что проливаю слезы над вашей развращенностью. Не думайте, однако, что та слеза, которая дрожит сейчас на моих глазах, будет пролита ради вас. Нет, только ради него, сэр, только ради него!

Тут мистер Пексниф, случайно уронив упомянутую слезу на лысину мистера Чезлвита, отер это место носовым платком и попросил извинения.

— Она пролита ради того, сэр, кого вы хотите сделать жертвой ваших происков, — продолжал мистер Пексниф, — кого вы хотите обобрать, обмануть и ввести в заблуждение. Она пролита из сочувствия к нему, из восхищения им; не из жалости, ибо, к счастью, он знает, что вы такое. Вы не причините ему больше зла, никоим образом не причините, пока я жив, — говорил мистер Пексниф, упиваясь своим красноречием. — Вы можете попать ногами мое бесчувственное тело, сэр. Весьма возможно. Могу себе представить, что при ваших склонностях это доставит вам большое удовольствие. Но пока я существую, вы можете поразить его только через меня. Да, — воскликнул мистер Пексниф, кивая на Мартина в порыве негодования, — и в таком случае вы найдете во мне опасного

противника!

Но Мартин все смотрел на деда, пристально и кротко.

— Неужели вы мне ничего не ответите, — сказал он, наконец, — ни единого слова?

— Ты слышал, что было сказано, — ответил старик, не отводя глаз от мистера Пекснифа, который одобрительно кивнул.

— Я не слышал вашего голоса, я не знаю ваших мыслей, — возразил Мартин.

— Повторите еще раз, — сказал старик, все еще глядя в лицо мистеру Пекснифу.

— Я слышу только то, — возразил Мартин с непреклонным упорством, которое все возрастало, между тем как Пексниф все больше ежился и морщился от его презрения, — я слышу только то, что говорите мне вы, дедушка.

Мистеру Пекснифу, можно сказать, повезло, что его почтенный друг был всецело поглощен созерцанием его (мистера Пекснифа) физиономии: ибо стоило только этому другу отвести глаза в сторону и сравнить поведение внука с поведением своего ревностного защитника, и тогда вряд ли этот бескорыстный джентльмен представился бы ему в более выгодном свете, чем в тот памятный день, когда Пексниф получал последнюю расписку от Тома Пинча. Право, можно было подумать, что внутренние качества мистера Пекснифа — скорее всего его добродетель и чистота — излучали нечто такое, что выгодно оттеняло и украшало его врагов: рядом с ним они казались воплощением доблести и мужества.

— Ни единого слова? — спросил Мартин во второй раз.

— Я вспомнил, что мне нужно сказать одно слово, Пексниф, — заметил старик, — всего одно слово. Ты говорил, что многим обязан милосердию какого-то незнакомца, который помог вам, вернуться в Англию. Кто он такой? И какую денежную помощь оказал вам?

Задавая этот вопрос Мартину, он не смотрел на него и по-прежнему не сводил глаз с мистера Пекснифа.

По-видимому, у него вошло в привычку — и в буквальном и в переносном смысле — глядеть в глаза мистеру Пекснифу.

Мартин достал карандаш, вырвал листок из памятной книжки и торопливо записал все, что был должен мистеру Бивену. Старик протянул руку за листком и взял его, — все это не отрывая глаз от лица мистера Пекснифа.

— Было бы неуместной гордостью и ложным смирением, — сказал Мартин, понизив голос, — говорить, что я не желаю, чтобы этот долг был

уплачен или что у меня есть хоть какая-нибудь надежда уплатить его самому. Но я никогда не чувствовал своей нищеты так глубоко, как чувствую сейчас.

— Прочтите мне это, Пексниф, — сказал старик.

Мистер Пексниф повиновался, но он приступил к чтению бумаги с таким видом, как будто это была рукописная исповедь убийцы.

— Я думаю, Пексниф, — сказал старый Мартин, — что мне лучше заплатить этот долг. Мне бы не хотелось, чтобы пострадал заимодавец, который не мог навести справок и который сделал (как ему казалось) доброе дело.

— Благородное чувство, уважаемый сэр! Оно оказывает вам честь. Опасный прецедент, однако, позвольте намекнуть вам, — сказал мистер Пексниф.

— Прецедента из этого не получится, — возразил старик. — Ни на что другое он рассчитывать не может. Но мы еще поговорим. Вы посоветуете мне. Больше ничего нет?

— Ровно ничего, — ответил мистер Пексниф жизнерадостно, — как только вам прийти в себя после этого вторжения, после этого трусливого и ничем не оправданного оскорбления ваших чувств; прийти в себя как можно скорее и снова улыбаться.

— Вам больше нечего сказать? — с необычайной серьезностью спросил старик, кладя свою руку на рукав мистера Пекснифа.

Но мистер Пексниф не пожелал говорить того, что просилось у него на язык, потому что упреки, как он заметил, всегда бесполезны.

— Вам решительно нечего требовать? Вы в этом уверены? Если есть, говорите не стесняясь, что бы это ни было. Я ни в чем не откажу вам, чего бы вы ни попросили. — сказал старик.

При этом доказательстве неограниченного доверия со стороны старика слезы выступили на глазах у мистера Пекснифа в таком изобилии, что он был принужден судорожно ухватиться за переносицу и только после этого хоть сколько-нибудь успокоился. Когда дар речи снова вернулся к нему, он сказал, сильно волнуясь, что надеется когда-нибудь заслужить это доверие, и прибавил, что никаких других замечаний у него нет.

Несколько времени старик сидел, глядя на него с тем бессмысленным и неподвижным выражением, какое нередко бывает свойственно людям на склоне лет, когда их умственные способности слабеют. Но он поднялся с места довольно твердо и пошел к двери, где Марк посторонился, давая ему дорогу.

Мистер Пексниф угодливо предложил ему руку, и старик принял ее.

На пороге он сделал движение, словно отстраняясь от Мартина, и сказал ему:

— Ты слышал его. Уходи прочь. Все кончено. Ступай.

Мистер Пексниф, следуя за ним, бормотал какие-то слова, выражавшие одобрение и сочувствие; а Мартин, очнувшись от оцепенения, в которое повергла его заключительная сцена, воспользовался их уходом для того, чтобы обнять ни в чем не повинную причину всех недоразумений и прижать ее к сердцу.

— Милая девочка! — сказал Мартин. — Зато вас его влияние совсем не изменило. Какой же это бессильный и безвредный мошенник!

— Вы так благородно держались! Вы столько перенесли!

— Благородно! — весело воскликнул Мартин. — Вы были тут рядом и ни в чем не изменились, и я это знал. Чего же больше мне было желать? Этому псу так невыносимо было меня видеть и терпеть мое присутствие, что я торжествовал. Но скажите мне, дорогая, — надо дорожить теми немногими словами, которыми мы можем обменяться наспех, — правда ли то, что я слышал? Верно ли, что этот мошенник преследовал вас своими любезностями?

— Да, дорогой Мартин, отчасти это продолжается и сейчас, но главным источником моего горя была тревога за вас. Почему вы оставляли нас в такой ужасной неизвестности?

— Болезнь, дальность расстояния, боязнь намекнуть на наше истинное положение и невозможность скрыть правду иначе, как только молча, уверенность, что эта правда огорчила бы вас несравненно больше, чем неизвестность и сомнение, — ответил Мартин торопливо, как и все говорилось и делалось торопливо в эти краткие минуты, — все это и было причиной тому, что я написал только раз. Но Пексниф! Не бойтесь мне рассказывать, вы же видели, что я стоял рядом с ним, слушал его и не схватил за горло. Что это за история о том, что он преследует вас? А дедушка знает?

— Да.

— И он ему содействует?

— Нет, — горячо отвечала она.

— Слава богу, — воскликнул Мартин, — что хоть в одном отношении разум не изменил ему.

— Не думаю, — сказала Мэри, — чтобы он был посвящен в его намерения с самого начала. Но после того как этот человек достаточно его подготовил, он открылся ему постепенно. Мне так кажется, но это только мое впечатление, никто мне ничего не говорил. Потом он беседовал со

мной наедине.

— Дедушка? — спросил Мартин.

— Да, беседовал со мной наедине и передал...

— Слова этого негодяя? — воскликнул Мартин. — Не повторяйте их!

— И сказал, что мне хорошо известны его достоинства; Пексниф достаточно богат, пользуется хорошей репутацией и заслужил его доверие и расположение. Но, видя, что я пришла в отчаяние, он сказал, что не станет принуждать меня или влиять на мои склонности, довольно и того, что он рассказал мне в чем дело. Он не станет огорчать меня, продолжая этот разговор или возвращаясь к нему. И с тех пор он ни разу об этом не заговаривал; он честно сдержал свое слово.

— А сам претендент?

— У него почти не было случая продолжать свое ухаживание. Я никогда не выходила одна и не оставалась с ним наедине. Дорогой Мартин, я должна вам сказать, — продолжала она, — что доброта вашего дедушки ко мне остается неизменной. Мы все так же неразлучны. Неописуемая нежность и сострадание, казалось, примешались теперь к прежнему его уважению, и если б я была его единственным ребенком, то не могла бы иметь более ласкового отца. Причуда ли это в нем, или старая привычка, после того как его сердце остыло к вам, — это тайна, не разгаданная мной; но для меня было и останется счастьем, что я не изменила ему и что, если он очнется от своего заблуждения, хотя бы на краю смерти, я буду тут, милый, чтобы напомнить ему о вас.

Мартин с восхищением смотрел на ее разгоревшееся лицо и теперь воспользовался паузой, чтобы поцеловать ее в губы.

— Мне приходилось слышать и читать, — продолжала она, — что те, в ком давно уже угасли силы и кто живет словно во сне, иногда приходят в себя перед смертью и спрашивают про людей, когда-то близких и дорогих, но давно позабытых или отвергнутых и даже ненавистных. Подумайте, что будет, если он вдруг проснется таким же, как прежде, с прежним своим мнением об этом человеке, и увидит в нем своего единственного друга.

— Я бы не стал требовать, чтобы вы его бросили, дорогая, — сказал Мартин, — хотя бы еще много лет нам пришлось быть в разлуке. Но я боюсь, что влияние этого человека на него все возрастает.

Она не могла не согласиться с ним. Оно росло неуклонно, незаметно и верно, пока не стало всесильным, достигнув высшей точки. У нее самой не было никакого влияния, и, однако, он обращался с нею ласковее, чем когда бы то ни было раньше. Мартин решил, что эта непоследовательность у него происходит от слабости и старческого одряхления.

— Неужели дело дошло до того, что он боится Пекснифа? — спросил Мартин. — Неужели он не решается высказать, что думает, в присутствии своего фаворита? Мне так показалось сейчас.

— Мне тоже не раз это казалось. Часто, когда мы с ним сидим вдвоем, почти так же как раньше, и я читаю ему любимую книгу или он спокойно разговаривает со мной, я вижу, что при мистере Пекснифе меняется все его поведение. Он сразу преображается и становится таким, каким вы видели его сегодня. Когда мы только что приехали, сюда, у него еще бывали припадки вспыльчивости, и даже мистер Пексниф при всей его вкрадчивости не без труда успокаивал его. Теперь этого с ним не бывает. Он полагается во всем на мистера Пекснифа и не имеет другого мнения, кроме того, которое навязывает ему этот вероломный человек.

Таков был отчет, полученный Мартином о старческом упадке своего дедушки и о возвышении добродетельного архитектора, сделанный шепотом и второпях и, при всей своей краткости, не раз прерываемый, из опасения как бы не вернулся мистер Пексниф. Мартин услышал о Томе Пинче, а также о Джонасе, и немало о себе самом; ибо, хотя влюбленные и отличаются тем, что между ними многое всегда остается недосказанным и это влечет за собой желание увидаться вновь и объясниться до конца, — им присуща также удивительная способность выражаться кратко, и они в самое короткое время способны сказать больше, и притом гораздо красноречивее, чем все шестьсот пятьдесят восемь членов палаты общин в парламенте Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, которые тоже любят сильно, без сомнения, но одно только свое отечество, в чем и заключается вся разница, ибо в любви этого рода (далеко не всегда взаимной) принято произносить как можно больше слов, не выражая этим ровно ничего.

Сигнал мистера Тэпли; торопливый обмен прощальными словами и еще кое-чем, о чем не полагается никому рассказывать, ему протягивают белую ручку, мистер Тэпли целует ее с благоговением странствующего рыцаря; опять прощание, опять поцелуй; напоследок Мартин обещает написать из Лондона, где он надеется совершить нечто великое (одному богу известно, что именно, но Мартин твердо в этом уверен), — и они с Марком оказываются на улице, перед чертогами Пекснифа.

— Короткое же это было свидание после такой долгой разлуки! — печально сказал Мартин. — Но мы вовремя выбрались из этого дома. А могли бы попасть в неловкое положение, если бы задержались хоть ненадолго, Марк.

— Не знаю, как насчет нас, сэр, — возразил Марк, — но кое-кто

другой попал бы в неловкое положение, если бы вернулся невзначай, пока мы были там. Дверь у меня была уже наготове, сэр. Если бы Пексниф просунул свою голову или хотя бы стоял и подслушивал за дверью, я бы раздавил его, как орех. Он такого сорта человек, — прибавил мистер Тэпли, подумав, — что раздавился бы без шума, уж вы поверьте.

В эту минуту с ними поравнялся незнакомец, который, по-видимому, шел к дому мистера Пекснифа. Он поднял глаза, услышав имя архитектора, и, пройдя несколько шагов, остановился и посмотрел на них. Мистер Тэпли тоже оглянулся на него, оглянулся и Мартин, потому что незнакомец, проходя мимо, задержался на них взглядом.

— Кто это может быть, любопытно знать? — сказал Мартин. — Лицо как будто мне знакомо, но я не знаю этого человека.

— Ему, должно быть, хотелось, чтоб мы хорошенько запомнили его физиономию, — сказал мистер Тэпли, — уж очень он на нас уставился. Лучше б он не тратил попусту свою красоту, не так ее много.

Подходя к „Дракону“, они увидели перед дверьми дорожную карету.

— А карета ведь из Солсбери, а? — сказал мистер Тэпли. — В ней он и приехал, будьте уверены. Что-то тут затевается! Новый ученик, должно быть. А может, еще один заказ на план начальной школы того же образца, что и прошлый раз!

Не успели они войти в дом, как оттуда выбежала миссис Льюпин и, кивком подозвав их к карете, показала чемодан с фамилией „Чезлвит“.

— Это муж мисс Пексниф, — сказала добрая женщина Мартину. — Я не знала, в каких вы отношениях, и очень беспокоилась, пока вы не пришли.

— Мы ни разу не обменялись с ним ни единым словом, — заметил Мартин, — и так как я не желаю более близкого знакомства, то постараюсь не встречаться с ним. Я уверен, что это он попался нам по дороге. Очень рад, что мы так удачно разминулись. Честное слово! С большими удобствами путешествует муж мисс Пексниф.

— С ним какой-то представительный джентльмен, он остановился в лучшей нашей спальне, — прошептала миссис Льюпин, косясь на окно этой самой комнаты, когда они входили в дом. — Он заказал к обеду все, что только можно достать; а усы и бакенбарды у него такие шелковистые, какие только можно вообразить.

— Вот как! — воскликнул Мартин. — Что ж, тогда постараемся избегать и его тоже. Надеюсь, что у нас хватит сил на такое самопожертвование. Ведь это всего на несколько часов, — сказал Мартин, устало опускаясь на стул за маленькой ширмой. — Наш визит не увенчался

успехом, дорогая моя миссис Льюпин, и я должен ехать в Лондон.

— Боже мой, боже мой! — воскликнула миссис Льюпин.

— Да. Один встречный ветер не делает зимы, как одна ласточка не делает весны. Попробую еще раз. Тому Пинчу повезло. С помощью его советов, может быть, повезет и мне. Когда-то я обещал Тому свое покровительство, с позволения сказать, — заметил Мартин с грустной улыбкой, — и собирался устроить его судьбу. Быть может, Том возьмет теперь меня под свое покровительство и научит зарабатывать свой хлеб.

Глава XLIV

Рассказ о предприятии мистера Джонаса и его друга продолжается.

Среди многих других прекрасных качеств, которыми обладал мистер Пексниф, было одно особенное, состоявшее в том, что чем больше его разоблачали, тем больше он лицемерил. Если он терпел поражение в одной области, то собирался с силами и вознаграждал себя, перенеся военные действия в другую. Если его хитрости и увертки раскрывал А., тем больше было причин не теряя времени практиковаться на Б., хотя бы для того только, чтобы не терять ловкости рук. Никогда он не представлял собой такого благочестивого и поучительного зрелища для всех окружающих, как в то время, когда его разоблачил мистер Пинч. Вряд ли он бывал когда-нибудь так человечен и так возвышенно и достойно добродетелен, как в то время, когда презрение молодого Мартина еще жгло его, как огнем.

Этот избыток благородных и высоконравственных чувств положительно необходимо было сбить с рук, не считаясь ни с какими жертвами; и мистер Пексниф, услышав о прибытии зятя, немедленно усмотрел в его лице своего рода оптового заказчика или покупателя, которому следовало отпустить товар немедленно. Быстро сойдя в гостиную и заключив молодого человека в объятия, он провозгласил с ужимками и взглядами, указывавшими на смятение духа:

— Джонас! Дитя мое! Она здорова? Ничего не случилось?

— Как, вы опять за свое? — отвечал его зять. — Даже и со мной? Оставьте вы, пожалуйста, вот что!

— Скажите же мне, что она здорова, — не унимался мистер Пексниф. — Скажите мне, что она здорова, дорогой мой!

— Она не больна, — возразил Джонас, высвобождаясь из его объятий. — Ничего с ней не случилось.

— Ничего с ней не случилось! — воскликнул мистер Пексниф, опускаясь на ближайший стул и ероша рукой волосы. — Мне стыдно за мою слабость. Никак не могу удержаться, Джонас. Благодарю вас. Мне теперь лучше. Как поживает другая моя дочь, моя старшая, моя Черри-верри-чиги? — спросил мистер Пексниф, который тут же избрал для нее это шутовское прозвище, почувствовав, что на сердце у него снова становится легко.

— Да все так же, как и раньше, — ответил мистер Джонас. — Все

такой же уксус, как и была. Вы, я думаю, знаете, что она обзавелась поклонником?

— Я об этом слышал из первоисточника, — сказал мистер Пексниф, — от нее самой. Не стану отрицать, это заставило меня подумать о том, что скоро я потеряю и последнюю дочь. Джонас, боюсь, что все мы, родители, эгоисты; боюсь, что мы... но делом моей жизни было воспитать их для домашнего очага, а это такая сфера, которую Черри украсит.

— Ей не мешает украсить какую-нибудь сферу, — заметил его зять, — потому что сама-то она не бог знает какое украшение.

— Мои девочки теперь обеспечены, — сказал мистер Пексниф. — К счастью, они теперь обеспечены, и я трудился не даром!

Совершенно то же самое сказал бы мистер Пексниф, если бы одна — из его дочерей выиграла тридцать тысяч фунтов в лотерею, а другая нашла бы на улице кошелек с золотом, по всей видимости никому не принадлежащий. И в том и в другом случае он весьма торжественно призвал бы отеческое благословение на главу счастливицы и поставил бы это событие себе в заслугу, словно предвидел его, когда она была еще в колыбели.

— А не поговорить ли нам о чем-нибудь другом для разнообразия? — сухо заметил Джонас. — Согласны, что ли?

— Вполне, — сказал мистер Пексниф. — Ах вы шутник, проказник вы этаким! Вы смеетесь над стареньким любящим папой. Что ж, он это заслужил. И он не обижается, потому что в чувствах своих находит себе награду. Вы погостите у нас, Джонас?

— Нет. Со мной приятель, — сказал Джонас.

— Приводите и приятеля! — воскликнул мистер Пексниф в порыве гостеприимства. — Приводите сколько вам угодно приятелей!

— Это не такой человек, чтобы его приводить, — презрительно заметил Джонас. — Я думаю, забавно было бы видеть, как это я его „приведу“. Спасибо все-таки, но он для этого слишком высокопоставленное лицо, Пексниф.

Добродетельный человек насторожил уши: любопытство его пробудилось. Для мистера Пекснифа быть высокопоставленным — значило быть великим, добрым, благочестивым, мудрым, гениальным, а лучше сказать — избавляло от необходимости быть всем этим и само по себе стояло неизмеримо выше всего этого. Если человек имел право смотреть на Пекснифа сверху вниз, то последний не мог взирать на него иначе, как снизу вверх, и притом почтительно согнув спину, в избытке смирения. Так всегда бывает с великими людьми.

— Я вам скажу, что вы можете сделать, если хотите, — сказал Джонас, — можете прийти пообедать с нами в „Драконе“. Этой ночью мы приехали в Солсбери по делу, а утром я заставил его отвезти меня сюда в своей карете, то есть не в своей, потому что она сломалась нынче ночью, а в наемной, но это все равно. Так смотрите, знаете ли, ведите себя поосторожнее. Он не привык якшаться с кем попало, возвращается только в самом лучшем обществе.

— Какой-нибудь молодой вельможа, который занимает у вас деньги под большие проценты, не так ли? — сказал мистер Пексниф, игриво грозя ему пальцем. — Буду в восторге познакомиться с юным гулякой.

— Занимает! — отозвался Джонас. — Как бы не так! Если у вас имеется хоть двадцатая часть его капиталов, можете уходить на покой! Мы с вами были бы богачи, если б могли вскладчину купить его мебель, серебро и картины. Станет такой человек занимать деньги! Да, с тех пор как мне подвернулся случай (и, кстати сказать, хватило ума) обзавестись паем в страховом обществе, которого он председатель, я нажил... неважно, впрочем, сколько я нажил, — сказал Джонас, как будто вспомнив обычную свою осторожность. — Вы меня отлично знаете, я о таких вещах не болтаю. Но, ей-богу, кое-что я приобрел.

— Право, дорогой мой Джонас, — с большой горячностью воскликнул мистер Пексниф, — такому джентльмену следует оказать внимание. Может быть, он захочет осмотреть церковь? Или, если он имеет вкус к изящным искусствам — в чем я не сомневаюсь, — я могу послать ему несколько папок с чертежами. Солсберийский собор, дорогой мой Джонас, — в связи с упоминанием о папках, а также стремясь выказать себя с наилучшей стороны, мистер Пексниф перешел на обычный для него в таких случаях цветистый слог, — есть здание, освященное для нас вековыми традициями и внушающее самые возвышенные чувства. Здесь мы созерцаем работу прошлых веков. Здесь мы слушаем раскаты органа, прогуливаясь под гулкими сводами. У нас имеются чертежи этого прославленного здания с севера, с юга, с востока, с запада, с юго-востока, с северо-запада...

Во время этого лирического отступления и даже во время всего диалога Джонас покачивался на стуле, засунув руки в карманы и с хитрым видом склонив голову набок. Теперь он смотрел на своего собеседника так издевательски, что мистер Пексниф остановился и спросил, что он хочет сказать.

— Ей-богу, Пексниф, — ответил он, — если б я знал наверное, кому вы собираетесь оставить свой капитал, то помог бы вам удвоить его в самое короткое время. Недурно было бы использовать такой случай в кругу

своего семейства. Но ведь вы хитрец!

— Джонас! — расчувствовавшись, воскликнул мистер Пексниф. — Я не дипломат, душа у меня нараспашку. Большая часть тех незначительных сбережений, какие мне удалось скопить в течение моей, надеюсь не бесчестной и не бесполезной, жизни, уже отдана, передана и завещана (поправьте меня, дорогой Джонас, если я неточно изъясняюсь) со всеми выражениями доверия, которых я не стану повторять, и в ценностях, о которых нет надобности здесь упоминать, лицу, имя которого я не могу, не хочу и считаю излишним называть здесь. — Тут он горячо пожал зятю руку, словно хотел прибавить: „Благослови вас бог, берегите их хорошенько, когда получите!“

Мистер Джонас только покачал головой и засмеялся и, казалось переменяя намерения, сказал, что „нет, лучше уж он сохранит это в секрете“. Но когда он сообщил, что пойдет прогуляться, мистер Пексниф настоял на том, чтобы сопровождать его, заметив, что по дороге он забросит мистеру Монтегю свою визитную карточку, которая послужит ему рекомендацией при встрече. Что он и сделал.

На прогулке мистер Джонас хранил ту строгую сдержанность, которая давеча заставила его спохватиться и прервать разговор. Он не делал никаких попыток задобрить мистера Пекснифа, а наоборот, был груб и неотесан более обыкновенного, и потому мистер Пексниф, вовсе не подозревая его намерений, позволил захватить себя врасплох. Ибо взломщик всегда склонен думать, что у другого взломщика имеется такой же набор отмычек, каким орудует он сам; зная, как он сам поступил бы в подобном случае, мистер Пексниф думал: „Если бы этому молодому человеку было что-нибудь от меня нужно, он вел бы себя вежливо и почтительно“.

Чем больше Джонас увиливал от его намеков и расспросов, тем больше старался мистер Пексниф проникнуть в золотые тайны, которые приоткрылись ему нежданно-негаданно. Для чего эти холодные и официальные отношения между родственниками? Что такое жизнь без доверия? Если избранник его дочери, человек, которому он отдал ее с такой гордостью и надеждой, с такой волнующей, безоблачной радостью, — если он не являет собой оазиса в бесплодной пустыне жизни, то где же искать этот оазис?

Мистер Пексниф и не подозревал, на какой предательский зеленый островок он ставит ногу в это мгновение! Уверая, что „все на свете лишь прах“, он и не предвидел, что в самом скором времени расстанется со своим капиталом!

Шаг за шагом, сохраняя на лице все ту же ворчливую и недовольную мину, ибо надежда поразить мистера Пекснифа в самое уязвимое место — в карман, которой так ужасно пострадал у самого Джонаса, заставляла его с особенно злобным увлечением проделывать все свои штуки — шаг за шагом и даже, можно сказать, дюйм за дюймом, Джонас скорее нехотя раскрывал блестящие перспективы Англо-Бенгальской компании, чем ослеплял ими своего внимательного слушателя. И, продолжая разговор в том же скряжническом духе, он предоставил мистеру Пекснифу сделать вывод, — если тот пожелает (а тот, разумеется, пожелал), — что, не будучи наделен от природы красноречием и обходительностью, он, Джонас, намерен, чтобы восполнить этот недостаток, познакомить мистера Монтегю с человеком, богато одаренным в этом отношении, поставив такое посредничество себе в заслугу. Иначе, пробормотал он недовольно, он послал бы своего возлюбленного тестя куда подальше, вместо того чтобы нянчиться с ним.

Подготовленный так ловко, мистер Пексниф явился к обеду, доведя свою учтивость, благожелательность, веселость, благовоспитанность и сердечность до такой высокой степени, какой даже ему еще никогда не удавалось достигнуть. Чистосердечие провинциального джентльмена, утонченность художника, благодушная снисходительность светского человека — все это отражалось на лице мистера Пекснифа, когда он пожимал руку великого прожектера и капиталиста.

— Добро пожаловать в наше скромное селенье, уважаемый сэръ! — сказал мистер Пексниф. — Мы захолустные жители, первобытная деревенщина, мистер Монтегю, но мы высоко ценим честь, оказанную нам вашим посещением, что может засвидетельствовать мой дорогой зять. Очень, очень странно, — сказал мистер Пексниф, почти благоговейно пожимая ему руку, — но мне кажется, что я вас знаю. Этот высокий лоб, дорогой мой Джонас, — заметил мистер Пексниф в сторону, — эти вьющиеся кудри... я, должно быть, видел вас, уважаемый сэръ, где-нибудь в самом избранном обществе.

Ничего не могло быть вероятней, согласились все.

— Я бы желал, — сказал мистер Пексниф, — иметь честь представить вас почтенному патриарху, обитающему в моем доме, — дядюшке нашего друга. Мистер Чезлвит, сэръ, действительно высоко оценил бы честь пожать вам руку.

— Этот джентльмен теперь здесь? — спросил Монтегю, густо краснея.

— Да, здесь, — сказал мистер Пексниф.

— Вы ничего про это не говорили, Чезлвит.

— Я не думал, что вам это будет интересно, — возразил Джонас. — Для вас в таком знакомстве ничего нет приятного.

— Джонас! Дорогой мой Джонас! — запротестовал мистер Пексниф. — Что это вы, право!

— Ну да, хорошо вам распинаться за него, — огрызнулся Джонас. — Он теперь у вас в руках. Получите от него капиталаец.

— Ого! Вот откуда ветер дует? — воскликнул Монтегю. — Ха-ха-ха! — И тут все они рассмеялись, а пуще всех мистер Пексниф.

— Нет, нет! — сказал Пексниф, игриво похлопывая зятя по плечу. — Не следует верить всему, что говорит мой молодой родственник, мистер Монтегю. Можно верить ему в официальных делах, можно полагаться на него в официальных делах, но не надо придавать значения полетам его фантазии.

— Клянусь жизнью, мистер Пексниф, — заметил Монтегю, — я придаю величайшее значение его последним словам. Думаю и надеюсь, что они справедливы. Обычным путем деньги оборачиваются недостаточно быстро, мистер Пексниф. Приходится строить наше благосостояние на слабостях человеческого рода.

— Фу-фу-фу, как не стыдно! — воскликнул мистер Пексниф. Но все опять рассмеялись, а пуще всех мистер Пексниф.

— Даю вам честное слово, что мы так и делаем, — сказал Монтегю.

— Фу-фу! — воскликнул мистер Пексниф. — Вы очень остроумны. Я уверен, что этого за вами не водится, этого за вами не водится! Как можно, знаете ли?

Опять все дружно рассмеялись, и опять мистер Пексниф смеялся громче всех.

Это было в самом деле очень приятно. Столько непринужденности, откровенности, доверия — и вместе с тем ничто не мешало мистеру Пекснифу оставаться в некотором роде ментором всего общества. Лучшие произведения кулинарного искусства, какими мог блеснуть „Дракон“, были поставлены перед ними на стол; самые старые и выдержанные вина из погреба „Дракона“ увидели свет по этому случаю; тысячи воздушных пузырьков, указывавших на богатство и влияние мистера Монтегю, постоянно всплывали на поверхность беседы; словом, все трое веселились от души, как и полагается веселиться честным людям. Мистер Пексниф выразил сожаление, что мистер Монтегю так презрительно относится к человечеству и его слабостям. Мистера Пекснифа это до крайности тревожило; он все время об этом думал; он то и дело возвращался к этому предмету; он еще надеется обратить мистера Монтегю, говорил он. И

каждый раз как мистер Монтегю повторял свое изречение насчет того, чтобы обогащаться за счет слабостей человечества, прибавляя откровенно: „Так мы и делаем!“, мистер Пексниф неизменно восклицал: „Фу-фу, как не стыдно! Я уверен, что ничего подобного нет. Как можно, знаете ли?“ — особенно напирая на последние слова.

Неоднократное повторение этого шуточного вопроса заставило, наконец, и мистера Монтегю отвечать в том же шуточном тоне, но, перекинувшись с ним двумя-тремя шутками, мистер Пексниф снова стал серьезен и чуть не прослезился, заметив, что, с позволения мистера Монтегю, выпьет за здоровье своего молодого родственника, мистера Джонаса; он от души поздравляет его с новым, высокоценным и выдающимся знакомством и в то же время завидует, признаться, его полезной для человечества деятельности. Ибо, насколько он убедился — при самом поверхностном знакомстве, — задачи того общества, в которое мистер Джонас вступил совсем недавно — и весьма удачно, — направлены к тому, чтобы делать добро; что же касается самого мистера Пекснифа, если б он мог этому способствовать, то каждый вечер опускал бы голову на подушку в полной уверенности, что уснет немедленно.

От этого случайного замечания (оно было совершенно случайное и сорвалось у мистера Пекснифа от полноты души) легко было перейти к деловому обсуждению вопроса. Книги, бумаги, отчеты, таблицы, вычисления всякого рода были вскоре развернуты перед ними, и так как все это имело в виду одну цель, то не удивительно, что и било оно в одну точку. Но все же, как только мистер Монтегю начинал распространяться насчет прибылей общества, утверждая, что оно будет процветать до тех пор, пока на свете не перевелись простак, мистер Пексниф кротко замечал на это „фу, как не стыдно!“, — он даже поспорил бы с ним, если бы не был уверен, что тот шутит. Мистер Пексниф был в этом совершенно уверен, иначе он бы так не говорил.

Никогда еще не бывало и никогда больше не представится такого случая выгодно поместить значительную сумму (чем больше сумма, тем больше выгоды), как в настоящую минуту. Единственное время, которое хоть сколько-нибудь приближалось к теперешнему, было тогда, когда Джонас вступал в общество, оттого-то он и злобствовал и выискивал то тут, то там сомнительные места и недостатки и ворчливо советовал мистеру Пекснифу подумать как следует. Сумма, которая требовалась для того, чтобы стать владельцем пая в этом заманчивом предприятии, равнялась почти всему состоянию Пекснифа — то есть не считая мистера Чезлвита, на которого Пексниф смотрел как на капитал в банке, обладание коим еще

больше подзадоривало его пожертвовать своей собственной килькой для уловления такого кита, какого расписывал ему мистер Монтегю. Доходы начинали поступать почти немедленно и были колоссальны. Словом, кончилось тем, что мистер Пексниф согласился стать последним компаньоном и пайщиком Англо-Бенгальской компании, а также уговорился пообедать послезавтра с мистером Монтегю в Солсбери и там завершить сделку.

Чтобы довести переговоры до этой стадии, понадобилось так много времени, что было уже около полуночи, когда они расстались. Сойдя вниз, мистер Пексниф натолкнулся на миссис Льюпин, которая стояла в дверях, глядя на небо.

— Ах, мой добрый друг, — сказал он, — вы еще не легли! Любуетесь звездами, миссис Льюпин?

— Прекрасная звездная ночь, сэр.

— Прекрасная звездная ночь, — сказал мистер Пексниф, поднимая глаза вверх. — Воззрите на планеты, как они сияют! Воззрите на... а эти две личности, которые были здесь нынче утром, надеюсь, оставили ваш дом, миссис Льюпин?

— Да, сэр, они уехали.

— Рад это слышать, — сказал мистер Пексниф. — Воззрите на чудеса небосвода, миссис Льюпин! Какое великолепное зрелище! Когда я гляжу на эти блистающие светила, мне кажется, что все они подмигивают друг другу, намекая на тщету людских помыслов. Мои собратья люди! — воскликнул мистер Пексниф, сожалительно качая головой. — Вы сильно заблуждаетесь, жалкие мои сородичи, вы совершаете ошибку! Звезды вполне довольствуются (так я полагаю) каждая своей сферой. Почему же и вам не быть довольными? О, не стремитесь и не старайтесь обогатиться или превзойти один другого, мои заблудшие друзья, но воззрите на небеса вместе со мною!

Миссис Льюпин покачала головой, подавляя вздох. Это было очень трогательно.

— Воззрите на небеса вместе со мной! — повторил мистер Пексниф, простирая руку. — Вместе со мною, простым смертным, таким же ничтожеством, как и вы сами. Разве серебро, золото или драгоценные камни могут сверкать, подобно этим созвездиям? Думаю, что нет. Поэтому не алкайте серебра, золота и драгоценных камней, но воззрите на небеса вместе со мной.

С этими словами добродетельный человек похлопал миссис Льюпин по руке, словно прибавив: „Подумайте об этом, добрая моя женщина!“ — и

удалился в восхищении, доходящем до экстаза, держа шляпу под мышкой.

Джонас сидел в той же позе, в какой мистер Пексниф его оставил, угрюмо глядя на своего друга, который обложился ворохами бумаг и что-то писал на продолговатом листке.

— Вы, значит, намерены оставаться в Солсбери до послезавтра? — спросил Джонас.

— Вы слышали наш уговор, — ответил Монтегю, не поднимая глаз. — Во всяком случае, я должен остаться, чтобы присмотреть за ним.

Они, казалось, опять поменялись местами: Монтегю был в превосходном настроении, а Джонас мрачен и угнетен.

— Я вам больше не нужен, полагаю? — спросил Джонас.

— Мне нужно, чтобы вы подписались вот здесь, — ответил Монтегю, с улыбкой взглядывая на Джонаса, — как только я заполню гербовый лист. Мне может, кроме того, понадобится ваша расписка на этот добавочный капитал. Это все, что мне требуется. Если вы хотите уехать домой, я и один управлюсь с мистером Пекснифом. Мы как нельзя лучше с ним поладим.

Джонас хмуро глядел на него, пока он писал. Покончив с этим и промокнув написанное промокательной бумагой, Монтегю поднял глаза и перебрал ему гусиное перо.

— Как, ни одного дня отсрочки, никакого доверия, а? — злобно сказал Джонас. — После всех трудов, какие я понес нынче ночью?

— То, что было нынче ночью, входит в наш уговор, — ответил Монтегю, — но и вот это тоже.

— Вы много спрашиваете, — сказал Джонас, подходя к столу. — Ну, да вам видней. Давайте сюда!

Монтегю подал ему бумагу. Помедлив немного, словно никак не решаясь подписать ее, Джонас торопливо окунул перо не в ту чернильницу и начал писать. Но, едва коснувшись пером бумаги, он отшатнулся в ужасе.

— Как, что за чертовщина? — сказал он. — Тут кровь!

Джонас, как выяснилось, окунул перо в красные чернила, но, неизвестно почему, придал необычайно важное значение этой ошибке. Он спросил, как они сюда попали, кто их принес, для чего принес, и прежде всего посмотрел на Монтегю, словно думая, что тот подшутил над ним. Даже взяв другое перо и другие чернила, Джонас сначала попробовал сделать несколько штрихов на клочке бумаги, словно боясь, что и они покраснеют.

— На этот раз достаточно черно, — сказал он, передавая расписку Монтегю. — Прощайте.

— Уже уходите! Как же вы думаете выбраться отсюда?

— Рано утром, прежде чем вы встанете, я дойду до большой дороги и сяду в дневной дилижанс. Прощайте!

— Вы торопитесь?

— У меня есть дело, — сказал Джонас. — Прощайте!

Он вышел, и его друг долго смотрел ему вслед, сначала удивленно, а потом с удовольствием и чувством облегчения.

— Ну что ж, тем лучше. Только этого я и хотел. Обратно я еду один.

Глава XLV,

в которой Том Пинч, с сестрой развлекаются, но совсем по-домашнему и без всяких церемоний.

После разыгравшейся на пристани сцены, уже известной читателю, Тому Пинчу пришлось расстаться с сестрой сразу же, как только оттуда разошлись остальные действующие лица; оба они спешили по своим делам, и им так и не удалось поговорить. Однако и Том в своей уединенной конторе и Руфь у себя в треугольной гостиной весь день только и думали о случившемся; и когда приблизился час их вечерней встречи, они, разумеется, были полны этим.

Между ними существовал маленький уговор, чтобы Том всегда возвращался из Тэмпла одной дорогой, а именно мимо фонтана. Проходя через Фаунтен-Корт, он должен был посмотреть на лестницу, ведущую в сад, и хорошенько оглядеться по сторонам; и если Руфь шла ему навстречу, он сразу же мог ее увидеть, — она не прохаживалась, как вы понимаете, чтобы не привлечь внимание клерков, но быстро шла ему навстречу, и на ее губах играла самая приятная легкая улыбка, соперничая с игрой фонтана и совершенно затмевая его. Ибо в пятидесяти случаях против одного Том искал ее совсем не там, где следует, и уже терял надежду встретиться с ней; тогда как она с самого начала направлялась прямо к нему, позванивая ключами в сумочке, чтобы привлечь его рассеянное внимание.

Достаточно ли сохранилось жизни в тощей растительности Фаунтен-Корта, для того чтобы закопченные кусты могли чувствовать присутствие самой жизнерадостной и чистой сердцем девушки на свете, надо спросить у садовников и у тех, кто изучает любовь у растений. Но что для этого мощеного двора было радостью, когда по его плитам порхало такое грациозное маленькое существо, что оно, словно улыбка, озаряло на мгновение скучные старые дома и истоптанные каменные плиты и после его ухода они становились еще скучнее, темнее, суровее прежнего, — в этом не может быть никакого сомнения. Казалось, фонтан Тэмпла готов был взметнуться на двадцать футов в высоту, приветствуя живой родник юности, который, сверкая, пробился в сухом и пыльном русле Закона; неугомонные воробьи, гнездившиеся в стенах Тэмпла, казалось вот-вот умолкнут, слушая воображаемых жаворонков, когда мимо них проходило такое свежее, юное создание; пыльные ветви, которые давно утратили

прежнюю гибкость, готовы были склониться так же грациозно, как она, благословляя ее очаровательную головку; старые любовные письма, запертые в железных сундуках соседних контор, затерявшиеся в грудях семейных документов, с которыми их смешали случайно и с которыми они сравнились в своем упадке, готовы были зашевелиться и встрепенуться, на минуту взволнованные воспоминанием о былой нежности, когда Руфь легкой походкой проходила мимо. Словом, ради Руфи многое могло бы случиться, чего никогда не было и не будет.

Кое-что случилось все же в тот вечер, о котором повествует наша история. Не нарочно ради Руфи. О нет! Совсем нечаянно, и без всякого отношения к ней.

Она ли пришла немножко пораньше, или Том немножко запоздал — вообще она была так точна, что рассчитывала время до полминуты, — но Тома не было. Ну так что ж! Разве здесь был кто-нибудь другой, что она покраснела так густо и, осмотревшись по сторонам, сбежала вниз по ступенькам с такой необычайной быстротой?

Дело в том, что в эту минуту по двору проходил мистер Уэстлок. Двор Тэмпла проходной: на воротах, может быть, и написано, что нет, но, пока ворота не запрут, он проходной и останется проходным, и мистер Уэстлок имел такое же право быть здесь, как и всякий другой. Но почему же она убежала? Не потому, что была плохо одета, — для этого она была слишком аккуратна. Так почему же она все-таки убежала? Каштановые локоны выбились из-под шляпки, и один дерзкий искусственный цветок льнул к ним, похваляясь такой вольностью перед всеми мужчинами; но не из-за этого же она убежала, ведь это было очаровательно. О глупенькое, трепетное, испуганное сердечко, почему же она убежала?

Весело журчал фонтан, и весело сверкала рябь на его освещенной солнцем поверхности. Джон Уэстлок поспешил за Руфью. Тихо падала и разбивалась лепечущая вода, и лукаво мигала рябь, в то время как он шел по пятам за Руфью.

О глупенькое, трепетное, робкое сердечко, почему же она сделала вид, что не замечает его приближения? Почему ей захотелось очутиться далеко-далеко, когда здесь она чувствовала себя такой взволнованно счастливой?

— Я так и знал, что это вы, — сказал Джон, догнав её в святилище Гарден-Корта. — Я был уверен, что не ошибся.

Она очень удивилась.

— Вы ждете вашего брата, — сказал Джон. — Позвольте мне побыть с вами.

Так легко было застенчивое прикосновение маленькой ручки, что он

опустил глаза, не веря, что она лежит на его рукаве. Но его взгляд, погрузившись на мгновение в ее ясные глаза, утонул в них и не пошел дальше.

Они прошлись взад и вперед три-четыре раза, разговаривая о Томе и его таинственной службе. Предмет, конечно, самый естественный и невинный. Тогда почему же Руфь, едва подняв глаза, немедленно опускала их, ища взглядом бесчувственную мостовую? Ведь это были не такие глаза, чтобы бояться света, не такие глаза, которые нужно прятать, чтобы придать им цену. Это были слишком искренние и доверчивые глаза, они не нуждались в таких уловках. Может быть, кое-кто на них любовался?

Однако они разыскали Тома довольно скоро. Эти глаза увидели его издали, едва он появился. Как обычно, он глядел во все стороны, кроме той, куда следовало, и так упрямо не смотрел на них, словно делал это нарочно. Было ясно, что, предоставленный самому себе, он уйдет домой, и потому Джон побежал, чтобы остановить его.

Бедной маленькой Руфи было чрезвычайно неловко подходить к ним одной. А тут еще и Том проявлял крайнее удивление (этот Том бывал поразительно ненаходчив в иных случаях), и Джон пытался сделать вид, что их встреча ровно ничего не значит, что не мешало ему пуститься в совершенно излишние объяснения; оба они глядели на Руфь, а она подходила к ним, сознавая, что ужасно краснеет, но стараясь поднимать брови как можно беззаботнее и надувать розовые губки так, словно она была самая невозмутимая и самая спокойная из маленьких женщин.

Весело плескался и плескался фонтан, пока чешуйки ряби не соединились в одну общую улыбку, разлившись по всей поверхности бассейна.

— Какая необычайная встреча! — удивился Том. — Вот уж никогда не воображал увидеть вас вместе.

— Совершенно случайная, — едва слышно пробормотал Джон.

— Вот именно! — воскликнул Том. — Это-то я и хотел сказать. Если б она не была случайная, в ней не было бы ничего замечательного.

— Разумеется, — сказал Джон.

— И надо же вам было встретиться в таком невероятном месте, — продолжал Том в совершенном восторге. — Вам это совсем не по дороге, Джон!

Джон был с этим не согласен. Напротив, он считал, что ему как раз по дороге. Он всегда тут проходит. Он не удивился бы, если б они встретились тут еще раз. Он удивлялся только одному, что этого не случилось раньше.

Тем временем Руфь успела подойти к брату и взять его под руку с

другой стороны. Теперь она слегка пожимала эту руку, словно говоря: „Неужели ты собираешься простоять здесь весь день, милый, старый ротозей Том?“

Том ответил на это пожатие так, как если бы то была целая речь.

— Джон, — сказал он, — возьмите мою сестру под руку, так чтобы она была между нами, и пойдем дальше. Мне нужно рассказать вам один любопытный случай. Мы встретились как нельзя более кстати.

Весело метался и плясал фонтан, и весело подмигивала смеющаяся рябь и расходилась все шире и шире, пока не разбилась о края бассейна и не исчезла.

— Том, — сказал его друг, как только они свернули на шумную улицу, — я хочу вам кое-что предложить. Что, если бы вы с вашей сестрой — может быть, она согласится оказать честь жилищу бедного холостяка — сделали мне большое удовольствие и пообедали у меня?

— Как! Сегодня? — воскликнул Том.

— Да, сегодня. Это совсем рядом, вы знаете. Прошу вас, мисс Пинч, уговорите его. Это будет чистейшее самопожертвование, потому что мне нечем вас угощать.

— Не верь этому, Руфь, — сказал Том. — Для холостяка он самый замечательный хозяин, какого я знаю. Ему бы надо быть лорд-мэром. [\[129\]](#) Ну, как ты скажешь? Пойдем?

— Если ты хочешь, Том, — отвечала послушная маленькая сестра.

— Я хочу сказать, — заметил Том, глядя на нее с восхищенной улыбкой, может быть, тебе надо еще что-нибудь надеть, кроме того, что на тебе имеется? Я ничего в этом не смыслю. Джон, ей, может быть, нельзя даже снять шляпку, почему я знаю.

Этому очень смеялись, и Джон Уэстлок наговорил кучу комплиментов — то есть не комплиментов, так по крайней мере утверждал он сам (и был действительно прав), а самых бесспорных, простых, очевидных истин, которых никто не мог бы отрицать. Руфь засмеялась, но не возражала; и таким образом уговор состоялся.

— Если бы я знал об этом немножко раньше, — сказал Джон, — я заказал бы пудинг, — не из соперничества, но для того, чтобы прославить тот, знаменитый. Я, конечно, ни за что не стал бы делать его на говяжьем сале.

— Почему же? — спросил Том.

— Потому что поваренная книга рекомендует сало, а у нас он был сделан из муки и яиц.

— О боже мой! — воскликнул Том. — Наш был сделан из муки с

яйцами, вот как? Ха-ха-ха! Мясной пудинг из муки с яйцами! Да кто же этому поверит? Я и то не поверю! Ха-ха-ха!

Нет надобности напоминать, что Том присутствовал при изготовлении пудинга и был его убежденным сторонником с самого начала. Но Том был так рад подшутить над своей хлопотуньей-сестрой и до такой степени развеселился, что ему пришлось остановиться посреди Тэмпл-Бара, чтобы нахохотаться вдоволь; на брань и толчки недовольных прохожих он обращал не больше внимания, чем какой-нибудь столб, и все восклицал с неизменным добродушием: „Из муки с яйцами! Мясной пудинг из муки с яйцами!“ — до тех пор, пока Джон Уэстлок и Руфь не убежали от него, оставив его досмеиваться в одиночестве. Он так и сделал, а потом пустился их догонять через улицу, полную народа, с лицом, сияющим такой кротостью и лаской — благослови его бог (ведь он шутил очень добродушно, этот Том)! — что от одного его вида очистился бы воздух, если бы стены Тэмпл-Бара украшал ряд гниющих человеческих голов, как в доброе старое время.

В Тэмпле имеются уютные квартирки, где живут холостяки; и для таких удрученных одиночеством людей, какими они прикидываются, живут весьма и весьма недурно. Джон с большим чувством рассказывал о своей унылой жизни и о жалких выдумках и ухищрениях, на которые ему приходится пускаться; однако же на деле оказалось, что он устроился очень удобно. Во всяком случае, квартира у него была само совершенство в смысле чистоты и комфорта; и если ему чего-то не хватало, то квартира была тут конечно, ни при чем.

Не успел он ввести Тома с сестрой в свою парадную комнату (где на столе стояла красивая ваза свежих цветов, приготовленная для Руфи, — словно он ее ждал, заметил Том), как, схватив шляпу, опять заторопился куда-то с самым энергическим видом и скоро вернулся — что им видно было в полуоткрытую дверь — в сопровождении огненнолицей матроны в крахмальном чепце с длинными, болтающимися по спине завязками, вместе с которой он немедленно принялся накрывать стол скатертью, собственноручно перетирать бокалы для вина, полировать рукавом серебряную крышку перечницы, откупоривать бутылки и наливать графины с положительно ошеломляющей ловкостью и быстротой. И, перетирая и полируя все на столе, он словно заодно потерял волшебную лампу или магическое кольцо, которому рабски повинуются не меньше чем двадцать тысяч духов, ибо перед ними вдруг появилось существо в белом жилете и с салфеткой под мышкой, а за ним другое существо, с продолговатым ящиком на голове, откуда был извлечен и поставлен на стол

с пылу горячий обед.

Лососина, баранина, горошек, невинный молодой картофель, свежий салат, огурцы ломтиками, нежная молодая утка и сладкий пирог — все было тут. Все это появилось в свое время. Откуда появилось — неизвестно, но продолговатый ящик то и дело циркулировал взад и вперед, давая знать о своем появлении человеку в белом жилете скромным стуком в дверь, ибо после первого раза никто больше не видел ящика. Он был невозмутим, этот человек; он, казалось, нисколько не удивлялся необыкновенным вещам, которые находил в ящике, но вынимал их с непроницаемым и решительным выражением лица и ставил на стол. Это был любезный человек с мягкими манерами, проявлявший большой интерес к тому, что они ели и пили. Это был образованный человек, который знал назубок все соуса, какие имелись у Джона Уэстлока, и описывал их качества негромко и с чувством, подавая одну бутылочку за другой. Это был серьезный человек и очень тихий человек; ибо, подав обед и поставив на стол вино и фрукты, он исчез вместе с ящиком, словно его никогда и не бывало.

— Ну, не говорил ли я, что он замечательно хозяйничает? — воскликнул Том. — Господи, это прямо изумительно!

— Ах, мисс Пинч, — сказал Джон, — такие события скрашивают жизнь, которую мы здесь ведем. Это была бы в самом деле унылая жизнь, если бы в ней не было таких просветов, как сегодня.

— Не верь ни единому его слову! — заявил Том. — Он живет здесь по-царски и ни за что на свете не переменял бы своего образа жизни. Он только притворяется, будто недоволен.

Нет, Джон, по-видимому, нисколько не притворялся, ибо стал доказывать с необыкновенной серьезностью, что ему живется так скучно, одиноко и невесело, как это только возможно для самого несчастного молодого человека на свете. Это жалкая жизнь, говорил он, никуда не годная жизнь. Он хочет разделаться со своей квартирой как можно скорей и намерен в самом непродолжительном времени вывесить на окнах билетик.

— Ну, — сказал Том Пинч. — я, право, не знаю, куда вы можете переехать, Джон, чтобы вам было еще удобнее, — вот и все, что я могу сказать. А ты что скажешь, Руфь?

Руфь, играя вишнями на своей тарелке, отвечала, что, по ее мнению, мистер Уэстлок должен быть вполне счастлив, и, без сомнения, так оно и есть.

Ах, глупое, трепетное, испуганное сердечко, как робко она это пролепетала!

— Но ты собирался что-то рассказать... о том, что случилось нынче

утром, — прибавила она тут же.

— Да, совсем из головы вон, — ответил Том. — Мы так много говорили на другие темы, что мне некогда было даже вспомнить об этом. Я сейчас вам расскажу, Джон, пока не позабыл окончательно.

Когда Том сообщил, что произошло на пристани, его друг был очень удивлен и проявил к его словам большой интерес, не совсем понятный для Тома. Оказалось, что он знал ту старуху, с которой они познакомились на пристани; судя по описанию, ее фамилия Гэмп. Но какого рода было то сообщение, которое Тому пришлось передать так неожиданно для себя, почему ему было поручено передать его, как случилось, что действующие лица сошлись все вместе, и какая тайна здесь скрывалась, — все это представлялось Джону загадкой. Том был уверен, что его друг до некоторой степени заинтересуется этим делом, но никак не ожидал, что заинтересуется так сильно. Даже после того как Руфь вышла из комнаты, Джон Уэстлок все еще расспрашивал об этом случае, и по всему видно было, что для него это не просто разговор, а нечто гораздо более важное.

— Я, конечно, поговорю с моим хозяином, — сказал Том, — хотя это очень странный, скрытный человек, и вряд ли я добьюсь от него толку, даже если он и знает, что было в письме.

— Можете поклясться, что знает, — прервал его Джон.

— Вы так думаете?!

— Уверен в этом.

— Хорошо, — сказал Том, — я спрошу его, когда увижу (он приходит и уходит как-то незаметно, но завтра утром я постараюсь его поймать), для чего он навязал мне такое неприятное поручение; и я думаю, Джон, что если я зайду завтра утром к этой миссис... как бишь ее... в Сити, куда я уже заходил раньше, да вы знаете — к миссис Тоджерс, — то, пожалуй, застану там бедную Мерси Пексниф и смогу объяснить ей, каким образом я в это впутался.

— Вы правы, Том, — ответил его друг после недолгого размышления. — Это будет самое лучшее. Мне совершенно ясно, в чем бы ни заключалось дело, что ничего хорошего тут нет, и поскольку для вас желательно выпутаться из этой истории, чтобы не было даже видимости вашего добровольного участия в ней, я посоветовал бы вам встретиться с ее мужем, если возможно, и объясниться с ним, откровенно рассказав всю суть. У меня есть подозрение, что тут творятся какие-то темные дела. Почему, я вам скажу в другой раз, когда сам разужнаю побольше.

Для Тома Пинча все это звучало очень таинственно. Однако, зная, что он может положиться на своего друга, Том решил последовать его совету.

Ах, как хорошо было бы иметь шапку-невидимку, чтобы посмотреть на маленькую Руфь, когда Джон с ее братом уселись разговаривать за бутылкой вина, предоставив ее самой себе! С какой деликатностью она пыталась втянуть в разговор огненнолицую матрону в крахмальном чепце, которая сделала отчаянную попытку принарядиться, облачившись в полинялое платье с желтыми цветами по желтому полю, похожими на мозаику из кусочков масла. Ничего не могло быть приятней! С какой свирепой, чисто церберовской непреклонностью [\[130\]](#) огненнолицая матрона в крахмальном чепце отклоняла пленительные авансы, исходившие от враждебной и опасной державы, которой тут нечего делать, разве только отбивать у нее клиентов или наводить их на мысль, куда же девается столько чая, сахара и прочей бакалеи. На это стоило бы посмотреть! С каким застенчивым, пленительным, милым любопытством Руфь после ухода огненнолицей разглядывала книги и безделушки, разбросанные по комнате, особенно заинтересовавшись красиво нарезанными полосками бумаги для растопки и удивляясь, кто бы мог их нарезать. На это очень стоило бы посмотреть. И на то, как она дрожащей рукой связала цветы в букетик, стыдливо любуясь своим отражением в зеркале, приколотла их себе на грудь и, склонив голову, то решала убрать их, то оставить там, где они есть. Это было восхитительно!

Как видно, и Джону все это казалось восхитительным, потому что, вернувшись вместе с Томом пить чай, он смотрел на нее как очарованный. А когда убрали чайную посуду и Том, усевшись за фортепьяно, с головой ушел в свои старые органные мелодии, Джон устроился рядом с ней у открытого окна любоваться сумерками.

В Фэрнивелс-Инне почти не на что смотреть. Это тихое тенистое место, где эхо повторяет шаги прохожих, которые бывают здесь только по делу, — место довольно унылое и мрачное и летние вечера. Что же находили они в нем такого пленительного, чтобы оставаться у окна, так же не замечая времени, как и мечтатель Том, снова окруженный мелодиями, столько раз умиротворявшими его душу в былое время? Какая сила вливала в блекнувший свет, в надвигающиеся сумерки, в зажигающиеся там и сям звезды, в вечерний воздух, в отдаленный городской шум и гам, в перезвон старых церковных колоколов такое тонкое очарование, что самые райские уголки земли не могли бы приковать их к себе более крепкой цепью, если бы возникли у них перед глазами?

Тени все сгущались и сгущались, и в комнате стало совсем темно. Но пальцы Тома все еще блуждали по клавишам, а пара у окна все еще не вставала с места.

Наконец, почувствовав на своем плече руку сестры и на своем лбу ее дыхание, Том очнулся от задумчивости.

— Боже мой! — воскликнул он, бросая играть и вскакивая. — Боюсь, что я был очень невнимателен и невежлив.

Ему и в голову не приходило, какую он проявил вежливость и внимательность!

— Спой нам что-нибудь, милая, — сказал Том. — Дай нам услышать твой голос.

Джон Уэстлок присоединился к его просьбе с такой настойчивостью, что только каменное сердце могло бы устоять против него. У нее сердце было не каменное. О, вовсе нет! Далеко не каменное.

Итак, она села за фортепьяно и приятным голосом начала петь баллады, которые так любил Том. Старинные рифмованные предания, с паузой тут и там, для того чтобы певец старых времен мог взять на арфе несколько простых аккордов, припоминая содержание полузабытой легенды; слова старых поэтов, уложенные в такой размер, что мелодия казалась дыханием певца, облекающего свою мысль в слова и звуки; а не то песня лилась радостно и весело, и нельзя было поверить, что певица способна грустить, пока она не впадала снова в элегический тон (о коварная маленькая певица!), надрывая сердце слушателям. Такими простыми средствами она развлекала их. А что эти простые средства имели успех и она действительно доставила им удовольствие — пусть будет тому свидетелем темная комната, которую давно следовало осветить.

Принесли, наконец, свечи, и пора было отправляться домой. Небольшая задержка вышла из-за того, что надо было аккуратно отрезать бумаги, чтобы обернуть те самые цветы; но и это было сделано, и Руфь была готова.

Джон решил проводить их.

— Нет, нет. Не надо, — сказал Том. — Какие пустяки! Мы отлично дойдем и одни. Я вовсе не собираюсь тащить вас из дому.

Но Джон сказал, что ему хочется пройтись.

— Вы уверены, что хочется? — спросил Том. — Боюсь, что вы это говорите только из вежливости.

Однако Джон выразил полную уверенность в этом и подал руку Руфи. Огненнолицая, которая опять явилась прислуживать, приветствовала ее уход таким небрежным книксеном, что его едва можно было заметить, а Тому не поклонилась вовсе.

Джон пожелал пройти с ними всю дорогу, не слушая никаких уговоров Тома. Счастливая пора, счастливая прогулка, счастливое расставанье,

счастливые сны! Но бывают такие сладкие мечты, сны наяву, перед которыми тускнеют и видения ночи.

Фонтан в Тэмпле без отдыха журчал в лунном свете, пока Руфь спала, поставив рядом свои цветы, а Джон Уэстлок набрасывал по памяти портрет — но чей же?

Глава XLVI,

где мисс Пексниф кокетничает, мистер Джонас гневается, миссис Гэми разливает чай, а мистер Чаффи делает дело.

На следующий день, покончив с официальными обязанностями, Том, не теряя времени, поспешил домой и после обеда и недолгого отдыха снова вышел из дому в сопровождении Руфи, чтобы, как предполагалось, нанести визит миссис Тоджерс. Том взял с собою Руфь не только потому, что ее общество всегда доставляло ему большое удовольствие, но и для того, чтобы она приласкала и утешила бедную Мерри, — к чему Руфь стремилась и сама, услышав от Тома горестную историю молодой женщины.

— Она мне так обрадовалась, — сказал Том, — что, я уверен, будет рада видеть и тебя. Твое сочувствие ей, во всяком случае, покажется гораздо приятней и ближе, чем мое.

— Я далеко в этом не уверена, Том, — ответила она, — и, право же, ты к себе несправедлив. Право так. Но я надеюсь ей понравиться, Том.

— Ну, конечно, ты ей понравишься! — убежденно воскликнул Том.

— Какое множество друзей было бы у меня, если бы все думали по-твоему, не правда ли, Том, милый? — сказала сестричка, ущипнув его за щеку.

Том засмеялся и сказал, что в данном случае Мерри, конечно, окажется его единомышленницей, он нисколько не сомневается.

— Потому что вы, женщины, — пояснил он, — вы, женщины, дорогая моя, необыкновенно добры и в своей доброте необыкновенно тонко все понимаете; вы так умеете незаметно проявлять любовь и заботу, без всякой навязчивости; ваша чуткость похожа на прикосновение ваших рук — оно такое легкое и нежное, что позволяет вам неслышно касаться душевных ран, так же как и телесных. Вы такие...

— Боже мой, Том! — прервала его сестра. — Тебе нужно немедленно влюбиться!

Том добродушно отмахнулся от этого замечания, однако же стал заметно серьезней; и скоро оба они оживленно болтали о чем-то другом.

Когда они проходили по одной из улиц Сити, неподалеку от резиденции миссис Тоджерс. Руфь остановила Тома перед окном большого мебельного и обойного магазина, чтобы обратить его внимание на нечто

великолепное и весьма замысловатое, выставленное на соблазн восхищенной публики. Том пустился в самые нелепые и сумасбродные догадки насчет цены этого предмета и от души смеялся над своей ошибкой вместе с сестрой, как вдруг, сжав ей руку, он указал на парочку рядом с ними, которая глядела на ту же витрину, особенно интересуясь комодами и столами.

— Тише! — прошептал Том. — Это мисс Пексниф и молодой человек, который собирается на ней жениться.

— Отчего же у него такой вид, будто он собирается лечь в могилу, Том? — спросила его сестричка.

— Мне кажется, он по натуре очень мрачный молодой человек, — сказал Том, — зато вежливый и безобидный.

— Они, должно быть, обставляют квартиру, — шепнула Руфь.

— Да, по-моему тоже, — ответил Том. — Нам лучше не заговаривать с ними.

Однако они не могли не глядеть на заинтересовавшую их пару, тем более что где-то впереди произошла заминка в уличном движении и это их задержало на некоторое время. У мисс Пексниф был такой вид, будто она взяла в плен несчастного Модля и повлекла его к мебельной витрине, словно агнца на заклание. Он не сопротивлялся, напротив — был совершенно покорен и тих, но в повороте его поникшей головы и в унылой позе чувствовалась глубокая меланхолия; и хотя в окне перед ними красовалась двуспальная кровать с балдахином, у него на глазах дрожали такие крупные слезы, что вряд ли он ее видел.

— Огастес, любовь моя, — сказала мисс Пексниф, — спросите, сколько стоят эти восемь стульев розового дерева и ломберный столик.

— Может быть, они уже заказаны, — отвечал Огастес. — Может быть, они принадлежат другому.

— Если заказаны, можно сделать еще такие же, — возразила мисс Пексниф.

— Нет, нет, нельзя, — воскликнул Модль, — это невозможно!

Казалось, он был совершенно подавлен и ошеломлен перспективой будущего счастья; однако взял себя в руки и вошел в лавку. Он возвратился немедленно и доложил тоном полного отчаяния:

— Двадцать четыре фунта десять шиллингов!

Мисс Пексниф, обернувшись, чтобы выслушать это сообщение, заметила, что Том Пинч с сестрой наблюдают за ней.

— Ах, право! — вскрикнула мисс Пексниф, оглядываясь по сторонам, словно в поисках места, где было бы всего удобней провалиться сквозь

землю. — Честное слово, я... вот уж никогда... подумать только, до чего... Мистер Огастес Модль, мисс Пинч.

Мисс Пексниф была очень милостива к мисс Пинч при этом триумфальном представлении, чрезвычайно милостива. Мало сказать милостива: она была любезна и сердечна. Воспоминание ли о прежней услуге, которую оказал ей Том, стукнув по голове Джонаса, произвело в ней эту перемену; разлука ли с родителем примирила ее с человечеством или хотя бы с той, большей частью человечества, которая не водила с ним дружбы; или же радость приобрести новую знакомую, которой можно будет рассказать о своем интересном будущем, пересилила все прочие соображения, — но мисс Пексниф была сердечна и любезна. И дважды поцеловала мисс Пинч в щеку.

— Огастес, это мистер Пинч, вы же знаете. Милая моя девочка, — шепнула мисс Пексниф ей на ухо. — Мне никогда в жизни не было так совестно.

Руфь просила ее не придавать этому значения.

— Вашего брата я стесняюсь меньше, чем других, — жеманилась мисс Пексниф. — Но все-таки неприятно: такой случай и вдруг встретить знакомого джентльмена! Огастес, дитя мое, вы спросили?..

Тут мисс Пексниф стала шептать ему на ухо. Страдалец Модль повторил:

— Двадцать четыре фунта десять шиллингов!

— Глупенький, я вовсе не про них, — сказала мисс Пексниф. — Я говорю про...

Тут она опять пошептала ему на ухо.

— Если полог с рисунком, как на витрине, тогда тридцать два фунта двенадцать шиллингов шесть пенсов, — ответил Модль со вздохом, — это очень дорого.

Но мисс Пексниф, зажав Огастесу рот ладонью, не позволила ему вдаваться в дальнейшие объяснения и выказала стыдливое замешательство. После чего спросила Тома Пинча, куда он идет.

— Я шел к вашей сестре, — ответил Том, — мне нужно ей сказать несколько слов. Мы собирались зайти к миссис Тоджерс, где я уже имел удовольствие видеть ее.

— Тогда вам не стоит идти дальше, — заметила Черри, — мы только что оттуда, и я знаю, что ее там нет. Но я провожу вас к сестре домой, если хотите. Мы с Огастесом, то есть, я хочу сказать, с мистером Модлем, идем туда пить чай. Насчет него не беспокойтесь, — прибавила она, кивая головой, словно заметила некоторое колебание со стороны мистера

Пинча, — его нет дома.

— Вы в этом уверены? — спросил Том.

— Вполне уверена. Я больше не желаю мстить, — выразительно произнесла мисс Пексниф. — Но, право, я попрошу вас двоих пройти вперед, а мы с мисс Пинч пойдем сзади. Милая моя, никогда в жизни меня не заставляли так врасплох!

Соответственно этому целомудренному распорядку, Модль подал руку Тому, а мисс Пексниф подхватила под руку Руфь.

— Конечно, милочка моя, — сказала мисс Пексниф, — после того, что вы видели, было бы бесполезно скрывать, что я скоро должна выйти замуж за того джентльмена, который идет рядом с вашим братом. Было бы напрасно это скрывать. Что вы о нем думаете? Пожалуйста, скажите мне откровенно ваше мнение.

Руфь дала понять, что, насколько ей кажется, это очень приличная партия.

— Мне хотелось бы знать, — продолжала мисс Пексниф с фамильярной болтливостью, — не показалось ли вам, вернее — не успели ли вы заметить за это время, что он довольно меланхолического нрава?

— За такое короткое время! — взмолилась Руфь.

— Ничего, ничего, это ничего не значит, — возразила мисс Пексниф. — Мне любопытно услышать, что вы скажете.

Руфь призналась, что на первый взгляд он показался ей „довольно грустным“.

— Нет, в самом деле? — спросила мисс Пексниф, — Ну это просто поразительно! Все говорят то же самое. Миссис Тоджерс говорит то же самое; а Огастес мне рассказывал, что в пансионе это сделалось просто ходячей шуткой. Право, если бы я ему не запретила самым положительным образом, дело у них дошло бы до огнестрельного оружия, и не один раз. Как вы думаете, отчего он кажется таким унылым?

Руфь перебрала в уме несколько причин: его пищеварение, его портной, его матушка и тому подобное; но, не решаясь остановиться ни на одной из этих догадок, она так и не высказала своего мнения.

— Дорогая моя, — сказала мисс Пексниф, — мне бы не хотелось, чтобы это стало всем известно, но вам я могу рассказать, потому что мы столько лет знакомы с вашим братом... Я три раза отказывала Огастесу. Это самая нежная и чувствительная натура — он всегда готов проливать слезы, только взгляните на него, это просто очаровательно! — и он так и не оправился после моей жестокости. Это было очень жестоко, — говорила мисс Пексниф с ангельским чистосердечием, которое могло бы сделать

честь ее папаше. — Тут нечего и сомневаться. Я просто краснею, вспоминая свое поведение. Мне он всегда нравился. Я чувствовала, что для меня он совсем не то, чем была вся толпа поклонников, делавших мне предложение, но что-то совершенно другое. Какое же право имела я отказывать ему три раза?

— Это было суровое испытание его верности, разумеется, — сказала Руфь.

— Дорогая моя, — возразила мисс Пексниф, — это было несправедливо. Но таковы капризы и легкомыслие нашего пола! Пусть это послужит вам предостережением. Не испытывайте того, кто будет просить вашей руки, как я испытывала Огастеса. Если только вы будете чувствовать к человеку то же самое, что я чувствовала к Огастесу в то время, когда доводила его до отчаяния, не скрывайте этого чувства, когда он бросится к вашим ногам, как Огастес Модль бросился к моим. Подумайте, — продолжала мисс Пексниф, — что мне пришлось бы пережить, если б я довела его до самоубийства и об этом напечатали бы в газетах!

Руфь заметила, что ее, конечно, терзали бы угрызения совести.

— Угрызения совести! — воскликнула мисс Пексниф, упиваясь ролью кающейся грешницы. — Невозможно вам передать, как совесть терзает меня и сейчас, после того как я уже загладила свою вину, приняв его предложение! Вспоминая свое легкомыслие теперь, когда я остепенилась и стала осмотрительнее, вступив на стезю брака, я оглядываюсь на свое прошлое и трепещу, просто трепещу! Каковы последствия моего поведения? Пока Огастес не повел меня к алтарю, он во мне не уверен. Я истерзала и иссушила его сердце до такой степени, что он уже не может мне верить. Я вижу, что это гнетет его душу и подтачивает его силы. О, как упрекает меня совесть, когда я вижу, до чего довела любимого человека!

Руфь попыталась выразить свою благодарность за такое безграничное и лестное доверие и высказала предположение, что свадьба будет скоро.

— Да, очень скоро, — ответила мисс Пексниф, — как только у нас в доме все будет готово. Мы теперь спешим закупить обстановку.

И в приливе откровенности мисс Пексниф перечислила по порядку все вещи, которые уже были куплены, и те, которые предстояло еще купить; в каком платье она собирается венчаться, и где состоится эта церемония; короче говоря, сообщила мисс Пинч самые интересные и животрепещущие новости, связанные с этим событием.

Пока все это происходило в тылу, Том с мистером Модлем шли впереди рука об руку в полном молчании, которое Том прервал наконец, после того как долго придумывал, что бы такое сказать, не опасаясь

нарушить душевное спокойствие мистера Модля.

— Удивляюсь, — заметил Том, — почему на этих переполненных народом улицах так редко давят прохожих.

Мистер Модль ответил с мрачным взглядом:

— Кучера не хотят.

— Вы думаете?.. — начал Том.

— Есть такие люди, — прервал его Модль с горьким смехом, — которым никак не удастся попасть под лошадь. Они словно заколдованы. Фургоны с углем объезжают их за милую, и даже кэбы отказываются их переехать. Да! — произнес Огастес, заметив удивление Тома. — Бывают такие люди! Один из них — мой друг.

„Честное слово, — подумал Том, — состояние этого молодого человека таково, что в самом деле внушает опасения!“ Бросив всякие попытки вести разговор, он не отваживался больше произнести ни слова и только старался как можно крепче держать Огастеса под руку, чтобы тот не бросился на дорогу и не устроил маленького жертвоприношения Джагернауту на глазах у своей нареченной. Том до такой степени боялся, как бы он не покончил с собой, что почувствовал большое душевное облегчение, когда они благополучно прибыли к дому Джонаса Чезлвита.

— Входите, пожалуйста, мистер Пинч, — сказала мисс Пексниф, видя, что Том нерешительно остановился в дверях.

— Сомневаюсь, будут ли мне рады, — ответил Том, — лучше сказать, у меня на этот счет нет сомнений. Я, пожалуй, пошлю записку.

— Ну, что за пустяки! — возразила мисс Пексниф, отводя Тома в сторону. — Его нет дома, я в этом уверена — я знаю, что нет; а Мерри не имеет ни малейшего понятия о том, что вы его...

— Нет, конечно, — прервал ее Том. — Да я бы и не хотел, чтобы она знала, ни в коем случае. Уверяю вас, я вовсе не так горжусь этой дракой.

— Ах, ведь вы известный скромник, — улыбаясь, ответила мисс Пексниф. — Но входите же, прошу вас. Если вы не хотите, чтобы она это знала, и все же хотите с ней поговорить, почему же вам не зайти. Входите, мисс Пинч. Не стойте тут.

Том все еще колебался, чувствуя, что попал в неловкое положение. Но в эту минуту Черри решительно прошла мимо него и повела его сестру вверх по лестнице; и так как парадная дверь тут же закрылась, Том последовал за ними, сам не зная, разумно или неразумно он поступает.

— Мерри, милочка моя! — сказала прелестная мисс Пексниф, отворяя дверь в знакомую ей гостиную, — мистер Пинч с сестрой пришли повидать тебя! Я так и думала, что вас мы тоже здесь застанем, миссис Тоджерс! Как

поживаете, миссис Гэмп? А как вы поживаете, мистер Чаффи? Хотя, я знаю, бесполезно задавать вам этот вопрос!

Осчастливив каждого из тех, к кому она обращалась, кислой улыбкой, мисс Чарити представила мистера Модля.

— Кажется, ты видела его и раньше, — любезно заметила она сестре. — Огастес, милое дитя мое, подайте мне стул.

Милое дитя сделало, как ему было приказано, и собиралось забиться в уголок, чтобы втайне предаться горю, когда мисс Чарити, назвав его довольно громким шепотом „котик“, позволила ему подойти ближе и сесть с ней рядом. В интересах всего человечества надо надеяться, что нигде еще не видано было такой меланхолии, какую выказал мистер Модль, повинувшись этому зову. Он так упал духом, что ничем не выдал радостной дрожи, когда мисс Пексниф вложила свою лилейную ручку в его руку, прикрыв ее уголком шали, чтобы чей-нибудь пошлый взгляд не заметил этой милости. В самом деле, вид у него был еще более плачевный, чем прежде, и, сидя навтыжку на своем стуле, он оглядывал общество полными слез глазами, которые, казалось, говорили без слов: „О боже милостивый, взгляните на меня! Неужели ни одна добрая душа не заступится за меня?“

Зато восторгов миссис Гэмп хватило бы за глаза на двадцатерых влюбленных: в особенности ее воодушевляло присутствие Тома Пинча и его сестры. Миссис Гэмп была дама того счастливого темперамента, которому свойственно приходить в восторг без всякой иной побудительной причины, кроме желания обзавестись большим и полезным знакомством. Она каждодневно прибавляла не одну тетиву к своему луку, так что превратила его в настоящую арфу; и на этом-то инструменте она и принялась теперь разыгрывать импровизированный концерт.

— Ах, боже мой, миссис Чезлвит! — воскликнула она. — Кто бы мог подумать, что я увижу в этом самом благословенном доме — мисс Пексниф, милая моя барышня, ведь я отлично знаю, что таких домов немного, то-то и беда, а хотелось бы, чтоб было побольше, тогда у нас, мистер Чаффи, была бы не юдоль, а райский сад, — кто бы мог подумать, что я увижу под этой самой крышей не кого иного, как вас, мистер Пинч (вы уж извините, что обращаюсь, не имея чести быть знакомой), а также, смею вас уверить, самое приятное личико, с самой приятной улыбкой, не считая вашей, миссис Чезлвит, милая моя дамочка, и вашей нареченной, мистер Модль, сэр, если позволено будет сказать прямо о том, что и так ясно для всякого, не правда ли, миссис Тоджерс, потому что не надо особой проницательности, чтобы разглядеть то, что написано на лбу. Тут никому

обида нету, дамы и господа; надеюсь, никто и не обиделся. Так кто бы мог подумать, что я вижу то самое приятное личико, которое мы с одной моей приятельницей заметили у Лондонского моста, в таком неподходящем месте, — вот уж сервис действительно!

Ухитрившись так удачно уделить каждому из своих слушателей равную долю внимания и вызвать в них личную заинтересованность ее речью, миссис Гэмп несколько раз присела перед Руфью и, с улыбкой покачивая головой, продолжала свой монолог:

— Ну, сколько же собралось у нас красавиц в этот радостный день, можно сказать! Я знаю одну даму, Гаррис ее фамилия, не стану вас обманывать, миссис Чезлвит, еще у нее брат, то есть у ее мужа, ростом в шесть футов три дюйма, и на левой руке у него родинка — бешеный бык в веллингтоновских сапогах, оттого что его дорогую мамашу бык загнал в башмачную лавку, когда она была в таком положении; и счастливчик тот, у кого прибавляется семейство, сколько раз я это говорила мужу, когда, бывало, поругаемся из-за расходов; и часто я, бывало, говорю миссис Гаррис: „Ах, миссис Гаррис, сударыня! Личико у вас прямо ангельское!“ Оно и было бы ангельское, кабы не прыщи. „Нет, Сара Гэмп, — говорит она, — хорошая вы женщина, и трудолюбивая, и расторопная, лучше не найдешь, сколько вам ни плати, все будет мало, а вам всегда недоплачивают, но только оно не ангельское, ничего подобного. Гаррис перед свадьбой заказал мой портрет за десять шиллингов шесть пенсов, — говорит она, — и с любовью носил на сердце, пока все краски не слиняли, ну только денег обратно так и не отдали, ничего нельзя было поделать. Но даже и он никогда не говорил, будто оно ангельское, Сара, что бы он ни думал“. Если бы муж миссис Гаррис был сейчас тут, — сказала миссис Гэмп, обводя всех взглядом и с умильной улыбкой делая общий книксен, — он бы сказал откровенно свое мнение, да и его дорогая женушка никогда бы его не осудила. Потому что если есть на свете женщина, которая понятия не имеет, что значит завидовать красавицам, да оно ей и ни к чему при таком муже, так вот у миссис Гаррис именно такой ангельский характер. С этими словами почтенная женщина, которая вела себя так, словно она зашла на чашку чая, желая выказать деликатное внимание хозяевам, а не находилась в доме как должностное лицо, подошла к мистеру Чаффи, который сидел в своем уголке, как и прежде, и потрясла его за плечо.

— Очнитесь же, откройте глаза! Ну! — сказала миссис Гэмп. — У нас гости, мистер Чаффи!

— Как же быть, — отозвался мистер Чаффи, смиренно обводя

взглядом комнату. — Я знаю, что мешаю всем. Простите меня, мне некуда больше деваться. Где она?

Мерри подошла, к нему.

— А, вот она! — сказал старик, глядя ее по щеке. — Вот она, вот она! Она никогда не обижает бедного старика Чаффи. Бедный старик Чаффи!

Усевшись на низкий стул рядом со стариком, так что он мог достать ее рукой, Мерри взглянула один раз и на Тома. Это был грустный взгляд, хотя на ее лице трепетала слабая улыбка. Это был красноречивый взгляд, и Том понимал, что он говорит: „Вы видите, что горе изменило меня. Теперь я знаю, что чувствует зависимый человек, и ценю его привязанность“.

— Да, да! — воскликнул Чаффи примирительно. — Да, да, да! Не обращайтесь на него внимания! Трудно вытерпеть, но ничего. Он умрет в один прекрасный день. В году триста шестьдесят пять дней, триста шестьдесят шесть в високосном году, — и он может умереть в любой из этих дней.

— Вы надоедливый старикашка, и это святая правда, — сказала миссис Гэмп, окидывая далеко не милостивым взглядом старика, продолжавшего что-то бормотать. — Жалко, что вы сами не понимаете, что говорите, а ежели бы понимали, вам бы первому надоело до смерти, тогда и нам дали бы свободно вздохнуть.

— Его сын, — бормотал старик, поднимая кверху руку. — Родной сын!

— Ну конечно, — сказала миссис Гэмп, — вы опять за свое, мистер Чаффи. Понравилось, видно. А вот я сама никак за это не поручилась бы, гроша ломаного не дала бы, хоть вы все это так прекрасно знаете. Туда же, старье этакое, чему вздумал учить! Много вы смыслите в сыновьях, да и в дочерях тоже! Может, вы нам и про двойняшек что-нибудь расскажете, сударь? Будьте так любезны, не стесняйтесь!

Злобная и негодующая ирония, вложенная миссис Гэмп в эти слова, решительно пропала даром для ничего не сознававшего Чаффи; казалось, он так же мало понимал, кому предназначены эти шпильки, как и то, что он обидел миссис Гэмп. Но не так легко было усмирить эту благородную женщину, ревниво оберегавшую права своей профессии; она вообразила, будто мистер Чаффи изрек предсказание относительно сыновей вообще, тогда как всякое предсказание этого рода должно было исходить прежде всего от нее, как от единственно законного авторитета, или по крайней мере нужно было в ее одобрении и сочувствии. Она не переставала злобно коситься на мистера Чаффи и вызывать его на бой, осыпая множеством колких замечаний, произносимых с тем шипением, которое обозначает сдержанное негодование, пока ее не привели в себя появление чайного

подноса и просьба миссис Джонас перейти к боковому столику и разливать чай для неожиданных гостей. Тут она опять заулыбалась и принялась помогать хозяйке с особенной, свойственной только ей учтивостью.

— И есть для кого разливать чай: целое семейство, — заметила миссис Гэмп, — ах, какое это удовольствие! Милая моя девушка, — обратилась она к служанке, — может, кто-нибудь захочет скушать свеженькое яичко, а то и пару, только в мешочек. Не мешает тоже поджарить хлеб ломтиками, корочку лучше сперва срезать, потому что зубы уже не так крепки, да и тех мало осталось; покойник Гэмп подвыпил как-то, да и вышиб целых четыре одним ударом, миссис Чезлвит, — два передних и два коренных; миссис Гаррис взяла их себе на память и до сих пор носит в кармане вместе с куриной вилочкой, кусочком имбиря и теркой в виде детского башмачка с каблучком, куда кладется мускатный орех: я сама сколько раз терла орех для подогретого вина, пока за ней ходила.

Миссис Гэмп выполняла возложенные на нее обязанности с необыкновенным благодушием и любезностью, ибо место за чайным столиком, помимо небольшого преимущества сидеть ближе к поджаренному хлебу и выпивать две чашки, пока другие выпьют по одной, да еще в самую критическую минуту — то есть перед тем как чайник дольют свежей водой и после того как он постоит некоторое время, — давало еще и возможность видеть перед собой все общество и обращаться к нему словно с кафедры. Иногда, держа блюдце на растопыренных пальцах и поставив локоть на стол, она делала передышку между двумя глотками, чтобы осчастливить всех собравшихся улыбкой, подмигиваньем, кивком головы или другим знаком внимания; и в такие минуты ее физиономия настолько оживлялась и приобретала настолько осмысленное выражение, что затруднительно было приписать это чему-либо, кроме благотворного действия кипяченой воды.

Если бы не миссис Гэмп, собрание было бы до странности молчаливым. Мисс Пексниф говорила только со своим Огастесом, и то шепотом. Огастес не разговаривал ни с кем, зато вздыхал за всех и время от времени так звучно хлопал себя по лбу, что миссис Тоджерс, особа весьма нервная, подскакивала на стуле с невольным восклицанием. Сама миссис Тоджерс углубилась в вязанье и почти все время молчала. Бедняжка Мерри держала за руку веселую маленькую Руфь и с явным удовольствием слушала все, что та говорила, но редко вставляла слово сама, и то улыбалась, то целовала ее в щеку, то отворачивалась в сторону, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся на глаза. Том был так поражен совершившейся в ней переменой и так радовался, видя, как ласково

обращается с нею Руфь и как та отвечает ей, что у него духу не хватало подняться с места и уйти, хотя он давно уже сказал все, что хотел сказать.

Пока маленькое общество было занято каждый своим, старый конторщик впал в обычное состояние и молчал, погруженный в свои сны, каковы бы они ни были, едва задевавшие его дремлющее сознание. Содержание этих снов, молчаливое чаепитие вокруг и смутное воспоминание о другом пиршестве, которому он не так давно был свидетелем, подсказали ему странный вопрос. Озираясь по сторонам, он спросил вдруг:

— Кто это умер и лежит наверху?

— Никто, — ответила Мерри, обернувшись к нему. — Что это вы спрашиваете? Мы все здесь.

— Все здесь! — воскликнул старик. — Все здесь! А где же тогда мой старый хозяин, мистер Чезлвит, у которого был единственный сын? Где он?

— Тише, тише! — сказала Мерри, ласково уговаривая его. — Это случилось очень давно. Разве вы не помните?

— Не помню! — отвечал старик с горестным стоном. — Как будто я мог забыть! Как будто я могу когда-нибудь забыть!

На минуту он закрыл лицо рукой и повторил, озираясь совершенно так же, как прежде:

— Кто это умер и лежит наверху?

— Никто! — сказала Мерри.

Сначала он взглянул на нее сердито, как на чужого человека, который хочет его обмануть, но, всмотревшись в лицо Мерри и видя, что это в самом деле она, старик покачал головой горестно и сочувственно.

— Вы думаете, никто? Они вам не говорят. Да, да, бедняжка, вам не говорят. Кто они такие, и почему они пируют здесь, если никто не умер? Дело нечисто! Подите посмотрите, кто там лежит!

Она сделала всем знак не разговаривать с ним, к чему, сказать по правде, никто не обнаруживал ни малейшей склонности, и замолчала сама. Он тоже замолчал, но ненадолго, и вскоре повторил все тот же вопрос с настойчивостью, которая особенно пугала в нем.

— Кто-то умер здесь, — сказал он, — или умирает, и я хочу знать, кто это. Подите посмотрите, подите же! Где Джонас?

— Его нет в городе, — ответила молодая женщина.

Старик посмотрел на Мерри, словно сомневаясь в ее словах или не слыша их, и, поднявшись со стула, побрел через комнату наверх, шепча на ходу: „Дело нечисто!“ Вскоре его шаги раздались у них над головой, приближаясь к тому углу комнаты, где стояла кровать (на ней умер старик

Энтони); и сейчас же вслед за этим стало слышно, что он спускается вниз. Его фантазия была не настолько сильна и необузданна, чтобы нарисовать ему то, чего не было в пустой спальне; он вернулся гораздо спокойнее, и, казалось, тревога его улеглась.

— Вам не говорят, — сказал он Мерри своим дрожащим голосом, усаживаясь на место и глядя ее по голове. — И мне тоже не говорят, но я слежу, я слежу. Они вас не обижают, не бойтесь. Когда вы не спите, я тоже не сплю и стерегу. Да, да, стерегу! — пискнул он, сжимая в кулак слабую сморщенную руку. — Каждую ночь я наготове!

Он говорил это задыхаясь, с судорожными паузами и, ревниво оберегая свою тайну, наклонился так близко к ее уху, что гости не поняли ничего или почти ничего. Но они видели и слышали достаточно, чтобы встревожиться, и все, вскочив с места, собрались вокруг старика, тем самым предоставив миссис Гэмп, профессиональную невозмутимость которой не так-то легко было потревожить, прекрасную возможность сосредоточить все силы своего мощного организма на яичнице, гренках с маслом и чае. Она набросилась на эти яства с таким усердием, что к тому времени, когда она сочла нужным вмешаться (так как есть и пить было уже нечего), ее лицо пылало огнем.

— Это еще что такое, сударь? — воскликнула миссис Гэмп. — Вот как вы себя ведете? Опрокинуть на вас кувшин холодной воды — так небось опомнитесь; будь на моем месте Бетси Приг, она бы так и сделала, мистер Чаффи, смею вас уверить. Шпанские мушки — больше ничем из вас эту дурь не вытянешь; и если бы кто-нибудь тут хотел вам добра по-настоящему, так поставил бы вам мушку на затылок, а горчичник на спину. Кто умер? Вот уж действительно! Не много бы мы потеряли, если бы кто-нибудь и умер, так я думаю!

— Он уже успокоился, миссис Гэмп, — сказала Мерри. — Не трогайте его.

— Да ну его, старого враля, миссис Чезлвит, — отвечала ретивая сиделка. — Никак его к рукам не приберешь. Вы уж очень его распустили. Надоедливый старикашка, мучитель этакий!

Несомненно, для того чтобы перейти от слов к делу и „прибрать к рукам“ надоедливого старикашку, как в прямом, так и в переносном смысле, миссис Гэмп ухватила его за шиворот и раз десять встряхнула хорошенько; это упражнение считалось у сиделок школы Бетси Приг (а таких очень немало среди дам этой профессии) чрезвычайно успокоительным и высокополезным для нервной системы. В данном случае у пациента все поплыло перед глазами и до того спуталось в голове, что он

не мог больше выговорить ни слова, а миссис Гэмп сияла, видя в этом торжество своего искусства.

— Ну вот! — сказала она и тут же распустила галстук своему пациенту, заметив, что он даже почернел в лице от такого умелого обращения. — Теперь, надеюсь, вы успокоились. А ежели совсем ослабнете, мы вас сумеем оживить, сударь, за это я поручусь. Укусить его за руку или ломать ему пальцы, — произнесла миссис Гэмп, улыбаясь от сознания, что и развлекает слушателей и в то же время поучает их, — небось вскочит как вострепанный, господь с ним!

Так как этой превосходной женщине в свое время поручили заботиться о мистере Чаффи, то ни миссис Джонас, ни другие не решились вмешаться в ее систему ухода за больным, хотя все присутствующие (а особенно Том Пинч и его сестра), по-видимому, расходились с ней во взглядах; уж такова дерзость профанов, что они нередко ратуют за всякие отвлеченные принципы, вроде гуманности, любви к ближнему или другой блажи, упорно не желая считаться с существующими правилами и обычаями, и даже отваживаются отстаивать свою точку зрения против тех лиц, которые создали эти правила и установили обычаи и потому являются самыми авторитетнейшими и беспристрастными судьями в этом деле.

— Ах, мистер Пинч, — сказала мисс Пексниф, — всему виной этот несчастный брак. Если бы моя сестра не поторопилась и не соединила свою судьбу с этим негодяем, никакого мистера Чаффи не было бы в доме.

— Тише! — остановил ее Том. — Она вас услышит.

— Мне будет очень жаль, если она меня услышит, мистер Пинч, — сказала Черри, слегка повышая голос, — потому что не в моем характере делать неприятности тому, кто и так уж наказан судьбой, а всего менее родной сестре. Я знаю, что такое сестринский долг, мистер Пинч, и, надеюсь, всегда доказывала это на деле. Огастес, милое дитя, найдите мой носовой платок и подайте его мне.

Огастес повиновался, а потом отвел миссис Тоджерс в сторону, чтобы излить свое горе на ее дружеской груди.

— По-моему, мистер Пинч, — сказала Чарити, глядя вслед своему нареченному, а потом переводя взгляд на сестру, — мне надо Бога благодарить за все то, чем он меня наградил и еще наградит в будущем. Когда я сравниваю Огастеса, — тут она потупилась и смутилась, — этот образец кротости, мягкости и преданности — вам я это могу сказать не стесняясь, — с тем отвратительным человеком, за которого вышла моя сестра, и когда я думаю, что при распределении жребиев на небесах могло получиться и наоборот, мне есть за что быть благодарной, есть отчего

чувствовать смирение и довольство своей судьбой.

Довольство судьбой она могла чувствовать, но смирения в ней было решительно незаметно. Ее лицо и вся манера были так далеки от смирения, что Том не мог не понять всей ее низости и невольно почувствовал презрение к ней. Он отвернулся и сказал Руфи, что им пора домой.

— Я напишу вашему мужу, — сказал он Мерри, — и объясню ему, как объяснил бы, встретив здесь, что если ему пришлось из-за меня пережить что-либо неприятное, то, передавая ему письмо, я был виноват в этом столько же, сколько почтальон, приносящий дурные вести.

— Благодарю вас, — сказала Мерри. — Может быть, ваша записка все уладит.

Она нежно простилась с Руфью, и та вместе с братом выходила уже из комнаты, когда внизу послышался скрип отпираемой двери, а вслед за тем — быстрые шаги по коридору. Том остановился и взглянул на Мерри.

— Это Джонас, — сказала она робко.

— Мне, пожалуй, лучше не встречаться с ним на лестнице, — сказал Том, беря сестру под руку и делая шаг или два назад. — Я подожду его тут.

Не успел он договорить, как дверь открылась и вошел Джонас. Жена пошла ему навстречу, но он отстранил ее и сказал ворчливо:

— Я не знал, что у тебя гости.

Случайно или намеренно, он взглянул при этом на мисс Пексниф, а та, обрадовавшись случаю завести с ним ссору, мгновенно пришла в негодование.

— Ах, боже мой, — произнесла она, вставая, — пожалуйста, мы вовсе не собираемся мешать вашему семейному счастью! Это было бы так жалко. Мы тут пили чай без вас, но, если вы будете любезны прислать нам счет всех расходов за вашей подписью, мы с удовольствием по нему уплатим. Огастес, ангел мой, идемте, пожалуйста. Миссис Тоджерс, если вы не хотите оставаться здесь, мы будем рады проводить вас домой. Право, было бы жалко омрачать то блаженство, которое этот джентльмен приносит всюду, а особенно к себе в дом!

— Чарити, Чарити! — умоляла ее сестра с таким волнением, словно заклинала ее проявить ту христианскую добродетель, чье имя она носила.

— Мерри, дорогая моя, очень тебе признательна за совет, — возразила мисс Пексниф с величественным презрением, — кстати сказать, ей никаких советов не давали, — но я не раба его...

— И не стала бы рабой, даже если б могла, — прервал ее Джонас. — Это нам давно известно.

— Что вы сказали, сэр? — резко взвизгнула мисс Пексниф.

— А вы разве не слышали? — отвечал Джонас, развалиясь на стуле. — Я повторять не собираюсь. Хотите остаться, оставайтесь. Хотите уйти — уходите. Только если остаетесь, будьте повежливей.

— Скотина! — вскричала мисс Пексниф, проносясь мимо него. — Огастес, он не стоит вашего внимания! — Огастес расслабленно протестовал, потрясая кулаком. — Идемте, я вам приказываю! — взвизгнула мисс Пексниф.

Визг был вызван тем, что Огастес проявил намерение вернуться и сцепиться с Джонасом. Но мисс Пексниф потянула за собой пылкого юношу, а миссис Тоджерс подтолкнула его сзади, и все втроем они выкатились за дверь, под аккомпанемент пронзительных упреков мисс Пексниф.

До сих пор Джонас не замечал Тома с сестрой; они стояли почти за дверью, когда он открыл ее, а во время пререканий с мисс Пексниф он сидел к ним спиной и нарочно глядел на улицу, чтобы своим кажущимся равнодушием еще пуще раздражить оскорбленную девицу. Теперь его жена пролепетала, что мистер Пинч давно его дожидается, и Том выступил вперед.

Увидев его, Джонас вскочил с места и, неистово выругавшись, поднял над головой стул, словно собираясь хватить им своего врага; и он, без сомнения, так и сделал бы, если б не растерялся от удивления и ярости, дав таким образом возможность высказаться Тому, сохранившему присутствие духа.

— Вам незачем прибегать к насилию, сэр, — начал Том. — Хотя то, что я собираюсь сказать, относится к вашим делам, я ничего о них не знаю и не желаю знать.

Джонас был до того взбешен, что не мог говорить. Он распахнул дверь настежь и, топнув ногой, указал Тому выход.

— Вы не можете предполагать, — сказал Том, — что я пришел сюда для того, чтобы мириться с вами или для собственного удовольствия, и потому мне совершенно все равно, как вы меня примете и как со мной проститесь. Выслушайте то, что я хочу сказать, если вы не сумасшедший. Я передал вам письмо на днях, когда вы собирались уехать за границу.

— Передал, вор ты этакий! — ответил Джонас. — Я тебе еще заплачу за эту передачу, да и по старому счету кстати. Заплачу, не беспокойся!

— Тише, тише, — сказал Том, — незачем тратить на ветер бранные слова и праздные угрозы. Я хочу, чтобы вы ясно поняли, — именно потому, что я намерен держаться как можно дальше от вас и от всего, что вас касается, а вовсе не оттого, чтобы я хоть сколько-нибудь боялся вас, это

было бы позорной трусостью... Так вот, поймите меня, я не имею никакого отношения к этому письму; я ничего не знаю о нем, не знал даже, кому именно я должен передать его, а получил я его от...

— Клянусь богом! — крикнул Джонас, в ярости хватая стул. — Я разможжу тебе голову, если ты скажешь еще хоть слово.

Том, однако, упорствовал в своем намерении и уже открыл было рот, собираясь заговорить снова, как Джонас набросился на него, словно дикарь, и, конечно, несдобровать бы Тому, который был безоружен и не мог защищаться, тем более что сестра уцепилась за него, если бы Мерри не бросилась между ними, умоляя гостей уйти, ради всего святого. Мучения этой бедняжки, испуг Руфи, а также то, что Том не мог заставить себя выслушать и не мог противостоять напору миссис Гэмп, которая навалилась на него, как перина, и всей своей тяжестью вытолкала за дверь, так что ему пришлось пятиться с лестницы, — все это оказалось сильнее Тома. Он отряс прах от ног своих и ушел, так и не назвав имени Неджета.

Если бы это имя было произнесено; если бы Джонас своей наглостью и низостью не принудил однажды Тома дать ему смелый отпор, за что потом и возненавидел его со свойственной ему злобой (а вовсе не за последнюю обиду); если бы Джонас узнал от Тома, — а в тот день он мог бы это узнать, — какой нежданный соглядатай следит за ним, — он был бы спасен и не совершил бы злого дела, которое уже близилось к своей мрачной развязке. Но этот роковой исход был делом его собственных рук; яма была вырыта им самим; мрак, сгущавшийся вокруг него, был тенью, которую отбрасывала его собственная жизнь.

Его жена закрыла дверь и тут же у порога бросилась перед ним на колени. Она протягивала к нему руки, умоляя сжалиться над ней, ибо она вмешалась, только боясь кровопролития.

— Так, так! — сказал Джонас, глядя на нее сверху вниз и с трудом переводя дыхание. — Вот с кем ты водишь компанию, когда меня нет дома. Ты в заговоре с этими людьми, да?

— Право же, нет! Я ничего не знаю о ваших тайнах, не знаю, что все это значит. После того как я уехала из дому, я видела мистера Пинча всего один раз — нет, всего два раза — до сегодня.

— Ага! — насмеялся Джонас, придравшись к этой оговорке. — Всего раз, или всего два? Что же верней? Может, два раза да один раз? Три раза! А еще сколько, лживая ты дрянь?

Он сделал сердитое движение рукой, и она боязливо отшатнулась: красноречивое движение, таившее в себе жестокую правду!

— А еще сколько раз? — повторил он.

— Ни одного. В то утро и сегодня, и еще один раз — он собирался уже ответить ей, когда начали бить часы. Он вздрогнул, остановился и прислушался, казалось вспомнив какое-то дело или тайный замысел, сокрытый в его груди и вновь вызванный к жизни этим напоминанием об уходящих часах.

— Не валяйся! Встань!

После того как он помог ей подняться, дернув ее за руку, он продолжал:

— Слушайте меня, молодая особа, да не хнычьте без причины, а не то я вам ее доставлю. Если я еще раз застану его в моем доме или узнаю, что ты его где-нибудь видела, ты в этом расскаешься. Если ты не будешь глуха и нема во всем, что касается моих дел, пока я не позволил тебе говорить и слушать, ты в этом расскаешься. Если ты не исполнишь всего, что я прикажу, ты в этом расскаешься. Теперь слушай. Который час?

— Минуту назад пробило восемь.

Он пристально взгляделся в нее и сказал, старательно и отдельно выговаривая слова, будто заучил их наизусть:

— Я был в дороге день и ночь и очень устал. Я потерял деньги, и от этого мне не легче. Принеси мне ужин в пристройку внизу и приготовь складную кровать. Я буду спать там сегодня, а может быть и завтра; если я просплю весь завтрашний день, тем лучше, мне надо заспать все это, если только я смогу. Старайся, чтобы в доме было тихо, и не буди меня. И не позволяй никому будить меня. Дай мне покой.

Она ответила, что сделает, как он велит. И это все?

— Как! Тебе надо везде лезть и обо всем расспрашивать? — злобно отозвался он. — Что еще тебе нужно знать?

— Я ничего не хочу знать, Джонас, кроме того, что ты говоришь мне сам. Я давно потеряла всякую надежду на откровенность между нами.

— Еще бы, я думаю! — проворчал он.

— Но если ты скажешь мне, чего ты хочешь, я все сделаю, чтобы угодить тебе. И я не считаю это заслугой, отец с сестрой мне не друзья, и я очень одинока. Я смирилась и во всем покорна тебе. Ты сказал, что сломаешь мою волю, — и сломал. Не растопчи же моего сердца!

Говоря это, она отважилась положить руку ему на плечо. Он ей позволил, торжествуя, и вся низкая, презренная, корыстная, жалкая душонка этого человека глядела на нее в эту минуту его злыми глазами.

Только в эту минуту: ибо, снова вспомнил о чем-то своем, он ворчливо приказал ей слушаться и немедленно исполнить все, что он велел. После того как она ушла, он несколько раз прошелся из угла в угол, все время не

разжимая правой руки, словно держа в ней что-то, хотя в ней ничего не было. Наскучив этим, он бросился в кресло и засучил правый рукав, по-видимому размышляя о том, хватит ли в ней силы, и все так же держа ее стиснутой в кулак. Он сидел в кресле, задумавшись и уставясь глазами в землю, когда пришла миссис Гэмп сказать, что маленькая комнатка во флигеле готова. Не будучи вполне уверена в том, как ее примут после вмешательства в ссору, миссис Гэмп решила задобрить своего патрона, проявив трогательное участие к мистеру Чаффи.

— Как он себя чувствует, сэр? — спросила она.

— Кто? — отозвался Джонас, воззрившись на нее.

— Ну, разумеется! — отвечала почтенная матрона, улыбаясь и приседая. — О чем я только думаю? Вас же не было тут, сэр, когда на него нашло. Никогда в жизни не видывала, чтобы на них, бедняжек, так находило, кроме разве одного больного тех же лет, за которым я приглядывала: служил он в таможне, а по фамилии был родной отец миссис Гаррис, и так прекрасно пел, мистер Чезлвит, что вряд ли вам доводилось слышать, а голос — совершенно как губная гармоника на басах; бывало, вшестером его никак не удержат в то время, а пена бьет — просто ужас!

— Чаффи, да? — равнодушно спросил Джонас, видя, что она подходит к старику и глядит на него. — Гм!

— Голова у бедняжки такая горячая, утюг нагреть можно. И ничего нет удивительного, разумеется; вспомнить только, что он тут говорил!

— Говорил? — отозвался Джонас. — Что же он говорил?

Миссис Гэмп приложила руку к сердцу, чтобы унять волнение, и, закатив глаза, ответила слабым голосом:

— Самые ужасные вещи, мистер Чезлвит, каких я просто не слыхивала! Вот папаша миссис Гаррис, так тот ничего не говорил, когда на него находило, — кто говорит, а кто и нет, — разве когда опомнится, спросит, бывало: „Где же Сара Гэмп?“ Ну, право же, сэр, когда мистер Чаффи вдруг спрашивает, „кто лежит мертвый наверху...“

— Кто лежит мертвый наверху? — повторил Джонас, вскакивая в ужасе.

Миссис Гэмп кивнула и, сделав вид, будто проглотила что-то, продолжала:

— Кто лежит мертвый наверху, так он и сказал, прямо как в библии, и где мистер Чезлвит, у которого единственный сын; а потом пошел наверх, заглянул во все кровати, обыскал все комнаты, приходит сюда и шепчет тихонько себе под нос, что дело нечисто и все такое, и до того это меня

перевернуло, не стану врать, мистер Чезлвит, что ежели бы не капелька спиртного, а я его и в рот почти не беру, только всегда лучше знать, где оно стоит, на всякий случай, мало ли что может стрястись, ничего на свете нет верного.

— Да он рехнулся, старый дурак! — воскликнул Джонас, сильно встревожившись.

— Я тоже так думаю, сэр, — сказала миссис Гэмп, — не стану вас обманывать. По-моему, сэр, за мистером Чаффи надо приглядывать (осмелюсь сказать), а не оставлять на свободе, чтобы он никого не беспокоил и не досаждал вашей милой женушке, как сейчас.

— Ну, кто его слушает! — возразил Джонас.

— Все-таки от него беспокойство, сэр, — сказала миссис Гэмп. — Никто его не слушает, а все-таки нехорошо.

— Ей-богу, ваша правда, — сказал Джонас, глядя с сомнением на предмет их разговора. — Пожалуй, надо бы запереть его.

Миссис Гэмп улыбнулась, потирая руки, покачала головой и выразительно потянула носом воздух, словно чуя поживу.

— Не возьметесь ли вы... не возьметесь ли вы ходить за этим слабоумным, в какой-нибудь из свободных комнат наверху? — спросил Джонас.

— Мы вдвоем с моей приятельницей — одна дежурит, другая свободна — могли бы за ним ходить, мистер Чезлвит, — ответила сиделка. — Берем мы недорого, рады бы дешевле, да никак нельзя, ну да по знакомству можно сделать скидку. Мы с Бетси Приг, сэр, возьмем за мистера Чаффи недорого, — говорила миссис Гэмп, склонив голову набок и разглядывая мистера Чаффи, словно он был тюком товара, из-за которого она торговалась, — а уж ходить будем — останетесь довольны. Бетси Приг сколько выходила полоумных, знает наизусть все их повадки: когда капризничают, самое верное средство посадить их поближе к огню, мигом успокоятся.

Пока миссис Гэмп рассуждала в этом духе, Джонас опять принялся расхаживать взад и вперед, исподтишка поглядывая на дряхлого конторщика. Вдруг он остановился и сказал:

— Надо за ним присматривать, конечно, а то он мне наделает бед. Что вы на это скажете?

— Похоже на то! — отвечала миссис Гэмп. — Сколько было таких случаев в моей практике, сэр, могу вас уверить.

— Ну, так походите за ним пока, а потом — позвольте! — да, дня через три приводите и ту, другую женщину, тогда посмотрим, может и

договоримся. Скажем, вечером, часов в девять или десять. А пока что не спускайте с него глаз да держите язык за зубами. Он совсем из ума выжил, скоро на людей бросаться начнет.

— Еще бы! — поддакнула миссис Гэмп. — Даже хуже!

— Так вот, глядите за ним, заботьтесь, чтобы он не натворил чего-нибудь, да помните, что я вам сказал.

Предоставив миссис Гэмп повторять все, что было ею сказано, и приводить в доказательство своей надежности и памяти — множество похвал, почерпнутых среди самых замечательных изречений знаменитой миссис Гаррис, он спустился в приготовленную для него комнатку и, стянув с себя верхнее платье и сбросив сапоги, выставил их за дверь, потом запер ее. После этого он позаботился повернуть ключ в замке так, чтобы любопытным не повадно было заглядывать в замочную скважину; приняв эти предосторожности, он уселся ужинать.

— Ну, мистер Чафф, — проворчал он, — с вами нетрудно будет справиться. Нет никакого смысла останавливаться на полдороге, и пока я еще здесь, я уж позабочусь о вас. Когда меня не будет, можете говорить что хотите. Однако это чертовски странно, — прибавил он, отодвигая нетронутую тарелку и угрюмо шагая из угла в угол, — что именно сейчас его бредни приняли такой оборот.

Несколько раз пройдясь по комнатке из угла в угол, он сел на другой стул.

— Я говорю „именно сейчас“, а почему я знаю, может быть он и всегда нес такую же чепуху. Старый пес! Заткнуть бы тебе глотку!

Он опять зашагал по комнате все так же беспокойно и неуверенно, потом сел на кровать, опершись подбородком на руку и глядя на стол. Он глядел на него очень долго, потом, вспомнив про свой ужин, снова пересел на стул возле стола и с жадностью набросился на еду, но не как голодный, а словно решив, что так нужно. Он и пил основательно, но вдруг, остановившись на половине глотка, то вскакивал и принимался ходить, то пересаживался на другое место и опять вскакивал и принимался ходить, то снова подбегал к столу и набрасывался на еду с жадностью.

Уже темнело. По мере того как ложилась вечерняя мгла, сгущаясь в ночь, другая тень, таившаяся в нем самом, надвигалась на его лицо и изменяла его — не сразу, но медленно-медленно; оно становилось все темней и темней, все резче и резче; тень омрачала его все больше и больше, пока не сгустилась черная тьма и в нем и вокруг него.

Комната, в которой он заперся, была на первом этаже, с задней стороны дома. Она освещалась грязным люком, и дверь в стене вела в

крытый переход, или тупик, где после пяти или шести часов вечера было мало прохожих, да и в другое время им редко пользовались. Этот тупик выходил на соседнюю улицу.

Участок, на котором стояла пристройка, был прежде двором, а после его застроили и помещение отвели под контору. Но надобность в ней миновала по смерти человека, который ее построил; и помимо того, что она служила изредка вместо спальни для гостей и что старый конторщик занимал ее когда-то (но это было много лет назад), как присвоенный ему апартамент. Энтони Чезлвит и сын мало ею пользовались. Это была грязная, вся в пятнах и подтеках развалина, похожая на погреб; по ней проходили водопроводные трубы, которые по ночам, в самое неожиданное время, вдруг начинали всхлипывать и хрипеть, словно захлебываясь.

Дверь, ведущая в темный тупик, очень давно не отпиралась, но ключ всегда висел на месте, висел он там и сейчас. Джонас так и полагал, что он заржавел, и потому принес в кармане пузырек с маслом и перо, которым старательно смазал ключ и замок. Он был все время без сюртука и в одних носках. Он тихонько забрался в постель и, ворочаясь с боку на бок, смял белье и подушку. В его беспокойном состоянии сделать это было нетрудно.

Поднявшись с постели, он достал из чемодана, который сразу же по возвращении велел принести сюда, пару грубых башмаков и надел их на ноги; сверху натянул кожаные гамашы с ремешками, какие носят в деревне. Он застегивал их не торопясь. Наконец вынул простую бумажную блузу из темной грубой ткани, которую надел прямо на белье, а также поярковую шляпу — свою он нарочно оставил наверху. Потом сел у дверей, с ключом в руках, и стал ждать.

Света он не зажигал. Время тянулось долго и тоскливо до ужаса. На соседней колокольне упражнялись в своем искусстве звонари, и колокола дребезжали, раздражая его до сумасшествия. Черт бы побрал эти горластые колокола! Они как будто знают, что он сидит у дверей и слушает, и своим многоголосым звоном оповещают о том весь город! Неужто они никогда не уймутся?

Они умолкли наконец, и наступившая тишина была такой неожиданной и пугающей, что казалась прелюдией к какому-то страшному шуму. Шаги во дворе! Двое прохожих. Он отступил от двери на цыпочках, словно они могли его видеть сквозь деревянную панель.

Они прошли мимо, разговаривая (он слышал все от слова до слова) о скелете, который вырыли вчера на каких-то земляных работах поблизости и который был, как полагали, скелетом убитого. „Так что убийство, как видите, не всегда раскрывается“, — сказал один другому, когда они

заворачивали за угол.

Т-с-с!

Он вставил ключ в замок и повернул его. Дверь поддалась не сразу, но потом все же открылась, и к ощущению жара и сухости во рту примешался вкус ржавчины, пыли, земли и гниющего дерева. Он выглянул за дверь, вышел и запер ее за собой.

Путь был свободен и все спокойно, когда он крадучись вышел из дому.

Глава XLVII

Конец предприятия мистера, Джонаса и его друга.

Неужели люди, шагавшие по темным улицам, не вздрагивали безотчетно, когда он неслышно приближался к ним сзади? Когда он крался мимо, неужели ни один спящий ребенок не чувствовал смутно, что тень злодея, падая на его кроватку, тревожит его невинный сон? Неужели не выла собака и не рвалась, гремя цепью, растерзать его? И не скреблась крыса, почуяв задуманное им и силясь прогрызть себе ход туда, где она могла бы жадно пожирать приготовленное ей пиршество? А сам он разве не оглядывался через плечо, желая увериться, не оставляют ли следов на пыльной мостовой его торопливые шаги и нет ли на ней уже сейчас мокрых и вязких пятен той красной жижи, которой были обагрены босые ноги Каина^[131]?

Он направлялся к большой дороге, идущей на запад, и скоро достиг ее, проехав часть пути; затем высадился и опять пошел пешком. Значительное расстояние он ехал на империале дилижанса, который нагнал его по дороге; когда дилижанс свернул в сторону, он заплатил кучеру обратной почтовой кареты, чтобы тот подвез его; потом свернул в поле и пустился наперерез, сократив расстояние мили на две, прежде чем опять выйти на дорогу. Наконец, как и было им задумано, он нагнал тяжелый, медленно тащившийся ночной дилижанс, который останавливался везде где только можно и теперь стоял перед харчевней, покуда возница и кондуктор там закусывали.

Он сторговал себе наружное место и занял его. И не сходил до тех пор, пока не очутился в нескольких милях от цели своего путешествия.

Всю ночь! Обыкновенно думают, будто природа спит по ночам. И напрасно думают, ибо кому же лучше знать, как не ему?

Рыбы дремали, быть может, в холодных, прозрачных, сверкающих ручьях и речках, птицы притихли на ветвях деревьев, стада успокоились на пастбищах и в хлевах, уснули и люди. Но что из того, если мрачная ночь была на страже, если она не смыкала глаз, если тьма подстерегала его так же, как и свет! Величественные деревья, луна и сияющие звезды, тихо веющий ветер, осененная тенью тропинка, широкие, светлые поля — все они были на страже! Не было ни одной травинки, ни одного колоса, которые не следили бы за ним, и казалось, чем тише они стояли, тем зорче

и пристальнее они наблюдали за ним.

И все же он уснул. Проезжая мимо этих божьих стражей, он спал; он так и не изменил своего намерения. Стоило ему забыться тревожным сном, как воспоминание о нем возвращало его к действительности. Но совесть не проснулась в нем и не заставила бросить задуманное.

Ему приснилось, будто он лежит спокойно в своей кровати и думает о лунной ночи и о шуме колес, как вдруг старый конторщик просунул голову в дверь и кивнул ему. Повинуясь этому знаку, он немедленно вскочил — уже одетый в то самое платье, которое было на нем, — и вошел за стариком в какой-то чужой город, где названия улиц были написаны на стенах незнакомыми ему буквами; но это его не удивило и не встревожило, ибо он припомнил во сне, что бывал здесь и раньше. Хотя улицы круто поднимались в гору и, чтобы попасть с одной на другую, надо было спускаться с большой высоты по слишком коротким лестницам и по канатам, которые были протянуты к гулким колоколам и раскачивались и дрожали, когда за них цеплялись, однако после первого невольного трепета опасность перестала страшить его, его беспокоила лишь одежда, совсем не подходившая для празднества, которое должно было скоро начаться и в котором он принимал участие. Народ уже начал заполнять улицы, множество людей стекалось отовсюду, рассыпая цветы и давая дорогу всадникам на белых конях, как вдруг из толпы вырвался кто-то страшный, крича, что настал конец света. Крик разнесся повсюду, все стремглав бросились на Страшный суд, и началась такая давка, что Джонас со своим спутником (который постоянно менялся и даже две минуты сряду не бывал одним человеком, хотя он и не замечал, как уходит один и приходит другой) спрятался под воротами, со страхом наблюдая за толпой, где было много знакомых ему лиц и много таких, которых он не знал, но во сне думал, что знает; и вдруг над толпой, пробившись с трудом, поднялась голова — безжизненная и бледная, но все та же какой он ее знал, — и упрекнула его в том, что по его вине настал этот грозный день. Они бросились друг на друга. Сияясь высвободить руку, в которой он держал дубину, и нанести удар, который так часто представлялся ему в мыслях, он проснулся, чтобы увидеть восход солнца и вспомнить о своем замысле наяву.

Солнцу он обрадовался. И шум, и движение, и встрепенувшийся мир — все это отвлекало внимание днем. Недреманного ока ночи — бодрствующей, бдительной, молчаливой и зоркой ночи, у которой столько досуга подслушивать его преступные мысли, — он страшился больше всего. Ночью ничто не слепит глаз. Даже ореол славы меркнет ночью на усеянном телами поле битвы. Каким же покажется тогда кровный родич

славы — незаконнорожденное убийство?

Да! Теперь он шел прямо к цели и не прятался сам от себя. Убийство! Он приехал для того, чтобы совершить убийство.

— Дайте мне сойти здесь, — сказал он.

— Не доезжая до города? — заметил кучер.

— Я могу сойти, где мне угодно, надеюсь?

— Вы сели, где вам было угодно, и можете сойти, когда угодно. Мы без вас не умрем с горя, не умерли бы, если б и сроду вас не видали. Слезайте поживей — вот и все.

Кондуктор тоже сошел и дожидался на дороге, чтобы получить с него за проезд. В своем недоверии и подозрительности ко всему окружающему Джонас подумал, что кондуктор смотрит на него не просто, а с любопытством.

— Чем это я вам понравился? — спросил он.

— Вот то-то, что ничем, — ответил кондуктор. — Если хотите знать свою судьбу, я вам погадаю: вы не утонете. Утешайтесь этим.

Не успел он ответить или хотя бы отвернуться, как кучер велел ему убираться ко всем чертям и положил конец разговорам, стегнув его бичом на прощанье. В ту же минуту кондуктор вскочил на подножку, и они укатили с громким хохотом, оставив его посреди дороги грозить им вслед кулаком. Одумавшись, он был скорее доволен тем, что его приняли за неотесанного деревенского мужлана, и даже поздравлял себя, увидев в этом доказательство того, как удачно он переоделся.

Зайдя в рощицу при дороге — не в том месте, а двумя-тремя милями дальше, — он выломал себе толстую, крепкую, сучковатую дубину и, сидя под стогом, коротал время, строгая ее, очищая от коры, подравнивая ножом макушку.

День проходил. Утро, полдень, вечер. Закат.

В эту ясную и мирную пору из города по уединенной дороге выехали в двуколке двое людей. Это был тот самый день, когда мистер Пексниф собирался пообедать с Монтегю. Он сдержал слово и теперь возвращался домой.

Гость провожал его, рассчитывая вернуться удобной дорогой через поля, которую мистер Пексниф вызвался ему показать. Джонасу был известен этот план. Он торчал во дворе гостиницы, пока они обедали, и слышал, как они давали распоряжения.

Оба седока разговаривали громко и весело, и их было слышно довольно далеко, несмотря на стук колес и топот копыт. Двуколка с шумом подъехала туда, где от каменной ограды начиналась тропа и где им

надлежало расстаться. Здесь они остановились.

— Увы, вот оно, это место, к сожалению, — произнес мистер Пексниф, — слишком, слишком скоро, дорогой мой. Так держитесь тропинки, а когда дойдете до опушки, ступайте прямо через лесок. Тропинка там становится уже, но пропустить ее невозможно. Когда мы с вами опять увидимся? Надеюсь, скоро?

— Надеюсь, что да, — ответил Монтегю.

— Всего хорошего!

— Всего хорошего. И приятной поездки!

Пока мистер Пексниф еще не скрылся из виду и то и дело оборачивался, чтобы помахать ему шляпой, Монтегю стоял посреди дороги, улыбаясь и делая ручкой. Но как только его новый компаньон исчез за поворотом и это притворство стало уже не нужно, он сел на каменную ступеньку с таким изменившимся лицом, словно вдруг постарел лет на десять.

Он покраснел от вина, но был невесел. Его план удался, но незаметно было, чтобы он торжествовал. Быть может, его утомила необходимость выдерживать трудную роль перед своим собеседником; возможно, что вечер нашептывал что-то его совести; а возможно (и так оно и было), что пелена мрака окутывала его, угашая все мысли, кроме смутного предчувствия и предвидения неизбежной развязки.

Если существуют жидкости, — а мы знаем, что они есть, — которые перед ветром, дождем или морозом сжимаются и уходят в стеклянные артерии, то отчего же более сложному раствору крови не чуют, в силу присущих ей свойств, что уже подняты руки, для того чтобы расточить и пролить ее, и не холодеть, замедляя свой бег в жилах, как холодела его кровь в этот час?

Она так похолодела, хотя воздух был теплый, и так замедлила свой бег, что он поднялся на ноги, весь дрожа, и поспешно зашагал снова. И сразу же остановился, не зная, идти ли ему по уединенной и безлюдной тропинке, или вернуться на дорогу.

Он выбрал тропинку.

Сияние уходящего солнца било ему в лицо. Хоры птиц звучали у него в ушах. Душистые лесные цветы пестрели вокруг. Соломенные кровли бедных домиков виднелись вдали, и ветхая серая колокольня, осененная крестом, вставала между ним и надвигающимся мраком.

Он никогда не понимал урока, заключавшегося во всем этом; он всегда равнодушно отворачивался и насмехался над этим; но, прежде чем спуститься в низину, он еще раз с грустью взглянул на вечернее небо.

Потом стал спускаться все ниже, и ниже, и ниже в долину.

Она привела его к лесу — частому, густому, тенистому лесу, по которому шла, извиваясь, тропа, превращаясь постепенно в еле заметную тропинку. Он остановился на опушке, прежде чем войти, потому что тишина этого леса пугала его.

Последние лучи солнца освещали его искоса, ложась золотой дорожкой среди стволов и ветвей, и начинали гаснуть у него на глазах, послушно уступая место подползавшим сумеркам. Было до такой степени тихо, что мягкий, скрадывавший звуки мох на стволах старых деревьев, казалось, вырастал из этой тишины и был ее порождением. Те деревья, которые в зимнее время поддались ветрам и пошатнулись, но не упали на землю, а прислонились к другим, лежали сухие и голые в их густолиственных объятиях, словно не желая нарушать общий покой шумом своего падения. Молчаливые прогалины уходили в чащу леса, в его самую потаенную глубь, вначале похожие то на придел храма, то на монастырь, то на руины, лишенные кровли, — дальше они терялись в полной шорохов и мрака таинственной глуши, где искалеченные пни, кривые сучья, оплетенные плющом стволы, дрожащая листва и лишенные коры старые деревья, вытянувшиеся на земле во весь рост, перемешались в живописном беспорядке.

Но как только угас солнечный свет и вечер спустился над лесом, он решился войти туда. Раздвигая то тут, то там кусты терновника или ветви, нависшие над тропой, он все больше углублялся в лес и вскоре скрылся в его чаще. Время от времени в узком просвете мелькала его фигура или резкий треск тонкого сучка отмечал его путь — и после этого его больше никто не видел.

Не видел никто — кроме одного человека. Этот человек, раздвигая руками листву и ветви, вскоре вынырнул на другом конце леса, близ того места, где тропинка опять выходила на дорогу.

Что такое оставил он в лесу, если выбежал из него опрометью, как из ада?

Тело убитого человека. В глухом, безлюдном месте оно лежало на прошлогодних листьях, дубовых и буковых, лежало так же, как упало, ничком. Смачивая и окрашивая листья, служившие убитому подушкой, впитываясь в болотистую почву, словно стремясь скрыться от людских глаз, растекаясь между свернувшимися листьями, словно даже они, лишенные жизни, отстранялись и отрекались от него и сжимались от ужаса, — расходилось темное, темное пятно, обагрившее всю летнюю ночь от земли до небес.

Совершивший это деяние выбежал из леса так стремительно, что вокруг него градом посыпались зеленые ветки, сорванные им на бегу, и с размаху повалился на траву. Но скоро он вскочил на ноги и, держась поближе к изгороди, побежал к дороге, согнувшись в три погибели. Как только он добрался до дороги, он перешел на быстрый шаг, направляясь к Лондону.

Он не жалел о том, что сделал. Он пугался, когда думал об этом, — а когда он об этом не думал! — но ни о чем не жалел. Он испытывал страх и ужас перед лесом, пока был в нем, но, выйдя из лесу, он странным образом перенес все свои страхи на ту темную комнату, которую оставил запертой у себя дома. Теперь, на обратном пути, она казалась ему несравненно более мрачной и пугала больше, чем лес. Там была заперта гнусная тайна, и все страхи поджидали его там; ему представлялось, что именно там, а вовсе не в лесу. Он прошел около десяти миль, потом остановился в кабачке, чтобы дожждаться дилижанса, который, как он знал, должен был скоро пройти мимо, направляясь в Лондон; он знал также, что это не тот дилижанс, с которым он приехал из Лондона, тот шел из другого места. Он сел на скамью перед дверью, рядом с человеком, курившим трубку. Заказав себе пива и отхлебнув из кружки, он предложил выпить своему соседу; тот поблагодарил и принял угощение. Джонас не мог не подумать, что, если бы этот человек только знал, он вряд ли стал бы с таким удовольствием пить из одной кружки с ним.

— Хороший вечер, хозяин! — сказал этот прохожий. — И редкий закат.

— Я его не видел, — торопливо ответил Джонас.

— Не видели? — спросил прохожий.

— Как же, к черту, мог я его видеть, если я спал?

— Спали! Да, да. — Он был, по-видимому, удивлен такой внезапной раздражительностью и больше не заговаривал, предпочитая курить свою трубку молча. Они просидели так не очень долго, когда в доме послышался стук.

— Это что такое? — вскрикнул Джонас.

— Право, не могу сказать, — ответил прохожий.

Больше он не стал расспрашивать, потому что вопрос вырвался у него помимо воли. Но в ту минуту он думал о запертой комнате; о том, что, быть может, кто-нибудь постучится в дверь по какому-нибудь непредвиденному случаю; что домашние встревожатся, не получив ответа, взломают замок, найдут комнату пустой, запрут дверь, выходящую в тупик, и ему нельзя будет войти в дом, не показавшись всем в этом одеянии; это поведет к

болтовне, болтовня к разоблачению, разоблачение — к смерти. И в эту-то минуту, как нарочно, по какому-то странному стечению обстоятельств, раздался стук.

Стук все не умолкал, словно предостерегающее эхо ужасной действительности, вызванной им из небытия. Не в состоянии больше сидеть и прислушиваться, он заплатил за пиво и снова пустился в путь. И оттого что он прятался весь день в незнакомых ему местах, шел всю ночь по безлюдной дороге, в необычном платье, и оттого что в голове у него все спуталось и начиналось что-то вроде бреда, он не раз останавливался, озираясь по сторонам, в надежде, что все это только снится ему.

И все-таки он ни о чем не жалел. Нет. Он слишком ненавидел этого человека и слишком долго и отчаянно стремился от него избавиться. Если бы все это могло повториться еще раз, он еще раз убил бы его. Его озлобленные и мстительные чувства не так легко было усмирить. Теперь в нем было не больше раскаяния или угрызений совести, чем в то время, когда он замышлял убийство.

Страх овладел им до такой степени, что он и сам не ожидал, и он просто не в силах был с собой справиться. Он до потери рассудка боялся этой дьявольской комнаты, боялся не только за себя — мрачно, люто, до бешенства, но боялся и себя, того, что он был как бы неотделим от этой комнаты, того, что он должен быть там, но отсутствует, — и он погружался в ее таинственные ужасы и, рисуя в своем воображении эту отвратительную, обманчиво тихую комнату во все темные часы двух последних ночей, со смятой постелью, где его не было, хотя все думали, что он там, он становился как бы собственным двойником и призраком, одновременно гонителем и гонимым.

Когда подошел дилижанс, что произошло довольно скоро, Джонас занял наружное место и помчался дальше, по направлению к дому. И тут, очутившись среди пассажиров, — это были по большей части местные фермеры, — он сперва вообразил со страха, будто они слышали про убийство и станут ему рассказывать, что тело уже найдено, хотя он отлично знал, что этого не могло еще случиться, если принять во внимание, когда и где совершено было убийство. Но, хотя он знал и понимал, что это в порядке вещей, их неосведомленность все же ободрила его — до того даже, что он поверил, будто тела никогда не найдут, и стал размышлять о такой возможности. Полагаясь на нее и измеряя время быстрым полетом своих преступных мыслей, ходом событий до того, как он пролил кровь, и лихорадочной сменой осаждавших его бессвязных и беспорядочных видений, к рассвету он стал смотреть на это убийство, как на дело далекого

прошлого, и уже считал себя в относительной безопасности, раз оно до сих пор не раскрыто. До сих пор! Когда вот это солнце, заглянувшее в лес и позолотившее своим рассветным лучом лицо убитого, не далее как вчера вечером, при заходе, видело его живым и старалось вернуть к мысли о небесах!

Но вот и снова лондонские улицы. Т-с-с!

Было всего пять часов. У него оставалось достаточно времени, чтобы добраться до дома незамеченным, прежде чем на улицах станетлюдно, если только, за эти сутки не случилось ничего, что грозило бы ему разоблачением. Он спрыгнул с дилижанса, не беспокоя кучера просьбой остановить лошадей, торопливо перебежал дорогу и, нырнув сначала в один переулок, потом в другой и все время избирая окольный путь, очутился, наконец, по соседству с собственным жилищем. Тут он стал особенно осторожен: то и дело останавливался и оглядывал лежащую перед ним улицу, потом быстро пробегал ее и опять останавливался, чтобы оглядеть следующую, и так далее.

Темный тупик был пуст, когда в него заглянуло лицо убийцы. Он подкрался к двери на цыпочках, словно боясь потревожить свой воображаемый покой.

Он прислушался. Ни звука. Как только он повернул ключ дрожащей рукой и тихонько толкнул дверь коленом, безумный страх овладел им.

А что, если он сейчас увидит перед собой убитого!

Он обвел комнату боязливым взглядом. Но нет, здесь ничего не изменилось.

Он вошел, запер за собой дверь, старательно изваял ключ в отсыревшей золе очага и повесил на старое место. Он снял свое маскардное одеяние, связал его в узел, чтобы еще до ночи вынести и потопить в реке, и запер его в шкаф. Приняв эти предосторожности, он разделся и лег в постель.

Мучительная жажда, огонь, пожиравший его, когда он накрылся с головой одеялом, и страх перед комнатой, еще усилившийся оттого, что он не мог ее видеть из-под одеяла; нечеловеческое напряжение, с которым он прислушивался ко всякому звуку, воображая, что каждый, даже самый незначительный шум является предвестием того стука, который разгласит тайну; дрожь, с какой он вскакивал с постели и подбегал к зеркалу, воображая, что преступление написано у него на лице, а потом опять укладывался и хоронился под одеяло, слушая, как его собственное сердце отстукивает: убийца, убийца, убийца! — какими словами можно описать подобный ужас!

Близилось утро. В доме раздавались шаги. Он слышал, как поднимали шторы и открывали ставни, как кто-то крадучись, на цыпочках, несколько раз подходил к его двери. Он пытался подать голос, но во рту у него пересохло, словно он был полон песку. Наконец он сел на кровати и крикнул:

— Кто там?

Это была его жена.

Он спросил ее, который час. Девять.

— Никто... никто не стучался ко мне вчера? — едва выговорил он. — Я, кажется, слышал стук, но от меня нельзя было добиться ответа, разве что вышибли бы дверь.

— Нет, никто, — ответила она. Это было хорошо. Он ждал ее ответа, затаив дыхание. Это принесло ему облегчение, если что-нибудь могло его принести.

— Мистер Неджет хотел тебя видеть, — продолжала она, — но я сказала ему, что ты устал и просил тебя не беспокоить. Он ответил, что это не так важно, и ушел. А сегодня, очень рано утром, когда я открывала окно, чтобы проветрить комнату, я увидела его на улице; но к нам он больше не заходил.

Видела его на улице этим утром! Очень рано! Джонас задрожал при мысли, что он и сам чуть было не наткнулся на Неджета — того Неджета, который постоянно избегал людей и старался проскользнуть незамеченным, чтобы не выдать своей тайны, на того Неджета, который никогда никого не замечал.

Он велел жене приготовить завтрак и собрался идти наверх, переодевшись в платье, которое снял, войдя в эту комнату, и которое с тех пор так и висело за дверью. Всякий раз при мысли о встрече с домашними впервые после того, что он совершил, его охватывал тайный страх, и он мешкал у дверей под разными предлогами, чтобы они могли увидеть его, не глядя ему в лицо; одеваясь, он оставил дверь приоткрытой и приказывал то распахнуть настежь окна, то полить мостовую, приучая их к своему голосу. Но сколько он ни оттягивал время всеми способами, так, чтобы успеть перевидать их всех и поговорить со всеми, он долго не мог набраться храбрости и выйти к ним и все стоял у двери, прислушиваясь к отдаленному шуму их голосов.

Но нельзя же было оставаться тут вечно, и в конце концов он вышел к ним. Бросив последний взгляд в зеркало, он понял, что лицо выдаст его, но это могло быть и потому, что он гляделся в зеркало с такой тревогой. Он не смел ни на кого взглянуть, боясь, что все следят за ним, но ему показалось,

что сегодня они уж очень молчаливы.

И как он ни держал себя в руках, он не мог не прислушиваться и не мог скрыть того, что все время прислушивается. Вникал ли он в их разговор, старался ли думать о другом, говорил ли сам, или молчал, или с решимостью отсчитывал глухое тиканье часов за своей спиной, он вдруг забывал обо всем и начинал прислушиваться словно замороженный. Ибо он знал, что это должно прийти; а пока его кара, и мука, и отчаяние заключались в том, чтобы прислушиваться и ждать, когда оно придет.

Т-с-с!

Глава XLVIII

содержит известия о Мартине и Марке, равно как и о третьем лице, уже знакомом читателю. Показывает сыновнюю преданность в самом непривлекательном виде и проливает сомнительный свет на одно очень темное место.

Том Пинч с сестрою сидели за ранним завтраком у открытого окна, которое Руфь сама устала горшками с цветочной рассадой. Она вдела Тому в петлицу цветок герани, для того чтобы придать его туалету полетному свежий и нарядный вид (пришлось приколоть цветок, иначе этот славный Том непременно потерял бы его). По всей улице сновали продавцы цветов, выкрикивая свой товар; заблудившаяся пчела, попав между двумя оконными рамами, билась головой о стекло, стремясь вырваться на волю и воображая себя околдованной, оттого что это ей не удастся. А утро было такое ясное, какое редко приходится видеть; благорастворенный воздух ласкал Руфь и веял вокруг Тома, словно говоря: „Как поживаете, мои милые? Я прилетел издалека, нарочно для того, чтобы поздороваться с вами“. Словом, это был один из тех радостных дней, когда у нас является, или должно явиться, желание, чтобы все на земле были счастливы, ловили проблески летней поры в сердце и наслаждались прелестью летнего утра.

Завтрак был даже приятнее обыкновенного, хотя он и всегда бывал приятен. Маленькая Руфь теперь занималась с двумя ученицами, с каждой по три раза в неделю и по два часа каждый раз; а кроме того, она разрисовала несколько экранов и бюваров для визитных карточек и, тайком от Тома (может ли быть что-нибудь восхитительнее!), зашла в одну лавку, торговавшую такими вещами, не один раз заглянув сначала в окно, и, набравшись храбрости, спросила хозяйку, не купит ли она ее работу. Хозяйка не только купила, но и заказала еще. И сегодня Руфь призналась в этом брату и передала ему деньги в маленьком кошельке, нарочно для того связанном. Оба они взволновались, а быть может, и прослезились от радости (во всяком случае, известные нам источники этого не опровергают), но теперь все уже улеглось, и светлое солнце с тех самых пор, как зашло вчера, не видывало лица светлее, чем у Тома или чем у Руфи.

— Милая моя девочка, — сказал Том, так неожиданно переходя к новой теме, что даже не успел отрезать себе кусок хлеба, и нож у него

застрял в ковриге, — какой чудак наш хозяин! По-моему, он ни разу не был дома, после того как запутал меня в эту неприятную историю. Я начинаю думать, что он больше никогда не вернется домой! Какую загадочную жизнь ведет этот человек!

— Очень странную, не правда ли, Том?

— Действительно, — сказал Том, — надеюсь, что она только странная. Надеюсь, что в ней нет ничего худого. Иногда я начинаю в этом сомневаться. Мне надо будет с ним объясниться, — продолжал Том, кивая головой, как будто это была самая страшная угроза, — когда я его поймаю.

Два коротких стука в дверь прогнали с лица Тома угрожающее выражение, которое тут же сменилось удивлением.

— Вот так-так! — сказал Том. — Раненько для гостей! Это, наверно, Джон.

— Я... мне кажется, это не его стук, — заметила сестричка Тома.

— Нет? — сказал Том. — Но это, конечно, и не мой наниматель; не может быть, чтобы он приехал неожиданно в город, был направлен сюда мистером Фипсом и пришел за ключом от конторы. Это кто-то спрашивает меня, вот что! Войдите, пожалуйста!

Но едва посетитель вошел, Том Пинч, вместо того чтобы сказать: „Вы желали говорить со мной, сэр?“, или „Моя фамилия Пинч, сэр, разрешите спросить, что вам угодно?“, или вообще обратиться к нему с подобными сдержанными выражениями, воскликнул: „Боже милостивый!“ — и схватил его за обе руки, живейшим образом выражая радость и изумление.

Гость был тронут не меньше Тома, и оба они без конца пожимали друг другу руки, причем ни с той, ни с другой стороны не сказано было больше ни слова. Том опомнился первый.

— И Марк Тэпли тоже! — воскликнул Том, подбегая к порогу и пожимая руку кому-то еще. — Дорогой Марк, входите же. Как вы поживаете, Марк? Он все такой же, как был в „Драконе“, ничуть не постарел. Так как же вы поживаете, Марк?

— Необыкновенно весело, сэр, благодарю вас, — ответил мистер Тэпли. — Надеюсь, что вы в добром здоровье, сэр?

— Боже милостивый! — воскликнул Том, ласково похлопывая его по спине. — Какая это радость опять услышать его голос! Дорогой Мартин, садитесь. Моя сестра, Мартин. Мистер Чезлвит, душа моя! Марк Тэпли из „Дракона“, милая. Боже правый, вот это так сюрприз! Садитесь. Господи помилуй!

Том был до такой степени взволнован, что ни минуты не мог посидеть спокойно, но все время бегал от Марка к Мартину, пожимая попеременно

руки то тому, то другому и снова и снова представляя их своей сестре.

— Я помню день, когда мы расстались, Мартин, так ясно, как будто это было вчера, — воскликнул Том. — Какой это был день! И в какой вы были горячке! А помните, как я нагнал вас по дороге, Марк, когда я ездил за ним в двуколке, а вы ходили искать места? А вы, Мартин, помните, как мы с вами обедали в Солсбери вместе с Джоном Уэстлоком, а? Боже ты мой милостивый! Руфь, дорогая, — мистер Чезлвит. Марк Тэпли, голубка, — из „Дракона“. Еще две чашки с блюдечками, пожалуйста. Помилуй бог, как же я рад видеть вас обоих!

И тут он (как в свое время Джон Уэстлок при его появлении) бросился готовить для них бутерброды, но, не намазав маслом и одного куска хлеба, вспомнил еще что-то и побежал опять рассказывать; потом снова начал пожимать им руки, затем снова представил их своей сестре; потом снова проделал все то, что уже сделал однажды; но что бы он ни делал и что бы ни говорил — все это не могло и вполовину выразить его радость по поводу их благополучного возвращения.

Мистер Тэпли успокоился первым. По прошествии самого непродолжительного времени выяснилось, что он каким-то образом определил себя в официанты или в прислужники для всего общества, что было обнаружено, когда он отлучился на время в кухню и быстро вернулся с котелком кипящей воды, из которого налил чайник с невозмутимостью, свойственной ему одному.

— Сядьте и позавтракайте, Марк, — сказал Том. — Заставьте его сесть и позавтракать, Мартин.

— Я давно махнул на него рукой, он неисправим, — ответил Мартин. — Он все делает по-своему, Том. Вы бы извинили его, мисс Пинч, если бы знали ему цену.

— Она знает, господь с вами! — сказал Том. — Я ей рассказал про Марка Тэпли все, все решительно! Ведь рассказал, Руфь?

— Да, Том.

— Нет, не все, — возразил Мартин, понизив голос. — Самое лучшее о Марке Тэпли известно только одному человеку; и если б не Марк, он вряд ли остался бы жив, чтобы рассказать об этом.

— Марк! — настойчиво сказал Том Пинч. — Если вы не сядете сию минуту, я с вами поссорюсь!

— Что ж, сэр, — возразил мистер Тэпли, — уж лучше я послушаюсь, чем вас до этого доводить. Когда человека так хорошо встречают, это просто посягательство на его веселость; но глагол есть часть речи, которая обозначает существование, действие или страдание (вот и все, чему меня

учили из грамматики, да и того много), и если есть на свете живой глагол, то это я. Потому что я всегда существую, иногда действую и постоянно страдаю.

— Пока еще не веселы? — с улыбкой спросил Том.

— Не скажите, за морем я был довольно-таки весел, сэр, — отвечал мистер Тэпли, — и не без заслуги с моей стороны. Но человеческая природа в заговоре против меня, сэр; тут уж ничего не поделаешь. Придется завещать, сэр, чтобы на моей могиле написали: „Он был такой человек, что мог бы показать себя при случае, только случая ему не представилось“.

Облегчив таким образом душу, мистер Тэпли ухмыльнулся и обвел всех взглядом, а затем набросился на завтрак с аппетитом, который отнюдь не свидетельствовал о погибших надеждах или неодолимой тоске.

Мартин тем временем, придвинув стул поближе к Тому Пинчу и его сестре, рассказал им обо всем, что произошло в доме мистера Пекснифа, а также вкратце упомянул о тех невзгодах и разочарованиях, которые ему пришлось пережить после отъезда из Англии.

— За ту верность, с какой вы исполнили возложенное на вас поручение, Том, — сказал он, — и за всю вашу доброту и бескорыстие я никогда не смогу отблагодарить вас... Прибавьте благодарность Мэри к моей...

Ах, Том! Вся кровь отхлынула у него от щек и так бурно прилила к ним вновь, что чувствовать это было мучительно; но боль эта не могла сравниться с той, которая терзала его сердце.

— Прибавьте благодарность Мэри к моей, — продолжал Мартин, — и это будет единственное, чем мы можем выразить нашу признательность; но если б вы знали, что мы чувствуем, вы бы оценили ее, Том.

А если б они знали, что чувствует Том, — но этого не знала ни одна живая душа, — они тоже оценили бы его; без сомнения, оценили бы.

Том перевел разговор на другое. Он очень жалел, что не в силах говорить на тему, которая доставляла Мартину такое удовольствие, но в эту минуту он просто не мог. Ни капли зависти или горечи не было в его душе, но он был не в силах произнести твердым голосом ее имя.

Он спросил, что делает Мартин.

— Уже не покровительствовать вам, — отвечал Мартин, — но как-нибудь самому стать на ноги. Я пытался однажды в Лондоне, Том, и потерпел неудачу. Если вы мне поможете дружеским советом и руководством, то, я думаю, мне это удастся лучше. Я готов делать все, лишь бы своим трудом заработать себе на хлеб. Мои надежды не заходят дальше

этого.

Великодушный, благородный Том! Огорченный тем, что смирилась гордость его старого товарища, и тем, что в его голосе слышались теперь совсем другие ноты, он сразу же, сразу преодолел слабость, мешавшую ему справиться с глубоким волнением, и заговорил мужественно.

— Ваши надежды не заходят дальше этого? — воскликнул Том. — В том-то и дело, что заходят. Как вы можете говорить так? Вы будете счастливы с нею, Мартин. Они воспаряют к тому времени, когда вы сможете предъявить на нее права, Мартин. К тому времени, когда вы первый откажетесь верить, что когда-то падали духом и знали бедность, Мартин. Дружеский совет и руководство! Ну, разумеется. Но у вас будет совет и руководство лучше моих (хотя и не более дружеские). Вы посоветуетесь с Джоном Уэстлоком. Мы к нему отправимся немедленно. Сейчас еще так рано, что я успею отвести вас к нему на квартиру, перед тем как идти на службу, — это мне по дороге, — и оставлю вас там, чтобы вы поговорили с ним о своих делах. Так пойдемте же, пойдемте. Я теперь, знаете ли, человек занятой, — сказал Том с самой приятной из своих улыбок, — и не могу попусту терять время. Ваши надежды не заходят дальше этого? А по-моему, заходят. Я вас очень хорошо знаю, Мартин. Они скоро зайдут так далеко, что оставят всех нас позади.

— Да, но я, быть может, немножко изменился с тех пор, как вы меня знали, Том, — сказал Мартин.

— Что за пустяки! — вскричал Том. — С какой стати вам меняться? Вы говорите точно старик. Никогда не слыхал ничего подобного! Идем к Джону Уэстлоку, идем! Идемте, Марк Тэпли. Это все Марк виноват, и сомневаться нечего; и поделом вам, зачем брали такого брюзгу в компаньоны!

— С вами поневоле будешь веселым, мистер Пинч, — отвечал Марк Тэпли, у которого по всему лицу пошли морщинки от смеха. — С вами и приходский доктор будет веселым. Побывав у вас, человеку нетрудно стать веселым, разве только его опять понесет нелегкая в Соединенные Штаты!

Том засмеялся и, простившись с Руфью, поскорей повел Марка и Мартина на улицу, а затем и к Джону Уэстлоку — ближней дорогой, потому что ему пора было отправляться на службу, а он гордился тем, что всегда приходил вовремя.

Джон Уэстлок был дома, но, удивительное дело, сильно смутился, увидав их, а когда Том хотел войти в комнату, где он завтракал, сказал, что у него сидит незнакомый человек. Это был, по-видимому, весьма загадочный незнакомец, потому что Джон закрыл дверь и повел их в другую комнату.

Однако он очень обрадовался, увидев Марка Тэпли, и принял Мартина со свойственным ему радушием. Впрочем, Мартин чувствовал, что не внушает хозяину особенной симпатии, и раза два подметил, что он смотрит на Тома с сомнением, чтобы не сказать с жалостью. Он подумал, что знает этому причину, и покраснел при этой мысли.

— Я опасаюсь, что вы заняты, — сказал Мартин, когда Том рассказал, зачем они пришли. — Если вы назначите мне, другое время, более для вас удобное, я буду очень рад.

— Да, я занят, — отвечал Джон не совсем охотно, — но дело это такого рода, сказать по правде, что требует скорее вашего вмешательства, чем моего.

— Вот как? — отозвался Мартин.

— Оно касается одного из членов вашей семьи и носит весьма серьезный характер. Если вы будете так добры подождать, я с удовольствием сообщу вам с глазу на глаз, в чем оно заключается, чтобы вы могли судить, насколько оно важно для вас.

— А я тем временем должен уйти отсюда, нимало не задерживаясь, — сказал Том.

— Неужели ваше дело такое спешное, что вы не можете побыть с нами хоть полчаса? — спросил Мартин. — Я бы очень этого хотел. Что у вас за работа, Том?

Теперь настал черед Тома смутиться, но после недолгого колебания он ответил прямо:

— Я не могу сказать, в чем она заключается, Мартин, хотя, надеюсь, в скором времени это будет можно, да и сейчас у меня нет никакой другой причины молчать, кроме просьбы моего хозяина. Положение самое неприятное, — продолжал Том, испытывая неловкость оттого, что могло показаться, будто он не доверяет своему другу, — и я это чувствую каждый день, но сделать тут ничего не могу; правда, Джон?

Джон Уэстлок подтвердил это, и Мартин, выразив полное свое удовлетворение, просил Тома больше не упоминать об этом, хотя про себя не мог не подивиться, что за странная должность у Тома и почему он бывает так скрытен, смущен и непохож на себя, как только речь заходит о его службе. Он не раз возвращался к этой мысли и после ухода Тома, который удалился сразу же, как только окончен был этот разговор, и захватил с собой мистера Тэпли, заметив с улыбкой, что он может беспрепятственно сопровождать его до Флит-стрит.

— А что собираетесь делать вы, Марк? — спросил Том, когда они вышли вместе на улицу.

— Собираюсь делать, сэр? — переспросил мистер Тэпли.

— Да. Какую часть вы себе избрали?

— Что ж, сэр, — ответил мистер Тэпли, — сказать по правде, я подумывал насчет супружества, сэр.

— Да что вы говорите, Марк? — воскликнул Том.

— Да, сэр, была у меня такая мысль.

— И кто же ваша нареченная, Марк?

— Моя кто, сэр? — спросил мистер Тэпли.

— Нареченная. Да будет вам! Вы не хуже моего понимаете, о чем я говорю, — возразил Том, смеясь.

Мистер Тэпли сдержал разбивавший его смех и ответил с одним из самых лукавых своих взглядов:

— А разве так уж трудно догадаться, мистер Пинч?

— Как же это можно? — сказал Том. — Право, я не знаю ни одной вашей симпатии, кроме миссис Льюпин.

— Что ж, сэр! — возразил мистер Тэпли. — А если предположить, что это она?

Том остановился посреди улицы, чтобы взглянуть на него, но мистер Тэпли предъявил его взорам в высшей степени невозмутимую и лишенную всякого выражения физиономию — совершенно как глухая стена. Однако, с поразительной быстротой открывая в ней окно за окном и зажигая в них свет как бы для полной иллюминации, он выразительно повторил:

— А если предположить, хотя бы просто ради спора, что это она, сэр?

— Но я думал, что такая партия вам ни в коем случае не подойдет, Марк! — воскликнул Том.

— Что ж, сэр, я и сам так думал когда-то, — сказал Марк. — Но теперь я в этом не уверен. Милая, приятная женщина, сэр!

— Милая, приятная женщина! Разумеется, — отозвался Том. — Но ведь она и всегда была милая и приятная, разве нет?

— Конечно! — согласился мистер Тэпли.

— Так почему же вы не женились на ней с самого начала, Марк, вместо того чтобы скитаться по границам и терять время, оставляя ее одну, чтобы к ней сватались другие?

— Да что ж, сэр, — возразил мистер Тэпли, настроившись на безграничное доверие, — я вам расскажу, как это вышло. Вы меня знаете, мистер Пинч; ни одна живая душа не знает меня лучше. Вам известны мои склонности, и вам известны мои слабости. Моя главная склонность — быть веселым; а моя слабость — желать, чтобы это считали заслугой. Очень хорошо, сэр. В таком расположении я забираю себе в голову, будто она

смотрит на меня... как говорится, благосклонно, — правда, сэр? — сказал мистер Тэпли после некоторого деликатного колебания.

— Без сомнения, — ответил Том. — И мы с вами это отлично знали, когда разговаривали на эту тему давным-давно, еще до того, как вы ушли из „Дракона“.

Мистер Тэпли кивнул в знак согласия.

— То-то и оно, сэр! Но, будучи в то время полон самых радужных надежд, я пришел к заключению, что никакой заслуги не будет в том, чтобы вести такую жизнь, когда все приятности, так сказать, сами идут к вам в руки. Словом, при моей склонности видеть жизнь в розовом свете, я рассчитывал, что меня ожидает много всяких несчастий; тут-то, думалось мне, я и смогу как следует показать себя и быть веселым при таких обстоятельствах, когда это можно считать заслугой. Пустился я по свету, сэр, настроенный весьма жизнерадостно, и что же вышло? Сначала я попадаю на корабль и очень скоро обнаруживаю (оттого, что мне нетрудно быть веселым, заметьте), что особенно хвалиться нечем. Я бы мог это счесть за предостережение и бросить, да вот не счел. Приезжаю в Соединенные Штаты, и тут, не стану отрицать, в первый раз чувствую, что есть заслуга в том, чтобы не падать духом. И что же? Только бы мне развернуться и показать себя, уже дело совсем дошло до этого, и вдруг мой хозяин меня подвел.

— Быть не может! — вскричал Том.

— Проще говоря, надул меня, — подтвердил мистер Тэпли, весь сияя, — бросил прежние свои замашки, так что служить стало легко, и этим посадил меня на мель без всяких объяснений. В таком состоянии я возвращаюсь домой. Очень хорошо. Все мои надежды разбиты, и, видя, что нет такого уголка в мире, где я мог бы показать себя, я говорю, махнув на все рукой: „Так сделаю же то, в чем никакой заслуги нету: женюсь на милой, приятной женщине, которая меня очень любит, — и которую я тоже очень люблю, — заживу мирно и весело и перестану сопротивляться судьбе, раз она устраивает мое счастье“.

— Хоть ваша философия, Марк, — сказал Том, от души смеявшийся этой речи, — и самая необыкновенная, о какой я слышал, она от этого не становится менее мудрой. Миссис Льюпин, разумеется, ответила согласием?

— Да нет, сэр, — возразил мистер Тэпли, — до этого дело еще не дошло. Главным образом потому, я думаю, что я ее не спрашивал. Но мы с ней очень хорошо поговорили, можно сказать, договорились в тот вечер, когда я вернулся. Все как полагается, сэр.

— Ну, — сказал Том, останавливаясь у ворот Тэмпла, — поздравляю вас, Марк, от всего сердца. Мы с вами еще увидимся сегодня, я думаю. Всего хорошего пока что.

— Всего хорошего, сэр! Всего хорошего, мистер Пинч, — прибавил Марк уже в качестве монолога, глядя ему вслед, — хоть вы и камень преткновения для благородного честолюбия. Вы, сами того не зная, первый разбили мои надежды. У Пекснифа я вознесся бы до небес, а ваш кроткий характер тянет меня вниз. Всего хорошего, мистер Пинч!

Пока Том Пинч с Марком беседовали по душам, Мартин с Джоном Уэстлоком были заняты совсем иным делом. Как только они остались вдвоем, Мартин сказал с видимым затруднением:

— Мистер Уэстлок, мы с вами виделись всего один раз, но вы давно знаете Тома и оттого кажется мне старым знакомым. И я не буду в состоянии говорить с нами свободно, пока не выскажу того, что гнетет меня. Мне больно видеть, что вы не доверяете мне и считаете меня способным злоупотребить бескорыстием Тома, или его добротой, или другими его хорошими свойствами.

— Я не хотел произвести на вас такое впечатление, — ответил Джон, — и очень жалею, что так вышло.

— Но я верно вас понял?

— Вы спрашиваете настолько прямо и решительно, — ответил Джон, — что я не стану отрицать, — да, я привык думать, что вы — не по злой воле, а просто по беспечности — мало считаетесь с его натурой и уважаете его меньше, чем он того заслуживает. Гораздо легче пренебрегать Томом, чем оценить его.

Это было сказано без всякой запальчивости, но с достаточной силой, ибо не было другого предмета на свете (кроме одного), который Джон — принимал бы ближе к сердцу.

— Я узнавал Тома постепенно, по мере того как становился взрослым, — продолжал он, — и научился его любить как человека, который бесконечно лучше меня самого. Когда мы с вами встретились, мне показалось, что вы его не понимаете. Мне показалось, что вы и не очень хотите его понять. Примеры, которые мне пришлось наблюдать, да и самые случаи, дававшие повод к таким наблюдениям, были очень незначительны и безобидны. Но мне они бросились в глаза и были неприятны; а ведь я не подстерегал их, поверьте. Вы скажете, — прибавил Джон с улыбкой, впадая в более привычный для него тон, — что я отнюдь не любезен с вами. Могу только уверить вас, что сам я ни в коем случае не начал бы этого разговора.

— Начал его я, — сказал Мартин, — и вовсе не в обиду на вас;

напротив, я высоко ценю ту дружбу, которую вы питаете к Тому и которую много раз ему доказывали. Зачем бы я стал таиться от вас, — однако он густо покраснел при этом, — да, действительно, я не понимал Тома и не старался понять, когда был его товарищем, и теперь искренне сожалею об этом.

Это было сказано с такой прямоотой, так скромно и так мужественно, что Джон протянул Мартину руку, словно еще не здоровался с ним; Мартин так же открыто подал ему свою, и всякая натянутость между молодыми людьми исчезла.

— А теперь прошу вас, — сказал Джон, — если вам надоест меня слушать, вспомните, что всему есть конец, а в конце-то и заключается вся суть моего рассказа.

После такого предисловия он рассказал обо всем, что было связано с болезнью и медленным выздоровлением пациента, который лежал в гостинице под вывеской „Бык“, а также обо всем, что Том Пинч видел на пристани. Мартин был немало озадачен, когда Джон дошел до конца, оставив его, как говорится, в потемках, ибо между тем и другим, по-видимому, не было никакой связи.

— Если вы извините меня на минуту, — сказал Джон, вставая, — я сейчас же вернусь и попрошу вас пройти в соседнюю комнату.

С этими словами он оставил Мартина одного, в полном недоумении, и скоро вернулся, чтобы исполнить свое обещание. Войдя за ним в соседнюю комнату, Мартин нашел там третье лицо — без сомнения, того незнакомца, на которого Джон сослался, когда они с Томом пришли сюда.

Это был молодой человек с черными как уголь волосами и глазами. Он был худ и бледен и, по-видимому, только недавно оправился от тяжелой болезни. Он стоял, когда молодые люди вошли, но снова сел по просьбе Джона. Его глаза были опущены, и, бросив один лишь взгляд на Джона и Мартина, смиренный и умоляющий, он уже не поднимал их более и сидел молча и совершенно не двигаясь.

— Фамилия этого человека Льюсом, — сказал Джон Уэстлок, — я вам уже говорил, что он слег в гостинице по соседству и перенес тяжелую болезнь. С тех пор как он начал поправляться, ему пришлось пережить очень многое, но, как вы видите, теперь он здоров.

Молодой человек не пошевелинулся и не произнес ни слова, и так как в разговоре наступила пауза, Мартин, не найдя ничего лучшего, сказал, что он очень этому рад.

— Я бы желал, мистер Чезлвит, чтобы вы выслушали из его собственных уст краткое сообщение, — продолжал Джон, пристально глядя

на черноволосого юношу, а не на Мартина, — которое он впервые сделал мне вчера и повторил сегодня утром, без каких-либо существенных изменений. Я уже говорил вам, что еще до того, как мистера Льюсома увезли из гостиницы, он заявил, что хочет открыть мне тайну, которая тяжело гнетет его душу. Но, находясь на пороге выздоровления и колеблясь между желанием облегчить душу и боязнью нанести себе непоправимый вред, если он раскроет эту тайну, мистер Льюсом до вчерашнего дня молчал о ней. Я не принуждал его говорить (не зная, в чем заключается и насколько важна эта тайна и имею ли я на это право), пока, несколько дней тому назад, не убедился, получив от него письмо с добровольным признанием, что она имеет отношение к человеку, которого зовут Джонас Чезлвит. Думая, что это может пролить свет на загадочную историю, которая время от времени тревожит Тома, я указал на это мистеру Льюсому и услышал из его уст то, что теперь услышите вы. Следует сказать, что, находясь при смерти, мистер Льюсом изложил все это письменно, запечатал бумагу и адресовал мне, однако никак не мог решиться передать ее из рук в руки. Я думаю, она и сейчас спрятана у него на груди.

Молодой человек поспешно поднес руку к груди, как бы в подтверждение этих слов.

— Было бы, пожалуй, лучше, если б вы доверили ее нам, — сказал Джон, — но сейчас это не так важно.

Он поднял руку, чтобы привлечь внимание Мартина. Но последний и без того не сводил глаз с молодого человека, который, помолчав немного, сказал тихим, слабым, глухим голосом:

— Кем приходится вам мистер Энтони Чезлвит, который...

— Который, умер — кем он приходится мне? — спросил Мартин. — Это брат моего деда.

— Боюсь, что он умер не своей смертью, — он был убит!

— Боже мой! — сказал Мартин. — Кем же? Молодой человек, Льюсом, взглянул ему в лицо и, снова опустив глаза, ответил:

— Боюсь, что мною.

— Вами! — вскричал Мартин.

— Не мною непосредственно, но боюсь, что с моей помощью.

— Говорите же, — сказал Мартин, — и говорите правду.

— Боюсь, что это и есть правда.

Мартин хотел снова прервать его, но Джон Уэстлок сказал тихонько: „Пусть, рассказывает по-своему“, — и Льюсом продолжал:

— Я готовился стать хирургом и последние годы работал помощником у одного врача в Сити. Будучи у него на службе, я познакомился с

Джонасом Чезлвитом. Он и есть главный виновник.

— Что вы хотите этим сказать? — сурово спросил Мартин. — Знаете ли вы, что он сын того, о ком вы только что говорили?

— Знаю, — ответил Льюсом.

Он помолчал с минуту, потом продолжал с того места, где остановился:

— Мне ли этого не знать, когда я много раз слышал, как он желает отцу смерти, как жалуется, что старик ему надоел, сделался для него обузой. У него вошло в привычку клясть отца всякий раз, когда мы собирались по вечерам втроем или вчетвером. Ничего хорошего там не было, — можете судить сами, когда я вам скажу, что он считался у нас первым коноводом. Лучше бы мне было умереть и не видеть всего этого!

Он снова умолк и продолжал снова:

— Мы сходились пить и играть — не на большие деньги, но для нас они были большие. Он обыкновенно выигрывал. Но выигрывал или нет, он всегда давал проигравшим займы под проценты; и таким образом, хотя все мы втайне его ненавидели, он приобрел над нами власть. Чтобы задобрить его, мы подшучивали над его отцом — в первую голову его должники, я был одним из них — и пили за скорый конец для старика и за наследство для сына.

Льюсом опять замолчал.

— Однажды вечером он явился сильно не в духе. Старик в этот день ему очень докучал, по его словам. Мы сидели вдвоем, и он сердито рассказывал мне, что старик впал в детство, что он одряхлел, ослаб, выжил из ума, стал в тягость себе и другим и было бы просто милосердием убрать его. Он клялся, что нередко думает о том, не подсыпать ли ему в лекарство от кашля чего-нибудь такого, что помогло бы ему умереть легкой смертью. Ведь приканчивают людей, укушенных бешеной собакой, говорил он; так почему же отказывать в этой милости старикам, которые сильно зажились, почему не избавить их от страданий? Он смотрел мне прямо в глаза, говоря это, и я смотрел ему в глаза, но дальше в тот вечер не пошло.

Он еще раз остановился и молчал так долго, что Джон Уэстлок сказал ему: „Продолжайте“. Мартин не отрывал глаз от его лица; он был так потрясен, что не мог говорить.

— Быть может, спустя неделю, а быть может, немного раньше или позже, — но когда именно, я не могу вспомнить, хотя все это дело не выходит у меня из головы, — он заговорил со мной снова. Мы опять были одни, потому что не наступил еще час, когда обычно собиралась компания. Мы не уговаривались, но я искал встречи с ним и знаю, что он тоже искал

встречи со мной. Он явился первым. Когда я вошел, он читал газету и кивнул мне, не поднимая глаз и не отрываясь от чтения. Я сел против него, очень близко. Он тут же сказал мне, что ему нужно достать двух сортов лекарство: одно такое, чтобы действовало мгновенно, — этого ему нужно было совсем немного: и такое, которое действует медленно, не внушая подозрений, — этого ему нужно было больше. Говоря со мной, он делал вид, будто читает газету. Он говорил „лекарство“ и ни разу не назвал его другим словом. Я — тоже.

— Все это совпадает с тем, что я уже слышал. — заметил Джон Уэстлок.

— Я спросил, для чего ему нужны лекарства. Он сказал, что вреда никому не будет, лекарства — для кошки, а впрочем, какое мне до этого дело? Ведь я уезжаю в отдаленную колонию (я тогда только что получил назначение, которое, как известно мистеру Уэстлоку, потерял по болезни и которое одно могло меня избавить от гибели), так какое же мне до этого дело? Он мог бы достать их в сотне мест и помимо меня, но достать через меня ему гораздо проще. Это была правда. Они, может быть, и совсем ему не понадобятся, говорил он, во всяком случае сейчас он не думает пускать их в ход, но ему хочется иметь их под рукой. И все это время он не отрывал глаз от газеты. Мы сговорились о цене. Он готов был простить мне маленький долг — я был совершенно в его власти — и заплатить пять фунтов; и тут мы оставили этот разговор, потому что пришли другие. Но на следующий вечер, при точно таких же обстоятельствах, я передал ему лекарства, после того как он сказал, что глупо с моей стороны думать, будто он употребит их кому-нибудь во вред, и заплатил мне деньги. С тех пор мы больше не встречались; я знаю только, что бедный его старик отец в скором времени умер, и именно так, как должен был умереть при данных обстоятельствах, и что я после этого терпел и сейчас терплю невыносимые страдания. Никакие слова, — прибавил он, простирая вперед руки, — не могут описать моих страданий! Они заслужены мной, но ничто не может передать их.

Тут он повесил голову и умолк. Он был так измучен и жалок, что не стоило осыпать его упреками, к тому же бесполезными.

— Пусть останется под рукой, — сказал Мартин, отворачиваясь от него, — но только уберите его куда-нибудь, ради бога!

— Он останется здесь, — шепнул Джон. — Идемте со мной! — Выйдя из комнаты и тихонько повернув ключ в замке, он повел Мартина в соседнюю комнату, где они сидели раньше.

Мартин был настолько потрясен и ошеломлен рассказом Льюсома, что

прошло немало времени, прежде чем ему удалось собраться с мыслями и привести все слышанное в какой-то порядок, понять соотношение отдельных частей и охватить все подробности. Когда он составил себе ясное представление о деле, Джон Уэстлок высказал догадку, что преступление Джонаса, по всем вероятностям, известно и другим людям, которые пользуются этим в своих целях и держат его в повиновении, чему Том Пинч был случайным свидетелем и невольным помощником. Оба они согласились, что, верно, так и есть, но, вместо того чтобы облегчить им решение задачи, эта догадка еще больше запутала дело.

Но кто же эти лица, которые держат Джонаса в своей власти? Единственным, кого они более или менее знали, был хозяин Тома. Однако они не имели никакого права его расспрашивать, даже если бы разыскали, что, по словам Тома, было не так легко сделать. Но если даже допустить, что они его спросят и он ответит им (а это значило допустить очень много), разве он не мог сказать относительно происшествия на пристани, что его послали за Джонасом, который понадобился по какому-то важному делу, и тем бы кончился разговор.

Кроме того, было чрезвычайно затруднительно предпринять что-либо. Рассказ Льюсома мог оказаться неверным; при таком болезненном состоянии все могло быть сильно преувеличено его расстроенным воображением; и если даже допустить, что это чистая правда, старик все же мог умереть своей смертью. Мистер Пексниф гостил у них в то время, — как сразу вспомнил Том, который, вернувшись в середине дня, принял участие в совещании, — и никакой тайны тогда из этого не делали. Одному только дедушке Мартина принадлежало право решить, как тут действовать; но узнать его мнение было невозможно, ибо он, конечно, согласится с мистером Пекснифом. А какого мнения мистер Пексниф о собственном зяте, предугадать нетрудно.

Помимо этих соображений, для Мартина была невыносима мысль, что он, по видимости, готов ухватиться за это чудовищное обвинение против своего родича и воспользоваться им как ступенью к милостям дедушки. Он отлично знал, что такова будет видимость: стоит ему явиться к дедушке в дом мистера Пекснифа, для того чтобы сообщить об этом, и уж мистер Пексниф не упустит случая изобразить его поведение в самом непривлекательном свете. С другой стороны, располагать таким показанием и не принять никаких мер к расследованию дела было равносильно сообщничеству в преступлении, которое разоблачил Льюсом.

Словом, они были совершенно неспособны найти такой выход из лабиринта, который не вел бы через дебри новых осложнений. И хотя

тайну вскоре доверили мистеру Тэпли и богатое воображение этого джентльмена измыслило множество рискованных средств, которые, надо отдать ему должное, он был готов немедленно пустить в ход под своей личной ответственностью, все же эти предложения ничему не помогли и только дали выход рвению мистера Тэпли.

При таком положении дел рассказ Тома о странном поведении дряхлого конторщика за вечерним чаепитием приобрел особенную важность и в конце концов убедил друзей в том, что самым верным шагом для установления истины было бы узнать, в какой мере можно положиться на умственные способности старика и на его память. Удостоверившись сначала, что Льюсом и мистер Чаффи никогда прежде не виделись и что подозрения старика возникли из другого источника, они единогласно решили, что старый конторщик и есть тот человек, который им нужен.

Но, как это часто бывает с единодушными решениями, вынесенными на общественных собраниях и провозглашающими, что то или иное притеснение невозможно терпеть ни минуты долее, а его тем не менее приходится терпеть еще лет сто или двести, и притом без всяких послаблений, они достигли этим только одного: вывода, что между ними нет разногласий. Что они нуждались в мистере Чаффи было одно дело, а как до него добраться — совсем другое; а между тем добраться до Чаффи, не встревожив его самого, не встревожив Джонаса и не убоявшись трудности сыграть на таком расстроенном и давно вышедшем из употребления инструменте то самое, что им требовалось, — эта цель была от них все так же далека, как и прежде.

Затем встал вопрос, кто из окружавших в тот вечер старого конторщика имел на него больше влияния? Несомненно, его молодая хозяйка, сказал Том. Но и Тома и всех остальных отталкивала мысль обмануть молодую женщину, сделав ее невольной причиной гибели своего жестокого мужа. Разве никого больше нет? Как же, конечно есть. Совершенно в другом роде, сказал Том, но влияние на Чаффи имела и миссис Гэмп, та сиделка, у которой он одно время был под началом.

Они сразу ухватились за эту мысль. Это был новый выход, продиктованный обстоятельствами, которых они до сих пор не принимали в расчет. Джон Уэстлок знал миссис Гэмп. Он давал ей работу: ему было известно, где она живет, так как добрая женщина любезно вручила ему при расставании целую кипу своих визитных карточек для раздачи знакомым. Было решено, что к миссис Гэмп надо подойти со всей осторожностью, но нимало не откладывая, и разузнать, что этой благоразумной матроне известно относительно мистера Чаффи и способов сообщения с ним.

Мартин с Джоном Уэстлоком решили заняться этим нынче же вечером, посетив миссис Гэмп сначала на дому, в надежде застать ее среди отдохновений частной жизни; в случае же неудачи разыскать ее вне дома, при исполнении профессиональных обязанностей. Том вернулся в Излингтон, чтобы не упустить случая повидаться с мистером Неджетом и быть на месте, если он вдруг появится. А мистер Тэпли остался на время в Фэрнвелс-Инне приглядывать за Льюсомом, которого, однако, вполне можно было предоставить самому себе, поскольку у него и мысли не было улизнуть от них.

Прежде чем разойтись с разными поручениями, они заставили его прочесть вслух ту бумагу, которая была при нем, а также и приписку, гласившую, что все это написано им на случай смерти, добровольно и по велению совести. А после того как он прочел бумагу, все подписались и, взяв ее, заперли с его согласия в сохранном месте.

По совету Джона, Мартин тут же написал письмо попечителям пресловутой начальной школы, где отважно заявил, что план, имевший такой успех, принадлежит ему, и где он обвинял мистера Пекснифа в подлоге. Этим делом Джон также горячо заинтересовался, заметив с обычной своей непочтительностью, что мистер Пексниф всю свою жизнь был удачливым мошенником и что его, Джона, очень порадует, если он поможет Пекснифу получить по заслугам, хотя бы дело шло о пустяках.

Хлопотливый день! Но Мартину было еще негде жить, и, как только они обо всем договорились, он ушел на поиски квартиры, отказавшись пообедать с Джоном Уэстлоком. После долгих трудов ему удалось найти две чердачных комнатки для себя и Марка в одном из дворов на Стрэнде, неподалеку от Тэмпла. Багаж, дожидавшийся их в конторе дилижансов, он переправил в это новое убежище, а после того стал прохаживаться взад и вперед по двору Тэмпла, закусывая мясным пирогом вместо обеда и весь сияя от радости, — которой он и прошлом никогда не испытывал и не понимал, будучи отъявленным эгоистом, — от радости, что он избавил Марка от стольких трудов.

Глава XLIX,

в которой миссис Гаррис при содействии чайника является причиной раздора между подругами.

Квартира миссис Гэмп на Кингсгейт-стрит в Верхнем Холборне облачилась, выражаясь образно, в парадное одеяние. Ее подмели и прибрали для приема гостей. Эта гостя была Бетси Приг — миссис Приг, от Бартлеми, или, как говорят некоторые, — Барклеми, или, как говорят другие, — Бардлеми; под всеми этими ласковыми и фамильярными прозвищами лица той профессии, украшением которой являлась миссис Приг, подразумевали больницу св. Варфоломея.

Квартира миссис Гэмп была не так велика, но человеку невзыскательному и чулан кажется дворцом; и, возможно, комната на втором этаже, с окнами на улицу, в доме мистера Свидлпайпа представлялась фантазии миссис Гэмп величественным чертогом. Пусть это было не совсем так с точки зрения людей капризных и привередливых, зато комната совмещала в себе столько удобств, сколько можно было ожидать от помещения таких размеров, не доводя оптимизм до крайности. Не забывайте только про кровать, и вы останетесь целы и невредимы. В этом и заключалась вся суть. Если ни на минуту не забывать о кровати, можно было даже наклониться и поискать под круглым столиком какую-нибудь оброненную вещь, не рискуя очень сильно ушибиться о комод, или, свалившись в камин, попасть на излечение к св. Варфоломею.

Стараниям гостей неустанно помнить о кровати очень помогали размеры этого предмета обстановки, которые были весьма обширны. Это была не складная кровать, и не французская кровать, и не кровать с четырьмя колонками, а то, что поэтически именуется кроватью с пологом; матрац был сильно продавлен и отвис, так что сундук миссис Гэмп входил под кровать только наполовину, угрожая ногам, а также душевному спокойствию непривычного посетителя. Раму, которая должна была поддерживать балдахин и занавеси, ежели бы они имелись, украшали точеные деревянные шишки, которые падали от малейшего сотрясения, а нередко и без всякого повода, наводя неопишущий страх на мирного гостя.

Самая кровать была застлана лоскутным одеялом глубокой древности; а у изголовья, с той стороны, что поближе к дверям, висела жиденькая занавесочка в синюю клетку, препятствуя зефирам, гулявшим по

Кингсгейт-стрит, навещать миссис Гэмп слишком уж бесцеремонно. Порыжелые платья и другие принадлежности туалета этой дамы висели над кроватью; от долгого ношения они настолько верно повторяли ее формы, что не один нетерпеливый муж, стремительно вбегая к ней в сумерки, на мгновение останавливался как вкопанный, вообразив, будто миссис Гэмп повесилась. Некий джентльмен, пришедший с обычной экстренной просьбой, выразился даже так, будто эти платья похожи на ангелов, охраняющих ее сон. Но это, как заметила миссис Гэмп, „был у него первенький“, и после того он ни разу не повторил своего комплимента, хотя его визиты повторялись часто.

Кресла в квартире миссис Гэмп были очень большие, с очень широкими спинками, и по этой более чем достаточной причине их было всего два. Это были старинные кресла с подлокотниками, оба красного дерева, и отличались они главным образом скользкостью сидений, первоначально обитых волосяной материей, а теперь — какой-то лоснящейся тканью синеватого оттенка, с которой гость начинал в ужасе скатываться, еще не успев как следует усесться. Недостаток в стульях восполнялся у миссис Гэмп изобилием картонок, которых у нее набралась целая коллекция; и употреблялись они для хранения самых разнообразных ценностей, отнюдь не находившихся, однако, в такой сохранности, как приятно было воображать этой доброй женщине; ибо, хотя все картонки были тщательно закрыты крышками, ни у одной из них не имелось дна, почему хранившаяся в каждой из них собственность была как бы прикрыта гасильником. Маленький комод, которому предназначалось стоять на другом комодe, большом, оставшись сам по себе, выглядел очень мизерно и казался каким-то карликом; зато по части сохранности вещей у него имелось большое преимущество перед картонками, ибо все ручки у него давным-давно отлетели и потому добраться до содержимого было нелегко. Это можно было проделать только двумя способами: или наклонив все сооружение вперед, пока все ящики не вывалятся разом, или же открывая их поодиночке ножом, как устрицы.

Все свои припасы миссис Гэмп хранила в маленьком шкафчике рядом с камином, начиная с угля — в самом низу (как и в природе) и кончая спиртным — на самом верху, которое она из скромности держала в чайнике. Каминную полку украшал небольшой календарь с собственноручными пометками миссис Гэмп возле тех чисел, когда должна была разродиться какая-нибудь из ее клиенток. Кроме того, тут же красовались три портрета: один, акварельный, изображал самое миссис Гэмп в молодости; другой, бронзированный, какую-то даму в перьях — как

предполагалось, миссис Гаррис в бальном туалете; и третий, сделанный тушью, изображал покойного мистера Гэмп. Последний был нарисован во весь рост; для того чтобы сделать сходство более убедительным и явным, художник изобразил и деревянную ногу.

Ручные мехи, деревянные башмаки, вилка для поджаривания хлеба, котелок, мисочка для бульона, ложка для дачи лекарства упрямым больным и, наконец, зонтик миссис Гэмп, выставленный напоказ, как вещь особенно редкая и ценная, завершали убранство каминной полки и соседней стены. К этим-то предметам миссис Гэмп с удовлетворением обратила взоры, накрыв столик к чаю и закончив все приготовления к приему миссис Приг, вплоть до поставленных на стол двух фунтов сильно промаринованной ньюкаслской лососины.

— Ну вот! Теперь только вы не копайтесь, Бетси, прах вас возьми! — сказала миссис Гэмп, обращаясь к отсутствующей приятельнице. — Я терпеть не могу ждать, наперед говорю. Куда бы я ни нанималась, сервис у меня один: „Угодить мне нетрудно, и нужно мне немного, только чтоб оно было самый первый сорт и подавалось бы минута в минуту, а то мы с вами не разойдемся по-хорошему, так, как бы мне хотелось“.

Сама она приготовила угощение только первого сорта, которое состояло из мягкого свежего хлеба, тарелки со сливочным маслом, сахарницы с лучшим белым сахаром и всего прочего в том же роде. Даже нюхательный табак, которым она теперь освежалась, был такого отборного качества, что она взяла еще одну понюшку.

— Вот и колокольчик звонит, — сказала миссис Гэмп, выбегая на лестничную площадку и заглядывая вниз. — Бетси Приг, милая... Да ведь это, кажется, несносный Свидлпайп?

— Да, это я, — ответил слабым голосом цирюльник. — Я только что пришел.

— И всегда-то он или только что пришел, или только что вышел, — проворчала миссис Гэмп. — Никакого терпения не хватит с этим человеком!

— Миссис Гэмп, — сказал цирюльник. — Послушайте, миссис Гэмп!

— Ну, что такое? — нетерпеливо отозвалась миссис Гэмп, спускаясь с лестницы. — Темза горит, что ли, и рыба в ней варится? Батюшки, где же это он был и что с ним такое приключилось? Он весь белый как мел!

Вопросительное предложение она произнесла, уже спустившись вниз и увидев, что мистер Свидлпайп сидит в кресле для клиентов, бледный и расстроенный.

— Помните вы, — спросил Полли, — помните вы молодого...

— Неужто молодого Вилкинса? — ахнула миссис Гэмп. — И не говорите мне, что это молодой Вилкинс. Если жену молодого Вилкинса схватило...

— Да никакую не жену! — воскликнул маленький брадобрей. — Бейли, молодого Бейли!

— Ну, так что вы этим хотите сказать? Чего там натворил этот мальчишка? — сердито отвечала миссис Гэмп. — Вздор и чепуха, мистер Свидлпайп!

— Ничего он не натворил! — возразил бедный Полли в совершенном отчаянии. — Можно ли так приставать с ножом к горлу, когда вы видите, что я до того расстроен, даже и говорить не в состоянии? Больше он уж ничего не натворит. С ним все кончено. Помер. В первый раз, как я увидел этого мальчика, — продолжал брадобрей, — я взял с него лишнее за реполова. Запросил полтора пенни вместо одного, боялся, что он станет торговаться. А он и не стал. А теперь он умер, и даже если собрать все паровые машины и электрические токи в эту лавочку и заставить их работать вовсю, этих денег все равно не вернешь, хоть их и было всего полпенни. Мистер Свидлпайп отвернулся и вытер полотенцем глаза.

— А какой был умница! — продолжал он. — Какой удивительный мальчик! Как говорил! И сколько всего знал! Брился вот в этом самом кресле — так, забавы ради, сам все и затеял, такой был шутник. И подумать только, что никогда уж ему не бриться по-настоящему!

Лучше бы все птицы до единой передохли, пускай их, — воскликнул маленький брадобрей, оглядываясь на клетки и опять хватаясь за полотенце, — чем узнать такую новость!

— Откуда же вы узнали? — спросила миссис Гэмп. — Кто вам сказал?

— Я пошел в Сити, — ответил маленький брадобрей, — чтоб повидаться на бирже с одним охотником, ему нужны самые неповоротливые голуби для практики в стрельбе; а договорившись с ним, я зашел выпить глоточек пива, там и услышал разговор про это. В газетах напечатано.

— Вы что-то совсем расстроились, мистер Свидлпайп, — сказала миссис Гэмп, качая головой, — по-моему, было бы не лишнее поставить вам с полдюжины пиявок к вискам, помоложе и попроворней, вот что я вам скажу. О чем же был разговор, и что было в газетах?

— Да все о том же! — отозвался брадобрей. — О чем же еще, как вы думаете? У них с хозяином опрокинулась по дороге карета, его перевезли в Солсбери, и он был уже при смерти, когда заметку сдали на почту. Он так и не сказал ничего, ни единого слова. Это для меня всего горше, но это еще

не все. Его хозяина нигде не найдут. Другой директор их конторы в Сити — Кримпл, Дэвид Кримпл — сбежал с деньгами, его ищут, объявления расклеены на стенах, обещают награду. Мистера Монтегю, хозяина бедняжки Бейли (ах, какой был мальчик!) тоже ищут. Одни говорят, что он удрал и встретится со своим приятелем за границей; другие говорят, что он еще тут, и ищут его по всем местам. В конторе у них разгром; сущие оказались мошенники! Но что такое контора страхования жизни по сравнению с жизнью вообще, а тем более с жизнью молодого Бейли!

— Он родился в юдоли, — сказала миссис Гэмп с философическим спокойствием, — и жил в юдоли; ну и должен мириться со всеми последствиями, раз существует такое положение. А разве про мистера Чезлвита вы так-таки ничего не слыхали?

— Нет, — ответил Полли, — ничего особенного. Его фамилия не была напечатана в списке директоров, но думают, что будет. Кто говорит, что его надули, а кто — будто он надувал других; как бы оно там ни было, улики против него никаких нет. Нынче утром он сам явился к лорд-мэру или еще к кому-то из городского начальства и подал жалобу, что его разорили и что эти двое мошенников сбежали, обобрав его, и что он совсем недавно узнал, будто фамилия Монтегю вовсе не Монтегю, а какая-то другая. И говорят, будто он был похож на мертвеца, так расстроился. Господи помилуй! — воскликнул брадобрей, возвращаясь к своему личному горю. — Ну какое мне дело, на что он был похож? Да хоть бы он пятьдесят раз помер! Пускай себе, никогда мне его не будет так жалко, как, Бейли!

В это время зазвонил маленький колокольчик, и басистый голос миссис Приг вмешался в разговор.

— Ах, вы тоже об этом разговариваете, вот как! — заметила она. — Ну, я надеюсь, вы уже все переговорили, потому что сама я этим не интересуюсь.

— Драгоценная моя Бетси, — сказала миссис Гэмп, — как же вы поздно!

Почтенная миссис Приг ответила довольно сурово, что „ежели упрямые люди помирают, когда никто этого не ждет, то она тут ни при чем“. И далее, что „и без того неприятно, когда до смерти хочется чаю и тебя задерживают, а тут опять приходится слушать все про то же“.

Миссис Гэмп, догадавшись по этим колким репликам о состоянии чувств миссис Приг, немедленно повела ее наверх, надеясь, что один вид маринованной лососины произведет в ней смягчающую перемену.

Однако Бетси Приг рассчитывала на лососину. Очевидно рассчитывала, потому что, взглянув на стол, первым делом заметила:

— Так я и знала, что огурцов к ней не будет! Миссис Гэмп изменилась в лице и села на кровать.

— Господи помилуй, Бетси Приг, ваша правда. Совсем позабыла!

Миссис Приг, глядя в упор на свою приятельницу, запустила руку в карман и с выражением угрюмого торжества вытащила оттуда переросший салат или недоросший кочан капусты, — во всяком случае такую пышную и таких благодатных размеров овощ, что ее пришлось сперва свернуть, как зонтик, и после того только удалось вытащить. Кроме того, она извлекла горсточку кресс-салата и горчицы, немножко травы, именуемой одуванчиком, три пучка редиски, луковицу покрупнее средней репы, три порядочных куса резаной свеклы и коротенький развилоч или отросток сельдерея. Вся эта зелень еще совсем недавно была выставлена в лавке под названием двухпенсового салата и куплена миссис Приг с условием, что продавец уложит все это к ней в карман, что и было успешно выполнено в Верхнем Холборне и наблюдалось с захватывающим интересом соседней извозчицей биржей. Миссис Приг придавала так мало значения своей предусмотрительности, что даже не улыбнулась, но, поправив карман и вернув его на место, посоветовала только мелко покрошить эти произведения природы и обильно полить уксусом для немедленного потребления.

— Да не насыпьте туда нюхательного табаку, — сказала миссис Приг. — В кашеце, бараньем бульоне, ячменном отваре и яблочном компоте это еще не беда. Даже подбадривает больных. А сама я до него не охотница.

— Что вы, Бетси Приг! — воскликнула миссис Гэмп. — Как вы можете так говорить!

— А что ж, разве ваши больные, чем бы они ни хворали, не чихают от вашего табаку так, что того и гляди голова оторвется? — сказала миссис Приг.

— Ну и что ж, что чихают? — спросила миссис Гэмп.

— Ничего, пускай их, — ответила миссис Приг. — Только не отпирайтесь, Сара.

— Кто же отпирается, Бетси? — спросила миссис Гэмп.

Миссис Приг ничего на это не ответила.

— Кто же отпирается, Бетси? — еще раз спросила миссис Гэмп. И снова повторила свой вопрос, но только в обратном порядке, заметно усилившем его жуткую торжественность: — Бетси, кто же отпирается?

Словом, обе дамы были уже близки к размолвке; но в данную минуту миссис Приг гораздо больше хотелось закусывать, чем ссориться, и пока

что она ответила только:

— Никто, если вы не отпираетесь, Сара, — и приготовилась к чаепитию. Ибо ссора может и подождать, а лососина, да еще в таком ограниченном количестве, ждать не может.

Ее туалет был несложен. Она только сбросила капор и шаль на кровать, дернула себя за волосы, один раз справа, другой раз слева, как будто звонила в колокола, и все было готово. Чай был уже заварен, миссис Гэмп недолго возилась с салатом, и скоро пиршество было в полном разгаре.

Обе дамы сразу смягчились, как только сели за стол. После того как едой было покончено (что заняло довольно много времени) и миссис Гэмп, убрав со стола, достала с верхней полки чайник вместе с двумя рюмками, обе дамы настроились совсем дружелюбно.

— Бетси, — сказала миссис Гэмп, налив себе рюмку и передавая ей чайник, — я теперь предложу тост. За мою постоянную компаньонку Бетси Приг!

— Согласна и выпью со всем моим расположением, только переменив имя на Сару Гэмп, — ответила миссис Приг.

С этой минуты носы обеих дам, а быть может, и чувства тоже, начали обнаруживать признаки воспламенения, несмотря на то, что с виду все обстояло благополучно.

— Ну, Сара, — сказала миссис Приг, — чтоб соединить приятное с полезным, к какому это больному вы меня приглашаете?

И так как по лицу миссис Гэмп можно было заметить, что она намерена ответить уклончиво, Бетси прибавила:

— Не к миссис Гаррис?

— Нет, Бетси, не к ней, — ответила миссис Гэмп.

— Что ж, — заметила миссис Приг с коротким смехом, — во всяком случае, и то хорошо.

— Чему же тут радоваться, Бетси? — горячо возразила миссис Гэмп. — Вы ее не знаете, разве только понаслышке, так чего же вы радуетесь? Если вы имеете что-нибудь против миссис Гаррис, — а дурного про нее никто сказать не может — ни за глаза, ни в глаза и вообще никак, это уж я знаю, — так говорите, Бетси. Я познакомилась с этой самой милой, самой приятной женщиной, — продолжала миссис Гэмп, покачивая головой и утирая слезы, — еще тогда, когда она должна была произвести на свет своего первенца, а мистер Гаррис, который был очень робкого характера, убежал и залез в пустую собачью конуру и уши заткнул, да так и сидел с заткнутыми ушами, пока ему не показали новорожденного: бедняга

кричал криком, а доктор взял его за шиворот, уложил на каменный пол и велел сказать, чтобы она не беспокоилась насчет крика, — это у него легкие. Я с ней была знакома, Бетси Приг, когда он ее разобидел до слез, сказав, будто девятый ребенок им лишний, да, может, и восьмой тоже, а эта ангельская душка гугукает себе, и ведь какой крепыш вырос, даром что кривоногий; только я никак не могу понять, чему тут радоваться. Бетси, если миссис Гаррис вас не приглашает. И не пригласит никогда; не надейтесь, потому что она, как только заболит, всегда твердит одно и то же: „Пошлите за Сарой!“

В продолжение этой трогательной речи миссис Приг, ловко прикинувшись жертвой той особой рассеянности, которая нападает на человека, когда все его внимание поглощено одним предметом, то и дело наливала себе из чайника, по-видимому сама этого не замечая. Миссис Гэмп, однако, заметила ее маневр и потому раньше времени закончила свою речь.

— Ну, так, значит, это не она, — холодно отозвалась миссис Приг, — кто же тогда?

— Вы, должно быть, слышали от меня, Бетси, — ответила миссис Гэмп, бросив особенно выразительный и зоркий взгляд на чайник, — про больного, за которым я ходила, когда мы с вами по очереди дежурили около этого горячечного в „Быке“?

— Это про старого табачника? — заметила миссис Приг.

Сара Гэмп покосилась на нее огненным глазом, увидев в этой обмолвке еще один злостный и преднамеренный намек на ту слабость или привычку, невеликодушное упоминание о которой со стороны Бетси уже нарушило в этот вечер согласие между обеими дамами. Она увидела это еще яснее, когда на ее вежливое, но твердое напоминание о том, что пациента зовут Чаффи, миссис Приг ответила демоническим смехом.

У самых лучших из нас имеются свои слабости, и надо сознаться, что если светлый образ миссис Приг омрачало какое-нибудь пятнышко, то оно заключалось в привычке изливать на пациентов далеко не всю язвительность и кислоту, находившиеся в ее распоряжении (как это сделала бы всякая истинно добродушная женщина), но оставлять порядочный запас того и другого для своих приятельниц. Крепко промаринованная лососина и салат с уксусом, сами по себе достаточно кислые, возможно способствовали развитию этой слабости миссис Приг, как способствовало каждое новое обращение к чайнику, ибо друзья этой почтенной дамы неоднократно замечали, что в повышенном настроении она становилась особенно несговорчива. Во всяком случае, верно то, что выражение ее лица

стало насмешливым и вызывающим и что она сидела, сложив руки на животе и прищулив один глаз, с довольно оскорбительным по своей наглости видом.

Заметив это, миссис Гэмп сочла тем более необходимым поставить миссис Приг на место и дать ей понять, что она птица невысокого полета и многим обязана миссис Гэмп. Поэтому, приняв значительный и покровительственный вид, она удостоила миссис Приг особенно пространным ответом.

— Как вы знаете, Бетси, — сказала миссис Гэмп, — мистер Чаффи страдает слабоумием. Позволю себе заметить, что он, может, вовсе не так слабоумен, как люди о нем думают, а может, и люди не считают его таким слабоумным: что я знаю, то знаю, а чего вы не знаете, того не знаете, так что и не спрашивайте меня, Бетси. Ну так вот, друзья мистера Чаффи пожелали, чтоб за ним был присмотр, и говорят мне: „Миссис Гэмп, не возьметесь ли вы за это? Мы, говорят, и подумать не можем, чтобы доверить его кому-нибудь, кроме вас, Сара, потому что вы, говорят, чистое золото. Так не возьметесь ли вы сами ходить за ним днем и ночью, а цена — какую назначите“. — „Нет, говорю, не возьмусь. И не надейтесь. Для одной только женщины на свете, говорю, я бы пошла на такие условия, и ее фамилия Гаррис. Но есть, говорю, у меня одна знакомая, зовут ее Бетси Приг, могу ее рекомендовать, и она мне поможет. На Бетси, говорю, всегда можно положиться, ежели она будет у меня под началом“.

Тут миссис Приг, нисколько не меняя своей обидной манеры, опять напустила на себя рассеянность и протянула руку к чайнику. Этого миссис Гэмп не могла стерпеть. Она схватила миссис Приг за руку и произнесла с большим чувством:

— Нет, Бетси! Хоть пейте по-честному, как бы там ни было.

Миссис Приг, получив такой отпор, откинулась на спинку кресла и, прищулив тот же глаз еще более выразительно и сжав руки еще крепче, позволила себе покачать головой из стороны в сторону, озирая свою приятельницу с пренебрежительной улыбкой.

Миссис Гэмп продолжала:

— Миссис Гаррис, Бетси...

— А ну ее, вашу миссис Гаррис! — сказала Бетси Приг.

Миссис Гэмп взглянула на нее изумленно и негодующе, не веря своим ушам, а миссис Приг, еще больше прищулив глаз и еще крепче сжав руки, произнесла следующие невероятные и достопамятные слова:

— По-моему, такой особы и вовсе на свете нет!

Разразившись этой фразой, она наклонилась вперед и щелкнула

пальцами — раз, два, три, — с каждым разом все ближе к лицу миссис Гэмп, потом поднялась и стала надевать, капор, словно сознавая, что между ними теперь легла пропасть, которой ничто заполнить не может.

Потрясение от этого удара было так сильно и неожиданно, что миссис Гэмп сидела, разинув рот и вытаращив глаза, до тех пор, пока Бетси Приг не надела капор и шаль и не запахла ее на груди. Тут миссис Гэмп восстала — и в прямом и в переносном смысле — и обличила ее.

— Как! — произнесла миссис Гэмп. — Низкая ты тварь! Я знаю миссис Гаррис вот уже тридцать пять лет, а ты мне говоришь, что ее вовсе нет на свете! Для того ли я была ей верным другом и опорой во всех ее несчастьях, больших и малых, чтобы в конце концов дошло до этого; и как только хватает наглости говорить такие бесстыдные слова, когда ее собственный портрет висит у вас перед глазами! Можете не верить, ежели угодно, можете говорить, будто ее совсем на свете нет, она и глядеть-то на вас не захочет; сколько раз я от нее слышала, когда поминала при ней ваше имя, и чем грешна, к великому моему сожалению: „Как, Сара Гэмп? Вы унижаетесь до нее?“ — Да подите вы вон!

— Ухожу, сударыня, не видите, что ли? — сказала миссис Приг, останавливаясь.

— Да, уж лучше уходите, сударыня, — сказала миссис Гэмп.

— А вы знаете, с кем разговариваете, сударыня? — спросила гостя.

— Как будто бы, — сказала миссис Гэмп, презрительно обводя ее взглядом с головы до ног, — с Бетси Приг. Как будто бы так. Знаю ее как нельзя лучше. Подите вон!

— И это вы собирались мной командовать! — воскликнула миссис Приг, в свою очередь озирая миссис Гэмп с головы до ног. — Это вы-то, вы? Подумаешь, осчастливила! Да черт бы побрал ваше нахальство! — закричала миссис Приг, мгновенно переходя от насмешки к ярости. — Как вы смеее?

— Убирайтесь вон! — произнесла миссис Гэмп. — Я за вас краснею.

— Уж кстати покраснели бы и за себя хоть немножко! — сказала миссис Приг. — Ох уж вы, с вашим Чаффи! Так, значит, несчастный старикашка вовсе не такой слабоумный? Ага!

— Он скоро и совсем бы рехнулся, если б вас к нему приставить, — сказала миссис Гэмп.

— Так для этого я вам и понадобилась, вот оно что? — торжествующе воскликнула миссис Приг. — Да? Ну, не рассчитывайте. Шага я к нему не сделаю. Посмотрим, как-то вы без меня обойдетесь. Я с ним никакого дела иметь не хочу.

— И не будете — вот уж это вы правду сказали! — Заметила миссис Гэмп. — Убирайтесь вон!

Несмотря на живейшее желание миссис Гэмп видеть своими глазами, как миссис Приг уйдет из ее комнаты, ей это не удалось, потому что Бетси Приг, удаляясь, в сердцах так сильно толкнула кровать, что сверху посыпались деревянные шишки и три-четыре из них очень больно стукнули миссис Гэмп по голове, а когда она опомнилась после деревянного града, миссис Приг уже ушла.

Она тем не менее испытала удовольствие услышать на лестнице, в коридоре и даже на улице басистый голос Бетси, которая осыпала ее бранью и выражала твердую решимость не иметь ничего общего с мистером Чаффи, после чего с удивлением увидела у себя в квартире вместо Бетси Приг мистера Свидлпайпа с двумя джентльменами.

— Господи помилуй, что тут такое случилось? — воскликнул маленький брадобрей. — Ну и шум вы обе подняли, миссис Гэмп! Вот эти господа почти все время стояли на лестнице за дверью и никак не могли к вам достучаться, пока у вас там шла баталия, такой был шум и гром! Как бы не подох маленький щегол в лавке, тот, что качает себе воду. От испуга он прямо из сил выбился, столько накачал воды, что ему и в год не выпить. Должно быть, подумал, что пожар!

Миссис Гэмп тем временем опустилась в кресло и, закатив слезящиеся глаза и сжимая руки, разлилась в горестных жалобах:

— Ах, мистер Свидлпайп, и мистер Уэстлок тоже, если глаза меня не обманывают, да еще и с приятелем, которого я не имею удовольствия знать! Что я вынесла от Бетси Приг за этот вечер, ни одной душе не известно! Если б она ругала только меня в нетрезвом виде — мне даже и показалось, будто от нее пахнет, когда она пришла, только не верилось как-то, потому что сама я не имею этого обыкновения, — миссис Гэмп, кстати сказать, нагрузилась порядком, и благоухание от чайника распространялось по всей комнате, — я бы это перенесла с кротостью. Но что она говорила про миссис Гаррис, этого и ягненок бы не мог простить. Нет, Бетси! — произнесла миссис Гэмп с необыкновенным чувством. — Даже и червяк не стерпел бы.

Маленький брадобрей почесал в затылке, покачал головой, покосился на чайник и, осторожно пятясь, вышел из комнаты. Джон Уэстлок, придвинув кресло, сел рядом с миссис Гэмп. Мартин, усевшись в ногах кровати, стал поддерживать ее с другой стороны.

— Вы, должно быть, хотите знать, что нам нужно? — заметил Джон. — Я вам скажу, когда вы придете в себя. Это не к спеху, несколько

минут можно подождать. Как вы себя чувствуете? Лучше?

Миссис Гэмп, заливаясь слезами, покачала головой и едва слышно пролепетала имя миссис Гаррис.

— Выпейте немножко... — Джон замялся, не зная, как назвать содержимое чайника.

— Чаю, — подсказал Мартин.

— Это не чай, — прошептала миссис Гэмп.

— Какое-нибудь лекарство, — отозвался Джон. — Выпейте немножко.

Миссис Гэмп уговорили выпить стаканчик.

— С одним условием, — расчувствовавшись, заметила она, — что Бетси Приг от меня никогда не получит никакой работы.

— Разумеется, нет, — сказал Джон. — Уж за собой я ей ходить не позволю, ни в коем случае.

— Подумать только, — сказала миссис Гэмп, — что она ходила за этим вашим другом и могла слышать такие вещи, ах!

Джон посмотрел на Мартина.

— Да, — сказал он. — Могла выйти большая неприятность, миссис Гэмп!

— Уж действительно, что неприятность! — отвечала она. — Только то одно, что я дежурила ночью и слушала его бредни, а она — днем, только это и спасло. Чего бы она ни наговорила и чего бы ни сделала, если бы знала то, что я знаю, двуличная дрянь! Боже ты мой милостивый! — воскликнула Сара Гэмп, в гнев попирая ногами пол вместо отсутствующей миссис Приг. — И я еще должна выслушивать от такой женщины то, что она говорит про миссис Гаррис!

— Не обращайтесь внимания, — сказал Джон. — Вы же знаете, что все это неправда.

— Неправда! — воскликнула миссис Гэмп. — И еще какая неправда! Ведь я же знаю, что она, моя милая, ждет меня в эту самую минуту, мистер Уэстлок, и смотрит в окно на улицу, а на руках у нее маленький Томми Гаррис, который зовет меня своей Гэмми, и правильно зовет, сохрани господь его пестрые ножки (точь-в-точь кентерберийская ветчина, говорит его родной папаша, да так оно и есть), с тех пор как я застала его, мистер Уэстлок, с красным вязаным башмачком во рту; засунул его туда, играя, и уж захлебывается, бедный птенчик; они посадили ребенка на полу в гостиной и ищут башмак по всему дому, а он уж совсем задыхается! Ах, Бетси Приг, и показала же ты себя нынче вечером! Ну, да уж больше я тебя и на порог не пущу, змея ползучая!

— А вы еще были всегда так добры к ней! — сочувственно заметил

Джон.

— Вот это-то и обидно. Вот это мне всего больней, — отвечала миссис Гэмп, машинально подставляя стакан Мартину, который его наполнил.

— Вы взяли ее в помощницы ходить за мистером Льюсомом! — сказал Джон. — Приглашали ее себе в помощницы ходить за мистером Чаффи!

— Приглашала, да больше уж не приглашу! — отозвалась миссис Гэмп. — Никогда Бетси Приг не будет моей компаньонкой, сэр!

— Нет, нет, — сказал Джон. — Никуда это не годится.

— Не годится, и никогда не годилось, сэр, — отвечала миссис Гэмп с торжественностью, присущей известной степени опьянения. — Теперь, когда марка, — под этим миссис Гэмп подразумевала маску, — сорвана с лица этой твари, я думаю, что оно и вообще никогда не годилось. Бывают причины, мистер Уэстлок, почему семейство держит что-нибудь в тайне, и когда имеешь дело только с тем, кого знаешь, то и можешь на него положиться. Но кто же теперь может положиться на Бетси Приг, после того что она говорила про миссис Гаррис, сидя вот в этом самом кресле!

— Совершенно верно, — сказал Джон, — совершенно верно. Надеюсь, у вас будет время подыскать себе другую помощницу, миссис Гэмп?

Негодование и чайник лишили миссис Гэмп способности понимать, что ей говорят. Она глядела на Джона слезящимися глазами, шепча памятное имя, которое оскорбила своими сомнениями Бетси Приг, — словно это был талисман против всех земных печалей — и, как видно, уже ничего не соображала.

— Надеюсь, — повторил Джон, — у вас будет время найти другую помощницу.

— Времени мало, это верно, — отозвалась миссис Гэмп, возводя кверху посоловелые глаза и сжимая руку мистера Уэстлока с материнской лаской. — Завтра вечером, сэр, я обещала зайти к его друзьям. Мистер Чезлвит назначил от девяти до десяти, сэр.

— От девяти до десяти, — сказал Джон, выразительно глядя на Мартина, — а после того за мистером Чаффи будут как следует присматривать, не так ли?

— За ним и нужно присматривать как следует, будьте уверены, — возразила миссис Гэмп с таинственным видом. — Не я одна счастливо избавилась от Бетси Приг. Не понимала я этой женщины. Она не умеет держать под замочком то, что знает.

— Не удержит под замком мистера Чаффи, вы думаете? — сказал Джон.

— Думаю? — возразила миссис Гэмп. — Тут и думать нечего!

Чисто сардонический характер этой реплики был усилен тем, что миссис Гэмп медленно кивнула головой и еще более медленно поджала губы. Задремав на минуту, она сразу же очнулась и прибавила чрезвычайно величественно:

— Но я задерживаю вас, джентльмены, а время дорого.

Под влиянием этой мысли, а также и чайника, который внушал ей, будто бы ее посетители желают, чтобы она куда-то немедленно отправилась, и вместе с тем хитро избегая упоминания предметов, которых она только что коснулась в разговоре, миссис Гэмп встала, убрала чайник на обычное место, очень торжественно заперла шкафчик и стала готовиться к нанесению профессионального визита.

Приготовления эти были весьма несложны, так как не требовали ничего другого, кроме протабаченного черного капора, протабаченной черной шали, деревянных башмаков и неизбежного зонтика, без которого ей невозможно было ни принимать младенцев, ни обмывать покойников. Облачившись во все эти доспехи, миссис Гэмп возвратилась к креслу и, усевшись на него, объявила, что она совсем готова.

— Большое все-таки счастье знать, что можешь принести пользу им, бедняжкам, — заметила она. — Не всякий это может. Какие мучения им приходится терпеть от Бетси Приг, просто ужас.

Закрыв при этих словах глаза от невыносимого сострадания к пациентам Бетси Приг, она не открывала их, пока не уронила деревянный башмак. Ее сон прерывался еще не раз, подобно легендарному сну монаха Бэкона^[132], сначала падением второго деревянного башмака, потом падением зонтика. Зато, избавившись от этих мешавших ей предметов, она безмятежно уснула.

Оба молодых человека переглянулись — положение было довольно забавное, — и Мартин, с трудом удерживаясь от смеха, шепнул на ухо Джону Уэстлоку:

— Что же нам теперь делать?

— Оставаться здесь, — ответил он. Слышно было, как миссис Гэмп пробормотала во сне: „Миссис Гаррис“.

— Можете рассчитывать, — прошептал Джон, осторожно поглядывая на миссис Гэмп, — что вам удастся допросить старика конторщика, хотя бы вам пришлось поехать туда под видом самой миссис Гаррис. Во всяком случае, мы теперь знаем достаточно, чтобы заставить ее делать по-нашему, — знаем благодаря этой ссоре, которая подтверждает старую поговорку о том, что, когда мошенники ссорятся, честным людям радость. Ну, Джонас Чезлвит, берегись теперь! А старуха пускай себе спит сколько

ей угодно. Придет время, мы своего добьемся!

Глава I

повергает в изумление Тома Пинча и сообщает читателю, какими признаниями Том обменялся со своей сестрой.

На следующий вечер, перед чаем, Том с сестрой сидели, по обыкновению, у себя, спокойно разговаривая о многих вещах, но только не об истории Льюсома и ни о чем относящемся к ней; ибо Джон Уэстлок — поистине Джон был один из самых заботливых людей на свете, невзирая на свою молодость, — настоятельно посоветовал Тому пока что не рассказывать об этом сестре, чтобы не беспокоить ее. „А я бы не хотел, Том, — прибавил он после некоторого колебания, — омрачить ее счастливое личико или потревожить ее кроткое сердце даже за все богатства и почести мира!“ Поистине Джон отличался необыкновенной добротой, до чрезвычайности даже. Если б Руфь была его дочерью, говорил Том, и тогда он не мог бы проявить к ней больше внимания.

Но, хотя Том с сестрой были необыкновенно разговорчивы, они все же были менее оживлены и веселы, чем всегда. Том не догадывался, что причиной этому была Руфь, и приписывал все тому, что сам он настроен довольно невесело. Да так оно и было, ибо самое легкое облачко на ясном небе ее души бросало свою тень и на Тома.

А на душе у маленькой Руфи лежало облачко в этот вечер. Да, действительно. Когда Том смотрел в другую сторону, ее ясные глаза, украдкой останавливаясь на его лице, то сияли еще ярче обыкновенного, то заволакивались слезой. Когда Том умолкал, глядя в окно на летний вечер, она иногда делала торопливое движение, словно собираясь броситься ему на шею, а потом вдруг останавливалась и, когда он оборачивался, улыбалась ему и весело с ним заговаривала. Когда ей нужно было что-либо передать Тому или за чем-нибудь подойти близко, она бабочкой порхала вокруг него и, застенчиво касаясь его плеча, отстранялась с видимой неохотой, словно стремясь показать, что у нее есть на сердце нечто такое, что в своей великой любви к брату она хочет сказать ему, но никак не может собраться с духом.

Так они сидели вдвоем — она с работой, но не работая, а Том с книгой, но не читая, когда в дверь постучался Мартин. Зная наперед, кто стучится, Том пошел открывать дверь и вернулся в комнату вместе с Мартином. Том был удивлен, потому что на его сердечное приветствие Мартин едва

ответил ему. Руфь также заметила в госте что-то странное и вопросительно посмотрела на Тома, словно ища у него объяснения. Том покачал головой и с таким же безмолвным недоумением посмотрел на Мартина.

Мартин не сел, но подошел к окну и стал глядеть на улицу. Минуту спустя он повернул голову и хотел заговорить, и снова отвернулся к окну, так и не заговорив.

— Что случилось, Мартин? — тревожно спросил Том. — Какие дурные вести вы принесли?

— Ах, Том! — возразил Мартин с упреком. — Ваш притворный интерес к тому, что со мной случилось, еще обиднее, чем ваше недостойное поведение.

— Мое недостойное поведение, Мартин! Мое... — Том не мог выговорить больше ни слова.

— Как вы могли, Том, как могли вы допустить, чтобы я так горячо и искренне благодарил вас за вашу дружбу, и не сказали, как подобает мужчине, что вы покидаете меня? Разве это по-дружески? Разве это честно? Разве это достойно вас — такого, каким вы были прежде, каким я вас знал, — вызывать меня на откровенность, когда вы перешли к моим врагам? Ах, Том!

В его голосе слышалась такая горячая обида и в то же время столько скорби о потере друга, в которого он верил, в нем выражалось столько былой любви к Тому, столько печали и сожаления о его предполагаемой непорядочности, что Том на минуту закрыл лицо руками, чувствуя себя не в силах оправдываться, словно он в самом деле был чудовищем лицемерия и вероломства.

— Скажу по чистой совести, — продолжал Мартин, — что я не столько сержусь, вспоминая свои обиды, сколько горюю о потере друга, каким я вас считал. Только в такое время и после таких открытий мы познаем полную меру нашей былой привязанности. Клянусь, как ни мало я это выказывал, Том, я любил вас, как брата, даже тогда, когда не проявлял должного уважения к вам.

Том уже успокоился и отвечал Мартину словно сам дух истины в будничном обличье, — этот дух нередко носит будничное обличье, слава богу!

— Мартин, — сказал он, — я не знаю, откуда у вас эти мысли, кто повлиял на вас, кто внушил их вам и с какой чудовищной целью. Но все это сплошная ложь. В том впечатлении, какое у вас создалось, нет ни капли правды. Это заблуждение с начала до конца; — и предупреждаю вас, вы будете глубоко сожалеть о своей несправедливости. Честно скажу, что я не

изменял ни вам, ни себе. Вы будете глубоко сожалеть об этом. Да, будете глубоко сожалеть, Мартин.

— Я и сожалею, — ответил Мартин, качая головой. — Мне кажется, я впервые узнал, что значит сожалеть всем сердцем.

— Во всяком случае, — сказал Том, — если бы я даже был таким, каким вы считаете меня, и не имел права на ваше уважение, и то бы вы должны были мне сказать, в чем заключается мое предательство и на каком основании вы меня обвиняете. Вот почему я не прошу вас об этом как о милости, но требую как своего права.

— Мои свидетели — это мои глаза, — возразил Мартин. — Должен ли я им верить?

— Нет, — спокойно сказал Том, — не должны, если они обвиняют меня.

— Ваши собственные слова, ваше поведение, — продолжал Мартин. — Должен ли я им верить?

— Нет, — спокойно отвечал Том, — не должны, если они обвиняют меня. Но этого просто не может быть. Тот, кто истолковал их так ложно, оскорбил меня почти столь же глубоко, — тут спокойствие едва не изменило ему, — как это сделали вы.

— Но ведь я пришел сюда, — сказал Мартин, — и обращаюсь к вашей милой сестре с просьбой выслушать меня...

— Только не к ней, — прервал его Том. — Прошу вас, не обращайтесь к ней. Она никогда вам не поверит.

Говоря это, он взял ее под руку.

— Как же я могу верить этому, Том?!

— Нет, нет, — вскричал Том, — конечно, не можешь. Я так и сказал. Ну, перестань же, перестань. Какая же ты глупенькая!

— Я никогда не думал, — поторопился сказать Мартин, — восстанавливать вас против вашего брата. Не считайте меня настолько малодушным и жестоким. Я хочу одного: чтобы вы меня выслушали и поняли, что я пришел сюда не с упреками — они тут неуместны, — но с глубоким сожалением. Вы не можете знать, с каким горьким сожалением, потому что не знаете, как часто я думал о Томе, как долго, находясь в самом отчаянном положении, я надеялся на его дружескую поддержку и как твердо я верил в него и доверял ему.

— Подожди, — сказал Том, видя, что она собирается заговорить. — Он ошибается; он обманут. Зачем же обижаться? Это недоразумение — оно рассеется в конце концов.

— Благословен тот день, когда оно рассеется, — воскликнул

Мартин, — если только он придет когда-нибудь!

— Аминь! — сказал Том. — Он придет! Мартин помолчал, затем сказал смягчившимся голосом:

— Вы сами сделали выбор, Том, разлука будет для вас облегчением. Мы расстаемся не в гневе. С моей стороны нет гнева.

— С моей стороны его тоже нет, — сказал Том.

— Это именно то, к чему вы стремились и на что положили немало стараний. Я повторяю, вы сами сделали выбор. Вы сделали выбор, какого можно было ожидать от большинства людей в вашем положении, но какого я от вас не ожидал. В этом, быть может, я должен винить скорее собственное суждение, чем вас. С одной стороны — богатство и милость, которой стоит добиваться; с другой — никому не нужная дружба всеми покинутого, лишенного опоры человека. Вы были свободны выбирать между ними и выбрали; сделать это было нетрудно. Но тем, у кого не хватило духу противиться искушению, следует иметь смелость и признаться, что они не устояли; и я порицаю вас за то, что вы встретили меня с такой теплотой, вызвали на откровенность, заставили вас довериться и притворились, будто вы можете быть мне другом, когда на самом деле вы предались моим врагам. Я не верю, — с чувством продолжал Мартин, — дайте мне высказаться от души — я не могу поверить, Том, сейчас, когда стою лицом к лицу с вами, что вы, при вашем характере, могли бы причинить мне зло, хоть я и узнал случайно, у кого вы на службе. Но я бы мешал вам; заставлял бы вас и далее проявлять двоедушие; подверг бы вас риску лишиться милости, за которую вы так дорого заплатили, променяв на нее самого себя; и если я узнал то, что вам так хотелось сохранить в тайне, это лучше для нас обоих.

— Будьте справедливы, — сказал Том, который с самого начала этой речи не отводил кроткого взгляда от лица Мартина, — будьте справедливы даже в вашей несправедливости, Мартин. Вы забыли, что еще не сказали мне, в чем вы меня обвиняете.

— Зачем говорить? — произнес Мартин, махнув рукой и направляясь к выходу. — Вы и так это знаете, без моих слов, и хотя дело не в словах и они ничего не меняют, но мне все же кажется, что лучше обойтись без лишних объяснений. Нет, Том, не будем вспоминать о прошлом. Я расстаюсь с вами сейчас, здесь, где вы были так добры и радушны, с такой же любовью, хотя и с большим унынием, чем после первой нашей встречи. Желаю вам всего лучшего, Том! Я...

— Вы так расстаетесь со мной? Неужели вы можете так расстаться со мной? — воскликнул Том.

— Я... вы... Вы сами сделали выбор, Том! Я... я надеюсь, что это был необдуманый выбор, — выговорил, запинаясь, Мартин. — Я так думаю. Я уверен в этом. Прощайте!

И он ушел.

Том подвел сестру к стулу и сел на свое место. Он взялся за книгу и стал читать, или сделал вид, что читает. Но вскоре он произнес довольно громко, перевертывая страницу: „Он пожалеет об этом!“ — И по его щеке скатилась слеза и упала на страницу.

Руфь опустилась рядом с ним на колени и, прижавшись к нему, обняла его за шею.

— Не надо, Том! Нет, нет! Успокойся! Милый Том!

— Я уже совсем... успокоился, — сказал Том. — Это недоразумение, оно рассеется когда-нибудь.

— Так жестоко, так дурно отплатить тебе! — воскликнула Руфь.

— Нет, нет, — сказал Том. — Он в самом деле этому верит. Не могу понять — почему. Но это недоразумение рассеется.

Еще тесней прижалась она к нему и заплакала так, словно у нее надрывалось сердце.

— Не плачь, не плачь! — утешал ее Том. — Что же ты прячешь от меня лицо, дорогая?

И тут, заливаясь слезами, она высказалась наконец.

— Ах, Том, милый Том, я знаю тайну твоего сердца. Я узнала ее, тебе не удалось скрыть от меня правду.

Зачем же ты не сказал мне? Тебе стало бы легче, если бы ты сказал! Ты любишь ее, Том, нежно любишь!

Том сделал движение рукой, словно хотел в первый миг отстранить сестру; но вместо того крепко сжал ее руку. Вся его нехитрая история была написана в этом движении, все ее трогательное красноречие было в этом безмолвном пожатии.

— И несмотря на это, — сказала Руфь, — ты был так предан и добр, милый Том; несмотря на это, ты был верен дружбе, ты забывал о себе и боролся с собой; ты был так кроток, внимателен и ровен, что я никогда не видела раздраженного взгляда, не слышала недоброго слова. И все же ты жестоко ошибся! Ах, Том, милый Том, или и это недоразумение? Так ли это, Том? Неужели ты всегда будешь носить в груди свою скорбь — ты, который заслуживаешь счастья! — или есть какая-то надежда?

И все же она прятала лицо от Тома, обняв его, и плакала о нем, и изливала свое сердце и душу, скорбя и радуясь.

Прошло не очень много времени, и они с Томом уже сидели рядом, и

Руфь глядела ему в глаза серьезно и спокойно. И тогда Том заговорил с ней — бодрым, но грустным тоном:

— Я очень рад, милая, что это произошло между нами. Не потому, что я еще больше уверился в твоей нежности и любви (я и раньше был в них уверен), но потому, что это сняло большую тяжесть с моей души.

Глаза Тома просияли, когда он говорил о ее любви к нему, и он поцеловал сестру в щеку.

— Дорогая моя девочка, — продолжал Том, — какие бы чувства я ни питал к ней (оба они, словно по взаимному уговору, избегали называть ее имя), я давно уже — можно сказать, с самого начала — отношусь к этому, как к мечте, как к чему-то такому, что могло бы осуществиться при других условиях, но чего никогда не будет. А теперь скажи мне, какую беду ты хотела бы поправить?

Она бросила на Тома такой многозначительный взгляд, что ему пришлось удовольствоваться им вместо ответа.

— По своему собственному выбору и добровольному согласию, голубка моя, она стала невестой Мартина; и была ею задолго до того, как оба они узнали о моем существовании. А тебе хотелось бы, чтоб она была моей невестой?

— Да, — прямо ответила Руфь.

— Да, — возразил Том, — но от этого могло бы стать только хуже, а не лучше. Или ты воображаешь, — печально улыбаясь, продолжал Том, — что она влюбилась бы в меня, даже если бы никогда не видела его?

— Почему же нет, милый Том?

Том покачал головой и опять улыбнулся.

— Ты думаешь обо мне, Руфь, — сказал он, — и с твоей стороны это очень естественно — как о герое из какой-нибудь книжки, и желаешь, чтобы в силу поэтической справедливости я в конце концов, вопреки всякому вероятию, женился бы на девушке, которую люблю. Но существует справедливость гораздо выше поэтической, моя дорогая, и она предопределяет ход событий, руководствуясь иными основаниями. Бывает, конечно, что люди, начитавшись книжек и вообразив себя героями романа, считают своим долгом напустить на себя мрачность, разочарованность и мизантропию и даже не прочь возроптать, только потому, что не все идет так, как им нравится. Ты хочешь, чтобы я стал таким, как эти люди?..

— Нет, Том. Но все-таки я знаю, — прибавила она робко, — что для тебя это горе, как бы ты ни рассуждал.

Том хотел было спорить с ней. Но передумал, ибо это было бы сущим безумием.

— Моя дорогая, — сказал Том, — я отплачу за твою любовь правдой, чистой правдой. Для меня — это горе. Иногда, не скрою, оно дает себя знать, хоть я и стараюсь с ним бороться. Но если умрет дорогой тебе человек, тебе ведь может присниться, что ты на небесах, вместе с его отлетевшей душой, и тогда для тебя будет горем проснуться к земной жизни, хотя она не стала тяжелее, чем была, когда ты засыпала. Мне горько думать о моей мечте, а между тем я всегда знал, что это — мечта, даже тогда, когда она впервые явилась мне; но тут действительность ни в чем не виновата. Она все та же, что и была. Моя сестра, моя кроткая спутница, присутствие которой так украшает мою жизнь, разве она меньше привязана ко мне, чем была бы, если бы это видение никогда меня не смущало? А мой старый друг Джон, который мог отнестись ко мне холодно и небрежно, разве он стал менее сердечен со мной? Разве меньше стало хорошего в окружающем меня мире? Так неужели я должен говорить резко и глядеть озлобленно, неужели мое сердце должно очерстветь, оттого что на моем пути встретилось доброе и прекрасное создание, — ведь если б не эгоистическое сожаление о том, что я не могу назвать ее своей, эта девушка могла бы сделать меня счастливей и лучше, как и все другие добрые и прекрасные создания, каких человек встречает на своем пути! Нет, милая сестра, нет, — решительно говорил Том. — Вспоминая все, чем я могу быть счастлив, я вряд ли смею называть эту беглую тень горем; но какое бы имя она ни носила, я благодарю бога за то, что она делает меня восприимчивее к любви и привязанности и смягчает меня на тысячу ладов. Она не отнимает счастья, не отнимает счастья. Руфь!

Сестра не в силах была заговорить с ним, но чувствовала, что любит его так, как он того заслуживает. Именно так, как он того заслуживал, она любила его.

— Она откроет глаза Мартину, — говорил Том горячо и с гордостью, — и недоразумение рассеется, потому что это и в самом деле недоразумение. Я знаю, никто не может убедить ее в том, что я изменил ему. Но она откроет ему глаза, и он будет очень сожалеть о своей ошибке. Наша тайна, Руфь, принадлежит только нам, она будет жить и умрет вместе с нами. Не думаю, чтобы я решился когда-нибудь сказать тебе это сам, — улыбаясь, заключил Том, — но как же я рад, что ты догадалась!

Никогда еще у них не бывало такой приятной прогулки, как в этот вечер. Том рассказывал ей все так свободно и просто и так стремился ответить на ее нежность полным доверием, что они гуляли гораздо дольше положенного и, вернувшись домой, засиделись до позднего часа. А когда они простились на ночь, у Тома было такое спокойное, прекрасное

выражение лица, что она никак не могла наглядеться на него и, подкравшись на цыпочках к дверям его комнаты, стояла, любуясь им, до тех пор, пока он ее не заметил, а потом, еще раз поцеловав его, ушла к себе. И в ее молитвах и во сне — хорошо, когда о тебе вспоминают с такой нежностью, Том! — его имя первым приходило ей на уста.

Оставшись один, Том немало размышлял об ее открытии, очень удивляясь, как она проникла в его тайну. „Потому что, — думал Том, — я ли не старался — хотя это было ненужно и даже неумно, как я теперь понимаю, когда мне стало гораздо легче оттого, что она все знает, — я ли не старался скрыть это от нее. Разумеется, я видел, какая она умная и живая, и потому особенно остерегался, но ничего подобного просто не ожидал. Я уверен, что все это произошло совершенно случайно. Но боже мой, — удивлялся Том, — какая необычайная проницательность!“

Эти мысли никак не выходили у Тома из головы. Они не покинули его и тогда, когда он опустил голову на подушку.

„Как она дрожала, когда призналась мне, что обо всем догадывается, — думал Том, припоминая все мельчайшие подробности и обстоятельства, — и как разгорелось ее лицо! Но это было естественно, о, вполне естественно! Тут нечему удивляться“.

Тому и не снилось, насколько это было естественно. Ему и не снилось, что в собственном сердце Руфи совсем не так давно поселилось то чувство, которое помогло ей угадать его тайну. Ах, Том! Он так и не донял, о чем шепчет фонтан в Тэмпле, хотя проходил мимо него каждый день.

Кто другой был так оживлен и весел, как хлопотливая Руфь на следующее утро! Ее легкие шаги и ранний стук в дверь Тома были бы музыкой для него, даже если бы она не заговорила. Но она сказала, что сегодня самое ясное утро, какое только можно себе представить, и так оно и было, а если б даже было иначе, все равно Том поверил бы ей.

Когда он спустился вниз, она уже приготовила ему скромный завтрак, достала шляпку для утренней прогулки и рассказала ему так много нового, что Том только диву давался. Словно она всю ночь не ложилась, собирая для него новости. И про то, что мистер Неджет до сих пор не возвращался домой; и про то, что хлеб подешевел на один пенни; и про то, что чай нынче вдвое крепче, чем прошлый раз; и про то, что муж молочницы вышел из госпиталя и совсем здоров; и про то, что кудрявый мальчик из дома напротив пропадал вчера целый день; и про то, что она хочет наварить всех сортов варенья, а в доме нашлась подходящая для этого кастрюлька; и что она прочла ту книжку, которую Том принес прошлый раз, всю до конца, хотя читать ее было очень скучно; и что ей столько нужно ему рассказать,

вот почему она первая кончила завтракать. Потом она надела шляпку, заперла чай и сахар, положила ключи в сумочку, вдела, как всегда, цветок в петлицу брата и совсем собралась проводить его, прежде чем Том понял, что она собирается. Словом, как сказал Том, — с такой уверенностью в справедливости своего мнения, что это звучало как вызов обществу, — никогда еще не было на свете такой хозяйшкн, как она.

Она заставила Тома разговарнваться. Устоять против нее было невозможно. Она с таким увлечением расспрашнвала его — о книгах, органах, старых церквах, о Тэмпле и о чем только возможно. В самом деле, ндти вместе с нею было настолько веселее (и на сердце у Тома тоже становилось веселей), что Тэмпл показался ему совсем неинтересным и пустынным, когда он расстался с нею у ворот.

„Я полагаю, знакомый мистера Фипса не придет и сегодня“, — подумал Том, поднимаясь по лестнице.

Пока еще не пришел во всяком случае, потому что дверь была заперта, как обычно, и Том открыл ее своим ключом. Книги он уже привел в полный порядок, подклеил рваные страницы, исправил поврежденные переплеты и заменил аккуратными ярлыками стершиеся надписи. Комнату трудно было узнать, такая тут была чистота и порядок. Том с гордостью любовался трудами своих рук, хотя некому было хвалить или порицать его за это.

Теперь он был занят перепиской набело своего каталога, а так как торопиться было некуда, Том не пожалел труда и пустил в ход все то умение и трудолюбие, которое он вкладывал в карты и чертежи у мистера Пексннфа. Это было истинное чудо, а не каталог; Тому нередко казалось, что деньги слишком легко ему достаются, и про себя он решил потратить часть своего досуга на составление этого документа.

Так он проработал целое утро, орудуя то пером, то линейкой, то циркулем, то резинкой, то карандашом, то черной и красной тушью. Он много думал о Мартине и о вчерашнем свидании с ним; у него стало бы гораздо легче на душе, если б он решился довериться своему другу Уэстлоку и узнать его мнение на этот счет. Но Джон, как ему было известно, не оставил бы этого так, а ведь Джон помогал теперь Мартину в очень важном деле, и лишнть Мартина помощи в такую критическую минуту — значило бы нанести ему серьезный ущерб.

— Так что придется держать это про себя, — сказал Том со вздохом, — придется держать про себя.

И, стараясь забыться за работой, он принялся за нее еще усерднее прежнего, орудуя попеременно пером, линейкой, резинкой, карандашом, черной и красной тушью.

Он проработал еще час или около того, когда внизу у входа послышались чьи-то шаги.

— Ага, — сказал Том, взглядывая на дверь, — было время, и еще не так давно, когда эти шаги заставили бы меня насторожиться. Но теперь я это бросил.

Шаги слышались все выше по лестнице.

— Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, — считал Том. — Теперь ты остановишься. Никто не поднимается выше тридцать восьмой ступеньки.

Посетитель и в самом деле остановился, но только для того, чтобы перевести дыхание, потом шаги послышались снова. Сорок, сорок один, сорок два, и так далее.

Шаги приближались. Дверь была открыта настежь, и Том с любопытством и нетерпением поглядывал на нее. Когда на площадке показалась фигура и, остановившись на пороге, посмотрела на него, он вскочил со стула, думая, что видит привидение.

Старый Мартин Чезлвит! Тот самый, которого он оставил у мистера Пекснифа дряхлым и все более и более слабеющим стариком!

Тот самый? Нет, не тот самый; этот старик был хотя и стар, но полон жизни, и опирался на трость сильной рукой, другой рукой делая знак Тому, чтоб он молчал. Один взгляд на решительное лицо, живые глаза, на руку, сжимавшую трость, на выражение энергии и настойчивости во всей фигуре — и Тома мгновенно озарило.

— Вам долго пришлось меня ждать, — сказал Мартин.

— Мне сказали, что мой патрон скоро приедет, — ответил Том, — но...

— Я знаю. Вам не сказали, кто он такой. Это было по моему желанию. Я собирался повидаться с вами гораздо ранее. Я думал, что время уже настало. Я думал, что не узнаю о нем ничего больше и ничего хуже, чем в тот день, когда мы с вами виделись в последний раз. Но я ошибся.

Он подошел к Тому и пожал ему руку.

— Я жил у него в доме, Пинч, и терпел его подлое раболепие долгие дни, недели, месяцы. Вы это знаете. Я позволил ему сделать меня своим орудием. Вы это знаете: вы видели меня там. Я вытерпел в тысячу раз больше, чем мог бы вытерпеть, будь я тем жалким, дряхлым стариком, каким он считал меня. Вы это знаете. Я замечал, как он навязывается Мэри со своим вниманием. Вы это знаете: кому лучше знать, кому, как не вам, верное сердце! Его низкая душонка разоблачалась передо мной день за днем, и я ни разу не выдал себя. Я бы ни за что не вытерпел такую муку,

если бы не надеялся, что придет час расплаты.

Он остановился посреди своей страстной речи, если можно назвать страстной такую решительную и твердую речь, чтобы еще раз пожать Тому руку. Потом сказал в сильном волнении:

— Закройте дверь, закройте же дверь! Он с минуты на минуту должен явиться сюда за мной; боюсь, как бы он не пришел слишком скоро. Близится время, — сказал старик торопясь, однако лицо и глаза его сияли, — которое вознаградит всех. Даже за миллион золотых монет я не хотел бы, чтоб он умер или повесился! Закройте дверь!

Том закрыл ее, сам не зная, во сне или наяву он это видит.

Глава LI

проливает — новый, яркий свет на весьма темное место и рассказывает, что воспоследовало из предприятия мистера Джонаса и его друга.

Настал тот вечер, когда старый конторщик должен был поступить под надзор своих сторожей. Доведенный чуть ли не до сумасшествия мыслями о своем злодеянии, Джонас все же не позабыл об этом.

Терзаясь страхом, он не мог этого не помнить, ибо от настойчивости в выполнении задуманного зависела собственная его безопасность. Один намек, одно слово старика, пойманное в такую минуту настороженным слухом, могло повлечь за собой целую цепь подозрений и погубить его. Он зорко следил за всеми путями, ведущими к раскрытию его вины, и эта зоркость обострялась имеее с сознанием опасности, которая грозила ему. С преступлением на совести, терзаясь бесчисленными тревогами и страхами, не дававшими ему покоя ни днем ни ночью, он совершил бы убийство еще раз, если б увидел, что этот путь ведет к спасению. В этом и была его кара, на это и была обречена его преступная душа.

Страх принуждал его совершить снова то самое дело, которое внушало ему такой невыносимый страх.

Однако достаточно будет держать Чаффи взаперти, как он решил. Джонас собирался бежать, когда уляжется первое волнение и тревога и когда его попытка не возбудит ни в ком подозрения. А тем временем сиделки уймут старика; да если б ему и вздумалось поговорить, их ничем не удивишь. Известно, что такое сиделки.

И все же он не на ветер сказал, что старику надо заткнуть рот. Он решил, что заставит его молчать, и ему важно было добиться этой цели, все равно какими средствами. Всю жизнь он был резок, груб и жесток с беднягой Чаффи, и насилие казалось ему вполне естественным по отношению к старику. „Ему заткнут рот, если он будет говорить, и свяжут руки, если он будет писать, — говорил про себя Джонас, глядя на старика, когда они сидели вдвоем. — Для этого он достаточно полоумный, а я ни перед чем не остановлюсь!“

Т-с-с!

Он все прислушивался! К каждому звуку. Он прислушивался с тех самых пор, но этого еще не было. Банкротство страхового общества;

бегство Кримпла и Буллами с награбленным добром, в том числе, как он и опасался, с его собственным векселем, которого он не нашел в бумажнике убитого и который вместе с деньгами мистера Пекснифа был, очевидно, переслан тому или другому из этих надежных друзей для помещения в банк; понесенные им огромные потери и до сих пор висевшая над ним угроза быть привлеченным к ответственности в качестве одного из директоров обанкротившейся фирмы — мысли об этом возникали в его уме постоянно, но он не мог на них сосредоточиться. Он знал, что они тут, но в ярости, замешательстве и отчаянии думал только об одном — когда же найдут мертвое тело в лесу.

Он пытался — он непрестанно пытался — не то чтобы забыть, что оно лежит там, — забыть об этом было невозможно, — но не мучить себя яркими картинками, возникавшими в воображении: вот он бродит вокруг, все вокруг тела, тихонько ступая по листьям, видит его в просвет между ветвями и подходит все ближе и ближе, спугивая мух, которые густо усеяли его, точно кучками сушеной смородины. Он неотвязно думал о минуте, когда тело будет найдено, и напряженно прислушивался к каждому стуку, к каждому крику, к шуму шагов, то приближавшихся, то удалявшихся от дома, следил в окно за прохожими на улице, боясь выдать себя словом, взглядом или движением. И чем больше его мысли сосредоточивались на той минуте, когда тело будет найдено, тем сильнее приковывало их оно само, одиноко лежащее в лесу. Он словно показывал его всем и каждому кого видел: „Слушайте! Вы знаете про это? Уже нашли? И подозревают меня?“ Если бы его приговорили носить это тело на руках и повергать для опознания к ногам каждого встречного, то и тогда оно не могло бы находиться при нем более неотлучно и не занимало бы его мыслей с таким неотвязным упорством.

И все же он ни о чем не жалел. Ни раскаяние, ни угрызения совести не тревожили его: он только опасался за себя. Смутное сознание, что, решившись на убийство, он погубил себя, только разжигало его злобность и мстительность и придавало еще больше цены тому, чего он добился. Тот человек убит: ничто не могло этого изменить. Он все еще торжествовал при этой мысли.

Он ревниво следил за Чаффи с самого дня убийства, оставляя его редко и только в силу необходимости, да и то лишь на самое короткое время. Теперь они были одни. Спускались сумерки, и назначенное время подходило все ближе. Джонас расхаживал взад и вперед по комнате. Старик сидел в своем привычном уголке.

Всякий пустяк становился для убийцы источником тревоги, и на этот

раз его беспокоило отсутствие жены, которая ушла из дому еще днем и до сих пор не вернулась. Не привязанность к ней была тому причиной: он опасался, как бы ее не задержали по дороге и не принудили сказать что-нибудь такое, что изобличит его, когда вести об этом дойдут до Лондона. Почем знать, она, быть может, стучалась к нему в дверь, когда его не было, и догадалась о его замысле. Черт бы взял эту дуру с ее постной рожей, с нее станет шляться взад и вперед по всему дому! Где она сейчас?

— Она пошла к своему доброму другу, миссис Тоджерс, — ответил старик, когда он задал ему этот вопрос, злобно выбранившись.

Ну да, так и есть! Вечно таскается потихоньку к этой старухе. Ему-то она не друг. Почем знать, какую дьявольскую штуку они там высидят вместе? Пускай немедленно приведут ее домой.

Старик, тихонько бормоча что-то, поднялся с места, словно собираясь идти сам; но Джонас с нетерпеливой бранью толкнул его обратно в кресло и кликнул служанку. Отослав ее с этим поручением, он опять стал расхаживать взад и вперед и не останавливался до тех пор, пока она не вернулась, что произошло довольно скоро — дорога была недалняя, да и девушка очень торопилась.

— Ну, так где же она? Вернулась?

— Нет; она вот уже три часа как ушла оттуда.

— Ушла оттуда! Одна?

Посланница не спросила, думая, что это само собой разумеется.

— Этакая дура, черт бы вас побрал! Принесите свечи!

Не успела она выйти из комнаты, как старый конторщик, который необычайно внимательно следил за Джонасом с тех пор, как тот спросил про жену, неожиданно напал на него.

— Оставьте ее! — кричал старик. — Слышите! Отдайте ее мне! Скажите мне, что вы с ней сделали? Сейчас же! На этот счет я ничего не обещал. Скажите мне, что вы с ней сделали?

Он схватил Джонаса за шиворот, вцепился в него — и очень крепко.

— Вы не уйдете от меня! — кричал старик. — У меня хватит сил позвать соседей, и я их позову, если вы ее не отдадите. Оставьте ее!

Застигнутый врасплох Джонас так растерялся, что у него не достало духу разжать руки старика, и он стоял, глядя на него, в потемках, не смея шевельнуть и пальцем. Единственное, на что он отважился, — это спросить Чаффи, что с ним такое.

— Я хочу знать, что вы с ней сделали! — настаивал Чаффи. — Вы ответите за каждый волосок на ее голове. Бедняжка! Где она?

— Что с вами, полоумный вы старик! — дрожащими губами

выговорил Джонас. — Или вы рехнулись?

— Можно было рехнуться от всего, что я видел в этом доме! — воскликнул Чаффи. — Где мой старый хозяин? Где его единственный сын, которого я качал на коленях ребенком? Где она, та, что была последней? Та, что таяла на моих глазах день за днем и плакала во мраке ночи? Она была последней, последним моим другом! Помогите мне, господа, она была последним моим утешением!

Видя, что слезы катятся по его лицу, Джонас набрался храбрости: он оторвал от себя его руки и отшвырнул его, прежде чем ответить.

— Вы слышали, что я спрашивал про нее! Вы видели, что я посылал за ней! Как же я могу отдать вам то, чего у меня нет, вы, идиот? Ей-богу, я бы с радостью отдал ее вам, если б мог, отличная бы вышла парочка!

— Если с ней что-нибудь случилось, — вскричал Чаффи, — берегитесь! Я стар и выжил из ума, но иногда память возвращается ко мне, и если с ней что-нибудь случилось...

— Подите вы к черту, — прервал его Джонас, не повышая голоса, — что с ней могло случиться, по-вашему? Я, так же как и вы, не знаю, куда она девалась, а хотел бы знать. Подождите, пока она вернется домой, тогда увидите: теперь она скоро должна прийти. Довольно с вас этого?

— Берегитесь! — воскликнул старик. — За каждый волосок на ее голове, за каждый волосок вы ответите мне! Я этого не потерплю. Я... я слишком долго терпел, Джонас. Я молчу, но... но... но могу и заговорить. Я... я... я могу и заговорить, — заикаясь, бормотал старик, с трудом волоча ноги к креслу и обратив на Джонаса угрожающий, хотя и потухший взгляд.

„Ты можешь заговорить, вот как? — подумал Джонас. — Ну-ну, так мы заткнем тебе глотку. Хорошо еще, что я узнал об этом вовремя. Лучше предупредить болезнь, чем лечить ее“.

Он то пробовал запугать Чаффи, то старался его задобрить и в то же время так боялся старика, что крупные капли пота выступили у него на лбу и стояли не просыхая. Необычный для него тон и беспокойные движения достаточно ясно показывали, что он боится, но особенно это видно было по его лицу теперь, когда внесли свечи, и он зашагал по комнате, то и дело поглядывая на Чаффи.

Он остановился у окна в раздумье. Лавка напротив была освещена, и торговец с покупателем склонились над стойкой, читая какое-то печатное объявление. Это зрелище мгновенно вернуло его к мысли, о которой он на время позабыл: „Слушайте! Вы знаете про это? Уже нашли? И подозревают меня?“

Чей-то стук в дверь.

— Что такое?

— Приятный вечер, — произнес голос миссис Гэмп, — хотя и жарко, но чего же другого ожидать, мистер Чезлвит, господь с вами, когда огурцы по два пенса за тройку. Как чувствует себя нынче мистер Чаффи, сэр?

Говоря это, миссис Гэмп держалась что-то уж очень близко к дверям и приседала чаще обыкновенного. Казалось, она чувствовала себя далеко не так свободно, как всегда.

— Отведите старика в его комнату, — сказал Джонас ей на ухо, подойдя к ней поближе. — Он заговаривается нынче вечером, совсем рехнулся. Не говорите при нем ничего, а потом опять приходите сюда.

— Ах он, мой голубчик! — воскликнула миссис Гэмп необыкновенно ласково. — Весь дрожит!

— Как же ему не дрожать, — заметил Джонас, — после такого буйного припадка. Ведите его наверх. Миссис Гэмп помогла старику подняться на ноги.

— Вот так, дорогой мой старичок! — приговаривала миссис Гэмп голосом, который был в одно и то же время и успокоительным и ободряющим. — Вот так, миленький мой мистер Чаффи! Ну пойдем, пойдем в вашу комнатку, сударь, вы там полежите немножко на постельке, а то ведь вы весь трясетесь, будто ваши драгоценные косточки ходят на пружинах. Вот так, мой хороший! Пойдем вместе с Сарой.

— Она вернулась домой? — спросил старик.

— Она сию минуту вернется, — отвечала миссис Гэмп. — Идемте с Сарой, мистер Чаффи. Идемте со своей родной Сарой!

Добрая женщина не имела в виду никого в особенности; обещая скорое возвращение той особы, о которой беспокоился мистер Чаффи, она сболтнула это для того, чтобы успокоить старика. Однако ее слова оказали свое действие, он позволил себя увести, и оба они ушли из комнаты вместе.

Джонас опять подошел к окну. В лавке напротив все еще читали печатное объявление, и теперь вместе с теми двумя читал кто-то третий. Что это могло быть, отчего они так заинтересовались?

Они о чем-то заспорили или начали обсуждать что-то, так как все разом подняли голову от бумаги, и один из троих, который заглядывал через плечо другому, отступил назад, объясняя или показывая что-то жестом.

О, ужас! Как это похоже на тот удар, что он нанес в лесу!

Он отпрянул от окна, словно удар нанесли ему самому. Шатаясь, опустился он в кресло, думая о перемене в миссис Гэмп, которая выражалась в новоявленной нежности к ее пациенту. Неужели это оттого,

что нашли? Оттого, что она уже знает? Оттого, что она подозревает его?

— Мистера Чаффи я уложила, — сказала миссис Гэмп, возвратившись, — может, и польза ему от этого будет, мистер Чезлвит; вреда не будет, а польза может быть, не беспокойтесь!

— Сядьте, — хрипло сказал Джонас, — и давайте покончим с этим делом. Где другая женщина?

— Другая особа теперь с ним, — отвечала она.

— Ну и правильно, — сказал Джонас. — Его нельзя оставлять одного. Ведь он на меня набросился нынче — вцепился вот сюда, в воротник — прямо как бешеная собака. Хоть он и старый и сил у него нет в обыкновенное время, а тут я его еле оторвал. Вы... Тс-с! Нет, нет, ничего... Вы говорили мне, как зовут другую женщину? Я позабыл.

— Я упоминала Бетси Приг, — сказала миссис Гэмп.

— На нее ведь можно положиться?

— Никак нельзя! — сказала миссис Гэмп. — Да я ее и не привела, мистер Чезлвит. Я привела другую, вот эта уж действительно подходящая во всех отношениях.

— Как ее зовут? — спросил Джонас.

Миссис Гэмп посмотрела на него довольно странным взглядом, ничего не отвечая, хотя, по-видимому, поняла вопрос.

— Как ее фамилия? — повторил Джонас.

— Ее фамилия, — сказала миссис Гэмп, — Гаррис.

Удивительное дело, каких усилий стоило миссис Гэмп выговорить фамилию, которая в другое время не сходила у нее с языка. Она раза три или четыре раскрывала рот, прежде чем ей удалось произнести ее; а после того как выговорила, прижала руку к груди и закатила глаза, словно собиралась упасть в обморок. Но, зная, что она подвержена целому легиону всяких болезней, при которых время от времени требуется глоточек спиртного для поддержания ее жизни и которые проявляются с особенной силой, когда этого лекарства нет под руками, Джонас подумал только, что у страдалицы, должно быть, как раз такой приступ.

— Ну, — сказал он торопливо, чувствуя, что совершенно неспособен сосредоточить свое рассеянное внимание на этом предмете, — так вы с ней вдвоем беретесь ходить за ним?

Миссис Гэмп ответила утвердительно и еле-еле выговорила обычную свою фразу: „По очереди: одна дежурит, другая свободна“. Но она говорила таким дрожащим голосом, что сочла необходимым прибавить: „Нервы у меня нынче что-то так разошлись, никакими словами не описать!“

Джонас вдруг насторожился, прислушиваясь; затем поспешно сказал:

— Из-за условий мы с вами не поссоримся. Пускай будут такие же, как раньше. Держите его взаперти и не давайте ему болтать. Его надо приструнить. Нынче вечером он забрал себе в голову, что моя жена умерла, и набросился на меня, как будто я ее убил. Это бывает с полоумными, вообразят себе эдакое про самых своих близких, верно?

Миссис Гэмп выразила согласие коротким стоном.

— Так держите его под замком, а не то он мне наделает бед во время такого припадка. И не верьте ни единому его слову, потому что он всего больше заводится в такое время, когда кажется всего разумнее. Но это вы уже знаете. Позовите ко мне другую.

— Другую особу, сэр? — спросила миссис Гэмп.

— Да! Ступайте к нему и пришлите другую. Скорей! Мне некогда.

Миссис Гэмп попятилась шага на два, на три к порогу и остановилась там.

— Значит, вы желаете, мистер Чезлвит, — произнесла она дрожащим голосом, похожим на хриплое карканье, — видеть другую особу, да?

Но страшная перемена в Джонасе без слов сказала ей, что он уже увидел другую особу. Прежде чем она успела оглянуться на дверь, ее отстранила рука старого Мартина, а вместе с ним вошли Чаффи и Джон Уэстлок.

— Не выпускайте никого из дома, — сказал Мартин. — Этот человек — сын моего брата, воспитанный во зле и обреченный злу. Если он только тронется с места или повысит голос, откройте окно и зовите на помощь!

— Кто вам дал право распоряжаться в этом доме? — едва слышно спросил Джонас.

— Это право дало мне ваше преступление. Войдите сюда!

Неудержимое восклицание сорвалось с губ Джонаса, когда Льюсом вошел в комнату. Это был не стон, не вопль, не какое-нибудь слово, но звук, какого еще не доводилось слышать присутствующим; он выражал все происходившее в преступной душе Джонаса с почти нечеловеческой силой.

И ради этого он совершил убийство! Ради этого обрек себя на опасности, душевные муки, бесчисленные страхи! Он спрятал свою тайну в лесу, вдавил, втоптал ее в окровавленную землю; а она появилась тут, нежданно-негаданно, за много миль от того места, известная многим, разглашенная устами старика, к которому, словно чудом, вернулись крепость и сила, чтобы эта тайна могла поднять голос против Джонаса!

Он положил руку на спинку стула и обвел всех взглядом. Напрасно старался он глядеть презрительно или с обычной своей дерзостью. Он упал бы, если б не держался за стул, но все же он не сдавался.

— Я знаю этого молодца, — сказал он, переводя дыхание на каждом слове и указывая дрожащим пальцем на Льюсома. — Таких вралей свет не создавал. Что он там еще придумал? Ха-ха! Да и вы тоже хороши! Ведь этот мой дядюшка впал в детство, хуже чем мой отец в старости, хуже чем вот этот самый Чаффи. За каким чертом вы вломились ко мне, — прибавил он, злобно глядя на Джона Уэстлока и Марка Тэпли (который вошел в комнату вместе с Льюсомом), — для чего вы сюда притащились и привели с собой этих двух идиотов и мошенников? Эй, вы! Откройте дверь! Гоните чужих вон!

— Вот что я вам скажу, — объявил мистер Тэпли, выступая вперед, — если бы только не ваша фамилия, я бы сам вас поволок по улицам, один, без помощников, да! Так бы и сделал! И не старайтесь глядеть на меня так, словно съесть хотите. Ничего у вас не выйдет! А теперь продолжайте, сэр, — обратился он к старому Мартину. — Поставьте этого изверга на колени! Если ему хочется шума, пожалуйста: я подниму такой крик, что сбежится полгорода; и это так же верно, как то, что он весь дрожит с головы до пяток. Продолжайте, сэр! Пусть только сунется ко мне, увидит тогда, умею я держать слово или нет.

После этой тирады Марк скрестил руки и уселся на подоконнике, выражая своей позой полную готовность ко всему решительно; по-видимому, он нисколько не задумался бы сам выпрыгнуть в окошко или вышвырнуть в него Джонаса, стоило только намекнуть, что это желательно собравшимся.

Старый Мартин повернулся к Льюсому.

— Тот ли это человек, — спросил он, простирая руку к Джонасу, — или нет?

— Вам достаточно взглянуть на него, чтобы убедиться в этом и в правдивости моих слов, — ответил тот. — Он мой свидетель.

— Ах, брат! — воскликнул старый Мартин, сжимая руки и возводя глаза к небу. — Ах, брат, брат! Разве для того мы полжизни чуждались друг друга, чтобы ты породил такого негодяя, а я обратил жизнь в пустыню, иссушив все цветы вокруг себя? И неужели к этому свелся весь смысл твоей и моей жизни, что ты растил, воспитывал, обучал и берег негодяя и заботился о нем; а я стал орудием его казни, когда уже ничто не может вернуть упущенного?

С этими словами он опустил в кресло и, отвернувшись в сторону, умолк на минуту. Потом продолжал с новой силой:

— Но наши заблуждения дали всходы, и пагубная жатва должна быть вытоптана. Пока еще не поздно. Вы на очной ставке с этим человеком, с

этим извергом, не для того, чтобы щадить его, но чтобы поступить с ним по справедливости. Выслушайте, не поддавайтесь, стойте на своем, делайте, что хотите — мое решение останется неизменным. Что ж, приступим! А вы, — обратился он к Чаффи, — расскажите, что знаете, из любви к вашему старому другу, добрый человек!

— Я молчал из любви к нему! — воскликнул старик. — Он так просил меня. На смертном одре он заставил меня обещать ему это. Я бы никогда не рассказал, если б вы без меня не узнали так много. Ведь я все думал об этом с тех самых пор — не мог не думать; иной раз мне все это представлялось как во сне, только днем, а не ночью. Разве бывают такие сны? — спросил Чаффи, тревожно глядя в лицо старому Мартину.

Тот сказал ему что-то ободряющее, и Чаффи, внимательно прислушивавшийся к его голосу, улыбнулся.

— Да, да! — воскликнул он. — Вот и он так же говорил со мной. Мы с ним вместе учились в школе. Я не мог пойти против его сына, — против его единственного сына, мистер Чезлвит!

— Жаль, что не вы были его сыном! — воскликнул Мартин.

— Вы говорите так похоже на моего доброго старого хозяина, — отозвался старик с детской радостью, — что мне кажется, будто я его слышу. Я слышу вас почти так же хорошо, как, бывало, слышал его. Я будто опять молодею. Он ни разу не сказал мне недоброго слова, и я всегда его понимал. И всегда его видел, хоть глаза у меня стали слабы. Так, так! Он умер, да, умер. Он был очень добр ко мне, мой дорогой старый хозяин!

Старик печально покачал головой, склонившись к руке его брата. В эту минуту Марк, смотревший в окно, вышел из комнаты.

— Я не мог пойти против его единственного сына, — повторил Чаффи. — Он не раз почти доводил меня до этого; вот и сегодня чуть не довел. А! — вскрикнул старик, вдруг вспомнив, из-за чего это вышло. — Где же она? Она не вернулась домой!

— Вы говорите про его жену? — спросил мистер Чезлвит.

— Да.

— Я увез ее отсюда. Она на моем попечении и пока не знает о том, что происходит здесь. Она и без этого видела слишком много горя.

Джонас, услышав это, пал духом. Он понимал, что его преследуют по пятам, и видел, что они решили погубить его. Пядь за пядью почва уходила у него из-под ног; все теснее и теснее сжимался погибельный круг, угрожая сомкнуться и раздавить его.

И тут он услышал голос своего сообщника, который, ничего не тая и ни о чем не умалчивая, называл место и время и, воскрешая подробности

события, говорил ему в лицо всю правду, без гнева и возмущения. Ту правду, которой ничто не могло скрыть, которая не захлебнулась в крови и не ушла под землю; ту правду, чье страшное дыхание превращало дряхлых стариков в людей полных силы и на чьих грозных крыльях примчался к нему и низринул на него тот, кого он считал чуть ли не на краю света.

Он пытался отрицать свою вину, но язык не слушался его. У него мелькнула отчаянная мысль бежать, вырваться на улицу, однако ноги так же плохо повиновались его воле, как и застывшее, неподвижное, окаменелое лицо. И все это время голос продолжал обличать его. Словно у каждой капли крови в том лесу был голос, чтобы глумиться над ним.

Когда он умолк, другой продолжал рассказ, но тут все услышали нечто неожиданное: ибо старый конторщик, который следил за всем происходящим, ломая руки, как если бы он знал всю правду и мог открыть ее миру, прервал Льюсома такими словами:

— Нет, нет, нет! Вы ошибаетесь, ошибаетесь — все вы ошибаетесь! Имейте терпение, правда известна только мне!

— Как это возможно, — возразил брат его старого хозяина, — после того что мы слышали? Вы же только что сами сказали наверху, когда я сообщил вам, в чем его обвиняют, что вы это знаете и что он убийца своего отца.

— Да, да! Он и есть убийца! — исступленно крикнул старик. — Но не так, как вы полагаете, не так, как вы полагаете. Постойте! Дайте мне минутку подумать. У меня все это тут, все тут! Это было гнусно, гнусно, жестоко, бесчеловечно; но не так, как вы думаете. Стойте! Стойте!

Он схватился руками за голову, словно от боли или биения в висках, и долго озираясь по сторонам с растерянным и отсутствующим видом, пока глаза его не остановились на Джонасе, и тогда в них засветилось разумное выражение, словно он вдруг вспомнил о чем-то.

— Да! — крикнул старик Чаффи. — Да! Вот как это было. Теперь я все помню. Перед смертью мой хозяин поднялся с постели, он, видно, хотел сказать сыну, что прощает ему, и сошел вместе со мной в эту комнату. Но когда он увидел его, своего единственного, любимого сына, язык у него отнялся. Он так и не мог сказать ему, что знает, — и никто не понял его тогда, кроме меня. Но я понял, я понял!

Старый Мартин глядел на него в изумлении, его спутники тоже. Миссис Гэмп, которая ни слова еще не сказала, но держалась на две трети за дверь, готовясь бежать, и на одну треть в комнате, готовясь поддержать победившую сторону, выдвинулась немножко вперед и заметила, всхлипнув, что мистер Чаффи „милый старичок“.

— Он купил это зелье, — продолжал Чаффи, простирая руку к Джонасу, и непривычный огонь заблистал в его глазах и осветил все лицо, — он купил это зелье, как вы и слышали, и принес его домой. Он смешал яд — посмотрите, какие у него глаза! — с вареньем в банке, точно так же, как смешивалось для его отца лекарство от кашля, и убрал в ящик, вон в тот ящик в конторке, он знает, про какой ящик я говорю! Там он и держал эту банку, под замком. Но у него не хватило смелости или сердце у него смягчилось — боже мой! Надеюсь, что смягчилось сердце! Ведь это был его единственный сын! — и он не поставил яд на обычное место, откуда мой старый хозяин брал бы его по двадцать раз на дню!

Старик весь дрожал от овладевшего им сильного волнения. Но с этим светом, горевшим в его глазах, с простертой вперед рукой и с волосами, вставшими дыбом, он словно вырос, на него словно снизошло вдохновение. Джонас избегал смотреть на него и сидел, весь съежившись, на том самом стуле, за спинку которого держался прежде. Казалось, эта грозная правда заставила бы заговорить и немного...

— Теперь я помню все, все могу вам сказать! — воскликнул Чаффи. — Все до последнего слова! Он убрал банку в тот ящик, как я уже говорил вам. Он так часто туда заглядывал, и все тайком, что отец это заметил, и однажды, когда Джонас ушел из дому, отпер ящик. Мы вместе отперли и нашли эту смесь — я и мистер Чезлвит. Он взял ее к себе и даже вида не подал, что огорчен, а ночью подошел к моей кровати со слезами и сказал мне, что родной сын задумал отравить его. „О! Чафф, милый мой Чафф! Я нынче ночью слышал голос, и этот голос открыл мне, что от меня пошло это преступление. Оно началось, когда я учил его больше всего в жизни ценить деньги, которые я ему оставляю; я превратил ожидание наследства в дело всей его жизни!“ Это были его слова — да, его подлинные слова! Если он и бывал прижимист иногда, то ради своего единственного сына. Он любил своего сына и всегда был добр ко мне!

Джонас слушал все внимательнее. Надежда закрадывалась в его сердце.

— „Ему не придется ждать моей смерти, Чафф“, — вот что он сказал еще, — продолжал старый конторщик, утирая глаза, — вот что он сказал еще, плача, как малый ребенок... „Ему не придется ждать моей смерти, Чафф. Он все получит теперь же. Он женится, на ком захочет, Чафф, хотя бы мне это и было не по сердцу; а мы с вами уедем и будем жить на самую малость. Я всегда его любил; может, и он тогда меня полюбит. Ужасно, когда родное дитя жаждет твоей смерти. Но я мог бы это предвидеть. Что посеешь, то и пожнешь. Он поверит, что я принимаю лекарство; а когда я

увиджу, что он горюет, получив все, чего хотел, я скажу ему, что догадался, и прощу его. Он воспитает своего сына лучше, и сам, быть может, станет лучше, Чаффи“.

Бедный Чаффи умолк, опять вытирая глаза. Старый Мартин закрыл лицо руками. Джонас прислушивался еще напряженной, и его грудь вздымалась, как море во время прилива, — но от надежды, от растущей надежды.

— На следующий день мой дорогой хозяин сделал вид, — продолжал Чаффи, — будто он случайно открыл ящик одним из ключей в связке (мы заказали такой ключ и надели на кольцо) и будто бы очень удивился, найдя в нем новый запас лекарства от кашля, но решил, что его поставили туда второпях, когда ящик стоял открытым. Мы сожгли лекарство, но сын думал, что отец его принимает, — он знает, что думал так. Однажды мистер Чезлвит, чтобы испытать сына, собрался с духом и сказал, что у лекарства странный вкус; он сейчас же встал и вышел из комнаты.

Джонас кашлянул сухим, коротким кашлем и, переменив позу на более удобную, скрестил руки на груди; он ни на кого не глядел, хотя все они теперь могли видеть его лицо.

— Мистер Чезлвит написал ее отцу, я хочу сказать, отцу той бедняжки, которая стала его женой, — продолжал Чаффи, — и заставил его приехать, чтобы ускорить свадьбу. Но от горя он немножко повредился в уме, как и я, а потом у него надорвалось сердце. Он стал слабеть и очень изменился после той ночи, когда приходил ко мне, и больше не мог смотреть людям в глаза. Прошло всего несколько дней, но прежде десятки лет не могли так изменить его. „Пощади его, Чаффи! — сказал он перед смертью. — Пощади его, Чаффи!“ Я обещал ему. Я пытался щадить его. Ведь это его единственный сын.

При воспоминании о последних минутах жизни его старого друга голос бедного Чаффи, звучавший все слабее и слабее, совсем изменил ему. Сделав движение рукой, словно желая сказать, что Энтони взял его за руку и так и умер, он удалился в уголок, где обычно прятал свое горе, и замолчал.

Джонас был теперь в силах смотреть на собравшихся и смотрел злорадно.

— Ну, — сказал он после некоторого молчания, — вы довольны? Или у вас имеются еще какие-нибудь интриги в запасе? Этот ваш Льюсом может выдумать вам еще хоть десяток. Это все? Больше у вас ничего нет?

Старый Мартин пристально смотрел на него.

— То ли вы, чем казались у Пекснифа, или совсем другое, и к тому же

еще и шут гороховый, я не знаю и знать не хочу, — сказал Джонас, глядя в землю и улыбаясь, — но вы мне не нужны. Вы здесь так часто бывали при жизни вашего брата, так любили его (ведь вы с вашим любезным братцем только что не колотили друг друга, ей-богу), оно и не удивительно, что вы так привязались к дому; только дом-то в вас не нуждается, и чем скорей вы его оставите, тем лучше, а то как бы вам не опоздать. А что касается моей жены, старик, так отошлите ее домой немедленно, не то ей же будет хуже. Ха-ха! Вы круто повернули дело! Но за это еще не повесят человека, что он держал у себя для собственной надобности на пенни яда, который украли два старых дурака, а потом разыграли целую комедию. Ха-ха! Видите: вон дверь!

Его подлое злорадство, боровшееся с трусостью, стыдом и сознанием вины, было так гнусно, что все отвернулись от него, словно он был бесстыдной и грязной гадиной, омерзительной на вид. И тут на нем сказалось пагубное действие его последнего темного дела. Если б не это, рассказ старого конторщика, быть может, тронул бы его хоть сколько-нибудь, если б не это, быть может даже и в нем произошла бы благотворная перемена, — оттого, что с души свалилась такая тяжесть. Но, совершив злодеяние, он накликал на себя бессмысленную, неотвратимую опасность, и теперь в самом его торжестве слышалось отчаяние — исступленное, неукротимое, бешеное отчаяние, сокрушение о том, что напрасно он подверг себя такому риску; и это сокрушение ожесточало его, лишало рассудка, заставляло скрежетать зубами в минуту ликования.

— Мой добрый друг! — сказал Мартин, кладя руку на плечо Чаффи. — Вам не хорошо здесь оставаться. Идемте со мной.

— Совершенно как он! — воскликнул Чаффи, глядя ему в лицо. — Мне почти верится, что это ожил мистер Чезлвит. Да, возьмите меня с собой! Хотя подождите, подождите!

— Чего же? — спросил Мартин.

— Я не могу оставить ее, бедняжку! — сказал Чаффи. — Она была очень добра ко мне. Я не могу ее бросить, мистер Чезлвит. Благодарю вас от всего сердца. Я останусь здесь. Мне уже недолго ждать; это не так важно.

Произнося эти слова благодарности, он кротко покачал седой головой; и миссис Гэмп, которая теперь втиснулась в комнату вся без остатка, растрогалась до слез.

— Прямо счастье, — сказала она, — что такой милый, хороший, почтенный старичок не попался в когти Бетси Приг, а он обязательно попался бы, ежели бы не я; факт налицо, с этим не поспоришь.

— Вы слышали, что я вам сейчас сказал, старик, — обратился Джонас к своему дяде. — Я не потерплю, чтобы подкупали моих людей, будь то мужчина или женщина. Вы видите эту дверь?

— А вы сами видите эту дверь? — ответил голос Марка из-за порога. — Взгляните на нее.

Он взглянул, и глаза его приковались к двери. Роковой, зловещий, оскверненный порог. Его омрачила смерть старика отца и скорбная поступь молодой жены; сколько раз на него ложилась тень дряхлого конторщика; ноги убийцы попирали его! Но что это за люди стоят там, в дверях?

Неджет впереди всех.

Чу! Вот оно близится, бушуя, как море! Продавцы газет бегут по улице, крича об этом направо и налево; окна распахиваются настежь, и обитатели домов выглядывают из них; люди останавливаются на мостовой и на тротуаре и слушают; колокола, те самые колокола, начинают звонить — мечутся в пляске один над другим, шумно радуясь этой вести (так же звучали они в его расстроенном воображении), сотрясая свою воздушную арену.

— Вот этот человек, — сказал Неджет, — у окна.

Трое других вошли в комнату, схватили его и заковали. Заковали так быстро, что не успел он отвести глаз от сыщика, как руки его были в кандалах.

— Убийство, — сказал Неджет, оглядываясь на изумленных зрителей. — Пусть никто не вмешивается.

Разноголосая улица повторила: убийство, варварское и ужасное убийство, убийство, убийство, убийство! Слово катилось от дома к дому, эхо передавало его от камня к камню, пока голоса, все затихая, не слились в отдаленный гул, казалось твердивший то же слово.

Все стояли молча, глядя друг на друга и прислушиваясь к уходящему вдаль шуму.

Мартин заговорил первым.

— Что это за ужасная история? — спросил он.

— Спросите его, — сказал Неджет. — Вы его друг, сэр. Он может нам сказать, если захочет. Он знает больше меня, хотя и я знаю многое.

— Откуда же вы столько узнали?

— Недаром же я следил за ним так долго, — возразил Неджет. — Я никогда ни за одним человеком не следил так внимательно, как за ним.

Еще одно из призрачных воплощений грозной правды! Еще один из многих образов, в которых она являлась ему, возникая из пустоты. Этот человек, последний, кого он мог заподозрить, шпионил за ним; этот

человек, сбросив с себя личину притворной застенчивости, ограниченности и слепоты, обернулся зорким врагом! Мертвец, восставший из гроба, поразил бы и ужаснул бы его менее!

Игра была окончена; погоня завершилась; веревка на его шею была уже готова. Если бы каким-либо чудом ему удалось вывернуться, то, куда бы он ни обратился, в какую бы сторону ни побежал, везде перед ним возникнет новый мститель и преградит ему дорогу — младенец, возмужавший в один миг, или мгновенно помолодевший старец или слепец, который прозрел, или глухой, к которому вернулся слух. Выхода не было. Он бессильной грудой сполз по стене на пол и с этой минуты уже ни на что не надеялся.

— Я не друг ему, хотя на мою долю выпал позор быть его родственником, — сказал мистер Чезлвит. — Расскажите, где вы за ним следили и что вы видели?

— Я следил за ним повсюду, — отвечал Неджет, — ночью и днем. Я следил за ним до последнего времени, не зная ни сна, ни отдыха, — его осунувшееся лицо и налитые кровью глаза подтверждали это. — Я и не подозревал, к чему это приведет, так же не подозревал, как и он, когда он выскользнул отсюда ночью, в том платье, которое потом, связав в узелок, бросил в воду с Лондонского моста!

Джонас корчился, лежа на полу, как человек под пыткой. Он испустил сдавленный стон, словно его ранило острым лезвием, и так рванул железные кандалы на своих руках, словно готов был разорвать себя самого, будь его руки свободны.

— Тише, родственник! — сказал старший из полицейских. — Не буяньте.

— Кого это вы зовете родственником? — сурово спросил старый Мартин.

— Вас, между прочим, — ответил тот.

Мартин испытующе посмотрел на него. Тот лениво сидел верхом на стуле, облокотясь на спинку, и грыз орехи, бросая скорлупу за окно, чем и продолжал заниматься во все время разговора.

— Да, — сказал он, угрюмо кивнув, — вы вольны до самой своей смерти отречься от племянников, но Чиви Слайм есть Чиви Слайм, где бы он ни находился. А не кажется ли вам, однако, что для вашей родни зазорно служить в полиции? Меня можно выкупить.

— Везде эгоизм! — воскликнул Мартин. — Эгоизм, Эгоизм! Каждый из них думает только о себе!

— А вы бы избавили их от этого труда и подумали бы о других, а не

только о себе, — возразил его племянник. — Посмотрите на меня! Неужели вы можете видеть человека, принадлежащего к вашей семье, человека, у которого в мизинце больше таланта, чем у других в голове, одетым в полицейскую форму? Неужели вы можете видеть его и не устыдиться? Я взялся за это ремесло нарочно, для того чтобы пристыдить вас. Хотя я не думал, что мне придется производить аресты в кругу нашей семьи.

— Если ваше беспутство и беспутство ваших близких друзей довело вас до этого занятия, — ответил старик, — я еще не вижу тут большой беды. Вы честно зарабатываете свой хлеб, и этого уже достаточно.

— Не придирайтесь к моим друзьям, — возразил Слайм, — они были когда-то и вашими друзьями. Не говорите мне, что вы не нанимали моего друга Тигга, вам меня не провести. Мы с ним из-за этого поссорились.

— Я нанимал его, — возразил мистер Чезлвит, — и я платил ему.

— Хорошо, что вы это сделали вовремя, — сказал его племянник, — а не то было бы слишком поздно. Сам он сполна рассчитался за все, хотя и не по своей воле.

Старик взглянул на него, словно любопытствуя, что это значит, но не пожелал продолжать разговор.

— Я так и думал, что встречу с ним, дело мое такое, — сказал Слайм, доставая из кармана новую горсть орехов, — но только я полагал, что его поймают на каком-нибудь мошенничестве. Мне и в голову не приходило, что я получу приказ задержать его убийцу.

— Его убийцу! — воскликнул мистер Чезлвит, переводя глаза с одного из присутствующих на другого.

— Его убийцу — или убийцу мистера Монтегю, — сказал Неджет. — Это, как говорят, один и тот же человек. Я обвиняю этого человека в убийстве мистера Монтегю, труп которого нашли вчера вечером в лесу. Вы спросите меня, почему я обвиняю его, как уже спрашивали, почему я столько знаю? Извольте, я вам скажу. Все равно, это не может долго оставаться тайной.

Господствующая страсть этого человека сказала даже и тут, в тоне сожаления, которым он говорил об огласке, угрожающей его тайне.

— Я сказал вам, что следил за ним, — продолжал он. — Мне это было поручено мистером Монтегю, у которого я некоторое время находился на службе. У нас были свои подозрения на его счет, и вы знаете, в чем они заключались: вы говорили об этом, пока мы ждали за дверью. Если хотите, я скажу вам, теперь это дело прошлое, с чего начались наши подозрения (кстати, повод к ним дал он сам — неосторожным намеком): с тяжбы между ним и другой конторой, где была застрахована жизнь его отца и где

это дело вызвало такие сомнения и подозрения, что он пошел с ними на мировую и взял половину денег, да и тому был рад. Мало-помалу я раскопал новые улики против него, много улик. Потребовалось терпение, но такова уж моя профессия. Я разыскал сиделку — она тут и подтвердит мои слова, — я разыскал доктора, я разыскал гробовщика, я разыскал его помощника. Я узнал, как вел себя на похоронах вот этот старичок, мистер Чаффи; узнал, о чем говорил в бреду вот этот человек, — он дотронулся до руки Льюсома. — Я узнал, как мистер Джонас вел себя перед смертью отца и после смерти, записал все это и тщательно сопоставил, — словом, я собрал довольно доказательств, чтобы мистер Монтегю мог обвинить его в преступлении, которое он будто бы совершил (как он и сам думал до сегодняшнего вечера). Я был при том, как ему предъявили обвинение. Вы видите его теперь. Он только стал еще хуже, чем был тогда.

О, жалкий, жалкий глупец! О, невыносимая, мучительная пытка! Увидеть наяву и во плоти — и главным участником всего — мозг и правую руку той тайны, которую он стремился задушить! Ведь в них, хотя бы он силой волшебства замуровал убитого в скалу, она продолжала бы жить и разгласилась бы по всему свету! Он пытался заткнуть себе уши скованными руками, чтобы не слышать ничего больше.

Он сидел, скорчившись на полу; все отшатнулись от него, словно от зачумленного. Один за другим отступили они из того угла комнаты, оставив его одного. Даже те, у кого он был под стражей, избегали его и держались поодаль (кроме Слайма, который по-прежнему грыз орехи).

— Из этого чердачного окна напротив, — продолжал Неджет, показывая на ту сторону узкой улицы, — я целыми днями и ночами следил за этим домом и за ним. Из этого чердачного окна я видел, как он возвратился один из путешествия, в которое отправился вместе с мистером Монтегю. Это был для меня знак, что мистер Монтегю достиг цели и я могу спокойно оставаться на своем посту, хотя и не должен уходить с него, пока мой хозяин меня не отпустит. Однако, стоя в двери напротив его дома, вечером, когда уже стемнело, я увидел, как из боковой двери, через двор, вышел крестьянин, который раньше туда не входил. Я немедленно пошел за ним и потерял на Западной дороге его след, который вел дальше на запад.

Джонас на мгновение поднял на него глаза и выбранился шепотом.

— Я не мог понять, что это значит, — продолжал Неджет, — но, увидев так много, я решил увидеть все, до самого конца. И увидел. Узнав у него дома, от миссис Чезлвит, что муж ее, как предполагали домашние, спит в той самой комнате, откуда он на моих глазах вышел, и что им отдан строгий приказ его не беспокоить, я понял, что он должен вернуться и стал

дождаться его возвращения. Я дежурил на улице — под воротами и в других подобных местах — всю ночь напролет; у того же окна — весь следующий день; а когда настала ночь, опять на улице. Я знал, что он вернется, так же как ушел, в такое время, когда в этой части города будет пусто. Он так и сделал. Рано утром тот же самый крестьянин тихонько, тихонько, тихонько вернулся домой.

— Поосторожнее! — вмешался Слайм, кончив грызть орехи. — Рассказывать об этом не полагается, мистер Неджет!

— Я не отходил от окна весь день, — продолжал Неджет, не обращая на него внимания. — Думаю, что я ни на минуту не сомкнул глаз. Ночью я увидел, что он выходит с узлом. Я опять последовал за ним. Он спустился по лестнице у Лондонского моста и утопил узел в реке. Тогда у меня появились серьезные подозрения, я заявил в полицию, и полицейские этот узел...

— Выудили, — прервал Слайм. — Поживей, мистер Неджет!

— В узле было платье, которое я на нем видел, — продолжал Неджет, — измазанное в глине и запачканное кровью. Сообщение об убийстве было получено в городе прошлой ночью. Еще раньше стало известно, что человека в таком платье видели в тех местах, что он прятался где-то по соседству и сошел с дилижанса, возвращавшегося оттуда примерно в то самое время, когда я видел его входящим к себе домой. Распоряжение об аресте было выдано, и эти полицейские дежурят вместе со мной уже несколько часов. Мы выжидали и, увидев, что вы вошли, а этот человек стоит у окна...

— Подали ему знак, — вмешался Марк, услышав намек на себя, — чтобы он отпер дверь, что он и сделал с удовольствием.

— Вот и все покамест, — заключил Неджет, пряча в карман большую записную книжку, которую он достал без всякой надобности, по привычке, приступая к своим откровениям, и все время держал в руке, — но ожидается еще гораздо больше. Вы спрашивали меня насчет фактов: все, что было, я рассказал, и незачем дольше задерживать этих господ. Вы готовы, мистер Слайм?

— Мало сказать готовы! — отвечала эта знаменитость, вставая. — Если вы дойдете до участка, мы там будем в одно время с вами. Том, ступай за каретой!

Полицейский, к которому он обращался, вышел из комнаты. Старый Мартин помедлил несколько секунд, словно хотел сказать что-то Джонасу, но, увидев, что тот по-прежнему сидит на полу и бессмысленно раскачивается взад и вперед, он взял под руку Чаффи и вышел вслед за

Неджетом. Джон Уэстлок и Марк Тэпли замыкали шествие. Миссис Гэмп, пошатываясь, вышла из комнаты первая, изображая обморок на ходу, ибо в распоряжении миссис Гэмп имелись обмороки всех разрядов, на разные вкусы, как похороны у мистера Моулда.

— Ну-ну! — пробормотал Слайм, глядя им вслед. — Честное слово, совершенно не понимает, что это позор — иметь племянника в такой должности, как не понимал раньше, что я краса и гордость семьи! Вот какая награда за то, что я смирил свой гордый дух — такой дух, как мой! — и сам зарабатываю себе средства к жизни, а?

Он встал со стула и негодуя отшвырнул его ногой.

— И какие уж это средства! Когда сотни людей, которые в подметки мне не годятся, разъезжают в колясках и живут на доходы с собственных капиталов. Честное слово, хорошо же устроен мир!

Он встретился глазами с Джонасом, который упорно смотрел на него и шевелил губами, словно что-то шепча.

— А? — спросил Слайм.

Джонас взглянул на его подручного, который стоял к нему спиной, и, сделав неловкое движение скованными руками, показал на дверь.

— Гм! — задумчиво произнес Слайм. — Мне нечего и надеяться его опозорить по-настоящему, когда вы так далеко меня опередили. Я и позабыл.

Джонас повторил тот же взгляд и движение.

— Джек! — сказал Слайм.

— Здесь! — ответил подручный.

— Ступайте к двери дожидаться кареты. Скажете, когда она подъедет. Пожалуй, там вы мне нужней. Ну, — прибавил он, торопливо обернувшись к Джонасу, когда тот ушел, — в чем дело?

Джонас попытался встать.

— Погодите минутку, — сказал Слайм. — Это нелегко, когда кисти рук связаны вместе. Ну вот! Так! В чем дело?

— Суньте руку ко мне в карман. Сюда! В грудной карман слева! — сказал Джонас.

Он сунул руку и вытащил кошелек.

— В нем сто фунтов, — сказал Джонас; его слов было почти невозможно разобрать, так же как его лицо, бледное, искаженное мукой, нельзя было назвать человеческим.

Слайм взглянул на него, вложил кошелек ему в руку и покачал головой.

— Я не могу. Не смею. Да если б и посмел, нельзя. Эти люди внизу...

— Бежать невозможно, — сказал Джонас. — Я это знаю. Сто фунтов — за пять только минут в соседней комнате.

— Для чего это? — спросил Слайм.

Лицо арестованного, когда он подвинулся ближе к Слайму, чтобы шепнуть ему что-то на ухо, заставило того невольно отшатнуться. Однако он выслушал его. Всего несколько слов, но его лицо изменилось, когда он их услышал.

— Он при мне, — сказал Джонас, поднося руку к горлу, словно то, о чем он говорил, было спрятано в его шейном платке. — Почему вы могли это знать? С какой стати вам это знать? Сто фунтов за пять только минут в соседней комнате! Время уходит. Говорите же!

— Это было бы гораздо... гораздо почетнее для семьи, — дрожащими губами произнес Слайм. — Напрасно вы мне столько наговорили. Поменьше и для вашей цели было бы удобней. Могли бы оставить это про себя.

— Сто фунтов за пять минут в соседней комнате! — в отчаянии крикнул Джонас.

Тот взял кошелек. Джонас неверной, спотыкающейся походкой отошел к двери. — Стойте! — воскликнул Слайм, хватая его за полы. — Я ничего об этом не знаю. Но тем и должно кончиться, к тому идет в конце концов. Виновны вы?

— Да! — сказал Джонас.

— Улики именно таковы, как только что говорили?

— Да, — сказал Джонас.

— Не хотите ли... не хотите ли... прочесть молитву, или что-нибудь такое? — заикнулся Слайм.

Джонас вырвался от него, ничего не ответив, и закрыл за собой дверь.

Слайм стал прислушиваться у замочной скважины. Затем отошел на цыпочках как можно дальше и в страхе устоялся на перегородку. Его отвлекло прибытие кареты, подножку которой опустили с грохотом.

— Собирает вещи, — сказал он, высунувшись в окно, двоим полицейским, стоявшим на свету под уличным фонарем. — Приглядывайте там за черным ходом, кто-нибудь один, проформы ради.

Один из полицейских ушел во двор. Другой, усевшись на подножку кареты, вступил в разговор с высунувшимся в окно Слаймом, который, быть может, стал его начальством в силу своего умения изворачиваться и всегда быть ко всему готовым, чем так восхищался его покойный друг. Полезная привычка для теперешней его профессии.

— Где он? — спросил полицейский. Слайм заглянул на секунду в

комнату и мотнул головой, как бы говоря: „Тут, близко; я его вижу“.

— Его дело дрянь, — заметил полицейский.

— Крышка, — согласился Слайм.

Они посмотрели друг на друга, потом направо и налево по улице. Полицейский на подножке кареты снял шапку, опять надел, посвистел немножко.

— Послушайте! Чего ж он там копается? — запротестовал он.

— Я ему дал пять минут, — сказал Слайм. — Хотя прошло больше. Сейчас приведу.

Он отошел от окна и подкрался на цыпочках к стеклянной перегородке. Прислушался. За перегородкой не слышно было ни звука. Он переставил свечу ближе к ней, чтобы свет проникал за стекло.

Оказалось, что вовсе не так легко собраться с духом и отворить дверь. Однако он распахнул ее со стуком и отступил назад. Заглянув туда и еще послушав, он вошел.

Он отпрянул в испуге, когда его глаза встретились с глазами Джонаса, который стоял в углу и глядел на Слайма остановившимся взглядом. На шее у него не было платка, лицо стало землисто-бледным.

— Вы слишком рано, — малодушно захныкал Джонас. — Я не успел. Я никак не мог... Еще пять минут... еще две минуты... хоть одну!

Слайм не ответил ему, но, сунув кошелек обратно ему в карман, позвал своих людей.

Он и выл, и рыдал, и сыпал бранью, и упрашивал их, и вырывался, и слушался — все это сразу — и не мог держаться на ногах. Однако они втащили его в карету и усадили на сиденье; скоро он со стоном повалился в солому на пол кареты и остался там.

С ним были двое полицейских — Слайм сел на козлы с кучером, — но они не стали поднимать его. Проезжая мимо лавки фруктошника, дверь которой была еще открыта, невзирая на поздний час, хотя лавка уже не торговала, один из них заметил, как сильно пахнет персиками.

Другой согласился, но потом встревожился и, быстро нагнувшись, посмотрел на арестованного.

— Остановите карету! Он отравился! Пахнет от пузырька у него в руке!

Рука сжимала его крепко — той окостенелой хваткой, какой ни один живой человек в расцвете сил и энергии не мог бы держать завоеванную им награду.

Они выволокли его на темную улицу; но ни присяжные, ни судьи, ни палач уже ничего не могли сделать, и вообще им нечего теперь было

делать. Умер, умер, умер!

Глава LII,

в которой роли совершенно меняются.

Осуществление заветных замыслов старого Мартина, которые он так долго таил в душе и которым так часто грозила опасность быть раньше времени раскрытыми, если бы прорвалось негодование, копившееся в нем, пока он жил у мистера Пекснифа, задержалось описанными выше событиями, хотя всего на несколько часов. Как ни был он ошеломлен — сначала известием о предполагаемой причине смерти его брата, которое дошло до него через Тома Пинча и Джона Уэстлока; как ни был затем подавлен рассказом Чаффи и Неджета и всеми событиями, закончившимися смертью Джонаса, о которой ему немедленно сообщили; как ни расстроило его планов и надежд нагромождение всех этих происшествий, вставших между ним и его целью, — однако самая их напряженность и размах придали ему силы быстро и решительно выполнить задуманное. В каждом отдельном случае, было ли то предательство, трусость или жестокость, он видел ростки все того же дурного семени. Эгоизм — жадный, упорный, ограниченный и вместе с тем безудержный эгоизм, влачивший за собою длинную цепь подозрений, обмана, хитростей, вожделений и всего, что из них вырастает, — был корнем этого ядовитого древа. Мистер Пексниф так показал себя перед стариком, что он, этот добрый, снисходительный, многотерпеливый Пексниф, стал для него воплощением всякого эгоизма и вероломства; и чем гнуснее были формы, в каких воплощались перед ним эти пороки, тем непреклоннее становилось его решение воздать должное мистеру Пекснифу, — ему, а также и его жертвам.

В это дело он вложил не только энергию и решимость, присущие его характеру (который, как читатель мог заметить еще в начале знакомства с ним, отличался сильным развитием этих свойств), но и весь запас сил, накопленных искусственно, путем долгого их подавления. И оба эти потока, слившись воедино, понеслись вперед так стремительно и бурно, что Джон Уэстлок и Марк Тэпли (тоже люди довольно энергичные) едва могли поспеть за ним.

Он послал за Джоном Уэстлоком сразу же по приезде, и Джон, в сопровождении Тома Пинча, явился к нему. Сохранив живое воспоминание о Марке Тэпли, он немедленно заручился его услугами через Джона; и,

таким-то образом, как мы уже видели, они все вместе отправились в Сити. Но своего внука он не пожелал видеть до завтра, когда мистеру Тэпли было поручено привести его в Тэмпл к десяти часам утра. Тому Пинчу он не стал ничего поручать, чтобы не вызывать против него напрасных подозрений; однако Том принимал участие во всем и оставался вместе с ними до поздней ночи и, только после того как узнал о смерти Джонаса, ушел домой, чтобы рассказать обо всех этих чудесах маленькой Руфи и подготовить ее к завтрашнему визиту в Тэмпл вместе с ним, соответственно личному наказу мистера Чезлвита.

Для старого Мартина и для его планов, которые он предназначал себе с такой определенностью, было характерно, что он ничего не сообщил о них другим, хотя можно было думать, что мистеру Пекснифу готовится возмездие, — стоило только вспомнить ту роль, какую старик играл в его доме, и увидеть, каким огнем загорались его глаза всякий раз, когда произносили имя Пекснифа. Даже Джону Уэстлоку, к которому мистер Чезлвит, по-видимому, был склонен питать большое доверие (как, в сущности, и все остальные), он не объяснил ровно ничего. Он только попросил его прийти утром; и все они, вынужденные удовольствоваться этим, оставили его одного, когда ночь была уже на исходе.

События такого дня могли бы изнурить тело и дух даже и человека гораздо моложе годами, однако старый Мартин сидел в глубоком и тягостном раздумье, пока не просияло утро. Но даже и после этого он не лег отдыхать, а только продремал в кресле до семи часов, когда мистеру Тэпли назначено было явиться, — и он явился, свежий, ясный и веселый, как само утро.

— Вы очень точны, — сказал мистер Чезлвит, открывая дверь в ответ на легкий стук, который сразу разбудил его.

— Мое желание, сэр, — ответил мистер Тэпли, чьи мысли, как будет видно из дальнейшего, сосредоточены были на венчальном обряде, — любить, почитать и повиноваться. Часы как раз бьют, сэр.

— Войдите!

— Благодарю вас, сэр, — отвечал мистер Тэпли, — чем я могу вам услужить для начала?

— Вы передали мое поручение Мартину? — спросил старик, обращая на него взгляд.

— Передал, сэр, — ответил Марк, — и никогда в жизни мне не приходилось видеть, чтобы джентльмен так удивился.

— Что еще вы ему сказали? — осведомился мистер Чезлвит.

— Да что ж, сэр, — улыбаясь, ответил мистер Тэпли, — я бы рад был

рассказать ему побольше; но, находясь и сам в неизвестности, сэр, я ему ничего не говорил.

— Но сообщили ему все, что знаете?

— Да ведь это очень немного, сэр, — возразил мистер Тэпли. — Насчет вас я не мог почти ничего сообщить ему, сэр. Я только высказал свое мнение, что мистер Пексниф сильно ошибся, сэр, и что вы сами тоже ошиблись, и что он тоже ошибся, сэр.

— В чем же? — спросил мистер Чезлвит.

— Это вы насчет него, сэр?

— И насчет него и насчет себя.

— Как же, сэр, — сказал мистер Тэпли, — в тех мыслях, какие у вас были друг о друге. Что до него, сэр, и до его мыслей, так он совсем переменился. Я понял это задолго до вашего с ним разговора на днях, и я должен это сказать. Никто его не знает так, как я. И не может знать. В нем всегда было много хорошего, только оно немножко очерствело сверху. Трудно сказать, кто в этом виноват, но только...

— Продолжайте, — сказал Мартин. — Что ж вы замолчали?

— Только... да что я;, сэр. Прошу прощения, сэр, я думаю, что, может быть, и вы виноваты. Без намерения, но все-таки, может быть, и вы. Я думаю, что вы оба были несправедливы друг к другу. Ну вот и с плеч долой! — произнес мистер Тэпли с какой-то отчаянностью в голосе. — Не могу я больше об этом молчать, и так едва вытерпел. Вчера целый день терпел. А тут — взял да и сказал. Не мог удержаться. Очень сожалею. Только не наказывайте его за это, вот и все.

Марк, по-видимому, ожидал, что его немедленно выгонят, и совсем приготовился к этому.

— Так вы думаете, — сказал Мартин, — что я отчасти виноват в его прежних недостатках, да?

— Что ж, сэр, — возразил мистер Тэпли, — мне очень жаль, но сказанного не вернешь. Вряд ли справедливо с вашей стороны, сэр, допекать этим необразованного человека, но я так думаю. Я к вам отношусь почтительно, сэр, как нельзя более, но я так думаю.

Мартин внимательно посмотрел на него, не отвечая, и слабая улыбка осветила его лицо, пробившись сквозь застывшую суровость.

— Однако вы необразованный человек, как вы говорите, — заметил он после долгого молчания.

— Совершенно верно, — ответил мистер Тэпли.

— А я, по-вашему, ученый, высокообразованный человек?

— Тоже верно, — подтвердил мистер Тэпли. Старик, охватив

подбородок рукой, прошелся раза два по комнате, прежде чем возобновить разговор:

— Вы виделись с ним сегодня утром?

— Прямо от него пришел сюда, сэр.

— Зачем, как он думает?

— Он не знает, что и думать, сэр, так же как и я. Я передал ему только то, что было вчера, сэр, что вы мне сказали: „Можете ли вы прийти к семи часам утра?“, и что вы спрашиваете его через меня: „Может ли он прийти к десяти часам утра?“, и что я ответил согласием за нас обоих. Вот и все, сэр.

Его искренность была настолько неподдельной, что это явно было все.

— Пожалуй, — сказал Мартин, — он может подумать, что вы хотите бросить его и перейти ко мне на службу?

— Моя служба ему была такого рода, сэр, — отвечал Марк, несколько не теряя своей невозмутимости, — и мы с ним были такого рода товарищами в несчастье, что он этому ни на секунду не поверит. Не больше вашего, сэр.

— Не поможете ли вы мне одеться и не принесете ли завтрак из гостиницы? — спросил Мартин.

— С удовольствием, сэр, — сказал Марк.

— И между прочим, — продолжал Мартин, — так как я вас попрошу остаться здесь, не возьмете ли вы на себя отворять вот эту дверь, то есть впускать посетителей, когда они постучатся?

— Разумеется, сэр, — сказал мистер Тэпли.

— Вам нет надобности выражать изумление, когда они появятся, — намекнул Мартин.

— О, что вы, сэр, — сказал мистер Тэпли, — ровно никакой.

Хотя он поручился за себя очень уверенно, однако он и сейчас не мог опомниться от удивления. Мартин, как видно, заметил это; не укрылось от него и то, что мистер Тэпли выглядел довольно комично в столь затруднительных обстоятельствах: ибо, несмотря на то, что голос его был ровен и лицо серьезно, оно подчас выдавало недоумение. Впрочем, энергично принявшись за порученные ему дела и занятый хлопотами, Марк вскоре отвлекся и перестал выражать свое изумление столь заметным образом. Но после того как он привел в порядок платье мистера Чезлвита и старик оделся и сел завтракать, изумление овладело мистером Тэпли с прежней силой и, стоя за его стулом с салфеткой под мышкой (для Марка было так же легко и естественно изображать дворецкого в Тэмпле, как поступить коком на пароход), он никак не мог удержаться от искушения и частенько посматривал искоса на мистера Чезлвита. Да нет, удержаться

было совершенно невозможно, и он уступал этому побуждению так часто, что старик ловил его на этом раз пятьдесят. Есть основание полагать, что те необыкновенные фокусы, которые мистер Тэпли проделывал со своим лицом, когда его заставляли врасплох, — он то вдруг принимался почесывать себе глаз, или нос, или подбородок; то с глубокомысленным видом погружался в раздумье; то начинал интересоваться нравами и обычаями мух на потолке или воробьев за окном; то пытался скрыть свое смущение, с необычайной учтивостью подавая старику булочки, — что эти фокусы сместили даже Мартина Чезлвита, при всем его умении владеть собой.

Однако старик сидел совершенно спокойно и завтракал не торопясь — вернее, делал вид, что завтракает, потому что он почти ничего не ел и не пил и очень часто погружался в задумчивость. После того как он откушал, Марк сел за тот же самый стол, а мистер Чезлвит все так же молча принялся расхаживать взад и вперед по комнате.

Когда время стало подходить к десяти, Марк убрал со стола и выдвинул кресло, где старик и расположился, опираясь на трость, крепко стиснув руками набалдашник и положив на них подбородок. Все его нетерпение и задумчивая рассеянность теперь исчезли; и, глядя, как он сидит, устремив пронизательные глаза на дверь, Марк невольно подумал, какое у него твердое, решительное, сильное лицо, и порадовался при мысли о том, что мистеру Пекснифу, чересчур затянувшему игру в шары со своим партнером, предстоит, по-видимому, проиграть партию-другую.

Уже одних сомнений насчет того, что тут должно произойти и кто с кем и как будет разговаривать, было достаточно, чтобы Марк положительно не находил себе места. А так как он знал к тому же, что молодой Мартин должен прийти и что он вот-вот явится, то ему было особенно трудно оставаться спокойным и молчать. Однако, если не считать того, что время от времени он позволял себе кашлянуть глухим и неестественным кашлем, он держал себя с большим достоинством все эти десять минут, самые длинные, какие только ему пришлось пережить.

Стук в дверь. Мистер Уэстлок. Марк Тэпли, впуская его, поднял брови насколько возможно выше, давая этим понять, что считает свое положение незавидным. Мистер Чезлвит принял молодого человека весьма учтиво.

Тем временем Марк поджидал у дверей Тома Пинча с сестрой, которые поднимались по лестнице. Старик вышел им навстречу, взял обе руки молодой девушки в свои и поцеловал ее в щеку. Все это не предвещало ничего плохого, и мистер Тэпли благосклонно улыбнулся.

Мистер Чезлвит снова уселся в кресло в ту самую минуту, когда вошел

молодой Мартин. Почти не глядя на него, старик указал ему место как можно дальше от себя. Это не предвещало ничего хорошего, и мистер Тэпли снова упал духом.

Новый стук отозвал его к дверям. Он не вздрогнул, не крикнул, не споткнулся при виде Мэри Грейм и миссис Льюпин, но только глубоко вздохнул и посмотрел на собравшихся с таким выражением, которое говорило, что больше его уже ничто не удивит и что он даже рад, что навсегда покончил с удивлением.

Старик встретил Мэри не менее ласково, чем сестру Тома. С миссис Льюпин он обменялся взглядом, полным дружеского понимания, что свидетельствовало о существовании между ними какого-то уговора. Но это уже не вызвало изумления в мистере Тэпли: ибо, как он заметил впоследствии, он вышел из фирмы и продал свои акции.

Но растерялся не один только мистер Тэпли — все присутствующие так удивились и растерялись, увидев друг друга, что никто не отважился, заговорить. Один мистер Чезлвит нарушил молчание.

— Отоприте дверь, Марк, — сказал он, — и сейчас же возвращайтесь. Марк повиновался.

Теперь на лестнице раздались шаги последнего из приглашенных. Все их узнали. Это были шаги мистера Пекснифа, и мистер Пексниф явно торопился, он бежал вверх по лестнице с такой необычайной быстротой, что споткнулся раза два или три.

— Где же мой почтенный друг? — возопил он на верхней площадке, после чего влетел в комнату с распростертыми объятиями.

Старый Мартин только посмотрел на него, но мистер Пексниф отпрянул назад, словно от разряда электрической батареи.

— Мой почтенный друг здоров? — воскликнул мистер Пексниф.

— Вполне здоров.

Это, казалось, успокоило тревогу вопрошавшего. Он молитвенно сложил руки и, возведя очи кверху с благочестивой набожностью, без слов выразил свою благодарность небесам; потом обвел взором собравшихся и с упреком покачал головой — для такого человека сурово, очень сурово.

— О алчные пиявки! — возопил мистер Пексниф. — О кровопийцы! Неужели вам мало того, что вы отравили жизнь человеку, не имеющему себе равных в жизнеописаниях великодушных героев, неужели теперь, именно теперь, когда он сделал свой выбор и доверился смиренному, но по крайней мере искреннему и бескорыстному родственнику, — неужели вы хотите, кровопийцы и прихлебатели (сожалею, что приходится употреблять такие сильные выражения, досточтимый, но бывают времена, когда нет сил

сдержат честное негодование), неужели вы хотите теперь, приживалы и кровопийцы (не могу не повторить!), воспользоваться его беззащитным состоянием и, слетевшись отовсюду, как волки и коршуны и другие животные крылатой породы, собратся вокруг — не скажу падали или трупа, ибо мистер Чезлвит есть нечто совершенно обратное, но вокруг своей добычи, для того чтобы обирать, и грабить, и набивать свою прожорливую утробу, и пятнать свой омерзительный клюв всем, что может радовать плотоядных?

Остановившись, для того чтобы сделать передышку, он весьма внушительно замахал на них руками.

— Стая противных естеству грабителей и разбойников! — продолжал он. — Оставьте его, оставьте его, говорят вам! Уйдите! Скройтесь! Бегите прочь! Рассейтесь по лицу земли, молодые люди, как и подобает таким бродягам, не смейте оставаться в том месте, которое освящено сединами престарелого патриарха, чьей немощной старости я имею честь быть недостойной, но, надеюсь, непритязательной поддержкой и опорой. А вы, мой нежный друг, — обратился мистер Пексниф к старику тоном кроткого увещания, — как могли вы покинуть меня, хотя бы на краткое время! Вы отлучились, не сомневаюсь, чтобы порадовать меня каким-нибудь знаком своего расположения, благослови вас бог за это! Но вам этого нельзя; не надо рисковать. Я бы, право, рассердился на вас, если б мог, друг мой.

Мистер Пексниф приближался с распростертыми объятиями, собираясь пожать старику руку. Но он не видел, что эта рука крепко стиснула увесистую палку. Как только он, улыбаясь, подошел ближе и очутился в пределах досягаемости, старый Мартин, весь горя негодованием, которое отразилось в каждой черточке и морщинке его лица и вылилось в одну бурную вспышку, вскочил и ударил его, свалив на пол.

Удар был так силен и так хорошо направлен, что мистер Пексниф повалился грузно, словно выбитый из седла лейб-гвардеец. Был ли он ошеломлен ударом, или только смутился от неожиданности и новизны столь теплого приема, но он даже не пробовал встать и лежал, озираясь по сторонам с растерянным и покорным выражением, которое было так невероятно смешно, что ни Марк Тэпли, ни Джон Уэстлок не могли удержаться от улыбки, хотя оба они подбежали к старику, боясь, как бы за первым ударом не последовал второй, что, судя по его сверкавшим глазам и энергичной позе, было как нельзя более вероятно.

— Оттащите его в сторону! Уберите его подальше, — сказал Мартин, — или я за себя не ручаюсь! Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич... Я не властен над собой, пока он так близко.

Оттащите его!

Видя, что тот все не встает, мистер Тэпли, нимало не церемонясь, буквально так и сделал — оттащил его и посадил на пол, прислонив спиной к стене.

— Слушайте меня, негодяй! — обратился к нему мистер Чезлвит. — Я позвал вас, чтобы вы посмотрели на вашу собственную работу. Я позвал вас, зная, что смотреть на нее будет для вас горше полыни и желчи. Я позвал вас, зная, что видеть каждого из присутствующих для вас все равно что кинжал в сердце, в ваше низкое, вероломное сердце! Что? Поняли меня наконец?

Мистеру Пекснифу было отчего уставиться на него в изумлении: такое торжество выражалось в его лице, в голосе, во всей фигуре, что на это стоило посмотреть.

— Взгляните на него! — продолжал старик, указывая пальцем на мистера Пекснифа и обращаясь ко всем остальным. — Взгляните на него! А затем — поди ко мне, дорогой мой Мартин, — взгляните на нас, взгляните, взгляните! — При каждом повторении этого слова он все крепче прижимал к себе внука.

— Возмущение, которое я чувствовал, — Мартин, — сказал он, — отчасти вылилось в ударе, только что нанесенном мною. Зачем мы расстались? Как могли мы расстаться? Как мог ты убежать от меня к нему?

Мартин хотел ответить, но он остановил его и продолжал:

— Я был виноват не меньше твоего. Марк сказал мне это сегодня, да я и сам давно это понял, хотя не так давно, как следовало. Мэри, голубка моя, подите сюда.

Она задрожала и сильно побледнела, и он усадил ее в свое кресло и стал рядом с ней, держа ее за руку, а Мартин стоял возле него.

— Проклятием нашей семьи, — сказал старик, ласково глядя на нее, — было себялюбие, всегда было себялюбие! Как часто я говорил это, не зная, что сам грешу этим не меньше других.

Он взял под руку Мартина и, стоя между ним и Мэри, продолжал так: Вы все знаете, что я воспитал эту сиротку для того, чтобы она ходила за мной. Однако никто из вас не знает, каким путем я пришел к тому, что стал смотреть на нее как на родную дочь: ибо она завоевала меня своей самоотверженностью, своей любовью, своим терпением, всеми добрыми свойствами своей натуры, хотя — бог свидетель! — я не делал ничего, чтобы поощрять их. Они расцвели без ухода и созрели без тепла. Я не решаюсь сказать, что жалею об этом сейчас, иначе вон тот субъект опять поднимет голову.

Мистер Пексниф заложил руку за жилет и слегка качнул головой, словно давая понять, что он по-прежнему держит ее высоко.

— Есть такого рода эгоизм, — продолжал мистер Чезлвит, — я узнал это по собственному опыту, — который постоянно следит за проявлениями этого порока в окружающих и, держа их на расстоянии вечными подозрениями и недоверием, удивляется, почему они отдаляются, не откровенны с ним, и называет это эгоизмом. Так и я подозревал всех окружавших меня — не без причины вначале, — так я подозревал и тебя, Мартин.

— Также не без причины, — ответил Мартин.

— Слушайте, лицемер! Слушайте, сладкоречивый, раболепный, лживый мошенник! — воскликнул мистер Чезлвит. — Слушайте, вы, ничтожество! Как! Когда я искал его, вы уже расставили свои сети, вы уже ловили его, да? Когда я лежал больной у этой доброй женщины и вы, кроткая душа, просили за моего внука, вы уже завладели им, не так ли? Рассчитывая на возвращение любви, которую, как вам было известно, я питал к нему, вы предназначали его для одной из своих дочерей, не так ли? Или, если б это не удалось, вы, во всяком случае, собирались нажиться на нем, ослепив меня блеском вашего милосердия, и предъявить на меня свои права. Даже и тогда я вас понял и сказал вам это в лицо. Разве я не сказал вам, что понял вас даже тогда?

— Я не сержусь, сэр, — мягко ответил мистер Пексниф. — Я могу вынести от вас очень многое. Я не стану противоречить вам, мистер Чезлвит.

— Заметьте! — сказал мистер Чезлвит, обводя всех взглядом. — Я отдался в руки этому человеку на условиях, настолько постыдных и унижительных для него самого, насколько это можно выразить словами. Я изложил их ему при его дочерях, слово за словом, очень прямо и грубо, и так оскорбительно и недвусмысленно выразил свое презрение к нему, как только можно выразить словами, не ограничиваясь выражением лица и тоном. Если бы лицо его покраснело от гнева, я бы поколебался в своем намерении. Если бы мне удалось уязвить его так, что он хотя бы на минуту стал человеком, я бы оставил его в покое. Если бы он сказал хоть одно слово в защиту моего внука, которого я, по его предположениям, собирался лишить наследства, если б он возражал хоть для приличия против моего требования выгнать юношу из дому и оставить его в нищете, — я, кажется, мог бы навсегда примириться с ним. Но — ни слова, ни единого слова! В его натуре было потворствовать худшим из человеческих страстей, и он остался верен себе!

— Я не сержусь, — заметил мистер Пексниф. — Я обижен, мистер Чезлвит, оскорблен в лучших своих чувствах, но я не сержусь, досточтимый.

Мистер Чезлвит продолжал:

— Однажды решившись испытать его, я хотел довести испытание до конца; но, поставив себе целью измерить глубину его двуличия, я заключил с самим собой договор, что дам ему возможность проявить сокрытую в нем искру добра, чести, терпимости — любой добродетели, какая еще теплится в его душе. С начала и до конца ничего подобного не было. Ни единого раза. Он не может сказать, что я не предоставлял ему для этого случаев. Он не может сказать, что я его принуждал. Он не может сказать, что я не давал ему свободы решительно во всем или что я не был послушным орудием в его руках, которым он мог пользоваться как для доброй, так и для дурной цели. А если и скажет, то солжет! И это также в его характере.

— Мистер Чезлвит, — прервал его Пексниф, утирая слезы, — я не сержусь, сэр; я не могу на вас сердиться. Но разве вы, досточтимый, не выразили желания, чтобы этот бессердечный молодой человек, который своими злобными происками на время лишил меня вашего доброго мнения — только на время, — чтобы ваш внук, мистер Чезлвит, был изгнан из моего дома? Вспомните сами, мой христианнейший друг.

— Я говорил это! не так ли? — сурово возразил старик. — Я не знал, насколько ваша вкрадчивость и лицемерие обманули его, и не видел лучшего пути открыть ему глаза, как показав вас в вашем собственном лакейском обличье. Да, я выразил такое желание. А вы так и бросились мне навстречу и выгнали его, в одно мгновение отвернувшись от руки, которую только что лизали и мусолили, как только могут лизать такие негодяи. Вы поддержали и укрепили меня в моем намерении, всячески меня оправдывая.

Мистер Пексниф отвесил поклон — покорный, чтобы не сказать раболепный и униженный. Если б даже его восхваляли за упражнение в возвышенных добродетелях, он не мог бы поклониться так, как теперь.

— Этот несчастный человек, которого убили, — продолжал мистер Чезлвит, — тогда носивший фамилию...

— Тигг, — подсказал Марк.

— Да, Тигг ходил ко мне с просительными письмами от одного своего друга, а моего недостойного родственника; найдя, что это подходящий человек для моей цели, я нанял его собирать для меня вести о тебе, Мартин. От него я и узнал, что ты поселился у этого господина. Это он, встретившись с тобой однажды вечером здесь, в городе, ты помнишь где?..

— У закладчика, — сказал Мартин.

— Да, выследил тебя до твоей квартиры и дал мне возможность послать тебе деньги.

— Я никак не думал, — сказал очень тронутый Мартин, — что эти деньги от вас. Я никак не думал, что вы интересуетесь моей судьбой. Если б я знал...

— Если б ты знал, — печально ответил старик, — ты бы жестоко ошибся во мне, ибо я не был тем, чем казался. Я надеялся увидеть тебя, Мартин, раскаявшимся и покорным. Я надеялся довести тебя до отчаяния, чтобы ты вернулся ко мне. Как я ни любил тебя, я не мог признаться в своем поражении без того, чтобы ты не покорился первым. Вот каким образом я потерял тебя. Если я сыграл косвенным образом какую-нибудь роль в судьбе этого несчастного, позволив ему распоряжаться средствами, хотя бы и небольшими, пусть бог меня простит. Я мог бы, пожалуй, знать, что деньги не пойдут ему на пользу, что напрасно давать их ему и что, пройдя через его руки, они посеют только раздор. Но в то время мне и к голову не приходило считать его способным на крупное мошенничество; я думал, он просто легкомысленный, праздный, беспутный гуляка, который больше вредит себе, чем другим, и ведет разгульную жизнь, потакая своим дурным страстям, на погибель себе одному.

— Прошу вашего прощения, сэр, — сказал мистер Тэпли, который теперь держал под руку миссис Льюпин, с полного ее согласия, — если я осмелюсь заметить, что, по моему мнению, вы совершенно правы, но только с ним все это вышло вполне естественно. Ведь сколько найдется на свете людей, сэр, которые, пока ходят на своих на двоих и ни на что больше рассчитывать не могут, особенного вреда никому не делают, а спускаются полегоньку под гору, прямо в грязь. Но дайте вы любому из них карету и лошадей — и просто удивительно, откуда у него сразу возьмется уменье править, откуда наберется полно пассажиров, и он помчится по самой середине дороги очертя голову прямо к черту в лапы! Господь с вами, сэр, да мимо вот этих ворот Тэмпла проходит каждый час сколько угодно Тиггов, и каждый из них только и ждет случая развернуться в самого махрового Монтегю.

— В вашей необразованности, как вы ее называете, Марк, — сказал мистер Чезлвит — гораздо больше ума, чем в образованности многих других, не исключая и меня. Вы правы, и это уже не в первый раз сегодня. А теперь выслушайте меня, дорогие мои; выслушайте и вы, потерявший не только доброе имя, но и состояние, если то, что мне сообщили, верно! А выслушав, оставьте этот дом и больше не показывайтесь мне на глаза!

Мистер Пексниф приложил руку к груди и снова поклонился.

— Послушание, которое я наложил на себя, живя у него в доме, — продолжал мистер Чезлвит, — очень часто наводило меня на такую мысль: если бы господу было угодно наказать меня на старости лет и сделать вправду таким немощным, каким я прикидывался, то я сам навлек бы на себя это несчастье. О вы, чье богатство, как и мое, было постоянным источником горя, ибо оно заставляло вас подозревать в вероломстве самых близких и дорогих друзей и заживо хоронить себя в одиночестве, чуждаясь людей и не веря им, берегитесь, чтобы, разогнав всех, кого вы могли привязать к себе узами любви, не стать орудием такого же человека, как этот, и не пробудиться в ином мире, сознавая себя виновниками такого зла, которое огорчило бы даже небеса, если бы вам и содеянному вами был открыт туда доступ!

А затем он рассказал им, как иногда думал, еще вначале, что Мэри с Мартином могут полюбить друг друга; как ему приятно было воображать, что он, подметив зарождение этой любви, поборанит их поодиночке, сделает вид, что встревожен, а потом признается, что давно лелеял этот замысел в своем сердце; сочувствуя им и щедро обеспечив их судьбу, он получит право на привязанность и уважение, которых ничто не сможет поколебать и которые на старости лет дадут ему радость и покой. Как при самом зарождении этого замысла, когда устраивать счастье других было еще ново и непривычно для него, Мартин пришел сказать ему, что уже выбрал себе невесту, зная, что дед питает какие-то намерения на этот счет, но не зная, кого он имеет в виду. Как он огорчился, узнав, что внук остановил свой выбор на Мэри, ибо рушился его замысел осчастливить их, а кроме того, открыв, что она отвечает Мартину взаимностью, он стал мучиться мыслью, что они, такие молодые, они, которых он благодетельствовал, похожи на весь свет, ибо добиваются своих эгоистических и тайных целей. Как, ожесточившись под этим впечатлением и под влиянием всего пережитого, он стал упрекать Мартина, — позабыв, что сам он никогда не вызывал внука на откровенность и что тот еще ничем не провинился, — настолько резко, что они поссорились и разошлись в гневе. Как он тем не менее любил Мартина и надеялся, что внук к нему вернется. Как в ту ночь, когда он заболел в гостинице, он тайком писал о нем с нежностью, делая его своим наследником и позволяя ему жениться на Мэри; и как, повидавшись с мистером Пекснифом, он опять перестал верить Мартину и сжег завещание, терзаемый подозрениями, недоверием и сомнениями. А потом он рассказал им, как, решившись проверить Пекснифа и испытать постоянство и преданность Мэри (по отношению к себе и к Мартину), он

задумал и выполнил этот план; и как под влиянием ее кротости и терпения он смягчался все больше и больше, особенно же под влиянием доброты, простодушия, благородства и мужественной верности Тома. И, заговорив о Томе, он призвал на него благословение; и слезы выступили у него на глазах, ибо, сказал он, Том, которого он недолго любил вначале и которому не доверял, подействовал на его сердце, как летний дождь, и склонил его верить добру. И Мартин пожал Тому руку, и Мэри тоже, и Джон, его старый друг — особенно крепко, и Марк, и миссис Льюпин, и его сестра — маленькая Руфь. И покой, глубокий мир и покой снизошли на душу Тома.

Затем старик рассказал, с каким благородством мистер Пексниф выполнил свой долг перед обществом, уволив Тома; как, часто слыша из уст Пекснифа пренебрежительные отзывы о Джоне Уэстлоке и зная, что это близкий друг Тома, он пустился при содействии своего поверенного и стряпчего на хитрость, заставив Тома усиленно готовиться к прибытию неизвестного лондонского друга. И он опять обратился к мистеру Пекснифу (причем назвал его негодяем), напомнив, что он и тут не принуждал его делать зло, что на то была его собственная воля и желание и что он даже предостерегал его. И еще раз он обратился к мистеру Пекснифу (назвав его мошенником) и напомнил, как Мартин, возвратившись на родину новым человеком, просил прощения, которое давно ожидало его, и как он, Пексниф, оттолкнул Мартина, прочитав ему целую проповедь, и без всякой жалости помешал им обоим выразить хотя бы в малой мере их взаимную привязанность. — Из-за этого одного, — сказал старик, — если б надо было только шевельнуть пальцем, чтобы снять веревку с его шеи, я бы не пошевелился!

— Мартин, — прибавил он, — твой соперник был не слишком опасен, но миссис Льюпин все же играла роль дуэньи в течение нескольких месяцев, хотя не столько стерегла твою возлюбленную, сколько ее поклонника. Иначе этот вампир, — он с изумительной находчивостью подыскивал бранные прозвища мистеру Пекснифу, — не давал бы ей гулять, оскверняя своим дыханием чистый воздух. Что это такое? Ее рука отчего-то дрожит. Посмотрим, сумеешь ли ты удержать ее.

Удержать ее! Если он держал ее за руку хотя бы в половину так крепко, как за талию... Ну, ну!.. Это опасная тема.

Но даже и в такую минуту, в расцвете удачи и счастья, почти касаясь губами ее губ и держа в объятиях эту юную гордую красоту, он не позабыл протянуть другую руку Тому Пинчу.

— Том, милый Том! Я случайно увидел, как ты шел сюда. Прости меня!

— Простить! — воскликнул Том. — Я тебе не прощу всю жизнь, если ты скажешь еще хоть слово. Поздравляю вас обоих! Поздравляю, дорогой мой, тысячу раз и желаю вам счастья.

Счастья! Не было такого блага на земле, которого Том не пожелал бы им. Не было такого блага на земле, каким он не наградил бы их, если б мог.

— Извините меня, сэр, — сказал мистер Тэпли, выступая вперед, — но вы только что упомянули одну леди, по фамилии Льюпин, сэр.

— Упомянул, — ответил старый Мартин.

— Да, сэр. Красивая фамилия, сэр?

— Очень хорошая фамилия, — сказал Мартин.

— Даже жалко менять такую фамилию на Тэпли, правда, сэр? — спросил Марк.

— Это зависит от самой леди. Какого она об этом мнения?

— Да вот, сэр, — сказал мистер Тэпли, — ее мнение такое, что фамилия, пожалуй, и не так хороша, зато ее владелец, может быть, окажется лучше; и потому, сэр, если ни у кого не найдется возражений или препятствий и так далее, то „Синий Дракон“ будет теперь называться „Веселый Тэпли“. Вывеска моего собственного изобретения, сэр. Очень новая, завлекательная и выразительная!

Все происходившее было так мало приятно мистеру Пекснифу, что он стоял, упорно глядя в пол и все время перебирая руками, словно его уже приговорили к каторжным работам. Не только вся его фигура как будто съежилась, но его поражение отразилось даже и на костюме. Платье у него казалось потертым, белье пожелтелым, волосы прямыми и слипшимися; даже сапоги — и те выглядели скверными и нечищеными, словно весь лоск сошел с них, как и с хозяина.

Скорее чувствуя, чем видя, что старик указывает ему на дверь, он поднял глаза, взял свою шляпу и обратился к нему со следующими словами:

— Мистер Чезлвит, сэр! Вы пользовались моим гостеприимством.

— И платил за него, — заметил тот.

— Покорно благодарю! В этом слышится, — тут мистер Пексниф полез в карман за носовым платком, — ваша прежняя прямота и откровенность. Вы платили за него. Я собирался об этом упомянуть. Вы обманули меня, сэр. Еще раз благодарю вас. Я этому рад. Видеть вас здоровым и в полном рассудке при любых условиях является достаточной наградой. Быть обманутым — значит быть доверчивым по натуре. Я благодарен за это богу. По мне, гораздо лучше иметь доверчивую натуру, сэр, чем подозрительную!

Тут мистер Пексниф поклонился и, скорбно улыбнувшись, утер слезу.

— Едва ли найдется хоть одно лицо среди присутствующих, мистер Чезлвит, — сказал мистер Пексниф, — кем я не был обманут. Я в ту же минуту простил этим лицам. Это был мой долг, и, разумеется, я его выполнил. Достойно ли было с вашей стороны пользоваться моим гостеприимством и играть роль, которую вы играли в моем доме, — это вопрос, сэр, который я предоставляю решить вашей собственной совести. И ваша совесть не оправдывает вас — нет, сэр, нет!

Произнося эти последние слова громким и торжественным голосом, мистер Пексниф несколько увлекся собственным красноречием, однако не позабыл подвинуться ближе к двери.

— Меня ударили сегодня, — говорил мистер Пексниф, — ударили палкой — и я имею все основания думать, что эта палка была шишковатая, — по самой уязвимой и чувствительной части тела, какая имеется у человека, — по голове. Несколько ударов было нанесено мне без палки, сэр, в еще более уязвимую часть моего существа — в сердце. Вы упомянули, сэр, что я лишился моего состояния. Да, сэр, лишился. В силу неудачной спекуляции, сочетавшейся с предательством, я доведен до бедности в такое время, сэр, когда моя любимая дочь овдовела и несчастье и позор вошли в мою семью.

Тут мистер Пексниф снова отер слезу и слегка стукнул себя в грудь два или три раза, словно в ответ на такие же два-три стука изнутри, поданные звонким молотком его чистой совести и означающие: „Не падай духом, дружище!“

— Я знаю человеческую душу, хотя и верю в нее. Это моя слабость. Неужели я не знаю, сэр, — тут он перешел на чрезвычайно жалобный тон и, как было замечено, взглянул на Тома Пинча, — что мои несчастья привели к такому обращению со мной! Неужели я не знаю, сэр, что, если б не они, мне никогда не пришлось бы выслушать то, что я выслушал сегодня? Неужели я не знаю, что в уединении и тишине ночи едва слышный голос станет шептать вам на ухо: „Это было дурно, это было дурно, сэр“? Подумайте об этом, сэр (если только вы будете так добры), отогнав от себя порывы страсти и отстранив все свойственное предубеждению, — я беру на себя смелость сказать это. И если вы когда-нибудь задумаетесь — о безмолвной могиле, что кажется мне весьма сомнительным, судя по вашему поведению сегодня, если вы когда-нибудь задумаетесь о безмолвной могиле, сэр, вспомните обо мне. Если вы заметите, что приближаетесь к безмолвной могиле, сэр, вспомните обо мне. Если вы пожелаете, чтобы на вашей безмолвной могиле была начертана

какая-нибудь надпись, то пусть начертаят, что я — ах, мой раскаивающийся друг! — что я, то ничтожество, которое сейчас имеет честь вас упрекать, простил вам, что я простил вам, когда мои раны были еще свежи и когда моя грудь была только что растерзана. Сейчас вам, быть может, неприятно это слышать, сэр, но когда-нибудь вы найдете в этом утешение. Дай бог вам найти в этих словах утешение, когда вы будете в нем нуждаться! Всего хорошего, сэр!

Произнеся эту возвышенную речь, мистер Пексниф удалился. Однако эффект был сильно испорчен тем, что он тут же чуть не сшиб с ног какого-то невероятно взволнованного человечка в коротеньких плисовых штанах и очень высокой шляпе, который впопыхах взбежал по лестнице и ворвался прямо в комнату к мистеру Чезлвиту, словно сумасшедший.

— Есть тут кто-нибудь, кто его знает? — крикнул человечек. — Есть тут кто-нибудь, кто его знает? Ах, боже мой, есть тут кто-нибудь, кто его знает?

Все присутствующие переглянулись, ища друг у друга объяснения, но никто ничего не понимал, кроме того, что появился взволнованный маленький человечек в очень высокой шляпе, который то вбегал, то выбегал из комнаты, так быстро перебирая ногами, что одна пара его яркосиних чулок могла показаться по меньшей мере за дюжину, и все время твердил пронзительным голосом: „Есть тут кто-нибудь, кто его знает?“

— Если у вас в голове еще не все кверху дном, мистер Свидлпайп, — воскликнул другой голос, — то уймитесь и не кричите так, сударь, попрошу вас!

В то же время в дверях показалась миссис Гэмп, задыхаясь и страшно пыхтя от ходьбы по высокой лестнице, но все-таки приседая из последних сил.

— Извините уж его за слабость, — произнесла миссис Гэмп, глядя на мистера Свидлпайпа с большим негодованием. — Так я и знала, и можно было этого ожидать; лучше было бы утопить его в Темзе, чем вести сюда. Еще и часа не прошло, как он чуть не отрезал бритвой нос отцу такого замечательного семейства, мистер Чезлвит, где три раза подряд было по двойне; и начисто откромсал бы, да тот увидел в зеркало, к чему идет дело, и увернулся от бритвы. Никогда еще, мистер Свидлпайп, уверяю вас, сударь, я не понимала так хорошо, какое это несчастье быть с вами знакомой, а вот теперь понимаю и прямо так и скажу, сударь, без обмана!

— Прошу прощения, леди и джентльмены, — воскликнул маленький брадобрей, снимая шляпу, — и у вас тоже, миссис Гэмп... Но... — опять воскликнул он, смеясь и плача, — но нет ли тут кого-нибудь, кто его знает?

Не успел брадобрей произнести эти слова, как в комнату ввалилось некое существо в высоких сапогах с отворотами и с забинтованной головой и принялось ходить кругом, кругом, кругом по комнате, воображая, по-видимому, что идет прямо вперед.

— Посмотрите на него! — вскричал взволнованный брадобрей. — Вот он! Это у него скоро пройдет, он скоро опять будет в полном порядке. Вовсе он не помер, живой, не хуже меня! Еще как жив и здоров! Правда, Бейли?

— П-пожалуй, что и так, Полли, — ответил тот.

— Посмотрите-ка! — воскликнул маленький брадобрей, плача и смеясь в одно и то же время. — Когда я останавливаю его, он не вертится. Вот! Теперь он в полном порядке. С ним ничего особенного нет, только он потрясен немножко и голова у него кружится. Так ведь, Бейли?

— П-пожалуй, что и кружится, Полли; пожалуй, что так! — сказал мистер Бейли. — Боже мой! Прелестная Сара! Вот вы где!

— Что за мальчик! — воскликнул мягкосердечный Полли, чуть не рыдая над ним. — В жизни не видывал такого мальчика! Ведь все это он шутит. Такой забавник. Он у меня войдет в дело. Уж я решил, что войдет. Мы будем Свидлпайп и Бейли. Он займется птицами (ах, хорош он будет для петушиных боев!), а я бритьем. Я ему передам всех птиц, как только он поправится. Отдам ему и маленького щегла в лавке, и всех остальных. Такой мальчик! Прошу прощения, леди и джентльмены, ведь я думал, что кто-нибудь здесь его знает!

Миссис Гэмп заметила, не без зависти, что относительно мистера Свидлпайпа и его юного друга у всех, по-видимому, сложилось благоприятное мнение и что сама она отодвинулась из-за этого как бы на задний план. Поэтому она пробилась вперед и изложила свое дело.

— Это такая вещь, мистер Чезлвит, — сказала она, — что даже самой миссис Гаррис известна как нельзя лучше, ведь у нее в родне с материнской стороны есть один премиленький младенец (хоть она и не всем про это рассказывает), который сидит в банке со спиртом; и вдруг она видит этого самого младенца на Гриничской ярмарке, в одном балагане с красноглазой женщиной, карликом из Пруссии и живым скелетом; судите же сами, что она почувствовала, когда заиграла шарманка и вдруг ей показывают сыночка ее родной сестры, — а по вывеске никак нельзя было этого ожидать, там он был нарисован, совсем напротив, живехонький, куда больше ростом и так прелестно играет на арфе, а он, бедняжка, вовсе и не умел, да и где же ему было, когда он и прожил всего ничего, даже и говорить об этом не стоит! А миссис Гаррис, мистер Чезлвит, знает меня

много лет и может подтвердить, что для дамы, которая овдовела, не найти никого лучше меня в услужение, вот я и надеюсь ей послужить. С позволения всего этого приятного общества, которое я здесь вижу.

— Так вот в чем ваше дело! — сказал мистер Чезлвит. — Этой доброй женщине заплатили за труды?

— Я заплатил ей, сэр, — ответил Марк Тэпли, — и очень щедро.

— Молодой человек говорит правду, — подтвердила миссис Гэмп, — очень вам благодарна.

— Тогда на этом наше знакомство прекращается, миссис Гэмп, — сказал мистер Чезлвит. — А вы — мистер Свидлпайп? Это, кажется, ваша фамилия?

— Да, это моя фамилия, — ответил Полли, с благодарностью принимая несколько звонких монет, которые старик сунул ему в руку.

— Мистер Свидлпайп, позаботьтесь, насколько возможно, о вашей жилище и время от времени не отказывайте ей в добром совете; например, — сказал старый Мартин, строго глядя на изумленную миссис Гэмп, — наекните ей, что не мешало бы пить поменьше и проявлять побольше человечности, поменьше заботиться о себе и побольше о пациентах, да и немножко честности тоже пришлось бы кстати. А если миссис Гэмп попадет в беду, мистер Свидлпайп, то лучше пусть это будет не в такое время, когда я окажусь поблизости от Олд-Бейли, а то как бы я не вызвался засвидетельствовать ее репутацию. Попробуйте, пожалуйста, внушить ей все это как-нибудь на досуге.

Миссис Гэмп всплеснула руками и, закатив глаза так, что их стало совсем не видно, сдвинула капор на затылок, чтобы освежить разгоряченный лоб, и произнесла слабым голосом:

„Пить поменьше, Сара Гэмп! Бутылку оставьте на каминной полке, чтобы можно было промочить горло, если вдруг вздумается“, — после чего впала в обморок на ходу и в этом плачевном состоянии была выведена мистером Свидлпайпом; у бедняги было довольно хлопот с двумя его пациентами — находящейся в столбняке миссис Гэмп и вращающимся мистером Бейли.

Старик оглядел всех с улыбкой и, остановив свой взгляд на сестре Тома Пинча, улыбнулся еще шире.

— Мы все вместе пообедаем здесь, — сказал он. — И так как вам с Мэри есть о чем поговорить, Мартин, то оставайтесь тут хозяйничать вместе с мистером и миссис Тэпли. А я тем временем хочу посмотреть вашу квартиру, Том.

Том был в восторге. Руфь тоже. Она собралась идти вместе с ними.

— Благодарю вас, душа моя, — сказал мистер Чезлвит. — Но мне, к сожалению, надо будет еще зайти вместе с Томом по делу, это не совсем по дороге. Быть может, вы пойдете вперед, дорогая моя?

Хорошенькая Руфь с радостью согласилась и на это.

— Но не одна, — сказал Мартин, — не одна. Мистер Уэстлок, я думаю, проводит вас.

Ну как же не проводить! Да и что другое могло быть на уме у мистера Уэстлока? Какие непонятливые эти старики!

— Вы уверены, что свободны? — допытывался Мартин.

Свободен! Как будто он мог быть не свободен!

И они вышли рука об руку. Когда Том с мистером Чезлвитом спустя несколько минут вышли за ними, тоже рука об руку, последний все еще улыбался — и, право, для человека его склада довольно-таки проникательной улыбкой!

Глава LIII

Что сказал Джон Уэстлок сестре Тома Пинча; что сказала сестра Тома Пинча Джону Уэстлоку; что сказал Том Пинч им обоим и как все они провели остаток дня.

Ярко сверкал на солнце фонтан Тэмпла, брызгами смеха рассыпалась его влажная музыка, весело плясали шаловливые капельки воды, то забавы ради взлетая над деревьями, то снова легко ныряя вниз и прячась, когда Руфь со своим спутником подходили к нему.

А зачем они вообще пошли к фонтану, совершенно непонятно, потому что им вовсе нечего было там делать. Это было им не по дороге, совсем не по дороге. До фонтана им было столько же дела, сколько, скажем, до любви, или еще до чего-нибудь в том же роде.

Тому с сестрой еще можно было назначать друг другу свидание у фонтана, но это совсем другая статья. Разумеется, когда ей нужно было подождать минутку-другую, было бы очень неудобно остановиться где-нибудь, кроме самого тихого и уединенного места; а это и было именно такое уединенное место — лучше не подберешь. Но теперь, когда ее провожал Джон Уэстлок и она шла с ним под руку к себе домой (причем совершенно в обратную сторону), очень удивительно, что они вообще очутились поблизости от фонтана.

Тем не менее они оказались у фонтана. А еще того удивительнее, что они, как видно, пришли туда по взаимному согласию. Однако, попав туда, оба они немножко смутились; и это было самое странное, потому что в фонтане положительно нет ничего такого, отчего можно было бы смутиться. Всякому это известно.

— Какое прекрасное место, — сказал Джон; он и в самом деле находил его прекрасным.

— Удивительно приятное место, — отозвалась маленькая Руфь, — такое тенистое!

О маленькая проказница Руфь!

Они остановились, когда Джон начал расхваливать Тэмпл-Гарден. День выдался прелестный; и было вполне естественно — ничего не могло быть естественнее, — что, остановившись, они стали смотреть во двор, потому что двор выходит в сад, а сад выходит на реку, и в летний день нет ничего приятнее, и свежее, и блистательнее этого вида. Так почему же

тогда, о маленькая Руфь, не смотреть на него смело? Зачем же засовывать такой крохотный, милый, прелестный башмачок в отбитый угол бесчувственной старой плиты на мостовой, да еще стараться, чтобы он уместился в этом уголке как можно аккуратнее?

Если бы огненнолицая матрона в измятом чепце могла видеть, как они возвращались оттуда, сколько отступного взяло бы Огненное лицо за свое место прачки у мистера Уэстлока в Фэрнивелс-Инне!

Они возвращались оттуда, но не по лондонским улицам! По какому-то волшебному городу, вымощенному облаками, где все грубые городские шумы смягчались в тихую музыку; где все казались счастливыми, где не существовало ни расстояния, ни времени. Им попались два добродушных дюжих возчика, которые спускали большие бочки пива в какой-то подвал, и когда Джон помог ей перешагнуть через канат, почти приподняв ее, такую легкую, изящную, воздушную, они сказали, что Джон у них в долгу за то, что они доставили ему такой случай. Божественные возчики!

Зеленые пастбища летом, набитое соломой стойло зимой, вволю овса и клевера — и все это тому благородному коню, который упрямо становился на дыбы на тротуаре, с риском перевернуть кабриолет, и напугал ее до того, что она схватилась за плечо Джона обеими руками (обеими руками, так трогательно положив их одну на другую) и упросила его спрятаться от опасности в кондитерской; а после с такой робостью выглядывала из-за дверей; а потом, глядя на него своими милыми глазами, спрашивала, уверен ли он — да, уверен ли он, — что им можно без всякой опасности идти дальше? Хоть бы им попался целый табун вздыбившихся лошадей, хоть бы лев, хоть бы медведь или бешеный бык — что угодно, лишь бы эти ручки снова скрестились на его плече!

Они разговаривали, конечно. Они говорили о Томе, обо всех этих переменах, и что мистер Чезлвит привязался к нему, и какое блестящее будущее предстоит ему с таким другом, и о многом еще в том же роде. Чем больше они разговаривали, тем больше боялась маленькая Руфь каждой паузы; лишь бы не молчать, она готова была повторять одно и то же; а когда у нее не хватало на это храбрости или присутствия духа (сказать по правде, не хватало очень часто), она становилась в десять тысяч раз милей и привлекательней, чем была.

— Мартин теперь скоро женится, я думаю, — сказал Джон.

Она тоже предполагала, что скоро. Еще ни одна очаровательная маленькая женщина не высказывала своих предположений таким слабым голосом, как Руфь.

Однако, чувствуя, что приближается еще одна из пугавших ее пауз, она

заметила, что у него будет, красавица жена. А что думает мистер Уэстлок?

— Да, да, — сказал Джон, — о да! Она высказала опасение, что на его вкус трудно угодить, — он говорил так равнодушно.

— Скажите лучше, что у меня другой вкус, — сказал Джон. — Я почти не видел ее. Мне не хотелось на нее смотреть. Мне было не до нее сегодня утром.

О боже милостивый!

Хорошо еще, что они дошли до места. Она не могла бы сделать и шагу дальше. Невозможно идти, когда так дрожишь.

Том еще не приходил. Они вошли в треугольную гостиную вместе, вдвоем. Огненное лицо, Огненное лицо, сколько же ты возьмешь теперь отступного?

Она села на маленький диванчик и развязала ленты у шляпки. Он сел рядом с ней и очень близко — очень, очень близко. О быстро бьющееся, переполненное, трепетное сердечко, ты знало, что это придет, и надеялось на это. Так зачем же биться так бурно?

— Дорогая Руфь! Милая Руфь! Если б я любил вас меньше, я давно мог бы сказать вам, что люблю вас. Я полюбил вас с первого взгляда. Никогда никого не любили так беззаветно, как люблю вас я, дорогая Руфь!

Она закрыла лицо руками. Нельзя было удержать хлынувших рекой слез радости, гордости, надежды и чистой любви. Они поднялись из ее переполненного юного сердца в ответ на его слова.

— Любовь моя! Если это не тягостно и не огорчительно для вас — я едва смею надеяться, — то не могу высказать, какое это для меня счастье! Милая Руфь! Моя добрая, кроткая, прелестная Руфь! Я знаю, чего стоит ваше сердце; надеюсь, я сумею оценить ваш ангельский характер. Позвольте мне доказать вам это, и вы сделаете меня счастливее, Руфь...

— Но не счастливее, — всхлипнула она, — чем вы сделали меня. Никто не может быть счастливее, Джон, чем вы сделали меня.

Огненное лицо, позаботьтесь о себе! Обычное жалованье — или обычное предупреждение. Все кончено, Огненное лицо! Мы в вас больше не нуждаемся.

Маленькие ручки могли ложиться одна на другую и без содействия вздыбленных коней. Не нужно было больше ни львов, ни медведей, ни бешеных быков. Все это выходило без их помощи и даже гораздо лучше. В оправдание не требовалось больше ни дюжих возчиков, ни бочек с пивом. Вообще не требовалось никаких предлогов. Нежная, легкая рука ложилась робко, но вполне естественно, на плечо возлюбленного; гибкая талия, поникшая голова, краснеющая щека, милые глаза, прелестный ротик — все

это было как нельзя более естественно. Если бы все лошади Аравии взбесились разом, дело не могло бы пойти лучше.

Скоро они опять заговорили о Томе.

— Надеюсь, он будет рад узнать это! — сказал Джон с разгоревшимися глазами.

Руфь немножко крепче сжала свои руки и серьезно взглянула ему в лицо.

— Я ведь не расстанусь с ним, да, милый? Я бы не могла расстаться с Томом. Я уверена, что ты это знаешь.

— Ты думаешь, я потребовал бы этого? — ответил он с... ну, не так важно, с чем именно.

— Я уверена, что нет, — отвечала она, и светлые слезы выступили у нее на глазах.

— И если хочешь, готов поклясться в этом, Руфь, голубка моя. Расстаться с Томом! Странно было бы начинать с этого. Расстаться с Томом, дорогая! Если мы с Томом не будем неразлучны и если Тома (благослови его бог!) не будут больше всех любить и уважать в нашем доме, моя милая жена, то такого дома нам не нужно! Крепче этой клятвы быть не может, Руфь!

Надо ли рассказывать, как она благодарила его? Да, надо. Во всей простоте, и невинности, и чистоте сердца, и все же застенчиво, грациозно и нерешительно, она запечатлела эту клятву розовой печатью, цвет которой разлился по всему ее лицу, до самых корней ее темно-каштановых волос.

— Том будет так счастлив и так горд и рад, — сказала она, стиснув свои маленькие ручки. — Он так удивится! Я думаю, ему это и в голову не приходило.

Разумеется, Джон немедленно спросил ее (ведь оба они были в таком состоянии, когда простительно очень многое), давно ли ей самой это пришло в голову, что немножко отвлекло их разговор в другую сторону, — отклонение очаровательное для них, но не очень интересное для нас, — после чего они снова вернулись к Тому.

— Ах, милый Том!.. — сказала Руфь. — Мне кажется, теперь я должна всем с тобой делиться. Мне нельзя иметь от тебя секретов. Правда, Джон, милый?

Не стоит распространяться о том, как этот возмутительный Джон ответил ей, потому что на бумаге этого передать невозможно, хотя сам по себе такой ответ очень выразителен. А значил он: да, да, да, милая Руфь, или приблизительно так.

Тогда она рассказала великую тайну Тома — не говоря, как именно она

узнала ее, но предоставив ему догадываться, если хочет; и Джон серьезно огорчился, услышав это, и преисполнился сочувствия и печали. Теперь они еще больше будут стараться, сказал он, чтобы Том был счастлив, развлекая его любимыми занятиями. И тут, со всей откровенностью, какая бывает в такие минуты, он рассказал ей, что ему представляется прекрасный случай вернуться к своей прежней профессии, уехав в провинцию, и как он думал, что если ему выпадет счастье, которое выпало теперь, — тут они опять немного отвлеклись, — он думал, что найдет занятие и Тому, и они будут жить все вместе, самым естественным образом, и Том нисколько не будет чувствовать себя в зависимости, и все они будут счастливы, как только возможно. Руфь обрадовалась, и они принялись так стараться для Тома, что успели купить ему избранную библиотеку и даже орган, на котором Том играл с величайшим удовольствием, в ту самую минуту, когда он постучался в дверь.

Хотя ей не терпелось рассказать брату о том, что произошло, бедная маленькая Руфь была сильно взволнована его приходом, тем более что он должен был прийти не один, а вместе с мистером Чезлвитом. И потому она прошептала, вся дрожа:

— Что мне делать, милый Джон? Я не вынесу, если он узнает об этом не от меня, и не могу сказать ему, пока мы не останемся вдвоем.

— Поступи так, голубка, как тебе подскажет минута, и я уверен, что все выйдет хорошо.

Он едва успел это произнести, а Руфь едва успела отсесть от него немножко подальше на диване, как вошли Том с мистером Чезлвитом. Сначала вошел мистер Чезлвит, а следом за ним и Том.

Руфь решила, что спустя несколько минут как-нибудь вызовет Тома наверх и все ему скажет в его тесной спальне. Но как только она увидела его славное лицо, сердце у нее не выдержало, она бросилась к нему в объятия, припала головой к его груди и зарыдала:

— Благослови меня, Том! Милый мой брат! Том поднял глаза в изумлении и увидел, что Джон Уэстлок стоит рядом, протягивая руку.

— Джон! — воскликнул Том. — Джон!

— Дорогой Том, — сказал его друг, — дай мне твою руку. Мы с тобой братья, Том.

Том изо всей силы стиснул его руку, горячо обнял сестру и передал ее в объятия Джона Уэстлока.

— Не говори со мной, Джон. Бог милостив к нам. Я...

Том осекся на полуслове и выбежал из комнаты; Руфь бросилась за ним.

А когда они вернулись, что произошло довольно скоро, Руфь казалась еще красивей, а Том добрей и благородней, чем всегда (если это возможно). И хотя Том даже и сейчас не мог говорить на эту тему, не привыкнув еще к новой радости, он пожал обеими руками обе руки Джона так выразительно, что это заменяло самую лучшую речь.

— Я рад, что вы выбрали этот день, — сказал мистер Чезлвит все с той же проницательной улыбкой, — я так и думал. Надеюсь, что мы с Томом мешкали достаточно долго. У меня давно не было опыта в делах этого рода, и я очень беспокоился, уверяю вас.

— На ваш опыт можно положиться, сэр, — с улыбкой ответил Джон, — если он позволил вам предвидеть то, что произошло сегодня.

— Скажем прямо, мистер Уэстлок, — сказал старик, — что для этого не нужно было быть большим пророком, стоило только посмотреть на вас с Руфью. Подите сюда, моя прелесть, посмотрите, что мы с Томом купили нынче утром, покуда вы обменивались ценностями вот с этим молодым негоциантом.

Старик, усадив ее рядом с собой, разговаривал с ней ласковым голосом, словно она была ребенок, но и этот тон и вся манера обращения старого чудака были очень кстати в разговоре с Руфью.

— Взгляните сюда, — сказал он, доставая футляр из кармана, — какое красивое ожерелье! Ах, как блестит! И серьги тоже, и браслеты, и пояс для вас! Этот гарнитур ваш, а у Мэри другой такой же. Том никак не мог понять, для чего мне понадобились два. Какой непонятливый этот Том! Серьги, и браслеты, и пояс! Просто загляденье! Дайте-ка мы посмотрим, как это будет нарядно. Попросите мистера Уэстлока надеть их.

Не могло быть ничего милее Руфи, когда она протянула свою круглую белую ручку и Джон (о хитрый, хитрый Джон!) притворился, будто никак не может застегнуть браслет; не могло быть ничего милее Руфи, когда она стала сама надевать этот бесценный пояс и все-таки не могла обойтись без помощи, потому что пальцы у нее никак не слушались; ничего не могло быть милей улыбки и румянца, игравших на ее лице, словно искры света на драгоценных камнях; ничего милее вы не могли бы увидеть и за целый год обыкновенной жизни, будьте уверены.

— Драгоценности и их хозяйка так хорошо подходят друг к другу, — сказал старик, — что я не знаю, кто кого украшает. Мистер Уэстлок мог бы мне подсказать, конечно, но я его спрашивать не стану, он подкуплен. Носите их на здоровье, милая, и будьте счастливы, не забывая только, что это вам на память от любящего друга!

Он потрепал ее по щеке и сказал Тому:

— Мне придется и здесь тоже играть роль отца, Том. Не много найдется отцов, которые в один день выдают замуж двух таких дочерей; но мы не посмотрим, что так не бывает, лишь бы исполнить стариковскую прихоть. На такое снисхождение я имею право, — прибавил он, — потому что, видит бог, немного было в моей жизни прихотей, направленных на то, чтобы одарять других!

Все это заняло так много времени, а потом между ними начался такой оживленный разговор, что оставалось всего четверть часа до обеда, когда они вспомнили о нем. Тем не менее наемный экипаж быстро довез их до Тэмпла, где все уже было готово к их приему.

Мистер Тэпли, которому были даны неограниченные полномочия по части заказывания обеда, так постарался ради гостей, что был сервирован целый банкет под соединенным руководством его самого и его нареченной. Мистер Чезлвит пожелал, чтобы они тоже сели вместе с гостями, и Мартин горячо поддержал его, но Марк никак не соглашался сесть за стол, отговариваясь тем, что, взяв на себя честь прислуживать им и заботиться об их удобствах, он и в самом деле чувствует себя хозяином „Веселого Тэпли“, так что ему даже кажется, будто и прием происходит под кровлей „Веселого Тэпли“.

Чтобы еще больше поощрить свою фантазию, мистер Тэпли взял на себя руководство лакеями из гостиницы, делая им разные указания насчет расстановки блюд и прочего; и так как его распоряжения обычно противоречили всем установленным порядкам и были очень комичны и по форме и по существу, то вызывали среди служащих самое непринужденное веселье, в котором участвовал и мистер Тэпли, безгранично радуясь собственному остроумию. Он пользовался каждым случаем, чтобы позабавить их рассказами о своих странствиях, или же какой-нибудь комической стычкой с миссис Льюпин; так что взрывы смеха все время слышались из-за спинок стульев и со стороны буфета; а у старшего лакея (в пудре и коротких штанах, обыкновенно человека очень серьезного) лицо густо покраснело и во всеуслышание лопнули завязки на жилете.

Молодой Мартин сидел во главе стола, а Том Пинч в конце; и если чье лицо сияло весельем за этим столом, то конечно лицо Тома. Он был душой общества. Все пили за него, все смотрели на него, все думали о нем, все любили его. Стоило ему положить на стол ножик или вилку, как уж кто-нибудь непременно тянулся пожать ему руку. Перед обедом Мартин и Мэри отвели его в сторонку и дружески заговорили с ним о будущем, так горячо уверяя, что без него они не могут быть вполне счастливы — без его

общества и самой тесной дружбы, — что Том был положительно тронут до слез. Он не мог этого вынести. Его сердце переполнено счастьем, сказал он. Да так оно и было. Том говорил чистую правду. Именно так. Как ни обширно твое сердце, милый Том Пинч, в этот день в нем не было места ничему, кроме счастья и сочувствия!

Тут же был и Фипс, старик Фипс из Остин-Фрайерс, тоже приглашенный к обеду и оказавшийся самым веселым собеседником, какой только запирался в темной конторе, наперекор собственной общительности. „Где же он?“ — спросил Фипс, войдя в комнату. А потом набросился на Тома, сказав, что он жаждет вознаградить себя за прежнюю сдержанность: и, во-первых, пожал ему правую руку, а во-вторых, пожал ему левую руку, а в-третьих, ткнул его пальцем в жилет, а в-четвертых, сказал: „Как поживаете?“ — и, кроме того, проделал еще много кое-чего в доказательство своего дружеского расположения и радости. И он пел песни, этот Фипс, и говорил речи, и молодецки опрокидывал стакан за стаканом, — словом, он показал себя настоящим молодчиной, этот Фипс!

Но какое же счастье возвращаться домой пешком — упрямица Руфь, она ни за что не хотела ехать! — возвращаться пешком, как в тот памятный вечер, когда они возвращались из Фэрнивелс-Инна! Какое счастье, что можно говорить об этом и поверять свое счастье друг другу! Какое счастье рассказать все свои маленькие планы Тому и увидеть, как его сияющее лицо просияет еще больше!

Когда они пришли домой, Том Пинч оставил сестру с Джоном в гостиной, а сам поднялся наверх, к себе в комнату, под предлогом, что ему нужно найти книгу. И Том даже подмигнул самому себе, поднимаясь по лестнице; ему казалось, что он ведет себя очень хитро.

„Им, конечно, хочется побыть вдвоем, — подумал Том, — а я ушел так незаметно; они, наверно, каждую минуту ждут, что я вот-вот вернусь. Отлично!“

Но он недолго просидел за книжкой, как услышал стук в дверь.

— Можно войти? — спросил Джон.

— О, конечно! — ответил Том.

— Не оставляйте нас, Том; не сидите один. Мы хотим, чтобы вы веселились, а не грустили.

— Мой милый друг, — сказал Том, весело улыбнувшись.

— Брат, Том, брат!

— Мой милый брат, — сказал Том, — нет никакой опасности, что я загрущу. Отчего это мне грустить, если я знаю, что вы с Руфью так счастливы вместе? Кажется, ко мне опять вернулся дар речи, Джон, —

прибавил он после короткой паузы, — но я никогда не сумею высказать вам, какую невыразимую радость принес мне этот день. Было бы несправедливостью по отношению к вам говорить, что ваш выбор пал на бесприданницу, ведь я чувствую, что вы знаете ей цену, уверен, что вы знаете ей цену. И эта цена не упадет в вашем мнении, Джон, что могло бы случиться с деньгами.

— Что непременно случилось бы с деньгами, Том, — ответил он. — Я знаю ей цену! Но кто бы мог увидеть ее и не полюбить? Кто мог бы, обладая таким сокровищем, как ее сердце, охладеть к этому сокровищу? Кто мог бы чувствовать такое блаженство, какое я чувствую сегодня, и любить ее так, как я люблю, Том, не зная хоть в какой-то мере цены ей? Вашу радость нельзя выразить? Нет, Том, мою, мою!

— Нет, нет, Джон, — сказал Том, — мою, мою!

Их дружескому спору положила конец сама Руфь, подойдя и заглянув в дверь. И каким же чудесным взглядом, и гордым и застенчивым вместе, посмотрела она на Тома, когда возлюбленный привлек ее к себе! Словно говорила: „Да, Том, ты видишь, какой он. Но ведь он имеет на это право, ты сам знаешь, потому что я его люблю“.

Что касается Тома, он был в полном восторге. Он мог бы целыми часами сидеть вот так и радоваться на них.

— Я говорил Тому, голубка, как мы с тобой решили, что мы не позволим ему убегать от нас, — ни за что не позволим! Как мы можем лишиться одного человека, а главное, такого человека, как Том, в нашем маленьком семействе, когда нас всего трое? Я ему так и сказал. Деликатность это в нем или только эгоизм, уж не знаю. Но деликатничать ему не нужно, он нас нисколько не стесняет. Правда ведь, дорогая Руфь?

Что ж, он, кажется, и в самом деле не особенно стеснял их, судя по тому, что последовало за этими словами.

Было ли неразумно со стороны Тома радоваться, что они не забывают о нем в такое время? Была ли неразумной их трогательная любовь, их милые ласки? Или их затянувшееся прощание? Разве со стороны Джона было так неразумно любоваться с улицы на ее окно, радуясь слабому лучу света больше, чем бриллиантам, а с ее стороны — повторять его имя, стоя на коленях, и изливать свое чистое сердце тому существу, которое дает нам такие сердца и такие чувства?

Если все это глупо, тогда пусть Огненное лицо блаженствует по-прежнему; а если нет, тогда ступай прочь, Огненное лицо! Ступай себе и заманивай своим измятым чепцом какого-нибудь другого холостяка, потому что этот потерян для тебя навсегда!

Глава LIV

особенно беспокоит автора. Ибо она последняя в книге.

Пансион миссис Тоджерс был приятно взволнован, и усиленные приготовления к позднему завтраку происходили под его коммерческой сенью. Настало то счастливое утро, когда священные узы брака должны были соединить мисс Пексниф с Огастесом.

Настроение мисс Пексниф делало честь и ей самой и такому торжественному событию. Она была преисполнена снисходительности и всепрощения. Она приготовилась отплатить добром за зло своим врагам. Она не питала ни злобы, ни зависти в сердце своем — ни малейших.

Ссоры между родными, говорила мисс Пексниф, ужасная вещь; и хотя она не в силах простить своему дорогому папе, она готова принять остальных своих родственников. Они слишком долго чуждались друг друга, говорила она. Довольно уже этого одного, чтобы навлечь на семью какую-нибудь кару свыше. По ее мнению, смерть Джонаса и была такой карой, ниспосланной всему семейству за постоянные нелады между собой, и в этом мнении ее утверждало то, что сама она переносила испытание довольно легко.

Итак, жертвуя собой — не торжествуя, нет, отнюдь не торжествуя, а смирившись духом, — эта любезная молодая девица написала своей родственнице, особе с решительным характером, и сообщила, что ее свадьба состоится в такой-то день; что она долго огорчалась бессердечным поведением ее самой и ее дочерей и теперь надеется, что совесть не слишком их мучит; что, желая простить своим врагам и примириться со всеми перед вступлением в самый священный из союзов с самым нежным из возлюбленных, она теперь протягивает им руку в знак дружбы; и если решительная особа примет эту руку в том же духе, в каком она протянута ей, то она, мисс Пексниф, приглашает ее присутствовать на свадебной церемонии, а кроме того, приглашает трех красноносых старых дев, ее дочек (впрочем, насчет носов мисс Пексниф не распространялась), быть своими подружками.

Решительная особа отвечала, что и она сама и ее дочери в отношении совести пользуются завидным спокойствием и здоровьем, о чем, как она знает, будет приятно услышать мисс Пексниф; что она прочитала записку мисс Пексниф с непритворным удовольствием, потому что никогда не

придавала никакого значения мелкой зависти и злобным нападкам, которым подверглась она сама и ее близкие, ибо, подумав хорошенько, она нашла в них не что иное, как источник невинного развлечения; что она с радостью приедет на свадьбу к мисс Пексниф и что ее три дочери будут счастливы присутствовать при таком интересном и совершенно неожиданном событии, причем слова „совершенно неожиданном“ были подчеркнуты решительной особой.

Получив этот любезный ответ, мисс Пексниф распространила свое прощение и гостеприимство на мистера и миссис Споттлоу, на мистера Джорджа Чезлвита — кузена холостяка, на одинокую родственницу, страдавшую зубной болью, и на волосатого молодого джентльмена с неопределенной физиономией — на всех оставшихся в живых из той компании, которая собралась когда-то в гостиной мистера Пекснифа. После чего мисс Пексниф заметила, что в выполнении долга есть какая-то сладость, которая смягчает горечь жизненной чаши.

Свадебные гости еще не собрались; впрочем, было еще так рано, что и сама мисс Пексниф одевалась не спеша, когда поблизости от Монумента остановилась коляска и Марк, соскочив с заднего сиденья, помог выйти мистеру Чезлвиту. Коляска осталась дожидаться, а также и мистер Тэпли. Мистер Чезлвит отправился в пансион миссис Тоджерс.

Недостойная приемница мистера Бейли проводила его в столовую, куда немедленно явилась миссис Тоджерс, так как этого визита ожидали.

— Вы, я вижу, одеты на свадьбу, — заметил он. Миссис Тоджерс, которая совсем захлопоталась с приготовлениями, ответила утвердительно.

— Все это делается против моего желания, уверяю вас, сэр, — сказала миссис Тоджерс, — но мисс Пексниф уже решила, да и действительно — мисс Пексниф пора выйти замуж. Этого нельзя отрицать, сэр.

— Да. — сказал мистер Черлвит, — конечно. Ее сестра не принимает участия в торжестве?

— О, что вы, нет, сэр. Бедняжка! — шепотом сказала миссис Тоджерс, покачав головой. — С тех пор как она узнала самое страшное, она не выходит из моей комнаты — здесь рядом.

— Она может принять меня?

— Да, сэр.

— Тогда не будем терять времени.

Миссис Тоджерс проводила его в маленькую заднюю комнатку с видом на водяной бак, и там, печально изменившаяся с тех пор, как эта комнатка впервые стала ее жилищем, сидела бедная Мерри в черном вдовьем платье. Комнатка выглядела очень мрачно, и она сама тоже; но один друг был при

ней, верный до конца, — старик Чаффи.

Когда мистер Чезлвит сел рядом с ней, она взяла его руку и поднесла к губам. Она была в большом горе. Старик тоже был взволнован, — он не видел ее с тех пор, как они простились на кладбище.

— Я судил о вас неосновательно, — сказал он тихим голосом. — Боюсь, что я судил о вас несправедливо. Позвольте мне надеяться, что вы простили меня.

Она еще раз поцеловала его руку и, удержав ее в своей, прерывающимся голосом поблагодарила старика за его доброту.

— Том Пинч, — сказал он, — рассказал мне о своем разговоре с вами, хотя в ту минуту он сам считал маловероятным, что ему представится случай передать ваше поручение. Поверьте, если мне еще когда-нибудь встретится неразумная, не знающая себя натура, скрывающая силу, которую она считает слабостью, я буду к ней внимательнее и милосерднее.

— Но ведь вы именно так относились ко мне, — ответила Мерри. — Теперь я это вижу. Слова, о которых вы говорите, вырвались у меня, когда мое горе было очень сильным, почти невыносимым, и я повторяю их теперь, прося за других; но о себе я не вправе говорить. Вы беседовали со мной, после того как видели меня и наблюдали за мной каждый день. Вы проявили много внимания ко мне. Вы могли бы говорить, быть может, ласковее; вам легче было бы добиться моего доверия, если б вы говорили мягче; но от этого ничто не изменилось бы.

Он покачал головой с сомнением, как бы упрекая самого себя.

— Разве можно было надеяться, — продолжала она, — что ваше вмешательство окажет на меня влияние, когда я помню, какая я была упрямая? Я никогда ни о чем не думала; у меня не было ни ума, ни сердца, и мне казалось, что это и не нужно. Все это пришло потом, вместе с несчастьем. Это дало мне силы пережить мое несчастье. Я не хотела бы забывать о нем, каково бы оно ни было. Я знаю, оно ничтожно в сравнении с теми испытаниями, которые приходится терпеть каждый день сотням добрых людей, — но я не хотела бы забыть о нем завтра, даже если б могла. Оно было моим другом, и без него никто и ничто не изменило бы меня. Не смотрите на эти слезы, я не могу удержать их. Но в душе я благословляю свое несчастье, правда, благословляю!

— Правда, сэр! — сказала миссис Тоджерс. — Я в этом уверена.

— И я тоже! — сказал мистер Чезлвит. — А теперь слушайте меня, милая. Имущество вашего покойного мужа, если оно не уйдет на погашение большого долга обанкротившемуся обществу (документ, как бесполезный беглец, был отослан ими в Англию, не столько ради

кредиторов, сколько для того, чтобы насолить вашему мужу, которого они считают живым), будет конфисковано казной; ибо на него, как я узнал, могут предъявить права те, кто пострадал от спекуляции, в которой он участвовал. Состояние вашего отца поглотила целиком, или почти целиком, та же спекуляция. Если что-нибудь осталось, то и остаток будет точно так же конфискован. Дома у вас больше нет.

— Я не могла бы к нему вернуться, — сказала она, невольно намекая на то, что это отец принудил ее выйти замуж, — я не могла бы вернуться домой.

— Я знаю, — продолжал мистер Чезлвит, — потому я и пришел, что я это знаю. Поедьте со мной! Все окружающие меня встретят вас с радостью, поверьте; у нас был об этом разговор. Но до тех пор пока ваше здоровье не восстановится и вы не успокоитесь в достаточной мере, для того чтобы выдержать такую встречу, вы поживете где-нибудь в тихом месте близ Лондона, по вашему собственному выбору; настолько близко, чтобы эта добрая женщина могла навещать вас, когда ей вздумается. Вы много страдали, но вы молоды, и перед вами лежит более светлое, счастливое будущее. Поедьте со мной! Ваша сестра к вам равнодушна, я знаю. Она торопится со свадьбой, трубит о ней в таком тоне, который едва ли уместен (чтобы не сказать более), не подобает ей как сестре, просто неприличен. Оставьте этот дом, прежде чем приедут ее гости. Она хочет вас обидеть. Избавьте ее от труда, поедьте со мной!

Миссис Тоджерс, хотя отнюдь не желала расставаться с ней, присоединилась к его уговорам. Присоединился даже бедный старик Чаффи, которого тоже, разумеется, посвятили в этот план. Мерри торопливо оделась и была совсем готова к отъезду, когда мисс Пексниф влетела в комнату.

Мисс Пексниф влетела так неожиданно, что оказалась в самом неловком положении. Хотя она закончила свой свадебный туалет в отношении прически и на голове у нее красовался вуаль с флердоранжем, во всех остальных отношениях он не был закончен, и на ней было наброшено весьма неказистое одеяние, нечто вроде канифасового шлафрока. Она влетела в комнату полуодетая для того, в сущности, чтобы утешить сестру видом этого самого флердоранжа, и так как она даже не подозревала о присутствии гостя, то была весьма неприятно изумлена, очутившись лицом к лицу с мистером Чезлвитом.

— Итак, молодая особа, — сказал старик, глядя на нее с сильнейшим неодобрением, — вы нынче выходите замуж!

— Да, сэр, — скромно ответила мисс Пексниф, — выхожу... Я... мой

туалет... ну право же, миссис Тоджерс!

— Вы смущены, я вижу, — сказал старый Мартин. — Я этому ничуть не удивляюсь. Вы неудачно выбрали время для вашей свадьбы.

— Извините меня, мистер Чезлвит, — ответила Черри, мгновенно вспыхнув от злости, — но если вы желаете что-нибудь сказать на этот счет, я попрошу вас обратиться к Огастесу. Вряд ли вы сочтете приличным заводить ссору со мной, когда Огастес во всякое время готов поговорить с вами. Мне нет никакого дела до того, как там обманывали моего папашу, — колко продолжала мисс Пексниф, — и поскольку я желаю быть в хороших отношениях со всеми в такой день, то была бы очень рада, если б вы оказали нам честь позавтракать с нами. Но я не стану вас приглашать — вижу, что другие уже завладели вами и восстановили вас против меня. Надеюсь, что я, как полагается, привязана к другим и, как полагается, жалею других; но я же не могу всегда подчиняться и подслуживаться к ним. Это было бы уж слишком. Думаю, что я достаточно уважаю для этого и себя и того человека, который сегодня назовет меня своей супругой.

— Так как ваша сестра — мне так кажется, сама она ничего на этот счет не говорила — видит очень мало внимания от вас, то она уезжает со мной, — сказал мистер Чезлвит.

— Я очень довольна, что ей, наконец, хоть в чем-нибудь повезло, — отвечала мисс Пексниф, вздернув нос. — Нисколько не удивляюсь, что такое торжественное событие не радует ее — нисколько не радует, — но я тут ничего не могу поделать, мистер Чезлвит: вина не моя.

— Довольно, мисс Пексниф, — спокойно сказал старик, — мне хотелось бы, чтобы вы при таких обстоятельствах простились с сестрой более ласково. Тогда я стал бы вам другом. В один прекрасный день вам может понадобится друг.

— Все мои друзья, мистер Чезлвит, с вашего позволения, и все мои родные, — с достоинством возразила мисс Пексниф, — отныне заключаются в Огастесе. Пока Огастес принадлежит мне, я в друзьях не нуждаюсь. Со всякими разговорами о друзьях, сэр, я попрошу вас раз и навсегда обращаться к Огастесу. Таково мое мнение о том обряде, который свершится перед алтарем и соединит меня с Огастесом. Я ни к кому не питаю злобы, а тем более в минуту своего торжества, а тем более к родной сестре. Напротив, я поздравляю ее. Если вы не слышали, как я ее поздравляла, я не виновата. И так как ради Огастеса я не должна опаздывать в такой день, когда он, натурально, имеет право быть... быть нетерпеливым, — ах, в самом деле, миссис Тоджерс! — то я должна попросить у вас позволения уйти, сэр.

С этими словами подвенечная вуаль удалилась настолько торжественно, насколько это было совместимо с канифасовым шлафроком.

Старый Мартин подал руку младшей сестре и повел ее к выходу, не говоря ни слова. Миссис Тоджерс в парадном платье, развевавшемся по ветру, проводила их до кареты, при расставании бросилась Мерри на шею и, заливаясь слезами, побежала обратно в свой грязный дом. У нее, у миссис Тоджерс, было тощее, изможденное тело, но в нем жила здоровая душа. Быть может, добрый самаритянин тоже был худой и изможденный и жизнь давалась ему не легко. Почем знать!

Мистер Чезлвит пристально провожал ее взглядом и посмотрел на мистера Тэпли только тогда, когда она закрыла за собой дверь.

— Что с вами, Марк? — сказал он, едва взглянув на него. — В чем дело?

— Самый удивительный случай, сэр! — отвечал Марк, едва овладев своим голосом и с трудом выговаривая слова. — Такое совпадение, каких просто не бывает! Провалиться мне, если это не наши старые соседи, сэр!

— Какие соседи? — спросил старый Мартин, выглядывая в окно кареты. — Где?

— Я прогуливался взад и вперед, пяти шагов не будет отсюда, — волнуясь, говорил Марк, — и вдруг оба они идут прямо на меня, словно собственные призраки, да так я и подумал! Самый удивительный случай, сэр, прямо-таки небывалый! Меня теперь одним щелчком с ног свалить можно!

— Что вы этим хотите сказать? — воскликнул старый Мартин, который, глядя на Марка, и сам взволновался не меньше, чем этот чудак. — Соседи? Где?

— Здесь, сэр! — отвечал мистер Тэпли. — Здесь, в Лондоне! Здесь, на этой самой мостовой! Вот они, сэр! Разве я их не знаю! Благослови господи их милые лица! Разве я их не знаю!

Восклицая так, мистер Тэпли не только указывал на скромного вида мужчину и женщину, стоявших тут же, на площадке Монумента, но снова и снова бросался обнимать их по очереди, то одного, то другого.

— Соседи? Откуда? — кричал старик, безуспешно стараясь открыть дверцу кареты.

— Соседи из Америки! Соседи из Эдема, — кричал Марк. — Соседи на болоте, соседи в дебрях, соседи во время лихорадки! Ведь она ходила за нами! Ведь он помогал нам! Ведь мы оба умерли бы без них! Ведь они едва вырвались оттуда, и ни одного ребенка не осталось им в утешение! А вы говорите, какие соседи!

И он опять бросился обнимать их, совершенно обезумев от радости, и скакал вокруг них, и вертелся между ними, словно исполняя какую-то бешеную пляску диких.

Как только мистер Чезлвит понял, кто такие были эти люди, он все-таки ухитрился отворить дверцу кареты и соскочил к ним; и словно сумасшествие мистера Тэпли было заразительно, тоже немедленно принялся пожимать им руки и всячески проявлять живейшую радость.

— Садитесь сзади! — сказал он. — Садитесь на задние места! Поедем со мной. А вы садитесь на козлы, Марк. Домой! Домой!

— Домой! — крикнул мистер Тэпли, в порыве восторга хватая руку старика. — Именно то, что я думаю! Домой, и уже навсегда! Извините за вольность, сэр, никак не могу удержаться. Пожелаем успеха „Веселому Тэпли“! Все в доме к их услугам, ни в чем отказа не будет, кроме счета. Домой, конечно! Ура!

И, как только он опять усадил старика в карету, они покатали домой, погоняя вовсю; Марк по дороге несколько не умерил своего пыла — напротив, давал ему волю, совершенно не стесняясь, словно находился посреди Солсберийской равнины.

Между тем в пансионе миссис Тоджерс начали собираться свадебные гости. Мистер Джинкинс, единственный приглашенный из постояльцев, явился первым. Он был с белым бантом в петлице и в новом с иголки синем фраке саксонского сукна двойной ширины высшего качества (так он был описан в счете), с какими-то замысловатыми украшениями на карманах, придуманными искусником портным в честь такого события. Несчастный Огастес уже не восставал и против Джинкинса. У него не хватало на это душевных сил.

— Пускай его приходит, — сказал он в ответ мисс Пексниф, когда она настаивала на этом, — пускай приходит! Он всю жизнь был для меня камнем преткновения. Может, так надо, чтоб он был тут. Ха-ха! Что ж! Пускай и Джинкинс приходит!

Джинкинс пришел с удовольствием; он не заставил себя ждать и явился первым. Несколько минут он оставался наедине с завтраком, который был сервирован в гостиной с необычайным вкусом и пышностью. Но скоро к нему присоединилась миссис Тоджерс, а потом кузен-холостяк, супруги Споттлоу и волосатый молодой человек, прибывшие один вслед за другим.

Мистер Споттлоу поощрил Джинкинса снисходительным поклоном.

— Рад познакомиться с вами, сэр. Поздравляю вас! — сказал он под впечатлением, что Джинкинс и есть счастливец.

Мистер Джинкинс объяснил ему. Он только принимает гостей вместо своего друга Модля, который не живет более в этом доме и еще не приехал.

— Еще не приехал, сэр! — воскликнул Спотлтоу с большим жаром.

— Нет, еще, — сказал мистер Джинкинс.

— Клянусь честью! — вскричал Спотлтоу. — Хорошо же он начинает! Клянусь жизнью и честью, хорошо же начинает этот молодой человек! Но я очень желал бы знать, почему это всякий, кто вступает в отношения с этой семьей, непременно должен грубо оскорблять ее? Черт! Еще не приехал. Не счел нужным встретить нас!

Племянник с неопределенной физиономией предположил, что он, может быть, заказал себе новые сапоги и они еще не готовы.

— Что вы мне толкуете про сапоги, сэр! — отрезал Спотлтоу с величайшим негодованием. — Он обязан явиться хотя бы в ночных туфлях; обязан явиться хоть босиком. Не оправдывайте вашего друга под таким жалким и уклончивым предлогом, как сапоги, сэр.

— Он мне не друг, — сказал племянник, — я его никогда не видел.

— Отлично, сэр, — возразил разъяренный Спотлтоу, — тогда не разговаривайте со мной!

Дверь распахнулась как раз в эту минуту, и вошла нетвердой стопой мисс Пексниф, ведомая тремя подружками. Решительная особа, которая нарочно не входила до сих пор и дожидалась за дверью, чтобы испортить весь эффект, замыкала шествие.

— Как поживаете, сударыня? — вызывающим тоном обратился Спотлтоу к решительной особе. — Я думаю, вы видите миссис Спотлтоу, сударыня?

Решительная особа, справившись с весьма сочувственным видом о здоровье миссис Спотлтоу, выразила сожаление, что ее так трудно заметить, — природа, в данном случае перестаралась, слишком уклонившись в сторону худобы.

— Миссис Спотлтоу, во всяком случае, легче заметить, чем жениха, — возразил супруг этой дамы. — То есть в том случае, если он не предпочел нам других родственников; это на них очень похоже и было бы в порядке вещей.

— Если вы намекаете на меня, сэр, — начала решительная особа.

— Пожалуйста, — вмешалась мисс Пексниф, — не допускайте, чтобы из-за Огастеса, в такую важную минуту его и моей жизни, нарушилось то согласие, которое мы с Огастесом всегда так стремились сохранить. Огастес еще не был представлен никому из моих родственников, присутствующих здесь. Он этого не пожелал.

— В таком случае, осмелюсь утверждать, — вскричал мистер Споттлоу, — что человек, который собирается войти в эту семью и „не пожелал“ быть представленным ближайшим родственникам, есть просто наглый щенок! Вот мое мнение о нем!

Решительная особа заметила самым сладким голосом, что она, пожалуй, с этим согласна. Ее три дочери вслух выразили мнение, что это „просто позор!“

— Вы не знаете Огастеса, — со слезами произнесла мисс Пексвиф, — право же, вы его не знаете. Огастес — Это воплощенная кротость и смирение. Подождите, пока вы увидите Огастеса, и я уверена, он заслужит вашу любовь.

— Возникает вопрос, — начал Споттлоу, скрестив руки на груди, — долго ли нам еще ждать? Я вообще не привык ждать, вот что. И я желаю знать, долго ли нам еще дожидаться.

— Миссис Тоджерс! — взмолилась Чарити. — Мистер Джинкинс! Боюсь, не вышло ли тут какой-нибудь ошибки. Должно быть, Огастес отправился прямо в церковь.

Так как это вполне могло случиться, а церковь была совсем рядом, мистер Джинкинс побежал справиться в сопровождении мистера Джорджа Чезлвита, кузена-холостяка, который готов был предпочесть все что угодно попытке сидеть за завтраком, ни до чего не дотрагиваясь. Но они вернулись ни с чем, если не считать бесцеремонного напоминания причетника, который поручил им передать, что если они собираются венчаться нынче утром, то пусть идут поживей, потому что священник не намерен ждать их весь день.

Теперь и невеста встревожилась, не на шутку встревожилась. Боже правый, что такое могло случиться? Огастес! Милый Огастес!

Мистер Джинкинс вызвался нанять кэб и съездить за ним в обставленный заново дом. Решительная особа преподнесла утешение мисс Пексвиф: „Вот образчик того, чего ей следует ожидать. Это будет ей полезно. Все любовные бредни как рукой снимет“. Красноносые дочери тоже нежно утешали ее. „Может, он еще приедет“, — говорили они. Племянник с неопределенной физиономией высказал предположение, уж не свалился ли он с моста. Гнев мистера Споттлоу не поддавался никаким увещаниям его жены. Все говорили разом, а мисс Пексвиф, стиснув руки, бросалась ко всем в поисках утешения, и не находила его нигде, когда Джинкинс, встретив почтальона у дверей, взял у него письмо и передал ей в руки.

Мисс Пексвиф распечатала его, пробежала, испустила пронзительный

воплъ и упала в обморок, уронив письмо на пол.

Его подняли и, столпившись вокруг и заглядывая друг другу через плечо, прочли следующее сообщение со множеством тире и росчерков:

„На широте Грейвзепда, Клипер „Купидон“, в среду ночью.
Навеки оскорбленная мною мисс Пексниф!

Прежде чем это письмо дойдет до вас, нижеподписавшийся будет если не трупом — то на пути к Вандиме — новой земле^[133]. Не посылайте за мной в погоню. Все равно живой я не дамся!

Тяжелый груз — триста регистрационных тонн — простите, в своем отчаянии я путаюсь и пишу о корабле, — обременявший мою душу, был поистине ужасен. Сколько раз, когда вы пытались утешить меня, запечатлев поцелуй на моем челе, мысль о самоубийстве проносилась у меня в мозгу. Сколько раз — как это ни покажется невероятным — я отказывался от этой мысли.

Я люблю другую. Она принадлежит другому. Все на свете принадлежит кому-нибудь другому. Ничего на свете я не могу назвать своим — даже место я потерял — из-за своего необдуманного поступка убежав от вас.

Если вы когда-нибудь любили меня, выслушайте мою последнюю просьбу — последнюю просьбу несчастного, отверженного изгнанника. Отошлите приложенное — это ключ от моего стола — в контору с посыльным. Адресуйте, пожалуйста, Бобсу и Чолбери — то есть Чобсу и Болбери — рассудок мой положительно мешается. Я забыл перочинный ножичек — с ручкой из оленьего рога — в вашей рабочей шкатулке. Он вознаградит посыльного. Пусть этот ножик принесет ему больше счастья, чем принес мне!

О мисс Пексниф, почему вы не оставили меня в покое? Разве это не было жестоко, жестоко с вашей стороны? О боже мой, ведь вы были свидетельницей моих чувств — вы видели, как они струились потоком из глаз моих, — разве вы сами не упрекали меня за то, что я плакал больше обыкновенного в тот ужасный вечер, когда мы встретились в последний раз — в доме, где я когда-то знал спокойствие — хотя и отчаивался, — находя его в обществе миссис Тоджерс?

Но так было написано в талмуде — что вы будете вовлечены в орбиту моей непостижимой и мрачной судьбы, которая должна завершиться и которая тяготеет — над моей — головой. Не стану

упрекать вас, ибо я нанес вам удар. Пускай мебель несколько смягчит его.

Прощайте! Станьте горделивой невестой герцогской короны и забудьте меня! Дай вам бог как можно дольше не знать той душевной муки, с которой я подписываюсь теперь — среди бурных завываний — матросов.

Неизменно, навеки не ваш,
Огастес“.

Они так мало думали о мисс Пексниф, с жадностью читая это письмо, словно она была последним человеком на свете, к которому оно относилось. Но мисс Пексниф и в самом деле упала в обморок. Горько было и унижение, горько было и то, что она сама пригласила свидетелей — и каких свидетелей! — любоваться им; горько было знать, что решительная особа с ее красноносими дочерьми торжествует победу в этот час, назначенный для ее падения, — нет, всего этого нельзя было вынести! Мисс Пексниф упала в обморок по-настоящему.

Что это за величественные звуки касаются нашего слуха? Что это за темнеющая комната?

А эта кроткая фигура за органом, кто это? Ах, Том, дорогой Том, старый друг!

Твоя голова поседела раньше времени, Том, хотя уже много лет прошло с тех пор, как мы с тобой познакомились. Но в этих звуках, которые помогают тебе коротать долгие сумерки, изливается музыка сердца и рассказывается история твоей жизни, Том.

Твоя жизнь течет мирно, спокойно и счастливо, Том. В тихой мелодии, которая, постоянно повторяясь, украдкой ласкает нам слух, быть может звучит воспоминание о твоей старой любви, но это приятное, смягченное временем, чуть слышное воспоминание, такое, какое иногда бывает у нас об умерших; оно не вызывает, слава богу, ни боли, ни тоски!

Дотронься до клавиш органа легко, Том, так легко, как только ты можешь; но никогда твоя рука не упадет так легко на клавиши инструмента, как на голову твоего старого тирана, склоненную низко, очень низко, и никогда инструмент не ответит тебе так фальшиво, как отвечает он.

Ибо вечно пьяный и грязный, сочинитель просительных писем, побирушка по фамилии Пексниф (со сварливой дочерью на шее) надоедает тебе, Том; и, являясь к тебе кланяться денег, всегда напоминает, что устроил твою судьбу лучше, чем собственную; а истратив деньги, занимает своих

собутельников в пивной рассказами о твоей неблагодарности и о своей былой щедрости к тебе; а потом показывает дырявые локти, ставит на скамейку башмаки без подметок и просит своих слушателей полюбоваться, каково это, когда ты хорошо одет и живешь в хорошем доме. Все это тебе известно, и все это ты терпишь, Том!

Итак, с улыбкой на лице, ты переходишь к другому темпу, более живому и более веселому, — и маленькие ножки пляшут вокруг тебя под эти звуки, и ясные детские глаза смотрят в твои. И есть тут одна тоненькая девочка, Том, — ее дитя, не Руфи, — за ней следят твои глаза во время возни и танцев, и она, удивляясь иногда, отчего ты так задумчив, карабкается к тебе на колени и касается своей щечкой твоей щеки; она любит тебя, Том, больше, чем все остальные, если это возможно; заболев однажды, она выбрала тебя в сиделки и не капризничала, Том, когда ты сидел возле нее.

Но вот ты переходишь к более важной мелодии, к мелодии, посвященной прошлому и старым друзьям, и они возникают перед тобой из легкого прикосновения к клавишам и нарастающей волны звучных аккордов. Дух умершего старика, который с радостью предупреждал все твои желания и никогда не переставал уважать тебя, также среди них; с умиротворенным, спокойным выражением он повторяет те слова, которые он сказал тебе на смертном одре, и благословляет тебя!

А вот идет из сада твоя сестра, маленькая Руфь, и садится рядом с тобой; детские руки увенчали ее цветами, и походка ее по-старому легка, и на сердце светло, как и в былые дни. От настоящего и прошлого, с которым так тесно и так любовно сплетена она в твоих мыслях, твои мелодии уносятся в будущее. Возвышенная музыка поет в тебе и вокруг тебя, окутывая вас обоих словно облаком, и, воспаря над гнетущими думами о расставании на земле, возносит вас к небесам!

notes

Убийца и бродяга — намек на библейское предание о Каине, убившем своего брата Авеля и осужденном за это богом на вечные скитания.

...пожаловал к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем. — В 1066 году Вильгельм, герцог Нормандии, во главе нормандских феодалов завоевал Англию; с 1066 по 1087 год — король Англии.

...участвовал в Пороховом заговоре... — Пороховой заговор (1605) был организован группой дворян-католиков (Роберт Кетсби, Гай Фокс и др.), замышлявших убийство короля Иакова I Стюарта и его министров. Сигналом к общему выступлению должен был послужить взрыв парламента. Заговорщикам удалось спрятать в подвале под зданием парламента бочки с порохом, но в последний момент планы их были раскрыты, главари схвачены и казнены.

...сам архипредатель Фокс. — Речь идет о Гае Фоксе, офицере, которому было поручено поджечь бочки с порохом, заложенные под здание парламента. Был схвачен, подвергнут пыткам и казнен.

...пятого ноября, когда был Гаем Фоксом. — Пятого ноября в память раскрытия Порохового заговора ежегодно совершалась торжественная церемония — подвальные помещения парламента обходила стража с зажженными факелами. В этот же день по улицам Лондона носили чучело Гая Фокса, которое затем сжигали.

..., *обедать с герцогом Гэмфри*“... — значит совсем не обедать (английская поговорка).

„Дядюшка“ — в английском просторечии — ростовщик.

„Золотые шары“. — Три золотых шара были изображены в гербе семьи Медичи. Банкиры Медичи были одновременно и крупными ростовщиками. Впоследствии золотые шары стали украшать вывески лавок ростовщиков.

Учение Монбоддо. — Джеймс Бернетт Монбоддо (1714–1799) — шотландский юрист и ученый, один из зачинателей научной антропологии.

...независимо от теории Блюменбаха... — Блюменбах Иоганн Фридрих (1752–1840) — немецкий физиолог и антрополог. Выдвинул теорию о делении человечества на пять рас: кавказскую, монгольскую, малайскую, американскую и африканскую, или эфиопскую.

Солсбери — старинный город в Южной Англии, главный город графства Вилтшир. В Солсбери находится один из интереснейших памятников английской ранней готики: старинный собор постройки XIII века, увенчанный шпилем высотой в 400 футов.

Фортунова сума — волшебный кошелек, в котором никогда не переводились деньги, подаренный Фортунату, герою популярной немецкой легенды XV века, богиней судьбы.

Пинч (англ, pinch) — буквально: „уцщпнуть“, „щщпок“.

...ни дракону, ни грифону, ни единорогу... — легендарные чудовища, встречающиеся в мифологии различных народов. В средние века изображениями этих чудовищ украшали военные доспехи и знамена. Позднее драконы, грифоны и единороги, как шутит Диккенс, „начали интересоваться домашним хозяйством“ и перекочевали на вывески постоялых дворов и трактиров.

...в связи со славными событиями испанской войны... — О какой испанской войне идет речь — не ясно. Мистер Тигг-старший мог участвовать в войне Испании с Англией (1779–1783) и в Испано-Португальской войне 1801 года.

...сколько бы Геркулес ни размахивал палицей во всех направлениях, разве он в силах помешать котам поднимать отчаянную возню на крышах или собакам погибать от пули... — вольная передача сентенции Гамлета из 1-й сцены V акта трагедии Шекспира „Гамлет“:

Хотя бы Геркулес весь мир разнес,
А кот мяучит, и гуляет пес.

(Перевод М. Лозинского.)

...истинным Самсоном... — Самсон — легендарный библейский герой, наделенный невиданной силой.

Дорожный сбор — сбор за право проезда по дорогам — один из пережитков феодализма, сохранявшийся в английском законодательстве до середины XIX века.

...Робинзон... спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей... — Имеется в виду роман Даниеля Дефо (1660–1731) „Робинзон Крузо“ (1719). Это произведение породило несметное количество подражаний, одним из которых является роман, вышедший в 1727 году под названием: „Несравненные страдания и удивительные приключения Филиппа Кворла, англичанина, который был обнаружен бристольтским купцом м-ром Доррингтоном на необитаемом острове в Южном море, где он жил около 50 лет без всякого человеческого общества, и откуда не хотел выезжать“.

...подобно голубю в древности... и возвратимся с оливковой ветвью... — намек на библейское предание о всемирном потопе и Ноевом ковчеге. По преданию, когда воды потопа стали спадать, Ной выпустил из ковчега голубя, чтобы проверить, „сошла ли вода с лица земли“. В первый раз голубь вернулся ни с чем. Во второй раз он возвратился, держа в клюве ветвь оливкового дерева. Впоследствии голубь и оливковая ветвь стали эмблемами мира.

Одноглазый календер — странствующий монах (дервиш) из арабских сказок „Тысячи и одной ночи“.

Собор св. Петра в Риме или мечеть св. Софии в Константинополе. — Собор св. Петра — один из крупнейших архитектурных памятников эпохи Возрождения. Строился на протяжении двух веков (XV–XVII). В создании его принимали участие такие выдающиеся мастера эпохи Возрождения, как архитектор Браманте, великий скульптор, зодчий и художник — Микеланджело Буонаротти и великий художник Рафаэль. Храм св. Софии — выдающееся произведение византийской архитектуры (532–537). После захвата Константинополя турками (1453) храм св. Софии был превращен в мечеть.

...Виттингтона, впоследствии трижды лорд-мэра города Лондона. — Дик Виттингтон — герой популярной английской народной легенды, неоднократно упоминаемый Диккенсом. Легенда рассказывает, что, будучи учеником у торговца мануфактурой, Дик задумал бежать из Лондона, но был остановлен звоном колоколов одной из церквей, в котором он явственно различил голос, вещавший: „Вернись, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона“. Виттингтон вернулся назад и благодаря счастливой случайности разбогател (он продал кошку какому-то восточному князьку, во владениях которого водилось много мышей). Исполнилось и пророчество — его трижды избирали лорд-мэром Лондона. В основе легенды лежат факты из биографии исторического лица, некоего Ричарда Виттингтона (XV в.).

„Жития мучеников“ Фокса. — Джон Фокс (1516–1587) — английский богослов, выступавший против католицизма. „Жития мучеников“ — популярный в свое время труд о преследовании протестантов в правление королевы Марии Тюдор, прозванной Кровавой (1553–1558).

...про Звездную палату и про Долговой суд. — Звездная палата — название Верховного суда, упраздненного указом Долгого парламента в 1641 году и ставшего синонимом суда жестокого и несправедливого. Члены этого суда собирались в одном из залов королевского дворца в Вестминстере, потолок которого был украшен золотыми звездами. Долговой суд — специальные суды по взиманию небольших долгов; были учреждены в правление короля Генриха VII. По решению этих судов несостоятельные должники отправлялись в долговые тюрьмы. Тюремное заключение за долги было отменено лишь в 1869 году.

Не забудьте прибавить „эсквайр“ к фамилии мистера Пекснифа. — В эпоху феодализма звание „эсквайр“ получали оруженосцы рыцарей. Во времена Диккенса слово „эсквайр“ утратило это первоначальное значение и его прибавление к фамилии стало указывать на привилегированное общественное положение. В письмах и официальных бумагах так именовались адвокаты, врачи, писатели, государственные чиновники, помещики и просто зажиточные буржуа. В настоящее время слово эсквайр вышло из употребления.

...по волшебному бобовому стеблю... — намек на популярную в Англии сказку „Джек и бобовый стебель“, герой которой поднялся на небо по чудесно разросшемуся бобовому стеблю.

Монумент — колонна, воздвигнутая в Лондоне (1671–1677) по проекту выдающегося английского архитектора Кристофера Ренна (1632–1723) в память о пожаре 1666 года, уничтожившем большую часть города.

Веллингтоновские сапоги — сапоги с вырезом сзади под коленом.

Кимберуэл — район в юго-восточной части Лондона, за Темзой.

Мистер Питт. — Диккенс, очевидно, имеет в виду Питта Младшего (1759–1806), известного английского государственного деятеля, премьер-министра Англии в период Великой французской революции и одного из главных организаторов антинаполеоновских коалиций.

Юный Браунригг — сын Елизавет Браунригг, убийцы, повешенной в середине XVIII века.

Старый Бейли — центральный уголовный суд Англии (Олд-Бейли), получивший свое название от улицы, на которой он находился.

...как *малолетних принцев в Тауэре...* — Речь идет о сыновьях английского короля Эдуарда IV (1442–1483), задушенных в Тауэре по приказу их опекуна и дяди, Ричарда Глостера, впоследствии короля Ричарда III (1452–1485). Это событие изображено Шекспиром в трагедии „Ричард III“ (1592–1593).

...из сборника доктора Уотса... — Исаак Уотс (1674–1748) — английский богослов, автор широко известных гимнов и псалмов.

Поклоняться золотому тельцу, или Ваалу. — Золотой телец — золотой идол, которому, по библейскому преданию, поклонялись отступившие от своего бога иудеи во время странствий по пустыне после бегства из Египта. Ваал — библейское название верховного божества языческих племен Палестины, Финикии и Сирии. В библии культ Ваала символизирует идолопоклонство и несправедливость.

Подвязка. — Имеется в виду орден Подвязки.

...ради удара по плечу королевской шпагой... — Ударом по плечу королевской шпагой сопровождался обряд возведения в дворянское звание.

...с гимном „Правь, Британия“... — английская песня, сложенная в пору владычества Англии на морях. Ее автор — поэт Джеймс Томсон (1700–1748). Музыка написана композитором Т.А. Арном (1710–1778).

Томик „Бакалавра из Саламанки“. — Речь идет о романе известного французского писателя Лесажа (1668–1747), вышедшем в свет в 1736 году.

Старый Йорк — один из самых древних городов в северной части центральной Англии. В Йорке сохранились многочисленные памятники различных периодов английской истории.

„Здравствуй, Колумбия!“ — рефрен и первая строка многих американских патриотических песен. Колумбия — поэтическое название Америки в честь ее открывателя — Колумба.

Театр Аделфи — театр, построенный в 1806 году на одной из оживленных магистралей Лондона — Стрэнде. На его сцене главным образом шли мелодрамы.

Мой любезный Шейлок... — Шейлок — герой комедии Шекспира „Венецианский купец“ (1600).

Мэйфер, Парк-лейн. — Мэйфер, в переводе „Майская ярмарка“, — район в западной части Лондона в окрестностях бывшего „Овечьего рынка“, где ежегодно устраивались весенние ярмарки. Парк-лейн — фешенебельная улица в районе Мэйфер.

Холборн — район центрального Лондона к северо-западу от Сити. На территории Холборна находятся Британский музей, Лондонский университет, театр Ковент-Гарден. Наряду с богатым жилым кварталом Блумсбери Холборн включает отдельные части Сохо, известного как место поселения бедноты и эмигрантов.

Сент-Джеймский парк — парк в центре города, примыкающий к Сент-Джеймскому дворцу, резиденции английских королей начиная с Генриха VIII; входит в большое кольцо лондонских парков, идущее от Уайтхолла до Кенсингтонских Садов.

Уроженец Новой Англии. — Новая Англия — общее название группы северо-восточных штатов США, места поселения первых английских колонистов. Произношение уроженцев Новой Англии заметно отличается от произношения южан.

...парламенту и Сент-Джеймскому дворцу... — Во времена Диккенса Сент-Джеймский дворец уже не являлся официальной резиденцией английских королей, но название его продолжало употребляться в значении „королевского двора“. Отсюда противопоставление его парламенту.

До седьмого неба Славы. — По религиозным представлениям древних евреев, христиан и магометан, небо, где обитают души праведных и ангельские чины, делится на ряд ступеней. „Седьмое небо“ — высшая ступень, означающая наибольшую близость к богу.

Франклин. — Бенджамин Франклин (1706–1790) — выдающийся американский политический деятель, ученый, писатель и дипломат.

Ювенал или Свифт. — Децим Юний Ювенал — римский поэт-сатирик эпохи империи (I–II вв. н. э.) — Джонатан Свифт (1667–1745) — великий английский писатель-сатирик.

„О, если бы не вы, Колумбии не жить“... — строфа из послания английского поэта Томаса Мура (1779–1852) „Достопочтенному У.Р. Спенсеру“. Мур, посетивший США в 1803–1804 годах, неоднократно с негодованием писал о стране, в которой „все зло старого мира соединилось со всей грубостью нового“.

...похожи на слугу из комедии Голдсмита. — Имеется в виду персонаж из комедии известного английского писателя Оливера Голдсмита (1728–1774) „Добрячок“ (1767).

Немврод — библейский герой, дерзкий и неустрашимый охотник. Контекст позволяет предполагать намек на современного Диккенсу популярного персонажа американской ярмарочной сцены — полковника Немврода Уайлдфайера, появившегося впервые в 1831 году в пьесе Джеймса К. Паулдинга „Лев с Запада“.

Как делает Гамлет, бросая череп Йорика... — Имеется в виду сцена на кладбище из V акта трагедии Шекспира „Гамлет“.

О орел... — Речь идет о гербе Соединенных Штатов.

Коблер — напиток, приготовленный из вина, сахара, лимона и льда.

...автором театральных пьес, — погребенным в Стрэтфорде... — В Стрэтфорде на Эване похоронен великий английский драматург Вильям Шекспир (1564–1616).

Вестминстерское аббатство. — Собор св. Петра в Вестминстерском округе Лондона — место коронавания английских королей, а также усыпальница королей, государственных деятелей и выдающихся людей Англии. В одном из нефов собора, известном под названием „Уголок портов“, похоронены многие английские поэты и писатели начиная с порта Джеффри Чосера (XIV в.). В настоящее время Вестминстерское аббатство превращено в музей.

Горгоны — в греческой мифологии три крылатых женщины-чудовища. Согласно мифу, взгляду Горгон была присуща магическая сила превращать в камень все живое.

...мечтал о свободе в объятиях рабыни, а наутро продавал с публичного торгога ее и своих детей... — парафраза из „Послания Томасу Юму“ английского поэта Томаса Мура.

Королева Виктория... — английская королева с 1837 по 1901 год.

Тауэр — укрепленный замок на берегу Темзы, королевская резиденция в эпоху раннего средневековья. Позднее был превращен в тюрьму для государственных преступников. В настоящее время — арсенал и музей.

Залы Олмэка... — название известных в Лондоне „публичных зал“ (а позднее клуба и ресторана), основанных в 1764 году и просуществовавших до конца XIX века. В залах Олмэка устраивались балы, концерты и лекции.

...возвела себе башни не ниже Вавилонской... — Согласно библейскому преданию, древние люди после потопа пытались построить башню „вышиною до небес“. Но разгневанный бог смешал их языки так, что они перестали понимать друг друга, и рассеял их по всей земле. Это библейское сказание является переработкой более древнего вавилонского мифа.

...подобно доброму самаритянину, поджидающему путника. — Добрый самаритянин (житель древнего города Самарии в Палестине), упоминаемый в евангелии от Луки, оказал помощь встретившемуся ему на дороге ограбленному и израненному путнику. Ирония Диккенса очевидна — все поведение генерала преследует прямо противоположную цель.

„Янки Дудл“ — американская народная песня, возникшая в эпоху войны за независимость США (1775–1783).

...стрелки на часах Конногвардейского штаба в Лондоне... — Конногвардейский штаб — невысокое здание с башней, построенное в 1753 году. По башенным часам Конногвардейского штаба производится смена часовых у Сент-Джеймского дворца.

Летающие жены Питера Вилкинса... — Питер Вилкинс — герой популярного в XVIII веке фантастического романа английского писателя Роберта Палтека (1697–1767) „Жизнь и приключения Питера Вилкинса“ (1751). Потерпев кораблекрушение, он высадился на острове, населенном летающими людьми.

...члена конгресса в Англии... — В Англии, как известно, нет конгресса, а есть парламент, состоящий из двух палат: палаты лордов и палаты общин.

Гримальди. — Джозеф Гримальди — знаменитый английский клоун (1779–1837). Диккенс восхищался талантом Гримальди и в 1838 году взял на себя редактирование его мемуаров, написав к ним предисловие.

Миссис Сиддонс. — Сара Сиддонс (1755–1831) — знаменитая английская трагическая актриса, прославившаяся исполнением ролей в шекспировских трагедиях.

Мать Современных Гракхов. — Братья Гракхи, Тиберий (163–132 гг. до н. э.) и Гай (153–121 гг. до н. э.) — политические деятели Древнего Рима, авторы проекта аграрной реформы. Диккенс иронизирует над пристрастием американцев щеголять античными именами.

Челн старика Харона. — Харон, в греческой и римской мифологии, — старик перевозчик, переправляющий тени умерших людей в подземное царство Аида (в римском варианте — Плутона) через реку Ахерон.

Мрачные владения великана Отчаяние. — Великан Отчаяние — аллегорическая фигура из религиозно-дидактической поэмы английского писателя и проповедника Джона Бэньяна (1628–1688) „Путь паломника“ (1678).

„*Семеро спящих*“ — герои средневековой легенды о семи, юношах из города Эфеса. Спасаясь от гонений на христиан при императоре Деции (III в. н. э.) они спрятались в пещере, где уснули и проспали несколько сот лет.

В самой глубине Сити, в районе Чипсайда. — Сити — торговый и деловой центр Лондона. Чипсайд — в прошлом один из рынков Сити, во времена Диккенса — улица, заселенная ремесленниками и торговцами.

Господа Доу и Роу — имена фиктивных юридических лиц, фигурировавшие в исках об изъятии собственности в английском судопроизводстве первой половины XIX века.

...прислали из Варфоломеевского. — Имеется в виду лондонская больница св. Варфоломея — одно из самых крупных благотворительных учреждений.

*Легче богатому кататься на верблюде, чем увидеть что-нибудь
сквозь игольное ушко... — искаженное евангельское изречение: „Удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство
божие“.*

...не пропечатали еще в „Газете“? — „Газета“ — сокращенное название „Лондонской газеты“, основанной в 1665 году для публикации правительственных постановлений, назначений чиновников, судебных постановлений о банкротствах и тому подобного.

Вест-Энд — богатый аристократический район Лондона. Здесь находятся парламент, королевский двор, в зелени парков и скверов расположены роскошные особняки; в Вест-Энде сосредоточены также лучшие магазины Лондона.

Жокей-клуб — аристократический клуб, основанный в Лондоне в 1751 году.

Частный билль. — В английском законодательстве различают билли (законопроекты) двух родов: „общественные“, затрагивающие интересы целого класса, и „частные“, касающиеся привилегий отдельных лиц или корпораций. Для присвоения имени или титула необходимо проведение частного билля.

Пэлл-Мэлл — одна из самых оживленных улиц Лондона. Название ее происходит от названия старинной игры в шары.

Работный дом — приют для бедняков в Англии. Согласно закону о бедных 1834 года, в работные дома в принудительном порядке стали помещать всех нуждавшихся в общественном призрении.

Настоящий жокей из Нью-Маркета. — Нью-Маркет — небольшой городок в 70-ти милях от Лондона. С конца XVI века в Нью-Маркете ежегодно устраиваются большие конные состязания.

...казалась надежнее Английского банка. — Английский банк, основанный в 1694 году частными лицами, фактически находился под контролем правительства и выполнял функции государственного банка. Солидность и надежности его вошла в Англии в поговорку.

...как в известной задаче о гвоздях в конской подкове. — Диккенс намекает на популярную детскую шуточную песенку, в которой рассказывается о том, как из-за нехватки одного гвоздя погибла целая армия: не было гвоздя — подкова пропала; не было подковы — лошадь захромала; лошадь захромала — командир убит и т. д. (На русский язык эта песенка переведена С.Я. Маршаком.)

Ломберд-стрит — улица в Лондоне, на которой сосредоточено большое число банков. Название ее восходит к XIV–XV векам, когда эту улицу заселяли ломбардские (родом из Северной Италии — Ломбардии) менялы и ювелиры. Считается, что денежные операции ломбардских менял заложили основу современной банковской системы.

Ч.К.М.О. — Член Королевского медицинского общества.

Брикстон — во времена Диккенса — один из южных пригородов Лондона; в настоящее время вошел в черту города.

Дважды дает тот, кто скоро дает (*лат.*)

...просиживал часами... у Гарравея. — Имеется в виду известная лондонская кофейня Томаса Гарравея, находившаяся неподалеку от биржи. У Гарравея часто заключались крупные торговые сделки.

Суд лорд-канцлера — высший суд Англии, созданный в эпоху раннего феодализма как дополнение к судам „общего права“. В отличие от судов „общего права“, руководствовавшихся при рассмотрении дел королевскими указами или судебными прецедентами (в Англии не было и нет кодекса законов), суд лорд-канцлера (министра юстиции) должен был решать „по справедливости“. На деле Канцлерский суд прославился лишь беспримерной волокитой, затягивавшей судопроизводство на десятки лет (подробнее см. комментарии к „Пиквикскому Клубу“ и „Оливеру Твисту“ — 2-му и 4-му томам наст. изд.).

Безногая мисс Биффин — безногая и безрукая художница-миниатюристка, современница Диккенса; рисовала держа кисть в зубах.

...со времени большого лондонского пожара. — Имеется в виду пожар 1666 года, уничтоживший большую часть Лондона.

Он своей жене больше верит, чем календарю Мура. — Календарь Мура — популярное издание, в котором, помимо чисто календарных сведений, помещались различные предсказания. Первый календарь подобного рода был выпущен в 1700 году Фрэнсисом Муром (1657–1715?) и назывался „Голосом звезд“.

...за неделю не окрестить в соборе святого Павла! — Собор св. Павла — крупнейшая из лондонских церквей. Построена на рубеже XVII–XVIII веков выдающимся английским зодчим Кристофером Ренном (1632–1723).

Испанские сапоги — средневековое орудие пытки.

Ин-кварто — то есть в четвертую долю листа.

Панч — английский Петрушка, герой английского кукольного театра. Фигура английского Панча, так же как и французского Полишинеля, восходит к итальянской „commedia dell'arte“ (комедии масок).

Вся королевская конница и вся королевская рать... — строка из популярной в Англии шуточной детской песенки. „Шалтай-Болтай сидел на стене, Шалтай-Болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не может Шалтая, не может Болтая, Шалтая-Болтая, Болтая-Шалтая, Шалтая-Болтая собрать“ (перевод этой песенки на русский язык принадлежит С.Я. Маршаку).

Йомены — свободное английское крестьянство эпохи феодализма; йомены были искусными лучниками и до широкого распространения огнестрельного оружия составляли основную часть английского войска, созываемого во время войны. Отряды йоменов сыграли решающую роль в Английской буржуазной революции, так как именно они явились главной ударной силой армии Кромвеля.

Виндзорское кресло — деревянное кресло, широко распространенное в XVIII веке в Англии и в северо-американских колониях. Спинка, сидение и ножки обычно изготавливались из разных пород дерева.

...что колесница Джагернаута раздавила его... что смертоносное дерево упас отравило его своим тлетворным дыханием. — Джагернаут — одно из культовых имен бога Вишну. Прославленный храм Джагернаута (постройки XII в.) находится в Пури (Бенгалия). Дважды в год здесь устраиваются многолюдные празднества. Изваяние Джагернаута устанавливается на специальной колеснице, которую толпы верующих тащат на себе по глубокому песку в загородный дом бога. Путь в одну милю занимает при этом несколько дней. Во время процессии наиболее ярые фанатики бросаются в религиозном экстазе под колесницу и гибнут. Упас, иначе „анчар“ — дерево из семейства фиговых, ядовитой смолой которого туземцы острова Явы смазывали наконечники своих стрел.

Криббедж — популярная во времена Диккенса карточная игра, в которую может играть от двух до четырех человек.

Наказ о неуклонном выполнении долга, данный лордом Нельсоном перед Трафальгарской битвой. — Горацио Нельсон (1758–1805) — выдающийся английский флотоводец. Под командованием Нельсона английский флот одержал серьезную победу над объединенным франко-испанским флотом при мысе Трафальгар в 1805 году. Диккенс имеет в виду историческую фразу Нельсона: „Англия надеется, что каждый исполнит свой долг“, обращенную им перед началом сражения ко всем матросам и офицерам флотилии.

Здесь нет налогов на окна. — В Англии все домовладельцы облагались налогом по числу окон, выходивших на улицу. Налог на окна был отменен лишь во второй половине XIX века.

...нашему славному четвертому июля. — 4 июля 1776 года была принята „Декларация независимости“, провозгласившая отделение североамериканских колоний от Англии.

Звездное Знамя — государственный флаг США: голубое поле, усеянное белыми звездами (по числу штатов) и пересекаемое 13 полосами в память о первых 13 штатах, образовавшихся в результате отделения северо-американских колоний в 1776 году.

Поклонницы трансцендентальной философии. — Трансцендентальная философия — одно из направлений немецкой идеалистической философии XVIII века. Следует думать, однако, что Диккенс имеет в виду не немецких, а американских трансценденталистов, членов литературно-философского кружка, группировавшегося в 40-е годы XIX века в Бостоне вокруг философа и публициста Ральфа Уолдо Эмерсона (1803–1882). Поклонницами этого философа и были, очевидно, упомянутые „литературные дамы“.

...прямо-таки последняя сцена из „Кориолана“. — „Кориолан“ (1608) — трагедия Шекспира. В основу сюжета трагедии положено предание о римском полководце Гнее Марции Кориолане (V в. до н. э), который изменил родине и во главе враждебного Риму племени вольсков осадил родной город. Диккенс проводит комическую параллель с одной из последних сцен трагедии, в которой мать, жена и сестра Кориолана приходят к нему с мольбой пощадить Рим.

Фэрнвелс-Инн. — Название старинного здания, служившего некогда помещением одного из судебных Иннов. (Судебные Инны — созданные еще в XIII веке юридические корпорации, готовившие полноправных юристов, баристеров: название Иннов распространялось и на дома, в которых жили члены корпорации), В 1818 году здание Фэрнвелс-Инна было перестроено. В помещении его открылись меблированные комнаты, в которых одно время жил Диккенс (в пору работы над „Записками Пиквикского клуба“, 1836).

Излингтон — район в северной части Лондона. На территории его находится старинная гостиница „Ангел“, популярность и веселые нравы которой стяжали всему району репутацию „Веселого Излингтона“.

Поп. — Александр Поп (1688–1744) — известный английский поэт.

Корнхилл — улица в Лондоне недалеко от биржи.

Фома неверный — один из двенадцати апостолов. Имя его стало нарицательным для скептиков и маловеров. Выражение „Фома неверный“ основано на следующем свидетельстве евангелия от Иоанна: услышав от других учеников о воскрешении Христа, Фома сказал им, что не поверит до тех пор, „пока не вложит перста своего в раны от гвоздей и не вложит руки своей в ребра его“. Христос явился ему, и Фома уверовал.

Остин Фрайерс звучит довольно мрачно. — Остин Фрайерс — название старинного монастыря (XIII в.) братьев-отшельников ордена св. Августина. Монастырь этот находился в Сити, на Броуд-стрит. В XVI веке, в правление Генриха VIII, он начал приходить в упадок, но земли его продолжали считаться священными. Могильные памятники монастыря Остин-Фрайерс не уступали по своей красоте и исторической значимости многим памятникам Вестминстерского аббатства. Позднее на месте разрушенного монастыря была отстроена небольшая церковь. Замечание Тома Пинча связано, очевидно, с сохранившимися преданиями о суровых нравах обитателей монастыря.

Место в Тэмпле. — Тэмпл — район Лондона, составлявший первоначально владение ордена рыцарей-темплиеров (храмовников). Позднее в Тэмпле обосновались юридические корпорации. Фразу „Место в Тэмпле“ можно было поэтому легко истолковать как „Место в конторе адвоката“.

У ворот Тэмпла, на Флит-стрит. — Ворота Тэмпла (иначе Тэмпл-Бар) были воздвигнуты в 1672 году в том месте, где кончается Стрэнд и начинается Флит-стрит, то есть на границе между Вестминстером и Сити. В старину они были увенчаны железными пиками, на которых выставляли головы казненных. С воротами Тэмпла связан целый ряд старинных обычаев. Так, король при посещении делового центра города, Сити, должен был испрашивать у лорд-мэра разрешение на проезд через эти ворота. В 1878 году они были снесены, и на их месте воздвигнут монумент с гербом лондонского Сити наверху. Флит-стрит — старинная улица, начинавшаяся от ворот Тэмпла. Хроники средневекового Лондона упоминают Флит-стрит как место кровавых стычек школяров и подмастерьев. Позднее там обосновались различные увеселительные заведения. В XIX веке Флит-стрит становится центром английской печати: здесь помещаются многочисленные редакции, издательства и крупнейшие телеграфные агентства.

Ковент-Гарденский рынок — старинный зеленый рынок (известен с конца XVII в.), возникший на территории монастыря св. Петра в Вестминстере („ковент гарден“ в переводе „монастырский сад“).

Грейвзэнд — речной порт в графстве Кент на южном берегу Темзы. Его считают „воротами“ лондонского порта. В XIX веке Грейвзэнд являлся одним из любимых мест отдыха лондонцев.

У Ионы в чреве. — Миссис Гэмп путает один из эпизодов библейской легенды; согласно легенде, пророк Иона по велению бога должен был отправиться проповедовать в Ниневию, но ослушался и отплыл на корабле в Таре. Когда поднялась буря, пророк признался морякам, что навлек на себя божий гнев. Он был брошен за борт и проглочен китом, проведя в китовом чреве трое суток, Иона раскаялся и взмолился богу, после чего кит изрыгнул его на сушу.

„Живительные силы меня как будто несут по земле, — я радостен и весел целый день“. — Шекспир, „Ромео и Джульетта“ (акт V, сц. 1-я).

О прекрасная истина!.. Ты обитаешь не в колодце... — парафраза изречения „Истина прячется на дне колодца“, приписываемого древнегреческому философу-материалисту Демокриту (460–370 до н. э.)

Если, как говорит нам поэт, Англия надеется, что каждый исполнит свой долг... — Диккенс иронизирует над претензиями Пекснифа на образованность: приведенная им фраза принадлежит не поэту, а адмиралу Нельсону и была сказана им перед Трафальгарским сражением.

Ему бы надо быть лорд-мэром. — Мэр — выборная должность главы городского самоуправления, в компетенцию которого входят административные и юридические функции. В Англии мэров начали избирать в XII веке. Приставка „лорд“ (лорд-мэр) распространяется на мэров ряда крупнейших городов Англии. Первый лорд-мэр Лондона был избран в 1540 году.

С какой свирепой, чисто церберовской непреклонностью... — В античной мифологии Цербер — свирепый трехглавый пес, охраняющий вход в подземное царство Аида.

...той красной жижги, которой были обгарены босые ноги Каина? —
Намек на библейскую легенду о Каине, запятнавшем себя кровью убитого им брата Авеля.

Подобно легендарному сну монаха Бэкона. — Роджер Бэкон (1214–1294) — английский философ и естествоиспытатель, монах францисканского ордена. Бэкону приписывается ряд крупных научных открытий и изобретений; он один из первых высказал мысль о необходимости научного опыта, эксперимента. За свои передовые взгляды Бэкон подвергался гонениям, был обвинен в ереси и около четырнадцати лет провел в заключении. Отдавая дань своему времени, он занимался алхимией и астрологией, за что был прозван „Чудесным доктором“. С его именем связано много легенд. Анонимная „История брата Бэкона“ послужила источником для драмы известного английского драматурга елизаветинской эпохи Роберта Грина (1560–1592) „Монах Бэкон и монах Бонгэй“ (1589). В пьесе есть эпизод, в котором Бэкон, сделав из меди говорящую голову, не спал 60 ночей и дней в ожидании, когда она заговорит, но в конце концов заснул, поручив слуге заменить себя. Сон его был роковым, так как голова заговорила в его отсутствие, и все планы, зависевшие от ее первых слов, рухнули.

Вандименова земля — старое название Тасмании, острова у юго-восточного побережья Австралии.